



2 *том второй*

книга
вторая

Иркутск



2011

■ Бег времени

*Автографы
писателей*

проза

ББК 84(2=Рус)7
УДК 821.161.1
И 81

Издание осуществлено при поддержке Правительства Иркутской области и Министерства культуры и архивов Иркутской области в рамках программы празднования 350-летия г. Иркутска

Редакционный совет:

Юрий Багаев, Ким Балков, Юрий Баранов, Виктор Бронштейн,
Станислав Гольдфарб, Альберт Гурулев, Владимир Дейкун,
Василий Забелло, Иван Козлов, Сергей Корбут, Александр Лаптев,
Ольга Пушкина, Валентина Семенова, Владимир Скиф,
Сергей Ступин, Арнольд Харитонов

Редакционный совет выражает благодарность
Губернатору Иркутской области Дмитрию Фёдоровичу Мезенцеву
за помощь в реализации этого проекта

Иркутск. Бег времени : в 2 т. — Т. 2 : Автографы писателей.
И 81 Кн. II : Проза. — Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А. К.),
2012. — 720 с.

ISBN 978-5-91871-021-0

Вторая книга второго тома издания «Иркутск. Бег времени», с подзаголовком «Автографы писателей: проза», включает рассказы, отрывки из повестей и романов прозаиков, членов писательских организаций Иркутской области, с 1931 по 2011 г. Представлены также драматурги, литературоведы и критики. Как и в первой книге, имена сгруппированы по десятилетиям: 1930–1950-е, 1960–1980-е, 1990–2000-е гг.

Издание носит информационно-справочный характер, адресовано культурологам, исследователям литературы, критикам, студентам-филологам. Посвящено 350-летию города Иркутска и 80-летию Иркутской писательской организации.

© Лаптев А.К., Семенова В.А., составление,
2012

© Дейкун В.Н., оформление, 2012

© Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.), 2012

ISBN 978-5-91871-021-0

От составителей

Сборником прозы завершается литературно-краеведческое издание «Иркутск. Бег времени», посвящённое 350-летию Иркутска и 80-летию Иркутской писательской организации. Всего получилось три объёмных книги: первая — с подзаголовком «Слово о городе» (т. 1), вторая — «Автографы писателей: поэзия» (т. 2, кн. 1) и третья — «Автографы писателей: проза» (т. 2, кн. 2).

Сто шесть имён охватывает эта книга. Вместе с прозаиками представлены драматурги, литературоведы и критики. Всё, что сказано в предисловии от редактора и составителей предыдущего, поэтического, сборника, относится и к сборнику прозы. Вторая книга тома «Автографы писателей», как и первая, хронологически разбита на три части: 1930–1950-е годы, 1960–1980-е и 1990–2000-е. Имена расставлены также исходя из даты приёма в члены союза или кандидаты в члены союза. Принцип нарушается, если основное творчество писателя пришлось на другое десятилетие¹.

Принадлежность к иркутским писательским организациям — главное условие отбора имён. Исключение сделано для Василия Стародумова, известного сибирского сказочника, чьё имя носит детская библиотека Иркутска-2. В.П. Стародумов начинал в 1930-е годы, писал стихи и прозу, публиковался в газетах, журнале «Будущая Сибирь». В списках местной Ассоциации пролетарских писателей его имя не обнаружено, однако он имел удостоверение, подписанное ответственным секретарём Оргкомитета Всероссийского союза советских писателей Восточной Сибири И. А. Искрой от 7 мая 1933 года: «Предъявитель сего поэт Стародумов Василий является членом Союза советских писателей Восточной Сибири». В дальнейшем В.П. Стародумов ни в одну из писательских организаций не входил.

По разным причинам за рамки творческих союзов остались писатели, своими книгами или отдельными публикациями запомнившиеся читателям Приангарья. Уехали из Иркутска до начала 1930-х годов — времени образования писательской организации — Георгий Ку克林, Павел Нилин, Иван Новокшо-

¹ В 1934–1954 гг. приём в члены и кандидаты в члены Союза советских писателей производился на равных основаниях (Устав ССП СССР, 1934). И те и другие входили в местное отделение СП, только кандидаты — с совещательным голосом и без права избираться на руководящие должности. Согласно новому Уставу СП СССР (1954) категория кандидатов в члены СП была упразднена. — *Сост.*

нов и др.; не в Иркутске сложилась литературная судьба члена Союза писателей России Леонида Бородина; не здесь, а в Москве в 1980-е вступили в Союз писателей СССР наши земляки драматург и прозаик Михаил Ворфоломеев, драматург Владимир Гуркин; за пределами Иркутска стал членом Союза российских писателей в 1990-е и членом Русского ПЕН-центра Борис Черных. В 1950–60-е годы выпускал научно-популярные книги для детей знаток природы и учёный Алексей Смирнов, затем также покинувший Иркутск; в эти же годы и позднее совмещала литературоведение с прозой Анна Рубанович; писала повести о детстве Елена Ячменёва; занимался литературными поисками критик Евгений Раппопорт; привлёк к себе внимание книгой приключенческих повестей для детей Вячеслав Имшенецкий; издавалась беллетристика с уклоном в фантастику Алла Конова; в 1980–90-е пришли с фронтовыми былями участники войны Инна Фруг, Василий Шкуратов, а также повествователи простых житейских историй Николай Сиротенко, Елизавета Замашикова, Пётр Ополев; в 2000-е после своей трагической гибели открылся Леонид Шестаков... Многие годы пишет и публикует рассказы, истории и зарисовки Вячеслав Проценко, издаёт книги эссе член Русского ПЕН-центра Виталий Диксон. Всех не охватить — повторим вслед собранию поэтов предыдущей книги, иной раз имя является из полной, казалось бы, безвестности.

Необходимо заметить, что в справках об авторах мы не смогли перечислить все премии и награды, которыми отмечены иркутские писатели, для этого потребовалось бы немало места. Указаны только лауреаты Государственной премии СССР и РСФСР, заслуженные работники в области культуры и других областях, почётные граждане городов Иркутской области. В приложении к книге названы лауреаты премий, учреждённых в Иркутске. В качестве исторической справки приведены имена руководителей иркутских писательских организаций с 1931 по 2011 годы.

Составители выражают благодарность тем, кто помог в поисках текстов и сведений об авторах: сотрудникам Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского; Центральной городской библиотеки им. А. Потаниной; Научной библиотеки ИГУ; Областной детской библиотеки им. М. Сергеева; Сектора краеведческой информации библиотеки № 5 ЦБС г. Иркутска; сотрудникам ОГКУ «Государственный архив новейшей истории Иркутской области», а также членам Союза российских писателей Т. В. Андрейко и О. Б. Корнильцеву, члену Иркутской областной писательской организации Л. В. Соболевской, иркутским редакторам Л. В. Иоффе и С. Н. Асламовой, заведующей музеем Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова Т. А. Колесниковой.

1930 – 1950-е годы

Алексей Абрамович

В литературу приходят новые силы

Глава из очерка «В широком потоке
советской литературы»

Писательские имена и произведения, названные выше (в предыдущих главах. — *Сост.*), далеко не исчерпывают многообразия литературного движения в Иркутской области в послевоенные годы. Никогда прежде не было столь широкого притока новых сил, очень быстро и уверенно утверждающих своё право на почётное звание литератора. Ф. Таурин, В. Тычинин, Л. Огневский, А. Гайдай, И. Дворецкий, В. Марина, М. Сергеев, А. Преловский, И. Чаусов, П. Реутский, А. Иванов, А. Ермолаев — вот авторы новых книг или больших циклов стихов. А если к ним прибавить большую группу очеркистов (Л. Тихонова, С. Бройдо, Л. Лифшиц, Е. Бандо и др.) и писателей, регулярно печатающихся в последних выпусках альманаха «Новая Сибирь», то получается солидная группа авторов с большим зарядом творческой энергии, оказывающая значительное влияние на культурную и литературную жизнь Восточной Сибири.

Появление в последние годы десятков новых романов, повестей, пьес, поэм, стихотворений во многом объясняется настойчивой, вдумчивой работой писательской организации. Пригодился накопленный десятилетиями опыт собирания и выраживания литературных сил. Этот опыт обогатился новыми формами, о которых хотя бы вкратце уместно рассказать.

Очень важную роль в культурной жизни области играют «Литературные

Абрамович Алексей Фёдорович, литературовед, критик; в начале творческого пути — прозаик (1907, С.-Петербург — 1974, Новокузнецк). Автор книг: *Случай на перезде: рассказы* (Сталинград, 1934); *Критические статьи и очерки о творчестве иркутских писателей* (Иркутск, 1958); *Поэты стороны сибирской* (Иркутск, 1963); *На своей земле: очерки творчества кузб. писателей* (Кемерово, 1968); *Романтика мужества: очерки творчества кузб. писателей* (Кемерово, 1975). Канд. филол. наук. Член Иркутской организации Союза писателей СССР в сер. 1940-х — нач. 1960-х гг.

пятницы», регулярно проводимые в Иркутском доме писателя. За последние десять лет проведено около 500 таких «пятниц», которые посетило свыше 15 тысяч человек.

Вот перед нами реализованный календарный план работы Иркутского дома писателей на январь–апрель 1957 г.

Писателям и интеллигенции, работающей в творческих организациях Иркутска, хорошо знаком семинар, на котором обсуждаются проблемы теории литературы и искусства, вопросы эстетики. Этот семинар, первоначально созданный партийной организацией областного отделения Союза писателей для коммунистов, самостоятельно изучающих марксизм-ленинизм, очень быстро перерос своё значение, превратившись по существу в лекторий, который посещают десятки работников издательства, университета, пединститута, отделения союза художников, отделов культуры, редакций газет и других организаций и учреждений.

Для наиболее подготовленных посетителей Дома писателя научные работники вузов прочли лекции: «Проблема художественного мастерства», «Единство содержания и формы в произведениях искусства», «Ленинская теория отражения, как основа для понимания образных свойств искусства». Помимо этого, писатели приняли активное участие в теоретической конференции работников литературы и искусства, организованной Кировским райкомом КПСС. Доклад на тему: «Основные вопросы социалистического реализма в свете ленинского учения о партийности литературы и искусства» и ряд выступлений были подготовлены писателями и критиками.

У начинающих авторов — свои особые интересы. Для них была проведена дополнительно беседа «О работе над языком художественных произведений».

Пожалуй, наибольший интерес вызывают «пятницы», посвящённые подробному анализу произведений писателей. Бюро Иркутского отделения Союза советских писателей давно пришло к верному убеждению, что этот анализ должен быть творческим, а поэтому тщательно подготовленным. Несколько писателей и литературоведов заранее прочитывают книгу или рукопись, готовят письменные рецензии. Они и начинают обсуждение. Это, конечно, не лишает права участвовать в спорах и дискуссиях каждого, кто пришёл на «пятницу». На таких «беседах за письменным столом» горячо и страстно обсуждались сборник стихов Е. Жилкиной, киносценарий А. Ермолаева «Возвращение в жизнь», роман «На другой день» Л. Огневского. Большую и острую дискуссию вызвала рукопись романа того же Л. Огневского «Белый хлеб». На заседаниях литературного объединения молодых авторов, которое принимает участие и в общей работе Дома писателя и в то же время проводит свои особые творческие вечера, с таким же «пристрастием» обсуждались стихи инженера со строительства Братской ГЭС Л. Хрилёва, техника с Ангаргэсстроя В. Ладейщикова, повесть Д. Милюкова «Зелёная ель», стихи и рассказы участников литобъединения молодого социалистического города Ангарска, рассказы начинающего автора из Усть-Орды А. Тирикова и др.

Писатель не может замыкаться в своей среде. Общение с народом, проверка творческих замыслов и уже созданных произведений среди широких масс читателей, глубокое проникновение в жизнь, расширение общественно-политического кругозора — вот неперенные и обязательные условия для успешной творческой работы художников. Деятельность Иркутского отделения Союза писателей давно уже не укладывается в литературные «пятницы», и «прихватываются» многие другие дни, особенно когда организуются встречи писателей с рабочими и колхозниками в клубах и избах-читальнях.

Читательские конференции с участием писателей прошли только за последний год в Усть-Ордынском, Тайшетском, Тиретском, Балаганском, Зиминском, Братском и многих других районах области. Не раз проводились такие конференции в г. Ангарске, на алюминиевом комбинате в посёлке Шелехово¹ и у строителей Иркутской ГЭС.

Традиционными стали широкие и всегда очень оживлённые обсуждения очередных выпусков альманаха «Новая Сибирь» на читательских конференциях в научной библиотеке при Иркутском государственном университете и в областной библиотеке.

Если к этому прибавить многочисленные письменные и устные консультации, которые получают в отделении Союза многие авторы, редакции районных газет, выезды писателей для помощи в работе литературных объединений и кружков и другие мероприятия, то мы получим довольно полное представление о напряжённых темпах жизни писательской организации, о её стремлениях создать такую творческую атмосферу, которая позволила бы приобщиться к литературе и искусству массам трудящихся, помогала бы максимальному выявлению и росту способных и талантливых авторов, воспитанию из их среды писателей.

У нас есть все основания не только утверждать, но и доказать, что история возникновения и роста интересных дарований, свойственных Францу Таурину и Вячеславу Тычинину, непосредственно связана с деятельностью писательской организации. Они являются авторами ряда романов. Произведение Таурина «Ангара» опубликовано не только в журнале «Дальний Восток», но вышло отдельным изданием в Иркутске, выйдет и в издательстве «Молодая гвардия» в Москве. Оба писателя прочно утвердились в советской литературе, оба являются членами Союза советских писателей. Но как раз на их творчество оказали плодотворное влияние товарищи старшего поколения и вся деловая атмосфера, которая создалась в итоге разнообразной деятельности писательской организации. Бывший директор кожевенного завода в Якутске, Ф. Таурин восемь лет тому назад (начало 1949 г.) прислал в Иркутское отделение Союза писателей несколько черновых глав из задуманного им романа «К одной цели». Г. Маркову, И. Молчанову-Сибирскому, Г. Кунгурову, которые первыми прочли рукопись, было очень трудно составить о ней ясное впечатление. Они хорошо знали, что рукопись слаба как по содержанию, так и по стилю. Но в ней теплился огонёк, указывающий на большой житейский опыт начинающего автора, знание людей и важных фактов. С Ф. Тауриным завязалась переписка, затем его вызвали на консультацию.

В Иркутске в присутствии автора рукопись была подвергнута тщательному разбору. Используя указания товарищей, Ф. Таурин доработал своё произведение и вынес его на обсуждение творческой конференции писателей. Сейчас Ф. Таурин известен как автор романов «На Лене-реке» и «Ангара» и уже сам помогает начинающим товарищам.

Столь же показательна история литературной жизни Вячеслава Тычинина, бывшего шофёра, создавшего после многочисленных правок и переделок в результате советов писательского коллектива и работников областного книгоиздательства роман «Большая Сибирь». И. Дворецкий, М. Сергеев, А. Иванов и другие также могли бы рассказать, как в обстановке деловой критики, товарищеского доверия и требовательности создавались их произведения.

¹ Ныне город Шелехов — *Сост.*

Только в последних 10 выпусках альманаха «Новая Сибирь» (№ 27–36) опубликовано 127 романов, повестей, стихотворений, очерков, статей 70 местных авторов. Некоторые из них впервые получили «путёвку в жизнь», а значение факта публикации первого произведения в литературной биографии начинающего писателя трудно переоценить.

Какими же интересами живут писатели и начинающие авторы, пополнявшие ряды литераторов в последние годы? Интересы у них — те же самые, что и у старших собратьев. Наша кипучая современность, советский народ, его повседневная жизнь, величие его трудовых подвигов — вот главная тема, волнующая авторов — участников не только альманаха «Новая Сибирь», но и таких сборников, как «Край родной», «Молодая Ангара» и др.

Широко представлена тема рабочего класса, с невиданной быстротой развивающегося производительные силы Восточной Сибири. Романы И. Чаусова «Далёкие рейсы», В. Тычинина «Большая Сибирь», Ф. Таурина «На Лене-реке» и «Ангара», повести В. Мариной «Трудный год», Л. Огневского «Над нами солнце» и «На другой день», «Строители» А. Ермолаева, очерки Е. Бандо, Л. Лифшица, И. Дворецкого, В. Мариной и др. написаны на основе богатого фактического материала и дают широкое представление о героях различных профессий — шофёров, металлургов, железнодорожников, обувщиков, шахтёров, строителей электростанций, бетонщиков, лесозаготовителей.

Наиболее удачны, на наш взгляд, романы «Большая Сибирь», «На Лене-реке» и повесть «Трудный год», где образы главных действующих лиц — шофёра Михаила Туманова, Андрея Перова, Кати и Николая Тулугуровых получили квалифицированное художественное воплощение.

У авторов, недавно вошедших или ещё входящих в литературу, есть недостатки и просчёты, сигнализирующие о «болезнях» роста, о совершенно естественной борьбе за преодоление схематизма, композиционной и сюжетной рыхлости. Так, например, в романе «Ангара» главная тема — изображение народа — строителя великой северной электростанции — оказалась в значительной мере вытесненной побочной историей возвышения и падения начальника стройки — карьериста и развратника Гусарова, а сюжет, в связи с этим, принял авантюрный оттенок. В повести А. Ермолаева увлекательные эпизоды, посвящённые строительству молодого Ангарска, перемежаются со слабыми, где характеры героев оказались недорисованными. Во многих очерках справедливое восхищение авторов самими грандиозными фактами и явлениями индустриального роста Сибири подавляет внимание к человеку, вызвавшему их к жизни, и технология, статистические подсчёты выступают на первый план.

Из этого, конечно, не следует, что авторы, недавно вошедшие в литературу, не создадут в будущем новых, больших по размаху произведений. Напротив, перед такими авторами, как Ф. Таурин, В. Тычинин, В. Марина, И. Дворецкий, Н. Чаусов, открыты большие перспективы, от них можно ожидать значительных творческих успехов.

Много внимания уделяют иркутские авторы и другим важнейшим темам — изображению современной колхозной деревни, быту советских людей, их моральному облику и культурному кругозору. П. Реутский, Р. Смирнов, А. Преловский, Л. Хрилёв и многие другие растут в решении этих тем как поэты эпического и лирического направлений; Ю. Полухин, Л. Тихонова, С. Бройдо и другие — как очеркисты.

Насколько уверенно начинают звучать голоса молодых, недавно вступивших в строй писателей, свидетельствуют изданные Иркутским книжным

издательством в 1957 году книжки стихов Анатолия Преловского и Петра Рутского.

В поэтическом сборнике А. Преловского «Багульник» — первой книжке автора — радуется свежесть восприятия, стремление выразить глубокое содержание в оригинальной форме. Три цикла стихотворений: «Провожая закаты и встречая рассветы», «С этюдником за спиной» и «Мои тропинки» посвящены самым дорогим темам для каждого советского художника: тут и лирические любовные напевы, и раздумья о Родине и её людях, и эти люди в их кипучей созидательной деятельности.

Стихотворение «Родное», не исчерпывая, разумеется, содержания всего сборника, очень наглядно убеждает нас в том, что А. Преловский идёт к своей поэтической цели, минуя подражание и копирование.

Тема Родины всегда в центре внимания наших поэтов, и многие произведения больших мастеров художественного слова отложились в нашей памяти как новое в этом плане. Автор сборника «Багульник» не стремится что-либо придумывать. У него образ Родины, как и у других поэтов, вырастает из слитного представления о своём родном, близком, обжитом селе и одновременно обо всей стране. Но он находит свои слова, свои оттенки красок в пейзаже. Родина — это и колодец в родном селе, и жёлтое жнитво на полях, и осенняя смородина. Мы ясно ощущаем, что изображённая поэтом картинка, внешне простая и незатейливая, трогает за сердце. Всё это действительно близко и дорого лирическому герою:

И песня встречная девчат,
И флага живчик аленький,
Седые деды, что ворчат
И курят на завалинке...

Верное слово рождается вместе с искренним, глубоким настроением и заставляет волноваться читателей. Верное слово рождает и верное обобщение. И заключительные строки стихотворения «Родное» дают изображение необъятных просторов и богатств советской страны:

Попробуй в сердце уложить —
И в сердце не уместятся
Ни флаг,
ни ржавых листьев жечь,
Ни деды, ни смородина, —
Что умещается, как есть,
В обычном слове «Родина».

Вероятно, выражение «ржавых листьев жечь» не очень удачно в произведении высокого, торжественного строя. Можно было найти более точные метафоры и сравнения. Но это — издержка молодости. Зато во всем остальном тексте — каждое слово точно, каждая строка к месту, и все это волнует, создаёт высокосмысловый образ.

Сборник «Багульник» радует не отдельными удачами. В цикле «Провожая закаты и встречая рассветы» есть хорошие стихотворения «Может быть, любви ещё и нету...», «Расплавлен воздух, густ и душен...» и переводы двух произведений бурят-монгольского поэта В. Петонова («Люблю», «Разве я забуду это?»).

сложный жизненный материал. Он зовёт своих героев к бескорыстию, товариществу, к укреплению морали и нравственности нашего общества.

Мы взяли к примеру сборники лишь двух поэтов, выступивших с первыми книжками. Но и у других авторов, пробивающих путь в литературу, есть свои значительные удачи, стремление к выработке своего стиля.

Если представить себе коллектив, включающий в себя зрелых писателей и авторов, завоевавших ныне своё право на творчество, то перед нами оказывается большой отряд участвующих своим трудом в укреплении и развитии социалистической культуры в Сибири. Все, что им сделано до сих пор, — залог серьёзных, плодотворных достижений в будущем.

Исаак Гольдберг

Закон тайги

Из цикла «Тунгусские рассказы»

I

Однажды ленский купец Бушуев плыл за первым льдом раннею весной к низовьям Катанги. Шитики его были нагружены товаром и грузно сидели в воде и порою дробили своей тяжестью запоздалые льдины. Работники горланили песни, которые колко отдавались в хребтах, сжавших реку. Сияло молодое весеннее солнце.

Убегали назад грязные берега с нагромождёнными ещё местами серыми, рыхлыми льдинами. Было вокруг безлюдно. Последние русские деревни остались далеко позади, а река, к устью которой должны были выйти покручающиеся¹ у Бушуева тунгусы, была ещё в нескольких стах верстах.

Не могло быть жилья человеческого в этих местах — и вдруг из-за поворота реки над сизыми издали тальниками закурился дымок.

На шитиках заволновались. Стали высказывать различные предположения. Сам Бушуев даже перепугался: не опередил ли его кто из купцов, не проплыл ли раньше его?

Но вот река сделала поворот, и с шитиков стала видна гладкая пабережка, сбегавшая полянкой к самой воде, и на этой пабережке — одинокий чум. На берегу какой-то человек махал рукой и что-то кричал.

С шитиков, которые не могли пристать к берегу, спустили берестянку, и сам Бушуев с работником Семёном отправились к кричащему человеку, а остальные поплыли, не останавливаясь, дальше.

Кричавший оказался тунгусом с дальней реки, вышедшим сюда навстречу к своему «другу» — купцу. Увидел плывущие шитики и, не разобрав, свои ли это

¹ *Покрута, покручаться* — договорные отношения, существовавшие до революции между охотником-тунгусом и его «другом» — купцом, скупщиком пушнины. Покрутой же называлось всё то, что охотник получал от купца за сданную пушнину.

Гольдберг Исаак Григорьевич (1884, Иркутск — 1939, репрессирован). Автор многих книг, в т. ч.: *Избранные произведения* (М., 1972); *Тунгусские рассказы* (М., 1914); *Большая смерть*; *Николай-креститель*; *Олень* (Барнаул, 1918); *Закон тайги*: рассказы (Иркутск, 1923); *Наследство капитана Алёшкина* (Л., 1926); *Путь, не отмеченный на карте*: рассказы (М.; Л.: ГИЗ, 1927); *То же* (Иркутск, 1958); *Сладкая полынь*: повесть и рассказы (М.; Л.: ГИЗ, 1928); *То же* (Иркутск, 1964); *Повести и рассказы* (М., 1934); *Главный штрек*: повесть (М.; Л., 1935); *День разгорается*: роман (М.; Иркутск, 1935); *Избранные рассказы* (М.; Иркутск, 1936); *Поэма о фарфоровой чашке* (Иркутск, 1971) и др. Член Союза советских писателей СССР (Иркутская писательская организация).

или чужие, он и закричал. Да, кроме того, у него вышел весь запас чая, и он решил раздобыться у плывущих купцов.

Бушуев расспросил тунгуса подробно о его друге, о промысле, о покруте. Предложил выменять, не дожидаясь друга, у него всё нужное за промысел. Тунгус отрицательно замотал головой:

— Нет... Как же другу своему за покруту платить стану?..

Тогда Бушуев стал сердиться, что его зря, по пустякам, из-за какого-нибудь кирпича чаю, скликали с шитика — заставили к берегу плыть да от шитиков отбиваться. Тунгус растерянно и виновато поморгал глазами и, уйдя в чум, вынес оттуда гостинец — бунт¹ белки.

Щедрость эта заинтересовала Бушуева, и он попросился у тунгуса хоть поглядеть на его добычу.

Тунгус ввёл их в свой чум и показал.

У обоих — у Бушуева и работника — разгорелись глаза. Они увидели груды белок и всякой другой пушнины. Они щупали руками нежный мех горностаев и лисиц, они вдыхали в себя тяжёлый запах хорьковых шкурок. Они разбрасывали вокруг себя богатую добычу и беспорядочно хватали одно за другим, точно никогда не видали пушнины.

Разгоревшись при виде хорошего промысла, Бушуев снова стал сговаривать тунгуса произвести с ним мену. Но тунгус стоял упрямо на своём:

— Как у тебя покруту возьму? А мой друг Актентий Иванович?.. Нет, нельзя!

На подмогу к хозяину вступился работник Семён. Они вдвоём надели на тунгуса. Они бились над ним долго.

Долго они мяли в своих руках мягкие шкурки. Бросали их на землю и снова брали в руки, точно лаская.

Наконец, увидев, что тунгус непреклонен, они обрушились на него бранью. Они ругали его родителей, его друга, его бога, и так, ругая молчаливого тунгуса, они спихнули берестянку в воду и уплыли. И долго ещё с реки неслись на берег их яростные крики.

Тунгус молча курил и глядел им вслед.

II

К вечеру этого дня шитики пристали к берегу. Впереди должна была появиться шивера, и по ней опасно было проводить посудину ночью.

Весело разложили большие костры. Огласились весенние сумерки криками. Ожил берег.

После ужина работник Семён лежал у костра и молча слушал, как хозяин хвалил промысел тунгуса, к которому они с ним подплывали, как ругал того.

— Рублей на семьсот пушнины вынес, стервец! — негодовал Бушуев. — Будет чем Кешке Самохвалову поживиться... Ну и вредный тунгус!

«Семьсот рублей!» — мелькнуло в сознании работника Семёна. Эта мысль завладела им всецело. Дались бы ему, Семёну, семьсот рублей, вышел бы он на Лену — вот зажил бы!

С такими деньгами он бы знал, что сделать. И куда дикарю столько денег? Всё равно оберут купцы да водкой опоят. Всё равно в другой промысел тунгус опять добудет столько же, а может быть, ещё и больше...

¹ Бунт — связка, пучок.

С такими мыслями Семён уснул. Ночью он долго ворочался, просыпаясь не то от холода, не то от мыслей.

Утром проснулся, посмотрел на спящего хозяина и других работников. Почёсывался в предутреннем холоде и непрерывно думал о вчерашнем. И, когда мысли одолели его, он осторожно пробрался с берега на шитик, достал там винтовку и патронташ, набрал сухарей, снарядил себе поняшку со всем тем, что необходимо в лесу, и осторожно же перебрался снова на берег.

Там по-прежнему крепко спали. Семён оглядел спящих, постоял немного в крепком раздумье, хотел что-то сделать, но не сделав, повернулся и крадущимися шагами пошёл от костров берегом, в ту сторону, откуда они вчера приплыли.

Идти приходилось с трудом. То тропинку загромождали большие льдины, с тихим звоном ронявшие слёзы, то на пути вырастали целые леса бурелома, и приходилось обходить их стороной, продираясь сквозь чащу кустарников. Ноги вязли в липкой, оттаявшей земле и скользили по прошлогодней хвое, ветви деревьев били по груди, по лицу. Но Семён, сжав зубы и отчаянно борясь со всеми этими преградами, шёл без усталости вперёд.

Он не чувствовал ни усталости, ни голода, хотя солнце уже давно поднялось высоко над головой и отмечало полдень. Он не останавливался ни на минуту передохнуть. Большая и неистощимая сила влекла его вперёд. Большая и неистощимая сила вливалась в него бодрость и гнала усталость.

И он остановился только возле самого тунгусского чума.

Солнце уже опускалось на гребень хребтов. Длинные и густо-черные тени стлались по земле. Было тихо.

Семён подошёл к чуму и вздрогнул: над конусообразным жилищем не вился дымок, двери были плотно припёрты снаружи свежесрубленными стягами и колодами. Было ясно, что тунгус покинул жилище.

С искажённым злобою и обидой лицом Семён раскидал стяги и колоды, откинул дверь и вошёл в чум.

И там, сладко обожжённый радостью, в полутьме он разглядел, что всё, как было вчера, когда они приходили сюда с хозяином, осталось нетронутым, что под скатами жилища лежат кули и связки, что вся пушнина цела и никуда не унесена.

И так же как внезапно явилось отчаяние при виде покинутого жилья, так же вернулась теперь буйная радость.

Семён вытащил на середину чума кули с пушниной. Трясущимися руками вытаскивал он связанные в пучки разноцветные шкурки. По-вчерашнему мят в своих мозолистых и грязных руках пушистую добычу. Пытался считать своё богатство, но сбивался и весь сиял давно не приходившей к нему радостью.

Успокоившись, он снова сложил все кули и вышел из чума на полянку. И здесь задумался.

Добыча далась в руки небывало легко. Точно кто-то нарочно надоумил тунгуса уйти из чума, оставив всю пушнину. Но вот беда — как унести с собой всё это богатство?

И тут только Семён понял, как он сплеховал, отправившись сюда пешком, а не в берестянке.

Почти теряя надежду захватить с собой всю тунгусову пушнину, он вышел из чума и тщательно оглядел поляну. На ближайшей к чуму сосенке он только теперь заметил прикрепленный лоскут бересты. На бересте углем было гру-

бо начертано слабое подобие человеческой фигуры с протянутой на юг рукою. Под фигурой темнели два кружочка.

Семён понял. Это бесхитростное письмо должно было оповестить кого-то, что владелец чума ушёл на юг и вернётся на другой день или же сегодня к вечеру. Значит, сообразил Семён, он ушёл в глубь тайги пешком, и его берестянка должна быть где-нибудь поблизости.

Ожидания не обманули Семёна. В тальниках он нашёл новое судёнышко, шест и весло.

Он перенёс в берестянку всю добычу, которая отныне сделалась его достоянием, уселся сам и поплыл.

Он плыл по течению, задумав спуститься к устью реки, выплыть к Енисею и там сдать свою пушнину енисейским купцам.

III

Тунгус, хозяин чума и пушнины, уходивший в лес за берестой для новой берестянки, пришёл в тот же день к своему жилищу и нашёл разрушение. Он бросил с сердцем наземь свитки бересты, обежал вокруг чума, пнул с досады повернувшуюся под ноги собаку и, опустившись на влажную прошлогоднюю траву, громко запричитал.

Он кидал в безмолвие весеннего дня самые обидные ругательства, самые жестокие проклятия посылал он на голову неизвестного вора.

— Белка ободранная, змея дохлая! — кричал он, задыхаясь от ярости, и его слушали мутная река, голубое вознесённое так высоко небо и тихие тальники. — Чтоб тебя водили по тайге харги! ¹ Чтоб тебя сожгла в лесу болезнь огненная!.. Пойдешь по тропинке, и пусть она тебя не выведет из леса!.. Пусть перестанет стрелять твоё ружье и отсыреет порох! Пусть настигнет тебя пожар лесной и скуёт стужа нестерпимая!..

Насытив этим криком свою ярость, он сходил к тальникам, где была спрятана лодка, и нисколько уже не удивился, не найдя её там. Он только внимательно разглядел следы на берегу и, заметив, в какую сторону ушла широкая борозда по песку, просиял.

Теперь он оживился. Он определил по целому ряду неуловимых и мелких признаков, в какую сторону уплыл грабитель.

И, перезарядив ружье большою пулею, какую всегда имеют в запасе на случай встречи с медведем, он пошёл куда-то в сторону от реки.

Он знал свой путь. Река так прихотливо извивалась, что местами образовала петли и тем удлинила своё течение. Он же скрадывал дорогу, перерезая перешейки и мысы, идя напрямик. Давешние ярость и огорчение при виде грабежа пропали. В душе родилось то же чувство сосредоточенности и радостной тревоги, которое билось там в дни большой охоты за сохатым или медведем.

Так же, как и тогда, он теперь чувствовал, что добыча, за которой он гонится, идёт где-то впереди, и что с каждым шагом расстояние между ним и ею уменьшается.

С каждым мегом ², который он пересекал по прямой, радость охотника разжигалась в нем сильнее. В нем крлся и ещё не вырывался наружу трепет напад-

¹ Харги — злые духи.

² Мег — речной полуостров.

шего на верный след охотника. Но молчал он, и, как у бежавших впереди него без лая собак, сверкали глаза у него и раздувались ноздри.

Он порою приостанавливался и, напрягая слух, пытался что-то расслышать. И рядом с ним замирали собаки и нюхали воздух и поводили ушами.

Он передавал собакам kloкотавший в нем инстинкт хищника и сам заражался скрытою в них страстностью.

Собаки видели, что он осторожно и вместе с тем стремительно гонится за кем-то, и, в свою очередь, он чувствовал, что, раз выведенные и пущенные в погоню за тем, кого должно догнать, они уже не сойдут с верной дороги.

Так, объединённые одной задачей, они все — он и собаки — шли быстро вперёд и всё ближе подходили к Семёну, который беспечно гнал берестянку по мутной, вспухнувшей реке.

Была необычайна для тайги эта погоня человека за человеком.

Может быть, тунгус, опьянённый погоней, и забыл, за каким зверем гонится, может быть, кровь охотника — горячая и трепетная — затуманила его голову, может быть, по иной причине, — но когда он, выйдя наконец из еловой чащи на берег, увидел на реке берестянку и в ней одинокого человека, то точно изумило его это, ошеломило.

Но длилось это так с ним мгновение-другое. Сразу вернулось сознание. Сразу радостно и вместе с тем злобно закричал он:

— О-эй!.. Стой!.. Эй, люча ¹, стой!

Семён оглянулся. Поняв, в чем дело, он стал усиленной грести и погнал лодку всюю.

— Отдай, люча!.. — повторил свой крик тунгус. — Карамон ² отдай, хуллаки... ³ всё отдай!.. О-эй!..

Но Семён всё отдалялся, и не слушал, и не хотел отдавать. Лаяли собаки, вторя хозяину, рвались в воду.

И снова пошёл тунгус мегами, скрадывая путь и замышляя какую-то хитрость. Снова затихли собаки и, вытянув морды, напрягая обострённый нюх и чутко вздрагивая ушами, побежали впереди него.

IV

Проплыв несколько часов после того, как его настиг тунгус, Семён почувствовал сильную усталость. Он положил весло на колени и отдался течению.

Он так размышлял о тунгусе: что тот ему может сделать? Их двое во всей тайге. Пригрозить хорошенько дикарю — он и уйдёт ни с чем. А если и полезет очень, так есть на то винтовка, можно и отповадить.

Эти размышления успокоили Семёна, и он, выбрав широкую прибрежную полянку, пристал к берегу.

Здесь он развёл костёр, навесил на таган котелок и с большим наслаждением растянулся подле огня. Но ему не удалось долго предаваться сладкому отдыху. Вдруг залаяли собаки, и совсем близко снова закричал тунгус:

— Отдай, люча!.. Отдай, ниру! ⁴

¹ Люча — русский.

² Карамон — белка.

³ Хуллаки — лисица.

⁴ Ниру — друг.

Семён вскочил. В десяти-пятнадцати саженях стоял тунгус, собаки вились около него, но далеко не отбегали.

— Убирайся к чертям! — крикнул Семён. — Чего ты пристал?

— Карамон мой давай! Всё моё дай!

— Сунься-ка! — пригрозил Семён кулаком. — Лучше проваливай, слышишь?!

— Всё давай, ниру!.. Неладно, люча! Неладно! — кричал тунгус и даже укоризненно качал головой.

Семёну надоели эти переговоры. Он взял прислонённое к ближайшему дереву ружьё и нацелился в тунгуса:

— Уходи, а не то угощу конфеткой!

Тунгус всплеснул руками:

— Ой, люча! Не надо ружьё, не надо! Худо будет, люча!..

— Худо? — насмешливо переспросил Семён. — Ну, так проваливай, если худо.

И, продолжая целиться в тунгуса, он пошёл прямо на него.

Тогда тунгус хищно наклонился, быстро вскинул своё ружьё и крикнул:

— Брось, люча, ружьё, брось!..

Семён, не останавливаясь, захохотал. Но хохот его сразу пресёкся. Грянул выстрел, и он, выпустив ружьё из безвольно разжавшихся рук, тихо повалился на землю.

Собаки рванулись вперёд и, заливчиво лая, наскочили на труп. Но, увидав человека, мёртвого, безмолвного человека, они поджали хвосты, ошетинились и завyli.

Тунгус подошёл к трупу и наклонился над ним.

— Э-эх, какой глупый русский, — укоризненно сказал он. — Сказал — ружьё брось, а ты не бросаешь! В человека наводишь! Глупый русский!

Потом осмотрел рану, — великолепная рана, прямо в сердце!

Потом ушёл к костру и, дождавшись, пока закипит вода в котелке, уселся пить чай, который готовил для себя мёртвый теперь Семён.

И за чаем, изредка поглядывая на мертвеца, тунгус думал вслух. Небо подёрнулось полупрозрачной сетью и надвинулось в предвечерней дрёме на хребты; мутная река плескалась о тальники и играла их гибкими телами; огонь костра растекался по золотым углям и нежил пушистую золу, и сизый дым кудрявился над костром, над тунгусом и таял в вышине. И этому небу, этой реке, и костру, и тальникам, и изменчивому дыму тунгус рассказывал свои мысли. Им всем и ещё собакам, которые тревожно косились на труп Семёна.

— Глупый русский!.. У человека зачем ружьё! Промышлять в тайге. Ходи да стреляй. Ищи следы зверей, гони сохатого, белку с деревьев снимай... В тайге всем хватит! Совсем, совсем глупый русский! Хе...

И тут тунгус рассмеялся. Но, кончив думать вслух, чтобы слышали духи лесные, которые непременно где-нибудь поблизости расселись безмолвно, он задумался иначе. И не мог спугнуть новых мыслей.

«Вот, — думал он, — зря мужик пропал. Какой харги сунул ему ружьё в руки? Злой, поди. Сердился на него и нагнал на него мысль ружьём грозиться... Вот, — текла его мысль дальше, — как жадность его душу опалила! Теперь будет душа его бродить по тайге, и будут ею харги тешиться, и не сможет она спокойно промысел живого продолжать, жизнью прежнюю жить. Потому что русский, который лежит теперь мёртвым, не знал путей в тайге, потому что его обычай — не обычай тунгусов».

Забеспокоился тунгус. Как быть с трупом? Если б был это тунгус, то знал бы он, что сделать: снарядил бы его в дальний путь, дав ему и ружьё, и нож, и по-

няшку со всеми припасами, и подвесил бы его меж высокими соснами, чтобы звери лесные не растаскали его костей.

А с этим как? У этого ведь — знает он — другой закон. Землю разгребают и туда кладут тело и ещё что-то делают над ним.

И решил тунгус сделать так.

Прибрать труп и залабазить его, чтобы не тронули звери, а самому плыть с возвращённым добром в ближайшую деревню. Там сказать русским — пусть снаряжают убитого к предкам по-своему. А потом снова в тайгу, снова в тихие и влажные дебри леса.

Прежде чем залабазить Семёна, тунгус присел над ним и, не глядя в лицо, тихо сказал ему то, что следовало сказать:

— Ты, друг, зла против Бигалтара не держи... Бигалтар видит — ты целишь в него, ну и выстрелил... Бигалтар бы не выстрелил — ты бы в него свой заряд пустил... Так ведь? Ты уж не сердись да сородичам своим там расскажи, как было...

И потом сделал всё, что надумал. Уложил труп в грубо сколоченный сруб, забросал его ветвями и колодником, надрубил вокруг по деревьям отметки и уплыл в деревню.

Там рассказал мужикам о случившемся и стал снаряжаться обратно к реке, ждать своего друга.

Но, к великому изумлению его, мужики отобрали у него пушнину, ружьё и всё, что было у него с собой, и посадили под замок в пустую баню.

И потом сказали, что увезут его в далёкий русский город, где большое начальство будет судить его, где разберут, должен ли был он убить Семёна или нет.

Тревожно слушал всё это Бигалтар и молчал, но про себя думал:

«Как не стрелять в него, если он целит? Я не буду стрелять — он выстрелит! Кровь на кровь... Как не стрелять?!»

Приходили в баню мужики, курили молча или, жалея его, говорили:

— Эх, Бигалтар, пошто ты из тайги своей сюда полез? Кто бы тебя там ловил? А теперь майся!..

Но не понимал Бигалтар их слов. Не понимал, почему не должен был выходить из тайги.

— Худо ты, дружок, сделал, — говорили своё мужики, — худо!

«Как худо!» — кипело всё внутри Бигалтара. Разве не всегда так в тайге: медведь подстерегает сохатого, и тот со всех своих последних сил отбивается от врага. Волки кидаются на добычу, и она, спасая жизнь свою, идёт на всё. Два коршуна бьются из-за утиных птенцов, и тот, кто половчей да посильней, одолевает. Человек идёт на медведя, и если оробеет, то сгребёт его старик и спасётся... Так всегда в тайге... Русский сделал зло Бигалтару. Русский поднял ружьё на него, и хотел стрелять, и убил бы его. Разве худое что-нибудь сделал Бигалтар, защитив себя? И разве Бигалтар, как волк, задрал добычу, бросил её кости среди леса, на позорище другим зверям? Ведь вот убрал он труп и пришёл сюда сказать — пусть почитают мёртвого его родичи... Где худо?..

Было темно и скучно в бане. В тайгу бы обратно, к своей речке, к родному приволью...

Общее собрание

Рассказ

Утром секретарша Зиновья прошла по отделам с объявлением: в пять, по окончании служебного дня, назначается собрание членов кассы взаимопомощи. Пожилой грузный сотрудник отдела труда и заработной платы Истомин выразил по этому поводу недовольство.

— Почему нельзя организовать собрание на следующей неделе? Вчера были перевыборы редколлегии и вот сегодня... пожалуйста... — сказал он, не отрываясь от бумаг.

Зиновья — маленькая, очень заботливая, очень беспокойная, живая женщина с пышными каштановыми волосами — знала, что Истомин чрезвычайно дорожит временем. По вечерам ему приходится иногда самому стирать бельё и варить обед на два дня: он живёт вдвоём с внучкой, больше у Истомина никого нет. Зиновья виновато постояла у стола и молча вышла. Остальные сотрудники встретили Зиновью более приветливо. Одни покровительственно улыбнулись ей, другие удивились вслух: «Взаимопомощи? Давно не было... Правильно». Третьи приняли собрание как должное — собрания не были редкостью в учреждении.

Днём Зиновья испытывала беспокойство. Сидя за своим огромным столом в приёмной, она думала, что некоторые могут о собрании забыть и уйти домой; вздыхала: «во всем буду виновата я». Она представила строгий, полный укоризны взгляд главного бухгалтера Елизаветы Константиновны и поёжилась.

Ещё за день до собрания Елизавета Константиновна зашла в приёмную и, отчеканивая слова, сказала:

— Вам известно... Решением местного комитета назначены перевыборы правления кассы взаимопомощи. Потрудитесь, Зинаида Николаевна, объявить...

Зиновья почтительно посмотрела на Елизавету Константиновну. Та для чего-то сняла пенсне, при этом её близорукие, сразу прищурившиеся глаза стали ещё строже, и несколько минут стояла, испытующе поглядывая на секретаршу. Зиновья приветливо улыбнулась.

— Присядьте... — предложила она не совсем уверенно.

Елизавета Константиновна резким движением надела пенсне и, не ответив, пошла к выходу своей прямой, несгибающейся походкой.

Дворецкий Игнатий Моисеевич, драматург, прозаик (1919, г. Слюдянка Иркутской обл. — 1987, Ленинград). Автор книг: *Тайга весенняя*: повесть (Иркутск, 1952); *Полноводье*: рассказы (Иркутск, 1954); *Младшие в семье*: рассказ (Иркутск, 1956); *Командировка*: повесть (Иркутск, 1957); *Источник*: повесть (М., 1966); *Пьесы*: [Трасса; Взрыв; Большое волнение] (М., 1963); *Трасса*: пьесы (Л., 1978); *Человек со стороны*: Современная хроника. В 2-х ч. (Л., 1978) и др. Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1950 — нач. 1960-х гг.

Отойдя несколько шагов, она произнесла только одно слово — «хватит!», затем громко хлопнула дверью.

Едва старинные часы в приёмной управляющего трестом звонко, с шипением пробили половину пятого, Зиновья спохватилась и, вспомнив строгий наказ, пошла по отделам объявить о собрании вторично. Она думала о том, что опять не успеет закончить декадный отчёт по почтово-телеграфным расходам и Елизавета Константиновна снова будет выговаривать ей за неаккуратность.

«Боже! — вздохнула Зиновья. — Какая она чёрствая, неужели все бухгалтеры такие? Пилит и пилит — за всё: то бумаги много идёт, то в табели лишние дни поставлены... Ох!...»

Путь Зиновьи пересёк Коля Лаптев — помощник заведующего отделом снабжения. Юркий и всезнающий Лаптев всё делал на ходу. Он легко подскочил к Зиновье и шепнул:

— Мы её сегодня разберём по косточкам! Это тебе не баланс квартальный свести, а перед коллективом отчитаться...

Коля немедленно исчез, а через минуту Зиновья слышала его голос уже в бухгалтерии, где Лаптев кому-то громко-громко доказывал, что касса взаимопомощи, безусловно, работала плохо. Об этом Лаптев говорил всем уже третий день, именно с того момента, как стало известно о собрании.

Прав ли Коля — Зиновья не знала, но догадывалась, что Лаптеву очень хочется позлить Елизавету Константиновну.

Собрание началось. Пока выбирали председателя и секретаря, некоторые сотрудники успели заглянуть в свежие газеты. Коля Лаптев за это время переменил три или четыре стула.

Услышав о каком-либо собрании, он неизменно чувствовал, что его охватывает критический зуд. Сегодня этот зуд достиг своего апогея. Коля подсаживался то к одному сотруднику, то к другому. Оказавшись возле Истомина, он зашептал, показывая глазами на Елизавету Константиновну:

— Смотрите, сидит, как сыч, не шевелится...

Истомин, который в эту минуту как раз думал о внучке, уже, вероятно, вернувшейся из школы, машинально ответил:

— Да. Характер трудный.

Встретив сочувствие, Лаптев разговорился:

— Не подумайте, я лично против неё ничего не имею. Я ей во время войны даже сам машину дров привёз и разгрузил. Но она меня просто заела. Как только приношу авансовый отчёт, она из меня все нервы вытягивает. Тут перерасход, тут неправильно оформлено... И поехала: о режиме экономии, о бережливости и даже о международном положении.

В комнату вошёл незнакомый Лаптеву мужчина в шинели без погон. Кивком головы он поздоровался с некоторыми из присутствующих и сел на свободный стул.

— Кто это? — спросил вполголоса Лаптев, но Истомин ничего не ответил, вероятно, не знал.

Слово для отчёта правления кассы взаимопомощи предоставили Елизавете Константиновне.

Её худощавое лицо оставалось невозмутимым. Оно даже приняло оттенок некоторой надменности. Елизавета Константиновна выпрямилась и, изо всей силы, до хруста в суставах, сжимая синенькую тетрадь, подняла глаза; в них было много решительности.

— Зачем это пышное слово «правление», — сказала она, — ведь все знают,

что я одна представляю правление кассы. Позвольте напомнить: в 1941 году, 20 мая, кроме меня в правление были выбраны Татьяна Ивановна Криворотченко и Вася Истомин. 26 июня Криворотченко ушла на курсы сестёр и к нам в систему не возвращалась. А Вася, наш Вася, на второй день войны ушёл добровольцем и в 1942 году был убит под Можайском.

Старик Истомин снял локти со стола и спрятал в ладони тяжёлую седую голову. Он зябко повёл плечами и перестал глядеть на главного бухгалтера.

— Таким образом, из правления я осталась одна, — сухо продолжала Елизавета Константиновна. — Я обращалась в местком, ставила вопрос о довыборах на общем собрании, но это, видите ли, никого не интересовало... Никого! — Тут в её голосе зазвучали и удивление, и обида, и превосходство человека, отлично понимающего слабость тех, кто не разбирается в условиях работы кассы. — Я вела эту общественную работу одна — нарушала инструкцию. «Мы вам доверяем, — говорили мне, — работайте, Елизавета Константиновна». Работайте... но это слова, их к делу не пришьёшь.

Истомин вдруг поднял голову и ему неожиданно захотелось сказать: «Что же, товарищи, верно. Два военных года я был председателем месткома и ко мне много раз обращалась Елизавета Константиновна. Всё руки не доходили — отмахивался». Однако Истомин ничего не сказал, а только стал слушать более внимательно.

— Что ж... вела карточки на каждого члена кассы, открывала новые лицевые счета, оформляла ссуды, выписывала чеки, по десять раз напоминала о задолженности... А тут ещё основная работа... Ну, ладно. Вот здесь полный отчёт, копейка в копейку. Я всё зачту.

Елизавета Константиновна замолчала, потянувшись за водой, но, не сделав ни одного глотка, машинально поставила стакан на место.

— А теперь всё! Всё, товарищи... Можете меня переизбрать. Хватит!

Зиночка, сидевшая около председательского стола, вспомнила, что уже слышала это «хватит», произнесённое точно таким же тоном в приёмной. Только сейчас Зиночке показалось, будто вместе с последними словами из горла Елизаветы Константиновны вырвался слабый звук, напоминавший всхлипывание. Зиночка вдруг мысленно сопоставила вчерашнее поведение главного бухгалтера с её сегодняшним тоном и как-то сразу угадала, что Елизавета Константиновна, хотя и не показывает этого, но очень дорожит своей общественной должностью, совсем не хочет, чтобы её переизбрали, и если, не дай бог, переизберут, она обидится и будет долго и болезненно переживать. «Она даже заболеть от этого может», — тревожно подумала Зиночка.

Главный бухгалтер стояла за председательским столом прямая, тонкая, непримиримая и какая-то острая-острая.

Глядя на неё, Зиночка на какой-то миг выбросила из головы мысли о работе кассы взаимопомощи, о собрании и задумалась. Вспомнилось, как много работает Елизавета Константиновна, часто до глубокой ночи, как постоянно приходится ей нервничать, волноваться из-за каждой копейки... «Пожалуй, Лаптев говорит вздор... — подумала Зиночка. — Чёрствая, сухая — верно, но работает добросовестно...»

Неожиданно для себя она всем телом потянувшись вперёд и горячо зашептала: — Успокойтесь, успокойтесь, Елизавета Константиновна.

Не отводя глаз от сидящего прямо перед ней Коли Лаптева, Елизавета Константиновна громко и отчётливо произнесла:

— Я достаточно спокойна!

Зиночка густо покраснела.

— Мне нечего волноваться, — продолжала Елизавета Константиновна. — Да, нечего. Вы, товарищ Лаптев, не ухмыляйтесь.

Теперь у Зиночки не осталось никаких сомнений. Она точно установила причину резкого тона Елизаветы Константиновны. Причиной были разговоры Лаптева.

Коля от неожиданности произнёс что-то невнятное, вроде «ну, вот ещё», и заёрзал на стуле. А председатель мягко остановил Елизавету Константиновну.

— Пожалуйста, по существу.

— Это по существу. Не беспокойтесь! Я не отчитывалась пять лет, дайте мне сказать всё. Я слышала, как товарищ Лаптев ходил по отделам и говорил, что я работала плохо, что не у всех, мол, были на руках членские книжки, и никто толком не знал о своих паях и о задолженности, и некоторые были с ним согласны. Не спорю: отчасти правда. Но я, товарищ Лаптев, — Елизавета Константиновна взглянула на Колю, — не принимаю и не приму вашей критики. Ведь вами руководит не забота о деятельности кассы, а личная неприязнь ко мне.

Лаптев стал ярко-багровым.

— И на чем основана ваша неприязнь? Только на том, что я не допускаю безразличного, несерьёзного отношения к расходованию государственных денег. Уже давно я внушаю вам это, и вы всегда сердитесь. Мне хотелось, хотелось привить вам умение обращаться с деньгами, которые вам доверяют, так, как будто они из собственного вашего кармана. Но вы упрямы. Вы иногда напутаете и просите: «Проведите как-нибудь, по другой статье... Вы же можете». Да, я могу. Но никогда не сделаю этого! Вы, Николай Григорьевич, наверное, больше меня занимаетесь политграмотой, а до сих пор не можете понять, что живете в государстве, в котором сами являетесь хозяином.

Елизавета Константиновна снова уже обращалась ко всему собранию. И от того, что у всех сидящих лица стали серьёзными, сосредоточенными, и от того, что даже самые непоседливые сидели тихо, внимательно слушали, она почувствовала, что правда, которая была в её словах, доходит до людей, все её понимают, соглашаются, и она начала успокаиваться.

Елизавета Константиновна приблизила к глазам тетрадочку, начала медленно читать отчёт. Читала она долго, называя цифру за цифрой, поясняя их, рассказывала, кто, когда вступил в члены кассы, кому были выданы ссуды, когда, по какой причине и за кем какая задолженность, — словом, всё, что, по её мнению, было нужно сообщить собранию.

В зале не было слышно ни обычных смешков, ни шуток. Каждый понимал, что собрание обсуждает важный вопрос — отчёт о пяти годах общественной работы. И Истомин, хоть все мысли его были дома, около внучки, сидел терпеливо и очень хотел дослушать всё до конца.

После сообщения ревизионной комиссии о порядке в делах кассы Елизавета Константиновна ещё раз попросила слова.

— Освободите, товарищи, меня от этой общественной работы. Надо выдвигать других, молодых. Да и не так теперь много дел будет, жизнь налаживается, людей, нуждающихся в помощи кассы, становится меньше...

Но на этот раз все поняли, что Елизавета Константиновна немного кривит душой и совсем не хочет, чтобы её переизбрали.

И только Истомин воспринял просьбу совершенно серьёзно.

— Странное дело, товарищи, — сказал удивлённо он, — очень странное... Елизавета Константиновна просит освободить её. А почему? Почему? — спрашиваю я. Работала удовлетворительно, никто из нуждающихся без ссуды не остал-

ся. А это ведь — главное! То, что формальности кое-какие не соблюдались, — да. Так уж то наша вина. Нагрузили всё на одного человека. Предлагаю выбрать Елизавету Константиновну вторично...

С видом человека, честно и до конца выполнившего свой долг, Истомин спокойно уселся на место.

А вслед за ним неожиданно для всех слово взял молча сидевший до этого человек в шинели. Неловко поднявшись и став вполоборота к председательскому столу, он обратился к собранию:

— Товарищи, прошу извинить. Может, не совсем уместно, но разрешите сказать... Я не член вашей кассы, и большинство не знает меня. Вернее, знают по фамилии... Я — Луконин...

— Луконин, — протянул Лаптев и вспомнил. Два года тому назад вот так же все собрались в этой комнате. Председатель месткома предложил взять на патронирование нетрудоспособного инвалида Отечественной войны Луконина. «Луконин, ну, конечно же, Луконин, — окончательно вспомнил Лаптев, — так вот он какой!» В тот раз коллектив вынес решение: ежемесячно отчислять несколько процентов заработка для создания инвалиду лучших условий жизни.

Лаптев удивлённо разглядывал Луконина. Назвав себя, тот от волнения замолчал, провёл рукой по волосам и, когда заговорил снова, голос его слегка дрожал.

— Как видите, товарищи, — здоров. Не пропала ваша забота... В начале месяца я вернулся с курорта, поступил работать. Тружусь... У меня специальность — электротехник. Утром я был в тресте, узнал о собрании. Хотел повидать всех сразу... Вот притопап. Пришёл, товарищи, поблагодарить... за вашу помощь.

Луконин достал носовой платок, вытер лоб и виски. Он отступил немного назад, так что ему стало видно всех сидящих, Елизавету Константиновну, председателя.

— И ещё два слова. Когда я болел, меня посещали незнакомые мне люди. И мужчины, и женщины, и из детского сада приходили, — застенчиво улыбнулся Луконин, — и очень часто навещала вас главный бухгалтер Елизавета Константиновна. Стыдно, но и по сей час не знаю её фамилии. Приходила, разговаривала, вкусные вещи приносила, в аптеку бегала, а вот фамилии не знаю... — Лицо Луконина озарила широкая доверчивая улыбка. Было в ней что-то беспомощно-детское, и все, видевшие её, не могли удержаться, чтобы не улыбнуться в ответ. — Сегодня, когда будет обсуждаться её общественная работа, — продолжал Луконин, — не могу не сказать, как много сделала уважаемая Елизавета Константиновна лично для меня... Ещё раз благодарю её. Ну, и всё, точка! Не буду я вам больше мешать. Извините... и до свиданья...

Особо кивнув Елизавете Константиновне, Луконин вышел. Неторопливо, прихрамывая, скромно, как и вошёл. После его ухода с минуту продолжалось молчание. Потом сразу поднялся лес рук. Добрая половина собравшихся желала продолжать прения. Зиновка удивлённо, будто впервые, разглядывала главного бухгалтера. Она не узнавала её. И Зиновке уже определённо казалось, что если завтра с самого утра Елизавета Константиновна снова начнёт «пилить» её за неэкономность, за какие-нибудь ошибки, то она, Зиновка, немедленно подчинится, согласится и не будет думать, что у Елизаветы Константиновны всё идёт от чёрствости, — нет, она будет думать о глубокой принципиальности Елизаветы Константиновны, о её мужественной, неподкупной требовательности, той требовательности, которой Зиновке ещё надо поучиться.

В самый разгар собрания, когда много хорошего было сказано по адресу Ели-

заветы Константиновны и ещё больше высказано разных осуждающих слов Лаптеву, ещё раз выступил Истомин.

— Я выражу общее мнение, — сказал он, — если предложу здесь же на собрании вынести благодарность нашему главному бухгалтеру, и пусть Елизавета Константиновна не обидится — ведь никакими деньгами не измеришь глубину общественного долга — но всё же предложу ещё из наших общих средств, из нашей кассы, премировать Елизавету Константиновну.

Все одобрительно зашумели, заулыбались. И Зиночка, уже не владея собой, крикнула громко на всю комнату: «Правильно, товарищ Истомин!» И хотя сразу же затем выяснилось, что премировать за счёт кассы никого не полагается — это не внесло разлада в общее настроение; все по-прежнему шумели и, словно сговорившись, повторяли друг другу: «не в этом, товарищи, главное».

Зиночке всё это страшно понравилось. Сильное, беспредельное чувство гордости за Елизавету Константиновну, за всех рядом сидящих охватило её и понесло куда-то высоко, высоко. Счастливая и взволнованная, она поворачивалась во все стороны и улыбалась.

Андрейкино слово

Отрывок из повести «Куда прячется Солнце»

Дни теперь стали длинные. Когда бы Андрейка ни заснул, утром он просыпается рано. Каждую ночь ему снится, что он спит в своей юрте. Снится, что его будит Нянька: подойдёт и стягивает с него зубами одеяло.

А во дворе кричит коза Катька, бодает рогами дверь юрты, стараясь открыть её. Рыжик весело ржёт, в нетерпении бьёт копытами, требует седло и уздечку с серебряными бляхами!

Бляхи звенят, звенят. Рыжик ржёт всё громче, Катька кричит-надрывается, к ней присоединяется Нянька со своим пронзительным лаем. А в общем оказывается, что Тудуп заиграл на горне и спугнул Андрейкиных друзей.

Раньше Андрейка постарался бы доглядеть свой сон, но сейчас он нарочно широко открывает глаза и молча поднимается на зарядку.

Тудуп думает, что Андрейка стал очень дисциплинированным. Андрейка же думает, что подкараулит утром «Победу» председателя колхоза, заберётся в багажник, туда, где шофёр Миша хранит запасное колесо, и тайком уедет в степь... Ну как ему жить одному в интернате, когда в степи светит такое солнце!

Тудуп — большой парень, комсомолец, ученик восьмого класса. Но что Тудуп знает о солнце? Ничего.

Что знает о солнце Афоня, друг Андрейки? Ничего. А учительница Вера Андреевна? Может быть, она знает, где на ночь прячется солнце, знает и молчит?

С Тудупом вообще нельзя ни о чём говорить, он учится только на пятёрки, а летом зарабатывает в колхозе трудодни. Ему некогда говорить, он всегда занят.

Афоня — другое дело. Афоня рад говорить сколько угодно, но с ним только интересно баловаться. А про солнце он как-то сказал:

— Врёшь ты всё, Андрейка. К солнцу ты не ездил, всё врёшь и выдумываешь. На собаке разве доедешь до солнца! Если бы у тебя был самолёт, тогда другое дело. А самолёт таким маленьким не дают.

Андрейка, конечно, обиделся. Это очень плохо, но он не забывал обид. Рань-

Костюковский Борис Александрович, прозаик, публицист (1914, г. Канск — 1992, Москва). Автор многих книг, в т. ч.: *Сибиряки*: повести и рассказы (Чита, 1947); *В горах Акатуй*: очерки (Чита, 1952); *Утро Андрея Шилина*: повесть (Чита 1954); *Снова весна*: повесть. 5-е изд. (Чита, 1955); *Дорога к солнцу*: повесть (М., 1963); *Зовут его Валерка*: повесть (М.: Дет. лит., 1965); *Признание в любви*: повести и рассказы (М., 1965); *Жизнь как она есть*: повесть (М.: Дет. лит., 1973); *Земные братья*: повести (М., 1975); *Нить Ариадны*: докум.-худож. повесть (М., 1975); *Комиссары на линии огня. 1941–1945* (М., 1984); *Избранное* (М., 1984) и др. Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1940 – сер. 1950-х гг.

ше бы он просто побил Афоню, но теперь этого сделать нельзя. С тех пор как Андрейка узнал, что дядя Костя Суворов — Афонин отец, драться с Афоней ему невозможно. Ведь он дал дяде Косте слово не бить Афоню, а слово у настоящего мужчины крепче железа. Это знает всякий.

Отец, например, дал слово на колхозном собрании от каждой овцы настричь по пять килограммов шерсти. Кто бы стал уважать Арсена Нимаева, Андрейкиного отца, если бы он не сдержал своего слова? Как показался бы Андрейка на глаза тому же Тудупу или самой зловредной девчонке, какая только существует на свете, Фиске-Анфиске, если бы отец настриг от каждой овцы не пять, а четыре килограмма? Четыре — это тоже немало, но для Арсена Нимаева мало. «Слово не воробей, выпустишь — не поймаешь», — говаривал дед Егор. И это правда. Воробей очень вёрткий, хитрый, быстрый, но поймать его можно, а слово... Слово не воробей. Человек выпустил его из своего рта, и оно разлетелось по всему свету и, сколько людей его услышало, каждому залетело в ухо и живёт там. Попробуй достань!

И вот наступает день, когда председатель колхоза надевает на нос очки, долго рассматривает какие-то бумажки, а все молчат и ждут, что он скажет. Происходит это недалеко от интерната — в колхозном клубе.

Андрейка тоже пробрался сюда и ждёт. Председатель колхоза Фёдор Трифонович говорит сначала непонятные слова, но все его слушают. Андрейка тоже. И вот Фёдор Трифонович сказал:

— С честью сдержал своё слово Арсен Нимаев. От каждой овцы он настриг по пять килограммов и триста граммов шерсти. От ста овец он получил сто десять ягнят и всех их сохранил. Хорошо поработал наш Арсен Нимаев. Исключительно!

Вот в эту минуту все захлопали в ладоши, и слово зашевелилось у каждого в ушах, зашевелилось и... улетело к Андрейке.

Отца на собрании не было: он не приехал. Андрейка стоял около самых дверей, и к нему слетались хорошие слова. Председатель осмотрел зал и спросил:

— А где же Арсен Нимаев?

Все стали осматриваться, и кто-то выкрикнул:

— Нет Арсена! Видно, не смог оставить отару.

Потом ещё кто-то шутливо сказал:

— Тут представитель от Нимаева есть — Андрейка у двери стоит.

Председатель нацелился очками на дверь, увидел там Андрейку и серьёзно сказал:

— Очень хорошо. Исключительно. Передай своему отцу, Андрей Нимаев, что он занесён на областную Доску почёта. Исключительно умеет держать слово Арсен Нимаев!

Да, слово не воробей. Его не поймаешь. Но если ты сдержал своё обещание, то слова сами к тебе летаются. Как воробьи. Как ласточки, стрижи и бальжимуры — жаворонки.

Если колхозная Доска почёта, та, что у правления, очень большая, то как выглядит областная Доска почёта?

Арсена Нимаева не было на собрании, поэтому все слова летели в уши к его сыну Андрейке. И слова эти пели, смеялись, даже щекотали уши Андрейки.

Всё собрание смотрело на Андрейку Нимаева, как будто он сам в эту минуту стоял на областной Доске почёта во весь свой рост, в дэгыле и малахае с красными кисточками на макушке.

— Ага, Нимаев, кстати ты пришёл. Сколько же ты обещаешь настричь шерсти в этом году? Подумай сурезно и отвечай. Исключительно сурезно.

Вот она, эта минута! Слова уже не щекочут Андрейкины уши, они разлетелись в разные стороны, будто их сдуло сильным ветром, будто поднялся степной шурган.

Надо сейчас сказать слово. Оно улетит к председателю колхоза. Ко всем колхозникам. И это слово вместо отца должен сказать Андрейка Нимаев.

— Шесть!

Неужели это сказал Андрейка? И, прежде чем Андрейка сообразил, колхозники захлопали в ладоши.

— Шесть! — что есть мочи закричал Андрейка.

И колхозники почему-то вдруг засмеялись и захлопали ещё пуще прежнего.

Только тут Андрейка оглянулся и увидел позади себя отца. Арсен Нимаев стоял в дверях и улыбался.

— Запиши шесть, Фёдор Трифонович, — сказал отец, всё так же улыбаясь. — Как думаешь, сын, сдержим мы своё слово?

Но тут Андрейка почему-то застеснялся и уткнулся лицом в тёплый отцов дёгыл.

— Пиши, Фёдор Трифонович, — сказал отец, крепко прижимая к себе голову сына. — Пиши, что я, моя жена Сэсык и мой сын Андрейка получают и сохраняют от каждой сотни овец сто двадцать ягнят.

— Исключительно молодец! — сказал председатель.

«...и мой сын Андрейка!» — повторил про себя Андрейка и почувствовал, как слова снова полетели к нему в уши. Воробьи! Ласточки! Стрижи! Бальжимуры! Андрейка не выдержал и выскочил на крыльцо клуба.

У коновязи стояли Воронко и Рыжик. На Андрейку со всего маха набросилась Нянька и повалила его на землю. Он пытался подняться, но Нянька снова и снова опрокидывала его. Андрейка знал, что стоит ему сказать слово, и Нянька перестанет баловаться, но он нарочно молчал. Пусть Нянька потешится, пусть поваляет его по земле. Она хватала зубами его голые руки, она несколько раз лизнула Андрейкины щёки: пожалуйста, ей всё сегодня разрешилось.

Добрый Рыжик подумал, что Нянька обижает Андрейку, и громко заржал. Он рвался с коновязи на помощь своему маленькому хозяину. Андрейка же продолжал сопеть и молчать. Хорошо, когда у человека есть такие друзья, как Нянька и Рыжик. Воронко тоже хороший конь, но он молчит, а вот Андрейкин Рыжик выходит из себя. Интересно, почему отец привёл в поводу Рыжика и прихватил с собой Няньку? Он ведь никогда не разрешал Няньке уходить от отары. Всё-таки сильная собака Нянька, Андрейке с ней ни за что не справиться. И вдруг Андрейка чувствует над собой горячее, как из котла, дыхание и хватает руками ласковую морду. Ну конечно, это Рыжик. Он оборвал повод и примчался Андрейке на помощь.

Ах ты, Рыжик, Рыжик! До чего же у тебя большие и тёплые губы... Тебе обязательно надо пощупать губами Андрейкины волосы. Да, они теперь совсем короткие, ты их нехватишь.

В интернате не разрешают носить длинные волосы. Но всё-таки, Рыжик, ты узнал своего хозяина!

Андрейке и вовсе теперь не встать. Рыжик поддел Няньку мордой и отбросил в сторону, но от Няньки не так-то легко отделаться. Она схватила Рыжика за хвост и тянет.

Не ударил бы Рыжик её задней ногой: он ведь не очень любит, когда его тянут за хвост.

— Н-но, Нянька! — негромко сказал Андрейка, и собака тут же выпустила хвост лошади!

Нянька завиляла хвостом, но потом увидела, что Андрейка лежит, — значит, можно продолжать игру. Она набросилась на него с таким громким лаем, что Рыжик отпрянул в сторону. Опять положением завладела Нянька, но ненадолго. Рыжик взвился на дыбы и грозно заржал.

Уйди, Нянька, не мешай Рыжику здороваться с Андрейкой!

Но разве Нянька уйдёт! Тогда Андрейка приказывает:

— Ложись! Ложись, Нянька!

И собака тут же как подкошенная валится на землю рядом с Андрейкой. Рыжик думает, что он такой храбрец — напугал Няньку. Ну и пусть думает. Андрейке нравится обманывать Рыжика. Но самый сильный здесь всё-таки Андрейка. Не верите? Вот высится над ним огромный Рыжик, лезет мордой ему под дэгыл, валяет его по земле, и вдруг Андрейка негромко говорит:

— Ложись, Рыжик, ложись!

Длинные ноги лошади подламываются, она валится на землю. Теперь Андрейка встает во весь рост, растрёпанный, с соломинками в волосах, в измазанном дэгыле, и строго осматривает своих поверженных друзей. В сущности, он не так уж сердит на них, как это может показаться со стороны. Андрейка лезет в карманы дэгыла за сахаром, но — увы! — сахару там нет. И конфет тоже нет. Тогда он просто протягивает руки — левую Рыжику, а правую Няньке. Нянька облизывает руку, а Рыжик нюхает и легонько хватается ладошку губами, как будто руки сахарные. Андрейка начинает стряхивать с себя землю, Нянька помогает ему. Она рада облизать своего Андрейку с ног до головы. Но тут Андрейка вспоминает, как это не любит мама Сэсык, и угрожающе произносит:

— Н-но!

Нянька покорно опускает морду. А тем временем из клуба выходит отец. Он быстро окидывает взглядом коновязь, Андрейку, Рыжика, Няньку и, ничего не спрашивая, только произносит своё удивлённое «цха». Рыжик тут же идёт сам к коновязи, а Нянька ложится на землю и вытягивает морду. Ясно и без слов, что Андрейка ни в чём не виноват, — это всё они набедакурили. Отец подходит к Андрейке, поворачивает его кругом. Нянька тревожно вскакивает, на её спине поднимается шерсть. Может, Нянька думает, что отец хочет наказать Андрейку, и приготовилась его защищать?

Но нет, отец и не собирается наказывать Андрейку, он просто стряхивает с его спины грязь и треплет его волосы. Нянька начинает тереться своим боком о ногу отца. Рыжик тоже возвращается к ним, оборванная уздечка болтается на его морде. Отец берёт уздечку и забрасывает на шею Рыжика.

Потом он легко поднимает Андрейку и вскидывает в седло. Отец не отрывает от Андрейки своих рук. Он спрашивает:

— Ну, сын, сдержим слово?

Давно уже Андрейка не сидел вот так на своём Рыжике. А надо сказать, что стоит ему взобраться в седло, как он становится совсем другим человеком.

Разве это Андрейка несколько минут назад валялся по земле? Разве он разрешал Няньке лизать щёки и руки? Нет, то был совсем-совсем не он. Настоящий Андрейка сидит сейчас в седле, и отец задаёт ему вопрос. Лицо отца серьёзно, и в глазах нет улыбки. Это вопрос для взрослого человека. Для товарища. Для помощника. Не думайте, что, пока Андрейка баловался с Нянькой и Рыжиком, он забыл обо всём, что происходило в клубе. Он всё помнит. Надо

теперь настричь от каждой овцы по шесть килограммов шерсти. Сохранить всех ягнят.

Чтобы на овцах росло много шерсти, надо их хорошо кормить. Надо выбирать пастбища и чуть свет выгонять из хотона овец, чтобы дотемна они успели выщипать как можно больше травы. Надо вовремя гонять отару на водопой. Не прозевать пору весенней стрижки, когда овцы начинают линять и зря теряют шерсть в степи. Надо... В общем, наш Андрейка знает многое из того, что должен знать настоящий чабан. Если вы спросите его, откуда он это знает, кто его этому учил, едва ли он ответит. Он видел, как отец приезжает на новое пастбище, рвёт пучки травы и пробует их на зуб, а потом даже съедает. Зачем это делает отец? Андрейка никогда его не спрашивал, но сам всегда на новом выгоне жуёт травинки. Если трава сухая, как сено, если в ней мало сока, то Андрейка знает, что это плохо для овец. Может, надо перегнать отару вон в ту низинку? Там трава зеленее и свежее, а это поле пусть дожждётся дождей и «наберёт силу». Как трава набирает силу? Об этом Андрейка думал часто и кое-что придумал. Возможно, мы с вами ещё узнаем его мысли на этот счёт.

Но отец задал вопрос, и надо ответить. Пусть отец не беспокоится. Ведь слово давал не только Арсен Нимаев, но и он, Андрейка. Не подоспей вовремя отец на собрание, и Андрейка один дал бы это слово. Отцу нечего беспокоиться. Всё будет в порядке. И мать, и Нянька, и Рыжик, и Катька — все будут помогать отцу и Андрейке выполнять слово. Но вот беда: всего этого Андрейка сказать не умеет. В его голове это складно и ладно, там столько всего, что отец, узнай он это, здорово удивился бы.

«Вот, оказывается, какой сын у меня вырос! — сказал бы он. — Всё знает мой Андрейка. И как овец пасти. И как охранять отару от волков. И как выбрать сочное пастбище. Даже умеет решать задачки, знает все буквы...» Андрейка вспомнил, сколько он узнал за эту зиму в школе, и ему самому даже стало удивительно.

— Ладно, — сказал Андрейка и сразу охрип. — Ладно. — Он кашлянул и вдруг выпалил: — Слово не воробей, выпустишь — не поймашь!

Почему отцу стало так весело, почему он вдруг выхватил Андрейку из седла и высоко подбросил над собой?

— Ишь ты, воробей! — воскликнул он, снова усаживая Андрейку в седло.

Глаза отца искрились, блестели белые зубы, у носа собрались смешные морщинки. Отличное настроение! Ясно было, что отец твёрдо решил сдержать как следует своё и Андрейкино слово.

Агния Кузнецова

С детьми в Михайловском

Из повести о Наталье Николаевне
Пушкиной «А душу твою люблю...»

Она приехала в Михайловское 19 мая 1841 года. Известный петербургский мастер Пермагоров сделал надгробие Пушкину. Оно понравилось ей изяществом своим, простотой и в то же время значительностью. Первый раз Наталья Николаевна пришла на могилу мужа одна, её сопровождал только дядька поэта Никита Тимофеевич.

Она стояла на коленях, обхватив руками обложенный дёрном холмик с деревянным крестом, сотрясаясь в рыданиях. Плакал и Никита Тимофеевич, держа в руках помятый картуз.

Он поднял Наталью Николаевну, и она вытерла платком слезы, потом поглядела на Никиту Тимофеевича и промокнула своим платком его глаза и щеки.

— Он выбрал это место сам, когда приезжал сюда в тысяча восемьсот тридцать шестом году хоронить мать... А мне оно не очень по душе, Никита.

Но если даже в ту страшную февральскую ночь она могла бы сопровождать гроб мужа, разве возможно было распорядиться против его желания? Несмотря на возражение придворных лиц, она похоронила Пушкина во фраке, а не в «полосатом кафтане» камер-юнкера, о чем, между прочим, он как-то раз обмолвился в письме к ней, и менее чуткая жена могла бы даже не обратить на это внимания.

Он писал ей около 28 июня 1834 года, когда она жила с детьми на Полотняном заводе:

«Я крепко думаю об отставке. Должно подумать о судьбе детей. Имение отца, как я в том удостоверился, расстроено до невозможности и только строгой экономией может ещё поправиться...»

Уми я сегодня, что с вами будет? мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и ещё на тесном Петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку. Ты баба умная и добрая. Ты по-

Кузнецова Агния Александровна, прозаик (1911, Иркутск — 1996, Москва). Автор многих книг для детей и юношества, в т. ч.: *В Чулымской тайге*: повесть (Иркутск, 1939); *Иришка-пулемётчица* (Иркутск, 1942); *Приключения Гаврилки Губина* (Иркутск, 1942); *Чёртова дюжина*: приключ. повесть (Иркутск, 1946); *Повести* (Иркутск, 1949); *Четвёртая гора*: рассказы (Иркутск, 1955); *Честное комсомольское*: повесть (М., 1959); *Много на земле дорог*: повесть (М., 1962); *Ночевала тучка золотая*: повесть (М., 1971); *Земной поклон*: повести (М. 1979); *Достоинство*: повести (М., 1980); *Собрание сочинений*. В 3-х т. (М., 1982–1984); *Моя мадонна* (М., 1987) и др. Лауреат Государственной премии РСФСР (1977). Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1930–50-е гг.

нимаешь необходимость; дай сделаться мне богатым — а там, пожалуй, и ку-тить можем в свою голову».

Для того чтобы поставить памятник, нужно было сделать кирпичный цоколь и под все четыре стены подвести каменный фундамент на глубину два с половиной аршина. И выложить кирпичный склеп для гроба. Гроб был вынут из земли и до завершения работ поставлен в подвал. Наталья Николаевна в страшный август 1841 года как бы снова хоронила Пушкина, и эти похороны были трагичнее обычных.

Теперь она мысленно видит, как идёт торжественная панихида, снова слышит слабый голос священника и нескладное пение нескольких деревенских певчих... Она пытается гнать от себя эти воспоминания, не в её силах они теперь. Но как забыть этот, ещё не поддавшийся разрушению, гроб, который она видит, видит, видит сквозь пальцы мокрых от слёз рук, закрывающих лицо, даже теперь, через двадцать три года...

Не узнает Наталья Николаевна, что вечное пристанище Пушкина тревожили ещё не раз после вторых его похорон.

В 1902 году вскрывали могилу потому, что во время установки мраморной балюстрады возле надгробья произошёл обвал почвы, и настолько глубокий, что обнаружился дубовый, вполне сохранившийся гроб, отделанный парчовым позументом. Потом, в 1953 году — при восстановлении памятника на могиле.

С. С. Гейченко, нынешний хранитель Пушкинского заповедника, рассказал: «На дне склепа мы увидели гроб с прахом поэта. Гроб стоит с запада на восток. Он сделан из двух сшитых железными коваными гвоздями дубовых досок, с медными ручками по бокам. Верхняя крышка сгнила и обрушилась внутрь гроба. Дерево коричневого цвета. Хорошо сохранились стенки, изголовье и подножие гроба. Никаких следов ящика, в котором гроб был привезён 5 февраля 1837 года, не обнаружено. На дне склепа — остатки еловых ветвей. Следов позумента не обнаружено. Прах Пушкина сильно истлел. Нетленными оказались волосы... Работа была закончена 30 августа. Все материалы реставрации 1953 года — фотографии, обмеры, а также кусочек дерева и гвоздь от гроба Пушкина — бережно хранятся в музейном фонде заповедника».

Когда после вторичных похорон Пушкина Наталья Николаевна выплакала всю ожившую боль, она привела детей на могилу отца. Они собирали цветы, плели венки, украшая ими памятник Пушкину.

Все годы после смерти Пушкина сердце Натальи Николаевны рвалось в Михайловское. И вот самое главное было сделано — памятник поставлен. Но ей хотелось жить в Михайловском, бывать на могиле мужа, водить туда детей. Ей хотелось иметь собственное пристанище, не зависеть от брата и его жены. Но дом оказался таким ветхим, усадьба такой разорённой, что Наталья Николаевна, никогда не соприкасавшаяся с подобными делами, не могла найти выхода из создавшегося положения.

Она писала брату:

«Ты был бы очень мил, если бы приехал к нам. Если бы ты только знал, как я нуждаюсь в твоих советах. Вот я облечена титулом опекуна и предоставлена своему глубокому невежеству в отношении всего того, что касается сельско-

го хозяйства. Поэтому я не решаюсь делать никаких распоряжений из опасения, что староста рассмеётся мне прямо в лицо».

Но все же Михайловское было прекрасно! Не зря так любил его Пушкин. На клумбах распустились цветы, радуя взгляд своей короткой, но украшающей мир жизнью. Детские голоса оживили запущенные аллеи, похорошел пруд, украшенный лилиями, распластавшимися на тихой его воде, и стройными ярко-зелёными водорослями, окаймляющими берега его. Пели успокаивающе птицы, перепархивая с кустов на деревья.

Одну из полян Тригорского украшала огромная ель-шатёр, о которой так много слышала Наталья Николаевна от поэта, она высоко поднимала в небо зелёную крону, широко разбросав вокруг стройного ствола своего роскошные длинные ветви. Она действительно заменяла шатёр, и не раз Пушкин под ней, как под надёжной крышей, переживал грозы и ливни.

На взгорке, высоко разметав в голубизне неба могучие ветви, стоял тот самый дуб, о котором Пушкин писал:

У Лукоморья дуб зелёный.
Златая цепь на дубе том.
И днём и ночью кот учёный
Все ходит по цепи кругом.

Дети изображали героев сказки. С трудом забравшись на самый низкий сук, сидела Машенька, расчёсывая гребнем длинные тёмные волосы. Сашенька, сделав страшное лицо, растопырив пальцы рук, изображал лешего. Гриша, мяукая, ходил на четвереньках вокруг огромного ствола дуба. А Таша рассматривала в траве «следы неведомых зверей» и, конечно, видела их, так же как все дети видели вдалеке избушку на курьих ножках, без окон и без дверей.

Наталья Николаевна выходила с детьми за околицу Михайловского, где расстился цветущий простор лугов и безбрежная лазурная степь неба, где в зелёных берегах неторопливо бежала Сороть и медленно кружила крыльями ветряная мельница. В сторону Тригорского удалялась дорога, по которой Пушкин хаживал или ездил верхом к своим друзьям Осиповым. И на дороге той не раз стояла она, сдерживая слезы, и смотрела на три старые сосны, вокруг которых поднималась уже немолодая поросль, это здесь Пушкин сказал: «Здравствуй, племя младое, знакомое...»

В Михайловском безраздельно царил Пушкин. Его душа, воплощённая в стихи, жила в доме, в аллеях парка, на Сороти, в Тригорском. Он был всюду. И Наталья Николаевна ежеминутно ощущала его присутствие. Это и увеличивало её горе и вселяло в неё какую-то непонятную силу.

Жить было трудно. Денег, которые по указу императора выплачивались вдове, не хватало. Не раз Наталья Николаевна брала деньги в долг у своих горничных. Однажды неожиданно в Михайловское приехал старый друг Пушкиных Вяземский, и не оказалось даже свечей и других необходимых предметов, чтобы принять гостя. Их пришлось просить у соседей в Тригорском.

Вяземский всегда был неравнодушен к Наталье Николаевне. Но, уезжая из Михайловского, прощаясь с ней, он готов был поклониться ей в ноги. Сделать это он, естественно, постеснялся и только сказал с чувством: «Вы, Наталья Николаевна, и сами-то, наверное, не представляете, какие великие дела свершили здесь в память Пушкина».

Всю дорогу от Михайловского до Пскова Вяземский думал об этом. Не зря Пушкин говорил, что душу своей мадонны он любил более её прекрасного лица.

Вяземский вспоминал родовую часовенку Михайловского на «Поклонной горке», где Наталья Николаевна в это лето устроила «приёмную-лазарет». Об этом разговор шёл по всей округе. Ничего подобного никогда на Псковщине не бывало. «Казённый лекарь» обычно объезжал деревни и села один раз в 2-3 месяца. В Михайловском «лазарете» принимал больных — крепостных крестьян всей округи — доктор Натальи Николаевны, которого она привезла с собой, потому что дети её часто болели.

Вяземский не мог забыть ставшего ещё прекраснее от волнения лица Натальи Николаевны, когда она, устроив сходку пушкинских крестьян, произносила слова, рвущиеся из глубины сердца: «Клянитесь мне, что во веки веков вы будете свято хранить рощи, парк, усадьбу Михайловского».

Гостил в Михайловском и Сергей Львович. Он осложнял жизнь семьи Пушкиных своими требованиями и причудами. Но Наталья Николаевна безропотно сносила всё: ведь это был отец Пушкина.

Приезжали Фризенгофы. Они приносили радость. Оживал старый дом. Сёстры очень любили Наталью Ивановну Фризенгоф, дети так и льнули к ней. Она хорошо рисовала. И по сие время остались её рисунки, изображавшие Михайловское и Тригорское, Сергея Львовича, сидящего на стуле со шляпой в руках, Прасковью Александровну Осипову, её дочь Евпраксинью Николаевну, детей Пушкиных, сидящих за столом, и Наталью Николаевну с Машей, стоящих у берёзы.

— Ну вот что, дети, — однажды сказала Наталья Ивановна, — я предлагаю сделать альбом из засушенных цветов Михайловского и Тригорского. Кто желает, прошу следовать за мной.

С радостными криками дети бросились за Натальей Ивановной. Они с восторгом рвали цветы и травы. Каждый отдельно засушивал их. А когда всё было готово, расположились в комнате за столом и прикрепляли растения к листам альбома, и Наталья Ивановна делала надписи: кто, когда и где что нашёл. Они вовлекли в игру и Наталью Николаевну, и Александру Николаевну, и Анну Николаевну Вульф.

Альбом этот и сейчас, в наши дни, хранится в Бродзянском замке.

Время шло. Детей нужно было учить. Для этого требовались хорошие учителя и большие деньги. Как трудно, беспредельно трудно было одной решать все вопросы хозяйства и воспитания четверых детей!

Она с семьёй снова уезжает в Петербург.

Наталья Николаевна вспоминает своё письмо другу Пушкина Нащокину:

«Моё пребывание в Михайловском, которое вам уже известно, доставило мне утешение исполнить сердечный обет, давно мною предпринятый. Могила мужа моего находится на тихом, уединённом месте, место расположения однакож не так величаво, как рисовалось в моем воображении... Я намерена возвратиться туда в мае месяце, если вам и всему семейству вашему способно перемещаться, то приезжайте навестить нас.

...Дети вас также не забыли, все они, слава богу, здоровы и, на мои глаза, прекрасны. Старшие берут несколько уроков, говорят хорошо по-немецки, порядочно по-французски и пишут и читают на обоих языках. Со временем они к вам будут писать».

...Наталье Николаевне вспоминается морозный, снежный сочельник. Она остановила сани возле витрины с ёлочными игрушками и вошла в магазин. Почему-то сразу не обратила внимания на непривычную для магазина тишину, не заметила, как отступили от прилавка находившиеся там покупатели и с каким усердием раскладывали продавцы на столах игрушки, которых не было даже на витринах. Однако вскоре поняла, что здесь что-то происходит, хотя из-за своей близорукости не сразу увидела императора; он был высок ростом и, возвышаясь над всеми, выбирал игрушки. Только когда она подошла к прилавку, увидела его.

Наталья Николаевна растерянно приветствовала императора. Он узнал её и приветливо обратился к ней:

— Мадам! Вы возвратились наконец в Петербург. Я рад буду видеть вас при дворе.

И судьба Натальи Николаевны снова повернулась. После этих слов императора она обязана была возвратиться ко двору.

Её появление во дворце, на балах вызвало в петербургском аристократическом обществе осуждение и гнев. Столько лет прожив в уединении, она и не знала, что не кому-нибудь, а только ей приписывали вину в смерти великого поэта. Друзья и родные скрывали от неё то враждебное отношение, которое сложилось к ней в среде многих литераторов и в свете. Но тем не менее она обязана была бывать хоть изредка при дворе: во дворце, на балах, сопровождать императрицу.

В 1849 году Наталья Николаевна писала Ланскому:

«Втираться в интимные придворные круги — ты знаешь моё к тому отношение; я боюсь оказаться не на своём месте и подвергнуться какому-нибудь унижению. Я нахожу, что мы должны появляться при дворе только когда получаем на то приказание, в противном случае лучше сидеть спокойно дома. Я всегда придерживалась этого принципа и никогда не бывала в неловком положении. Какой-то инстинкт меня от этого удерживает».

...Ей вспомнился костюмированный придворный бал. Тётушка Екатерина Ивановна в этот раз превзошла все ожидания: много времени и денег затратила на приготовление еврейского костюма по старинному рисунку, изображающему Ревекку. Наталья Николаевна словно наяву видела длинный фиолетовый кафтан, изящно облегающий её фигуру, над которым долго билась домашняя портниха Загряжской, широкие палевые шаровары, покрывало из лёгкой белой шерсти, мягкими складками с затылка спускающееся на плечи и спину. Она была в маске, но император сразу узнал её и подозвал к императрице. Та долго восхищалась ею и пожелала иметь в своём альбоме портрет Натальи Николаевны в костюме Ревекки. Художник Гау немедленно был прислан императрицей к Пушкиной, и ей пришлось часами позировать ему. Он в несколько сеансов нарисовал Наталью Николаевну, и портрет получился очень удачным. И вот теперь, через много лет, когда она лежит в постели, распластанная, придавленная тяжёлой болезнью, вспоминается этот портрет. Ей тогда было всего тридцать лет, она сознавала силу своей красоты, но никогда не гордилась этим... «Красота моя от бога», — говорила она.

На том костюмированном балу она, как и много лет назад, снова танцевала с императором, и, как прежде, он глядел на неё умоляющим и приказывающим взглядом. На этот раз — больше приказывающим. Пушкина не было в живых, и какое теперь расстояние могло разделить царя и избранную им женщину? Так,

очевидно, считали и в свете. Во всяком случае, Наталье Николаевне стали известны слова Идалии Полетики: «Натали раньше необходимо было блюсти честь Пушкина, теперь его, слава богу, нет».

О, как ненавидела Идалия даже мёртвого Пушкина! Если бы знала Наталья Николаевна — за что? Если б кто-то знал, за что была такая ненависть?! Ненависть не пассивная, которую иногда человек молча таит в себе, надолго забывая о ней, только изредка пробуждаясь, она даёт о себе знать. У Идалии ненависть к Пушкину была активной, постоянной, с юности и до конца её долгих дней.

Образ Идалии Полетики возник в воображении Натальи Николаевны. Вот она стоит перед ней в дверях своей гостиной, во время того ужасного свидания с Дантесом. Идалия очень хороша: с чудесными, совершенно необычными волосами цвета меди, с розовым лицом, как пудрой покрытым белым пушком. У неё прекрасные зеленоватые, но недобрые глаза, губы сложены всегда в ироническую усмешку. Прекрасные черты лица. Она женственна. Грациозна, как избалованная кошечка.

Теперь Идалия постарела. Поблекли её краски, потускнели чудесные волосы. Она и Наталья Николаевна иногда встречаются у знакомых, улыбаются друг другу. И никто не знает, какие чувства охватывают Наталью Николаевну при этих встречах. Кому какое дело, что не простит она Идалии её необъяснимой ненависти к Пушкину. Не простит того подстроенного свидания с Дантесом. Не уймёт необъяснимой подозрительности, что Идалия в чём-то была замешана в трагической кончине Пушкина. В чём же? Не знает этого Наталья Николаевна. Просто так чувствует никогда не обманывающее её сердце-вещун. И никто этого теперь не узнает. Годы уносят людей, стирают их следы.

...Снова она слышит свой отчаянный крик: «Пушкин, ты будешь жить!» И все мысли, все чувства сосредоточиваются на далёком прошлом, которое горьким осадком убивало все радости жизни.

Гавриил Кунгуров

Путь в Китай

Отрывок из повести «Албазинская крепость»

Таял снег, чернели дороги, рушился санный путь. Посольство Спафария после месячного пути прибыло в Тобольский городок. Ожидая конца ледохода на Иртыше, Спафарий задержался в Тобольском городке ненадолго.

В городок ежегодно съезжались купцы из далёкой Бухары, калмыцких степей, остяцких стойбищ. Попадали в Тобольский городок люди даже из Китая. Спафарий терпеливо расспрашивал бывальцев о коротких путях в Китай, старательно заносил в дорожный дневник их вести.

В начале мая Иртыш очистился ото льда. Спафарий подобрал для посольства проводящих, гребцов и иных, потребных в пути, умелых людей.

Посольство погрузилось на три плоскодонных больших дощаника и поплыло рекой Иртышом. При малых задержках Спафарий плыл около месяца до Енисейского волока. Одолев с большими муками волок, плыл Енисеем до впадения в него Ангара.

Буйная Ангара принесла множество хлопот и мучений. Спафарий сделал в дневнике пометку: «Август. День седьмой. На левой стороне бык, и в том месте горы высокие и каменья во всю реку. О те каменья воды бьют с безудержной силой и буйством, от того шум и рёв страшный по лесам и горам проносится. Того же числа приплыли на Шаманский порог. Пристав, выгружали всё на берег, чтобы обойти по горам тот сердитый не в меру порог, иначе дощаники побьёт, порушит, потопит. Тянули дощаники заводом шесть вёрст. Каменья на реке самые крутые, вода бьёт, и волны, будто горы, а от пены белы, словно снегом обильным посыпаны».

Жилых мест не встречалось. Люди посольства срывали с голов шапки, размахисто крестились на частые могильные кресты. Те кресты ставились на могилах погибших и утонувших на переправах через пороги и буйные перекаты.

С большими трудами и помехами одолели многие сердитые пороги Ангара: Пьяный, Гребень, Похмельный, Падун. В сентябре приплыли в Иркутский острог.

Кунгуров Гавриил Филиппович, прозаик, публицист (1903, Забайкалье — 1981, Иркутск). Автор многих книг, в т. ч.: *Топка* (М.; Иркутск, 1935); *Артамошка Лузин* (Иркутск, 1937); *Путешествие в Китай*: ист. повесть (Иркутск, 1940); То же, перераб. и доп., под загл. *Албазинская крепость* (М., 1959); *Моя Родина непобедима*: рассказы (Иркутск, 1941); *Тыловые рассказы* (Иркутск, 1942); *Золотая степь*: рассказы о Монголии (М., 1946); *Свет не погас*: повесть (Иркутск, 1948); *Бессмертное имя*: рассказы (Иркутск, 1952); *Наташа Брускова*: роман (Иркутск, 1959); *Хозяева тайги*: сказки (Новосибирск, 1962); *Сибирь и литература* (Иркутск, 1965); *Оранжевое солнце*: повесть (М., 1976) и др. Докт. филол. наук. Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

Оглядели острог: и нов, и крепок, и люден...

Спафарий занёс в дневник: «А острог Иркутский стоит на берегу Ангары, на ровном, удобном месте... Строением зело пригож, обнесён высоким бревенчатым частоколом с деревянными башнями. А жилых казацких и иных дворов боле сорока, а места окрест острога самые хлебопашные и травные».

В Иркутском остроге чинили побитые дощаники, грузили запасы, собирали снасть и многое иное — готовились к переходу через великий Байкал.

Ангарой плыли недолго. Ширилась река гладкой синью и терялась в тумане. Сумрачно вглядывался Спафарий в густой холодный туман. Вышли к Байкалу в яркий день. Синяя зыбь озера тянулась бесконечно, вдали едва заметным очертанием вырисовывались пики гор. Нехоженные, дикие леса, каменистые утёсы плотно оцепили Байкал. Было озеро заковано в камень. Многие из людей посольства, боясь свирепости Байкала, молили Спафария отпустить их.

— Студёна вода, черно и бездонна, — плакали они, — несёт от неё могилую...

Спафарий отвечал спокойно:

— Над всем всеилен господь... Молитвами государя минуем угрозу.

Едва дощаники отплыли от берега, с Байкала подул ветер. Волны, взлетая зелёными брызгами, бились о скалы и пенились. Спафарий велел вернуться, ждать доброй погоды и попутного ветра. К вечеру над Байкалом повисли тучи, синие воды стали черными. Свиристел, выл, метался ветер. Байкал вздымался огромными горами и бешено рвался из каменных оков. От рокота и гудения воды дрожала земля, люди посольства в страхе смотрели на обезумевший Байкал. Вглядываясь в густую темень, дозорный казак кутался в долгополую шубу и при каждом ударе волн об утёс шептал молитву.

Даже Спафарий, объехавший многие земли, познавший немало чудес и претерпевший тяжкие невзгоды, сидя в корабельной каморе, затеплил лампаду перед иконой Спаса, просил о заступничестве и спасении.

Три дня стояли дощаники, ожидая затишья.

Байкал стих внезапно. Поутру Спафарий и его люди не узнали в нем свирепого буяна. Воды хрустальной чистоты сверкали на солнце, отражались в них голубизна небес и очертания гор. Подул лёгкий попутный ветер. Слегка заморщинаясь гладкая поверхность. В прозрачной, чуть голубой воде на огромной глубине видны были камни, водоросли, косяки рыб. В заводях беспечно кувыркались утки, купались лебеди. По склонам гор свистели птицы, пахло смолой кедров, сосен, лиственниц. По узкой тропе спускались на водопой горные козули.

Дощаники отплыли от берега, гребцы дружно ударили вёслами и, разрезая водную гладь Байкала, дощаники понеслись вдаль, на противоположный берег, в сторону едва синеющих гор.

Спафарий вышел на помост, дивился красоте и спокойствию Байкала. Однако спокойствие длилось недолго: подул резкий боковой ветер. С востока полнеба охватила тень. Чёрными гребнями волн ошкетинился Байкал. Тёмно-синяя пучина заклокотала, запенилась. Дощаники взлетали на громады волн, подобно подбитым чайкам. Гребцы налегли на вёсла, но дощаники относилось в сторону. Бросая по волнам, дощаник Спафария прибило к устью реки Переёмной, едва не разбив его о каменистый берег. Второй отбросило на много вёрст дальше, третий выбросило на берег, выломав борт.

Ночью закрутили вихри, выпал глубокий снег.

Буря на Байкале свирепела. Спафарий посылал людей по берегу искать обжитые места, просить подмогу. Посланцы возвращались, не встретив ни жилых мест, ни обитателей. В такой беде посольство находилось неделю. Воспользовав-

шись затишьем, поспешно погнали дощаники, держась берегов Байкала. Так доплыли до устья реки Селенги, а по ней — до Селенгинского острога.

В дальнейший путь Спафарий собирался идти сушей. Разослал гонцов по окрестным эвенкийским стойбищам и бурятским улусам, чтоб закупали верблюдов, лошадей, быков, готовили вьюки.

Караван в сто двадцать верблюдов растянулся далеко. Шёл левым берегом Селенги. За Селенгой раскинулись бескрайные монгольские степи, а за ними лежало царство китайцев.

Монгольские степи всполошились; огромный караван, а с ним люди в кольчугах, с самопалами и саблями наводили страх и смятение. По монгольским кочевьям разнеслась весть: русские идут в степь войной.

На одно из становищ к каравану Спафария из степи прискакало более сотни вооружённых монголов. Они окружили караван, оглядывали русских с любопытством и тревогой. На холме остановил лошадь молодой монгольский хан. Лошадь его вихрила землю, мотала головой, раздувая ноздри. Хан в красном халате, в расшитых войлочных сапогах с загнутыми кверху носками сидел в седле с серебряной чеканной оторочкой, ветер трепал кисточку на меховой, китайского покроя шапке. Хан поднялся на стременах:

— Какие вы люди? Мы таких не видели! Зачем в степь идёте? Не войной ли?!

Спафарий отвечал:

— Только воры идут войной, не сказав о том заранее... Мы же не воры, а царя русского посланцы к китайскому богдыхану.

Монгольский хан кричал:

— Разве с китайским богдыханом говорить пиками и самопалами будешь?

Спафарий прищурил глаза:

— Когда охотник идёт на лисицу, разве не имеет стрелу на волка?

Хан смеялся. Спафарий просил хана дать провожатых, привести верблюдов и лошадей для замены уставших. В обмен обещал русские товары и серебро.

Хан говорил:

— Не видел твоих товаров. Не знаю, какие они есть...

Спафарий послал своих людей; они поднесли хану подарок: отрез сукна жёлтого, горсть серебра да связку табаку. Хан принял подарки, не сходя с коня; остался доволен. Воинов увёл, обещал послу подмогу верблюдами и лошадьми. Спафарий ждал обещанного три дня. Лукавый монгольский хан обещанного не выполнил. Монголы, побросав облюбленные места, сняли юрты и откочевали в китайскую степь.

Шёл караван малым шагом. Терпел большие невзгоды. До Нерчинского острога пути шли по бестравным степям и горным перевалам. Многие верблюды и лошади пали.

Спафарий послал вперёд двух казаков, чтоб добрались лёгким ходом до Нерчинского острога, именем царя просили скорую подмогу людьми и скотом.

Ударили морозы, льдом сковало Селенгу. Караван пошёл рекой, лёд треснул, несколько верблюдов и лошадей потонуло. Караван вернулся на старую стоянку и ждал, пока окрепнет лёд.

К этому времени вернулись посланцы. До Нерчинского острога они не дошли. Острог осадили степные разбойники.

Караван вернулся от Селенги к югу. Непроходимые горы и утёсы загородили путь. Караван возвратился на Селенгу и шёл ею неделю, пока не встретил двадцать казаков и сотника Нерчинского острога. Они вырвались из осады, бежали ночью, минуя монгольские засадные ямы.

Спафарий созвал всех людей, велел идти озираясь, с бердышами и самопалами наготове, чтоб бой принять, спастись от разбоя монголов. По ночам велел ставить дозорных вокруг каравана; верблюдов, лошадей, быков держать в табуне подле становища; костров не разжигать, чтоб не открывать монголам места ночной стоянки.

Караван двигался, не встречая юрт монголов и бурят. Степь притаилась, притихла... Вблизи Нерчинского острога в стан Спафария приехали пять монголов. Спафарий счёл их за лазутчиков, которые привели монгольскую рать и держат её в потаённом месте.

Монголы отвечали:

— Идём с поклоном. Проведали о великой силе русских, идущих в степь.

Спафарий монголов обласкал, одарил подарками, отпустил в степь, поучая твёрдым словом:

— Идёт рать многолюдна. И тех воров и гребенников, кои шалют по степям и русского царя людей изводят, побьёт, скот и юрты захватит.

Становище Спафария и его людей показалось монголам большой ратью, а угрозы царского посла внушили страх.

Осаду Нерчинского острога монголы сняли, поспешно бежали в степь. Осаду держали только монголы разбойного хана Талоя. Но с востока на них напал эвенкийский князь Гантимур. Степных разбойников разогнал, тем оказал славную ратную подмогу острогу и заслужил достойную выслугу и почёт от воеводы.

Посольство Спафария встретил воевода Даршинский с тремя сотнями казаков под двумя знамёнами. Ради встречи русского посла казаки острога и люди посольства стреляли из самопалов. Выстрелы грохотали перебойно, гулко и тонули в степи, нагоняя на перепуганные монгольские кочевья смятение и страх. Боялись монголы: расправится русский царь с ними за их разбойные набеги и воровские дела.

Гантимур и его родичи, прослышав о приезде царского посла, раскинули юрты подле Нерчинского острога. Споры между русскими и китайцами о беглом Гантимуре и ратная доблесть князя разжигали любопытство Спафария. Он послал именем царя Гантимуру подарки и позвал его на посольский двор. Гантимур пришёл со своими братьями и сыновьями, бил челом царскому послу, клал перед ним дорогие подарки: кучу соболей, лисиц, куски шелка китайского, а для каравана посла привёл верблюдов, лошадей, быков.

— Посол русского царя усмирил разбойную степь. Установил мир.

Спафарий удивился, отвечал уклончиво:

— Речи твоей, князец, не пойму, войной не шёл...

Гантимур сказал:

— Разбойные монголы и воровские буряты, прослышав о твоём, царского посла, караване, перепугались, признав твоих людей за воинов.

Спафарий улыбнулся.

Гантимур говорил послу:

— Пути в Китайщину мне ведомы. Пошлю с твоим караваном лучшего вожака. Дай ему потребное жалованье.

Спафарий удивился уму и храбрости Гантимура, в дорожный дневник записал: «Сей князец — муж достойный: и богат, и родовит, и храбр. И хоть веры не христианской, имя царя русского чтит, в изменниках Руси не бывал».

Гантимур и его родичи низко откланялись Спафарию, усаkali в степь.

Караван Спафария готовился к походу: кричали верблюды, мычали быки, скрип арб заглушал людской гам. Кибитка Спафария с запряжёнными в неё деся-

тью быками стояла посередине каравана. Сбоку кибитки за длинный повод был привязан осёдланный гнедой конь; то конь царского посла для скорого объезда длинного каравана в пути.

Спафарий подошёл к кибитке, отвязал коня, легко поднялся на седло. От воеводы прибежал гонец. Просил он посла обождать, ибо надобно грамотку важную и скорую разобрать. Спафарий повернул коня и поскакал к острогу. У резного крыльца стоял воевода.

Спафарий вошёл в приказную избу.

Воевода сказал:

— Не прогневаю царского посла, коль скажу ему о грамотке, писанной воровскими людишками Албазинского острога? О той грамотке я запомнил...

— Молви, какие вести?

— От воров — воровские и вести. Послал грабёжник Ярошка своего дружка, тоже лиходея и грабёжника, Пашку Минина и с ним добра разного десять возков да полонянку чёрных кровей с дитём.

Спафарий удивился:

— Каким добром хвастают гребенники? Какая причина?

Воевода заторопился:

— Возки туго набиты отборными соболями, лисицами, а сверх того серебром и камнями. Гребенники всё это на Москву царю-батюшке норовят с грамоткой отправить, чтоб возымел пресветлый государь к ним милость и пощаду.

Спафарий оглядел воеводу:

— Какова воля воеводы?

Воевода гордо ответил:

— Именем царя пресветлого того вора — Пашку Минина и его людишек велел я забить в колодки и бросить в тюремную яму. Добро же, которое гребенники нарекли дарами царскими, отобрал.

Лицом Спафарий стал строг, краской запылали щеки, воеводе он сказал сурово:

— Сотворил, воевода, негодное, ложное дело. Те люди стоят на рубежах России крепко. Принимают муки и раны, а многие за те рубежи обрели смерть. Пусть и вперёд на берегах великого Амура русские люди ногой стоят твёрдо.

— То не русские люди, то гребенники...

— Крест на груди носят. Руси землю защищают!

— А прежние разбои и шалости воровские ужели прощены?

— Надобно тех людей, Пашку Минина и иных, отпустить с миром. Оказать ратную подмогу Албазинской крепости. Дары албазинцев с грамотой-отпиской скорым гонцом отправить в Москву. Суд и расправу чинить над ними, коль на то будет воля самого царя пресветлого, не иначе...

Воевода сокрушался. Упрёки царского посла принял, сказанное послом обещал исполнить и, грамоту царю отписав, перед рождеством отправил при надёжном гонце с подарками в Москву.

Передал воевода Спафарию и грамоту китайского богдыхана русскому царю. Это была вторичная грамота о беглеце Гантимуре и его происках и набегах казаков на Амуре.

Караван вышел из Нерчинского острога, растянулся длинной вереницей.

За острогом, минуя реку Аргунь, раскинулись степи и горы, подвластные Китайскому царству.

Две недели шёл караван по людным степям, богатым кормовищами и водой. За Аргунью раскинулись малоснежные, безлюдные степи и горные хребты. Узкая

тропка безвестных кочевников извивалась по пустынным местам. Стояла стужа. Жгучие степные ветры гнали пески. Часто проводник, потеряв тропку, вёл караван по замёрзшим кочковатым болотам, по кромкам горных утёсов. Верблюды и лошади шли короткой ступью, караван двигался тихо.

Не дойдя до китайских рубежей, караван впал в нужду: кормовищ для скота и дров для костров нельзя было отыскать. Падали лошади и верблюды. Надвигалась неминуемая гибель. Со многими людьми приключились болезни, многие проморозились и покалечились. Люди зароптали: стали ругать Спафария, обвинив его в нерадении и неудачах.

Спафарий послал к китайским рубежам сына боярского Телешова, а с ним Гантимурова проводника, знающего китайский язык. Наказал Спафарий строго: просить китайцев оказать посольству скорую помощь скотом и людьми, за услуги обещать щедрые подарки.

Китайцы пригнали лошадей, верблюдов, а для охраны каравана прислали воинов.

Ранней весной подошёл караван к пограничному китайскому городку Науну. Русского посла встретил наунский наместник с двумя сотнями конников. У городской стены Науна караван остановили, отвели в сторону, в город не впустили. Посольство раскинулось становищем. Спафарий поставил на пригорке свою дорожную юрту. На вершине юрты, покрытой белым холстом с узорчатой прошвой, отороченной сукном и атласом, колыхалось русское знамя.

В юрту посла никто не приходил.

На восходе второго дня, качаясь на плечах носильщиков, приплыл пёстрый шёлковый паланкин. Наунский наместник сдвинул штору, огляделся, взмахнул рукой. Носильщики опустили паланкин.

Наместник вошёл в юрту русского посла, удивился её отменному убранству и роскоши. Юрту пересекала занавеска ярко-жёлтого сукна с парчовой прошвой. На полу лежали дорожные ковры и шкуры медведя; стол стоял резной росписи, а церковный подсвечник с горящими восковыми свечами сиял золотыми отблесками. Над атласной лежанкой посла в золочёной оправе — икона Божьей Матери работы московских иконописцев.

Люди наунского наместника принесли послу утреннюю еду: свиное мясо, горячее вино, чашечку разварного риса. Вместо ложки подали две тонкие палочки, длиной с лебяжье перо, обёрнутые в прозрачную бумагу. Посол палочки отложил, мясо брал руками, рис черпал своей дорожной ложкой.

Наместник учтиво кланялся, справлялся о здоровье посла, тут же с тонким лукавством выпрашивал, что написано в царской грамоте, зачем едет посол в Китай.

Спафарий отговаривался усталостью, на лукавые вопросы отвечал уклончиво, отменно ласково. Наместник и его свита кланялись почтительно, вновь заводили хитрые речи, и вновь Спафарий уклонялся от тех хитрых речей. Китайцы упрямылись и русского посла в городок не впускали. Наунский наместник ссылался на многие причины: строгости обычаев, богдыхановы указы и иные помехи. Спафарий торопил:

— В город богдыханова величества — Пекин надобно идти с великой поспешностью.

Наместник шурил лстивые глаза:

— В лесах рыщут барсы свирепости невиданной, не обидели бы они русского посла...

— Не страшусь смерти!.. Страшусь прогневить великого государя Руси.

Наместник складывал ладони вместе, поднимал их над головой и, вскинув глаза к небесам, шептал:

— Луна на небе одна, а звёзд неисчислимо количество. Великий богдыхан один, а забот у него не счесть...

Посольство простояло под стенами Науна ещё три недели. Богдыхановы чиновники изменили отношение к послу: держались дерзко, неуступчиво. Наунский наместник подъезжал к юрте Спафария с большой свитой разодетых по-праздничному чиновников, говорил заносчиво:

— Какой ты есть посол, мы не знаем. Имеешь ли грамоту к великому богдыхану?

Спафарий отвечал степенно:

— Коль доеду до величества богдыханова и грамоты не покажу — казни достоин.

Наместник дерзко кричал:

— Что в той грамоте русского царя? Может, в ней обидные слова начертаны?!

Наместник вновь говорил о беглеце Гантимуре, о происках и бесчинствах казаков на Амуре.

Спафарий терпеливо отговаривался, ссылаясь на грамоту: в ней, мол, всё прописано.

Упорства Спафария богдыхановы чиновники не сломили, уехали с угрозами, вокруг посольства прибавили караул, подолгу не приносили послу и его людям еду.

Каждое утро к юрте русского посла носильщики приносили наунского наместника в цветном паланкине. Не выходя из него, наместник кричал:

— Коль так ты, посол, упрям, грамоту отберу поперёк воли!..

Спафарий, не выходя из юрты, отвечал спокойно:

— При посольстве ратная сила немалая... Грамоту отбивать станут насмерть... На то государя русского указ писан!..

Наместник гневался, угрожая держать посольство до зимы. Служилые люди посольства: многие боярские дети, подъячий Никифор Венюков и иные — упрекали Спафария с неразумным упорстве, понуждали к уступкам. Спафарий вспомнил о грамоте богдыхана русскому царю, ту грамоту вручил послу воевода Нерчинского острога Даршинский.

Спафарий позвал в свою юрту наместника и важных его сановников, посадил вокруг стола служилых людей посольства и сказал:

— Сочту за разумное показать славному владыке города Науна грамоту богдыхана, писанную русскому царю...

Спафарий открыл кованный ларчик и вынул красный свиток. По шёлковой бумаге и черным иероглифам чиновники признали богдыханов лист, упали на колени и отбили девять поклонов.

Наместник и его приближенные ушли гордые и довольные. Спафарий был безмерно рад своей удаче.

К восходу солнца китайцы пригнали Спафарию сто двадцать лошадей и двести верблюдов. Посольство двинулось в сторону Пекина.

В мае караван посольства остановился у пекинских городских ворот. Через три дня посольство впустили в город, отвели на окраине большой двор и ко двору поставили многочисленный караул. Людям посольства, пробывшим в пути более года, отведённый двор показался благодатным местом отдыха и приюта.

Валерий Нечаев

Отрывок из романа

Близившийся к своему трехсотлетию, древний наш сибирский город был неожиданно в этом году обласкан удивительной, необычной весной: с жарким солнцем в начале мая, ранней нежной листвой, устойчивым теплом. Не верилось, что обычно суровый здесь, полный неожиданностей и коварства, май может быть таким дружелюбным и надёжным. Старожилы ахали, припоминали и не могли припомнить в прошлом ничего похожего. Искушённые синоптики время от времени мужественно выдавали тревожные прогнозы, обещали прохождение грозных циклонов и антициклонов, нешуточные заморозки и метели со штормовыми ветрами.

Однако ничего из этих прогнозов не сбывалось. Сама природа, словно прислушиваясь к ним, и не веря в устойчивость тепла, сначала долго сторожилась, долго не распускала давно набухшие, клейкие, ароматные почки на тополях, не давала зацвести крыжовнику и смородине, а потом и ей, природе, стало неловко сторожиться при такой благодати (подумайте, в мае уже купаются!) и она доверилась раннему теплу. Разом брызнули тополиные серёжки, роскошные, пышнокудрявые. Разом расцвели и ягодники, и яблони, и тоже необыкновенно пышным цветением. Раньше времени расцвела черёмуха. Местная областная газета была полна радужных сообщений о раннем севе и ранних побегах будущего богатого урожая...

Потом мороз всё же грянул, и всё помёрзло, всё раннее, нежное, прекрасное, доверчивое. Погиб урожай. Но природа сибирская не труслива и не помнит зла. Разве может случайный мороз навсегда убить в ней доверчивость и надежды на устойчивое тепло? Она и на следующий год доверится и рискнёт. Как не рискнуть, когда так мало у нас этого тепла для того, чтобы успеть расцвести и созреть, когда такое короткое лето?

Жить не для риска, а рисковать постоянно ради жизни в условиях сурового климата... По этому поводу Валерий Нечаев скоро напишет стихи, полные

Левантовская Белла Ильинична, драматург, прозаик, поэтесса (1915, г. Сосны Черниговской обл. — 1994, Иркутск). Автор пьес: *Дмитрий Стоянов* (постановка в ирк. драмтеатре, 1956; на сцене МХАТа — по праву первой постановки, 1956). Неск. пьес пост. на сцене ирк. драмтеатра в 1950–1960-е гг. Пьесы опубликованы: *Судьба товарщица*: пьеса/в соавт. с Б. Костюковским // Забайкалье, 1950, кн. 4; *От щедрости сердца*; *Терзания певчих птиц*: пьесы (Иркутск, 1972), а также в альм. *Ангара* 1960-х гг. Автор повести *Грибное лето* // Свой голос. 1993. № 1–2; сб. стихотворений *Против волны* (Иркутск, 2007); публикаций в коллект. сб. и периодике разных лет. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

символики, которую он презирал, но прибегал к ней нередко, так как и в жизни, и в поэзии некуда было деваться от неё, способной очень ёмко воплотить в себе и поэтический образ, и раскованную мысль.

Но это будет потом. А пока мороз ещё не грянул, всё цвело и расцветало, город был полон благоухания, а сердце двадцатидвухлетнего Валерия полно не то чтобы надежд (о каких надеждах могла идти речь при всех свалившихся на него бедах и несчастьях?), а гораздо большего, чем надежды. Оно было полно безотчётным, каким-то бессмысленным, почти идиотским счастьем и даже ощущением собственного бессмертия.

При всех сложившихся для него обстоятельствах это было нелепо, и он это понимал, но не мог истребить в себе полноты жизни, рождённой бесстрашием юности.

Ему грозило исключение из университета, медленно и тяжело умирала его мать, жили они с матерью бедно, в доме никогда не было лишней копейки, с чего бы, кажется, тут ликовать душе?

А душа ликовала. В данную минуту она ликовала в самом центре города, на кладбище, на горе, где он, пока ещё бригадмилец и комсомолец, по особому заданию сидел в засаде рядом с любимым другом, соседом по двору Юрием Федотовым.

Тёмная и тёплая майская ночь обступила их, тревожно шумели деревья, чернели кресты на могилах, и странными, тёмными громадами высились памятники. Каменная ограда вокруг кладбища была полуразрушена, в некоторых местах до самого основания, и у одного из таких проломов затаились Нечаев с Федотовым. Они тихо разговаривали, радуясь, что оказались вместе в минуту опасности, испытывая друг к другу братскую нежность от того, что каждый доверял другу больше, чем самому себе. Это была давняя надёжная дружба ребят с одного двора, связанных с детства общими тайнами, интересами, увлечениями. Даже сейчас им нравилась одна и та же девушка, студентка медицинского института, первокурсница Таня Белякова, очень хорошенькая и чем-то оправдывающая происхождение своей фамилии от зайца-беляка, такая была беленькая, пушистая, нежная и робкая. Неожиданное соперничество, как ни странно, не только не разобщило, а ещё больше сблизило друзей. Юрий Таню любил, мечтал жениться на ней, и эти серьёзные намерения, как он полагал, обеспечивают ему первенство и превосходство. А кичиться первенством и превосходством перед любимым товарищем было, конечно, безнравственно и недостойно. Он не знал, какие отношения у Тани с Валерием, но предполагал, в силу честности своей и простодушия, что они самые безобидные, так как Валерий жениться ни на ком не собирался, а вообразить товарища развратителем и подлецом он просто не мог. Валерий же давно знал, что Таня любит только его, и отношения их были как раз очень и очень не платоническими. Он стал целовать её уже в первый вечер знакомства и с той поры продвинулся довольно далеко.

Встречи их были всегда тайными, уходила от него Таня ошалелая и счастливая, а он, видя, как счастлива она, как полностью подчинена и готова для него на всё, никоим образом не мог считать себя развратителем и подлецом. Было удобно думать, что давать человеку столько счастья — миссия, по меньшей мере, благородная. Вряд ли задумался бы Нечаев достойно завершить свою близость с Таней, если бы она так не раздражала его своей преданностью и покорностью, безграничным доверием, обожающими взглядами. С величайшей досадой замечал он, что Таня напоминает ему мать, Клавдию Васильевну, тоже робкую и очень любящую его, напоминает даже сиянием глаз при виде его и такой же

рабской безответностью перед любым проявлением его холодности и пренебрежения. Очень связывало его подобное женское преклонение: чувство ответственности за человека давило, угнетало, самого превращало в раба, возникало острое желание скинуть гнёт отношений личных, чтобы снова чувствовать себя привольно и раскованно в отношениях общественных, требующих всех его сил и всего мужества.

Он готовил себя для дел великих, был человеком рискованных мыслей, решений и действий, но, казалось ему, далёким от легкомыслия и легковесности. Ему нужна была свобода, и её надо было добывать любой ценой. Он и так связан был по рукам и ногам жалостью и нежностью к больной матери, не хватало ещё такой дурочки, как Таня.

Его вполне устраивали мимолётные связи, прелестные своей непрочностью, не исключаящие, правда, иногда душевной близости. Но всегда исключаящие душевный надрыв, страдание и жалость. Конечно, Юрий ничего не знал о личной жизни Валерия, тот никогда и нигде об этом не трепался. И теперь, в темноте кладбища, в обстановке фантастической, когда приглушённо звучали их тихие голоса, мечтательный мягкий Федотова, смеющийся и беспечный Нечаева, они говорили о чём угодно, даже вскользь о любви, только не о Тане или какой-нибудь другой определённой девушке.

— Ты, Валерка, эту песню знаешь? — спросил Федотов и приятным голосом напел:

Словно малый ребёнок,
Я за сказкой пошёл.
Золотой самородок
До сих пор не нашёл.
Моя молодость гибнет,
Пропадает в глуши...

— Студенческий фольклор. Знаю. Нытьё. Не трогает.

— Врёшь, трогает. Зачем врёшь? Договорились — не врать, — так лениво сказал Федотов, что Валерий даже дёрнулся от досады, проговорил неопределённо: «Эх, тёмная ночь», — отошёл в сторону шага на три и пропал в темноте. Юрий тут же встревожился, зашипел: «Ты где? Иди сюда...» Нечаев послушно вернулся и снова сел рядом.

— Подлецы, — сказал он, — лишили права носить оружие. Как раз подгадали...

— Так ты без оружия? Тем более, вместе надо держаться. В такую ночь.

— В такую ночь с девчонкой хорошо пройти, — прошептал Нечаев.

— Шёпот, страстные слова... А вокруг черным-черно.

— И ветер. Любишь ветер? Я люблю. Даже ураганный. Но в лесу. Чтоб без пыли. Или в саду. Деревья шумят, сердце бьётся...

— В саду? В каком саду? — насторожился Юрий. При Танином доме был небольшой, но густой-прегустой сад, и ему показалось, что именно этот сад упомянул Валерий, и он даже увидел вдруг, нехорошо, откровенно увидел Валерия и Таню вместе.

Но тут же его ожёг стыд за предательские мысли, и он с особой теплотой, смущённо сказал:

— Держись рядом.

Никому из них не верилось, что в такую удивительную, весеннюю ночь, способную рождать в человеке только любовь, страсть и нежность, может про-

изойти злодейство. Не верилось, хотя злодейства происходили чуть ли не каждую ночь, и чаще всего в районе кладбища. Были они здесь не одни: почти у каждого пролома, входа и выхода дежурили бригадмилыцы и милиционеры. Мимо них, время от времени, вдоль ограды проходили какие-то женщины. Всё это было правильно, всё по инструкции. Но вот где-то неподалёку раздался треск мотоцикла, и Валерий с Юрием, классные мотогонщики, с уважением прислушались.

— Кто бы это? — сказал Юрий.

— Кто-то из наших, — предположил Нечаев, — может, гаишник. Не по шоссе, слышишь. Обучен, значит, ночной езде по пересечённой местности.

Мотоцикл затих, и вскоре у их пролома остановился человек в плаще.

— Это Юрий Сергеевич Казаков, — шепнул Федотову Нечаев.

— Где вы? Нечаев? — тихо спросил Казаков.

— Здесь, товарищ майор.

— Как узнали меня?

— По голосу, походке...

— Молодчина!

Уважительно, серьёзно прозвучала похвала, и всё же как-то странно, по-родственному, что ли, и Нечаев чуть иронически, с неловкостью, ответил:

— Служу Советскому Союзу.

Казаков почему-то тяжело вздохнул:

— Не страшно?

— В основном... интересно, — вежливо ответил Нечаев.

— Интересно... — упавшим голосом повторил Казаков. — А я вот спать не могу, жить не могу, пока эта сволочь по городу ходит. Мне-то по-настоящему страшно. Кто у него на очереди? Чей отец? Чей сын? Чья любимая девушка? Может, твоя? Интере-с-с-но...

Нечаев внимательно выслушал выговор, прислушиваясь к каждому слову, ища и находя особый смысл в приезде этого человека и его заинтересованности в нем, Нечаеве. Он ничего не знал о Казакове, кроме того, что этот майор работник не милиции, а госбезопасности. Зачем он здесь? Ясно, из-за него. Но почему? Не доверяет? Не похоже... Вздвонован, говорит искренне, такое чувство, что приехал родной отец, трясущийся за его жизнь и безопасность. Чепуха какая-то... Бред!

— А это Юрка Федотов, — сказал Нечаев только для того, чтобы не молчать.

— Узнал. Здравствуй, Юра.

— Здравствуй, Юрий Сергеевич.

— Ну, ладно. И Федотов здесь. Теперь я спокоен. Берегите себя, ребята. Это опытный преступник, матёрый бандит. Хорошо бы его застрелить как собаку, да лучше взять.

— Понятно, — сказал Юрий, и голос его звучал сочувственно: не волнуйтесь, мол, всё будет нормально. — У Валерия оружия нет. Отобрали, — добавил он.

— Знаю, — спокойно отозвался Казаков. — Как себя чувствуете безоружным, Валерий?

«Всё-то он знает про меня», — мысленно усмехнулся Нечаев, но сказал очень холодно:

— Неплохо.

— Ну... Надеюсь на вас, ребята, — безо всякой бодрости произнёс Казаков, безо всякой приподнятости, на что голос Валерия, деловой и серьёзный, весьма приподнят, будто вселяя в майора утерянную им бодрость, ответил:

— Служим Советскому Союзу!

Казаков приблизился к ним вплотную и, приглядываясь внимательно к Нечаеву, изрядно смущённому, сам сказал смущённо:

— Понимаешь, этими же вещами не шутят. Святые же вещи...

— Виноват, товарищ майор, виноват.

— А то ведь как получается? Идёшь на это ради своей интересной жизни, а жизнь твоя, может, сегодня и кончится. Ты это понимаешь?

— Как она может кончиться? — уверенно возразил Нечаев. — Я ещё ничего на земле не совершил.

— Ну... совершай, — с каким-то облегчением вздохнул майор, кажется, хотел Валерия обнять, но тут же ушёл.

— Нич-чего не понимаю, — сквозь зубы сказал Нечаев, и Федотов согласно покачал головой. Он тоже ничего не понимал.

— Надо бы узнать о нём...

— Я узнал, — неожиданно ответил Юрий. — Говорят, что имел он большие чины и... собственное мнение. Обычным порядком загремел. Попал к нам недавно. А был большим человеком...

— Был? — удивился Нечаев. — Почему был? Теперь-то он и есть трижды большой. Ты что, Юрка! Собственное мнение иметь, знаешь... Я до больших чинов не дослужусь.

— Да оговорился я. А он тебе как отец...

— Да. Странно. Ведь глупо ведёт себя и не стесняется этого. Отцов-то мне не надо... Я часто, когда поменьше был, подбирал себе того, другого. Никого не подобрал. Отца иметь — независимость терять. Так?

— Да-а, — протянул Юрий. — Приходится подчиняться.

— То-то. И Казакова мне в отцы не надо. Но подчинялся бы я ему без унижения... как в воинском уставе говорится. Обаяние личности — великое дело. А он обаятельный... Без нажима. Был бы такой человек всегда рядом... Странно.

— Странно, — сказал Федотов.

— Не в безопасность же он меня присмотрел. Я для их методов не гожусь.

— Нет, нет, — решительно сказал Юрий. — Методы хреновые. Не годишься. Ты о том самом?

— Конечно. Не чистые руки и горячие сердца ищут — грешников по уши в дерьме. Таких легче принудить... А зачем принуждать? Охотно и так пошли бы... Да ведь надо за товарищем следить, наушничать, доносить. Ох, гадость! Информация, видите ли, нужна. А нужна, так иди на собрания, диспуты. Имей голову на плечах. Будь психологом, разбирайся. Верно?

— Ну! — сказал Юрий. — А то ещё представят человека замаранным, специально, чтоб нечисть приманивать. Юрий Сергеевич не такой, по всему видно.

— Наверно, контрразведчик. Там народ особый. Тихо... опять кто-то.

А это возвратился Казаков. Его интерес к Валерию и тревога за него были вызваны причинами настолько глубоко личными и тайного порядка, что тайны его профессии меркли перед ними. Кто же мог знать, что он любил Танину мать, участкового врача Валентину Андреевну Белякову, если сама Валентина Андреевна, осторожно посвящённая в эти чувства, не знала, насколько они сильны и целеустремленны?

Дело в том, что он создавал себе семью, семью идеальную и супружество идеальное. Добиваться взаимности Валентины Андреевны он стал не так давно и пока довольно безуспешно, но не это смущало его. По его представлениям, в будущей семье было маловато детей, одна Таня. Но с некоторых пор у него по-

явилась надежда на семью многочисленную. Однажды, далеко не случайно, он увидел в саду Беляковых Нечаева и Таню и кое-что услышал. Валерий немедленно был зачислен в члены будущей семьи, зачислен с гордостью и удовольствием: парень ему очень нравился...

Сам он, целеустремлённый, волевой, с огромной выдержкой, врождённым чувством такта и добрым сердцем, был уверен, что Нечаев — интереснейший и честнейший парень, хотя ни выдержки, ни такта пока не наработал. Но это дело наживное.

Синеглазому, смуглому, седому Казакову было за сорок. Если бы не чрезмерные наивность и чистота его в делах сердечных, он мог бы вполне сойти за мужчину демонического.

Он прожил жизнь сложную и честную, в молодости был женат, казалось, по любви, но оказалось — только по доброте своей и неопытности мужской. Жена так быстро оставила его, непрактичного и до ужаса честного и малоденежного, что он не успел даже разобраться, в чём дело, не успел разочароваться в женщинах, а когда возмужал, разобрался, — в женщинах так и не разочаровался. Только проклял свою неразборчивость, неосмотрительность и порадовался, что не осталось на стороне детей.

Нельзя сказать, чтобы он никогда не встречал таких женщин, как Валентина Андреевна. Встречал. Более красивых, более статных, более свежих. Но с такой улыбкой — никогда. Такой родной с первой же встречи — никогда. Такой загадочной — никогда. Такой, чтобы с первого мгновения пришёл ужас от быстротечности жизни, потерянных для счастья лет и каждой потерянной без неё минуты — никогда.

Всё, что возможно было узнать о ней, он узнал. Опытный, рядовой врач, долго и стойко вдовеев, очень любила покойного мужа, спутников жизни не ищет, хотя привлекательна, моложава и нравится мужчинам (по его разумению, даже слишком нравится). Ему все уши прожужжал о ней сосед по дому художник Муратов, толстый, холостой, красивый, при каждом незначительном заболевании вызывающий на дом врача Белякову. Написал её портрет, смело, талантливо, тот побывал на всех выставках как значительное произведение искусства, и с картиной Муратова «Участковый врач» знакомы теперь и Москва, и Ленинград, а с Беляковой, по существу, весь мир, так как картина Муратова была в своё время напечатана на первой странице обложки журнала «Огонёк».

Но любимая и прославленная Муратовым женщина не отвечала ему взаимностью, чем он был не так ущемлён, как поражён невероятно. На вызовы она приходила, лечила старательно, как ребёнка, на страстные порывы и взгляды не откликалась никак, а прочитанные ей со значением, в одну из вдохновенных минут, стихи Андрея Вознесенского: «Ну что тебе надо ещё от меня?!» — не произвели ровно никакого впечатления.

Художник рассказывал об этом с юмором, и Казаков смеялся. Ему нравился портрет, нравилась Белякова, но однажды он встретил её на лестнице, в белом халатике, в потёртой шубке внакидку, и они посмотрели друг другу в глаза. У Казакова началась бессонница.

Он стал враждебно относиться к Муратову, здоровался с ним сухо и с удовольствием перестал бы здороваться совсем, а Муратов сразу испуганно подумал, что не надо было бы ему хранить некую рукопись, которую напечатали как повесть советского писателя в парижской «Монд», а наши гордо не печатали. Ему так не хотелось уничтожить рукопись, что он, стыдясь своего малодушия, не выдер-

жал, пришёл к Юрию Сергеевичу и с порога мрачно прогудел: «Несправедливо. Мы всех разоблачаем, а нас и самую малость не смей, да?»

Казаков смотрел на него недолго, понял, рассмеялся, спросил: «Чего у тебя там разоблачительного?» — Муратов признался.

— Храни, — разрешил ему Казаков. — Не размножай, не распространяй, а как исторический документ хранить можешь. Только не болтай, пожалуйста. Не болтай, и никто не узнает.

Бессонницы измучили его. Сводила с ума неопределённость при таком определённом, сокрушающем чувстве к незнакомой женщине. Пациент своей ведомственной поликлиники, он взял паспорт и, ничего толком не обдумав, записался на приём к Беляковой в поликлинику районную.

Встреча была тяжёлой.

Белякова даже не спросила, на что он жалуется, и её традиционное: «Разденьтесь, больной», — оглушило его своей нелепостью. Он так покраснел, что и Белякова слегка покраснела, так долго не снимал рубашки, что она вынуждена была сказать ему очень мягко, но решительно: «К сожалению, не могу уделить вам много времени...»

Фраза была ужасной. Жестокой. Бог знает какой ещё была эта фраза. Он оцепенел от неё, у него дрожали руки, и если бы от ненависти и презрения к себе можно было скончаться на месте, то Казаков бы скончался.

Он понимал, что разоблачён сразу (а как же иначе: в карточке указано место его работы, а каждый врач знает, что у них своя поликлиника), что над ним чуть-чуть насмешничают и слегка страдают ему. (Потом Валентина Андреевна призналась, что если на лестнице влюбилась, то в эту страшную для него минуту полюбила его до конца дней своих.) Но она была права, поторапливая его. Он действительно отнимал время, очередь в коридоре — немалая.

Пришлось поспешно снять рубашку и дать себя выслушать, а выслушала она его основательно, не торопясь.

Сердце его билось так, что заложило уши и ломило в висках. Большей неосмотрительности, большего легкомыслия с его стороны придумать было невозможно. Он ужасался тому, что сделал, но, отдаваясь тёплому прикосновению её рук, слыша ровное дыхание у обнажённой груди, видя темноволосую, гладко причёсанную голову, склонившуюся к нему, был счастлив.

Сначала он стоял, потом она попросила его прилечь на диван, прослушала и простукала лежащего, снова попросила встать и уже не стетоскопом прослушала, а ухом, бесцеремонно поворачивая его то грудью, то спиной, и он, сгоравший от неловкости и волнения, стыда и счастья, сам про себя подумал с отвращением: «Как шашлык...»

Он был уверен, что глаза её смеются, но Белякова, окончив осмотр, подняла на него профессионально озабоченные, задумчивые глаза и сказала, не снимая с плеча тёплой, лёгкой руки:

— Вы, конечно, уверены, что здоровы...

Он молчал, стоял смирно, стараясь понять, почему она не снимает руки и действительно ли прикосновение это умышленно, не профессионально, как ему кажется, а исполнено чуть ли не материнской нежности, так оно уверено, заботливо. И тревожно.

Она тревожится о нём! О подлеце. О пошляке. Совершенно здоровом, выносливом, тренированном подлеце, который бессовестно... Впрочем, не обманул он её. Всё поняла.

Валентина Андреевна разрешила ему одеться, рецептов выписывать не стала, а, глядя на него внимательно и очень серьёзно, заботливо, сказала:

— Пойдѐте к своим врачам, проверьте сердце. Я могла ошибиться, вы слишком волновались...

— Простите, Валентина Андреевна, — снова вспыхнул Казаков, даже слѐзы на глазах показались.

— Что вы, — спокойно сказала она. — Я очень рада знакомству.

Нет, рада она знакомству не была. Тон ледяной, а лицо грустное. Нет, не грустное. Досада, горечь, ожесточение... Что на нём? Всѐ, что угодно, только не радость. Кто-то есть у неё... Кого-то любит. Он помешал. Вторгся в чужой мир бесстыдно, бесцеремонно. Такая женщина не может быть одна. Помешал, помешал...

— Как мальчишка. Не подумал... — повинулся Юрий Сергеевич.

— А как бы мы иначе познакомились? — совсем не стараясь его успокоить, а как-то высокомерно, отчуждѐнно произнесла Белякова.

В Казакове всѐ стонало: «Лишний, лишний...» Губы у него побелели, дрожали, и вдруг он понял, что она смотрит на эти дрожащие губы, и сама взволнованна, очень испугана.

— У меня есть ваш телефон, Валентина Андреевна, — решился он.

— Разумеется, — улыбнулась она. — Звоните. Надеюсь, будем друзьями.

«Чѐрта с два — друзьями, чѐрта с два!» — яростно вопил про себя Казаков, выскочив из районной поликлиники, не помня себя, потеряв себя, не зная и не думая о том, он ли это, всегда спокойный, уравновешенный, сильный человек, или кто-то другой, наново народившийся, безумный, неистовый, страстный.

Павел Маляревский

Канун грозы

Отрывок из пьесы

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Домашний кабинет управляющего главным прииском Ленской акционерной компании Ерёмина. Ерёмин — маленький узкогрудый мужчина, один из ближайших помощников Петра Дёмчинова. Вторая половина дня. Ерёмин в домашней куртке стоит около стола. Перед ним конторщик Филимонов.

ФИЛИМОНОВ. Бунтует народ. Второй день на работу не выходят.

ЕРЁМИН. А корень где?

ФИЛИМОНОВ. Третьего дня пятеро покалечились, а остальные из забоя долой. Пока, говорят, новые крепления не сделают — мы в шахты не полезем.

ЕРЁМИН. Им, может, под землёй паркет устроить? Кто народ мутит, узнал?

ФИЛИМОНОВ (*оглянувшись, понизил голос*). Политики. На Богатогорском гнездо свили. По баракам собираются, головы будоражат.

ЕРЁМИН. Фамилии называй, фамилии!

ФИЛИМОНОВ. На Весёлом — Турков, на Гурьевском — Широков.

ЕРЁМИН (*записывая*). А-а, поселенец.

ФИЛИМОНОВ. Он. В Дальней тайге...

ЕРЁМИН. Кто?

ФИЛИМОНОВ. Какой-то Пригоров, из новых. Его, говорят, сюда ждут. Опять же Трифон Черных.

ЕРЁМИН. Чахоточный. Смерти на него нет.

ФИЛИМОНОВ. Зелье, а не мужик.

ЕРЁМИН. Главный-то кто? Главный.

Маляревский Павел Григорьевич, драматург, поэт, прозаик (1904, Тобольск — 1961, Москва). Автор книг: *Счастье* (М.; Л.: Искусство, 1940); *Костёр*: сб. пьес (Иркутск, 1947); *Канун грозы*: пьеса в 4-х действ. (Иркутск, 1950); То же (Иркутск, 1972); *Не твоё, не моё, а наше*: рус. сказка (Иркутск, 1950); То же (Иркутск, 1980); *Чудесный клад*: пьесы (Новосибирск, 1952); *Камень-птица*: приключ. фантаст. пьеса в 3-х действ. (М.: ВУОАП, 1959); *Пьесы: Канун грозы; Костёр; Крутые перекаты; Камень-птица* (М., 1965); *Здравствуй, жизнь*: повесть (Иркутск, 1953); *Тринадцатое лето*: повесть (М., 1962); *Очерк из театральной культуры Сибири* (Иркутск, 1957); *Чудесный клад*: пьесы (Иркутск, 1985). Постки на сценах различных театров с 1950-х гг. Лауреат Государственной премии СССР (1952). Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

ФИЛИМОНОВ (*опять оглянулся, ещё больше понизил голос*). Всему делу голова — Фёдоров.

ЕРЁМИН. Механик. (*За окнами слышится пение.*) Что это?

ФИЛИМОНОВ. Богатогорские смутьяны идут. Наших баламутить пришли. (*Пение громче.*) Сюда сворачивают. Шторку разрешите задёрнуть.

Задёрнул штору. Ерёмин зажжёг свечи на столе.

ЕРЁМИН. Сообщи исправнику, да скажи, чтобы он ко мне зашёл.

(*Филимонов уходит. Пение всё громче. Ерёмин, чуть приоткрыв занавеску, смотрит в окно.*)

Ишь, огольё! А идут как! Словно на Пасхе, с гармошкой.

Входит Анна.

АННА. Беспокойно как всё. Нехорошо.

ЕРЁМИН (*глядя в окно*). Кто-то на забор залез. Глотку дерёт. (*Отпустил штору.*) Что нехорошо?

АННА. Утром в бараке была. Грязь, нужда. У детишек ручонки, словно плети...

ЕРЁМИН. Но, но, но. Замолчи. Не твоего ума дело.

АННА. Смутно мне, ох, смутно. Молиться и то не могу. Привыкла к сытости да к роскоши.

ЕРЁМИН. Вот от сытости дурные мысли в голову-то и лезут. А ты бы о том подумала, кто тебя в барыни вывел. Муж! (*Подходит к Анне.*) Ишь, пава какая!

АННА (*отстраняя Ерёмина*). Оставь!

ЕРЁМИН. Только и слышу от тебя — оставь да уйди.

АННА. Как в крепости живём. Днём от людей хоронимся. Свечи туши. Нехорошо.

ЕРЁМИН. Всё тебе нехорошо да неладно. (*Тушит свечи.*)

Вбегает Филимонов.

ФИЛИМОНОВ. Егор Семёнович!

ЕРЁМИН. Что?

ФИЛИМОНОВ. Беда! Хозяин, Пётр Фёдорович...

Анна насторожилась.

ЕРЁМИН. Ну?!

ФИЛИМОНОВ. Возле лавки с рабочими встретились. Они ему свои требования предъявлять начали. Пётр Фёдорович осерчал и на них с хлыстом, а из толпы кто-то из них камнем в голову...

АННА. А-а!.. Убили! Иди, Егор, иди!

ЕРЁМИН (*зло*). Молчи!

АННА. Трус... Трус... Я сама... (*Накинула платок.*)

ЕРЁМИН (*взял Анну за руку, посадил на тахту. Филимонову*). Живой?

ФИЛИМОНОВ. Ранены. Кажется, легко. Сейчас из больницы звонили. Вскороности здесь будут.

ЕРЁМИН. Ступай! *(Филимонов уходит.)* Постыдилась бы, при людях! Ох, сил моих нет... *(Зло.)* Ежели бы и на смерть его, ирода, так туда ему и дорога.

АННА. Воды...

ЕРЁМИН *(даёт воду, неожиданно меняет тон)*. Пей, пей, Аннушка! Ишь, дрожишь вся. Плечики-то так и вздрагивают. *(Гладит Анну, Анна отстраняет его.)* Да ты что — забыла, кто ты мне? Жена!

АННА *(горько)*. Жена!

ЕРЁМИН. С женой живу, а словно не женат.

АННА. Опостылел ты мне.

ЕРЁМИН. Знаю я про вас, всё знаю, только молчу, до поры.

АННА. Егор!

ЕРЁМИН. Меня, как кота на удавке, держит, а того не знает, что весь он у меня *(сжимает кулак)* вот тут.

АННА. О чем ты?

ЕРЁМИН *(со злобой)*. Прииски, рысаки, миллионы! Коммерции советник, Пётр Дёмчинов! А откуда богатство пошло? На Богатой горе золотую жилу в свои лапы забрал. А ведь старателя Акима Коробова, который первый эту жилу открыл, в последний раз в дёмчиновском доме видели. Старателя-то Дёмчиновы на тот свет отправили, план приисковый украла, а Петька Дёмчинов с Богат-горы в гору пошёл.

АННА. Неправда всё это.

ЕРЁМИН. Защитница отыскалась. А ежели у меня улики есть.

АННА. Какие улики?

В дверях появляется горничная Ерёминых Феня.

ФЕНЯ. Егор Семёнович, к вам инженер. *(Ушла.)*

ЕРЁМИН *(надевая пиджак)*. Окружной приехал. Ночью поговорим. *(Анна ушла. В дверях Кульчицкий.)* Прошу прощения, Геннадий Николаевич, что дома, в неофициальной, так сказать, обстановке. Может быть, закусить желаете?

КУЛЬЧИЦКИЙ *(взглянув на часы)*. Простите, очень спешу...

ЕРЁМИН. Понимаю-с...

КУЛЬЧИЦКИЙ *(доставая из портфеля бумаги)*. Последние события на приисках — ноябрьская забастовка на Весёлом, горестный инцидент на Гурьевском.

ЕРЁМИН. На Гурьевском... А-а, это когда надсмотрщика в тачке вывезли... Так, так.

КУЛЬЧИЦКИЙ. Всё это крайне обеспокоило его высокопревосходительство — Иркутского генерал-губернатора. Генерал-губернатор поручил мне ознакомиться с положением на приисках... *(Листает бумаги.)*

ЕРЁМИН. Весь внимание.

КУЛЬЧИЦКИЙ. Должен вам сказать, что состояние приисков меня удивляет.

ЕРЁМИН. Что-о?

КУЛЬЧИЦКИЙ. Люди в шахтах стоят по колено в воде.

ЕРЁМИН. Почвы у нас сырые.

КУЛЬЧИЦКИЙ *(листая акт)*. Крепления в шахтах сделаны кое-как, лестницы сгнили. На каждую тысячу рабочих приходится 165 увечий.

ЕРЁМИН. Цифирки выводите? А кто виноват? Сами увечатся. Ночью пьют, а утром с хмельной головой в шахту.

КУЛЬЧИЦКИЙ *(листая акт)*. Люди живут в сырости, в грязи...

ЕРЁМИН. Неряхи-с...

КУЛЬЧИЦКИЙ. Поймите, всё это может вызвать бунт.

ЕРЁМИН. Ну, уж и бунт. Эх, Геннадий Николаевич, Геннадий Николаевич!.. Не поднимайте вы шума из-за пустяков — акты, телеграммы... Да кому это нужно?

КУЛЬЧИЦКИЙ. Позвольте!..

ЕРЁМИН. Вы-то в соображение возьмите, — в Петербурге в нашем правлении какие особы сидят. Тузы, сановники.

КУЛЬЧИЦКИЙ. Господин Ерёмин...

ЕРЁМИН. Сама вдовствующая императрица Мария Фёдоровна в акционерках состоит. В Лондоне лорд Гаррис нашими делами интересуется, а вы (*показывая на акт*) — лестницы в шахтах сгноили... Похерьте-ка вы лучше эту бумагу, а вот, так сказать, наши объяснения к акту. (*Даёт пакет.*)

КУЛЬЧИЦКИЙ. Что это? (*Достаёт деньги.*) Деньги!

В дверях слышен голос Филимонова.

ФИЛИМОНОВ. Сам прибыл!..

КУЛЬЧИЦКИЙ (*увидев Филимонова*). Взятка...

ЕРЁМИН (*зло махнул рукой Филимонову. Тот скрылся. Кульчицкому*). Позвольте-с...

КУЛЬЧИЦКИЙ. Да как вы смели, мне, официальному лицу?! В присутствии постороннего...

Входят Дёмчинов, Гаммер, исправник, Полозов. У Гаммера через плечо фотоаппарат. Дёмчинов возбужден. Голова его перевязана, в руках хлыст.

Дёмчинов взглянул на Ерёмина и Кульчицкого — всё понял.

ДЁМЧИНОВ. Беседовали? День добрый!

ЕРЁМИН. Здравствуйте, Пётр Фёдорович! Как здоровье? Уж я так...

ДЁМЧИНОВ. На ногах.

ПОЛОЗОВ. Вам бы надо в постель.

ДЁМЧИНОВ. Молчите, доктор, молчите.

ЕРЁМИН. Позвольте познакомить — окружной инженер господин Кульчицкий.

ДЁМЧИНОВ. Знаю. Акт ваш не дочитал. Длинно, скучно и неинтересно.

КУЛЬЧИЦКИЙ (*сухо*). Я инженер, а не писатель. Акт — это акт, а не роман.

ДЁМЧИНОВ (*берет акт*). А сколько написали!

КУЛЬЧИЦКИЙ. Здесь указано самое необходимое. Генерал-губернатор считает, что некоторые незначительные уступки внесут раскол в среду рабочих, облегчат борьбу с бунтовщиками, разжигаящими недовольство.

ДЁМЧИНОВ. В ваших указаниях и в указаниях господина генерал-губернатора не нуждаюсь. У самого голова на плечах.

ПОЛОЗОВ (*спокойно и чуть лениво*). Простите, Пётр Фёдорович, но я не вижу никакой логики в вашем нежелании найти общий язык с рабочими.

ДЁМЧИНОВ. Я здесь хозяин, и моё слово — закон. Вот вам и вся логика.

ПОЛОЗОВ. Вы обостряете противоречия. В цивилизованных странах давно уже отыскиали путь к решению рабочего вопроса. В Германии пролетариат... социал-демократы...

ГАММЕР. О-о, Германия — это Европа, а Россия — это, это... (*Презрительно пожал плечами.*)

ДЁМЧИНОВ (*Полозову*). Плохо вы русских рабочих знаете.

ИСПРАВНИК. Им только палец дай, а они и руку оттяпают.

ДЁМЧИНОВ. Вот, вот, а когда он, сукин сын, знает, что ежели его сегодня выгонят, он завтра с голоду подохнет, вот тогда он зубами скрипит, а землю роет. (*Кульчицкому*.) А вы палки в колеса суете.

КУЛЬЧИЦКИЙ (*взбешён*). Я бы просил...

ДЁМЧИНОВ. Простите, свободного времени не имею. Занят. И вас не смею задерживать.

КУЛЬЧИЦКИЙ. Прощайте.

ДЁМЧИНОВ. До свиданья.

Кульчицкий уходит. Дёмчинов берет пакет.

ДЁМЧИНОВ. Не сумел...

ЕРЁМИН. С фанаберией. Не берет.

ДЁМЧИНОВ (*уверенно*). Берет, а ты дать не сумел. (*Гаммеру*.) Составьте объяснения к акту. (*Передаёт пакет*.) И переговорите с Кульчицким по-вашему, по-инженерному. (*Гаммер и Полозов уходят. Исправнику*.) Распустили народ, требования пишут, уполномоченных выбирают. (*Со злой насмешкой*.) А ещё шашку носишь, эполеты. Вла-асть!

Исправник растерялся.

ЕРЁМИН (*Дёмчинову, делая жест в сторону исправника*). Неоднократно предупреждал, что в этой свадьбе главные заводи́лы — политические. (*Исправнику*.) А вы сквозь пальцы смотрите. Вот список. (*Даёт исправнику*.)

ИСПРАВНИК (*взглянул на список. Дёмчинов вырвал из его рук список*). Знаю-с. Но трогать их нельзя. Рабочие за них горой. Вот вчера в бараке обыск делали, так урядник кое-как ноги унёс. Стражников-то у нас с гульки́н нос.

ДЁМЧИНОВ (*с раздражением*). Э-эх! Исподтишка надо брать, без шума. (*Пошёл к Ерёмину, показывает на список*.) Это кто?

В дверях Феня.

ФЕНЯ. Егор Семёнович...

ЕРЁМИН. Уходи! (*Феня скрылась*.) Приговор из Дальней тайги.

Дёмчинов вспоминает.

ИСПРАВНИК. Из ссыльных, чернобородый.

ЕРЁМИН. Его сюда ждут.

ДЁМЧИНОВ. Что-о! Не хватает ещё, чтобы они Дальнюю тайгу на ноги подняли. (*Исправнику*.) За Пригоровым следи в оба. Явится — арестуй. Понял?

ИСПРАВНИК. Понял. И всё же, без солдат мы как без рук.

ДЁМЧИНОВ. Иди. (*Исправник ушёл*.) Дай Гаммеру материалы для объяснений по акту. (*Ерёмин ушёл*.) Земля под ногами плывёт.

Входит Анна.

АННА. Петя! Петенька, жив?!

ДЁМЧИНОВ (*оглянулся, вполголоса*). Здравствуй...

АННА. Сколько страха натерпелась! Шёл бы, прилёг.

ДЁМЧИНОВ. Ехать надо.

АННА. Вот всегда теперь так. Заедешь на минутку и обратно. Ведь месяц, как не виделись.

ДЁМЧИНОВ. Ну вот, нашла время... Егор войти может.

АННА. Сил моих нет. Один ты у меня ясный свет...

ДЁМЧИНОВ. Сколько раз говорил — оставь Егора.

АННА (*шёпотом*). Не знаешь ты его, Петя. Злой он человек, жестокий. Ежели что — погубит тебя.

ДЁМЧИНОВ. Где ему...

АННА (*шёпотом*). Нынче опять о коробовском деле разговор завёл.

ДЁМЧИНОВ (*настороженно*). Ну?..

АННА (*оглянувшись, шёпотом*). Говорил, будто бы ты Акима...

ДЁМЧИНОВ (*возбуждён*). Пустое. Неповинен я в коробовском деле. Неповинен.

АННА. Боюсь, что оклеветает он тебя. Грозил, будто улики какие-то есть.

ДЁМЧИНОВ. Врёт! (*Понизил голос.*) А ты бы разузнала, да...

АННА. Бросил бы ты всё. Уехали бы, куда глаза глядят. Зажили бы тихо, спокойно.

ДЁМЧИНОВ. Опять за своё. Я в гору иду, а ты меня... Странная ты какая-то...

АННА (*обнимая его*). Не буду, не буду. Милый ты мой, желанный, когда же увидимся?

ДЁМЧИНОВ. Ладно, ладно. На днях свидимся. Сам скучаю. (*Прислушался.*) Идёт. (*Отходит от Анны, громко.*) Нет, нет, спасибо, чаю не хочу, домой пора.

Входит Ерёмин.

ЕРЁМИН (*оглядев обоих*). Так-с. (*Пауза.*) Ты бы, Анна, шла. У нас с Петром Фёдоровичем дела.

АННА. Будьте здоровы, Пётр Фёдорович... (*Ушла, забыв шаль.*)

ЕРЁМИН (*глядя ей вслед*). Н-да...

ДЁМЧИНОВ. Вчера рабочие в Иркутск телеграмму послали.

ЕРЁМИН (*читая телеграмму*). Жалуются...

ДЁМЧИНОВ. На нашу просьбу послать воинскую команду генерал-губернатор не отвечает.

ЕРЁМИН. Молчит.

ДЁМЧИНОВ. А мы без солдат не управимся. (*Взял шаль Анны.*) Так вот... надо тебе завтра в Иркутск ехать.

ЕРЁМИН (*взглянув на шаль*). Так, так... Уезжать приказываете? Хитро...

ДЁМЧИНОВ (*в упор, глядя на Ерёмину*). Ты это о чем?

ЕРЁМИН (*со скрытой угрозой*). Ой, Пётр Фёдорович...

ДЁМЧИНОВ. Слушай, Егор, жалованье я тебе плачу немалое. На разные проделки с мукой, с мясом... Не спорь, всё знаю, — на всё сквозь пальцы смотрю...

ЕРЁМИН. Купил. Всего купил, с потрохами. А я...

ДЁМЧИНОВ (*глядя на Ерёмину*). Ну, говори!

ЕРЁМИН (*открывая стол*). Недавно диковинку одну раздобыл...

Достаёт кожаный мешочек с вышивкой, показывает.

ДЁМЧИНОВ. Что это?

ЕРЁМИН. Мешочек и меточка на нём — А. С. Коробов.

ДЁМЧИНОВ. Где взял? *(Двинулся было к Ерёмину.)*

ЕРЁМИН *(доставая из мешочка револьвер)*. Я в нем револьвер храню. *(Достаёт из мешочка бумагу.)* Тут ещё заявлениице есть. *(Читает.)* «Прошу закрепить за мной участок «Богат-гора». И опять же подпись — «Аким Коробов».

ДЁМЧИНОВ *(с угрозой)*. Опять начинаешь? Ох, Егор...

ЕРЁМИН. Так ведь и пропал человек в вашем доме. *(Крестясь и глядя в упор на Дёмчинова.)* Упокой, господи, душу убиенного раба божия Акима.

ДЁМЧИНОВ *(выдерживая взгляд)*. Ты это к чему?

ЕРЁМИН *(отведя взгляд, пряча мешочек в карман)*. Так, ни к чему.

ДЁМЧИНОВ *(с силой)*. Старое ворошить хочешь? Вороши. Только помни, Егор, одно... слово скажешь — и на всю жизнь враг. А я с врагами... *(Ломает хлыст.)* Понял?

ЕРЁМИН. Да что вы, Пётр Фёдорович... Да разве я...

ДЁМЧИНОВ. Сегодня же вечером поезжай.

ЕРЁМИН *(робко)*. Сказали — завтра.

ДЁМЧИНОВ. Сегодня!

ЕРЁМИН. Слушаю-с.

ДЁМЧИНОВ. Пускай на прииски воинскую команду пришлют.

(За дверью голос: «Можно?») Войдите.

Входит Светлова.

СВЕТЛОВА. Здравствуйте! У меня неотложное дело. В школе десятый день нет дров.

ЕРЁМИН. На нет — и суда нет.

СВЕТЛОВА. Детишки сидят не раздеваясь. Они могут заболеть.

ЕРЁМИН. Не графьёв растим. Пускай к холодам с малых лет привыкают.

СВЕТЛОВА. Будет время — пойдут в шахты, и к холоду привыкнут, и к сырости, а в школе...

ЕРЁМИН. Что-о? Как? Да вы понимаете, что говорите? При ком говорите?! *(жест в сторону Дёмчинова. Светловой.)* Не в своё дело суётесь. Шахты дело наше.

СВЕТЛОВА. Ваше, не спорю. Но и вас прошу, господин Ерёмин, не давать советов, какие порядки должны быть в школе.

ЕРЁМИН. Как?

СВЕТЛОВА. Потому что школа — это дело моё.

ДЁМЧИНОВ *(с интересом наблюдавший за всей этой сценой)*. Ха-ха-ха! Это вы его здорово! Ну-с, давайте знакомиться. Дёмчинов.

СВЕТЛОВА. Светлова.

ЕРЁМИН. Они здешней школой заведуют.

ДЁМЧИНОВ. Слышал. А какие же у вас ещё претензии?

СВЕТЛОВА. Вот копия моего прошения господину Ерёмину.

ДЁМЧИНОВ *(берет бумагу, бегло взглянув, сделал карандашом пометку, передал Ерёмину)*. Распорядитесь, чтобы сделали в три дня.

ЕРЁМИН *(растерянно)*. Как?

СВЕТЛОВА. Спасибо.

ДЁМЧИНОВ *(весело)*. Слава тебе, господи! За сколько времени первый раз тёплое слово услышал.

СВЕТЛОВА. Прощайте.

ДЁМЧИНОВ. До свиданья.

Светлова уходит.

ЕРЁМИН. С характером. И точит, точит, как ржа железо. Ядовитая особа.

ДЁМЧИНОВ *(с сердцем)*. А-а!.. Ни черта ты в людях не понимаешь. *(Ушёл.)*

ЕРЁМИН. Зацепила белорыбица осетра... *(Смотрит прошение Светловой.)*
Размяк... В три дня...

Вошла Анна.

АННА. Ты один?

ЕРЁМИН. Уехал. *(Искоса глядя на Анну.)* Сейчас с учительницей Светловой разговор имел. Да-с, орёл, лев, можно сказать, а вот она его в единый миг укро-тила.

АННА. Что? Что ты говоришь?

ЕРЁМИН. Ну, да ничего. Сегодня она его, а завтра — он её. Лют Пётр Фёдорович до вашего брата, ох, лют.

За окном пение. Входит Филимонов.

ФИЛИМОНОВ. Егор Семёнович, на третьей шахте забастовка. Рабочие в контору идут.

Пение всё громче.

Депутат Ксена

Глава из романа «Чернотроп»

Близилась первые после войны выборы в Верховный Совет, и на Горячий Ключ приехал инструктор райкома. Приехал на подводе, в которой стряпуха из леспромхозовской столовой привозила на дялянню термосы с горячим супом и пшённой кашей. Говорить он был не мастак, а суп в плохих термосах порядком поостыл, и люди торопились схлебасть его, пока не взялся ледком, так что не больно слушали. Только и запомнили последние слова: «Вы как передовая бригада, конечно, отдадите свои голоса за нерушимый блок коммунистов и беспартийных!»

— Отдадим, отдадим! Куда нам их ещё девать, — заверила бойкая Тонька Селиванова.

Инструктор в своём городском пальтишке замёрз, пока ехал на подводе, и насмешки не заметил. Съел предложенную стряпухой кашу — она оказалась погорячее супа. Уселся в застланные соломой сани и, только когда лошадь тронулась, вспомнил про газеты. Выбросил на снег целую пачку.

— Вот спасибо! А то махорку уже не во что завернуть! — подхватывая газеты, весело поблагодарил Костя и вдруг ахнул: — Гляди-ка, Иннокентий Кирьяныч, никак Ксения твоя! — С первой полосы газеты на Иннокентия глянуло строгое лицо жены, а над портретом он прочёл крупным шрифтом набранную надпись: «Отдадим голоса за верную дочь народа Ксению Николаевну Развозжаеву!»

Дальше шёл очерк о верной дочери народа, большой, на всю почти газетную страницу. Одинаковых номеров было несколько, и Костя хотел их раздать желающим, но Анна Тимофеевна запротестовала:

— Читай вслух. Не все же грамоте умеют!

— Тогда пускай Иннокентий читает! — тут же встряла Тонька Селиванова. — Он про свою жену с чувством... — Но Иннокентий так глянул на неё, что баба прикусила язык.

— Вечером прочитаем. Работать надо! — распорядился бригадир, но обычно послушные женщины заупрямились:

— Чего там при «летучей мыши» начитаешь? Да и уснём на середине. Нет, да-

Марина Валентина Ивановна, прозаик, публицист (1914, с. Козловка Тамбовской губернии — 2001, Иркутск). Автор книг: *Люди одной дороги*: очерки (Иркутск, 1951); *Мои знакомые*: очерки (Иркутск, 1954); *Опасный рейс*: очерки (Иркутск, 1956); *Трудный год*: повесть (Иркутск, 1957); *Горячий ключ*: рассказы (Иркутск, 1963); *Маленький зелёный мотороллер*: сказка (Иркутск, 1968); *Позёмка*: роман (Иркутск, 1973); *Лебединские женщины*: повесть; *Позёмка*: роман (Иркутск, 1981); *Павильон Раймонды*: повести (Иркутск, 1987; *Современная сибирская повесть*); *Верхотуров против Меломана*: повесть (Иркутск, 1990); *Чернотроп*: роман (Иркутск, 1999) и др. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

вай читай, Костя. — Иннокентий сел позади всех, чтобы никто не видел его лица, и про себя костерил Ксену последними словами: «Дура стоеросовая! Ребёнок маленький, а она на такую дурь пошла...»

Костя внятно читал про заслуги Ксены во время войны — Иннокентий наслушался о них и от матери, и от Варвары Петровны, — какая она замечательная молодая мать и хозяйка — это-то откуда им знать? — и какой она организатор самодеятельности, и как охотно девушки из тракторного отряда поверяли ей свои тайные кручины, и как она всегда, несмотря на молодость, умела их понять и утешить. Конечно, не сама Ксена про себя это наговорила. И подружки, и старая трактористка Романовна, да мало ли ещё с кем он мог поговорить, этот Б. Сбитнев, написавший статью. Все это славословие Иннокентий пропускал мимо ушей. Но известие, что Ксена вступила в партию, да ещё по рекомендации райкома, поразило его: «Когда же это она успела! И ни слова мне». <...>

Вырвал из рук у Кости газету:

— Вечером дочитаешь, если уж так интересно! Женщины вставали неохотно. В кои веки выдался случай продлить отдых, и было приятно сознавать, что их односельчанка, такая же, как они, простая женщина, поедет не куда-нибудь, а в Москву, в самый Кремль, и все увидят, какие в Сибири бывают кралечки.

Пилить на морозе да перекачивать мёрзлые бревна — тут уж не до разговоров. Но думать, думать-то не запретишь. О чем? Да все о том же, о чем больше всего думают женщины: о любви, о красоте, о счастье, о женской судьбе, которую никогда не угадаешь и не предскажешь.

Иннокентий прожил с Ксенией почти два года, и они ещё ни разу не поссорились. Возможно, потому, что о прочности этого брака неустанно заботились сразу две семьи. Две бабушки, ещё не старые, бодрые женщины, наперебой нянчились с маленькой Юлькой. Чтобы дочь не моталась в Каменку, Николай Истомин устроил кормящую мать на работу в колхозе. Ксена неизменно работала вблизи дома. Верка приносила племянницу кормить прямо в поле, и девочка росла здоровенькой, спокойной. А с началом холодов, когда и мужикам на ремонте работы маловато, директор МТС охотно предоставил Ксении отпуск на всю зиму. Иннокентий считал, что они живут хорошо. <...>

Погано было на душе. Не от этого всенародного обсуждения. Как после известия о Санькиной измене погано: скрыла от него, не сказала. Уж лучше бы спуталась с кем-нибудь...

Раз в неделю Иннокентий отпускал одну подводку в Широкое отвезти сэкономленный хлеб, у кого он оставался. В этот раз поехал сам.

Уже смеркалось, когда Иннокентий подъехал к Широкому. Курились по-субботнему бани, перебегали друг к другу соседки попросить кто спичек, кто закваски. Субботним днём, когда топят бани, убираются в избах, людям некогда паяться в окна, но Иннокентию казалось, что из каждого окна смотрят на него и говорят: вон едет муж коммунистки, депутатки или активистки, как там ещё эту дурищу величают. <...>

Ксена весь вечер не проронила ни слова. Просияла было, увидав мужа на пороге, но сейчас же замкнулась, потемнела лицом, встретив его недобрый взгляд. Спросить, поговорить? Где уж тут! Отложила разговор до ночи.

Под одеялом Иннокентий растаял. Упругая, жаркая, жаждущая Ксена обняла мужа и победила. Все ликовало в ней. Показалось! Только показалось. Никакой тучи не было. И про Тоньку Селиванову сплетни. Он любит, он мой!

А Иннокентий, сладко потянувшись и готовый уснуть, сказал насмешливо: — Два года спал с коммунисткой и не знал. Оказывается, все как у других.

Ксену подбросило на кровати. У других! Она-то знала, сколько у него было других!

Сказала с вызовом:

— Да, я коммунистка. Так что с того? Мой отец тоже коммунист. Что ты имеешь против нас?

Иннокентий не сразу нашёлся, что ответить. Замолчал. Коммунисты в его представлении — это те, что увели отца той страшной ночью. Да, Татьянин муж — перемётная сума, случись завтра переворот — он и к новой власти пристроится. Или тот политрук дивизиона, что к месту и не к месту орал: «За Родину! За Сталина!» — И все допрашивал, почему хороший солдат Развозжаев в партию не подаёт. Да ещё разномастные уполномоченные из района, что каждую осень вороньем налетали выгребать хлеб из колхозного амбара.

Дядя Коля в эту обойму не ложился. Добрый человек, второй отец. Развозжаевская семья потому и выжила, что он помогал. Что-то тут не связывалось. Это ещё предстояло обдумать.

— А чего скрывала? — спросил он наконец.

— А ты не спрашивал. Если б я в банду записалась, и то бы не заметил.

— В банду ты и вступила, голубушка! Как ты этого не понимаешь. Мы ж все крепостные у твоей партии. Рабы! Коммунистка ты моя беспаспортная!

Иннокентий обнял жену за плечи, спросил строго:

— Ну ладно, в партию тебя девчонкой затащили, поди, лет двадцать было.

— Девятнадцать, — едва слышно прошептала она.

— Соплячка, так я и думал. Но теперь-то, теперь куда ты полезла? Замужняя баба, ребёнок чуть не титешный, а ты...

— Значит, он с тобой не говорил? — ужаснулась Ксена.

— Кто это — он?

— Да теперь-то все равно — кто. В газетах уже напечатали, — потерянно проговорила Ксена. — Обманули, как девочку...

Запели петухи. Близилось утро. Иннокентий потянулся, проговорил устало:

— То ли спать, то ли не спать уже. Ехать скоро.

— Спи. Юлька не даст проспать.

Иннокентий уснул, а Ксена так до утра и не сомкнула глаз. Что-то пугало её в словах, в настроении Иннокентия, но что, она не могла понять. <...> Почему скрывала? Она и сама редко вспоминала о своём партбилете. То есть о партбилете-то и вообще не вспоминала. Взносы за неё платил отец и её партбилет держал вместе со своим. Партийными нагрузками Ксену не обременяли, как новенькую. Потом, когда вышла замуж и стала работать только в Широком, сочувствовали: не трогайте её, только что замуж вышла.

Ксена всегда жила только любовью. Любила Женю и в тракторную бригаду пошла только для того, чтобы ему легче было воевать.

Антон Замчалов покорила её своей дерзостью и обязательством назвать будущую дочку Ксенией. Но война уносила одного за другим, и казалось, посмотри она, Ксена, ещё на кого, его тоже унесёт, убьёт. То были черные для неё дни. Она жила как во сне.

Тогда-то и нагрязнул к Николаю Истомину, эмтээсовскому парторгу, секретарь райкома: «Надо, Николай Акимович, укреплять партию лучшими людьми труда, рабочими и колхозниками. Знаешь ведь, сколько коммунистов на фронтах погибло!»

Истомуна рекомендовать было некого. Война и в МТС похозяйничала властной рукой. МТС держалась на девчонках, а у тех, известное дело — ветер в го-

ловах. Кино, танцы да ещё кто у кого дружка отбил. Такими кадрами партию не укрепишь.

— Не скажи, Николай Акимович. Например, твою дочь я бы и сам в партию рекомендовал. Серьёзная девушка, — прервал его горестные размышления секретарь райкома.

— Молода ещё, — возразил Истомин.

— Это пройдёт, — пошутил тот. — На фронте и семнадцатилетних принимали! Ты с ней поговори, подготовь, а я завтра приеду.

Истомин ещё не оставил своей голубой мечты видеть дочь в белом халате медика. Пусть не врач — в институт ей теперь уж не попасть, — пусть медсестра, но работа чистая и в тепле. Но сестра Гутя, работавшая в военном госпитале, пугала, что деревенской девчонке и в училище не пройти. А с партбилетом-то, может, и пройдёт, — подумал Николай Акимович.

Ксена послушно написала под отцовскую диктовку заявление и старательно, как все, что делала, вызубрила Устав. Больше от неё не требовали ничего. Члены бюро райкома хорошо знали, что рабочих и колхозников нельзя проваливать: они идут на укрепление партии.

А вот выдвижение кандидатом в депутаты было интереснее. Никто в Каменском районе, а тем более в Широком, не мог понять, почему именно Ксению Развозжаеву, вполне средненькую трактористку, выдвигают на такой высокий пост? Почему не её отца, авторитетного, умного члена партии? Почему не мужа её, энергичного бригадира? В Каменке хоть знали: нужна для какой-то сложной статистики женщина-механизатор, не старше сорока лет. В Широком не знали и этого, и догадкам не было конца. Сама Ксена тоже недоумевала:

— Зачем? За что?

— За красивые глаза! — сказала Варвара Петровна. В шутку сказала. Она и мысли не допускала, что государственный орган власти мог формироваться по такому признаку. Но именно её шутливая догадка оказалась ближе всего к истине.

Заведующий орготделом обкома принёс Злыгостеву фотографии будущих кандидатов в депутаты Верховного Совета, предназначенные для публикации. Топором вырубленная физиономия Евдокии Черкашиной остановила внимание Павла Ивановича. Он вспомнил разговор на бюро о несносном характере этой женщины и подумал: «Ну, кто за такую будет голосовать!» Позвал секретаря по сельскому хозяйству и велел подобрать другую механизаторшу.

— Не может быть, чтобы в целой области не нашлось трактористки поприглядней. — А когда тот принёс фотографию Ксении Истоминой, по мужу Развозжаевой, женолюб Павел Иванович внутренне ахнул. Вот это девка! Сам бы за такую голосовал.

Но, конечно, не ради прекрасных глаз трактористки Ксении Развозжаевой Злыгостев навестил Каменку. Каменка была самым сельским из всех районов области. Ни одного сколько-нибудь серьёзного промышленного предприятия.

Сельское хозяйство всегда было больным местом Советской власти, его лечили постановлениями пленумов, непременно историческими. Руководство сельским хозяйством всегда было прерогативой первых секретарей обкомов как самый важный участок партийной работы. <...>

А первый секретарь райкома Приёмышев как раз собирался ехать в Широкое «сватать Ксению Развозжаеву» на высокий, государственной важности, пост депутата Верховного Совета.

Он позвонил Варваре Петровне, чтобы никуда не отлучалась, и предупредил об этом же Ксению Развозжаеву.

Ксена недоумевала: «Зачем я им понадобилась? Если будут уговаривать в другом колхозе весной работать — откажусь! Пусть увольняют, а от дома никуда не поеду. Хватит! Лучше дояркой или телятницей...» Собственно, она давно решила уйти из тракторного отряда.

Кормила как-то приболевшую дочку грудью, а та почему-то не брала сосок, выплёвывала. Наблюдавший эту картину Иннокентий сказал пренебрежительно: «Титьки пахнут керосином!» Ксену ожгло: а что как и вправду? Сколько раз отец и мать, никогда не оставлявшие надежды вырвать единственную дочь из царства мазута, говорили ей: «Вот пропахнешь насквозь, кто тебя замуж возьмёт? Будешь как Романовна!» Ксена это мимо ушей пропускала. А Иннокентий только раз и обмолвился и напугал до смерти. Она стала плотно завязывать голову платком, после работы снимала с себя все, вплоть до лифчика, но, расчёсывая утром свои густые тёмные волосы, всегда слышала запах мазута. Зимой этого запаха не было, и Ксена не вспоминала о необходимости менять профессию. Ожидая начальство, решила: уйду!

Ксения укладывала дочку спать. Лучше всего девочка засыпала у неё на плече. Потом её можно уложить в кроватку, и хоть пляши рядом — не проснётся. Так с ребёнком на плече она и вышла из спальни, но, увидев гостей, снова скрылась. Злыгостев успел однако заметить, что она гораздо красивее, чем на фотографии военных лет. Чуть пополнела, мягче стали черты лица и венец женственности — ребёнок на руках! Ну, хоть картину с неё пиши.

— Повезло вам, мужики, за такую красавицу и агитировать не надо. Избиратели сами прибегут.

Ксена вышла к гостям, когда разговор перешёл на местные достопримечательности. Злыгостев похвалил место, удачно выбранное для села, директор МТС рассказал об охотничьих угодьях, а Варвара Петровна похвасталась изобильными ягодниками. Ничего не понимающая Ксена молча поглядывала на гостей огромными черемуховыми глазами. Попыталась было помочь свекрови собрать на стол, но Варвара Петровна крепко придавила ей колено: сиди! Один из шофёров тем временем втащил на стол кипящий самовар, другой принёс связку румяных бубликов, а Кузьминична выставила тарелку с розовым салом и толсто нарезанным хлебом. «Уж извиняйте, сахару у нас не продают, молоком вот забеливаем», — и поставила на стол кувшинчик с томлёным до коричневого цвета молоком.

— Давно я с таким молоком чаю не пил! — похвалил Злыгостев и, разломив бублик, кивнул директору МТС. — Ну, Алексей Петрович, не томи хозяйку, скажи, зачем мы приехали. — Так условились заранее: вести разговор будет директор якобы от коллектива МТС, решившего послать в Верховный Совет именно её, Ксению Развозжаеву. Разумеется, ей не следовало знать о московской строгой разнарядке и о том, что коллектив МТС, так горячо желающий послать её заседать в Большой Кремлёвский дворец, ещё ничего об этом не знает.

Ксена вспыхнула и полными слез глазами глянула на Варвару Петровну. Смеются? Такие большие начальники и нарочно приехали над деревенской дурочкой потешиться? Вслух она не могла произнести ни слова, боялась разреветься. Павел Иванович сделал Варваре Петровне знак, чтобы освободила стул рядом с Ксеной, и сел возле, сказал как можно мягче и доверительнее:

«Ты, Ксения Николаевна, в партию вступала, Ленина читала, верно?»

Ксена согласно кивнула, хотя, кроме Устава партии, ни одной политической книги не брала в руки. Злыгостев сделал вид, что поверил ей, и продолжал:

— Ну, раз читала, то помнишь, наверное, что он сказал: «Каждая кухарка может научиться управлять государством».

Что-то такое она слышала не то по радио, не то в каком-то кинофильме и согласно кивнула.

— А ты не кухарка, Ксения Николаевна! Ты представительница передовой части колхозного крестьянства, ты сельский авангард!

— Да я даже десятилетку не кончила, — взмолилась Ксена. — В городах учёных людей, что ли, не хватает?

— Ни один учёный так хорошо не знает деревенской жизни, Ксения Николаевна, как знаешь ты. Вот потому коллектив и посылает тебя.

Он говорил обкатанные, замусоленные слова, но так значительно и веско, словно только что сам их придумал специально для неё, Ксены, и смотрел на неё так, что ей хотелось застегнуть кофточку.

Вслух спросила:

— Почему отец-то не приехал? Хотя бы посоветоваться...

— И с мужем жене следно посоветоваться прежде чем решать, — строго сказала свекровь. Ксена метнула на неё недобрый взгляд и неожиданно сказала твёрдо:

— Ладно, я согласна, если коллектив так считает.

По тому, как все облегчённо вздохнули и заулыбались, Ксена поняла, как важно было для них её согласие. Ей стало хорошо, легко, как бывает в затянувшееся ненастье, когда вдруг проглянет солнце.

А ненастье в жизни Ксены в то время казалось беспросветным. Приезжала с лесозаготовок Тонька Селиванова и будто бы похвалялась, что снова крутит любовь с Иннокентием.

Тонька Селиванова! Это была та самая молодая вдовушка, с которой Ксена увидела Иннокентия в клубе, куда пришла только затем, чтобы с ним встретиться. Все то время, пока она не знала, женится на ней Иннокентий или уедет в город, как собирался, пока качалось на зыбких весах её счастье-несчастье, Ксене снились в дурных снах счастливое Тонькино лицо и рука Иннокентия, по-хозяйски обнимавшая Тонькины плечи. И вот снова... Ксена проплакала целый день, а на другой решила ехать на Горячий Ключ разобраться с мужем и с этой стервой Тонькой. Но свекровь наотрез отказалась оставаться с ребёнком.

— Будешь всякий брех слушать да за мужиком бегать, и себя и ребёнка изведёшь. В нашем, развозжаевском, дому бабы эдак-то не делали.

Мать тоже не советовала ехать:

— Что ты этой Тоньке сделаешь? Клок волос вырвешь? Так ей не впервой. А себя на смех выставишь. Гулёвый парень. Знала, за кого шла.

На мать Ксена не сердилась. Она и вправду её предостерегла, а на свекровь перенесла все своё ожесточение против Иннокентия. Стоило ей напомнить о муже, как все в Ксене встопорщилось, запротестовало. Пусть узнает, кого он меняет на эту вертихвостку.

Уже одеваясь, Злыгостев спросил:

— А муж-то где у тебя, Ксения Николаевна?

— На лесозаготовках, на Горячем Ключе, — готовно подсказала Варвара Петровна.

— Так я же его знаю, бывал в его бригаде. Ершистый мужик. Надо заехать, поговорить. Не беспокойся.

Все уже вышли за дверь, а он все стоял, смотрел на Ксену ласково и успокаивал:

— Ничего не бойся. Теперь сама большая!

Лёжа без сна, Ксена обдумывала свою жизнь. <...>

Засобиралась на дойку свекровь. Проснулся Иннокентий. Начался день, раздумывать стало некогда.

Выстрел в тайге

Отрывок из романа «Соль земли»

Глава третья

1

Рыжая лошадь с подобранным в узел хвостом была забрызгана грязью от копыт до ушей. С шершавых, впалых боков падали на землю хлопья жёлтой пены. Большие выпуклые глаза глядели безразлично и тупо. Лошадь изнемогала от голода и усталости.

Изнемогал и Алексей Краюхин. Ныли руки и плечи. Поясница одеревенела. Голова была мучительно тяжёлой, болела шея. Ноги затекли, потеряли чувствительность. Алексей то и дело поднимался на стременах, менял положение тела, но усталость угнетала, как непосильная поклажа.

Уже несколько раз, завидев впереди бугорок, поросший молодым лесом, или полянку, покрытую ранней зеленью, Алексей собирался сделать остановку, но стоило ему доехать до этого места, нетерпение ещё сильнее охватывало его, и он настойчиво понукал лошадь.

Вчера под вечер, возвращаясь домой, он нашёл на столе записку, неведомо каким способом доставленную из глубины тайги. На истерзанном клочке бумаги не то обожжённой спичкой, не то огрызком карандаша Михаил Семёнович Лисицын писал:

«Алексей Корнеич! Вода на Таёжной сильно спала. Берег у реки обвалился. Красный слой земли с чёрными прожилками, о котором ты толковал мне, вышел наружу. Приезжай сам, посмотри. Торопись. А то вода скоро хлынет и может замкнуть, и тогда придётся тебе много поворочать землицы. Коня оставишь на паеке колхоза «Сибирский партизан». На стан проведёт тебя Платон Золотарёв».

Алексей перечитал записку и заспешил к матери на кухню.

— Мама, кто эту записку принёс?

— Была воткнута в замок. Я уходила к соседке.

— Удивительно! Это от дяди Миши из Мареевки.

Марков Георгий Мокеевич, прозаик, публицист (1911, с. Ново-Кусково Асиновского р-на Томской обл. — 1991, Москва). Автор книг: Собрание сочинений: в 5 т. (М., 1972–1974); *Строговы*: роман. Кн.1 (Иркутск, 1939); То же. Кн. 2 (Иркутск, 1946); То же. В 2 кн. (Красноярск, 1977); *Солдат пехоты*: повесть (Иркутск, 1948); *Письмо в Мареевку*: рассказы и очерки (Иркутск, 1952); *Соль земли*: роман [Кн. 1] (Иркутск, 1955); *Грядущему веку*: роман (М., 1985); *Сибирь*: роман. В 2 кн. (М., 1988) и др. Лауреат Государственной премии СССР (1952) и Ленинской премии (1976). Почётный гражданин г. Иркутска. Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1930–1950-е гг.

— Может, сорока на хвосте принесла? Говорят, Лисицын птиц обучать умеет, — засмеялась мать.

Но Алексей на шутку не отозвался, и, обеспокоенно взглянув на него, мать серьёзно сказала:

— Видать, кто-то из тех мест в район ехал, ну, попутно и завёз. Да мало ли тебе со всего района писем да разных находок посылают? На прошлой неделе так же было: прихожу — на крылечке стоит ящичек с голубой глиной. Где только и отыскивали такую! А ты садись, Алёша, кушай, щи совсем простынут.

Но Алексею было не до еды. Он ушёл в свою комнату, взял со стола записку и ещё раз перечитал её. Да! Случай выпал редкий. Такое действительно могло произойти один раз в десятки лет. Уровень воды в Таёжной всегда держался высоко. Нынче сток снеговых вод из-за поздних морозов задержался. Берег, свеженабжённый, да ещё в самом необходимом месте, мог поведать Алексею много интересного. И всё это без затраты сил и времени на пробивку шурфов!

— Мама, собери мне в мешок припасов дня на четыре. Я поеду в тайгу, — сказал Алексей, появляясь опять на кухне.

— Тебе же райком в Мареевку велел ехать, агитировать.

— Туда ещё успею, мама, а Таёжная ждать не станет.

Мать остановилась с чашкой в руках, посоветовала:

— Вечер, Алёша, скоро, а в логах сейчас разлив. Ты уж утром бы и отправился. Я разбуджу тебя на заре.

Поставив чашку на стол, она села рядом с Алексеем. Обжигаясь щами, он рассказал ей, почему спешит.

Мать смутно разбиралась в делах, которые занимали её сына. Но она знала, что Алексей продолжает то, что начато было ещё его отцом. Дело это значительное и нужное всем людям.

— Смотри сам, Алёша. Пока ты за конём сходишь, я тем часом тебе припас приготовлю. Ружьё возьми...

— Обязательно! Как же в тайге без ружья?

«Только бы успеть!.. Успеть бы! Успеть!..» — неустанно думал Алексей.

В середине дня он свернул с просёлка на пасеку. Тропа тянулась по густым кедрочам. Огромные мохнатые деревья закрывали небо. Даже в разгар ясного дня здесь стояли сумерки. Макушки кедров поднимались до высоты птичьего полёта, а там и в солнечную погоду не переставали бесноваться ветровые потоки. Они задевали за вершины деревьев и раскачивали их.

Оттого, что шумели только макушки, а на земле между стволов было тихо, кедровник чем-то напоминал тёплый дом в пору, когда за стеной бушует злая непогода.

Увидев, что тропа сделала крутую петлю вокруг лесного завала и побежала с холма в ложину, поросшую осинником, Алексей натянул поводья. В кедровнике было сухо, а тут опять зачавкала под копытами грязь, конь начал спотыкаться о кочки и колодины.

Путь близился к концу. Алексей знал, что за осинником начнутся гари, а потом пойдут уютные полянки с зарослями черёмухи и калины. Отсюда до пасеки двести — триста шагов.

«Если дядя Миша обосновался на стане у Тёплого ручья, то рано утром я буду у него», — думал Алексей.

Быстро смеркалось. Солнце скатилось в лес, и на небе догорали его последние отблески. Посвистывая крыльями, пронеслись над тайгой утки. В пихтовой

чащобе заухал филин — там, под покровом нескольких слоёв густых и пушистых веток, было уже темно, как ночью.

Алексей спустился в лог. Конь, похрапывая и вздрагивая, перебрёл через глубокий каменистый ручей. Алексей вытер ладонью вспотевший лоб. Ручей был последним серьёзным препятствием, и, к счастью, воды оказалось в нём меньше, чем он ожидал.

Темнота настигла его за логом, в осиннике. Тропа затерялась в жухлой прошлогодней траве. Алексей опустил поводья и доверился чутью коня. Конь пошёл медленнее, как будто нащупывая тропу.

Вдруг пламя полыхнуло у самых глаз Алексея. Сухой, короткий звук выстрела взорвал тишину. Тайга заколыхалась, задрожала от протяжных перекатов эха. Конь осел на задние ноги, судорожно захрипел и тяжело рухнул, подминая бурьян. Алексей выпрыгнул из седла, испуганно закричал:

— Осторожно! Здесь люди!

Мгновенно всё происшедшее представилось ему так: охотники преследовали медведя. Зверь выбежал на тропу и наткнулся на человека. В чаще осинника зверю некуда было деваться, и он повернул назад. Охотники не упустили случая и выстрелили.

Прошла минута. Эхо отгрохотало и затихло. Конь два-три раза ударил копытами о колоду и замер. Цепenea от страха, Алексей крикнул дрожащим голосом:

— Эй, кто тут есть?!

Никто не отозвался.

Алексей долго стоял не шевелясь. Потом осторожно шагнул три шага и наткнулся на коня. Ни одного звука не издавала тайга, погружаясь в непроглядную тьму весенней ночи.

Алексей стало не по себе. Чутьём угадывая, где тропа, он заторопился от убитого коня прочь, на ходу снимая из-за спины ружьё. Валежина преградила ему путь. Он зацепился за неё сапогом, упал, чувствуя, как из царапины на щеке потекла кровь.

Поднявшись, он постоял, прислушиваясь, нет ли за ним погони, и когда пошёл дальше, то с первых же шагов понял, что сбился с тропы.

Алексей принялся искать тропу, нагибался к земле, приглядывался.

Сколько времени он так бродил по лесу, Алексей не знал. Ноги у него гудели, подламывались в коленях. Пасека, по-видимому, осталась где-то в стороне.

Острое чувство одиночества охватило Алексея. Он поднял ружьё и выстрелил вверх. Если есть поблизости живые люди, они откликнутся. Выстрел ночью в тайге — это сигнал бедствия.

Когда эхо умолкло, Алексей подставил ухо ветру и стал слушать. Никто не откликался. Вот хрустнул где-то сучок, встревоженный выстрелом зверёк ринулся в новое убежище. Вот прошумела в воздухе сова: выстрел спугнул её на один только миг раньше броска на прикорнувшего в ветках берёзы рябчика. И снова всё стихло.

Алексей переждал несколько минут и выстрелил ещё раз. «Что ж они молчат?! Должны же откликнуться!» — ожесточённо думал он.

Всё повторилось сызнова: раскаты эха, беспокойные шорохи зверей и птиц, шум ветерка над вершинами деревьев...

Но вот где-то раздался ответный выстрел и залаяли собаки. Их лай доносился до Алексея слабым, едва уловимым отзвуком, словно проникал откуда-то из-под земли. Возможно, что собаки лаяли на пасеке. Алексею казалось, что она должна находиться рядом, а по звуку, который еле-еле долетал до него,

пасека лежала далеко к северу. Но раздумывать было некогда, надо спешить, пока лай собак мог послужить ориентиром.

2

Наконец вызвездило. Алексей поднял голову и долго смотрел на небо. Была середина ночи. Он стоял среди высоких кочек, скрывавших его с головой. Густой лес с завалами и непроходимыми чащобами остался где-то позади. Редкие деревья в кочкарнике были малорослыми и чахлыми. «В Берёзовое болото затесался. Придётся, как цапле, ночь на кочке коротать», — подумал Алексей, вытирая рукавом брезентовой куртки вспотевшее лицо. Он ощупал кочку, покрытую сухой осокой, и, подпрыгнув, сел на неё, балансируя ногами, чтобы не свалиться.

«До рассвета далеко, сидеть придётся долго», — подумал он. Ему припомнилось, как перед наступлением в Восточной Пруссии в разведке пролежал он в болоте трое суток. Теперь ему предстояло переждать несколько часов. «Пустяки! Скоротаю!» — мысленно подбодрил он себя.

Алексей достал портсигар и закурил. Снова всё пережитое в этот вечер вспомнилось шаг за шагом. «В осиннике зря поторопился. Надо было не бежать куда глаза глядят, а бросаться туда, откуда стреляли», — упрекал он себя. Но второй голос возразил: «Не храбрись. Лежал бы теперь рядом с конём». Но вот это-то и не укладывалось в сознании Алексея. Ему не верилось, что кто-то мог стрелять в него. Охотники, рыбаки, пасечники, земледельцы Улуюльского края знали его самого, знали его отца, и он был убеждён, что среди них не было человека, который не хотел бы ему добра.

Он докурив папиросу, выплюнул окурочек и решил разжечь на соседней кочке костёр. Не просохший ещё у корневища бурьян горел плохо, дымил. Алексей закрыл глаза и задремал.

Очнувшись он от крика. Ему снилось, что Лисицын ругает его за езду ночью и гибель коня. В действительности кричала ворона. Она сидела на вершине сухой, оголившейся ели и каркала изо всех сил.

Алексей всунул два пальца в рот и с остервенением свистнул. Ворона сорвалась с ели и каркая полетела к лесу.

Рассветало. Под утро посвежело. Алексей спрыгнул с кочки, замахал руками, стараясь согнать холодок, ползавший по спине.

Когда стало светло, Алексей вытащил из кармана брезентовой куртки компас, встряхнул его и, положив на ладонь, стал следить за стрелкой. Она затрепетала, двинулась влево-вправо и замерла.

Алексей от удивления протянул вслух: «Ой-ёё!» Оказалось, что он находился северо-западнее пасеки по меньшей мере километров на пять. Чтобы выйти из болота, волей-неволей надо было взять ещё западнее, выбраться на поля маревского колхоза и, сделав большой крюк, вернуться к пасеке.

Алексей достал из армейского вещевого мешка хлеб, сало, закусил и потом пустился в путь.

Идти было трудно. Алексей прыгал по кочкам, как заяц. В одном месте он сорвался и провалился в яму, наполненную водой. Он выкупался бы до пояса, если бы не схватился за куст жимолости. Но тяжёлый путь был недолгим. Впереди в прощелине леса заблестела стеклянная гладь воды. Это показалась западная вершина Орлиного озера. Здесь местность менялась. Карликовый, чахлый лес

становился крупнее, кочки редели, отступали, и сухие полянки с бугорками переходили в лесистые гривы.

Вскоре Алексей увидел раскорчёванные поляны и свежеперепаханные поля. Отсюда до берегов реки Большой, пересекавшей Улуюльский край с юга на север, оставалось километров десять. Однако подвигаться к западу было незачем.

Алексей повернул на юго-восток. Ему нужно было отыскать тропу, с которой он вчера сбился, и по ней идти до самой пасеки.

Неподалёку послышался людской говор, звон топора и смех. «Вот кто на мои выстрелы откликнулся», — подумал Алексей. Он раздвинул руками густые заросли молодого пихтача, с трудом протиснулся между упругих, пахнущих смолой веток и вышел на ровную площадку. Рыжая мохнатая собачонка с пушистым хвостом кинулась на него с залиvistым лаем. В сотне метров от пихтовой чащи трое людей вертели всунутый в треногу шест бура. Не обращая внимания на иступлённый лай собачонки, Алексей подошёл к работавшим, поздоровался. Люди прекратили работу и с любопытством осмотрели его.

— А вы кто будете? — спросил Алексея старик, возглавлявший эту небольшую артель.

Остальные двое были в том неопределённом возрасте, когда человека нельзя уже назвать подростком и несправедливо ещё причислять к парням. Они смущённо переглянулись. Прямой вопрос старика почему-то казался им не совсем уместным. «По-видимому, знают меня», — отметил про себя Алексей и, взглянув на старика, продолжавшего с любопытством осматривать его, сказал:

— Я из Притаёжного, учитель Краюхин.

— А Корней Алексеевич Краюхин вам не родня был? — спросил старик.

— Я его сын.

— Вот оно что! — обрадованно воскликнул старик. — Корнея Алексеевича я хорошо знал, охотился с ним много раз. Вот уж охотник был так охотник!.. А вы по какому делу в наши края?

Алексей решил пока умолчать об истинной причине, приведшей его сюда.

— На Орлином озере был. Карту Улуюльского края составляю. Надо было вершину Щучьей реки отыскать.

— Искал её и я один раз любопытства ради. Да где её найдёшь?! Она вся, речка-то, какая-то непутёвая. То выйдет из земли, то опять куда-то скроется. Одно слово — чудеса! — старик широко развёл руками.

— Мы тоже карту земель нашего колхоза составляем, как вы нам на районной комсомольской конференции советовали, — сказал один паренёк, смущаясь и неловко переступая с ноги на ногу.

— Уж не потому ли вы бурение здесь начали? — спросил Алексей.

Выступая недавно на конференции в Притаёжном, Алексей советовал комсомольцам заняться составлением краеведческих карт своей местности, наносить на них все интересные данные физико-экономического, геологического, этнографического, исторического характера. Чтобы преобразовывать свой край, надо прежде всего отлично знать его. А никто так не знает свою местность, как сам народ. Беда лишь в том, что зачастую эти знания, накапливаемые из поколения в поколение, утрачиваются, и люди лишают себя таких ценных открытий, которые приобретаются затем долгим, тяжёлым трудом специалистов, — в этом Алексей был убеждён.

— Видишь ли, Корнейч, — переходя на задушевный тон, доверчиво проговорил старик, — колхоз наш решил вон на том бугре новый полевой стан построить. Эти

молодые земли под лён у нас пойдут. — Старик лёгким взмахом руки описал полукруг, в середине которого оказались и те раскорчёванные земли, которые только что видел Алексей. — Ну, а без воды, сам понимаешь, какой же полевой стан?

— Да вы не Дегов ли? — спросил Алексей.

— Он самый! — воскликнул старик, и широкое лицо его, обросшее густой окладистой бородкой, расплылось в довольной улыбке. — А как вы узнали меня?

— Портрет ваш в областной газете был. А когда вы о льне заговорили, я сразу понял: «Это он, Дегов Мирон Степанович!»

Дегов опять расплылся в улыбке. На днях Указом Президиума Верховного Совета СССР за высокие урожаи льна он был награждён орденом Ленина. Старик обычно был молчалив, но такая высокая оценка его заслуг государством взволновала его, и при разговоре об этом, как он ни сдерживался, радость то и дело прорывалась и смягчала суровые черты его крупного лица.

На земле лежал раскинутый брезентовый плащ. Дегов пригласил Алексея присесть. Задерживаться не хотелось, но старик уже опустился на землю. Алексей сел рядом с ним, достал портсигар и, угостив всех папиросами, спросил:

— Не вы на мои выстрелы вечером откликались?

— Мы утром пришли. Ночевали на полевом стане, — с недоумением глядя на Алексея, сказал Дегов.

«Стало быть, кто-то другой мне сигналы подавал», — подумал Алексей и поспешно изменил тему разговора.

— Ну, а как бурение? Нашли воду?

— Воды тут много, да не везде она близко. Пятый метр идём, а сухо.

— Попробуйте побурить вот тут, где хвощ растёт, — посоветовал Алексей.

Он собрался уже идти, но Дегов остановил его.

— А ты слышал, Корнеич, нашу мареевскую новость? Основатель нашей деревни каторжанин Марей Добролётов пришёл...

— Неужели?... Да он разве не умер?

— Живой! С Михайлой Лисицыным на Таёжную отправился. Пожалуй, за восемьдесят ему, а в памяти ещё.

Алексей слышал о Марее от Лисицына. Тот часто рассказывал о нём, неизменно заключая свои рассказы одним и тем же: «Вот кого тебе, Алёша, порасспросить бы! Он всё Улуюлье своими руками ощупал!»

«Да, всё складывается так, что надо торопиться на Таёжную», — подумал Алексей.

Когда до пасеки осталось не больше километра, начал моросить мелкий дождь. Алексей тревожно посматривал на сумрачное, в тучах, небо. «Всё потеряно. Пойдёт вода в Таёжной на прибыль».

На пасеке его встретили пчеловод Платон Золотарёв и сторож Станислав. Они никак не ждали Алексея. Ведь только вчера Станислав вернулся из При-таёжного, куда он ездил верхом с запиской от Лисицына.

— Не ты ли, Алексей Корнеич, ночью из ружья палил? — здороваясь с Краюхиным за руку, спросил Золотарёв, низкорослый плечистый мужчина с бельмом на глазу.

— Я, Платон Иванович. А кто откликался?

— Вон Станислав слышал. Он днюет и ночует на дворе.

— Несчастье у меня, Платон Иванович, случилось.

— Что за несчастье? — поспешно опускаясь на дрова, спросил Золотарёв.

Алексей рассказал о выстреле в осиннике, о гибели лошади, о своих блужданиях по тайге ночью.

Золотарёв слушал его, по-бабьи всплескивая руками. Станислав тарашил глаза, крутил головой, поражённый всем, что говорил учитель. Золотарёв наполнил Алексея чаем, а потом они все трое пошли в осинник к месту происшествия. Ни звериных, ни людских следов они не обнаружили. Над убитой лошастью уже кружилось воронье.

3

Провести Алексея на стан Лисицына вызвался Станислав. Золотарёв спешно готовил подкормку для ослабевших за время зимней неволи пчёл и не мог отлучиться с пасеки.

Путь к берегам Таёжной лежал через топи, кочкарник, зыбкие мхи и заросли ельника и пихтача. По прямой от пасеки до Тургайской гривы, на которой разместился стан Лисицына, было километров десять, а по тропе, в обход болота, в три-четыре раза больше. «Версты тут мерил чёрт кочергой, и тот со счёту сбился», — смеясь, говаривал Лисицын.

Алексей ходил этим путём и раньше, но всегда с проводником. Шутить с болотом было опасно: зайдёшь в трясину и не вернёшься. Лучше бы всего запомнить дорогу. Но это было просто в лесу, где на каждом шагу могли быть приметы, здесь же дорога большей частью тянулась по чистому, безлесному мшанику. На мху следов от ног человека никаких не оставалось, и тропу надо было угадывать особым чутьём, выработать которое Алексей ещё не успел.

Станислав шёл впереди. Он сильно размахивал руками, и шаги у него были широкие и лёгкие. Немой торопился, и это вполне совпадало с желаниями Алексея.

«Выходит, дружище, что не все желают тебе добра. Нет, не все! — раздумывал Алексей. — Есть люди, которым ты досадил чем-то очень жестоко. Уж если человек берётся за ружьё, если он стережёт тебя на таёжной тропе, если он, не страшась, стреляет в тебя, — значит, ты действительно ему враг смертельный. Но кто этот человек? Кто он?.. И за что он возненавидел тебя?»

Алексей припоминал всех знакомых, с которыми у него были на той или иной почве столкновения. Нет! Случаи, которые он вспоминал, были мелкие и могли вызвать неприязнь, но никак не ненависть. «Значит, что-то другое», — решил Алексей. «А может быть, кто-нибудь за отца мне мстит?» — спрашивал он себя. Он припоминал всё, что знал об отце по рассказам матери и Лисицына. «Опять не то! Но что же всё-таки?!» — ожесточался Алексей.

«Ошибка! Необыкновенный таёжный случай! — хватался он за новую мысль. — Могло случиться так: охотник шёл по лесу, его захватили сумерки, он торопился, страшась ночи. Вдруг впереди послышался хруст валежника и показались неясные в сумраке очертания крупного зверя, надвигающегося на него в полный рост. Оробевший охотник стреляет наугад. Вдруг слышится человеческий голос, и охотнику становится понятно, что он ошибся. Но выстрел сделан. Охотнику стыдно за свою горячность. Ясно, что он оробел, струсил. Конь уже упал замертво, человек ещё жив, но и он, может быть, тоже доживает последние минуты. Охотник бросается прочь. Вокруг лес, безлюдье. Никто, ни один человек на свете не будет знать об этом происшествии. Пройдут годы, и забудется этот случай, утихнут укоры совести...»

Когда Станислав остановился на сухом бугорке и присел отдохнуть, Алексей закурил и рассказал немому о своих предположениях.

Дослушав Алексея, Станислав вскочил и замотал головой. Вскинул руку, он описал круг, вытянул губы, надул щёки и открыл рот: «Пфа! Пфа!»

Потом немой затопал ногами, изображая, что он бежит, поводя глазами то в одну сторону, то в другую, затем внезапно втянул сильную, мускулистую шею в плечи и удивлённо развёл руками.

Алексей без особого труда понимал жесты Станислава. То, что поведал сейчас немой, было крайне важным для Алексея. Оказывается, вчера перед вечером, когда солнце склонялось уже к закату, неподалёку от пасеки послышалась стрельба. Станислав бросился в лес, намереваясь привести людей, которые вздумали охотиться возле самой пасеки. Он осмотрел все её окрестности, но никого не встретил. Люди скрылись неизвестно куда. Не от их ли руки пострадал конь Краюхина?..

— А Золотарёв в это время на пасеке был? — спросил Алексей.

Станислав энергично закивал головой, потом жестами показал, что на поиски людей он, Станислав, и Платон бегали вместе: один налево, другой направо. Обойдя по полукругу, они сошлись у вершины Орлиного озера, напротив своей избушки.

Алексей докурил папиросу, поднялся, с ожесточением отбросил окурочек в ручеёк. Станислав понял это как сигнал: в путь! Он зашагал, мелькая перед Алексеем своим крепким рыжим затылком.

«Ах, как дрянно всё сложилось! На сутки почти опоздал к дяде Мише, школу без коня оставил, — горько думал Алексей. — Успеть бы до прибыли воды! Успеть бы!.. А там... Коня как-нибудь куплю, вложу отпускные, продам костюм, пальто, займу в кассе взаимопомощи...»

«Да здравствует восстание!..»

Главы из повести «Грач — птица весенняя»

Глава XXXII. Воля

В зале, узком и длинном, двести, а может быть, и триста человек. Бауман с Надей остановились на пороге, и тотчас радостный голос окликнул, перебивая говорившего оратора:

— Грач, родной!.. Бауман, товарищи!..

Козуба подходил почти что бегом, охватил руками, поцеловал, жёстко показывая кожу колючим подбородком:

— Я уж думал — сам выпущу! Нет, струсил прокурорчик, не дождался.

Кругом уже толпились другие. Заседание прервалось. Крепко жал руку Ларионов, в прошлом году вместе провели голодовку. И ещё, ещё знакомые лица...

— Прямо из-за решётки? Домой не заходил? Правильный ты человек.

Бауман, взволнованный, оглядел толпу вокруг себя:

— У вас что тут сейчас? Митинг?

Козуба расхохотался.

— Митинги нынче, брат, по десять тысяч человек. На меньше — рта не раскрываем. А здесь... Жена разве тебе не сказала, куда ведёт?.. Здесь только всего-навсего Московский комитет с районными представителями.

Бауман качнул головой невольно. Громче засмеялся Козуба:

— Шагнули, а? Помнишь, как у доктора среди морских свинок заседали? Пятеро — вот тебе и все Северное бюро, на четверть России организаторы... Было — прошло!

Бауман огляделся ещё раз:

— И заседает так вот, открыто?

— А прятаться от кого? Нынче, товарищ дорогой, ни шпиков, ни полиции. Чисто! Ходи по своей воле...

Прозвонил председательский звонок. Козуба сказал гордо:

— Слышал? По всей форме! Иди к столу: мы тебя — в президиум.

— Товарищи! Заседание продолжается. Президиум предлагает кооптировать только что освобождённого из тюрьмы старейшего большевика, товарища Баумана, присутствующего среди нас.

Мстиславский Сергей Дмитриевич (Масловский), прозаик (1876, Москва — 1943, Иркутск). Автор книг: *Крыша мира*: приключ. роман (М.; Л., 1930); *Без себя*: роман (М.; Л., 1930); *Чёрная Магома*: рассказы (М., 1932); *Союз тяжёлой кавалерии* (М.; Л., 1932); *Партионцы*: роман о народовольцах (М., 1933); *Грач, птица весенняя*: ист.-рев. повесть о Н. Баумане (М., 1937); то же (М., 1946; Калинин, 1963) и др. Член Иркутской организации Союза советских писателей СССР в 1942–1943 гг.

Радостно и гулко бьют ладони. За столом потеснились, очистили место.

— В порядке дня очередным пунктом — распределение работы между членами комитета. — Председатель обернулся к Бауману: — Какую работу возьмёшь на себя, товарищ Бауман?

Голова мутна ещё от пяти дней голодовки. И нервы — как струны. Перед глазами — ряды, ряды, и всё новые, новые, по-новому пристальные лица.

— Дай присмотреться немного... Козуба сейчас верно напомнил: совсем другой масштаб стал работы. После полутора лет — надо освоиться.

Председатель покачал головой, улыбаясь:

— Напрасно скромничаешь, товарищ Бауман. Такой работник, как ты, сразу ориентируется, только глазом окинет. В курс мы тебя мигом введём.

Вмешался Козуба — за Баумана:

— Нет, ты его слушай, сразу не наваливай. Он потом нагонит и перегонит, а сейчас дай ему по-своему осмотреться. Я, к слову, завтра с утра в текстильный район, в Подмоскovie: прошинские по сю пору в стачку ещё не вошли. Районному организатору на вид предлагаю поставить: прилепился к Морозовской, на Прошинскую носа не кажет, а она как раз фабрика наиболее отсталая. Едем вместе, товарищ Грач!.. Район тебе, кстати, знакомый. И народ нынешний посмотришь, и потолкуем в дороге вплотную.

— А как поедете? Дорога ведь стоит.

— Железнодорожники — наши иль нет? Паровоз дадут. Обернёмся духом.

Глава XXXIII. Две фабрики

Медведь в сарафане под вычурной коронкой. И вывеска ажурная над широко распахнутыми воротами.

М А Н У Ф А К Т У Р А
потомственного почётного гражданина
СЕРГЕЯ ПОРФИРЬЕВИЧА ПРОШИНА

Чернеет двор сплошной, тесной толпой. На крыльце фабричного здания — президиум. От фабрики трое — старик и два молодых; от Московского комитета — Козуба и Бауман.

Уже третий час идёт митинг.

Рядом с президиумом на бочке-трибуне стоит во весь свой огромный рост парень — из здешних рабочих, безбородый ещё, безбровый, русые волосы по ветру.

Парень рубанул рукой по воздуху:

— Кончаю, товарищи! Сегодня, стало быть, выступаем против самодержавия. До сего дня боролись мы за копейки да пятаки, за жалкое своё существование, за то чтоб вонючую конуру в хозяйском хлеве хоть на какое человеческое жильё сменить. Теперь, товарищи, бороться будем за власть, какая рабочим людям нужна. На царя идём, потому что поняли: покуда царская власть, нам фабриканта не сбить! Царь фабриканту опора, и одной они общей шайкой из народа кровь сосут. Царя собьём — управимся и с капиталистом. Конечно, даром такое дело не даётся — может, нас какой разок и побьют. Но если б и так — этим отнюдь они дела не остановят: рабочий народ к своему придёт. Обязательно, однако, и неотложно надо вооружаться. Голой рукой царя не возьмёшь.

Голос из толпы, далёкий и гулкий, прокричал:

— Не туда гнѣшь! — Парень остановился:

— А ну, доказывай, как по-твоему?

Голос отозвался не столь уж уверенно и громко, словно оробел:

— Не к пользе народной. — Толпа колыхнулась.

— Из подворотни не лай! Доказывать хочешь — лезь на бочку!.. Поддай его, ребята, кто он там, к президиуму...

К бочке подтолкнули — далёкой передачей, из глубоких рядов — седоватого человека: пальтишко, сапоги бутылкой, справные. Парень с бочки скосил подозрительно и насмешливо глаза на сапоги.

Человечек снял картуз:

— Зачем на бочку?.. Я и так...

— Ползи, не ёрзай!

Бочек у крыльца гряда. Влез на соседнюю с парнем. И сейчас же из толпы закричали:

— Не свой! У нас не работает!.. С макеевской мастерской. Какой ещё ему разговор?

Но Козуба встал, поднял руку. И сейчас же стало тихо.

— Непорядок, товарищи! Ежели не с нашей фабрики, так уж и не свой, слова ему нет?.. Неправильно. Вот послушаем, что скажет, тогда и определим — свой, не свой.

Седоватый кашлянул в кулак. От председательской поддержки он как будто бы осмелел.

— Я к тому, собственно, в рассуждении общей пользы, чтобы в драку не ввязываться. Разве это рабочее дело — с ружья стрелять? Наше дело — станок... Кроме того, тут доклад был, все слышали, будто Расея вся поднялась, и дороги стоят и фабрики... Так нам-то чего, скажем, кулаками махать? И без нас управятся. Пойдём мы или нет — все один толк, а рабочему человеку от забастовки убыток...

Парень перебил, не выдержал:

— А я так говорю: уж если дошло, что рабочий народ за свою долю встал, каждому надо до последнего идти, — вот время какое! И кто против этого брешет, тот не пролетарий, а царский прихвостень и вообще, чтобы по всей вежливости сказать, сукин сын!

— Правильно! — стоголосым гулом отозвалась толпа.

Седоватый махнул рукой отчаянно:

— Я ж не против чего... я только по осторожности... Обождать, говорю...

Голос затерялся в гуле. Из рядов кричали злорадно и яро:

— Хватит! Сказал! В бочку!

Макеевский оглянулся на президиум испуганно. Но старик, с Козубою рядом, кивнул подтвердительно:

— Слышал? Лезь. Порядок у нас на митингах установлен такой: говорить — на бочку, а ежели проврался — в бочку. Вон стоит, — ухмыльнулся, — отверстая... — И, наклонившись к Козубе и Бауману, пояснил: — Это мы, извольте видеть, для того, чтобы человек с рассудком говорил. А то вначале было. Выскочит который краснобай, чешет, чешет языком — не понять, что к чему... Ну, а как бочкой припугнёшь, молоть опасается.

.....

Ещё не был окончен митинг, когда Бауман с Козубою вышли за ворота: к вечернему заседанию комитета обещались быть в Москве. Около иконы святителя

Сергия несколько парней и седой ткач, с кумачовой повязкой на рукаве, выворачивали из оковок прикрученную к подножию иконы огромную кружку для пожертвований. Глухо брнчали тяжёлым звоном, перекатываясь в жестяной утробе, медяки. Бауман остановился:

— Это вы что?

Седой повёл бровями успокоительно:

— Стачечный комитет постановил — отобрать на вооружение... Вы не беспокойтесь, товарищ, мы согласно закона: вскроем по акту и расписку составим, сколько именно взяли. После революции пусть поп из банка получает, ежели власть постановит, чтобы отдавать.

— Постановит, держи! — рассмеялся один из молодых, крепкозубый. — Не чьи-нибудь — наши деньги, рабочие: свои же дурни фабричные насыпали. Их за дурость, выходит, и штрафуют.

Козуба вопросительно посмотрел на Баумана:

— Уж не знаю, правильно ли?... Казны тут — ерундовое дело, а крик подымут: рабочие, дескать, грабят...

— На всякое чиханье не наздравствуешься, — степенно возразил старый ткач. — Эдак и помещичий налог тоже на грабёж повернуть могут, тем более — там не на пятаки счёт.

— Какой ещё налог?

— На помещиков, я говорю. Тут кругом фабрики, помещичьи земли. Комитет и послал в объезд — по усадьбам — денег собрать на стачку. Ну, стало быть, и на вооружение. Приехали мы первым делом к графу Соллогубу, — есть у нас тут старик такой, миллионщик. Расчёт был на то, что он, как старик, особо хлипкий. И действительно, как увидал — рабочие, притом вроде вооружённые, — тысячу целковых отвалил. Ну, а дальше уже легко пошло. Приезжаем, сейчас же: так и так, Соллогуб тысячу дал. «Тысячу?» Ну, каждый соответственно выдаёт... Апраксина, княгиня, так целых две тысячи дала... «Если, говорит, Соллогуб — одну, так я две...» Перешибить, стало быть, форснуть.

— Думают, откупились! — подмигнул крепкозубый. — Подожди, дай срок...

Старик закончил:

— Медяки эти не для корысти — для порядка отбираем. Денег у нас и так сейчас много. Месяц бастовать надо будет — месяц пробастуем, два — и два продержимся! И на оружие хватит, к вам в Москву дружину послать, если понадобится... В наших-то местах едва ль какое сражение будет, кому тут против нас воевать? Становой один был, да и тот давно удрал. А вам, на Москве, есть кого за горло брать.

.....
Паровозные искры — в ночь. Бауман с Козубой — у решётки паровоза. Октябрьский ветер, холодный, бьёт сквозь пальто в грудь. Из-под самых ног, в два снопа, сверлят мрак фары.

— Не простудишься, Грач?

Бауман ответил не сразу. От сегодняшнего дня — тесно мыслям. Поёжился под ветром Козуба:

— Не узнать ребят, а? Помнишь, как ты в девятьсот втором стачку у нас в районе проводил? До чего был народ забитый!.. Прошину, старику, только пальцем погрозить... А сейчас смотри — держат линию. И главное дело, ты обрати внимание: ведь всё — собственным разумом. Заброшенная эта фабрика, прямо надо сказать. Опять же — текстили... отсталое производство... — Усмехнулся, вспо-

нил: — А бочку ладно придумали. Честное слово, хорошо бы в повсеместный обиход ввести. Словоблудов бы поубавилось. Вот тоже яд! На митингах нынче та-кая резня идёт... Цапают меньшевики рабочих за полу, боятся, как бы далеко не зашли. О восстании ему скажи, меньшевику, — затрясётся. Очень здорово, что ты вышел. Ты с малых лет, можно сказать, наловчился меньшевиков бить.

Бауман ответил очень серьёзно:

— С меньшевиками я справлюсь. А вообще — странное у меня чувство, Козуба. В Петропавловской крепости я двадцать два месяца отсидел. Вышел, чувствую — от одиночки вырос. После ссылки — тоже. После Лукьяновской тюрьмы — тоже. Каждый раз, когда я из затвора выходил, сознание было, что вырос. А сейчас такое у меня чувство, что все вперёд ушли, выросли все, а я будто — не больше, а меньше.

Серьёзным стал и Козуба:

— Год пятый — действительно знаменитый. За год один не узнать стало людей. Главное дело, народ свою силу чутя стал... А насчёт «больше-меньше» — это тебя ещё с голодовки шатает. Десять лет ты на революцию работаешь, всем нам у тебя поучиться надо... Бурлит Россия!.. Ещё день, неделя — и либо нас расстреливать начнут, либо фортель какой-нибудь придумают...

Глава XXXIV. Улица

— Ма-ни-фест!

— «Свобода собраний, союзов, личности...»

.....
Бауман почти вырвал из рук мальчишки-газетчика сырой, типографской краской пахнущий листок. В самом деле:

«Мы, божьей... милостью, Николай Второй, император и самодержец...»

«...признали за благо даровать нашим верноподданным...»

— «Даровать!» Ах, будь он трижды!..

Бауман невольно улыбнулся. Но улыбка сошла с губ мгновенно: до слуха дошло раскатистое, дружное «ура».

— Неужели поверят?.. Вот вам и «фортель»...

По улице надвигалась на него толпа. Впереди, махая шляпами, шли какие-то хорошо одетые и упитанные люди. Они кричали восторженно, но крики тонули в раскатах «ура». В толпе, валившей за ними, разношёрстной и разнолицей, Бауман увидел рабочих. И помрачнел.

.....
Заседание комитета назначено на двенадцать. Сейчас ещё только девять. Но поскольку манифест... наверно, уже собрались. Если сегодня опубликовано, в комитете вчера ещё вечером должны были знать. Он опять выезжал в район, только поздней ночью вернулся. И Надя с вечера куда-то ушла на работу.

Комитет — в Техническом училище, на Немецкой. Далеко. Бауман пошёл быстрым шагом.

Народу на улицах становилось все больше. Кое-где на стенах домов трепались уже спешно вывешенные трёхцветные, национальные флаги.

На перекрёстках, запруженных толпами, кричали, стоя на тумбах, придерживаясь за уличные фонари, ораторы. И все те же, все те же доходили до Баумана выкрики:

— Свобода!.. Свобода!..

И в кричащих толпах этих — все больше, больше рабочих. Бауман круче сдвинул брови.

Слушают. И «ура» кричат. Неужели удастся сорвать стачку?

Вспомнились митинги этих семи дней — семь дней его, баумановской, свободы. Бурный подъём речей, десятки тысяч единым взмахом поднятых голосованием рук...

Да здравствует стачка!

До полной победы!

Разве может быть поворот?..

.....
Он шёл все быстрее и быстрее.

Меньшевики, наверно, уже бьют отбой, уже трубят победу, либералам в след и в хвост.

«Свобода союзов» — на что им теперь партия! «Свобода печати» — к чему теперь нелегальный печатный станок! Государственная дума — как надежда и упование!..

.....
Можно ли поручиться, что им не удастся и рабочую массу сбить с пути, убавлять видимостью победы?.. Ведь свободы — вот они! — пропечатаны все на бумаге. О них кричат на всех перекрёстках.

Но, если они поверят, самодержавие вывернется из-под удара...

Этого допустить нельзя!..

Он обогнул угол, сдерживая горячие слова, готовые сорваться с губ, — слова, которые надо сказать там, в комитете, и потом тотчас вынести их на площадь, к толпам, на заводы, в цехи, раньше чем снова застучат — по-прежнему рабьим стуком — машины. Обогнул и остановился... По всей улице — до здания Технического училища и дальше, насколько хватал глаз — строились ряды. Меж черных рабочих картузов и обшарпанных, зимних, уже не по времени, шапок синели кое-где студенческие околыши.

И сразу — как ветром сдуло навеянную на душу муть.

Глава XXXV. Свои

Лестница запружена сплошь, не протолкаться. Но Баумана опознали:

— Товарищи, дайте пройти члену Московского комитета!

Плечи сжались. Узким проходом, сквозь строй обращённых к нему пристальных и приветливых глаз, Бауман шёл в зал. Взять слово немедленно. Сказать все, что подумалось, что почувствовалось по дороге сегодня. И с новой, с удесатерённой силой бросить: «Да здравствует стачка!»

.....
Но крик «Да здравствует стачка!» вырвался из зала, навстречу ему, едва он

ступил на порог, передался по лестнице вниз, и улица ответила тысячеголосым откликом:

— Да здравствует стачка!

Бауман увидел: Козуба стоял на столе, высясь широкими своими плечами над сомкнутой толпой.

— Самодержавие отступило, товарищи! Этою вот бумажонкою, — он взмахнул печатным листком манифеста, сжал его, бросил, — оно хочет вырваться из тисков, в которые зажала его пролетарская всеобщая стачка. И найдутся, конечно, караси, которые на этого дохлого червя клонут... Уже благовестят небось попы всех приходов, от митрополичьего двора до меньшевистских задворок... к празднику!

— Пра-виль-но!

— Но революционные рабочие, социал-демократы, в обман себя не дадут. Мы собственной силой вышли на волю, и назад, в клетку, хотя б её и позолотил грязной рукой палач, мы не пойдём!

И, как грозный прибой, за которым море, океан, необозримый, неодолимый простор, — бурным рокотом отозвались тесные, плечо к плечу, сомкнутые ряды. Взметнулись руки, колыхнулось у самого стола, на котором стоял Козуба, красное бархатное тяжёлое знамя. Козуба поднял за край полотнище. Блеснули перед глазами сотен золотые строгие буквы боевого лозунга: ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Бауман видел: глаза потемнели, сжались брови, и с новой силой вырвался многозвучный, раскатистый крик:

— К оружию!..

— Да здравствует стачка! Да здравствует восстание!

— На улицы!

Ряды рванулись. Бауман поднял руку и крикнул:

— К тюрьмам! Политических на свободу!

Козуба опознал голос.

— Товарищи! Пока царизм жив, свободы не будет. Но он ещё долго, быть может, будет жить, если мы разожмём руку, которая его держит за горло. Сожмём её крепче, насмерть, и первым шагом пусть будет шаг, на который зовёт товарищ Бауман. Собыём затворы с царских застенков!.. В голову колонны, Бауман! Тебе — честь и место!..

Он соскочил со стола. Следом за ним к Бауману двинулось знамя.

С улицы, навстречу выходящим, уже гремела боевым, зовущим запевом революционная песня. Почти рядом с Бауманом, чуть отступя, худой подросток, придерживая знаменную кисть, пел высоким вздрагивающим голосом. Бауман оглянулся, потому что слова, которые пел мальчик, были незнакомы:

— Что ты поешь?

Блеснули на секунду под бледной губой белые зубы:

— Сам придумал.

Леонид Огневский

«Он сейчас встанет!..»

Отрывок из романа «Грозный час»

Глава 12

Обнажённый до пояса человек лежал на горячем асфальте, ногами в кювет. У него была чёрная слепая рана в боку, он её не завязывал. Он, как видно, и не пытался раздобыть бинт или какую-то тряпку вместо бинта, уберечься от пыли и мух. Он, пожалуй, давно поставил на себе крест и шёл, пока двигались ноги, перестали двигаться, и свалился, чтобы уже не вставать.

Тимофеев подбежал к нему, когда поблизости не было конвоиров.

— А ну, поднимайтесь, дядька! Ты слышишь меня? Встать!

— Не могу.

— Через не могу!..

— Не могу.

Это был пожилой человек с землистым лицом и впалыми глазами; он лежал на спине и глядел прямо перед собой, спокойный, ко всему равнодушный. Короста на его ране, когда он падал, растрескалась, из трещин выкипела тёмная кровь, её всё плотней устилали крупные зелёные мухи.

— Так и будешь лежать? Или тебе жить надоело? Войдут немцы, пристрелят.

— Пусть.

— Не глупи, дядька, вставай. А ну, быстро! — цыкнул на раненого Тимофеев и оглянулся пугливо. Хотя он и был связным у старшего колонны подполковника Хиля, всё же побаивался немецких конвоиров, те не очень считались с русским подполковником и его окружением. — Давай руку, я тебе помогу. Слышишь?

Он так и не мог поднять раненого и обессиленного в пути, сбоку подошли два немца, они без конца повторяли: «Варум?» — и Тимофеев понял значение этого слова, немцы спрашивали друг друга и сами себя: «Почему? Почему русский

Огневский Леонид Леонтьевич, прозаик (1913, д. Шамаи Вятской губ. — 2000, Иркутск). Автор книг: *Белый хлеб*: повесть (Иркутск, 1949); *Откуда пришёл уголь*: Рассказ мальчика: для мл. шк. возр. (Иркутск, 1953); *Над нами солнце*: роман (Иркутск, 1955); *На другой день*: роман (Иркутск, 1956); *Как мы заблудились в тайге*: для мл. шк. возр. (Иркутск, 1963); *Зелёный шум*: повесть (Иркутск, 1965); *Белый хлеб*: роман (Иркутск, 1967); *Белое пятнышко*: повесть: для мл. шк. возр. (Иркутск, 1968); *Грозный час*: роман (Иркутск, 1973); *То же* (Иркутск, 1995); *Берег левый, берег правый*: роман (М., 1980); *Пять жизней в одной*: роман (М., 1980); *Душа в душу*: роман (М., 1988); *Крылья Жар-птицы*: роман (Иркутск, 1988); *Три Александры и я*: роман (Иркутск, 2001). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

лежит?» Потом один из них оглядел рану на теле лежавшего человека и сказал, морщась: «Некарашо», — а другой даже наклонился и, отогнав мух, положил на рану листок лопуха. Больше того, этот второй, низкорослый, с шеей чуть тоньше его головы, не побрезговал дотронуться до больного, возможно, заразного, осмотрел его руки, особенно пальцы и ногти на пальцах. «О, шварц, шварц!»

Они разглядели мертвенную черноту под ногтями русского пленного, значит, плохи, очень плохи у человека дела, а таких, конченных, конвоиры обычно пристреливали. Но эти конвоиры, подумал Тимофеев, другие, это, по всем видам, славные парни. Только почему Толстая Шея берётся за автомат?

— Не надо! — выкрикнул Тимка. — Он сейчас встанет, вместе со всеми пойдёт.

Немцы недоуменно переглянулись, опять можно было понять: «Варум?.. Почему панический страх?» И Тимофеев смущённо потупился. Да, конечно, он испугался, подумал, затевается нехорошее. Но теперь видел, что дядьку не собираются убивать. И всё же подошёл к нему ближе, сказал:

— Ну, вставай же! Ну улыбнись им, чтобы они не посчитали за конченного. Приказываю тебе, улыбнись!

Пересохшие губы раненого едва раздвинулись:

— Не могу.

И тотчас Тимофеев увидел, как крупные черные точки побежали наискось по голому телу лежавшего от правой подмышки с пучком рыжеватых волос через солнечное сплетение к ране в левом боку, прикрытой зелёным листом, превратились в красный кровавый пунктир.

— Зачем?!

На лице толстошеего на этот раз пропечаталось не только недоумение — возмущение.

— Чём деле?

Тимофеев ничего ему не ответил, повернулся и побежал кромкой шоссе, мимо тащившейся устало толпы. Его подгонял страх. Так хладнокровно убивают людей! Да люди ли они сами-то? Звери. Хуже зверья!

Обо всём, что он видел и слышал, он рассказал подполковнику Хилю и старшему лейтенанту Зимаренко, помощнику Хиля, пожаловался, что, если так пойдёт дальше, их перебьют всех до последнего, потому что все они голодают, а голодный человек рано или поздно не сможет идти.

— Спокойней! — сказал Александр Ларионович. — Спокойнее, лейтенант.

Сам он был спокоен и строг: эти сомкнутые тонкие губы, этот жёсткий и, кажется, пронизывающий насквозь взгляд... Конечно, выживают только вот такие спокойные, сколько их ни бросает в огонь и воду судьба. Хотел бы быть таким же спокойным и твёрдым и он, Тимофеев, да вот не получается у него, слаб, слаб!

Подполковника зачем-то потребовал к себе, в голову колонны старший конвоя немецкий обер-фельдфебель. Вместе с Хилем побежал было и Зимаренко, но вскоре остановился, ожидая Тимофеева, пошли, как и до этого, сбоку колонны. Мусоля в зубах папироску, старшой скосил глаза и лукаво сощурился.

— Что, лейтенант, невесел, голову повесил?

— Нечему радоваться, старшой.

— Из-за того пристреленного бедолаги переживаешь? А я думал, раз выстрелы, кто-нибудь побежал из колонны. Думал, не ты ли рискнул.

— С какой стати?

— Так коммунистам и комсомольцам опасно, вдруг кто-нибудь стукнет конвою. Или ты бросил билет?

Зачем он не первый раз затевает этот разговор? Чтобы поиздеваться? Мучитель! Он даже бьёт пленных, когда раздают баланду. И всё с шуточкой, со смешком. Такой запросто продаст немцам. Убежать бы, покуда не поздно, так поймают, убьют. Всех, кто бежал, изловили и расстреляли. Так, по крайней мере, говорят конвоиры. И опасаться надо не одних немцев, ещё прибалтийских националистов, они норовят бить в спину, из-за угла, а то и выдают немецким властям. Ведь как было тогда между Елгавой и Ригой? Оторвались вчетвером от своих во время бомбёжки, попали на хутор в лесу, там встретили вооружённых людей, человек двадцать, если не больше. Их старший вышел вперёд. «Что за Иваны, Петры? Дезертиры из армии? Кладите оружие, проверим». Пришлось подчиниться. Так оказались у айзеаргов, поджидавших германца. Как кур в ощи́п попали! И пошёл, пошёл Тимка колесить по этапам и лагерям, пока не прибил к подполковнику Хилу.

Человек этот покори́л Тимофеева выдержкой и спокойствием, внушил веру в освобождение, причём, говорилось шепотком на привалах, не потребуется поодиночке бежать, уйдут от врагов, как намекает Хиль, коллективно. Да наверно мешают такие Зимаренки. Стукач! Немецкий стукач!

А колонна уже миновала голое поле, втягивалась в посёлок, привольно разметавшийся по берегам речки, весь в зелени садов, с острым шпилем костёла, вонзившимся в небо; солнце клонилось к закату и освещало один этот шпиль, его острие, зелень садов оставалась в голубоватой тени; оттуда, от садов и от речки, тянуло всем желанной прохладой, и люди, как они ни устали, пошли без понуканий, быстрее. Даже голод притупился, усталому телу хотелось свежести и покоя пусть на голой, но не такой раскалённой, как шоссе́йная дорога, земле.

Сбоку подошёл Хиль.

— Будем получать горячую пищу — за порядком у котлов следить зорко, помогать конвоирам, чтобы ни один человек не получил двух порций, не оставил кого-то без еды.

— На кладбище снова загонят?

— Сказали, на территорию поселкового сквера, вон он, впереди. Кажется, он...

Да, впереди, за красно-кирпичным костёлом была непроницаемая зелень кустов, обнесённых чугу́нной оградой. В раскрытые ворота её и нацеливалась головной частью колонна. Но в самый последний момент напересёк ей из-за угла вырвались три легковые машины; они сразу затормозили. В открытых передней и задней машинах сидели немцы-солдаты с торчавшими во все стороны автоматами: закрытая, стало быть, везла важную птицу, заключил Тимофеев и привстал на носки. Ещё бы не важная, если старший конвоя обер-фельдфебель подбежал к средней машине бегом. Из её кабины с трудом выбрался щуплый и старый-престарый...

— Их генерал, — донеслось из передних рядов. Там тоже вставали на носки и подтягивались.

— Раз шинель на красной подкладке, стало быть, генерал.

А тому уже вытягивал свой доклад обер-фельдфебель. Кто-то из пленных, тоже впереди, успевал переводить отдельные фразы:

— «...три тысячи человек... Юде нет, комиссаров нет... Есть больные и тяжело-раненные, из-за них задерживается колонна. Как быть?..» «Действовать, согласно приказа».

«Я вас понял, господин генерал». Он понял!.. Теперь всем, кто плохо переставляет ноги, каюк!

Хотя колонне военнопленных приказали стоять, задние ряды напирали,

и передние по шажку продвигались вперёд. Тимофеев уже мог разглядеть лицо немецкого генерала, стоявшего возле крытой машины: пепельно-серое; глаза старчески-подслеповатые. Господин генерал явно не имел приличного зрения. А приехал, старый хрыч, воевать!

Генерал махнул когда-то белой перчаткой, дал знак, что пора ехать, и, только забрался в кабину, машины рванулись одновременно с места. И вот их уже нет.

Пленные нажали с удвоенной силой в едином стремлении вперёд. Их теперь раздражал влекущий запах близкого варева, они видели, в сквере, по ту сторону узких ворот — кухня, и четверо немецких солдат в пилотках и майках ворочают черпаками в котлах.

Тимофеев следом за Хилем и Зимаренко прошёл вперёд и нырнул в ворота ограды, пристроился возле крайнего котла рядом с немецким конвоиром. Ни один человек не должен быть обделён, каждому — его черпак горячей еды. Чтобы всем без исключения хватило, никто не должен получить два!

Да, казалось, и невозможно получить лишнюю порцию: второй раз в шеренгу не встанешь, а к двум котлам кухни одновременно не подойдёшь; и всё-таки нашёлся один, сперва получил в котелок и спрятал его за спиной, потом протянул миску, ему налили в неё.

Тимофеев заметил обманщика, крикнул:

— Назад! — схватил его за плечо.

— Ну что тебе? — ощерился тот. Клацнули его желтоватые зубы. — Отцепись, парень.

— Иди и вылей в котёл.

— Тебе говорю, отцепись! Шкура!..

Не помня себя, Тимофеев развернулся и хрястнул пленного кулаком, угодил по левому глазу. И ахнул от неожиданности: что он наделал, это же русский человек, свой. А тот стоял, тоже в недоумении, качался, расплёскивая из миски баланду; его левый глаз закрывался, потому что в подглазье набухал тёмный, с вишнёвым отливом пузырь, он быстро увеличивался, будто его изнутри надували. От нахлынувшей жути Тимофеев раскрыл рот, и тогда человек с пузырём плеснул ему в лицо остатки баланды.

— Продался им за неё, жри!

Тимофеев утёрся подкладкой пилотки и вернулся к котлу. Больше он не приставал с замечаниями к пленным. Так и в самом деле продашься, не заметишь, как пойдёшь против своих. Но когда очередь схлынула, от дополнительного черпака варева не отказался: не он, так кто-то другой всё равно съест, а ему надо, он голодный как волк!

Машина шла быстро, в дверную щель дуло, и генерал Вальтер фон Дитфурт запахнулся плащом. Поднимались на бугор. Бугры да низины — однообразный, потому скучный пейзаж!.. По обеим сторонам шоссе мелькали избёнки растерзанных и наполовину сгоревших деревень. Сизый пепел да черные головёшки, и нигде ни одной живой души! Возможно, люди погибли. А было когда-то, пили и пели тут, веселились, они же строили социализм. Здесь пьяный Иван бил пьяную Марью; потом они шли вместе на лекцию или митинг и в голос кричали: «Да здравствует!..» Наивный народ! И он сам, Вальтер фон Дитфурт, был когда-то наивным, примыкал к немецким социал-демократам, видел и слушал живого Фридриха Энгельса, — не то, убедился, не то! Социализм — увлечение молодости, несбыточная мечта унтерменшен. «Но зачем это я повторяю себе тысячу раз?»

Генерал попытался сидеть бездумно, закрыв глаза. А они снова открылись. Уже вечерело, в придорожных кустах лохматилась тьма. На чёрном гудроне дороги валялись обрывки газет и большой, обвявший под солнцем лопух, а за ним, ближе к кювету... Генеральская рука в белой перчатке властно легла на рулевое колесо. Машина, взвизгнув тормозами, остановилась. И две другие машины, впереди и сзади, остановились на полном ходу.

Ближе к кювету лежал, широко раскинув руки, мёртвый человек, разумеется, русский; через всю грудь его, наискось, протянулась коричнево-красная лента из запёкшейся крови. Человек был расстрелян, а на лице ни страдания, ни боли, лицо умное и спокойное, его не исказила сама смерть. Её они принимают, подумал фон Дитфурт, как сон.

И тотчас взглянул через плечо на сидевшего за спиной, рядом с адъютантом Павлем, оберста Шмальца. Вдруг тот догадался о ходе размышлений своего командира. У него, оберста, есть такая способность — догадываться и прозревать. Но что, что делать, если он, старый генерал, не чувствует особенной ненависти к поверженному врагу, хотя и относится к нему жестоко. Говорят, труп врага хорошо пахнет. И этого прекрасного запаха он не ощущает. Расстреляв же того пленного капитана, он долго не мог успокоиться, принимал порошки. Старость. Начиная сдавать нервы, притупляется нюх.. У господина оберста нервы в порядке и обоняние прекрасное, он далеко пойдёт.

Ехали по разбитым городкам и посёлкам, обгоняя танковые колонны и вереницы грузовиков. Адъютант Пауль фон Павел давно спал, его укачало на зыбком сидении; поклёвывал носом и оберст; ему, старому генералу, было не до сна, он и в спокойной обстановке у себя дома до полночи не ложился, сидел в кабинете за книгами и бумагами, уже немолодой, изучал русский язык, предвидя восточный поход. И вот она, желанная страна, пока что не завоёванная. Что за теми вон перелесками под белёсой луной? Кто там ждёт немцев и рад их приходу? За месяц войны он, командир дивизии, не видел русского человека, который бы с открытым лицом встречал немецкие войска. Конечно, были такие, улыбались и кланялись, заискивая и лебезя, но были это обиженные своими же людьми, теперь они хотели свести счёты с обидчиками при содействии немецких властей.

Чужие люди, думал генерал, чужая страна! Германия хорошо начала воевать, а теперь вот колеса вермахта начинают прокручиваться. Под Смоленском задержались на месяц, теперь затянулось под Ленинградом. Хорошо, что его панцирную дивизию вывели из болот северо-запада, нацелили на Москву. Но столицу русские будут защищать ещё яростней. Никогда не говори загодя: «Клейне криегсерин нерунген» (маленькое весёлое приключение), когда отправляешься на восток. И никогда не снимай палец со спускового крючка, когда идёшь и едешь по российским просторам — это испытано раньше, — за тобой всюду следят.

И всё-таки генерал фон Дитфурт нарушил свою заповедь, он утомился в дороге и задремал.

Проснулся от выстрелов. Палили из автоматов охранники с передней и задней машин, цветные трассы пуль змейками уносились в сторону от дороги. Над головой висел всполошившийся адъютант, слал очередь за очередью туда же.

— Мы в опасности, Пауль?

— Да, господин генерал, партизаны!

Но по машинам вроде никто не стрелял, машины летели во весь мах по глади шоссе, меж двумя рядами кюветов, даже кустики были нечасты, по обеим сторонам дороги расстиралось голое поле, высвеченное луной, и генерал фон Дитфурт приказал шофёру остановиться. Он же говорил в том посёлке, где встретили

колонну военнопленных, что ночная езда по русским дорогам опасна; молодые сопровождающие, завоеватели неведомых стран, смешливо переглянулись тогда, а оберст Шмалъц шепнул что-то на ухо прикомандированному к дивизии гауптштурмфюреру СС, и тот отвернулся, смеясь. Как понял их тогда Вальтер фон Дитфурт, они заподозрили его, генерала, чуть ли не в трусости. А теперь, так вышло, трусили сами, открыли беспорядочную стрельбу. Молодость всегда более храбра на словах.

Все сбились возле генеральской машины. Оберст держал палец на спусковом крючке автомата, и фон Дитфурт ядовито, в отместку за ту его дерзость, сказал:

— Оставьте оружие, первый офицер генерального штаба, среди нас нет партизана, который бы вам угрожал.

И хотя весь дальнейший путь пролегал по ровным полям без единого деревца, и всё чаще встречались посёлки с немецкими регулировщиками и постовыми, никто в трёх машинах больше не закрыл глаз. Однако фон Дитфурт считал новую встречу с партизанами маловероятной, всюду множество немецких войск, он оглядывал вольно раскинувшиеся поля без меж и перегородок и думал, что Гитлер хотя и выскочка и фразёр, а знал, куда идти, в какую страну, здесь столько земли, можно вырастить хлеба, — хватит на весь мир.

Пётр Петров

План Василия Медведева и план лорда Стимменса

Главы из романа «Борель»

1

С низины от рек Пичунги и Удёрки видно, как темными зигзагами протянулись лесистые горы. В пролёты гребней голубыми зубцами нависают клочья облаков. Верхушки гор стрелами выкинулись ввысь, к голубому безбрежному небу.

И небо и горы слились в одно, замыкая небольшую набитую снегом долину.

По отложинам, по стремительным кручам густой щетиной засели кедрачи, сосняки, пихтачи и мелколесье. А внизу, на равнине, поросшей стволистым березняком и малинником, в беспорядочной скученности раскинулся заброшенный прииск Боровое.

На отвалах и среди рухляди когда-то богатейших построек торчат столетние извилистые, с густыми шапками хвои сосны. Сосны уцелели, видимо, потому, что не попали в полосу разрезов и не пригодились на дрова.

Посредине прииска разорванной цепью тянутся покосившиеся столбы, а с них, точно рваное лохмотье, треплются на ветру остатки почерневших тесниц, — это были тесовые желоба, по которым много лет текла из Удёрки вода для промывки золотоносных песков.

Теперь и коновязи около огромных конюшен смотрят покривившимися скамейками: перекладины со столбов наполовину обрублены и истёсаны на щепы для подтопок; местами они свалились на землю и сгнили.

Крыши низких казарм и когда-то красивых, с верандами и изразцами, домов провалились как впадины хребтов.

В изогнутых береговых локтях золотоносной Удёрки одинокими чучелами, полузанесённые снегом, стоят почерневшие от дождей две драги. Беспризорные,

Петров Пётр Поликарпович, поэт, прозаик (1892, с. Перовское Енисейской губ., ныне с. Партизанское Красноярского края — 1941, репрессирован). Автор книг: *Партизаны*: поэма (Новосибирск, 1928); *Борель*: роман (М.: Федерация, 1931); *Кровь на мостовых*: повесть (Иркутск, 1931); То же (М.; Иркутск, 1935); То же (Иркутск, 1967); *Крутые перевалы*: повесть (М.; Иркутск, 1933); *Золото*: роман (М.; Иркутск, 1934); *Шайтан-поле*: роман (Иркутск, 1935); То же (Иркутск, 1973); *Борель*; *Золото*: романы (Новосибирск, 1960: Библиотека сибирского романа, т. 8); *Шайтан-поле*; *Борель*: романы (Иркутск, 1966); *Крутые перевалы*: повести (Иркутск, 1979); *Золото*: романы, очерки (Иркутск, 1993: Литературные памятники Сибири). Член Союза советских писателей СССР (Иркутская писательская организация).

не отремонтированные с семнадцатого года, стоят сиротами механические чудовища тайги, и будто нет до них никому дела.

Боровое умерло в семнадцатом году — пышная жизнь последних хозяев с азиатским разгульным ухарством отшумела безвозвратно.

О том, что Боровое находится в руках тунгусников, Василий Медведев узнал ещё на зимовьях, когда преодолевал почти двухсотвёрстный свой путь через тайгу. Он узнал также, что хищники называли себя свободными золотничниками. Василию не верилось, что так опустили рабочие.

«Да неужели это так? — в сотый раз спрашивал он себя, лёжа на нарах в квартире молотобойца Никиты Валкина. — Неужели прииск погиб ни за грош?»

Сквозь окно, затянутое брюшиной, на стену казармы пробивался слабый свет. Взгляд Василия упал на висевшие двумя дорожками камусные лыжи и спиртоносную баклагу. «Неужели и Никита начал тунгусничать? Сволочи, разини».

Но тут же приходили другие думы: «А чем же виноваты они, коли голод? На зимовье передавали, что и на руднике Баяхта все уцелевшие шахты занялись расхищением прииска. Вот от Никитки, черта, ничего толком не добился».

Он, содрогаясь, подогнул к животу озябшие ноги.

Никиту ночью полумёртво-пьяного привезли на нартах из какой-то дальней казармы (лошадей на приисках не было), и баба его, Настя, бывшая скотница хозяев, много брякала языком, но ничего нельзя было понять, кто на приисках остался цел и почему они там с тунгусниками и спиртоносами.

Василий, вздрагивая от холода и тоски, снова повернулся на живот и вздохнул, зарываясь в какое-то тряпье, брошенное ему вчера Настей.

— Ах, пакостники! Ах, собачья отрав! А ещё рабочие, земляная сила... Прошиби их каменной стрелой! Уехать обратно, пропади они все тут к черту, — бормотал он.

В другом углу, в куче шипучей осоки, закашлялся Никита, и слышно было, как потянулась Настя.

Рассвет сероватой струёй просачивался сквозь мутные брюшинные окна. В щели простенков врывались звонкие струи ветра, наполняя казарму холодом.

— Ты чего там, комиссар, хрюкаешь? Встал, что ли? И не спал, кажись? — спросил Никита простуженным басом.

Василий вскочил. Чёрная куча его волос тенью зашевелилась на стене, а под сиденьем заскрипели нары. Никита тоже поднялся и, отыскивая трубку, толкнул Настю:

— Вставай, баптистка! Чево дрыхнешь? Ставь на печку котелок. У гостя-то, поди, в животе урчит. Мотри, уже солнце в бок упирает.

Небольшая женщина приподнялась с нар и шатко прошла к печи.

— А чем кормить-то будешь? Вчера всё пролакал, язва болотная, — ворчала она. — Только и живём на твою бездонную глотку...

— Не мурмуль! Разживляй печку! — отозвался Никита, шаря по нарам огниво и трут.

Василий красными спросонья глазами смотрел в пол и будто только от слов Никиты очнулся.

— Никитка! А кто из наших старых рабочих здесь остался? — спросил он, повёртывая голову.

Никита положил трут на кремень и стал высекать огонь. Отсыревшая губа не занималась, и он с раздражением начал ударять раз за разом, гоня сплошную ленту искр, пока не зажжёт.

— Из наших? Да кто?.. Рогожин, Пашка Вихлястый, Алешка Залетов, старик Качура, Ганька Курносый, да так человек десятка три-четыре наскребётся.

— А их шахтёров здесь никого?

— Нет, они все на Баяхту утянулись... — и, затягиваясь «самосадкой», взглянул на Василия.

— Да, брат Васюха, порасшвыряла нас эта петрушка. А жисть-то, жисть-то пришла! Посмотри — в гроб краше кладут.

Никита провёл по провалинам щёк шершавую, потрескавшейся рукой и засопел трубкой.

— Хотели на Ленские прииска, друг, а на вши, что ли, поднимешься отсюда. Когда партизанили, лучше братва жила, ей-бо! Там не знали, что будет, и ждали чего-то... а тут гнус заедает, и податься тебе некуда. Крышка, Вася, всему.

Голос Никиты задрожал ещё сильнее и вдруг захлебнулся.

Около загудевшей печки не то от слез, не то от холода клокотала и вздрагивала Настя.

— Завоевали свободу своею собственной рукой, — хихикала она. — Рабочих поморили... Тунгусишки, как мухи на моху, коченеют. Вот, гляди, в каких ремонтах остались, — всё проели.

Василий ёжился от внутренней досады и напряжённо молчал.

Никита надёрнул на босые ноги рыжие броднишки и подошёл к нему вплотную. Его рубашка лоснилась от грязи и пестрела разноцветными заплатами, а одна штанина до самого полу была разорвана вдоль.

— Все тут! У всех такая хламида, Вася! За дровишками в мороз не в чем выкупиться из этого острога. Охоты нет. Соли два месяца не видим. Сухарей в неделю раз отламывается. Ребятишки передохли, а бабёнки как подсушенные селёдки, жисть от них нет. Снова на бога лезут с голодной-то утробой...

И, отойдя к печке, добавил:

— Зря, Васюха, зря! Неужели для того мы полили рабочей и партизанской кровью тайгу, чтобы гнусь там разная плодилась? А кто виноват? Куда денешься? В городе — там тоже людидохнут, и только, говорят, комиссары галифой трясут. Никудышняя жистянка пришла. Зарез!

У Василия задрожали руки и искривилось измятое со сна лицо. Он приподнялся и схватил Никиту за костлявые плечи:

— Не каркай, моль! Не вы ли в двадцатом пропили, пролежали, протунгусничали прииски? Тюлени! Не сами ли вы вместе с каторжной шпаной гробили, потрошили своё добро? Революцию пролежали в казармах, а теперь пенять! Зря, говоришь, а что зря?

Настя кошкой соскочила с обрубка от печки, зафыркала, залилась частой пулемётной трескотней:

— Обдиралы! Богохульники! Комиссары над рабочим народом! За это и воевали? Недаром в писании сказано...

— Цыть, балалайка, трепушка! — рывкнул на неё Никита. — Чай грей, сестра паршивая... Сама гнидой засела здесь и меня прищемила. Начётчица ты плёвая! Лихорадка крапивная!

Настя, давась слезами, отошла в угол.

Василий отпустил Никиту. Обида занозой шевельнулась в груди, а в глазах теплилось участие к судьбе старого товарища и раскаяние за внезапную непрошеную вспышку.

— Вороны вы полоротые — вот откуда вся оказия на вас свалилась. Знаешь, Никитка! Республика сколачивает золотой фонд, чтобы им разбить брюхо бур-

жуям в мировом масштабе, а вы — вместе с рвачами. Ах ты, Никитка, партизан, таёжный волк... Захныкал! В два года захотел закончить всю кутерьму и оглушить голодуху, а сам блох разводишь.

Василий выпрямился и тряхнул всклокоченными волосами. В плечах и коленках у него хрустнуло. Он схватил Никиту за жёлтую бороду и уже легонько притянул к себе.

— Дурило! Пугало ты воронье! Овечкой оказался, когда надо быть волком. Будем драться до конца! Надо моль выкурить с прииска. К черту эту свору баракхольную! Надо поднять прииск. Трудовой фронт, товарищи... Новая экономическая политика. Новые камешки закладываем. <...>

Настя вернулась с яйцами в подоле и кружком мороженого молока, а за нею ввалились приисковые бабы.

— Талан на майдан¹, — пробасила старая Качуриха, крестясь в пустой угол. Василию все они показались на один покррой: на бабах мешочные юбки — как надеты, так ни разу не мыты. Бабы смерили Василия глазами и почти враз хлопнули себя по коленям.

— Да ты чисто енарал, матушки мои! Штаны-то, штаны-то, а мундир — только епалетов не хватает, — язвительно хихикнула старуха.

— Да, кому как, — вздохнула Настя, — кто завоевал, а кто провоевал.

— А вырос-то до матки, почитай. Видно, там хлеба не наши! Своя рука — владыка, говорят!

К нему вплотную подошла Качуриха и уставилась в лицо серыми мутными глазами.

— А отец-то, отец-то... А?

Старуха закашлялась и утёрла глаза рукою.

Настя спускала в кипятик яйца.

— На могилу бы сходил, — сказала она, щупая Василия глазами. — Разрыта, размыта водою, поди, и косточки волки повыдирали. Али не любите вы могил родителей? У вас ведь всё равно, что человек, что скотина: души не признаете, сказывают?

И уже незлобно улыбнулась.

— Не квакай! — снова осадил её Никита.

Но Василий уже остыл. По-медвежьи схватил он в беремя старого товарища-молотобойца и завертелся под хохот баб по казарме.

— Вот-то молодо-зелено, — смеялась Качуриха, как утка, крикая, — худому горе не вяжется...

Василий бросил Никиту и подошёл к бабам.

— Эх ты, Качуриха, бубновая твоя голова! Заплесневели вы тут и мозгой рехнулись. Надо учитывать нашу пролетарскую обстановку, а не плевать себе на грудь, вот что, бабочки!

Он так хлопнул ладонями, что женщины вздрогнули, как от внезапного выстрела. И долго с разинутыми ртами слушали его.

Качуриха шевелила бледно-синими морщинистыми губами, а Настя колола его зелёными глазами. На бледном красивом лице её выступили розовые лепестки.

И никто не узнавал в нём прежнего подростка-слесаренка, но с первого же разу почувствовали, что приехал он неспроста и привёз что-то новое, освежающее.

¹ Приветствие старых приискателей.

— Эх ты, зелёная малина! Баптистка! Ах, Настя, Настя! — внезапно загрохотал Василий на всю обширную казарму. Его низкий голос ударился о почернелые стены, шевеля клочья паутин.

Старуха Качуриха задыхалась от кашля и смеха:

— Будь ты неладный! Вот, молодо-зелено. И скажи, какой голосино нагулял, как жеребец стоялый! <...>

10

Через несколько дней после воскресника на Боровом задымились мастерские. Тёплый ветер рвал черные клочья дыма и уносил их к горным вершинам. По наковальням задорно стучали молотки.

Яхонтов с частью рабочих топтался около машины. С самого утра и до темных сумерек перетирал он проржавелые части и примерял их на свои места. С испачканным лицом и растрёпанными волосами, в одной длинной рубаше, он не ходил, а бегал, волновался и кричал на своих помощников. Качура, с сонным лицом, но лёгкий и возбуждённый, гонялся с железным прутком за ребятами, которая галочьим гомоном глушила мастерские.

— Ах вы, шелекуны, ядят вас егорьевы собаки! Я ж вам покажу кузькину мать!

У драг кучки ссутуленных рабочих выворачивали глыбы снега, точно щипали громадную птицу.

Вокруг станков громоздилась сваль ржавого железа, и тут же красовались натянутые, выкругленные, уже готовые в дело прутья.

Вихлястый, длинный, как журавль, раскачиваясь, бросал снег и кричал сверху вниз тонким бабьим голосом:

— Мотырнём, Васюха! Не будь мы сукины дети, мотырнём дело! Вот только отремонтируй посудину заново... Баяхту, Ефимовский, Алексеевский возьмём... Истинный бог!

Подгнивший черен треснул в руках. Драгер покачнулся и сел в мягкий снег.

Рабочие рассмеялись:

— Вот чертолом!.. Его выбирали в рудком, а он тут снастину корёжит.

— Не сидится, чертяге, за письменным столом...

— Свички ещё не взял! Обожди, расчихает!

Василий тряхнул обнажённой головой:

— Надуйся, надуйся, Вихлястый! Дёргай до отказа!.. — И тут же впрягся в розвальни, нагруженные железом.

Кто-то запел по старинке «Дубинушку». Десятки голосов подхватили, и розвальни, со скрипом буровя снег, пошли вперёд.

Тайга зычным эхом вторила Боровому. В ответ кузнечным мехам и молоткам шмелиным гулом и отрывистым визгом отзывались горы. Василий от розвальней бежал к конторе, на ходу смахивая пот с грязного лица, и в шутку бросал в снег подвернувшихся рабочих. А вслед ему кричали:

— Вот зверюга!

— Самого лешака изломает!

— Выгулялся, как конь, лешачий сын. — И бежали за ним, задыхаясь, как одержимые. На обратных розвальнях везли бочки с водой и дрова для паровика.

Все знали, что скоро, может быть сегодня, застучит и оглушит тайгу паровой молот.

Василий и Яхонтов понимали, что пуск парового молота — это только репетиция на неделю-две. Но и того было довольно на первый случай... Ведь от парового молота будет зависеть успешный ремонт драг и инструментов.

Машина, обследованная Яхонтовым, оказалась в полной исправности. Проржавели только некоторые части. Смазочные материалы Никита нашёл в кладовой — две бочки. По расчётам Яхонтова, их должно было хватить на месяц.

— Ну как, скоро? — спрашивал Василий.

— Движемся, — отвечал Яхонтов.

...Приближался вечер. Над вершинами хребтов медленно плыли клочья разорванных облаков. В мастерской послышалось шипенье пара. Дроворубы, водовозы, драгеры, кузнецы и слесари побросали работу. Бабы и ребяташки выстроились в стороне и, толкаясь, подвигались ближе. Загрохотал мотор. Звуки его ударили радостной болью. Толпа заревела, но крики в тот же момент потонули в грохоте первых ударов молота. Стены мастерских и крыша заколыхались. Из щелей запылил снежный пух. Гулкой сиреной отзывались вдали таёжные хребты.

Яхонтов показался из дверей весь запачканный, с помутившимися глазами, но улыбающийся. Василий молча поймал его испачканные руки и размашисто потрянул. <...>

13

Буксирный пароход «Вильгельмина II» резким свистком пробудил окрестности порта Игарки. Этот прозрачный августовский день навсегда сохранила память Африкана Сотникова. Пароход был построен в Амстердаме по специальному заказу Центросоюза ещё в 1917 году. Но английское правительство возвратило его, как и всё имущество советской кооперации, только после постановления кооперативного альянса о признании нового правления Центросоюза.

«Вильгельмина» предназначалась для обслуживания низовий Енисея. В караване судов Карской экспедиции пароход шёл под управлением английского капитана и двадцати матросов. В числе этих двадцати впервые после эмиграции Африкан Сотников твёрдо стал на родной берег.

Расправив грудь, он с жадностью потянул мясистым носом: воздух был насыщен кисло-прелым запахом тундры, лесной хвои, прохладой оставшегося позади моря и запахом солёных осетров.

Холодное северное солнце погружалось в зеленеющие разливы лесных массивов. Африкан Сотников почтительным жестом увлёк от шумевшей публики высокого и слегка прихрамывающего человека в клетчатом костюме и цилиндре. Сухощавый человек обвёл роскошной тростью полукруг и ударил ею по головкам засыхающего дудника.

— Здесь всё дико, лорд Стимменс, — сказал Сотников, кося маленькими темными глазами на оставшуюся позади толпу. — Но через этот порт мы можем обогатить ваше отечество высшими сортами рыбы, пушнины, каменного угля, золота и, если хотите, платины. Наш север богаче десяти, скажем, Калифорний... Но без вашего капитала недра ещё тысячу лет будут не оплодотворены, дорогой лорд.

Африкан Сотников говорил хрипловатым полупшепотом, заглядывая в серые глаза иностранца. А глаза Стимменса напоминали холодно-суровое северное небо. В них так же мало было жизни и тепла, как в наступающих здесь осенних

днях. Иностранец поиграл золотым брелоком и остекленелым взглядом остановился на мясистом подбородке спутника.

— Дико, — коротко сказал он. — Здесь живут дикари?

— Да... Тунгусы, юраки, самоеды и другие... племена. — Они зашли в низкорослые, чахлые сосняки. Лорд Стимменс внезапно вздрогнул и костлявой рукой ухватился за могучее плечо Сотникова. Над их головами с дерева на дерево прыгала белка. Зверёк пискнул и зашумел где-то в хвое. Стимменс остановился... На его сухощавом, омертвелом лице зажелтел слабый румянец.

— Пушнина?

— Да... Она скоро поспеет...

Африкан Сотников почтительно посторонился, когда иностранный гость пожелал присесть на свежесрубленный пенёк. Лорд закурил сигару, вторую небрежно подал Сотникову.

— Где вы думаете поселиться? — голос Стимменса всё ещё дрожал.

— На фактории Дудинке или на Яновом Стане.

— А что там?

— В этих местах главные рыбные промыслы... Туда же можно стянуть пушнину и золото... — Сотников заметил, что на серо-клетчатые брюки гостя упал пепел от сигары, и поспешил смахнуть его.

— Вы там вели дело?

— Нет, я имел свой крупный прииск, который разграбили большевики.

Стимменс положил коричневый кожаный портсигар и, не глядя на спутника, спросил:

— Сколько потребуется средств на годовой оборот и содержание нужных нам людей?

Лицо Сотникова вытянулось, а подбородок врезался и раздвоился на воротнике защитного френча. Он торопливо выдернул из кармана записную книжку и развернул её. С жёлто-глянцевых листков глянула тонкой паутиной самодельная карта Африкана Сотникова. Холодные глаза Стимменса расширились, пробегая по мудрёным извивам, пересекающимся черными горошинами кружочков. Горошины указывали месторасположение становищ кочевников, факторий, пастбищ и песков золотых месторождений. Широкая ладонь Сотникова плотно легла на карту. И лорд Стимменс понял мечту бывшего русского капиталиста. Этот знак он понял как символ. Наложить крепкую лапу на азиатской Север — да ведь это мечта всех Стимменсов и Сотниковых в мировом масштабе. Стимменс, владелец миллионных предприятий в Европе, не хуже чумакого Африкана Сотникова понимал, что в дряхлеющий организм «цивилизованного мира» нужно скорее и как можно больше вливать свежей горячей крови. А главное, здесь безнаказанно лезли в карман умопомрачительные проценты. Костлявые пальцы с перстнями запрыгали по кружочкам, золотые зубы выстукивали дробь.

— Здесь нужно иметь своих людей? — лорд дрожал, как игрок у рулетки.

— На первое время человек тридцать...

— Дайте схему, мистер Сотников. — Стимменс затоптал окурок сигары и, вопреки обычаю, закурил вторую. Африкана влекла пленительная мысль. Он, как сибирский конь, не знал удержу.

— Это, лорд, новая Америка... Подумайте, какие Чикаго можно выбухать здесь в один год, если отрезать край вот поселе. — Толстый палец визгливо черкнул по глянцу. — Здесь линия Великого Сибирского пути — железная дорога.

Омертвелое лицо лорда впервые ожило. Он молча закивал цилиндром и что-то записал в блокноте.

...Ночь была длинная, как песня юрака. В эту ночь от внешнего борта «Вильгельмины», тихо всплеснув, отплыла невидимая лодка. На воде тенью скользнула сутулая крупная фигура человека и быстро канула в непроглядную бездну. В этот же миг по освещённой полосе палубы проползла вторая тень в высоком цилиндре. Тень исчезла за дверями каюты.<...>

Тряские годы не миновали тундры. Может быть, потому обитатели Дудинки не узнали в Капитоне Войлокове Африкана Сотникова, бывшего северного волка. Официальные документы указывали, что оный гражданин происходит из крестьян Виленской губернии. В мировую же войну попал в плен к германцам как рядовой русской армии, а после войны перебрался в Англию, откуда и вернулся на родину. И этого на первый случай было достаточно, чтобы власти Севера поверили в благие намерения нового нэпмана, принявшегося за постройку невиданных в здешних местах складов и щедро расплачивающегося с рабочими и охотниками.

Евграф Сунцов тогда работал приёмщиком пушнины в фактории Госторга. С Африканом Сотниковым они встретились неожиданно. Пять лет со дня разлуки внешне изменили обоих.

Леденящие метели смертельно дышали на тундру, с оцепенелых деревьев падала гибнущая птица. К чумам эвенков, к жильям белых пришельцев тянулись голодные табуны оленей. Животные стучали о стены ветвистыми рогами и падали от стужи. Пришлые люди дни и ночи не выходили на воздух, греясь около раскалённых железных печей. От безделья некоторые из них спали целыми сутками, некоторые запивали северную жуть заранее припрятанным спиртом, некоторые до одурения пересчитывали предстоящие барыши, дулись в карты.

— Здравствуй, Африкан Федотович!

Сунцов через голову стянул пушистый олений сакуй и шумно сел на обрубок около гудящей железки. Одинарные окна, пестрящие брюшиной, певуче звенели от жгучего ветра. За тонкой стеной хриплый голос запевал:

С Ангарты до устья моря
Без путей и без дорог
Загуляем на просторе,
Не жалея, братишка, ног...<...>

Зрачки Сотникова иглами впились в лицо Сунцова. Он отшагнул назад и с разбегу сжал гостя в медвежьей охапке.

— Жив, Евграф Иванович!

— Как видишь.

Под спиртными парами старые приятели поделили тундру. В торжественных закланиях Сунцову был поведен план лорда Стимменса. А под утро, когда окна барака запечатали сугробами, Африкан Сотников бессвязно и невнятно тянул:

— Боровое... Родная кровь... У-у-у, разбой... Поезжай, Евграф, немедленно... Тебе поручается бо-ольшое дело.

Николай Печерский

Так строят плотину

Главы из повести «Генка Пыжов —
первый житель Братска»

Глава шестая

Трамвай в тайге. Снова неприятности. Братск

В Новосибирске, когда мы отправляли телеграмму Игошину, отец говорил: «От Иркутска до Братска — рукой подать». Но оказалось, это не совсем так. Мы с отцом сделали огромный крюк. Надо было сходить не в Иркутске, а на станции Тайшет. А уже оттуда по новой северной дороге Тайшет — Лена ехать до Братска. Но Игошин успокоил:

— Не волнуйтесь, я вам всё устрою, даже благодарить будете.

И старинный приятель действительно сдержал своё слово. На следующий день он прибежал с работы и сказал:

— Скорее собирайтесь! Сейчас в Братск идёт машина с добровольцами.

И вот мы уже в пути.

Ехать удобно и мягко, как на перине. Добровольцы набросали в кузов сена, а сверху постелили большой брезент. Правда, пыль немного надоела. Она вырывалась из-под колёс серыми тучами, проникала во все щели. Скоро все стали чёрными как черти. Только зубы и глаза поблёскивали.

Часа через два мы приехали в Ангарск. Город увидели неожиданно. Ещё минутою назад ехали по лесной просеке, меж двух рядов высоких сосен, и вдруг наперерез нам промчался и скрылся за деревьями новенький трамвай. Это был не сон и не сказка. Машина свернула с просеки и покатила по ровной, как стрела, улице. Справа и слева белели высокие дома, вдоль тротуаров тянулись аллеи сосен, зеленели берёзки. Навстречу неслись такси с черными кубиками на кузове, автобусы, взад и вперёд шли пешеходы.

Шофёр остановил машину на обочине дороги, вышел из кабины, ударил каблуком по скату и покачал головой.

Печерский Николай Павлович, прозаик, детский писатель (1915, Харьков — 1973, Воронеж). Автор книг: *У самых гор*: повесть (Киев, 1950); *Родные места*: рассказы (Одесса, 1953); *Моя золотая радуга*: повесть (Иркутск, 1957); *Генка Пыжов — первый житель Братска*: повесть (М., 1958); *У тебя всё впереди, Валерка!*: повесть (Иркутск, 1959); *Мешок с деньгами*: рассказы (Кишинёв, 1961); *Ленивые хитрецы* (Кишинёв, 1963); *Масштабные ребята* (М., 1964); *Серёжка Покусаев, его жизнь и страдания*: повесть и рассказы (М., 1970); *Будь моим сыном* (Воронеж, 1972); *Важный разговор*: повести и рассказы (Воронеж, 1975); *Кеша и хитрый бог* (М., 1977) и др. Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 50-е гг.

— Погуляйте малость, — сказал он, — придётся подкачать.

Пока шофёр возился с машиной, мы успели немного осмотреть Ангарск, купить на дорогу хлеба и даже съесть по порции мороженого. Продавали его в большом деревянном ларьке. На стене его был нарисован бурый медведь с голубой вазой в лапах. Я ел мороженое и думал: пять лет назад, может быть, как раз на этом самом месте, где сейчас ларёк, сидел настоящий живой медведь.

Вот бы послать телеграмму Люське: «Сделали вынужденную остановку в таёжном городе Ангарске, горячий привет Москве». Нет, пожалуй, делать этого не стоит. Если бабушка узнает, она умрёт от страха. Лучше я напишу об Ангарске в своём сибирском дневнике.

Когда мы снова тронулись в путь, я достал тетрадку и хотел было писать. Но ничего хорошего из этой затеи не вышло. Асфальт за Ангарском кончился, и машину начало бросать из стороны в сторону. На одной кочке меня так трянуло, что я даже подумал, что откусил язык. Но, к счастью, всё обошлось благополучно. Язык остался на своём прежнем месте.

Вместе с нами в машине ехал угрюмый бородатый старик. Я всё время думал: сейчас он откашляется, разгладит узловатыми пальцами бороду и начнёт рассказывать какую-нибудь легенду. Но старик молчал и почему-то косо поглядывал в мою сторону. Когда я поднимался, чтобы постоять немножко в кузове, он сердито сдвигал брови и отрывисто говорил:

— Сиди смирно, не вертись!

Странные в Сибири старики: почему-то им надо вмешиваться не в своё дело!

Следующий большой город после Ангарска — Усолье-Сибирское. Такое название городу придумали не зря: соли здесь и в самом деле хоть лопатами гребь. Кроме солеваренного завода, здесь есть и много других заводов и фабрик. Но перечислять их я не буду. Заводы и фабрики теперь в Сибири не новость. Это только раньше, при царской власти, здесь ничего не было. Хотя целый день иди — не увидишь ни дыма, ни трубы.

За холмом показалась широкая река. По ней, сталкиваясь и разбегаясь, плыли длинные бревна. На противоположном берегу, у высокой кручи, темнел паром. Оттуда отчётливо долетал стук молотков.

— Починяют, — сказал шофёр. — Придётся загорать.

Но загорать он не пошёл. Просто склонился на руль и уснул.

Мы обрадовались такому случаю и побежали купаться. Сбросили на бегу штаны, рубашки и с разбегу бултыхнулись в воду. Вода в реке Белой была тёплой и по цвету ничуть не отличалась от других речек. Это было моё первое купание в сибирской речке. Хорошо ещё, что оно не было последним.

Вы скажете: «Снова какая-нибудь история с этим парнем приключилась?» Но что же я могу сделать, если у меня в жизни одни неприятности! Я даже не заплывал далеко. Всё дело бревно испортило. Отплыл я метров на пять, вдруг смотрю — прямо на меня плывёт огромное бревно. Я ухватился за ствол и сел на него, как на коня. Бревно всё время вывёртывалось и пыталось удрать. Но удрать от меня не так-то легко. Я пришпорил «коня» и помчался вперёд...

Речной конь умчал меня довольно далеко. Я оглянулся и даже вспотел — того места, где раздевался, почти не видно. Бросил я бревно и давай плыть. Я вперёд, а течение меня — назад. Как будто кто-нибудь хватает меня за пятку и снова бросает на середину.

Долго я размахивал руками и колотил по воде ногами. Потом вдруг чувствую — закружило меня на одном месте, как волчок. Не вижу уже ни берега, ни неба. Перед глазами только водяные круги и брызги. Теперь, думаю, конец.

Прощайте и отец и бабушка. Прощай навсегда и Люська. Я знаю, ты пожалеешь меня, но всё же скажешь: «Абсурдная смерть. Это я авторитетно заявляю».

Неужели придётся умирать?

Но нет, Геннадий Пыжов не утонул. В самую последнюю минуту, когда мне по всем правилам полагалось идти на дно, я вспомнил рассказы мальчишек: если тебя закружит в водовороте, не сопротивляйся, не брыкай ногами и не кричи «мама». Нырять поглубже, к самому дну. Низовое течение подхватит тебя и вынесет уже в другом месте.

Что же делать, если нет иного выхода? Закрыв я глаза, свернулся комком, быстро выбросил ноги назад и нырнул в самую глубину. Это меня только и спасло. Минуты через две я уже был далеко от водоворота и быстрыми саженками плыл к берегу.

Представляете, какой переполох поднялся из-за моего ныряния! По берегу во весь опор мчались ко мне добровольцы. Впереди всех бежал бородатый старик. Едва я выбрался на берег, старик без всяких разъяснений схватил меня за ухо и стал кричать:

— Я тебе говорил — сиди смирно, не вертись!

Человек чуть не утонул, а он за ухо хватает!

Отец стоял в стороне и не вмешивался. Между прочим, он только говорит иногда: «спущу три шкуры», но на самом деле даже пальцем меня не трогает. Он лишь разъясняет, внушает и без конца спрашивает: «Зачем?», «Почему?» Я ничего не имею против внушений. Значительно хуже, когда отец перестаёт разговаривать со мной. Нахмурится, сведёт губы в узкую полоску и отойдёт прочь. Даже не скажет: «Не желаю с тобой разговаривать». Замолчит, и всё.

Лучше б он уж спустил с меня три шкуры! Паром скоро починили. Мы переправились на другую сторону Белой и покатали по пыльной дороге. Отец молчал и даже старался не смотреть в мою сторону. Зато старик разошёлся. Он сел поближе к отцу и громко, так, чтобы все слышали в машине, сказал:

— Вы ещё молодой отец и поэтому не знаете, как надо воспитывать детей. Вот возьмите меня. Я своего сына Василия бил три раза в сутки — утром, в обед и вечером. Теперь он человеком стал. Директором завода служит!

Но фамилии своего Василия старик так и не назвал. Наверняка наврал. Если человека пороть три раза в сутки, то из него отбивная котлета получится, а не директор. А к тому же я не хочу быть директором. Зачем мне это нужно!

Шахтёрский городок Черемхово мы проехали уже вечером, не останавливаясь. Шофёр торопился. Машина летела как стрела. А солнце всё ниже и ниже опускалось к горизонту.

Шофёр включил свет. Тонкий слепящий луч скользил по ухабам, вырывал из темноты то полосатый межевой знак, то быстроногого, улепётывающего во все лопатки зайца. Однажды мы увидели даже лисицу. Она померцала зелёными глазами, перепрыгнула через канаву и, не оглядываясь, побежала мелкой рысцой в лес.

Поздней ночью машина подъехала к Оке. Вы, очевидно знаете только одну Оку — ту, что впадает в Волгу. Но представьте себе, есть ещё и другая, сибирская Ока.

Мы долго стучали в тёмное окно небольшой избушки паромщиков, но толку так и не добились. В ответ только слышался дружный раскатистый храп.

— Спят, каналы, — незлобиво сказал шофёр. — Теперь хоть из пушек пали — не подымешь. Я их знаю.

Ночевать пришлось на берегу реки. Добровольцы притащили сухих веток,

и вскоре возле парома пылал яркий костёр. Всем хотелось есть. Добровольцы порылись в чемоданах и вытащили у кого что было — лапшу, горох, свиную тушёнку. Отец достал брикет гречневой каши и кусок корейки. Всё это мы бросили в большое закопчённое ведро и подвесили его над костром.

После ужина все улеглись спать. Отец принёс из машины тулуп, который мы купили в Москве перед отъездом, молча бросил его на землю, а сам отошёл и сел у костра.

Ладно, я тоже могу обижаться. Не буду спать, и всё!

Как я ни таращил глаза, они сами собой закрывались, и голова падала вниз. Долго я клевал носом, но всё же не выдержал. Завернулся покрепче в тулуп и мгновенно уснул.

Ночью я несколько раз просыпался. Согнувшись и положив голову на колени, отец сидел у догорающего костра.

Спал или думал невесёлую ночную думу отец?

Мне почему-то было жаль его, но подойти я не решился.

На рассвете, когда над рекой ещё горели, отражаясь в темной воде, крупные звезды, «каналы», то есть паромщики, переправили нас на другую сторону.

Вместе с нами переехало несколько автомашин и подвод. Людей было много — какие-то парни, девушки, одетые по-зимнему в тулупы старики. Среди пассажиров не было ни одного мальчишки или девчонки. Только я, Геннадий Пыжов, ехал по сибирской земле в далёкий, незнакомый Братск. В машине мы тряслись целый день.

Дальше мы уже ехали без приключений. По обеим сторонам дороги стояли высокие лиственницы, сосны; в чаще, будто побеленные к празднику, мелькали тонкие берёзки. Лишь один раз на какое-то мгновение ожила глухая таёжная дорога. Вдалеке показался и сразу же скрылся в чаще крупный лось, или, как его называют сибиряки, сохатый.

Когда же наконец будет Братск?

Я устал ждать, лёг на дно кузова и стал смотреть в небо. В вышине наперерез месяцу плыло и таяло на глазах белое облачко. Я вспомнил Москву, наш большой двор, и мне, так же как и звёздам, стало грустно. Ещё минута — и я заплакал бы. Но тут вдруг все зашевелились и повскакали со своих мест.

Что случилось?

Я поднялся. Впереди, там, где неожиданно заканчивалась тайга и начиналась широкая, раскинувшаяся на все четыре стороны впадина, сияли огоньки.

— Держись за меня, не упади! — крикнул отец.

В эту минуту были забыты и противное бревно, и огурцы-желтяки, из-за которых я чуть не отстал от поезда.

Впереди было самое главное и самое важное теперь в нашей жизни — Братск.
<...>

Из главы двадцать седьмой Я всё могу... Так строят плотину...

В воскресенье меня разбудили страшные взрывы. Наш двухэтажный дом дрожал, скрипел. В шкафу звенели стаканы. Большой оранжевый абажур, который недавно купила бабушка, раскачивался из стороны в сторону, как при землетрясении.

В комнате никого не было. Отец и бабушка уехали на рынок в Братск. На сто-

ле, накрытый газетой, лежал завтрак. Но мне было не до еды. Какие могут быть завтраки, если на Ангаре начались важные, необыкновенные дела! Я быстро оделся, отдал ключ соседям и выбежал на улицу.

По дороге на Ангару я завернул к Люське. Словарь в платье, как видно, уже давно был на ногах. Из-за дверей коридора выглядывали кончик Люскиного пухового платка, посиневшая от стужи щека и чёрный испуганный глаз.

— Ты чего там прячешься? Иди сюда.

Люська высунула наружу вторую щеку и второй глаз, но в эту минуту на Ангаре снова бабахнуло. Земля задрожала, загудела. С деревьев посыпались тучи снега.

— Ай-я-яй! — закричала Люська и спряталась совсем.

Я поднялся на крыльцо и увидел Люську. Закрыв лицо руками, она сидела в углу коридора на корточках и, наверно, даже не дышала.

— Ну и трусиха! Поднимайся, пойдём на Ангару.

Люська отняла руки от лица и еле слышно сказала:

— Я не могу, Гена. У меня в середине всё атрофировалось. Я боюсь.

— Чудачка, это же лёд взрывают. Плотину на Ангаре строят.

В конце концов я уговорил Люську. Она выбралась из своего укрытия и пошла за мной. Когда над тайгой гремели новые взрывы, мне тоже было немножко не по себе. Но я не подавал виду. Думал: вот идёт Люська и умирает на каждом шагу от страха, а мне ничего. Я не такой. Я всё могу...

Тайга окончилась. Перед нами открылся берег Ангара. Справа кудрявился волнами Падун, слева сверкали на солнце Пурсей и Журавлиная грудь. Между утёсами чернели на льду тракторы, бульдозеры, мелькали стрелы подъёмных кранов. На реке ни души. Строители укрылись от взрывов в землянках и в глубоких, прорытых в скалах внешней водой пещерах.

Мы с Люской спрятались под большой лиственницей. Со страхом и восторгом наблюдали за всем, что происходило на Ангаре. Я боюсь, что даже не сумею рассказать об этом как следует. Над рекой один за другим гремели взрывы. Всё трещало, стонало, летело вверх тормашками — и куски льда, и поднятые со дна камни и песок, и черные, вмёрзшие в лёд стволы деревьев.

— Абсолютный фейерверк! — воскликнула Люська. — Я даже в Москве такого не видела.

Люська была права. Столбы поднятой в небо воды, куски чистого ангарского льда сверкали на солнце сказочным, радужным фонтаном. Камни градом сыпались на лёд, дырявили снежные сугробы на берегу, будто ножом срезали ветки деревьев.

Но вот на Ангаре всё затихло. С мачты на вершине Пурсея медленно опустился к земле флажок.

— Всё, — сказал я. — Отбой. Можно идти.

Люська неохотно отошла от лиственницы и поплелась за мной.

— А что, если снова бабахнут? — округлив глаза, спрашивала она. — К кому тогда будешь апеллировать, а?

— Отстань ты со своими апелляциями! Не хочешь идти, можешь оставаться.

Люська надула губы:

— Я тебе как товарищу говорю, а ты артачишься. Ну и ладно! Ты мне абсолютно не нужен. Я со Степой пойду.

— Так ты и найдёшь своего Стёпку! Он спит без задних ног.

— Спит, ага, спит! А это кто?

Люська ткнула рукавицей куда-то в сторону и побежала с откоса. Только снежная пыль поднялась.

Ну и зрение же у этой Люськи! Метров за восемьсот от нас мелькала среди сугробов чёрная точка. Это и был Стёпка.

Я припустился за Люськой. Обошёл её на повороте и догнал лесного человека возле самой Ангары. Вскоре к нам присоединилась и Люська. Подбежала и сразу же начала трещать:

— Степа, ты мне должен обязательно всё рассказать. Я абсолютно ничего не понимаю.

А не понимаешь, могла бы и у меня спросить. Подумаешь, нашла себе авторитетное лицо!

Стёпка начал рассказывать, а я уточнял и поправлял, когда он наводил тень на плетень. Болтая, мы шли по льду Ангары. От правого берега к середине реки тянулся широкий чёрный коридор. Над этим водным коридором клубился и таял на ветру густой сизый туман. Эскаваторы с грохотом опускали в воду стальные ковши, выбирали из неё и отбрасывали в сторону глыбы льда. Длинной цепочкой — один за другим — к коридору подходили самосвалы. Они задирали кверху кузова и опрокидывали в воду огромные камни. Вода с шумом расступалась, выплёскивалась на лёд и тотчас же замерзала.

Здорово всё-таки придумали наши добровольцы. Никто в мире ещё не решился насыпать плотину зимой со льда. А наши сказали: «Сделаем, и точка! Нечего нам лета дожидаться и строить всякие паромы и понтонные мосты. Лёд вам почище всякого парома».

Но строители насыпали плотину не просто так себе, как попало. Для того чтобы течение не унесло вниз камни, добровольцы опустили в воду большущие коробки из брёвен — ряжи. Будто стенку под водой поставили.

Но, может быть, я надоел вам этими своими рассказами? Пусть будет так. Молчать я всё равно не могу. Должны же вы, в конце концов, знать, как строили на Ангаре плотину Братской ГЭС!

Михаил Попов

Две встречи

Рассказ

I

Роман Русаков собирался домой в село Чёрную Гриву. От города, куда его вызывали по служебному делу, до села считается десять вёрст, но дорога проходит через быструю горную реку и порой, когда переправа на пароме почему-либо прекращается, расстояние между селом и городом увеличивается вдвое.

Город маленький, недавно образовавшийся из старого пристанционного села. По городу слухи:

— В горах тает снег...

— Река задурила... Сорвала паром и унесла лодки.

— За рекой появились банды, — говорили одни.

— Ничего подобного. Паром ходит...

— Нет, паром сняли, но перевозят на лодках...

— Банды-то не за рекой, а на Микулинской заимке видали, — возражали другие.

Русаков, не зная, чему верить, махнул рукой и пошёл на станцию, чтобы сесть на поезд, переехать реку по железнодорожному мосту, за мостом спрыгнуть и домой идти пешком, но попутных поездов не было.

— Что же делать? — вслух думал он в станционном зале, — разве на счастье дойти до перевоза, может быть, как-нибудь переправлюсь? Три версты дело не большое...

— Не рекомендую, товарищ! В такой бурный разлив переправа на пароме немыслима! — отрезал кто-то сзади.

Русаков обернулся и увидел сухое загорелое лицо, черные воспалённые глаза, пятиконечную звезду на старой защитной фуражке.

— А где вы узнали об этом?

— На перевозе, откуда я только что пришёл, — сказал незнакомец и, сняв с плеча винтовку, стал освобождаться от висевшего за его спиной вещевого мешка. — Мне надо попасть на Чёрную Гриву, — продолжал он, — а вот река задерживает.

— Так и мне на Чёрную Гриву!.. Стало быть, вместе двинемся? — обрадовался Русаков.

Попов Михаил, поэт, прозаик (1894, Вятская губерния — 1933, с. Барлук Куйтунского р-на Иркутской обл.). Автор книги *Краснознамённый колхоз*; стихов и рассказов, опубликованных в журналах нач. 30-х гг.: *Жернов* (М.), *Будущая Сибирь* (Иркутск), газетах *Сельская правда*, *Красный пахарь* (М.), *Советская Сибирь* (Новосибирск), *Власть труда* (Иркутск) и др. Член Российской ассоциации пролетарских писателей Восточной Сибири.

— Тогда конечно!.. Вдвоём веселее... Вы живете там?

— Работаю членом волостного ревкома.

— А-а! Очень приятно! Тогда давайте познакомимся: военный инструктор Емельянов... Та-ак... Но как же мы проберёмся на Чёрную Гриву?

— Пробраться можно только по железнодорожному мосту, но этим путём до Чёрной Гривы будет значительно дальше.

— Выбора нет. Пойдём по мосту.

— В таком случае, калёная сталь, надо получить от коменданта пропуск.

— Обойдёмся и без него, — возразил Емельянов, развязывая вещевой мешок. — Я что-то проголодался... Не желаете ли за компанию?

Русакову не очень хотелось есть, но он почему-то с удовольствием взял аккуратно отрезанный Емельяновым ломоть ржаного хлеба.

— Вот соль, товарищ Русаков! — предложил Емельянов, указывая на голубой ситцевой узелок. — Берите!

Летнее солнце перевалило за полдень, когда белокурый, крепко сколоченный Русаков и высокий, прямой, как телеграфный столб, Емельянов пошли вдоль четырёх блестящих на солнце рельсов. Емельянов так легко шагал по шпалам, что Русаков едва успевал за ним.

«Напрасно бьём ноги, — думал он, — не пустят по мосту без комендантской записки». И ему вдруг стало казаться, что не передаст он сегодня председателю ревкома секретного пакета, что не увидит свою жену, чернобровую Наталью и белоголового сына Гошку, что в дороге случится какое-то несчастье.

У моста франтоватый начальник караула внимательно читал документы Емельянова. Русаков, стоя в стороне, старательно обтирал пот со своего слегка загорелого лица.

— Пожалуйста! — козырнул начальник караула, передавая документы. «Что же обо мне не сказал ни слова? Неужели забыл?» — метнулось в голове Русакова.

Емельянов, не торопясь, аккуратно сложил документы в замасленный жёлтый бумажник и долго прятал в карман под шинелью.

— Кстати, разрешите пройти и моему товарищу, — небрежно, между прочим, попросил он.

— Пожалуйста! — снова козырнул начальник караула.

Мост гудел металлом. Под мостом, разбиваясь о каменные устои, злобно шумели пенистые волны. По волнам неслись жёлтые шпалы, сломанные весла сплавщиков, громадные лиственницы с высоко торчащими корнями. В Саянских горах таял снег. Взбешённая река, сметая всё на своём пути, неудержимо рвалась к океану. За мостом шестиугольная деревянная недостроенная башня, ржавая проволока заросшего травой колючего ограждения напоминали Русакову, как о тяжкой болезни — о чёрной власти Колчака, об ужасах этой власти, и он задумался.

— Закурим, чтобы дома не журились, — скупой улыбнувшись, пошутил Емельянов, доставая жестяную коробку с табаком.

С пригорка, где сидели путники, было видно широкое поле цветущей ржи. По синему полю одна за другой шли, колыхаясь, сизые волны. Пахло рожью, цветами, полынью.

— Спасибо, я не курю... А где ваш дом, товарищ Емельянов?

— В Казани.

— Поди, и семья есть?

— Жена и двое детей, — затянувшись папиросой, Емельянов добавил: — отец мой был татарин-выкрест, а я уже настоящий русский — зовут меня Ильёй.

— И давно не были дома?

— Около трёх лет.

— Ах ты, калёная сталь! Почему же вы не съездите?

Емельянов улыбнулся:

— Потому, что дело революции считаю дороже личных интересов.

Всматриваясь в небольшую, но статную фигуру своего спутника, в его орлиный профиль, Емельянов неожиданно спросил:

— Вы, очевидно, не крестьянин, товарищ Русаков?

— Отец и дед были крестьяне...

— Стало быть, я ошибся?

— Пожалуй, ошиблись, товарищ Емельянов, — ответил Русаков, и ему вдруг захотелось рассказать о себе, рассказать просто и откровенно, как другу.

Емельянов, кусая сорванный по пути зелёный ржаной стебель, сосредоточенно слушал.

Русаков вырос в крестьянской семье, начальную школу окончил с похвальным с золотыми буквами листом, хотел ещё учиться, но в это время у них напоролась на вилы и сдохла последняя лошадь. Это несчастье вместо школы заставило поступить мальчиком в магазин Щелкунова и Метелева, где он сдружился с одним приказчиком из политических ссыльных, который иконы называл досками, а царя — прохвостом.

Ссылный советовал бойкому Роману больше читать, и он целые ночи читал Пушкина, Гоголя, Некрасова, перечитал всё, что было в библиотеке, тогда его друг стал давать книги, запрещённые цензурой, но вскоре досрочно взяли в солдаты.

Затем фронт... Революция... После революции работал в ротном комитете. Домой вернулся по демобилизации армии и стал работать в своём селе: оборудовал сцену, устраивал чтения, беседы с крестьянами, но тут невзрачный сельский попик Тихогласов стал доносить, что большевистский агитатор Русаков подрывает православную веру и власть верховного правителя. Русаков узнал об этом и ушёл в тайгу и вместе с другими партизанами то нападал на белых, то скрывался от их карательных отрядов, а после освобождения Сибири от Колчака снова пришёл в своё село и стал работать в ревкоме.

Русаков смолк. До Чёрной Гривы оставалось версты три. Емельянов на минуту остановился, оглядел местность, зарядил винтовку, и они снова пошли.

— Я первый раз в этом крае... Осторожность не мешает, — как будто в чём-то оправдываясь, пробормотал Емельянов.

Впереди вожжою тянулась просёлочная дорога, налево — кочковатая падь со ржавой водою, направо — вдоль дороги выжженный солнцем чёрный бугор, а по вершине бугра шла темно-зелёная сосновая поросль.

— Вы, оказывается, тёртый калач, — заговорил Емельянов. — А как у вас население реагировало на продразвёрстку?.. Эксцессов не было?

— Нет, ничего... Необходимость развёрстки мне удалось мужикам доказать...

— Товарищ Русаков, что бы вы стали делать, если бы крестьяне, недовольные развёрсткой, восстали?

— Что делать? Постарался бы удержать их...

— А если бы это не удалось, — вы стали бы в них стрелять?

«К чему это он?», — подумал Русаков.

— Товарищ Емельянов! Вы спрашиваете, что бы я стал делать, если бы кучка несознательных людей потащила меня вместе с собой в петлю, так ведь? Я боролся бы изо всех сил...

— И поднялась бы рука на своих?

— И поднялась бы...

— Верно, товарищ Русаков! Надо стоять выше массы...

Вдруг в сосняке что-то раскатисто треснуло и что-то огромное, как показало Русакову, с воем пролетело возле него. Емельянов упал.

— Ложись! — крикнул он, отползая к берёзке, за дорогу.

Русаков крепко, будто ребёнок к матери, прижался к земле. В ушах звенело. Мысли крутились, как потерявшее опору колесо, — быстро и бестолково. Вдруг почему-то с поразительной ясностью вспомнилась девушка-украинка, мельком виденная на табачной коробке Емельянова.

Сосняк трещал выстрелами. Пули тонко пели: пи-у! пи-у! пи-у-у!.. Одна из них, ударившись в камень, с плачем пошла в сторону.

— Ползите сюда! — шёпотом позвал Емельянов.

— Что же делать, калёная сталь? — приближаясь к товарищу, спросил Русаков, — не податься ли в кочки?

— Возьмите мою винтовку, — сухо ответил тот, доставая из-под шинели прикладистый маузер, — но пока не стреляйте!

Перед Русаковым упала сбита пулей ветка.

«Неужели убьют», — думал он, стуча зубами, как от озноба.

Выстрелы, редая, стихали.

Емельянов без фуражки, бледный, опираясь на локоть, смотрел сквозь травы на бугор.

— Кажется, идут сюда... Спокойнее, товарищ Русаков...

Русаков, раздвинув стволом полынью, увидел несколько фигур, осторожно идущих к ним, и выстрелил.

Вслед за ним стал часто бить Емельянов. Казалось — рвутся струны, невидимо протянутые по земле. Один из бандитов сел, другие схватили его и потащили в лес. Сосняк снова затрещал...

На землю спускалась туманная ночь...

II

Домой пришли на рассвете.

Наталья, гремя самоваром, незлобно ругалась:

— И сколь раз я тебе, Роман, говорила: ухлопают тебя с твоей властью, а тебе всё неймётся... Ну, за чё ты треплешься, чё у нас с тобой есть? Ни харчей, ни одёжи... Гляди, ты весь мокрый, а в чё я тебя оболочу?

Шлёпая по полу босыми ногами, Наталья принесла из ограды дров и затопила железную печку.

— Давайте, грейтесь... Товарищ, — обратилась она к Емельянову, — садись к печке, обсушивайся, — и ушла к самовару. — Чаю и того нет. Если я бадан заварю, товарищ, — то станешь ли пить-то?

— Вы не беспокойтесь! — засуетился Емельянов, кидаясь к мешку, — у меня есть немного чаю и кусок сахара... Вот чай, — пожалуйста!

Кусок сахара Емельянов разделил на три части: Наталье, Роману и себе.

— Что у вас с рукой? — спросил он Наталью за чаем.

— Нарыв... Должно с натуги.

— Вы делайте-ка цветочные компрессы, у вас в полях эти цветы должны быть, — посоветовал Емельянов и стал рассказывать, какие у нужных цветов

должны быть лепестки. Наталья не понимала, тогда он достал записную книжку, вырвал листик, живо нарисовал цветок и подал Наталье.

— Ой, дак я знаю... Летось за Студёным ключом уйма таких было.

— Ну, вот! Заварите кипятком, прикладывайте, и через неделю рука заживёт.

— Тять, а тять! — тёрся о колени Романа белокурый Гошка, — дай сахарку...

Наталья сняла со своей кровати кошму, подушку и постелила постель Емельянову в сених. Тот под подушку положил свой вещевой мешок и, не раздеваясь, улёгся.

— Товарищ Русаков! — окликнул он через минуту, — вы поставили караулы на случай нападения?

— И караулы поставил, и в город нарочного послал, — отозвался Роман из избы.

Наталья легла после всех, прижимаясь к Роману тугой грудью, — гибкая, сильная, — виновато зашептала:

— Не сердчай, Роман! Не сердчай, золотой... Делай, как знаешь... Я ведь к тому, чтобы тебя не убили... Чё мы тогда с Гошкой станем делать! — Наталья заплакала...

Наутро, придя в ревком, Емельянов зашёл в комнату военного отдела, а Русаков стал читать крестьянские заявления о наделе землёй, о разделе имущества, о потрахвах.

Перед обедом бородатый мужик, заввоенотделом, вытирая рукавом пот, обильно выступивший на его широком лице, зашёл к Русакову. Тот вопросительно поднял на него большие синие глаза:

— Ну, как?

— Но-о-о, брат, рабо-отник!

— Что?

— Толковый! И подкрутить может и показать умеет... До чего просто, понятно рассказывает! В первый раз к нам такой приехал, — заввоенотделом закурил. — Рассказал, показал нам всё и говорит: «Почему у тебя, товарищ, волостной военный комиссар, бандиты завелись? Откуда они у тебя берутся?» — «Из богате-ев да офицерь», — отвечаю. «А много у тебя в волости богатеев»? Я сказал, потом он спросил сколько коммунистов, как относится к власти население... Всё-то ему надо знать, во всё-то он вникает. Молодчага парень!

— Товарищ Русаков! — позвал председатель из своей комнаты. Маленький, бритый, очкастый председатель — из городских — что-то отмечал на документах Емельянова, сидевшего тут же.

— Вот что, парень, — сощурил близорукие глаза председатель на Русакова, — пришёл военный отряд, нужны подводы; крестьяне, ссылаясь на пахоту, не дают лошадей. Сходи-ка утряси этот вопрос, ты умеешь ладить с крестьянами, кстати, сейчас сельский сход.

С Русаковым пошёл и Емельянов. Сход, расположившись в тени возле сельской управы, гудел, как пчелиный улей.

— Товарищи! — крикнул Русаков, стараясь заглушить гул, — товарищи!

Гул, разбиваясь на отдельные возгласы, стих.

— Товарищи, — заговорил Русаков, — для военного отряда надо десять подвод, почему вы их не даёте? Чего дожидаетесь? Чья очередь?

— Моя, — отозвался, после минутного молчания, парень в белой рубаше, — да я коней другой день не могу сыскать.

— Пары пахать надо, Роман Алексеич!

— Сам ведь знаешь: летний день год кормит, — заговорили мужики.

— Паны дерутся, у мужиков волосья трясутся, — проскрипел кто-то сзади.

— Пары пахать надо, — снова заговорил Русаков, синь его глаз, наливаясь чернотой, загоралась, — а подводы давать не надо? Будем ждать, когда придут банды и заберут наших лошадей?... Хор-рошее дело!... Вы забыли, как зимусь белые выгребали ваш хлеб, резали ваших коров, клали под себя ваших дочерей?.. Вы забыли это? — из глаз Русакова сверкали синие молнии, а голос громом раскатывался над сходом. — Паны дерутся? Да, паны с мужиками, с мужиками да с рабочими!.. Хотят снова сесть на мужицкую шею!..

Сход молчал.

— Ну, так кто запрягает?

— Да я запрягу, Роман Лексеич! — хлопнул Русакова по плечу маленький мужичонка с большой трубкой в зубах.

— Я тоже могу съездить...

— Ково там... Заварили кашу, так масла жалеть нечего! — оживлённо заговорил сход.

— Так будут подводы-то? — спросил Русаков, сдерживая улыбку.

— Будут, Лексеич, будут, выставим...

III

Прошёл июль со зноем, с горячими травами, с пахучими поспевающими хлебами. Прошёл и август с кузнечиками, с прохладой тёмных вечеров, со ржаными суслонами на полях. Сентябрьские холодные ветры качают тайгу. В тайге, как поганые грибы, скрываются банды. Милиция ищет бандитов. Бандиты разбегаются: кто прячется у богатой родни, кто уходит дальше в тайгу. Казалось, бандитизму пришёл конец.

Вдруг в соседнее село Васиху, покачиваясь на сёдлах, въехала большая банда. Одна часть её спешила у потребиловки, а другая поскакала к ревкому, откуда слышался стук выстрелов, крики...

Свалившись в потребиловку, бандиты выгнали покупателей и предложили приказчику выдать ключи от кладовой. Перепуганный приказчик никак не мог попасть в карманы своего пиджака.

— Сейчас... Сейчас... Сию минуту, граждане! — повторял он.

— Что ты трясешься, как жид! — крикнул краснорожий бандит с распухшей щекой, вырывая ключи из рук приказчика.

Забравшись за прилавок, бандиты рвали книги, совали за пазухи ленты, кошельки, зеркала, складывали в кули мануфактуру, кули выносили на улицу и привязывали к сёдлам. Из кладовой выгружали масло, кожу, верёвки... Забрали всё, что можно было увезти...

— Тащите, старики, кому что надо! — крикнул высокий бандит в жёлтых бурятских унтах собравшейся на улице толпе, — не бойтесь... Ревкомам пришёл конец.

Толпа колебалась.

— Треба брать, коли даруют добры люди, — сказал церковный староста Нищук, седобородый рослый старик. Он пошёл в лавку, навалив там себе на плечи ящик оконного стекла, понёс домой. Вслед за ним бородатые мужики, крадучись, потащили по домам свёртки шинового железа, кули с солью и раскрашенные в ленточку дуги.

Банда уехала. У приказчика осталась расписка в том, что товар реквизирован повстанческим отрядом ротмистра Ахметова.

Роман Русаков, узнав об ограблении васихинской потребиловки, с отрядом, собранным из коммунистов, партизан и милиции, погнался за бандой, но, потеряв след, отряд бесплодно кружился по тайге и на третий день повернул домой. На третий же день в Чёрной Гриве к волостному ревкому подъехал кавалерийский отряд с развёрнутым красным флагом.

Маленький, бритый очкастый председатель ревкома, почуяв недоброе, выскочил через заднюю дверь в ограду, из ограды — в ельник. А бородатый мужик, завоенотделом, считая отряд красноармейским, встретил его очень любезно, отвечая на вопросы, охотно рассказывал, сколько у него в волости коммунистов, куда они поехали, попутно ругая богатеев, помогающих бандитам и тем самым подрывающих советскую власть. Вдруг один из бандитов, сильно размахнувшись, ударил его по лицу. Завоенотделом упал. Тогда его стали топтать ногами, а потом вытащили на улицу и зарубили. Другие бандиты в комнате ревкомского сторожа схватили его семнадцатилетнюю дочь — бойкую черноглазую Любку. Сторож кинулся на защиту дочери, но ударом кулака был сбит с ног, связан и выброшен в коридор. А Любку бандиты повалили на пол, и, зажав ей рот, поочередно насиловали.

— На коней! — крикнули на улице.

Торопливо выбегая из ревкома, бандиты матерились:

— ...Их мать!... Гады... Будут помнить отряд Ахметова!..

Через час приехал Русаков.

У крыльца ревкома лежал зарубленный завоенотделом. Борода его плавала в луже крови.

В комнате сторожа дико выла обезумевшая Любка.

Через два часа из города пришла рота красноармейцев. И ещё три дня искал Русаков по тайге банду Ахметова, но банды не было, как сквозь землю провалилась она.

— В Монголию, видать, подалась... Не иначе, — догадывались партизаны. И село успокоилось. Через неделю Русаков поехал в город на совещание. Наталья принесла в двуколку сена, под сено положила котомку с хлебом, овса коню. Роман вынес из избы винтовку, взял вожжи и, примяв сиденье, грузно сел.

— Тятя, пряников привези, — кричал с крыльца разбурянный холодом Гошка.

— Привезу, Гоша, привезу! — ласково улыбнулся Роман.

— И конфетов!

— И конфетов привезу.

— Как-нибудь ладом, Роман! Поберегайся! — заглядывала в глаза Наталья.

— Ну, ладно! Давай отворяй ворота...

Наталья долго за воротами глядела вслед мужу, а когда вернулась в ограду, то ограда показалась ей какой-то странно пустой, только две лужицы дёгтя, накапавшие с осей, переливались на утреннем солнце красными, синими, зелёными цветами, да одинокие клочки сена валялись рядом. Тоска, разрастаясь в груди, сжала ей горло, и, взяв на руки Гошку, Наталья зарыдала...

IV

В городе, после совещания, Русаков пошёл на базар и купил Гошке фунт белых пряников.

Рыхлая старуха, сидя на телеге, хрипло басила:

— ...Сам-то енерал Ахметов, дородный, полный, с еполетами, сказал: «Всех, говорит, коммунистов сничтожу, чтобы, говорит, не изгалялися над церквами осподними»...

Русаков плюнул и пошёл в военкомат — хотелось повидаться с Емельяновым, который при прощании, загадочно улыбаясь, сказал, что они непременно встретятся, а встретиться не приходилось.

— Я, право, не знаю... Он, кажется, в командировке, — ответил Русакову молодой военный.

— Вам кого, товарищ? — спросил, отрываясь от бумаг, другой военный, седой, в новом френче, с жёлтыми скрипучими ремнями через плечи.

— Инструктора Емельянова.

— Ах, Емельянова!.. Емельянов недели три назад уехал в командировку, скоро должен быть здесь... Между прочим, интересный тип этот Емельянов, — обращаясь к молодому военному, заговорил седой, — прекрасно знает военное дело, хороший организатор и удивительно скромный человек. Остановились мы с ним однажды на ночлег в бурятском улусе, я, знаете, попросил приготовить ужин. Нам подали баранину, сметану и прочее. Сажусь ужинать. «А где же Емельянов?» Мы туда-сюда — нет Емельянова. Наконец, находим его спящим возле юрты; под голову вещевой мешок, рядом — винтовка. Оказывается — он сварил себе в котелке чаю, напился. Я беспокоюсь, как бы он не попал в лапы этому зверю — Ахметову...

Паромщик долго отказывался перевозить Русакова, ссылаясь на сильный ветер:

— Ково мы с тобой вдвоем-то сделам в таку непогодь... Подождать надо... Может, подъедет кто...

Белые барашки, кудрявясь, играли на реке и, подбегая к парому, с плеском разбивались о борты. Цинковый канат под напором ветра тягуче ныл. Берег за рекой в багрянце таловых зарослей на фоне тёмного неба и зловеще плескавшейся реки казался солнечным, радостным...

К парому никто не подъезжал.

Когда Русаков с паромщиком, после долгих усилий, переплыли реку, в зарослях был уже вечер.

Русаков напоил коня, зарядил винтовку, положил её рядом с собой на двуколке и поехал в чащу кустов. Ветер шумел в тальнике, со свистом налетал на берёзки, рвал с них шелестящие лёгкие одежды и, размахивая ими, мчался дальше — прозрачный и неуловимый.

Впереди чернел сосновый бор. Сосны глухо шумели.

«Будто в могилу едешь, — подумал Русаков, стуча колёсами по сосновым корням, — лучше бы ночевать там». Он, дёргая вожжами, торопил гнедка, но усталый конь, тряхнувшись рысцой, снова шёл шагом...

— Стой! — крикнул кто-то возле двуколки.

Инстинктивно взглянув в сторону крика, Русаков увидел револьвер, направленные в него, и схватился за винтовку.

— Ах, это вы! Простите, я вас не узнал! — возле двуколки, вкладывая револьвер в кобуру, стоял Емельянов. — Ну, здравствуйте товарищ Русаков!.. Да положите вы свою винтовку...

— Как вы... калёная сталь... я думал — бандиты, — с трудом выдавил Русаков.

— Вы стали ездить с оружием!.. Это неплохо! — заговорил Емельянов и взял с двуколки винтовку Русакова.

— Вы куда едете, товарищ Емельянов?

— Не товарищ Емельянов, а ротмистр Ахметов! — вдруг меняя тон, сухо поправил собеседник.

Русаков засмеялся. Он хотел сказать, что это шутка, но услышал сзади прерывистое дыхание лошади, обернулся, увидел тёмные фигуры всадников и сразу понял весь ужас своего положения.

Мысль, как пойманный в ловушку зверёк, настойчиво искала спасения, не находя его, возвращалась, снова искала, снова возвращалась. Искала до усталости, до изнеможения... Спасения не было...

— Ха-ха-ха-ха! — громко хохотал Ахметов.

— Ха-ха-ха-ха-ха! — хохотали сзади всадники.

— Ха-а-а-ш-ш, — захлёбывался ветер, кружась на дороге.

— Что вам надо? — крикнул Русаков.

— Ничего! — сухо ответил Ахметов.

— Тогда почему вы меня не убили сразу?!

— Потому что хотел доставить вам удовольствие. Вы с партизанскими отрядами долго искали меня по тайге... Я к вашим услугам! — Ахметов поклонился.

Русаков молчал.

— Затем, у вас есть жена и ребёнок, которых вы больше никогда не увидите, что прикажете им передать?.. Впрочем, я сам позабочусь о вашей семье.... Для вашей жены в моем отряде найдутся оч-чень хорошие женихи...

— Гы-ы-ы-ы! — заржали бандиты.

— Подлец! — не владея собою, закричал Русаков.

— Довольно! — сказал Ахметов, — успокойтесь... Я шутил. Ради нашей первой встречи я дарю вам жизнь... Поезжайте!..

«Что же... Смерть... А может опять увижу Гошку?» — искоркой блеснула мысль.

— Ну трогайте! — крикнул Ахметов, — счастливого пути!..

Русаков дёрнул вожжами. Двухолка стукнула колёсами по корням и заскрипела в сумерках вечера.

— Козырнуть, господин ротмистр? — спросил вполголоса один из всадников.

— Нет, я сам... — проговорил Ахметов, поднимая винтовку.

Красный свет брызнул в глаза Русакова, земля вывернулась из-под него, он повалился в чёрную бездну...

Бушевал ветер. Глухо стонали сосны. На дороге белели рассыпанные Гошкины пряники...

Алексей Самсония

Тихий вечер (Ветер над Байкалом)

Пьеса в одном действии
(в сокращении)

Действующие лица

Косых Наталья Кузьминична — председатель рыболовецкого колхоза.
Косых Гавриил Петрович — её муж, рыбак.
Перфильев Егор Фёдорович — директор рыбозавода.

Действие происходит в Сибири, в одном из рыболовецких колхозов, в наши дни.

Просторная и вполне современно обставленная комната. В широко распахнутое окно видна морская даль и берега с могучими горными кедрами — все они залиты багровыми предзакатными солнечными лучами. Наталья, в рабочей спецовке и кирзовых сапогах, моет тряпкой пол, рядом стоит ведро с водой.

Наталья (*перестала мыть пол, стоит с тряпкой в руке*). Когда сказал Егор, что мои глаза цвета зелёной волны? На дальних скалах? Или когда вломился ко мне в дом? Ганя уехал в ночной колонный лов, а Егор узнал и вломился. (*Задумчиво смотрит в море.*) Тишь. Не дышит море. Рябь едва-едва. Бежит кто-то по бережку. Ганя. <...> Чудеса с Ганей.

Телефонный звонок

(*Берёт трубку*). Слушаю... Куда ж они делись, Сергей Трофимович... На складе спрашивал?.. Так две новые сети оставались, и мы их для пятой бригады планировали... Звони ему домой... Как воздушная разведка?.. Позарез нам большой рыбий косяк нужен. А бригада Маныкина?.. Как же не беспокоиться, Сергей Трофимович, когда он, молоденький, первый раз пошёл бригадиром?

Самсония Алексей Аполлонович, драматург (1912–1987). Автор пьес: *День рождения*: пьеса в одном действ. (М., 1951); *На Байкале*: пьеса в 3-х действ., 4-х карт. (М.: Искусство, 1957); *Бездна*: пьеса в одном действ. (М.: Искусство, 1969); *Когда бывает трудно*: пьеса в одном действ. (М.: Искусство, 1974); *Сизых и Ольгея*: пьеса в одном действ. (М.: Искусство, 1982); книг пьес: *Пьесы* (Иркутск, 1952); *Славное море...*: пьесы (М., 1973) и др. Пьесы поставлены во многих театрах страны. Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1940–50-е гг.

Сварится у него сегодня — дальше пойдёт, а то ведь и сорваться можно. У меня всё. *(Кладёт трубку.)*

Вбегает Косых, он тоже в спецовке и кирзовых сапогах.

Косых. С кем разговаривала? По телефону. Слышал. Когда к дому подходил.

Наталья. Разговаривала с диспетчерской.

Косых. Ах, вот как?! С диспетчерской?

Наталья. Случилось что-нибудь, Ганя?

Косых. Тебя надо спросить.

Наталья. Что у меня? Мою пол.

Косых. Ах, пол!

Наталья. Не заметно?

Косых. Как же, как же?! Пол, значит, моешь?.. Здорово. Ну, здорово...

Наталья. Непонятно, когда колонна в море, а рыбак дома.

Косых. У жены он. Рыбак. У той самой. Которая пол моет.

Наталья. Видела в окно, как бежал.

Косых. Неужели в окно видно, что кто делает? Просто так вот и видно? Живёшь, живёшь, и каждый раз новостешки. Бежал. Отчего ж не побежать? Ходишь, ходишь, а потом побежишь.

Наталья. Не припомню, Ганя, чтоб мы увлекались шарадами.

Косых. И зря, Наталья. Я так тебе скажу. Весёлая штука — шарада. <...>

Наталья. Ещё о чем поговорим?

Косых. О жизни. Какая она есть, наша жизнь? Что она, собственно говоря, такое? По-моему, жизнь — это когда всё как положено. Вот мы с тобой здесь стоим. Как положено. А там вон кедры стоят. Как положено. Бережок раскинулся. Чайки. Море. Небо. Всё, всё как положено. <...>

Наталья. Ещё о чем поговорим?

Косых. Ждёшь его, значит?

Наталья. Кого?

Косых. Того, кто на своём катерке, наверное, спешит уже сюда. Голубой у него катерок, рассказывают. С ветерком, поди, спешит. Лихо.

Наталья. Можно узнать его имя?

Косых. Ждёшь его, а имени не знаешь? Вообще такого человечка не знаешь? Бывает. Как же, как же. Перфильева Егора и не знаешь?

Наталья *(испуганно)*. Егор? Что Егор?

Косых. Припоминаешь имечко? Директор правобережного рыбозавода. Он, он самый! В прежние времена знаменитый бригадир в нашем колхозе был. Что ещё? Забайкальский казак. Неужели не вспомнила? Орёл. Вот он и летит.

Наталья. Не знаю. Ничего не знаю. Ты слышишь? Я ничего не знаю. <...>

Косых. Давай, Наталья, уточним ситуацию. Мне шепнули, что ты телефонограмму получила. От Перфильева. Дескать, вечером буду. Жди. И знаешь, что я припомнил? В прежние времена ты с ним встречалась, когда я как раз в ночном колонном лове бывал. <...>

Наталья. Несколько лет не видела Перфильева.

Косых. Ни разу?

Наталья. Один раз в городе. Живёт Егор Перфильев на своём правобережном рыбозаводе. Говорят, у него жена красивая.

Косых. Неужели, гады, меня правда разыграли с телефонограммой? *(Порывисто обнял Наталью.)* Наталья!

Наталя. Глупый ты, Ганя.

Косых. Любое твоё желание выполню. Чтоб простила. В течение секунды требуй. Наталя. Стань умным.

Косых. Готово.

Наталя. Верно. Прошла ровно секунда. <...>

Наталя. Пора тебе обратно, Ганя.

Косых (*выпускает её из объятий*). Обе свободны. И ты, и грязная тряпка.

Наталя. Возлагаем большую надежду на колонный лов. Особенно на ночной. Каждый рыбак там на учёте.

Косых. Осознали, когда ты нас на правлении песочила.

Наталя (*улыбаясь*). Век технического прогресса, Ганя, а вы не можете обеспечить единственную моторку, которая не просто, а всю колонну лодок оттранспортировать должна в море.

Косых. Сейчас в третьей бригаде матадору одолжу и — айда! Инспектор рыбнадзора из Москвы никак не поймёт, почему мы обыкновенную лодку с мотором матадорой зовём. А мы сами не знаем — почему?

Наталя. Поезжай, Ганя.

Косых. В ту же секунду.

Наталя. Поторопись. Ну, что же ты? Уставился теперь на ведро? Видишь в первый раз? Косых. Пол моешь? <...>

Наталя. Ну что с тобой творится? Уезжаю завтра в город и не хочу, чтоб муж в грязи жил. И вообще люблю мыть пол. Просто так. Ни почему. Захочу и помою.

Косых. Никто не знает, что в город едешь. Ни в правлении. Никто. И мне ты ни слова. И вдруг — на тебе?!

Наталя. Недавно позвонили по телефону.

Косых. Понятно. Всё понятно. Телефоны. Телефонограммы. Век технического прогресса.

Наталя. Еду в обком партии. К первому секретарю обкома. Точнее, на бюро обкома. Зовут меня насчёт запретов рыбного лова.

Косых. Как же, как же. Учёные потребовали полного запрета рыбного лова. Для воспроизводства рыбы. Кому не известно?

Телефонный звонок.

Наталя (*берет трубку*). Слушаю... Обманула я тебя, тёзка. Только в следующую очередь выделим, но в таком же новом доме со всеми удобствами... Ругай, ругай, заслужила. Верно, верно. И председатель я, и депутат... Игишевым дали. Ребёнок у них родился. Что?.. Обидно тебе всё-таки. Понимаю. Всё, что могу сказать, Наталя... Лады. (*Кладёт трубку*.) Узнать хотят в обкоме мнение колхозов. Поскольку по нам главный удар. Вот и еду. Что тут непонятного?

Косых. В логике тебе не откажешь. Как на ниточку нанизываешь. <...>

Наталя. Но я говорю тебе чистую правду!

Косых. Ответственная штука чистая правда. Куда как?! И в прежние времена, когда ты с Егором Перфильевым встречалась, тоже мне чистую правду говорила? Однажды, помню, платье гладила. Я спросил, для чего, а ты сказала, что вечер в клубе. Только в клубе вечера не было. Егора встречать готовилась. Каким, помню, я тогда дурачком в колонном лове сидел! Чернота вокруг. Холодища. Рыбаки в лодках окончательно заскучали. А дурачок весёленький. Светло ему. Тепло. О своей, видишь ли, жене мечтает. Вот, думает, и она обо мне сейчас

мечтает. И в этом, думает, как раз и заключается человеческое счастье. А потом ты нашу Ленку взяла под мышку и ушла к Егору Перфильеву.

Натаалья. Для чего вспоминать то, что было давно? Я, Ганя, вернулась к тебе. Опять же с Ленкой под мышкой. К твоей судьбе. В твой дом.

Косых. От Егора ты не по своей воле вернулась. Он тебя бросил. Не захотел. По существу, в ногах ты у него валялась. Я тебя и забрал вместе с Ленкой.

Натаалья. Забыл один художественный факт.

Косых. Черт с ним, с фактом! С художественным в том числе.

Натаалья. Не хотела я к тебе возвращаться. Не хотела ни за что. И ты тоже, по существу, в ногах у меня валялся.

Косых. Это верно. Что верно, то верно.

Натаалья. Нельзя, нельзя, Ганя, сравнивать разные времена. Была я тогда помоложе.

Косых. Также верно. А знаешь — верно. Точно, точно. Шалавая была. Гоняла по всем рыболовецким тоням. Батек всегда мне говорил: «Однако, паря, козу себе в жены взял. За ней, поди, не угонишься». А теперь ты — председатель колхоза. Депутат. Уважаемый человек. Может, правда, нельзя разные времена сравнивать? И мы с тобой ладно эти годы жили. Ничего не скажу. <...>

Натаалья. Завтра, после совещания, заеду в общежитие, к Ленке.

Косых. Зачем?

Натаалья. Когда мать и дочь долго не видят друг друга, отчего бы им не по-видаться? Везу ей рыбку свеженькую. Так и отливает синевой. Довольная будет дочка. И подружки её будут довольные.

Косых. Где рыбку брала?

Натаалья. В бригаде Поповых.

Косых. Где она? Рыбка?

Натаалья. На кухне.

Косых. Что-то на правду похоже. А может, ты к Ленке едешь, чтоб снова её с собой к Перфильеву забрать? Не тронь Ленку! На этот раз уж не выйдет. Ленку не отдам. Ни за что этому не бывать!

Натаалья. Были и остаёмся обе с тобой, Ганя.

Косых. Вон как?! Ну что ж, если так?!

Натаалья. Молодцы Поповы. Взяли при мне замет центнеров на двадцать, не меньше. Подошла мотня, а в ней рыбка, как серебро расплавленное.

Телефонный звонок.

Косых. Опять телефон. Чем на этот раз век технического прогресса нас обрадует?

Натаалья (*взяла трубку*). Слушаю. Да... я. Кто?! Егор? <...> Я дома, дома, Егор. Да. Конечно, конечно... Что? Хорошо, хорошо... (*Положила трубку*.)

Косых. Ну как? Здорово? Что теперь в своё оправдание скажешь? Какие слова подберёшь? Какие художественные факты?

Натаалья. Это он. Он!

Косых. Хоть в этом призналась. Уже достижение.

Натаалья. Что? Да... Сделать я хотела что-то и не вспомню никак... Заговорил ты тут меня... <...>

Косых. А не боишься ли, Натаалья, что твоему законному мужу это надоест? В какую-то лихую минуту? Беда тогда, Натаалья.

Натаалья. Не пугай.

Косых. Храбришься, Наталья. Гордость. А вот появится Егор Перфильев, и ты точно так же, как я сейчас, согнёшься перед ним. Что? Не так? Ты скажи. Не так?

Наталья. Так...

Косых. То-то и оно.

Наталья. Это верно, верно, что я всегда теряла с ним саму себя.

Косых. Оба мы рыбаки, Наталья. Сызмальства. Потомственные. Сколько раз нас с тобой, в том же колонном лове, волна с ног сшибала?! Ничего. Выдюживали. А тут сил больше нет. Ну, что ты такое для меня? Или он для тебя? Егор Перфильев? Как магнит и железные стружки, что ли? Тянет их, бедных, к магниту. И они летят. Хотят. Не хотят. Нравится им, не нравится... Какой бы ни был этот магнит. Хороший. Нехороший. Подлец. Вор. Всё равно летят.

Наталья. Бывает по-всякому. Ты прав. Но я не полетела бы ни за что, если б, скажем, вор или подлец. Егор всегда был личностью.

Косых. Даже когда тебя бросил?

Наталья. Совсем это другие дела.

Косых. Какие другие? Всё ведь от него стерпишь, Наталья. Всё простишь. Так же, как и я с тобой.

Наталья. Егор умный и честный. И видит широко жизнь. Шагает по ней широко. С пользой для других. Рыбозавод поднял. Для людей он живёт.

Косых. Орёл! Я же говорю.

Наталья. И бригадиром был знаменитым.

Косых. Как же, как же?! У орла широкий полет. *(Порывисто обнимает Наталью.)* Наталья!

Наталья. Не тронь! *(Вырвалась.)* Уходи! Нет! Не уходи! Нет! Уходи! Чего стал? Уходи же.

Косых. Вон уже как?

Наталья. Так, так. *(Идёт к двери.)*

Косых. Куда ты?

Наталья. Переодеться. Я иду переодеться. Понял?

Косых. Стой! *(Бросился к двери, загородил её.)* Не выпущу.

Наталья. Знаешь отлично, что выпустишь.

Косых. Выпущу, выпущу, Наталья. Конечно, выпущу. Но ты только пойми, Наталья. Что хочешь. На колени перед тобой встану. Хочешь, встану?

Наталья. Не хочу.

Косых. Наталья...

В окно слышен крик Перфильева: «Есть кто в избе?»

Наталья *(бросилась к окну)*. Здесь, здесь я, Егор. Входи, Егор. Прямо дверь. *(Растерянно оглядывает комнату.)* Беспорядок-то. Нехорошо как. *(Идёт по комнате, быстро подбирая разбросанные вещи.)* Ох, нехорошо.

Косых. Последнее слово, Наталья. Если не ради меня, то ради Ленки. Ради себя. Ради правды. Должна же она быть на свете?! Правда, черт её поберёт!?

Наталья. Погляди, что наделал?.. Наследил сапожищами. <...>

Входит Перфильев. Он в новом красивом костюме и в шляпе.

Перфильев *(не замечая Косых)*. Привет рыбачке!

Наталья. Привет, Егор, привет.

Перфильев. Ты ли это, рыбачка? Та самая?

Наталя (отступает). Да, это я, Егор, я...

Перфильев. Куда же пятится от меня та самая?

Наталя (остановилась). Нет, ничего.

Перфильев. А почему встречает меня та самая в спецовке, а не в лучшем платье? Я надел мои лучший костюм.

Косых. Костюм века. Сразу видно.

Перфильев. А! Оказывается, и муженёк Ганя присутствует на приёме?

Косых. И он переодеться не успел. Вот неприятность... <...>

Перфильев. Пусть показывается и рыbachка со всех точек. Какой стала за отчётный период. Смотр так смотр.

Косых. И меня посмотреть не забудь, Егор. Зубы особенно. Когда лошадей смотрят, зубы им в первую очередь.

Перфильев. Вот муженёк Ганя за отчётный период определённо поразговорчивей стал. <...>

Косых. Такая байка: один рыбак сидел на бережку и удил. Но не рыбку. Чужую жену. Перфильев. Поймал?

Косых. Муж, подлюга, тут же оказался. Взял и трахнул рыбака по кумполу.

Перфильев. А мораль у байки какая?

Косых. Неужели не понял? Яснее ясного. Подписывайтесь, граждане, на газеты и журналы.

Перфильев. А мы вот чем ответим муженьку Гане: возьмём и скажем его законной жене, рыbachке: неплохой она, в целом, ландшафт.

Косых. Все бабы у тебя — ландшафт?

Перфильев. Вот грубых баек я не люблю.

Косых. Да что ты?! А я и не знал. Вот обида.

Перфильев. Так и договоримся. А рыbachке мы ещё вот что добавим: за отчётный период она, конечно, подрастеряла свою буйную молодость, но кое-что новенькое наметилось. Когда лето на осень поворачивает, тайга всегда цветистее и красивее становится.

Косых. Ох, молодец. Какой же молодец! Умеешь бабам головы задуривать. Мастер! <...>

Наталя. Садись, садись, Егор. Вот сюда. Удобно тебе тут будет. Я сейчас соберу ужин.

Перфильев. Не хлопочи, рыbachка. Подзаправился я перед отъездом, в нашей закуской. <...>

Косых. Такой вопрос: почему в закуской питаешься? Жену дома имея? Красивую, как утверждают?

Перфильев. Снова я на холостяцком ходу.

Косых. И её выгнал? И Наталью тогда выгнал, а теперь её? Ты что же? Всех жён выгоняешь?

Перфильев. С Натальей мы разошлись по-хорошему. <...>

Косых. Значит, жену побоку? И на холостом ходу к моей жене приехал? Подъезжаешь, вернее?

Перфильев. Неплохую мыслишку мне подают.

Косых. Пожалуйста. Бери жену. Забирай. С дочкой хочешь? Как в первый раз? Или соло? <...>

Перфильев. Давай-ка, Наташка, побеседуем мы с тобой где-нибудь на нейтральной почве. В саду, что ли?

Косых. Хоть ты и гость, и в моем доме находишься, и я обязан тебя уважать, но...

Наталья (*перебивает его*). Ганя, помолчи. Дай с человеком поговорить... Я тебя слушаю, Егор.

Перфильев. Сейчас на всем побережье буря. Если уж на то пошло. Лютая буря. В колхозах, на рыбозаводах, на самом маленьком производстве, на складе, на пристани — везде, где только с рыбкой связано. Жизнь или смерть — вот что такое буря. Дальнейшая судьба... Приходит учёный в очках или без них, с бородой или без неё...

Косых. В очках и с бородой солиднее.

Телефонный звонок.

Наталья (*берет трубку*). Слушаю... Привет, привет... Ну да... Да... Вот вы наша колхозная интеллигенция и, конечно, понимаете, что уровень культуры постоянно и во всех направлениях должен повышаться. Купить и вывесить две-три картины, назвать их колхозной Третьяковкой — не решает проблемы... Что?.. Пожалуйста, будем ещё разговаривать, сколько понадобится, столько и будем. Есть. Пока. (*Вешает трубку*.)

Перфильев. Так вот я говорил, что приходит учёный и объявляет: с рыбкой всё, граждане. Облизнитесь. Вот так. Проще простого. Как будто для нас вопрос рыбки — это, скажем, сыграл партию в шахматы или не сыграл.

Косых. Яркий пример. Ничего не скажешь.

Перфильев. Между прочим, самый крупный колхоз на правобережье и на левобережье — ваш. И у вас головка больше других болеть должна.

Косых. Она у нас болит, головка. То гость какой придет, то ещё что.

Перфильев. Да ну тебя совсем! Наташка!

Наталья. Да? Я здесь.

Перфильев. Похоже, не слушаешь меня.

Наталья. Слушаю, слушаю, Егор. Очень внимательно слушаю. Говорил о буре. О том, что решается судьба... <...>

Перфильев. Беспроигрышная лотерея у учёных. Придумают они теорию о запрете рыбного лова, например, — и ничего им, кроме выгод. Возвеличат их теорию, посыпятся на них звания и награды, а вот как быть тому, кто попадает под их теорию? Громаде людей? У каждого из нас своя жизнь, своя мечта, своя борозда в море, от отцов и дедов завещанная.

Косых. Наталья! Он против запретов лова! Яснее ясного. Он тебя уговаривать будет против запретов выступить. Не поддавайся, Наталья. Поберегись! Председатель колхоза только по-государственному обязан думать. Иначе конец председателю. <...>

Перфильев. Брось разводить панику!

Косых. Он за твою спину хочет спрятаться, Наталья...

Перфильев. Муженёк занимается провокациями.

Косых. И ещё рот заткнуть хочешь? Не позволю тебе погубить Наталью.

Перфильев. Дите она малое или председатель колхоза и депутат?

Косых. Она робеет перед тобой. Как прежде. Депутат не депутат. А ты её возьмишь и погубишь со своим шкурничеством.

Перфильев. Кто шкурник?

Косых. Я тебя теперь абсолютно насквозь вижу, Егор. Наши колхозы ловят знаменитые и ценные рыбы породы, а ты на своём рыбозаводе производишь из них знаменитые деликатесы. И нашим колхозам миллионные прибыли идут и твоему рыбозаводу такие же. А награды? А почести? А слава на всю страну?

А тут — на тебе. Конец блаженству. Колхозы на ловлю бычка перейдут, а твоему рыбозаводу из него кормовую муку делать придётся. Совсем не те доходы, милоч. И слава не та! Бычок, он что? Мелочь рыбка. Не исключено, что государству нам помогать придётся.

Перфильев. Чем же я шкурник? Строю себе дома? Или складываю в кубышку сворованное золотишко?

Косых. Вопрос об общей пользе стоит.

Перфильев. Где она — общая польза? На таком году советской власти станем нахлебниками у государства? Это твоя общая польза?

Косых. Лады. Допустим, мы учёных шуганули. Всеми колхозами проголосовали. Под твою дирижёрскую палочку. Нашу знаменитую и богатую жизнь продолжили. Что тогда? Через какое-то там количество лет? Как учёные предсказывают, мы же всю нашу знаменитую промысловую рыбку из моря вычерпаем. Дырка в море вместо рыбки будет. Тогда куда людям податься?

Перфильев. Тогда и надо глядеть.

Косых. На что тогда глядеть? На дырку в море? Большой толк от этого.

Перфильев. Понял я, что ты за штучка. <...> Ты из тех типов, которые кричат «ура» даже на похоронах.

Косых. А ты не кричишь?

Перфильев. Уважаю я себя.

Косых. Кричишь. Ещё как! Орёшь, можно сказать. А ведь люди через сколько-то лет напрочь без рыбки останутся. И без перспектив на неё. Вот тебе и шкурничество что такое.

Перфильев. Так нельзя жить. И рассуждать так нельзя. Придумают что-то за это время учёные. Обязательно придумают. Космически движется вперёд наша наука. <...>

Косых. Берегись его, Наталья. Ох как. Он что же делает? Он как будто добра нам всем желает, а на поверку маскировка.

Перфильев. Желаю всем добра, и себе тоже. Что я? Не человек? Не имею права на добро?

Косых. Нельзя, чтоб твоё добро другим людям злом оборачивалось.

Перфильев. Знаешь что?

Косых. Пока нет.

Перфильев. Иди ты куда подальше со своими теориями. <...>

Косых. Я тебе объяснить хочу, что мне тоже жаль отдавать наш сегодняшний день. Ох, как жаль. Но я его отдаю. А ты не хочешь.

Перфильев. Прав-то я, а не ты.

Косых. Как же тогда солдат, который в бой идёт? Ему разве не жаль жизнь отдавать за тех, кто после него останется? Жаль. Ещё как жаль. До слез. До ужаса. Но он идёт. И отдаёт жизнь.

Перфильев. Ты мне ещё Расскажи про борьбу с царизмом большевиков-подпольщиков! Или про то, как первые пятилетки строили? Или колхозы?!

Косых. Всё правильно.

Перфильев. А знаешь ты или нет, что такое частный случай?

Косых. Никаких частных случаев нет.

Перфильев. Что наша проблема в объёме всей страны? Капля в море. <...>

Косых. Не начальник я, конечно. Рыбак просто. Вон сидит начальник. Она тебе и должна отпор выдать. Полный. Обязана. Перед людьми.

Перфильев. Не задуривай ей голову. <...> Так что же, Наташка?! Или прекрати безобразие и поговори, или уйду я.

Косых. Вот бы лучше всего.

Перфильев. Так что же, Наташка?

Наталя. Нет, нет, Егор. Не уходи, не надо. <...> Извини, Ганя, но дай поговорить нам. <...>

Косых. Оставить? Одних? Третий лишний? Как же, как же... Вот так да! Что ж... Не буду вам мешать. Нехорошо другим мешать... Невежливо... Уйду и буду сидеть где-нибудь в уголке. И ждать буду, когда меня кликнут, свистнут, разрешат. Допустят! Ну и черт с вами! С обоими! Всему предел есть. Даже моему терпению. Пусть, пусть он тебя уговаривает, Наталя. На шкурничество толкает. Губит. А с меня хватит. На брюхе перед тобой ползал. Ан нет! Всё нет! И не для себя только. Для Ленки. Для семьи. Зря, зря всё! Какой толк с рваной сетью удить?.. Да и мне пора человеком стать. Не всё же в дурачках жить. Когда-то и дурачок становится человеком. *(Вышел.)*

Перфильев. Сильная сцена. А ведь правда ушёл муженёк Ганя. Ганя-Гавриил. *(Смотрит в окно.)* <...> Не ожидал от него, честно говоря. Может, он правда стал человеком? Самое трудное — это уйти... И знаешь, рад я за Ганю. <...>

Наталя. Ты хотел со мной серьёзно поговорить. Я жду, Егор.

Перфильев. Ехал к тебе, Наташка, и не сомневался, что у тебя здравый смысл в порядке. Смешно, если бы было иначе. Не могли же тебя выбрать председателем и депутатом без здравого смысла? Секрет победы, Наташка, заключается в том, чтоб первый натиск выдержать. Потом потеряет инерцию вопрос, а потом вступят в борьбу другие заинтересованные лица. По гладкой дорожке, Наташка, всегда легче пройти, чем по целине. Особенно если протаптывает её известный председатель колхоза и депутат. Что? Неправильно я прогнозирую ходы?

Наталя. Да, да... Прогнозируешь ты ходы...

Перфильев. Видишь, как мы с тобой сразу договорились. Раз — и всё. *(Пауза.)* Что ж ты молчишь?

Наталя. Нет, я не молчу...

Перфильев. Так-то, Наташка.

Наталя. Да... Так-то...

Перфильев. Вот подплывал я на моем катерке к этим берегам, и, как увидел дальние скалы, где мы с тобой встречались, точно меня тёплой волной захлестнуло. И в горле ком. Пёс его знает! Помнишь, как мы на дальних скалах встречались? Как-то вот, Наташка, не вышло, не сыгралось моё личное счастье. Вроде всё намечалось правильно. <...>

Наталя. Не надо, Егор...

Перфильев. А может быть, надо? Может быть, ещё что-то поправить можно? Склеить? Уходит ведь наше время, Наташка. И в этом уходит. Схватить, что ли, счастье за хвост, если оно правда есть на свете, а не одна только сказка про счастье есть?

Наталя. Хватит, Егор. Прошу тебя. Иначе не смогу поговорить с тобой и сказать всё, что требуется сказать о деле.

Перфильев. Какие ещё дела? Договорились же мы.

Наталя. Нет, Егор.

Перфильев. Обалдела, Наташка?!

Наталя. Нет.

Перфильев. Мы же вот-вот. Или поддалась тому, о чем здесь бредил Ганька?

Наталя. Он не бредил.

Перфильев. Не сходи с ума!

Наталя. Ты пойми, Егор, нам всем ведь тяжело. Нехорошо нам, Егор. Вот

вчера мы всем правлением просидели всю ночь до зорьки. И так гадали. И эдак. Ну, никак, ничего не получается. Можно, конечно, и побороться и выиграть кое-чего, — может быть, многое можно выиграть, нас будут слушать, считаться с нами будут. Но Ганя прав. Совесть-то наша остаётся. <...>

Перфильев. Дура! Ты дура! Я-то думал, поумнела маленько! С тех времён?! Кто, какой слепой тебя выдвинул в председатели и депутаты? Вот уж не знал, а то бы обязательно дал тебе отвод. Общественно сделал бы. Вот и ревёшь уже, как тогда?!

Наталя. Пройдёт сейчас. <...>

Перфильев. Нет, не годимся мы больше, наше поколение. Устарели мы! Куда там?! Ревём, хнычем, за совесть по всякому частному случаю хватаемся.

Наталя. А у нас в правлении есть и молодые. Тоже просидели всю ноченьку чуть не плача.

Перфильев. Надо жить вольно и шагать широко.

Наталя. Широко?

Перфильев. Что? Не так?

Наталя. Говорили мы сегодня с Ганей, и я сама сказала, что ты широко шагаешь по жизни.

Перфильев. Мы — мещане!.. Вот мы кто! Где нам шагать широко, когда мы топчемся, семеним, круги кружим?! Мещанские наши представления. Вон какое меткое словечко. Снайперское. Всем нам под стать.

Наталя. Неправ ты, Егор.

Перфильев. Ну и пропадайте вы все пропадом, сколько вас есть. Разоряйтесь, терпите беду, а когда вам придётся особенно трудно, вспомните, что у вас было всё, роскошная, первая жизнь была, но вы сами, собственными руками, её упустили. И прощай на этом.

Наталя (*встрепенулась*). Егор!

Перфильев. Наташка! (*Бросился к ней.*)

Наталя. Нет... Не надо... Не тронь меня... Всё равно не выйдет у нас с тобой ничего, Егор. Я могу сейчас не сдержаться... Трудно мне сейчас сдерживаться. А потом всё равно сорвётся, Егор. <...>

Перфильев. Замолчи! <...>

Наталя. И ещё я поняла сегодня: какая же была тяжёлая жизнь у Гани. Выдерживал столько лет страх потерять меня, семью. И Ленка...

Перфильев. С Ленкой я неплохо соседствовал. Талант её скрипичный приветствовал.

Наталя. Даже не спросил о ней.

Перфильев. Разве? Забыл просто-напросто с этими вот делами. Ну, а насчёт Гани, тут у тебя опять чистый проигрыш. Ушёл Ганя и не вернётся.

Наталя. Вернётся он.

Перфильев. Сказал же я, что он как раз стал человеком. И я вот уйду, Наташка, и останешься ты одна-одинёшенька.

Наталя. Придёт, придёт Ганя. Твёрдо знаю, что всегда со мной рядом он.

Перфильев (*смеётся*). Где он рядом? (*Повернулся к окну.*) Пустой горизонт. Посмотри сама... Что это?! Это — он! Вон он сидит там, Ганька, на завалинке. Черт! Вернулся!

Наталя. Знала я.

Перфильев. Остался тряпкой, а я думал, человек родился. Не смог уйти, не по силёнкам оказалась задачка.

Наталя. Иногда остаться труднее, чем уйти.

Перфильев. Врёшь!

Наталья. И это я поняла.

Перфильев. Значит, получается, что не я — орёл, а он орёл?! Ворона в роли орла! Нигде, ни в каком цирке не видел такого весёлого аттракциона! Смотрите, граждане! Смейтесь. Хохочите, граждане! Ворона в роли орла! *(Пауза.)* Вот и всё. Кончилось представление, и участники расходятся по домам. Постой-ка, Наташка! Слушай! А вдруг уйду я и мы ошибаемся снова? Непоправимо на этот раз ошибаемся?!

Наталья. Не говори так... Уйди... Я прошу... Скорее!.. <...>

Перфильев. Ты что?! Да ты что?! За кого меня принимаешь? Что я? Против советской власти, что ли? Вопрос дискуссионно ставится, обсуждается вопрос, разные мнения есть, не директива же?! Да, совесть у каждого должна быть. А вот она такая, моя совесть. Да вы что? Сдурели оба?! И ты, и Ганя? Ну, пойми ты! Не со зла же я. Не себе одному добра желаю. Всем вам. И потому я прав, прав! Наука за это время что-то придумает с воспроизводством рыбы, обязательно придумает. Что-то энергичное, а без риска никакой игры не бывает. Нет, я не так сказал, не игры, а жизни не бывает. Игра тут, конечно, ни при чем... Ух ты! Черт знает, как замотали. *(Вытирается платком.)* Наташка! Уйду ведь я и не оглянусь. Да ну вас всех к черту! *(Выбегает.)*

Большая пауза. Наталья неподвижно сидит. Вбегает Косых, останавливается в дверях.

Косых. Наталья...

Наталья. Да, Ганя.

Косых. Он ушёл!.. Он совсем ушёл... Он сам мне сказал. Он сказал... <...>

Наталья. Тишь-то какая.

Косых. Что? Ну да... Тишь... Конечно, тишь! Ясно, тишь!.. <...>

Наталья. Что это ты, Ганя?

Косых. А что?

Наталья. Никак, серебро в волосах замелькало?

Косых. Где? А в общем-то куда денешься? От него? От серебра?

Наталья. Серебро... *(Проводит рукой по его волосам.)*

Косых. Наталья! Жизнь ты моя, Наталья!

Наталья. А тишь-то какая в море!.. И рябь. Едва-едва... <...>

Занавес

Константин Сегых

Масленая в Мунгаловском

Глава из романа «Даурия»

Масленую в Мунгаловском праздновали весело. Все три дня с утра и до позднего вечера на чисто выметенных улицах неумолкаемо шумел народ. Звонко наигрывали на морозе гармошки, скрипели полозья, далеко разносились смех и говор. Ребятишки в отцовских папахах и башлыках скакали на необъезженных жеребятках, слетались на площади у церкви «улица на улицу» и яростно рубились вместо шашек таловыми прутьями. Старики беззлобно поругивали их, не для острастки, а больше для очистки собственной совести, и втайне любовались жестокими их забавами, расхваливая про себя наиболее увёртливых и смелых. Разодетые парни катали девок из края в край посёлка на тройках с лентами и колокольцами. К полуденному обогреву, когда с дымящихся крыш падала на завалинки первая капель и глуше похрустывал под ногами приталый снег, на тракте за поскотиной устраивались конские скачки, на которых отчаянные любители спускали всё до нитки.

А в последний день масленицы, в прощёное воскресенье, собирались мунгаловцы на обширной луговине, у Драгоценки, посмотреть на лихую осаду снежного городка, где показывали все желающие свою ловкость и удаль. Городок начинали строить задолго до масленой. Строили его добровольцы из ребятишек и парней. Много вечеров проводили они там, возводя из снежных глыб зубчатые стены и башни. Накануне праздника приходили к ним на помощь девки с ведрами на коромыслах. На Драгоценке спешно выдавливали прорубь. Оглашая прибрежные кусты смехом и бойкой песней, принимались девки носить из проруби воду и поливать городок, чтобы заledenели и сделались неприступными его сажённые стены. Перед самым началом осады приезжал к городку поселковый атаман с бородатой, заметно важничавшей свитой, выбиравшейся для этого случая на сходке из наиболее уважаемых стариков. Они привозили с собой трехцветный флаг на гибком и лёгком бамбуковом древке. Самый старейший из свиты, кряхтя, слезал с коня и водружал флаг на маленькой площадке в центре городка.

Этот флаг и старался захватить каждый из участников осады, пробиться с ним к располагавшемуся поодаль, на бугре, атаману, выслушать стариковские похвалы и получить потом богатый приз — каракулеву папаху с алым верхом

Сегых Константин Фёдорович, прозаик, поэт (1908, пос. Поперечный Зерентуй Нерчинско-Заводского р-на Читинской обл. — 1979, Иркутск). Автор многих книг, в т. ч. сб. стихов: *Стихи* (М.; Иркутск, 1933), *Родная степь* (Иркутск, 1937), *Первая любовь* (Иркутск, 1945), *Над степью солнце* (Новосибирск, 1948), *Солнечный край* (Чита, 1950), *Степные маки* (Иркутск, 1969: *Сибирская лира*); романов *Даурия* (Иркутск, 1942), *Отчий край* (Иркутск, 1960) и др. Лауреат Государственной премии (1950). Почётный гражданин г. Иркутска. Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

и лакированные сапоги, на покупку которых ежегодно устраивалась общественная складчина. Но нелегко было завоевать тот флаг. В городок вели трое узких ворот, в каждом из них смельчака встречали тучей снежков ребяташки и девки, сбивали с коней пудовыми глыбами казаки, занимавшие ради этого стены вдоль извилистых, тесных проходов. Редкому из нападающих удавалось прорваться к флагу, схватить его. Но ещё труднее было выбраться с флагом обратно и отбиться от тех, кто дожидался смельчака за воротами, чтобы отнять у него дорогую добычу. Вот почему только немногие решались на это испокон веков заведённое состязание в силе и молодечестве, где всё зависело не только от всадника, но и от его коня.

С малых лет любил Роман эту праздничную потеху и за неё одну считал масленую самым весёлым праздником. В осаде городка Роман ещё не участвовал ни разу, но уже несколько зим был одним из самых неутомимых строителей и защитников городка. Как защитник, он был на отличном счёту. Ещё в позапрошлом году ухитрился он сбить с коня метко брошенной глыбой снега не однократного победителя в состязаниях Платона Волокитина, первого силача в посёлке. Долго тогда об этом судили и рядили мунгаловцы. Много раз доводили они Платона до белого каления сожалениями и расспросами, как это опозорил его у всех на виду не равный ему по силе казачина, а безусый молодкосос. При каждой встрече выговаривал за это Платон Роману и хотя в шутку, но обещал отомстить ему при удобном случае.

Знал Роман, что был бы он далеко не последним среди отчаянных всадников, нападавших на городок, но не смел и заикнуться в своей семье, что ему пора попытаться завоевать почётный приз, он боялся насмешек отца и деда. В этом году ему совсем неожиданно помог Герасим Косых.

Герасим, проводивший осенью брата Тимофея на действительную службу, приходил к Улыбиным чуть не каждый вечер и просиживал в жарко натопленной кухне до поздней ночи, коротая время в неторопливых, обстоятельных разговорах. В один из таких вечеров Герасим, ездивший днём на базар в Нерчинский завод, сообщил Андрею Григорьевичу и Северьяну, что своими глазами видел, как покупал Елисей Каргин сапоги и папаху на приз. У Романа при его словах сразу загорелись глаза. От Герасима это не ускользнуло, и он, посмеиваясь, спросил, не думает ли Роман нынче попробовать отвоевать приз.

— А на каком коне пробовать-то? На наших не напробуешь, — угрюмо ответил Роман.

Северьян терпеть не мог, когда при нем хулили что-либо в его хозяйстве. Он напустился на Романа:

— А чем тебе Гнедой не конь! Ты не смотри, что он тяжёл на ногу, он зато ничего не боится. Его снежками с дороги не своротишь, ежели седок на нем будет добрый... Только вот за тебя я не ручаюсь: усидишь ли? — подзадорил он сына.

Задетый за живое, Роман сказал:

— Усiju, не беспокойся.

— Усидит, — подтвердил Герасим и обратился к Андрею Григорьевичу. — А ты, отец, как думаешь?

Андрей Григорьевич погладил бороду, приосанился:

— Ежели в меня Ромаха, то усидит. Я в свою пору эти призы не раз брал.

— Тогда в чем же дело? Пусть снаряжается, — согласился Северьян.

После этого вечера принялся Роман готовиться к масленой, заботливо выхаживать Гнедого. Каждое утро кормил он его отборным овсом, водил проминать за поскотину. В ясные дни обливал его тёплой водой и, накрыв попоной, ставил

на выстойку на ветер. И через две недели толстобрюхий, толстоногий Гнедой сделался стройным, подбористым конём, на котором можно было хоть сейчас идти на службу. Андрей Григорьевич помогал Роману советами и частенько поругивал, если он что-нибудь делал не так, как следует. А Северьян тем временем постарался исправить своё форменное седло. Он переменил у седла заднюю подпругу, перевязал стремена, прошил ремешками нагрудник и набил коровьей шерстью седельную подушку. Не поленился он сшить Гнедому из белой сыромятной кожи и новую уздечку, украсить её медными кольцами и бляхами. Хотелось ему, чтобы выглядел под его сыном Гнедой, как следует выглядеть доброму казачьему коню.

Однажды, выехав проминать Гнедого, Роман повстречал на дороге возвращавшегося с дровами Семена Забережного.

— Ты, паря, не на службу ли собрался? — спросил его Семён. — С чего это коня проминать вздумал?

— Скоро масленая.

— Вон ты куда метишь! Ну-ну, попробуй, авось и оттяпашь приз. Дружков-то себе на подмогу много подговорил?

— На какую подмогу?

— Вот тебе раз! Да ты что, вчера родился? Неужели ты думаешь один на осаду ехать?

Роман поспешил сознаться, что так оно и есть.

Тогда Семён сказал Роману, что не видать ему приза, как своих ушей.

— Ну, это мы ещё посмотрим! — задорно возразил Роман.

— И смотреть нечего... Ты думаешь, в прошлом году Петрован Тонких в одиночку работал? Черта с два! Знаю я их, верховских-то, — человек десять, не меньше, помогали Петровану.

— Да ведь это же не по правилу!

Тогда Семён сказал Роману, что на правила верховские плюют. Они знают, что в одиночку приза не завоеуешь, а поэтому заранее сговариваются действовать сообща. И действуют очень хитро. Только доберётся до флага один из ихней компании, как они стараются окружить его тесным кольцом. Со стороны глядеть — они флаг у него как будто стараются отнять, а на самом деле заслоняют его от тех, кто не в сговоре с ними. Только так и завоевывают они приз четвёртый год подряд.

Семён посоветовал Роману сколотить крепкую компанию из низовских казаков и действовать всем вместе. Он снял рукавицы и, загибая на левой руке пальцы, начал перечислять тех, кого следовало бы привлечь в компанию. Насчитал он четырнадцать человек.

— Вот таким манером ты утрёшь верховским нос. А иначе нечего и хлопотать напрасно, — закончил Семён.

Отъехав от него, Роман решил, что раз верховские мошенничают, то не стоит и состязаться с ними, пусть забирают себе и нынешний приз. Но скоро переменил своё решение и сказал, что он не он будет, если не удастся ему нынче перехитрить верховских. Вернувшись домой, Роман отправился к Герасиму, переговорил с ним, а потом пошёл по своим друзьям и в тот же вечер заручился согласием двенадцати человек. На завтра он снова встретил Семена, и тот похвалил его:

— Молодчина! Давно богачей осадить надо. Не одним им казаковать. Я сам с вами поеду, раз такое дело. Поднесём мы им пилюлю.

Когда наступил долгожданный прощённый день, Роман поднялся с постели задолго до света. Ещё не успело выкатиться из-за сопки солнце, а у него конь уже

был давно накормлен и напоен тёплой водой, приготовлено всё необходимое. Сводив коня на короткую проминку, он привязал его к столбу на выстойку, а сам, чтобы как-нибудь скоротать медленно тянувшееся время, принялся в радостном возбуждении разметать в ограде перепавший за ночь снежок. Работая, он то и дело поглядывал на ясное, заметно пригревающее солнце и не раз мысленно просил его поторопиться.

С улыбинского крыльца был хорошо виден на приречной луговине снежный город. Политые с вечера водой, стены и башни городка сверкали на солнце. Роман часто подымался на крыльцо поглядеть, не собирается ли там народ, не развевается ли уже над зубчатыми стенами флаг. Но всё ещё было рано, и там только мелькали забегавшие туда из улиц собаки.

За долгим и обильным праздничным обедом отец поднёс Роману стакан водки и пошутил:

— Ну-ка, брат, хлопни для храбрости. Глядишь, и на коне крепче сидеть будешь.

Роман выпил, и у него приятно зашумело в голове, стало клонить ко сну. Не желая поддаться дремоте, он сразу же после обеда вышел на улицу. Взглянул из-под руки на городок, на стоявшее ещё высоко солнце и решил пойти к Данилке Мирсанову. Данилку он нашёл во дворе. Тот готовился заседлать коня.

— Куда собираешься? — спросил он его.

— Надо же хоть раз по улице проехать, на народ посмотреть.

— Тогда подожди меня, вместе поедем.

Роман побежал седлать Гнедого.

Немного спустя они ехали с Данилкой по улице к церкви, помахивая нагайками и поглядывая по сторонам. В улице было полно народу. С бугра за церковью катались на больших санях девки.словно огромный букет жёлтых, красных и белых цветов, сверкали их полушалки, когда они падали с криками и смехом в сани. Под бугром, у ключа, дымилась наледь. Белый пар подымался в ясное небо. На Драгоценке весело синел тальник, и дальние сопки сияли на солнце, как сахарные головы.

Едва Роман очутился на улице, как праздничное настроение захватило его. Захотелось ему скакать на коне в снежную светлую даль, громко и упоённо петь. Он ударил Гнедого нагайкой и понёсся в галоп по улице, крикнув Данилке:

— Не отставай!

Проскакав по улице из края в край, они заехали на обратном пути к Семёну Забережному. Туда же скоро стали съезжаться все, кто решил на этот раз бороться с верховскими за приз. Собрались все четырнадцать человек. У Герасима оказалась с собой бутылка водки. Он попросил у Семёна стаканчик и стал всех угощать. Едва была опорожнена бутылка, как с улицы донеслись голоса ребятишек:

— Поехали!.. Поехали!..

Все заторопились из избы. Каждый знал, что атаман со свитой, наконец, отправился к городку. Оживлённо переговариваясь, быстро отвязывали коней и вскакивали в сёдла.

Только выехали из ограды и построились по трое в ряд, как Семён, поднявшись на седле, предложил:

— Споем, что ли? Пусть богачи узнают, что мы не хуже их петь умеем, — и он затянул сильным, немного хриплым голосом:

Из-за лесу, лесу копий и мечей,
Едет сотня казаков-усачей...

И все остальные подхватили:

Впереди их есаул молодой,
Ведёт сотню удалую за собой...

На въезде в проулок, ведущий к Драгоценке, встретились с верховскими. Их было человек тридцать. Ехали они двумя группами. Впереди одной был Платон Волокитин в косматой чёрной папахе. И тем и другим хотелось первыми попасть в проулок. Не желая уступать друг другу, они резанули коней нагайками и понеслись налётом, ломая строй. Первой влетела в проулок группа Платона. Повернувшись в седле, он крикнул низовским:

— Жидки ваши коняги! За нашими им не угнаться.

— Посмотрим! — запальчиво ответил ему Семён, сдерживая коня.

В это время хотел проскользнуть в проулок Алёшка Чепалов со своими. Но Семён осадил его, рывкнув во всё горло:

— Не лезь, вошь, вперёд таракана! — и замахнулся нагайкой.

Алёшка посторонился.

У городка подъезжавших казаков встречал Каргин, здоровался, скаля зубы в усмешке:

— Здорово, орлы!

— Здравия желаем! — охотно отвечали ему.

В воротах городка и на зубчатых стенах уже толпились, запасаясь снежками, ребятишки, парни и даже девки. Роман взглянул туда и невольно вздрогнул. Он увидел там Дашутку. Она стояла на стене с глыбой снега в руках и что-то кричала толпившимся внизу девкам и молодухам; на щеках её играл яркий, горячий румянец.

«Везде успеет!» — с беспричинным раздражением подумал про неё Роман и в то же время почувствовал, что сегодняшнее состязание приобрело для него особую, волнующую остроту. Нужно было постараться не ударить лицом в грязь.

Из посёлка торопливо бежали и ехали опоздавшие. Никула Лопатин, яростно настёгивая пегую кобылку, вёз в санях кучу подгулявших баб и всё время кричал:

— Посторонись, народ! Старух на свалку везу!

А какая-то баба, обняв его за ноги, пела:

Нынче новые права:
Бородатых на дрова,
С молодыми будем пить
И в обнимочку ходить.

Шестью группами выстроились нападающие. От каждой улицы было по группе, а от Царской две. Казаки поглубже нахлобучивали папахи, обматывали лица шарфами, чтобы хоть сколько-нибудь уберечь себя от снежков. Зрители отхлынули назад, раздвинулись вправо и влево. Горяча коня, Каргин выехал вперёд, окликнул защитников городка:

— Эй, в городе! Готовы?

— Готовы! — разом отозвались оттуда десятки голосов.

Каргин отъехал в сторону, на бугор. Роман видел, как Петрован Тонких подал Каргину дробовик. Каргин трижды махнул им над головой, призывая к вниманию. Роман потуже натянул рукавицы, подобрал поводья. Каргин поднял дробовик кверху. Раскатисто бухнул выстрел.

Свистя и гикая, казаки поскакали к городку. Из-под конских копыт полетели комья снега, глухо загудела мёрзлая земля. Рядом с Романом очутился Семён Забережный. Он крикнул Роману:

— Платона берегись! — и обогнал его, жёстко нахлестывая коня.

Первым у ворот городка очутился брат Елисея Каргина — Митька, и его же первого вышибли из седла удачно сброшенной со стены глыбой. Потеряв всадника, конь его, лягаясь задними ногами, помчался в посёлок. Следом за Митькой к городку подлетел низко пригнувшийся к луке седла Платон. Его осыпали тучей снежков. В одно мгновение стал он белым с головы до пяток, но по-прежнему настойчиво пробивался вперёд.

«Прорвётся, однако, черт», — с завистью подумал про него Роман и тут же невольно рассмеялся: кто-то так ловко смазал Платонова коня глыбой в морду, что конь встал на дыбы и круто повернул назад, не слушая поводыря. Тщетны были попытки и других, оказавшихся впереди Романа казаков. Они отпрянули назад, грозя кулаками весело хохотавшим защитникам. Громче всех смеялась Дашутка в полушалке, осыпанном алмазною снежною пылью.

— Держись! — крикнул тогда, не помня себя, Роман и пустил Гнедого прямо в проход, где на стене стояла Дашутка.

Навстречу ему полетели тяжёлые, заледеневшие снежки, нанося чувствительные удары сквозь папаху и полушубок. Но он не обращал на них внимания и старался, низко пригнувшись, укрыть только лицо. Гнедой вёл пока себя на славу. Он послушно нёсся вперёд, сердито всхрапывая от каждого попадавшего в него снежка. Стоявшие в проходе парни, запустив в Романа комьями снега, постыдились посторониться, боясь попасть под копыта Гнедого.

— Ага, трусили! — злорадно вскричал Роман, и в это же мгновение ему показалось, что на него свалилась целая гора: это скатила на него большую глыбу какая-то расторопная молодуха.

Глухо вскрикнув от боли, помчался он дальше:

— Врёшь, не сшибёшь!

Новая глыба, угодившая ему прямо в спину, заставила его замолчать. Он пошатнулся в седле. В ушах зазвучал долгий, тягучий звон, глаза застлало розовым дымом. Но, через силу тряхнув головой, он выпрямился, гикнул на Гнедого и полетел по проходу, крутя над головой нагайкой.

— Прорвался!.. Прорвался!.. — донеслись до него, как из-под земли, голоса, и они заставили его забыть про боль и звон в ушах.

По-прежнему крепко били его со всех сторон снежки, но он понял, что теперь доберётся до флага.

Внутри городка прорвался не один Роман, по другому проходу летели к флагу Платон и Алёшка. Однако Роман оказался у флага первым. Отбиваясь нагайкой от парней, хотевших сорвать его с коня, он левой рукой схватил древко флага и повернул назад. Платон кинулся ему наперерез, заставив всех защитников разбежаться по сторонам, но конь под ним споткнулся. И это спасло Романа. Налетевшего на него Алёшку он так толкнул в грудь, что тот чуть было не вылетел из седла, а сам поскакал по проходу назад, торжествуя победу. Алёшка не хотел уступить ему флаг. Пользуясь тем, что его конь был более подвижен, он догнал Романа, и они поскакали рядом, один нападая, другой отбиваясь. Оба они молчали и только тяжело и прерывисто дышали. А следом за ними, крича во всё горло, скакал Платон.

Увидев Алёшку и Романа, несущихся назад, Дашутка опешила. Они должны были проскакать мимо неё. В руках она держала поданную ей Агапкой глыбу.

Нужно было кинуть эту глыбу в того или другого. Но в кого? — вот о чём думала она в те короткие мгновения. Один был её мужем, а другой...

Вдруг Роман почувствовал, что Алёшка отстал. Едва Роман вылетел из городка, как его успели окружить Герасим, Семён и ещё несколько человек своих. Подымая коней на дыбы, свистя и гикая, защищали они Романа от нападавших со всех сторон верховских. Завязалась отчаянная потасовка. Люди хватали друг друга за тужурки и полушубки, стаскивали с сёдел, а кое-где уже награждали своих противников ядрёными тумаками; Семён Забережный, ухитрившийся ловким рывком сбросить с седла в снег Никифора Чепалова, громко ободрял своих:

— Держись, низ! Смелее!..

Но верховских было больше. Скоро они прорвали окружение и добрались до Романа. Сразу с двух сторон напали на него Назарка Размахнин и чепаловский работник Юда Дюков. Роман отчаянно отбивался от них, но вырваться не мог. Назарка уже схватился за древко, рвал флаг к себе и вырвал бы, если бы не подоспел на помощь Роману Герасим. Вёрткий и жилистый, бешено крутясь на седле, добрался он до Назарки, схватил его за руку и оторвал от Романа. Роман воспользовался этим и ринулся вперёд. Уже недалеко было до атамана, когда он почувствовал, как крепко схватили его сзади за воротник и сразу подняли над седлом. Не оглядываясь, он понял, что это настиг его Платон Волокитин.

«Пропало, всё пропало!» — подумал он с горечью и ожесточением.

И тут же увидел, что к ним приближается Семён Забережный. Тогда Роман, как ни жалко было ему расставаться с флагом, взял и кинул его, как пикку, навстречу Семёну. Семён в одно мгновение подхватил флаг на лету и помчался за бугор, к атаману. Одураченный Платон выругался, наградил Романа таким тумаком, что у него икры из глаз посыпались, и пустился догонять Семёна.

Но было уже поздно. Легко отбившись от Алёшки Чепалова, догнавшего было его, Семён подскакал к Каргину и передал ему в руки флаг.

Толпа приветствовала победителя буйными возгласами «ура» и долго кидала над головами шапки и рукавицы.

Роман, вытирая выступивший на лице пот, люто досадовал, что вынудил его Платон попуститься флагом. Как ни приятна была ему победа низовских, но всё же Роману жаль было, что не он, а Семён добрался с флагом до Каргина. Он слез с коня и стал водить его по луговине, не глядя ни на кого.

В это время к нему подъехал Данилка, спросил:

— Ты видел?

— Кого?

— Дашутку?

— Видел. А какое мне дело до неё.

— Тебе-то, может, и нет, да у неё зато есть. Ты знаешь, почему Алёшка от тебя отстал?

— Нет, — буркнул сердито Роман.

— То-то и оно, что нет... А ведь его Дашутка так смазала, когда вы мимо неё скакали, что у него папаха с головы слетела. Из-за этого он и отстал от тебя.

— Ты наговоришь, тебя только слушай!

— Да ей-богу же, не вру, правду говорю!

— Ну и ладно, отвяжись с ней от меня! — сказал Роман и стал садиться на коня.

А когда уселся, невольно стал искать глазами Дашутку, но её в толпе уже не было. Тогда он подумал про неё с теплотой и жалостью:

«Достанется ей от Алёшки, если он заметил, какую штуку она ему подстроила!»

С того дня и начали снова двоиться мысли Романа. Думал он то о Ленке, то о Дашутке. Но если о Ленке думать было приятно и радостно, то воспоминания о Дашутке были напитаны болью и горечью. И, не зная, зачем это делает, стал искать он встречи с Дашуткой.

Так он и дожил до новой весны.

Василий Стародумов

Выговор

Рассказ

— Фр-р-р-р-р...

Э то вспорхнул на самарском токарном станке новенький американский патрон с зажатой в нём тремя кулачками деталью. 306 оборотов в минуту — предельная скорость вращения шпинделя, которую Алексей Филонкин включил, чтобы зачистить изделие.

Никогда бы никто не подумал, взглянув на щуплую, невзрачную фигуру Филонкина, что это работник высокой квалификации, большого мастерства, токарь с восемнадцатилетним рабочим стажем по специальности.

Филонкин невзрачен с виду. Низкого роста, сутулый, а на одутловатом лице следы оспы, присутствие которых сам Филонкин шутливо объясняет так:

— Попал в драку... ну и... отколотили брюшиной...

Зная себе цену, Филонкин нигде и никогда не боялся сокращения штатов.

— Такие, как я, без работы не сидят, — гордо говорил он. И... памятуя мудрую пословицу — «рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше», — искал таких мест, «где лучше снабжают и больше платят». Много предприятий, депо, фабрик и заводов обошёл он за годы первой пятилетки, пока, наконец, не попал в механический цех авторемзавода, раскинувшегося на окраине его родного посёлка, куда он вернулся утомлённым от долгих исканий длинных рублей.

Здесь Филонкина знали все хорошо.

И заведующий мастерскими — немец Петерс, прежде чем отослать его в отдел кадров с визой на заявлении «принять в качестве токаря», сказал, испытующе глядя на поступавшего:

— Только ви... такой человек... Не уходить?..

— На этот раз — нет, — твёрдо сказал Филонкин, — точка.

И с хитрецей на корявом лице:

— Я ведь, собственно, и летал-то с места на место для того лишь, чтобы больше узнать, пополнить свой опыт и нахвататься разнообразий в работе. Мне казалось, что только так можно добиться полного совершенства в токарном деле: здесь одно схватить, там — другое. А на деле-то, оказывается, хороших результатов можно добиться, не летая, на одном месте. И даже лучших результатов. Вот.

Стародумов Василий Пантелеймонович, поэт и прозаик 1930-х гг., в дальнейшем более известный как сказочник (1908, Иркутск — 1996, Иркутск). Автор книг: *Ангарские бусы: сказки* (Иркутск, 1991); *Омулёвая бочка: Байкальские сказки* (Новосибирск, 1968); То же (Улан-Удэ, 1970); То же (Иркутск, 1979); *Байкала озера сказки* (Иркутск, 1988); *Омулёвая бочка: Байкальские сказки/ред.-сост. и предисл. Е. А. Суворов* (Иркутск: ж-л *Сибирячок*, 2007); *Берестяное лукошко: Байкальские сказки/ред.-сост. и предисл. Е. А. Суворов* (Иркутск: ж-л *Сибирячок*, 2007).

А совершенства этого самого, полного, оказывается, нельзя добиться, так как техника не стоит на месте, и с каждым днём приносит что-нибудь новое, что нужно схватывать на ходу. Каждый токарь учится своему делу до самой своей смерти. Да!

Филонкин был принят в механический цех, нуждавшийся в квалифицированной силе. И сразу занял почётное положение среди рабочих завода, как лучший специалист по сложным токарным работам. Это делало его гордым, высокомерным человеком. Небрежно покуривая папиросу с видом победителя, Филонкин стоял у станка.

— В работе надо быть битюгом или канатоходцем, — философствовал он в минуты откровения перед своими друзьями, — лошадь — сила слепая, балансер — сила техническая, ловкая.

И иронически улыбался, кося глазами на своего соседа слева — токаря Ваську Пятига. У этого дела обстояли несколько хуже. Ещё бы! Парень никаких специальных курсов не проходил, встал к станку самоучкой, постигал токарную азбуку между делом. И сдельно работать он начал совсем недавно — пятидневки две тому назад.

Потому и ремень у него часто слетает со шкива, и резец нет-нет да съест витвордовскую резьбу на детали. А то какая-нибудь ерунда с самоходом или с суппортом получается. И в результате — брак изделия. Курам на смех!..

— Токарь... тоже... — можно прочесть в такой момент на лице чванливого Филонкина, чувствующего своё превосходство над другими.

Правда, можно прочесть на его лице и другое. Это когда он переводит взгляд на соседа справа — токаря Игнатия Коломенчука:

— Этот работать может...

* * *

Действительно, Коломенчук работать мог.

И он работал. Не только как токарь первой руки, уступавший Филонкину в немногом. Заводская общественность ценила в нем активиста, передового партийного работника, организатора, массовика.

А у Филонкина последних качеств как раз не было. Но он и не завидовал Коломенчуку-общественнику, имея на этот счёт свой взгляд.

— Без нагрузок спокойнее работать и жить.

И пока его никто не задевал на заводе, он мирился с обстановкой вечной борьбы за что-нибудь, что ещё не достигнуто здесь, не разрешено. Сознательно избегая ударничества, соцсоревнования, работы на общественном поприще, Филонкин только наблюдал, как другие участвовали в тех или иных кампаниях, и пропускал всё это мимо себя безболезненно, с улыбкой сочувствия и одобрения на лице. Но когда сведущие в текущей жизни завода люди донесли ему как-то, что партийной организацией дан Коломенчуку политнаряд на перевоспитание отдельных малосознательных товарищей, уклоняющихся от участия в общественной жизни завода, и что он, Филонкин, попал в число взятых Коломенчуком на буксир, — он не выдержал, вспыхнул и разозлился.

«Ну какое им дело до него, беспартийного Филонкина?» — со злобой подумал он.

И тут же решил никому, кроме своего прямого начальства, не подчиняться и не терять своей «марки».

— Чтобы я, да смирился перед кем-то, показал свою слабость?.. Никогда!..

Это было сказано Филонкиным с месяц тому назад. В продолжении этого времени он не изменял своему решению и, действительно, от всего категорически отказывался: на штурм не ходил, общественной работой не занимался, собраний не посещал.

А сегодня, когда Коломенчук предложил ему подписаться на заём второй пятилетки, Филонкин резко выпалил:

— Ты меня, пожалуйста, брось агитировать раз и навсегда!..

И защёлкал рычагами коробки скоростей. 306 оборотов в минуту были включены Филонкиным с сердцем, в порыве протеста и возмущения. Словно он хотел показать, что сил у него для отстаивания своих прав имеется достаточно, и что упорство его не так-то легко сломить.

Едва Филонкин, вооружившись шкуркой, нажал на деталь, как шпиндель пошёл на замедление, а потом и совсем остановился.

— Что за чёрт?.. — удивился Филонкин, выключив мотор, — уж не ремень ли слетел со шкива?..

Так оно и оказалось в действительности.

— Слабый, чёрт, — выругался токарь, осмотрев ремень, — придётся позвать шорника, пусть перешьёт на ту же...

— Федька!..

Шорник Федька Ящев — приятель Филонкина и не дурак выпить, — был недалеко.

— В чем дело? — откликнулся он на зов.

— Работа тебе есть, — улыбнулся ему хозяин самарского станка, — тащи сюда «струмент» свой и приступай.

А когда Ящев, пропахший сыромятиной, пришёл и приступил к работе, Филонкин опёрся о станину станка и, наблюдая за операциями шорника, заговорил полушёпотом:

— Откровенно тебе скажу, Федя, не нравится мне вся эта волюнка, которую затеял против меня Коломенчук. И, знаешь что? Честное слово, я напьюсь как-нибудь пьяным, приду в клуб на собрание и прямо скажу: оставьте меня, пожалуйста в покое, — или я не буду у вас работать, уволюсь к чёрту. Ведь это будет правильно, Федя, а?..

— Да, пожалуй, — согласился Ящев, подумав.

— Так вот — так я и сделаю!.. Вот увидишь...

* * *

В перерыве на обед Филонкин задержался около инструменталки. Его заинтересовала вывешенная здесь «чёрная доска» с аншлагом — «Бракоделов — под общественный контроль». Он с презрительной усмешкой осматривал образцы брака, как вдруг натолкнулся на следующий ярлычок под одним из них:

— «Планшайба. Не выдержан размер диаметра резьбы. Брак окончательный, по вине токаря Пятига».

— Хо-хо-хо, — разразился смехом Филонкин и, сняв планшайбу с доски, взвесил её в руке, — пять кило чугуна кобыле под хвост. Хо-хо-хо!..

Он смеялся так задорно и громко, что рабочие, проходившие мимо, невольно останавливались и заинтересованные подходили к доске:

— Ты чего, Филонкин?..

— А ничего. На брачок люблюсь, любопытный больно, Пятиг сгροхал.

И показывал всем планшайбу.

— Я так и знал, — испортит ведь партачишка этот. Вот и запорол вещь. Вскочит она ему теперь в шею ладненько. Хо-хо-хо!..

— Не смешно! — резко раздалось вдруг за спиной хохотавшего. Филонкин быстро оглянулся. Перед ним стоял нахмурившийся Коломенчук.

— Чем смеяться над работой Пятига, ты бы лучше помог ему, — сурово сказал он Филонкину, — а это не дело — себя выпячивать, показывать, что мы-де — опора всего завода, а остальные — мелочь. Ты будь заинтересован в том, чтобы и слабые давали хорошее качество продукции и были бы такими же мастерами своего дела, как ты.

— Этого ещё не доставало, чтобы я учил болванов, — возмутился Филонкин, гордо выпрямившись. — Мне за это не платят! И потом — это же буза: если ты — токарь, так и работай, пожалуйста, как токарь, не делай брака. А если не умеешь на станке работать так иди в чернорабочие, там нет никаких расчётов, один горб нужен, вот что!

Трудно было говорить с Филонкиным. И Коломенчук отошёл от него. Минуту постоял в отдалении, о чем-то думая, потом вернулся и, обращаясь ко всем рабочим, сказал:

— Сегодня, товарищи, в рабочем клубе открытое партийное собрание, на котором ваше присутствие необходимо, — в повестку дня включён вопрос о браке.

* * *

— Филонкин в клубе?!!

Среди присутствовавших на собрании поднялся шепоток удивления — никто в первый момент не поверил сообщению, кинутому кем-то с «галёрки» и обежавшему все ряды. Никак нельзя было представить себе, чтобы это могло случиться, — слишком хорошо знали все Филонкина. И тем не менее это был факт.

Оглядываясь, люди натыкались глазами на щуплую, невзрачную фигуру токаря, стоявшего в проходе. По тому, как он улыбался и подмигивал отдельным рабочим, строя при этом смешные рожи, можно было сразу определить, что он подвыпил.

Позади Филонкина стоял Федька Ящев, он часто припадал к уху друга и говорил ему что-то, кося глазами на сцену. Филонкин кивал головой, должно быть, в знак согласия и продолжал чему-то улыбаться. Они стояли между рядами скамеек, оба подвыпившие, таинственные, как заговорщики.

— Тут кроется что-то неладное, — пророчески заявил в сторону соседа один из сидевших вблизи них металлистов. — Попусту они никогда бы не зашли в клуб. Никогда!.. Значит... что-нибудь должно произойти.

...Говорил технический директор. Он говорил о том, что давно бы пора рабочим завода овладеть техникой производства и в борьбе за качество продукции прийти к высоким социалистическим показателям.

— Вали после него, — послышался в этот момент явственный шёпот Ящева, обращённый к Филонкину, — заявляй, давай.

— Постой, — отмахнулся от него тот, — я буду говорить после секретаря партколлектива.

Кругом зашикали.

Секретарь заговорил резко. Он обрушился на коммунистов, не выполнивших политнаряды.

— Так вам и надо, — злорадствовал Филонкин, ничего, в сущности, не понимая и никого как следует не слушая, — это всё к лучшему.

Но вот он насторожился: выступавший произнёс две фамилии. Первая была его собственная, а вторая — Коломенчука. Прислушался. Выяснилось — Коломенчук обвинялся в том, что не сумел поставить в цехе на должную высоту политико-воспитательную работу.

— Надо, чтобы такие отсталые элементы, как Филонкин, доросли до понимания необходимости работать так, как зовёт партия рабочего класса, не боящаяся трудностей. А этого как раз Коломенчук не добился!

— И не добьётся никогда, — буркнул Филонкин, — потому что не на того напал. Меня, брат, не скоро сагитируешь. Что получилось из этого шефства?..

И он глумился над Коломенчуком до тех пор, пока не услышал последнюю фразу секретаря партколлектива:

— На основании всего вышеизложенного — товарищу Коломенчуку объявляется в ы г о в о р!..

Ничего не сказал в этот вечер Филонкин, не состоялась его речь, которую он собирался произнести. Он не заметил, как вышел из клуба. Кажется, его останавливал Ящев и горячо и настоятельно убеждал в чем-то, урезонивая, но Филонкин, осунувшийся вдруг, не слушал его.

На улице он почти отрезвел, и долго стоял в нерешительности перед окнами клуба, не зная, что предпринять — идти домой или вернуться на собрание, к Ящеву. Решил, наконец, отправиться домой — отдыхать.

Он был сбит с толку, обезоружен. И недоумевал: «Что за оказия в самом деле — ведь виноват-то, фактически, я, а выговор за мою эту самую бездеятельность получил почему-то Коломенчук»...

— Как же это так? — уже вслух продолжал он свои размышления, разводя руками, — может ли быть, чтобы кто-то отдувался за кого-то? Неправильно это.

«А может быть правильно? — шевельнулась другая мысль, ещё робкая и неясная. — Ведь я же беспартийный, с меня спрос, как с быка молока, ответственность постольку поскольку, а Коломенчук — член партии, он отвечает. Значит, что он должен следить за отстающими и требовать от них дела?»

— Ну, конечно, это так, — окончательно уверился он в этой мысли и облегчённо вздохнул.

Но тут явилось новое сомнение:

— А я тогда кто же буду — лишенец какой, что ли?.. Ведь я такой же советский гражданин, как и все, как любой пролетарий, ответственность должна быть у всех одинакова, на то мы и хозяева. Нет, тут что-то не так...

Силился вникнуть в то, что было «не так» — и не мог. И безнадежно махнул рукой:

— Ничего не понимаю...

Эту растерянность свою Филонкин принёс домой, где она стала ещё тяжелее, ещё несносней.

Что сейчас думает о нем Коломенчук?.. Вот ему, Филонкину, не чувствовавшему за собой никакой ответственности, нет ничего, а Коломенчук получил выговор. И за что?.. «За то, что виноват я. Я виноват».

Филонкин лёг в постель. Ему слышался неясный гул, в котором чудились разные голоса.

Но расстроенному токарю не спалось.

«Ведь Коломенчуку, наверное, больно, он в обиде. Как поправить дело?» Мысли спутались. В ушах звенело. И глухим барабанным боем отдавало в висках. А в сердце закрадывалось сознание какой-то вины.

...Так впервые Филонкин отнёсся к Коломенчуку по-человечески и впервые устыдился своей нелепой «самостоятельности», которую так долго поддерживало его чванливое упорство. Но от этого ему всё-таки не стало легче...

* * *

Утром следующего дня рабочие механического цеха, близко знавшие Филонкина, поразились его тихим, уравновешенным поведением на работе. Ничего вызывающего в его фигуре не было. Наоборот, он казался человеком застенчивым, который ещё не совсем привык к шумам и говорам станков, трансмиссий и приводных ремней. Но та особая, чёткая подвижность, с какой он смазывал свой станок, говорила за то, что робость эта исходила от чего-то внутреннего.

Филонкин ушёл в работу сосредоточенно и любовно и за работой не поднимал глаз на Коломенчука. Не мог. Но на Пятига посмотрел украдкой и с большим вниманием. И вдруг заметил: Пятиг при зачистке детали на самом быстром ходу остановил станок и второпях положил напильник на кановку для установки люнета, которая находилась как раз под кулачками патрона, на ходовой части суппорта. Затем, вооружившись шкуркой, он сделал движение, чтобы пустить станок снова.

— Что ты делаешь?! — не своим голосом вскричал Филонкин и кинулся к Пятигу, который пугливо замер. — Ослеп ты что ли, опасности не видишь?.. Ведь если бы ты сейчас рванул рычаг, кулачки ударили бы по напильнику, и он пропорол бы тебе насквозь горло или грудь. Разве можно оставлять на параллелях инструмент?.. И потом — почему у тебя такой остроугольный резец под медь? Надо поставить поотложе!

Возбуждённый и по-новому деловитый Филонкин обошёл станок, проверил смазку, осмотрел ходовые части.

— Гм... — он хотел ещё что-то сказать Пятигу, но не решился и только почёсывал да ощупывал свой подбородок, уставясь глазами на станок.

Наконец, повернувшись к Пятигу, он тихо проговорил:

— Знаешь что, Васька? Если тебе что непонятно в станке и ты затрудняешься работать — спроси у меня, я тебе всё объясню... Идёт?

Пятиг просиял и радостно ухмыльнулся:

— Ну, конечно, дядя Алексей, конечно. Буду очень благодарен вам.

Филонкин нахмурился.

— Ну, это потом...

И он опять ухватился за свой подбородок, и на лицо его лёг отпечаток новой нерешительности. Но и она прошла как лёгкое облачко. Филонкин улыбнулся, трезво подмигнул Пятигу и быстро отрезал:

— А потом — будем соревноваться!.. Вот!..

1934

Франц Таурин

Подпоручик Дубравин

Отрывок из романа «Далеко в стране Иркутской»

Лохматая Ерошкина голова, несуразно вихляясь на длинной шее, просунулась в дверь. Рыжие космы свисали на приплюснутый лоб, на диковато бегающие мутные глаза.

— Ваше благородие, опять в лес пошла!

Рука подпоручика вздрогнула, перо споткнулось на бумаге, и клякса с брызгами запятнала наполовину исписанный лист рапорта.

— Экий скот! — воскликнул он с досадой, но без особой злости. Бесплезно было сердиться на придурковатого Ерошку, которого заводская контора определила ему в денщики, а рукоприкладствовать подпоручик, по молодости лет, ещё не приучился.

— Опять в лес пошла! Вот те крест, ваше благородие!

— Уйди!

Ерошка, безобидно ухмыльнувшись, исчез за дверью. Его благородие, подперев кулаком светло-русую голову, с грустью глядел большими, редкой синевы глазами на испорченный лист. С детства ему не давалась проклятая каллиграфия. Но доверить заводскому писцу переписать донесение было невозможно...

Секретный рапорт его высокопревосходительству генерал-губернатору Восточной Сибири!.. Дорого дал бы обходительный и степенный Иван Христианович, за отсутствием капитана Трескина исправляющий должность управляющего заводом, чтоб хоть одним глазом заглянуть в сей рапорт. «Как есть одним, — вспомнил подпоручик и засмеялся, — второй-то у него стеклянный».

Но титулярный советник Тирст из той породы, что и одним глазом увидит больше, чем всякий другой двумя.

Подпоручик не забыл, как в первую же ночь подкинули ему бумажку с надписью крупно по-печатному: «Берегись одноглазого». Он не понял тогда, о ком речь: стеклянный глаз у Ивана Христиановича был подобран искусно, точь-в-точь такой же, как и отпущенный ему природою. И наутро, придя в кабинет Тирста, показал подмётную бумажку.

— Полагаю, господин Дубравин, что сия записка имеет целью бросить тень

Таурин Франц Николаевич, прозаик (1911, с. Петровское Новосильского уезда Тульской области — 1994, Москва). Автор книг: *К одной цели*: роман (Иркутск, 1950); *На Лене-реке*: роман (Иркутск, 1954); *Ангара*: роман. Кн. 1-2 (Иркутск, 1958); *Гремящий порог*: роман (М., 1962); *Далеко в стране Иркутской*: роман (Иркутск, 1964); *Каторжный завод*; *Партизанская богородица*: романы (М., 1968); *Байкальские крутые берега*: роман (М., 1974); *Без страха и упрёка: повесть о Н. Серно-Соловьевиче* (М., 1974); *Без страха и упрёка: повесть о М. Ольминском* (М., 1981); *У времени в плену*: роман (Иркутск, 1984) и др. Член Иркутской организации Союза писателей СССР 1950-х — сер. 1960-х гг.

на вашего покорнейшего слугу, — с учтивым полупоклоном сказал Тирст. — Левый глаз потерял мною на государственной службе.

— Простите, Иван Христофорович, — сказал подпоручик, досадуя на свою промашку, — менее всего таил я в мыслях огорчить столь гостеприимного хозяина.

— Правильно поступили, сударь мой, правильно. Тщусь надеждою быть полезным вам в исполнении поручения его высокопревосходительства. А наветы всякие будут, и не единожды. Народ своевольный, каторжный, да и мастеровые немногим от них отличаются. Государеву пользу нелегко блюсти. И вам, батюшка Алексей Николаевич, не след забывать, где находитесь! — При этом правый, зрячий глаз его уставился на подпоручика с пронзительностью, особо заметной от соседства с левым стеклянным, безразлично взирающим на собеседника.

Этот раздвоенный взгляд подпоручик запомнил крепко и не раз имел случай припоминать.

Про наветы Тирст упомянул зря. Дубравин уже вторую неделю доживал в заводе, но после первой остерегающей записки не получал ничего более, и устных заявлений также ни от кого не имел. Впрочем, тут, надо полагать, сказало заботливое внимание Ивана Христиановича. Управляющий заводом, кроме денщика Ерошки, приставленного к подпоручику для личных услуг, выделил ещё и сивоусого казачьего урядника, который неотступно сопровождал Дубравина в цехи и мастерские, на рудный двор и лесную деляну и даже во время вечерних прогулок по улицам слободки или по берегу заводского пруда.

Дубравину быстро надоел такой эскорт. Он заметил, сколь поспешно отворачиваются от него мастеровые и каторжные, завидя вышагивающего вразвалочку следом урядника.

— Разморило тебя от жары, Перфильич, — сказал он своему назойливому спутнику, выходя из насквозь прокалённой литейной, — посиди в холодке, покамест я в кричную фабрику пройду.

Перфильич отмахнулся с ухмылкой:

— Мы привычные, — и, соблюдая дистанцию, поплёлся сзади. Вечером подпоручик вознамерился пройти на берег пруда, послушать, как играют хороводы заводские девки. Перфильич за ним, будто тень.

— Иди-ка ты, Перфильич, от меня к... — и, всегда приветливый, подпоручик загнул тут такое словцо, что у старика глаза враз стали круглые, как у кота.

«Наконец-то отстанет», — подумал подпоручик.

Но Перфильич с маху приставил ногу, так что шашка в потёртых ножнах взметнулась, как хвост у выигравшегося телка, и, развернув плечи, рявкнул хрипловатым басом:

— Служба, ваше благородие!

Обо всём этом тоже следовало бы изложить в рапорте. Но подпоручик опасался, что донесение такое послужит лишь свидетельством неумения его приступить к порученному делу. К тому же, сообщая о хитрых предосторожностях исправляющего должность управителя завода, ничего нового он не открывал. Для того и послали его — инженера Дубравина, — чтобы распутать хитросплетения Тирста. Уже ошибкой подпоручика было промедление с розыском надзирателя рудного двора урядника первой статьи Могуткина.

На двенадцатый день по приезде в завод пишет он первый рапорт. И о чём...

Что урядник первой статьи Яков Могуткин, писавший жалобу генерал-гу-

бернатору... пропал без вести. Так он — Дубравин — сообщает в рапорте. Тирст доносит иначе: «находится в бегах».

Подпоручик вспоминает, как провёл его Тирст, и густые брови, а они у подпоручика приметные, цвета собольей спинки, и правая с крутым изломом, что придаёт лицу его, когда оно, как сейчас, сосредоточенно, слегка изумлённое выражение, — густые соболиные брови сдвигаются к переносью. А прямой и тонкий нос морщится совсем по-детски, но глаза, затенённые сдвинутыми бровями, темнеют по-мужски, и взгляд их не сулит Тирсту ничего доброго...

Ну, там что будет, а пока Тирст провёл его — подпоручика Дубравина, бывшего с особым поручением, — и крепко провёл...

Перебирая в памяти сейчас всё заново, подпоручик не мог определить: где же совершил он ошибку?.. По крайней мере, явную ошибку?.. Сразу же наутро по приезду распорядился он вызвать в контору цеховых надзирателей (не одного Могуткина, а всех!). Но явились все, кроме Могуткина, о котором Тирст пояснил, что уехал он на дальний Кежемский рудник, что дел у него там не более как на день и что с дорогою в оба конца будет он в отлучке трое суток.

Теперь-то ясно, что надо было бросить всё и скакать вслед за Могуткиным. Но это теперь, а тогда и в голову не пришло. В самом деле, что необычного, если надзиратель рудного двора уехал на поднадзорный ему рудник? И вот прошло пять суток — Могуткин не возвратился.

Подпоручик торопил управляющего послать нарочного в Кежму. Тирст сумел и тут выгадать два дня. Сказал, что на Кежемский рудник пошлёт смотрителя материальных припасов чиновника Аргунова, который в случае надобности подменит Могуткина и отошлёт его в завод.

И подпоручик снова согласился: не хотелось ему обнаружить свой особый интерес к Могуткину.

Закончилась эта история так, как и следовало бы предвидеть, если бы он, подпоручик Дубравин, с первого дня взял во внимание всю хитрость и всё коварство Тирста (о качествах сих предупреждали подпоручика в Горном отделении. И в письме Могуткина говорилось о том же...).

Аргунов вернулся через четыре дня и сообщил, что Могуткина в Кежме нет... и не было.

Тогда и начали поиски. Искали всей казачьей командой три дня и три ночи — впустую. Только и прибытку, что подстрелили ночью в тайге какого-то бродягу, да и тот уполз в чашу.

Тирст в присутствии подпоручика с пристрастием допрашивал: не Могуткин ли то был.

— Никак нет. Могуткин росту малого и тощ. А этот варнак, поди, на полголовы выше будет, чем их благородие, да и в крыльцах поширше, — показывал казачий вахмистр.

И все бывшие с ним казаки согласно подтвердили, что беглый варнак был росту отменно высокого.

Тирст сделал представление нижеудинскому горному исправнику о нахождении в бегах урядника первой статьи Якова Корнеева Могуткина.

А подпоручику Дубравину осталось только написать свой первый рапорт.

Было опасение, что главный горный ревизор Восточной Сибири генерал-майор Бороцци де Эльс, в подчинении коего состоял подпоручик, усмотрев в поведении Дубравина потворство управителю завода, отзовёт его и пошлёт взамен другого офицера, более способного и рачительного к службе.

А подпоручику очень не хотелось уезжать из завода. Неужели эта подлая

титулярная немчура останется неразоблачённой и торжествующей?.. Да разве только в немчуре дело? А Настя?.. Как можно уехать сейчас! Вот она опять в лес пошла. Должен он наконец узнать, зачем она по два раза на дню туда ходит?..

2

Было бы подпоручику не ходить тогда на заводской пруд...

Да уж больно жара стояла нестерпимая. Едучи из Петербурга в далёкую Сибирь (а ехал не по своей охоте), страшился лютых морозов. Чего только не наговаривали: и птица на лету мёрзнет, и пар изо рта тут же стынет и ледяной дробью сыплет на землю. А вот что жары такие — никто не поминал.

Подпоручик с утра занимался в конторе, в небольшом, но светлом, по-городскому отделанном кабинете Тирста. Бухгалтер завода, канцелярский служитель Мельников, подносил ему одну за другой счётные книги и, в случае надобности, давал пояснения. Мельников, мужчина ещё не старый и видный собою, с первого взгляда пришёлся по душе и статной своей фигурой, и умным открытым лицом, и неторопливою плавностью движений. Окладистая русая с золотым отливом борода не старила, а, напротив, как бы подчёркивала мощь крупной его фигуры, и очень к лицу ему была простая русская одежда — длинная белая косоворотка, перехваченная пояском с кистями, и широкие плисовые штаны, заправленные в мягкие козловые сапоги.

Калёное июльское солнце заглядывало в раскрытые окна, и подпоручик уже не раз отирал лицо и шею фуляровым платком.

— Ваше благородие, сняли бы мундир, — сказал Мельников и, пряча улыбку в усах, добавил: — Вы сейчас на заводе старший в чине.

Дубравин засмеялся:

— Как старший в чине, приказываю: именовать меня просто Алексей Николаевич. А то с этим благородием позабудешь, как и зовут тебя.

— Это ведь кто как, — опять усмехнулся Мельников, — Иван Христианович этого не опасаются.

Подпоручик встал, потянулся, расправляя уставшую от долгого сидения за столом спину, снял свой светлый с высоким стоячим воротником мундир и бросил его на подлокотник кресла. Потом внимательно посмотрел на бухгалтера, как бы примеряясь, можно ли ему довериться, и решился:

— Василий Федотыч! Шарюсь я в ваших книгах четвёртый день и усмотрел покамест одно. Как отбыл из завода капитан Трескин, так дела пошли под гору. А почему, ума не приложу. Судя по книге приказов и по арестантской ведомости, в потворстве нерадивым господина Тирста обвинить нельзя.

Бухгалтер кивнул в знак согласия:

— В чем другом, а в этом неповинен.

— А в другом?

Мельников подошёл вплотную так, что пышной бородою коснулся накрахмаленной рубашки офицера, и тихо, но внятно произнёс:

— Алексей Николаевич! Всё на виду лежит. Больше сего сказать пока не могу.

И ещё часа три сидит подпоручик, не разгибая спины и обливаясь потом, но так и не может усмотреть того, что на виду лежит. Надо быть, не в этих книгах лежит...

А солнце, как за полдень перевалило, палит ещё нещаднее. И хоть бы ветерком потянуло. Нет, тишина. За окном жидкая берёзка. Ни один листок не шелох-

нётся. Контора на высоком бугре, во все стороны далеко видно. И кругом тишина. Застыли и раскидистые ветлы над синей водою пруда, и кряжистые сосны на его дальнем крутом берегу. Только за околицей слободки над косогором струится зыбким маревом разогретый воздух.

— Вот тебе и Сибирь! — утираясь мокрым, хоть выжми, платком, дивится подпоручик. — Сахара! Мозги плывут!

— Пошли бы вы, Алексей Николаевич, на пруд да ополоснулись, — говорит Мельников. — А книги эти от вас не сбегут. Их можно и опосля полистать.

— И то! — Дубравин берет на руку свой мундир и шагает к двери.

— Оставьте, — говорит бухгалтер, — я замкну.

Подпоручик секунду колеблется, потом машет рукой — здесь не город, комендантский патруль не задержит — и отдаёт мундир Мельникову.

На верхней ступеньке крылечка в тени дремлет разморенный жарой старик. По щеке его, покрытой седой щетиной, как овца по жнивью, неторопливо бродит большая чёрная муха. На звук шагов Перфильич открывает один глаз, увидев офицера, вскакивает и вытягивается во фронт.

— Сиди, сиди, — говорит подпоручик, хотя знает, что Перфильич всё равно потянется за ним.

Они спустились с крыльца — подпоручик быстро, через ступеньку, Перфильич осторожно переставляя старые ноги — и по аллее подростков-тополей, в два ряда высаженных по скату холма, вышли на главную улицу заводской слободки. Широкая улица заросла густой курчавой травой, лишь посередине желтоватой полосой пролегла пыльная дорога.

Провожаемые ленивым лаем тоже разомлевших от жары собак, они по косому переулочку выбрались за околицу слободки. Теперь уже недалеко и до пруда. В просвет между вёслами виден берег и в синей воде россыпь белых и серых камней.

Подпоручик ускорил шаг, направляясь к берегу.

— Ваше благородие, тут негоже, — остановил его Перфильич, — тут всё скотина поистоптала.

И тогда, приглядевшись, подпоручик понял, что это не камни, а свиное стадо залегло у берега на мелководье.

— Купаются у нас за берёзовой рощей, — пояснил Перфильич и показал на вершину пруда, — там вода студёная и берег чистый.

Плотно утоптанная тропинка вилась по зелёному лугу, огибая белоствольные берёзки. Чем дальше от селения, тем берёзки росли чаще, и вот уже тропка нырнула в густой березняк и пробегала по нему от одной крохотной полянки до другой. На полянках трава сочная и густая, в темной её зелени огоньками светятся жарки и огромными пунцовыми пятнами выделяются грузные цветы кукушкиных сапожек... Здесь уже чувствовалась лесная свежесть, и горьковатый запах заводского дыма, пропитавший всю слободку, уступил аромату трав, цветов и листвы...

— Теперича рукой подать, — сказал Перфильич, и в то же мгновение сонную тишину прорезал отчаянный женский крик, особенно поразивший подпоручика тем, что в нем было больше ненависти и ярости, чем страха.

Ломая кусты, напрямик, подпоручик кинулся на голос. Выскочил на поляну и остоленел.

Нагая женщина с распущенными мокрыми темно-рыжими волосами отбивалась от трёх наседавших на неё казаков. Женщина прижалась спиной к толстому стволу сосны. Намертво врезалось в память: занесённая вверх рука с зажатым

кривым сосновым суком, сверкнувшая на солнце капля воды на розовом соске красивой полной груди и страшный оскал раскрытого в крике рта.

Никто из четырёх не заметил появления подпоручика.

Рослый чубатый казак с лицом, залитым кровью, ринулся на женщину.

— Убью! — страшно закричала она, но чубатый увернулся от удара, перехватил её руку и рывком бросил женщину себе под ноги.

— Ты! Мерзавец! — не крикнул, а скорее выдохнул подпоручик и бросился к чубатому.

Но под руку подвернулся другой, низенький и колченогий: до того он с опаской стоял поодаль, а теперь тоже двинулся вперёд. Весь предназначенный чубатому заряд гнева пришёлся колченогому по виску.

С коротким криком он ткнулся лицом в усталенную ржавой хвоей землю. А оба его дружка, переглянувшись, двинулись навстречу столь неожиданно объявившейся помехе.

Плохо пришлось бы подпоручику (оружия не было с собой никакого и даже мундира с погонами, который мог бы послужить защитой), но тут из березняка выскочил запыхавшийся от быстрого бега Перфильич с шашкой наголо. Да и не в шашке суть: увидев своего урядника, казачки враз сникли.

— Вы что, охальники! — рявкнул Перфильич.

— Пошутковали малость, — с виноватой ухмылкой сказал чубатый и, утирая всё ещё бегущую по щеке кровь, добавил: — А она, вишь, сразу кровянится... ну и хотели малость поучить...

— Я бы тебя, черта конопатого, задушила, допрежь ты меня тронул, — сказала женщина.

И, взглянув в её нестерпимо синие, потемневшие от гнева глаза, подпоручик поверил, что это не пустые слова.

И только сейчас он разглядел её. Припав на колени, она сжалась в комок, пытаясь руками прикрыть свою наготу. Даже и в такой позе угадывалась её прекрасно сложенная, сильная фигура. Но подпоручику, перевидавшему немало петербургских балеринок и умевшему с пристрастием разобрать достоинства и недостатки каждой женской фигуры, стыдно было смотреть так на эту синеглазую.

И, встретясь с её взглядом, он ощутил какое-то удивившее его самого смущение, почти робость.

— Принеси платье! — приказал подпоручик колченогому, который, оглушённый неожиданным ударом и напуганный столь же неожиданным появлением урядника, всё ещё стоял на коленях, опираясь о землю обеими руками, согнувшись и вобрав в плечи сухонькую голову.

Колченогий подобрался, как-то по-заячьи оттолкнувшись сразу руками и ногами, вскочил и побежал к берегу пруда. Через минуту вернулся с одеждой в руках. Дубравин положил одежду к ногам женщины. Она поблагодарила его оглядом, и он снова почувствовал, как дрогнуло у него сердце.

— Отведи этих скотов в арестантскую! — приказал подпоручик Перфильичу.

Старый урядник стоял, переминаясь с ноги на ногу: и послушаться приказа нельзя, и оставлять одного офицера строго заказано.

— Ну! — сдвинул брови подпоручик.

— Не трожь их, барин! — сказала женщина. — Не хочу, чтобы на меня зло копили.

Она всё ещё сидела у дерева, только заслонила белая исподней рубахой.

— Будь по-твоему, — сказал подпоручик и резко повернулся к понурившимся

ся парням: — А вы, сукины дети, смотрите мне! Кто хоть пальцем её тронет, с вас взыщу! Из-под земли достану!

— А ну, в казарму марш! — скомандовал Перфильич, торопясь разрядить обстановку.

— Благодарствуем, ваше благородие! — гаркнули повеселевшие казаки.

Но едва отошли на несколько шагов, чубатый сказал вполголоса с досадою:

— Загнали козулю барину!

Когда казаки, сопровождаемые старым урядником, скрылись в березняке, женщина быстро, одним движением, поднялась с земли и, высоко вскинув руки, проворно надела рубаху. На какой-то миг мелькнуло розовато-белое тело, сильное и гибкое, длинные стройные ноги, кровоточащая ссадина на левом колене, и тут же всё укрылось белым полотном рубахи.

Подпоручику было и радостно, что она так доверчиво откровенна перед ним, и тут же кольнуло, что он как будто для неё и не мужчина.

— Я сейчас, барин, — сказала она, убежала за куст и очень скоро появилась снова, уже в ситцевом набивном сарафане, обутая в лёгонькие чирочки. Белый платок она перекинула через плечо и, прямо и спокойно глядя на офицера, стала заплетать свою толстую рыжую косу.

Теперь, в длинном сарафане, она казалась тоненькой и даже хрупкой. И лицо у неё было совсем юное, девчачье: небольшой прямой, слегка вздёрнутый нос, чуточку пухлые губы, высокий чистый лоб, и только большие, широко расставленные глубокой синевы глаза уже утратили свойственное юности выражение безмятежной беззаботности.

— У тебя рана на ноге, надо перевязать, — сказал подпоручик и, ухватясь за левый рукав своей рубахи, хотел оторвать его.

Она удержала его руку:

— Что ты, барин! Как по слободке пойдёшь? — и засмеялась. — У нас шкура крестьянская, заживёт, как на собаке.

— Зачем так говоришь!

— Право, барин, — продолжала она, смеясь. Прежде строгие тёмные её глаза словно заискрились.

— Не зови меня барином, — попросил он.

— А как же? — И уже какие-то лукавые нотки зазвучали в её голосе.

— Алексеем меня звать.

— Ну, это не про меня, — серьёзно, почти грустно сказала она, и мгновенная перемена её настроения снова и радостно, и тревожно кольнула его в сердце. — А величать как?

— Николаевичем. А тебя как звать?

— Настасья, — и снова с озорной усмешкой: — Настыка-охотница. — За разговором она доплела косу, закинула её за спину и повязалась белым платочком.

— А теперь Акулька! — сказала она всё так же по-озорному и тут же совсем серьёзно и тихо: — Спасибо тебе, Алексей Николаич! Хоть и барин ты, а душа у тебя добрая.

Она ещё раз поклонилась и быстро пошла.

— Настя! — взволнованно крикнул он вслед. — А где я тебя увижу?

— А надо ли?

— Надо! — Он подошёл к ней и взял за руку. Она молча смотрела ему в глаза, не отнимая руки.

— Завтра вечером, как солнце на гору сядет, сюда приду. — Осторожно вывободила свою руку из его горячей ладони и скрылась в березняке.

Бедняк

Сказка

Жил-был бедняк. Работал у богача. Он нанялся к нему за четверть десятины хлеба год работать. Когда пришло время сеять, он сеял вместе с богатым на его пашне. Когда зерно наливаясь стало — упал иней и четверть десятины хлеба заморозило у бедняка, а у богатого всё цело осталось. Год бедняк бесплатно работал на богатого.

На другой год он опять нанялся. Хозяин его с ближним соседом богачом поспорил, об заклад побился. Богатый человек говорил своему соседу:

— Вот мой батрак может четверть хлеба выжать до заката солнца. Если он не выжнет, возмёшь его на весь год работать бесплатно.

Призвал хозяин батрака и говорит:

— До солнца обязательно кончи четверть десятины жать у моего соседа-богача. Если не кончишь, тогда этому богатому человеку бесплатно работать год будешь.

Такой закон поставили. Бедняк пошёл. Пришёл, смерил свою четверть десятины, давай жать начинать. Он жал, жал, только один сноп остался — солнце закатилось. Пришлось у этого хозяина бесплатно год работать.

На третий год опять нанялся. Нанялся с условием, что за работу получит пеганого жеребёнка. Три-четыре дня осталось до конца срока — жеребёнка волки задавили. И третий год он бесплатно хозяину работал.

Подумал бедняк и решил:

«Надо отсюда уйти. Что-то мне не везёт. Пойду в другие земли, буду там работать, может, счастье мне будет».

Так решил и пошёл. По непроходимой тайге шёл. Перед рассветом он попал к большому озеру. Около озера, когда солнце вышло, ясно стало, он на берегу лёг и уснул.

Когда проснулся, видит — девять лебедей летят. Бедняк сидит в кустах.

Тороев Аполлон Андреевич, бурятский народный поэт, улигершин (1893, улус Шунта Боханского аймака Иркутской обл. — 1981, Усолье-Сибирское). Автор книг: *Улигер, сказки и песни* / вступ. ст., примеч., запись А. Гуревича (Иркутск, 1941); *Бурятские сказки* / пер. и обработ.: Г. Кунгуров (Иркутск, 1946); *Бурятские сказки* / обработ.: Г. Кунгуров (Иркутск, 1951); *Хвастливая собачонка: сказки* / пер. с бурят. и обработ.: Г. Кунгуров (Иркутск, 1955); *Сказки* (Улан-Удэ, 1956); *Бурятские сказки* / пер. и обработ.: Г. Кунгуров и др. (Иркутск, 1958); *Сказки* / пер.: И. Ким (Улан-Удэ, 1959); *Бурятские Сказки* / пер.: Г. Ф. Кунгуров (Улан-Удэ, 1964); *Сказки* / пер. и обработ.: Г. Кунгуров и И. Ким (Иркутск, 1967); *Ленин-багша: улигер* / пер. Инн. Луговской (Иркутск, 1970). Заслуженный деятель искусств Бурятской АССР. Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

Эти девять лебедей прилетели на берег, к озеру. Крылья они сняли и положили, нижнюю одежду сняли и тоже положили. Он смотрит на них. Эти девять лебедей девятью девушками стали. Самая меньшая — очень красивая девушка. Пошли девушки к этому озеру. Купаются, день жаркий, а бедняк решил одни крылья и одну одежду спрятать. Он из куста пополз на животе и, крадучись, дополз до одежды девушек. Самой меньшей крылья и одежду взял, на гору пошёл, под камень спрятал, а потом сидит опять в кустах и думает: «Что будет, то будет».

Как раз эти девять девушек из воды вышли, давай свои одежды надевать. Младшей девушки крыльев и одежды нет. Они ищут — туда, сюда. Восемь платьев есть, а девятого нету. Восемь поднялись и полетели, а младшая девушка осталась. Улетая, сказали:

— Отец твой Эсеге-малан говорил, что муж земли у тебя будет, наверно, твой муж спрятал.

Так сказали они и полетели домой к Эсеге-малану.

Осталась девушка, плачет, ищет, бегаёт, как раз к кустам подошла, а бедняк там сидит, весь в изорванной одежде, страшный. Спрашивает она:

— Одежду ты спрятал?

— Нет, — говорит.

— Если одежду отдашь, я тебе всё богатство дам.

— Нет, — говорит, — я не прятал.

Около озера недалеко девушка пошла, вечером легла спать на бугорке. Бедняк пришёл, здесь же лёг. Лежали они, спали. Тогда Эсеге-малан ночью спустился с неба и сказал своей дочери:

— Теперь ты своего мужа нашла, будешь на земле жить.

Её долю дал и ушёл. Бедняк про это ничего не знает.

На другое утро встали они. Красавица-девушка пищу готовит, бедняка кормит. Вторую, третью ночь спали. На четвёртое утро встали, бедняк себе строение сделал. Так они с этой красавицей здесь и жить остались. Восемнадцать лет жили. За восемнадцать лет у них девять сыновей родилось и девять дочерей родилось, и хозяйство полное добра стало.

Бедняк уже стариком стал. Сыновья большие стали и дочери большие стали. Однажды бедняк говорит:

— Я пойду к своему тестю, к Эсеге-малану... Целых восемнадцать лет, как я на тебе женился, восемнадцать ребят у нас родилось, а я ещё в гостях не бывал у своего тестя.

Говорит жена:

— Раз хочешь, то иди.

Он давай собираться, целый месяц пищу готовил и хотел уже идти. Спрашивает свою хозяйку:

— Куда идти? — говорит. Та отвечает:

— Прямо на восток иди. Когда придёшь, там большая, высокая гора будет. На ту гору подымешься, дальше пойдёшь, гору встретишь. А там опять гора. На той горе шёлковая верёвка. Эту шёлковую верёвку в руки возьми и на скалу подымись. Когда на гору подымешься, как раз там первый дом стоять будет. В этот первый дом зайдёшь, там тебя угощать будут, но никого не будет, — говорит, — там. Только один стол, стол для тебя поставлен будет. Здесь Хирута — начальник над инеем живёт, тот, который твою четверть десятины заморозил. Потом дальше пойдёшь, опять дом будет, там опять стол для тебя приготовлен, пища разная. Там начальник над солнцем живёт, который не дождал тебя, когда один сноп у тебя остался. А дальше пойдёшь, опять здание увидишь. Там тоже

стол будет, это последний стол для тебя же поставлен. Там начальник над волками живёт, тот, который твоего пеганого жеребёнка съел.

Старик собрался, пошёл. Шёл, шёл и к горе пришёл. На гору поднялся, опять дальше пошёл. Шёл, шёл, опять гора, с этой горы сверху спущена шёлковая верёвка. Он шёлковую верёвку взял, поднялся по ней наверх, — на самую вершину поднялся. Увидел: дом стоит. В дом зашёл — стол стоит, всякая разная пища приготовлена. Он пищу съел, остатки все опрокинул, одну ножку сломал у стола и дальше пошёл.

Шёл, шёл, опять дом стоит. Опять туда зашёл. Снова там стол со всякой разной пищей стоит. Он эту пищу съел, остатки опрокинул и две ножки сломал у стола. Опять дальше пошёл. Третий дом стоит. Он туда зашёл. Ещё лучше, красивее стол стоит, ещё лучше пища на нем. Опять поел, остатки пищи опрокинул, три ножки сломал у стола. Потом дальше направился.

Смотрит, недалеко стоит большое здание. Кругом собаки, часовые у ворот. Он подошёл к нему, вокруг него собаки забежали, кусать начали. Один часовой на собак крикнул, собаки сразу перестали лаять. Тогда бедняк в дом вошёл. Стол стоит большой, за столом большой мужчина сидит, старый. Голова белая, борода вся седая. Бедняк подошёл и говорит:

— Здравствуй.

Седой старик отвечает:

— Здравствуй, здравствуй. Ох, мой зять пришёл.

Это Эсеге-малан сам сидел.

— Да, целых восемнадцать лет ты ко мне в гости не приходил. Как ты ко мне попал?

Бедняк рассказал:

— Моя хозяйка посоветовала мне, как дойти. Охота было своего тестя видеть, побеседовать.

Эсеге-малан говорит:

— Спасибо, что пришёл.

Эсеге-малан поставил красивый золотой стол, давай кормить всякими разными закусками и поить зятя.

В это время заходит начальник над инеем и говорит:

— Эсеге-малан, твоему зятю я, как гостю, пищу приготовил, хороший стол поставил. Он без меня пришёл, ел, а остатки опрокинул, у стола одну ножку сломал. Твой зять почему так буянит? Ему стараешься, как гостю, лучше сделать, а он наоборот делает.

Тогда Эсеге-малан сказал своему зятю-бедняку:

— Ты зачем у стола ножку сломал?

Бедняк отвечает:

— Когда я у богатого человека жил, четверть десятины сеял. Это платой мне должно было быть за год работы. Начальник над инеем мой хлеб весь заморозил, а у богатого человека не заморозил. Оттого я у стола ножку сломал. Раз мне вред делает, я тоже вред делаю, — говорит.

Эсеге-малан говорит начальнику над инеем:

— Я вам говорил, что бедняка и нищего надо смотреть, от богатого отличать, а вы наоборот делаете. Раз ты первый вред сделал, то сам виноват.

Так бедняк оправдался.

В этот момент заходит начальник над солнцем.

— Эсеге-малан, вот твоему зятю я, как гостю, стол приготовил, пищу разную. Он мою пищу кушал, а остатки опрокинул и две ножки у стола сломал. На земле

девять дней уже солнце не показывалось, ночь была: едва-едва эти ножки поправил, — говорит. — Твой зять почему пришёл буяннить тут?

Эсеге-малан своего зятя спрашивает, бедняка:

— Ты зачем ел и остатки пищи опрокинул, да две ножки сломал?

Бедняк отвечает:

— Когда я у богатого человека жил, как раз один богач другому богатому меня в помощь послал хлеб жать. Я четверть десятины отмерил, жать начал, думал: «Выжну, мне будет». Когда один сноп осталось сжать, солнце закатилось, меня не подождало, — говорит, — я тот год этому богатому человеку бесплатно работал. Вот почему я две ножки сломал. Раз мне вред сделал, я тоже вред делаю, — говорит.

Эсеге-малан солнца начальнику говорит:

— Почему ты не подождал? Раз ты вред делал, сам виноват, — говорит. — Я вам всегда говорю, что бедняка и нищего от богатого должны отличать, а вы наоборот делаете.

Через некоторое время заходит волков начальник и говорит:

— Твоему зятю я стол приготовил, как гостю. Он кушал и у моего стола три ножки сломал. Почему такой вред делает твой зять?

Тогда Эсеге-малан спросил своего зятя-бедняка:

— Ты зачем ел да три ножки сломал?

Бедняк отвечает:

— Я у одного богатого человека жил, за работу богатый человек мне жеребёнка должен был отдать. Три дня осталось срок кончать, моего пеганого жеребёнка волки съели, а у богатого лошадей не потрогали.

Тогда волков начальнику сказал Эсеге-малан:

— Раз сами виноваты, почему жаловаться пришли? Нищие, бедняки одного жеребёнка имеют, и то его уничтожили. Я вам сказал бедняков не трогать. Кто виноват? Сами виноваты.

Так бедняк снова оправдался.

Потом целый месяц погостил у тестя и отправился обратно домой. Когда к горе пришёл, за шёлковую верёвку взялся, спустился. Потом дальше пришёл к горе, опять спустился. Потом снова гора, опять спустился и так домой дошёл.

Когда домой пришёл, ребята встретили:

— У, — говорят, — отец пришёл.

Его хозяйка спрашивает:

— Ну, как гостил?

— Ничего, хорошо, — говорит.

— Ты, наверно, там всё буянил? А у нас девять дней солнца не было. Ну, твой тесть, Эсеге-малан, что на это сказал?

— Они пришли все жаловаться. Я во всем оправдался, — говорит.

На другое утро хозяйка, его жена, говорит:

— Дай-ка мне крылья, одежду, надо их просушить. Они, наверно, уже заплесневели.

Бедняк достал одежду и крылья из-под камня, где они спрятаны были, принёс и дал своей хозяйке. Она одежду взяла, местами она уже заплесневела. Девять дней и девять ночей сушила она эту одежду, на десятый день надевать её начала.

— Попробовать, — говорит, — надо летать. Раньше в молодое время летала и теперь попробую.

Вначале во дворе летала. А потом на избу залезла, с избы полетала. Старик и ребята смотрят. Она один круг облетела, потом второй круг облетела, третий круг сделала и говорит своему старику:

— Вот я тебе девять сыновей родила, эти девять сыновей будут девятью баторами. Девять дочерей родила, эти девять дочерей пусть на земном шаре приплод дают, а я полечу к своему родителю Эсеге-малану.

И так улетела она к своему отцу.

А старик с сыновьями и дочерьми остался дома и свой век прожил здесь.

Девять сыновей большими баторами стали, по земному шару путешествовать стали, а девять дочерей приплод дали, и от них все города, деревни стали.

Сказка рассказана А. Тороевым на русском языке;
запись *Александра Гуревича*

Вячеслав Тychинин

Едем в таёжный край!..

Отрывок из романа «Большая Сибирь»

За окном легко прошуршали шины автомобиля. Скрипнули тормоза, хлопнула дверца и сейчас же послышались знакомые быстрые шаги. Татьяна спустила шитье на колени, отогнула край батистовой занавески. «Так и есть, Миша подъехал». Номерной знак был закрыт зелёным штакетником, но Татьяна и без номера из сотни других узнала бы старенькую, бутылочного цвета «эмочку» мужа с её лопнувшим наискось ветровым стеклом, закрашенной вмятиной на левом заднем крыле.

— Наташенька, папка приехал!

Шестилетняя девочка в красном платице с радостным визгом вскочила на ноги и побежала к двери. Михаил подхватил дочку и звонко чмокнул её в румяные щечки.

— Обедать будешь? — озабоченно спросила Татьяна. — Сейчас борщ разогрее. Умывайся пока.

— погоди, Таня, с обедом. Тут такое дело заваривается...

— Какое дело?

— А вот, читай!

Михаил подсел к столу, бережно расправил на нём смятую газету, ещё пахнувшую свежей типографской краской. Наташа удобно устроилась на коленях отца и, не теряя времени, сейчас же принялась крутить пуговицу на его гимнастёрке. Подошла к столу и Татьяна. Она пробежала глазами по странице. Половина её была занята объявлениями.

— Что тут интересного? Не вижу!

— Ты не туда смотришь, вот, читай! — показал пальцем Михаил на большое объявление в рамке, набранное жирным шрифтом.

— Главному управлению «Большая Сибирь», — вслух прочла Татьяна, — требуются: дорожники, связисты, горные мастера, инженеры и техники автотранспорта... а, вот!.. автомеханики, шофёры первого и второго классов.

— Ты знаешь, Таня, — возбуждённо перебил жену Михаил, — я уже и к уполномоченному по набору кадров съездил, обо всём разузнал. Договор — на три года. При выезде — подъёмные, в пути идут зарплата и суточные. Само собой, оплачиваются дорога, багаж мне и всей семье. Зарботки у шофёров там хоро-

Тychинин Вячеслав Васильевич, прозаик (1909, Ново-Александровск Ковенской губ. — 1994). Автор книг: *Большая Сибирь*: роман (Иркутск, 1952); *Год жизни*: роман (Иркутск, 1958); *Отважные мальчишки*: рассказы (Иркутск, 1961); *Трое из океана*: приключ. повесть (Иркутск, 1963); *Птичий перевал* (М., 1964); *Снежная Россия*: роман (М., 1964); *Жёлтая операция*: рассказы (Воронеж, 1967); *Каникулы на колёсах*: повесть (Киев, 1988) и др. Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1950 – нач. 1960-х гг.

шие. Дороги нашим донбассовским не уступят. Рейсы дальние, не то что здесь — мотаешься, как белка в колесе. Не понравится — через три года выедем, а понравится — получим отпуск на полгода, и ещё поработаем. А главное — Сибирь увидим, тайгу исколесим... Сколько интересного!

— Да ты, Миша, не наездился ещё что ли, не посмотрелся? — нахмурилась Татьяна. — Пора бы уж остепениться. Три десятка лет за плечами, двух ребят имеешь, а всё как маленький. Ведь ты без нас сколько ездил, меня с Наташкой таскал за собой в Горький, Киев, Ростов. А в войну, где тебя только не носило? Я думала, теперь ты хоть здесь утомонишься...

— Так это что: Ростов, Киев, Горький... Это же рядом, чуть не за первым поворотом. А то — Сибирь, тайга, тысячевёрстные просторы. Иначе мы никогда в жизни там не побываем. Поедем, Танюша, а?

— Ну что ты, Миша, ей-богу. Валечке всего полтора года. Как с ним в поезде? Вдруг заболит в дороге? Огород у нас. Уже редиска вылезла. Скоро картошку сажать будем. В гараже тебя ценят. Мне только вчера завгар тебя хвалил. И начальство к тебе хорошо относится. Машина старенькая, так ты её уже наладил: новый мотор поставил, радиатор... С квартирой устроились, наконец. Вот, видишь! Как же нам всё это бросить и ехать на край света? Через год-два Наташе в школу идти. А есть она там или нет?

— Эх, жена, жена, — засмеялся Михаил, — стареешь ты у меня, тяжелей на подъем становишься. А помнишь, Танюша, как бывало?.. Ребята у нас крепкие, ничего с ними не случится. Огород недолго и по боку. А насчёт школы не беспокойся. В наше время они везде есть.

— Боюсь я, Мишенька, — Татьяна положила руки на широкие плечи мужа, — боюсь... Даль-то какая!

— Глупышка ты моя, — ласково привлёк к себе жену Михаил, — ничего не бойся. Три года пролетят быстро, оглянуться не успеешь. А вернёмся — домик построим. Ты ведь давно мечтаешь о своём уголке. Здесь на дом нам не собрать, из зарплаты не выкроишь. То ребятам, то себе каждый месяц что-нибудь купить нужно. А там я тебе на хатку заработаю.

— ...Растревожил ты меня. Не знаю, что и сказать. Подумать надо хорошенько. Наташенька, поедем с отцом или не надо? — нагнулась Татьяна к дочке.

— С папой! — ответила Наташа, обнимая пухлыми ручками шею отца.

— Вот, и дочка за меня, — улыбнулся Михаил. — Ах, ты, умница!

Он осторожно опустил ребёнка на пол и встал.

— Я обедать не буду. Вечером приду, за ужином всё обсудим. И надо поговорить с Ромейко, а то мы здесь всяких планов понастроим, а парторганизация не отпустит, и делу конец.

— А ты ещё в партбюро не был?

— Нет, я прямо от уполномоченного к тебе. С кем же мне прежде всего посоветоваться, как не с тобой?

— Вот видишь, может быть, зря только меня пугаешь.

— Думаю, что не зря. Люди у нас всюду нужны, но там, в Сибири, особенно. Секретарь парторганизации не будет смотреть с местной колокольни. Да и замечу мне нетрудно найти. Не очень незаменимый спец. Вот с Андреем Осиповичем придётся разговор выдержать. Он ко мне за год привык, не захочет, наверное, нового шофёра на свою машину сажать.

— Да, Миша, — спохватилась Татьяна, — а с Кедровыми ты не говорил? Они не собираются ехать? Как же мы с ними расстанемся? Вот если бы Лариска с Николаем решились, тогда другое дело.

— Я им сегодня же позвоню, пусть придут на семейный совет. Конечно, будем только вместе решать. Сына-то почему не слышно?

— Спит твой сын.

— Ну, ладно, Таня. В общем, до вечера.

Фыркнул мотор, — и «эмка» побежала по улице, легко переваливаясь на ухабах. Недавний тёплый дождь освежил весенний воздух, но всё-таки в нем ощущался горьковатый запах тлеющей породы, неистребимый, пропитывающий почти все небольшие города Донбасса, окружённые шахтами. На западе кучились облака, пронизанные лучами заходящего солнца. На их фоне чётко рисовались железный копёр восстановленной шахты № 6-бис и остроконечные терриконики породы. На металлургическом заводе ещё не кончилась смена, улицы были пустынные.

В гараже Михаил прежде всего снял телефонную трубку.

— Девушка, дайте шестую-бис! Шестая? Дайте нарядную. Это кто, нарядчик? Скажите пожалуйста, горный мастер Кедров в шахте или уже сменился? Я вас попрошу, как он подымеется, пусть позвонит по телефону три девяносто семь, Туманову. Передадите? Вот спасибо!

Пока Туманов говорил по телефону, проворный слесарь уже начал хлопотать около автомобиля: долил автола в картер мотора, проверил воду в радиаторе, осмотрел рулевые и тормозные тяги. Михаил одобрительно хлопнул слесаря по плечу:

— Старайся, Васёк, старайся. Скоро сам на ней будешь ездить. Не зря же ты шофёрские права получил. Давай и я тебе помогу. Надо диафрагмы бензонасоса сменить. Я ими займусь, а ты свечи выверни и прочисти. Нагару много накопилось.

Насвистывая песенку, Михаил углубился в работу.

Автомобильное дело для него было не только профессией, дающей заработок, но и настоящей страстью. После окончания средней школы перед юношей открылось много заманчивых дорог. Но Михаил не колебался. Через неделю после выпускных экзаменов, покинув родной Пятигорск, он поступил в легковой гараж обкома в Нальчике. Подпоясанный широким ремнём, в синем комбинезоне, выстроченном белыми нитками, молодой помощник шофёра усердно мыл шершавые деревянные колеса старого «Линкольна», натирал до блеска мягкой тряпкой мотор, накачивал шины.

Сколько было радости, когда старый шофёр дядя Коля в первый раз взял его с собой на заправку и, отодвинувшись на кожаном сиденье, буркнул:

— Держи руль!

Незаметно пролетели месяцы, заполненные любимой работой. Днём Михаил ухаживал за «Линкольном», помогал слесарям, а по ночам, обложившись учебниками, изучал автодело. «Жиклер», «бобина», «сателлиты»... Эти таинственные слова стали вскоре понятными и простыми. Теперь дядя Коля посылал его одного на бензоколонку заправить автомобиль. Длинная машина бесшумно катилась по улице, а за её отполированным штурвалом сидел замиравший от восторга Михаил в коричневой кожаной курточке, мохнатой серой кепке. Все девушки смотрели только на нарядного шофёра, управлявшего красивой машиной кофейного цвета с никелированной ребристой борзой на радиаторе, выбросившей лапы вперёд. Встречные автомобили почтительно уступали дорогу.

Может быть, это было и не совсем так, но молодёжи свойственны обольщения...

Меньше чем через год Михаил успешно заехал на учебном «рено» задним хо-

дом в «ворота», изображённые двумя шестами, по всем правилам пересёк оживлённый перекрёсток, без запинки ответил на вопросы о четырёх тактах, устройстве заднего моста «АМО», о правилах уличного движения и получил заветную красную книжечку шофёра третьей категории.

Много воды утекло с того времени. Всюду побывал молодой шофёр...

Медленно оседала жёлтая пыль на прямых, как стрела, рейдерных дорогах, что разлиновали на шахматные клетки необозримую степь Ставропольщины. Стремительно спадали вниз перед радиатором машины Михаила петли Военно-Грузинской дороги. Задыхающийся грузовичок взбирался к подоблачным перевалам Памира, покрытым вечными снегами, чтобы сейчас же скатиться в зелёные кудрявые долины. С рёвом буксовала потрёпанная неуклюжая пятитонка «Союзтранса» в грязных закоулках, железнодорожных тупиках Ростова-на-Дону...

Давно уже страна отказалась от иностранной ветоши. Остались позади объявления частников на последней странице журнала «За рулём»: «Обучаю практической езде», общество «Автодор», споры — покупать ли подешевле подержанные автомобили за границей или налаживать своё производство... Партия сказала своё слово. Поднялись просторные корпуса Горьковского автозавода. Зашумел главный сборочный конвейер Московского автомобильного гиганта. С «фордов», «шевроле», «фиатов», «СПА» наши шофёры пересели на неутомимые «зисы», проворные «газики», выносливые «ярославцы».

Исчезли первые, полудетские восторги. Они сменились ровной, прочной привязанностью к автомобилю. Михаил полностью изведal нелёгкий, часто опасный труд шофёра. Много раз он смотрел прямо в лицо внезапной опасности. На годы запечатлелось мгновенное замирание сердца, когда, прижимаясь к откосу, по каменной полочке, вырубленной над ревущим Тереком, он пробирался в ущелье на легковом «газике», а из-под заднего колеса в бездонную пропасть рухнул кусок дороги, размытой дождями. Памятен день, когда на спуске с перевала лопнула тормозная тяга, и автомобиль рванулся вперёд... Однажды только молниеносная и точная реакция помогла ему удержать на дороге свой «ЗИС-101», когда на стокилометровом ходу со звуком выстрела лопнула передняя шина.

Давно уже Туманов стал шофёром первого класса, одинаково уверенно открывал капот и устранял неисправность в двигателе любой отечественной марки. Но теперь он собирается в далёкую Сибирь. Хватит ли его знаний, опыта там, на новом месте?

Увлечённый своими мыслями, Михаил не расслышал дребезжания телефонного аппарата.

— Миша, звонят! — подтолкнул Михаила Васек. Туманов снял трубку.

— Гараж слушает. А, это ты, Николай! Здравствуй, Туманов говорит. Ты сегодня читал «Кочегарку»? Тогда долго рассказывать. Захватывай с собой Ларису и сегодня вечером приходи к нам. Есть важное дело. Надо его сообща обмозговать. В девять? Ладно. Только обязательно приходи. Ждём. Ну, пока!

2

Ровно в девять часов вечера в дверь квартиры Тумановых постучали. Михаил, уже выбритый, приодетый, улыбнулся:

— Вот аккуратный, чертяка! Давай, Таня, гостей встречать.

Прищурясь от яркого света, первой переступила порог жена Кедрова — Ла-

риса. Небольшого роста, блондинка с пышной волной шелковистых волос, падающих на плечи, быстрыми голубыми глазами, родинкой на левой щеке и своенравно поджатой полной нижней губкой, она была очень привлекательна. Лариса принадлежала к тому типу женщин, красоту которых составляют не классически-правильные черты лица, а милая женственность.

— Здравствуй, Танечка!

— Здравствуй, Ляля!

Подруги расцеловались.

— Садитесь к столу. Конференцию считаю открытой. Прошу вслух прочесть вот это объявление, — передал Михаил газету Николаю.

Кедров внятно прочёл всё, от слова до слова, и задумчиво взъерошил чёрную шевелюру.

— Та-а-ак... Насколько я понимаю, ты собрался в Сибирь и предлагаешь нам составить тебе компанию?

— Ты гений, Коля, я всегда это говорил.

— Что-нибудь тебе ещё известно, кроме объявления?

— Известно.

Михаил коротко пересказал результат своей поездки к уполномоченному и недавний разговор с женой.

— Я Мише говорю, — вмешалась Татьяна, — если вы поедете, то я согласна, так уж и быть.

— Как ты, Ляля? — повернулся Кедров к жене.

— Я не против. Не люблю киснуть на одном месте. Хочешь — поедем. Но уж если ехать, то, я думаю, благоразумнее будет сначала вам, мужикам, отправиться одним, устроиться, осмотреться, получить квартиры, а тогда и нас вызывать к себе. У Тани ребята. Ей нельзя лезть в воду, не зная броду.

— Лариса права, — поддержала её Татьяна. — Вот только, — добавила она, смеясь, — веры вашему брату нельзя много давать. На моего-то девушки, может, не очень польстятся, а уж Николая сразу утащат к себе.

Татьяна окинула взглядом красивое лицо Николая. Под широким лбом блестели живые черные глаза. Улыбка обнажала двойной ряд крепких белых, без единого изъяна зубов. Упрямый подбородок выдавался вперёд. Большая голова легко сидела на короткой, сильной шее.

— Ну и пусть, — в тон ей подхватила Лариса, — невелика потеря. А мы тут тоже тогда не растеряемся.

— Цытьте, бабы, — шутливо прикрикнул Николай на подруг, — типун вам на язык.

...До поздней ночи продолжалось горячее обсуждение. Татьяна уже два раза кипятила чай. Предстояло сделать важный шаг в жизни. Как-то там, в Сибири? Вспомнилось всё, прочитанное раньше в книгах: безбрежная тайга, буреломы, огромные реки, таёжный гнус... Конечно, теперь, при советской власти, всё неузнаваемо изменилось. Но есть ли там и сейчас, например, тёплые гаражи? Применяются ли механизмы на горных работах, или кайла и тачка ждут ещё замены? Жаль упустить случай побывать в далёких краях, а вместе с тем, как оставить здесь всё обжитое, такое знакомое?..

Наконец, решили: Туманову завтра же переговорить с секретарём партийной организации Ромейко, посоветоваться с ним, узнать — не будет ли препятствий к отъезду.

— Значит, так, — заключил Кедров, вставая, — завтра же ты, Миша, всё это

утрашаешь, звонишь мне и, если всё будет в норме, идём заключать договора. Была не была! Пол-Европы я объездил, а вот в Сибири не бывал.

Михаил проводил Кедровых до калитки.

— Держись правее, там улица шлаком досыпана. Налево после дождя грязно, — посоветовал он другу. — Так до завтра?

— До завтра! — донеслось в ответ.

3

Рано утром, засунув бутерброд в карман пропахшей бензином куртки, Туманов, как всегда перед уходом в гараж, осторожно расцеловал спящих детей. От сына уютно пахло молоком и пелёнками. Он тоненько посапывал носом. Дочка подложила руку под голову и дышала беззвучно, свернувшись клубочком. В складках её одеяла дремал котёнок. Татьяна тоже спала, обняв обнажёнными руками подушку. Всё в доме дышало покоем. Выйдя на цыпочках из комнаты, Туманов плотно прикрыл за собою дверь и спустился со скрипучего крыльца.

Васёк уже был в гараже. Рядом с «эмкой» Туманова стояли две машины, забрызганные до крыш жёлтой глиной.

— Видать, полазили по району, — кивнул на них слесарь, — у одной рессора лопнула, у другой картер помят. И захлюпанные, как черти.

Туманов осмотрел свой автомобиль и убедился, что всё в порядке. Бак был полон. Ни одна шина за ночь не спустила. Промытые стекла и кузов блестели.

— Ну, Васек, я пошёл к Ромейко. Если хозяин мою машину вызовет, звони туда.

— Есть!

Секретарь партбюро был один.

— Можно, Борис Владимирович? — приоткрыл дверь Туманов.

— А, это ты, Михаил, заходи, заходи! — Туманов подсел к столу.

— Вы уже, наверное, читали в газете: Главное управление «Большая Сибирь» вербует разных специалистов...

— Читал. Это объявление не одному директору кровь испортит, — засмеялся Ромейко.

— Вот и я по этому же делу пришёл. Вчера у нас дома целый военный совет заседал. Решили — ехать. А как вы на это смотрите, что посоветуете? Снимет меня горком с партийного учёта или нет?

— Понятно, — протянул Ромейко. Крупная складка пересекла его высокий лоб. Отодвинув с шумом стул, он зашагал наискосок комнаты. — Серьёзный вопрос.

Туманов следил глазами за худощавой фигурой секретаря. Левый рукав пиджака Ромейко был пуст. Несмотря на штатский костюм, в секретаре легко угадывался кадровый офицер, по особой чёткости поворотов, постановке головы, манере держать плечи.

— Один думаешь ехать? — коротко бросил Ромейко.

— Пока да. А потом семью вызову, как устроюсь.

— Я не о том. Один собираешься или с каким-нибудь товарищем?

— Вдвоём. Есть тут, на шестой-бис, горный мастер Кедров. Корешок по Третьему Украинскому, бывший старший лейтенант.

— Это хорошо. Тоже коммунист?

— Нет, беспартийный.

— Что ты знаешь о тех местах, куда собрался?

— Почти ничего, — честно признался Туманов. — О советской Сибири наши писатели ещё немного написали. Уполномоченный говорил, что дороги там хорошие. А насчёт местности и он не знает, не бывал. Тайга, наверное... О морозах предупреждал. Ртуть замерзает.

— Ну, ртуть замерзает уже при тридцати шести градусах, — сказал Ромейко. — А там бывает значительно больше. Так что это не показатель.

— Может, вы бывали там?

— Нет, не приходилось. Но кое-что слышал. В районе деятельности главка «Большая Сибирь» всюду горы. Сопки, по тамошнему. Много леса, рек. Климат очень суровый. Зато край имеет огромную будущность. Работать там — почётное дело. Но жизнь нелёгкая. Это — во-первых. Теперь, второе, — круто остановился Ромейко. — В те места едут люди, главным образом, трёх сортов. Самая малочисленная, но вредная категория — любители длинного рубля. Им наплевать на северную экзотику, будущее края, гордость за своё предприятие. У них одно в душе — чистоган. Надёргал длинных рублей, сколотил круглую сумму, и — до свиданья. Вторая категория — партийные и хозяйственные работники, посланные партией в отдалённые районы Сибири для её освоения. Они руководят прокладкой новых дорог, строят в тайге прииски, налаживают настоящую, большевистскую жизнь. О них много распространяться незначет. Это — солдаты сталинских пятилеток. На Магнитке, в зерносовхозе «Гигант», в тайге, всё равно — всюду они делают то, что велит партия, ведут за собой народ. И, наконец, третья категория людей. Их больше всего. Это — рядовые работники. Им никто не приказывает ехать в Сибирь. Они сами стремятся туда. Хотят побывать на далёких окраинах страны, своими глазами, не в кино, увидеть их, изучить. Такие люди едут с открытой душой, чистыми руками. Они готовы работать много и напряжённо, содействовать освоению края, разумеется, что в какой-то мере они и материально заинтересованы. А ты сам к какой категории относишься? — неожиданно повернулся Ромейко к Туманову.

— Думаю, что к последней, — твёрдо выдержал Михаил пронизательный взгляд секретаря.

— И я так думаю, — удовлетворённо наклонил голову Ромейко. — Теперь насчёт моего совета. Здесь, в Донбассе, разорённом войной, на счету каждая пара рук. Но там люди ещё нужнее. Мы не имеем права задерживать тех, кто сам хочет ехать на трудный участок. Это будет не по-государственному. Ты молод, здоров, поезжай! Я сам замолвлю за тебя слово в горкоме. Но помни, Михаил, — Ромейко подошёл вплотную к Туманову, — всегда и везде, что ты коммунист. На тебя люди смотрят. И ещё одно. Хоть ты и не коренной донбассовец, а всё-таки везде в документах будет напечатано: «прибыл из Донбасса». Значит, держи нашу марку и в Сибири. А теперь, давай руку! — заключил секретарь.

Михаил схватил обеими руками худую кисть Ромейко и сжал с такой силой, что тот поспешил её отнять.

— Спасибо вам, Борис Владимирович, спасибо!

— Да за что же спасибо? Чудак ты этакий. Не было бабе хлопот, так купила поросё... Жил ты себе тихо, благородно, а теперь надо подыматься за тридевять земель. И я хорош — нет того, чтобы отговорить парня, сам туда же... А ты — спасибо!

— Нет уж, Борис Владимирович, спасибо. Теперь для меня всё прояснилось.

Натянув кепку, Михаил торопливо побежал в гараж.

«Хороший хлопец», — тепло подумал Ромейко.

В гараже было шумно. Собрались все шофёры. У одного автомобиля регулировали тормоза и, несмотря на распахнутые настежь ворота, в воздухе плавали синеватые слоистые полосы отработанного газа. Васёк сворачивал брезентовую сумку с инструментом. Он только что заменил лопнувший коренной лист рессоры и теперь жадно затягивался самокруткой. Завгар распекал за что-то тщедушного, сутуловатого шофёра.

Вскоре «эмку» Туманова вызвал начальник. Пользуясь тем, что Андрей Осипович был в хорошем настроении, Туманов завёл с ним длинный дипломатический разговор о своих планах и добился согласия на отъезд, при условии, что раньше он поможет Василию освоиться с машиной.

Илья Чернев

ФИНОГЕНЫЧ

Отрывок из романа «Семейщина»

Глава первая

1

У лобастых сопок, покрытых густым сосняком, на излучине резвой черноводной речки поставил Иван Финогеныч своё зимовье. Зимовье оперлось пряслами заднего двора в мокрый травянистый берег. Кругом высятся, замыкая со всех сторон небо, мохнатые лесистые кряжи. Ель, лиственница, а больше всего — сосна. Вверху гудят мягким гудом сосны, внизу без умолку шебаршит по камням Обор.

Иван Финогеныч поднялся в полугору, оглядел дикую эту местность, только что срубленное зимовье, просторный двор.

«Ладная будет заимка... Иной и не найдёт ещё. Не вдруг-то сыщешь здесь... Эва, забрался куда!..»

И то сказать: забрался Иван Финогеныч далеконок. От деревни дорога — не дорога, а тропа малохоженная — идёт сперва хребтами, потом мокрой луговиной, на которой ежегодно косят никольцы густую сочную траву, потом тряской топью и, наконец, снова подымается в сопки, в хребты. Перед самой заимкой — вёрст пять — бурый, с прожелтью, частый и острый камень. Трудная и муторная дорога — вёрст двадцать пять от деревни.

Но Ивану Финогенычу по душе пришлось это место. В прошлом году, во время сенокоса, очутился он, гоняясь как-то за козулей, у излучины Обора. Скинул охотничью сумку, вытянулся с устатку во весь свой богатырский рост в мягкой пахучей траве. Булькала рядом говорливая речка... Ивана Финогеныча брала досада: ушла меж сопок быстроногая козуля, — замаялся попусту. А он ли не первый на деревне охотник!

Маята, впрочем, была невелика. Иван Финогеныч по праву слыл у себя в деревне силачом, лёгким на ногу, — десятки вёрст, бывало, обегает с берданкой; неутомимым косцом, — всегда впереди мужиков звенит на лугу его литовка.

Чернев Илья (Леонов Александр Андреевич), прозаик (1900, Николаевск-на-Амуре — 1962, Москва). Автор книг: *Дворцы на Кульдуре* (М.; Иркутск, 1932); *Семейщина: Летопись родного села* (М., 1935); То же (М., 1947; М., 1952; М., 1963; М., 1974); *Лягушка не знает океана*: повесть (М.; Иркутск, 1936); Перераб. изд. повести *Дворцы на Кульдуре*; *Таёжная армия*: повесть (М., 1937); То же (Хабаровск, 1974); *Летопись родного села*: роман (М., 1952); *Мой великий брат*: роман (Чита, 1954); То же (М., 1957; М., 1959). Член Иркутской организации Союза писателей СССР в нач. 1930-х гг.

Всякое дело ловко спорилось в его длинных, чуть не до колен, жилистых руках... Полежал он в траве, перевёл малость дух, как молодой вскочил на ноги и давай ладить из тальниковых прутьев морду.

К вечеру принёс он своим ребятам на покос десятка два ленков, хариусов и разной мелкоты.

— Потеряли тебя, батя, — сказал старшой, Дементей.

— Потеряли, так получайте! — усмехнулся Иван Финогеныч и высыпал перед костром рыбу из мешка.

— Уху ладьте. А утресь я догоню свою долю... што пробегал... Ну и места, скажу я вам, ребята!.. Вот бы заимку где поставить. Да зажить бы! Рыбу ловить почну мордами. Охота богатящая. Зверь по сопкам шляется, следы приметил. И скоту вольно: траву на берегу Убора хоть коси, хоть руками рви...

Засвербело с той поры в голове Ивана Финогеныча насчёт заимки на Оборе.

Но не только охота и рыбная ловля прельщали Финогеныча. Была и другая причина тому, что жизни в большой деревне предпочёл он нелюдимое оборское уединение. Не мог он выносить дольше пьянства и жадности людской, не мог смотреть, как рушатся на его глазах устои семейского быта:

— Пьянство в Микольском нашем за эти годы расплодилось почитай в каждом дворе... А жадобы нечистой от сибиряков нахватались, — откуда што взялось!

На всю жизнь запомнились Ивану Финогенычу рассказы прадеда Мартына. Пригнала семейщину царица Екатерина с далёкой Ветки, из-под города, кажись, Гомеля, от самых польских земель, за Байкал, в горы да степи, к Хилку и Селенге, на край света... Полторы сотни лет с той поры минуло, — может, больше, а может, и меньше, — кто считал... Прадед Мартын частенько говаривал, что выгонка с Ветки началась ещё при прежних царях, а Екатерина, полюбовно разделившая Польское царство с прусским и австрийским государями, совсем очистила Волынскую, Могилевскую и Черниговскую губернии от русских староверов-беглецов, выселила их в Сибирь. Часть этих беспоповцев осела на Алтае, на речке Бухтарме, но многих повезли ещё дальше — к монгольским границам, в край неведомых кочевников. И за что натерпелся народ? За старую веру, за старые книги, за двуперстие муку приняли, — шли покорно, а зловредным никонианцам не покорились. Крепки в вере! Целыми родами, большими семьями везли их сюда, за многие тысячи вёрст, царёвы слуги, — оттого и стали они, люди старой веры, прозываться семейскими, а про себя попросту — семейщиной. И, сказывают, приказала Екатерина дотла спалить Ветку...

Туго пришлось сначала в необжитом этом краю среди диких хребтов и нетронутых увалов. Мало того: и здесь довелось воевать с царскими исправниками, заседателями, майорами и прочим начальством, когда оно снова стало теснить за веру, силком заставляло распахивать трудные земли, надевая строптивым деревянную колодку на шею, угнетать налогами и поборами. С годами, однако, утряслось. Исправники на крепость семейскую напоролись и поотстали. Но была и другая беда: исконные жители этих мест, буряты-степняки, братские, как их сразу же окрестила семейщина, давным-давно заняли лучшие земли под пастбища для своих многочисленных стад — тридцать две десятины на душу. Семейщина такого басурманского раздолья стерпеть не могла, выходила на запашку бурятских земель вооружёнными отрядами, теснила братских, а заодно с ними и русских старосельцев в дальние степи. Не хотелось жить семейщине в тесноте, и она самовольничала, благо отсюда до царя и губернатора далеко, самочинно без спросу поднимала

целину увалов, раскорчёвывала тайгу. А иные, плюнув на эту нелёгкую беспокойную жизнь, сразу же подавались ещё дальше на восток. Самовольство семейских мужиков в борьбе за землю подчас оборачивалось большою кровью. Ещё поначалу, встретив отпор Гашейского улуса, не пожелавшего уступить им несколько тысяч десятин чернозёма, семейские темной ночью напали на улус и вырезали всех братских вплоть до последнего младенца. С кровью и боем уступали братские свои земли, но постепенно смирились. И зажила семейщина вольготно; пашни хоть и не то чтоб вдосталь на всех, но земля жирная, кормит без отказа; зверя и птицы перелётной, непуганой — хоть палками бей.

Так рассказывал прадед Мартын.

Прадед перекочевал с Бряни на Тугнуйскую степь, и пошло здесь новое селение Никольское. Теперь оно широко размахнулось по степи, привольно разбросав на её бархатной груди свои концы-порядки: Кандабай, Албазин, Краснояр, Закоулок... Прадед слышал от сторонних людей, что на месте Никольского за сотню, без малого, лет до семейских поселились албазинцы, казаки, храбрые защитники пограничного Албазина, разрушенного маньчжурами. И точно ли Никольское было основано семейщиной, никто этого не помнит. Ивану Финогенычу сдаётся, что до прихода прадеда на Тугнуй здесь уже стоял Албазин — в честь разрушенной крепости.

Вспоминая рассказы покойного прадеда, Иван Финогеныч мрачнел:

«Так бы и жить никольцам в сытости, в согласии, в старой крепкой вере, без вина, без лихованья. Ан нет: потянулся народишко на прииска, на какую-то Лену, на Олёкму, за золотым бесовским песком — богатства невесть какого захотели. Слух идёт: бешеное золото на Олёкме-реке. Оттуда возвращаются в высоких подкованных сапогах с ремешками, в висячих шароварах, с золотишком, с гармошками, с водкой. Пристрастился народ к этой водке, к винищу проклятому. Грех стал забывать. Чего доброго, брить бороды скоро зачнут, табачным зельем ноздри опоганят! От вина и раздоры пошли и жадность. Раньше по закону жили все согласно. А теперь которые посильней — к чужой земле руки загрязбевающие тянуть стали, скот приумножать, покосы захватывать, работников к себе брать. Которые послабже — сдавать начали...»

Не нравилось всё это Ивану Финогенычу: в этом он видел крушение древних, богом данных устоев. Надо было оберегать от греха лютого и себя и детей. Сынов пристрастил он с малолетства к охоте: уйдут ребята в сопки, в тайгу, неделями караулят изюбрей, сохатых, коз, — смотришь, и вовсе уберегутся от греха, минут приискательского противного пьянства, не набалуются с чужаками. Старшой, Дементей, в прошлом году ходил на призыв, тащил жребий — высокий номер вытянул, слава богу, отпустили. Иван Финогеныч женил парня, при себе держал, не в отделе. Второму, Андрею, на призыв идти через год, — пока в холостых гуляет. Непьющие парни, послушные, умные, работающие. Дочка ещё есть — та уже отрезанный ломток. Семнадцатилетнюю Ахимью, высокую, крепкую, будто в кузне сбитую, Иван Финогеныч выдал недавно в крайнюю улицу за Кондрахина парня Аноху. Парень из себя черняв, маломерок, но хозяйство справное, — вся семья работники.

Пристроив большака и девку, Иван Финогеныч подался с бабой на Обор, на облюбованное место, — подальше от греха.

— Паши с Андрюхой землю, хлебушко убирай, — наказал он Дементею, — а я скот угоню на заимку, пасти и доглядать его стану, — не ваша теперь забота... Наезжайте почаще. Будем за козами ходить вместе.

Больше ничего не наказывал Иван Финогеныч. Знал: сыны непьющие,

справные, хозяйственные, с приискателями путаться не станут, не к тому приучены...

Вот и теперь, оглядев новую заимку, он довольно подумал: «Управятся сыны, неплохого корню... А у меня тут и тихо и вольготно... благодать!»

2

Был Иван Финогеныч ещё совсем молодой: сорок, кажись, с небольшим. Да кто их считал, года-то! Это не у православных, не у сибиряков, которым по каждому при рождении метрики пишет. Семейским, старой веры людям, такое письмо — живой грех. И счёт годам по большим праздникам, по вёшным, сенокосам, петровкам да покровам ведётся.

Выглядел Иван Финогеныч моложаво. Темно-рус, борода срезанным клином, глаза на продолговатом, чуть скуластом лице — маленькие, серые, острые, пристальные, но добрые. На высоком лбу большая в волосях зализина. Руки длинные, узловатые — широкая кость.

— Энтими бы ручищами ещё пни на пашне корчевать, а ён на заимку, на лёгкую долю, на сыновью шею, — осуждающе гуторили соседи. — И ведь сказывал, насовсем из деревни уочевал... Эки дела!

До Ивана Финогеныча — через сынов — доходили эти речи, и, добродушно усмехаясь, он говорил жене:

— Ничо, Палагеюшка! Мы ещё найдём работёнку, найдём. Огород какой ни на есть надо? Надо. Скотишку у нас вдосталь? Вдосталь. Пастуха пускай люди наймают, а мы сами управимся. Да и поглядим ещё: може, и впрямь вон ту сопку раскорчую под пашню. Поглядим ещё, старуха! Рано забрехали!

Палагея только молча вздыхала.

Она не одобряла затеи мужа: от сынов, от дочери, от родни, от привычной, с праздничным шумом, многолюдной деревни, от разговоров у колодца с соседками увёз он её в сопки — на комара, на вековую скуку и немоту. «С бурёнками да баранухами... пойдё разговоришься!» — сокрушалась она втайне. Но мужику не перечила.

— Не по душе тебе? — пристально уставился однажды Иван Финогеныч в хмурое лицо жены. — Не глянется заимка?

— Что ж глянется! — Палагея отвернулась к очагу.

— Попривыкнешь... Работай знай. Вишь коровёнок сколь, знай масло сби-вай...

— Да комарей корми! — отозвалась Палагея.

Он беззаботно расхохотался:

— Видал, видал, как ты даве от комарья отбивалась... Ничо, попривыкнешь! Парней да девок носить опять станешь, недосуг будет скучать-то... Молодуха ещё!

На этом разговор и закончился.

В противоположность жене, Иван Финогеныч ничего и никого не жалел в оставленной деревне, особенных привязанностей ни к кому не питал. На своих никольских мужиков он смотрел немного свысока, считал себя дальновиднее их. Эта его гордость как-то сама собою прикрывалась неизбывной весёлостью, постоянным добродушием и никого не обижала.

Никольцы считали Ивана Финогеныча мозговитым и дельным мужиком, ча-

стенку приходили к нему просить совета в делах житейских. Годов тому семь, когда Финогенычу ещё и сорока не было, его, молодого, на деревне старостой поставили, — неслыханное раньше дело!

В гневе Иван Финогеныч бывал горяч. Тогда выворачивал он наизнанку душу, кричал такое, в чем не всегда потом признавался и самому себе.

Однажды — это было в дни сборов на заимку — он с утра возился во дворе, починял в завозне сбрую. Сыновья только что выехали в поле. В открытые ворота проковылял Пантелей Хромой, сосед:

— Здравате... Бог помочь.

— Здорово живёшь. Заходи чаевать. — Иван Финогеныч воткнул шило в хомут и поднялся навстречу.

Пантелей подпрыгнул на здоровой ноге:

— Сынов отправил — и ворота, захлопнуть некому. Дай-кась я...

— Пушай! — оборвал его Иван Финогеныч.

«С чего бы он... хорохорится?» — вглядываясь в тёмное лицо соседа, подумал он — и разом понял: хромой пришёл отговаривать от переселения на Обор.

На лбу Финогеныча вздулась вдруг синяя жила, глаза потеряли обычную свою весёлость.

— Уйди... от греха! — молвил он глухо.

Хромой побледнел, отступил, но у самых ворот дёрнула его нелёгкая за язык:

— Мы всем миром заставим тебя, сход соберём, уставщика послухаешь!

Такого покушения на свою свободу Иван Финогеныч вынести не мог и выругался зло и длинно. Не в пример прочим мужикам, матерщину не любил, а тут, видно, взяло за живое, — пошёл костить:

— ...в душу непрошенных советчиков!.. Наймовали меня? В работники к себе взяли? А? Покуда своей волей живу, никого не спрашиваюсь!

— Ты постой, Финогеныч, постой, говорю... — растерянно забормотал гость.

Хозяин замахал руками:

— Нет, ты постой!.. По-твоему, я жизнь рушить вздумал? Так, что ли?.. А то не видишь, откуда поруха в деревне идёт: винищу лакать зачали — мер нет, за целковый наживы глотку перервут. Это как, — терпеть прикажешь?!

— Грех живой... антихристово наваждение, — согласился Пантелей, чтобы утишить бурю.

— Мне плевать на грех... и на антихриста! — закричал Иван Финогеныч. — Пусть уставщик о ваших душах заботится, а мне глядеть на вас тошно. Вот што! Какие вы есть семейские, коли вас жадоба сатанинская гложет. Не живётся вам по-хорошему, по-божьему... как отцы и деды. Ну, и я не хочу жить с вами, еретиками, прости господи!

Выпалил единым духом — и разом обмяк...

«Вот ведь, — раздумывал он час спустя, — плевать на грех... Слыханное ли дело!»

Он крепко досадовал на несуразную, в сердцах, обмолвку. Чего доброго, дознаются старики, понесут всякую напраслину. На этот счёт у них строго, — языка не распускай. Только это и скребло душу. Божьего же гнева на глупое своё слово он не страшился, о боге не привык шибко думать, и вечером, на сон грядущий, молился не усерднее обычного — чуть касаясь лбом пола, как ещё в детстве мать учила.

Посудачили никольцы насчёт чудного переселения Ивана Финогеныча на Обор, — тем дело и кончилось. Пантелей Хромой, вызвавший вспышку его гнева, отступился одним из первых:

— Укочевал вить, никого не послушался. А что к чему — где дознаешься...

Осень в этот год стояла долгая. Чуть не целый месяц после покрова возили никольцы тяжёлые снопы с полей на телегах.

— Снежищу чо навалило! — глянула в окно Устинья, Дементеева молодуха, проснувшись однажды ни свет ни заря.

На земле и на крышах по всему порядку лежала пушистая белая пелена. Коромыслами изогнулись черные тонкие молодухины брови, — какой негаданный снегопад!

— Будто смерётная одёжа, — прошептала Устинья...

Однако снег к полудню стоял, и жирная грязь пуще прежнего затопила улицы и проулки.

Потом ударили крепкие морозы, сковали землю, установилась зима — ветреная и малоснежная.

Мужики подались в лес, за дровами. Парни и девки забегали на посиделки, сходились в нетопленных горницах, в избах, где посвободнее да стариков помнее. Здесь заливались гармошки, бренчали бандуры-балалайки, в дальних углах, под расцвеченными кашемириками, закрывающими милующихся от постороннего взора, звонко, без стеснения, целовались, намечались свадебные пары...

Александр Шмаков

Карабановы

Рассказ

Четырех сыновей проводил на фронт бригадир сетевой бригады Карабанов. Остался Егор Семёныч с дочерью Аришей, снохой Дашей, внучком да женой Агафьей. Стало непривычно пусто в большом доме бригадира, пятью окнами смотревшем на Байкал. Чтобы не пугала пустота в доме, велел Егор Семёныч три окна в горнице закрыть на ставни. На душе легче у него от этого было. Семья собиралась на кухне, — все домашние перед глазами у него, только сынов нет... А о сынах в доме всё напоминало. Возвратится с улова довольным Егор Семёныч, переступит порог дома — мрачным делается лицо его, затуманятся глаза. Приветливо встретит сноха, подбежит черноголовый внучок Васька, ёкнет в груди Карабанова, — про старшего сына, Николая, вспомнит. Поднимет внучонка на руки, пощекочет жесткими усами его личико, а слеза готова из глаз брызнуть... Не вернется Николай в отчий дом. Убит под Ельней. Так гласит похоронная бумага от батареиногo командира: «Погиб смертью храбрых». Погиб! Давно ли вот так же на руках подбрасывал Егор Семёныч Николку и слушал, как он заливается смехом, похожим на звон колокольчика.

Зайдёт Егор Семёныч в горницу, книги, сложенные стопкой на столе, увидит, — книги о втором сыне, Михаиле, напомнят. Взглянет на стену — ружьё в чехле висит, — третий сын, Андрей, перед глазами встанет. Этот письма из-под Сталинграда посылал. Там по-гвардейски сражался и голову по-геройски навеки сложил.

Бросит взор Егор Семёныч на баян — отцовское сердце об Иване заноеет. Был он младшим из сыновей и ушёл на войну совсем молоденьким, на двадцатом году от роду. Молодо-зелено. Думает о нём Егор Семёныч больше, чем о других сыновьях.

...Вспоминаются Карабанову проводы Ивана. Ехал с ним до райвоенкомата, а когда вернулся, ночь тянулась тягостно.

— Последний ушёл... Спаси и сохрани его царица небесная! — всхлипывала в темноте Агафья.

— Перестань, не бреди душу...

Шмаков Александр Андреевич, прозаик (1909, г. Ботогол Красноярского края — 1989, Челябинск). Автор книг: *Рассказы о матери и сыне* (Иркутск, 1941); *Байкальские встречи* (Иркутск, 1946); *Петербургский изгнанник*: ист. роман. Кн. 1 (Новосибирск, 1951); То же. Кн. 1–3 (Свердловск, 1979); *Радищев в Сибири*: ист.-лит. очерк (Иркутск, 1952); *Гарнизон в тайге*: роман (Челябинск, 1959); *Наше литературное вчера* (Челябинск, 1962); *На литературных тропах* (Челябинск, 1969); *В литературной разведке* (Челябинск, 1973); *Письма из Лозанны* (Челябинск, 1980); *Азиат*: докум.-худож. повесть (Уфа, 1989) и др. Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1940-е гг.

— Сын, Иванушка, ушёл...

— Меня провожать доведётся. Эт-та война не на живот, а на смерть, Агафья!

Утром Егор Семёныч ушёл со своей бригадой в море и пробыл на ловле неделю. Старался забыть о доме, о сыновьях: на безбрежье морском рассеивал отцовскую тоску. К рулю, где стоял Иван, Егор Семёныч поставил дочь Аришу. Всю неделю приглядывался, как она работала. Спорилось дело у девки в руках. Радоваться бы отцу за дочь, ан нет!

Была Ариша голубоглазая, лицом бела, отменна в семье Карабановых. И за это недолюбливал её отец. Тайно, про себя, «подкидышем» звал. Был с дочерью груб и придиричив к ней. И ещё — не нравилось ему, что Ариша не в меру бойка на язык.

«По матери пошла, — размышлял Карабанов, — в её родове все разудалобойкие, без степенства».

Ариша побаивалась отца, пряталась от его сердитых глаз, но на вечеринках задерживалась допоздна. Звонкая песня её обрывалась на утренней зорьке. Знал это Егор Семёныч, говорил Агафье:

— Кровь в Аришке играет. Смотри, старуха, не принесла бы греха.

А Аришу неотступно обуревали другие желания: тянуло её к братьям на фронт. Успевала она и песни с девушками петь, и подгорную отплясывать, и в кружке ГСО заниматься. На комсомольском собрании Аришу в пример поставили, пообещали непременно на фронт послать. И вскоре Ариша действительно поехала на фронт. Вчера Арише сказали об этом, а завтра на катере выезжать надо. Это были, по счёту, пятые проводы у бригадира сетевой бригады Карабанова. Егор Семёныч распорядился по такому случаю во второй половине дома окна открыть, гостей пригласить.

Агафья с утра прибрала в горнице. Пыль со стен веником смахнула, паутины в углах сдёрнула, стекло в самодельной рамке, с фотографиями сыновей, старательно тряпкой протёрла. А часом спустя стали подходить к карабановскому дому гости.

Егор Семёныч в посконной рубаше, подпоясанной солдатским ремнём, в широких шароварах, заправленных в новые ичиги, встречал их у ворот.

Мужики задерживались и толковали с Карабановым о рыбацких делах. Бабы, принаряженные в старомодные длинные платья, с накинутыми цветистыми платками, проходили в калитку и поднимались на крыльцо.

Сватья Марфа — женщина мужского склада — плечистая, с длинными руками, перецеловавшись с Агафьей и Аришей, спросила, не помочь ли в чём им на кухне.

— Мне это сподручнее, по-свойски, — перебила её тётка Таня — жена старшего брата Агафьи, живая и проворная по натуре баба. Она подошла к Арише, что-то шепнула ей, сняла с неё беленький фартук. Ариша, весь день хлопотавшая с матерью на кухне, ещё не переодевалась, и тут же убежала в горницу принарядиться.

Любознательная Марфа успела заглянуть всюду.

— Даши-то с Васяткой нет, что ли?

— Погостить к родне в Селиверстово выехала, невесть почему задержалась, — возясь с приготовлением закуски, ответила Агафья.

— Без невестки закружилась, поди?

— И не говори, сватья, как без рук; за огородом и дома успеть надо...

Донеслись переборы гармошки. Из-за угла карабановского дома появился гармонист Сеня с двумя девушками в лёгких, ситцевых платьях с короткими

рукавами. Поравнявшись с Егором Семёнычем, Сеня растянул синие, почти такие же, как его косоворотка, меха гармошки, внезапно оборвал игру и отвесил мужикам общий поклон.

— Здравствуй, ежели не шутишь, — ответил за всех дядя Михай, проворный, коренастый, пожилой рыбак, любивший побалагурить с молодыми.

Девчата шмыгнули в калитку.

Открылось окно. Выглянула Агафья, подвязанная пёстрым платком, и пригласила всех в дом.

За большим столом в переднем углу, накрытом узорчатой скатертью, уставленном множеством тарелок и мисок, гости усаживались попарно на лавки, расставленные вдоль стен. На деревянных с отогнутыми спинками стульях пристроились девчата с гармонистом Сеней. Рядом стоял свободный стул для Ариши.

Карабанов тронул локтем жену, она позвала дочь и встала. За ней встали гости.

Ариша вышла из кути и остановилась посредине горницы. В голубом платье, светлолицая, сияющая, она, как незабудка, была свежа и хороша собою. Она знала: так провожали братьев, такими же будут и её проводы, и приготовилась покорно принять всё.

— Благославляю тебя, дочь, — молвила Агафья.

Мать говорила те же слова, какие говорил Егор Семёныч, когда провожал на фронт сыновей. «Не щадя жизни, биться с германцем, не забывать родителей и помнить родное село». Таков был родительский наказ. Агафья говорила медленно и важно, гордая тем, что Карабанов уступил ей право главы семейства на дочериних проводах.

Ариша стояла со склонённой головой, уронив светлые кудри на высокий, открытый лоб. Егор Семёныч, наблюдавший за дочерью, не мог разгадать, как глубоко западали в её душе материны слова.

Нетерпение тревожило сердце Ариши. Отец посмотрел на неё пристальнее и почувствовал, что дочь по натуре — капля воды — мать: и та в девках тоже была упрямой, своенравной и бойкой. Это и привязало его к Агафье на всю жизнь.

Карабанов перевёл взгляд на жену.

Агафья повернулась к божнице и устремила взор на почерневший лик богородицы.

— Царица небесная, пошли ей всяких успехов.

— Владычица когда-то расщедрится, а Ариша сама пусть не плошает, — резонно вставил дядя Михай.

Агафья недовольно полуобернула голову, покосилась на свата и тяжело вздохнула.

— Жалко, небось, — единственная дочка уходит...

Егор Семёныч, не любивший слёз, крикнул, протянул жилистую руку за жбаном и стал разливать бражку. Дядя Михай, пользуясь заминкой, незаметно подменил кружку, взяв себе побольше у зазевавшегося Савелия.

Карабанов поднял бокал и кивнул головой Арише, всё ещё стоявшей в нерешительности. Та, довольная, подлетела к столу и села с подругами.

— Дочка идёт в солдаты. Первая в карабановской родове...

Он чокнулся со всеми гостями и с дочерью.

— Чем обрадуешь, Аришенька?

— Умру или вернусь героем.

— О смерти не думай, — поучительно заметил Егор Семёныч, — «Смелого смерть боится», говаривал твой дед, когда провожал меня на германскую. Я из ада

живым вышел... Для верного солдата в схватке одна мера оградить жизнь — убить врага. Запомни...

— Верно, сват, верно! — подтвердил дядя Михай и пристукнул костылём об пол так, что на столе зазвенели кружки и стаканы. — Мы с Брусиловым в прорыв ходили, мы с дедушкой Каландаришвили тайгу прошли. Я ногу в боях с белыми потерял. Наград у меня нету, но завоёвана советская жизнь...

Дядя Михай проговорил это залпом и сразу осёкся.

— Что-то в горле пересохло. Егор, налей-ка ещё... — Дядя Михай выпил кружку, провёл широкой ладонью по бороде. Он уже явно захмелел.

— У тебя, Ариша, два брата погибли. А за что они сложили голову ты знаешь, а? За нас!

Он поднялся и развёл руками.

— За всю жизнь нашу, за всё...

Дядя Михай тяжело сел и, вспомнив, какие это были здоровые и дюжие рыбаки — Николай и Михайло Карабановы, тяжело вздохнул.

— Аришенька! — вставила жена Михея, — Аришенька, отца с матерью не забывай...

— Не то, сватьяшка, — перебил Карабанов и, чуть хмуря брови, посмотрел на Аришу. — У меня с нею особый разговор будет — солдатский...

За столом уже оживлённо разговаривали, спорили, что-то доказывали друг другу. Каждый спешил высказать нахлынувшие мысли, и горница наполнилась гулом.

Молчавший всё время высокий и сухолицый Савелий тряхнул за плечо дядю Михея.

— Скажи, где заглавный фронт, а?

— На западе, Савелий Иванович, на западе, — проговорил Михай.

— Нет, — возразил Савелий, — там и тут, единый он, — и ударил себя в грудь волосатым кулаком.

— Разве мы не воюем, а?

Сеня, не обращая внимания на разговоры мужиков, растянул синие меха двухрядки, и стальные голоса её разом заглушили гомон. Девчата, обняв Аришу, запели:

Дан приказ ему — на запад,

Ей — в другую сторону...

Бабы пытались подхватить песню, но, не зная её слов, только монотонно подтягивали. Мужики молча покачивали в такт головой и думали о своём: скоро ли с победой возвратятся теперешние фронтовики...

Карабанов то и дело посматривал на дочь. Он тоже думал о песне: затянули её девчата потому, что близка была она Аришиному сердцу. Вслушиваясь, Егор Семёныч различал крепкий и звонкий, будто душу ласкающий голос Ариши.

И родная отвечала:

— Я желаю всей душой:

Если смерти, то мгновенной,

Если раны, — небольшой...

Слова эти были не по нутру Карабанову. И так уж довольно смертей и ран в его семье! Он поднял кверху руки, растопырив толстые пальцы, просил:

— Сват, затяни-ка нашенскую.

Дядя Михей привстал. Он прокашлялся и, покручивая седой головой, запел:

Как Брусилов генерал —
Предводитель всем войскам.
Он коротко службу знает.
Сидит браво на коне,
Сидит браво, глядит прямо,
Саблей машет хорошо.

Егор Семёныч командовал:

— Бабы, подхватывай!

И разноголосый хор мужских и женских голосов подхватывал:

Сидит браво, глядит прямо,
Саблей машет хорошо.

Это была старая солдатская песня. Всякий раз её пели подвыпившие мужики, вспоминая свои дни и боевые походы. Нежные девичьи голоса теперь только подтягивали да, стараясь поспеть за тактом, вторил аккордами на гармошке Сеня. Ариша молчаливо наблюдала за всеми. Она знала: оборвётся песня, и дядя Михей начнёт рассказывать, как он со сватом ходил в прорыв, как Егор из рук самого Брусилова получал «Георгия» и как он, Михей, кричал «ура», кричал так, что назавтра у него глотку «перехватило».

Ариша смотрела на всё, что происходило за столом, уже равнодушно и устало. Дядю Михея она слышала раньше. Все его рассказы утратили для неё интерес. Её больше всего в эту минуту тревожил предстоящий «солдатский» разговор с отцом!

Всякий раз, как кто-нибудь из её братьев уходил на фронт, Егор Семёныч, закрывшись в горнице, подолгу разговаривал с ними. Братья выходили от отца молчаливыми и сосредоточенными. Что-то затаённо-гордое проступало на их сразу повзрослевших лицах. Ариша пыталась спросить, что говорил отец, но братья отвечали невнятно. Она сердцем чувствовала, что они были потрясены до глубины души отцовским разговором.

Теперь отец будет разговаривать с нею. Ариша не знала, что он скажет. И её одолевали назойливые, беспокойные мысли.

— Грустится тебе? — обняв Аришу, спросила Машутка — смуглолицая, похожая на цыганку, с жгучими очами, её одногодка-подружка.

Они отошли к раскрытому окну. Их освежила пресная прохлада моря, залитого лунным блеском. Живой, трепетный Байкал нагонял на берег волну за волной. Было слышно, как шуршала галька.

Ещё девчонкой, выбегая на берег, любила Ариша посидеть на камне, вслушиваясь в однотонный говор моря и стараясь понять, что нащёптывает Байкал. Под его шёпот хорошо мечталось. Теперь ей предстояло расстаться со всем, что было родным и заветным.

— Тосковать буду, — призналась она Машутке, и опять мысли её вернулись к предстоящему разговору с отцом.

Ариша взглянула на разомлевших от хмеля гостей... «Расходились бы, что ли, быстрее?»

Но уже вышла из-за стола сватья Марфа, и под ней жалобно проскрипели половицы. За женой потянулся дядя Михей, засобирались и другие гости. Расцеловавшись с Аришей, заторопились её подружки, а за ними гармонист Семён.

Пожилые гости, раскланявшись и пожав руки старшим Карабановым, подходили к Арише.

Марфа, припав головой к Аришину плечу, слезливо сказала, чтобы она не забывала родню и строже добавила:

— Парней на войне много, голову не свихни...

— Ох, эти бабы! — подталкивая жену и сжимая руку Ариши, проговорил дядя Михей, — не слушай их. Любить — люби, только в подоле ничего не принеси...

Тётка Таня, наконец снявшая фартук и больше всех умаявшаяся за вечер, ласково обняла Аришу и расплакалась. Дядя Савелий молча потрепал её по плечу и, подхватив жену, вышел.

Егор Семёныч стоял возле обитого белой жестью сундука, нетерпеливо покручивая ус, а когда горница опустела, сказал жене:

— Старуха, выдь-ка!

Агафья послушно вышла на кухню и плотно прикрыла за собой дверь. Ариша с пугливым любопытством наблюдала за отцом. Егор Семёныч подошёл к божнице, взял оттуда ключ и направился к высокому сундуку. Он сбросил с него махровый ковёр и наклонился.

Пропел сундучный замок. Короткий и мягкий звон его Ариша слушала всегда с наслаждением.

Отец поднял крышку и прислонил её к стене. Он стал рыться на дне сундука. Ариша видела, как отец вытащил какую-то коробку, завернутую в полотенце, и присел на сундук. Положив свёрток на колени, сказал:

— Арина Егоровна, подойди-ка ко мне.

И от того, что отец впервые назвал её по имени и отчеству, сердце Ариши забилося ещё сильнее. Она робко подошла к нему. Егор Семёныч усадил дочку рядом с собой и стал медленно развёртывать полотенце. Оно было обшито кружевами тонкой вязки. Вышитые цветистые петухи на его концах были измяты. Егор Семёныч тряхнул полотенцем:

— Подарок твоей матери. С ним на германскую ходил. — Отец раскрыл коробку и вынул из неё георгиевский крест.

Он положил его на натруженную ладонь с полусогнутыми от многолетней весельной гребли пальцами.

— Я своё отслужил достойно. Теперь твой черёд за родину постоять...

Он хотел ей сказать ещё, что герой-воин всегда на примете, как бы трудно ему ни было в бою, но об этом Егор Семёныч говорил сыновьям, а перед дочерью смутился. Он запнулся и, не сказав этого, торопливо вынул из коробки старую белую медаль и свёрнутую вчетверо пожелтевшую бумагу, протёртую в изгибах. Он положил медаль на ладонь, как и георгиевский крест, и любовно протёр её рукавом рубахи.

— Прадед твой получил. С отличиями солдат был. При Кутузове служил...

Егор Семёныч осторожно развернул бумагу и торжественно передал её Арише.

— Прочитай сама.

Ариша жадными глазами впилась в крупно исписанную бурыми чернилами толстую бумагу. Она только слышала от отца с матерью о прадеде. Теперь в руках Ариши был его ратный документ.

«Объявитель сего, — читала Ариша, — служивший в Иркутском гусарском полку рядовым Михайло Емельянов, сын Карабанов в службу вступил 1792 года августа 5 числа, имеющий установленную в память 1812 года медаль»...

Ариша оторвалась от документа и посмотрела на отца. Он сидел молчаливо и важно. Обожжённое морскими ветрами, грубоватое лицо отца стало торжест-

венным. И чувства глубокого волнения охватили Аришу. Она не сумела бы их передать на словах: в них были и радость, и восторг, и гордость, и счастье, какое может только захватить человека, вдруг осознавшего что-то большое в жизни.

«Вот почему он такой важный, строгий», — подумала Ариша и поняла, отчего такими взволнованными и потрясёнными выходили от отца братья. «Вот какая у нас родова!»

Арише хотелось заплакать от нахлынувшего чувства, обнять загорелую мускулистую шею отца и расцеловать его.

— Тятенька! — ласково прошептала Ариша, — тятенька!

— Читай, читай! Знай, как складывалась твоя родова.

И Ариша продолжала читать.

«Приметами он, Карабанов, росту 2-х аршин 5 вершков, лицом смугл, глаза карие, волосы на голове чёрные, читать и писать не умеет»...

— Читать и писать не умеет, — повторила она вслух. Ей ясно представился прадед. Она опять окинула взглядом сидевшего отца и подумала, что он походит на прадеда.

«В походах и в делах против неприятеля 1812 года в пределах России был июня с 16-го по 5-е августа в разных отрядных и аванпостных делах, а с 5-го в действительных сражениях, бывших под городами 5-го Смоленским, 10-го Дорогобужем, 15-го Вязьмою, 20-го у Ксатской пристани, 26-го под селением Бородиным при сильном наступлении неприятеля на ретираде в сражениях, а затем в преследовании оного»...

И хотя многое из того, что читала Ариша, она не понимала, но чувствовала сердцем, что прадед, 25 лет прослуживший в солдатах, был участником больших событий. Ариша взяла прадедовскую медаль из рук отца и только проговорила:

— Я всё поняла, тятенька.

— Хорошо, дочка, хорошо!

Егор Семёныч смолк. Он положил на плечи Арише полотенце.

— С собой возьми, как наше родительское благословение. Назад привези да честь солдатскую не запятнай...

Карабанов встал. Встала Ариша.

— Гордой будь! Наша родова не срамила себя.

Егор Семёныч вдруг притянул к себе Аришу и ласково обнял. Он провёл по её пышным волосам скрюченной шершавой рукой, а потом припал к ним сухими, обветренными губами.

— А теперь иди.

Ариша, взглянув на отца, заметила слёзы, появившиеся в его глазах. Егор Семёныч торопливо, но уже настойчиво повторил:

— Иди! Собирайся в путь-дорогу...

Ариша вышла из горницы.

Поутру, провожая дочь, Егор Семёныч нахмуренный, с затуманенными глазами, прощаясь с нею у ворот, вскользь проговорил:

— Трудно будет, — вспомни наш разговор.

Ариша покинула отчий дом. На берег, до катера, её провожали Агафья, подружки, гармонист Сеня. Дочь с матерью, обнявшись, шли рядом, одинаковые ростом, — одна стройная — лёгкой и быстрой походкой, другая осевшая, грузная, едва переступая ногами.

Егор Семёныч на берег не пошёл, он хлопнул калиткой так, что звякнуло кольцо и, будто от этого могла уменьшиться боль расставанья, направился под сарай, чтобы подготовить снасти к завтрашнему выходу в море.

* * *

Прошло лето. Засвистели в распадах осенние ветры. Выпал снег. Среди белых гор море было чёрным и угрюмым. Ударили первые морозы. Они сковали Байкал синим и гладким льдом. И у Карабанова будто сердце сжалось. Привык он в шаланде жить, песни моря слушать.

Стоял как-то Егор Семёныч на берегу и разглядывал хрупкий лёд. Над головой его плыли пушистые облака, белые, как лебеди, плыли в небесном просторе, похожем на байкальские воды в дни штиля. Хорошо в такие дни быть далеко в море и видеть перед собой только простор воды да неба. А подлёдная ловля не то. Копайся у берега — душа на приволье не отдохнёт.

Щемило сердце рыбака, тянуло на лов.

Сама собой всплывала в думах Ариша. Недавно фотокарточку прислала. Карабанов разглядел на погонах поперечные нашивки: значит, в сержантах ходит. Дочь спрашивала в письме, как выполняет план отцовская бригада. Намекала, что ему надо больше рыбы добывать, фронт поддерживать...

«Ишь ты куда метнула! — думал Карабанов, — отцу об этом говорит. Молодая, да из ранних. Не была карабановская бригада в хвосте и не будет!»

Но Аришины слова затронули самолюбивого рыбака. Стоял Егор Семёныч насупившийся, недовольный. Подвернись ему под руку сейчас Ариша, наругал бы её вдоволь. «Тоже мне, в солдатах без году неделя, а поучает. Сыны этого не писали».

Неслышно подошёл к Карабанову дядя Михай.

— Что стоишь, сват?

— Думу думаю, — сказал Егор Семёныч, — на лов выходить надо...

Они закурили.

— Сватьюшка сказывала, Арина Егоровна в больших начальниках ходит?

«Опять про Аришку», — хотел сказать Егор Семёныч, но сдержался и переменил разговор.

— Наши хлётко идут.

— Ещё немного, сват, и Арину Егоровну с братьями поджидай...

Карабанов прервал дядю Михея.

— Нам о лове говорить сподручней... Про то Иосиф Виссарионыч знает. Когда скажет, тогда и вернутся...

Но снова мысль об Арише обожгла Егора Семёныча: «Вот ведь какая, похоже, в родном отце сомневается. Капля воды — в мать. Та всю жизнь не доверяет».

— На лов поторапливаться надо.

Дядя Михай прикинул прошлогодние сроки, сослался на приметы.

— Малость рановато. Лёд ещё некрепкий...

И хотя было опасно выходить на Байкал, Карабанов упрямо настаивал. Потом быстро сходил домой, взял пешню, санки и тронулся к берегу, чтобы разведать лёд.

С опаской наблюдал за ним дядя Михай. Он услышал, как Егор Семёныч, напевая про Брусилова, смело зашагал по льду. И дядя Михай, не вытерпев, тоже поплёлся за сватом.

Назавтра бригада Карабанова вышла на подлёдный лов.

1943

1960 – 1980-е годы

Анатолий Байбородин

Синим-синё

Рассказ из повествования

Сестре Вике

Голубичная страда яснее и желаннее виделась и поминалась студёными, вьюжными зимами. После Крещения Господня, когда земной дух звенел и постанывал от крещенских морозов — нос боязно высунуть из изб, когда сквозь окошко, чащобно заросшее снежным куржаком¹, едва сочился слезливый, серый свет, не разгоняя, а доливая углам печальных, сырых потёмков, когда в трубе скулила и выла ночная метель, — вот о такую пору для маленького Ванюшки опять, народившись перед глазами, сияло ушедшее летечко: опять, причмокивая, плескалась в лодку озёрная рябь, опять шумела во всполохах тёплого, тугого ветра берёзовая листва-говорунья, опять млели в степном мираже кучерявые красные саранки и приземистые голубые, белые ромашки... и снова мерцала перед глазами влажная голубичная россыпь.

Вместе с летом поминались Ванюшке купания дотемна и досиня; поминались рыбалки с ночевой на другом от деревни, диком берегу озера, непролазно заросшем тальником и боярышником; поминалась и голубица, синеющая для малого на счастливой верхушке лета.

¹ Куржак — зимний иней.

Байбородин Анатолий Григорьевич, прозаик, публицист (род. в 1950 г. в с. Сосново-Озёрск, Бурятия). Автор книг: *Старый покос*: повести (Иркутск, 1983); *Поздний сын*: повесть (М., 1988); *Боже мой...*: роман (Иркутск, 1989); *Яко богиню землю нареки*: очерки (М., 1991); *Воля*: повести и рассказы (Иркутск, 1998); *Русский месяцеслов*: Православный календарь /составление (Иркутск, 1998); *Диво*: байки, побаски, сказы (Иркутск, 2001); *Воля*: повести и рассказы (Иркутск, 1998); *Утоли мои печали*: избр. произв. (Иркутск, 2006); *Не родит сокола сова*: роман, повесть (М., 2011). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

* * *

Пойдут, бывало, по голубицу на горб таёжного хребта, по-медвежьи вздыбленного над лесничим домом и приудинской долиной. Мать, на ноги не шибкая, приткнётся к мало-мальскому курешку¹ и берёт ягоды быстрыми, мозольно-тёмными пальцами, словно доит голубичник или шерсть тянет из кудели, привязанной к прялке, и, поплёвывая на пальцы, прядёт дымно-голубые нити — пальцы мельтешат и мельтешат над ягодной россыпью. А ведёрко — где лишь бы донышко покрыть, а там уж само пойдёт, — на глазах полнится голубицей.

Сестра Шура, о ту пору мужняя, которой быстро надоедает ребячья колготня, пасёт ягоду наособицу, изредка, неохотно и ворчливо откликаясь на материну ауканье. Мать собирает голубицу подле ребятишек. Ванюшку же с сестрой Веркой одолевает лень, какая наперед их родилась и, вырвавшись, в лес, словно годовалые бычок с тёлочкой на вольную мураву, задерут хвосты и пошли по кустам скакать, котелками брякать. Надыбают курешок... голубица, вроде, рясная²... и бегут до матери наперегонки — каждому охота первому похвастать. Прибегут, запалятся, раструсят на бегу припасённые слова, раздёргают в клочья о сердитый шиповник и одно лишь в голос ревут:

— Мам!.. мам!.. мам!.. ягоды там!.. — покраснев от натужного, неодолимого восторга, даваясь словами, шепчут с тоненьким присвистом сквозь щели в зубах. — Ягоды там... с-синим-синё, с-синим-синё... с-син-нё-пре-с-с-син-нё!.. — здесь аж зубы сожмут до скрипа и мотают выгоревшими на солнце головёнками, показывая, как там синим-синё, синё-пресинё, что и зубы студёно ломит от ручейковой синева, и глаза режет, и головушка кругом идёт.

Мать отпугнётся шалым восторгом, покачает головой, от мошки и комаров туго повязанной белым в крапинку платочком, и проворчит:

— Какой лешой вас по лесу носит... — но ворчание не избяное, нудное, похожее на капель из ржавого рукомойника, а лесное, сквозь смущённую улыбку, нарошечное ворчание, румяно сдобренное блаженным покоем, голубичным урожаем, цвирканьем птичек из отяжелевшей августовской зелени и лоскутков синего небушка, мигающего сквозь берёзовую листву. — Сядьте тут-ка, да и берите — ягода, она кругом одинакова. А то пробегаете, просвистите и останетесь с полыми руками. Ну-ка... ну-ка, покажите, чего набрали-то?.. обогнали, поди, меня, старую?.. — мать приговаривает, а руки, заводные, чешут и чешут голубичник. — Надо бы вам, ребятки, по ведру всучить, а то чо же вы с мелкими манерками?!³ — мать вытягивает шею, пытается занырнуть взглядом в пустые ребячьи котелки, но Ванюшка с Веркой прячут их за спинами. — Вы уж, ребята, случаем не ссыпаете куда ягоду? — лукаво посмеивается мать, обирая голубичник вокруг себя. — Потай приметили?.. А то, не дай Бог, потеряете. Тайга бо-ольша-ая, что иголку в стоге сена искать. И пропадёт ваша ягодка, останется бурундуку на зиму...

— Мам, мам! — опять верещат ребятишки, начинают злиться. — Мам!.. Ну, мам!.. Пойдём, пойдём скорей!.. Там же синим-синё от ягоды!..

— Хватит, поди, носиться-то, — сердится мать. — Ишь, разыгрались. Мы пришли игрушки играть или ягоду брать?! Вон с того края заходите и берите...

¹ Курешок — ягодная полянка.

² Рясная — здесь в смысле: ягодник, усыпанный голубицей.

³ Манерка — котелок.

Прижмите свои тёрки-то, пока не стёрли, — мать спохватывается, и весело, с подмигом добавляет. — Ишь, неугомоны... Носитесь по лесу, шею заломите, ничо не видите, так и медведя с ног сшибёте... — мать ведаёт, подле лесничего кордона, где денно и ночью брешут отцовы собаки, медведи сроду не водятся, а потому и смело поминает медвежье имя; в дремучей таёжной пазухе она бы не величала медведя по имени, чтобы не накликать беды, повеличала бы хозяйинушкой, либо Михайлой Иванычем.

Ребятишки испуганно вглядываются в мать: смеётся или взаправду говорит?... Мать улыбается краями губ, успокаивает:

— Да я смехом... Косолапый нынче наелся ягоды от пуза, да и завалился в кусты, полёживат и в ус не дует. Но ежели потревожишь, берегись...

— Ну, ма-ам, ма-ам... — опять приступает Ванюшка, чуть не плача уже, — там же синим-синё от ягоды.

— От навязались, идола, на мою шею, а!.. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, прости мою душу грешную... Надо ягоды брать, оне по лесу скакать.

Мать вздыхает в голос, потом, видя, что курешок её почти выбран, вздыхается с корточек, похрустывая затёкшими ногами; потирает поясницу и, не разогнув онемевшую спину, в благодарном и вечном поклоне лесу бредёт за ребятами. А те, разом повеселев, скачут по жёлто-бурому чушащему багульнику, по сырому, топкому мху и от избытка воли и радости взбрыкивают ногами, перелетают через позеленевшие, скользкие валёжины; потом, не то понарошку, не то взаправду, запутавшись в багульничьих сетях, падают чередом, оглашенно смеются, расплёскивая густую, тёпло-смолистую, хвойную тишь, и снова мельтешат среди берёз и лиственниц.

Мать глядит ребятишкам вслед широко отпахнутыми, обмершими глазами; глядит печально, хотя не может понять, в чём же причина неожиданной-негаданной печали. Но в душевном потае зреет странное предчувствие: вдруг белый свет померкнет, сгинут в стылых и мёртвых потёмках лес, голубичник и ребятишки, беспечно скачущие в чернолесье. Вроде, опять же, и понимает: пустое надумала, но сразу не может освободиться от неведомо кем навязанной цепкой печали. Спасается молитвой. Шепчет:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери, богоносных и преподобных отец наш и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Господи, дивится мать, накатит же вдруг, намаячит перед глазами, а что к чему, сроду не понять. И блажь томит: остались бы ребятишки навек детьми малыми, не поганились зрелыми грехами, не скрывались с её сторожащих, оберегающих глаз. И опять смекает: пустое блажит, — придёт горькое времечко, отчалят чадушки от избяного порога во взрослую жизнь с грехами и скорбями, а мать, попросившись с чадами, вскоре попросается и с белым светом, чтобы и в Небесах молиться за их души, заблудшие в дольних страстях. Не привяжешь время к стойлу, словно корову дойную, шалой кобылицей поскачет время, и не поспеют ребятишки глазом моргнуть, как и старость привалит, а там и век закатится. Ох, и не столь нарадуются, сколь настрадаютя...

Ребятишки, оглянувшись, видят, что мать замерла и недвижно, отстранённо следит за ними, и тоже замирают, тревожно и вопросительно уставившись на неё. Мать тут же глубоко вздыхает, встряхивает головой, чтобы отпугнуть наваждение, потом ободряюще улыбается ребятишкам, и те снова прыгают впереди матери, — ну, впрямь, чистые бычок с тёлочкой, вечер отбитые от коровьего вымени и утром пущенные на вольный степной выпас, да сдуру и залетевшие в лесную чащобу. Разыгравшись, Ванюшка с Веркой мажут лица голубикой и, прячась

за дородными соснами и листвяками, с криком вылетают, пугая мать. Потом как-жут друг другу языки, тёмно-синие от ягоды, и мать с улыбкой смекает, почему ребячьи котелки пусты.

Найдут, наконец, хваленый курешок, а он не рясней материного, словно именно тот, что пыхнул в ребячьи глаза сизо-голубым, плавающим и мерцающим туманом, стоял в жарком мираже, отвеялся к синим небесам.

— Да, сразу бы пошли и... — Ванюшка не успевает досказать — «и застали бы ягоду...» — запальчивые слова тонут в Веркином плаче.

— Может, шли да промахнулись?.. может, где в другом месте? — спрашивает мать, но Ванюшка мотает головой и горькими глазами показывает на причудливую берёзу, — похоже, молния угодила, и лесина лопнула посередине и, уткнувшись вершиной в мох, вздыбилась коромыслом да так и остыла навечно; рваная рана с летами потянулась смолой, заросла, и калешная берёза в одну из вёсен опять зазеленела, а потом из матёрого ствола потянулись к небу прямые, вроде молоденьких берёз, гладкие сучья, с кучерявыми, тонкими вершинками.

Осердится мать на ребят, что с насиженной поляны сорвали... за её полянкой и дальше виделась ягода... что ноги попусту убивает да время без пути теряет, но ругать не ругает, видя, что глаза ребят, удивлённо, испуганно и беспомощно блуждающие по голубичнику, готовы вот-вот отсыреть слезами. Покачает головой да с печальной усмешкой укорит непутных, наставит на ум.

— Синим-синё... Сидели бы лучше да помалкивали в тряпочку... Ой-ё-ёшеньки, казь ты моя Господи... Раз нашли, почо же реветь лихоматом?! От и спугнули ягодку-то...

Ванюшка с Верой, на минуту забыв о горе горьком, слушают мать, широко отпахнув глаза и рты: в диковину ребятам материна беседа — крутятся, как белка в колесе по дому и скотному двору, так что некогда дух перевести, редко мать беседует с ребятами сокровенно и ласково, как нынче.

— Она же, ягодка-то, милые мои, о-о-ой какая капризная. Ши-ибко не любит, когда к ней с набегу, с наскоку, когда ревут лихоматом. К ей же, ребятушки-козлятушки, надо тихо-охонько, леги-охонь-ко подходить, с поклонцем. Так меня тятя учил, Царствие ему Небесное... Поклон ягодка уважат... А нашёл, дак горло не дери, — неровен час, спужнёшь, с-под самых рук улетит, тока её и видали. Так от...

Мать развязывает опояску — широкий плат, где припасла горбуху ржаного хлеба, варёных яиц и картохи в мундире, а бутылка молока белеет под лохматой кочкой; потом, вроде не замечая разгоревшихся ребячьих глаз, прилаживает опояску половчее и затягивает потуже.

— Бери себе втихомолочку да спасибо говори Боженьке — не забывай. Вот... Другие-то и сами найдут — лес большой, ягоды полом, всем за глаза хватит, не ленись, нагнись, приглядись. А уж тебе Бог дал — бери, головой не верти. Или уж мне на ушко шепни, а уж я ходом прорву до ягоды...

Мать весело подмигивает Ванюшке, сподручнее пристраивается к голубичнику, словно к вымени коровы Майки с подойником, и доит ягодник, замысловато кружа ладонями, вроде привораживая и, ластясь, приманивая ягоду к пальцам. Ванюшке, зачарованно следящему за материными руками, кажется: ягода синими струйками льётся сквозь мельтешащие материны пальцы прямо в ведро, где уже бугрится у ведёрных полосок; и голубика чистенькая, без единого листочка, синеватая, в сизом туманце.

— Ну, ладно, хватит лясы точить, пора и за дело браться. Присаживайтесь-ка подле меня и берите. Неча по лесу хвостаться. А то ежлив такие вырастете —

в поле ветер, в заде дым — дак и всю жизнь пробегаєте, задрав шары, и жизни путём не увидите. Тоже улетит, навроде ягоды...

Мать наговаривает то ли самой себе, то ли ребятам, а уж вовсю берёт голубицу, вроде и не глядя, словно видя ягоду пальцами, что за полвека — в трудах от темна до темна — стали зрячими. Говорок тонышает, обращаясь в паутинку, потом и вовсе гаснет. У ребят же после материных слов, будто роса погожим утречком, тут же просыхают выпавшие на глаза крупные, с ягодины, слёзы. Косясь на материны проворные руки, выдаивающие ягодник, Ванюшка с Веркой тоже начинают брать голубицу, поклёвывая там-сям, будто цыпушки пшено.

— Ну, ничо, ничо, шибко-то не переживайте, нам и этого курешка за глаза хватит, и на том слава Богу, — бодрит мать ребятешек, чтоб не сбилась охотка, а то снова бросятся искать, где синим-синё. — Вот так и берите живо, а то, гляжу, небо морочает, дождик бы нас не прихватил... Да ты, сына, куст-то не мни, не ломай — на другой год, глядишь, опять сюда привалим, а ягодка вот она, поджидает нас. А то кого же, всем животом навалился на ягодник. В наклонку-то тяжело?... Молодой ещё, молодой на карачках-то полозить возле ягоды. Это мне, старухе, куда ни шло... Прямо всю поясницу изломало — к дождю, ли чо ли?... Не дай Бог дождя, и так залило... Счас-то хошь ладно, греет мало-мало... Вот ягодка и пошла... О-ой... — вздыхает мать, — сколь мы её раньше перебрали, дак вам и не снилось, — бочками набивали... Ты, сынок, слушай, да и руками шевели... Шу-ура!.. Шу-ур!.. — кличет мать старшую, а когда Шура отзывается, продолжает поминать ранешнее. — Тятя наш коня запряжёт, три кадушки на телеге привяжет, потом нас, девок, насодит, да и в тайгу с песнями. А там уж гаевунами¹ били... Счас-то с гаевунами делать некого, лист сшибать, — нету путней ягоды... нету, чо и говорить... Ранесь её пошто-то прорва родилась, раз-другой гаевуном махнёшь, вот те и ведро. Потом на лугу холстину или брезент расстелешь пошире, да и веешь ягоду на ветру. Красиво глядеть: дождь синий льёт, когда голубицу из ведра сыпешь на холстину. Посвистывам ишо, бывало, — ветерок подманивам. Ежлив ладный ветерок, дак лист на сторону летит, и ягодка чистенька... И так, бывало, навеешься — в глазах синё... синим-синё. И ночью-то спишь, а перед глазами вроде синий дождик моросит...

Говорок материн иссякает, тает голубоватым дымком, а уж вместо говорка берёзовой листвою шелестит песня:

Ой да, развесе-е-елое-е было то вре-е-емя-а,
Да ли, когда мил, о-ой, когда мил-то меня лю-убил,
Когда ми-и-ил-то меня люби-ил.
Ой да теперь, о-ой, тепе-е-еря-а-то он меня не любит...

Ванюшка сперва не может понять, откуда плывёт тихая песнь, оглядывается, чутко замирает и, увидев, что напевает мать... она едва шевелит отмягшими губами... тут же смущённо склоняется к голубичнику. А песнь, раскачиваясь, вытягиваясь на звуках, грустно подрагивая, то гаснет, то опять заpalается, сладостной печалью щемит и щемит Ванюшкино сердце, и парнишке — стеснительно опустившему глаза долу, словно он негаданно подглядел нечто сокровенное, потайное, — никак не верится, что поёт мать, что это её голос, мягкий и нежный, совсем не такой, с каким она жила в будни и голосила за хмельным столом, от-

¹ Гаевун — приплющенное воронкой ведро без дна, с прорезанной ручкой; гаевунами били, то есть — собирали голубицу.

чего мать, привычная, незамечаемая, становится далёкой и загадочной. Чудится: и лес, и голубичник поют вместе с матерью, а может, и вместо неё.

Да ли он сме-ё... ой, он смеется на-а-адо мно-ой,
Он сме-ё-ётся да надо мно-ой,
Ой да, он сме-ё... ой, сме-ё-ётся да-я надо мно-ой,
Да ли, над девчо-о... ой, над девчонкой моло-о-одой...

Полчаса ли проходит, час ли, Бог весть, а ребятам, завлечённым ягодой, кажется — одно синевато померцавшее перед глазами мгновение, а уж мать кличет Шуру, и, когда та приходит с полным ведром голубицы, усаживается, перекрестясь, на сухой облысок под кряжистой сосной. Развязывает опояску, раскидывает скатёркой, рушит горбуху хлеба на четыре ломтя, и тут же пристраивает варёные в мундире картошины, яйца вкрутую, потом развязывает цветастую тряпицу с солью, а из-под вздыбленного соснового корня, из тенёчка, выуживает бутылку с молоком.

— Скисло, поди... — вслух думает мать и, выдернув зубами деревянную затычку, отхлёбывает. — Но ничо, пить можно. Э-эй, ребяташки-козлятушки, усаживайтесь ближе. Маленько пожуюм... А то уж промялись, поди.

— Мам, мам!.. мы еще пособираем, — горячо просит Ванюшка.

— Пробежали по лесу, — по-матерински ворчит рано повзрослевшая Шура, — а тут спохватились, когда домой идти.

— Не ругайся, Шура, — подмигивает ей мать. — Оне же маленькие...

— Маленькие... а ягоду есть удаленькие. Ежели со сметаной да сахаром.

— Ничо, побегали, да и утомонились, брать начали. Ребятки!.. без вас всё съедим, голодные останетесь.

— Не, мы ещё поберём, — упирается Ванюшка. — Сама ягода пошла.

— Ладно, ладно, перекур с дремотой. Всю ягоду не соберёшь, а и на том слава Тебе Господи, — мать, прижимая, елозит ведром, чтобы усадистой, устойчивей примостить в голубичнике, — неровён час, ребяташки опрокинут; в ведре же, большом, двенадцатилитровом, под самую завязку, и голубица — на загляденье: крепкая, хрушкая ¹, с нежно-сизоватым налётом, сквозь который прозрачно высвечивает синева. Ягоды словно тронуты лёгкой изморозью... Повязывая ведро платком, мать переживает: мол, бравая ягодка, а стемнеет, обмякнет и побьётся, когда, запрягши Гнедуху, притортаешь голубику в деревню — дальний свет, тридцать вёрст по ухабам.

— Оглохли вы там? — снова окликает мать ребят.

Ванюшка же с Верой не слышат матери, боясь оторваться от ягодника, отстать друг от друга, нет-нет, да и ревниво косясь в котелки, которые уже вот-вот будут полнехоньки, даже с опупком, — с бугорком, значит. У Ванюшки от старания и от того, что брать голубицу приходится внаклонку, почти без разгиба, к носу приливает холодная сырость, и на самом кончике носа висит прозрачная капелюшка. «Ишь, заработался, даже нос некогда вытереть!..», — одобрительно улыбается мать.

— Нос-то, парень, выколоти! — кричит Шура брату. — Вон об берёзу и выколоти, а то скоро в котелок сопли уронишь.

Но Ванюшка пропускает Шурины слова мимо ушей, — некогда сморкаться,

¹ Хрушкая — крупная.

он счастлив — обогнал сестру. Котелок у него побольше Вериного, и уже полный, а теперь он берёт прямо в кепку.

— Ладно, ладно, садитесь, — просит мать. — А то шибко много наберёте, надо папаше кобылу запрягать, вывозить ягоду... Садитесь... Хватит нам ягоды. Вы у меня нынче и так молодцы — ишь, на пару-то ведёрко напахали. Шуру обогнали... Надо отцу показать — пусть гостинец из деревни везёт. Не зря же старались. Работнички... Скоро и брусница поспеет, дак вы нас ягодой завалите. Сдавать будем... А там и грузди пойдут, рыжики.

Домой брели счастливые — с добычей, и всё бы ладно, но невдалеке от заимки на бусанок ¹ вдруг выскочил серый заяц, и Шура, словно маленькая, заполошно кинулась за ушканом, но тут же и споткнулась о замшелую валёжину и просыпала ягоду. Села на траву и заплакала.

— Чо уж теперичи ревмя реветь, — укорила мать Шуру, — коль детство заиграло. Эка невидаль — заяц... Собрать надо ягоду...

* * *

Весь вечер, а потом и во сне будет покачиваться перед Ванюшкиными глазами голубичное мерцание, превращаясь в призрачное звёздное; от мерцания сомлеет и томно закружится голова; голубичное мерцание оживёт и после Покрова Богородицы, когда Ванюшку отдадут в учение, когда с чуть слышным шелестом полетят с низкого, густого неба белые мухи, и мороз раскрасит избяные окошки голубичными кустами. Ягодное мерцание нежданно-негаданно явится, когда сельская учительница Нина Астафьевна, за малый росток прозванная Махоней, помянёт войну, как гибли от холода-голода малые детушки, — сердце Ванюшкино защемится болью, горло перехватит сухость и к моргающим глазам прихлынут слёзы, но тут же, не покоряясь унынию, народится в душе, оживёт перед опечаленным взором с невиданной яркостью и приманчивостью тёплое летечко, и привидится рыбалка среди розоватого утреннего тумана, привидится и бескрайний голубичник, где в звёздной синеве вольно пасутся дети, а мать с улыбкой присматривает.

Явится и поманит Ванюшку синё пыхнувший в ребячьи глаза и, похоже, укочевавший в дальнюю тайгу, тот богатый ягодник, и затомит блажь отыскать его, хоть глазочком глянуть на полянку, где ягоды народилось синим-синё, синё-пре-синё. А с манящим голубичным мерцанием оживут и ласковые материны глаза, услышатся, словно с небес, материны поучения, по-лесному неспешные, тёплые, припахивающие сосновой смолой, мхами и багульником.

...Минуют не долгие годы, и осиротевший Иван запишет: «...Мама, Царствие тебе Небесное, прости Господи твои прегрешения, вольные и невольные, — мама, вижу тебя, склонённую над голубичником; вижу лицо твоё, разглаженное лесной благодатью; вижу, как ты перекрестилась Богу, неведомому мне, прошептала молитву и, незримая, навсегда осталась в густо настоящем, душистом лесном воздухе, среди солнечных бликов...»

¹ Бусанок — лесной луг.

Дима чокнутый

Рассказ

Низкорослый старичок с реденькими рыжими усиками и аккуратно, на пробор, по старой моде, расчёсанной головой, заросшей густым седым волосом, и с короткой, острым клинышком книзу, бурятской бородкой появлялся в Подлеморье ранней весной и бродил из поселья в поселье во всякую пору улыбочный и как бы робеющий чего-то. При встрече с кем-либо он опускал глаза долу и долго стоял так, как если бы дожидаясь, когда ему скажут:

— Ну, чего ты, старче? Шагай дальше...

А ему чаще так и говорили, вроде бы признавая за ним право поспешать к ему одному ведомому пределу. Но бывало, что и приглашали в избу. И он никому не отказывал и с почтением раскланивался с хозяевами.

Никто не знал, отчего Дима Чокнутый, так его звали, каждую весну появлялся в Подлеморье и где проводил всё остатнее время, покинув здешние места, когда Байкал начинал хмуриться и вздымать чёрные сажённые волны, подгоняемые лютыми ветрами. Если прежде и находились люди, которые хотели бы знать про это, то нынче никого из них не осталось.

Побродив по Подлеморью чуть больше седмицы, Дима неизменно приходил в Пыловку, от неё было рукой подать до железнодорожного мостика, под которым он оборудовал себе жильё. Ну, может, это громко сказано, всё ж какая-никакая крыша у Димы имелась. Он укрывался в том жилище, когда шёл дождь или хлестал Верховик, который ближе к осени делался несносен. И летом-то он вдруг вроде бы ни с того ни с сего начинал буйствовать в кронах деревьев, обламывая ветки, а уж когда морские волны, растолканные непогодой, наливались свинцовой тяжестью, и вовсе не знал чуру. Дима всякий раз терпеливо дожидался, когда похолодает, да так, что уж и под мостиком у костерка, разложенного возле шустроногого узенького ручейка, упдающего со скалы, делалось невыносимо студёно, и уходил, может статья, в районный городок, а может, ещё куда?..

Мне порой казалось, что ручеёк, убегающий к Байкалу, чем-то напоминал Димину спину, постоянно подрагивающую, грустновато ссутуленную, как если бы от нервного тика, хотя это наверняка было не так, и причину тут надобно искать

Балков Ким Николаевич, прозаик (род. в 1937 г. в г. Кяхта, Бурятия). Автор многих книг, в т. ч.: *На пятачке*: повести (Улан-Удэ, 1969); *Его родовое имя*: роман (Новосибирск, 1975; *Молодая проза Сибири*); *Рубеж*: роман (М., 1983); *Небо моего детства*: Книга рассказов (М., 1985; *Новинки Современника*); *Струны памяти*: повесть, рассказы (М., 1987); *Байкал — море священное*: роман (М., 1989); *Будда*: роман (Иркутск, 1995); *За Русью Русь*: роман (Иркутск, 2000); *Берег времени*: роман (Иркутск, 2002); *Звёзды Подлеморья*: рассказы (Иркутск, 2008); *Куда подевалось небо*: рассказы (Иркутск, 2012) и др. Лауреат Государственной премии Бурятской АССР (1987). Заслуженный работник культуры Бурятской АССР. Член Союза писателей России (Иркутская областная организация).

в другом. Чудно это и, пожалуй, несерьёзно пытаться разглядеть что-то общее у горного ручейка с Димой. Но со мной и не то случалось, и тут уж ничего не поделаешь. Видать, я такой и есть, падкий на всякую разъедренность. А быть другим мне не хочется, да и поздно, пожалуй.

Я нынче рано пришёл к Диме: не спалось, грустно сделалось почему-то, и не так, чтоб слегка, а на всю катушку, тут уж хоть криком кричи, не поможет. Да что толку от крика, пушай и сердечного. Нынче ведь как?.. Искричись ты, повырывай на голове волосы, никто и не глянет на тебя с участием, не спросит: «Что случилось, ты вроде бы как сам не свой?» Не скажет: «Может, подсобить тебе надо?..» В лучшем случае, поудивляется, ухмыльнётся и пойдёт своей дорогой. Да уж... Впрочем, чего меня понесло-то? Ну, может, в городе и так, а тут, в Подлеморье, пожалуй, не совсем так. Здешние люди ещё не утратили в душе своей, не кинулись всем миром зашибать деньги, будь она неладна!..

Ну, сорвался я с места и побрёл по берегу Байкала, как если бы вовсе не соображая, а пришёл в себя, когда оказался возле железнодорожного мостика. Сел на обшитый зелёной тиной крутолобый валунок. Долго не мог ничего разглядеть в Диминой пещерке. Там стоял полусумрак. Он давил на глаза щёкотно, должно быть, потому, что был густо замешан на дыме, которым тянуло от костерка. Дима разложил костерок близ огнисто-красного (видать, оттого, что тонкие лучи солнца с трудом, утрачивая в цвете и упругости, пробивались сюда сквозь узкие щели), хлопотно звенящего ручейка.

Всё ж чуть погода я увидел Диму. Он сидел у костерка и помешивал в нём тоненьким прутиком. На тонкоскулое худое лицо падали розовые тени, а не найдя опоры, скользнув по нему, растворялись в ближнем пространстве. Дима не тотчас, хотя я пару-другую раз кашлянул, обратил на меня внимание. Поди, он глубоко ушёл в свои мысли, которые, пожалуй, нельзя было назвать спокойными. А не то почему бы в лице у него наблюдалось напряжение? Оно сделалось чуть слабее, когда он увидел меня. Во всяком случае, мне так подумалось.

— А я ломал голову, — сказал Дима, — придёшь ты нынче иль нет?.. Погодка-то дивно как разыгралась. Вон уж и тучки зависли над Байкалом, того и гляди, прольются дождём.

— Ага, — сказал я, слегка смутившись. И было отчего... Дима редко когда говорил так складно и много, обычно обходился тремя-четырьмя словами. На белесом лбу, испещрённом мелкими морщинами, выступили тонкие капельки пота. Видать, это оттого, что он разом произнёс столько слов.

Какое-то время мы сидели молча. Я думал о Диме, о том, что мне нравилось встречаться с ним. Надо полагать, и нынешний мой приход был вызван отчасти и нечаянно всколыхнувшим меня желанием увидеть старого знакомого, которого в Подлеморье считали слегка повёрнутым, ну, как бы не в себе. Вон и жена моя, а она, в общем-то, относилась к Диме неплохо, при случае могла угостить его, подкормить, нынче, когда я уже вышел на крыльцо, гонимый нечаянно обжегшей меня грустью, сказала с ухмылкой:

— Небось, к приятелю под мосток наострился? Ну, давай, давай... Рыбак рыбака видит издалека.

Подле костерка подрёмывала сребротелая, лоснящаяся, как если бы от нутряного жира, змея. Она изредка подымала мордашку и со вниманием в мутно-жёлтых глазах поглядывала на хозяина. Не помню уж, с чего началась эта их странная дружба. Они всё лето жили бок о бок, но ближе к зиме расставались. Змея уползала в своё логово, а Дима отправлялся в те места, где, должно быть, у него имелось ещё одно пристанище, чтобы по теплу вернуться в Подле-

морье. Тогда и змея выползала из своего убежища. Она признавала только Диму, на меня же редко обращала внимание.

— Ну, как ты?.. — чуть погодя спросил я. — Как живёшь-можешь?

У Димы заблестели глаза. Знаю, моему знакомому приятно, когда я прихожу и сажусь рядом с ним и, взяв прутик, увеселяю огонь, не даю ему увянуть. Изредка подбрасываю в костёр смоляные черёмуховые ветки.

— А чё я?.. — сказал Дима, улыбаясь во всё своё подвижное синюшное лицо. — Живу, как могу.

Я уж запомнил, о чём спрашивал, а когда вспомнил, подумал: «Нет, чтобы сказать: живу, как хочу...» Вдруг разглядел на мокрой скальной стене высеченное на камне изображение не то разъярённого медведя, не то угрюмоватого, вдрызг раздосадованного бескормицей изюбра. Но изображение можно было принять ещё за что-то, не имеющее отношения к земной жизни. И это смущало.

— Откуда рисунок-то?.. — спросил я. — Ведь вчера ещё тут ничего не было. Я ж помню.

Дима помедлил, сказал негромко, как бы даже смущаясь:

— Не знаю. Но, должно быть, из моего сна.

— Как?.. — не понял я.

И тут Диму вроде бы прорвало. Он путано, подсобляя себе маленькими загорелыми руками, заговорил про то, что приснилось ему и обеспокоило. Непросто было уловить ход его мыслей ещё и потому, что он постоянно перескакивал с одного на другое. И всё же я понял, что так встревожило Диму. И тоже заволновался, и мне сделалось не по себе. Зародилась опаска: а что как те существа, что пришли из Диминого сна и теперь теснились в ближнем пространстве — я почти физически ощущал их присутствие в тесном каменном мешке, — заберут меня, и тогда я окончательно потеряю себя и стану невесть что, живому ли миру принадлежащее или чуждое ему совершенно?.. Ах, как неудобно, как суетно неудобно на сердце, будто я уже утратил в душе своей!

Да что ж это я? Разве не знаю, что к любым переменам, происходящим в нём ли самом, вокруг ли него, Дима относился с опаской. Потому, видать, его так взволновало изображение какого-то древнего животного, вдруг проступившее на каменной стене. И он не отыскал другого объяснения этому, которое не было бы связано с тем, что явилось ему во сне. А не найдя, поверил в то, что так это и случилось.

Обычно он отмалчивался. И то, что нынче отошёл от этого, оказалось для меня неожиданно и обдало тревогой, для появления которой вроде бы не было причины. Но так ли?.. Теперь бы я не сказал, что так. Ведь и раньше я замечал в Диме что-то, что нынче сделалось более видимо.

Дремавший у ног Димы щитомордник приподнял острую мордашку и обвёл нас тяжёлым взглядом, а не найдя ничего, что растолкало бы и в нём тревогу, снова втянулся в дремоту. В своё время я говорил Диме, что не надо бы подпускать к себе змею: мало ли что?.. Но он только улыбался и не принимал моей опаски. В конце концов и я привык к щитоморднику и уж не шарахался, когда он вдруг вскидывался, точно бы готовясь к прыжку, и снисходительно поглядывал на него, даже если тот шипел, должно быть, норовя отогнать меня.

Мы сидели с Димой у хилого костерка и старались понять в том изображении, которое обозначилось на сырой, в жёлтых травяных потёках, каменной стене. Но не получалось. Ни у меня. Ни у моего приятеля. Я таки считал Диму своим приятелем, хотя нередко слышал в наш адрес насмешливое:

— Чеканутые оба. И о чём толкуют, когда сойдутся?..

Может, и я разглядел бы в Диме такое, отчего отвернулся бы от него, но в том-то и дело, что у меня никогда не возникало подобного желания. Ну, а то, что он не походил на других, а порой способен был и вовсе сделаться как бы не принадлежащим ближнему миру, — ну и что? — я не видел в этом ничего худого: всяк да имеет собственную душу, и нельзя подравнять её к чему-то чуждому её естеству.

А потом мы поднялись и вышли из-под железнодорожного мостика. Нас облило густо замешанным на лесных травах солнечным светом, отчего мы зажмурились и какое-то время пребывали в нерешительности. Через минуту-другую Дима вскинул голову и сказал дрогнувшим голосом:

— Господи, хорошо-то как!..

Чуть погодя мы увидели на синей волне чёрный кораблик. Непонятно, откуда он появился: мгновение назад море было пустынное и прозрачное. Как и небо. Чайки и те куда-то подевались и уж не вскрикивали хлопотно. Гнетущая тишина зависала над ближним пространством. И тревога, что нынче посетила меня, а потом отступила, снова завладела мною. Я не понимал, отчего она всколыхнулась, и досадовал. Не знаю, заметил ли Дима эту досаду, иль просто уловил перемену в моём настроении, и она, противная тому, что совершалось в природе, не понравилась ему, и он, хотя и не без смущения, сказал негромко:

— Ты чё, а?.. Ить такая ладная нынче погодка!

Дима был способен заглянуть в чужую душу и отметить там нечто, не увиденное другими, и всякий раз старался подсобить человеку. Это не всем нравилось. Случалось, обзывали его занудой, говоря:

— Чё те надо? Чё лезешь в душу, когда не просят?

Было. Много чего было связано с Димой, а всё потому, думаю, что он ни от кого не таился. Он и сам не однажды, глядя невинными глазами, говорил, что не хотел бы никому мешать, но не получалось, вдруг да и углядывал в ком-либо тоску ли, отчаянье ли, обиду ли немереную. И так-то тянуло в те поры помочь человеку, отвести от него горестную неудобину.

— А не то пошто бы? Стал бы я?.. — вздыхал он, разведя в стороны короткие круглые руки. — Как я мог поступить по-другому-то, а?..

— А ты пробовал по-другому? — спрашивал я.

Он привычно опускал глаза.

А кораблик меж тем покачивало на несильной волне, подталкиваемой упдающим со снежных гольцов шаловливым Верховиком, подтаскивало к берегу.

Я смотрел на кораблик и недоумевал: «Отчего он чёрный? Да не просто чёрный, а ослепительно чёрный?..» Странно было и — беспокойно на сердце. Краем глаза заметил, что и Дима чувствовал себя не в своей тарелке. И в нём ворохнулось что-то, сдвинувшее с места его понимание происходящего, которое отличалось постоянством и уверенностью, что всё будет ладно, даже если нынче и не клеится.

Я уж хотел помахать тем, кто плыл на кораблике, но рука отказалась подчиняться и не поднялась. На облитой нежарким утренним солнцем узкой палубе никого не было. «Куда же попрятались морячки?..» Спросил бы про это, если бы лицо у Димы вдруг не побледнело. Кораблик не доплыл до нас саженой десять, быть может. И — затрепетал, как если бы от страха, поломавшего в плавном движении, закачался, расшатываемый волнами, а чуть погодя распался на искряно-белые сколки, которые можно было принять за верхушки волн, беспорядочно теснящиеся друг подле друга. И через минуту-другую я уж не сказал бы, на самом ли деле был он, иль только померещилось, что был?..

Мне сделалось не по себе, когда Дима прикоснулся к моей руке заолодавшими пальцами и сказал, волнуясь, привычно не сразу умея распорядиться словами надлежащим образом:

— Пропал... Пошто бы, а?.. А я тут. Отчего же я тут?..

— А где же тебе быть? — встревожился я.

— Не знаю... Кораблик тоже... из моего сна. Мне хотелось помочь ему, да чё я мог-то?..

Не знаю, до чего бы мы с Димой договорились, когда бы я не вспомнил про байкальские миражи. Правда, те чаще являются человеку в зимнюю пору, когда вздымаются угрюмоватые ледяные торосы, издали напоминающие белые войлочные юрты. В прошлогодье мне довелось увидеть подле них крошечных человечков ростом со спичечный коробок, суетливо переносающих какую-то поклажу с места на место. Их движения совершались словно бы не по их желанию, а по принуждению... Мне нестерпимо хотелось узнать, чем они живут, к чему тянутся?.. И это при всём том, что я знал, они и не существуют вовсе, а есть порождение нашей жажды отдалиться от опостылевшего ближнего мира и хотя бы краешком сознания втянуться в те миражи, на которые гораздо закованное во льды сибирское море...

Дима ещё о чём-то говорил, кажется, о том, что не все видения, приходящие к нему, он держит при себе, иные из них выпускает на волю. Но я уже не слушал его. Со вниманием следил за тем, как щитомордник, выбравшись из-под железнодорожного мостика, скользил по мокрой траве к морю. Там он распластался на чёрных камнях, которые обтёсывала набегавшая волна, когда Дима увидел его. Заметно оживился и сказал чуть слышно, кажется, и вовсе запамятавав про меня (и такое случалось с ним):

— Эх-ка, полосатенький!.. Наскучила те норка, да? На солнышко потянуло?..

Дима спустился к камням, наклонился, зашептал что-то, отчего змея подняла мордочку, какое-то время смотрела на человека.

Чуть в стороне от нас возле кустов черёмухи и боярышника, в изножье высоких скал, хмуро зависших над морем, проходила зверья тропа. Дима любил ходить вдоль этой тропы и собирать ягоду, а то и лечебные травы, из которых варил настои и раздавал тем, кто имел в них нужду. Но на тропу старался не ступать, опасаясь чего-то, имеющего быть в её пространстве. Однажды, не заметив этого, прошёл немного и вдруг почувствовал давящую слабость в теле. Остановился. Долго не страгивался с места, ухватившись ослабевшими руками за черёмуховый куст. Когда же увидел себя на зверьей тропе, смутился, забормотал что-то, должно быть, относящееся к тем, кто по праву владел этой тропой и волен был распоряжаться ею по своему усмотрению.

На его пространство под мостиком, где Дима поставил маленький, на скорую руку сколоченный столик, а у холодной каменной стены смастерил лавчонку из толстых ивовых прутьев, тоже ведь никто не покушался. Местные жители привыкли к ежегодным Диминым забородам, да и не принято здесь обижать слабого и немощного. Но с недавнего случая вызывали у меня опаску люди приезжие. Помню, стояли мы с Димой у Чёрных камней и смотрели, как накатывали волны на крутой, изъеденный, точно молю, оспинами скалистый берег, думали о своём несуетливо. Тут-то и подошли к нам трое парней с рюкзаками, в которых что-то побулькивало, глянули на нас небрежно и вяловато, как если бы мы были пустое место, а чуть погодя кто-то из них, видать, сообразив, что мы тоже люди, спросил холодно:

— Слышь, старики, есть тут поближе какая-никакая гостиница?

— Откуда бы ей взяться?.. — сказал я.

— Значит, нет? — парень глянул в ту сторону, где Дима оборудовал временку, спросил: — А вон там, под мостом, что за хрень?..

— Там занято, — сказал я.

Парень недобро усмехнулся:

— Кем? Уж не вами ли?..

— А хотя бы и нами, — сказал я.

— Надо будет, прогоним... — он прищурился, глянул на кругло и ясно по-сверкивающее небо, сказал: — Не теперь. Попозже...

Ушли. А мы растерянно опустились на камни и долго сидели, ни о чём не говоря, как если бы уже и сказать стало не о чем. Вглядывались в заметно почерневшие волны, точно бы желая разглядеть в них что-то, прежде не замеченное нами. Однако всё было как всегда. Волны легко и зыбисто накатывали на каменья, хлётко и напористо обтёсывали их.

Почему-то мне начало казаться, что я едва ли не в последний раз вижу Диму... Может, поэтому теперь каждое утро я так спешил к мостику и облегчённо вздыхал, коль скоро заставал Диму в его жилище, и огорчался, если не находил?..

Я, как и другие, не знал, откуда был Дима родом и почему приезжал в Подлеморье и что искал на его тропах. И не спрашивал об этом. Казалось, выкажи я любопытство, и в душе у Димы сдвинется и уж не срастётся, и он сделается и вовсе неприкайным и никому не надобным. Почему я так думал? Кто знает? Но что-то подсказывало, что так и будет.

Его звали Чокнутым не сказать, чтоб со зла. Хотя проглядывали в его поведении и странности, людей раздражавшие. Нередко случалось: когда все в окружении смеялись, он заметно сникал, и в глазах у него виделась грусть, этакое море грусти, от которого у людей сжималось сердце. И тогда они ловчили сбечь подальше от худосочного старичка. И вот ещё что смущало их. Стоило Диме оказаться на чьих-либо похоронах, как в глазах у него возжигалось, и он к великой досаде родственников говорил:

— Отмучился. Отдохнёт теперь. Хорошо!..

Да, Дима не походил на других людей. Но сам-то он так не считал и огорчался, когда кто-либо старался обидеть его, и недоумевал: «Чего это он?..» Впрочем, тут же и забывал про свою обиду, и лицо делалось привычно ясное, обращённое к тому свету, что рождался в небесных далях. Мне было легко с ним, наверно, ещё оттого, что я и сам нередко жил лишь тем, что рождалось в моём воображении. Там, вдалеке, я чувствовал себя свободным не от каких-то обязательств, а от необходимости подравниваться под кого-либо. «Да на кой мне это!.. — говорил я. — Да пошли вы все...» Но получалось по-другому: уходить, в конце концов, выпадало мне. Но да ладно. Что уж теперь?.. Не многое из того, что случалось в жизни, и помнить-то хочется. Уж так повелось, что меня всё время тянуло куда-то, хотя бы и в неземные дали. Я чувствовал, что и Дима ощущал то же самое.

А время меж тем поспешало. Вот уж и ветры утратили тёплую прохладу, стали холодны и упорны, и волны в море заметно почернели и упали на берег без прежней осторожности, как если бы опасаясь навредить взросшим меж каменьев карликовым деревцам, а упрямо и дерзко. Меня смущала перемена в природе, и я не хотел бы выходить из дому, но желание часок-другой посидеть с Димой возле костерка, разложенного посреди пещерки, было сильнее меня. И я шёл к мостику и подолгу пропадал там. На моих глазах однажды потемну щитомордник отполз от костерка и пропал во тьме.

— Чего это он? Неужели потянуло ко сну?..

— Да нет, поди. А может, чего почувял? Мало ли чё?..

Дима был смущён, но не хотел показать этого, и всё улыбался, но теперь как бы с неохотой и вяловато. И уж не больно-то огорчился, когда землю обволакивала тьма, и я говорил, что мне пора домой...

— Пора дык пора, — легко, не в пример тому, как вёл себя раньше, соглашался Дима. — До завтра, стало быть.

Я уходил с тяжёлым чувством. Мог бы, конечно, позвать его с собой, тем более что и жена не возражала: «Чего он там один, в пещерке-то?.. Небось, с утра стало студёно. Иль у нас в избе места мало?..»

Но как тут позовёшь, если Дима и слушать не хотел, удивлялся даже:

— Ну, зачем ты?.. Иль худо мне тут, под мостиком? Ничё такого, ей-богу!

Спорить с Димой — себе дороже: коль скоро перегнёшь палку, то и ругай тогда себя за неосторожно обронённое слово. Дима может замолчать, и надолго, да не от обиды, скорее, от удивления: дескать, надо ж, он ещё и так умеет?!

Я попрощался с Димой, ушёл. Спал в ту ночь плохо. Что-то меня мучило. Вот и говори после этого, будто де не надо доверять чувству, а лучше полагаться на разум. Да нет. Не-е-т!.. Едва рассвело, я был уже на ногах. Жена столкнулась со мной на порожке, спросила, поставив корзинку с огурцами возле кухонного стола:

— Ты куда в такую рань навострился?.. — Но тут же, видать, догадалась и обронила, хмурясь и, как мне показалось, с беспокойством, которое отметилось в её скуластом загорелом лице: — Ага, конечно. Мало ли чё?.. Ступай уж!..

И то, что жена приняла мою заботу и не имела ничего против неё, и то, что погода нынче сильно испортилась, добавило тревоги, на сердце у меня защемило, сделалось садняще и больно. Я с трудом дошёл до мостика, тут и рухнул наземь, и долго сидел, опустив голову и прислушиваясь к себе... А когда сошёл к пещерке, то и вовсе чуть не лишился рассудка. Тут всё было перевернуто вверх дном: столик повален, лавчонка порублена на куски. А каменная стена с рисунком густо заляпана дурной чёрной краской. «Господи, что же это такое?!..» — в смятении сказал я и едва дотянул до кострища, а не найдя в нём и малого тёплого уголька, пуще прежнего разволновался. «Куда же подевался Дима?.. Не мог же он уйти, не попрощавшись?..» Всякий раз перед тем, как уйти, он заходил ко мне в избу. Мы пили чай, говорили о чём-то, пряча друг от друга глаза, как если бы стеснялись тех чувств, что переполняли нас. «Нет, не мог Дима уйти, не сказавши». Я уверился в этом, когда, одолев слабость, встал на ноги и спустился к морю и... увидел в стороне от тропы щитомордника. Меня удивило, что он даже не поднял голову, когда я подошёл к нему. «Ну, чего ты?..» — то ли сказал я, то ли намеревался сказать, но, скорее, так и не раскрыл рта. У меня закружилась голова, когда я разглядел, что старый Димин знакомец насмерть исхлётан прутьяной плетью. Откуда-то издалека пришла мысль: «А ведь я больше не встречу Диму в наших местах. Не скажу приветливо: «Ну, здравствуй, пропащая душа!..»

Попервости эта мысль показалась дикой, но шло время, и я начал привыкать к ней, хотя мне страсть как не хотелось этого. Спрашивал у себя: «Неужели я не ошибаюсь?..» И уж в который раз всё в моей душе переворачивалось, и я мысленно кричал: «Нет, нет!.. Не может быть!..» И с нетерпением ждал, выйдя на заснеженное крыльцо, когда солнечные лучи станут ярче и теплее. А они не поспешали. Им некуда было спешить.

Георгий Богач

«Бессарабия, известная в самой глубокой древности...»

Из книги «Далече северной столицы»

Пушкин с особым интересом относился к истории Бессарабии, во-первых, потому, что её территория была театром военных действий и принесла славу русскому оружию, и, во-вторых, потому, что исторические события, связанные с нею, послужили темой для произведений русской литературы.

Ему были известны книги путешественников, содержащие описание Молдавии, но которым он, однако, не доверял. Он хорошо знал и труд молдавского историка, участника Прутского похода Петра I, Дмитрия Кантемира «Историческое, географическое и политическое описание Молдавии»¹, получивший широкую известность в России по немецкому (1771 год) и русскому (1789 год) переводу. Сведения об этом крае, сообщаемые автором, прослеживаются в большом количестве исторических трудов, а также в русской художественной литературе.

Пушкин сожалел, что в печати не появилось исследование И. П. Липранди, полностью посвящённое Молдавии, рукопись которого не найдена до сих пор, но которую поэт, безусловно, видел. В «Примечании» к «Цыганам» в 1824 году он писал: «Бессарабия, известная в самой глубокой древности, должна быть особенно любопытна для нас:

Она Державиным воспета
И славой русскою полна.

Но донныне область сия нам известна по ошибочным описаниям двух или трёх путешественников. Не знаю, выйдет ли когда-нибудь «Историческое и статистическое описание оной», составленное И. П. Липранди, соединяющим учёность истинную с отличными достоинствами военного человека». В первоначальном варианте автографа было и такое уточнение: «От Олега и Святослава до Румян-

¹ См.: Липранди И. П. Из дневника и воспоминаний, С. 311.

Богач Георгий Феодосьевич, литературовед, публицист (1915, с. Василиуцы Черновицкой обл., Украина — 1991, Иркутск). Автор книг: *Пушкин и молдавский фольклор* (2-е изд., доп. Кишинёв, 1967); *Горький и молдавский фольклор*. 2-е изд. (Кишинёв, 1968); *Пушкинские рукописи в Сибири: метод. рекомендации лектору* (Иркутск, 1974); *Далече северной столицы: О творчестве Пушкина в Молдавии* (Иркутск, 1979); *Иркутские материалы о Николае Милеску Спафарии* (Кишинёв, 1979: Оттиск из журн. Молд. яз. и лит. 1979. № 1); *В мире слов / на молд. яз.* (Кишинёв, 1982). Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

цева и Суворова она была театром наших войн». Двустилие, воспроизведённое поэтом в примечании, взято им из своего стихотворения «Баратынскому. Из Бессарабии», созданного в начале января 1822 года.

Интересовался Пушкин и историей собственно молдавского народа. И. П. Липранди оставил в воспоминаниях свидетельство о том, что в Кишинёве поэтом были написаны две исторические повести, в основу которых легли предания из истории молдавского народа: «Дафна и Дабижа, молдавское предание 1663 года» и «Дука, молдавское предание XVII века».

На глазах у Пушкина вспыхнуло и разгорелось национально-освободительное движение греческого и других народов Балканского полуострова против турецкого владычества. Борьбу валахских крестьян возглавил «смелый» Тудор Владимиреску. «Два великих народа, — сообщал поэт в письме, — давно падших в презрительное ничтожество, в одно время восстают из праха — и, возобновлённые, являются на политическом поприще мира». В черновом наброске вместо эпитета «великих» стоял другой, не менее выразительный: «благородных». Называя древних греков и римлян (последние — предки молдо-валахов) «великими» и «благородными», Пушкин имел в виду, по всей вероятности, вклад этих народов в сокровищницу мировой культуры, а также хорошо известное их свободолюбие.

Военную славу этих мест Пушкин в скрытом сравнении противопоставил бесславному пребыванию здесь, недалеко от Бендерской крепости, «северного капрала» — шведского короля Карла XII:

...останки разорённой сени,
Три углублённые в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.

В поэме «Цыганы» об этом крае говорится как о стране

...где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал,
Где старый наш орёл двуглавый
Ещё шумит минувшей славой...

Находясь в Молдавии, Пушкин прочёл статью П. Свинына «Воспоминания в степях бессарабских», сведениями из которой он пользовался при создании своих произведений: Свинын считал присоединение Бессарабии весьма важным для России из-за богатства её почв, величины рек, благоприятных условий для скотоводства, удобства её портов. Но эта земля была ещё драгоценнее тем, утверждал автор, «что она заключает в пределах своих памятники славы российского воинства. Бессарабия была колыбелью, училищем всех полководцев наших и театром важнейших происшествий...»¹. Перечислив имена прославленных полководцев и места великих сражений, Свинын заключил: «Сколько русской крови пролито в степях сих для славы, для величия отечества нашего? Я объехал

¹ Свинын П. П. Воспоминания в степях бессарабских. — Отеч. зап., 1821, Ч. 5, № 9, С. 5.

сию классическую землю, я преклонял колена пред священными сими памятниками». И далее: «Бессарабия не менее богата свидетельствами древних веков...»¹ Однако «подробности» об этих славных местах он изложил с погрешностями, которые вызвали реплику «Неизвестного», помещённую позже в том же журнале². Более чем через год Свиный продолжил свои воспоминания. На этот раз предметом его описания было место Кагульского сражения. Статье предпослан отрывок известного стихотворения Державина, воспевающего эту победу:

Какая в войсках храбрость рьяна!
Какой великий дух в вождях!..

Со статьёй Свинына перекликается и произведение Пушкина, созданное в 1822 году и известное по начальной строке:

Чугун кагульский, ты священ
Для русского, для друга славы —
Ты средь торжественных знамён
Упал горящий и кровавый,
Героев севера губя³.

Стихотворению соответствует такой текст из «Воспоминаний» Свинына: «...Екатерина воздвигла величественный обелиск в память Кагульского сражения в любимом своём обиталище — в Царском Селе и, поставя оный против окон своего кабинета, показала, что желала иметь всегда пред глазами своими лучший монумент своей славы»⁴. Но в отличие от Свинына, восхвалявшего императрицу, поэт скорбит о павших «героях севера».

Интерес к истории любого народа у Пушкина, будущего автора «Памятника», стоит в одном ряду с увлечением этнографией, фольклором и языком этого народа. Такое отношение к национальной истории, языку и культуре проявлял не один Пушкин. Он был лишь ярчайшим представителем русской культуры, чрезвычайно восприимчивой ко всему инонациональному, той культуры, которая в этом отношении резко противостоит однородным культурам Запада⁵.

¹ Там же.

² [Критика]. — Отеч. зап., 1821, Ч. 6, № 13.

³ Пользуемся случаем и, устанавливая близость данного стихотворения с текстом воспоминаний Свинына, предлагаем поправку в его датировке. Полное собрание сочинений Пушкина датирует стихотворение предположительно началом 1822 года. Но соответствующий номер «Отечественных записок» со статьёй Свинына вышел лишь в июле. Следовательно, если зависимость была, то стихотворение было написано после июля 1822 года.

⁴ Свиный П.П. Воспоминания в степях бессарабских. — Отеч. зап., 1822, № 27, С. 3. О других связях очерков Свинына о Бессарабии с произведениями Пушкина см.: Трубецкой Б.А. П. П. Свиный в Бессарабии. — Учен. зап. Кишиневского ун-та, 1959, С. 64–65; Двойченко-Маркова Е.М. Источники легенды об Овидии в «Цыганах» Пушкина. — В кн.: Вопросы античной литературы и классической филологии. М., 1966, С. 321–323.

⁵ Алексеев М.П. Восприятие иностранных литератур и проблема иноязычия. — Труды юбилейной научной сессии. Секция филологических наук, 1819–1944. Л., 1946, С. 214–215.

Эту особенность русской литературы можно подтвердить отношением к Молдавии. Тексты, извлечённые из русской художественной, мемуарной и собственно исторической литературы, в которых говорится о том, что засвидетельствовал и Пушкин, — о глубокой исторической давности этого края, о его бурной истории, — заполнили бы многие десятки томов. <...>

В свойственной ему манере — сжато, лапидарно — во всех случаях обращения к истории этой земли писал и Пушкин: и когда говорил о её известности с «глубокой древности», о «воинственных могилах» и её «древних становах рубежах», и когда свидетельствовал о величии и благородстве местного населения — греков и молдо-валахов, поднявшегося на открытую войну против иноземного господства, и когда писал о напряжённой истории молдавского народа XVII века в не дошедших до наших дней своих повестях, и когда утверждал значимость этой земли — историческую и литературную — для русского народа.

Александр Вампилов

ДИПЛОМ

Отрывок из 2-го действия пьесы
«Прощание в июне»

Сад. <...> Появляется РЕПНИКОВ.

РЕПНИКОВ. Позволите?

КОЛЕСОВ. Проходите, Владимир Алексеевич. Проходите.

РЕПНИКОВ (*проходит*). Здравствуйте.

КОЛЕСОВ. Добрый вечер.

РЕПНИКОВ. Удивляетесь, как я вас нашёл?

КОЛЕСОВ. Удивляюсь.

РЕПНИКОВ. Найти вас не трудно. В университете вы сделались знаменитостью.

КОЛЕСОВ. На это я не рассчитывал.

РЕПНИКОВ. Хочу вас спросить. Можно?

КОЛЕСОВ. Пожалуйста, прошу вас.

РЕПНИКОВ. Чем вы сейчас занимаетесь?

КОЛЕСОВ. Как видите, стерегу дачу.

РЕПНИКОВ. Работаете сторожем?.. Зачем?.. В знак протеста? В насмешку? Потехи ради?

КОЛЕСОВ. Я устроился сюда не по идейным соображениям. Это место меня устраивает. Днём я занимаюсь делом, а ночью спокойно сплю. Воруют-то днём... Кроме того, Владимир Алексеевич, кто не работает — тот не ест.

Вампилов Александр Валентинович, драматург, прозаик (1937, г. Черемхово Иркутской обл. — 1972, оз. Байкал, в р-не пос. Листвянка). Автор сб. юмористич. рассказов *Стечение обстоятельств* / под псевд. А. Санин (Иркутск, 1961); пьес (прижизненные издания): *Старший сын*: комедия в 2-х действ. (М.: Искусство, 1970); *История с метранпажем*: комедия в одном действ. (М.: Искусство, 1971); первые публикации пьес *Прощание в июне*, *Старший сын*, *Двадцать минут с ангелом*, *Утиная охота*, *Прошлым летом в Чулимске* — в ирк. альманахе *Ангара (Сибирь)*. Пост-ки на сценах отечественных театров и за рубежом. Посмертные издания: *Избранное* (М., 1975; М., 1999); *Прощание в июне*: пьесы (М., 1977); *Старший сын*: пьесы (Иркутск, 1977); *Билет на Усть-Илим*: публицистика (М., 1979); *Дом окнами в поле*: пьесы; очерки и статьи; фельетоны; рассказы и сцены (Иркутск, 1981); *Утиная охота*: пьесы (Иркутск, 1987); *Стечение обстоятельств*: рассказы и сцены; фельетоны; очерки и статьи; из неоконченного и неопубликованного; о Вампилове (Иркутск, 1988); *Записные книжки* (Иркутск, 1997); *Финский нож и персидская сирень*: рассказы и очерки (Иркутск, 1997); *Драматургическое наследие* (Иркутск, 2002). Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

РЕПНИКОВ. А наука? Собираетесь вы быть учёным?

КОЛЕСОВ. Буду, Владимир Алексеевич.

РЕПНИКОВ. Судя по вашему поведению — не скоро или никогда. По-моему, вы готовитесь в канатоходцы.

КОЛЕСОВ. Почему вы так думаете?

РЕПНИКОВ. А вы как думаете, может учёный ходить на голове?

КОЛЕСОВ. Не знаю. Пока я не учёный, я сторож и метафоры вашей не улавливаю.

РЕПНИКОВ. А вы не горячитесь. На этот раз мы поговорим спокойно. Можно?

КОЛЕСОВ. Как вы хотите.

РЕПНИКОВ. Послушайте, Колесов, я признаю ваши способности. Но учитите, способных людей много. Очень много. Гораздо больше, чем учёных. Не правда ли?

КОЛЕСОВ. Владимир Алексеевич, к чему этот разговор?

Помолчали.

РЕПНИКОВ. Прошлой ночью моей дочери не было дома. Вы не знаете, где она ночевала?

КОЛЕСОВ. У меня она не ночевала.

РЕПНИКОВ. Скажите откровенно, в каких вы с ней отношениях?

КОЛЕСОВ. Мы в хороших отношениях. Она мне нравится.

РЕПНИКОВ. И это всё?

КОЛЕСОВ. Нет, Владимир Алексеевич, мне кажется, что и я ей нравлюсь.

РЕПНИКОВ. Так вот... Вы оставите её в покое.

КОЛЕСОВ. А почему?

РЕПНИКОВ. А вы не знаете — почему?

КОЛЕСОВ. Не знаю.

РЕПНИКОВ. Перестаньте, вы всё прекрасно понимаете. Я недооценил вас. С такими, как вы, лучше сразу соглашаться... Послушайте! Не встречайтесь с ней, оставьте её в покое. Она вам нравится, могу это допустить, но ведь вам нравятся все хорошенькие девушки, разве нет? Так почему же именно моя дочь? Вчера она ушла из дому, надо полагать, она здесь появится. Прошу вас... гоните её от себя, исчезните, придумайте что-нибудь.

КОЛЕСОВ. Владимир Алексеевич, скажите... А не кажется вам несколько странным...

РЕПНИКОВ. Что, Колесов?

КОЛЕСОВ. Да всё. Всё, для чего вы сюда явились? Не странно ли всё это?

РЕПНИКОВ. Нисколько. Я пришёл сюда, чтобы избавить от вас свою единственную дочь.

КОЛЕСОВ. А вы уверены, что она этого захочет?.. Интересно бы узнать и её мнение.

РЕПНИКОВ. Вы старше её, Колесов: ей девятнадцать лет. В ком же из вас искать мне здравый смысл, подумайте сами! *(Другим тоном.)* Я слышал, деканат ещё раз собирается за вас ходатайствовать. Я возражать не буду... Получите диплом и уедете. По назначению... В Каменку на селекционную станцию, если угодно... Как раз то, что вам надо. *(Небольшая пауза.)* Что?.. Может быть, вы этого не хотите? *(Молчание.)*

КОЛЕСОВ *(не сразу)*. Нет. Об этом я не думал. *(Молчание. Медленно.)* Но теперь я должен об этом подумать.

РЕПНИКОВ. Меня привело к вам благоразумие. Будьте и вы благоразумны.

Молчание. Появляется ЗОЛОТУЕВ.

Так вот... Я буду ждать вашего звонка... До свидания.

Репников уходит. Золотуев проходит мимо Колесова, возвращается.

ЗОЛОТУЕВ. Кто это? *(Молчание.)* Профессор! Кто у тебя был?.. Сидишь, бездельничаешь. Чем рассиживать, прополол бы лучше пару грядок.

КОЛЕСОВ. Плевать я хотел на ваши грядки.

ЗОЛОТУЕВ *(удивился)*. Ты что, не хочешь у меня работать?

КОЛЕСОВ. А вы думали, ваши клумбы — предел моих мечтаний. Вы рехнулись, дядя.

ЗОЛОТУЕВ *(встревоженно)*. Собираешься уходить?.. Ты что, обиделся?.. Слушай, я на тебя не жалуюсь. Живи. Грубиян ты, конечно, порядочный, но и работник тоже, и в цветах понимаешь. Если откровенно — ты большой специалист.

КОЛЕСОВ *(усмехнулся)*. Признали? Оценили, паук вы этакий.

ЗОЛОТУЕВ. Куда же ты собрался?.. Что, выгодное предложение?.. Ладно! Возись ты со своей травой, черт с ней! Слышь, я прибавлю тебе стипендию... Семьдесят. Хочешь?

КОЛЕСОВ *(рассеянно)*. Помолчите, дядя.

ЗОЛОТУЕВ. Семьдесят нынче инженеры получают. А, профессор?

КОЛЕСОВ. Помолчите, я вам сказал.

ЗОЛОТУЕВ *(предупредительно)*. Размышляй, я тебе не мешаю. Но не делай глупостей. Не дури, работай у меня. *(Уходит, оглядываясь.)*

Колесов сидит на скамейке. Звучит музыка: мелодия песенки «Это ландыши всё виноваты». Освещение меркнет и перемещается, в саду — тёмные длинные тени. Девятый час вечера. Появляется ТАНЯ.

ТАНЯ. Я опоздала... *(Подходит к Колесову.)* На пять минут... Прощается? *(Молчание. Чувствует неладное.)* Что с тобой? *(Молчание.)* Что-нибудь случилось?

КОЛЕСОВ. Скандал на Панаме, на Занзибаре — революция. Я всё ещё работаю ночным сторожем...

ТАНЯ. У тебя испортилось настроение?.. Почему? Скажи.

КОЛЕСОВ. Да... Я всё скажу.

ТАНЯ. Подожди, я тебя перебую...

КОЛЕСОВ *(вскочил, ему под ноги попала лейка, он швырнул её в сторону)*. Не надо меня перебивать!

ТАНЯ. Что с тобой?!

КОЛЕСОВ. Прости... И послушай. Ты ушла, а я здесь думал, и вот какое дело: нам надо остановиться... Я не Ромео. Мне только показалось, что я Ромео. Какой я к черту Ромео!.. В общем так: отбросим иллюзии, у нас с тобой ничего не выйдет... Всё! Я не Ромео. У меня на это нет времени. Мне некогда, понимаешь?

ТАНЯ. Зачем ты мне это говоришь?

КОЛЕСОВ. Зачем говорю?.. Короче: нам надо остановиться. Вернее, нам не следует начинать. Днём я вёл себя несколько развязно, так это... Это у меня привычка такая. Прощу прощения.

ТАНЯ. Нет... Ты меня разыгрываешь... *(Молчание.)*

КОЛЕСОВ. Всё. А если ты отнеслась ко всему этому серьёзно — наплюй, переживи... Вот и всё, что я тебе хотел сказать.

ТАНЯ. Всё?

КОЛЕСОВ. Всё. И на этом поставим точку. Встречаться больше не будем. *(Молчание.)*

ТАНЯ. Мне уходить?

КОЛЕСОВ. А ты как считаешь?

ТАНЯ. Всё, что ты говорил мне, это вранье. Лучше бы ты сразу сказал, что я тебе не нравлюсь.

КОЛЕСОВ. Вот-вот. Ты мне не нравишься.

Молчание. Таня уходит. Колесов смотрит вслед. Потом бредёт по двору. В третий раз натывается на лейку, хватает её, размахивается, но опускает руку — жест скорее смешной, чем многозначительный. С лейкой в руке стоит посреди двора.

Университет. Выпускной вечер в университете. Терраса, за ней окна зала, закрытые шторами. На террасе несколько столиков. Входа три: два из зала и один с улицы. Из зала доносится смех. Шум, музыка.

За одним из столиков сидит Колесов. Перед ним бутылка вина, несколько стаканов. <...>

С улицы входит Таня. Подходит к Колесову, сидящему за столом.

КОЛЕСОВ *(холодно)*. Зачем ты пришла?

ТАНЯ. Поздравить тебя с окончанием... Поздравляю.

КОЛЕСОВ *(мрачно)*. Спасибо.

ТАНЯ. Извини, если не вовремя...

КОЛЕСОВ. Да нет, в самый раз... Самое время меня поздравить...

ТАНЯ *(не сразу)*. Ты уезжаешь?

КОЛЕСОВ. Да.

ТАНЯ *(не сразу)*. Я бы не пришла. Но я узнала, что ты уезжаешь...

КОЛЕСОВ. Папа тебе сказал?

ТАНЯ. Да. *(Небольшая пауза.)*

КОЛЕСОВ. Ну, как поживаешь?

ТАНЯ. Если бы тебя это интересовало, ты мог бы позвонить.

КОЛЕСОВ. Один раз звонил.

ТАНЯ *(радостно)*. Ты мне звонил?

КОЛЕСОВ. Разговаривал с папой. *(Пауза.)*

ТАНЯ. Твоя трава... подросла она? Помнишь, ты меня приглашал... Босиком по лугу.

КОЛЕСОВ. Луга ещё нет... Но босиком уже можно.

ТАНЯ. А я даже сон такой видела: мы с тобой бежим по лугу.

КОЛЕСОВ. Бежим?... В одну сторону, ты не заметила?

ТАНЯ. В одну. Конечно, в одну.

КОЛЕСОВ. Приятный сон... идиллический. *(Вдруг.)* Но зачем ты пришла — не понимаю. Я тебе всё сказал, мы поставили точку, чего ещё?

ТАНЯ *(с волнением)*. Ты уедешь... Но мне кажется, что мы с тобой ещё встре-

тимся. Пусть не скоро, пусть через год, через два... И ты не запретишь мне об этом думать!.. И когда встретимся, тогда... Скажи мне сейчас: может быть. Больше мне ничего не надо. Скажи мне: может быть.

КОЛЕСОВ (взял её за плечи). Ты бредишь... Через месяц эта сказка вылетит у тебя из головы.

ТАНЯ. Никогда!.. Как мне тебе это доказать?

КОЛЕСОВ (забылся). Ты полоумная... (Привлёк её к себе. Потом спохватился.) Ты сама не знаешь, что ты говоришь. Знаешь, не мешало бы тебе быть более разумнее.

ТАНЯ. Более разумнее?

КОЛЕСОВ. Именно. Именно более разумнее.

ТАНЯ. Что это? Что это ты себе выдумал? Какое такое более разумие?

КОЛЕСОВ. Послушай. Знаешь, ты к кому пришла?

ТАНЯ (улыбается). Знаю. К проходимцу.

КОЛЕСОВ. Хуже, в том-то и дело.

ТАНЯ. Ты не рад, что я пришла... Всегда я... всегда сама. Я нахалка, правда?

КОЛЕСОВ. Нет, ты молодец. Ты пришла вовремя... А прощать? Умеешь ты прощать?

Из зала выходит Репников.

ТАНЯ (негромко). Явился... Давно его не видели.

РЕПНИКОВ (Тане). И давно ты здесь?

ТАНЯ. Недавно. Пришла поздравить некоторых знакомых.

РЕПНИКОВ. Ну-ну. Есть с чем поздравить.

КОЛЕСОВ. Вот и я говорю, самое время нас с вами поздравить.

РЕПНИКОВ (отводит Колесова в сторону). Почему, черт возьми, вы устроили свидание?

КОЛЕСОВ. А потому, черт возьми, что мы давно не виделись. Целых три недели.

РЕПНИКОВ. Но... Разве у нас с вами речь шла о трёх неделях?

КОЛЕСОВ. Мы соскучились, понятно вам это? Мы, может, вообще друг без друга не можем. По-моему, это дороже стоит. Вам не кажется?

РЕПНИКОВ. Не шутите, Колесов, теперь вам это не идёт...

КОЛЕСОВ. Почему вы так думаете? Разве я изменился?

РЕПНИКОВ. Вы как думаете? Кто однажды крепко оступился, тот всю жизнь прихрамывает.

КОЛЕСОВ. В таком случае — вы мало дали. Вы дали мне диплом и требуете, чтобы мы не встречались всю жизнь... Так вот... (Вынимает диплом из кармана.) Возьмите его обратно. (Бросает диплом на стол.)

ТАНЯ. Что? Что это значит?

КОЛЕСОВ. В тот день, когда ты приходила на дачу...

РЕПНИКОВ (кричит). Таня! Оставь нас вдвоём.

ТАНЯ. Нет, я не уйду отсюда.

РЕПНИКОВ. Ты уйдёшь. (Колесову.) Могу я поговорить с вами с глазу на глаз?

Колесов и Таня переглядываются. Таня уходит.

КОЛЕСОВ. Что ж, давайте поговорим. Я вас слушаю.

РЕПНИКОВ. Вот вы меня ненавидите. А почему, собственно? Давайте раз-

берёмся... Когда я рвался в науку с таким же нетерпением, со мной случилось нечто похожее.

КОЛЕСОВ. С какой стати вы мне исповедуетесь?

РЕПНИКОВ. А разве нам с вами нельзя немного пооткровенничать? Согласитесь, у нас с вами есть нечто общее. Присаживайтесь... И подумайте, имеете ли вы право меня ненавидеть... Откровенно говоря, со мной вам просто повезло.

КОЛЕСОВ. Да-а. С вами не пропадёшь.

РЕПНИКОВ. Пожалуй... Деканат предлагает оставить вас в аспирантуре.

КОЛЕСОВ. Так...

РЕПНИКОВ. И знаете, что... я не возражаю.

КОЛЕСОВ. Ага... Решили, стало быть, добавить? И на каких условиях?

РЕПНИКОВ. Татьяну забудьте, держите язык за зубами. Впрочем, вы сами понимаете. Мы будем молчать. И я, и вы — оба, как миленькие. И заберите документ, он ваш... Всё. Танцуйте, веселитесь. Увидимся. К сожалению. *(Уходит.)*

Входит Таня.

ТАНЯ. Не дрались.

КОЛЕСОВ. Поговорили.

ТАНЯ. И что?

КОЛЕСОВ. Меня хотят оставить в аспирантуре. Твой отец не возражает.

ТАНЯ. Ты в самом деле, ты остаёшься... Правда? *(Не сразу.)* Что с тобой?.. Ты не рад?.. Ну что ещё случилось?

КОЛЕСОВ. Сядем.

Садятся.

ТАНЯ. Всё идёт к лучшему. На Панаме порядок, на Занзибаре давно республика...

КОЛЕСОВ. Я должен рассказать тебе, как я закончил университет. *(Молчание.)* В тот вечер, когда ты приходила ко мне на дачу, там был твой отец... Я должен был выбрать. Одно из двух.

ТАНЯ. Не понимаю.

КОЛЕСОВ. Именно так: одно из двух. Ты или университет. *(Молчание.)*

ТАНЯ. Я или университет?.. Чепуха какая...

КОЛЕСОВ. Так и было.

ТАНЯ *(помолчав)*. Но ведь не хочешь же ты сказать, что... диплом ты выменял у моего отца на меня?

КОЛЕСОВ. Говорю как есть.

ТАНЯ. Чепуха... Скажи, что это чепуха... Прошу тебя, скажи, что это чепуха.

КОЛЕСОВ. Я не мог иначе. *(Молчание.)*

КОЛЕСОВ. Я выиграл время: ты должна это понять. *(Молчание.)* Может, ты хотела, чтобы я всю жизнь был сторожем? Может, ты думаешь, что я сделал это ради собственного удовольствия?

ТАНЯ *(тихо)*. Значит, с папой вы поладили... А сейчас? О чем вы говорили с ним сейчас? Об аспирантуре?.. Значит, моя цена повышается... Жаль, что мой отец не академик... Ну ничего... И так неплохо, правда? *(Не сразу.)* А зачем ты сознался? Для чего? Или тебе это тоже пригодится?

КОЛЕСОВ. Перестань, выслушай меня!

ТАНЯ. Нет, я тебе не верю.

КОЛЕСОВ. Выслушай меня. Ты должна меня понять. Кто, если не ты?

ТАНЯ. Я всё поняла. Ты сделал это не ради удовольствия, поняла. Ты не мог иначе, поняла... Ты выиграл время, теперь ты своего добьёшься. Будет у тебя луг, будет всё, как ты захочешь... Всё будет по-твоему. Без меня.

КОЛЕСОВ. Будет луг — кто побежит по нему босиком? Не могу же я один... Меня же примут за сумасшедшего. *(Берет её за плечи.)* Оставайся...

ТАНЯ. Нет, я тебе не верю. Откуда я знаю, может, ты снова меня променяешь. В интересах дела. Я так не могу. Прощай... Прощай... *(Уходит.)*

КОЛЕСОВ. Таня! *(Идёт вслед за ней. На мгновение дорогу Колесову загораживает Золотуев.)* Вы что? Что вам надо?

ЗОЛОТУЕВ. Куда ты теперь? Давай-ка ты ко мне... Я ведь один, ты знаешь. Один, как перст. Дом на тебя запишу, дачу, машину...

КОЛЕСОВ. Подождите, дядя... *(Уходит.)*

ЗОЛОТУЕВ. Племянник! *(Уходит за Колесовым.)*

Из зала врывается шумная компания: КРАСАВИЦА, ВЕСЁЛЫЙ, СЕРЬЁЗНЫЙ, СТРОГАЯ, КОМСОРГ, ГОМЫРА, БУКИН, МАША. Музыка из зала звучит громче. <...>

МАША. Где он, где? Надо его найти! Поздравить!

СЕРЬЁЗНЫЙ. Где Колесов?

Появляется Колесов.

КОЛЕСОВ. Я здесь.

СЕРЬЁЗНЫЙ. Я поздравляю. Это справедливо. Тебя сохранили для науки.

КОМСОРГ. Коля, наш бывший курс... Ты что, недоволен? Что с тобой? Что случилось?

БУКИН. Скажи что-нибудь, вырази!

КОЛЕСОВ. Мне нечего вам сказать. Но мне надо кое-что сделать.

Берёт диплом, рвёт его пополам. Бросает на стол.

МАША. Что ты наделал?

КОЛЕСОВ. Не волнуйтесь. Это мой диплом... Я за него заплатил...

Серебряные трубы

Рассказ

1

Рабочий посёлок досматривает сны о счастливом будущем, а Юрша и Вальша уже спешат по дороге на озеро, где кишмя кишат икрянистые гольяны. Гонит ребятишек в такую рань на рыбалку загостившаяся в послевоенной стране нужда. Зарплата у родителей мизерная, а дома шестеро по лавкам — бабушка Аксинья, бабушка Ульяна, Юрша, Вальша, Генка и Людка. Вот и помогают первенцы сводить семье концы с концами. Гольяны, по мнению отца, — славная поддержка, особенно в весеннее безмясье!

Жаркий май просушил дорогу, как сосновую плаху. Гулко отдаётся впереди резвый топоток брата и сестрёнки. На обочинах там и сям вспыхнули золотистые свечечки распустившейся мать-и-мачехи. На взгорках дружно высыпала свежая трава. Воскресное утро, радуясь зелёной обнове, подкидывает вверх смеющихся птах, и они, зависая на упругих крылышках в бездонном небе, похожи на рыбацьи поплавки, потревоженные поклёвкой.

За плечами у Юрши латаный-перелатаный солдатский вещмешок: в нём — завернутая в чистую тряпицу чёрствая краюха ржанухи, узелок с солью, три дряблых картошины, тощий пучок батуна да ещё чумазый котелок, в котором весело звякают жестяные ложки, навевая Вальше думы о грядущей ухе.

Озеро встретило страшноватой тишиной и похожими на леших рогатыми корягами, притаившимися в истоптанном ветрами жухлом камыше.

Пугливо озираясь, ребятишки наживили дождевых червей на крючки, поплевали на них и закинули удочки. Гольяны не заставили себя долго ждать: берут жадно, без сходов. Вдруг за ближайшей корягой громко плескнулась ондатра.

— Русалка?! — испуганно вздрогнула Вальша.

— Водяной балует, — отважно успокоил Юрша. — Не трусь, отобьёмся...

Взошло солнце и страхи рассеялись. Ребятишки развели костёр и сварили вкусно пахнущую ивовым дымком уху. Расправившись с ней, продолжили рыбалку — теперь надо наловить домой. Удочки так и свистят в руках, рассекая воздух.

Горбунов Анатолий Константинович, поэт, прозаик (род. в 1942 г. в д. Мутина Киренского р-на Иркутской обл.). Автор многих книг, в т. ч. сб. стихов: *Чудница* (М., 1975); *Осенцы* (Иркутск, 1980); *Звонница* (Иркутск, 1985); *Перекаты* (Иркутск, 1988; *Сибирская лира*); *Сторона речная* (Иркутск, 2004); сб. прозы: *Тайга и люди*: очерки, рассказы (Иркутск, 1982), *Рыбаки-охотники*: рассказы, побывальщины, сказки (Иркутск, 2008); книг стихов для детей: *Журчинки* (Иркутск, 2000), *Родины свет* (Иркутск, 2011) и др. Награждён Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Не обращая внимания на маленьких рыбаков, низко над водой мечутся зорькогрудые касатки, ловят со щебетом молодых комариков, вылупившихся из алых личинок, благополучно перезимовавших на дне озера.

— Дождь будет, а нам завтра картошку сажать... — обеспокоился по-взрослому Юрша. — Вон ласточки-то снуют, и небо уж больно зелёное.

— Си-не-е, — поправила учительским тоном Вальша.

— Зелёное! — братишка выудил распузастого гольяна.

— Синее! — сестрёнка выкинула на берег гольяна ещё распузастее.

Их шутливую перебранку прервал журавлиный крик с противоположной стороны озера, где оно переходило во мшистое клюквенное болото с редкими карликовыми берёзками и окнами открытой воды:

— Клы, клы, клы...

На берегу появился журавль.

— Смотри, Трубач! — прошептала Вальша, замерев на месте. Забыв про удочку, Юрша застыл как вкопанный.

Эта огромная красивая птица появилась на болоте прошлым летом. До самой осени жила без пары. Ребятишки жалели горемыку и рассказали как-то о ней отцу.

— Истребил журавлей за годы войны голодный народишко, — ответил тот. — Раньше-то их у нас уйма гнездилась. Выбегу, бывало, спозаранку за околицу — и слушаю, как они на серебряных трубах играют. Отчего, думаете, наших предков Журавлёвыми окрестили? Среди журавлей жили. Значит, трубач на болоте обьявился? Ну-ну. Добрая примета.

— До последнего пёрышка журавля разглядела, — засомневалась дотошная Вальша. — И никакой серебряной трубы не заметила?!

— Она у него в горло вставлена! — догадался смекалистый Юрша.

— Да-да-да! — поддержал отец. — Чтобы летать не мешала...

Трубач тоже узнал старых знакомых и вежливо кивнул им головой.

Вдруг, откуда ни возьмись, в небе появилась журавлиха. Сделала над озером широкий круг, осмотрелась и приземлилась на болото.

— Кур, кур, кур... — журавль, важно вышагивая, направился к ней.

— Лы, лы, лы... — кланяясь, отвечала гостя.

— Курлы, курлы, курлы... — отдавался звон серебряных труб за далёким лесом. Вечером ребятишки ещё с порога в один голос поделились светлой новостью:

— Трубач замуж вышел!

Мать и отец растянули улыбку до ушей, а бабушка Акси́нья и бабушка Улья́на всплакнули. Может, о своей вдовьей доле, о своих ненаглядных журавушках, сложивших буйные головушки за отчую землю?

2

Почти неделю птицы провели в брачных плясках, а затем устроили под чахлой берёзкой гнездо из сухих веточек и травы; отложили два крупных яйца. На кладке сидела в основном журавлиха. Трубач сменял её лишь на время кормёжки — на восходе и закате солнца.

Отец остерег Юршу и Вальшу:

— Не вздумайте к гнезду подходить, насмерть заклюют курлыки.

В справедливости его слов ребятишки убедились вскоре воочию. Увязалась за ними на рыбалку чья-то собачонка, учуяла на болоте журавлиное гнездо, ре-

шила полакомиться яйцами. Не успела к нему приблизиться — вихрем налетел Трубач, а следом подросла журавлиха. Мгновенно ослепили несчастную лакомку и втоптали в трясину.

В июне с болота стали доноситься странные посвисты. У журавлей появилось потомство. Прошло немного времени, и они вывели его на берег озера, как бы на показ. Пушистые журавлята забавно гонялись за стрекозами, норовили догнать вплавь шустрых водомеров, совали в тёплую воду свои голоvenки, высматривая гольянчиков.

Любуясь на журавлят, Вальша удивилась:

— Почему у них такие коротенькие ножки?! Может, это утятя?

— Нашла утят! — прыснул Юрша. — На клювы глянь: длиннее, чем нос у Буратино. Дай срок, и ножки отрастут.

И правда, к середине августа журавлята здорово приподнялись на ногах и обучились летать. Как-то за ужином отец объявил:

— Отгольянили, рыбаки. Сено будем готовить. Надумали мы с матерью «сталинскую корову» в рассрочку взять. Доктор у Генки и Людки малокровие признал, парным молочком советует поить пострелят.

— Сталинскую?! — вытаращил от изумления глаза Юрша. — Что, её там доить некому?

— Доить-то есть кому, да кормить охотников нет... — расхохотался отец.

— Не морочь парнишке голову, — рассердилась мать. И объяснила сыну: — Это козу так в народе шутя называют.

Соседний колхоз разрешил Журавлёвым выкосить бесплатно скудную на разнотравье кулижку около озера, где литовка сроду не гуляла. Дарёному коню в зубы не смотрят, очистили покос от хлама и поставили балаган — прятаться от дождя.

Вальше не повезло: набегалась по росе босиком — и простыла. Сидит дома, пьёт отвар мать-и-мачехи и не знает, куда деться от надоевших пуще горькой редьки Людки и Генки. То ссорятся, то жалуются друг на друга, выводят из терпения хроменькую бабушку Аксинью. Та, не разбираясь, кто прав, кто виноват, надаёт им шлепков и перемывает косточки бабушке Ульяне:

— Журавлиха голенастая! Устроила мне каторгу. Вот завтра встану пораньше и тоже сбегу сенцо ворошить...

Вечером Юрша принёс с покоса полную кепку красной смородины.

— Журавлей видел? — первым делом поинтересовалась у него Вальша.

— Видел. Над горохом кружили.

— Уже налился... — обречённо вздохнула больная. — Принёс бы? — Свой-то в огороде она давно выщипала.

— Ага, чтобы подстрелили? — возмутился Юрша. — Не мы сеяли, не нам убирать. Он как в воду глядел.

Подслеповатый колхозный сторож, вооружённый дробовиком, объезжал поля и заметил на горохе четырёх воров.

— Сволочи! Сейчас накормлю бекасином...

Пока скакал через низину, воры скрылись, лишь четверо сенокосчиков на кулижке мечут стожок. Подскакал — коня на дыбы.

— В тюрьму захотели?!

— В чем дело-то? — спокойно спросил Журавлёв.

— А в том, — заорал, хватаясь за дробовик, сторож, — что колхозный горох таскает! Своими шарами вас только что на поле видел!

Заслонив Юршу собой, мать побелела как стенка.

Журавлёва дробовиком не запугаешь — от Москвы до Берлина сквозь ад прошёл, всякого хлебнул. Бывший фронтовик грозно выставил вперёд деревянные вилы, готовый в любой миг метнуть их в разъярённого самодура.

— Если видел, почему с поличным не взял? Пошевели мозгами. До гороха отсюда версты две с гаком. Что мы, быстрее лошади бегаем?

От такого веского довода крикун опешил. Выругался грязно и, мстительно ударив потного коня по животу каблуками рваных сапог, ускакал. Бабушка Ульяна плюнула вдогонку:

— Берия в могиле, а всё народ тюрьмой пугают...

— Без дисциплины и догляда никак нельзя, иначе растащат государство по горошинке, — не согласился Журавлёв.

Настроение у всех было испорчено. Молча дometали стожок и засобирались домой.

Размашисто шагая по пыльной дороге навстречу завтрашнему дню, Юрша хвалил себя в душе, что не поддался опасной просьбе Вальши: государство осталось в целостности и сохранности, а он — живым.

— Бух! Бух! — раздались вдали выстрелы.

У парнишки ёкнуло сердце. Подслеповатый колхозный сторож обстрелял вернувшихся на горох журавлей. К счастью, бекасиная дробь не достала птиц, и они благополучно скрылись на болоте.

После этого случая Трубач стал садить своё семейство на кормёжку посередине поля: бережёного бог бережёт.

Незаметно к озеру подкралась на лисьих ивовых лапках осень. Облохматила продолговатые пуховые шишки на рогозе, осыпала белые лепестки с перелойки, перепугала ранними седыми утренниками не только луговых птах, но и жителей рабочего посёлка.

Журавлёвы срочно убрали в огороде овощи и выкопали картошку. Вывезли с кулижки по торной пока что дороге стожок сена, заготовленного на зиму для «сталинской коровы». Она, кстати, оказалась удоистой. От парного козьего молока Генка и Людка заметно повеселели...

Серебряные трубы на болоте пели все громче и тревожней. Слушать их Юрша и Вальша ходили теперь только после уроков и по воскресеньям. Хотя голяны и продолжали брать жадно, ребятишки больше собирали клюкву: бабушке Аксиные и бабушке Ульяне на кисели. Где-то в конце сентября Трубач со своим семейством внезапно исчез — умчались журавушки от свирепой сибирской зимы куда подальше. Без серебряных труб озеро осиротело и запечалилось.

...Каждую весну приводил Трубач свою подружку к родному гнездовью, а вместе с ней много и других журавлиных пар. Длинноногие музыканты дружно заселяли обширное, уютное болото и мирно плодились.

— Курлы, курлы, курлы... — славили они рыбацьи зорьки. И лился с небес на подрастающих ребятишек свет вселенской любви.

Крепко завидовал Юрша крылатым знакомцам. До чего же они изящны в полёте, особенно в парящем! Запала в душу парнишке мечта — стать пилотом, да осуществиться ей было не суждено. Три раза пытался поступить в лётную школу, и три раза врач-окулист ставил ему диагноз: дальтонизм. Ой как была права в ту далёкую весну сестрёнка, когда уверяла, что небо синее.

Отслужив армию, Юрша с отличием закончил Иркутское авиатехническое училище, а вслед заочно — институт и навсегда связал свою жизнь с аэродро-

мами и самолётами. Чтобы любить небо, как журавли, не обязательно быть пилотом!

3

На берегу озера грустно стоит седой парнишка в синей аэрофлотовской форме. Это Юрша, а точнее — Юрий Васильевич Журавлёв, начальник управления гражданской авиации Восточной Сибири, известный и уважаемый в России человек. Заглянул мимолётом на денёк-другой погостить к старенькой матери, вот и решил наведаться на берег своего детства, где когда-то с озорной сестрёнкой Вальшей слушали серебряные трубы.

Вроде бы и войны не было, а журавлей не слышно. Озеро обмелело, гольяны в нем перевелись. Тёплый майский ветерок печально насвистывает в камышинку о счастливом прошлом. На усохшем клюквенном болоте там и сям, встав на хвосты, покачиваются ядовитые змейки дыма — горит торф.

Альберт Гурулёв

А снег идёт...

Рассказ

Больше всего из годового круговорота Фёдор любил осень. Но не всю её, мокрую, ветреную, с затухающим дневным светом, а лишь дни первых обильных снегопадов, преображающих видимый мир. Усталый, замусоренный, с сиротски обездоленным сквозным березняком, он, мир, превращался в светлый, праздничный, успокоенный и раздумчивый.

Любил он и другие времена — весну, лето, весну так особо, но в те месяцы, если к крестьянской работе относиться честно, не вывернешься из-под её тяжести для душевного отдыха, чтоб в спокойной благости взглянуть вокруг себя: пахать надо, сажать-сеять, полоть, окучивать, косить, грести, копнить, стожить. Только успевай поворачиваться, подставлять хребет.

А вот когда падут первые настоящие снега... И совсем хорошо, если случится это в тихое тёплое безветрие, когда крупные неторопливые снежинки черёмухой осыпью высеваются из небесного щедрого рукава.

Фёдора всегда завораживало это медленное и плавное кружение, волшебная красота изделий небесного мастера. Можно подставить рукавицу, принять на неё, как на посадочную площадку, несколько снежинок, взглядеться в их сказочный рисунок и вновь удивиться красоте замысла и исполнения. Чьего замысла? Ну и так понятно. Словами это не всегда вымолвишь, а вот душа понимает, но она безголоса.

В такие часы-минуты выходил Фёдор во двор, умащивался на разлапистой чурке для колки дров в глубине двора и смотрел на струящийся с небес молчаливый белый хоровод. И не то что впадал в думу, а затихал всем своим существом, затаивался. От своей конуры приходил верный страж ворот Черныш, больше похожий на излишне заросшего шерстью домашнего, и, чувствуя важность момента, молча устраивался около ног хозяина. Так они и сидели, вроде каждый сам по себе, но все ж таки вместе, чувствуя присутствие друг друга и радуясь этому.

В эти минуты в душе Фёдора чаще всего начинали проклёвываться песенные слова, обычно не вспоминаемые, как бы совсем исчезающие из привычной жизни, но хранимые в самых дальних запасниках. Пела женщина из детства, ласко-

Гурулёв Альберт Семёнович, прозаик (род. в 1934 г. в г. Спасске Приморского края). Автор книг: *Росстань*: роман (Иркутск, 1968); *То же* (Новосибирск, 1970; *Молодая проза Сибири*); *Чанинга*: повесть и рассказы (Иркутск, 1970); *И был день...*: роман, повести (Иркутск, 1986); *Пожар в Перекатном*: повесть (Иркутск, 1973); *Дом на своей земле*: повести (Иркутск, 1983; *Современная сибирская повесть*); *Осенний светлый день*: повести, рассказы (М., 1987); *Крик ворона*: повести / в соавт. с В. Саленко (Иркутск, 1995); *Русское Устье*: роман, повести, рассказы (Иркутск, 2010). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

вым и тёплым голосом. Фёдор не помнил — не знал имени певицы, не знал и слов кроме самых начальных. Но постепенно мелодия начала звучать в памяти чисто, чисто звучал и проникновенный голос: «А снег идёт, а снег идёт, и все вокруг чего-то ждёт».

Много чего ждала душа Фёдора, а главное — жизни, которая и на пятом десятке лет всё ещё не складывалась, относилась на «потом», хотя понималось, что этого «потом», скорее всего, не будет.

Снегопад размывал дальние дома, а потом и вовсе упрятывал их, но Фёдору памятью виделось, что должно было отсюда видеться: пики Саян, скальники, таёжные хребты.

Как-то так совпадало случайно, а может быть, не совсем случайно, а за любовь к осеннему таинству провидение именно в такие дни чуть приоткрывало ворота своих щедрот и одаривало Фёдора щедрым подарком. Вот в такой тёплый снегопад появился когда-то во дворе молодой каурый конёк — ожившая детская мечта и нынешняя отрада. В ближних выселках знакомый мужик, заядлый лошажник, поигравший в фермерство, прогорел в дым на кредитах и по злосчастной стариковской доле сдался судьбе и собрался переезжать к сыну в город. Он сам пришёл к Фёдору и предложил купить жеребчика. Того конька Фёдор приметил ещё легконогим стригунком, восхитился его стати, но и в мечтах не помышлял заполучить его, как не помышляет здравомыслящий работяга о покупке дорогого внедорожника взамен раздолбанного «Москвича».

— Да где ж я денег столь возьму? — выдохнул Фёдор. — Сам нашу жизнь знаешь.

— Позанимай сколько сможешь, пройдишь по родне... Остальные потом отдашь. Да и не возьму я с тебя дорого.

Потом уж, когда пили закрепляющую дело бутылку, Фёдор все ж спросил:

— А почто ты мне предложил Карьку? Мне, а никому другому? Есть ведь покупщики с деньгами.

— Думаю я, что ты своего коня никогда на мясо не продашь. Вот тебе и весь ответ. А то мода такая нынче пошла. Когда это было, чтоб русские... Как повод тебе передать — клятву с тебя возьму. У меня ж душа не то что слезой, кровью обливается, как подумаю, что оставляю его здесь.

Любил Фёдор коней. Конь — это друг, это воля, это счастье. С самого детства Федька на колхозном конном дворе, и при доме конь всегда жил: отец работал лесником, а тому без коня никак.

Стареющий конь, доставшийся Фёдору ещё от отца, принял молодого конька без ревности, с полным смирением. Да и молодой характером удался, быстро сдружился и со стариком, и с новым хозяином, и даже с Чернышом. Для Фёдора наступили настоящие праздники: кормить, поить, расчёсывать ласкового конька, встречающего его появление в загоне лёгким ржанием.

— Сынка, — умилялся Фёдор и лез в карман за куском хлеба или сахаром.

Вот так и потерял Карька своё старое имя и стал Сынкой.

— Какое-то не конское у него имя, — слышал Фёдор от соседей.

— А нам сойдёт, — отвечал и смеялся.

Когда-то и пострадал Фёдор тоже из-за коня... Хоть и давно это было, а повернуло жизнь круто, и не в ту, нужную сторону.

Так по судьбе пришлось, что ростом Фёдор с самого рождения не выдавался. Вообще-то рост был не совсем уж никчёмный, терпимый рост, но он и вишь не раздался. Другой, бывает, росту далеко не богатырского, а в плечах широк, грудь колесом, ладони, что два ковша — мужик мужиком. Но и здесь Федьку обо-

шла планида. Да все бы ничего, но когда пришло время с интересом посматривать на девок, радоваться их затаённым взглядам, ходить в клуб на танцы, стал замечать, что девки разрешают провожать себя совсем другим парням.

Но кто знал, что Федька был мал, да удал. Хотя небольшой, но крепенький, жилистый, ухватистый. А если Федька на коне — так и вовсе герой. Только кто это видит?

И как-то принял Федька на грудь стакашек самогончика — был майский праздник, — удало взлетел на отцова коня, проскакал из конца в конец по пустынной вечерней улице деревни, и захотелось явить себя, своё молодечество народу. И поскакал Федька в клуб, где колготилась в этот час холостёжь. Высокие двери бывшей церкви по такому весеннему времени были распахнуты настежь. Конь легко взял высокое крыльцо и проскакал удалой всадник к самой сцене, крутанул коня на месте, поднял на дыбы. Кинулись врассыпную танцующие, сминая друг друга, вцепились в стены, завизжали девки. Под грохот кованых копыт вылетел Федька из клуба и был таков.

А потом приговор суда — хулиганство. Вообще-то дело это могли бы и замять, выпорол бы отец шалуна добрым чересседельником, да парни за испуг разок поучили бы — и тихо. Но безобразие в клубе в святой день солидарности трудящихся всего мира простить было нельзя — большое районное начальство не поняло бы. Может, и поняло бы, но у него есть начальство повыше, в области. И загремел Федька на «перевоспитание». Благо что статья — всего лишь «за хулиганство».

Вернулся Федька в деревню через три года. И все бы ничего, можно бы и дальше жизнь продолжать, как положено мужику из века в век, — дом построить, детей нарожать, передать им своё умение вцепиться в эту жизнь, но то «молодечество» и расплата за него оказались слишком неподъёмными.

Дом у Фёдора был, а со временем, к большой горести, отцовский дом полностью перешёл в его единоличие: сестры свои семьи в мужниных домах завели, а родители в недалёкий березнячок переехали на вечное поселение. А вот с собственной женитьбой, да с детьми... Тут не заладилось.

В деревне ведь ничего не скроешь, все на виду. Все соседские тайности на потребу всему «обществу». В общем в деревне крепко держался слух, что производить детей Федька не может, так сказать, выражаясь по-нонешнему, с Федькой может быть только безопасный секс. Ещё в лагере, где отбывал он свой срок, то ли холодом изурочил своё естество, то ли надорвался, показывая свою удаль, то ли ещё какая камуха приключилась. Что там с Федькой было в этом самом лагере, неизвестно, но и сердце у него стало давать сбои. А кто из родителей отдаст за такого жениха свою девку. Да и сама девка не пойдёт. Так что отцова изба пустовала. Сам Федька, можно сказать, был не в счёт: рыбалка, охота, выпивка. Так и бобыльствовал Фёдор.

Сестра Клавка, видя братнину бесприютность, по первости пыталась «оженить» мужика, подыскивала ему пару из бабьих обсевок, с тем или иным изъяном, чем только вызывала в Фёдоре раздражение.

— В одну избу две беды хочешь свести? И что будет? Радость да счастье?

Клавка, привыкшая с детства всюду верховодить, — и в кого только такая уродилась? — начинала обычно додавливать неслуха.

— А че ты хочешь? Ты на себя посмотри.

С Клавкиным характером сподручнее лиственные чурки колуном развали-

вать, а не душевные разговоры вести, и потому каждое «собеседование» заканчивалось скандалом.

Так и шли дни, шли и годы.

Но как-то в такой же благостный день осеннего снегопада по каким-то делам, то ли по выпивальным, то ли от пустоты часа, заглянул он к своим знакомцам, всегда готовым «уважить» душевную компанию, и увидел нездешнюю бабу.

— О, да у вас гостя, — обрадовался Фёдор. Теперь-то уж точно без стакашка «за знакомство», да «с приездом» никак не обойтись.

И верно — не обошлись. И более того — погуляли. Когда уже сидели за столом и малость обзнакомились, Фёдор расслабился — нет, не допьяна, а самый чуток, когда душа становится спокойнее и смелее — поглядел он на гостью внимательнее. Молода гостя, до тридцати не дотягивает. А уже с хорошим приплодом: две девчонки дошкольницы около стола крутятся, да за занавеской, судя по голосу, — грудничок. Тоже её. Баба крупноватая, в теле, красивая. И исходила от её красоты, ранней дородности, неизъяснимая бабья суть, притягательность, требующая своего, бабского, дурманящая мужицкую голову сладкой немотой. Так и хотелось схватить эту Наталью, умыкнуть её в утайливое место, раствориться в ней. И одновременно — бывает, оказывается, и такое — не было в ней беспутной шалавости. Но так и пышет из неё желание, чтобы умыкнули её и сбывлись мужиковы помыслы. Однако так же ждёт дышащая весенним тёплым паром вспаханная земля своего сеятеля.

Но Фёдор и в хмельных помыслах не примерил Наталью к себе, как не примеряют к себе чужую красивую жизнь, показываемую в телевизионном ящике.

Вскоре в застольном разговоре прояснилось, что приехала Наталья в их деревню не в гости, а на житье-бытье. Только вот незадача — жить ей особо негде. У Федькиного знакомого тесновато...

— А хошь — живи у меня, — Федька, вроде бы ничего ещё такого не подумал, а голос сам прорезался. А сказанного не поймаетшь.

Наталья спокойно и внимательно посмотрела на Фёдора, не в пьяни ли балаболит мужик. Да нет, вроде, от души.

А Федька успел мысленно ругнуть себя: ну куда полез? И статью не вышел, и старше лет на пятнадцать, да и здоровьем не крепок.

— Только у меня грязно... — пошёл в отступ Федька, чтобы не так обидно было получить отказ. — Не топлено.

— А я согласна. Хоть сейчас, — бойко вскинулась Наталья.

Такого разворота жизни Фёдор не ожидал. Дёрнул же чёрт за нетрезвый язык. А кто Наталья такая, чем дышит, и не подумал узнать. И, потом, отчего это она, на зиму глядя, кинулась в деревню, куда её никто не звал, с двумя малолетками да с грудничком на руках. Ничего хорошего за этим побегом — знамо побегом — не стоит. Только в беде, только спасаясь, можно кинуться вот так, очертя голову. «Да ладно, — ответил Фёдор сам своим мыслям. — Как-нибудь образуется». — И добавил ироничную присказку: «Там видно будет, сказал слепой».

Утром Фёдор услышал предупреждающий лай Черныша и увидел, как в приоткрытую калитку заглядывает Наталья. Поспешил на крыльцо.

— Ну вот, я пришла. Не передумал?

— А чего передумывать, места хватит, — и пропустил гостью в дверь. — Я тебе говорил — грязно у меня.

Наталья окинула избу быстрым взглядом.

— Ты куда-то собираешься? — спросила, увидев у порога плотный рюкзак.

— Зимовье проведать, — ответил Фёдор уклончиво. — Замок с ключом вот, на гвоздике, если куда пойдёшь. В подполе картошка. Бери не стесняйся. А больше ничего нет. Даже капусту не солил.

— Ты мне ведро покажи да тряпку дай...

В то утро Фёдор торопливо заседлал Сынку и столь же поспешно уехал от своей новой жизни, сказав Наталье на прощание:

— Ты тут сама смотри... Где вода, где дрова. Разберёшься.

Неделю Фёдор отсиживался в своём зимовье, упрятанном в бесхожей тайге, укрытом за бездорожьём, бестропьем, за щетинистыми хребтами. Подремонтировал избушку, отдышался, осмотрелся в своём прошлом и будущем. Но... думай не думай, а возвращаться надо. Перед самым выходом добыл Фёдор могучего козла. Стало быть, вернётся с гостинцем.

Года три тому назад отобрала у Фёдора заезжая из района милиция старую, но ещё добрую двустволку. Возвращался он тогда с покосов. Ружье, как обычно, не таил. И вот она, поперёк дороги, милицейская машина, а около неё люди в форме.

— Документы на ружьишко есть?

А когда они и у кого по сибирским таёжным деревням были? Ещё недавно, на памяти Фёдора ружье можно было купить хоть в комиссионке. Так что...

Так что во имя новоявленной, незнамой ранее борьбы с экстремизмом да бандитизмом пришлось прикладистую двустволку отдать в милицейские руки. И чуть ли не на следующий день, от греха подальше, увезти в таёжный схрон кое-что посерьёзнее дробовика — надёжно пристрелянный карабин-кормилец и весь к нему боеприпас. Ведь не оружие порождает этот самый бандитизм, а несправедливость, бессовестность и алчность организованного ухватившими власть временщиками людского бытия.

Вернувшись в деревню, Фёдор, радостно облаянный Чернышом, не узнал своей избы. Нет, она была все та же, стояла на прежнем месте, но на окнах белели весёлые занавесочки, двор был чисто выметен, а из печной трубы шёл лёгкий берёзовый дымок. В избе было тепло, пахло едой, отмытый пол блестел давно забытым цветом краски.

Две девчушки, в малых, дошкольных ещё годах, вытянулись в струнки у печки, не зная, как себя вести с незнакомым дядькой. Третья, сеголетка, спала в подушках на дальней узкой кровати.

— А вот и хозяин приехал, — встретила его Наталья. — А я как будто знала, что ты сегодня вернёшься, — баньку истопила.

От всей этой непривычности — то ли от тепла, то ли от незнамой бабьей заботливости — у Фёдора предательски запотели глаза, и он торопливо развернулся, сказав уже в дверь:

— За бутылкой сбегая. С устатку. В сенцах мясо лежит. Ты посмотри.

Вечером, когда Фёдор, распаренный после бани, в чистой рубахе, под лёгким хмельком, сидел за столом, Наталья окатила Фёдора вопросом.

— Время позднее. Нам с тобой как стелить, вместе или по отдельности? Как скажешь... — и опустила глаза в ожидании.

Новую свою жизнь Фёдор не мог бы представить и в самых смелых помыслах. А в общем-то самую человеческую жизнь, самую что ни на есть обыкновенную: тёплую избу, запах сытых щей, ребячьи голоса, красивая да ласковая хозяйка.

А ещё через неделю дом Фёдора посетила нежданная гостя, сестра Клавка, живущая в дальнем конце деревни.

— Да вот пришла посмотреть, как ты распорядился мамкиным домом. — Клавка, не раздеваясь, отчуждённо присела на табурет, стоящий у самой двери. — Хоть бы посоветовался, перед тем как пустить в дом чужих людей.

Фёдор и не припомнил, когда Клавка открывала здесь двери последний раз. Может, и год прошёл. Или того более. И теперь Клавка с вызовом рассматривала Наталью, девочнок, новые занавески. Но на Наталью эта явная неприязнь вроде бы и не действовала, как ни в чем не бывало продолжала возиться у печки.

— Женился я, — бухнул Фёдор.

— Чево? — Клавка всплеснула руками. — Женился, значить? А я что-то и свадьбы твоей не припомню.

Забыла Клавка — брата донимать долго нельзя.

— А тебе какое дело? — заузил глаза Фёдор. — Заботу, мля, проявила. Где ты раньше-то была?

— Изба мамкина, значит, наша общая. А ты один решаешь. Экую ораву пустил.

— Значит о брате вспомнила? Иди-ка ты... домой.

— Гонишь, значит? — Клавка обидчиво поднялась. — Из родного дома меня гонишь?

— Да чего ты хочешь? — поднялся и Фёдор.

— А чтоб по справедливости все было.

— Какой справедливости? — выкрикнул Фёдор. — Чтоб мне снова в грязной рубаше ходить и когда не с кем словом перекинуться? — И он двинулся к сестре. — Это справедливость?

Клавка выбила дверь крутым бедром.

— Смотри, как бы тебе ещё не пожалеть, — донеслось уже под лай Черныша с улицы.

Наталья оказалась бабой работающей да ухватистой. В конце осени привела во двор стельную корову — деньги у неё на покупку будущей кормилицы хоть под обрез, но были. И с сеном обустроилось. Да и Фёдор в своё время накопил для Сынки и старого коня сенца с запасом. К первой капели с крыш принесла корова крепкого телёночка, тёлочку. В избе запахло парным молоком, веселее застучали кружками девочки. А по весне Наталья удивила Фёдора: наняла трактор и перепахала давно заброшенный огород и прихватила залежь, примыкающую к огороду. И посадила картошки чуть ли не гектар.

— Да куда нам столько? — удивился Фёдор. — Пока прополешь да окучишь — сгорбатишься.

Нет, он не протестовал против непривычно громадного огорода, помогал во всём, хоть и без особого жара. Но удивлялся хозяйственной прыти Натальи: кроме трудно подъёмного поля картошки появились устрашающе громадные грядки моркови, целая плантация капусты и ещё много чего другого. В душе Фёдор понимал правоту Натальи, но как-то это не складывалось с нынешней жизнью: после гибели колхоза многие из деревенских впали в нищету, а потом и в пьянь, и противу всего крестьянского существа стали сокращать огороды, а некоторые и вовсе их забросили, потеряв интерес и душевные силы.

Первая совместная с Натальей страда удивила Фёдора своими результатами. Картошки накопили невиданно много, засыпали подпол под самую крышку, да ещё наворотили во дворе большой бурт, прикрыв его от внезапных морозов

старыми половиками. На картошку Наталья где-то откапывала покупателей, бурт таял, но все одно пугал-радовал своей могучностью. А потом появились покупатели за капустой, морковкой да свеклой.

Вдвоём такую заботу не поднять было, надорваться можно, тем более, что Наталья давала Фёдору большое послабление, помнила о его сердечной хвори — пришлось прихватывать работников со стороны, где за деньги, где за выпивку. Но как бы то ни было, а весь урожай уберегли.

И этой же урожайной осенью приключилась совсем неожиданная новость, озадачившая и смутившая Фёдора: у Натальи заметно стал увеличиваться живот.

— Понесла я, Фёдор, — спокойно объяснила Наталья, увидев, что Фёдор внимательно и задумчиво стал на неё посматривать — У меня всё девчонки рожались, а теперь чувствую — парнишка.

— Дак... я ж того, — начал заикаться Фёдор.

— Чего того?

— Тебе, поди, давно уже в деревне про меня рассказали...

— Рассказали. Язык-то, он без костей. Любят у нас человека грязью вымазать. Врачи твои ошиблись. Может, и была какая хворь — да прошла... Парнишка будет. Не сомневайся. Твою фамилию продолжит.

На этом разговор и закончился. Фёдор молча вышел во двор, долго сидел на привычном своём чурбачке, курил, не замечая радостного внимания Черныша.

А через пару месяцев Наталья родила. Как и обещала — парнишку. В доме запахло пелёнками, грудным молоком и каким-то особенным ласковым теплом. Фёдор изредка подходил к Федьке — так нарекли, — смотрел по первости молча, а потом стал тихонько погуливать, изображать пальцами «козу». Федька улыбался голыми розовыми дёснами.

— Весь в тебя, — радовала Наталья. — Ты посмотри!

Пожаловала в гости Клавка. Не снимая тёплого жакета, как и в прошлый приход уюстилась у двери. Когда Наталья вышла во двор, придумав какое-то заделье, Клавка приступила к разговору.

— Ну что, папаша... Наставили тебе рога. Вся деревня смеётся.

— Ты о чем, сестрица?

— Сам знаешь о чем, — Клавка ядовито посмотрела на Фёдора. — Мало тебе трёх чужих девок, так ещё и байстрючонка нагулянного получил.

Фёдор давно уже поджидал Клавку — как же она удержится, не придёт: случай что ни на есть самый подходящий, чтобы «заботу» проявить, в душе братниной покопаться. Свою вечную правоту потешить. Знала бы, стерва, сколько дум передумал Фёдор, сколько раз душа кидалась из тоски в надежду и радость, то вновь в стылую неуютность. Только где ей, Клавке, знать! И знать, как светло на душе от мысли — выращу парня, воспитаю мужиком, суть свою передам. И одновременно раздувалась в душе потаённая искорка: а вдруг и вправду парень мой? Ведь может же быть?

Фёдор сам дал себе слово обойтись с Клавкой без скандала, сказал спокойно, но твёрдо.

— Мой парень.

— Да я даже знаю, от кого твоя шлюха забрюхателя... Сказать?

— Мой парень, — Фёдор не удержался, повысил голос. — Хоть ты мне и сестра, но больше ко мне с такими разговорами не приходи. Я предупредил. И любому смогу язык в задницу затолкать. Ты меня поняла?

Клавка посмотрела на брата — самое время настало, чтобы его понять. Дальше судьбу не стоит искушать. А Фёдор ещё и пояснил:

— Я ещё раз сяду, если надо, а зубы мыть никому не дам, выщелкаю... И ты приходи ко мне по-хорошему, я тебе рад буду.

Много с тех пор прошло осеней, младший Федька в третий класс уже пошёл. Смышлёный парнишка. Помощник. Будет добрым лошадником и таёжником. Уже сейчас видно. В доме ещё, после Федьки, две девчушки объявились, бегают, веселят своим смехом и разговорами. Одна Нинка — в честь Фёдоровой матери, другая Танька, в честь умершей совсем в молодых годах сестры. Наталья уверяет — на Фёдора похожи. В стайке вторая корова, молочница, сыто вздыхает. Да нетель ещё, да бычишка. Вот только Черныш крепко остарел, не шустрит уже у ворот, лишь хвостом помашет, увидев хозяина.

Вот и сегодня пал первый настоящий снег. Самое время снегу — Покров. Сидит Фёдор на привычном месте — на могутном чурбаке, пригодном для колки дров и для разруба мяса и для отдыха — раздумия. И снег идёт...

Владимир Гусенков

Чары твои, Ботогол

Очерк
(в сокращении)

Памяти Алибера

Его Сиятельство граф Муравьев-Амурский, Генерал-губернатор Восточной Сибири и командующий войсками в оной готовился к последнему и окончательному отъезду из Иркутска. Однако за разборкой бумаг и множеством неотложных дел он всё же не забыл о выставке Алибера в зале местного музеума. То была часть графитовых коллекций, «которую господин Алибер имел представить на имеющую быть выставку в экономическом обществе». Не удовлетвоваввшись одним лишь созерцанием, граф в виде редкого исключения пишет Алиберу письмо:

«Монсеньер.

Выставка прекрасных изделий из графита, добытого в Вашей шахте, выставка, которую я сегодня осмотрел с большим интересом и с живым удовольствием в залах Сибирского отделения Императорского географического общества, заставила меня вспомнить о всех обстоятельствах, связанных с вашей пятнадцатилетней тяжёлой работой в стране, так же как и о исключительной энергии, которую Вам пришлось проявить, чтобы достигнуть плодотворных результатов в таком обширном предприятии, как добыча графита.

Мне вспомнились трудности и препятствия, которые, казалось, должны были парализовать Ваши усилия; но благодаря настойчивости, восхитительной энергии, горячей вере в лучшее будущее и твёрдости, с которой вы боролись с неудачами, Вы добились наконец желанных результатов, принёсших Вам уважение и почёт. Я Вас поздравляю от всего сердца и искренне радуюсь успехам Вашей светлой деятельности, за которую Вы ныне справедливо вознаграждены.

Я не могу также воздержаться от того, чтобы не воздать Вам должное за то, что во время Вашего пятнадцатилетнего пребывания в Восточной Сибири Вы явили собой пример хорошего гражданина, полезного стране. Все свои усилия Вы направляли на развитие промышленности, во имя которой с благородной самоотверженностью Вы принесли в жертву долгие годы и вынесли тяжчайшие трудности; в меру своих сил Вы принимали участие в облегчении судеб человечества...

Все эти обстоятельства побуждают меня, как главу страны, к приятной обязанности выразить Вам, Монсеньер, мою искреннюю признательность и просить Вас принять уверения в моем совершеннейшем уважении и моей преданности.

Иркутск, 23 августа 1860 г.»

Гусенков Владимир Павлович, поэт, прозаик (род. в 1932 г. в г. Иркутске). Автор книг: *Корабли выходят на орбиты*: стихи (Иркутск, 1961), *Мой бедный Артаньян*: повести (Иркутск, 1987), публикаций в коллект. сб. и журналах. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Одно лишь это письмо свидетельствует о том, что как Муравьева-Амурского, так и во многом загадочного Алибера обоюдная симпатия связала на долгие годы. Граф и предприниматель, чью кровь едва ли можно было назвать голубой, схожи были не столько чертами характеров, сколько доходящим до фанатизма упорством в достижении цели. Связующим звеном в этой странной дружбе могла быть и жена Муравьева-Амурского — в девичестве мадемуазель де Ришмон, француженка, дворянка, представительница знатного рода, вследствие глубокого влечения к русскому генералу принявшая православие и ставшая уже Екатериной Николаевной Муравьевой. Алибер был соотечественник, а это молодой губернаторше напоминало о её родине, к тому же оживляло слух безупречной родной речью из уст отнюдь не глупого человека, понимавшего толк и в подношениях. Он умел себя вести; приятный во всех отношениях, этот человек не блистал откровением, хотя не казался замкнутым. Его биография полна пробелов, но не настолько, чтобы считать её темной.

Алибер появился на свет в 1820 году, но о его родителях сведений мало. Похоже, что состоятельные буржуа. Алибер в четырнадцать лет оказался в Лондоне, где отнюдь не бил баклуши, а обучался вести настоящие сделки у джентльменов из кофейни Ллойда, осуществляющих «торги при свече» и знающих, что «колокол рока», некогда снятый с затонувшего судна «Лютин», дурные вести оповещает двумя ударами. Обучался ли Алибер в колледже или постигал экономические выкладки Адама Смита частным образом, неизвестно, только по части предпринимательства он вполне преуспел.

Мало что известно об отношениях Алибера с Пермикиным, но кое-какой свет на интерес нашего героя к Восточной Сибири это знакомство проливает. В Петербурге Пермикина знали. Известный искатель самоцветов, питающий особую страсть к нефриту и лазуриту, он был знатоком Сибири, а Саяны знал, как свой рабочий стол со всеми его потайными ящичками. Письменные свидетельства утверждают, что в семье молодого тогда Пермикина живой и любознательный Алибер обосновался, якобы, в качестве парикмахера и учителя французского языка, что очень уж напоминает комедию с переодеванием, хотя в тех же источниках упоминается, будто Алибер временно разорился. Как бы там ни было, а радушие Пермикина, выступившего в роли милосердного самаритянина, помогло Алиберу попасть в Иркутск не на пустое место, а имея кое-какие связи. Сибирские воротилы без рекомендаций не очень-то доверяли приезжим искателям счастья, каковым Алибер и был, но к моменту прибытия на берега Ангары его финансовые дела не только поправились, но позволили ему принять участие в делах благотворительности. Двенадцать тысяч рублей пожертвовал он в пользу жителей Троицкосавска, сильно пострадавших от пожара. Сделает Алибер приношение и в пользу католической церкви. Как ни странно, но деловые качества не заслонили в нем ту сторону натуры, которая жила мыслью о высоких предназначениях и земной тщете, не получающей благословения свыше без духа палящего,

В Иркутске Алибер появился не иначе, как в 1843 году. В торговом подворье он закупает меха, засиживается в бойких заведениях, заводит знакомства с рудознателями, наводит справки о золотых приисках. С проводниками он сам выбирается в горы, с берегов горных рек вглядывается в камни и валуны, рассматривает образцы пород и, спустя какое-то время, неожиданно всё бросает, катит в Петербург, а затем направляется в Европу. Нелегко объяснить, чем это было вызвано, но вояж по Германии и Франции с конечной остановкой в Англии связан с более чем пристальным вниманием к производству карандашей. Меха

и золото в его деятельности отходят как бы на второй план. Страстью становится графит. Здесь мы можем сделать первое отступление.

Английские предприниматели ещё в 1565 году открыли в графстве Камберленд месторождение графита, качество которого оказалось лучшим в Европе. Известно всему миру Борроудельское месторождение. Благодаря этому Англия на несколько столетий стала монопольным поставщиком карандашей высочайшего качества. Вывоз графита из Англии в его естественном виде был строгойше запрещён. Карандаши Брокмана на мировом рынке стали дорогим удовольствием, но раскупались нарасхват. Борроудельское месторождение было своего рода золотым Клондайком, однако в 1840 году оно истощилось, а лихорадочные поиски чего-то подобного на берегах Альбиона оказались безуспешными. Подходили к концу и запасы второсортного графита, цена на который успела подняться до 400 франков за килограмм. Наткнуться в этих условиях на месторождения графита, подобного тому, что залегал в графстве Камберленд, значило бы оказаться под золотым дождём. Не эта ли мысль захватила Алибера, став его всепоглощающей страстью?

Наверняка, впервые оказавшись в Иркутске, через того же Пермикина, успевшего обследовать Тункинскую котловину с её скалами Саянского хребта, Алибер познакомился с Черепановым. Местный казак, с задатками куперовского следопыта, упорно стремящийся выбиться в сословие мужей от науки, Черепанов, не получив должного образования, всё же кое-чего добился, получив офицерский чин и возможность пером зарабатывать себе репутацию пишущего человека. Его статьи печатались в газетах Петербурга, а востоковед Сенковский (Барон Брамбеус) помещал в своей «Библиотеке для чтения» выдержки его из дневников и тяжеловатые повести сибирского аборигена, колоритные в своей житейской бесхитростности.

Озлобившемуся на издателей Черепанову Тунка пришлось по душе, и здесь-то с ним произошёл случай, проливающий свет на всю последующую деятельность Алибера с момента его первого и, надо сказать, загадочного отъезда в Европу. Нарушив священные часы размышлений над очередным листом горестных сетований, к начальнику пограничного отделения пожаловали местные охотники-буряты с тем, чтобы тот одолжил им свинца. Он, большой нойон, должен понять их положение и не дать пропасть им вовсе. Просьбе Черепанов, конечно, внял, желая остаться другом местного населения, но, не имея больших запасов, снял со стенных ходиков свинцовые гири, для красоты обжаты листов медью, и, явно решив разыграть наивных гостей, сказал, что добудет свинец из красного металла. Приняв слова нойона за чистую монету, охотники ушли с мыслью, что их начальник не иначе как знает с всесильными духами. Слух о русском шамане распространился по улусам, и вскоре к Черепанову явился ещё один гость. Из охотничьего торока он извлёк тёмные куски минерала и объявил, что это тоже свинец и его у них большая гора, но попытка его растопить у них ничем не кончилась, а нойон сумел это сделать из меди.

Кое-что в горном деле Черепанов смыслил и понял, что это графит. Знал он и то, что плавильные тигли из графита казна и золотодобытчики Сибири завозят из Англии, терпя при этом большие расходы. Это и заставило его побывать на Ботоголе, а позже и застолбить месторождение. Но сначала кондовый литератор приказал крестьянину Кобелеву нарубить той руды тридцать пудов, после чего она была доставлена в Иркутск. Увы, Тельминская фабрика, изготавливавшая огнеупорные горшки, забраковала пробу. Поверхностный знаток, Черепанов не мог догадаться, что графит взят с первичной оголи, где природные ката-

клизмы смешали его с известняками и песком, зато Алибер был посмышлёней, а от Черепанова-то он и узнал о Ботоголе. Для кипящего помыслами француза это была и синица, и журавль в небе. Удачу надо было скрадывать. И несколько лет продолжалась игра. Заодно и тайные походы в Тунку. Не в интересах Алибера было посвящать казака-литератора, над странными вымыслами которого посмеивалось учёное общество Иркутска, в затаённую суть дела. Мысли Черепанова были далеки от карандашного кризиса в Англии, однако в 1846 году, отправившись в очередной раз в Петербург, он захватил с собой образцы графита, думая, что казна согласится выкупить его участок. Хотя бы оправдать дорожные расходы. Однако министр финансов Вронченко не принял его предложение.

Наконец-то Алибер дождался своего часа. Всего за триста рублей выкупил он у Черепанова месторождение, стоившее миллионы. Черепанов полагал, что и он не внакладе, мстительно посмеиваясь над кутилой-французом, полагая, что того иркутская негодия рано или поздно оберёт до нитки. Черепанову позже пеняли, что за триста рублей он продал Алиберу семь помещичьих поместий в лучших районах России, но, к счастью, казак был набожен, а позже даже полагал, что Алибер, хотя и любим губернатором, но пребывает «в таких же худых душах», как он, многогрешный, однако не мечущийся, подобно омулю подо льдом.

Алибер тоже не чужд был веры, но, уповая на провидение, полагался с отрочества на свои силы. Теперь уже вместо синицы и журавля в его крепких руках страстного предпринимателя трепетала жар-птица, и надо было её удержать. Обладая горячностью изобретательного гасконца, он, как обломовский Штольц, был расчётлив и твёрд в своих помыслах. Тщательно была подобрана партия рабочих, закуплено необходимое снаряжение, и через полторы недели Алибер с передовым отрядом уже разбил лагерь у подножия Ботогольского гольца. Ожидания его начинали оправдываться: графита было много, хотя и не лучшего качества, но среди карандашного камня попадались отличные образцы, что вселяло надежду на жилые пласты, которые надо было вскрывать. Ясно было и то, что обустраиваться следовало на годы. За два сезона это вполне подтвердилось. Непрерывная работа ощутимых результатов не дала. Графит выпиливали, складывали штабелями, но качеством он не радовал.

Рабочие роптали на продуваемые насквозь бараки, откуда зимой страшно было взбираться по крутизне увала на голое плато, где ничего не росло. Пояс тайги оставался ниже, а на гольце свирепствовали арктические ветры. Зарботки удовлетворяли, но люди уходили.

После мучительных раздумий Алибер понял, что надо играть ва-банк или свёртывать предприятие, пока ещё капитал оставался. Он решил рискнуть. Гора словно льнула к нему.

За короткий летний сезон он впрок завёз на рудник продукты, инструменты и запасы взрывчатки, одновременно развернув уже капитальное строительство. На берегу речки у подножия Ботогола появились ферма и скотный двор, был разбит огород и отстроен вместительный дом. Алибер не поскупился закупить породистых коров, заржали в конюшне лошади, птичий двор огласился заливыстым пением петуха, а для полного уюта, совсем как в большом посёлке, быстро обжились на новом месте собаки и кошки.

Однако основное строительство Алибер развернул на вершине гольца, буквально прорубив к нему дорогу от нижнего подворья в скальных грунтах — так чтобы можно было вывозить графит без особых хлопот. Теперь от крытого входа в шахту вела галерея в общую столовую, а надстройку над шахтой с островерхой башней и цветными стёклами завершил флюгер, на котором красовалась над-

пись: «1847 год». Лично для себя в центральной части гольца Алибер выстроил виллу с верандой, а неподалёку поставил кондовые дома для рабочих. Воздвиг он и часовню с цветными витражами, увенчав её католическим крестом. В ней он бывал один. Из пустой породы и низкопробного графита рабочие соорудили стену и два ветрореза, защищающие посёлок от леденящих душу выюг и снегопадов. Было намечено построить дорогу от Ботогола до Голумети длиной в сто пятьдесят километров.

Теперь, когда были созданы все условия для горнорабочих, Алибер всю свою энергию направил на то, чтобы достучаться до жильного графита высокого качества. Работа пошла круглосуточно, и на это никто не роптал.

Шахта всё углублялась, не прекращались взрывы, но графит на-гора выдавался всё тот же: низкосортный. Окупить затраты он бы мог едва ли. Нависала угроза разорения. Приходилось часто выезжать в Иркутск, чтобы обмануть и успокоить кредиторов, начинающих пугать долговой тюрьмой. Алибер дипломатичен как никогда. Изворотливость ума позволяет ему балансировать на шаткой доске мнимого благополучия и лучезарных перспектив, излагаемых им финансовым воротилам. С одним из жёстких пройдох (неким Занадворовым) он составляет товарищество, прекрасно понимая, что подставляет своё горло коварному и ненадёжному компаньону, но всё-таки этот альянс лучше, чем ничего. Главное — оттяжка. Алибер успокаивается. Он продолжает благоустраивать Ботогол, делает геологические вылазки, надеясь хотя бы наткнуться на самоцветы, ведёт дневник и даже обзаводится крохотной метеостанцией и обсерваторией, в телескоп по ночам разглядывая звёздное небо. Бывают гости. Для них у излучин речек поставлены беседки.

Но вдруг, как ураган на паруса одинокого судна, обрушивается страшное известие из шахты. Графитовая выработка кончилась. Взрывы показывают, что дальше начинаются твёрдые породы — сиенит. В нем лишь незначительные признаки графита. На дворе 1853 год. Позади шесть лет неустанной борьбы с горой, на что ушло почти всё нажитое прежде. Алибер не вылезает из шахты, обследуя всё гнездо. Опытные друзья советуют прекратить работы.

Алибер никого не держит. Целыми днями он заново обследует шахту, лазает по горе, рассматривая выходы пород, а вечерами уединяется в часовне, стоящей на самой вершине, получившей прозвище Крестовой. Он тут единственный католик. Где ещё можно укрепить дух, как не в этой часовне. Тайны мироздания дано постигать через веру, и Алибер снова решает идти ва-банк. Он отдаёт распоряжение пробиваться сквозь сиенит, не жалея взрывчатки. Работы возобновляются.

Лишь третьего февраля 1854 года на дно шахты, наконец-то, выбросило обломки графита. Это случилось в боковой выработке, названной Мариинской. Обследовав пробу, Алибер, опустошенный и радостный, долго сидел у стола. Обломок ничем не уступал Борроудельскому графиту по своим замечательным качествам. Всё ещё не веря в удачу, Алибер упаковал образцы и поскакал в Иркутск. Лабораторный анализ подтвердил его предположения. А вскоре он убедился и в том, что графита в шахте много. Опубликованная им статья в журнале Географического общества сразу и навсегда укрепила его репутацию. Однако осуществить свою мечту полностью, построив в России карандашную фабрику, ему не удалось. Основная причина — косность государственной машины и фатальная недоразвитость рынка, которую можно объяснить зачаточностью капиталистического уклада, ещё не освоившегося в своей фабричности. В силу своих истощившихся средств, Алибер сам не мог учредить карандашное производство,

а на его приглашение войти с ним в пай никто не пошёл. Обманул его и Занадворов, видимо, мечтая довести компаньона до полного банкротства и за бесценок скупить Ботогол, но Алибер не дал ему этой возможности, заключив контракт на поставку графита с известной фабрикой Фабера в Нюрнберге. Он довольно быстро окупил затраты. Большую партию ему даже удалось отправить в Германию, благодаря сквозному пароходству, которое было организовано неуспешной деятельностью Муравьева-Амурского. Долог был путь русского графита в Гамбург — через Дальний Восток и три океана. По зимним дорогам его везли в крестьянских розвальнях, лежал он на складах Шилки, дожидаясь навигации, и утекал ручейком за границу. Везли его и по Сибирскому тракту, и тем не менее, для Фабера это было выгодно.

Роль поставщика Алибера не устраивала. Это давало доход, но не настолько достаточный, чтобы самому построить карандашную фабрику. Он предпринимает ещё одну попытку заинтересовать партнёров, организует в зале Географического общества ошеломляющую для публики выставку, и она действительно станет сенсацией не только в Иркутске. «В числе этих изделий, — как сказано в летописи Пежемского и Кротова, — были штуды цельного графита весом до двух пудов, а также бюсты Государя Императора и Ермака, завоевателя Сибири, изготовленные из цельного графита. Были также отлично выточенные и отшлифованные вазы и карандаши всех сортов и форм». Увы, но никто из держателей капитала дальше поздравлений и похвал не пошёл.

Здоровье Алибера подорвано. Он ведь сам валил деревья, с помощью канатов затаскивал их на гольцовое плато, вскапывал и сажил огород, пытался даже развести сад, обучал сойотов доить коров и ухаживать за скотиной. Болели от ревматизма суставы. В Петербурге он узнает, что техника очистки и прессовки графита сделала настолько большие успехи, что хорошие карандаши можно получать из низкосортных минералов, и он принимает решение сдать хозяйство рудника доверенному лицу. Что-то в нем надломилось. В 1860 году он возвращается во Францию. Естественно, достаточно богатым человеком, чтобы ни в чем себе не отказывать.

Рудник на знаменитой горе через пять лет после отставки Муравьева-Амурского посетил Кропоткин, а в семидесятых годах там побывал Черский. Оба отметили хорошую сохранность рудника, но позже его всё же разграбили и сожгли, а к жизни вернули лишь в 1925 году, но личность Алибера в эти годы уже никого не интересовала. Большая Советская Энциклопедия за 1926 год представила Алибера как некоего «финляндца», который скончался в Саянах, в 1858 году, и после него ни одна душа не заглядывала на Ботогол, хотя рудник время от времени использовали и даже пытались наладить то, что было разрушено. Сойоты долго охраняли гору.

Алибер умер в 1905 году, и прах его покоится на парижском кладбище. Живя в Риме, он потратил немало средств, чтобы на одной из окрестных гор выстроить маленький Ботогол, чьи чары не покидали его до последнего часа.

Владимир Жемчужников

Опасное плавание

Рассказ

На Байкале жить — без гостей не соскучишься. Ни одно лето без них не обходится. И нынешнее — тоже. Июльским вечером приехала жена из города и сразу от калитки сообщает:

— Завтра жди гостей. Не пугайся, маленький наплыв — шестеро взрослых и пятеро детей.

— Целая футбольная команда, — без особого воодушевления принял я новость. — Не иначе, семейный пикник?

— Семейный, да не пикник. Компания собралась путешествовать на байдарках.

— Ну что ж, как-нибудь разместим. Детей — в дом, родителей — в сарай. Говоришь, на байдарках по Байкалу? Я не ослышался?

— Нет, нет. Послезавтра утром отплывают на «Комете» на северный Байкал, а потом — вдоль берега своим ходом, на байдарках. Спрашивали, где тут можно переночевать. На пристани им некуда деться с малышами, там же гостиницы нет, сам знаешь. Вот и пригласила к нам.

— Слушай, какие байдарки? Какие дети? Ты, наверное, что-то всё-таки путаешь. Байкал — это что, лягушатник? Место для водных забав?

— Не нервничай, эти научники — ребята опытные, не в первый раз плывут.

— ??!

Они появились на другой день к вечеру, как и обещались. Сразу шумно и тесно стало на нашей просторной усадьбе, точно цыганский табор нагрнулся. Они притащили на себе целую гору походного снаряжения и оказалось, это ещё не все — зачехлённые байдарки оставили на пристани.

Храбрый наш Чип, чёрный тибетский терьер, ошалел от вторжения незнакомцев и не знал, как вести себя: то ли облаивать взрослых людей, то ли ластиться к маленьким.

Одиннадцать человек — одиннадцать имён, попробуй-ка запомнить всех

Жемчужников Владимир Борисович, прозаик, публицист, сценарист и драматург (род. в 1937 г. на ст. Кузино Свердловской обл.). Автор книг: *Осень на двоих*: повесть (Иркутск, 1967); *Мужчина в доме*: повесть (Иркутск, 1972); *Чистые кедрачи*: очерки (Иркутск, 1973); *Белая лайка*: повести (М., 1981); *Уходящая натура*: повести (Иркутск, 1984); *Современная сибирская повесть*; *На байкальском берегу*: очерки (М., 1986); *Писатель и время*; *Нечаянный интерес*: повести и очерки (М., 1987); *Повесть о поселковом мастере*: повести (Иркутск, 1990); *Байкальская история*: Книга эссе (Иркутск, 1995); автор пьес: *Дорогой Саша...* (Об А. Вампилове): одноакт.; пост-ки в Ирк. ТЮЗе в 1997; *Случайные встречи*: сцены свиданий по брачным объявлениям / сб. двух авторов (Иркутск, 2004) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

сразу. Словом, так. Прибыли три молодые семьи из академгородка. В одной — две девочки, в другой — мальчик с девочкой, в третьей семье — девочка.

— Стало быть, четыре девчонки, один мальчишка, — познакомился я с детишками. — Что-то маловато мужиков?

— А в прошлом году у нас было наоборот — три мальчика и девочка, — вспомнила одна из матерей.

Самой маленькой три с половиной года, самой большой — восемь лет. Были ещё две ровесницы — по четыре годика. А мальчонке шесть исполнилось. Возраст родителей — от двадцати пяти до тридцати, не более. И папы, и мамы — энергичные, решительные — выглядели студентами. И без того молодых, их ещё более молодила лёгкая, ладная туристская одежда. Судя по выгоревшим штормовкам, ребята отправились, конечно, не в первое серьёзное путешествие.

Всё бы ничего, но эти детсадовцы...

Надо думать, я глядел на них слишком жалостливо, и отец двух дочек попытался умерить мои опасения:

— А вы знаете, мы своих девчонок таскали в лес, когда они только учились ходить. И теперь восьмилетняя наша может пройти на лыжах тридцать километров — и без палок! А четырёхлетняя — двадцать километров пешком, не просясь на плечи.

Ну что тут скажешь? Феноменальные сестрички. Прямо-таки олимпийские надежды, будущие чемпионки, не иначе. Цифры, признаться, кажутся чуть подозрительными, преувеличенными (какой родитель не любит погордиться своими детьми!), хотя люди учёные любят точность, им можно верить. Раз уж сказано «тридцать километров», значит, тридцать, а не двадцать восемь. И ещё одну впечатляющую цифру подкинули: на шестерых взрослых у них приходится триста шестьдесят килограммов груза вместе с байдарками. Но не учитывая детей. А сколько же, любопытно мне, байдарка поднимает? Триста пятьдесят кг. Байдарки, понимаете ли, хоть и лёгкие посудинки, но с хорошей грузоподъёмностью. Всё рассчитано, всё взвешено, на всех хватает. В общем, всё чудненько.

— Сирень рвать нельзя, только нюхать можно, — терпеливо внушала мать шестилетнему Вовке. — Ничего, что садили люди, рвать и ломать нельзя.

— А морковку? — невинно поинтересовался малец.

Когда гости передохнули, попили колодезной водички, растолкали по углам тюки, рюкзаки и сумки, мы отправились все вместе осматривать французский маяк, построенный ещё до революции, и главную достопримечательность наших мест — открывающуюся с высоты панораму истока Ангары. На белом свете немало диковинных и грандиозных пейзажей, только всё равно нигде не увидишь такого, как здесь, потому что нет другого Байкала и нет другой реки, которая бы несла воды первозданно родниковой чистоты и начинала свой бег с такой мощью, сразу раздвигая себе русло на километровую ширину.

Дорожка не круто потянулась в гору мимо сенокосных полей, перемежаемых ольшаником. И зазвенели, запорхали восторги детсадовские: ах, какие цветочки! ах, какой жучок! Начало июля у нас самое цветочное время. Цветов в эту пору свежего, сочно-зелёного лета столько светится и красуется на байкальских берегах, что боязно соступить с тропы. Нежнейшие незабудки, эти капельки лазури небесной, растекаются по склонам целыми куртинами.

Не успели мы прошагать и пяти минут, как самая маленькая из девочек (трёх с половиной лет) запросилась на руки к отцу. Эта оказалась отнюдь не крепышкой. И родители подтвердили: да, наша быстро устаёт, совсем слабые ножки,

как-то всё некогда с нею гулять, заняты по горло в институте и дома, а стариков-помощников нет, вот и растёт дитя асфальта, бледненькое и хиленькое.

Продвинулись мы ещё немного и опять — «Стоп, отряд!» Кому-то из малышей срочно потребовался ночной горшок. Ну, решительно не мог обойтись ребёнок без этого, так уж привык, так наловчился. И только сейчас родители схватились за голову: голубой пластмассовый горшок забыли дома, в городе. Сокрушались папа с мамой, готов был разрыдаться малыш. Вот такое безвыходное положение создалось посреди ольховых зарослей, вдали от цивилизации,...

Вскоре подъёмчик кончился, затопали веселей, да тут вдруг Вовке очень захотелось пить. А где взять воду на горе? Я и посоветовал напиться росы, а вернее — дождинок с листьев, поскольку днём пробризгивал дождь.

— Как напиться росы? — юный горожанин глянул на меня, как на дикаря.

Я тут же сорвал подвернувшийся под руку большой лопух, свернул воронку и протянул оторопевшему мальцу:

— Вот сюда и собирай по капельке, а потом попьёшь, как птичка. Видел, как пьют воробьи, когда дождик пройдёт?

— Потерпи, потерпи, сынуля, — быстренько вмешался отец. — Вот вернёмся, а будет чай со сгущёнкой, пей тогда, сколько хочешь. Давай пойдём дальше, чтоб не задерживать других. — А мне он оказал негромко, извиняющимся тоном: — Вы знаете, это небезопасно, осадки могут оказаться заражёнными.

Чёрт возьми, спохватился я, а ведь прав он, учёный человек. Кто знает, откуда, из какого далёка принесло небесные тучки, что пролились над нашим берегом. Не пейте, дети, росу. Не пейте, птицы. С божьей росой нынче надо поосторожней.

Возле маяка попался навстречу мужик с косой на плече. Это был Белозерцев, местный житель, старый байкальский капитан, который теперь дослуживал до пенсии в портовой конторе. Хорошо знакомые друг с другом, мы с ним не могли разминуться без разговора, пускай мимоходного и пустячного.

— Это что, все твои гости? — поинтересовался Белозерцев, пристально разглядывая разнокалиберную команду байдарочников, детей и взрослых. Я ответил ему, кто такие, куда путь держат и как собираются плавать.

— Сумасшедшие люди! — напрямую заявил он, сердито мотнув головой.

— Так мы не в первый раз, вот эти старшенькие уже плавали на байдарках, — сказал один из молодых отцов.

— Да знаете ли вы, сколько тонет каждый год на этом распрекрасном море? Испытали, какая вода студёная? — всерьёз разволновался выдавший виды капитан, доподлинно знавший, как жесток и страшен бывает Байкал.

— Чаше от водки тонут, а не от воды, — резонно заметил другой молодой отец. — И между прочим, байдарки безопасней моторных лодок, на них плавать — всё равно что пешком по воде ходить.

— Пешком по воде! Скажи ты, какие христосики! А прогноз по северному Байкалу знаете на июль месяц? Ливневые дожди, грозы и шквалистые ветра обещают. Вот так-то.

— В прошлом году нам тоже не повезло с погодой, да ничего, пережили, всё равно интересно было; лучше, чем летом в городе, — невозмутимо проронила одна из матерей.

— Не понимаю, как вас родители отпустили? — не мог успокоиться Белозерцев.

— Так мы сами уже родители, — улыбнулась та же мать.

— Сами с усами, да что же головой-то не думаете? С кем? — с Байкалом в иг-

рушки играет! А это строгое море. Сами на риск идёте и младенцев за собой тянете. Вот пойду завтра к капитану «Кометы» и скажу, чтобы вас не брал, — так уж, на всякий случай, пригрозил Белозерцев.

На прощание махнул рукой на бесполезные уговоры и двинулся своей дорогой. Я почувствовал упрёк в свой адрес: дескать, ты-то зачем благословляешь безумцев на такой подвиг?..

Вечером, когда укладывали детишек спать, опять возникла щекотливая проблема ночного горшка. Бедное дитя испытывало мучительный дискомфорт. Удручённые родители казнились из-за своей забывчивости и надеялись на единственный выход из положения: приобрести горшок на БАМе, в Северобайкальске.

С ночлегом устроились. Отцы с радостью отправились на чердак сарая, предвкушая редкое для горожанина удовольствие завалиться в тёплые вороха прошлогоднего, ещё не утратившего запахов сена. Матери постелились — в тесноте, да не в обиде — на кухоньке, за перегородкой. А детишек уложили на полу в горнице, рядом с моим письменным столом. Мы с женой настойчиво предлагали для самых маленьких диван-кровать, да родительницы ни в какую не соглашались: дескать, ребятам на полу и удобней, и спокойней, поскольку у каждого есть свой спальник, и пускай сразу привыкают к спартанским условиям, впереди ещё не такое предстоит.

Пятеро малышей улеглись рядом друженько, как родные. Вели себя тихо-мирно. Упрятанные в нарядные спальнички, они выглядели, точно куколочки в коконах, и, судя по всему, каждый чувствовал себя независимо, защищённо и вполне уютно. Один за другим, на удивление быстро начали засыпать. Значит, успели надышаться свежим байкальским воздухом, который после городского угара даже на взрослых действует сразу усыпляюще.

Вскоре в темноте на полу кто-то из ребятишек заворочался, захныкал жалобно и покинуто. Что растревожило малыша? Может, напугала непривычно густая темень. Может, давила глухая деревенская тишь — тут не гудели за окном машины, не гремели за стеной магнитофоны и телевизоры. Прислушавшись, по голосу различил, что ноет с плаксивыми вздохами не кто иной, как мальчик Вовка, которого — как единственного мужчину! — убедили лечь с самого края, чтобы девчонок охранять.

«Не избалованный, не капризный, а просто очень нервный растёт», — вспомнился мне рассказ Вовкиных родителей. Так получилось, что перед нынешним отпуском их обоих отправили в командировку. А тем временем, до смерти перепуганные предстоящим плаванием на байдарках, дед с бабушкой всю обработку шестилетнего внука, внушали Вовочке, что опасное путешествие по Байкалу будет вредно для его нервной системы, что лучше ему пожить вместе с ними на даче и *р а с л а б и т ь с я*. Старики, люди интеллигентные, знакомые со стрессами не понаслышке, знали, о чем говорили. Им почти удалось уговорить, уломать мальчишечку...

Он вроде бы успокоился помаленьку, затих на полу, на своём сторожевом месте. Но, погода, снова заворочался, завсхлипывал, полуплачем-полушопотом стал маму звать. А та на кухне не отвечала, крепилась и, всё-таки, не выдержав характера, вынуждена была подняться, прилечь к беспокойному сынишке, приласкать, обогреть дыханием, нашептать сон. И чудились мне в глухой ночи её тишайшие молитвенные слова: «Мальчик мой, только бы ты не болел, только бы набрался силёнок».

Наконец-то все в доме спали. Мне одному не удавалось никак перебо-

ротъ свою бессонницу. Кажется, в эту ночь она решила не давать мне пощады. Да и было от чего впасть в затажное тревожное бдение.

В моей комнате кротко посапывали пятеро малышей. Я спрашивал себя: вот если бы эти пятеро были мои дети, посадил бы я их на байдарки, чтобы плыть по Байкалу? Да ни за что на свете! Будь моя воля, я бы и молодых родителей не пустил. Только не было на то моей воли. Они своих стариков не послушались, а уж я им и вовсе не указ.

Мне вспоминался укоряющий взгляд старого капитана, я всё прикидывал, насколько опасное предстоит плавание, какие сюрпризы может преподнести наш Байкал. Мучительно раздумывал о том, что у людей, оторванных от природы, притупляется чувство опасности, без должного почтения относятся они к воде, горам и лесу, они вроде как на «ты» со стихиями — оттого и гибнут нередко, да-да, сколько на моей памяти случаев, когда беспечность и безрассудство оборачивались трагически.

Впрочем, наши ребята не производят впечатления легкомысленных. Они же как-никак учёные, а значит, люди разумные и расчётливые. И тем не менее — идут на риск. Спрашивается, ради чего? Может, у них там, в академгородке престижны дальние путешествия на байдарках. Хотя, слишком глупо решаться на такие плавания только из честолюбия и желания кого-то удивить. Скорее всего, плывут, чтобы самим поудивляться байкальским чудесам. Плывут — ради детей, ради семьи, ради возможности побольше, поближе побыть друг с другом, у них же ещё продолжаются молодые медовые годы.

Должно быть, я излишне драматизирую ситуацию, тревожусь за молодых людей этак по-отцовски. Ну какой же я им отец? Даже и по возрасту не дотягиваю.

И всё-таки до чего бесстрашные ребята! Плохой прогноз? Обещают ливни и грозы? Это их не пугает. Они словно торопятся всем страхам назло порадоваться жизни. Кто живёт — тот рискует. Нынче все на земле живут на свой страх и риск. Напиться дождевой водицы — уже риск...

Я всё прислушивался, как там посапывают малыши. Побоялся, как бы они не простудились на полу. А после сообразил: да им же скоро предстоит в палатках спать на свежем, в иную ночь весьма даже свежем байкальском воздухе, когда пар изо рта видать, так чего же беспокоиться сейчас-то, когда они в доме спят и в спальниках?..

Утречком путешественники, навьюченные выше головы, по-прежнему энергичные и решительные, спускались длинной цепочкой с нашей горы. Они торопились к сверкающему на солнце, обманчиво ласковому Байкалу, над которым синело обманчиво ясное небо. И мне хотелось сказать им так, как когда-то бабушка говаривала нам с дедом перед уходом в дальний лес: «С богом!»

Что ж, плывите, ребята. И пусть для вас постоит хорошая погода. На всё плавание. На всю жизнь.

Глухой неведомой тайгою

Василий Непомнящих (1907–1954)

Глава из книги «Приходит час определённый...»

Разноцветные стекляшки

О, детство! Ковш душевной глуби!

Б. Пастернак

Я в детстве прятал их с волнением
В песчаной куче на дворе,
Хранил, как клад, для украшения
В воображаемый дворец.

Зимой из хаты занесённой,
Где затхлый сумрак, чад и дым,
В стекляшки видел мир зелёным,
Оранжевым и голубым.

Казалось — сад цветёт на склоне,
И пляшут сполохи зарниц,
Пересыпая, слышал в звоне
Разноязыкий говор птиц...

Я и теперь нередко вскружен
Мечтой, что грусти пыль стряхнёт,
Когда приветливо у лужи
Осколок синий подмигнёт.

В мечтах опять сады, зарницы,
Встают дворцы на месте хат,
Слетает радость певчей птицей
И заливается в стихах.

Забелин Павел Викторович, критик, литературовед (1930, с. Большая Ерма Аларского р-на Иркутской обл. — 2005, Иркутск). Автор книг: *Идейно-художественная проблематика и стиль повести И. А. Бунина «Деревня»* (Иркутск, 1965); *Путь, отмеченный на карте* (О И. Гольдберге) (Иркутск, 1971); *Литературный разъезд: Размышления о творчестве иркутских писателей* (Иркутск, 1974); *Поэты и стихотворцы: обзор, рецензия, портрет* (Иркутск, 1989); *«Приходит час определённый...»: лит.-крит. обозрения, портретные штрихи, заметки* (Иркутск, 2000). Канд. филол. наук. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Грусть

Зачем скрывать? Не раз случилось
Такое дело. Не таю...
Уронит крепкая усталость
В ладони голову мою.

И вот раствором ядовитым
Ворвётся в кровь и сердце грусть.
Чай остывает недопитым
И за газету не берусь.

Мне грудь и плечи давит воздух,
И так насмешливо и зло
Недосягаемые звезды
Глядят сквозь потное стекло.

...Тогда испытанное средство
Припомню: — в комнате пустой
Я грусть замкну! Легко, как в детстве,
Скачусь по лестнице крутой.

Чудесно!.. Бодрая прохлада.
Иду... Дышу... Чего ещё?
Как друг, берёзка в палисаде
Уронит руку на плечо.

Иду... Смотрю... Он жив и ночью,
Развёрнутый, что книга, мир:
Растёт трава, завод грохочет
И где-то музыка гремит.

И где-то странствует комета,
Летит падучая звезда...
И музыка опять... Да это
Из сада! Поскорей туда!..

Там ждёт меня за косогором,
Где молодой калины куст,
Она, посланцем от которой
Ко мне пришла немая грусть.

Она... шаги ускорив сразу,
Туда, где музыки прибой,
Я, бормоча напев бессвязный,
Бреду заученной тропой.

И кажется, крутым кипеньем
Дурманных трав, огней, садов,

Бурливой музыкой и пеньем
Мир переполнен до краёв.

Певуч, как струны, лёгкий воздух,
А посмотри на небо: там
Сияют искренние звёзды,
Упасть готовые к ногам!

«Вспоминать страшно больно...»

Послесловие

Непомнящих В. Зарядка: Стихи. Иркутск: Восточно-Сибирское краевое издательство, 1934. Небольшая, «карманная» книжка, добротная, с корками на века — не в пример нынешним, — откуда я счёл возможным взять для «Дня сибирской поэзии» два стихотворения одного из светлых и трагических поэтов новой Сибири. Смотришь на эту книжицу с золотым тиснением имени автора и содрогаешься всем существом своим. Не хочется просто вспоминать, что ты впервые услышал о Василии Непомнящих от Елены Викторовны Жилкиной в 1964 г., когда, спустя двадцать пять лет после последней книги поэта, появился сборник избранных стихов его, выпущенный в Новосибирске (не у нас в Иркутске, где автор учился на педагогическом факультете Иркутского университета, когда он начал печататься на страницах газеты «Власть труда» в 1925 г., в сборниках ИЛХО). Содрогаешься от запоздалого стыда, пренебрежения к судьбе ближнего и какого-то ужаса: 30-е гг., миллионы невозвратимых чистых душ, уверовавших в близкое торжество мировой социальной справедливости!..

Декабрьским вечером, в канун восьмидесятилетия Елены Викторовны Жилкиной, я прихожу домой к патронессе иркутской поэзии, чтобы уточнить детали личности, жизненного пути Василия Иннокентьевича. Елена Викторовна согласилась на встречу не по первому звонку.

— Вспоминать страшно больно о Василии, — говорит поэтесса, задыхаясь от волнения, просящихся слёз. — Необычайно жизнерадостный, чистый до дышка... Стихов он знал множество, будучи очень бедным деревенским пареньком. Небольшого роста, крепышечек с могутной грудью, несколько монголоидными глазами, курносый, живой, весёлый, весь лучился. Мы учились с ним вместе в университете, выступали на литературных вечерах. На третьем курсе мы решили съездить в Москву и Ленинград на каникулы, где-то в конце 20-х гг. Сели в поезд по студенческим билетам, позволявшим ехать бесплатно, забрались на третью полку. Голодные, хлеба ни корочки. Мы сразу стали читать стихи друг другу, помнили их оба множество: Пушкин, Лермонтов, Есенин. Бормочем, бормочем уже несколько часов на этом самом верху. Помню, сидели внизу старушки, слушали-слушали да и говорят: «Может, вас покормить чем-нибудь?»

«Не-е, — говорим, — мы не голодные».

И читаем, читаем. Потом Василий и говорит: «Давай сойдём в Куйтуне, там у меня мать. Сухарей хоть в дорогу насушим». Я согласилась. От станции было далеко, добрались мы до избы, в которой жила мать Василия. Она засуетилась. А в избе бедность жуткая. Всё голо: стены, стол, только что кровать при-

крыта. Собственно, и спать негде. Попили чай со свежим вареньем из клубники. Тут Василий и предложил мне пойти спать на сеновал. Я спала как убитая. Проснулась утром не ранним, солнышко так и бьёт в глаза. Рядом спит Василий целомудренный. Чистота чувств в нем была удивительной. Он был тогда влюблён в Агнию Кузнецову, будущую супругу Георгия Маркова.

Мать засушила сухарей нам в дорожку, наварила варенья из клубники, снабдила нас до столицы. Это же непредставимо, как мы там, в Москве, почти без денег и знакомых умудрялись жить где-то, чтобы только задышаться от радости, бегать по музеям, театрам.

После окончания университета я уехала в Хилок преподавать в школе (диплом тогда выдавали только после двух лет работы по специальности). Приезжаю в Иркутск — Василия нет. Говорят, уехал в Новосибирск. Рассказывали, что он там женился на актрисе. Любовь вышла несчастная... Василий вернулся в Иркутск очень больным... Помню, мы с Анатолием Ольхоном, другими поэтами поехали к Василию в Куйтун, где он жил в избе у матери. Мы встретили его на улице. Василий был в неожиданно нарядном белоснежном костюме. Держался как поэт. Он сказал нам, чтобы мы шли в избу, а он сходит в банк за деньгами. В избе была та же немыслимая бедность. Встретила нас мама, сказала, что у сына тяжёлая эпилепсия. Он кидался в припадке на блестящие, горящие предметы. Однажды бросился на печь-буржуйку, обжёгся весь. Мать боялась ставить самовар... зажигать свет. Тут пришёл Василий, неузнаваемый. Белоснежный костюм был весь в грязи. Пока Василий ходил, с ним случился припадок.

Мы сидели в темноте. Василий вдруг говорит: «Ты Агния?» «Нет, — говорю. — Я Жилкина». «А-а».

Елена Викторовна замолкает.

Поэтический разум Василия Непомнящих цвёл недолго. В 1939 г. он померк окончательно. «Угасание было трагичным, — пишет В. Трушкин в «Литературной Сибири». — Он жил под присмотром матери... больной, одинокий. Василий Иннокентьевич Непомнящих умер 24 сентября 1954 г. в Иркутске» (в психиатрической больнице, привязанный к кровати).

Тою осенью я после университетской скамьи пришёл в редакцию комсомольской газеты «Советская молодёжь». Никто, помнится, не обратил внимания на смерть иркутского комсомольского поэта.

Нечего пенять нам на время, историческую обстановку. Никто не запрещал откликнуться, прийти в издательство, обосновать хотя бы посмертное право поэта-земляка на переиздание. До сей поры никто не приходит. Такова наша недостойная людская психология. Все мы, ссылаясь на великие дела эпохи, заняты, однако, всего лишь собою, особенно в литературном мире.

Василий Непомнящих на самом взлёте поэтической мысли, освобождавшейся от подражательства, «маяковщины», газетной шелухи, юношеской наивности, теряет разум. То же самое происходит с Юрием Аксаментовым, поэтом реального социализма 80-х. Известно «мартирологическое» начало 70-х: Н. Рубцов, А. Прасолов, Л. Кокышев. Надо ли винить обстоятельства? Есть конкретные виновники, доносчики, завистники, приспособленцы, деятели от литературы...

Василию Непомнящих было от чего тронуться, когда он увидел своими глазами предательство самых близких, бесследное исчезновение самых честных, порядочных. Но он увидел всего лишь частичку той самой «исторической» правды, которую довелось узнать, почувствовать Юрию Аксаментову, услышавшему боль, крики миллионов людей, замученных по злым наветам! Винить одного Сталина? А массовая подлость при всей несмыслимой вине его? Надо винить соб-

ственное малодушие, надо хотя бы являться с повинной, дабы спасти от полной дискредитации честь российской интеллигенции.

Поэт начинающий В. Непомнящий, радуясь первым тракторам, колхозам, огнеупорам, жаждет переустройства всего мира.

И двинутся в дикие дебри полки
кондовых весёлых ребят,
Чтоб реки смирать, выкорчёвывать пни,
переделывать мир и себя!
Стихи об Ангарострое, 1932

До чего трогательны эта чистота душевная, вера в близость коммунизма, царства справедливости, равенства, братства, готовность к самопожертвованию, просто способность радоваться общим достижениям, ныне утраченная, кажется!

Мы их зароем бережно, окучим,
Польём, чтоб даром не пропасть труду,
Чтоб каждый стебель деревом могучим
Шумел в коммунистическом саду.
.....
И почкою душистой распускаясь,
Крепчает радость светлая, когда
Почувствуешь, что в вечность прорастает
Весенний день свободного труда.
Сад, 1932

Росту поэтической культуры В. Непомнящих способствовал его старший друг, наставник Александр Балин, поэт с подлинным эстетическим вкусом, знаток мировой поэзии, символизма. «Эту особенность, — замечает В. Трушкин, — у своего учителя перенял и Василий Непомнящих. Особенно любил он Пастернака».

«Разноцветные стекляшки», «Грусть» говорят о приобщении крестьянского паренька, сына каторжанина, к высотам поэтического мироощущения, музыкальности мысли и чувства.

В способности к переимчивости слога, образно-интонационного, лексического строя чужой речи, выражающей оригинальность душевных движений, русский критик Н.Н. Страхов видел главнейшую особенность таких поэтов, как Пушкин.

В. Непомнящих улавливает ритмику стиля Пастернака.

Как бы насладившись созерцательностью, певец выводит красоту к желанной социальной цели.

В мечтах опять сады, зарницы,
Встают дворцы на месте хат,
Слетает радость певчей птицей
И заливается в стихах!

Школа русского стиха, лирических композиций русских символистов интересует автора «Грусти». Мотив философской печали находит в родном лексическом строе проверенные и новые для себя ритмы, неожиданные сцепления:

«не раз случалось такое дело... Я грусть замкну!...» Ночь дышит оркестровой мощью жизни, деяния, от берёзки, травы прорастающей до жутких мировых пространств, царства комет, звёзд сгорающих. Врываются блоковский звук, музыка, почти неземной облик Вечной жены, Мировой души «за косогором, где молодой калины куст, она, посланцем от которой ко мне пришла немая грусть». Она, земная и неземная, помогает увидеть весь мир распахнутым, бесконечным и цельным, когда хаос звуков, мотивов, явлений становится приведённым в гармонию Всебытия, Всеединоного. Анафорический хор созвучий отбивает музыкальные такты ритма, крепит строфику: «И где-то музыка гремит. И где-то странствует комета... Она, посланцем от которой... Она... шаги ускорив сразу...»

Василий Иннокентьевич Непомнящих был на пути к тайнам поэзии.

Семейные неприятности

Отрывок из романа

Глава 11

Потому что началось (или начиналось) уже в прошлом году, примерно в это же время... Нет, раньше: конец октября, рано выпал снег. Марина не выдержала конкурса после школы, пошла работать... И приехал отец... Нина Сергеевна отлично помнит: гадкое настроение в конце рабочего дня, но это постепенно выветривается в автобусе, а на остановке она уже не думает ни о чем, кроме дома... Как всё-таки устроена память: она плохо помнит подробности последнего вечера перед тем, как Марине исчезнуть — состояние дочери и ничтожный какой-то разговор, из которого она не помнит ни слова, хотя не прошло и трёх недель, а тот разговор, может, имел уже что-то в подтексте... зато живо помнит пусть с автобусной остановки, те двести ничем не примечательных шагов, которые она прошла год назад... Микрорайон был завален снегом, а в снегу протоптаны талые дорожки с чёрной водой, и воды было по щиколотку. Пухлый толстый снег, удивительный по своей белизне, и чёрные озёра луж среди сугробов.

И густеющие сумерки, отчего снег белей, а лужи черней, и щемящее чувство бездомности, хотя идёшь ведь домой... Нина Сергеевна помнит, как страшно обломало деревья: они стояли в абсолютно зелёной листве, сентябрь был тёплый, и вдруг пошёл снег с дождём. Рухнули огромные деревья, вершины крон...

Помнит это глупое и всегда счастливое волнение: вот сейчас увидит своих девочек, и дома ли они. Марина должна уже прийти с работы... Действительно, кто-то маячил в кухне — Марина. А у стола, у окна, сидела, ей казалось, Лялька. Потом увидела, что не Лялька — наверное, Глеб. Но и не Глеб. Ей стало казаться, что это отец, но не мог же отец так просто приехать — ни письма, ни телеграммы...

Марина подошла к окну, увидела Нину Сергеевну и замахала. «Дед приехал?» — спросила лицом Нина Сергеевна. Марина не поняла, а потом закивала обрадованно: «Дед...» Отец увидел её на улице, заулыбался. Марина открыла форточку:

— Погоди, за хлебом сходишь! — закричала она, по пояс из форточки.

— А ты? — рассердилась Нина Сергеевна. — Чем ты занималась?

Захарова Вера Геннадьевна, поэтесса, прозаик (1946, Нижний Тагил Свердловской обл. — 1993, Ангарск). Автор книг: *Я уже здесь была*: стихи (Иркутск, 1968); *Дневник*: стихи (Иркутск, 1973); *Семейные неприятности*: роман (Иркутск, 1983); То же (М., 1992); *Ваш образ милый*: повесть, рассказы (М., 1988); *Весной*: повесть, рассказы (Иркутск, 1989) и др. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

— Чистила картошку... — капризно огрызнулась Марина — Послушай! Дед говорит: вина купи... Деньги тебе скинуть?..

Более всего удивило её тогда, что отец несколько не изменился. «Ещё год-другой — и они будут как ровесники, — подумала Нина Сергеевна, — а ведь ему шестьдесят...» Всё та же красная лужёная шея была у отца, красные щеки. Но если приглядеться — морщины от виска к подбородку. Зато почти не поседел. И уж не облысел... У него жёсткие прямые волосы какого-то неопределённого цвета и довольно внушительная фигура — ему пристало бы позировать репинского бурлака на Волге. Лысоватый и как бы интеллигентный Глеб выглядел рядом с отцом подростком и в то же время стариком, хотя Глебу было тогда 43... Но и вечное животное здоровье отца было ей, кажется, неприятно.

— Что ж не писал? — спрашивала она, подставляя щеку для поцелуя.

— А ты? — усмехнулся отец...

Стол накрыли в большой комнате, с праздничной по такому случаю скатертью. И никто не пил вина: у отца был припасён спирт, и он пил его, разводя пивом, а Глеб в тот вечер пришёл поздно. Нина Сергеевна вообще не любила сладкого вина, да и под закуску не шло: отец привёз сала, ельчиков...

— А у меня с Санькой горе, — пожаловался отец. Санька, сын отца, младше Марины и учился тогда в десятом классе. Отец поплутал ещё вокруг да около — о воспитании и современной молодёжи. Свелось всё к тому, что Санька попал в дурную компанию и угнал у соседа мотоцикл. Так что отец приехал из-за этой истории: могло кончиться штрафом, а могло хуже, и отец приехал советоваться с кем-то, кто работал теперь в прокуратуре.

— Да знаешь ты его! — говорил отец. Он оживал, хмелея, и вместе с тем тупел, и слышал только себя: — Ты его знаешь, третий дом от нас жил... — Ну, гусь такой, неужели не знаешь? У него тесть директором гидролизного...

«Гусь» в устах отца означало высшую степень предприимчивости, и Нина Сергеевна не могла не усмехнуться: «гусей» отец уважал.

— Да знаешь ты его! Такого гуся не знать!..

Нина Сергеевна качала головой: во всяком случае, не помню...

К старости у отца не убавилось гонору. Тогда он уже вышел на пенсию, но хвалился, что работает где-то «толкачом». Это была новость, удивившая её ещё больше Саньки: роль «толкача» не вязалась с отцом, не шла к нему. Что-что, а хитрозадый он не был. «Однажды кулаком быка» он уже не убивал, ведро спирту на спор не выпивал (как будто он его выпивал когда-нибудь!), а вот про «толкача» не мог утерпеть, похвалился. Она чувствовала эту изнанку: «толкать», скорее всего, ему было тяжело и нескладно, совать деньги и договариваться он не умел. Хотя — не придумал же!.. И так было со всеми его рассказами. Он действительно два раза в своей жизни убил медведя, но никто ему не верил, потому что из гонора он плёл вовсе что-то несусветное. А медведи были реальны, как и медвежья шкура, на которой она маленькая любила лежать. Шкура была плохо выделана, и мать ворчала: воняло пропастиной. Пришлось откромсать медвежью голову, отец жалел, но мать настояла на своём... «Толкач» — это ошмётки прежней роскоши и страх, что жизнь, кажется, прожита... Вдруг в последние пять лет зыграла отцовская любовь к ним, старшим, — к Нине Сергеевне и её брату, который жил теперь в Грозном. Хотя до и после смерти мамы отец не помнил о них. И даже после рождения Марины, после смерти мамы, когда всем им было так трудно, отец не помнил из удобства... И вот — «толкач». Она глядела на него не то с жалостью, не то с отчуждением. Горе по поводу Саньки не произвело на неё впечатления. Во-первых, Саньку, стало быть, второго её брата, который младше её дочери, она

не видела никогда. Во-вторых, ей казалось, это воздалось отцу за мать и за них. И ещё что-то, самодовольное, насчёт воспитания: отец был плохой человек, а, мол, с нею, в её семье — такого быть не может... Самодовольство всех родителей. Год прошёл, с её Мариной ещё хуже, ещё страшней... А тогда — был чужой человек за столом, её отец:

— Да знаешь ты его, такого гуся не знать!.. — И что-то в тоне и в голосе, в упрямой ямке на подбородке — мучительно-похожее: в этих светлых на красном лице глазах. Она не хотела в себе этого, но и в ней было: перспектива уйти на пенсии в «толкачи». Внешне они не похожи: Нина Сергеевна худая и черноволосая... Глеб тестя называл: «такой дуб». «Дуб» — это о физической мощи. Но и «дуб»... И тогда, за столом, она кровью чувствовала их фамильное сходство.

Наверно, отцу и впрямь казалось, как это славно: прожить шестьдесят лет, не хуже людей прожить, а в смысле выпитого спирта, рыбалок и охот — получше многих прожить; и вот приехать к старшей дочери в гости, которая кое-чего добилась в жизни, а ведь медаль даётся далеко не каждому... И умиляясь дочерью, хваля её, он как бы умилялся собой, и всё в его жизни представлялось разумным и предусмотренным... Нина Сергеевна с неудовольствием и тревогой поглядывала на дочь, которой, видимо, «умора» его слушать: глупая девчонка чуть ли не вслух фыркала в тарелку. Это Марино хамство объявилось в старших классах, и чем дальше, тем хуже: могла ляпнуть наглость при гостях, а уж тон... Конечно, дед слегка завирался, подвыпив, но и Марина хороша: могла бы пощадить старика. Нина Сергеевна хмурилась: веди себя прилично, дед пожилой человек, хотя бы и пьяный... Марина шептала ей в ухо, демонстративно перегибаясь через стул: «Сейчас начнёт вспоминать, как ты в школе училась...» Отец и впрямь начал: «Нет, ты постой, Марина, ты думаешь, дед выпил, так можно его не уважать...» И о том, как Нина Сергеевна, учась в школе, получала одни пятёрки, что, кстати, было неправдой... Марина слушала издевательски-сочувственно. Отец зарывался и прямил внушительные свои плечи: нет, ты постой, Марина... Пока и ему не ударило, что Марина ёрничает. Тогда он обиделся и спросил, переходя на личности: зачем у Марины такая смешная юбка?.. и красит глаза?..

Марина дёрнула плечиком: мол, давай-давай, воспитывай, только кто тебя слушать будет?.. — и со скучающим высокомерным выражением укусила маринованный огурец. При всём её высокомерии и преувеличенной скуке Нина Сергеевна видела, что ушки у дочери густо покраснели — значит, злится.

С этого всё и началось: Марина обидела деда, дед обидел Марину... Всё остальное — разговор о Маринином устройстве на работу, разговор, в сущности, о Рохляковых и об их умении жить, Маринин цинизм по поводу этого умения... Нина Сергеевна была взвинчена и ночью наговорила Глебу, а Глеб наговорил ей; затем хамство Марины, когда отец уезжал, душераздирающий скандал вечером, без отца, и надрыв, и пощёчина, которую Нина Сергеевна влепила своей красоте... Это был первый бунт Марины, и с него-то всё и началось. Дальше могло быть только хуже, а они с Глебом, две старые овцы, не понимали ничего, думали, всё перемелется, а дальше было хуже и хуже. Марина окончательно ушла от них. Поступление в институт ничего, в сущности, не меняло: Марина освободилась самым простым путём и, вселив в них дурацкую уверенность, тут же воспользовалась свободой... В тот вечер назревала между дедом и внучкой ссора, но спасла Лялька с милым её лепетом и лёгким неосознанным умением всех мирить.

Нина Сергеевна всегда поражалась, насколько они разные, её девочки. Конечно, Лялька младше на девять лет, но причина не в этом. Они и внешне не похожи: белокурая Марина почти красавица, а Лялька, тоже беленькая, просто

милый ребёнок и может вырасти в дурнушку — бесформенный рот и зубки неровные. В глазах у Ляльки что-то щенячье, и никогда эти глаза не будут классически прекрасными. Но Нине Сергеевне кажется: самые милые глаза на свете. Вообще Лялька — милая. Лялькина милота и портит её по сравнению с Мариной, но и есть в Ляльке что-то такое, что иногда Нина Сергеевна уверена: дочь будет очаровательна, несмотря на неровные зубки. Лялька с изюминкой, с бесёнком, с перцем, а Марина просто хорошенькая... Марина, скучая, хрустела огурцом, ушки у неё сердито пылали, и, видимо, ждала любого дедова замечания, чтобы надерзить, уязвить, смешать деда с прахом, отомстив за юбки и крашенные глаза своего поколения. Но тут затрезвонила на лестничной площадке Лялька, и Нина Сергеевна вздохнула с облегчением:

— Слава богу, пришла!..

Лялька переминалась с ноги на ногу, бросала в угол коньки, в другой — вязаную шапочку:

— Ой, холод! А что, у нас гости, да?.. Мама, я совсем разучилась перебежку! Сегодня залили лёд, а я вышла, а Юля Николаевна говорит... Ой, — вопила она, сообразив, — дед приехал! — и бежала виснуть на деда как была: в расстёгнутой курточке, в сапогах, со щёками, твёрдыми от мороза. — Деда мой приехал!.. Я с тобой буду есть, да? — и куртка была уже на полу, а Лялька на коленях у деда тыкала вилкой в колбасу.

— А руки? — изумлялась Нина Сергеевна. — Руки кто будет мыть?

...Теперь обе дочери пили чай, и темой была история Маринино устройства на работу:

— Ты представляешь, дед, — с юмором повествовала Марина (она, как и Глеб, быстро забывала обиды. Хотя это шло не от лёгкости характера, а от некоторой рассредоточенности: через две минуты она могла снова вспомнить и надерзить), — ты представляешь, она орёт: у вас голова есть на плечах?! А мать, представляешь, начальник лаборатории, лучший людь города, стоит как девчонка и лепечет: мы в пять часов утра занимали к вам очередь, в пять утра... Одно и то же, будто пластинку заело...

— Да, — перебил отец, — у вас город. Если бы у нас, так можно на машиностроительную станцию или на гидролизный — куда хочешь. Только сказать кому надо, меня все знают.

Марина лукаво взглянула на мать: мол, послушай ты, что он говорит, так бы я и пошла на гидролизный...

— Меня тоже знают, — сердито сказала Нина Сергеевна, — толку-то что...

— Ага, мы тебя смотрели по телевизору, — вспомнил отец, — весной, в апреле, кажись...

— В мае, — поправила Марина.

— Ну, в мае. Как медаль дали... Тем более, раз тебя уважают, так могли бы. Люди вон в институты взятки дают...

— Да пойми ты! — разозлилась Нина Сергеевна. — Что я, застоловой, что ли?.. Да и не в этом дело. Есть же принципы... Наконец, эти двусмысленные отношения тоже в тягость: чувствуешь, что кому-то обязан, от тебя ждут... — она кипятилась и вместе с тем чувствовала какую-то фальшь, выдуманность своей злости, и поэтому кипятилась ещё больше. — Да, я не хочу! — взорвалась она окончательно. — Допустим так. Не хочу, и всё тут!..

Отец с недоумением молчал, жевал что-то меланхолически. «Да я ничего, я так», — сказал он, как бы стыдясь. И было чего стыдиться, хоть он и не осознавал этого. Хоть он и не знал дочь. Но недаром же они были родня, чтобы он

заметил хотя бы неловкость, а ему было неловко, что он рассердил её... Конечно, это была неправда, некая псевдо-интеллигентская скорее игра в принципы, чем настоящая убеждённость, и Нина Сергеевна почти понимала это, хотя и не хотела сознаться. Может быть, это шло от образа, который мы создаём о себе. Не подозревая, как мы себя искажаем. «Хотела бы. Не могла, но хотела бы», — так следовало, может быть, говорить. Но — кого она обманывала?.. Когда Яна Рохлякова сообщила, что есть место в НИИхиммаше, — разве они отказались? И разве принципиальные соображения, которыми она теперь красуется перед отцом, останавливали? Смущала только громоздкость всех улаживаний, путей и средств, к которым придётся прибегнуть, и собственная беспомощность, негибкость, неуклюжесть в умении скользить по этим путям.

— Они возьмут, нужно только разрешение из горсовета, — сказала Яна. — Маришка ведь несовершеннолетняя...

— Ах, ещё и это!..

И далее:

— В горсовете ты уладишь в один день, — бодро консультировала Яна, — они к тебе отнесутся, вот увидишь, тебя же в этом году наградили...

Логика почти всех людей: тебя же наградили, кому же, как не тебе... Но в чем тут привилегия, Нина Сергеевна, хоть убей, не знала. Нацепить, что ли, медаль и пойти, хватая всех за горло: устройте мою дочь, ибо у меня медаль и я начальник лаборатории? Хотя таких «начальников» пруд пруди, таких «творческих» и шибко «научных» работников, а медаль — это всего лишь медаль, а не орден, не «Золотая Звезда» Героя... Нацепить ещё значок «Отличник производства» — при всех регалиях... Или — будь она аппаратчицей на заводе, так сказать, человек от станка... Отец недоумевает, он чужой: двадцать пять лет они не нуждались друг в друге. Так ему ли судить?.. Стоит вспомнить его выступление в роли «толкача», он сам только что самодовольно рассказывал. Ему было велено достать сколько-то кубометров леса, срочно достать, и отец неделю ходил на лесозавод, уговаривая шофёров, у которых путёвки были совсем в другие концы. Шофёры дорожили своим местом, «калым» их пугал, или отец не умел это предложить под подходящим соусом. Через неделю, отчаявшись с шофёрами, отец явился к своему начальству и попросил уволить его или перевести: «Эта должность не по мне, — сказал отец, — все они гуси тёртые...» Начальство отчитало отца за ребячество и снова отправило к шофёрам. Отец уже мысленно простился с должностью и вместо лесозавода отправился в чайную залить тоску и пропить свою последнюю зарплату, имея в перспективе жить на одну пенсию, разводя огородные культуры, или же уйти охотником в тайгу. Его собутыльником случайно оказался шофёр МАЗа, рискованный калымщик и выпивоха. Отец угощал его лишь от широты души, но к концу дня они стали лучшими друзьями, а следующим утром калымщик перевозил отцу требуемые кубометры леса, зарабатывав притом неплохо... Обо всём об этом отец рассказывал теперь как о гении своей изворотливости.

Отец раздражение дочери если не понимал, то чувствовал его инстинктивно. Грустные воспоминания о шофёрах, видимо, заскребли и раскровянили его совесть, тяжело вздохнув, отец потянулся к спирту.

— Для желудка полезно, — объяснил он Нине Сергеевне, — а с вина только голова болит... Может, и ты выпьешь за компанию?

— Да нет, я уж вина...

Отец ещё раз вздохнул и выпил.

— Я пью, потому что жизнь такая, — сказал он, сводя на философскую под-

кладку. Это ему понравилась: что он пьёт не просто так, а из-за жизни, и он пустился, очертя голову: — Такая жись... Вот ты говоришь, что Марину не могла устроить, и в горсовете с ними...

Нина Сергеевна слушала этот бред с лёгким стыдом: не столько из-за себя, сколько из-за девочек, ведь и они слышат. Ляльке ещё заслонит восхищение дедом, а вот Марину не проведёшь... И неприятно, что Марина первая подняла эту тему — значит, для дочери только повод для шуток, а мать ломала и выворачивала себя. Достаточно вспомнить то унижение, что она пережила на приёме у Суворовой...

Манины частушки

Рассказ

Мы не знаем, длинен ли был век былин и сказок. Жизнь частушки длилась недолго, равна она короткой человеческой жизни. Родившись в восьмидесятих годах прошлого века, она едва ли дожила до нынешних пятидесятих. Но как великий безымянный поэт, она оставила огромный след, наследство её неизмеримо, и хоть черпали поэты из него пригоршнями, многое осыпалось, завяло и исчезло безвозвратно.

Сейчас живы лишь отзвуки частушки, эхо её эстрадное. Частушечное народное творчество заглохло, словно творцы её прислушались к радио и телевидению, ужаснулись безыскусности подражаний и сами замолчали навсегда. Как часто мы ошибаемся, принимая гремучее и раскатистое за истинное и талантливое.

Моему поколению довелось видеть расцвет частушечного творчества. Так она густо и плотно жила в сознании людей, что казалось, любой уголок родного села, чащи, поля, заимки был пропитан её звуками, её печалью и радостями, любовью, которую она выразила с величайшей силой и задушевностью.

Теперь, издавек, я назову своё детство счастливым, потому что было оно трудовым и песенным.

В субботний вечер, когда на заимке столько вспахано и заборонено, прополото и посеяно, сядем мы на телегу, не понукая Пеганку, тихо поедем домой, и сестра Маня попросит:

— Давайте, ребятишки, попоём. Ты, Ганя, толстым голосом, ты, Лёня, тонким, а я средним.

И не слышим мы жужжания последних паутов, липкой мошки. До перелегка споем «Ой, скушно мне на чужой стороне», Морозову падь проедем с песней «Поезд молнией промчался», у зимовий уриковских подхватим «Я полюбила жигана с Бадана». И так всю дорогу многовёрстную одна песня подгоняет другую, а подле самого села Маня попросит зачать частушки, чтобы мать услышала свою горластую доченьку.

— Ой, Манька, Манька, — приохнет мать, распахивая нам ворота. — Да ты чо это с ума-то сходишь, ты чо орёшь так! Во всю-то глотку, безумная!

Зверев Алексей Васильевич, прозаик (1913, с. Усть-Куда Иркутского р-на Иркутской обл. — 1992, Иркутск). Автор книг: *Далеко в стране Иркутской*: роман (Иркутск, 1962); *Дом и поле*: роман (Иркутск, 1970); *На Ангаре*: рассказы (Иркутск, 1972); *Последняя огневая*: повести (Иркутск, 1977); *Лыковцы и лыковские гости*: повести (Иркутск, 1980: *Современная сибирская повесть*); *Выздоровление*: повести и рассказы (М., 1982); *Раны*: повести и рассказы (М., 1983); *Жили-были учителя*: повести и рассказы (Иркутск, 1990); *Как по синему морю*: повести, рассказы (Иркутск, 1984). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

В потёмках, только в бане помоемся, уж девки на крыльце топчутся. Просят мать отпустить Маньку на полянку.

— Мы как же, тётка Татьяна, без неё? Кто у нас песни заводить будет?

— С Лёнкой отпущу, с Лёнкой и домой вернёшься, — решает мать.

— С им, с им, тётка Татьяна. Он и балалаешник хороший.

Со мной мать отпускает Маню, чтобы не уманили её девки в другой край села. Рад такому случаю, я настраиваю балалайку, пробую на ней «подгорную», «иркутяночку», другие «мотивы» подбираю, а мотивов много, в каждом соседнем селе частушки поются по-своему. В Урике с каким-то прихватом в конце, в Зую с модным городским подвыванием. Грановские девки поют, выкрикивая отдельные слова и пустые места заполняя грубоватым «тара-рара», отчего и частушки у них зовутся тараторками. Максимовские и еланские поют одинаково, поспешно, скороговоркой, и я с трудом к ним подстраиваюсь со своей балалайкой. Мне большеглянулся свой усть-кудинский мотив. В нем я слышу грусть, печаль и раздолье ангарское. Поют частушки у нас протяжно и мягко и не под пляску, как в других сёлах, а сидя на поляночке, когда одна девушка уронит свою влюблённую голову на плечико подружке и вызывает-выманивает свою душу напоказ.

Сколько песен перепето
До одной припевочки,
Мне теперь не до песен,
Горемичной девочке.

Сестра Маня — мастерица. Кроме звонкого голоса, она выдумщица, она непременно что-нибудь украдёт из уриковской или грановской манеры пения. Подыграешься на балалайке на один лад и чуешь: что-то не ладится, а Маня подбегит и растолкует:

— Тут я изменила маленько. Почуй-ка, Ленка, вот это завихреньице. Оно мне ндравится, — и пропоёт тот уголочек частушки.

Мой милёнок — мормулёнок
Звал меня на родину.

Как раз на этом «мормулёнке» и завихреньице пристраивалось. Я дотошно искал необходимую струну, радовался находке, и мы ликовали с сестрой, когда получалось что-то новое и молодое.

Затем сестру мою подхватывали подружки, она для виду вырывалась, куражилась, показывая, что уводят её невольную, видишь, видишь, Ленка. Скоро и сама прытче других устремлялась в дальний край села — Заречье. Ей бы и ходить не надо: парень-то зареченский давно в нашем краю и глаз не сводит с Мани. А ей надо туда, поорать перед окнами будущей свекрови, пусть знает, какая она голосистая, во всем, даже в песне проворна. Я, как телёнок, тащусь за девками и парнями в «тот» конец села — так ещё назывался он — «тот». Хотя по определению Маниных товаров я «хороший балалаечник», но скоро парень без спросу берет из моих рук балалайку и начинает играть с завидной ловкостью. Играет по-уриковски, по-максимовски, Маня выходит в круг и, мелькая в свете слабо освещённых окон, бьёт трепака, кружится и поёт, одну частушку за другой. Маня знает, какие частушки петь перед этими окнами, надо петь о будущем бабьем смирении и покорности.

Вы потопайте, ботиночки,
Не долго вам плясать.

На ногах не ботинки, а шепотливые чирочки. Шумят они по чистому старательно выметенному предокопью, а за окном-то тётка Дарья, и она сейчас вовсю прислушивается. Маня усердно подчёркивает, что вовсе она и не бойка и не лиха, слышите-ка:

Выду замуж, буду плакать,
Вам под лавочкой стоять.

Надо ли тётке Дарье такую невестку, но Маня уже решила:

Пойте, пойте, петушки,
Подпевайте, курочки,
Скоро там меня не будет
В дальнем переулочке.

Я едва сдерживаюсь от смеха: как ловко Маня пристраивается к новой жизни даже в частушке. В ней ведь вот как поётся:

Скоро здесь меня не будет,
В этом переулочке.

А Маня уж обозначает и свои отношения с будущим мужем, парня-то, и верно, звать Семён.

Сеня, Сеня, Сенечка,
Посеял в поле семечко.
Семя конопляное —
Боюсь Сеню пьяного.

И так развернулась в пляске перед самым парнем, что тот сказал «о-ё-е» и отшатнулся в сторону.

Теперь осталось пригрозить той девке из Заречья. Хотя и нет её тут, а найдётся кому передать, о чем пелось на этой полянке.

Ты, подруга-изъедуга,
Не люби моего друга.
Люби прежнего мого,
У парня нету никого.

И тут Маня изменила последние две строчки. В них пелось:

Люби брата моего
У брата нету никого.

Ей надо непременно передать за окно да и Семёну своему, что со старой любовью все покончено, и что она без особой печали может передать предмет прежней любви своей злой сопернице.

Всех мальчишек прогнали с полянки спать, меня парни не гонят, знают, что я Манин семейный провожатый, это хорошо, это в нашем селе поощряется.

Это похвалит и тётка Дарья за окошком, и сам Семка, и вся деревня будет знать, что семейные за девкой строго приглядывают.

Но я уже клюю, сидя на брёвнышке, и это не проходит мимо взгляда сестры.

— Пойдём, Лёня. Хватит тебе, — говорит она хриповатым от песен голосом, и мы идём в свой конец втроём. Я в сторонке и чуть позади, и побольше стараюсь отстать, чтобы Семка, оглянувшись, протянул на Манины плечи руку, обнял и прижал её к себе, и чтобы услышал он тихий пристыженный голос неумной певуны:

Люблю сани с подрезами,
А коня за высоту,
Люблю милого за ласку,
А ещё за красоту.

Потом они садятся на бревна против нашего дома и совсем тихо и очень задушевно слышу из тьмы:

Дорожиночка, горю!
Сама с собою говорю...

...но тут распаивается окошко, и мать наша строго окрикивает:

— Но, но! Не унимай голоса-то, все равно слышу. Замучила парнишку со своими гуляями.

Я кончил семейное поручение. Я залезаю на сеновал и, положив рядом балайку, закутываюсь в доху. Но долго-долго не могу уснуть.

Пляска и частушки так и гудят в голове, так и колышутся. Перед глазами, как живые предметы, летят и летят светлые ласковые слова «дорожиночка», «ягодиночка», «завлека». Про сороку-белобоку вспомнил частушку, её пропела не знаю чья девка, про Маню, однако, пропела: «Не летай, говорит, сорока, с краю на край, тебе вымажут ворота, разворочают сарай». Не надо бы, верно, Мане ходить туда. Надо, так пусть сам приходит. Ведь поешь, Маня:

Убежала бы «убегом»,
Да боюсь ославушки.

Ославушка или как то назвать, пришла в сенокос — самое частушечное и самое песенное время. Сенокос наш проходил на ангарских островах. Плыли туда на лодках, заполненных людьми по самую кромочку. К этому времени тяжелели огороды, корзины были полны свежими огурцами, морковью и зелёным луком. На фуражке, как и на рубашках парней, красовались маки, в косах девок сверкали ленты. Лодки качаются на волне, а подружки не поделят Маню. Подведут одни к своей лодке, а другие берут её за руку и ведут к своей.

— Манечка, кто же у нас-то будет петь? — говорят одни.

— И у нас запевать некому, — оспаривают другие.

Маня смеётся и медлит, хоть и ворчат старшие на лодках.

— Кончайте этот спектакль!

— Ты, дядя Егор, не серчай. Дай лучше копейку, — просит Маня.

Мужик догадывается, зачем девке понадобилась копейка, роется во всех карманах и находит.

— Ну вот. Кому орёл, кому решка?

Так Маня разыгрывает себя и спокойно усаживается в лодке.

Звонкий голос её летит к берегам, отлетает от них, гористых, и раскалывается, рассыпается в воздухе.

На покосе девки косят,
Алы ленты дуются,
Алы ленты дуются,
Последний год красуются.

В горячечном трудовом празднике я потерял Маню. Я подвозил копну к зароду и, подхлестывая Пеганку, мчался за новой, там меня поджидали парни. Они ловко опрокидывали копну на волокуши, затягивали верёвками, а сами только и говорили о вечерке, которая поджидала их на нижней десятине.

Вечером молодёжь нарядилась в новые платья, начистила сапоги и ботинки. Тут уж никого не могли придержать родители, какими строгими они ни были. Ахнула гармонь и подхватилась, рассыпалась в кустах песня, сверкнули в бликах костра яркие наряды и утонули во тьме, и только песня долго ещё доносилась до тихого становища, а в ней на отличку звенел Манин голос.

Я не слышал, в какую пору ночи вернулась звонкая молодёжь, утром парни ушли докашивать последние уголки меж кустов, девки отправились мешать траву. Увидел я Маню только в обед. Хохотучая и весёлая, она за столом не проронила ни одного слова, и, уставившись в одну точку, механически подносила ложку ко рту.

— Заболела, чо ли? — заметила мать настроение дочерино, — ишь вчера выщелкнулась в такое лёгкое платье.

Я никогда не видел Маню печальной и стал приглядываться к ней и прислушиваться к разговорам. Парни наваливали копны на волокуши и, не замечая меня, перемолвились.

— Сема-то какой крутой поворот сделал, поворотил к той, зареченской.

— Старый друг лучше новых двух.

Два дня Маня ходила как опущенная в воду.

К вечеру нарядилась в яркое платье. Очередь пришла и нашей десятине делать вечерку, принимать гостей со всех десятин. Шумные табунки девок и парней неожиданно выросли из тьмы, окружали большой праздничный костёр. Среди них был и Семка, одетый в синюю новую рубаху. Только взвизгнула гармонь, Маня была уже в кругу. Глаза её обострились и беспокойно бегали. Она притопнула, лихо развернулась, и все поняли, что не скоро она сойдёт с круга.

Тараторок знаю сорок,
Я их все перепою.
Я во каждой тараторке
Сахаранку вспомяну, —

пообещала Маня и начала отчитывать Сему за измену его.

Она пела о том, что «не смогла угодить своему ягодиночке», что «загубил мою головушку, оставил сиротой».

Песни петь душа моя,
За песенки бранят меня,

За песни — побасёночки
Велят отстать от Семочки.

Семка перетаптывался на месте и скалил красивые зубы, а Маня не унималась.

«Я пою, пою, пою, своё горе веселю», — стонала Маня и гармонь, и всё вокруг молчало, зачарованно прислушиваясь к девичьей печали. И она никого не видела, лишь синяя рубаха мелькала перед её глазами. Наконец она остановилась перед парнем, подбоченилась и язвительно пропела:

Не ходи и не люби,
Тебя никто не просит.
Ты отдай моё колечко.
Пусть другой поносит.

И сделала хлёсткий, буйный круг, опять подплясала к тому месту, но Семки перед ней уже не было. Маня звонко и с каким-то рыданием пропела горькую частушку:

Говорила — не заплачу
От любви — никогда.
Покатились мои слезы,
Как по зеркалу вода.

И тут же закрыла лицо и выскочила из круга. Попервости, как съехали с сенокоса, Семка вечерами подолгу торчал у нашего дома, но Маня к нему не выходила.

В первые дни осени мы жали на заимке рожь, Маня допевала свои последние частушки. Пела она тихо и неторопливо. И чаще других повторяла вот какую:

Не ходи теперь за мной,
Я одна пойду домой.
Я — одна, одна, одна!
Любовь повысохла до дна.

Я видел, что Маня страдает, мучается. В тот день она порезала серпом руку. Всю осень рука болела, и я не видел её в поле.

В дни покрова из другого села к нам приехали сваты. Скоро зазвенели колокольцы, прошла шумная свадьба, и Маня навсегда оставила наш дом.

Я не забывал Манины частушки. Уже парнем по спору с товарищами всю дорогу я пел их под балалайку, шагая за телегой от села до села.

Я выпорил полкилограмма конфет.

Возрождение легенды

Главы из приключенческой повести
«Золотой водопад»

<...>

Отчаявшись пробиться через реки и ущелья к заветному месту, смирились с судьбой сыновья Дрёмова. Забыли в деревне о дрёмовском кладе. Не было больше охотников попытать свою фортуна в смелых поисках. Впрочем, легенда пошла гулять по Сибири, но мало ли ходит по сёлам всяких сказов и преданий, где истина перемежается с вымыслом, жизненное с фантазией? Однако нет. Неугомонные любители лёгкой наживы, понаслышавшись стоустой молвы, снаряжают одну за другой партии, идут в одиночку, вдоль и поперёк прочёсывают Тургинскую долину. <...>

Ещё одна экспедиция

Тихон Петрович Голиков — человек беспокойный, хлопотливый, натура увлечённая. Сколько он убил времени и вложил средств, организуя поиски дрёмовского клада, и всё бесполезно. И вот только сейчас проблеснула надежда: найдено старое зимовье Дмитрия Дрёмова, а от него, надо думать, до золотого клада рукой подать. Не мог удачливый золотишник устроить своё жильё за тридевять земель от найденных сокровищ. Где-то здесь, на пятачке, они — богатейшие золотonosные жилы и вымытые водой россыпи золотого песка.

С твёрдой уверенностью возвращался к зимовью Тихон Петрович туда, где оставил он месяц тому назад флегматичного терпеливого компаньона, обрусевшего немца Иоганна Карловича Шмидта.

Голиков, единственный конный в отряде, вполоборота повернулся в седле. В застиранных, выгоревших на солнце красноармейских гимнастёрках плетутся за ним Греков и Задорожный. Влас Греков слегка прихрамывает: не даёт покоя пуля, застрявшая с гражданской в суставе голени. Пулю он схлопотал, преследуя семёновскую банду, от казачьего есаула, опередившего его с выстрелом. Остап Задорожный выглядит бодрее, подхватывает под руку Власа, когда он из-за хромоты не может осилить преграду, часто берет на свои плечи его поклажу, видя,

Киселёв Виктор Владимирович, поэт, прозаик (1918, Иркутск — 1978, Иркутск). Автор многих книг, в т. ч.: *Хороший обычай*: стихи (Иркутск, 1958); *Любовь моя — тайга*: стихи (Иркутск, 1964); *Не в зверинце, а в тайге*: стихи для малышей (Иркутск, 1965); *Шиворот-навыворот*: пародии и подражания (Иркутск, 1976); *Шестой океан* (Иркутск, 1977: *Сибирская лира*); *Большая вода*: роман (Иркутск, 1971); *Кордойская быль*: повесть (М., 1975); *Золотой водопад*: приключ. повесть. 2-е изд., доп. (М., 1979) и др. Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

что товарищ изнемогает от усталости. Только и сам он нет-нет да и остановится, забившись в припадке кашля. Ему в той же схватке с семёновцами, в которой он участвовал вместе с Власом, пуля прошла насквозь правое лёгкое. Вот иногда и напоминает о себе ранение, не даёт шибко разбежаться по тайге. Оба они добровольцы, сами напросились в экспедицию, заявив в сельсовете:

— Мы за Советскую власть жизни не щадили. А сил и подавно не пожалеем. Пиши нас, товарищ председатель, в поиск бесплатно, за одни харчи работнём. Поможем Советской власти завладеть сокровищем, отдадим его на счастье нашему трудовому народу, пусть строит для детишек дворцы и для себя курорты и санатории.

После такого патриотического заявления какой с них спрос?

Вся надежда у Голикова на братьев Дрёмовых. Здоровенные бугаи вымахали, не изработались, не изболелись. И не даёт им покоя потерянное отцовское наследство. Как слышали, что формируется поисковый отряд, скараулили его, Голикова, на улице Убугуна, высказали своё желание, прозвучавшее как ультиматум, испытать свой фарт в поисках батиного клада. Сторговались не то чтобы на кабальных условиях для казны, но и очка не пронесли, при любом исходе экспедиции немалый барыш себе выговорили. И обижаться нельзя, так как им надлежало выполнять самую тяжёлую физическую работу. Сами-то они со Шмидтом хотя и приучены к трудным походам, но их выносливости хватает только на поиски, а на рытье шурфов, промывку грунта нужны помощники. А от красноармейцев толку почти никакого. Но кому-то надо и кашеварить, и бельишко постирать, и хозяйство посторожить.

Самое важное то, что экспедиция вышла на дальнейший поиск с ведома и благословения государственной власти, и есть в ней люди, способные перенести любые испытания, встретить опасность лицом к лицу и отразить её.

На подступах к сокровищам

Шмидт встретил на пороге зимовья.

— Прифет, Тихон Петровитш, — облобызал он Голикова. — Пока нитшего нофого, — развёл он руками на вопрос начальника экспедиции, — целый месяц шли пролифные тошти, нос нельзя был фысунуть са порог.

Голиков познакомил Шмидта с новыми поисковиками.

— Отшень карашо, — умильно закатил глаза к небу Иоганн Карлович. — Рат могущественным и сильным помощникам.

— Времени у нас в обрез, не успеешь оглянуться, как зима припутает. Завтра же выходим на поиск. Соображения у меня такие.

Голиков поделился намеченным планом. Всё в нем было предусмотрено: район поиска, время работы на разных участках, кто с кем пойдёт, кто за что отвечает. Говорил Голиков спокойно, нисколько не навязывая своего плана. Но никто не смел и слова сказать в противовес. И хотя начальник вроде бы советовался с членами экспедиции, получилось так, что ни одна его задумка не встретила возражения, и дополнить к плану что-нибудь более толковое было трудно. И план стал в своём первоначальном варианте уже не соображениями начальника, а чётко разработанной директивой.

На другой день Голиков вышел в поиск, взяв с собой Степана. Шмидта сопровождал Иван. Красноармейцы Греков и Задорожный остались хозяйничать в зимовье.

На первом привале Голиков спросил у Степана Дрёмова, разводившего костёр:

— Сказывал ты, Степан Дмитриевич, что не впервые в этих местах. Как же это вы оплошали, не прошли по отцовской тропе до цели?

— Доседова мы не добрались. Раньше нечистая сила свернула нас с пути истинного, завела в тупик. А всё Митька. Это старший наш брательник виноват. А можа, и сам батя не во всём правым был? — Степан рассказал о неудачном походе, который чуть не погубил их всех троих, а главное, навсегда отвалил от попыток повторить таёжную одиссею.

— А как же сейчас решились? Смолоду и силёнок и азарту было поболе.

— Может, силы было и боле, да ума не хватало.

— Митька-то, он упрямый был, пёр напролом. А надо было идти по уму, по-учёному. На вас вся надежда, Тихон Петрович. И ещё на дядю Ганю. (Так братья по-своему перекрестили на русский манер Иоганна Шмидта.) Люди вы учёные. И хватка у вас таёжная. Одно слово — техники по золоту.

В котелке забурилась вода. Тихон Петрович бросил в котелок щепотку заварки, засыпал порошок сухого молока.

— И всё-таки, Степан Дмитриевич, я никак не могу поверить в то, что тайга до такой степени перепугала вас своей суровостью, что вы навсегда забыли в неё дорогу. Тут что-то не то.

— Матушка наша покоенка, Галина Фёдоровна, ещё воспротивилась нашим попыткам. А тут ещё не ко времени война завязалась, сперва германская, а за ей гражданская. Митьку нашего беляки порубили. Один он изо всех нас троих в солдаты угодил: при царе был белым, при Советах красным. А за нас с Ванькой матушка большой откуп дала тем, кто набирал рекрутов. Этим и жизнь нам сохранила.

Голикова поразила простота избавления от солдатчины. <...>

А может, так и должно быть? Жизни их стоят для государства многих миллионов рублей, если в их руках тайна отцовского клада. Не мог Дмитрий Дрёмов унести её в могилу, не вяжется это с его заботливым отношением к сыновьям. Стоит, однако, прощупать Степана с этих позиций.

— А что, отец не передавал вам никаких рисунков места, где он нашёл золото? Или, может, рассказывал о каких-либо особых приметах своего открытия? — на очередном перекуре спросил Тихон Петрович.

Степан, с хрустом распрямляя усталые плечи и давясь от глубокой затыжки едким дымом самокрутки, настороженно поглядел на Голикова. Скрытая усмешка его, запрятанная в прокуренные усы, как бы отвечала на вопрос, простой и наивный: «Было бы знатьё энтого места, дак давно бы без вас обошлись. Кому энто надоть делиться добычей, выкраивать лишний пай на всю кумпанию?»

Ответил Степан ничего не значащими словами:

— Сказывал батя: ему навроде поблазнило, что с горы в каменную чашу льётся расплавленное золото. Стало быть, по ручьям надоть искать, там, где они скаываются с гор.

«И без тебя известно, что воскресенье — праздник, — с досадой подумал Голиков, не удовлетворённый ответом. — От такого жлоба откровения не жди. Своекорыстие привело его сюда, в Тургу. И младший брат у него такой же».

Не обнаруживая своих подозрений, поднялся с валуна, сказал, потягиваясь, испытующе:

— Что-то устал с непривычки. Может, на сегодня хватит?

— Как прикажете. Только до заката далеко. Можно и работнуть ещё малость.

— Тогда пошли. Давай спрямим дорогу, срежем петлю с ручья. Авось и выйдем к золотой чаше?

— На авось в тайге не надейся. Этому-то папаня успел нас обучить, — торопливо пояснил он своё резкое возражение, опасаясь, как бы Голиков не принял его слова за грубость.

Густой кустарник не давал проходу, нехотя расступался и снова сдвигался за спинами. Ориентируясь по солнцу, Голиков и Дрёмов вышли к почти отвесному скальному склону. <...>

Дожди

<...> За стенами зимовья свирепствовала гроза. Греков и Задорожный, в гражданскую войну побывавшие под бомбёжкой и под артиллерийским обстрелом, негромко переговаривались между собой, вспоминая боевые эпизоды. <...>

На третий день вынужденного безделья Степан не выдержал.

— Пошли, Ванька, дичину каку-нибудь подстрелим. Свежинки хотца. Дожж навроде поутих.

— И то верно, паря, — согласился Иван, сползая с нар и берясь за одежду.

— Какая по такой погоде охота, — запоздало вмешался Голиков, — зазря только вымокнете.

Но братья его уже не слышали, выскочив за порог. И не охота их интересовала, а нужно было им совет держать. <...>

— Ну, че, Ванька, дальше робить-то как будем? — по праву старшего начал разговор Степан.

— Думаю, нам отколоться надоть от этой вшивой команды, — не замедлил с ответом Иван. — Толку с них как с чечётки перьев. Эти бывшие вояки — хлебники и дармоеды. А начальнички барчуки, белоручки.

— Дык што, заявим Тихону Петровичу по всем правилам или как?

— А для ча заявлять? Вот наладится погода, и поминай нас как звали. Аванс мы свой, поди, отработали. Долгов не имеем. А расчёт полный тайга-матушка заплатит, если подфартит, таперича мы не шибко нуждаемся в советах. И Тихон Петрович и дядя Ганя нам нипочём.

Иван, увлечшись рассуждениями, не заметил, что Степан его не слушает давно. Он уставился жадным взглядом на староречье, в котором прохлынувшая за эти дни вода начисто промыла прежде покрытое илистым налётом каменное дно, высветила его до яркого блеска.

Степан неуверенно шагнул к поразившим его своим цветом камням. Наклонясь, он потерял равновесие и плюхнулся в воду. Только увидев рядом с собой брата, он понял, что вынудило его потерять равновесие: это же Ванька, опережая его в броске к сверкающим камушкам, сшиб его с ног.

— Моё! — дико закричал Иван, горстями, без разбору хватая со дна реки сверкающие разноцветные камушки и набивая ими полную пазуху.

— Твоё? — поднявшись на ноги, метнулся к нему Степан. Он схватил его обеими руками за отвороты зипуна, выволок на берег. — А ну вытряхивай всё, — рванул он одёжку так, что зипун разъехался и обнажил волосатую грудь брата. Камни посыпались под ноги, словно крупные градины.

Иван вырвался из рук брата, упал на землю, не обращая внимания и не чувствуя боли от пинков, которыми щедро угощал его Степан, ползал по берегу, подбирая рассыпанные камни, выковыривая ногтями те, что они

за время схватки втоптали в песок, повторяя неизменно с каждым прихваченным камнем:

— Моё, моё...

Степан, захватив брата за ворот зипуна, волоком потащил в воду. Визжа и матерясь, Иван отбивался ногами, тщетно пытаясь вывернуться из цепкого захвата, в силе он уступал старшему на много. А тот, обезумев от вероломства младшего, ослеплённый блеском золотых самородков, не слушая его угрозы и мольбу, тащил на глубину. Стоя по пояс в воде, он окунал брата мордой в поток, не давая ему вывернуться, чувствуя, что тот, обессиленный борьбой, потерял сопротивление и вот-вот захлебнётся.

Первые самородки

— Прекратить, — услышал Степан требовательный окрик с берега. Он приподнял голову. На берегу с винтовкой, нацеленной ему в грудь, стоял Голиков.

— Что здесь происходит? — передёрнул затвор Тихон Петрович. — Объясните, пожалуйста.

Под угрозой оружия Степан сник, безмолвно выволок на берег недвижимое тело невольного утопленника.

— Проучить решил брательника, шибко разбаловался, — равнодушно пояснил Степан.

— Ты же его убил, негодяй, — наступал на Степана Голиков.

— Ниче ему не сдеется, — повернув на грудь брата, беспечно возразил Степан. — Немного лишку воды хлебнул. Так это мы сейчас. — Он надавил брату в спину, вызвав рвоту и обильное выделение воды. Заявил твёрдо: — Через час отойдёт.

— А это что? — только сейчас заметил Голиков, как из разжатой руки Ивана выкатились цветные камушки.

— А то самое, че ищем все мы, а нашли сами одни.

— Золотые самородки?

— Они самые, — выкрикнул Степан. — Они-то чуть и не довели нас до смертного греха. <...>

— Отшень карашо, — сказал Шмидт, отведя лупу от глаз, после того как тщательно исследовал каждый камушек. — Это солотой опманка, — показал он на отодвинутую в сторонку грудку камней, — верный спутник солот. А это, — подбросил он на ладони два небольших самородка, — настоящий солот. <...>

Казалось, восторгу поисковиков не будет конца. Общая удача приглушила озлобленность Степана и алчность Ивана. Вместе с геологами они дурашливо приплясывали, оставляя ичигами глубокие вмятины на прибрежной отмели, дважды пытались приподнять на руки Иоганна Карловича, чтобы подбросить его вверх, но оба раза безуспешно: грузный немец страшно боялся щекотки и в руки не давался.

Затянувшееся веселье прервал хлынувший заново дождь. В одно мгновение он взбурлил и замутил воду в протоке, скрыл от глаз поисковиков галечные россыпи на дне старицы, остудил горячие головы веселящихся. <...>

Вдоль старицы

Почти на неделю непогода задержала поисковиков в зимовье. А когда небо прояснило и в седловине гор показалось солнце, оно не принесло с собой тепла, а светило по-осеннему холодными колючими лучами. Волна студёного воздуха хлынула в глубокий распадок, заполняя пустоту, разливаясь по лесным чащам, покрывая тонким хрупким ледком водную поверхность озёр и рек.

— Это ненадолго, на днях придёт оттепель, — успокоил помощников Тихон Петрович, выходя из зимовья. — В эту пору всегда над Тургинскими Альпами проходит циклон арктического воздуха.

— Коли так, тагды впору и в путь, — требовательно сказал Степан.

— Куда в путь? — не понял Голиков.

— А туда, куда снаряжались, — ответил Степан, опасливо поглядывая в сторону бывших красноармейцев, так и не посвящённых в тайну открытия клада.

— Понятно. Я не возражаю. Раз есть ваше согласие, — Голиков ткнул пальцем в грудь Степана и кинул взгляд на Ивана. — Вернее, даже не согласие, а предложение. Я его только приветствую. После завтрака выходим. Вчетвером. Берём провизию на неделю... <...>

К вечеру дошли до клочковатого болота, широко раскинувшего непроходимые топи в обе стороны от берегов староречья. <...>

— Строим шалаш, заночуем здесь, — предложил Голиков. — Утро вечера мудренее.

Трагедия у болота

Когда успели сговориться Степан и Иван, чтобы выполнить свой жестокий умысел на этот раз без осечки — одним им известно. Только не увидели следующего утра, хотя оно и мудренее вечера, ни Голиков, ни Шмидт. Мёртвыми, подло убитыми увидел их утренний рассвет, скатившийся розовой волной по склону голубой сопки. Он расплылся по болоту, пролился в старицу, заглянул в неживые глаза мертвецов. Ночью братья Дрёмовы прирезали обоих геологов тихо, молча, так что ни один из них не почувствовал приближения гибели, не вскрикнул. Затем, размозжив им ружейными прикладами головы, Дрёмовы вынесли свои жертвы из шалаша, уложили рядком на сырую землю. Утром, привязав тяжёлые валуны к ногам, утопили остывшие трупы в старице, в ближайшей от берега полынье.

— Что таперича решаем? — спросил Иван.

— Решаем? — переспросил Степан. — А вот че. Двоих уже порешили. Ещё двое осталось. Очередь за имя. Отступить поздно.

— А золотишко?

— Золотишко теперя от нас никуда не уйдёт. Всё наше. Всё. От этих крупинок, — Степан тряхнул кожаным кисетом, куда припрятал изъятые уже у мёртвого Голикова самородки, — до целых мешков золота. Только потерпеть надо до весны.

— Неужто зазимуем в тайге?

— Эта забава нам ни к чему, — возразил Степан. — Выйдем из тайги, пока ещё не поздно. Переждём дома время до тепла. А по весне, тайно, без свидетелей, вернёмся сюда. Батин клад там, за болотом. Уж болотину как-нибудь минуем или вплавь, или в обход.

— А про этих что скажем? — Иван боязливо глянул на старицу, надёжно, навеки упрятавшую трупы геологов.

— Придумаем про них каку-нибудь историйку. Всяк знает, тайга не мёд, всякое в ней может приключиться.

— И про вояк наших?

— И их туда же, под одну гребёнку. К слову скажем, утонули. Или погибли в горах от каменного обвала.

— Толково. Дельно. Однако пошли в зимовье...

В зимовье братья Дрёмовы вернулись за полночь. Греков и Задорожный спали.

— Что так запозднились? — зашевелился во сне Задорожный.

— Спи, — уклончиво ответил Степан.

Иван растопил печку, разогрел жаркое, сварил чай. Братья перекусили, как после тяжёлой работы, запили еду густым наваристым чаем, переглянулись.

— Пора? — спросил глазами Иван.

— В самый раз, — шёпотом ответил Степан.

Загасив коптилку, братья заползли на нары, расклинив спящих красноармейцев так, что те оказались по краям. И здесь всё обошлось без суеты и спешки, без выкрика и стога.

Утром Дрёмовы вынесли трупы Грекова и Задорожного из зимовья и захоронили их в каменной осыпи у склона скального отрога...

В ту же осень братья Дрёмовы вернулись в своё село одни, уверяя, что остальные участники поиска погибли во время горного обвала и похоронены под грудой каменных обломков.

Возможно, что эта версия была бы принята за истину, если бы младший из Дрёмовых, Иван, будучи зело пьяным, не похвалялся собутыльникам, что, мол, они таперича единственные хранители тайны отцовского клада, а также его неоспоримые наследники. После этого в Убугуне, в окрестных сёлах и даже в Иркутске поползли упорные слухи о свершённом в далёкой тайге жестоком убийстве. Позднее в Тургинские Альпы была направлена комиссия, которая обнаружила следы убийства Голикова и его спутников. Следствие доказало, что братья Дрёмовы решили завладеть «отцовским кладом» безраздельно и, когда им показалось, что цель близка, убили остальных участников похода. Однако, не желая зимовать в тайге, они были вынуждены вернуться домой без крупинки золота. Более того, геологи Голиков и Шмидт, стоявшие на верном пути к сокровищу, уже не могли никому сказать ни слова.

Накопившиеся факты и архивные материалы почти с достоверной точностью доказывали существование «дрёмовского клада» в районе Тургинских Альп.

Станислав Китайский

Ягодка

Рассказ

В первое послевоенное лето в нашем селе объявилось столько девок, что хоть пруд ими пруди — куда ни глянь, всё одни девчата, да все красивые, отчаянные, особенно те, что на фронтах побывали. Да и те, что вернулись из фашистской неволи, дома не отсиживались — молодость брала своё. Что ни вечер — в каждом околотке праздник: хрипит трофейный патефон, крутятся цветастые парашюты подолов, озорные солдатские частушки высекаются каблучками туфель — гуляй, веселись, отстрадались!.. Подносят одна другой стопки рыжего свекловичного вина — пей, подружка, хрусти свежим огурцом, это тебе не проклятая немецкая брюква пареная!

Некоторые из фронтовичек курили, ловко вертели тонкими пальцами самосадные сигарки, прикуривали от огонька, косясь в лицо одинокого мужика зовущим взглядом — не робей, мол, люди не осудят. И верно, даже у самых въедливых старух не поворачивался язык попрекать бойких девчат скорыми знакомствами...

Гуляла с девками и Марья Левшукова, ядрёная яснолобая бабёнка, почти ровесница этих незамужних. Но она была на особом счету. Отличалась она от прочих и непривычно ласковым прозвищем — Ягодка. У нас народ такой: каждому имечко прилепят, как печать на лбу поставят, да и словцо всегда для клички выберут похлеще, иное так и написать рука не поднимется, а тут — на тебе — Ягодка!

Она и впрямь походила на переспелую чёрноглянцевую вишенку. И вертучая была — на месте не посидит. Замуж вышла незадолго до войны, лет семнадцати, родила рыженькую — ни в мать ни в отца — девчонку и вскоре проводила мужа на фронт. За войну она немножко потяжелела, округлилась и стала такой приманчивой, что редкие тогда в селе мужики тянулись к ней больше, чем к иным холостячкам.

— М-да! — крикнет, поправив гвардейский ус, какой-нибудь одноногий бывший старшина, взглянет коротко на собеседника и проводит её долгим пристальным взглядом вдоль по улице, заросшей густой ромашкой, пока не свернёт она на «большую», как называют у нас центральную улицу. Там, четвертая с краю, стоит её изба — хорошая, всегда свежевыбеленная, с глянцево чистыми стёклами окон. Только, чтобы увидеть окна, надо зайти во двор — с улицы, пожалуй, не разглядишь — такой густой зарослью переплелись в палисаднике акация, сирень, вишни...

Китайский Станислав Борисович, прозаик (род. в 1938 г. в с. Ордынцы Базалийского р-на Хмельницкой обл.). Автор книг: *Поле сражения*: роман (М., 1973); *То же* (Иркутск, 1977, 1988: *Советский сибирский роман*); *В начале жатвы*: повести и рассказы (Иркутск, 1985), публикаций в коллект. сб. и журналах. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

И вообще вся усадьба была засажена деревьями. Созревали тяжёлые жёлтые груши, яблоки — и скороспелки, и «осенние зори», и антоновки, — аж на дорогу свисали ряские вишни и черешни. Неизвестно, где набрали денег, чтобы уплатить положенные налоги, где брала хлеб, потому что все тогда сеяли жито на своих огородах, а в саду что посеешь, разве только картошку посадишь да тыкв пона-тыкаешь в междурядье. Но Ягодка умудрялась как-то жить и одевалась не хуже других, и дочь свою Гальку держала в теле и аккурате. Правда, помогал ей немного бывший муж, Григорий Левшуков, живший в нашем же селе, только в другом околотке — за балкой, на самом краю.

Но какая это помощь? У самого ничего не было, кроме застиранной солдатской формы да двух рядов орденов и медалей на широкой костлявой груди. На трудовни тогда ничего не давали.

— И как это ты, Марья, выкручиваешься? — спрашивали бабы, устало лёжа где-нибудь в неверном тенёчке или просто посреди бесконечного свекловичного поля на горячих комочках взрыхлённого их сапками чернозёма.

Мария пожимала плечами, грызла травинку и чему-то улыбалась, глядя в высокое сухое небо. Знала: не надо отвечать, только заведёшь баб. Все заводными сделались, с пол-оборота заводятся.

— Смеёшься... А я уже сколько лет не смеялась, — не то упрекая, не то завидуя, лениво говорила Настя Бабакина, длиннолицая тощая вдова, недавно похоронившая старшего сынишку, — на старую мину плугом наехал, — и теперь одна кормившая четырёх меньших. — Это уж так — кому счастье, а кому каторга, что зря и болтать...

После таких слов хоть и вставать не хотелось, а не лежалось. Да и то — лежи не лежи, а вставать надо: у каждой этой свеклы конца краю не видно, по норме — полтора гектара на бабу.

Ягодка выжидала, чтобы поднялся кто-нибудь первым, потом упруго вставала сама и, зная, что вслед ей будут смотреть, шла на свою делянку, чуть сутулясь, кривя тонкий стан, вертя в руке потяжелевшую сапку.

— А чего ей не жить? — на ходу договаривали бабы. — Тот-то ей, поди, что месяц — деньги шлёт...

— А Григорий, говорят, каждый вечер из садика выглядывает, когда она мимо с работы идёт. А потом сидит цельную ночь, курит.

— Ну и пусть курит, дурак.

— Отчего же дурак? Дите-то, поди, его.

— А Надежда плачет, сказывают. Ревнует, видно.

— К жене-то законной ревнует?

— А чо, возьмёт да и уйдёт.

— Мало ли баб ноне слободных! Не нравится вторая, шёл бы к третьей. Хоть ко мне вон, хоть к Насте — примем, с нашим удовольствием примем!

— Да будет тебе!

Бабы расходились по широкому полю теперь уже до вечера, пока не сядет за чуть видным селом солнце.

Тот, кто по бабьим понятиям деньги Ягодке должен был высылать ежемесячно, денег не слал. В войну и два года после о нём не было ни слуху ни духу. А теперь изредка, два-три раза в год, присылал Марии прямоугольные конверты с марками. А что в тех конвертах — никому знать не дано. Поговаривали, будто Клавка-почтальонша распечатывала одно письмо, но этому никто не верил, потому что Клавка побоялась бы потерять денежную работу, а во-вторых, потому,

что в её пересказе письмо очень уж было неправдоподобным. Будто пишет он ей слова стыдные, любовные, всё о себе по-хорошему рассказывает и просит дозволения приехать к ней навсегда, на что она будто не согласна. Кто же этому поверит, если они два года вместе жили? И жили так, что никто об этом и не подозревал.

II

Ранней весной сорок второго года через наше село немцы гнали пленных. На огородах и на обочине дороги ещё лежал волглый, тяжёлый снег, а дорога была чёрной и грязной: наверное, потому, что большинство пленных шло босиком, снег стаял. Гнали их плотными серыми (по двенадцать человек) рядами. По сторонам ехали немцы на сытых короткохвостых конях и шли полицаи. Пленные были худые, заросшие щетиной. Они шли целый день, и целый день мы, ребятишки, сновали от дома к дороге и кидали идущим картошку и хлеб. Хлеб кидали кусками, потому что, когда кто-то бросил буханку, в неё вцепились сразу двое, получилась задержка, и немцы застрелили тех двоих. Чтобы не мешали на дороге, их отбросили в канаву, где текла чёрная грязь с крупинками льда.

— Не подходи! — кричали нам полицаи и грозили винтовками.

Но мы подходили и бросали все из сумок и возвращались домой, чтобы снова прибежать сюда с полными.

— Ничего, ребятишки. Не бойтесь, — говорили нам матери, накладывая в холщовые школьные сумки краюхи, сухари и печёную картошку. — Бегите.

Потом хлеб у всех кончился, картошку варить и печь не успевали, и мы нагребали сырую и кидали её в колонну нашим, а они жадно хватали её и ели...

— Пустите-е! Ме-ня-я! — кричал наш сосед, рябой Назар, и рвался туда, где гнали пленных. Он был здорово хромым, и его не взяли в солдаты, и немцы тоже не трогали — кому он нужен, хромой и старый? В тот день он с утра напился, наверное, самогону и, расталкивая державших его баб, кричал на все село:

— Пусти-ите-е! Я им всем и Гитлеру ихнему глотку порву!

Бабы заперли его в хлеве, и он там, по-страшному взывая, плакал до самого вечера.

И хорошо, что заперли его, а то немцы застрелили бы. Потому что, когда мы в который раз подбежали к колонне, они начали стрелять по нам. Сначала ранили нашего Бобку, чёрную, с белым галстучком собачку, ногу ему отстрелили, а потом убили Володьку Петрова. Когда пуля попала ему в грудь, он как-то разом остановился, скривил рот, серые глаза жалобно уставились на пленных, и он сел в мокрый снег и умер. И когда бабы хотели забрать его, конвоиры открыли стрельбу по бабам, но никого больше не убили. Вечером Володьку, конечно, забрали. Забрали и тех двоих из канавы. Потом их похоронили всех вместе, и крест на могиле на всякий случай поставили. А надпись на кресте рябой Назар жигалом выжиг: «Здесь схоронены двое наших и В. Петров, десяти лет». Но это уже было потом, когда прогнали через село всех пленных. А пока они шли, мы бегали на дорогу, и матери отдавали последнюю картошку, крестили нас и слезливо приговаривали:

— Бегите, авось, ничего, даст бог...

И Ягодка тоже кидала пленным еду, и не боялась ни немцев, ни полицаев, и они в неё почему-то не стреляли. Правда, ей и бегать никуда не надо было, изба над самой дорогой, из ворот прямо и швыряла. Но после этих дней она стала дичиться соседей, не ходила на посиделки и, если к ней кто заходил — за ог-

нём или просто поболтать, — старалась побыстрее спровадить — иди, иди, мол, не до тебя. Когда-то весёлая, она как будто постарела в свои двадцать два, стала серьёзной и молчаливой.

— Наверное, чуёт её сердце, что убили Григория, — говорила собирающимся у нас в хате бабам Настя Бабакина, которая ворожила на засаленных картах. — Вот видите, туз пикей у него в ногах, а крестовый в головах. Убили Гришку! — уже доказано заключала Настя. — А у Марьи дите малое. Постареешь.

Всем присутствующим и себе тоже она гадала хорошее: скоро войне конец, вернутся с победой мужья (правда, кое у кого раненые), и будет тогда у каждой и тайная сердечность, и поздний разговор — на десятку пик, и бубновый интерес.

Насчёт войны карты обманывали, прошло ещё время и время, пока над селом стали пролетать звенящие краснозвёздные самолёты, и бабы тыкали в небо худые пальцы и говорили: «Наши! Слава богу, наши летят!» Соврали карты и по всем остальным пунктам бабьих надежд, соврали жестоко, немилосердно.

А потом на востоке забухали далёкие пушки. Фронт приближался. В эти дни Ягодка снова приободрилась, стала ходить на гаданья, и к ней стали заходить. А когда морозной мартовской ночью село, забившееся в подполья, вздрагивало от частых разрывов наверху, и стёкла из окон сыпались на пол мелкими брызгами, Ягодка стояла у ворот своей хаты не одна. Рядом с ней был высокий тощий человек, одетый в широкую для него Григорьеву одежду,

Утром в село сразу с трёх сторон вошла наша пехота и, не задерживаясь, только на ходу попив, у кого если было — молока или просто воды, пошла дальше. В селе остался только лазарет и какое-то начальство, которое разместилось в сельсовете. Туда и отправился тот человек в Григорьевой одежде.

— Гля, никак Гришка объявился? — гадали помолодевшие за эту громохочущую ночь бабы. — Да нет, не он...

Из сельсовета человека того не выпустили. Вызвали туда Ягодку и соседей покликали, и какой-то военный в погонах выпрашивал у них про этого человека, но соседи ничего не ведали. Зато здесь они и узнали всё из уст самой Ягодки.

— Как гнали пленных, поднялась стрельба, это когда тех двоих убили. Полицаи замешкались. Я схватила вот его и из кучи к себе за ворота. Сама подождала, что будет, а потом его в хату втащила.

— А почему именно его? — спросил военный.

— Ну, ежели бы ты попался, тебя втащила бы, — сказала Ягодка.

— Я не мог попасться, — сказал военный. — Я в плен не сдавался.

— Так и он не по своей охоте, — возразила Ягодка. — Потом под печью подполье второе выкопали, там он и жил.

— Всё время? — допытывался военный.

— Пошто всё время? Ночью, когда Галька засыпала, он вылазил.

— Значит, он сожителем, любовником твоим был?

— Может, и был. Тебе-то что?

— Родину он на бабу променял, — сказал военный.

— Дурак ты, — обозвала его Ягодка. — Куды бы он пошёл? Немцы кругом. Убили бы — и всё.

— Полегче, гражданка! — прикрикнул военный.

Потом и военный, и соседи ходили в Ягодкину хату подполье смотреть. Военный зачем-то стенки в этой землянке нюхал, ногтём доски ковырял, восхищался — комнатка и комнатка, здесь всю жизнь прожить можно.

— Найди его тутыка немцы, расстреляли бы и Марью и Гальку, — сказала соседка.

— Возможно, — ответил военный и ушёл.

Война покатила на запад. Мы пошли осенью в школу, вместе с нами пошла и Галка Левшукова, только в первый класс. Училась она хорошо, ей даже повальную грамоту дали, написанную на обратной стороне листовки, какие с самолётов разбрасывали, где на лицевой стороне были отпечатаны грозные слова: «Смерть немецким оккупантам!» — мы их и в тетради сшивали, по ним первоклашки и читать учились за неимением книжек. Так прошла зима. А весной мы однажды швырнули оземь лопаты, которыми вскапывали огороды, и помчались к сельсовету на митинг.

Народу собралось тогда много. Даже с дальних полей, где бабы на коровах пахали под будущий посев, всех созвали. На сельсовете красный флаг большой укрепили. Трибуну из свежих досок соорудили. Первыми на неё, конечно, забрались мы. Посмотришь вниз — одни бабы платки и косы, больше ничего, но мы радостно кричали: «Ура-а-а! По-бе-да-а!..» Наконец, нас согнали, и на помост взобрался на костылях новый председатель сельсовета, недавно вернувшийся с фронта солдат. Бабы ажно рты пораскрывали, стояли, ждали, что он скажет. Каждая, наверное, ждала хоть словечко о своём. Знали: не может он ничего такого сказать, но ждали, и у каждой это ожидание горло перехватило, не вздохнуть. А он криво улыбался, молчал, наконец, крикнул, срывая горло: «Победа! Ура!» — и заплакал, хоть и смеялся.

III

В начале лета стали в село возвращаться солдаты. Не один раз пересчитала война на первый-второй наших односельчан, и не было такой избы, чтобы не лежала в ней на божнице похоронка — слава павшему герою, — а то и две, и три. Но все-таки люди возвращались. Вернулся и Григорий Левшуков. Как и все другие, он свернул с пыльного большака и пешком пошёл в село. Высокий, широкоплечий, щедро увешанный медалями, он шёл по улице счастливый, но с достоинством, как и положено солдату, победившему такую долгую войну. Всем встречным, даже ребятишкам, он отдавал честь, вскидывая к пилотке широкую коричневую ладонь. Мы несколько раз забегали вперёд, чтобы встретить его, и каждый раз он козырял. Так и привели его домой.

Ягодки дома не оказалось. Мы знали, что она косит у мельницы, и сказали об этом Левшукову. Он сел на маленькую скамеечку, установленную им ещё до войны у порога, посидел, лучисто глядя на цветы, на уже спелые вишни, на камушки во дворе, потом обратился к нам:

— Ну, орлы, кто быстрый на ногу, зовите тётю Марусю!

Мы бежали наперегонки, перепрыгивали кочки, спотыкаясь и падая. Как поняла Ягодка, что именно её нам надо, — неизвестно. Только она первой бросила косу и побежала нам навстречу.

— Пришёл! — сказали мы ей. — Ваш солдат пришёл!

Три километра бежала Ягодка на одном дыхании, а когда вбежала в ограду, сил у неё совсем не стало, и она упала на руки солдата как мёртвая.

Не успели они и в себя прийти, как ограда была полна народу: понабежали люди, которые были не в поле, само собой — ребятишек тьма, с утра опохмелённые фронтовики, и все это галдит, кричит, целуется и плачет. Появилось вино, столы накрыли. Марья носилась как угорелая — угощала, доставала, варила и никому не позволяла помогать себе. Была она счастлива очень уж откровенно,

безоглядно, но вины скрыть не умела, и Григорий понял её. Дочь Гальку от себя он не отпускал ни на шаг, вытаскивал ей из вещмешка всё новые подарки — кудрявых кукол и короткие, не здешнего покроя платица.

А ночью, когда все разошлись и дочка уже спала, Григорий с Марией сидели за столом друг напротив дружки и разговаривали. Потом ей, видимо, сделалось трудно говорить сидя, она встала и отошла к печке. Григорий продолжал сидеть и курить. Затем поднялся и он. Набычившись, постоял над столом. Чёрный, слегка вьющийся чуб его мелко дрожал над загорелым лбом, он движением головы откинул его назад, резко выпрямился, оправил рубаху под солдатским ремнём, пошёл к порогу, снял с гвоздя шинель и твёрдым шагом вышел. Больше он не возвращался.

— Ты не убивайся, — говорил ему в ту ночь правленческий сторож дед Яшка. — А Марья сучка, так ей и надо.

— Ну, ты не завирайся, дед! — крикнул Григорий.

— Да я ничего. Оно понятно, не для этого она спасла его. Тут бабе «Георгия» навесить можно. А потом дело живое, не каждый утерпит. Да ты и сам не без греха, поди, за войну-то.

— Было, дед, все было. Выпить у тебя нету?

— Нету, Гриша, нету. Да ты приляг, поспи. Может, и придумаешь че.

— Да нет уж, пойду.

Куда он ушёл, неизвестно, родных у него в селе не было. Может, под кустом где до утра промаялся. Потом на работу стал конюхом, в конюховой и жил, охраняя четырёх оставшихся в колхозе коняг. Вскороости он женился на Надежде Басовой, девке красивой и здоровой, она жила со старухой матерью на самом краю села, туда в примаки он и пошёл.

Уход мужа не вышиб Ягодку из колеи. Она как будто даже помолодела: то ли одеваться стала аккуратней, то ли подкрашивалась помадами, но была всегда красивой и весёлой и с девками стала гулять на вечерках. Простить такое — при живом-то муже! — старухи не могли и судили Марью по строгому довоенному счёту, выписывая приговор на воротах, за неимением дёгтя, колёсной мазью. Ягодка не обращала на это внимания.

— А чего мне горевать? — говорила она бабам, выбирая в сельпо дешёвенький платок. — Все-таки мой живым пришёл. Дочь к нему в гости чуть не каждый день бегаёт. А я от мужа за войну отвыкла.

Бабы перемигивались за спиной — знаем, мол, как отвыкала, но в лицо утешали Марью, не одна-де ты такая, а ворота что — была бы душа чистая...

IV

Шли дни, шли и годы. Галька Левшукова вытянулась почти с мать, ходили мы с ней в школу в соседнее село. Хотя я и был старше её на четыре года, а шёл впереди всего на два класса; по-соседски я помогал ей по русскому и по математике. Сопливая малышня дразнила нас женихом и невестой, а какая она невеста, если ей всего тринадцать? Ягодка старела, хотя и казалась мне красивее всех в нашей округе. Старел и Григорий, роскошный чуб его как будто золою присыпали. Он никогда не заходил к ней, деньги или что съестное передавал с Галькой, а когда привозил солому, то сваливал её у ворот.

— Зашёл бы, — говорила Марья. — Не съем.

— Знаю — не съешь, а бояться боюсь, — отвечал Григорий и старался не смотреть ей в глаза.

Она, наверное, знала, чего он боялся, потому что замолкала и уходила в хату.

Но однажды Григорий переступил порог своей бывшей избы. Это случилось, когда к Ягодке приехал тот самый пленный. Приехал не один, с женой и с мальчишкой. Ягодка их очень хорошо приняла, и они прожили у неё две недели, а может, и больше. Приезжий, — его Фёдором называли, — избу на свои деньги перекрыл, заплот новый поставил, Гальке велосипед купил. С деньгами, зная, был, где-то за Полярным кругом работал. Жена его, белобрысая кубышка с наколками на пухлых руках, тоже не из лентяек была: пока Ягодка придёт с работы, в избе уже всё, как в чашечке, блестит, и на огороде всё прополото, и поесть сварено, и нарезанные яблоки ёлочными гирляндами по ограде для сушки развешаны. Ходила она однажды с Ягодкой и свеклу пропалывать, но так устала, что еле домой притащилась — не приучена к такой работе.

И получилось так, что, проходя мимо, Левшуков и столкнулся с Фёдором. Как они познакомились и о чём говорили, никому неизвестно. Но люди видели, как неуступчиво-пристально смотрели они друг другу в глаза, облокотясь на заплот, — оба высокие, статные, черноголовые. Потом, видно, надоело им в гляделки играть, и они пошли в хату выпить за знакомство.

Марья в этот день дома была, не то праздник какой случился, не то бригадир разрешил ей остаться по домашности, и, когда они оба вошли в избу, у неё аж ноги подкосились.

Григорий вошёл первым, с порога сказал Марье «здравствуй» и сел на предложенную женой Фёдора табуретку. Марья опомнилась, накинула на стол праздничную льняную скатёрку и стала собирать на стол. Фёдор подсел к Григорию, закурил и его угостил пахучей папироской, начал рассказывать про жизнь свою, но его, кроме жены, никто не слушал. Григорий время от времени поглаживал прохудившиеся на коленках штаны и глотал что-то так трудно, что движением головы помогал небритому кадыку стать на своё место.

— Садитесь, — пригласила к столу Марья.

Григорий машинально сел на своё давнишнее место, потом понял, что не надо было этого делать, но пересаживаться было неудобно.

— Давайте выпьем, — предложил Фёдор, — за то, что мы отмучились, и за то, чтобы вы друг друга мучить перестали. Давайте!

Григорий поднял было рюмку, но тут же поставил её. Сдвинул широкие брови. Глаза потеряли блеск. Он встал, крутнул головой и вышел из избы.

Марья стояла у окна и горько улыбалась.

А жена Фёдора бегала по избе, потрясала татуированной рукой и кричала:

— Дура вы, Марья! Дура!

Недавно я ездил в своё родное село и заходил к Ягодке. Она совсем уже постарела и живёт одна: Галька вышла замуж за какого-то шахтёра и уехала в Воркуту. Пишет — живёт хорошо.

— Надо было вам замуж выходить, — сказал я Марье.

— А я и так замужем, — спокойно сказала она. — Мы ведь не разводились.

Теперь, когда я вспоминаю её, мне видятся тёмные глубокие глаза, в которых не разглядишь, что там на дне, бледное лицо, на котором отпыхали летние зори, сухие, истрескавшиеся от работы руки и вся она — спокойная, правая какой-то своей, особой правотой.

«Я живу ожиданием чуда...»

О творчестве поэтессы Елены Жилкиной

Я привык к тому, что Елена Викторовна Жилкина присутствует в моей жизни постоянно: брожу ли по набережной, еду ли в трамвае, проснусь ли ночью — вдруг её голос, стихи — какая-нибудь строфа, строка, стихотворение.

О как мы безоглядно тратим годы,
разглядывая что-то впереди:
как будто вот окончатся дожди,
и мы дождёмся солнечной погоды.
А время будет так же течь и течь,
И так нужна нам будет счастья кроха,
мы часто расстаёмся с ней без вдоха,
не научившись малое беречь.
Всё мимо, мимо:
и дела, и сны,
нам недосуг в них разобраться толком.
Но вот однажды в нашей жизни долгой
приходит час.
И нет ему цены.

Здесь Елена Викторовна Жилкина говорит о бесценном часе вдохновения, о том счастливейшем мгновении жизни, когда, по точному замечанию Пушкина, душа расположена «к живейшему принятию впечатлений и соображений понятий, следственно и объяснению оных».

Этот бесценный час зачёркивает всё суетное, второстепенное: мелочи быта, ненужные споры, глупые обиды; это бесценное мгновение затягивает старые раны, возвращает молодость, открывает нам наше истинное я...

Может быть, то, что дарит нам вдохновение, и есть то главное, что есть в каждом из нас.

Может быть, по-настоящему счастливы именно те, кто способен подчинить

Кобенков Анатолий Иванович, поэт, критик-эссеист (1948, Хабаровск — 2006, Москва). Автор многих книг, в т. ч.: *Улицы*: стихи (Иркутск, 1968: *Бригада*); *Вечера*: стихи (Иркутск, 1974); *Два года*: стихи (Иркутск, 1978); *Послание друзьям*: стихи (Иркутск, 1986: *Сибирская лира*); *По краям печали и земли*: стихи (М., 1989); *Круг*: стихи (Иркутск, 1997); *Строка, уставшая от странствий*: стихи (Иркутск, 2003); *Путь неизбежный*: Книга литер. эссе (Иркутск, 1983) и др. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

вдохновение себе, дабы стать с ним на равных... Если это действительно так, то Елену Викторовну Жилкину можно назвать счастливой — в течение многих лет рука её тянется к перу в тех случаях, когда наступает её главный час вдохновения.

Поэтому, говоря о её стихах, мы прежде всего скажем, что они хорошие, а потом добавим — мудрые, и всё это будет правдой, поскольку и мудрость, и доброта способны не помнить обид, видеть всё, но говорить о главном.

Читатель Елены Жилкиной, не знающий о некоторых фактах её биографии, пожалуй, не догадается, что жизнь её была нелёгкой, но не потому, что поэтесса намеренно что-то скрывает от нас, а потому, что в голосе её никогда не было ноты, подсказанной обидой, потому что с первых дней своего бытия она боится не грядущих бед, а возможной жалости: «Друзья мои, с горя со мною не пейте. Меня не жалейте, меня не жалейте...»

Но были времена, когда Елену Викторовну больно и незаслуженно обижали, когда стихи её бранили не потому, что они действительно были плохими, а потому, что кому-то однажды показалось, что в сибирской поэзии не всё благополучно. Это неблагополучие следовало доказать, и оно было доказано несколькими стихотворениями, некоторыми строками, написанными Еленой Жилкиной. В те годы Елена Викторовна читала лекции по советской литературе в полутёмных деревенских клубах Иркутской области, писала о недавно прошедшей войне, о солдатских вдовах, о дочери.

Негде было жить Елене Жилкиной, негде было жить её стихам — как бы сговорившись, от них отказывались журналы, газеты, радио... Может быть, тогда пришло доверие к деревьям, птицам, таким же бездомным, как она. Может быть, тогда она научилась у них беззаботности, задумалась о всепрощении...

В одном из стихотворений Елена Жилкина сказала: «Если не будет солнца — выдумаю его». Я думаю, что в те трудные времена у поэтессы были и солнце, и радость, и часы вдохновения. Иначе мы не смогли бы прочитать её книги, которые стали выходить одна за другой с разрывом в два-три года, после того как незаслуженные обвинения, предъявленные Елене Викторовне, были сняты.

Забыла ли об этом Елена Викторовна?

Её книга, вышедшая в 1958 году, называлась «Сердце не забывает», но нет в ней и тени упрека тем, кто помешал её быту, — есть подчинение извечной человеческой красоте, людской доброте, будущему счастью — друга, знакомого, дочери.

«Сердце не забывает» — вторая книга Жилкиной, за пятнадцать лет до её выхода была первая — «Верность», вышедшая в военном 1943 году в Улан-Удэ.

До «Верности» были публикации в «Сибирских огнях», «Будущей Сибири», в сборниках тридцатых годов «Сверстники», «Прибайкалье», «Родной партии»...

Я читал первые книжки Елены Жилкиной. Давным-давно стали они библиографической редкостью — маленькая, на жёлтой шершавой бумаге «Верность» и чуть побольше, в голубой обложке «Сердце не забывает». Может быть, нечто подобное испытывает хирург, держащий на своей ладони человеческое сердце — маленькое, лёгкое, живое и в то же время — необыкновенно тяжёлое, большое, весомое... «Верность» — это война, опустевшие дома сибирских городов и деревень, уставшие без мужских рук, это маленькая женщина, чья вера в бесконечность земного счастья помогает выжить бойцам страны — мужу, брату, сыну; это горько сжатые губы матери, сухие глаза жены...

«Сердце не забывает» — монолог женщины, пережившей бесконечно много, но сохранившей красоту, улыбку, любовь, детей...

Кошунственно разбирать эти книги по строчкам, говорить об удачах и неудачах — их построчечная неровность подсказана неровностью сердцебиения...

Есть поэты, удивительно похожие на свои стихи и книги. Елена Викторовна Жилкина не просто похожа на свои стихи, она едина с ними — то ли она писала их, то ли они её. В жизни она добра, наивна, сентиментальна, улыбчива, нетороплива. Её обыденная речь удивляет своей ритмической выстроенностью, её поэтическая речь, наоборот, не столь ровна, ритмически прихотлива, порой сбивчива — час вдохновенья сдвигает бытовые понятия, световой силой влияет на слова, их музыку.

И всё-таки Жилкина пишет всегда так, как живёт, — негромко, но безоглядно. Обыденность, вещная конкретность постоянно присутствуют в её стихах, но стоит помнить о том, что обыденность эта свойственна не кому-нибудь, а поэту. И поэтому элементарная обыденность может упрекнуть Елену Викторовну не только в романтизме, но и в инфантильности.

Однако мне, например, очень по душе молодые нападки Елены Викторовны на всё обыкновенное. Юный читатель, обратившийся к стихам поэтессы за советом, может быть отстранён ею:

Простите, не мешайте,
тороплюсь
за безрассудством...
Я к нему вернусь, —

и этой поэтической безоглядностью возвращён к себе.

За плечами Елены Викторовны Жилкиной немалый житейский и литературный опыт, но, вечная поклонница чудес, она до сих пор теряет: «А как мне быть с ожиданием чуда?»

Здесь я тоже в некоторой растерянности, потому что разве опыт исключает главную прелесть жизни — ожидание чуда?

В отличие от многих своих коллег, Елена Викторовна давным-давно отказалась от творческих командировок, но, на зависть своим коллегам, среди которых я чуть ли не самый молодой, она может похвастаться: «Полнится загадками душа».

Снова послушным прикинулся вечер.
Поздно. Идут рыбаки мне навстречу.
Где-то на трассе мигают огни,
то они ближе, то дальше они.
Между деревьев опять замелькала
белою галькой дорога к Байкалу.
Сумрак улёгся у ног по-собачьи.
Может быть, путь свой направить иначе...
Нет, недалёко, наверно, отсюда
встречу вот-вот небывалое чудо.
Слушаю тёплых камней разговор.
Тень окликаю, идущую с гор.
С тропки сверну: не гонюсь за покоем...
Только за что же мне счастье такое:
воздухом этим таёжным дышать,
этим посёлком рыбацким шагать.

Не дожидаясь попутного ветра,
снова идти, не считать километров.
...Честное слово, лучше их нету,
этих скитаний по белому свету.

Мне нравятся эти стихи своей тишиной, естественностью, которая сродни простоватости, но нравятся они мне ещё и тем, что я догадываюсь, почему написались они у Елены Жилкиной: она однажды приехала на маршрутном автобусе в байкальский посёлок Лиственичное — прошла по набережной никак не больше километра, но за это время увидела столько, что, никого не обманывая, назвала стихотворение своё «В пути», а закончила его так высоко: «Лучше их нету, этих скитаний по белому свету».

Как и полагается, для поэта на этой земле малое представляется большим, обыкновенное — необыкновенным.

Душа нашей поэтессы всегда готова к чудесам и никогда — к тому веку, часу, минуте, когда их не будет.

Одно из её главных и самых важных качеств легко рассмотреть в разных стихотворениях, книгах, но чётче всего в «Парусе»:

За ним приморским прошлым летом
с тревогою следила я;
он возникал в тумане где-то
как будто из небытия.
И шёл, меняя очертанья
и разрывая сердце мне,
как горькое напоминанье
о дальней-дальней стороне.
Потом он падал лёгкой тенью
вдали, у моря на краю,
оставив мне свое смятенье
и вечную тоску свою.
Он уходил. Крыло касалось
волны, нездешне-голубой...
И всё казалось, всё казалось —
и день другой,
и век другой.

Когда-то это замечательное стихотворение звучало несколько иначе — в нём было на одну строфу больше, Елене Викторовне Жилкиной понадобились «и день другой, и век другой», чтобы во многих своих стихотворениях оставить самое необходимое. Многие её стихи, знакомые нам по первым книгам, сегодня звучали иначе — они выверены не столько по ритмам современности, сколько по ритму сердца, хотя для Жилкиной это нечто единое: ритм времени согласен с сердцебиением: «узнаем полёт его крылатый по сердцебиенью своему». Одну из своих книг поэтесса назвала «Островок», открывалась она стихотворением о скорости:

Я радуюсь, как воздуху,
как свету,
что скорость

веку моему дана.
 И как она ему всегда нужна,
 стремительность невиданная эта.
 Мне времени крылатость по плечу,
 Я медлить не могу
 и не хочу.

Вот так заканчивается это стихотворение:

И только к сердцу
вдруг прижавши руку,
я говорю:
— Не торопись.

В «Островке» было множество примет нашего, во многом нового для Жилкиной, времени — примет весёлых и грустных, радостных и просто удивительных, но самым замечательным была та непосредственность, с какой Жилкина говорила о «беспощадном свете воспоминаний», — он чист, с ним тепло, в нём — ядро судьбы поэта.

Летят воспоминанья дымом,
по нитям памяти скользя,
но горестно непоправимы
меня предавшие друзья.

Елене Викторовне Жилкиной хотелось бы многое исправить, но если возможно придумать солнце, устремиться вслед за поездом, самолётом, то никак невозможно исправить предавших — они «горестно непоправимы». Как много живёт в этом единственном на всю строфу эпитете — «горестно», как много здесь боли, которую сегодня Елена Жилкина не смогла, не захотела спрятать от нас. Она долго и прекрасно жила своей выдумкой, в главные часы своей жизни верила, будто главные её друзья — реки и деревья, дороги и птицы, но «беспощадный свет воспоминаний» возвращал на те улицы, где было одиноко, в те дома, где жили чужие, и бессилие перед этим светом стало человеческим бессилием перед жизнью, окатило строки солевым раствором грусти.

А я не ветер,
не река,
я — человек.
Наделена угрюмым постоянством,
мучениями,
 временем,
 пространством,
любовью
со смешным названием
«навек»,
привычками,
мне данными в наследство...

У любви Елены Жилкиной «смешное название» — «навек».

Стилистически это звучит не столь благозвучно, как хотелось бы, но ощущение правды, надиктовавшей поэтессе это признание, не покидает меня в часы наших бесед, а особенно когда разговор идёт только о любви.

Любовные строки Жилкиной — это записки красивому человеку, которые он не обязательно прочтёт, а прочитав, ничем не ответит. Человек этот не только красив, но и добр. Он добр не настолько, насколько это бы хотелось нам, неравнодушным к судьбе поэтессы, но настолько, чтобы обрадовать её: он дарил ей случайные встречи, а она, несказанно радуясь этой малости, отвечала ему стихами, а вместе с ними — единственным рассветом, незабываемым закатом, удивительным всепрощением.

В любовной лирике Жилкиной много тепла, меньше — радости, совсем нет ноток обиды, но всегда — ожидание чуда. Это ожидание передается мне, давнему читателю её книг, одному из тех, кого она поддержала в трудную минуту... Да что я, если Александр Вампилов величал её своей литературной мамой, если по сей день величают себя её учениками Валентин Распутин, Марк Сергеев, Владимир Жемчужников, если стихи, составившие первые книги Василия Козлова, Владимира Скифа, Татьяны Суровцевой, прежде чем лечь на редакторские столы, читались Еленой Викторовной Жилкиной.

Подобно тому, как Елена Викторовна не желает говорить о своих обидах, о тех, кто некогда предал её, я не хочу говорить о её недостатках — о проявленной кое-где стилистической усталости строк, о некоторой фотографичности городских пейзажей. Я, как и многие, учусь у неё тому, что она преподаёт лучше других, — молодости, великодушию, вере в чудеса, упрямому цветению... Это «упрямое цветение» в одном из стихотворений её последней книги и над всей жизнью:

Уже сентябрь осыпался.
Но в нём,
Мне подарив внезапное волнение,
цветы, лиловым вспыхнувши огнём,
своё второе празднуют рожденье.
И не поймёшь, чем трогают они,
незащищённостью, в тепло наивной верой?
Но кто сказал, что сочтены их дни,
отсчитаны неумолимой мерой?
Да будет час рассвета вечно свят,
приход его таит в любую пору
всё те же краски, тот же аромат,
со смертью неуступчивые споры.
Благословлю нетленную красу,
Похожую на чудо повторенья...
Так в обречённом осенью лесу
шло по земле упрямое цветенье.

Я невольно сопоставляю разные строки двух стихотворений Елены Жилкиной, написанные в разные годы: давнее — «И вдруг однажды в нашей жизни долгой приходит час. И нет ему цены» и сегодняшнее — «Да будет час рассвета вечно свят...» Сравнение этих строк подсказывает мне разгадку обаяния Елены Жилкиной, её «второго рождения»: бесценный час вдохновения у неё всегда и непременно приходил на рассвете, когда ничто не способно помешать «жить ожиданием чуда».

Верность

Глава из романа

XVI

Из окна горницы открывался вид на широкую сельскую улицу, на ровный ряд нахохлившихся в снежных гребнях домов, на одетые в грубое кружево куржака сады, на сплетённые из ивняка заборы. Большую часть дня улица Раздолья оставалась наедине с собой, безлюдна и тиха, и тогда казалось, что село находится во власти сна. Но стоило взглянуть вверх, на трубы домов, на высокие столбы дыма, как становилось ясно: село не спит, живёт своей неторопливой, трудовой жизнью.

Изредка с коромыслом на плечах по улице проходили женщины. Они быстро переставляли обутые в мягкие валенки ноги и привычно, не расплёскивая студёную с льдинками воду, несли ведра. Походка у них, даже у пожилых, становилась в эти минуты лёгкой и пружинистой, как в хороводе на плясках.

Ещё реже вдоль гладкой, прилизанной полозьями саней дороги проходили обозы. Сытые колхозные кони усердно, как бы пытаясь пробить леденистую толщу дороги, ударяли по ней копытами и без труда тащили за собой крупные розвальни, груженные навозом, тёсом, хворостом. Возчики, сидя, полулёжа, а иные, широко расставив ноги, стоя, лениво покрикивали:

— Но, веселее, Чалый!

— Опять засыпаешь, старый, шагай!

Передний возчик сердито дёргал вожжи. Над седым заиндевелым крупом коня взлетала серебристая пыль, и конь, слегка раскачиваясь, переходил на рысь.

Игнат острым ревнивым взглядом провожал колхозный обоз, старался придраться к мелочам.

«Ишь, воз-то навалил, — что гору, да ещё сам барином расселся. Чего зря кобылу-то лупит. Работнички... только коней изводят».

Подолгу просиживал у окна Булатов. Не успев докурить одну самокрутку, неторопливыми жёлтыми от табака пальцами скручивал другую, прижигал её от догорающего «чинарика» и так дымил без перерыва, словно колхозная дымокурня. В горнице густым облаком стлался едкий дым крепкого самосада. Старик, как выражались сыновья, играл в молчанку, бывали дни, с утра и до вече-

Козловский Владимир Николаевич, прозаик, публицист (1917, г. Козлов (ныне Мичуринск) — 1984, Иркутск). Автор книг: *Верность*: роман (Иркутск, 1957); То же. 3-е изд., доп. и испр. (Иркутск, 1964); *Молодость сердца* (Иркутск, 1960); *Дорогой смелых*: очерки (Иркутск, 1961); *Братья по крови*: роман (Иркутск, 1972); *Ищу свою звезду*: роман, фронт. новеллы (Иркутск, 1983). Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

ра — ни единого слова. Тётка Марфа не раз старалась развеять пасмурные думы брата.

— Ты бы, Игнатушка, по улице прогулялся, воздухом подышал али с ружьишком на зайцев сходил, что бирюком-то сидеть.

Игнат не обращал внимания на сестру, продолжал усердно смотреть в окно.

— А то баньку бы натопил, косточки размял, — не унималась Марфа. — Я бы тебе яблочек мочёных достала, за штофчиком сбегала, глядишь, оно и душа бы размякла, горесть прошла.

Игнат кидал суровый из-под бровей взгляд на сестру и слегка проводил рукой по задымленному воздуху, словно отмахиваясь от назойливого комара.

— А то в правление сходил бы, слышал, о чем гутарят-то? Фока рассказывал, дамбу хотят через Острожку строить. Авось и твои руки сгодились бы — ведь грабарь отменный...

Наконец Игнат не выдержал:

— Помолчи, Марфа. Ну и язык у тебя. Помрёшь — ещё неделю болтаться будет.

Марфа обиженно поджимала губы и уходила из горницы.

Вечером, когда вся семья возвращалась домой и садилась за ужин, Игнат уходил в спальню. За столом теперь не хватало двух сыновей. Васютку призвали в армию, Дмитрий по заданию колхоза уехал на разработки торфа. Ужинать садились Фока, Феня и две невестки: Марьяна и Антонина. Сколько ни звали старика, он упрямо отказывался:

— Сыт я. Не через силу же мне брюхо-то набивать.

На жизнерадостном весёлом лице Фени тускнел румянец. Тревожно взглянув на дощатую загородку отцовской спальни, она вставала из-за стола и торопливо брала с лавки шубу.

— На занятия опаздываю, — отговаривалась она от нахмурившейся Марфы, — механик Кузьмич обещал с новым мотором меня познакомить.

— Дня ему мало, — ворчал Фока. — Небось я по вечерам за учителями не бегаяю, днём управляюсь.

— Не все же такие умники, Фока, сам знаешь: бабий волос длинен, а ум коротышка.

— Прикидывайся... Ума нет, а одни пятёрки хватаешь, в прятки играешь, знаю, небось опять в клуб побежала?

— А хотя бы и в клуб, я не ты, к жениному подолу не привязана.

Фока покосился на беременную шустроглазую Марьянку.

— Гляди, Фенютка, проследим мы с Марьянкой, с кем шашни заводишь, житья не дадим.

Феня набрасывала тёплый белого пуха платок и бежала к двери.

— Смотрите, не растряситесь дорогой!

Как-то, когда молодые Булатовы ушли поиграть в карты к соседям, Феня прокралась в комнату отца и осторожно села на край широкой деревянной кровати.

— Папаня, а папаня? Не спишь, папаня? — пошевелила она густую жёсткую бороду отца. — Давай, папаня, песню споем, твою любимую, хочешь?

Игнат лениво повернулся к дочери и миролюбиво пробурчал:

— Не мешай, дочка. Сон приятный спугнула.

— Выспишься, папаня, чего в старики-то записываться. — Феня сняла со стены старенькую, много раз переклеенную руками отца гитару и тихо ударила по струнам пальцами.

— Пой, доченька. Послушаю.

Феня вполголоса начинала:

Ой, ходила дивчина по лесочку-у-у,
Наколола ноженьку на сучочку...

Голос её звенел, бередил думы Булатова. Знакомые слова песни тихим ручейком лились в сердце:

Болит, болит ноженька, тай не больно-о,
Любит меня миленький, тай не долго...

Игнат закинул руки за шею и, устремив взгляд в потолок, поддержал густым баритоном слабый голос дочери. Казалось, что в тонкий пчелиный звук ворвался мощный и уверенный гул шмеля.

А я за ним, девица, не гонюся,
Гонится он за мною,
За моей за русою косою,
За моей за девичьей красою.

Некоторое время оба молчали, загрустивший Игнат и размечтавшаяся Феня. Долгую паузу первой нарушила дочь.

— О чём думаешь, папаня?

Хорошо зная, что творится в душе отца, она жалела его, хотела видеть радостным, энергичным и деятельным, каким знала его прежде в те дни, когда Игнат зажигался любимым делом. «Ему бы только сломить своё упрямство, признаться в ошибке, — думала Феня. — Отец ещё развернётся, покажет себя. Натура у него крепкая, с настоящим булатом сходна. Иные вот думают — бирюк он, одичал на чужбине, и себя и людей ненавидит. Неправда это. Распахни-ка у него душу, взгляни! В ней и красоты много, и силы. Такие, как отец, не изменят, их только увлечь надо, разбудить...»

— Что же молчишь ты, папаня?

— Молчу, говоришь? А чего говорить-то? Всё одно не поймёшь, дочка, меня теперь никто не поймёт, чужой я для всех, чужой и ненужный, как репей в огороде.

— И для меня, папаня?

— У тебя, Феня, своя жизнь. А я для вас всех в позор стал, будто дёготь, на воротах размазанный.

— Полно, папаня, и не совестно тебе такое в голове-то держать?

Игнат скрутил сигарку, задымил едким самосадам. Думы переполняли душу, как закованная в плотину река, рвались к простору.

— Эх, дочка, дочка... Нешто мне охота с такими-то руками от своих мужиков отставать? Молодеет Раздолье, расцветает, как луг перед покосом, смотреть любо. И оттого, что людям радостно, мне полынным настоем горечь вливается. Обидно, дочка, обидно и завистно. Без меня всё делается и кем? Вот только Фёдор Сергеевич разве, а остальным за мной никогда б не угнаться. Ошибся, Фенютка, каюсь. Не по той дорожке пошёл. Все наши мужики на широкий тракт вышли, а я по сей день по тропинкам плутаю. Вот и умом вроде не слаб, силёнкою дед наделил... Крепким себя считал. А на поверке-то, сама видишь, слаб оказался. Заявл, будто травинка, морозом прихваченная. Заявл вот, а корни живут, к солнцу просятся.

— Шёл бы, папаня, в колхоз, не упрямился!

— Не поймут они меня, скажут, нужда приспичила. На что уж Фёдор в детстве первым дружком моим был, да и тот не понял... Нет, дочка, на посмешище я не выйду.

Заслышав стук калитки, Феня поспешно встала с кровати, заботливо натянула на отца сбившийся в ногах полушубок.

— Пустое говоришь, папаня, выкинь из головы. Смеяться никто не станет... А Фёдора Сергеевича ты не понял... Он тебя давно уж своим считает.

Шумно вошли в горницу молодые Булатовы, прервав откровенную беседу отца и дочери. Игнат не спал до зари: ворочался, кряхтел, дымил самосадом.

Вставал утром Булатов с помятым, как с тяжёлого похмелья, лицом, снимал с себя рубаху и так шёл за огород к колодцу. Он черпал ведро ледяной воды, плескал её на себя, и его могучее, мускулистое тело дымило паром, горело калёным железом. Неторопливо отирая на ходу полотенцем грудь, Булатов шёл на кухню, где суежилась с горшками Марфа, молча брал крынку тёплого парного молока, ломал большую краюху хлеба. Однако ел он теперь неохотно, бывая любовь к обильной еде покинула его.

«Да и к чему, — говорил он себе, — всё одно без дела маяться, сила твоя, Игнат, никому не нужна». Потом он снова садился к окну и смотрел на улицу, как медленно и беспокойно, словно его мысли, в воздухе кружились снежинки. Всё, что делали перед его глазами люди, казалось, делали медленно и неловко, не так, как мог бы сделать он, Игнат Булатов.

В один из вечеров, когда семья была в сборе, в горницу вошёл подросток. Он широко улыбнулся Игнату и приветливо поздоровался.

— Доброго здоровья, Игнат Тимофеевич.

— Здравствуй, здравствуй, сынок.

Заметив удивление на лице хозяина, гость пояснил:

— Вы-то меня не знаете, забыли, наверное. А я вас сразу признал. Помните, в поле навоз разгружали вместе. Вы ещё поучали меня: — «Клади, — говорите, — плотнее, не то перемерзнет, пользы с него не будет».

— А-а-а! Ну, теперь вспомнил...

— Я, дядя Игнат, пришёл вашим сказать, чтоб на собрание шли, не опаздывали.

— Колхозное?

— Да, общее. Насчёт подготовки к севу разговаривать будем.

— Хорошо, передам. Сейчас оденутся и придут.

Мальчик распрощался. Уже на пороге, словно забыв самое важное, обернулся и серьёзно сказал:

— Вы бы тоже приходили. Глядишь, посоветовали бы что толковое. Со стороны ведь всегда виднее.

Игнат усмехнулся.

— Подумаю, может, и загляну на часок. Где собираетесь?

— В клубе, дядя Игнат. Приходите...

— Ты, брат, меня вроде как хозяин зовёшь.

— А как же... Я ведь тоже колхозник.

Подросток с минуту постоял у порога, потом накинул на затылок старую потёртого рыжего меха шапчонку, ещё раз повторил приглашение и скрылся за дверью. Через некоторое время ушли и молодые Булатовы. На кухне осталась Марфа, у окна горницы наедине со своими думами — Игнат.

Вот он встал, как после сна, расправил широкие плечи, потянулся, сжимая

тяжёлые крепкие кулаки. Потом расслабил мышцы и направился было снова к насиженному месту, но вдруг передумал, резко повернулся к вешалке и снял с неё полушубок. Тугие морщинки сбежались к переносице, глаза блеснули решимостью.

Таким его помнили, когда он выходил на кулачки на пару, а то и тройку бойцов, таким видели его в Карелии, когда непомерно тяжёлый камень не поддавался усилиям группы людей, а он, Игнат, подходил и чуть насмешливо, с горделивым превосходством бросал:

— А ну разойдись, дохлые, дай я один попробую...

Таким решительным и строгим привыкла видеть отца Феня, когда он вступил в спор с не приглянувшимся ему человеком. Выйдя на крыльцо, Игнат остановился, жадно, как очнувшийся после удушья человек, глотнул сухой морозный воздух, взглянул вдаль. Между темными космами облаков проглядывало звёздное небо. Звезды сияли лесными светляками, то ярко, то тускло, то вовсе скрываясь. Холодный, негреющий свет их нет достигал земли и таял в вечернем небе. На дорогу из окон домов, пересекая друг друга, падали желтовато-бледные полосы света. Где-то в переулке нудно и жалобно, как по покойнику, выла собака.

В родном селе, куда так долго рвался Игнат Булатов, он вдруг почувствовал себя чужим, никому не нужным пришельцем. Было ему уже за шестьдесят, но он не ощущал в себе тяжести возраста, всё думал, что жизнь его впереди, что он, в сущности, только готовится вступить на её порог. Нищая молодость, работа на чужого человека, робкая болезненная жена, затем, наконец, свой клочок земли, дом, хозяйство. Он получил его заслуженно: что делали двое — он делал один. За двоих он и должен был брать от жизни.

И что ж удивительного, если его дом был просторней и краше, чем у других мужиков, что его Карий обгонял рысаков купца Самойлова, а дети ни разу не наседали лаптей?

Когда по селу ходила группа активистов и потрошила кулацкие гнёзда, кое-кто показывал на его дом. Сколько разов видел в те годы на себе злобные взгляды, слышал несправедливые речи:

— Этот тоже от кулака не ушёл, тряхнуть его надо.

Только Фёдор Сергеевич горячо защищал Булатова.

— Игната трогать не смеем, — повелительно внушал он, — хозяйство своим горбом наживал...

И его, бывшего учителя приходской школы, первейшего вожака раздоленской бедноты, беспрекословно слушались самые буйные головы.

Но потом Фёдор Степанович разочаровался в своём товарище. Булатов не пошёл с ним в ногу, не поддержал в тяжёлые дни, мало того, мешал тому большому полезному делу, которому посвятил себя бывший учитель.

Игнат и сам понял это позднее. И не потому бросил родное село, дом и хозяйство, отдал в колхоз землю, что боялся погибнуть, а потому, что стыдно стало других, стыдно своего товарища, стыдно самого себя. Годы не выветрили укора совести, он жил с ним неразлучно.

Но разве он не понёс заслуженной кары? Разве мало повидал он насмешливых взглядов, маялся на чужбине, томился без любимого дела? Разве не в наказание ему оттолкнулись от него сыновья, и он стал чужим в собственном доме?

...Большой колхозный клуб манит огнями. Игнат никогда ещё не был внутри этого каменного сельского дворца, хотя его, словно любознательного мальчишку, не раз тянуло туда. «Зайти или не зайти? Зачем? Что ты забыл там, Игнат?» Но рука уже тянулась к скобе. Игнат медленно открыл тяжёлую дверь. Яркий

свет ударил в глаза, многолюдье выбило из колеи мысли. Но возвращаться было поздно.

При входе Булатова большинство сидящих в клубе оглянулись и удивлённо зашептались. На сцене за покрытым кумачовым полотнищем столом стоял Фёдор Сергеевич. Он тоже заметил Игната, но не выразил удивления. Только глаза, глубоко запавшие и холодные, зеленоватые, как июльская вода на пруду, чуть потеплели, да в речи проскользнула невольная запинка.

Игнат остановился у двери. Статная фигура его не горбилась, взгляд голубых глаз был по-прежнему остр, лицо оставалось спокойным. Он видел всё: нескрываемое любопытство одних, холодную отчуждённость других, открытую неприязнь третьих. Ещё и ещё окинул он взглядом лица односельчан и только в одних глазах заметил радостный блеск и поддержку. То были глаза его Фени.

С крайней скамейки вскочил мальчик-подросток и быстро подбежал к Игнату.

— Дядя Игнат, — приветливо проговорил он, — проходите сюда, садитесь.

— А ты что же, стоять как наказанный будешь? — оглядывая переполненный зал, спросил он.

— Мне подрасти надо, вас догнать...

— Спасибо, сынок. Старших уважать научен.

Игнат степенно сел на край скамейки, снял треух. Подросток стал с ним рядом.

— Работы на плотине придётся отставить, — говорил между тем председатель. — Весна на носу, а у нас ещё не подготовлены семена, не подвезён лошадям корм, не отремонтирован инвентарь, сбруя, телеги...

Выступали колхозники. Потом Фёдор Сергеевич спросил:

— Кто ещё хочет выступить?

— Выступи, дядя Игнат, скажи им, — шептал подросток Игнату.

— Я здесь, сынок, вроде как мусор. Меня того и гляди метлой выметут.

— Не бойся. Я тогда всем расскажу, как ты колхозу нашему помогал. Скажи им насчёт плотины...

— Сказать-то, верно, и есть о чем. Другой раз научу — сам им глаза откроешь.

Подросток вдруг весь подался вперёд и поднял руку. Фёдор Сергеевич чуть заметно улыбнулся.

— Хочешь чего спросить, Фима?

— Фёдор Сергеевич, — краснея и заикаясь, промолвил Фима, — дяде Игнату слово сказать позволите?

— Игнату Булатову? — председатель вопросительно окинул взглядом сидящих за столом членов правления. Один из них, седоволосый, с бородкой клинышком старичок, утвердительно кивнул головой.

Фёдор Сергеевич громко сказал:

— Слово имеет крестьянин Игнат Булатов.

«Вот и женили меня без спроса», — ухмыльнулся Игнат и поднялся с места.

Разглаживая бороду, он вышел вперёд и, не поднимаясь на сцену, повернулся к народу. Небывалое прежде волнение охватило его. Игнат хотел сказать о плотине, о том, что люди работают там плохо, с ленцой, больше болтают да курят. Но начал совсем о другом, о давно наболевшем...

— Я, как говорят, земляки, пришёл к вам с повинной. Судите как знаете — по совести. Помню те давние дни, когда Фёдор в коммуны нас сватал. Те, что лег-

ки на подъем, котомку за плечи — и следом за ним, не раздумывая; кто потяжелше, куражились. Тяжелее меня не нашлось — не верил я в вашу затею. Видел, как маялись поначалу, пупы надрывали. Нет, чтоб помочь, я над вами смеялся.

Смех в неудаче — всё одно, что палка в колёсах. Такой палкой и был я в те годы — тормозил я колхозный строй, подрывал его на самом корню. Глядячи на меня, не шли к вам и другие крепкие на селе мужики. Иные так же, как я, с ехидством смотрели на ваши шаги, иные открыто вредили колхозу, пускали по селу красного петуха, травили скот, трепали про вас всякие небылицы.

То было давно. Больше десятка лет минуло с той поры. Надо ли вспоминать о старом?

Игнат взглянул на застывшие внимательные лица колхозников, отодвинул со лба тяжёлый завиток волос.

— Давай дальше! — крикнул чей-то тонкий с хрипотцой голос. — Не перед попом исповедуешься. От нас не укроешь!

Булатов узнал голос соседа Якимки Непутёвого. На миг вспыхнула и сразу же погасла неприязнь к этому всегда нелюбимому человеку.

— Верно говоришь, Яким, не перед попом, не перед тобой, перед народом каюсь. К народу и на поклон пришёл. Не таюсь, стосковался. Пробовал уйти, скрыться подале, искал по свету уголочка приветного. Не приглянулось мне на других местах, хотя и нужды не видел и ценили меня, как работного. Не люблю мне на чужой стороне, не по сердцу. Прогоните — уйду, куда глаз глянет, оставите у себя — жалковать не станете.

Игнат хотел ещё что-то сказать, но смутился, стиснул треух и направился было к месту.

— Погоди, Булатов! — остановил его поднявшийся с места невысокий с рябоватым лицом колхозник Никита Буйвал. — Что же ты не рассказал, как с кулаками за председателем охотился? Али запоматывал, как у богача Ладыгина обрезы готовили, на советскую власть покушались?

Глаза Игната потемнели, губы сжались, и весь он как-то поблёк и осунулся.

— Врёшь, Буйвал. С обрезом я не ходил, на Фёдора зла не имею.

— Хитёр ты, Булатов. С кулаками заодно шёл, а потом, когда хватать их начали, в кусты улизнул. Исусом прикинулся.

— С Ладыгиным, верно, в ладах жил, — понурился Игнат, — он мне помехою не был. А про кусты ты напрасно. На виду жил, перед селом не скрывался.

Никогда ни перед кем в жизни не склонялся Игнат. Но теперь он стоял перед народом, опустив голову, не зная, уйти ли ему из клуба, сесть ли на скамейку, или ждать ещё от людей несправедливых пощёчин-слов.

Из середины зала метнулась чья-то фигура, и Булатов увидел дочь, торопливо идущую к сцене.

«Дочка, зачем же? Какая утеха? Капля дождя в засуху».

— Фёдор Сергеевич, дайте мне слово!

— Говори, Феня.

— Папаня, ты сядь, — улыбнулась Феня отцу, — послушай.

Игнат приподнял голову и, глядя куда-то в угол, поверх лиц колхозников, зашагал в конец зала. Проворный Фима ухватил его за руку.

— Садитесь, дядя Игнат.

Феня откинула на плечи пуховую шаль, бросила в зал решительный взгляд, но тут же, словно увидев надвигающийся шквал, прикрыла глаза. Высокая сильная грудь её забилась под сиреневой кофточкой в частом дыхании.

Феня поняла, что сейчас, вот в этот холодный морозный вечер, решается участь её отца и вся его трудная, большая, непонятная, запутанная, как звериная тропа в лесу, жизнь поставлена на суд сельчан. Люди, перед которыми Игнат считал себя богатырём, приобрели сейчас огромную власть над его судьбой: в их воле принять непочтительного сына в свою семью либо оттолкнуть от себя, указать на дверь.

— Простите... Я за папаню, — сдавленно промолвила Феня, — обидно мне. Суд не на совесть идёт. Не такой мой папаня, как дядя Никит его вам выставляет. Да-да, не такой, зря ухмыляетесь, Никит Савватеевич!

— Холостой ход, товарищ защитник, факты выкладывай! — грубо оборвал Феню Никита Буйвал.

Фёдор Сергеевич дробно застучал карандашом по столу.

— Помолчи, Никит, слушай!

Феня растерянно склонила голову, пряча дрожащий подбородок в белый пух шали. Мысли путались в её голове, на язык рвались бессвязные фразы.

— Я не защитник... Как бы складнее, понятнее. Не виноват мой папаня, понятно...

— погоди, Фенечка, погоди! — послышался в зале крик, и к сцене поспешно прошёл человек в измятой засаленной шляпе — колхозный ветеринар Пахом Серёдкин.

— Негоже тебе за отца заступаться — кровь-то одна, не поверят, — строго проговорил он, усаживая Феню между потеснившимися на первой скамейке колхозницами.

— Мне, земляки, вера есть? — вызывающе глянул Пахом в зал.

— С тобою брехня вроде бы не дружилась, — оборвал напряжённую тишину голос Буйвала, — говори!

— Я про Булатова...

Игнат оторвал от рук склонённую голову.

— Не смей! Я не звал, ходатаев не надо мне!

— Для пользы, Игнат, для дела...

— Негоже, Пахом, как паскудной бабёнке подолом грязным, трепать. Где обещанное?

— Не ершишь, Игнат, говорю, надо, стало быть, время пришло.

Пахом примял сухой ладонью белые, как куржак, пушистые волосы.

— Помните, мужики, слух по Раздолью ходил: Булатова на охоте подрали. Слух тот, конечно, наносный, Игната вместо волка не случайно, а с умыслом кулаки скараулили.

А дело-то было так. Фенютка должна ещё помнить.

Метель в тот вечер была, темь такая, хоть глаз коли. Сидит Игнат у себя в избе, лошадок с дочкой на осьмушке бумаги выводит. Та всем коням хвосты зелёным карандашом пораскрасила, я всё смеялся, потому нешто такое бывает? А она мне на полном серьёзе, как взрослая: «Зелень весной появляется, а весной хорошо, нравится». Сыновья у Игната с обозом ушли, тётка на печи спит, пушками не разбудишь.

Сидят, стало быть, рисуют. Звяк щеколда в сенях, ещё разок звяк, человек в горницу завалился. Шапка из лисьих хвостов, шуба добротным сукном крыта. Узнаете, кто? Кроме младенцев, все на селе Ладыгина знали. Он и был, мужики. Стал Ладыгин Игната «на дело» звать, на местную власть подбивать, уговаривать. Игнат головою мотает. «Зря, — говорит, — ты, Сысой, на своих злобишься да ещё меня натравливаешь».

Ладыгин вскипел, хватъ из-под поддёвки обрез — да в грудь Игнату. Не мне говорить, Булатова знаете, стреляный, испугаешь не враз. Дочку по голове гладит, а Ладыгину, будто мальчонку: «Убери пушку свою, мне на неё начхать, а дите напугал, видишь?» Потом проводил гостя до двери, посоветовал мотать из Раздолья. «Свору свою прихватывай, — заявил, — не то худо для них обернётся». А коли кто на Фёдора руку подымет (на тебя, председатель), обещал удавить самолично.

Ладыгин ушёл, а Игнат Фенютку в постель, полушубок на плечи — и следом. Фенютка не спит, известно, дите, испугалась, тётку зовёт. Марфа с лежанки спустилась, ей сказку про Иванушку-дурачка завела, знаю я Марфу, кроме этой сказки, другой не знавала. Расскажет разок, спрашивает: «Спишь, Фенютка?» А та глазками хлоп, хлоп и опять: «Расскажи ещё, тётя». Так ей Марфа одно и то же, как «на колу мочало», твердила раз пять, пока не явился Игнат. Пришёл он злой, взлохмаченный, без шапки.

Марфа, понятно, косится. «Ишь, — ворчит, — родимый наш до соплей нагулялся, как голову вместе с шапкой в снегу не оставил».

Игнат изругался: «Сволочи! С кем тягаться задумали, я их голыми руками всех взял». Всех, конечно, не всех, а запевалов, верно, тряхнул как положено.

Пахом кашлянул в кулак, покосился на Буйвала.

— Никита, ты будто бы был, когда Острожку прудили под мельницу, два обреза из тины вытащили.

— Ну был, видел, что из того?

— Игната работа, он те обрезы в тот день у ладыгинской своры отнял и в прорубь закинул. А знаешь, как обхитрил? Этого, кроме меня, здесь, пожалуй, никто и не знает.

— Да ты-то что, али за пазухой у Булатова был? — подмигнул соседу Буйвал.

— Погоди, дойдёт черед. Он их по углам возле Фёдоровой усадьбы расставил да по одному и расправился. Фёдора-то Сергеевича и дома-то не было, в город с утра укатил, ну, а Игнат на обман пошёл. Здесь, говорит, своими глазами видал... Хари им всем испоганил да ещё припугнул: в Совет, говорит, иду, людей вызывать. Зайцами разбежались. Тётка Марфа, известно, баба пугливая, завопила: «С кем связался, Игнатушка, подкараулят, изверги, покалечат».

Думаете, ему и сошло всё гладко? Как бы не так. Из-под угла они храбрёцы нападать. Неделью спустя, когда на селе уже ни одного кулака не осталось, в Игната стреляли в Троицком. Приехал он с ярмарки бледный весь, но на ногах ещё держится крепко. Марфа с Фенюткой аккуратно за столом вечерят. Он рубаху-то снял, а она как есть вся кровью пропитана. На плечо показывает: «Найди, — говорит, — Марфа, тряпицу, обмой».

Дура баба к ране золы приложила, нарыв пошёл, в жар, в беспамятство бросило. Худо стало Игнату, Фенюшка за мной прискакала. Маленько напомним, молодые не знают, я в те годы по совместительству два поста занимал: где коновал, а где фельдшер. В бреду Игнат многое выболтнул. Потом я ему напрямки: не таись, знаю, рассказывай.

Ну, рассказал, как перед гробом, во всех малых подробностях. Не хотел, вишь ты, чтобы думали о нём, будто грехи перед колхозом замаливает. Просил не трепать... Я и отмалчивался. Привычка такая, врать не могу, лучше язык на прикол. Ну, а сейчас не стерпел, против воли язык повернулся. А ты брось-ка, Игнат, дутишем пыжиться. Я ведь для пользы.

Пахом кинул на Булатова чуть виноватый взгляд.

— Игнат, может, кто не поверит мне, скинь полушубок, покажи им плечо, здесь ведь свои все, скидай.

— Лишнее, — смутился Игнат.

— Ну, ежели так, за Марфой пошлите. Та старуха набожная, знаю, в жизни ни перед кем не лукавила. Пусть она скажет.

Из-за стола поднялся Фёдор Сергеевич.

— Верно говорит Игнат, всё это лишнее. Булатов не чужой — наш он, до мозга костей наш. Вы как хотите, товарищи, а я в него верю.

Из эвакуации

Главы из повести «Ещё не кончилась война»

7

Говорят, скоро Челябинск. Мы проехали Курган и остановились в Чурилове. Кажется, надолго. Стоим час, стоим два, как вкопанные. Тишина, будто мы не в дороге, а дома. Не слышно привычного постукивания молотков по колёсам. Не хлопают крышки букс, как обычно, когда подливают масло.

Всем до чёртиков надоело ехать. Надоело лежать на нарах. И всё же мы лежим. Потому что соскакивать на частых остановках тоже надоело.

Все молчат. Павло иногда трогает струны гитары. Она тяжело вздыхает, словно жалуется на жару и скуку. А жара неимоверная. Хотя бы небольшой дождик пошёл. Мы всё время убегаем от дождя. Позади нас, на горизонте, не раз уже собирались тучи, похожие на охапки весеннего, потемневшего снега. Нам вдогонку гремело, стрелы молнии обгоняли нас, зигзагами перегораживали путь. А дождь так и не мог догнать.

— Дети, — слышится скрипучий голос бабы Груни. — Шо вы тут паритесь? Принесли бы холодной воды.

— Действительно, — подаёт голос мама. — Сходи, Витя.

Под солнцем ещё хуже, чем в вагоне, но делать нечего, надо идти. Беру наше ведро. Оно совсем пустое.

— Захвати второе, — подаёт голос Павло. — Помогу.

Он натягивает гимнастёрку. Я не жду. Подхватываю второе ведро с остатками воды и спускаюсь вниз. Как всегда, мы стоим не на первом пути. Чтобы добраться до станции, надо несколько раз нырнуть под вагон. Мигом, гремя ведрами: вдруг поезд тронется.

Павло догоняет меня у самой колонки, когда тугая струя холодной воды ударяет в звонкое дно ведра. <...>

Он идёт впереди, припадая на раненую ногу. Вода в ведре с каждым его шагом вздрагивает, льётся через край и быстрыми струйками смывает пыль с голенищ сапога. Павло несёт ведро, как пустой портфель, нисколько, наверное, не чувствуя тяжести.

Красовский Леонид Станиславович, прозаик (1930, Кривой Рог — 1983, Иркутск). Автор книг: *Ровесники*: повесть (Иркутск, 1959); *Кусочек солнца*: рассказы (Иркутск, 1961); *Лохматый подарок*: рассказы (М., 1963); *Жаркие страны*: Б-ка одного рассказа (Иркутск, 1964); *Ещё не кончилась война*: повесть (Иркутск, 1968); *Возвращение солнца*: приключ. повести-сказки (Иркутск, 1974); *Жмуровка в осаде*: повесть (Иркутск, 1971); *Клад Баира*: фантастика и приключения (Иркутск, 1976). Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

Сгибаться под вагонами ему неловко. Всё же ведро с водой — не портфель, под мышку не возьмёшь. Я вижу, как он неуклюже отставляет в сторону большую ногу. Кряхтя, боком пролазит под вагоном.

Так повторяется несколько раз.

— Давай ведро, буду переносить, — говорю я, но мой голос тонет в рёве паровозного гудка. <...>

Ещё один поезд на нашем пути. Павло прогибается, переносит ногу через рельс. И в эту секунду судорожно вздрагивает вагон. Звонко лязгают буфера. В руке Павла подпрыгивает ведро и отлетает в сторону. Я вижу, как круглый бак, что под вагоном, ударяет Павла в спину. Павло вскрикивает и падает ничком. Чёрное маслянистое колесо накатывается на него... Что-то хрустнуло под колесом.

Оторопев от неожиданности, я с оцепенелой осторожностью опускаю на землю ведро и смотрю по сторонам. Хочу позвать кого-нибудь на помощь, но вокруг ни души. Не могу смотреть туда, под колеса, которые уже начали выстукивать всё быстрее и быстрее: «та-тата-та-тата...». Тошнота подступает к горлу. Я отворачиваюсь, медленно опускаюсь на землю и закрываю глаза.

Позади — «та-тата-та-тата...». И вдруг — человеческий голос. Громкий, но неразборчивый. Я соскакиваю, оборачиваюсь. Павло лежит там, под поездом, набирающим скорость. Лежит неподвижно. Но это его голос. Не поднимая головы, он яростно ругается. Остервенело, в бога и мать.

Что же ему сделало чёрное маслянистое колесо? Вижу руки и ноги. На спине, на зелени гимнастёрки, выделяется светлое пятно. Что это? Пятно кажется мне то красным, то белым. Кровь?

Колеса завертелись, завертелись... «тата-тата-тата...». И смолкли. Сообразив, что передо мной больше не мелькают колеса, что поезд прошёл, я кидаюсь к Павлу.

— Вставай!

Он молчит.

— Вставай! — кричу я громче, хватая его за плечо.

Он медленно отрывает лицо от грязных шпал, смотрит по сторонам, останавливает взгляд на мне. Тяжело поднимается, проводит ладонями по груди, переступает с ноги на ногу. Расслабленной походкой подходит к моему ведру, берет его за бока и подносит ко рту, как чашку. Руки его дрожат, вода заливает грудь.

Но ведь колесо накатывалось... Что-то хрустнуло под ним. Как же так? Оглядываясь и вижу на рельсе ведро. То, что от него осталось: сплюснутую жестянку.

Павло неловко свёртывает «козью ножку», рассыпая махорку. Протягивает мне кисет. Я качаю головой.

— Пошли тогда, — говорит он и поднимает изуродованное ведро. — Для отчёта надо взять. Не поверит старуха.

И снова мы ныряем под вагоны. Сначала я, потом Павло. Теперь он не отставляет ногу, а прыгает, будто кидается в воду.

Ещё раз, последний. За этим поездом — наш. Он приметный, этот поезд. Весь из платформ. А на платформах уголь, густо политый известью, чтобы заметно было, если кто позарится на драгоценный груз. Мы пришли. Мы останавливаемся и смотрим друг на друга: нашего эшелона нет. <...>

— Отстали, — невесело хмыкает Павло, пощипывая щёточку усов. — Только этого не хватало.

— Отстали, — повторяю я с ужасом. — Что теперь делать? У нас же ничего с собой нет.

— Как ничего, — смеётся Павло. — Полное ведро воды... Да, придётся к военному коменданту идти.

Он снова становится самим собой, не унывающим, верящим, что найдёт выход из любого положения. <...>

Комендант, пожилой капитан с лиловыми мешками под глазами, долго читает документы Павла и мои военкоматские бумаги. Поглядывает то на него, то на меня. Долго слушает рассказ Павла о том, как мы пошли по воду и отстали от своего эшелона. Я простодушно добавляю:

— Он же под поезд попал. Хорошо, что живой остался.

— Под поезд? — капитан недоверчиво улыбается. — Как это, лейтенант?

Павло смотрит на меня укоризненно, но охотно рассказывает. Капитан смеётся и ахает. Под конец, совсем подобрев, выписывает талоны на обед.

— Пункт питания рядом, сразу за станцией, — говорит он. — Торопиться вам некуда. Вот-вот прибудет воинский, но вас на него вряд ли возьмут. Через полчаса пойдёт эшелон с углём. Им и уедете.

В стороне, у окна, всё это время молча сидит ещё один капитан, помоложе коменданта. Мне кажется, что он внимательно присматривается к Павлу и порывается что-то сказать. Уже в дверях нас настигает его голос.

— Одну минутку, лейтенант...

Павло останавливается, медленно, но чётко, оборачивается.

— Слушаюсь, товарищ капитан.

— Ваше лицо мне знакомо. Особенно эти... усики. Но где встречал вас, убей — не помню. Вы под Синельниково не были?

Павло улыбается, отрицательно качает головой.

— Нет, я был под Харьковом. Разрешите идти?

— Да, конечно.

Павло козыряет и выходит. Я — за ним.

Как же так? Тогда, в вагоне, Павло рассказывал Тамаре, как его ранило. Он же сам говорил, что было это под Синельниково. Или мне показалось? А если не показалось, кому он соврал? Тамаре или капитану? И зачем ему врать?

— Слушай, Павло, — говорю я. — А тебе капитан не показался знакомым?

Павло несколько секунд с интересом смотрит на меня и говорит:

— Показался.

— Так почему ж ты...

— Вот что, — перебивает он. — Если я с каждым встречным начну болтать да вспоминать всякие героические эпизоды, то мы с тобой догоним своих месяца через два дома на печи. Понял? Сейчас подойдёт воинский. Черта с два мы будем ждать углярку! <...>

Воинский подкатывает по первому пути. Это значит, что долго стоять не будет. <...>

По ступенькам лестницы из вагона спускается круглолицый заспанный майор. Крепко потягивается, вскидывая короткие толстые руки. Увидев козырнувшего ему Павла, строго жмурится, говорит сиплым, раздражённым голосом:

— Чего ты? Без погон можешь и не чесать за ухом. Отвоевался? — он тычет пальцем в жёлтую и красную нашивки на груди Павла.

— Так точно, отвоевался. Два ранения, — отвечает Павло.

— Ну и что? Пропился и ехать домой не на что?

— Никак нет. Отстали от эшелона. То есть я и вот со мной мальчишка.

— Ну и что? Хочешь, чтоб я вас взял?

— Так точно.

— Не положено. <...>

Они долго молчат. Я от нечего делать рассматриваю плакаты. «На запад!» — наш солдат прикладом сшибает стрелку с надписью «Nach Osten!». Правильно делает! «Бей насмерть!» — солдат у пулемёта. «Пусть на фронте будет воин за свою семью спокоен...».

— Ладно, — говорит майор. — Тебя я возьму, если документы в порядке. <...>

— Но только тебя одного. Гражданское население брать не могу. Строго запрещено.

Что? До меня доходит смысл этих слов, я кидаюсь к майору.

— А как же я?

— Не маленький, — кричит майор. — Догонишь другим. Не могу я, молодой человек. Не могу. <...>

— Павло, — говорю я, — что ж ты молчишь?

Он заложил руки за спину, смотрит на меня вприщур, будто знает что-то, но не хочет сказать. В глазах нет «грифелей», одна круглая пустота.

— Павло, попроси майора за меня.

— Это бесполезно. Он человек военный, обязан выполнять приказы. <...>

Я иду прочь, гремя ведром, проклиная себя и Павла.

Ныряю под воинский вагон, нагибаюсь под следующий, решив сразу же добраться до платформ с углём. Отчаянная мысль останавливает меня. Рядом тамбур воинского. И никто не видит меня на этой стороне. Взлетаю по ступенькам, сажусь на пол, свёртываюсь, насколько могу, в комок. Ах, как бы я хотел иметь в эту минуту шапку-невидимку! <...>

Кто-то трясёт меня за плечо. Пропал! Нет, это вагон дёрнулся. Облупленное станционное здание поплыло назад. На перроне стоит комендант. Увидев меня, он бежит за поездом, размахивая руками и крича. Страшно хочется показать ему нос. Поезд уже не остановить. <...>

8

В Челябинске сразу узнаю наш эшелон, платформы со станками и один вагон. Воинский не успевает остановиться, как я соскакиваю на землю.

Первой меня видит мама. Она беспокойно выглядывает в дверь и, заметив меня, кричит, обернувшись в вагон:

— Витя идёт!

Ей хочется обнять меня, я чувствую, но это ни к чему. Не маленький. Поднимаюсь в вагон, ставлю на пол пустое ведро, осматриваюсь. Высовывается острокносое лицо бабы Груни. Она смотрит тревожно.

— Павлуша ж где?

— А карты что вам говорят? — я улыбаюсь, но, кажется, улыбка получилась кривая, неестественная.

— За смертью вас только посылать, — сердится она. Рядом со мной встаёт Тамара, смотрит требовательно.

— Где он?

— Явится сейчас, утрите слёзы. <...>

Забираюсь на своё место. Отец улыбается, глядя исподлобья, будто даже виновато.

— Ну, рассказывай. Зря тебя, конечно, послали.

Начал я, да замолчал: в вагоне появился Павло, руки раскинул, хохочет. Тамару обнимает.

— Здоровеньки булы! Вот и я. Ну, напугались?

— Ещё как, — говорит Тамара.

— Вот история! — Павло вдруг вспоминает: — А почему про Виктора не спрашиваете? Ничего с ним не случилось. Он другим поездом едет, вот-вот будет.

Баба Груня стучит пальцем по нашим нарам.

— Уже приехал. Раньше тебя.

Не веря этому, Павло заглядывает наверх, смотрит на меня растерянно и быстро ныряет вниз.

— Да, — слышу его голос, — история. А ведь я мог и не догнать вас. Как подумаю: пули за мной гонялись — не догнали, а тут, в тылу, опять перед глазами костлявая появилась. Коса шею холодком обдала... Воды мы с Витькой уже набрали, пошли обратно...

Все в вагоне примолкли, слушают. Мне теперь и рассказывать незачем. А слушать не хочется. Всё известно. Если Павло что и приврёт — черт с ним. Его не поймёшь, зачем он иногда врёт. <...>

Вот, пожалуйста, о капитане — ни слова. Хоть бы сказал, где видел его.

Вот, вот оказывается, мы ехали вместе, а майор просто не брал меня в вагон, но разрешил ехать в тамбуре. Ну и выдумщик!

Мама со вздохом поднимается наверх.

— Что, путешественник, есть хочешь?

— Ещё как! — признаюсь я.

— А у нас сегодня консерва. Рыба какая-то в собственном соку. Банка большая-большая! На, открывай.

Банка, действительно, огромная. Со смешно выпученными днищами. Без этикетки, с налётом ржавчины на боках.

— Не банка, а буржуй какой-то, — ворчу я, приставляя острие отцовского перочинника к железному «животу».

«Буржуй» всхлипывает, и тонкая мутная струя ударяет мне в лицо. Задохнувшись от нестерпимой вони, я роняю нож, хватаю первую попавшуюся тряпку, чтобы протереть глаза.

— Что с тобой? — мама испуганно глядит на меня, потом на банку и зажимает пальцами нос.

Отец с остервенением сплёвывает в окно.

— Порченная. Вот же гады, держали где-то всю войну, а теперь спекулируют.

Мамины глаза наполняются слезами.

— Как же так можно! Я ей шаль отдала, совсем новую шаль, а она мне — порченную консерву... Что ж вы сегодня есть будете?

— А ты что? — невесело улыбается отец. <...>

— Открывай, Витя, дальше.

— Зачем? — удивляюсь я. — За окно её...

— Открывай.

Ничего не понимая, вырезаю весь железный «живот».

— Вылей за окно рассол. Осторожно, юшку только вылей.

— Выливаю.

— Принеси воды.

Мама почти доверху заполняет банку водой и укутывает чистым полотенцем.

— На остановке сразу разведём костёр.

— Что ты придумала? — ворчит отец.

Мама вздыхает.

— Молчи уж. Что-то надо же придумывать.

Я лежу и слышу разговор Тамары с Павлом.

— Мария Яковлевна отдала за эту консерву шаль, — говорит она. — Давай дадим им мяса. Хоть немного.

— Что? — голос у Павла удивлённый.

— У нас вон сколько...

— Сколько?! Самим не хватит. Не рассчитывал на троих. — Он смеётся деланно, несмело. — А у тебя ещё после блокады аппетит, как у доброго солдата.

Мои уши загораются. Я хватаю их ладонями, зажимаю, чтобы не слышать этого разговора. Прикусываю губы, потому что мне хочется крикнуть в щель: «Не надо нам, подавись!». Потом откатываюсь от стены и с остервенением затыкаю щель одеялом.

Вот и остановка. Необъяснимая, как и многие прежние наши остановки. Встал паровоз — и всё. Я быстро собираю хворост и развожу костёр. Мама ставит на него банку. Отец неподвижно сидит на корточках и смотрит в огонь, посасывая сигарку.

К нам подходит Тамара. Она вытаскивает из-под полы жакета что-то завернутое в бумагу и протягивает маме.

— Мария Яковлевна, возьмите.

— Что это? — удивляется мама.

— Мясо. Павло дал.

Мама отстраняется.

— Нет, нет. Спасибо, Тамара, не надо.

— Возьмите, — Тамара смотрит умоляюще.

Отец швыряет окурок в костёр и отходит к вагону. Мама качает головой, наклоняется над банкой. Тамара поворачивается ко мне.

— Ну, что же вы... Витя, возьми. Думаешь, я забыла, как ты мне сухари... Ну, не будь Гусаром!

Мне хочется снова схватить себя за уши. Вместо этого я смотрю в землю и говорю:

— Сухари были наши, не чужие. А это мясо... Не обижайся, Тамара — не возьми. Как-нибудь обойдёмся. У нас не солдатский аппетит.

Она ойкает и опрометью бежит к вагону. Мама, увидев это, замахивается на меня ложкой.

— Ты злой, Виктор. Зачем ты так? Думаешь, я в вагоне ничего не слышала?

— Надо быть злым, — отвечаю я упрямо.

— Дурак. — Она задумчиво смотрит куда-то вперёд. — А может, правда: сейчас надо быть кому-то добрым, кому-то злым. Сейчас нельзя быть никаким. <...>

Как-то навыворот получается. Но разве я виноват? У меня нет охоты ссориться ни с Павлом, ни с Тamarой. Всё это получается помимо моей воли, но, чувствую, иначе и быть не может. Видно, такой уж у меня неуживчивый характер.

Банка с горячим варевом стоит у окна, на кастрюле, перевёрнутой вверх дном. Отец поглядывает на неё искоса, неодобрительно.

— Неужели ты думаешь, — говорит он маме, — что можно есть эту отраву?

— Думаю, можно, — спокойно отвечает мама. — Да ты не бойся раньше времени.

Она берет ложку и начинает есть.

— Мать! — отец почти кричит. — Перестань!

Она устало поднимает на него запавшие глаза. Укоряюще говорит, медленно растягивая слова.

— Ну, чего тебе? Чего?.. Молчи, Степан, я попробую. Если ничего со мной не будет — потом вы.

Он плотно сжимает губы и неотрывно смотрит на маму. Она продолжает есть. Отец, кажется, растерялся и не знает, что сказать, что сделать. Что же он? Схватил бы эту банку — и в окно её. Что же он? Значит, я должен это сделать.

Я протягиваю руку. И натыкаюсь на ложку, которую мама уже отложила. Выбрасывать банку поздно. Я её выброшу, а мама отравится. Будто кто-то толкнул меня в спину. Я хватаю ложку и ем из банки. Ем торопливо, проливая на постель пахучее и страшное варево. Ем, боясь, что отец сейчас выхватит банку и швырнёт в окно.

Он неопределённо кряхтит и тоже берёт ложку.

9

Ночь не принесла прохлады. Рассвет только проклюнулся, а от стенки вагона уже несёт жаром. Наверное, в вагоне никто не спит. Слышно, как ворочаются, тяжело вздыхают отец и мама. Павло бренчит на гитаре незнакомый, расплывчатый мотив и напевает вполголоса:

Ах, любовь, ты любовь!
Это ж страшные муки.
Разыгралась кровь,
К тебе тянутся руки...

Почему-то никогда мы не говорим о том, что ждёт нас впереди. Мы не знаем даже, к чему приедем. Может, к голому месту. Наверное, все боятся об этом говорить. Все думают, но боятся говорить о том, что думают. Значит, не о весёлом. Мне кажется, и Павлу невесело. Хотя и поёт он:

Ах, тебя обниму,
Задохнусь я от страсти.
Никому, никому
Не отдам своё счастье.

Непонятный он человек. А счастья хочется всем. Пусть и у него будет. Не жалко.

Лев Кукуев

Иркутские однокашники

Из книги «Полевая сумка»

Кто учился в тридцатые годы в 4-й иркутской школе, тот знал Галину Попову. Стройная, белокурая, она была старшей пионервожатой, преподавала русский язык и литературу.

А я дружил с её братом Сашкой. И была у нас в те времена неразлучная компания: Саша Попов, Гриша Мельник, Иосиф Бройд, Володя Осипов и я. У каждого свой характер, разные способности к наукам, но это не мешало нашей дружбе. Всех нас роднила ещё и любовь к волейболу. Хотя для полной команды игрока у нас не хватало, мы сражались с любой командой сверстников в городе. И чаще одерживали победы, чем терпели поражения.

Успехами мы были обязаны прежде всего Сашке Попову. Сашка был угловат, сильнее и выше любого из нас. Не помню, кто первым назвал его Колом, но прозвище это за ним утвердилось и, кажется, подходило к нему. При ответственных играх на соревнованиях мы ставили Сашку четвертым номером. И пока он играл у сетки — все работали на него. Он любил низкий пас вдоль верхнего троса... Противник не успевал даже выставить блок, как мяч пушечным ядром приземлялся на его половине.

Мы с Сашкой жили на окраине города. Я — на 2-й Советской, он — в деревянных домах возле Красных казарм. Сейчас нет названий тех улиц, которые были характерны для старого Иркутска. Нет и Собачьего переулка с низкими дощатыми насыпнушками. Раньше никак не минуешь проклятого места, если в город идёшь или из города добираться до казарм. В тридцатые годы в погоне за личным оружием в переулке нередко нападали на военнослужащих... Вот почему, когда Сашка засиживался у меня допоздна и не желал оставаться на ночь, я предлагал ему отличный охотничий нож или трость с набалдашником. Но он показывал мне кулак-булыжник, которым мастерски гасил у сетки мячи, и говорил:

— Обойдусь как-нибудь без ножа...

Сашка первым из нас обзавёлся подругой. Познакомился с ней в Куйбышевском ДК, она занималась в балетном кружке.

Жила Валентина в Рабочем предместье, а мы на Горе. Между «горными» и «рабочими» в клубах, в садах, на танцплощадках, а летом во время купаний

Кукуев Лев Архипович, прозаик (1921, с. Анцирь Канского р-на Красноярского края — 1992, Иркутск). Автор книг: *Медведь-садовник*: сказки (Иркутск, 1958); *Девчонкам и мальчишкам*: рассказы (Иркутск, 1959); *Море в ладонях*: роман (Иркутск, 1969); *Живые и мёртвые*: роман. 3-е изд., дораб. (Иркутск, 1973); *Чудак-человек и Вика*: повесть (Иркутск, 1977); *Эстафета*: роман (Иркутск, 1982); *Полевая сумка*: Воспоминания о войне (Иркутск, 1985) и др. Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

на Ушаковке не утихала вражда. Парни сходились «стенка на стенку», особенно из-за красивых девчат... А Сашка почти каждый день встречался с Валюхой, — так он её называл. Встречался там, где больше всего кипели страсти...

Однажды они были в воскресенье на танцах в Дунькином саду. А назавтра чуть свет приходит ко мне. Вижу, улыбается, что-то замалчивает.

— Наконец-то побили? — говорю ему.

— Чудак-человек! — хватил он ладонью меня по плечу. — С Валюхой до утра целовались.

Мы встретили это как должное, хотя и завидовали Сашке.

Началась война.

Володя и Гриша уже были где-то в Монголии. На Иосифа быстро пришла похоронка, и мы долго не верили в его гибель. Мы с Сашкой в феврале сорок второго окончили инженерное училище, и хотя оказались на фронте в разных частях, оба были недалеко от Москвы. Выпускников инженерного тогда много ушло на фронт, и узнать о товарище можно было без особых хлопот. «Телеграф» училища работал неплохо.

В воинской части Сашка быстро нашёл себе новых друзей. Воевал он как истинный сибиряк. Первым был со своим взводом на минировании и разминировании, разведке, первым взрывал укрепления немцев, форсировал реки...

Раньше нас, однокашников, завёл он и личные счёты с фашистами. Был контужен. Его сестра Галя, наша пионервожатая, тяжело ранена под Москвой.

За Сашкой потянулась в армию Валюха. Может, то была романтика, а может, не могла она иначе, но Валя сбежала от матери, как бегала когда-то к Сашке на свидания. И вскоре погибла.

Александр понял, что не может жить, чтобы не мстить за Валю, за сестру, за поруганную Отчизну. Он забыл, что на фронте нужны осторожность и трезвая голова, а не только горячее сердце.

В широкой долине, одна половина которой была у нас, другая у немцев, господствовал вражеский укреплённый район. Дзоты настильным огнём пулемётов срезали все в поле зрения, как косилки траву. Ни днём ни ночью из окопов головы не показывай. На прямую наводку орудий не выкатишь. Пробовали — не получилось. Не возмёшь дзоты и сверху. Авиации было мало, а маскировка — прекрасная. К тому же потребовался «язык»...

Александр принял решение. Он просил начальство об одном — не торопить, не вмешиваться. Что он задумал — никто не знал. Три ночи он уходил за передний край. Брал с собой одного-двух минёров.

Если бы можно было взглянуть на минное поле врага сверху, сквозь маскировочный слой дёрна, то и тогда бы проверяющий не усомнился, что мины лежат на месте, никто их не трогал. Но проходила ночь, и Александр говорил себе: «Есть ещё проход!»

Минуло три дня, прежде чем Александр остался доволен работой. Обезвредил немецкие мины, не убирая их с поля, и тут же закрыл маскировочным слоем. Теперь дело за общевойсковой разведкой. Пускай берет «языка».

С утра всё небо закрыли густые облака. Начался дождь.

Александр рад дождю. Он взял с собой трёх солдат и снова ушёл в ночь. Прихватил две зажигательные трубки, кусок бикфордова шнура.

Двум солдатам велел залечь перед дзотом, в воронках, чтобы в случае чего огоньком поддерживали, а с третьим минёром — тоже Поповым, но Михаилом — забрался в одну воронку и стал выжидать момент. Медленно тянулись минуты, часы. Все были мокрые, как банные мочалки. Сашка почувствовал, что утомлён

ный бессонницей противник теперь уже поверил, что ночь благополучно кончается, самое опасное миновало, можно хотя бы стоя вздремнуть у пулемёта, у амбразуры...

Он тронул за локоть минёра, и они поползли к дзоту. Земля, как губка, насытилась влагой, но силы ползти ещё были.

В траншеях, в укрытиях, в дзотах немцы были активнее, чем наши солдаты в окопах. От немцев чаще взлетали ракеты, чаще гавкали пулемётные и автоматные очереди.

Перед дзотом, на минном поле, оба Попова взяли по mine и поползли дальше. До дзота оставалась совсем ерунда, когда скрипнула дверь и послышалось чавканье сапог по грязи. Немец выругался, и дверь снова заскрипела за ним. Сашкин солдат взобрался на дзот, навёл автомат на выход. А Сашка специальным запалом поджёг закреплённую в mine зажигательную трубку и сунул этот десятикилограммовый снаряд взрывчатки в амбразуру...

В дзоте раздались вопли. О стенку траншеи, обшитой досками, с силой ударились дверь, и немцы кучей вылетели из укрытия. Первый кричал и стрелял перед собой из автомата. Второй и третий тоже что-то кричали, но автоматы оставили, видимо, в дзоте. Они спасались от взрыва, но двоих тут же сразила короткая автоматная очередь, а на третьего набросился Сашка. Ударил его пистолетом и оглушил.

Потом солдат Попова поджёг настоящую зажигательную трубку и спустил мину туда же, где лежала первая, без капсюля-детонатора, нагнавшая страх на хозяев долговременной огневой точки. Когда Поповы и оба солдата из группы прикрытия с живым «языком» были уже возле своих траншей, дзот грохнул и обвалился.

Проходы в немецких минных полях разведчикам не понадобились. Отпала необходимость и к немцам идти «в гости». Сашка сразу убил двух зайцев: дзот уничтожил и «языка» взял.

Ещё на фронте меня коробило, когда приходилось слышать:

— Ерундовые это бои... местного значения...

Получается, раз местного — значит, второстепенного, значит, не требуют к себе серьёзного отношения. Даже в книгах, журналах, газетах такое проскальзывало. Будто не человек главное, а бои...

Потом многие заговорили о «малых боях».

Я не маршал, не генерал, не мне решать, где бои местного значения, где носили тактический характер, а где стратегический. Для меня они все не простые, тяжёлые, кровавые... И то, что человеку несладко умереть в любом бою, в большом или самом маленьком, это я знаю.

Вот почему всегда склоняю голову перед теми, кто в силу убеждения, в силу внутренней необходимости подвергает себя смертельному риску. Мог бы не вступать в бой, а вступил. Мог бы не брать на себя ответственность, а взял. Низкий поклон человеку такому!

Сашка Попов шёл по траншее из одного стрелкового батальона в другой. В одном он минировал ночью, в другом — хотел ознакомиться, где предстояло минировать.

А немцы пошли в атаку раньше. Рассчитывали на полную внезапность, даже их пушки молчали. Бой завязался тяжёлый, кровопролитный, упорный с обеих сторон.

В роте, где оказался в эти минуты Попов, были сразу убиты и политрук,

и замполит. Остались два сержанта и три ефрейтора. А рота занимала по фронту почти километр. Правда, ночью ожидалась замена полку, но до ночи враг ждать не хотел. У него были свои планы.

Враг чувствовал уже скорую победу и, пожалуй, одержал бы её, не появившись в роте Попов. А ведь мог повернуть назад или незаметно по ходу сообщения уйти в лес, а там в штаб полка. Но не ушёл. Видел, что немцы вот-вот ворвутся в траншею. Заметил, что кое-кто спешил уже к лесу, и закричал во всю глотку:

— Слушай мою команду!

Кто-то попробовал проскользнуть мимо, но Попов выстрелил возле уха солдата, дал понять, что не шутит. Он повернул беглеца за плечо к наступающим немцам и приказал:

— Стрелять!

Пример командира в момент боя действует на подчинённых магически.

— Из пулемёта огонь!

Немцы дрогнули, залегли. Уже не режут пьяными голосами излюбленный «хох!» А на позиции возвращаются те, кто был на пути к лесу. Понимают, что немец-то остановлен. Уйдёшь — дезертиром станешь в глазах товарищей по оружию. А для Попова каждый вернувшийся в траншею солдат — значительное пополнение.

Вот и порядок появился на позициях роты. Команды выполняются чётко, незамедлительно. Рота готова уже к любому натиску гитлеровцев. У всех под руками гранаты, патроны. И миномёты наши из леса заговорили, огнём поддержали. Внезапная атака врагов была остановлена.

Но немцев вновь поднимают их офицеры. Солдаты действуют уже перебежками, не прекращая огня, спешат сократить расстояние, скорее вступить в рукопашную, задавить русских численным превосходством.

— Гранатами! — кричит Попов.

И летят гранаты, разметая группы бегущих, внося беспорядок и панику во вражеский строй.

Из первого батальона наши ударили немцам во фланг. Вовремя поддержали. У Попова в автомате кончились патроны. Он выбрасывает себя на руках из траншеи, бьёт в отступающих из пистолета. Кончились патроны и в пистолете. Он грозит кулаком. Так охвачен чувством победы, что не видит, как раненый в живот гитлеровец отрывает голову от земли и последней очередью стреляет в него...

Борис Лапин

Негативы хранятся вечно

Рассказ

1

В «Огоньке» я прочёл следующее:
 «ИМЯ ОСТАЕТСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ. Этот человек потерял память в результате тяжёлой контузии в декабре сорок первого года на Волховском фронте. Долгое время жизнь его была в опасности, однако врачи отстояли её. Здоровье поправилось, память же восстановить не удалось. Поскольку у раненого не было обнаружено никаких документов, имя его до сих пор остаётся неизвестным. В настоящее время он здоров и работает при госпитале, в котором долгие годы находился на излечении. В паспорте записан под условной фамилией Волхов, имя условное — Иван Иванович. Публикуя эту фотографию, Иван Иванович Волхов просит всех, кто узнает его — родных или знакомых, — сообщить по адресу...»

С небольшой фотографии смотрел на меня средних лет человек бравого вида, о котором язык не повернулся бы сказать, что многие годы он жил на волосок от смерти. У него был тонкий с горбинкой нос, маленькие юркие глазки и родинка на левой щеке...

— Вот так раз! — воскликнул я. — Да это же Владька Крепс!

Я долго и тщательно разглядывал фото. Сомнений быть не могло: те же вечно озорные глазки, тот же длинный хрящеватый нос с горбинкой, и родинка! Но ведь Владька Крепс пропал без вести под Ленинградом. В начале сорок второго его мать получила извещение.

Неужели Владька жив?!

2

Владька Крепс был героем моего детства.

Мы жили на самой окраине тихого городка. Наш большой двор выходил огородами на пойменные луга. С крыш виднелась река, широкая и быстрая, пе-

Лапин Борис Фёдорович, прозаик (1934, Иркутск — 2005, Иркутск). Автор многих книг, в т. ч.: *Сын своего отца*: лирические рассказы (Иркутск, 1964); *Кратер Ольга*: науч.-фантаст. рассказы (Иркутск, 1968); *Пещера трёх робинзонов*: рассказы для детей (Иркутск, 1972); *Снежная дача*: рассказы (Иркутск, 1975); *Разноцветье, разнотравье*: рассказы (М., 1977); *Под счастливой звездой*: науч.-фантаст. повести и рассказы (М., 1978); *Серебряный остров*: повесть (Иркутск, 1980); *Первый шаг*: науч.-фантаст. повести и рассказы (М., 1985); *Своя жена*: повести, рассказы (Иркутск, 1988); *Чугуевские ведьмы*: научн.-фантаст. повести (Иркутск, 1994); *Петрович*: воспоминания (Иркутск, 2002); *Рассоха*: рассказы (Иркутск, 2004) и др. Член Союза писателей России (Иркутская областная организация).

реплоть её мог только Владька. И тысячу других геройских поступков мог свершить только Владька. Один во всем городе влезал он на заброшенную пожарную каланчу по замшелой внутренней лестнице с обвалившимися ступенями и стоял потом на верхотуре, как памятник мальчишечьей доблести. Владька запросто разжёвывал стекло, держал во рту зажжённую спичку и мог съесть без соли сырую лягушачью лапку. Он уже заканчивал десятилетку, но компанию водил с нами, с пацаньем, и нам казалось, нет для него большего удовольствия, чем верховодить во дворе.

Сколько Владькиных подвигов сохранила моя благодарная память!

У соседей был огромный лохматый пёс по кличке Медведь. Всю свою сознательную жизнь просидел он на цепи, и от такого образа жизни у него развилась дикая ненависть к пацанам. Однажды в жаркое сухое лето Медведь сбесился. Он выл день и ночь, не узнавал хозяина и бросался на всех. К счастью, ему мешала цепь. Хозяин смотрел на него с жалостью и говорил:

— Ничо, робятки, потерпите! Отписал я в город свояку, чтоб ружжо прислал. Вот придёт ружжо — и пристрелим мы его. Устроим расстрел через повешение.

Но Медведь так и не дождался ружья. Он сорвался с цепи, и все, кто был во дворе — ребята постарше, бабы, даже сам хозяин, — бросились врассыпную, попрятались кто куда. Я остался с Медведем один на один. До сих пор не могу забыть ощеренную пасть у моего лица, тянущуюся сосулькой слюну и длинные жёлтые клыки. Я поглубже втянул голову в плечи и оцепенел. Он не кусал меня, только глухо рычал, выжидая, как бы половчее вцепиться в горло. Он не торопился с расправой. Прошло очень много времени, и я понял, что не выдержу больше ни секунды, закричу, побегу, и тогда уж наверняка длинные собачьи клыки вопьются мне в шею. Вероятно, так оно и было бы, не свались в тот самый момент прямо с неба — а может, с крыши сарая — мой спаситель. Владька рухнул на спину пса, и оба полетели в траву. Когда Медведь вскочил, его уже поджидали стальные тиски Владькиных пальцев...

Как-то Владька раздобыл настоящий геологический молоток, и мы немедленно отправились на Марьин омут — обследовать обрыв над рекой, с которого прошлым летом бросилась в воду и утонула известная на весь город красавица Марья Чичаева. Место это слыло опасным и страшноватым, но другого обнажения, годного для наших геологических целей, не было в округе.

Мы уже облазали более пологий верх откоса и наковыряли с помощью молотка и ногтей целый котелок вонючего бурого угля, когда слышались подозрительные, похожие на иканье звуки. С робостью глянул я вниз, и голова моя закружилась: над чёрным, изрисованным воронками омутом висел, уцепившись за хилый кустик, восьмилетний шкет Робик. Он не плакал и не звал на помощь, он только икал от страха. И отделяло его от нас десять метров отвесной скалы, а от воды — и того больше.

Это был конец. Владька лёг на край откоса и крикнул:

— Эй ты, балбес! Оттолкнись ногами и прыгай в воду!

Робик заикал ещё сильнее. Он не собирался прыгать. Он собирался свалиться вместе с кустиком на острые камни у воды, где от него осталось бы мокренькое место. Владька схватил увесистую плитку песчаника, замахнулся, закричал гневно и страшно:

— Прыгай, не то убью!

Робик прыгнул — и омут вмиг сглотнул его. Надо мною просвистела стремительная чёрная тень.

Владька с Робиком на буксире выплыл на берег далеко от «геологической»

скалы и долго лежал ничком на песке, отходил. А мы недвижно сидели вокруг и осуждающе поглядывали на Робику, которому абсолютно ничего не сделалось. Потом Владька поднялся и произнёс:

— Балбесы! Окись водорода, то есть вода, имеет колоссальное значение в жизни человека. К вашему сведению, воду не только пьют, по ней можно прекрасно плавать. Поэтому завтра же начнём осваивать водную стихию. И кто у меня за три дня не научится плавать — утоплю как щенят. Поняли?

С тех пор мы дотемна пропадали на реке. Владька был неистощим на выдумки. Мы плавали верхом на брёвнах, сколачивали плоты и устраивали морские сражения в протоке, гонялись за неведомыми пиратами и сооружали на острове из прибитого течением топляка тайную крепость — прибежище всей нашей ватаги и нашего отважного капитана. Гвозди, ржавые скобы, костыли, молотки и прочий скарб приходилось переправлять на остров вплавь, и к концу лета все мы настолько освоили водную стихию, что чувствовали себя чуть ли не рыбами.

Там же, в крепости, Владька прочёл нам вслух полную романтики книгу «Два капитана».

3

В городе почти у всех были садики с яблонями, смородиной, малиной, так что воровать яблоки не было не только нужды — никакого спортивного интереса. Но с нашим двором граничил сад, обнесённый высоченным забором с колючей проволокой поверху. Эта «китайская стена» принадлежала угрюмому старику, которого мы прозвали «кулаком». Воровать яблоки из его сада мы считали чуть ли не классовым долгом.

Обычно, поймав нас на месте преступления, «кулацкая» дочка, ровесница нашего капитана, звала отца. «Кулак» прибегал весь красный от злости, подымал шум, грозился стрелять солью из «духовки». Мы смеялись над ним. Мы дразнили его и кидали в «кулака» и его ябеду-дочку их же яблоками, вовсе нам не нужными. Они не понимали, что мы ворует у них яблоки из принципа.

Однажды «кулак», доведённый до крайности, исполнил свою угрозу. Он пальнул из «духовки», которую мы считали игрушечной, в нашего Владьку. Владька взвыл и свалился с забора в крапиву. Все штаны его были пробиты. На спине и на заду выступили ржавые капельки крови.

— Это соль! — простонал Владька. — Балбесы, отведите меня к реке.

Он опёрся на наши плечи, и мы почти отнесли его к протоке. Он залез в холодную воду по горло и два часа ждал, покуда размокнет соль. Его уже трясло от холода, а соль никак не растворялась. Тогда мы принесли коробок спичек, затачивали их бритвочкой и осторожно выколупывали кристаллики соли из тела раненого капитана. Он только скрипел зубами. Он мужественно перенёс эту мучительную операцию.

Зато и досталось же потом «кулацкому» семейству! Мы отомстили за кровь капитана. Мы выследили, когда «кулацкая» дочка пошла купаться, и стащили у неё всю одежду, а сами замаскировались в кустах. Целый день просидела она на берегу, сжавшись в комочек, а мы ждали, потому что сразу же, как только она заплачет, должны были вернуть одежду. Но она не заплакала. Когда стало темно и холодно, мы всё-таки сжалились и послали ей одежду с соседской девочкой.

Досталось и самому «кулаку». Куда бы он ни пошёл, всюду под его шаркающими ногами, под его слепощарыми глазами были натянуты невидимые верёвки. Он падал сто раз в темноте и на свету, наедине и на виду у всех соседей. Он проклинал нас, и мы торжествовали. Мы поклялись, что он будет падать столько раз, сколько кристалликов соли вынули мы из организма нашего капитала. И, верно, сжили бы старика со свету, если бы не Алёнка.

Алёнка, «кулацкая» дочка, сама пришла к нам во двор. Она нарядилась, как взрослая, в длинное белое платье и туфельки на каблучке. Оказывается, совсем немного надо, чтобы задиристая и драчливая девчонка с оббитыми коленками превратилась вдруг в девушку, к которой пальцем не прикоснёшься. Сначала мы и не узнали её. А узнав, грозной стеной двинулись навстречу. Но она не испугалась. Она молча взяла за руку нашего капитана и увела за собой. Весь вечер просидели они на скамейке у ворот, о чем-то секретничая, а назавтра мы получили приказ:

— Вот что, олухи. Мстить хватит. Больше никаких верёвок. Поняли?

— Почему? — удивились мы. — Ведь он же кулак, ты сам говоришь.

— Дурачьё! Какой же он кулак? Всех кулаков давным-давно сослали куда следует. Просто старый и нервный человек.

— Но ведь он стрелял в тебя!

— Дубины! Не он же в наш сад залез, а мы в его. Поняли?

Мы ничего не поняли, однако приказ выполнили. Теперь Алёнка часто приходила к нам. По вечерам они с Владькой сидели на скамейке у ворот. В лучах закатного солнца её светлые кудряшки казались медными. При ней Владька перестал нас замечать. И хотя днём он ещё возился с нами, мы догадались, что дворовые дела бесповоротно отодвинулись для него на второй план. Алёнка была в общем ничего, не хуже других девчонок, а может, и получше, и мы смирились.

В конце улицы поселился один седой чудаков. Каждый вечер, возвращаясь с работы, он нёс на руках свою немолодую и не очень красивую жену — нёс гордо, бережно, точно какой-то хрупкий драгоценный клад. А она нежно и вызывающе обвивала руками его шею. По пятам за ними следовала свистящая и улюлюкающая ватага мальчишек, да и взрослые, глядя на эти телячьи нежности, посмеивались неодобрительно. Однажды мы от нечего делать присоединились к свистунам. Из ворот выскочил Владька с красным от гнева лицом. Его тонкие ноздри угрожающе раздувались. Не говоря ни слова, он накомистил всем по шее, а во дворе, всё ещё негодуя, объяснил:

— Бестолочь, болваны, остолопы! Это же любовь, ослепительная и лучезарная. Если хотите знать, каждый мужчина должен носить женщину на руках. Он один осмелился, а вы!.. — И Владька огорчённо махнул рукой.

Какое-то бесценное семя заронил он в наши души этими подзатыльниками, этими словами. И оно проросло.

Раз вечером мы наткнулись в саду на обнявшуюся парочку. Он и она стояли в полутьме между забором и зарослями крапивы и целовались. Гошка Черных сунул было два пальца в рот, но мгновенно его остановили несколько рук: это была она самая — любовь.

— Ослепительная и лучезарная! — неосторожно прошептал я.

На шёпот резко обернулась... Алёнка.

— Здесь кто-то есть.

— Никого здесь нет, — успокоил её голос Владьки. — Это мои балбесы. Но они ничегошеньки не понимают...

В первые же дни войны Владьку Крепса забрали на фронт. Мы так и не успели достроить крепость на острове, и многих других важных дел не успели сделать. Нам было очень обидно, что его забирают от нас.

Мы хотели проводить Владьку до станции, но он сказал строго:

— Вот что, ребята. Провожать не смейте. Попрощаемся здесь. Поняли? — Он пожал нам руки, надел рюкзак и, глянув на часы, сказал: — Пошли, мама, пора.

И они ушли. Мы впервые не выполнили приказ. Мы помчались на станцию окольным путём и были на месте ещё до прихода Владьки. Так вот почему он не разрешил нам идти на станцию: его провожала Алёнка! Он садился в теплушку и весело махал кепкой, но его узкие, всегда озорные глаза не смеялись. Алёнка плакала. Мать утешала Алёнку.

Мы не обиделись на нашего капитана. Мы понимали: так было нужно...

И вот теперь я держу номер «Огонька» и в сотый раз вглядываюсь в знакомые черты. Неужели и вправду Владька Крепс жив?

Этот человек, Иван Иванович Волхов, просит всех, с кем был знаком когда-то, вспомнить его, вернуть его прошлое, его детство и юность. Сам просит! А если это действительно Владька, значит, я могу возвратить ему реку, широкую и быструю, и пожарную каланчу, и крепость на острове, и выстрел солью из «духовки», и Алёнку, и поцелуй в крапиве — все краски, все звуки, все запахи жизни! Всё, без чего существование человека напоминает пресную и безвкусную дистиллированную воду. И кто же, как не я, обязан сделать это?

Но как убедиться, что это Владька? Я должен знать наверняка, на все сто, прежде чем написать в Ленинград. Чтобы не отдать чужому человеку кусочек жизни, принадлежащий одному только Владьке Крепсу.

И я снова и снова вспоминаю давнее своё детство. Ворошу его, как ворох ветхих писем, старых открыток, ломких пожелтевших фотографий. Чувствую, что где-то здесь таится ключ к поискам. Но не нахожу. Мать Владьки давно умерла. Ни братьев, ни сестёр у него не было. Может, Алёнка? Неужели она не узнает человека на журнальном портрете? Все-таки у любви, «ослепительной и лучезарной», должна быть крепкая память.

Впрочем, нетрудно проверить. До города моего детства два с половиной часа автобусом. Конечно, если Алёнка ещё там...

4

Неширокая и небыстрая речка, на которой памятен каждый омут, каждый пережат. Знакомые и незнакомые улицы. Знакомые и незнакомые дома. Все как будто бы то же. И все иное — маленькое, приземистое, провинциальное. На пустыре, где мы гоняли футбол, дымит заводик. Улица, всегда приятно щеко-тавшая наши босые подошвы глубокой шелковистой пылью, заасфальтирована и обсажена цветами. Позванивая, бежит трамвай. Здесь прошло моё детство. Отсюда ушёл на войну Владька Крепс. Ушёл и не вернулся.

Вот берёзовая рощица. Вот мостик через овраг. Вот он, наш двор! На этой скамейке у ворот сидели Владька с Алёнкой. А позднее и я сидел. А вот «китайская стена» — ветхий полутораметровый забор. Как давно это было...

Мне открывает ладный юноша с пробивающимися усиками. Он окатывает меня настороженным взглядом, и я слышу из сеней:

— Мама, тобой какой-то тип интересуется.

Да, это Алёнка. Сразу узнаю: располневшая, чуть седоватая, все познавшая, все пережившая, от всего уставшая сорокалетняя Алёнка.

— Я вырос в этом дворе, — говорю я.

— Очень хорошо. Теперь здесь все новые. А вы по какому делу?

— Посмотрите на эту фотографию, — прошу я, садясь на табуретку в кухне и раскрывая журнал. — Не узнаете?

— Как будто бы нет. А кто это? И вообще — что произошло? Вы из милиции?

— Нет, я сам по себе. Неужели вы не узнаете парня из соседнего двора, которого... с которым дружили в юности?

Её губы раскрываются в невольной мимолётной улыбке:

— Владька? — Но эксперимент уже безнадёжно испорчен подсказкой. — Похож. Смешной был парень, вечно с мелюзгой возился. Фукс? Кукс? Странная такая фамилия...

— Крепс.

— Пожалуй, похож. А что с ним?

— Ничего. Он погиб на фронте в сорок первом году.

— Да, я знаю, слышала. Познакомьтесь, мой муж.

Он все время стоял у меня за спиной, её муж, отец её сына. Если бы не он, мне кажется, она вела бы себя иначе. Пожимаю его руку и говорю:

— До свиданья!

Конечно же, не следует осуждать Алёнку. Нелёгкими были эти двадцать лет. Но я не в силах подавить колкую, неопровержимую, как в детстве, неприязнь к ней. словно она опять, во второй раз уже, отняла у меня Владьку. Но через два квартала слышу за спиной торопливый цокот каблуков. Молодец, догнала. Раскрасневшаяся, немножко испуганная, даже как будто помолодевшая, она переводит дыхание, смущённо поправляет растрёпанную бегом причёску.

— Что, он нашёлся? Он ведь не погиб, он пропал без вести, это не одно и то же. Я ждала пять лет...

Передаю ей «Огонёк». Она пробегает текст — и жадно всматривается в портрет.

— Можете ли вы как-то доказать, что это он? Наверное, у вас остались фотографии, письма. Говорят, почерк не изменяется с годами...

— Доказать? — Она отрицательно качает головой, и шёпот её становится хрипловатым: — Ничего нет. Муж, семья... Было. Всё уничтожила. Но он похож. Разве что... Нет, всё равно похож! Чем ещё я могу помочь?

— Теперь уж ничем.

Она вытирает слёзы.

— У меня сохранилось от него только это.

На её ладони лежит потускневшая дешёвая брошка с красным стёклышам. Память. Память, которой не осталось у него. Если только это он.

Ключ не сработал. Мне ничего не остаётся, как возвращаться. Знакомыми и незнакомыми улицами направляюсь я к автостанции. Узнаю и не узнаю... Вот они, гигантские раскидистые тополя — несколько не изменились. Но двухэтажный гастроном, когда-то гордость городка, совсем затерялся в новом квартале. Неподалёку от гастронома стояла вросшая в землю хибарка с застеклённой кры-

шей. На её месте сквер — аккуратно подстриженные кустики акации и цветы, цветы...

Однажды мы фотографировались здесь. Отлично помню карточку: Владька сидит в центре всей нашей компании пацанов. Раскидало компанию по белу свету, ни одного не найти. И карточка давно потеряна. Но чувствую нутром — ключ где-то здесь. И снова прокручиваю разрозненные, но не потускневшие кадры воспоминаний...

Как-то в воскресное утро Владька сказал с кислой усмешкой:

— Завтра к тётке в деревню уезжаю. Страсть не хочется. Сфотографироваться бы, что ли, на память, а то когда ещё встретимся.

— Но к сентябрю же ты все равно приедешь.

— А если завтра война? Если враг нападёт? Если тёмная сила нагрянет? — пропел Владька. — Дуйте к мамашам, чурбаки, просите по гривеннику, фотография — не мороженое, на фотографию любая мамаша даст.

Он оказался прав — и насчёт гривенников, и насчёт войны. Но в деревню так и не уехал, наверное, уговорил мать. Да и кто уезжает в деревню от своей Алёнки, от поцелуев среди крапивы?

Убедившись в наличии десятка гривенников, Владька собственноручно проверил нам уши и, вопреки здравому рассуждению, что «там будет не видно», заставил помыться. Чистые, принаряженные и причёсанные, как маменькины сынки, чинно прошествовали мы пыльными улочками к центру городка, туда, где под разлапистыми тополями блестела стеклянная крыша фотографии.

Это заведение всегда привлекало нас. Там были выставлены карточки красавиц и моряков. Там сверкали зеркальные рефлекторы ламп. Там возвышался на треноге огромный ящик-аппарат, и сгорбленный старичок фотограф колдовал возле него. Пышная, с искрами проседи шевелюра старичка была прикрыта соломенной шапочкой, похожей на суповую миску. Казалось, шапочка вот-вот развалится от ветхости прямо на голове. Из задней комнаты пробивалась полоска таинственного кроваво-пожарного цвета. Рассаживая нас, старичок сыпал странные слова:

— Бонжур, месье! Ля бемоль. Аллегро, аллегло! Се ля ви. Бонжур...

Он поколдовал у своего ящика, потом, накинув на голову чёрную ткань, поглядел на нас через аппарат, подскочил, поправил нам головы за подбородки, выдвинул скрипучую крышку кассеты, жестом волшебника снял колпачок с объектива, медленно отсчитал «айн, цвай, драй» — и водрузил колпачок на прежнее место.

— И всё? — разочарованно протянул Робик. — А где же птичка?

— Птичка улетела, месье. Я не так богат, чтобы покупать для неё конопляные семечки.

В углу стоял вместительный сундук, схваченный узорчатыми медными полосками. На его замке играло солнце.

— А это что? — спросил Гошка.

— Негативы, — прошептал старик таинственно. — Десять тысяч негативов, десять тысяч судеб. Десять тысяч тайн, потому что каждый человек — тайна...

Когда мы вышли из фотографии, у входа стояли чрезвычайно модно одетые молодые мужчина и женщина. Женщина кокетливо помахивала веером и трясла невообразимой копной невообразимо белых кудрей, а мужчина покуривал длинную папиросу, и оба хихикали, читая вывеску.

Вывеска была действительно необычная. «ФОТОГРАФИЯ» — было написано сверху гигантскими буквами. А ниже чуть помельче: «НЕГАТИВЫ ХРАНЯТСЯ

ВЕЧНО». Мы не видели в этих словах ничего смешного. Наоборот, они восхищали нас своей вызывающей гордостью. Вот ведь как: сам я стар и едва ли проживу долго, фотография рухнет не сегодня-завтра, очень уж она обветшала да покосилась, и вы все, кто фотографируется, тоже долго не протянете. Се ля ви — такова жизнь. А негативы будут храниться вечно!

Мы повторяли эти слова, как стихи. А двое модников, приехавшие в наш город, наверное, из самой Москвы, оскорбительно посмеивались.

— Образчик провинциальной рекламы, — брезгливо произнёс мужчина.

— И рекорд самоуверенности, — добавила женщина, подтолкнув своего спутника локотком. — «Негативы хранятся вечно» — а сам уж одной ногой в могиле стоит.

И они, хихикая, пошли к гастроному. Владька презрительно сплюнул им вслед. И мы все тоже сплюнули. Но не в подражание капитану. К тому времени Владька уже научил нас за версту распознавать пошлость...

6

А что, если негатив той нашей фотографии сохранился? Каких ведь чудес не бывает на свете! Уж это был бы верный ключ... Однако я ума не приложу, где искать старого фотографа. Неужели так и не удастся отблагодарить Владьку Крепса за всё то доброе, что сделал он для меня и моих сверстников?

В раздумье поворачиваю назад. Возле гастронома опрятная старушка продаёт позднюю, последнюю в этом году сирень. Придётся купить букет, чтобы завязался разговор... Да, изменился городок, не узнать. Вроде бы к лучшему, а жаль старого — тишины, покоя, садов. А сколько добротных деревянных домов поносили...

— Вот здесь, например, стояла фотография.

— Как же, как же, стояла...

— А вы не помните случаем старого фотографа?

— Ещё бы не помнить. Чудной дед. Все китайскую шапочку с головы не снимал. А ведь жив ещё, Семениха его приютила, братцем ей двоюродным приходится, жив, жив, хотя и плох, рассказывают...

Дородная Семениха отводит меня в тесную полутёмную комнатку. В сером сумраке сидит на лавке дряхлый скрюченный старичок. В чём только дух держится — жёлтый, прозрачный как воск, и голова трясётся мелко-мелко. Сдал старик. А всего-то двадцать с небольшим лет минуло. Он долго не может понять, чего от него хотят. А когда понимает, перестаёт трястись и в его отцветших глазах появляется блеск.

— Негатив? — переспрашивает он. — Вам нужен старый негатив? Пожалуйста! Негативы хранятся вечно!

Он говорит это с гордостью, и у меня дыхание захватывает. Ай да старик, ай да фотограф! Ведь не ради красного словца вывеску повесил! Люблю таких людей, до конца верных своему слову. И своему делу.

Старик достаёт из кармана комочек носового платка, бережно снимает едва живую шапочку-миску и долго трёт совершенно лысую голову. Потом подмигивает мне, как старому знакомому:

— Бонжур, месье! Ля бемоль!

Мы идём в сарай. Он суетливо раскидывает рухлядь, и под ворохом пропылённых тряпич обнаруживается старинный сундук, перетянутый узор-

чатыми медными полосками. Когда-то медь играла на солнце, теперь стала зёлёной.

— Десять тысяч негативов, — бормочет старик. — Десять тысяч судеб. Десять тысяч загадок... — Он вздыхает: — Какой год, месье?

— Сорок первый.

— Сорок первый? Война?

Молча опускаю голову. Мелодично звенит замок, и я вижу пачки старых негативов — великолепно сохранившийся архив.

— А месяц? Вы не помните месяц?

— Это было в первых числах июня.

Прежде чем достать негатив, старик садится на край сундука и, держась за его края, шепчет:

— Всю жизнь надеялся: негативы понадобятся людям. Но вот уже двадцать лет — и хоть бы один человек! Хоть бы один... Вы первый. Расскажите! Прошу вас, расскажите, зачем вам этот негатив.

Он слушает с почтением, склонив голову набок. А, подавая тёмную пластинку девять на двенадцать — ту самую, убеждаюсь я, глянув на свет, — говорит с достоинством:

— Надеюсь, поможет рассеять ваши сомнения.

Но я уже знаю: не поможет. Слишком много голов с чистыми ушами поместилось на маленькой пластинке. Слишком мелко и смутно лицо Владьки.

— Пачка за двадцать второе июня, — вздыхает старик. — Поглядите-ка, в десять раз толще других.

Да, в десять раз толще. Но странно, что люди в предчувствии грядущих бед и расставаний бежали фотографироваться. Будто стеклянная пластинка может навеки сохранить такую хрупкую в грохоте войны семью, дружбу, любовь...

И тут меня озаряет долгожданная счастливая мысль.

— А вы не помните этого молодого человека? Вот он, в серёдке. Станный такой, постоянно с мелюзгой возился. Его звали Владька Крепс. Он ушёл на войну числа тридцатого июня. Или в самом начале июля. Но прежде сфотографировался с девушкой, почти девочкой. Беленькая такая... — Я испытующе гляжу на старика — ведь это предположение, не больше. Правда, чтобы сделать такое предположение, нужно было знать Владьку, как самого себя. И для пущей убедительности добавляю: — На ней ещё брошка была...

— С красным камешком?

— Да, да, да!

— Тогда многие фотографировались с девушками. Се ля ви. Но эту я запомнил. И тогда же сказал себе: «Запомни эту девочку. Когда-нибудь она придёт за негативом».

Вот он, ключ, у меня в руках! Владька и Алёнка, крепко прижавшиеся друг к другу плечами. Он напряжённо уставился в аппарат, а она во все глаза смотрит на него.

Мы прощаемся, и старик просит, отводя мою руку с деньгами:

— Если все совпадёт... Если это и в самом деле ваш друг... напишите, не считите за труд! Гоголевская, одиннадцать, Семеновой Марье Константиновне, для брата. Очень прошу. Если все совпадёт... И я умру спокойно. Буду знать... что прожил не зря... Если только совпадёт...

И вот передо мною журнал и ещё влажная фотография. Владька сидит на ней в фас, смотрит прямо в аппарат, как и на огоньковском снимке. Я сравниваю оба портрета. Узкие смешливые глаза. Тонкий хрящеватый нос с горбинкой. Заострённый подбородок. Маленький ироничный рот. Кажется даже, Владька и не постарел нисколько. Тогда ему было восемнадцать, теперь сорок. Сходство полное.

Разве что родинка... Почему же в журнале родинка на левой щеке, а на снимке — на правой!? Я хватаю негатив: уж не перевернул ли пластинку при печати? Но нет, все правильно. Да, конечно, у Владьки родинка была справа. Точно, справа! Значит...

Значит, у Ивана Ивановича Волхова она слева. Только и всего.

Долго смотрю на обе фотографии и все больше убеждаюсь, что Иван Иванович Волхов и Владька Крепс — совсем разные люди. Похожие, но — разные! Брови не те, скулы не те и даже глаза, узкие смешливые глаза — не те! Я бросаю «Огонёк» на полку и ложусь спать. И думаю, заглушая боль неудовлетворённости и обиды, что вот ведь как устроен человек. Конечно, негатив лучше меня запечатлел детали: родинку, брови, разрез глаз. Но никакие негативы не смогли бы сохранить Владьку живым, смеющимся, добрым, отважным и честным — таким он останется навсегда только в моей памяти. Так же как навеки отпечаталась в памяти старика фотографа незнакомая девочка с беленькими кудряшками и дешёвой брошкой на блузке.

Я изо всех сил стараюсь уснуть, но мне не спится. Чего-то я ещё не сделал.

Встаю, иду на почту. Беру открытку, пишу всего несколько слов: «Спасибо Вам! Все совпало. Владька Крепс найден, это он. Спасибо Вам от нас обоих за то, что Вы такой человек!» И надписываю адрес: «Гоголевская, 11, Семеновой Марье Константиновне, для брата».

Я знаю, Владька Крепс поступил бы именно так. Он любил людей. И умел отличать романтику от сюсюканья. Но Владька погиб в сорок первом под Ленинградом. Как и тысячи других.

Я опускаю открытку в ящик.

Через месяц она вернулась назад с пометкой: «Адресат ВЫБЫЛ».

Александр Латкин

Избавление

Отрывок из повести «Амикан»

<...>

С нег громко хрустел под ногами. Старик вернулся в палатку, резко задвинул за собой полог. Охотники с тревогой следили за ним.

Он свернул ватное одеяло в рулон, уселся на него, сказал:

— Ну, что делать? — старик посмотрел на одного, потом на другого. — Раз подняли — давай чай пить.

Фёдор засуетился, вымученно улыбаясь.

— Правда, давайте, — забормотал он, и Пётр тоже ожил. Он поставил чайник на печурку. — Черт возьми... — начал он, и в эту секунду густой протяжный крик разбил на мелкие кусочки ледяную тишину, и эхо испуганно заметалось в сопках, побежало по распадкам, заухало далеко-далеко, и охотники в великом ужасе схватились за тозовки, уставились дикими глазами на Старого Охотника. Старик набивал трубку махоркой, горестно покачивая головой, и вытянутая кривая тень колебалась на стенке палатки.

— Убить придётся, — наконец сказал он, пыхая дымом. — Не отстанет от нас. Надо было убивать идти вчера. Не мучился бы он... Нет, надо было быстро кочевать. Э-э, — старик затыкнулся дымом, — ему идти некуда, ему никто не поможет... — Он говорил спокойно, но каждое его слово впивалось в душу, каждое его слово кричало, как кричит каждое слово, спокойное слово сильного человека, сжавшего в кулак свою волю, каждое слово-крик: убивать придётся! — Руки, ноги совсем обморозил. Больно ему. Вот и кричит, плачет. А что я сделаю, а? Ладонь, пятки опухли у него, потому и след такой, как от валенок. Валенки. Их так и зовут. Шибко злой, шибко страшный. В сердце попадёшь — и то задавить может.

Старый Охотник выколотил трубку о полено, и Пётр заметил, как дрожит его коричневая рука. Он это заметил, и опять вернулось то опасение, когда всё сместилось в его сознании, и Пётр с опаской поглядывал на старика, а после в его душу ворвался страх перед стариком или ещё нечто большее.

Старик говорит:

— Завтра Фёдор пойдёт со мной. А ты пригонишь оленей и жди на таборе. Если он придёт — на дерево лезь...

Латкин Александр Гурьевич, прозаик, публицист (род. в 1952 г. в с. Уоян Северо-Байкальского р-на Бурятии). Автор книг: *Осенний перевал*: повести и рассказы (М.: Современник, 1984; *Новинки Современника*); *Глиняные рисунки*: повествование в новеллах (Иркутск: ВСКИ, 1986); *Завтра и всегда*: повести (Иркутск: ВСКИ, 1988); публикаций в коллект. сб., столичной и местной периодике. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Фёдор и Пётр не спали до утра, тихо переговаривались, вздрагивали при каждом шорохе. Ближе к утру поставили вариться мясо в котелке.

Старик же улёгся и сразу засопел, как только порешили, что делать с утра. Он спал, но это так думали охотники...

Так надо, сказал тогда Младший, так надо, он сказал ещё, что жаль Ветку и жаль амикана.

Нет, Младшему не жаль было амикана. Сын... Да и он по-своему прав, потому что неправый потом становится правым. Ложь правдой, а правда ложью, и так без конца.

Вернулся, вернулся... Наверное, вернулся осенью. Ведь декабрь. Подняли из берлоги. Может, и месяц назад. Если бы он был поднят раньше, то старик увидел бы его, когда возвращался из села, догоняя охотников.

В августе будущего года они бы встретились. Но всё равно бы лопнула до предела натянутая нить, как лопнула и другая нить, когда он повёл людей в брезентовых одеждах и показал им начало чёрной тропы, очень опасной тропы. И один человек сорвался.

Он ведь знал, что так и будет, потому что там невозможно было пройти. Сразу метров через двести от начала тропы начиналось гнилое место. И впереди идущий, первому всегда приходится многое брать на себя, обязательно со рвётся.

И старик побежал к тропе, задыхаясь, проклиная себя, и они встретились. Шли осторожно и несли на плечах третьего, мёртвого или раненого. «Что с ним?» — это стало важным, и именно с этого начались его мучения.

И вертолёт был, он прилетел к вечеру. Старик видел людей в белых халатах. Зачем мёртвому врачи, несколько врачей? И ведь они долго были в том бараке, который построили совсем недавно, а первый построили на год раньше.

Он тогда вернулся в зимовье и лёг на нары и хотел вспомнить, что он думал, когда повёл их к тропе. Но в голове стоял сплошной гул. И холодная ярость охватила его. И он сел на нарах и уставился в тёмный угол исподлобья в этой всепоглощающей ярости и так смотрел долго, потом вскочил, вышел и направился к баракам.

Убедившись, что тот человек вроде бы жив, раз врач шёл рядом с носилками, и было видно по всему, что он просит об осторожности.

Совершил подлость. И остался странный сплошной гул, налетающий холодной яростью. А мучение началось, и оно только затаилось, когда он выстрелил в тросик петли и амикан скрылся в чаще.

Народился серый день. Забитое облаками небо стало как бы ниже, а скалы были укрыты клубящейся массой, серой массой то ли облаков, то ли тумана. Но ясно было одно — поднимается вьюга. «Должен был пойти снег», — думал Старый Охотник, пробираясь сквозь чащу лиственничника, разросшегося на мелкокаменистой россыпи. Ветер начал расходиться, и тайга сурово зашумела, и ветер запосвистывал в ветвях. Идти трудно — камни. Фёдор пыхтел за спиной старика, стараясь ступать след в след, опасаясь, что может оступиться на камнях и повредить ноги. Вьюга усиливалась. Идти становилось всё труднее. Чем ближе

к скалам, тем каменистей местность. Щели между камнями глубокие, поэтому шли очень осторожно.

Перевалили сопку и сразу за увалом наткнулись на неровный след. Медведь часто садился на зад, иногда ложился на бок, видимо, лизал лапы. Правую заднюю он разорвал зубами от боли. След кровавой.

К скалам пошёл, определил Старый Охотник по следу и повернулся к Фёдору.

— Там дыр много в скалах. Залез, поди. Руки, ноги греть будет, дышать на них. Шибко кричать, плакать будет.

И словно в подтверждение его слов, старик даже не успел договорить, как медведь закричал где-то впереди.

Старый Охотник снял шапку, завязал клапана наверх.

— Теперь уши надо, глаза надо. Осторожно ходить надо.

Лязгнул затвором, загоняя в ствол патрон. Поставил на предохранитель. Надел карабин на плечо и заторопился вперёд. Фёдор не отставал от старика ни на шаг. Пугливо озираясь по сторонам, заглядывая вперёд, через плечо охотника, ожидая опасности в любую минуту.

Старик резко остановился, и Фёдор вскрикнул. Старик не оглянулся, не обратил на этот вскрик внимания, продолжая смотреть перед собой, и зло усмехался. Здесь медведь долго сидел. Передняя левая лапа чуть кровоточила. Изжелта-красная планочка льда. Правая задняя — ярко-красная выемка в снегу.

Если бы охотники пришли сюда тридцать минут назад, то встреча состоялась бы здесь, а она должна была произойти в будущем августе, когда старик вновь бы пришёл на зимовье, и старик сделал бы всё, чтобы на участке снова была полная таёжная жизнь.

Но теперь надо убивать, и этого хотели все: директор, оленеводы, охотники, Старший и даже Младший.

Младший знал, что амикан не виноват ни в чем. Но он стал опасен.

Директор говорил старику:

— Не тебе объяснять, что медведь становится всё более нахальным. Полторы тысячи рублей уже съел. Задавил десять оленей. Пять охотничьих собак... Скоро до людей доберётся. Оленеводы несколько раз ходили на него, но бесполезно. Надо идти обязательно без собак. Он собак боится, сразу убегает, и загнать его невозможно. Добыть амикана можешь только ты, Старый Охотник, — так говорил ему в прошлом году директор. А сейчас старик стоял и зло усмехался.

Этого хотели все. И встреча должна была произойти в будущем августе, которого для них уже не будет.

Фёдор дышал за спиной. Старик завалил ногой ярко-красную выемку, сгрудив чисто-белый снег со стороны. Пошли дальше. И тайга вдруг поредела, отступила назад. Стало тише. Но ветер был сильнее. След медведя повёл охотников по подножию крутой сопки. Зверь ложился здесь чуть ли не под каждым кустом. Снег примят, окрашен кровью.

Старый Охотник пошёл быстрее. Теперь они шли с подветренной стороны сопки. Поразительно тихо. И странно было видеть, как на вершине сопки сильно раскачиваются деревья, а здесь застыли в неподвижности, Фёдор-то этого ничего не видел, он видел только сутулую спину старика. Охотник время от времени пугливо озибался по сторонам, и за каждым кустом ему виделся темно-бурый зверь, а время будто остановилось, и Фёдору начало казаться, что они идут уже тысячу лет и так будут идти вечно, и он быстро смирился... Оступаясь, думал только о том, чтобы не отстать, а старик опять остановился, сказал не оборачиваясь:

— Поглядывай, может и сзади выскочить.

Они скоро обогнули заснеженную сопку и вышли в широкий, плавный распадок. За ним вздымались в небо громадины скал. Вершины их были скрыты в плотных серых облаках. Облака клубились, скользили, струились на север.

Старик краем глаза видел, что вершины гольцов перевала дымились, и над ними пока ещё тускло просвечивало сквозь тучи солнце.

Старый Охотник остановился у сосны, — думая, что выюга будет большая. Одинокая сосна ветвиста. Посмотрел по стволу вверх. Снял карабин, медленно стянул его с плеча, пять раз щёлкнул затвором, присел на корточки и собрал патроны. Поднявшись, повернулся к Фёдору.

— Вот, — он подал ему один патрон. Тот взял. — Так будет честно. — Подал карабин. Фёдор взял, ничего не понимая, бледнея, смотрел на старика, и лицо его стало словно гипсовым, а глаза расширились, и в них был только ужас, животный ужас.

Старый Охотник ткнул рукой в сторону скал.

— Он там. Иди и убей его. — Старик отошёл к сосне.

Фёдор вспотел. А на ветру это опасно. Можно простыть. И заболеть. Поднимется температура. В лучшем случае: выпьет две таблетки аспирина, пропотеет, и утром будет здоров, как сокжой. В худшем: его повезут в село, загоняя оленей, и если олени падут, вывалив языки, и будут сдыхать на снегу, захлёбываясь алой кровью, его понесут на плечах. А потом прилетит вертолёт с врачом, и его увезут в райцентр, если нужно будет, вызовут из области самолёт...

— Иди и убей его.

Фёдор сделал несколько шагов вдоль следа медведя и остановился. Колени дрожали. Противная слабость во всём теле. Знакомо, это было знакомо: выворотень — огромная сосна, ветки ещё зелёные, куржак меж корней, и выстрел, его, Фёдора, выстрел, и пуля пробила дырку в плотном снегу.

Оттуда страшный рёв.

Пётр вскрикнул и побежал, Фёдор побежал за ним, потом остановился и раз за разом, целясь под выворотень, дважды выстрелил, и снег там осыпался, а из берлоги показался медведь. Собаки набросились на него и погнались. Фёдор не помнил, как догнал Петра и как они очутились на тропе. Но он хорошо запомнил эту слабость, противную слабость во всём теле.

Фёдор стоял, и казалось ему, что он стоит на краю пропасти. И вдруг ему подумалось, что Старый Охотник ушёл. Фёдор стремительно обернулся. Старик колко смотрел ему в глаза.

— Я не могу, — едва слышно.

— Стой здесь. Побежит амикан, тогда на дерево залазь. И сиди тихо... Поглядывай. Я сейчас пойду на скалы. Амикан может сверху оказаться. Камни на меня сыпать начнёт. Тогда стрельни в небо. Понимаешь?

— Да, да! Да, я всё понял.

— Давай! — махнул рукой Старый Охотник и, резко повернувшись, пошёл по следу амикана, и скоро след привёл его к отвесной каменной стене и уходил по террасе крото вверх.

Старик оступился, упал на колени, уперевшись локтями, и так лежал некоторое время, потом поднял лицо, вгляделся вперёд: терраса представляла собой широкую заснеженную тропу; она обрывалась метрах в шестидесяти — там поворот.

Старый Охотник почувствовал сердце.

Сердце...

Ветер сёк сбоку.

Следы медведя тянулись по середине террасы. Два старых, припорошенных снегом следа рядом. Значит, медведь уже ходил по этой террасе.

Снял с плеча карабин, поднявшись, оглянулся. В двухстах метрах, на той стороне распадка, подле сосны, стоял Фёдор, и даже отсюда было видно, что он окован и поэтому сутулился, топтался на месте, тозовку держал под мышкой...

«Отец, я пришёл к тебе...»

Младший стоял рядом. Откуда он взялся в ту минуту, когда, перед самой засадой, он встретил амикана и крикнул ему, чтобы он бежал за Перевал.

Откуда тогда взялся сын?

Они пошли к зимовью, и через минуту старик был прежним Старым Охотником, только измученным и сильно постаревшим.

— Как ты тут? — И сын ответил:

— Я пошёл к Перевалу, к лабазу. Хотел спрямить, пойти через скалы. А тут загон... Прости, отец, и его. Ведь Веточка не раз его спасала...

— Он передо мной не виновен!

Старик опять почувствовал сердце, и ощущение было неприятным, словно кто-то осторожно сдавил его, так осторожно, что не чувствуешь прикосновения. К горлу подкатила горечь. Ветер бьёт сбоку. Фёдор топчется вниз. Прижимаясь к скальной стене, старик медленно пошёл.

Мир: серое, забитое клубящейся массой облаков небо, слева — каменная стена, справа — заснеженная тайга, распадок, дальше — сопки и опять сопки. Впереди белая лента террасы — на ней следы, следы по правой стороне — тёмные от крови. Видно, что медведь хватал пастью снег — в ямках желтоватая пена. Сначала это раздражало. Неизвестно почему, но кровь и эта желтоватая пена его сильно раздражали, и это очень сильно ослабляло внимание. А потом всё отступило, и старик упорно продвигался вперёд.

Перед каждым поворотом террасы он долго прислушивался, стараясь слышать в посвистывании ветра и другие звуки, и, убедившись, что опасности нет, шёл дальше, поднимаясь всё выше, и скоро вершины высоких лиственниц — их несколько росло у скалы — были уже у ног, а потом и вообще остались далеко внизу.

Мир: стена, белая лента террасы, следы.

Прошло полчаса или больше или меньше — времени не было, но сколько-то времени всё равно прошло, и старик стал мёрзнуть. Приходилось поминутно останавливаться и оттирать уши и щеки.

Вниз он не смотрел. Теперь вниз смотреть нельзя — терраса становилась узкой, и неизвестно, как медведь умудрялся преодолевать такие места, где и человеку-то трудно пройти. А ветер такой сильный, он жжёт правую щеку, бросает сверху снег.

По спине старика побежал холодный пот. Мёрзнут пальцы рук. Терраса. Следы. Поворот. Ветер хлестнул прямо в лицо — дыхание захватило. Открылась обширная наклонная площадка. Она оканчивалась обрывом. В стометровой глубине ущелья, темнея, торчали острые углы огромных камней.

На краю обрыва — две чахлые сосенки с жёлтой хвоей. Они гнулись под ветром и, когда порыв спадал, пружинили назад.

Ветер дико завывал, мел позёмку по площадке, порошил снежной пылью глаза.

Старик встал на колени, пристально взгляделся в куски скал, разбросанные временем по площадке.

Вон он!

Старик отпрянул. Лёг. Опираясь на локти, отполз к стене.

Медведь лежал за обломком скалы, и ветер обрывисто доносил его недовольное ворчание.

Старик снял рукавицы. Надо стрелять.

Поймал на мушку голову медведя, и спусковой крючок ожёг холодом палец, и сразу же старик опустил карабин и сам себя стал ругать, ведь так стреляют только трусы, но он и сам знал, что дело не в этом, и прошла минута, другая. Старик приподнял голову. Медведь лежал уже дальше, теперь в сорока метрах от старика и ближе к обрыву.

Ледяной ветер пронизывает насквозь. Облака стремительно плывут куда-то вбок, к тусклому, едва заметному в пелене солнцу.

Было видно, что зверь скалит клыкастую пасть, роняя пену на снег.

«Больной, совсем больной, — думал старик. — Зачем не спал? Зимой спать надо. Зачем за нами ходил? Всё равно помирать будешь».

Но и это не помогло. Рука не поднималась на больного зверя, изнурённого долгой борьбой за жизнь. Но пора. Ветер усилился. Если будет сильнее — назад не спуститься, свалишься, а здесь быстро околеешь. Надо торопиться.

Старик осторожно приподнял голову из-за камня. Медведь казался густо-чёрной шевелящейся глыбой. И вдруг он поднялся, рывкнул от боли и упал на бок. Старый Охотник спрятался за камень, чуть приоткрыл затвор, проверил: в патроннике ли патрон. Но уже и тянуть нельзя, и мыслей нет никаких, и выхода нет, и пора, медлить больше нельзя, и, вдохнув леденящий лёгкий воздух, резко встал. И замер.

Огромный медведь стоял на краю пропасти и смотрел вниз.

От ветра дыхание старика захватило, из глаз выбило слезу.

Медведь поднял морду кверху.

— Эй! — слабо крикнул Старый Охотник и не услышал своего голоса. — Я пришёл к тебе!

А медведь всё больше задирает глыбастую голову с маленькими округлыми ушками, и из его глотки рождался протяжный тоскливый рёв.

И горы тоскливо заревели в ответ, и все звуки перемешались с рёвом вселенским, перемешались со звуком падающих камней и снега, с воем ветра. А влажные от слёз веки старика защипало. Прихватило! Старик закрыл глаза, торопливо стал тереть их рукавицей, и в эту минуту рёв оборвался, и старик вскинул карабин, глянул перед собой, ожидая нападения...

На площадке никого не было.

* * *

Скалы, огромные скалы, с плоскими и острыми вершинами, и они упираются в небо. И редко можно увидеть вершины, как редко видишь человека во всей его обнажённости, и есть среди скал прозрачные, вечно волнующиеся большие

озера, и здесь всегда дует ветер, здесь часты вьюги, и бешеные бураны порой налетают, и гнутся под ними деревья, а иногда по округе слышен страшный грохот — обвал. И давно-давно говорили Древние, что сорвавшийся Обвал не вернуть, как не вернуть Время, и в этом вся его безнадёжность, в его движении и невозвратимости, но в этом же есть и его вечность. Скалы занимают огромное пространство. Два хребта тянутся параллельно. От одного из них, на запад, отходит скалистый отрог, рассекающий тайгу. Опасные это места, это очень опасные места, и перелётные птицы далеко облетают их стороной. А по обе стороны отрога тянется тайга, и она сейчас волнуется: деревья гнутся под начинающимся бураном, который в ночь разойдётся, и многие деревья не выдержат и сломаются, а там, если идти вверх по речушке от приземистого зимовья — избушка небольшая поставлена на берегу, на полянке, и дверь зимовья сейчас подпёрта брёвнышком, а из-под снега торчат сломанные нарты, а рядом корчага из алюминиевой проволоки, — там, где стоят два барака, примостившихся среди вековых деревьев, заносятся снегом большие ящики, аккуратно сложенные у стен бараков. Тут же, на земле, лежат металлические конструкции, трубы, стоит больше десяти бочек с бензином или соляжкой — что в этих бочках, знают только те люди, что несколько дней назад привезли сюда всё это на мощных тракторах. И опять уехали куда-то. А среди глыб, на наклонной площадке, далеко от этих мест, на площадке, которой заканчивалась терраса, под пронзительным, с каждой минутой усиливающимся ветром затерялся неуклюжий, корявый человек. Человек невысок. Одет легко. На седой голове старая беличья шапка, с завязанными наверх клапанами. Шапку сорвало ветром и швырнуло в пропасть. А ветер заглушает все звуки, завывает в щелях и расщелинах скал, звенит в жёлтохвойных сосенках, чудом выросших здесь, на краю пропасти... И непроглядная пелена поглотила скалы, и только порой они открываются причудливыми мрачными нагромождениями. А человек сгибается под порывами ветра и всё ходит между глыбами, а плотные полосы падающего снега скрывают человека. А ветер всё усиливается, сбивает с ног человека, и он ползёт. Повалил крупный и густой снег. И всё смешалось в сплошную белую, крутящуюся мешанину, и всё это выло, зло рыдало, хохотало, и человек, маленький человек полз на четвереньках к террасе, ветер хохотал по-сумасшедшему, бросал ему в коричневое лицо хлопья снега; а бешеный ураган несётся по ущельям, и стонут деревья далеко внизу, а бешеный буран несётся неотвратно.

Нилка уезжает

Отрывок из повести

«Чтобы в юрте горел огонь»

Нилка хорошо запомнила тот день, с которого начались все её несчастья. Сквозь сон слышались голоса. Сердито спорили, кто-то убеждал, кто-то не соглашался. К ней подходила бабушка, мягко гладила по разметавшимся волосам. Но всё это смешалось в тягучем смутном сне, в котором вроде бы не грозили ей никакие опасности, и всё же отчего-то было боязно и тревожно. Открыв глаза, она увидела бабушку и молоденькую тётку Уяну — и сразу же забыла о своих страхах.

— Вставай, племянница, вставай, — улыбалась Уяна, — сегодня мы поплывём на настоящем пароходе.

До сих пор Нилка видела пароходы только в книжках, которые ей читала тётка. Там на картинках они дымили широкими чёрными трубами и качались на синих, высоких, как дом, волнах.

— На пароходе? — переспросила Нилка и обняла Уяну.

— Да, девочка, да, — сказала тётка, отводя глаза в сторону.

— Одевайся, дочка, побыстрее, — торопила бабушка Олхон. Она обняла внучку, приговаривая: — Мягонький животик, кругленький животик, пухленький животик...

От бабушки так уютно и по-домашнему пахло арсой¹, свежесделанной кожей, крепким табаком, горячим, только что вынутым из русской печи хлебом и ещё чем-то удивительно родным, что никак не могла определить словами Нилка, но от чего каждый раз сладко заходило сердце и хотелось укрыться с головой, спрятаться в пышных складках её сатинового платья, сшитого, как и всё, что она носила, по одному немудрёному фасону — с обязательным карманом справа, который топорщился от кожаного кисета с табаком и трубки.

Большое, грузное тело бабушки отдавало Нилке такое ровное, щедрое тепло, что она чувствовала себя совсем счастливой.

¹ Арса — молочнокислый напиток.

Матханова Нелли Афанасьевна, прозаик, драматург (род. в 1935 г. в с. Голуметь Аларского р-на Усть-Ордынского бурятского национального округа). Автор книг: *Чтобы в юрте горел огонь*: повесть (М., 1981); То же (Иркутск, 1983); *Взрослые игры*: роман, повести (М., 1988); *Эффект присутствия*: повести (Иркутск, 1989); *Современная сибирская повесть*; *Родные и близкие*: повести, пьесы, очерк (Иркутск, 2008). Автор пьес: *Из Америки с любовью* (постановка в Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова в 1995 г., гастроли в США); *И в Сибири сакура цветёт*, опубл. в сб. двух авторов *Пьесы* (Иркутск, 2004), пост. в Японии в 2012 и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Девочка поглядела в сторону стола, где сидела женщина и пила чай с блюдечка.

Она появилась у них в доме внезапно, несколько дней назад.

Антонина, так звали женщину, кинулась обнимать и целовать Нилку, но встретила молчаливый отпор. Девочку не обрадовали даже городские подарки, которые гостья разложила перед ней. Бабушка сказала внучке, что приехала её родная мать. За всё время, сколько Нилка помнила себя на этом свете, с ней всегда были рядом бабушка и тётка. От них она знала, что мать с отцом и старшей сестрой живут далеко в большом городе. Уяна читала ей письма, Олхон показывала фотографии, но всё равно Нилка не могла понять, почему эта чужая женщина с чёрными блестящими волосами, стянутыми на затылке в тяжёлый узел, с золотыми полумесяцами серёжек в ушах, с громким голосом — её мать.

С появлением Антонины в доме неслышно поселилась тревога. У бабушки стало озабоченное и печальное лицо. Она часто без причины задумывалась и не сразу откликалась, когда её звали. Олхон словно про себя, втайне от других решала какую-то трудную задачу.

А Уяна, весёлая, всегда что-то напевающая, сникала, когда Антонина доставала из чемодана свои городские наряды.

«Молодец, сестра, знай наших!» — говорила Уяна, и на её щеках вспыхивал яркий румянец. Девочка видела, как, уходя на работу, тётка принималась в какой-то раз гладить свою синюю лоснящуюся юбку и чистить мелом парусиновые тапочки.

«Ну, чем не хороша?» — подмигивала Уяна Нилке, притопывая на крыльце ослепительно белыми тапочками, которые фыркали лёгкими облачками мела. Нилке всё нравилось в тётке: её маленькая крепкая фигурка, до коричневой смуглоты загоревшие ноги, тёмные волосы, отливавшие на солнце рыжиной. Уяна недавно завila их в городской парикмахерской и старательно укладывала колечками на лбу, как местная красавица Гарма Забанова.

В последние дни Уяна часто с огорчением рассматривала себя в зеркале. Глядя на неё, Нилка тоже вздыхала — вот ей бы и тётке такой нос, как у Антонины: высокий, с породистой горбинкой, с тонко вырезанными крыльями.

Вон она, гостья, по-хозяйски сидит за столом, пьёт чай из самовара, держа блюдце на вытянутых длинных пальцах, осторожно дуёт на горячий чай.

— Настоящий кипяток. Врачи говорят, это вредно для организма. — Она неспеша берёт чайной ложкой клубничное варенье. — Курить много тоже опасно, берегите себя, мама, — говорит она, растягивая слова.

Нилка видит, как бабушка согласно кивает головой, достаёт кожаный кисет, плотно набивает трубку табаком и закуривает. Ей нравится, когда бабушка затягивается трубкой и сизые колечки дыма, поднимаясь вверх, становятся всё шире, шире и медленно тают в воздухе.

* * *

Они вместе сажали весной табак в огороде, оберегали его всё лето от тли, поливали утром и вечером, а осенью Нилка помогала нанизывать толстые шершавые листья на суровые нитки и развешивать их в тёмном чулане и на сухом чердаке. Постепенно листья сморщивались, желтели. И чулан, и чердак наполнялись горьковатым резким запахом. Когда сквозь щели пробивался случайный

луч солнца, возникал из тьмы клубящийся сноп пылинок, листья оживали, наливались цветом, как свежезаваренный крепкий чай. От сквозняка они слегка шевелились и шуршали, словно шептались о чём-то.

Бабушка резала табак на деревянной доске, снова сушила на печке и долго мяла, перебирала его, так что кончики пальцев становились ядовито-зелёного цвета. Только окончательно убедившись, что табак хорошо просох и достиг своей крепости, она набивала им кожаный кисет и черёмуховую трубку с длинным коричневым чубуком.

Вместе с Нилкой они выбирали самые прочные и гибкие ветви у старой черёмухи, росшей перед их домом. Бабушка резала их на чубуки, потом калила в печке проволоку и выжигала в коричневой сердцевине отверстие для дыма. Работа двигалась медленно: из десяти нарезанных чубуков годился разве что один. Так придирчиво и строго выбирала Олхон.

Потом они садились вдвоём на крылечке, и бабушка начинала обкуривать свою новую трубку. Они могли разговаривать или молчать, греясь в последнем тепле осеннего солнца, и им было хорошо. Приходили соседи, бабушка всех их одаривала табаком.

— Ну и крепкий табак у Олхон! — хвалили они, покуривая бабушкин самосад. И через некоторое время заходили опять за новой горстью табака.

— О чём думаешь, моя девочка? — слышала по утрам Нилка голос бабушки. — Твой рожок все свои песни нам пропел, а ты спишь и спишь. Вставай, дочка.

Девочка смотрела на любимый рожок, который висел над кроватью. Выточенный из серого рога, отделанный серебристым металлом, он был красив, как в первый день, когда его увидела Нилка...

Однажды весной в селпо привезли новые товары. Бабушка стояла в очереди за продуктами, а внучка рассматривала витрину, где среди разноцветных расчёсок, игральных карт, тусклых пуговиц, рядом с одеколоном «Кармен» и хозяйственным мылом лежали перламутровый театральный бинокль и рожок. Увидев, Нилка не могла оторвать глаз от рожка. Дымчато-серый, с тремя белыми круглыми кнопками, с серебристой длинной цепочкой, он сам просился к ней в руки. Но на все её просьбы бабушка отвечала отказом. Только увидев вконец расстроенное лицо внучки, она сказала:

— Подожди, накопим денег и купим.

С тех пор Нилка старалась не мешать бабушке, когда она длинными вечерами при свете керосиновой лампы шила тапочки своим заказчикам. Она помогала раскладывать выкройки, собирала оставшиеся кусочки кожи, терпеливо ждала. Но ни тёткиной зарплаты, ни заработанных бабушкиным шитьём денег всё не хватало. Нилка частенько забегала в магазин и стояла перед витриной. Хотя рожок никто не покупал, она каждый раз просила хмурую продавщицу Лизу никому его не продавать, потому что они обязательно накопят денег и придут вместе с бабушкой.

Только когда почтальонша принесла пенсию за убитого под Сталинградом бабушкиного младшего сына, Бориса, Олхон, взяв деньги, пошла с Нилкой в магазин.

Там они купили бутылку красного вина, килограмм карамели и долгожданный рожок.

Наконец-то настал счастливый момент: Нилка берёт рожок, подносит к губам, набирает полные легкие воздуха и дует изо всех сил. Но вместо весёлой песни раздаётся сдавленный булькающий звук.

— А ты не торопись, дочка. Нажми кнопки, — советует бабушка.

Девочка снова дует в рожок, пробует по очереди нажимать кнопки, и на её весёлый зов оборачиваются покупатели и улыбается хмурая продавщица Лиза.

Потом они зашли к Дарье Карпушихе. Подруги с молодости, сейчас Олхон и Дарья виделись редко. Третий год Карпушиха недвижно лежала на кровати: ревматизм согнул и иссушил её. Девочку здесь всё пугало: маленькая тёмная комната с одним окном, почерневшая икона с лампадкой, горящей голубоватым немигающим огнём, железная узкая кровать с горой разноцветных пуховых подушек и костистое тело тётки Дарьи с неправдоподобно большими руками. Казалось, что руки не её, а принадлежали другой женщине — великанше, до того были широки ладони с потемневшей и грубой кожей.

Дарья обрадовано закивала головой, увидев бабушку.

— Сайн байна ¹, — сказала бабушка.

— Сайн, — кивнула головой Карпушиха.

Бабушка и Карпушиха немного помолчали, словно ожидая, кто заговорит первым.

— Ионин би? ² — спросила по-бурятски Карпушиха.

— Ионин убэ ³, — ответила бабушка, и снова обе замолчали, как будто действительно не о чем говорить.

Нилка знала, что им очень хочется посудачить, но обе молчали, отдавая дань древней бурятской традиции: начало беседы должно быть неторопливым и степенным, нельзя вошедшему сразу тревожить хозяина дома своими бедами и заботами.

— Давненько не бывала, Мария Эрдынеевна ³, — услышала Нилка слабый голос Карпушихи. — Чай, богатыми стали, зазнались?

— Бог с тобой, Дарья. Сама знаешь, как живу, откуда богатство? — сказала бабушка и придвинула свой стул к изголовью кровати. — Пенсию за сына получила. Давай выпьем, помянем Борю моего.

Олхон разлила вино в стаканы. Следуя обычаю, они обе отлили по несколько капель на пол и выпили. Нилка видела, как повлажнели, налились синевой выцветшие глаза Карпушихи, и появился слабый румянец на её жёлтых щеках. Привычным движением она достала негнущимися пальцами из-под подушки колоду старых засаленных карт.

— Скинем, погадаем, Марья. Ты раскладывай, а я говорить буду.

Бабушка не спеша, прямо на кровати, раскладывала карты. Карпушиха с высоты своих подушек долго приглядывалась, хмурилась и, наконец, заговорила с придыханием, как будто торопилась куда-то:

— Нет, ничего, ничего, Марья, добрая карта падает: масть красная одна да крести. Не верь похоронке. Не верь. Жив, жив твой Борис, только далеко он, мается всё один, но подожди, вскорости придёт домой, обязательно придёт...

Бабушка подливала вина Карпушихе, голос Дарьи креп, становился звонче, в нём было столько искренней убеждённости и веры, что Нилке хотелось скорее побежать домой, — а вдруг дядя Борис уже приехал!

Девочка видела, каким просветлённым стало лицо бабушки, она вся сейчас жила в воспоминаниях о своём младшем сыне, об одхончике, как называла она Бориса. Олхон набила табаком трубку, но это было не обычное задумчивое и сте-

¹ Здравствуйте.

² Новости есть?

Новостей нет.

³ В обычае бурят иметь два имени — русское и бурятское.

пенное курение. Внучка слышала частые затажки и хриплое, неровное дыхание бабушки, потом Олхон начала громко сморкаться. Слёзы текли по её лицу, она их не вытирала платком, а смахивала тыльной стороной руки. Нилка сильно жалела бабушку, но молчала, не утешала, зная, что ей не надо мешать.

Бабушка и Дарья быстро охмелели. Ситцевый в синюю крапинку платок Карпушихи сбился набок, седая прядь волос упала на лоб.

— А помнишь, Дарья? — резко поднялась бабушка, оттолкнула табуретку и начала легко и мелко перебирать ногами. Руки её взмахнули, как перед полётом, но вскоре подбито опустились, и она затянула хрипло:

Эх, смерть пришла,
 Меня дома не нашла.
 Меня дома не нашла,
 Я в гостях была...

Вдруг бабушка перешла почти на крик:

— Меня не нашла, а Борю, сыночка моего, нашла!..

Олхон уже не пыталась плясать, она стояла на одном месте, жалобно причитая и плача. Потом, обессилев, тяжело уселась на табуретку к изголовью Дарьи.

Ещё долго подружки разговаривали. Возбуждение от выпитого вина проходило. Карпушиха изредка кивала головой, её обмякшее тело глубоко вдавливалось в подушки, голос прерывался и слабел. Говорила бабушка. Она вспоминала, как дружили с детства Борис и средний сын Дарьи — Антон, как вместе сдавали экзамены за десятый класс. Какой весёлый был Борис, когда получил свидетельство отличника, как хотел стать учителем! И тут война, Бориса и Антона вместе с другими добровольцами провожало на фронт всё село. Антон вернулся, работает в колхозе шофёром, а Бориса нет. Давно лежит в верхнем ящике комода похоронка, пришедшая в сорок третьем году из Сталинграда.

— Эх, был бы жив Борис, работал бы сейчас учителем в нашей школе. Я бы внуков нянчила, — печалится бабушка.

— Ты что, Марья, бога гневишь... — шелестит бескровными губами Карпушиха. — Вон у Лидии Мансуровой муж вернулся после похоронки, жив, здоров. Может, и Борис где-то служит, а сообщить о себе ему нельзя, тактика не велит.

Олхон затихает от малопонятного слова «тактика», докуривает трубку самосада, выбивает тщательно пепел и прощается.

Бабушка и внучка идут в потёмках по длинной улице села. За глухими заборами хрипло лают собаки, спущенные на ночь с цепи. Радуюсь недолгой свободе, псы в отместку хозяевам за тоскливое дневное сидение устраивают сварливую перебранку. Нилка вздрагивает, когда слышит близко горячее дыхание и лай собак.

Олхон идёт, не глядя под ноги, не обращая внимания на щели и дыры в тротуаре. Походка у неё не такая уверенная, как днём, неровная, будто вот-вот споткнётся и упадёт. Нилке тревожно за бабушку, она крепко держится за её руку и торопит домой.

Девочка знает: сегодня бабушка долго не заснёт, снова в какой раз Уяна станет перечитывать при тусклом свете керосиновой лампы солдатский треугольник — последнее письмо Бориса, присланное из госпиталя. А вернее, это было не его письмо, писал сосед по палате под диктовку Бориса.

«Дорогие мои, родные! Сейчас я лежу в полевом госпитале. Рана серьёзная,

но не опасная, так что, мама, сильно не переживайте за меня. Здесь много земляков-сибиряков, они меня подбадривают. Мы все в госпитале живём одной надеждой: скорее бы поправиться. Часто вспоминаем родных и свои родные места.

Эх, скорей бы закончилась война! Вернусь я домой, и все поедет в город. Мы с сестрой станем учиться. Нилка будет жить с нами. Берегите себя. Борис».

Бабушка будет слушать так, как будто дочь читает письмо впервые. И на каждое слово в письме у неё найдутся самые разные предположения, и все они только о лучшем, благополучном исходе. Уяна и Нилка станут поддакивать Олхон. А потом они в какой раз поверят, что похоронка — обман, ошибка военного писаря, что надо набраться ещё немножко терпения. И тогда обязательно придёт Борис, невредимый, весёлый, как прежде. Они вчетвером поедут в город. Уяна будет учиться в техникуме на ветеринара, Нилка в школе, Борис в институте. Бабушка станет шить платья, жакеты, тапочки, вязать варежки и шапочки — всё, что нужно городским модницам, ведь такие сноровистые руки, как у Олхон, трудно найти в большом городе...

Поздно вечером, успокоясь, бабушка достает из громадного сундука, окованного по углам узорчатым железом, заветный костюм, который надевал Борис на выпускной вечер в школу. Олхон встряхивает костюм, проверяя, не завелась ли моль, пересыпает свежей махоркой. Потом украдкой взглядывает на новенькие, ни разу не надёванные хромовые сапоги, которые выменяла зимой у проезжих горожан за два куля картошки. Стоят, brave, ждут, не дождутся своего молодого ловкого хозяина.

* * *

Утро началось с суматохи и неотложных дел. Нилку одели в новое сатиновое синее платье в белый горошек и новенькие туфли, которые привезла Антонина. Тётка заплела ей две тугие косички. Теперь она была готова к отъезду, и ей не терпелось поскорее отправиться в город.

Ей казалось, что Уяна и Антонина слишком медленно собираются. Скорее бы, скорее закрыла Антонина свой скрипящий чемодан! Они с Уяной поедут в город, проводят Антонину, прокатятся вдвоём на пароходе, вот только жаль, что бабушки не будет с ними. Нилка даже поделилась своими новостями с дворовым псом Далайкой, который в ответ на откровенность благодарно лизнул её в щёку.

Наконец вещи уложены, чай выпиты, все ненадолго присели перед дорогой. У ворот затарахтела полуторка Анто́на, сына Дарьи Карпушихи. Нилку посадили в кабину, Уяна и Антонина забрались в кузов. Бабушка торопливо совала внучке конфеты и пряники, обнимала и целовала, но той хотелось одного — лишь бы машина тронулась в путь. Наконец полуторка двинулась вперёд, поднимая облако белёсой пыли.

Уставшая от духоты, запаха бензина и долгих сборов, Нилка сразу уснула. Её разбудили, когда машина стояла у входа на пристань. Девочка никогда не видела такого множества людей и даже растерялась от говорливой, беспокойной круговерти толпы. Словно она, Уяна и Антонина были сами по себе, в то время как люди, заполнившие речную пристань, охвачены одним стремлением попасть на большой пароход с дымящими трубами, откуда со свистом вырывался белый пар, снующими матросами и глухим гудением невидимых сильных машин.

Постепенно, чем ближе они подходили к пароходу, Нилкина растерянность исчезала, уступая место любопытству.

Мужчины, нагруженные чемоданами и узлами, женщины с детьми на руках пробивались к узкому трапу, где стоял в белом кителе с золотыми нашивками усатый капитан. Нилка видела, как рядом с капитаном появилась мать и протянула ему билет. Он вежливо кивнул и даже взял под козырёк, но она не уходила с прохода, задерживая пассажиров, что-то объясняя ему, показывая пальцем на толпу. Нилке показалось, что понятливые глаза капитана остановились на ней, он согласно кивнул головой, и успокоенная Антонина отошла в сторону.

— Ну что, племянница, пойдём на пароход? — виновато улыбнулась тётка, взяла Нилку на руки, крепко прижала к себе и, вздохнув, пошла к трапу.

Посадка уже закончилась, Уяна бегом поднялась по трапу, поставила Нилку на палубу и, не прощаясь, не оглядываясь, побежала назад.

— Уяна, Уяна! — громко закричала девочка, но пароход, дав на прощанье оглушительный гудок, медленно отвалил от причала, на краю которого стояла тётка. И чем шире становилась полоса зеленоватой воды, разделявшая их, тем сильнее плакала и кричала Нилка.

Она не понимала, что ей говорит и объясняет мать, она не уходила с палубы, звала бабушку и тётку и просила, чтобы пароход отвёз её назад в Шиберту. Как-то мать увела её в каюту.

Девочка больше не звала бабушку и тётку, затихла, затаилась и думала только об одном: почему они отдали её, зачем, зачем они посадили её на этот ненавистный пароход! Но постепенно возмущение и обида гасли, на них просто не хватало сил. Ей стало всё безразлично. Она безвылазно сидела в каюте и тупо смотрела в круглое стекло иллюминатора на каменные нескончаемые берега.

На другое утро густой мокрый туман опустился на реку. Нилке показалось, что они находятся на дне глубокого колодца. Пароход громко гудел, боясь сесть на мель. Слышались команды капитана в рупор, суетливый топот матросов. К полудню посветлело, стали появляться синие окошки неба и солнечные прогалыны на берегах. Девочка всматривалась в них, будто надеялась увидеть родную Шиберту.

И вдруг ей показалось, что пустынный берег ожил. Вот и большой пятистенный дом бабушки Карпушихи. Те же скрипучие покосившиеся ворота под козырьком. От старости они обросли мхом, он ярко зеленеет в тех местах, где чаще бьёт дождь. На левой половине ворот деревянная резьба сломалась, на правой же сохранились затейливые завитки. Утреннее солнце освещает их, и кружевная тень повторяет все линии рисунка. Оттого, что Нилка узнавала привычное легко, с пронзительной отчётливостью, её сердце забило часто, торопливыми рывками. Казалось, радуется за свою памятную хозяйку.

Отворяется дверь. С высокого крыльца сходит Дарья с самоваром в руках. Самовар полон воды. Дарья несёт его на прямых вытянутых руках, плотно прижав локти к бокам, и спина у неё прямая, не хвоя.

Нилка удивляется, что болезни покинули Карпушиху, ей хочется крикнуть: «Бабушка Дарья, я здесь!» — но нет сил даже тихо сказать эти слова...

Всё тянутся, тянутся незнакомые, неуютные берега.

И снова перед нею родное село.

Однорукий пастух Трофим гонит коров к узкой илистой Шибертинке на водопой. В одном кармане засаленного пиджака торчит бутылка с молоком, в другой засунут пустой рукав. Когда пастух резко вскидывает единственной рукой бич, раздаётся оглушительный щелчок, пустой рукав выскальзывает из карма-

на и болтается на ходу. Ещё долго видна фигура Трофима, слышится его незлая брань, и Нилке кажется, что у него две руки, только двигаются они странно не в такт, каждая сама по себе...

Красавица Гарма Забанова идёт по щелястому тротуару в красных туфельках на высоких каблуках. Её толстая коса касается кончиком голых икр, левый глаз таинственно прикрыт завитым локоном. Все прохожие любуются ясным, точным лицом Гармы. Только Гарма может идти так уверенно и гордо.

Нилка видит знакомых и незнакомых и мучительно ждёт, когда же появится их дом в два окна, с облупившимися, давно не крашенными ставнями. Перед ней мелькают картины, сменяя одна другую, но нет и нет среди них бабушки Олхон, нет смешливой молодой тётки Уяны.

Ведьма

Рассказ

С самой гражданской войны мы с матерью мечту имели корову завести. Да вдове с сыном-подростком не так легко сбить деньжонок на обзаведение коровой и теперь-то, а в те, нэповские времена, и подавно! Особенно в городке таком, как наша Навля. А корове в придачу сено подавай, отруби принеси, сарай тёплый предоставь. Тут и другие расходы по дому — успевай только поворачивайся!

В общем, пока дождалась от меня мама первой полочки, козой пробивались. Только начали на корову откладывать, забирают меня в армию.

Но мать выкрутилась как-то и пишет мне в часть: «Дорогой сыночек, телку я купила. Пока служишь, подрастёт она, огуляется...» Обрадовала меня мама. Добре, думаю, с коровой дом наш станет полная чаша. А в таком доме и детям плодиться... А то ведь запущенное гнездо у нас с пятнадцатого года, как пошли голодовки да войны. С коровой многое возвратится к нам. Служить радостно после таких вестей — придёшь не на пустое место!

В десятку мать попала. Намаялся в казармах, находился в строю да поел солдатских каш, милей дома ничего и придумать уже нельзя. И я во сне начал видеть двор наш, телку, радостную матушку возле неё... Проснёшься, увидишь нары, и сердце заломит: «Сбудется ли тот сон?»

Но сбылся-таки в конце концов. Демобилизовали наш призыв, и приехал я в Навлю свою утренним поездом. Вагон не остановился ещё, как соскочил я на перрон.

Любой столб телеграфный поцеловать хочется, пропылённому лопуху поклониться, а воздух с запахом парного молока пил бы целыми крынками.

Как раз хозяйки коров выгоняли в стадо. И мать моя хворостинкой гонит

Машкин Геннадий Николаевич, прозаик, публицист, детский писатель (1936, Хабаровск — 2005, Иркутск). Автор многих книг, в т. ч.: *Младший пароход*: повесть (М., 1966); То же (Иркутск, 1968); То же (М., 1971, 1976); То же (Красноярск, 1981); То же (М., 1982); *Синее море, белый пароход*; *Арка*: повести (Новосибирск, 1967; *Молодая проза Сибири*); *Распадок*: рассказы (М., 1969); *Открытие*: роман (М., 1973; *Новинки Современника*); *Под парусом*: повести и рассказы (Иркутск, 1973); *Жених и невеста*: очерки (М., 1976; *Писатель и время*); *Секрет*: повести и рассказы (М., 1978; *Новинки современника*); *Егор, сын охотника*: повести и рассказы (Иркутск, 1979; *Современная сибирская повесть*); *От мала до велика*: повести (Иркутск, 1982); *Письменная работа*: роман-хроника (М., 1985); *В день суда*: повествование в двух романах (Иркутск, 1987; *Советский сибирский роман*); *Стенкой и в одиночку*: воспоминательное повествование (Иркутск, 1998); *Таинственные Лены берега*: Сибирский триптих (Иркутск, 1999) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

свою коровёнку... Да не коровёнку, а коровищу! Как под парусами плывёт наша Белянка. Жвачку важно жуёт на ходу, слюна порозовелая от солнца свисает, вымя, как ведро, раскачивается...

— Афоня!

— Я, мама, я!

Тут уж не до коровы стало. Кинулась мать ко мне, а я её на руки поднял, будто девчонку, и во двор внёс.

— Ну, гора с плеч, — говорит мать, а у самой то слезы, то смех, — мужчина в доме!..

И сходу стала мне объяснять, где починить что надо, какие девки на выданье, да сколько с Белянкой хлопот...

В общем, оперативно в курс дела ввела. А коровой нахвастаться не может. Да я и сам уж видел, наша Белянка прямо нэпмановская жена. Мать перед нею девочка-подросток. Но по опыту уже знаю, внешность обманчива.

— Как доится твоя Белянка? — спрашиваю по-хозяйски.

— А вот увидишь, сынок, — улыбается мать и тащит меня в дом. — Отведай пока молочка её, а удой в обед замеришь.

Пошла мать в обед с подойником на луга и еле прёт обратно молоко. На ходу хвастается соседкам:

— Вот корова — жизнь прожила я, такой не видела. Не соски, а кранты прямо!

— Ой, девка, помолчи, а то сглазишь, — говорит ей старуха Кандочиха. — Что видней, то больней!

Ну, мать на неё тут и напустилась. Старой завистницей обозвала, шарлатанкой, сводницей, сплетней ходячей. Только ведьмой побоялась назвать. А слух такой ходил, будто ведьма наша Кандочиха. И хоть антирелигиозные лекции у нас аккуратно читались в клубе, народ кое в какие чудеса верил. И к той же Кандочихе бегал потихоньку лечиться от сглазу, порчи, бесплодия, да и чисто медицинских заболеваний. В общем, авторитет знахарский у Кандочихи большой был, никто ей перечить не смел.

А мать сгоряча-то её по-всякому обозвала. Та же в ответ усмехнулась только, по цебарке своей легонько постучала и что-то шепнула. Мать значения не придавала этому. Активистка она в швейной мастерской. На слёт передовиков в Брянск выезжала. Одна, может, и не стала бы она в пузырь лезть. А перед соседками нельзя было слабины давать. И отчубучила как следует Кандочиху.

Пришла домой и тут расслабилась. Давай мне всё пересказывать.

— Что-то будет, — бормочет, — что-то сдеется худое...

— Не стони, мать, — прикрикнул я на неё, как нас учили командиры. — Выше голову, раньше времени духом не падай!

— Ровно кто за язык тянул, — жалуется она.

— Правильно сделала, — говорю. — Что с трибуны читается, должна в народ нести как активистка!

Маленько утомил её. Вздохнула матушка, побрела молоко цедить. А я брошюрку нашёл «Поверья и суеверия, их вред и разоблачение». Почитал, удостоверился, что никакого сглазу быть не может, и на том успокоился.

Вечером мать снова цебарку полную надоила. Кружку мне глиняную налила, а от молока запах, будто лицо в травы луговые зарыл и вдыхаешь. Краюшку хлеба откромсал от булки, днём только испечённой. Ничего тебе больше не надо.

— Спасибо, мама, уважила...

— Пей на здоровье, сынок.

Пью молоко парное, хлеб ем, только корочки похрустывают на зубах. Нахваливать начинаю корову. А матери того и надо. Бегаёт вокруг меня, как комсостав возле новобранца, и планы дальнейшие обсказывает. Как женюсь я и как на Белянкином молоке мои ребятишки справнеть будут.

Поздно разошлись мы с мамой. Всю ночь мне молоко снилось, как пьёт его наша рота. Будто Белянка всю роту напоила.

Эх, и отдых начался у меня после службы! Уж и в самом деле подумываю о женитьбе, выхожу на улицу по вечерам, невесту присматриваю.

А противник в это время с другой стороны к нам подкрадывается.

Разбудила раз меня мать поутру, и лицо у неё как в голодовку — синее.

— Афоня, молока нет у Белянки!

Сама показывает мне дно подойника. А там молока — кот наплакал, и в том прожилки крови.

— Сгубила ведьма Беляночку нашу! — заныла мать, будто покойника оплакивала. — Чего ж теперь делать-то, сынок?

— Не плачь раньше времени! — отвечаю ей. — Может, простой перерыв... Не водопровод, животины всё же... Мало ли какая болезнь приключиться может!

Собрался я по-военному и погнал Белянку в стадо. Идёт корова наша бойко, будто и надо так. Глаза чистые, стекло стеклом, ресницы длинные, как у модницы. «Что же ты, коровка, подкачала? — спрашиваю про себя Белянку. — Какой напасти поддалась?»

На обеденную дойку мать не пошла со всеми бабами вместе. Выждала, как разведчик, когда Кандочиха пройдёт и другие соседки. Тогда уж отправилась со своим подойником на луга. Косынку на самые глаза припустила, чтобы гордый вид с себя снять.

Я слежу с сеновала. Далеко вижу — сверкает ещё цебарка под солнышком. Вот мать присела под Белянкой, соски ей марлечкой промыла и давай: цвирк-цвирк. Ладно поработала, вижу, вроде всё нормально. Только возвращается не как в прошлые разы. Руки меняет реже. И лицо всё же пасмурное.

— Ну что, мам? — спрашиваю. — Как дойка?

— Не то, — отвечает, — наполовину от прежнего...

— Ладно, — говорю, — дождёмся утра.

Наутро мать показывает мне подойник — чуть молока на дне.

— Как рукой отрезало, — говорит, а у самой слезы по лицу. — Придётся к Кандочихе с поклоном идти...

— Отставить! — приказал я тут матери. — Ветеринара приглашу — разберётся.

А ветеринар от нас через три дома жил, Константин Матвеевич.

Коров тогда держали многие, свиней, гусей, индюшек. И Константин Матвеевич был поэтому уважаемый человек. Идёт по улице в своей парусиновой фуражечке, в кительке и хромовых сапожках, все бабы кланяются ему; «Здрасте, Константин Матвеевич». И он приветливо спрашивает, как там здоровье бурёнок. Кто корову посмотреть зовёт, кто поросёнка выложить, кто определить, отчего куры на ноги садиться стали. Везде бутылочка ветеринара ждёт, конечно, с закусочкой.

Я тоже обзавёлся бутылкой первачу, поставил её в погреб и выжидаю захода солнца, когда Константин Матвеевич домой с работы пойдёт. Открываю перед ним калитку.

— Будь добр, к нам, Константин Матвеевич. — Он протиснулся во двор.

— В чем дело, соседи?

Мы с матерью обсказываем всё, что с Белянкой приключилось. Кандочиху не вспоминаем, конечно. Просвещённому человеку только смех.

— Да, тут что-то серьёзное, — говорит наш ветеринар и достаёт эту свою слушалку, которая стетоскоп называется.

Подошёл он к Белянке. А она глазом на него равнодушно повела, будто никчёмный человек перед ней, жвачку свою даже не перестала смалывать. А молоком от неё пахнет, слюнки текут. Константин Матвеевич попробовал за соски — не даёт Белянка молоко.

— А утром выдоено? — спрашивает Константин Матвеевич.

— До крови, — отвечает мать.

Константин Матвеевич свой стетоскоп в уши затолкал, а слушалку к Белянкиным бокам. Слушал, покусывал свои усики, в зубы заглядывал нашей корове, под хвост, а потом руками развёл.

— Феномен какой-то, граждане-соседи.

— А не ведьма выдаивает? — сорвалось с языка матери.

У Константина Матвеевича морщиночка каждая на загорелом лице заюлила.

— Похоже, что ведьма...

Ну, я не дал в неловкое положение нашего ветеринара ввести.

— Пойдёмте, Константин Матвеевич, обсудим эту диверсию за чарочкой первачка.

— Нет, не заработал я, — крутит он головой. — Необъяснимый феномен.

Ссутулился наш ветеринар и пошёл со двора прямо на улицу. А мать сорвалась с места и — в сенцы. И ну накладывать в маленькую кошелочку яйца из большой корзинки.

— Кандочихе это, — объясняет, — задобрю — отколдуует...

— Я тебе задобрю! — рыкаю на мать. — Что за поддержка тёмным силам? А ну, оставь взятку! Я сам за лечение возьмусь.

— Да как же ты это возьмёшься? — причитает мать.

— А как в армии учат действовать в подобных случаях! — отвечаю. — Выслежу врага!

Всхлипнула мать и побежала поило готовить корове. А я пошёл под навес топор точить на бруске. «Кто бы ни был, — думаю, — а от Афони Гвоздилаина не уйдёшь».

Отточил я топор, как бритву. Луна в нем точно в стеклине отразилась. Полюбовался я на лунное отражение и к Белянке в сарай — нырь. Завалился на сено у дверей и топор приготовил. «Лезь теперь, ворюга!»

Никого. Луна щелки прошибает, и вроде какие-то видения перед глазами начинаются, как в кино. Встряхнусь и руку на топор: не смей спать, Афанасий Ильич, на посту стоишь! Вздыхает Белянка, человек и человек, жуёт во тьме, как боец-первогодок, который посылку из дому получил.

«Ну, где же ты, ведьма, где?» На часы посмотрел — двенадцать. Тут меня оторопь взяла. А вдруг в самом деле! Вылетело из головы, что в школе внушалось и в армии. Одни рассказы про чертей, домовых и ведьм остались. «В каком виде, — думаю, — явится? Колесом представится, хорьком или женщиной-раскрасавицей?» И начал молитвы припоминать, которым бабка в детстве учила: «Отче наш, иже еси на небеси...»

А курить хочется — мочи нет. Но терплю: приучил себя в армии терпеть. Плохо, луна всё не выглядывает из-за тучек. Топчется в темноте Белянка, а не видно ни черта. Может, ведьма доит её, а я сижу, как попка, рядом! Подползти бы,

да страшно в такой темноте себя выдавать. При луне как-то меньше боязни. А тут вроде оковы на тебе.

Первые петухи пропели, вторые прокукарекали, третьи... Мать зазвенела ключами. Свет полоснул по сараю.

— Кого видел, Афонь?

— Вроде никого.

Мать к вымени. И доить не стала. Головой только качнула горько.

— Нет, сынок, без Кандочиhi тут не обойтись...

— Погоди, мать, — отвечаю ей. — Не приучен я отступать, буду полной ясности добиваться!

Ушёл в избу на отдых. Проснулся, когда уж городок затихал. Быстро наша Навля успокаивается. Стадо загнали, на лавочках у домов пощелкали семечек и на боковую. Только парни-допризывники с девками на пяточке ещё поигрывают. Слышу, уже частушку поют про меня:

У Афони, у малого,
Заколдована корова!
Если б девок целовал,
Никто б её не колдовал!

Вот, думаю, телята, уже сочинили. В армию попадёте, отсочиняетесь. И девки забудут частушки петь да плясать. Про жизнь серьёзно думать начнёте.

С этими мыслями забираю топор и на свой пост устраиваюсь. Небо в звёздах, воздух мягкий, луна точно гарбуз над крышами повисла. Сарай наш весь простелен лунными скатёрками. Мысли у меня сразу потекли насчёт ремонта сараюшки. Да и дому пора капремонт делать: стены прогнили. «Стыдно молодую жену вести в такой ветхий дом... Но сначала корову от напасти избавить. В чем тут дело, разобраться надо!»

Думаю так, а сам на часы поглядываю. Часы-то у меня именнные, перед строем дарил командир полка за проявленную находчивость во время учений. Двенадцать подходит. Морозец по коже начинает погуливать. Гляжу на все щелки как бы одновременно, любое шевеление не пройдёт мимо такого взгляда. Про Белянку сердце пока спокойно: стоит, вроде как терпеливо дожидается своего дойщика.

«Кто же он, твой дойщик, Белянка? Человек или зверь?»

И тут Белянка переступила с ноги на ногу. Крупом своим выпятилась из тени на лунную скатёрку. И увидел я, как шевелится возле задних ног её какая-то гадина.

Помертвело во мне всё, будто гипнозом меня эта гадина обдала. Ни рукой, ни ногой пошевелить не могу: вот чем ведьма, значит, прикинулась! А она извивается вокруг задней ноги, ползёт, к вымени тянется. Впилась в сосок и давай тянуть молоко, волны по всей пробегают до самого хвоста.

Попила из одного соска, другой своим ротком обжала. Я топор забыл, смотрю, как насыщается змеюка. Вроде как в меня самого впилась, и поделать ничего нельзя.

Наконец отвалилась и поползла в угол гадость эта. Ну, тут у меня случился прилив крови. Военная закалка дала себя знать: выследил противника — не упусти.

Вскочил я с сена, кинулся за гадюкой и рубанул её топором. И будто шланг перерубил я. Слышу, молоком парным запахло, кровью. Замутило меня, как после дрянной самогонки.

Мать выскочила из дома, ничего не поймёт. Молока мне подсунуть пытается, а меня сильнее мутит от этого.

Еле отошёл я, чуть всего не вывернуло наизнанку. Долго потом не мог на молоко смотреть.

Правда, и молока-то своего в доме совсем не стало.

Наутро мы разглядели с матерью ту змею.

Жёлтые пятнышки на черепушке — уж! И Беянка вроде как телка поила его молоком. Вот какой феномен оказался — ужака!

Вывесил я для общего обозрения зарубленного ужа на заборе.

Смотрите, соседи, что за ведьма доила нашу корову, просвещайтесь!

Кандочиха подошла к ужаке, покачала кудлатой головой, поприщуривала чёрный глаз и говорит:

— Продайте корову в другое место, худо будет!

— Ладно тебе, старая, каркать! — прикрикнул я на неё. — Теперь всё в норме!

— Ну, как знаете, соседи... Моё дело — предупредить, привыкла ваша Беянка к ужаке... Теперь сдохнуть может вполне, если место не переменить...

И будто в воду глядела, карга. Беянка, в самом деле, давай худеть, доиться совсем перестала. Какие порошки ни прописывал Константин Матвеевич, ничего не помогало. Сдохла Беянка к осени.

Мать плакала, как по малому ребёнку.

— Ой, да что ж я сразу не пошла к Кандочихе, послушала кого!

— И не пойдёшь! — ответил я матери. — Никому не кланялись и не будем!

— Как же не будем, когда кругом дыры и заткнуть нечем?!

— Не плачь, мать, поеду в Сибирь на заработки. Заработаю на всё... Восстановим хозяйство, не бойсь.

Так и попал я в Сибирь-матушку из-за нелепицы вроде бы. А если разобраться — законно.

Шишкобои

Отрывок из повести «Кандаурские мальчишки»

Вскоре, вечером, выбравшись из-за стола, я сказал:
— Мама, завтра мы идём в тайгу.
— В тайгу? Шишки-то ещё не успели.

— Когда поспеют, мы вдобавок сходим.

Мама в прошлом году сама шишковала и однажды провалилась с кулём в «окно», ей помогли выбраться бабы. С тех пор она побаивалась зыбуна.

— Вы пойдёте еланью?

— Болотом.

— Болотом я тебя не пущу.

— Почему? — обеспокоился я. — Колька с Шуркой ходят, и я пройду. У меня такие же ноги.

— Ноги-то такие же, да чутья нету. У здешних особое чутье на болото.

— Да я, мам, буду ступать нога в ногу.

— Вот как раз и провалишься.

— Не провалюсь. Мы овечку из трясины вытягивали — не провалились. Нас же трое. Мам? — взывал я.

Мама, наконец, согласилась.

Мы допоздна говорили с ней о таёжных неожиданностях, о шишковании колотом. Колот — это бревно, которым с помощью верёвок бьют стоймя по кедру, и спелые шишки от сотрясения срываются с веток.

— Тяжело это — колотом, — сказала мама. — Бьёшь — тяжело, а другое — носишь его от кедра к кедру, носишь на горбушке, не иначе. Прошлый год мы с бабами прямо надсадились. Вчетвером подыдем колот-то — и пойдём. Одна оступится, и все валимся, как снопы.

— Мам, а папка у нас сильный? — вдруг спросил я.

— Папка? Сильный. А что?

— Он смог бы с колотом один управиться?

Михасенко Геннадий Павлович, прозаик, детский писатель (1936, Славгород Алтайского края — 1994, Братск). Автор книг: Собрание сочинений: в 4 т. / ред.-сост. Г. Сапронов, А. Кобенков; худ. С. Элоян (Братск, 2001); *В союзе с Аристотелем*: повесть (Новосибирск, 1965); *Пятая четверть, или Гость падунского Геракла*: повесть (М., 1970); *Неугомонные бездельники*: повесть (Иркутск, 1972); То же (Калуга, 1993); *Тирлямы в подземном царстве*: сказочная повесть (Иркутск, 1973); *Я дружу с Бабой Ягой*: повесть (Иркутск, 1979); *Гладиатор дед Сергей*: повести (Иркутск, 1983); *Кандаурские мальчишки*: повесть (М., 1983); *Милый Эп*: повесть (Иркутск, 1988); *Кандаурские мальчишки, Неугомонные бездельники*: повести (Иркутск, 1991: *Сибирская библиотека для детей и юношества*) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

— Смог бы.

— А с двумя колотами?

— И с двумя бы управился.

— А с тремя?

— Ну, если бы мы с тобой помогли, то и с тремя бы тоже сумел.

— Вот здорово! Вот мы поishiкуем, когда папка вернётся. В три колота как возьмёмся — тайга загудит.

У меня перед глазами, как наяву, возникла такая картина: папа в гимнастерке с закатанными рукавами, в кепке с козырьком вбок, как у Шурки, весело и задорно дёргает за верёвки сразу три колота. Один колот поддерживаю я, второй — мама, а третий — сам по себе. И вот три бревна враз ударяют по кедром, кедры дрожат, и тайга начинает гудеть раскатисто и глухо.

— Мама, а тайга гудит от колота?

— Гудит, — ответила мама, задумчиво глядя куда-то мимо меня, и вдруг спросила: — Миша, а ты очень веришь, что папа вернётся?

— Конечно, вернётся! А разве ты — не веришь?

Мама улыбнулась, провела рукой по моей голове.

— Как же это я не верю? Верю. Я не просто верю, я уверена, что папа вернётся и будет с нами шишковать и работать. И сидеть за столом, и вот так лежать и разговаривать... Как увидит папа кандауровское болото, так и начнёт хлопотать об осушении. Папа наш очень не любит болота, у него и специальность такая — с болотами воевать.

— Нет уж, нет, — сказал я. — Мы ему не дадим болото осушать.

— Кто это: мы?

— Мы — ребяташки. На болоте интересно.

— Ну, про это вы с папой поговорите, мне всё равно.

Я укладывался спать с каким-то лёгким, радостным чувством и с крепкой верой в светлый завтрашний день.

Утром мы отправились в путь.

Мы втроём вырядились в походную форму, в сапоги, куртки поверх рубашек и кепки. Кроме еды, взяли спички и большой кухонный нож. Складень мне и хотелось взять, и в то же время я боялся его потерять. Наконец, я решился и спустил его в карман. <...>

Мы шли бодро, радостно, предчувствуя необычайность всего предстоящего. Я нёс котомку с провизией, а Колька мешок из холстины, перевесив его через плечо. <...>

Миновали тальник и камыш, следуя исхоженной тропой. Колька приказал идти не по самой тропе, а рядом, потому что мох на тропе вытоптан и легче провалиться. Начался забун. Мы с Витькой ойкнули, когда ноги на полсапога ухнулись в воду, и попятились.

— Вы чего мнётесь?

— Смотри, нога-то вязнет... А дальше как?!

Колька ничего не ответил, повернулся и, чавкая сапогами, пошёл через болотную поляну. На середине её он остановился и принялся пружинисто раскачиваться. Забун колыхался еле заметными кругами, как от поплавок при хитром клёве, и держал вроде крепко, только вода грозила хлынуть в сапоги. Колька сделал несколько шагов от образовавшейся воронки и крикнул:

— Видали?... Айда, а то один упрётся...

— Пошли, Вить, не утонем.

— Рискнём.

Рыхлый мох вдавливался. В ямку к ноге устремлялась вода, но делался шаг, и вода устремлялась к другой ноге. Так и чудилось, что под подошвой — бездна, куда суждено провалиться, если не сейчас, так через десять шагов.

— Наступайте, где трава, — учил нас издали Колька.

Он поджидал нас на твёрдом клочке, заросшем каким-то мелколистным кустарником. К нашему ужасу, впереди раскинулась такая же поляна, какую мы только что преодолели.

— Сколько ещё таких? — спросил растерявшийся Витька.

— Пять, — успокоил Колька. — Вот эта и потом четыре, те поболее... А там озеро... Пошли?

— Дай отдохнуть.

Я оглянулся. Отсюда хорошо был виден бугор, мёртвая берёза, а левее — Кандаур, спичечные коробки домишек, лоскуты огородов. От этой кажущейся близости жилья становилось бодрее.

— Ну айдате!.. <...>

С первых же шагов вода хлынула в сапоги верхом. Пропало чувство равновесия. Шагаешь будто по небу, так и кажется, что валишься на бок.

— Где же твёрдо? — растерянно спросил Витька.

— Не сразу же... Скоро...

Но прошли уже до середины, а под ногами по-прежнему податливо прогибался мох. Я понял, что ничего твёрдого не будет. Когда мы выбрались на островок, Колька сказал с улыбкой:

— Вот, я соврал и, глядишь, прошли, а то бы топтались на той стороне.

Та сторона! Как она была далеко! Не верилось даже, что мы были там. А впереди опять блестела вода.

— «Тарелка», — пояснил Колька. — Жрать вас не манит?

— Нет ещё.

— Тогда ладно, стерплю.

«Тарелка» — озеро, прозванное так за свою круглую форму. Возникшее среди болота, оно поражало чистотой и опрятностью. <...>

Лес начал темнеть. Березняк отстал. Хмуро придвинулись сосны, ели и большие, обделённые зеленью берёзы, с черноватой, будто подпалённой корой, совсем не такой, как у чистоствольных полевых берёз.

Комары, мало досаждавшие нам, теперь остервенели. Они окружили нас облаком и проникали всюду: в рукав, за пазуху, даже в штаны. Мы чесались, принимались бежать, но чем дальше в лес, тем больше комаров. Хотелось живьём кинуться в костёр и сгореть. Но раскладывать костёр было некогда. Пришлось подтянуть вверх куртки, заправить воротники под кепки и застегнуться, оставив щели для глаз. Руки покрылись твёрдыми волдырями и прямо разрывались от зуда. А тут ещё встретились дремучие заросли крапивы. Мы их разнимали животами, а руки держали поднятыми, будто сдавались в плен. Подлые комары не зевали и ели нас поедом.

— Вот собаки, — ругался Колька. — Токо что лаю не хватает. — И вдруг крикнул: — Ребя! Вон кедр.

— Где они?

— Вон... Шас выйдем. Вон. <...>

Кедрач не сплошь заселял здесь тайгу. Он был разбросан пятнами, островами, которые возле речушки назывались Шугайскими. Перед нами и раскинулся один из таких островов.

Мы поели, оставив про запас, обулись, напились из Шугайки холодной воды

и перебрались в кедрач. И тотчас комары, вылетая из засад, снова набросились на нас.

Колька озабоченно шарил глазами по вершинам. Я тоже задрал голову, хотя не знал, что, собственно, следует высматривать.

— Колька, а что ты ищешь?

— Что получше.

— Да лезь на любой — везде шишки висят, — рассудил Витька.

— Мне чтоб сразу полмешка, — пояснил Колька. — Чтоб не зря царапать брюхо... Вон тот шишकाстый. — Он перепрыгнул колдобину и бросил мешок возле одного из кедров. — Щас шест вырежу.

А мы с Витькой живо насобирали валежника, сухой хвои, накрошили сверху сырой травы и подожгли. И пока Колька возился с шестом, мы поочередно совали распухшие лица в густой белый дым и, затаив дыхание, коптили физиономии. Комары только гудели, но не жалили. Наконец, Колька сказал:

— Я полез... Вот только зря так напузырил я, — он помял себе живот, — вниз тянет.

Я предостерёг:

— Смотри, не сорвись. Сам-то пролетишь между веток, да живот застрянет.

Колька плюнул на ладони, вытер их о штаны и полез, потянув за собой шест, привязанный к поясу. Его руки не обхватывали толстый ствол, а лишь сжимали его с боков. Ухватится Колька, подтянет ноги, стиснет ими кедр и руки выше заносит, потом опять поджимает ноги. Он полз, как гусеница. Пошли ветки, и Колька быстрее подался вверх. Скоро он исчез среди хвои, и шест пропал, и о Кольке напоминал лишь треск трухлявых сучьев, которые он обламывал нарочно из-за их ненадёжности.

— Колька слезет, и я полезу, — сказал я. — А ты полезешь? Оттуда Кандаур видать, всю тайгу... Ещё что-нибудь.

Витька обвёл взглядом кедр.

— Попробую... Мальчик-с-пальчик и тот лазил.

— На кедр?

— Может быть, и на кедр... А зачем Колька палку взял?

— Шишки сбивать. Они ведь зелёные, так не отваливаются.

На всех кедрах метрах в двух от земли виднелись глубокие, затёкшие желтоватой смолой выбоины — следы от ударов колотами. На иных стволах, образуя уродливые наплывы, различалось по две и даже по три таких ямины.

— Еге-ге, — донеслось сверху.

— Еге-ге, — ответили мы.

— Колочу... Не зевайте, а шишка прилетит — шишку посадит.

— Давай.

Послышалось встряхивание веток, и шишки одна за другой градинами начали плюхаться вокруг. Одна из них ударила в подставленную мною кепку и выбила её из рук. Тяжёлая, фиолетовая, с плотно пригнанными липкими чешуйками. Я надкусил горьковатую кожуру и обнажил белые с лёгким коричневатым налётом орехи. Нетерпеливо расщёлкнул первый в этом году орешек. Ядрышко было мягким, пахнущим хвоей и молоком.

— Вить, попробуй-ка.

— А от них ничего не будет?

— Конечно, ничего.

Комары снова прижали нас к костру.

А шишки падали и падали. Некоторые, рикошета, со свистом отлетали да-

леко в сторону. Одна шишка, как бомба, врезалась в наш костёр, подняв облако искр и пепла.

С неба послышалось:

— Тикайте... Шест кидая.

Мы встали под кедр: я под тот, где сидел Колька, а Витька — под соседний.

— Не выглядывай, так и пропорет шею, — предупредил я друга и крикнул вверх: — Швыряй.

Возник нарастающий стремительный шум... Я почувствовал удар, схватился за голову. Пальцы попали во что-то жидкое, тёплое. И вдруг кедр вздрогнул перед глазами, качнулся и повалился набок. Я тоже рухнул во влажный мох...

...Очнулся я ночью, лёжа на спине. Надо мною чернело беспотолочное небо в ярких веснушках. Рядом пылал костёрчик, вырывая из темноты темно-красные комли ближних деревьев. Где я и почему я лежу? Я хотел привстать, но резкая боль в голове опрокинула меня. Я застонал.

— Мишк, Миша, — услышал я под самым ухом испуганный Витькин голос. — Ты слышишь меня?

— Слышу.

— Наконец-то... Коля, иди сюда, Мишка пробудился...

Я вспомнил нарастающий шум брошенного Колькой шеста, удар по голове, кровь под пальцами.

Подошёл Колька с палкой в руке. Оказывается, время от времени он отходил от костра и стучал по кедром, отпугивая невесть кого.

— Мишк, очухался?

— Очухался.

— Башка-то трещит?

— Ное.

— Ишо бы. Это хорошо, что шест криво падал, а то и вовсе бы насмерть... За чем ты под кедр стал?

— А ты зачем по кедру пустил?

— А куда я пушу?

— Швырнуть надо было.

— Швырнёшь там, когда сам еле держишься... Да и почём я знал, что ты тут как тут. <...>

— Витя, а ночь давно?

— Не очень. Часа три.

— А как вы меня тащили?

— Мы тебя никак не тащили. Мы только уняли кровь да ближе к канаве поднесли, вот. А ты всё — как мёртвый, вот только дышишь. Тебе бы нашатырь нюхнуть... Мы маме давали нашатырь. С ней часто случалось...

Я повернул голову к Витьке. Уловив моё настороженное внимание, он после некоторого молчания произнёс:

— Мама всё говорила, что долго-долго будет жить, нас вырастит... А то вдруг — в слезы: как вы, говорит, без меня будете?... Живая — про смерть... А как она трудно умирала!.. Ночью...

Витька замолчал. Потрескивал костёр. При вспышках лес озарялся глубже, при угасании темнота придвигалась вновь.

Витька уже несколько раз говорил о том, как трудно и страшно умирала их мать. И постепенно передо мной нарисовалась картина смерти Кожики, дополненная воображением... Ночью ребят разбудил крик. Плача и трясаясь от страха, они зажгли лампу. Мать металась в постели, выгибаясь дугой, будто хотела пе-

реломиться, и иссохшими руками сжимая себе горло. Лицо её почернело и сморщилось, глаза оставались закрытыми. Пока обезумевшие ребятишки бегали к соседям, она умерла, не оторвав рук от горла... А хотела долго жить, хотела вырастить ребят. Ну, вырасти они и так вырастут — колхоз поможет, но только ведь без матери — это плохо... И Кожиха представлялась мне уже не такой плохой, наоборот, она вон заботилась о ребятишках и вообще... Они всегда ходили чистые и опрятные. Они сейчас, без матери, одеваются так же аккуратно. Надо и мне остерегаться — поменьше пачкаться, пусть мама порадует... Я размышлял в каком-то полузабытьи. Но, вспомнив о маме, очнулся и шёпотом, громко говорить не мог — в голове отдавалось, произнёс:

— Хоть бы мама осталась ночевать на таборе, а то подумает, что мы затонули, и всполошится... К утру-то я, может, отлежусь.

— Толик, наверное, не спит — беспокоится... — Подбежал испуганный Колька.

— Ребя, гляньте-гляньте...

На нас надвигались какие-то огоньки. У Витьки подкосились ноги, и он сел, прикрыв рот ладонью. Я соображал не очень ясно, но понял, что сейчас случится что-то ужасное... Огни — ближе, ближе. Они то прятались за стволы, то снова выплывали. Они блуждали. И быстро явилась мысль: волки. Но почему они одноголазые? И тут послышались глухие человеческие голоса и вдруг — голос:

— Вот они, обормоты! — Анатолий.

Я закрыл от слабости глаза, но тут же опять раскрыл. Люди спешили, чуть не падали, путаясь в корневищах. В руках у них дёргались фонари. Да, сколько их, полдеревни, что ли? Нет, это тени мелькают. Их — трое.

— Ах, робинзоны! Ах, Шугайские Крузы, — восклицал Анатолий, приближаясь к нам.

— Мальчики! Что же вы? Зачем же вы остались в тайге? Миша!

Этот голос я узнал. Я почти испугался от радости. Я крикнул:

— Мама!

В голове кольнуло — сознание пропало...

Должно быть, я видел сон: мне казалось, что я плыл, что мне в ухо жужжали пчелы, которым пасечник Степаныч говорил: «Нельзя, свой», — что вокруг булькала чёрная вода и в неё, как в барабан, дробно ударяли кедровые шишки. Потом из мрака выпрыгнула оскаленная морда Игреньки и проговорила: «Молодец, братуха!». И всё качало и качало.

Я очнулся. Меня несли. Чавкало болото. Витька рассказывал:

— Мы спрятались и крикнули: кидай. Коля кинул и — вот.

— Я думал, он в сторону бросит, — неожиданно для всех произнёс я.

— Миша, тебе нельзя разговаривать, — слышался мамин шёпот. Она несла носилки сзади. С трудом я различал её лицо.

— Мама, мне не больно.

— Молчи...

Сбоку подошли Витька и Толик. Это он был третьим.

— Последнюю поляну проходим, — проговорил Витька. — А там — земля.

Точка пересечения

Рассказ

Посадка на ночной скорый «Ленинград — Москва» закончилась, провожающие отошли от вагонов. Крупными хлопьями валил снег, первый зимний снег. Люди, стоявшие на перроне, вызывали у Нины чувство — казались такими же одинокими и несчастными, какой она ощущала себя. Поезд тронулся. Нина вошла в тамбур, выставила наружу жёлтый флажок, и в тот же момент к ней в вагон прыгнул какой-то парень в лёгком не по сезону плаще и с непокрытой головой.

— Здрасьте вам. Чуть не отстал, — весело сказал он, переводя дыхание и засовывая руку за пазуху с таким видом, словно собирался достать из бокового кармана билет.

Нина захлопнула наружную дверь, щёлкнула задвижкой. Парень протягивал ей букет гвоздик, завернутый в целлофан.

— В честь чего это? — удивилась она.

— За красивые глазки, — засмеялся парень. В рыжей его густой шевелюре вспыхивали, сверкали, переливаясь алмазным блеском, тающие снежинки.

— А билет? — строго спросила Нина.

— Есть! — Парень похлопал по груди. — Студенческий.

— Старо! — отрезала Нина.

— В Москву надо, на пару дней.

Она отвернулась, ожидая, что парень попросит получше, пожалобнее, как обычно спрашивают другие «зайцы», но этот упрямо молчал. Ей стало не ловко: ругаться ещё не научилась, выгонять было уже поздно — огни перрона остались позади, поезд набирал ход. Она отстранила цветы и молча пошла в вагон.

Часа два после отправления она занималась своей обычной работой: собирала билеты, раздавала белье, переводила с места на место, заваривала и разносила чай и время от времени, то в одном конце вагона, то в другом видела светлый плащ и гривастую, чуть ли не до плеч, рыжую шевелюру долговязого парня. Он тоже поглядывал на неё, и его худощавое лицо перекашивала странная усмешка.

Когда пассажиры наконец уgomонились, она вернулась в своё купе и, не раздеваясь, прилегла на нижнюю полку. В дверь постучали, она вскочила, откинула задвижку — вошёл парень, в руках он держал гвоздики.

Николаев Геннадий Философович, прозаик (род. в 1932 г. в г. Новокузнецке). Автор книг: *Плеть о двух концах* (Иркутск, 1970); *Большой дрозд*: повесть и рассказы (Иркутск, 1973); *Три опоры*: рассказы и повести (М., 1974); *Квартира*: повести и рассказы (М., 1983); *Забота*: повести (Иркутск, 1983) и др. Член Иркутской организации Союза писателей в 1960-х — нач. 1970-х гг.

— Это вам, — сказал он, протягивая букетик.

Она в смущении пожала плечами:

— Вот ещё. Зачем?

— Символ, только символ, — усмехнулся он и, пройдя к окну, прислонил цветы к занавеске.

— Хм, чудак...

Он вернулся к двери, встал там столбом, неловко переминаясь с ноги на ногу. Она поставила букет в стакан, налила воды.

— Люблю цветы. Спасибо.

— А я знал, — сказал он. И на её недоуменный взгляд добавил: — Телепатия.

— Понятно, — улыбнулась она. — Где учитесь?

— В кораблестроительном. Четвёртый курс.

Она печально вздохнула:

— А я мечтала изучать великий могучий прекрасный...

— Провалилась, — сочувственно сказал парень.

Она стояла спиной к окну, опершись о приоконный столик и сложив руки на груди, задумчиво смотрела вроде бы на парня, но и не вполне замечая его. Он оглянулся — кроме них двоих, никого в купе не было. Решительно шагнул к ней, он взял её за плечи, легонько тряхнул.

— Что с тобой? Почему так смотришь, ласточка?

Она молча высвободилась. Он снял плащ, скомкав, бросил в угол и уселся на полку, вытянув длинные ноги в спортивных ботинках. На нем была ярко-оранжевая рубаша с нагрудными карманами, галстук салатного цвета с большим узлом и коричневые вельветовые штаны. Жилистые руки с широкими ладонями и крупными пальцами сжались в кулаки, и кулаки эти казались твёрдыми, как камни. Она насмешливо осмотрела его наряд, одобрительно поцокала языком.

— Скромный советский студент, — шутливо сказал он.

— Собрался на международный фестиваль, — в тон ему подхватила она.

— К маме! — смеясь, воскликнул парень. — К маме, ласточка, за зимней одеждой. Такая проза.

Она улыбнулась:

— Тебя как зовут?

— Зайцем. А что?

— Да так. Было бы смешно, если бы тебя звали Аликом.

— Да, это было бы забавно, — согласился парень, — но я — Юрий.

— Понимаешь, — она вздохнула, — надо выходить замуж, а я не хочу.

— Почему «надо»? Раз не хочешь, значит, не надо.

— Ты так думаешь? — с надеждой спросила она, и взгляд её снова, как в прошлый раз, застыл на нём.

Парень тоже, как зачарованный, смотрел на неё. Её лицо в тени преобразилось: только что было обыкновенным, с мелкими чертами, остреньким носом, тонким ртом и маленькими глазками пыльно-коричневого цвета, теперь же оно округлилось, тени смягчили острые черты, глаза расширились, рот приоткрылся, и стали видны ровные белые зубы. Теперь она казалась миловидной.

— Чудачка, — сказал парень, — ты знаешь, в каком веке живёшь?

Он положил руку на её колено и медленно повёл вверх. Она вздрогнула, напряглась. Он тотчас убрал руку, рассмеялся:

— Колготки и мини-юбка — вот в каком веке!

— Ха! — только и сказала она.

— Алик жених? — непринуждённо спросил парень.

— Банальная история. Учились в одном классе. Он сочинял стихи, посвящал мне. Вот, например. — Она стала произносить стихи, не декламировать, а именно произносить — монотонным унылым голосом: — Трамвай катил, костями лязгая, свой вечный след искал стальной; на рельсы падал мелкой дрязгою снег — неврастеник молодой. Он умирал, растёкшись каплею на стали эшафотной льда. Так я бреду и сердцем капаю — в Ничто, Нигде, Везде, Всегда... Как, по-твоему?

Парень поморщился:

— По-моему, бред собачий.

— Нет, тут что-то есть. Но дело не в этом. Он хотел поступить на филфак, готовился — и вдруг заскок: решил выразить историю в математической форме. Представляешь? Два месяца, вместо того чтобы готовиться к экзаменам, круглые сутки занимался своей химерной идеей. Слева на столе груды книг по истории, справа — по математике. И что же? Провалился на экзаменах и, чтобы как-то оправдаться, выдумал философию в кавычках: к черту учёбу, надо жить проще, стать песчинкой — в этом истинное счастье...

— Всё это мура, напрасно переживаешь, — перебил парень. Он вскочил, взял её за руки, потянул к себе.

— Знаешь, что тебе надо?

— Что?

— Влюбиться.

— О! Это лекарство не выдаётся по рецептам.

— Могу предложить в любых количествах. Я нежадный.

— Однако ты самоуверен.

— А почему бы и нет?

— Алик тоже нежадный, — сказала она с сарказмом.

Парень резко выпустил её, чуть оттолкнул — она не удержалась и шлёпнулась на сиденье.

— Извини. — Он сел рядом, погладил её по руке. — Не сердись. Больше не буду, честное слово! Ты такая тёплая, грустная...

Она горестно, по-женски наморщила лоб и провела рукой по лицу:

— Хочется просто по-человечески поговорить.

Парень бережно обнял её за плечи. Она вдруг закрыла лицо и расплакалась. Он растерянно смотрел на неё, не зная, что сказать, чем утешить. Она достала платок. Парень заботливо принялся утирать ей слезы. Она рассмеялась — отрывисто, нервно, виновато.

— Видишь, какая дура.

— Ничего, ничего. Давно не плакала, да?

Она закусила кончик платка, сморщилась, пересиливая слезы.

— Да ты плачь, легче станет, — посоветовал парень.

Она снизу искоса взглянула на него.

— Странный ты: глаза зелёные, хищные, а сам вроде бы добрый. Ах! — Она с досадой махнула рукой. — Я в этом ничего не понимаю. У Алика мягкие, серые, а что толку?

— Ну и что же дальше с Аликом? Продолжает развивать свою «теорию»?

Она горько усмехнулась:

— Была теория, а потом началась практика. Забросил занятия, связался с какими-то типами, стал пить. Хочешь, расскажу? — вдруг спросила она.

— Конечно, — удивился он. — Я слушаю.

— Понимаешь, ещё никому-никому не рассказывала. И всё это правда. Да,

так вот, — продолжила она помолчав. — Однажды вечером он пришёл пьяный и объявил, что уходит в «люди» — официантом в ресторан. Счастье, сказал он, это соответствие твоего состояния твоему положению. Он любит изрекать. Потом начал нахально лезть ко мне, распустил руки, я, естественно, выгнала его. К тому времени я уже успела провалиться на приёмных экзаменах, настроение было, сам понимаешь, весёленькое, подружек у меня не было — всегда только Алик, один Алик, а тут такой конфликт.

На другой день он явился к нам домой. Был смущён, сдержан, даже молчалив. Мне показалось, что он переживает своё хамство, но меня это уже не интересовало. Я весь вечер сидела в кресле и читала, а он перебирал пластинки, ставил только классику. Потом вдруг сказал: «Давай поженимся. У меня приличная комната на канале Грибоедова, сто восемьдесят в месяц и никаких иллюзий. Всё равно придётся за кого-нибудь выходить, а я не хуже других». Я не шелохнулась, сделала вид, будто дремлю. Я и на самом деле была всё время в каком-то полусонном состоянии. «Пойду сообщу твоим предкам», — сказал он и вышел из комнаты. Для родителей это, видимо, не явилось большой неожиданностью — ведь мы с ним с первого класса ходили держась за руки, и он вечно пропадал у нас целыми днями. О чем они там говорили, неизвестно, но когда Алик ушёл, то они оба, отец и мать, заговорили сразу о практических вопросах: когда и где проводить свадьбу, кого приглашать и о прочей чепухе. Они вообще у меня практически люди: мама — хирург, не терпит сюсюканья, папа — юрист, тоже не привык миндальничать. Мама сказала, что раз уж они живут, то есть мы, то пусть женятся и живут по-человечески, а не прячась по каким-то сомнительным комнатам. Отец не возражал. Да, так вот, они обсуждали эти практические вопросы, а у меня всё дрожало от обиды. Ведь даже не спросили, люблю ли его, хочу ли за него — сразу поверили ему, а он — ничтожество. Значит, всё равно, за кого я выйду замуж! Я ничего не стала говорить, быстро оделась и ушла. Несколько часов пробродила по городу и уже далеко за полночь очутилась на Московском вокзале. Вот тут-то и наткнулась на объявление: требуются проводники. Вот, решила я, в этом моё спасение — буду ездить! Пошла домой, надо же было предупредить родителей и собрать вещи. Возле дома меня поджидал отец. Издали он похож, знаешь, на молодого пижона: стройный, подтянутый, модные баки, сзади грива, полупальто с широким поясом. Вблизи же совсем другие зрелище: пенсне, морщины, бледное лицо и — ни радости, ни раздражения, одна усталость. «Почему так поздно? Мы волновались», — сказал он своим обычным голосом, не выражающим никаких эмоций. Я, помню, фыркнула на слово «волновались». Видно, ему трудно было говорить, но он всё же сказал: «Что поделаешь, мы такие и другими уже не сможем стать. Я это говорю потому, что чувствую перед тобой вину. У нас почти нет внутренних контактов, живём внешними связями. В чем здесь дело — не нам судить, потому что, — я его даже зауважала после этой фразы, — потому что, сказал он, всё своё мужество мы тратим на вынесение приговоров другим. На себя нам почти ничего не остаётся. Да и надо ли ворошить прошлое и искать спасительные объяснения в качествах и поступках, которые уже недействительны за давностью лет? Надо ли?» Он ждал, что я скажу ему, но я упорно молчала. Он обиделся и сказал, что я могла бы хоть как-то оценить его откровенность. Не надо выманивать из меня душу, она не зверёк, сказала я. Он очень огорчился, такого несчастного я его ещё никогда не видела. Мне стало жаль его, я вдруг поняла, что он такой же в сущности одинокий, как и я. И всё, о чем мы тут говорили с ним, жуткий и нелепый бред, и что на самом-то деле всё между нами не темно и сложно, а ясно и просто, как давным-давно, когда

мы жили у бабушки на даче и ходили в лес по грибы. Я обняла его, и мы пошли не в ногу, толкаясь друг о друга, неловко переступая по скользким от ночной сырости булыжникам. Я снова почувствовала к нему не то что уважение, но какую-то симпатию. Во всяком случае, во мне что-то начало оттаивать, я прислонилась к нему, заглянула в лицо, готовая приласкаться, как паршивая собачонка, но тут мы проходили мимо освещённой витрины, и я увидела, что он тщательно, до синевы выбрит. Я остановилась, поражённая, не веря своим глазам. Он спросил, что со мной, а я как дура глядела на его гладко выбритый подбородок, крепкий и красивый, и что-то горькое разливалось у меня в душе. Я ещё спросила: «Ты недавно брился»? Да, он подтвердил, что брился перед тем, как идти меня искать. Представляешь, так они там волновались, что отец не смог выйти на улицу не побрившись! А мама, как я и полагала, спокойненько спала и была весьма недовольна тем, что её потревожили. Утром я ушла на вокзал и оформилась проводницей. Вот и всё.

Она умолкла, грустно и виновато взглянула на парня и невесело рассмеялась:

— И зачем я всё это рассказала? У тебя, наверное, своих забот хватает.

— Скажи лучше: что же Алик и вся эта история с замужеством? — спросил он. — Почему ты говорила: «Надо выходить замуж?»

Она засмеялась, махнула рукой.

— А, чепуха! Это не я — Алик. «Всё равно придётся выходить замуж». Бросил ресторан, сейчас нигде не работает, пишет книгу. Чудак. А вообще-то приходит на вокзал, встречать.

— Ну и что же ты? Думаешь о нём?

— Надоел. Да хватит об этом. Расскажи про себя.

— А что я? У меня отцовская колея: море плюс корабли.

— Романтик?

— Нет, реалист. Никаких фантазий, всё ясно и просто. Кончу институт, пойду на завод, буду вкалывать, ездить по всему миру.

— Да, тебе хорошо. Мне бы так. Слушай, — она вдруг взяла его за руку, — вот ты такой разумный, посоветуй, как быть дальше? Что делать?

Он сидел, откинувшись в тень, закрыв глаза. Ей показалось, что он заснул.

— Ты спишь? — спросила она.

— Думаю, — сказал он, взглянув на неё. Глаза у него были усталые, красные.

— Извини, сейчас постелю, — сказала она, поднимаясь.

— Брось, не суетись, — пробормотал он и, вдруг восторженно, резко поднялся, взмахнул руками, присел, вытянул одну ногу, повторил упражнение на другой ноге.

— С ума сойти! — засмеялась она. — Можно подумать, что работаешь в цирке.

— Хо! Быть студентом иной раз посложнее, чем кувыряться на манеже. Вообще-то тебе надо учиться, — сказал он, продолжая приседать. — Ты не дура, во-первых...

— Спасибо.

— Приличный человек, во-вторых.

— Тронута.

— Ну и симпатяга, в-третьих.

— Смотрите, он даже способен на комплименты.

— Алика я бы на твоём месте послал подальше. А вот к родителям надо вернуться. У вас же неантагонистические противоречия, — сказал он с усмешкой. — И потом, они твои кровные, куда от них. А с учёбой, думаю, надо воспользоваться чьей-нибудь протекцией. А почему бы и нет? Гадко не то, что кто-то за тебя

хлопочет, гадко другое: когда ты дубина и бездарь, а тебя затаскивают волоком, отпихивая других. Но ты же ведь не такая.

— Да, но...

— Вот-вот, «да, но» — это хорошо. А теперь я бы поспал. Как насчёт второго этажа? — кивнул он на верхнюю полку.

— Я же предлагала. Сейчас постелю.

— Не надо, так завалюсь.

Он легко, пружинисто запрыгнул на полку и растянулся там, блаженно улыбаясь.

— Ты тоже ложись, — сказал он.

— Через два часа Вышний Волочок. Я же проводница. Буду шуметь. Не боишься?

— Ты что! Меня разбудит только крушение.

Она включила ночной свет и прилегла. Она думала о парне, об этом симпатичном «зайце», почему ей так легко с ним и совсем не страшно быть вдвоём ночью, в запертом купе, в грохочущем поезде. И стало грустно от мысли, что вот сейчас он заснёт, а ей придётся сидеть одной и неизвестно, удастся ли с ним поговорить завтра.

Она уже не хотела спать, было жалко тратить эту ночь на сон. Озорное, нервное настроение овладело ею, сделалось жарко, запылали щеки. Она вся дрожала, от волнения перехватывало дыхание и сохло во рту.

— Заяц, — тихо позвала она.

Он тотчас свесился с полки и долго смотрел на неё молча. Она улыбалась, не в силах больше произнести ни слова. Он спрыгнул, подсел к ней, опершись руками в подушку.

— Не боишься? — прошептал он.

Она покачала головой, зажмурилась. Он прикоснулся к её лицу, склонился к ней низко-низко, она услышала его дыхание...

Поезд мчался сквозь ночь, сквозь первую зимнюю пургу — навстречу рассвету. С грохотом проносились мосты, тёмные, еле освещённые полустанки — поезд мчался безостановочно.

...Она открыла глаза. Над ней сияла синим светом ночная лампа, как звезда, которую видит тонущий последним взглядом из-под слоя воды...

Она берегла его сон до самой Москвы, старалась не шуметь, ходила тихо, на цыпочках, осторожно прикрывая за собой дверь. Разбудила она его, когда показались многоэтажные белые коробки жилмассива. Он мычал, отбивался, потом резко вскочил и, глянув в окно, начал стремительно одеваться. Она предложила ему чай и печенье, он ел жадно, торопливо, улыбаясь ей и подмигивая.

Прощанье было недолгим, он похлопал её по плечу, весело сказал: «До новых встреч, ласточка!» Она шутливо вытолкнула его из вагона: «Прощай, заяц!»

Он пошёл легко, быстро, размахивая руками, покачиваясь из стороны в сторону.

Валил крупный снег. Снежинки падали на лицо Нины, таяли — лицо её сделалось мокрым, словно от слёз. «Неужели уйдёт? — думала она. — Неужели вот так просто возьмёт и уйдёт?» Она не спускала глаз с его качающейся рыжей шевелюры. Ещё минута, и он скроется среди вокзальной суеты. Не думая ни о чём, чувствуя лишь, как сдавило грудь и застучало в висках, она бросилась за ним, как за вором, грубо и сильно расталкивая толпу.

— Что с тобой, ласточка? — удивился он, увидев её.

Она смотрела на него широко раскрытыми глазами и никак не могла отды-

шаться. Он отвёл её в сторону от людского потока, к пустому газетному автомату. Теперь, когда он был рядом, ей стало не по себе, она не знала, что сказать, зачем бежала за ним. Он молча внимательно смотрел на неё, ждал.

— Ну, говори, — сказал он, взяв её за плечо. Лицо его было серьёзно, без тени усмешки.

— Тебе надо идти, я понимаю. Но подожди. Я хочу сказать, что ты... — она потупилась и произнесла с трудом: — хороший человек.

— Спасибо, — сказал он, невесело улыбнувшись. — Только я очень не уверен в этом. Думаю, что это не так. Честно говоря, совесть моя не чиста. — Он с сожалением развёл руками. — Но зато теперь я знаю про тебя всё.

— И даже то, где я живу и как меня найти? — с вымученной улыбкой спросила она.

— Найти тебя очень просто.

— Почему же ты не сказал об этом?

— Наверное, это глупо, но мне показалось, будто мы с тобой некие романтические герои, чьи жизненные линии вдруг пересеклись в одной точке. Захотелось проверить: если это судьба, то линии должны снова пересечься в будущем.

— Правильно, они снова пересеклись.

— Нет, это та же самая точка. Должно пройти какое-то время.

— Какое время? Очень долго?

— Не знаю. Какое-то.

— О, господи! — простонала она. — Но я так хочу верить тебе! Понимаешь? Хочу верить!

Легким взмахом пальцев он стряхнул снег с её волос, щёлкнул по носу и засмеялся.

— Верь, ласточка, верь. Я тоже буду верить. Ну а теперь пошли, а то простынешь.

Он взял её под руку и повёл на перрон. Она шла, прижавшись к нему, поглядывая на него снизу вверх и молча улыбаясь. Возле вагона он привлёк её к себе, обнял, коснулся губами лба. Она приникла к нему — порывисто, цепко, жадно. Он чуть выждал и мягко отстранил её.

— Давай не будем превращать точку в пятно. Мы ещё увидимся. Я верю в это, ласточка.

Так грустно, как теперь, ей никогда ещё не бывало. Хотелось не отпускать его, удержать возле себя, но это было невозможно. Он подтолкнул её в тамбур и пошёл. Вскоре он скрылся из виду в густо падающем снегу, а ей ещё долго казалось, будто там, в серой снежной мгле, покачиваются его рыжие патлы.

Глеб Пакулов

Бегство из Юрьевца

Отрывок из романа «Гарь»

На девятый день бегства из Юрьевца на ночь глядя Аввакум прошёл Сретенские ворота и, минуя заставы и рогатки, пробрался неузнанным до Казанской церкви. Было совсем темно: рядов и лавок на Пожаре не разглядеть, небо вдали за Неглинной нет-нет да ополаскивало бледным светом, и нескоро докатывалось сюда притишенное далью сердитое ворчание.

Сторож торговых рядов разглядел намётанным поглядом одинокого человека, опасливо подошёл, кашлянул.

— Мир добрым людям, — поклонился он и перебросил из руки в руку увесистую колотушку. — Сон не долит, подушка в головах вертится? Али кости к ненастью ломит? Вишь как взблескиват? То огненный змей кому-то денежки бросат. Не тебе?

— Не вяжись, знай дело, — попросил Аввакум. — Я к Ивану протопопу гостевать иду.

— Да ну? — подхватился дозорный. — Ты его тут никак не обрящешь!

В свете близких теперь молний Аввакум взгляделся в мужика. Был он широкоплеч, в плетённом из бересты дождевике, застёгнутом наглухо деревянными пуговицами, с трещоткой на поясе. И холодком ознобило Аввакума, не от грозного вида стража торгового, а от слов его. Да неужто и на Москве их брата-протопопа лишают мест, ничтожат? Однако страж как напугал, так и успокоил, того не ведая.

— Не живёт тутако наш батюшка, — щурясь от слепящих вспышек, заговорил он. — Хоромина его, слышь ты, худа стала, подновляют, так он пока на подворье ртищенском проживат. О-ой, ты че-о-о! — сторож присел, испуганный уж совсем близкой вспышкой, схватил Аввакума за полу азяма, потянул к стене под скат церковной кровли.

Великие молнии простёгивали чернильное небо. Яркие промиги их высвечивали из тьмы гроздь соборных куполов. Бледно помельтешив перед глазами, они тут же с грохотом проваливались во мрак, и наступала глухая тишина, лишь тоненько постанывали ожученные громовым раскатом невидимые колокольни.

— С-сухая гроза! — ежась, завскрикивал страж. — Как раз убьёт!

И новый сполох молнии. И опять от верхушки до комля Спасской башни

Пакулов Глеб Иосифович, прозаик, поэт (1930, станица Бусеевская Амурской обл. — 2011, Иркутск). Автор книг прозы: *Тиара скифского царя*: повесть (Иркутск, 1970); *Горнист Чапая и Сказка про девочку Лею...* (Иркутск, 1971); *Варвары*: роман (Иркутск, 1976); *Глубинка*: повесть (М., 1981); *Останцы*: рассказ (Иркутск, 2002); *Гарь*: роман (Иркутск, 2005; М., 2010); поэтич. сб. *Славяне* (Иркутск, 1964; *Бригада*). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

зазмеились синие зигзаги, забрызгали золотом искр, будто кто незнаемый раз за разом бил тяжким кресалом по шатровому шпилью.

— В-вдарил булат о камень палат! — дёргался дозорный.

— Ужо линнёт! — Аввакум потуже надвинул на глаза колпак.

Но дождь всё не налаживался, хотя тучи мрачным табуном жеребых кобыл, топоча громом, быстро мчали над Боровицким холмом, пока одну, вожачиху, не охлестнула, как подпоясала, широкая молния, и она, сослепу навалясь на острие шелома Ивана Великого, распорола громовое брюхо. И хлынул обвальный, парной ливень. И поддул из-под туч низовой обезумевший ветрище. Он крутил струи, свивал их столбами, швырял пригоршнями в лицо протопопа хлёсткой калёной дробью.

— Чёртова свадьба, — ругнулся Аввакум и сплюнул.

Сторож, крестясь, жался к нему, бодрил себя выкриками:

— Да-а-л Бог дождю в полную вожжу!

— Весёлай ты! — крикнул Аввакум.

Сторож робко хохотнул:

— Да со страху! — поднял к протопопу мокрое лицо. — Гроза грозись, а мы друг за дружку держись!.. А ты, того, в переплестину-то торкни, староста не спит, поди. Да не стои, не пужайся и не мокни здря.

— Вместе и схоронимся!

— Не-е! Мне положено мокнуть и пужаться, а то объезжащий наедет, а мене нетути! Тады в батоги! Да ты стукай!

Аввакум костяшками пальцев поторкал в свинцовую переплестину. Скоро тусклый свет оживил слюдяное оконце, в нем зашевелилась тень. Человек с осторожной приоткрыл дверь, всматривался. Сторож успокоил:

— Гостя ночевать Бог привёл, Михей! Ты уж приветь знакомца батюшкиного!

— Чаво не приветить? — брякнула цепь, дверь раззявилась. — Заходи, мил человек.

Аввакум медлил, глядя на волосатого, голого по пояс, здоровенного старосту. Тот усмехнулся, наложил лапищу на плечо протопопа, задёрнул через порожек в сени.

— Шагай, — мужик подталкивал Аввакума в спину. В сенях было темно, протопоп ступал с опаской, поваживал перед собой посохом, на шаривая дверь.

— От себя толкни ее, — направлял Михей. — А там свеча.

Нащупал дверь Аввакум, толкнул посохом. В низкой сводчатой каморе усладно пахло ладаном, свечным нагаром: живой, тёплый дух. Перекрестился в угол на едва угадываемые оклады икон, на мигающую звёздочку над густо-красного стекла лампадкой.

Следом ввалился староста, оглядел протопопа, буркнул:

— Не признал? — взял свечу, осветил лицо. — Ишшо не кажусь?

— Кажешься, да на память не всходишь, — Аввакум оглядывал комкастое от мускулов тело, лицо, заросшее дремучей волосней. — Наг ты, как в мыльне, а тамо все одинаковы. Хотя погодь-ка, ты не тот ли Михей, кулачный боец из Бронной слободы?

— Он я, он, — задовольничал Михей. — А теперь одёжу сымай, моя сухая тебе, батюшка, впору станет.

Помог Аввакуму снять мокрое, развешал на рогули. И сапоги помог стасщить раскисшие, тяжёлые. Всё делал не спеша, степенно. Протопоп сидел на лавке, слушал старосту. Знал он его мало, а на службах видал часто, когда помогал здесь, в Казанской, править службы Ивану. Много было знакомых

у Аввакума, многих помнил. А Михея видывал и на льду Москвы-реки у Свибловой башни. Не раз любовался им в кулачных сходках — стенка на стенку. Бравый боец, ловкий: двинет кулаком — пролом в ряду супротивников, махнёт сплеча — околица вокруг него, снопами валятся, ногами дрыгают. Хохот, визг, свист разбойный. Сам государь любил посмотреть бой молодецкий. Как-то рублём пожаловал доброго молодца, а и ему, удалцу, попадало: из кучи-малы тож, бывало, выползал на карачках, скользя и размазывая коленями по льду буйную кровушку московскую.

В сон уваливало Аввакума, давала знать многотрудная дорога: где пёхом, где скоком да галопом. Догадливый Михей приткнул его на лавку в углу, подsunул под голову окованный подголовник — спи.

Проснулся Аввакум затемно, перед заутреней. Пока шебуршил, одеваясь, поднялся и Михей. Сполоснулись из рукомойника, подвешенного на цепках над ушатом, вышли на вольный роздых.

Расшевеливалась Москва, блистала умытая ливнем, потягивалась с ленцой, хрустя косточками, постанывала истомно. Гроза потеснилась в сторону Твери, там теперь супились выдоенные тучи, нет-нет да поуркивал гром, но широкая радуга уже прободнула их яркими бивнями, обещая радостное вёдро. А здесь поднималось ясное солнышко, было свежо, легко было: торговые ряды отпахнули ставни-прилавки, таровато захвастали баским товаром. Звоном малиновым напомнили о Боге сияющие колокольни, взнявшись с тугих Варваринских лабазов, заплывали раздольными кругами над площадью белые голуби, разминающая упругие крылья.

Навялился Михей проводить протопопа до хором Фёдора Ртищева, до самых ворот Боровицких, и пошли меж рядов к собору Покрова. Народу в рань утреннюю было мало, двигались без толкотни, не спеша.

— Глянь! — Михей придержал Аввакума за плечо, указал на Фроловскую башню. — Не видал ещё, небось? Новые часы, с боем! А как же! Аглицкой хитрости струмент. Я подмогал, молотобоил. Лепота-а!

С недавно надстроенного верха проезжей башни, хвастая лазоревым кругом с золотыми на нём звёздами, солнцем и полумесяцем, сиял огромный циферблат. Он вращался вокруг неподвижного луча-стрелки, ласково подталкивая к его острию видимые издали чёткие цифры.

— Сие Головей исхитрил, аглицкой земли мастер, — откровенно хвастал и переживал своё участие в хитром деле дюжий староста. — Он исхитрил, да-а. А сработали на-а-ши, устюжане, а как же! Ждан с сыном Шумилой Ждановым да Алеха Шумилов, внук Жданов. Одних колоколов дюжину с одним отлили, да каких! Высокой пробы серебро с медью мешано. Вот послухай, скоро четверть шостого часа бить учнут. Их сюды два дни возили во-он оттель, от кузни, что у Варваркина крестца, там формовали в яме и отливали. Ох! Жаркая работёнка. Два дни возили, да день цельный вверх тянули, а опосля неделю крепили. Я тож помогал, говорю, молотобоил. Там колес одних со сто будет, да тяги, да цепи с подпружьями... Слухай!

И поплыл с Фроловской звон напевный, глубокий, колыхнул воздух над площадью и стал медленно отдаляться, журча в ушах подвесками серебряного бисера.

— Каково било?! — сияя глазами, выкрикнул Михей. — И звон и время внове кажут!

— Душевный звон. Новый. А что время новое кажут... Сказывай, коли знаешь, какое оно теперь на Москве новое?

Шевелил бровями Михей, бугрил лоб, никак не истолкуя себе слов протопопа. — Ну-у, всякое, — ответил, испытующе глядя на часы. — А чаво?..

Промолчал Аввакум, да и себе не ответил бы на пришедший вдруг в голову вопрос. Он лишь малой искрой пыхнул в мозг, такой же малой, как та свеча, что на его памяти выпала из светца на пол в церковке Параскевы Пятницы в самом начале улицы. Свеча была малой, да от неё как по шнуру пороховому побежал большой огонь по деревянной Варварке. Зной и пламя породили злой ветер, он подхватывал горящие головни и бревна, метал их на и через соседние дома и улицы. Закорчилась берёстой, запластала Варварка, метнулась лисой-огневкой к Покровскому собору, слизнула рыжим языком все торговые ряды и лавки на Красной площади, жарким хвостом перемахнула за стену Кремля, и за два часа всё запустошилось, являя собой одно великое пепелище. Только долго ещё Кремль, как огромный котёл, чадил своим жутким варевом.

Развёл руками Михей, мол, чудной какой-то вопрос, зряшный, и пошёл вниз, обок собора к Китай-городу. Аввакум и без него знал дорогу к хоромам Ртищева и направился было, но день только начинался, времени было много, и потолкаться по Москве, поглазеть да народ послушать хотелось. Пошёл за Михеем.

На Варваркином крестце уже вовсю водоворотила толпа. Как обычно, подторжье волновалось, приценивалось, било по рукам, договариваясь, расторгло договоры, кричало. Всякого занятия люди толклись на крестце, зазывали всяк в свой ряд: ягодниги, бронники, рыбники, холщевники, чашечники и прочие перехватывали пред главным торгом покупателей. Ражие, денежные купцы, володеющие крепкими лабазами, гнали зазывал в шею, в угол Китай-города, но тщетно: сделав круг, те тут же тянулись назад, ввинчивались в толкотню, терялись.

Здесь читали припиленные к столбам указы, доносы в скабрёзных виршах, тайком играли в запрещённые зернь и карты, приторговывали винцом и табачищем. Ничуть не страшась обезджачих, веселили народ глумцы и смехотворцы, разыгрывая «позоры бесовские со свистаньем, с кличем и воплями».

Кабацкий ярыжка — неудачливый рожей, но справно одетый, — сиреневый с перепоя, что-то казал из-под полы девке с ключом на шее и рогожкой под мышкой. Девка хихикала, шлёпала по рукам ярыги узкой ладошкой, а когда он загнул должно быть совсем затейное, она строго поджала губки, осёрдила их и вишнёвым тем сердечком язвительно выдула:

— Тю-ю-ю, дурак немошной.

— Зато с мощной!

Девка с пониманием подсунулась лицом к лицу ярыжки, и они зашептались с уха на ухо, так что было слышно с угла на угол:

— Так мощна-то пустом полна!

— А таракан? Вишь усами шаволит, табя молит!

Деваха языком выпятила щеку, поворочала им во рту и презрительно выплюнула на ладонь ярыги грошик.

— Спохмелись с дымком, чтоб таракан дыбком.

Аввакум сплюнул и отвернулся.

Рядом на земле кажилился придур-калека, забрасывал за шею черную ногу, подёргивал её руками, в такт пофукивал, взгукивая:

— Ай да дуда! Шкворень б туда!

Аввакум забрёл в толпу, как в омут, и, разваливая её на стороны, двинулся к шумной стайке попов. Уж больно знакомым по голосу и прыти был один из них, никак дружок попа Силы, пономарь Игнатка. То-то не видно было, чтоб бузил в ораве Юрьевец-Подольской, когда она осаждала дом его. Знать раньше по своей

волюшке в Москву отбрёл не сказавшись. Подступил ближе — как есть Игнат. Вот, язви его, на крестце, на кормном местечке беглых попов ярыжничает! Пожду, пусть кажет своё ремесло.

У гроба с покойником, поставленного торчком и прислоненного к забору, трое подвыпивших попцов в застиранных и порыжелых скуфьях и рясах дерзко наседали на растерянную, с вымученными слезами глазами, опрятную бабёнку.

Пономарь Игнатка, по молодости бесшерстный, с гладким блудливым лицом, орал бессовестно:

— Никак не признаешь, че ли? Да твой это, хошь и не похож! — вывернул длинную ладонь. — Клади алтын и отпою! В рай пущу безгрешным!

Баба приблизила лицо к покойнику, мелко затрясла головой.

— Не сумневайси-и! — требовали подельники. — Смертка кого красит? Хошь и не похож, а всё твой Хомка!

— Мой не Хома, мой Василей.

— Вот и темяшу те! Василей он, вылитой! Гони алтын! — Игнатка крутил у носа бабёнки мису с кутьей, другой рукой-горсточкой страшал зачерпнуть кутьи и вбросить в широко раззявленный рот. — Клади! Взалкал я, а на сытое брюхо отпевать Бог не велит!

— Ой, да погодь ты-ы-ы... Многонько алтын-то, — переча, всхлипывала баба. — Скидай половину.

— Вот нар-р-родец! — заширился пономарь. — Скидай ей, а сама его, небось, в ров и спихнула! Вишь, какой ладненький! Вся образина содрана и в глине, как и признать сразу-то!

— Счас оботру, — засуетилась бабёнка, задрала подол, повозила им по лицу покойника, отступила, всматриваясь.

— Ну-у! — хищно пригнулись попцы. — Он?

— Не-ка.

— Как это — не-ка? Рубаха, лапти его?

— Ну, вроде ба.

— Алтын!

— Не-ка. У энтото нос велик и губы толсты.

— Дак жадничаешь! Обижаешь, он губы и надул. Усе, хватит, скоромлюсь!

— Ох, грехи-и! — запричитала баба. — И-и-и!.. — поддёрнула концы платка, горсточкой, по-беличьи, обобрала мокрый рот. — Пол-алтына — и хва! Он, изверг, боле и не стоит. Скоромься и провались ты совсем!

Попцы ухмыльнулись, перемигнулись, мол, дельце в шляпе, дружно тыча перстами в небо, внушили бабе:

— Кто сколь стоит, токмо Ему вестно, но твой в точию пол-алтына. Эй, Гришунь! Подводу сюды подпять!.. Берём его, братья.

Весело подхватили гроб, сунули на задок телеги, протолкнули вглубь, туда же посадили бабёнку. Она нахохленной вороной вертела головой, морщилась, глядя на мочальный чересседельник, на хомут, из которого сквозь прорвы торчала солома, на мосластого коня.

— Гдей такого выдрали? — поджала губы. — Прямя из скотмогильника.

Игнашка прыснул:

— Ты ж не конягу дохлого отпевать едешь, а своего жеребца! Трогай!

— Тьфу! — плюнула баба. — Твоим языком помои мешать!

Хохотнули попцы, налегли брюхами на телегу. Конёк уронил голову ниже оглобель, напрягся, стронул поклажу и вяло закопытил, мотая башкой, будто раскланивался с народом.

Аввакум пристроился за попами, а когда выехали из толчеи, сгрёб Игнашку за ворот, развернул к себе.

— По какой нуже в Москву прибёг? — спросил опешившего пономаря. — Ты почто на торгу над покойником изголяешься? Ну-ка, отвякивайся, Игнат без пят.

Не ожидал пономарь так просто угодить в руки своего грозного протопоба: облуپленно глазел на него, как на привидение. Хватко держал Аввакум за шиворот, поддёргивал вверх, отрывая ноги Игнашки от земли.

— Поп Сила меня нарядил! — удушенно вякнул он, жмуря глаза от страха. — Грамотку, паче того — донос на тя в приказ Патриарший доставить велел.

— Кому передал?

— Дык в пазухе грамотка, туто-ка.

— Как про донос знаешь? Чел?

— Не чел! Да что ещё Сила может? Он на тя, батюшка, ушат чернил тех извёл.

Протопоб выпустил ворот, Игнашка нырнул ладонью за пазуху, достал сложенную вдвое бумагу с надломленной печатью. Аввакум прочёл и загрозовел лицом. Игнат охлопывал суетливыми руками грудь, шептал клятвенно:

— Я её, батюшка протопоб, видит Бог, и не мыслил дале куда несть, а ужо здесь который дён. Прости, Христа ради! И за упокойника меня, несураза, прощай: брюхо ествы просит, а Сила в дорогу копейки не дал.

— В страхе Божиим живи, прощён будешь, — пообещал Аввакум. — Да сего же дни уматывай в Юрьевец, кто там за тебя служить будет! Денег пол-алтына есть, а Силе скажи, дескать, грамотку в Приказ нёс, да Аввакум отнял. Поспешай, покойника и без тебя отпоют.

Всхлипнул пономарь, сцапал руку протопоба, припал к ней губами, ждал благословения, а с ним и прощения батюшкиного. Аввакум наложил на буйную головушку непутя ладонь, подержал мало и легонько оттолкнул, не осеняя. Кланяясь, отшагнул растопыркою Игнатка и дунул прочь, пузыря полами ряски, вниз мимо кузен, лабазов к Всесвятскому мосту и затерялся в кривулинах улок Зарядья.

Вздохнул Аввакум, глядя на церковь Святой Варвары, пожурился на её блескучие купола, перевёл взгляд на Замоскворечье: прямо перед глазами тихо шевелилась мать Москва-река, хвастала отражённой в ней синью небесной, вдыхала полноводной грудью послегрозовую утреннюю благодать. Редко озорник-ветерок втай припадал к её лону, и она, уловив робкое лобзание, темнела, морщилась и гнала прочь к берегу темно-изумрудный, в искорках, клин ряби.

Михаил Просекин

Старый друг

Рассказ
(в сокращении)

1

Как только спадали служебные хлопоты, его тянуло в домашний кабинет. Работалось в нем легко, независимо и, как он говаривал, продуктивно. Наследство родителей: тяжелые шторы, глухая дверь, три ковра — два по стенам, один на полу — придавало кабинету сходство с радиостудией, и все на него хорошо влияло.

Вот и сегодня он, не теряя ни минуты, ушел из поликлиники сразу, как стало возможным. Поел за мраморным столиком в кафетерии, как будто специально выстроенном на его пути, отправил в портфель бутылку пива, пришагал домой и заперся на ключ. Этим выверенным способом он заставлял себя работать и подстраховывал от внешних влияний, дабы всё там, вне кабинета, оставалось в запрете. Даже наступавший день рождения. Исполнялось тридцать пять... Сколько это? Половина жизни? Или гораздо больше! А сделано что? Нежирно, в общем-то... Ну, одоление института, немало сложных операций, сколько-то статей в специзданиях...

Он задернул шторы, достал пачку чистой бумаги, сосредоточенно глядя в пол, накачал авторучку чернилами — никак не принимал «шарики». К чистой бумаге он был мистически равнодушен и экономил её, как мог. Чудилось: на каком-то заветном листе рано или поздно проглянет то, о чём он всегда думал, где бы ни находился, что бы ни делал.

Травматолог Глеб Семёнович Хрусталёв изобретал аппарат с условным названием «Сломанная кость». <...>

Идея пришла к нему давно, и состояла она в том, чтобы избавить покалеченных людей от гипса. Практикуя, он видел освобождённые из гипса жалкие конечности с дряблыми мышцами, с надолго застывшими суставами, в струпах отмершей ткани. Медленно циркулирует в них кровь, неспособная обогатить жизненной силой изувеченную плоть. Тогда и явилась дерзкая мысль: надо изобрести из металла или пластика такую шину, которая бы схватывала кости и не сдавливала мышцы. Процесс лечения сократился бы в два-три раза, больные

Просекин Михаил Михайлович, прозаик (1938, с. Нижний Кукут Эхирит-Булагатского р-на Иркутской обл. — 1988, пос. Култук Слюдянского р-на Иркутской обл.). Автор книг: *Затерянное поле*: рассказы (Иркутск, 1977); *Встречный пал*: повести и рассказы (Иркутск, 1982); *Старый друг*: рассказы (М., 1986); *Дом из силикатного кирпича*: повести, рассказы (Иркутск, 1990). Член Союза писателей СССР (Иркутская писательская организация).

со сломанными ногами могли бы ходить, а не лежать на вытяжке, на этой меддыбе, придуманной чёрт знает в какие века. <...>

Зазвонил телефон. Хрусталёв растерялся и не сразу взял трубку.

— Да, да! Слушаю, — припав к столу, скороговоркой ответил он.

— Это дежурный врач Старикова...

— А-а, Надежда Ильинична! Рад, очень рад вам, — заверил Хрусталёв. — Что-нибудь срочное?

— Глеб Семенович...

— Я к вашим услугам... — тянул он. — Распожайтесь. Командуйте.

— Видите ли, Каретников уехал на дачу... Захар Трофимович режет аппендицитников...

— О-о, какие новости!

— Отчего вы такой... весёлый? — голос Стариковой набрался дикторской сочности. Она уж, верно, жмурила агатовые глаза свои и смотрела как через некий барьер, будто разговаривала с симулянтм. — Не понимаю вашего настроения, право... Но слушайте. Где-то в лесу разбился геолог, вроде бы сломал ногу. Раздробление голени, вероятно. <...>

Звонил начальник геологического управления и просил, чтоб полетел опытный врач, уже ненапористо, успокоенно выкладывала Старикова. Он заказал вертолет.

— Когда вылет?

— Минут через двадцать, если сможете. Сейчас вышлю машину. В аэропорту вас встретят.

«Вот кого бы на именины-то позвать», — просветлённо подумал Хрусталёв, ясно вообразив полнеющую фигуру Стариковой. <...>

3

Пострадавший лежал в углу обширных нар, под квадратным окошкм. Лицо его, обметанное серой пыльной бородой, походило на картонную маску, но глаза — горячечные, словно спрыснутые глицерином — неотрывно следили за вошедшим. Возле него стояла миска спелой до черноты брусники, на тарелке валялись комья грязноватого, как мартовский снег, сахара; лежал кусок варёного мяса. <...>

Хрусталёв отбросил одеяло. Правая нога парня, синюшная и утолстившаяся, была примотана верёвочкой к отёсанному обрубку осины. <...>

— Перелом, по-моему, многооскольчатый, весьма сложный, — сказал Хрусталёв с выработавшимся неудовольствием, высасывая шприцем лекарство из бутылочки. — Но хорошо и то, что закрытый, а то бы уж, наверное, проникла инфекция...

— Сколько придётся лежать? Месяц, два? Скажите откровенно, — геолог с усилием приподнимался, потел от напряжения.

— Посмотрим, что снимки покажут, — сдержанно ответил Хрусталёв.

Сделав обезболивающий укол, Хрусталёв взгляделся в лицо геолога и... узнал его. Они, смешавшись, узнали друг друга, и каждый про себя был удивлен тем, что это почему-то не произошло сразу.

— Глеб! Или я обознался?

— Никита! — вскрикнул Хрусталёв. — Никита Ломакин!

— Я, я и есть...

Они неудобно обнялись и после некоторое время молчали, не зная, что делать и о чём говорить. Хрусталёв, желая того или нет, вглядывался в старого друга, как будто в самого себя, с ревностно-тревожным любопытством. Насколько он, Никита Ломакин, изменился? Постарел, нет? И с тайным удовлетворением отметил, что Никита, в общем-то, всё тот же, всё в нём знакомое, прямо-таки родное. Правда, заметно огрузнел, морщинки проступают. Ну что ж, время идёт...

— Это, выходит, больше десяти лет не виделись... — заговорил Хрусталёв без докторской значительности. — А вроде бы совсем недавно жили вместе. Помнишь нашу мрачную комнатуху? Как спасались на полатах от холодрыги?

— Еще бы! И как на работу ходили, в институты готовились, и как ты отчалил с Севера... Все помню! Не мог я, знаешь, после тебя жить, бросил всё, разломал. Ну, поступил со второй попытки на геофак, отучился, диплом в зубы — и сюда, на золото двинул. Всех и рассказней-то...

— Женился?

— Не собрался как-то... А ты?

— Да тоже заколодило. Сломалось что-то, а что не разберу толком. <...>

— Слушай-ка, Никита... — глядя вверх, за окно куда-то, позвал Хрусталёв.

— Чего?

— Сейчас я вспомнил ту полярную ночь, и снова мне жутко сделалось. <...>

— А здорово меня тогда крутануло... Если бы не ты...

4

Когда вертолет взмыл ввысь и взял направление на Якутск, Хрусталёв снова пережил то, что с ним случилось больше десяти лет назад.

...Мела жестокая пурга, она не спадала уже третью неделю, заставляла думать только о ней, и люди, бездельничая, измотались, устали, как в тяжком пути. Мужчины пробирались по натянутым канатам в «Арктику» и облегчали души вином, табаком и разговорами. В тот раз Хрусталёв занимал край стола один, без Никиты Ломакина. Он не мог уйти на метеостанцию, где работала женщина... Попасть туда, в сопки, можно лишь через бухту пешедралом, потому как автомобили, во избежание несчастий, стояли на приколе, их настрого запрещалось выводить из гаражей.

Кроме того, Хрусталёв люто, до нытья под ложечкой, ревновал. Соперник его тоже сидел здесь в окружении друзей и угощал, бездумно транжиря деньги, всех подряд. То был сорокалетний капитан могучего ледокола Донской, «покоритель северных широт», как о нём обыкновенно писали в газетах. Он был великолепен, этот капитан, и для полярника имел немало: известность, и не только газетную, его признавали все судоводители без исключения, — жёсткую власть, знание ремёсла, опыт... И природа не обошла его: фигура — дай бог каждому, размашистая, подвижная. Лицо... нормальное лицо, для полярника самое подходящее. Даже морщины шли ему. Они, казалось, лежали не сверху, а выступали из глубины.

Хрусталёв как-то застал Донского на метеостанции, мгновенно заметил, что женщина вела себя повышенно суетливо, и взял его измором: ждал, пока он не убрался. Хрусталёв сознавал свою беспомощность перед величием Донского, но что-то распаляло его, вздымало мутный гнев и обиду на женщину — это, конечно, она была виновата в том, что попиралась его любовь.

Коротая часы в «Арктике», он видел, что Донской осиян светлым чувством и намерен сорваться на метеостанцию.

Хрусталёв оставался настороже. <...>

Компания Донского, отоварившись шампанским, двинула к выходу — любоваться мирозданием. Минуя Хрусталёва, Донской вымолвил:

— Держись, малый! Ты своё возьмешь.

Хрусталёв не мог больше оставаться в ресторации и вышел на улицу. Он связал две бутылки отыскавшейся в карманах суровой ниткой, вздел их на шею и бросился с берега в кишевший по торосам снежный бус. <...>

Топать по бухте предстояло километров семь, если дёрнуть прямо на сопку, туда, где стояла метеостанция. Бухта просматривалась вплоть до берега, она лежала грузно, независимо, по-бетонному надёжно. Одолеть её, думалось, можно весьма легко, часа за полтора: спорым шагом, где рысцой, марш-марш по целику туда, к сопке... Хрусталёв выкарабкался из торосов, на что, к его изумлению, ушло ровно сорок минут, и стал петлять меж обмерших, до лета безмолвных и неприятных кораблей с толстыми, в обхват, мачтами и реями. Наконец он миновал смолёный борт последнего корабля, стоявшего во льду глухим забором, и оказался на открытом просторе.

Он двигался устремлённо, резкими толчками, кое-где, отладив дыхание, бежал. Уже стала различаться заветная каменная сопка, будто специально для ориентира выложенная из обточенного ветрами плитняка. До берега оставалось не более километра, и Хрусталёв был готов торжествовать победу. Но тут из долины, известной под названием Гибельной, набирая скорость и напор, низом потекли снежные ручьи, настолько густые, что сопка и берег скрылись моментально, как сонное видение. «Ничего, ничего, — шептал Хрусталёв, пряча голову в башлык, по которому уже стегало как дробью. — Главное, не свернуть куда-нибудь. Надо идти как по струнке, берег близко». Налегая плечом, он упрямо шагал и шагал вперед, и лишь после того как прошло немало времени, а берега всё не было и не было, обратил внимание на то, что ветер хлещет в грудь ему, а не в бок, как должно. Неужели пурга сменила направление? Нет, это исключалось... Он подставил левый бок ветру и шёл, начиная дрогнуть и куржаветь, ещё долго, уже с поколебленной надеждой выйти в нужное место. <...>

От мороза уже не было спасения. Кирзовые утеплённые сапоги задубели, спецпошив на толстой вате вымок спереди; башлык обметало льдистым куржаком. Но больше всего мёрзли ноги в жестяной ткани брюк — подштанники он презирал. Хрусталёву казалось, что он опущен по пояс в холодную воду, и что по мышцам ног то и дело чиркают стальным резцом. «Да это же конец, — ожгла его ясная мысль. — Неужели так вот оно и бывает? Господи, твоя воля!.. Спаси и помилуй! — всплыл в памяти материнский причет. — Я жить, жить хочу!» Он елозил, скручивался на жёстком сухом снегу, разминал тело, но подниматься не то не решался, не то уже был не в силах. И тут в сознании, глуша всё остальное, стала возникать успокоительная мелодия, рожденная хомусом: дэнь-дэнь-дэнь... Перед глазами возникло суровое лицо старого олонхосута, заведшего сказ обо всём сущем на земле. Именно там ему открылась мудрость и этой, на первый взгляд, упрощенной мелодии, и этого безмерного, как Север, повествования. Слитые воедино, они как бы разъясняли ему простую, но дорогую тем, что она осознавалась, пропускалась через душу, истину: жизнь единственна, сложна, не трать ее попусту. «И не ходи, остолоп, один в пургу», — добавил Хрусталёв лично от себя.

Небо вдруг расчистилось. По нему скомканными тряпицами летели обрывки снежных туч, мелькали, чудилось, стаи каких-то птиц... Проступил стеклярусный шлейф Млечного Пути.

Из космоса по-прежнему извергался студенистый оранжевый свет, проявляя какие-то мосты и переходы, колонны и стены. «Господи! Кому все это надо? Для чего? — думал Хрусталёв. — Любоваться, что ли?» — «Как для чего? — тут же прозрел он; мозг заработал свободно и чисто, как всегда после основательной нервной встряски. — Раз Млечный Путь лежит так, значит, берег в том или другом конце его. Двигаться, двигаться надо! Из гололеди выбраться надо. Но как? Без ножа, без топора...» — «А так!» — сказал он себе, поработал мускулами, разулся, затолкал портянки под ремень и, низко склонившись, побежал против ветра — к сумётам снега ли, к торосам ли, куда угодно, лишь бы не замерзать на месте. Сначала, метров тридцать-сорок, подошвы хорошо липли ко льду, ощутимый шлепоток их подсознательно радовал его тем, что идея оправдывает себя; но вскоре кожа потеряла чувствительность, и ноги застучали, как протезы. Хрусталёв рванулся вперёд из последних сил, сделал ещё малую пробежку и упал лицом вниз, выкинул руки: пальцы его нащупали клин впаянной льдины, он подтянулся, выполз с безупречной глади на утрамбованный в торосах снег. Спешно, насколько был способен, он выхватил портянки и солдатским сукном их стал растирать ноги. Затем обулся, попрыгал на месте, немного успокаиваясь тем, что попал в торосы, — ведь они шли вдоль берега и особенно теснились возле сопки напротив метеостанции.

Скользя, падая и ушибаясь о льдины, Хрусталёв блуждал в торосах ещё часа три и вышел-таки на берег, определив его сразу же ногами по глухому стуку камней. <...>

Хрусталёв шёл вслепую, на какие-то мгновения терял сознание, слыша только голос олонхосута и текущую с металлическими дребезгами мелодию хомуса: дэнь-дэнь, дэнь-дэнь, дэнь-дэнь... Так он шёл до тех пор, пока не уткнулся в пылающую теплом грудину могучего вездехода.

За рычагом машины сидел Никита Ломакин.

Ему, Никите Ломакину, не замедлили сказать, что кореш его — в такую-то пуржищу! — ушёл по бухте к своей зазнобе. Никита позвонил на метеостанцию и узнал: нет, никто не появлялся. Тогда он забил тревогу, обеспокоил поселковое начальство, но ничего существенного не добился — обожди час-два, втолковывали ему, чуть-чуть уймётся эта падера, тогда и начнём поиски. Терпения Никите не хватило, и он, под личную ответственность, залез в гараж, вывел из бокса вездеход, включил повышенную скорость, добавил газу и выехал за ворота.

Он ездил по бухте змейкой, обследуя километр за километром, чуть сам не заблудился, после чего гонял вездеход только по берегу, надеясь, что Хрусталёв в конце концов выйдет на него. Расчёт его оказался верным.

— Едем на метеостанцию! — заявил Хрусталёв.

— Не надо тебе на метеостанцию... — сказал Никита. — Я только что оттуда. Вакансия занята. Капитан Донской там гужуется... <...>

Лежать на вытяжке сначала было не так уж страшно. Специальная кровать, изобретённая, видимо, на основе богатой практики, как бы вбирала в себя Ломакина, сама приспособлялась к его органам. Вогнутая на середине ложбиной, она умеривала пудовый груз, и действовал он, казалось, на что надо — на голень. И всё же здесь таился какой-то обман. Гири оставались гириями, они одномер-

но выворачивали ногу вплоть до паха, вроде бы давили всё тело, и намученный Ломакин, погружаясь в сонную одурь, видел себя безостановочно падающим со скал Джугджура. <...>

Поздно вечером Ломакин заметил шедшего по коридору Хрусталёва и подо-звал его.

— Слушай, Глеб... — сказал он чужим голосом. — Сколько ты намерен рас-пяливать меня здесь?

Хрусталёв, поколебавшись, сел между кроватей, опёрся локтями о тумбочку.

— Хочешь не хочешь, а лежать придется ещё месяца два или три — сам тол-ком не знаю, — проговорил он невыразительно. — От меня ничего не зависит. Зависит от организма: как он одолеет болезнь, так станет нарастать и костенеть мозоль. Чтобы заварить твой перелом, много требуется нарастить этой самой мо-золи.

— Сколько помнишь, я никогда ни о чём тебя не просил. А сейчас прошу: сними с вытяжки, я больше не могу, — судорожно поднимаясь, с присвистом за-говорил Ломакин. — Я измотался, вытряхнулся и, кажется, скоро начну орать и кусаться...

— Рано! Не схватились ещё осколки. А вдруг упадёшь? Даже крутнёшься не-ловко, и всё пойдёт насмарку, неизвестно, чем кончится. Давай уж не будем ри-сковать.

— Да не болит же перелом! — возразил Ломакин гневно. — На, смотри! — он, извернувшись, достал пальцами голень, подёргал её.

— Растяжка-то снимает боль.

— Ну, Глеб... Освободи, не терзай...

— Нет! — стукнул Хрусталёв себе по колену, вставая. — Нет и нет!

— Гад полосатый! — ругнулся ему вслед Ломакин.

Хрусталёв вернулся — безвольный, с болтающимися руками — и сказал:

— Припекло? Ну-ну... Это даже хорошо. Злость нейтрализует боль. Ругайся вволю — спишется.

— Сядь-ка поближе... Хочу признаться тебе...

— В чем?

— Не ездил я в тот раз на метеостанцию и, само собой, не видел никакого Донского. Думал, уедешь с ней, бросишь меня там, в Заполярье... да и бабёнка-то, по-моему, слишком ручной была.

— Тихо, тихо, Никита! Дай подумать... — Хрусталёв начал с усилием тереть виски. — Вот оно, значит, что!.. — и он вышел в коридор, только полы халата взвились птичьими крылами.

7

Прошло ещё два месяца.

В календарях значилось начало весны, но никаких следов её не было заметно. Стояла глухая, по-северному неотступная зима. Никита так и оставался на вы-тяжке, он лежал пластом, исхудавший и безвольный, с тряпично опавшими му-скулами, ненавистный самому себе. <...>

Большую часть суток он пребывал в сладких мечтаниях. Чудилось ему, будто до окончательного выздоровления осталось совсем мало, и что скоро наступит иная жизнь, которую он станет принимать не бездумно, как раньше, а со стро-гим самоотчётом за каждый дарованный ею час и день. Он видел себя на прииске,

среди вольной братвы либо в кособокой столовке дующим пиво, либо на танцах в клубе... Всё то, видно, не было воспринято и оценено им как следует и потому легко утратилось. Но чаще он, нелюдим, воображал себя беззаботно шагающим по древним скалам Джугджура, неоглядным далям и альпийским лугам.

И ещё одно занятие было у него — ругать Хрусталёва. Полнясь внезапно накипавшей злобой, он ставил ему в вину и стучание до зубной вибрации холодильника в коридоре, и непроветриваемую палату оттого, что строители в своё время не удосужились вырезать форточку, и громогласное перекликанье сестёр и нянечек — одним словом, всё. <...>

Однажды в палату явился Хрусталёв с медсестрой-помощницей. Он достал из кармана халата разводной ключ, отвинтил гайки и выдернул плоскогубцами спицу — будто смычком по нервам провёл. Ломакин едва успел подавить рвущийся из груди стон.

— Теперь я спокоен за эту... конечность, — сказал Хрусталёв, улыбаясь. — Ещё месяца два-три потаскаешься в гипсе, на костылях походишь, затем с тросточкой, — и хоть чечётку бацай. <...>

— Готовьте... человека на выписку, — велел он медсестре и обратил взгляд на Ломакина: — Ну-с, что мог и умел, я выполнил. Будет тебе добрая нога.

— Спасибо... — боясь расслабиться, отмякнуть душою, тихо произнёс Ломакин.

...Больничная «Волга» стояла у крыльца.

— Стой-ка, друг! — просунулся он к шоферу, когда из-за бугра выступили аэропортовские дома и завиднелась метеорологическая «колбаса».

— Что такое? — шофер машинально сбросил газ.

— Вернуться надо, очень надо...

Хрусталёв сидел в продолговатом обставленном отличной мебелью кабинете с надписью на двери «Главный врач» и самоуглубленно читал медицинский вестник.

— Чем увлекаешься? — спросил Ломакин, зависнув на костылях в двери.

— Радуюсь и плачу, — ответил Хрусталёв. — Плачу и радуюсь.

— Уж не потому ли, что главным стал?

— Нет, тут всё в ажуре.

— Жалеть не будешь?

— Чего загадывать... Мое назначение — акт честный, так что я... доволен, не скрою. Буду стараться в меру сил и возможностей. Сегодня-то у меня другой повод грустить. Видишь ли, я изобретал долго, целых семь лет, и наконец работа завершилась. Нет, не моя работа, чужая, одного счастливчика, ну и моя тоже.

— Объясни ладом, — потребовал Ломакин, с трудом усевшись без приглашения в кресло.

— Понимаешь, Никита, я бился над тем, чтоб люди со сломанными ногами никогда больше не страдали на вытяжке, чтоб не таскали на себе этот ужасный гипс. Но, увы, меня опередили. Оказывается, о том же мечтал еще один кустарь-одиночка по фамилии Илизаров, — Хрусталёв вышел из-за стола. — Он придумал изумительный аппарат для сращивания костей и ухлопал десять лет, чтобы доказать эффективность его применения.

— Что это за аппарат? — чувствуя себя причастным к новшеству, спросил Ломакин.

— Ошеломительно просто: кольца, спицы, болтики, винтики... Всё это надевается на порушенную голень, спицами фиксируются обломки костей, и ни-

какой тебе вытяжки, человек начинает ходить. Аппаратом можно без особых мудростей наращивать кости до двадцати сантиметров, причём это делает сам больной. Чудеса, да и только!

— Почему тогда мурыжили изобретение?

— Бывает... Видать, слишком смелой казалась заявка, ошарашила кого-то. <...>

Ходкую «Волгу» замотало по расквашенной лесной дороге. Её свободно, как жестяную банку, кидало на отвесные сугробы, юзило на раскатах, и Ломакин упреждающе хватался за ногу.

— Чудовищен твой... святой обман, Никита Ломакин, — проговорил Хрусталёв, не отрывая взгляда от несущейся под колеса дороги. — Единственная та женщина была у меня... Теперь точно знаю...

— Вот как! — выдохнул Ломакин.

Лес стоял чуть оттеплевший, как бы начавший дрогнуть после зимнего оцепенения. Деревья откидывали слабые бесплотные тени, и всюду обнажились утончившиеся, в сквозных червоточинах снега. Блесткое солнце взялось довольно высоко, подпекало, но ещё будто в сомнении оглядывало таёжье, примеривалось к нему, как работяга.

Подступала новая весна.

Валентин Распутин

Видение

Рассказ

Стал я по ночам слышать звон. Будто трогают длинную, протянутую через небо струну и она откликается томным, чистым, завывающим звуком. Только отойдёт, отзвучит одна волна, одноголоса, пронизывающе вызванивается другая. Я лежу, полностью проснувшись, весь уйдя во внимание, охваченный тревогой, и вслушиваюсь: чудится это мне или не чудится? Но почудиться может однажды, дважды, а не каждую ночь с редкими перерывами. Чудиться может и днём, а днём этого не бывает. Я отчётливо слышу возникающий где-то надо мной от нарочитого и осторожного прикосновения струнный звук, растекающийся затем в слабое, печальное гудение. Я не знаю, он ли будит меня, или я просыпаюсь чуть раньше, чтобы слышать его от начала до конца. Странно, что ни разу мне не удалось взглянуть на светящийся циферблат маленького будильника, стоящего совсем рядом на столике, — достаточно повернуть голову, чтобы проверить, в одно ли время я просыпаюсь. Вызванивающийся, невесть откуда берущийся, невесть что говорящий сигнал заворачивает меня, я весь обращаюсь в слух, в один затаившийся комок, ищущий отгадки, и обо всём остальном забываю. Страха при этом нет, а то, что повергает меня в оцепенение, есть одно только ожидание: что дальше?

Что это? — или меня уже зовут?

В такие мгновения, когда возникает и удаляется стонущий призыв, я ко всему готов. И кажется мне, что это моё имя вызванивается, уносимое для ка-

Распутин Валентин Григорьевич, прозаик, публицист (род. в 1937 г. в с. Усть-Уда Иркутской области). Автор многих книг, в т. ч.: *Собрание сочинений* в 3 т.: повести, рассказы, очерки (М., 1994); *Собрание сочинений* в 4 т. (Иркутск, 2007); *Избранные произведения* в 2 т. (М., 1990); *Деньги для Марии*: повесть и рассказы (М., 1968); *Последний срок*: повести и рассказы (Иркутск, 1970); *Последний срок*; *Деньги для Марии*: повести (Новосибирск, 1971; *Молодая проза Сибири*); *Живи и помни*: повесть, рассказы (М., 1975: *Новинки Современника*); *Живи и помни*: повесть, рассказы (Иркутск, 1978: *Современная сибирская повесть*); *Век живи — век люби*: рассказы, сиб. повествования (М., 1984); *Земля Родины*: сборник: для мл. шк. возр. (М., 1984); *Пожар*: повесть (М., 1986: *Библиотека Огонёк*); *Что в слове, что за словом*: очерки, интервью, рецензии (Иркутск, 1287); *Сибирь, Сибирь...: очерки* (М., 1991: *Отечество: Старое. Новое. Вечное*); То же, доп. (Иркутск, 2000; 2006); *Россия: дни и времена*: публицистика (Иркутск, 1993); *В ту же землю*: рассказы (М.; Иркутск, 1997); *Дочь Ивана, мать Ивана*: повесть; рассказы (Иркутск, 2004); *В поисках берега*: повесть, очерки, статьи, выступления, эссе (Иркутск, 2007); *Эти 20 убийственных лет*: Беседы с В. Кожемяко (М., 2011: *Политические тайны XXI века*) и др. Дважды лауреат Государственной премии СССР (1977, 1987). Почетный гражданин г. Иркутска. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

кой-то примерки. Ничего не поделаешь: должно быть, подходит и мой черед. Сколько раз за тридцать с лишним лет своей сочинительской работы я заигрывал с этим чувством готовности, воображая его услужливым, при котором бы ничего не менялось. Я входил в роль, самоотверженно и вполне искренне играл её, всё существо моё умело меня убедить, что до отмеренной мне черты простирается бесконечная даль с бесконечным же вкушением радостей жизни. Но теперь-то я знаю, что обман в бесконечность кончился, никого из оставшихся в нашем корню старше меня нет, и глаза мои всё чаще обращаются вовнутрь, чтобы различить прощальный пейзаж. Я способен ещё на сильное чувство, на решительный поступок, ноги мои могут вышагивать легко, и наслаждение от ходьбы я не потерял, но что же лукавить: свежим силам возобновляться неоткуда, и всё, что предстоит впереди, — это жизнь на сухарях. Всё чаще застаю я себя в одиночестве в стенах, уже ставших мне знакомыми, но не мною выбранных, а точно бы какою-то силою под меня подставленных. Я нахожу там любимые предметы, собственные вещи, чтобы легче было привыкнуть, но никто из родных ко мне не заходит, и я не жду их, а долгими часами смотрю в огромное, во всю стену, окно на одну и ту же картину.

И картина знакомая, только я никак не могу припомнить, откуда она. Я много ездил, многому из увиденного отдавался с такой любовью, с такими умилёнными слезами, что готов был раствориться в нём вслед за теми, кто, добавляя красоты и неги, растворились там до меня. Может быть, это что-то из мимолётного и ярко-го прошлого, из зрительных впечатлений, оставивших отпечаток в душе, — не знаю.

И это что-то из осени, совсем поздней осени.

Люблю и я «пышное природы увяданье»... Да и как не любить его, если весь год для того, кажется, и набирался, наливался, готовился, чтобы выставить под приспущенное, тоже словно отяжелевшее небо дивный разукрас земли, освобождающийся от бремени. Горячо рдеют леса, тяжелы и душисты спутанные травы, туго звенит, горчит воздух и водянисто переливается под солнцем по низинам; дали лежат в отчётливых и мягких границах; межи, опушки, гребни — всё в разноцветном наряде и всё хороводится, важничает, ступает грузной и осторожной поступью... И всё роняет, роняет семена и плоды, устилая землю. «Бабье лето» теперь помолодело: весна вдвигается в лето, а лето в осень, в сентябре ещё зелено, ядрёно, крепко, осенью и не пахнет, а снежный саван между тем готовится без промедления. Через неделю после Покрова ударит мороз, а потом будет мокнуть, ворочаться с боку на бок, томиться. А потом и вовсе обсохнет. И весь на опоздках сохранившийся убор густо полетит-заметелит крупным пестряным сеевом, обнажая всесветную чуткую печаль. В эти дни чаще всего вспоминают Бога.

Тут и наступает самая близкая, самая желанная мне пора: моя осень. Та, что приходит после дождевых и ветровых трепок, высквоженная, облетевшая и тихая, прошедшая через волнения и боли, смирившаяся, уже и полуобмершая. Остывающее солнце ещё пригревает, воздух кажется застывшим, последние листочки срываются и падают медленно, выкланиваясь и крылясь; земля порыжела и пригнула к себе травы, в высоком дремлющем небе медленно и важно проплывают большие птицы, оставшиеся на зимовку. Сладко пахнут дымы, стелющиеся понизу, теребится высохшая и выбеленная паутина, вода в реке глянцево замирает, затихает ночной звездопад, обронив летние светлячки; избы по деревням стоят присадисто — точно пустили на зиму корни. И вся тяга вниз, к земле... Солнце заходит с бледненьким заревом и подолгу дремлют сумерки, подсвечиваясь дневным настоем. Это особая, неразгадан-

ная пора; в эту пору, когда сезонное отмирает, рождается что-то вечное, властное, судное.

Вот и за широким окном из комнаты, в которую я неизвестно как попадаю, я вижу эту же пору поздней просветлённой осени, крепко обнявшей весь растилающийся передо мною мир. Где, в каком краю эта картина так легла мне на душу, чтобы являться снова и снова, я, повторю, не помню. А может быть, нигде и не встречалась, а непроизвольно составила под пером самописца в моем сознании: мало ли понастроил я картин за тысячи часов, отданных фантазии, — и, как знать, не наступает ли такой момент, когда фантазия способна разыгаться не по вызову, не от умственных усилий, а самостоятельно и, осмелев, сделать меня своим героем.

Я вижу себя в небольшой, вытянутой к окну комнате с двумя боковыми стенами. На месте лицевой стены окно от пола до потолка, на месте задней дверь, огромная и высокая, двустворчатая, с лепными квадратами в три яруса и двумя фигурными медными ручками; за такой дверью тоже должно находиться что-то огромное. Но мне почему-то ни разу не приходило в голову заглянуть за неё. Моё место у окна в низком лёгком кресле, старом и продавленном, с обрывающимися подлокотниками. Кресло из моей домашней обстановки, оно из тех вещей, неведомо как здесь оказавшихся, которые примиряют меня с этой комнатой. Его давно следовало отправить на свалку, но я привыкаю к вещам и боюсь с ними расставаться. Слишком много в них меня. И когда я проваливаюсь в кресле чуть не до пола, мне кажется, что я удобно устраиваюсь в себе.

У правой стены стоят два темных глубоких шкафа грубой и прочной работы. Подозреваю, их специально искали, чтобы они не могли оскорбить достоинство моего кресла. Они не мои, но в них мои книги из домашней библиотеки, мною же, похоже, отобранные, самые близкие. Напротив у другой стены такой же шкаф с моими игрушками — коллекцией маленьких колокольчиков, свезённых чуть не со всего света, — стеклянных, фарфоровых, глиняных, деревянных, медных, чугунных, каменных — самых замысловатых форм и фигур. В них тоже много меня: я люблю смотреть на них, прежде чем начинать работу. Когда я доволен собой (а это случается редко), я подхожу и люблюсь ими до тех пор, пока не услышу нежное переливчатое многоголосье, повторяющее и добавляющее мои фразы. Первые звуки появляются раньше моего прикосновения к колокольчикам, их выкачивает стеклянная девушка в красном платочке, повязанном под подбородком: с коромыслица, перекинутого за головой по плечам, свисают два крохотных ведёрка. В них и раздаются хрустальные всплески. Затем вступает добрый молодец с приподнятой шляпой, в которой и спрятан язычок, выговаривающий приветствие. После этого я позволяю всему колокольному царству вострепнуться и сыграть здравицу в свою честь. Честолюбие ведь можно удовлетворять и таким образом.

Это не комната воспоминаний; да и я словно бы лишён возможности оглядываться назад. Я нахожусь здесь для какой-то иной цели. И внутри комнаты, и за окном, и человеческими руками, и нечеловеческими, всё обставлено с печальной и суровой однозначностью; продолговатая, суженная обитель для одного переходит в суженный, вытянутый вперёд мир, окружающий уходящую дорогу.

Но нельзя наглядеться на этот мир — точно тут-то и есть твои вечные отчие пределы.

Слева рукав тихой небольшенькой речки, теперь и совсем застывшей, извилистой и с низкими берегами, на которых голо и склонено стоят берёзы, по две,

по три на одном корню. Справа за лысым бугром, краснеющим глинистым боком, россыпь молоденьких мохнатых сосенок, сбегających с горы, за ними, вырисовывая высокий волнистый горизонт, стоит лес. Между речкой и бугром просёлочная дорога — ненаезженная, с необбитой посредине сухой гнущейся травой. Дорога петляет, повторяя изгибы речки, затем ныряет в низинку, перебирается по чёрному деревянному мостку через речку и тут на белом каменистом береговом расшире теряется. И только на взвее в километре от мостика появляется вновь — удивительно преображённая, гладкая и прямая, с блестящим серым полотном.

Эта внезапно изменившаяся дорога и не даёт мне покоя. Один её конец, ближний ко мне, простохожий и разлохмаченный, никак не связывается с другим — аккуратным, выверенным и отглаженным. Никаким узлом соединить эти концы нельзя, новый непременно выскользнет из старого, как барская рука из мужицкой. Меня так и тянет посмотреть место их сращения. И ещё кажется мне, что, если бы пришлось ступить на новую дорогу, она бы, как эскалатор, покатила сама. Но она и непустынна: при начале её перемены стоит справа чёрная вековая ель, тяжёлая, с низко опущенным широким подолом, а за нею, выглядывая углом, совсем новая деревянная избушка, янтарно сияющая, сказочная, с односкатной, в мою сторону, крышей. И, как в сказке же, живёт в ней старичок, выходящий на травянистую обочину дороги. Видна его крупная и белая непокрытая голова, видно, что роста он небольшого. От меня не разглядеть, куда оборочено его лицо и во что он всматривается, но, чтобы подолгу стоять неподвижно, надо во что-то всматриваться, чего-то в терпении ожидать.

Который уж день держится неземная, обморочная стынь, совсем заговорная, наложенная колдовской рукой. Так смиренно и красиво склоняются берёзы над водой, так сонно переливается речка, так скорбно белеют камни на берегу, где пропадает дорога, и с такой забавной поспешностью застыли справа сосенки, прервавшие спуск с горы, что в сладкой муке заходится сердце, тянет смотреть и смотреть. Что это — жизнь или продолжение жизни? Солнце тихое и слабое, с чётким радужным ободом по краям, на небе лежат тонкие и сухие дымные облака, неподвижные и точно бы вросшие, теряющие очертания. А по земле листва уже впиталась в почву и больше не перекачивается, не шумит. Оголённый лес не кажется голым и бедным, он успел сделать перестановку и в местах ветробоев выставить тёплым укрытием где сосновый строй, где еловый. Над лесами, над взгорьем и речкой раскачиваются длинные и печальные, всё затихающие, всё слабеющие вздохи.

И вот сидишь у окна в удобном продавленном кресле, смотришь то перед собой, то в себя, уже не отделяя одно от другого и не собирая увиденное в связные мысли. Томно синее небо, навевается и навевается тьма от земли, постепенно накрывается ею и моя комната.

Я уже привыкаю к ней, я уже говорю: моя.

И вдруг каким-то вторым представлением, представлением в представлении, я начинаю видеть себя выходящим на простор и сворачивающим к речке, где стыннут берёзы, высокие, толстокорые и растопыренные на корню, тоскливо выставившие голые ветки, которые будут ломать ветры... Я стою среди них и думаю: видят ли они меня, чувствуют ли? А может быть, тоже ждут? Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый её смысл — и люди, и деревья, и птицы. В старости так больно бывает, когда падает дерево!

Рядом с речкой, затихшей настолько, что не шевелится течение, я иду среди

берёз к мостику, ступая радостно по твёрдой земле, затем спускаюсь под яр на галечник, поднимающий под ногами шум, — здесь течение быстрее и чище — снова взбираюсь на землистый яр и всхожу на мостик, по краям которого бортиками лежат стёсанные сверху и снизу бревна. Они лежат давно и почернели, почернел и настил деревянного мостика, всеми забытого, ибо ни одной души не видел я возле него, с тех пор как поселился здесь, и печального, чего-то долго ждущего... Но чего он ждёт, зачем он выстроен? Я сажусь на боковину верхом, чтобы наблюдать ту и другую стороны света по речке и за речкой, куда уходит дорога. И долго сижу, борясь с желанием перейти через мостик и ступить на белые и круглые крапчатые камни. Далее в моих представлениях я не решаюсь этого сделать. Могучим и затаённым дыханием ходит, шевеля моё лицо, поднимаясь и опускаясь, воздух, морок сумерек настывает, и лес справа с острыми верхушками елей начинает темнеть всё больше. «Хорошо, хорошо», — нащёптываю я, и мне чудится, что под это слово я должен светиться точкой, заметной издали.

Обнаружив себя затем в кресле, я продолжаю размышлять: а ведь я впервые выходил из этой комнаты, прежде мне это не удавалось. Я не посмел перейти через мостик, но я уже был на нем, и с него я высматривал дорогу, теряющуюся в камнях, с него искал я каких-то неведомых ощущений, которые ждут впереди. Значит, я сделал ещё один шаг. Мне не хочется искать ответа, хорошо это или плохо, я только со вздохом переставляю себя в новое положение. Совсем темно, пора возвращаться домой. Я в комнате, на полпути к дому, но в какой он теперь стороне, мне всё труднее понимать.

Я сижу, уже ничего не различая за окном, кроме тяжёлых очертаний леса, время от времени ощупываю себя, здесь ли я ещё, и дремлю над вопросом: если я спускался к мостику — станет ли после этого ночной звон ближе, настойчивей?

«Нет, жизнь меня
не обделила...»

Уроки Александра Твардовского
(в сокращении)

Об Александре Твардовском я услышал в детстве, при обстоятельствах, можно сказать, необычных. Придётся начать издалека. Мои родители выросли в многодетных семьях. У отца было двенадцать братьев и сестёр, а у матери — восемь. К Отечественной войне сыновья и зятья моих бабушек оказались в расцвете сил и в первые же месяцы ушли на фронт. У одной бабушки там полегли два сына, зять и внук, а у другой — сын и зять. Но четверо моих дядей с той и другой стороны вернулись домой. Погибших я знаю только по фотографиям, а вернувшихся — какими они пришли с войны — помню цепкой и незамутнённой детской памятью. Они очень отличались от деревенских парней и мужиков, которым не довелось воевать. Если я скажу, что они были бедовыми, то это будет правда, но не вся. Казалось, что они увидели вдали от дома такое, после чего не может быть страха. Ни перед чем и ни перед кем. Так мне запомнилось.

Один из фронтовиков, дядя Вася, бабушкин зять, был особым ещё и по-своему. Он слыл первым в деревне плотником и столяром. В разные годы срубил два дома для себя и не меньше десятка — для родственников и односельчан. Всю мебель в своей избе после войны он смастерил сам: отличный плательный шкаф, который, потемнев от времени, стоит у тёти до сих пор, комод, буфет, не говоря уже о столах, лавках и табуретках. Дядя Вася хорошо рисовал. Моя бабушка, его тёща, пуще всех довоенных фотографий хранила большой портрет погибшего сына, почти мальчика, которого нарисовал дядя Вася. Этот портрет и сейчас цел.

Но самым козырным — для деревни — талантом бывшего пехотинца был сочинительский. Дядя смолоду писал стихи. Такому дару мои земляки удивлялись, им восхищались и, при случае, хвастались перед заезжими, как своим собственным. Стихи Василия Максимовича шли гвоздём программы в редких клубных

Румянцев Андрей Григорьевич, поэт, переводчик, критик (род. в 1938 г. в с. Шерашово Кабанского р-на, Бурятия). Автор многих книг стихов, в т. ч.: *Горсть отчей земли* (Улан-Удэ, 1970); *Признание* (Улан-Удэ, 1983); *Таёжная колыбель* (М., 1984); *Дыхание Байкала* (М., 1986); *Кедровая ветвь* (М., 1989); *Колодец планеты* (Иркутск, 1993; *Сибирская лира*); *Русская звезда* (Иркутск, 1996); *Лицом к свету*: переводы; стихи; над страницами классики (Иркутск, 2003); *Глаголы неба на земле*: Книга о великих русских поэтах (Иркутск, 2006) и др. Народный поэт Бурятии. Заслуженный работник культуры РФ. Награждён Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». Член Союза писателей России (Иркутская областная организация).

концертах, им отводили видное место в колхозной стенгазете. Случалось, от них плакали: когда дядя «продёргивал» кого-нибудь в стихах, то его едкие куплеты повторяли наизусть месяцами.

Как у многих сочинителей, у дяди Васи имелся и литературный кумир. Это был Твардовский. Не знаю, боготворил ли мой родственник Александра Трифоновича до войны, но после фронта он поминал автора «Василия Тёркина» чуть не каждый Божий день. Особенно часто, с радостным возбуждением, при выпивках. В близкой понимающей компании Василий Максимович то и дело пересыпал разговор строчками Твардовского. К концу застолья прославленные стихи шли всё гуще: память захмелевшего дяди не только не притуплялась, а словно бы включала новую скорость. Без запинки читал он большие куски из поэм, короткие и длинные стихотворения Твардовского. А ночью нередко происходило и во все удивительное. Спокойно уютившись в постели и провалившись в сон, мой фронтовик начинал произносить, строку за строкой, какую-нибудь главу «Василия Тёркина». Звучно, почти трезвым голосом, то весело частя, то отчётливо произнося каждое слово, он выговаривал:

Жить без пищи можно сутки.
Можно больше, но порой
На войне одной минутки
Не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой.
Не прожить, как без махорки,
От бомбёжки до другой
Без хорошей поговорки
Или присказки какой...

Вышло так, что в моей памяти строки Твардовского перемешались с разговорами самыми житейскими: о покосе в ближних берёзовых колках, об отведённой деляне, где можно рубить жерди для изгороди, о хлебах, которые смял ночной байкальский ветер. Строки дядино поэта, особенно из «Страны Муравии» и «Василия Тёркина», были родственны мужицким толкам о самом насущном; у тех стихов и этих разговоров имелась одна основа, о которой я, конечно, не задумывался тогда.

Крестьянская работа открывалась нашему брату не из книг. Но когда ты знал, что, к примеру, поспевшая трава легче косится на утренней зорьке, при крупной росе, которая словно бы «смазывает» при косьбе литовку, а голос со стороны напоминал тебе о том же самом в певучих и ёмких стихах, — эта подсказка запоминалась навек:

Коси, коса,
Пока роса,
Роса долой —
И мы домой.
Таков завет и звук таков,
И по косе вдоль жала,
Смывая мелочь лепестков,
Роса ручьём бежала.
Покос высокий, как постель,
Ложился, взбитый пышно,

И непросохший сонный шмель
В покое пел чуть слышно.

В глухой и далёкой от поэта стороне Твардовский западал в детскую душу потому, что он знал подноготную нашей нищей послевоенной жизни. Ну, скажите, в чьих ещё стихах нашли бы вы картину, повсеместно наблюдаемую в крестьянских дворах после войны (пусть Твардовский написал это ещё в тридцатых, для меня было важно, что он знал такую бездну нищеты):

А в избе, что сгнила у него без сеней, —
Только голые стены да куча детей.
А коровку — единственный хвост на дворе —
На холстах, на верёвках таскал в январе.
Двор стоял, точно шапка у пьяницы, криво,
Мыши с голоду дохли, попадая в сусек.
И скрипел журавель на колодце тоскливо,
Чтобы помнил о жизни своей человек.

«Изба сгнила без сеней», думал я, потому, что до войны хозяин так и не собрался или не нашёл силёнок пристроить сени, а без него жена-солдатка пустила на дрова даже и ветхое крыльцо. «Коровку» «на верёвках таскал в январе» — потому, что от бескормицы её уже не держали ноги, приходилось подсовывать под живот верёвки или холстину и, как на помочах, подтягивать к какой-нибудь дворовой перекладине. Не говорю уж о мышах, которые с голоду дохли в бесхлебной избе. Тут каждый штрих был верен, перенесён из глубины народной жизни, тут каждая строка почиталась святой правдой. И как же было не запомнить такого поэта! Я видел двух своих дедов, когда мой знаток Твардовского читал наизусть «Про Данилу» — про того старого крестьянина, который имел привычку спозаранку обегать чуть ли не всё артельное хозяйство, примечая каждый изъян. Даже председатель интересовался его высоким мнением:

— Как погода — постоит,
Данила Иваныч?
И, задумавшись слегка,
Молвит дед солидно:
— Постоять должна пока,
Постоит, как видно...

В таких стихотворных строчках не было ошеломляющих поэтических образов. Какой-нибудь ценитель литературной формы мог сказать, что нет новизны. Но новизна тут — это очарование тона, подлинность даже самого малого бытового штриха, непринуждённость лирического рассказа. И ещё в стихах Александра Твардовского была душевная, доверительная, родная по духу и форме исповедь — о том, чем же дорога нам наша трудная, не раз вслух клятая и втайне благословляемая судьба:

Нет, жизнь меня не обделила.
Добром своим не обошла.
Всего с лихвой дано мне было
В дорогу — света и тепла.

И сказок в трепетную память,
И песен матери родной,
И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.

Позже, на исходе отрочества, придя на филологический факультет университета, я увидел, что и для моих студенческих товарищей Твардовский среди всех современных поэтов стоит наособицу, в строгом классическом ряду. Это сейчас кое-кто пытается поддерживать миф о том, что в конце пятидесятих — начале шестидесятих годов пришли, мол, особые таланты, потрясатели литературных основ, и вывели новую поэзию в многолюдные аудитории. На самом деле, для знатоков и ценителей русской лирики эстрадные массовки настырных стихотворцев казались, говоря по-теперешнему, обыкновенными шоу, а истинная поэзия жила своей жизнью, зажигаясь не от вспышек идеологического психоза, а от потрясений народной судьбы. Непререкаемыми авторитетами оставались здравствовавшие тогда Александр Твардовский и Анна Ахматова. С эстрады неслось (Вознесенский):

Под брандспойтом шоссе
мои уши кружились,
как мельницы (?),
По безбожной,
бейсбольной,
по бензоопасной Америке!

или (Евтушенко):

Границы мне мешают...
Мне неловко не знать
Буэнос-Айреса, Нью-Йорка.
Хочу шататься, сколько надо, Лондоном,
со всеми говорить —
пускай на ломаном.

Среди этой туфты мы искали и находили живые строки подлинной поэзии, не назойливо оглушавшей, а строго звучащей в безмолвном зале библиотеки или в притихшей студенческой комнате. И как часто это был Твардовский!

Мне славы тлен — без интереса
И власти мелочная страсть.
Но мне от утреннего леса
Нужна моя на свете часть;
От уходящей в детство стежки
В бору пахучей конопли;
От той берёзовой серёжки,
Что майский дождь прибьёт в пыли;
От моря, моющего с пеной
Камень тёплых берегов;
От песни той, что юность пела
В свой век — особый из веков;

И от беды и от победы —
Любой людской — нужна мне часть,
Чтоб видеть всё и всё изведать,
Всему не издали учась...

* * *

Чем же завоевал Александр Твардовский свою высокую поэтическую власть?

Как известно, Твардовский вошёл в русскую литературу — или ворвался? — своей поэмой «Страна Муравия», написанной им в возрасте двадцати четырёх — двадцати шести лет. Позже он признавался: «Во всех тогдашних делах деревни я разбирался порядочно, — не только потому, что сам происходил из деревни, но особенно потому, что всё происходившее там в годы «великого перелома» составляло для меня самый острый интерес и задачу жизни».

«Составляло для меня самый острый интерес и задачу жизни» — это сказано в глубинном смысле слов. Жестокая ломка крестьянского уклада перевернула судьбу и семьи Твардовских, и самого поэта. Клочок земли, болотистой, заросшей кустами и деревцами, «скупой и недоброй», хуторской домишко и незавидное хозяйство при нём — всё, что отец Трифон Гордеевич, кузнец и пахарь, нажил тяжким и долгим трудом, было отобрано; его с женой и младшими детьми выслали как кулака на восток, в таёжные гиблые места. Александр Трифонович, живший тогда в Смоленске, избежал этой участи, но трагедия семьи до смерти оставалась незаживающей раной в его душе.

Так что строки поэмы были оплачены Твардовским собственными страданиями. В главах «Страны Муравии» то тут, то там прорываются приметы жестокого времени — и каждый раз отмечаешь для себя, что подлинный поэт никогда не лукавит ни перед собой, ни перед сильными мира сего. Вот Никита Моргунок попадает в крепком селе на странную гулянку:

— Что за помин?
— Помин общий.
— Кто гуляет?
— Кулаки!
Поминаем душ усопших,
Что пошли на Соловки.
— Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шёл из хаты,
Кто кидался в обмороки, —
Милицейские ребята
Выводили под руки...

Видна ли за этими жёсткими и точными словами потрафляющая рука? Нет. А страничку, которую приведу сейчас, вообще можно назвать подстрекательской — и это написано в пору начавшихся после раскулачивания массовых репрессий уже по всей стране! Моргунок встречает знакомого «кулака», бог весть как вырвавшегося с сыном-мальцом из отдалённых мест:

— Бреду оттуда...¹
 — Что ж там? Как?
 — Да так. Хороший край.
 В лесу, в снегу, стоит барак,
 Ложись и помирай.
 — Так, так, Илья Кузьмич...
 А всё ж —
 Тут злость своя нужна:
 Что скажут — делай, — дескать, врешь,
 Работа не страшна.
 — Нет, брат, спасибо за совет.
 Не страшен был бы труд,
 Да смысла нет.
 — А ты начни!
 — Да мочи нет...
 — А ты тяни!
 — Да руки не берут.

И поэма «Страна Муравия», и стихи Твардовского тридцатых годов отмечены подробнейшим знанием крестьянской жизни, знанием родовым, добытым горбом. В поэме, например, оно не только в деталях, рассыпанных по её страницам; оно пронизывает весь рассказ, от первой до последней строки, о тревожном и долгом пути героя в поисках заветной страны Муравии. Тут доподлинно узнаёшь сокровенный смысл жизни крестьянина, его труда, быта, потаённых мечтаний. Можно ли было некрестьянскому сыну так написать о земле:

Земля!
 От влаги снеговой
 Она ещё свежа.
 Она бродит сама собой
 И дышит, как дежа.

 Земля!
 На запад, на восток,
 На север и на юг...
 Припал бы, обнял Моргунок,
 Да не хватает рук...
 <...>

Такая поэзия не сочиняется, она восходит из глубин народной жизни, и кажется, что она вечно была и вечно будет. После только что прочитанных строк станет понятней мечта Никиты Моргунка хозяйствовать на земле самостоятельно, без унижающего надсмотра и ненужных советов, без артельного безделья и пустого общака. То, что въелось не только в привычку, но и в самую святую сущность крестьянского бытия — мой плуг, моя рига, моя хлебная полоса, мой хутор, — было и для поэта близко, дорого и, может быть, нерушимо. Иначе как бы сумел он выразить это чувство с такой подлинностью, с такой непреложной правотой и с таким твёрдым вызовом каждому, кто убеждает жить по-другому:

¹ Выделено у автора.

Ведёт дорога длинная
Туда, где быть должна
Муравия, старинная
Муравская страна.
И в стороне далёкой той —
Знал точно Моргунок —
Стоит на горочке крутой,
Как кустик, хуторок.
Земля в длину и в ширину —
Кругом своя,
Посеешь бубочку одну,
И та — твоя.
И никого не спрашивай.
Себя лишь уважай.
Косить пошёл — покашивай,
Поехал — поезжай.
И всё твоё перед тобой,
Ходи себе, поплеывай,
Колодец твой, и ельник твой,
И шишки все еловые.
Весь год — и летом, и зимой
Ныряют утки в озере.
И никакой, ни боже мой, —
Коммунии, колхозии!..

Но сказать о том, что в русскую лирику вошёл ещё один крестьянский поэт, пусть и яркий, было бы в этом случае нелепостью. Твардовский имел закваску не только крестьянскую; Бог дал ему редкую способность с юности понять русскую народную судьбину — то знание, которое позже станет и глубоким, и всеобъемлющим и поможет поэту показать русского человека в его подлинном виде и на полях величайшей войны, и на невиданных миром стройках, обновивших ледяную, глухоманную Сибирь.

Твардовский не искал укрытий от бурь своего времени. В 1939 году, призванный в армию, он участвовал в походе наших войск в Западную Белоруссию, а зимой следующего года попал на советско-финскую войну. Увиденная вблизи война, пусть и не принесящая удачи Красной Армии, предопределила поворот поэта к другой теме, вроде бы не совпадающей с первой, крестьянской, — к теме задуманной им тогда и написанной позже «Книги про бойца». Но это на первый взгляд кажется, что у поэм «Страна Муравия» и «Василий Тёркин» нет точек соприкосновения. На самом деле, и там и тут — лирико-эпическое повествование о народном «самостоянье» при судьбоносных испытаниях.

К тёркинской эпосе Твардовский пришёл подлинным мастером, способным нарисовать в большой поэме и тяготы великой войны, и полюбившийся миллионам читателей образ русского солдата. <...>

Богатырь не тот, что в сказке —
Беззаботный великан,
А в походной запояске,
Человек простой закваски,
Что в бою не чужд опаски,

Коль не пьян. А он не пьян.
 Но покуда вздох в запасе,
 Толку нет о смертном часе.
 В муках твёрд и в горе горд,
 Тёркин жив и весел, чёрт!

.....
 То серьёзный, то потешный,
 Нипочём, что дождь, что снег, —
 В бой, вперёд, в огонь крошечный
 Он идёт, святой и грешный,
 Русский чудо-человек.

Теперь с высоты прожитых лет я, давнишний слушатель своего дяди-фронтовика, могу сказать: да ведь те стихи были про самого Василия Максимовича. Там многое совпадало. Мой фронтовик в закипевшей солдатской работе тоже мог сколотить крепкий плот, соорудить блиндажик, а на привале — починить сапоги или рубашку. Он мог сыграть на гармошке, рассмешить однополчан, вытащить из-под огня волоком на шинельке раненого товарища. Он, как и его литературный тёзка, был ранен, особенно тяжело в марте сорок третьего года, может быть, на том же пятачке обугленной земли, что и Тёркин. А, пожалуй, самое главное, чем он был похож на Тёркина, — это характером. Мой Василий шёл строить избу или рыть колодец всегда бесплатно. Годами кормил нашу перекатную голь супчиком из дичи (был удачливым охотником). Привечал за праздничным столом чуть ли не первого встречного. Мирил враждующих, выступал везде и всюду признанным правдолюбом. Так что я прежде в жизни узнал, что Тёркин — это герой самый достоверный, из народной гущи. И если признать утверждение автора, что

...парень в этом роде
 В каждой роте есть всегда,
 Да и в каждом взводе,

то после войны можно было сказать, что «парень в этом роде» найдётся в каждом селе среди уцелевших фронтовиков. Их были тысячи, десятки и сотни тысяч на русской земле, но заслуга-то поэта не в том, что он удачно «списал» с натуры своего Тёркина, а в том, что он художественно нарисовал тип такого человека, русский национальный тип. Это была удача и счастье для Твардовского. «Книга про бойца, — писал он, — дала мне ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринуждённой форме изложения. «Тёркин» был для меня во взаимоотношениях писателя со своим читателем моей лирикой, моей публицистикой, песней и поучением, анекдотом и присказкой, разговором по душам и репликой к случаю».

И я не удивляюсь, что этот Тёркин запомнился и полюбился и мне, и дяде Васе, и нашим односельчанам. <...>

На шестой день

Перевод с арамейского

Сказка

1

Земля же была безвидна и пуста,
и дух божий носился над водою.
Бытие, 1, 2

— Роскошно, — сказал капитан. — Удружили, будь они прокляты!

— А нам не любоваться, — ответил Ло Алан. — Своё сделаем, да и отчалим.

— Всё равно мерзость, — сказал капитан. Навалившись на подлокотник, он глядел сквозь прозрачный пол рубки. — Мерзость и мерзость!

«Аристократ, — подумал Ло Алан. — Маразматик».

Он замечал, что для капитана всё несноснее становится облик диких миров, которые теперь посещала «Конкиста». Ло Алан знал настоящую причину, знал и то, что капитан к старости стал брюзгой, но было и другое объяснение, его Ло Алан благоразумно держал при себе: капитан был родом с Паризаны. И пусть он в юности бежал оттуда, не вынося скуки чопорного, аккуратно подстриженного мира, пусть он всю жизнь издевался над соплеменниками, которые пасутся на своих газонах, подобно ископаемым коровам Дуоны, и любят пейзажами, Ло Алан был убеждён, что капитана держит в плену и мучает во сне тот закоулок вселенной, который был его родиной, нежно-зелёная страна детства. Недаром старый волк корчит из себя эстета, даёт понять: не нашего поля ягода.

Тело планеты неслышно поворачивалось вниз. Горы протягивали к «Конкисте» каменные ножи вершин, жерла вулканов целились, как зенитные пушки, иные из них действовали, размытый дисперсный дымок ненадолго портил видимость. Местность медленно переходила в пустыню, плоскую, добела раскалённую. Континент был ни на что не годен. Ло Алан ещё не видел такого глухого угла.

— Удивительно! — вырвалось у него.

— Что? — спросил капитан, и острый зрачок сверкнул в щели между веками.

Самсонов Юрий Степанович, прозаик, детский писатель (1930, с. Балахтинское Красноярского края — 1992, Иркутск). Автор книг: *Максим в стране приключений*: сказочная повесть (Иркутск, 1963); *Плутни робота Егора*: сказки (Иркутск, 1967); *Путешествие за семь порогов*: повесть (М., 1969); *Семь порогов*: повести (Иркутск, 1971); *Мешок снов*: повести и сказки (Иркутск, 1977); *Стеклянный корабль*: роман-сказка (Иркутск, 1983); *Глагол времени* // Фантастика (Иркутск, 1989); *«Энигма»* // Провинция (Иркутск, 1989); *Человек, сидящий у колодца*: [сказки, повести] (Иркутск, 2000). Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

— Состав атмосферы, — сказал Ло Алан.

— Состав обычный, — лениво сказал капитан.

— В том-то и дело, — Ло Алан произнёс это с нажимом. — Мы можем дышать без скафандров. Кто побывал здесь до нас?

— Никто, — сказал капитан после недолгого молчания. — На моей памяти никто, и раньше тоже. Этим закутком прежде не интересовались, считали, что бесперспективно. Так оно и есть, по-моему. А если бы... гм, разве здесь было бы так?

— Да, — сказал Ло Алан, — но этот континент неудобен.

— Посмотрим на другие, — оборвал капитан, и по его знаку штурман заставил «Конкисту» перепрыгнуть голубой бугор океана. Лоцман, летящий впереди «Конкисты», разгонял облака.

— Выбирайте место, — сказал капитан. — Как вам — годится? — зрачок снова прицельно сверкнул между веками.

— Пожалуй, — неуверенно сказал Ло Алан. — Букет континентов... — капитан фыркнул. — Сделаем облёт?

— Поднимемся и снимем, — сказал капитан. — Для отчёта довольно.

— Хорошо, — сказал Ло Алан, и планета прыгнула вниз. Через минуту она стала вогнутым диском. Ло Алан снова увидел покинутый только что континент, белые щупальца полюсов, острова в океанах. И стал рассматривать то, что сам назвал букетом континентов.

Один из них — северный — был огромен, он уходил за правый край диска. Очертания его были неуклюжи, бесчисленные полуострова и заливы местами образовали сплошную бахрому, особенно в северо-западной части. Древняя суша, израненная ледниками.

Южный континент казался детёнышем возле соседа. Очертания его были проще: почти треугольник, ограниченный океанами. От северного континента его отделяла лишь цепочка внутренних морей. В одном месте цепочка прерывалась: континенты были связаны коротким узким перешейком.

Ло Алан хмуро, чуть удивлённо вглядывался: внизу всё было иначе, дико, но не безжизненно, напротив, континенты были словно зелёные чаши, льды и жёлтые проплешины пустынь лишь подчёркивали контраст. Ещё одна мысль щекотно брезжила в мозгу, но Ло Алан отогнал её. Он указал штурману на обширную равнину между двумя реками.

— Сюда.

«Конкиста» снижалась. Стали видны деревья и трава. В лесу поблёскивали ручьи. Наверное, сырая жара стояла там, внизу. Сквозь прозрачную броню рубки проникло и коснулось Ло Алана нечто подобное дыханию зверя. Грозные джунгли планеты ждали.

— Райское местечко, — сказал капитан, фыркнув.

Ло Алан промолчал. В конце концов, он только знает своё дело. Оно будет выполнено хорошо. Ло Алана не пустили бы на порог академий Паризаны, никто не привил ему безупречного вкуса, и нет ничего стыдного в том, что ему нравится этот нецивилизованный пейзаж. До этого никому нет никакого дела. Если бы этот старый фронт прожил молодость в остве брошенной ракеты среди люмпенов Базарды, если бы он повидал ту дюжину чахлах безлиственных кустиков, которую на Базарде называли — лес! Кусты росли на ржавчине. Школьники совершали там ботанические экскурсии, там происходили народные гулянья. Какое изобилие парадных лохмотьев! Война превратила индустриальную планету в свалку металлолома, а синтетическая пища... Показался бы ты там в своём

золочёном скафандре — прописали бы тебе эстетику! Но ты буравил черные межгалактические океаны, герой и щёголь, рыцарь и пират, и тебе не было дела до мальчишек, которым даже во сне не мог присниться шорох листьев и сверкающий ручей. Люди не понимают друг друга — и это понятно. И это ещё понятнее, когда разница между ними — полтора земных века. Но ведь за полтора века можно бы и поумнеть!

Ло Алан вдруг заметил, что капитан смотрит на него в упор. Он внутренне дрогнул, но ответил таким же прямым взглядом. В грозных жёлтых глазах старика промелькнуло что-то похожее на усмешку. Настоящий дьявол. И всё-таки с ним можно ладить.

2

И был вечер, и было утро, день шестой.

Бытие, 1, 31

— Послушайте, — сказал Ло Алан, — вы никогда не искали Прародину?

— Нет, — капитан фыркнул — это заменяло у него смех. — Когда объявили Премию, я уже был довольно серьёзным парнем. Примерно ваших лет.

— Но думали об этом?

— Ещё бы... Только недолго. Я посчитал, сколько жизней надо прожить, чтобы добиться толку: получилось черт знает сколько нулей, и я решил, что выгоднее присоединиться к Дуузиду — помните эту историю? — и не промахнулся. А Премия была недурна.

— Она до сих пор не выплачена?

— Нет, хотя заявок было не меньше тысячи. Но после взрыва Астороги, когда погиб навигационный музей, ни один пёс не знает даже направления... Вы не хотите попробовать?

— Нет, — сказал Ло Алан, — я тоже считал... Но как странно: достигнуть Свода Вселенной, заселить миллиарды парсеков — и не знать, где та крохотная планетка, с которой, в сущности, родом мы все.

— От неё одни неприятности, — сказал капитан. — Нелепый счёт на земные годы и сутки, который никогда не совпадает с реальным. И этот час, в котором шестьдесят минут! Машины вечно захлёбываются на пересчёте. Тут я не консерватор: всё надо менять. Черт возьми, только из-за того, что какие-то обезьяны потомки на какой-то Земле... Эй, что вы делаете, разрази вас гром! А ну, остановите!

Тележка с грузом — двумя длинными ящиками, — стремительно летевшая к земле, повисла в воздухе на полдороге между поляной и серебристым брюхом «Конкисты».

— Чьи это фокусы? — орал капитан. — Ах, Довиля! Довиль, сюда!

Фигурка Довиля в серебряном скафандре возникла на краю люка, за его спиной развернулись крылья, похожие на два черных зонтика, и через двадцать секунд Довиль стоял перед капитаном, как всегда, невозмутимый и, как всегда, со жвачкой во рту. Оба молчали — Довиль и капитан, и Ло Алан снова увидел сходство между ними. Сходство было неумовимое — не в чертах их лиц, а в их выражении, в повадке, хотя один задыхался от ярости, а второй в это время жевал. Довиль был тоже на свой лад щёголем, и не без оригинальности: правую ступню он потерял при Бонгенузе и заменил её протезом в форме серебряного копытца.

— Как ты смеешь! — заорал, наконец, капитан.

— А вам, шкип, не всё равно, что будет с ихним паршивым грузом? — задумчиво жуя, ответил Довиль.

— Мне наплевать и на них, и на тебя! Ты нарушил моё приказание. Вот, получи! — капитан расквасил Довилю нос, содрал с его спины крыло. — Грязная скотина! Будешь сегодня делать самую грязную работу. Стой там, пока не позовут!

Довиль утёр лопухом своё невозмутимое лицо и удалился на край поляны, к скале, где стал смирно, загородив своим туловищем чёрный зев пещеры. Пещера была уже готова, иначе Довилю досталась бы работёнка, к которой он вовсе не привык и которая ему не понравилась бы: дробить камень, вытаскивать и разбрасывать. Почти всё это, согласно инструкции, полагалось делать вручную.

— Шестой день возимся, — вполголоса сказал капитан. — Конечно, ребятам надоело.

Он как будто оправдывался. Но у Ло Алана не было сомнений, что старик крепко держит в руках свой экипаж. А Довиль — это Довиль, помесь шута и бандита, что с него взять. К тому же всё это Ло Алана не касалось.

— Опускайте, как велено! — капитан помахал кулаком в сторону люка.

Грузовая тележка с ящиками медленно поплыла к земле. Ло Алан поглядел на хронометр, наклонился и сделал ещё одну зарубку на солнечных часах. Тень стерженька стремительно укорачивалась. Близился полдень.

— Ломик и метёлку для Довиля! — крикнул капитан. — Остальные свободны.

Ящики лежали на траве, и капитан стоял над ними. Белую бороду распушил ветер, золотой полуобруч с наушниками сверкал на редующих волосах. Почему-то Ло Алану навсегда запомнилось и это, и деревья, обступившие поляну, и тяжёлые краснобокие плоды, оттянувшие ветви, и шорох листьев под ветром. В воздухе зашуршали крылья: экипаж ринулся вниз, на поляну. Капитан остановил это.

— Боцман, позаботьтесь о санитарии, — распорядился он.

Послышалось ворчание, и на поляне снова посветлело: экипаж убрался назад, в люк, чтобы переодеться. Один лишь боцман лихо спланировал вниз, уронил метёлку и ломик на крышку одного из ящиков и, завершая стремительный росчерк полёта, скрылся в люке.

— Довиль, за дело! — приказал капитан.

Довиль, жуя, приблизился. Взял ломик, повертел в руках. Подсунул его конец под крышку ящика. Нежный шрам на щеке налился кровью. Крышка скрипнула и отошла. Довиль бросил её наземь и занялся вторым ящиком.

Экипаж тем временем почти весь оказался внизу, на поляне. Вид у матросов был как на параде. Белели одежды, и крылья были белые, без пятнышка. Куда девались неряхи и оборванцы! Только лица девать было некуда. Это были всё те же лица космических бродяг, иссечённые морщинами и шрамами, лица с переломанными носами, с черными повязками поперёк вытекшего глаза. Но Ло Алан знал, что и одноглазые могут смотреть косо. Они смотрели косо на Ло Алана. Он был чужой. Он не дрался при Бонгенузе и не ходил на север с Дуузидом, и не изменил ему потом, и не остался один на один со всем миром, за его голову не предлагали наград, он не был вольным пиратом в галактике Гидры, и не он поставил аннигиляционные мины на всех астероидах планетной системы Дру, так что туда до сих пор нет доступа. Но он спасся только благодаря всеобщей послевоенной амнистии. Он был из тех, кто не воевал, но победил и поработил вольные ватаги всех галактик, загнал их на окраины, сделал космическими извозчиками. Знаменитая «Конкиста» теперь носит грузы для учёных экспериментов. Слово этого

мальчишки стоит столько же, сколько слово капитана, если не больше. Потому что за ним стоят и его охраняют неведомые прежде силы.

А ведь в ящиках глина, просто глина! Их заставили сделать такой конец и повернуть такую чёртову работу только для того, чтобы притащить сюда два ящика паршивой глины...

Довиль работал под личным присмотром капитана. Он жевал, сопел и ругался. Он ковырял глину ломиком и орудовал метёлкой. Потом отбросил и то, и другое, стал выгребать глину неловкими клешнями. Пронёсся глухой говорок: в ящике обрисовался контур человеческого тела!

Ло Алан спокойно встретил испуганные взгляды.

— Очисти лицо, — сказал он. Довиль торопливо исполнил приказание и отдернул руку. Ло Алан подошёл к ящичку, взял лежащего там человека за нижнюю челюсть, с силой отвёл её вниз. Послышался не то вздох, не то стон, тихий, но услышанный всеми. Лицо ожило. Приподнялась, упала голова, руки пошарили возле себя, оперлись в края ящичка. Человек приподнялся и сел, вода вокруг себя глазами. Взгляд его упал на капитана, на золотой скафандр, на белую пышную бороду, на золотое сияние обруча над головой. Глаза человека расширились восторгом, он протянул к капитану руки, стоя на коленях. Глина осыпалась с его тела. И вдруг человек упал. Кровавая струйка текла из его груди.

Ло Алан кинулся к нему. Человек был без сознания. Хлопот с ним было немало. Тем временем Довиль выгребал глину из второго ящичка. Когда восторженный шум и гогот привлекли внимание Ло Алана и он поднял голову, во втором ящичке уже стояла женщина. Ло Алан затаил дыхание. Он знал, что модель хороша. Но он не знал, что она прекрасна. Экипаж обезумел, и Довиль замер, ухмыляясь. Он больше не жевал.

— А ну, отойдите, — произнёс капитан. Матросы угрюмо попятились, замолкли. Женщина, взмахивая ресницами, глядела на них, на их белые крылья с любопытством и тревогой.

— Что с ним? — спросил капитан, кивая на человека, лежащего в ящичке.

— Пустяки, — проговорил Ло Алан, — сломано ребро. Это ломиком, — объяснил он. — Сейчас...

— Довиль! — зарычал капитан. Ничего больше не потребовалось. Беспорядочно заметались белые крылья и одно чёрное — Довиля. Экипаж взмыл в воздух — от греха подальше. Довиль, припадая на серебряное копытце, удирал прочь. Так вот она, знаменитая ярость капитана «Конкисты»! У Ло Алана побежали мурашки по коже и ослабели руки. Да, страшен старик!..

Пациент уже приходил в себя, когда два крика слились в один: Довиль жалобно и жутко завопил в зарослях и тут же смолк. И закричала в страхе женщина: она видела, как убегал человек с серебряным копытцем, а теперь там, где он скрылся, раскручивала кольца огромная сверкающая змея.

— Я не хороню своих покойников, — сказал капитан.

Ярость ещё звучала в его голосе, и Ло Алан не посмел возразить. Он отошёл от ящичка. Мужчина приподнялся, ощупал ребра, уставился на женщину. Она улыбалась. Она уже забыла про змею. Всё шло по программе. Ло Алан отряхнул руки, подошёл к солнечным часам, вынул хронометр.

— Посмотрите, капитан. Полдень.

— Ну и что?

— Мы здесь пробыли ровно шесть суток. Это единственная планета во Вселенной, где сутки совпадают с земными. Вот и всё.

Капитан фыркнул.

— Уж не хотите ли вы сказать, что мы открыли Прародину?

— Да, — неуверенно сказал Ло Алан, — мне думается, это — Земля...

— Земля! Да была ли она когда-нибудь? Мифы... Эге, послушайте-ка, нам с вами влетит! Ну-ка вы, прекратите!

Женщина сорвала с дерева краснобокий плод, и теперь они ели его, разломив пополам. Услыхав крик капитана, съёжились, но продолжали есть.

— Пусть, — сказал тихо Ло Алан.

— Как так? Лаборатория не выдала анализа. Вдруг отравятся?

— Но ведь мы ещё здесь. А анализ будет с минуты на минуту.

— Сейчас запрошу, — сказал капитан, щёлкнув кнопкой. — Лаборатория? Всё в порядке? Можно есть? Ну, вам лучше знать... Эй, боцман, все на борту?

— Все! — послышалось сверху.

— Пора отчаливать, — сказал капитан. — Эй вы! Можете жрать, будьте вы прокляты! Плодитесь, размножайтесь, и вообще катитесь к чёртовой бабушке. Нам пора, Ло Алан.

Они ступили на грузовую тележку, и тележка заскользила вверх. Эксперимент XXXIX-Б-Х начался. Две человекоподобные ЭВМ, созданные на белковой основе, следили за тем, как капитан и Ло Алан возносятся на небо. И на всю жизнь Ло Алан запомнил их глаза — глаза испуганных детей.

Прыжок — и «Конкиста» исчезла, испарилась в ярко-синем небе. С минуту Ло Алан ещё видел очертания континента, затянутые облаками, и взгляд его упал на бахромю фиордов, и Ло Алан попытался выговорить забытое слово:

— Ев-ро-па...

А внизу, на земле, на поляне всё уже стало воспоминанием. Было тихо, жужжал шмель, женщина рвала плоды. Мужчина подошёл и стал рядом. Он сказал:

— Я Адам.

— Я Ева, — ответила она.

Через войну

Из воспоминаний

Нашей роте досталось штурмовать деревню. Собственно, никакой деревни давно уже не было, на пепелище торчали печные трубы. Уцелел всего один дом, точнее, уцелели кирпичные стены.

Предполагалось, что артиллерия подавит огневые точки на переднем крае. В том числе (полагал я), сравняет кирпичную развалину с землёй. Нам от этого дома, даже если он и уцелеет, проку никакого. Если уж мы овладеем деревней, так укрепляться будем дальше, на месте разбитой часовни. Своими «мудрыми» соображениями я поделился со Снежковым.

— Ты сначала возьми этот дом, — охладил он меня. — С кем собираешься штурмовать?

Такие сомнения возникали и у меня. Но я успокоил себя тем, что старшие командиры знают какой у нас состав, и уж коли наметили операцию, так и возможности наши учли. Артиллерия раздолбает огневые точки. Нам останется — войти в деревню.

— Будет артподготовка, — напомнил я Снежкову.

— Будет, — подтвердил он таким тоном, что ясно стало: больших надежд на артиллерию он не возлагает. — Из Сухиничей шёл? Дорогу видел? Много по ней подвезёшь? Откуда у артиллеристов снаряды?

Ещё больше огорошило меня, когда перед наступлением нам выдали боеприпасы: по тридцать патронов на винтовку и по коробке дисков на ручной пулемёт. Были ещё гранаты — «лимонки», РГД-33 и противотанковые. Но и гранат дали в обрез, по две на каждого не пришлось.

— Больше и не нужно, — утешил меня Снежков. — Метать их кто у тебя будет? Ты следи, как бы твои орлы сами не подорвались.

Снежков оказался пророком: один боец (хорошо не у нас, в соседней роте) подорвался на собственной гранате, ещё до наступления. Хоть повезло, что по-

Сергеев Дмитрий Гаврилович, прозаик (1922, Иркутск — 2000, Иркутск). Автор многих книг, в т. ч.: *Загадка большой тропы*: приключ. повесть (Иркутск, 1959); *Доломитовое ущелье*: фантастика и приключения: рассказы (Иркутск, 1965); *Осенние забереги*: рассказы (М., 1967); *Завещание каменного века*: повесть и рассказы (Иркутск, 1972); *В разгаре сезона*: роман (М., 1974); *В сорок втором*: повесть и рассказы (М., 1975); *Позади фронта*: повесть (Иркутск, 1978); *Прерванная игра*: фантаст. повесть (Иркутск, 1983); *Конный двор*: роман (М., 1984); *За стенами острога*: повесть (Иркутск, 1986); *Старые особняки*: повести (М., 1989); *Посреди зимы*: роман (Иркутск, 1992); *Запасной полк*: роман (Иркутск, 1995); *Залито асфальтом*: повесть, роман, рассказы (Иркутск, 2002) и др. Почетный гражданин г. Иркутска. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

близости никого не случилось — солдат отошёл в лесок по нужде. Никто из бойцов не держал гранат до этого в руках.

Да что там бойцы, мне самому не приходилось метать боевую гранату. В училище упражнялись на болванках. Но я хоть знал, когда следует сорвать с предохранителя, когда метать. И бросал метко. А солдаты даже и болванок не держали в руках.

Последнюю ночь, уже зная о предстоящем штурме, я долго не мог уснуть. Помнится, и Снежков не спал, хотя мы почти не разговаривали с ним. Не сказать, чтобы я особенно мучился страхом, но было тревожно. Однако даже и тогда мысли в голову приходили больше несерьёзные и вовсе не о предстоящем деле, не о том, что ожидает нас завтра, — вспоминалась школа, ребята.

Я не знал, кто из них где и жив ли. А в школе в эти дни как раз начались выпускные экзамены. И само собой явилось на ум банальное сравнение предстоящего боя с испытаниями — завтра я буду держать свой первый экзамен. Не провалиться бы на нём.

Адресов ребят, которые теперь почти все воевали, я не знал. Тогда, кажется, я и додумался, через кого восстановить переписку.

И не мне одному пришла эта мысль. В войну у нас так сложилось, что весь наш класс — все, кто были на фронте, — переписывались с завучем Александрой Степановной Житовой. В школе она вела биологию. О том, что она пользовалась всеобщей любовью и уважением, можно и не говорить, иначе мы бы и не писали ей. Не только наш класс, но и другие выпускники, старше и младше нас, переписку со школьными друзьями восстанавливали через неё. И не только деловая переписка связывала нас с нею, но и сердечная. Писем от неё мы ждали и в окопах, и в госпиталях, и радовались им так же, как письмам из дому, письмам от возлюбленных. А после войны каждый, кто остался в живых, побывал у неё в коммунальной учительской квартире на улице Баррикад и позднее в полуподвальчике на Партизанской возле рынка.

* * *

Накануне ротный наставлял меня:

— По кирпичам патронов не жги — потом, пригодятся. У тебя главное — гранаты. Фрицев только гранатами выколупнуть сможешь.

План был таким: с началом артподготовки наступаем, держась вплотную (как можно ближе) за огневым валом. А когда артиллерия перебросит огонь вглубь немецкой обороны, делаем отчаянный рывок, закидываем «крепость» гранатами.

— Кидаешь метко, надеюсь?

Я кивком подтвердил: метко.

— Ладно, хоть командиры у меня все умеют.

К ротному у меня была симпатия. Уже одно то, что он не походил на моих командиров из пехотного училища, сразу расположило меня к нему. У нас к тому же нашлись общие интересы и одинаковые взгляды на многое. На передовой люди быстро узнавали друг друга — жили открытой, доступней для общения. Тогда, в тот наш разговор, когда он наставлял меня, как мне действовать в предстоящем бою, я, конечно, не мог предположить, что каких-нибудь две недели спустя его убьют, а сам я с тяжёлым ранением попаду в тыловой госпиталь и не вернусь в прежнюю часть. Я радовался, что судьба послала в командиры столь симпатич-

ного мне человека, к которому я с первой встречи почувствовал расположение. Его опеку я ощущал постоянно. Делал он это тактично, ненавязчиво, не обременяя меня тягостью быть благодарным.

* * *

Артподготовка намечена на 21.00 — так значилось в приказе.

Столь необходимыми командирскими вещами, как-то: часы, компас, планшетка, топографическая карта, — нас не снабдили. Часы и карта были у ротного. У него была и планшетка — предмет зависти всех новичков. В училище нам выдали полевые сумки из чёрной кирзы.

О скором начале артподготовки ротный известил всех по цепочке:

— Осталось пять минут.

Долгими были эти минуты. Я уже подумал: не будет никакой артподготовки, штурм отменили — когда ахнули первые взрывы. Казалось, вплотную у наших позиций.

Вздыбило землю, крошевом и пылью застлало нейтральную полосу.

И вот тут случилась первая заминка. Наши необстрелянные солдаты не готовы были идти в огневой смерч. Мне самому было жутко, но я хоть знал — отдавал себе в этом отчёт — нужно не отставать от огневого вала, тогда нас не будет видно противнику. Прицельный огонь немецких пулемётов для нас опасней. А солдаты-новички, не прошедшие должного обучения, видели перед собой только чёрные клубы, полные раскалённых визжащих осколков и летящего сверху града земляных комьев. Лезть в это пекло никому не хотелось.

Несколько минут мы потратили на то, чтобы поднять солдат из окопов. Никто не хотел быть первым, озирались друг на друга.

Не знаю, как бы я вёл себя, окажись на их месте. Мне было и сложнее и проще одновременно. Сложнее тем, что нужно не только самому идти в бой, но вести за собой ещё и взвод. Увы, с этой задачей я тогда не справился. Но зато ответственность за других не оставляла времени думать о себе. Чтобы испытывать и переживать страх, тоже нужно время. Это я уже после заметил и понял. Бывало так, что в самое мгновение опасности человек поступает так, как нужно, делает именно то, что приносит успех и сберегает жизнь, а страх приходит после, когда опасность уже миновала, когда есть время вспомнить всё в подробностях.

Командир роты был на моем фланге, помогал мне поднять бойцов. Мы вдвоём метались вдоль фронта, размахивали оружием, кричали и матерились. Кое-как удалось навести порядок. Видимо, я напрочь забыл вчерашние наставления ротного беречь патроны и палил из своего нагана направо и налево. Наверное, взбадривал этим себя. По той же причине стреляли и солдаты. Без цели — в пыльную и грязевую тучу, которая двигалась перед нами. Вскоре, когда первое волнение прошло, стало видно, что вовсе не такая она и плотная. Лишь сразу после залпа ненадолго затмится — исчезнет за пылью кирпичный дом, а чуть осело, его снова видать. Задраенные окна, обращённые в нашу сторону, попадали в тень. Солнце не мешало — стояло правее, и хорошо было видно, как из пулемётных стволов частят огневые вспышки — немецкие пулемётчики стреляли непрерывно, не прицельно, должно быть, совсем не видя бегущих солдат. Это уже после стало известно, что пулемётный огонь не причинил нам вреда. В моем взводе был только один раненый, и то его поразило осколком от своего же снаряда — не пулей.

Помню, я бегал взад и вперёд, то поднимал солдат, чтобы наступали, то заставлял ложиться. Да, да, и ложиться тоже приходилось заставлять! Многие настолько очумели, что не в состоянии были разобраться сами, когда следует бежать вперёд, а когда — залечь, чтобы не поразило снарядами осколками.

Перебрали болотистую низину, испаханную свежими воронками. Прошло немного времени с начала артподготовки, а мы уже продвинулись близко к немецким позициям — до кирпичного дома оставалось не более ста шагов. Снарядная строчка прошла по самой деревне, и один снаряд, мне показалось (после я узнал, что не только мне), попал в кирпичный дом. Когда пыль рассеялась, оба пулемёта в амбразурах молчали.

Я всё ещё бежал и размахивал револьвером, когда очередной залп взметнул пылевую тучу позади кирпичного дома, на месте часовни. В это время внезапно застрочил один из пулемётов — пули колотили по земле, их удары обозначились крохотными пылевыми фонтанчиками. Наша цепь залегла.

Я сказал — цепь. Привычное слово, каким пользуются все, кто описывает баталии. Но у нас цепи не было. Никак мы с командиром роты, даже совместными усилиями, не смогли заставить солдат развернуться в цепь — они постоянно сбивались кучками. Наша цепь залегла.

Я лежал, уткнувшись лицом в землю, и кирпичный дом вроде бы отдалился. Пулемётные очереди гулко стегали по сухой земле, нудно посвистывали ушедшие рикошетом.

И вот тут, не знаю, не помню, откуда эти слова попали мне в уши, как будто кто крикнул их. (Возможно, неподалёку от нас расположился батальонный НП.) Слова были произнесены так, как говорят в телефон. Но говорившего я не видел.

— Артиллерия не выполнила задачи!

Помню хорошо: эту фразу тот же голос произнёс не однажды:

— Артиллерия не выполнила задачи...

Теперь не стало больше залпов, беглый огонь перенесли в глубину немецкой обороны. Не видно, где рвутся снаряды. Зато над нашими головами с немецкой стороны проносились снаряды, хорошо заметные по огненному следу в вечернем небе.

Я не знал, куда исчез командир роты. Мне почудился его голос на другом фланге. После я узнал, что так и было, я не ослышался. Едва он увидел прямое попадание снаряда в «крепость» и услышал, что немецкие пулемёты смолкли — помчался на правый фланг, к Снежкову: его взводу не дали продвинуться за болото. Ротный решил, что на нашем участке дело уже сделано.

А у нас ничего ещё не сделано. Едва пулемёт дал передышку и я начал поднимать солдат в атаку, как немец снова застрочил. Позади кто-то вроде как испуганно вскрикнул. Пулемётчик строчил длинными очередями, не скупясь на патроны. Пришлось залечь. Бойцов я не видел, никто не подавал голоса. Видимо, тот же самый, кто недавно вскрикнул, теперь громко стонал и призывал:

— Вай-вай, моя ранена!

Я недоумевал: кто бы это мог быть? В моем взводе только русские. Позже выяснилось, что раненый и верно был не из моего взвода, даже не из нашей роты. В хаосе наступления он отбил от своих, пристал к чужому взводу. Сейчас ему не могли помочь, его подобрали после боя. Стоны и крики раненого действовали неприятно. Возможно, и немец слышал: мне казалось, он усиливал пальбу, когда до него доносился чужой голос.

Наверное, будь на моем месте более опытный, уже воевавший командир, так

он по бестолковости, по лихорадочности, с какой строчил немецкий пулемётчик, сообразил бы, что фриц либо паникует, либо ранен и не способен вести прицельного огня.

Всё же я огляделся. Багровое солнце распластало длинные тени, но ещё не сумерки — светло. Немного правее от места, где я залёг, начинались огороды. Они в запустении: земля не вскопана, гряды заросли сорняком, изгороди повалены... Нужно ползти туда: посреди грядок, в тени порушенной ограды легче укрыться. Вначале страшно было двинуться: казалось, немец только этого и ждёт — тут же накроет меня. До поваленного плетня я дополз благополучно. Ползать по-пластунски в училище нас обучили.

Всё это, впрочем, происходило много быстрее, чем рассказываю. Я и тогда, сразу после боя и позже, удивлялся, сколь лёгким стало для меня «боевое крещение». Легким в том смысле, что я не испытал сильного страха. От бывалых людей я слышал, что никто не может поручиться, как он поведёт себя в бою, пока не изведает этого. Страх овладевает человеком настолько, что он вовсе теряет рассудок, и в панике, ничего не сознавая, лезет под пули на верную гибель. Перед началом артподготовки меня знобило, но едва загрохотали первые залпы, озноб прошёл.

Очутившись в огороде, в пятидесяти шагах от кирпичного дома, откуда без устали строчил пулемёт, я, наконец-то, смог оглядеться. Понял, что стреляют не в меня. Пулемётные очереди лупили внахлест, беспорядочно. Солдат мне не видно — залегли, попрятались. Слышу только, теперь уже монотонный, усталый голос:

— Вай-вай, моя ранена...

Раненый уже не кричит как вначале призывно, истошно — машинально повторяет слова, как заклинание, может быть, этим утишая боль.

Между мной и домом торчит печная труба (раньше я её почему-то не замечал), подле трубы груды битых кирпичей и разного хлама. Всё это можно использовать как укрытие — из-за трубы метать гранату. У меня их три: «лимонка» и две РГД. Задача несложная: выждать, когда пулемётчик сделает паузу, — и бежать. Всего тридцать шагов, а может быть, и того меньше — фриц не успеет поймать меня на мушку.

И точно: мой рывок застал его врасплох. Пулемёт задолбил, когда я уже распластался поверх пыльной кучи щебня.

Пули чиркали по кирпичным обломкам, звенели обо что-то железное, жалобно ныли рикошета. С минуту пулемёт молотил, потом затих. А когда возобновил стрельбу, то уже перебросил огонь в другое место. Наверное, фриц считал, что со мной кончено. Выяснилось: я попал в развалину бани. Металлическое, звеневшее под пулями, оказалось банным котлом, вмазанным в печь. Печной бок частью развалился, и котёл оголило. Под мусором, поверх которого я залёг, настилены половицы банного пола, всё ещё отдающие мыльной сыростью. Под руку мне попался старый веник, напрочь обхлёстанный, почти голик.

Метать гранату отсюда я раздумал. Силы добросить у меня хватит, но какой толк будет, если граната взорвётся по эту сторону кирпичной стены? А попасть с такого расстояния в пролом под крышей я не смогу.

...Вот на эту последнюю перебежку было не просто отважиться. Скрытый от немцев печной трубой, я поднялся в рост, прильнул к шершавым кирпичам. Мне нужно проскочить совсем немного, и я попаду в мёртвое пространство, куда не может быть обращён пулемётный ствол. Для меня оно не мёртвое — живое пространство. Главное — успеть туда. То, что меня могли сразить сверху из про-

лома — гранатой или пулей, — мне почему-то в голову не пришло. Я, как плохой шахматист, рассчитывал только свои ходы, не думая о том, что противник может сделать ход, не предусмотренный мною. В этот раз для меня игра закончилась благополучно.

Помню недолгое оцепенение — немоту в мышцах перед самым броском. Нечто похожее испытываешь на старте, ожидая команду «Марш!». Потом немота проходит, как и не было её.

Фриц и на этот раз проворонил меня. Я уже был возле дома, — в спасительном мёртвом пространстве, — когда он открыл пальбу. Я с разгону прильнул к стене. Над головой огневыми вспышками харкал пулемёт.

Вначале я метнул «лимонку». Попал точно в пролом — за стеной ухнуло. Пулемёт замолчал. Я вскочил на цокольную приступку, с неё метнул вторую гранату — РГД. Услышал, как она обо что-то ударилась — о потолочину или о стропила. Я всем телом врос в стену: если граната взорвётся на потолке, осколки полетят и в мою сторону. Но, видно, граната упала вниз — взрыв получился утробный, как под полом.

Я вскарабкался на стену. В проломе можно было стать на корточки. Из-под железной кровли снарядом вышибло стропила, она осела. Потолок также наполовину обрушило. Пыль, поднятая гранатой, ещё не улеглась, мне ничего не было видно. Раньше, чем я присмотрелся и что-либо различил, я услышал, как забарабанило над головой: пули ударялись в провисшую потолочину, звенели по кровельному листу. Не вдруг дошло, что стреляют в меня, снизу. Кто-то там был живой. Вначале я увидел огневые выплески из автоматного ствола, потом немца, который стрелял. Мне показалось, он был мертвецки пьян, его мотало из стороны в сторону, он кругами топтался по полу. Поэтому и не мог попасть, хотя стрелял чуть ли не в упор. Я выхватил револьвер. Но вместо выстрела слышу холостой щелчок бойка...

Сколько раз впоследствии мне снилось нечто похожее: я попадаю в критическую обстановку, чтобы спастись, мне нужно выстрелить, но револьвер отказывает. Обыкновенно во сне мне не хватает силы нажать на спуск. Этот сон и посейчас мучает меня.

Наконец-то и фриц сообразил, что ему надо перезарядить обойму, потянулся к голенищу, где у него хранилась запасная. Ему, не будь он в таком состоянии, перезарядить автомат — секундное дело. А револьвер скоро не перезарядишь. Я прыгнул на немца сверху, чтобы не дать ему времени, но — промахнулся и сам упал. Однако и он не воспользовался моей оплошностью — неожиданно тоже выстлался на полу ничком и выронил автомат. Я вскочил и уже занёс револьвер, чтобы оглушить фрица... В последний момент рука сама удержалась. Падая, немец потерял с головы каску — затылок у него был окровавлен. Он распластался ничком, недвижимо и пальцами скрёб по замусоренному полу. И по этому движению ясней ясного было, что на ноги ему уже не подняться. Он вовсе был не пьян, а ранен, возможно, смертельно. Не знаю, осколком ли моей гранаты или раньше, когда снарядом попало в дом.

Собственно, в тот момент я не думал об этом — удивился и встревожился, что не видно других защитников «крепости». Они могли появиться внезапно. Кажется, не помнил я тогда и про взвод: про то, что я не сам по себе, а у меня взвод, которым я командую, за который отвечаю. Я вдруг увидел в ящике у окна — автоматные обоймы и под ними россыпью несчитанные патроны. Вспомнил про автомат, оброненный немцем. Всё это совершилось мгновенно, без малейшей затраты мысли, — я поступал не рассуждая. Схватил автомат, выдернул ремень

из-под недвижимого немца, перезарядил обойму, несколько других обойм напихал за голенища. При этом всё время одной рукой держал автомат наизготовку, спиной прислонясь к стене, — ожидая внезапного появления фрицев. Не один же он был тут: ещё недавно по нам стреляли из двух пулемётов. Но услышал вдруг за стеной голоса своих.

И тогда лишь поверил, что мы выбили немцев, взяли деревню.

После узнал, что мои солдаты видели, когда защитники «крепости» отступали: двое впригиб бежали по ходу сообщения, похоже, волоча, третьего, убитого или раненого. Немец, оставшийся у пулемёта, прикрывал их.

...Уже в сумерках начали поспешно окапываться на другой стороне холма, где были развалины часовни и старое кладбище, развороченное ещё немцами. Подобрали раненых и убитых. В моем взводе обошлось без потерь. У Снежкова четверых отправили в санбат: одного с тяжёлым ранением, его унесли, трое других — шли сами.

Тут же какой-то штабной офицер спрашивал у всех, нет ли «языка». Не сразу до меня дошёл смысл — что ему нужно, — хоть я и должен быть знать, помнить из той же «Капитанской дочки». Слово это, ещё тогда, в детстве, впервые встреченное в книге, поразило меня неожиданным смыслом: «язык» — это человек, которого можно допросить, выпытать у него нужные сведения. Не сам человек, а только его язык!

Я вспомнил про немца, оставленного в кирпичном доме, и сказал про него ротному.

— Как он упал? — спросил он.

— Ничком.

— Если ничком — значит, живой.

Отрядили двоих солдат с носилками. Рассказывали после, что немца и верно застали живым, он дышал. Но добились ли от него чего-нибудь, как от «языка», я не знаю. Был ли он в состоянии отвечать на вопросы?..

С тех пор мне запала эта примета, услышанная от ротного: если раненый падает ничком, его ещё можно спасти, а если навзничь — тогда крышка. Верна ли примета, не знаю и сейчас. Сам я, когда меня ранило, падал ничком, оба раза — ничком. Но для статистики этого, пожалуй, маловато.

А совсем недавно я снова услышал эту примету в каком-то фильме.

Валентина Сигоренко

Разговор с дочерью

Отрывок из повести «Поле неборо́ненным»

У своего дома Хохолков помедлил. Дом его бревенчатый, ухоженный красавец, так и выделялся среди других домов улицы. Не мудрено, что отец надорвался. Поставил так, что за него лет двести стыдно не будет. Сухой, высокий, крепкий. По всем правилам отделявали, на зависть, на удивление. На память ему, Хохолкову Виктору, на память. А больше некому. Прерывается род Хохолкова. Ирине всё равно. Ей лишь бы жить не здесь, не в этом доме. Для Тамары он постылый, а дочь его и не заметила, этот дом. Ей всё равно...

В ограде его поджидала Нянька.

— Вить, Витя! Ты так не нервничай. Ты глянь на себя. Ты погляди, на кого ты похож. Ведь чистый покойник, прости господи. Сгоришь ведь. Сгоришь. Пожалей ты меня. Мне мало осталось. Я скоро, видать, отойду. Ирку замуж отдам. И всё...

— Дома? — спросил Няньку Хохолков.

— Дождается, — вздохнула Нянька. — Ты уж не перечь им! Слышь, Витя. Пусть они делают по-своему. Счас жисть такая. Счас все так живут...

Хохолков легонько отстранил Няньку и вошёл в дом. В прихожей, на ковре, впритык друг к другу стояли две пары новых тапок. Для него широкие и узенькие для Тамары. Хохолков переобулся в старые тапки.

У Ирины сидел жених. Этот «жлоб», по определению Хохолкова, с глазами кота, уже лысеющий, с пестрой бородкой на жирном, пупырчатом лице, в потертых джинсах с заморскими какими-то знаками, плотно облепивших его женственный мягкий зад. Увидев Хохолкова, он поднялся.

— Здравствуй, отец, — сказал он.

От слова «отец» Хохолков передёрнулся.

— Здравствуй, Эдуард Рафаилович, — холодно поздоровался Хохолков.

Эдуард Рафаилович знал, что неприятен хозяину. Суетливо и заискивая начал прощаться. Ирина, извиваясь смугловатым полуголым телом, подала жениху тонкую руку. На длинном пальце сверкнул перстень. Она была в странном, из гладкой, блестящей ткани костюме. Что-то напоминающее мужские кальсоны, чуть ниже колен внизу и короткая безрукавка, едва прикрывающая

Сигоренко Валентина Васильевна, прозаик, поэтесса (род. в 1950 г. в г. Иркутске). Автор книг прозы: *Сок подорожника*: повесть, рассказы (Иркутск, 1981); *Завтра праздник*: повести и рассказы (М., 1984); *Поле неборо́ненным* (Иркутск, 1991; *Совр. сиб. повесть*); *Дело житейское*: повести (Иркутск, 2006); сб. стихов: *Осенние тетради* (Иркутск, 2009); *Димитрова суббота* (Иркутск, 2010); *Складень* (Иркутск, 2012). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

грудь. Эдик ткнулся мягкими губами в перстень на пальце и приторно улыбнулся Хохолкову.

«М-да, — горько подумал Хохолков, отводя глаза от выпуклого пупа дочери. — Я всё же поговорю с ней».

Тамара ждала его в зале, где был накрыт стол. Скатерть и три прибора. Посредине стола стояли крупные бокалы.

— Почему мы обедаем без Няньки? — с ходу окинув стол, раздраженно выпалил Хохолков.

Тамара помолчала. Она встала навстречу в новой, для него купленной кофточке, моложавая, подтянутая, с напряженным от ожидания, красивым, ярким лицом.

— День какой-то бешеный, — проворчал Хохолков, как бы оправдывая свою задержку.

Тамара нервно ошарила ворот кофточки. В одежде жены сказывалось влияние Ирины. Обе они носили что-то искристое, гладкое, кажется, созданное из электрического тока. Отдавая ей деньги, Хохолков замылся. Врать не хотелось. Просто смолчал. Она подержала легкую пачечку денег в руках, не считая положила в сервант.

— Мы решили купить тебе костюм к свадьбе...

— Что я, кукла, вырядать меня, — грубо оборвал ее Хохолков.

Тамара помолчала, поправила прическу и тем же спокойным деловым тоном продолжала:

— Я уже смотрела в «Комплексе». Есть вполне приличные польские костюмы.

— Я сказал, что мне не надо костюма. Что, мне жениться на этой свадьбе?

Она испуганно взглянула на него. Хохолков покраснел и отвернулся.

Вошла Ирина, в том же блестящем костюме, так же извиваясь. Дочь неприятно поражала в последнее время Хохолкова. Что-то змеиное было в ней. Ирина сразу села за стол.

— Ирина, — холодно заметила мать.

Дочь встала, зевнула, подождала, пока сядут родители. Потом взялась резать хлеб.

— Хлеб режет папа! — бесстрастно остановила ее Тамара.

Ирина со злостью саданула ножом наперекос булки, отвалилась на спинку стула, стремительно и резко меняясь лицом. Наконец перед ними возникла молодая, выдавшая виды, все познавшая и ни во что не верившая, чужеватая женщина с красивым, но несколько вульгарным высокомерным лицом.

— Переоденься, пожалуйста, — холодно напомнила Тамара и отвернулась, как бы не в силах пережить полуголого вида дочери.

«Она выдает её замуж за вора, развратного лакея, — подумал Хохолков, — и не считает это неприличным. Боже мой, да что же это!»

Тамара, видимо, заметила состояние мужа.

— Выйди немедленно, — цыкнула она дочери. Ирина дёрнулась, но ушла. Через несколько минут из её комнаты раздался хриплый магнитофонный вой.

— Девочка останется голодной, — устало заметил Хохолков.

— Девочка наказана, — сухо отклонила его защиту Тамара и открыла суповницу.

Хохолкову стало жаль жену. Он посмотрел на высокую ее, необычную, украшенную голову и тихо сказал:

— Очень милая кофточка. Она тебе к лицу. — Поварёшка дрогнула в руках жены. Тамара жалобно глянула на него большими зелеными глазами и жалко попыталась улыбнуться.

«О-о-ох, — сердито вздохнул про себя Хохолков. — Могу я спокойно пообедать в своем доме. Жрать хочу...»

— Говорины пригласили нас на торжество. У них серебряная свадьба. Я согласилась.

— Ну, конечно, какой разговор. Раз серебряная. Надо подарок какой-то...

— Я уже подумала. Им лучше всего дарить посуду. Помнишь тот наш китайский чайник? Оказывается, он сейчас дорого стоит. Он же у нас совсем новый... А мне он не нравится.

— Этот сервиз ведь семейный наш. Его уж лучше Ирине...

— В приданое! Правда, а я и не подумала. Говориным ведь можно и купить...

Напряженно хлебали суп. Хохолков старался смотреть мимо жены и думал, что у Сани, конечно, он бы пообедал и отдохнул лучше, чем дома.

— Ирине тоже бы стоило побывать на торжестве. Все-таки семья очень воспитанная, — вздохнула Тамара, а Хохолков промолчал. Ирина перевела магнитофон на всю громкость. Непотребный, рвякающий шум ворвался в залу. Хохолков понял, дочь вызывала его к себе.

«Дита моя, дита! Дита милая... Ласточка, красавица, дитонька моя!» Слова сами выходили из сердца. Это началось тогда, когда Ирочка была хорошенькой, полненькой, большеглазой девочкой в чистеньком кружевном платице. И Хохолков любил её до слёз, баловал её, гулял с нею по улицам и делал ей дорогие подарки. Скромная росла, толстокосая, воспитанная, красивая девочка...

Тамара поставила на стол курицу.

— Прости... Я сейчас, — Хохолков встал и быстро прошел в комнату дочери. У Ирины была достаточно просторная и светлая комната. Лучшая в доме. Стояло пианино, софа, современный шкаф, о котором она грезил полгода, увидав его у одной из многочисленных своих подруг, и неведомо какими путями все-таки достала его. После этой покупки карман Хохолкова значительно похудел. Дочь стоила отцу дорого. Но Хохолков никогда не озадачивался этим обстоятельством. Какие могут быть счета с его родным и единственным дитем. Платить за дочь оказалось куда легче, чем воздействовать на нее словом. Вся комната была увешана фотографиями и иллюстрациями модного ансамбля длинноволосых, без всяких признаков пола или какого-либо вообще различия музыкантов, модных певиц, каких-то транзисторов и вообще чего-то блестящего, лакированного.

«У неё наследственная сорочья страсть матери», — грустно подумал Хохолков и спросил:

— Где твоя Пугачева?

— Ой, папа, это уже не модно. Это вчерашний день.

— Почему?

— Ну, этого тебе не понять!

— Твой отец турок! Это конечно. Но всё-таки я твой отец. Сядь хотя бы, когда я с тобой разговариваю.

Ирина лежала поперек софы, высоко задрав ноги на ковёр. Ногти на пальцах рук и ног отливали густо-фиолетовым, почти черным цветом. Ирина лениво крутанулась и села.

— Ты не турок, — добродушно сказала она. — Ты человек другого времени. Ну, это как другой веры. Всё же меняется...

— Ты думаешь, что вера часто меняется?

— Папа, о чем ты говоришь? У нас же нет никакой веры... Ты же знаешь, что мы ни во что не верим.

Хохолков вздрогнул. Ирина смотрела на него прямо, жестокими, испытывающими глазами.

— Ну а эти... ваши... идеалы... они что, тоже меняются?

— Конечно! Мой жених, между прочим, вполне соответствует моему идеалу. То есть он создаёт мне условия для жизни, о которой я мечтаю...

— Ирина, я хочу поговорить с тобой...

Дочь скривилась как после пилюли.

— Мы уже разговариваем.

— Выключи это хайланье!

Ирина одним пальцем нажала на кнопку магнитофона. В тишине Хохолков сразу начал успокаиваться. В верхнем стекле окна зажужжала муха. Ирина встала, подошла к окну и этим же пальцем придавила муху. Потом налила на палец каких-то духов из дорогой бархатной упаковки. Рядом с упаковкой лежал золотой с рубином перстень.

— Откуда у тебя перстень?

— Мне подарил его жених...

— Дочь, мне не нравится твой жених! Ты слышишь меня! Он мне сильно не нравится.

— Ну, папа, что это за разговор! Сейчас так и не разговаривает никто. Тебе же с ним не жить.

— А ты что, его сильно любишь? Скажи мне, у тебя есть хоть какое-то к нему чувство?

— Ой, отец, не смей!

— Ну чего не смей-то? Что же тут смешного? Ведь замуж идёшь, не в магазин... Не ёрзай. Дай хоть посмотреть на тебя.

— Ну, смотри, — разрешила дочь. Она сама смотрела на него с тем снисхождением, с каким смотрят взрослые на детей.

— Сколько ему лет?

— Тридцать, — она помедлила и, безмятежно вздохнув, добавила: — Восемь...

— Он что, ещё ни разу не был женат?

— Два раза.

— И это тебя не останавливает?

— Нет, — ответила Ирина и улыбнулась отцу, как малому ребенку. — Знаешь, отец, ты ведь зря так обо мне... Я ведь дочь своих родителей. И, к моему прискорбию, вылитая мать. Такая же расчётливая, и, наверное, такой же ханжой буду в старости...

— Да, мать, конечно, на многое рассчитывала, когда шла за меня, — усмехнулся Хохолков.

— Да, тут она крупно пролетела, — беззаботно согласилась с ним Ирина, — тут, видимо, судьба зло сыграла. И почему я росла у вас одна?

— Ну, я посмотрю, как ты нарождаешь своему Эдику.

— Я от него никогда не рожу, — резко отрезала Ирина, голосом, в котором ясно угадывалось, что этот вопрос решён для неё раз и навсегда. — Я рожу от такого мужика, как ты. Ты ведь всегда будешь главным в моей жизни.

— Ну спасибо, уважила, — пробормотал, смутившись, Хохолков.

— Да... Я даже под венец пойду... без твоего благословения.

Хохолков почувствовал стыд и злобу одновременно. В его дочери перед свадьбой не угадывалось ничего девического. Она без всякого смущения толкует о уже решённой измене мужу, да ещё просит у отца благословения. Воистину всё перемешалось на этом свете. Да и сам он, Хохолков, многие лета о чем бы ни ду-

мал, разве он рассуждал о том, хорошо ли это, не стыдно ли так поступать! Он только расценивает, насколько дело выгорит дёшево, выгодно, удобно. Дёшево, выгодно, удобно — вот девиз последних лет его жизни. От этого неожиданного для себя признания Хохолкову стало совсем не по себе.

— Ну я тебе не дам никакого благословения, — растерянно пробормотал он.

— Ты благословишь меня, отец! — убеждённо сказала Ирина. — Вот посмотришь...

У Хохолкова, видимо, был растерянный, жалкий вид, и дочь пожалела его. Она поцеловала его в голову. Она говорила с ним, как с маленьким или больным человеком, который не в состоянии оценить своё положение. И Хохолкову начинало казаться, что он действительно не в состоянии понять, что с ним происходит. И, может, он не прав и устарел и от жизни отстал, а дочь права? Ведь молодёжь всегда умнее и всегда больше понимает, чем старики. Так положено в жизни. Это её закон, иначе бы она остановилась.

— Папа, всё ведь давно изменилось, — увещевала его Ирина, словно вычитав его мысли. — Давно. И я уже не могу жить в той... ну почти нищете.

— Нищете? — изумился он.

— Почти, отец! Ваш ширпотреб... ну короче, он не для меня. Только не говори мне, что все это ты наживал своим горбом, что ты отпусков не видел, выходных не знал. Я всё очень понимаю. Именно поэтому я и выхожу замуж за Эдика. Ну, чтобы моя жизнь не заканчивалась... так же плачевно. Жизнь ведь надо устроить... трезво и с выгодой. Я просто очень хорошо усвоила, как, что и почему. Поверь, я наверное, ну, не наверное, а точно, страдаю от того, что делаю тебе больно. Я очень люблю тебя, отец...

— Ну, спасибо, дочь! Хоть такого устаревшего, отсталого, но любишь... — усмехнулся Хохолков.

— Отец, ну... серьезно. Почему ты не хочешь меня понять? Я хочу жить так, как хочу. Слышишь? Я не хочу жаться, не хочу отравлять себе жизнь, отказывать себе. Я хочу одеваться, путешествовать. И вообще — я много чего хочу...

— Ты достойна своего женишка. Злая, вульгарная, развращенная... — На языке Хохолкова вертелось неприличное слово, и Ирина, угадав его, побледнела, глаза её потемнели и зажглись как камни. Теперь она была вылитая мать. Тамара негодовала так же бледнее и благородно высверкивая глазами.

— Да, ты угадал, — напряжённо сказала Ирина, благодушное покровительство вмиг слетело с неё. Теперь она стала снова вздорной, избалованной девчонкой. — Но я хотя бы не вру, заметь. Ни себе, ни людям. И не собираюсь стать ходячим цитатником, как моя маман.

— Хватит! Сколько можно! И не смей больше так говорить о матери.

— Вы всё врете. Ты врешь, и мать врёт. Мы хотя бы не врём и не выдумываем себе фальшивых идеалов. Противно смотреть на вас с матерью. Она вида детей не переносит. Её от их крика тошнит, а воспитывает ходит. Ты не любишь свой завод. Я знаю. Его невозможно любить человеку живому. А работаешь и врешь, что любишь и делаешь благое дело. И твой завод отравил всё вокруг. Он тонны дерьма в Ангару спускает. Да, да, да, и ты это знаешь, и все это знают. И я не рожу потому, что не хочу, чтобы мой ребенок стоял в очереди за стаканом воды.

— Ирина! Ира, прекрати сейчас же.

— Вот видишь. Вот видишь, — уличала она его, — или у меня глаз нету. Или я совсем дура! Я только врать не буду. Я хочу жить на широкую ногу и буду... И только. И это куда лучше, чем строить эти треклятые заводы и врать, что это вы делаете для людей.

Хохолков близко подошёл к дочери, взял её за плечи и тряхнул.

— Ирина. Успокойся. Слышишь! Сейчас же успокойся!

У девочки был безумный вид. Она некоторое время оторопело смотрела на отца, потом проморгалась, порозовела слегка и вздохнула.

— Я спокойна, отец. Всё... Я больше тебе ничего не скажу. — Она помолчала немного и небрежно добавила: — Нянька, та хоть в Бога верит. По-настоящему и в Бога! — Ирина подняла вверх палец.

— Прикрой свой пупок. Это неприлично, в конце концов! У молодой девочки должен же быть хоть какой-то стыд!

Ирина нервно засмеялась.

— Между прочим, я подрабатываю в училище искусств. Позирую художникам.

— Как?

— Голая...

— Ты! — выдохнул Хохолков.

— О Боже мой! — Ирина закатила глаза вверх. — Только не падай в обморок.

Хохолков несколько секунд сидел ошарашенный.

— А я думал, это ты должна упасть в обморок.

Ирина покраснела и отвернулась.

— Тебе что, не хватает на жизнь?

Ирина нервно дернулась.

— Я красивая...

— Ты думаешь, этого достаточно, чтобы раздеваться перед чужими мужиками! — крикнул Хохолков. Он никогда не бил дочь и не кричал на неё, а тут он не знал, что делать, и кричал.

— Папа, — испугалась наконец Ирина. — Я пошутила, папа. Это всё неправда.

Хохолков вылетел из комнаты дочери. Пока он переобувался в передней, Тамара стояла перед ним как столб, нервно сцепив впереди себя руки. Хохолков глянул в зеркало. Он был красный как рак, всклоченный и нехороший. Тамара стояла рядом с ним, подобранная, опрятная, с белым, каким-то неживым лицом. Хохолков жалко улыбнулся ей через зеркало. Из комнаты вышла Ирина. Она уже переоделась в глухое тёмное платье.

— Папа, — сказала она. — Прости. Это всё неправда. Слышишь меня? Это всё неправда...

— Я надеюсь, — сухо ответил ей Хохолков и вышел. Няньки в ограде уже не было. Подалась, видать, в церковь.

Юрий Скоп

Доброта к доброте

Отрывок из повести «Со стороны»

Прилетая по взрослым делам в Иркутск сегодня, я так или иначе, но прохожу по улице моего детства...

Взрослые люди понимают, что это для них значит.

Ведь у каждого есть она, эта единственная и неповторимая улица. И для каждого она теперь — светлая грусть его, тихая радость, светлая боль, потому что всё то, что прошло вот здесь и что связано с этой улицей, теперь только память... Хочешь — вороши её, а не хочешь — не трогай.

Дело тут не в сентиментальном моменте, конечно. Улицы нашего детства — точки отсчёта самих нас. Да, да... Уж какими мы вышли с тех улиц, такими и возвращаемся на них. Время лишь наращивает или совсем высушивает в нас то, что возникло тогда в наших душах вот здесь, на этих улицах, или так и не возникло в них почему-то... Изначальные-то вещи всегда ведь самые прочные, особенно для души. Искусственные же посадки на таком огороде, хоть как их ни береги, ни лелей, всё одно будут искусственны, плодоносят капризно, да и налипают на них всякая дрянь быстрее.

...А яблонь и сада действительно больше не было. Я вошёл туда, где всё это было всего лишь четыре дня назад, прямо с улицы: ограду тоже сломали, и, не понимая ни черта, глазел на свежеизрытую, искореженную темно-коричневую землю. На ней повсюду теперь копошились пленные япошки, которых тогда, сразу же после японской войны, навалом пригнали в наш город, чтобы они, строя дома и дороги для нас, малость бы поотвлеклись и поостыли от своего самурайства.

Япошки послушно и терпеливо кайлали, долбили, копали и грузили на тачки землю нашего сада. В углу же его, как раз в том месте, где я хорошенько «притырил» Мишкин браунинг, одноруко закапывался вглубь, мотая черным, с искристыми зубьями ковшиком, плюющийся дымом, грохочущий, лязгающий экскаватор. <...>

В этом саду провожали на фронт моего отца.

Я смутно запомнил ту последнюю, прощальную гулянку: столы, киро-

Скоп Юрий Сергеевич, прозаик, поэт (род. в 1936 г. в с. Манзурка Качугского р-на Иркутской обл.) Автор многих книг, в т.ч.: *Азарт*: стихи (Иркутск, 1968: *Бригада*); книг прозы: *Избранное* (М., 1989); *Алмаз Мария*: повести (М., 1972); *Открытки с тропы*: книга раздумий (М., 1982); *Факты минувшего дня*: роман (М., 1984), *Со стороны*: повести, очерки (Иркутск, 1985: *Современная сибирская повесть*); *Роман со стрельбой*: сибирские повести (М., 1986) и др. Лауреат Государственной премии РСФСР (за сценарий к кинофильму по роману *Факты минувшего дня*). Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1960-е гг.

синовые лампы, самовары, песни и нарочные, будто весёлые, взвизги женщин.

Отец не спускал меня с рук, тискал, дышал на меня густым перегаром, что-то говорил мне всё время, отвлекаясь от меня, чтобы чокнуться своим стаканом с другими. Я запомнил, как капали с его колючего подбородка мне на лицо пахучие капли. Я попробовал тогда полизать их, но меня передёрнуло от их сладковатой пронзительной горечи...

Потом отец притащил в сад своё охотничье ружье и долго сосредоточенно расстреливал вверх ненужные ему теперь патроны. Тётка после, когда пришла голодуха, загнала это ружье на барахолке, не знаю почём. Отец стрелял и стрелял вверх, в тёмное звёздное небо, а все остальные в саду сидели тихо-тихо, не мешая ему. Выстрелы освещали отцу мокрые щеки, хотя ни дождя, ни ветра в тот вечер не было нисколько, и сад постепенно заволокло кисловато пахнущим стреляным дымом...

Потом сад стал кормить нас. На его деревьях вырастали за лето такие маленькие круглые ранеточки, напоминавшие мне своей величиной отцовскую охотничью картечь. Мы, пацаны, начинали жевать их ещё задолго до полного вызревания. Жрать-то ведь очень хотелось, и тот, кто уж шибко переедал их, после поносил. Редкий из нас не обошёлся тогда без тяжёлого, душного заболевания, которое взрослые называли пугающим нас словом «дизентерия».

Для того чтобы, не лазя на дерево, можно было прямо с земли доставать ранетки, на длинную-длинную палку приколачивался не очень глубоко гвоздь, загибаемый не до конца шляпкой вниз. Палка с таким устройством подводилась под рясные от ранеточек ветки, её дёргали на себя, и между гвоздём и палкой нацеплялись сорванные румяные, вяжущие рот яблочки с хвостиками. Когда же они поспевали окончательно, из них можно было варить кисели или варенье, но для этого нужен был сахар, а сахару в городе было очень мало. Поэтому проще и лучше всего ранеточки ели пареными, то есть отмоченными в горячей воде. Это была вкуснотища!.. К тому же и кепка таких вот отпаренных ранеток ценилась у нас на углу в цельный трояк.

Потом в саду появились первые раненые. За садом в здании бывшего до войны финансового института открылся военный госпиталь. Раненые приходили в сад в серых халатах, белых подштанниках, в тапочках с верёвочными завязками, принося с собой в сад совсем и не страшные бинты, гипсы, костыли и щемящие запахи йодоформа. Здесь они гуляли, дышали свежим воздухом и обжигались с санитарками. Мы это тоже все видели, но меня лично ихние «обжимы» интересовали мало. Я, между прочим, пытался встретить среди раненых своего отца...

Ещё мне запомнился тогдашний пожар в госпитале. Горело, фугуя черным дымищем, на четвёртом, верхнем этаже. Раненые, матерясь, выпрыгивали оттуда на матрацах, и их ловили внизу растянутым брезентом. Остальные тогда набились в сад: лежали, курили, смеялись, как-то странно спокойно пережидая огонь...

В саду мы играли в войну, натурально взрывая на костерках наворованные в военных машинах на 5-й Армии — там, по всей улице такого названия, стояла какая-то моторизованная часть — патроны. Один раз мне здорово припаяло по морде отлетевшей автоматной гильзой. Ещё бы маленько повыше, и я точно заделался бы одноглазым...

Припомнив про всё это, я, расстроенный вконец — браунинг-то ведь наш

с Мишкой тоже «схавал», съел, значит, экскаваторный ковшик, — направился домой.

Тётка молча стоговила мне еду и села напротив. По всему было видно, что лупить она меня вроде нынче не собирается. Это было хорошо, не портило аппетит. Тем не менее ухо я держал остро, мало ли что, и молчал тоже. Эту штуковину я усвоил крепко: раз не спрашивают, лучше помалкивать...

Когда я всё сглотал, тётка первая тихо спросила: «Ты где был?..» Я нарочно подумал и ответил конкретно, одним словом: «Там». Тётка покачала головой, и я увидел, как под её ладонью сильно задёргалась щека. Она сказала: «Приходила твоя учительница...» Я посмотрел на тётку с интересом... Мне же любопытно стало, чего ей тут понадобилось, Елене Лаврентьевне... «Я ей сказала, что ты болел...» — грустно сказала тётка. «Но-о? — удивился я и, посоображав, поощрил: — Правильно ты сказала». Она вдруг приклонилась лицом к прожжённой утюгом клеёнке с моими чернильными кляксами, и плечи её в старенькой, прохудившейся на локтях кофте завздрагивали...

«Ну ты, чего это, чо уж ты...» — вырвалось из меня как-то не так...

Тётка вскинула голову, как бы прислушиваясь, потом рывком поднялась, подошла ко мне и стала жадно и сухо целовать меня.

Я зажмурил глаза. Что-то больно и трудно сдавилось у меня внутри. К горлу подъехал угластый несглатываемый комок. Я тяжело задышал носом и тихонько, настойчиво высвободился из тёплых рук тётки. Не сказав ничего больше, убежал на улицу. Постоял с минуту возле крыльца, а потом, не зная зачем, опять потащился в сад глазеть на япошек.

Они, все какие-то одинаковые, одетые на один манер — в тужурках желтовато-песочного цвета с мокрыми разводьями пота на спинах, в обмотках на одинаково коротких, с кривинкой ногах, — по-прежнему послушно и терпеливо, не разговаривая между собой, ковырялись в земле. А под вечер, перед тем как их построили в колонну наши конвоиры, вооружённые тяжёлыми винтовками на ремнях, и колонна потопала куда-то по улице Ленина, вышаркивая по её булыжной мостовой разномастно, не в ногу, отчего мне казалось, что шеренги их то западают, то выпрыгивают назад, как клавиши на Элкиной «пианине», — я увидел, как ихний японский командир, такой же махонький и кривоногий, в тяжёлых коричневых американских ботинках на толстой подошве и в шапочке с козырьком, на которой и были какие-то, видать, отличающие его от других япошек, знаки, шибко и длинно ругался по-своему, по-японски на одного пленного «банзая»...

Этот «банзай», широкий в плечах и, наверное, сильный, ростом был ещё ниже своего командира и в очках, починенных по оправе жёлтыми медными проводочками. Командир скалился на него щелястыми зубами, хрипло и отрывисто тонко кричал ему что-то, в паузах между словами протяжно «э-экая» и размахивал рукой.

Виноватый «банзай» стоял перед ним навтыжку, смешной и серьёзный. Обмотки на его ногах ослабли, и «шкирята», штаны значит, забавно нависали на них. Мне почему-то вдруг сделалось жалко его, измаранного в глине, ведь он же, этот «банзай», как и все, вкалывал в саду, я же сам это видел, так что, с чего это «катил на него бочку» ихний командир, мне, хоть убей, было совсем непонятно.

Я отлично запомнил в тот вечер этого «обгавканного ни за што ни про што» япошку и решил, что завтра же, когда пленных по новой «притартают» в наш сад

на работу, сделать ему чего-нибудь хорошее. Ну, назло ихнему главному самураю...

Ночью японец приснился мне. Мы будто сидели с ним на барже и ловили на удочку луну. Луна раскачивалась на темной воде, не хотела клевать и показывала нам длинный жёлтый язык. Японец, улыбаясь, сказал мне что-то по-японски, и я вдруг, понимая его, кивнул ему согласно. Он снял свои очки, положил их на палубу и, разбежавшись, прыгнул в Ангару вниз головой. Вынырнул он уже с луной в руках и, хохоча, поволок её вплавь к барже...

«На... — сказал он мне уже по-русски. — Бери. Ты же хотел её...»

Я попытался перехватить луну из его рук в свои, но не сумел удержать... Луна скользко трепыхнулась и звучно плюхнулась обратно в реку.

«Э-эх ты-ы...» — досадливо протянул японец. Но я успокоил его, сказав весело: «Ништяк. Пушай плавает. Поймаем в другой раз...»

Утром, уходя на работу раньше меня — тётка работала щипальщицей на слюдяной фабрике, — она завернула и сунула мне в противогазную сумку, в которой я носил тетрадки и учебники, белую-белую французскую булку. Такие уже появились тогда в хлебном магазине, только стоили жутко дорого. После ухода тётки я ещё долго смотрел на булку с её поджаристыми, закрученными кверху краями, а потом с ходу понял, чем лучше всего обрадую сегодня своего японца...

С этой приятной для меня задумкой я кое-как высидел целых четыре урока в школе. Елена Лаврентьевна что-то писала на доске, читала, рассказывала, но я её почти и не видел. Я ждал последнего звонка, чтобы тут же рвануть в наш двор... <...>

Я поспел к своему японцу в самый раз. У пленных наступил обеденный перерыв. Замолчал, наоравшись, экскаватор. Уткнул грязную чёрную руку в землю. Япошки, рассыпавшись, сидели в пока ещё мелком котловане и что-то там шамали из котелков. Я не враз отыскал глазами своего «банзая». Они же в натуре были очень одинаковые, да и очкастых среди них тоже было навалом...

И всё-таки я нашёл своего. Он притырился в экскаваторный тенёк и сидел в общем-то один, чуть в сторонке от остальных пленных.

На коленках у него лежала газета, а на газете он придерживал рукой плоскую, слегка изогнутую по форме крышку от котелка, из которой почему-то левой рукой черными палочками что-то не спеша доставал и клал себе в рот, наклоняясь при этом. Ел, будто молился...

Я подошёл к нему сбоку, бесшумно спустившись в котлован. Земля податливо уминалась под ногами, была рыхлая и мягкая. Постоял немного, не зная, с чего начать, а потом просто окликнул его:

«Э-э!»

Японец резко повернулся ко мне лицом и прицельно изучил меня взглядом с ног до головы.

Я старался как можно приветливее улыбаться ему, чтобы он чего-нибудь там не подумал, и он, насмотревшись на меня, тоже улыбнулся, показывая мне крупные и тупые... вроде пистолетных патронов... зубы. Я мгновенно запомнил тогда их медновато-белую неровность и нетесность во рту...

Надо было чего-то говорить, и я громко сказал ему:

«Ты ешь, ешь. Не бойся...»

Японец тоже что-то стал говорить и закачал головой, будто кланяясь. Я подошёл к нему совсем близко и, прислушиваясь, с трудом догадался, что японец, жутко коверкая, повторяет одно только слово «хорошо». Оно у него получалось уморно: «Ка-рад-цо, ка-рад-цо, ка-рад-цо».

«Ну чего ты заладил, как этот... — сказал я японцу, присаживаясь с ним рядышком. — Конечно, хорошо. Только ты шамай давай. Рубай!..» Я показал ему пальцем на еду в крышке, а потом ткнул этим же пальцем себе в губы.

Японец, балда, усёк этот мой жест по-другому, решил сдуру, что я у него «стреляю» жратву, и тут же с готовностью, поразившей меня, протянул мне всю крышку.

Я заржал, замотал башкой и замахал руками: мол, ты што, не-ет, я не нуждаюсь... «Это ты, ты ешь!..»

На этот раз он понял всё правильно и, забавно прихватив палочками что-то вроде варёной картошки, сунул в рот.

«Во-о, — сказал я ему, — молоток!..»

Японец жевал и посматривал на меня сквозь починенные жёлтой провололочкой очки добрыми чёрными зенками. Мне ужасно хотелось спросить у него, чего это вчера на него так «тянул» ихний командир, но не знал, как это по-русски сделать, и промолчал.

«Ешь, ешь, — повторил я опять приставшие ко мне слова и только сейчас вспомнил о своём подарке ему. — О-о! — сказал я восторженно, толкая японца плечом. — Глянь-ка сюды...» И перекинул себе на живот свою противогазную сумку.

Японец проследил за моими движениями, и я торжественно вынул из сумки обёрнутую чистой тряпицей французскую булку. Показал её ему, шикарную, поджаристую, и протянул: «На, хавай!..»

Во взгляде японца что-то случилось. Я заметил, как он замигал под очками часто-часто...

«Бери, бери. Не дрейфь...» — сказал я ему и положил булку на колени.

Он продолжал моргать, остановив на лице немую улыбку...

«Да мне же не жалко, — убеждал я его уверенно. — Я для тебя же её приволок. Гадом буду...»

Я опять взял булку и попытался втолкнуть её японцу в руку.

Надо мной что-то резко э-экнуло и привзвизгнуло.

Я, напуганный, задрал голову вверх...

Рядом со мной и японцем возвышался ихний командир в шапочке с козырьком.

Он опять что-то выкрикнул злое, а потом подпихнул меня своим коричневым американским ботинком на толстой подошве в руку, и булка упала на землю...

Во мне медленно и мутно закипело, подкатываясь к горлу, знакомое состояние отчаянной злости.

«Ты каво разорался, самурай ты?! — крикнул я ему, вскакивая на ноги. — Думаешь, большой, што ли? Можешь, да?!»

«Самурай» шумно хмыкнул, ощерился и презрительно сплюнул в сторону моего японца. Потом что-то хрипло сказал ему, поднял булку, сдул с неё грязь и хватисто отодрал от неё зубами громадный кусмень.

Это меня вывело из себя окончательно.

«Ах, ты!» — рывкнул я с нервом, присел, загрёб пальцами горсть земли и засадил ему этой землёй прямо в жующую рожу...

«Самурай» было ослеп, но тут же проморгался, зарычал и тупо погнался за мной...

Куда ему, хорьку... Я легко пару раз обежал экскаватор, называя «самурая» всем, чем только мог. Но он не отставал и продолжал гоняться за мной...

Мой же японец как сидел с газетой на коленях, так и продолжал сидеть, глядя на нас, но теперь уже без улыбки, я это успел заметить, пробегая мимо него...

«Ну... ещё кружочек, — думалось мне, — и пора делать отрыв из котлована. Хорошего помаленьку...»

Я уже выбрал себе глазами место, по которому должен был удобнее вскарабкаться наверх, и уже устремился к этому месту, чувствуя весёлую упругость в ногах, когда совсем неожиданно вдруг споткнулся обо что-то, упал на руки, метра четыре ещё проюлил на четвереньках, пытаюсь подняться, а «самурай» набежал на меня сзади и с разбегу со всей силы поддал мне носком своего ботинка под зад...

Пинок был настолько силен, что я, как пуховый, взлетел от земли, перевернулся в воздухе через голову и, приземляясь, глухо вмазался спиной в мягкую стенку котлована...

Я хотел закричать... Я хотел этим криком пробить из себя непонятную, скрутившую ужасом всё моё существо немоту и не мог...

Пинок «самурая» разучил меня и дышать и кричать...

Я моргал, пуча глаза, и всё-таки видел, что происходило потом в котловане дальше...

Мой японец аккуратно составил на землю с коленок еду, встал, отряхивая штаны, и пошёл на своих кривастых, чуть согнутых ногах, обкрученных ржавыми от глины обмотками, навстречу «самураю», который уже забыл про меня и старательно высмаркивался сейчас в большой клетчатый платок...

Японец подошёл к нему, очень маленький по сравнению с ним, и что-то сказал ему, набычивши шею, показывая на меня рукой...

«Самурай» ещё раз сморкнулся, выслушивая его, а потом небрежно, коротким невидным движением захотел оттолкнуть от себя...

Я так и не понял, что там в ответ проделал мой японец — я по-прежнему давился, захлёбываясь немотой, — только увидел, как взметнулись вверх раскоряченные ботинки «самурая», а сам он тяжело и безвольно обрушился вместе со своим клетчатым платком под экскаватор...

Потом к японцу подбегали наши конвоиры с винтовками и — так же — летели от него в разные стороны...

Потом его окружали свои же пленные, а он, как какая-то обезумевшая машина, всё швырял и швырял людей через себя...

При этом мой японец что-то кричал надсадно и обрывисто... На него кидались, а он, отступая ко мне мокрой от пота спиной, всё размётывал и размётывал япошек...

Он, наверно, зашёлся, потому что, когда подступился ко мне и поднял меня легко и безвечно, крепко и ласково-жадно притискивая к своей измазанной глиной тужурке, то всё ещё продолжал визжать, выбрызгивая изо рта пенистую слюну... <...>

...Я стою сейчас напротив самого себя, всё ещё плачущего на руках у японца.

Серёга, наверно, не видит меня, всё-таки тридцать лет между нами... Но я его вижу отчётливо и говорю ему серьёзно, по-взрослому, как он и любит, чтобы с ним говорили:

— Серёга, ты всё понял сегодня? Тебя устроил сегодняшний ответ на вопросы, которые ты задавал тогда, сидя на корме парохода «Баргузин»? Вот так-то, пацан. Доброта к доброте. И доброта — прежде всего...

Я подмигиваю самому себе, всё ещё плачущему на руках у японца.

— Плачь, плачь, Серёга. Это ништяк. Это вранье, что мужчинам нельзя плакать. Мужчины, Серёга, должны и это уметь. Ты ещё будешь большим и взрослым. И мы с тобой ещё поживём, подумаем, полюбим и пострадаем для своей земли...

Три рассказа

Зимние жаворонки

В этот мартовский день я впервые в нынешнем году решил съездить на дачу. Раньше как-то всё не удавалось: то стояли сильные морозы, то не было свободного времени, то просто никуда не хотелось трогаться из уютного домашнего тепла. Ну, а тут вроде бы всё было кстати: сильные морозы прошли, неотложных дел не оказалось, да и за зиму квартирные стены порядком надоели...

В десять часов утра я сел в вагон электрички, а через сорок минут был на маленькой пригородной станции Летняя. Электричка, свистнув на прощание, укатила дальше. Немногочисленные пассажиры, оказавшиеся на перроне, быстро разошлись.

Я остался один. Щурясь от яркого солнца, огляделся. Хорошо и дивно было вокруг. Прошедшей ночью выпал снег. Он ещё не успел ни подтаять, ни подёрнуться придорожной копотью, сиял девственно и чисто.

Много раз и в разное время года я видывал окрестный пейзаж, но сейчас, в этой ослепительной белизне, он казался мне неизвестным и каким-то таинственным. С правой стороны железной дороги, если смотреть по ходу электрички, на которой я приехал, притихли запорошенные снегом сосны. Они стояли одна к одной, почти по самые ветви утопая в глубоком снегу. На каждой были нахлобучены белые шапки снега. Рядом с большими соснами толпились маленькие. Они едва виднелись из глубокого снега, и казалось, просят, чтобы помогли им выбраться на дорогу.

Дальше, за соснами, виднелись горы. Из-за них выглядывали ещё горы. И так до самого горизонта, где всё растворялось в прозрачной синей дымке.

Слева, почти вплотную к станции, подпачивалась деревенька. Видны были огороды, потемневшие от времени баньки, поленицы дров, бревенчатые избы. Из печных труб в небо пушистыми кошачьими хвостами поднимались белые дымы. Где-то лениво лаяла собака. Мычала корова.

Глядя на весь этот тихий, умиротворённый пейзаж, я забыл о городе и, спустившись с крутой насыпи, вышел на тропу, по ней добрался до наезженной машинами дороги и примерно в километре от деревни свернул налево к видневшимся в густом березняке дачам. После вчерашнего снегопада до дач ещё никто

Соколов Виктор Петрович, прозаик (1929, д. Хайрюзовка Балаганского р-на Иркутской обл. — 2002, Иркутск). Автор книг: *Вечная мерзлота*: роман (Иркутск, 1966); *Шаг в сторону*: повесть (Иркутск, 1970); *Под северным солнцем*: роман, повесть (Иркутск, 1984); *Зимние жаворонки*: повести и рассказы (Иркутск, 1999). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

не проходил, и шагать по пушистому снежному целику было приятно и весело. В голове вспыхивали какие-то далёкие и смутные воспоминания детства. Они были незримы и неосязаемы, без каких-то определённых картин и образов. Просто как бы долетело издалека что-то родное-родное. Постояло, подышало несколько минут рядом и растворилось. От всего этого сладко и горько сжалось сердце...

Через несколько минут я подошёл к нужной мне калитке. Распишал ногами приваливший сугроб, вошёл во двор. Ну и снегу нынче навалило! Проваливаясь чуть ли не по пояс, наконец-то добрался до своей дачи.

Домик мой, хотя и нарядный, ухоженный (прошлым летом я покрасил его в салатовый цвет, а ставни и наличники обвёл белой краской), сейчас смотрелся одиноко и печально. Да и стоило ли удивляться этому. Без человеческого тепла ничто ничего не значит...

Как-то надо было оживить жилье, усадьбу. Я прикинул: с чего бы начать? И решил расчистить от снега крыльцо, место перед домиком, где стояла скамейка, проложить тропинку к речке.

Взял лопату и, не теряя времени, принялся за дело. Под пушистым верхним слоем снега лежал наст. Его пришлось разбивать лопатой. Под настом снег был рыхлый, сыпучий, как крупа. Он легко и податливо ложился на лопату. Я довольно скоро подвигался вперёд. Вот уже и крыльцо было очищено, и тропинка к речке, и место перед окном, где стояла скамейка.

Смахнув перчаткой снег со скамейки, я сел передохнуть. Небо было прозрачное, как родниковая вода. Солнце светило ласково и мягко.

Ветки белоствольных берёз были напряжённо вытянуты к солнцу. Они как бы готовились нести на себе счастье зелёного шума.

Около забора на ровном, как столешница, снежном покрове, выпячивался небольшой бугорок. Глядя на него, я вспомнил, что летом там был муравейник. И сразу представилось живое безмолвное кипение этих удивительных насекомых, их неутомимая работа, суетливая беготня по одним им ведомым делам и маршрутам. Но сейчас муравейник словно бы отдыхал под чистым пушистым снежным покрывалом...

Вдруг со стороны речки послышался странный шорох. Я встал, прошёл к калитке, вышел на берег. Прямо передо мной от берега к середине речки расплзлось серое пятно наледи.

«Осел лёд», — догадался я.

Совсем рядом, почти у самых ног, подо льдом тихо и ласково журчала вода. На противоположном берегу, вплотную подступая к речке, тесня друг друга, толпились молодые ивы...

Неожиданно в этой белой безмолвной заснеженной тишине зажурчала песня жаворонка. Она то поднималась высоко в небо и замирала там, трепеща и переливаясь, то тихо опускалась на землю.

Это было как наваждение, как сон. Вокруг снег. Весна ещё только проклёвывается. А тут песня жаворонка...

«Уж не чудится ли мне?» — подумал я. И замер в ожидании, надеясь, что всё это вот-вот исчезнет. Но пение жаворонка продолжало звенеть над заснеженной речкой, над спящим глубоким сном лесом.

Любопытно всё же было увидеть исполнителя необычной в это время года и в этом месте песни. Проваливаясь в снег, я направился по берегу туда, откуда доносилось пение.

За поворотом, там, где речка перекачивалась через крутую отмель, я уви-

дел небольшую полынью. На её ледяном краю у самой воды бегала серая птичка. Это пела она. Хотя птаха не взлетала, трепеща крылышками, не поднималась в небо, в её пении была такая иллюзия именно этих взлётов, что я подумал: нет ли в воздухе ещё одной такой птахи? Нет, её не было, пела именно эта птичка.

Но вот пение смолкло, и я увидел, как птица, подбежав к краю полыни, нырнула в воду.

«Вот оно что!» — догадался я.

Оказывается, любовался я оляпкой, пожалуй, одной из самых удивительных птиц на нашей суровой земле. Я знал: даже в лютый мороз эта птаха, кстати говоря, не умеющая плавать, добывает себе пищу на дне быстрых, холодных, мелководных речушек. Ещё в юности мне приходилось видеть, как она это делала, слышать её пение. Но с годами забылось.

Оляпка вынырнула из воды и, не отряхиваясь, быстро пробежалась к краю полыни. Потом остановилась, замерла. И над заснеженной землёй опять заструилась нежная, трепетная песня.

Когда птица в очередной раз нырнула в воду, я, чтобы получше разглядеть её, попробовал поближе подойти к полынье. Один такой рывок мне удался. Я замер у старой ивы, стоявшей у самой кромки берега. Но оляпка после этого уже не ныряла и не пела. Она, очевидно, заметив меня, суетливо бегала около полыни. Когда же я сделал ещё шаг в её сторону, птица вспорхнула и, словно прощаясь со мной, залилась звонкой и радостной песней.

Любопытство подталкивало меня дальше. Я подошёл к полынье. Течение в ней было быстрое. Изумительно чистая, прозрачная вода бесшумно выскользывала из-под льда на открытое место и, словно вскипая в водовороте, снова уносилась под лёд. На дне речушки были видны камни, песок. Что там, в этой холодной, прозрачной воде, находила оляпка — для меня было непонятно. Но находила же... И пела, славя жизнь и весь этот прекрасный суровый мир!

Через несколько минут я вернулся на дачу. Время уже подвигалось к полудню. Солнце заметно припекало. И небо и земля были залиты яростным, ослепительным светом.

Вскипятив на электроплитке воду, я расположился на открытой, продуваемой лёгким ветерком веранде и стал чаёвничать. Сидя за столом, я любовался окрестностями, вслушивался в доносящиеся звуки.

«Вот если бы сегодня не приехал сюда, — думал я, — всё было бы здесь так, как есть. Но я бы этого не увидел».

И оттого, что я вижу всё это, на душе у меня было радостно, светло и чисто.

А вслушиваться и наблюдать было за кем. В дальних кустах дачной усадьбы, скандально крича и хлопая крыльями, возились сороки. Где-то каркала ворона. Чёрной тенью перелетал с дерева на дерево дятел. А потом донеслось тоненькое попискивание синиц. Иногда какая-нибудь синичка начинала звонко и протяжно тянуть незатейливую песню. Потом несколько синиц, шумно треща и цвярякая, залетели на веранду. Я посыпал им хлебных крошек. Жёлто-чёрные пушистые комочки, остерегаясь меня, порхали то с кустов на веранду, то с веранды на кусты. Наконец, обследовав всё поблизости, синицы улетели.

Прибрав на столе, я вышел на расчищенную от снега площадку перед домом. Сел на скамейку. Смежив веки, подставил лицо под тёплые лучи солнца и долго сидел так, окутанный сладкой негой единения с природой, которое мы, люди, особенно остро чувствуем весной...

Незаметно пролетело время. Солнце тихо опускалось к дальним хребтам. Чуть похолодало. День клонился к концу.

Вскоре я собрался и, осторожно ступая по проложенным ранее своим же следам — чтобы не набрать в сапоги снегу, — тронулся в обратный путь. Закрывая за собой калитку, я огляделся. Домик мой, лес, горы — всё уже было подёрнуто чуть заметной дымкой воспоминания. Там, где я был, меня уже не было, но то, что я там был, навсегда запечатлелось в моей душе...

Этот мартовский день, такой обычный в своём временном значении и такой необычный в своей внутренней сути, ничем и никем не омрачённый, озарённый могучим светом жизни, прославленный трепетным пением птиц, навсегда останется в моей душе как великий праздник...

Телефон

*Памяти моего друга —
писателя В. Н. Козловского*

В моем домашнем кабинете на письменном столе стоит телефон. Давно уж. Много лет. Я люблю этот аппарат. Его весёлые требовательные звонки до недавнего времени вызывали у меня радость. Протягивая после очередного звонка к телефонной трубке руку, я обычно, сам не зная почему, надеялся услышать голос хорошего человека. Так оно почти каждый раз и было.

Чаще всех мне звонил друг. Мой добрый, умный, старый друг.

— Добрый вечер. Как дела? — спрашивал он приглушённым голосом.

— Добрый вечер, — отвечал я.

И мы начинали разговор. Обыкновенный, простой, житейский. Говорили о друзьях, о работе, о больших и малых новостях. Главной радостью для меня была радость общения.

Разговаривая со своим другом, я чувствовал его дыхание, улавливал добрую улыбку. В эти минуты он становился мне как-то ближе, чем даже при встречах. Сердечнее, что ли... Это чудодействовал телефон.

Прикрывая иногда во время телефонного разговора глаза, я видел лицо друга, улыбку и всего его — высокого, седого, элегантного.

Случалось так, что мой друг уезжал — то в командировку, то в отпуск. В такие дни мне казалось, что телефонный аппарат на столе съёживался, затихал. И всё вокруг него было окутано тихой, вязкой полудрёмой, таящей в себе скрытое ожидание.

Когда мой друг возвращался домой, аппарат словно оживал. Он весь как бы подтягивался, веселел. Вечерами, залитый ярким светом настольной лампы, он просто сиял от удовольствия.

Но потом случилась беда. Мой друг умер. Это произошло внезапно и было как удар молнии.

После похорон я долго не мог прийти в себя. Иногда вечерами, сидя за письменным столом и думая о случившемся, я терял ощущение реальности. Мне вдруг начинало казаться, что всё не так, что кто-то зло подшутил надо мной, сообщив о смерти друга. Я хватал рукой телефонный аппарат. Он податливо и услужливо, как прежде, скользил по столу ко мне, словно ожидая продолжения длинных и добрых разговоров. Я рывком снимал трубку.

«Ааааа...» — нёсся оттуда дикий, болезненный крик.

Это приводило меня в себя. Я осторожно клал трубку обратно на аппарат и уходил в другую комнату.

Иногда мне звонили знакомые. Но разговаривать долго с ними не хотелось. Отделяясь односложными ответами, я, не боясь показаться невежливым, как можно быстрее прекращал разговор.

Однажды вечером раздался необычный для последних дней телефонный звонок. Он, собственно, был бы обычным, если бы друг мой был жив. Но звонок прозвенел как раз в то время, когда мы с ним всегда разговаривали. Я машинально взглянул на часы. Да... Было восемь часов вечера. Ни с кем ни о каком разговоре я в этот вечер не договаривался. И это удивило меня. «Но в конце концов, — подумал я, — мало ли кому и когда захочется позвонить мне». Я прошёл в кабинет и поднял трубку.

— Алло. Слушаю, — как обычно, сказал я.

В трубке звучала тишина. Но не та обычная телефонная тишина, которая чуть потрескивает шорохом электрических волн, наполнена отдалённым жужжанием работающей аппаратуры. В трубке была глухая, как непроглядная ночь, мёртвая тишина.

— Алло! — крикнул я.

Трубка продолжала молчать так же тяжело и мрачно.

— Алло! — ещё раз крикнул я.

Неожиданно в трубке что-то прошелестело. Звук этот показался мне каким-то странным, не слышанным мной ранее, не земным. Потом опять всё затихло.

Я осторожно положил трубку на аппарат.

С тех пор такие звонки раздаются в моей квартире часто и в одно и то же время. Я не знаю: кто звонит мне? Почему? Зачем? Мне кажется, что кто-то очень хочет слышать мой голос, не имея возможности самому отозваться...

А может быть, это звонит не телефон, а тоска и боль по умершему другу? Не знаю...

Одиночество

В выходной день, вечером, когда ранние зимние сумерки опускались на землю, я пошёл погулять, подышать свежим воздухом, посмотреть на людей. Но на улицах было безлюдно, скучно, неинтересно.

«Может, время такое», — подумал я.

Зима шла к концу, но весна ещё и не маячила. Всё было покрыто чёрной городской копотью: и снег, и дома, и деревья, и дороги.

Я шёл не спеша вдоль ограды старого погруженного в зимнюю спячку парка. Слева нависли заснеженные крыши домов. Людей не было видно. Мне показалось, что я нахожусь в некоем то ли сонном, то ли мёртвом городе. Захотелось хоть с кем-то перекинуться словом, поговорить, пообщаться.

Неожиданно из ворот усадьбы, находившейся против парка, вышел мужчина с мусорным ведром в руке. Он перешёл улицу и направился вслед за мной, вдоль железной ограды парка. Я краем глаза наблюдал за ним. Человек ускорил шаги и стал сокращать расстояние между нами. Не доходя нескольких метров, он окликнул меня. Я остановился. Повернулся к нему.

— У вас случайно нет лишних бе-бе-к? — спросил он.

Я не понял последнего слова и переспросил:

— Лишних... чего?

— У вас случайно нет с собой лишних брюк? — тихо, но чётко выговаривая каждое слово, повторил он.

Я со смешанным чувством удивления и недоумения смотрел на него. Мужчине было лет сорок. Хорошее, приятное лицо. Прямой нос. Чётко очерченный подбородок. Только глаза производили какое-то странное, пожалуй, даже тяжёлое впечатление. Во всю их ширь и глубину была разлита печаль.

Одет человек был в выцветшую коричневую куртку и старую заячью шапку. Откуда и куда шёл он со своим пустым ведром — было непонятно.

— Почему у меня должны быть вот здесь, вот сейчас лишние брюки? — нервно, взвинчиваясь, произнёс я.

— Ну... Всякое бывает, — отозвался он и смущённо отошёл в сторону. Я отвернулся от него и пошёл дальше. На душе у меня сделалось беспокойно и жутко от соприкосновения с чужим непонятным и не понятным мной разумом.

Волчьи ягоды

Рассказ

По утрам, когда все спали, а роса на картофельной ботве, на межах такая сильная, что до неё было боязно дотронуться, Забанка и Мойган, мокрые, по-хозяйски, только немножко пугливо, прошмыгивали в сени и скрывались за лестницей, каждый с мёртвой птицей в зубах.

Я просыпался всех раньше и бежал смотреть. Оба кота были черные. Они всегда встречали меня молча и покорно отдавали самую большую добычу, заранее зная, что мне она не нужна и что я её скоро отдам.

Однажды Мойган с охоты не пришёл. Забанка сидел под лестницей, птицу с переломанным крылом не отдал, а ещё крепче схватил, сверкнул в темноте зелёными глазами и вылетел из сеней, только хвост, большой, как у лисицы, мелькнул над порогом.

Я сразу догадался, что с Мойганом что-то случилось. Но почему так рассердился Забанка?

Я долго ходил по огороду, косил палкой картофельный цвет, весь промок, а Забанки нигде не было.

И до того скучно у нас стало, что бабка сказала:

— И кому помешали? Загрызут теперь мыши.

Дед отбросил недоплетённую корзину, отпихнул ногой лозовые прутья и сердито посмотрел на меня.

— Если не приведёшь к вечеру Забанку, выгоню, будешь ночевать за пряслом.

Забанку дед любил больше, чем Мойгана. Забанка никогда ничего не трогал. А Мойган даже в шкаф залезал, под низ. Там он разгибался — горлачи, кринки опрокидывались, и молоко выливалось. Если Мойгана заставляли на месте, он никуда не убегал, не прятался, а терпеливо ждал наказания. Но его никто не трогал, и он надолго переставал проказничать.

Забанка не приходил.

Суворов Евгений Агамович, прозаик (1934, д. Жизневка Иркутской обл. — 2009, Иркутск). Автор книг: *Волчьи ягоды*: рассказы (Иркутск, 1968); *Этажом выше*: рассказы (Иркутск, 1969); *Соседи*: повесть и рассказы (М., 1980); *Не плачь, ястреб*: повести и рассказы (Иркутск, 1982: *Современная сибирская повесть*); *Голос*: повести и рассказы (М., 1985); *Совка*: повести; рассказы (Иркутск, 1985); *Три дня в деревне*: очерк, рассказы (Иркутск, 1989); *Соседи*: повести (Иркутск, 1990); *Дом на поляне*: повести, рассказы, очерки (Иркутск, 1995); *Мы вернёмся в деревню*: очерки разных лет (Иркутск, 2005); *Вот где красота*: Избранное: повести, рассказы (Иркутск, 2010); *Очарованное сердце*: повесть, рассказы, очерки (Иркутск, 2011) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Я не забывал заглянуть утром под лестницу, но там валялись только старые разноцветные перья. Я очень жалел Забанку и Мойгана и не трогал перья, только ненадолго брал самые разноцветные, водил ими по своим щекам — перья щекотали, и я смеялся. Когда дверь открывалась, сначала показывалась длинная, похожая на осоку, борода, а затем сморщенный замусоленный рукав. Дед подкладывал под дверь чурбак, глаза его в темноте поблёскивали так же, как в тот раз у Забанки.

— Ты на что взял? Положи перо. Почему не в яслях? — допытывался дед.

Я пожимал плечами, глядел на деда и не боялся. Я знал, что он забудет сейчас про перья и скажет примерно так: «А ну, ответь: к Широкой пади, где лес-медуница, как пойдёшь — по солнцу или против солнца?»

Дед уже два раза водил меня на это место. Он говорил, что, кроме него да придавленного в прошлом году лесиной старого Тороха, никто не знает леса-медуницы. Мы до обеда плутали по кочкарнику, несколько раз переходили по упавшим деревьям речку Инку, шли где-то вдоль Пастуховой горы, проваливались в невидимые мшистые ямки с ледяной водой и оказывались в небольшой лощинке, скрытой непроходимой чащей из рябины, ольхи и словно налитых молоком высоких кустов волчьих ягод.

«Не трогай, — заранее говорил дед, — отрав».

Он делал ещё шага три, протягивал руку, застывал, и мне казалось, что я слышу не дедовы слова, а чей-то голос из-под земли:

«Вот оно, колдовское царство...»

Я слышал от деда, что если побудет здесь плохой человек, срубит или сломает дерево, то роса-медуница не придёт больше, а лес засохнет. И я осторожнее пригибал к себе ветви...

Дед молчал. Он ни о чем не спросил, нисколько не сердился, а только сказал:

— Не трогай перья. Пошли в лес, лоза кончилась.

Мы горевали всё лето, что пропали Забанка и Мойган. Бабка говорила, что надо взять другого, но дед не соглашался.

— Подождём! Мойган, может, и нет, а Забанка придёт.

Как он угадал, но только всё так и вышло.

С Ганькой Манаком после дождя мы собирали за мостом дикий лук и увидели: кто-то так и вышагивает по Второй дороге, что возле старой дегтярни.

«Забанка!» — чуть не закричал я, присел в кочках и погрозил Манаку, чтобы он сидел тише.

Вот они, огороды, а Забанка шёл долго-предолго. Мы с Манаком крались по-дальше. Ну так и есть — Забанка! — он свернул по нашей тропинке прямо к бане и быстро побежал по огороду. Манак и я тоже припустили. Забанка оглянулся, распустил хвост и в один прыжок очутился в приамбарнике. Мы окружили Забанку, я поймал его за гладкую лоснящуюся шерсть. Он стал тяжелее и вроде одичал. Только пустили в избу — он кинулся к окну, прыгнул на середину пола и стал подкрадываться к столу. Что такое — на столе, кроме черемши, ничего не было... Забанка схватил пучок и спрятался. Черемшу он не ел, но из-под стола слышалось сердитое урчание. Дед налил в большую чашку молока. Забанка не подходил. Видно, отвык или боялся. Тогда дед пододвинул чашку поближе. Забанка обнюхивал чашку, фыркал, потом шерсть на нем поднялась дыбом, и он стал пить. Дед уже опорожнил горлач, а в чашке снова было пусто. «Старая, — кивнул он, — подай-ка вон то, утрешнее». Забанка хотел бросить пить, но неохотно лакнул языком раз, другой, внимательно посмотрел на нас и больше на деда, и мы снова услышали как будто редкое пожуркивание ручейка.

«Куда ему столько?» — раскрылись глаза у Манака.

«Не жалея, — суетился дед, — пускай пьёт».

Всё равно, когда не зацвёл ещё багульник и за мостом через всю стлань стояла не засохшая от весны лыва, Забанка ушёл.

Каждый год так было. Только к осени возвращался Забанка.

Если он задерживался больше, мы начинали гадать. Одни говорили, что Забанку поймал филин. Манак с бабушкой думали, что Забанка остался на зиму в норе барсука или прогнал белку. Дед помалкивал.

Однажды к нам приехала тётя Гаша. Я увидел, как она поставила возле нашего заплота чемодан в голубом чехле, сорвала веточку дикой яблони. С криком: «Тётя Гаша приехала!» я выбежал из избы.

— Тётя Гаша, тётя Гаша, — приплясывал я, ожидая леденцов.

— Медвежо-о-нок, — смеялась она, расставляя руки. — На филиппихину ёлку смотрел и рос? Только меня теперь не тётя Гаша зовут, а Галина.

И тут же в моем кармане очутилась горсть леденцов.

Я всё время забывал новое Гашино имя, и тогда она перестала смеяться.

Тётя долго говорила с дедом и бабушкой, посматривала на меня и с чем-то не соглашалась.

«Не отдам, — сердился дед. — Школа и у нас под боком».

Но потом сдался, бабушка поплакала. Через полчаса я побежал открывать большие ворота.

— Что там — справлюсь, — ворчливо сказал дед, и мы вместе, дед плечом, а я обеими руками, налегли на один осевший створ. И всегда мне казалось, что створ этот, когда его открываешь, бороздит землю точь-в-точь как хромая нога у немого инвалида Гошки.

Дед подвёл в поводе мотавшего шеей с белой чёлкой жеребчика к самому крыльцу, так что заходить в избу надо было сбоку, стигаясь под полкой с ведрами.

Вот мы уже посидели перед дорогой, уже в ходке, выехали с тётей из ограды, дед и бабушка хотели ещё раз подать нам руку, как я вспомнил, что не простился с Забанкой. Я выскочил из ходка, бегом в избу, манил, всё облазил — нет Забанки. Побежал в приамбарок — тоже нет. И под сараем не было. Наверное, к бане ушёл. Он всегда сидит там возле черёмухового куста, и если не ловит птиц, то любит подсматривать за ними.

Забанка как сквозь землю провалился. Я звал. Вниз, к бане, шли дед с тётей. Я не мог понять, о чём они или спорили, или ещё что, но дед почему-то размахивал рукой, тряс узловатым указательным пальцем, а тётя и с недоверием и с недоумением поглядывала то на деда, то в мою сторону.

Я сидел возле огурцовой гряды и плакал.

Тётя сказала, что из-за какого-то кота она не намерена опаздывать, что у них в городе тоже есть кот, и он несколько не хуже, а лучше, потому что никуда не уходит.

До станции ехали мы весь день. Лыска не уставал, и наш ходок дребезжал, подпрыгивал на голых побитых корнях, старых колеях и ямках, и нет-нет да нас с тётей обдавало ржавой водой, скрытой густым трилистником и ряской. Показывались из-за «колен» и поворотов сухие полянки, на которые выбегали и смеялись сыроежки с тоненькими шляпками, синюшки, разнаряженные, с красными щёками, мухоморы, а через них, мне казалось, прыгал и прыгал Забанка...

Запоздалой осенью, когда межи и лес стали бесцветными, а дорога совсем почернела, на рябой от грязи полуторке я добирался в нашу деревню. После горо-

да дома её показались мне маленькими, а дедов — совсем покосился. Ворот, высоких, давно-давно старых, на которых прибитые гвоздями держались кружочки, солнца и полумесяцы, уже не было. Их заменил низкий заплот с отполированной руками и одеждой верхней жердью. Один приамбарок, кажется, не поддался ни жаркому лету, ни жгучим холодам, ни дождям. Крепкие бревна его всё так же отливали красноватой медью, дранье было целым, и только лиственничная кора, сберегавшая его, покоробилась, поломалась и кое-где свисала с крыши застывшими лохмотьями.

Дед так и не расставался с корзинами и коробами. Он бросил на лавку только что принесённую из леса лозу, заходил то с одной, то с другой стороны, не зная, что с ней делать. Он говорил и говорил и вдруг осёкся, вроде бы недовольный: сел в угол к столу и даже глядеть не хочет. Я растерялся.

Выручила бабка:

— Ты про Забанку спроси...

Мне было двадцать три. Я едва вспомнил: смешным показалось спрашивать про Забанку, да и нет его, наверное, давно. Дед мог обидеться, и я послушался бабку.

— А что, дед, Забанка наш тогда так и не вернулся?

Дед качнул сухим плечом, недоверчиво скосился, взгляд его потеплел.

— Забанка... Не будет больше... Один Забанка... Э-э, браток, мало ли вот котов, а он не такой. Обойди всю сторону — и не будет, нет, не найдёшь.

Что-то ещё другое мучило деда, но он молчал, а затаившуюся в глазах горечь скрыть не мог. Дед посидел-посидел, повернул ко мне голову и спросил.

— Лес-медуницу помнишь?

— Ага.

— Ну-ну...

— А сходим, дед, в этот лес?

Дед расчесал бороду и будто самому себе сказал:

— Дойдёт солнце — от жары деться негде. В самый раз идти.

В лесу дед показывал — где какое дерево молния сбила, а какое — срублено.

— Э-э, мал был, не упомнишь: вот же, рядом голубицу с тобой брали. А переход не знаешь? Брусника там была-а... по-над берегом. А найди. Который год уже будто пал прошёл. А бывало, и пал пройдёт, а смороду, да хоть что — пригоршнями гребь...

Ещё давно с дедом мы едва продирались по осиннику, что за Шкуратовым покосом. Тогда как было: нет-нет да оставишь где-нибудь шапку или штанину исполосуешь. А тут мы шли, уже Инка показалась за деревьями, а дорогу нам только раз перегородила согнутая над тропинкой берёза да спиленный кондач, и над самой Инкой забелела длинная поленница дров.

Дед сердито мотнул рукой:

— Герасимёнок, лесу ему не хватило... Коршун и только, — распекался дед. — До заимки руби — не вырубишь, так сюда залез, волчьи глаза. Тут тебе и ягоды, и медуница, и всё... А это что: столько прута срезано и брошено, столько охапок лежит с по-за-того лета, коню не увезти. Ну, на что ему?! Чтоб вас перун разбил... Ну, подожди.

Вот и лес-медуница.

Дед остановился возле поломанного изъезженного кустарника. Смородину здесь уже давно не собирали, только у самой земли ещё можно было отыскать придавленные рясные гроздья волчьих ягод, немного рябины да морошку.

Дед растерянно поглядел на меня, опустился на сгнившую колодину и со-
рванным голосом, почти шёпотом, одними губами выговорил:

— Иди-иди. Смотри, я не пойду.

От колдовского дедова царства ничего не осталось: кто-то, видно, ещё давно
вырубил молодой лес на частокол и жерди, кому-то понадобились и деревья по-
толще — и половина из них была подрублена.

Росы-медуницы нигде не было...

Я вернулся к деду, сел на колодину. Дед встрепенулся, подсел поближе, взял
меня за полу пиджака и быстро-быстро заговорил:

— Порубят тайгу. И медуницу — под корень. А не знаешь — Забанка тут ходит.
Только раз видел — годков пять тому будет: молоньей залетел на ту вон лесину.
И чего это такое: в доме мирный, а в лесе дичает. Видать, не знаешь, — инженер
к нам, хлюст растакой-то, едет и ораву с собой волочет. Постройка большая за-
тевается... Камень вроде бы нашли. А по мне век бы его не было. И что вытворя-
ют: до Мильгитуга порубку... А такого красавца-строевика и к Загорью не будет.
Лес-то новый, не вошёл в силу. Вырубят — и помру, — тихо сказал дед. — А ин-
женера-прихвостня... в болоте. Вот те крест, не забоюсь. Натерпелся коршунов,
хоть одного...

Дед отодвинулся. Мы сидели молча, он глядел в одну сторону, я — в другую.
Старик не знал, что я тот самый инженер, которого он собрался топить в клюк-
венном болоте.

Надежда Тенгитник

В стихии народного характера

О прозе Алексея Зверева
(в сокращении)

Знаменательной для Иркутской писательской организации была середина шестидесятых годов. Именно тогда здесь сложилась атмосфера высокой взыскательности, товарищества. «Главным среди нас, — отмечал В. Распутин, — был А. Вампилов». К крепкому ядру молодых потянулись литераторы старшего возраста, но молодые творчески — Дм. Сергеев, А. Зверев. По-новому зазвучали имена писателей старшего поколения, например Е. Жилкиной; крепко была связана с их кругом В. Марина. Образовался здоровый, творческий коллектив. В пути к читателю уже были и «Деньги для Марии», и «Утиная охота», и «Последний срок», и «Павильон Раймонды», и «Синее море белый пароход», и «Арка», и «Позади фронта». Сколько человечности и достоинства в признании А. Зверева, вспоминающего те годы: «Несколько лет назад молодой поэт иронически обратился ко мне, молодому писателю:

— Скажи ты, пожалуйста, молодой, а седой!

Тогда сразу я не собрался ему ответить. Но долго во мне сочинялся ответ вот какой:

— Седой и молодой, чего и говорить. Но я горд неповторимостью своей биографии: проработал тридцать лет в школе и создал себе тысячи три грамотных и средне образованных читателей, а потом написал им книгу».

Работал Алексей Васильевич трудно, не порывая с «самым горячим цехом» — учительствовал. Писал в каникулы, в редкие просветы между тетрадями и уроками. Но не боялся дать свой труд на суд молодых, которых уважал за смелость, и верил им. Так завязалось творческое взаимообогащение, содружество, взаимопомощь, которые помогали по-новому осмыслить проблему отношений писателя с действительностью. А. Зверев признается: «Я любил обдумывать замечания и потому просил и В. Распутина, и Дм. Сергеева, и В. Шугаева письменно их изложить». <...>

Тенгитник Надежда Степановна, литературовед, критик (1922, ст. Слюдянка Иркутской области — 2003, Иркутск). Автор книг: *В битве за человеческие сердца*: крит. заметки (Иркутск, 1975); *Ответственность таланта*: О творчестве В. Распутина (Иркутск, 1978); *Александр Вампилов* (Новосибирск, 1979); *Советская проза 50–70-х гг.*. В 2-х ч. (Иркутск, 1980); *Мастера*: [В. Распутин, А. Вампилов, А. Зверев, Д. Сергеев] (Иркутск, 1981); *Валентин Распутин*: очерк жизни и творчества (Иркутск, 1987); *Энергия писательского сердца*: лит.-крит. очерки (Иркутск, 1988); *Перед лицом правды*: очерк жизни и творчества А. Вампилова (Иркутск, 1997); *Валентин Распутин. Колокола тревоги*: очерк жизни и творчества (М., 1999). Канд. филол. наук, профессор. Награждена Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

На собственном творческом опыте А. Зверев убедился: есть лишь один способ повышения мастерства — безусловное доверие к жизненному факту и лишь один путь постижения его глубинной сути — выражение его в судьбе человека.

Отказался писатель не только от готовых схем, но и от стремления выразить себя как творческую личность в большой эпической форме. Наметился поворот к малым жанрам, прежде всего требующим умения сказать о многом сжато, добиться перевоплощения индивидуальных переживаний и чувств в художественный образ. Не отказываясь и впредь от автобиографической канвы событий, от «реальной жизни», писатель начинает искать и умело находить фигуру «двойника», выражающего нравственные принципы его создателя.

В рассказе «Пантелей»¹ речь идет о судьбе юноши, выбирающего дорогу жизни в обстоятельствах, когда жизнь вышла из берегов. Охваченная новью, деревня сдвинулась в своем сознании с прежних рельсов, но оставалась скованной предрассудками, погруженной в заботы и тревоги крестьянского двора. Таковы приметы эпохи. Писателю удалось проникнуть в душевный строй подростка, постигающего мир в нелегких житейских условиях. Характер как бы выхвачен из исторического потока жизни, выделен из ряда ему подобных; в нем выразилось глубинное стремление народа к свету и правде. Если в первых двух романах процесс осознания личностью самой себя дан описательно, в противопоставлении богатых и бедных, теперь художник в характере героя типизирует существенные сдвиги в духовной жизни села накануне коллективизации.

Для Саньки Свирепова отторжение старой морали было тем труднее, что началось оно в семье, шло от несогласия с укладом, формировавшим рабскую психологию. «Оттого, видно, что нас было много, росли мы безликими». «Я не успевал исполнять волю старших, и для своей власти над младшим братом у меня не хватало сил». Мальчика прозвали Пантелеем в честь того неудачливого мужика, что «промотал хомуты, промотал лошадей». «Это было жестокое, обидное перечеркивание, и я, ребенок, чуял, как те кресты угольной чернотой ложатся на моё сердце». Время запечатлено писателем в экономных, точных деталях. Это резко отрицательная реакция взрослых на тягу Саньки к учению, их запоздалое понимание бесполезности сопротивления новому. «Шабаш! — вынужден сказать домашним глава семьи. — Учиться пошёл. Не трожьте!»

Сознание подростка опережает ход жизни, её замедленный привычный ритм. Естественна его готовность на жертвы, на нищету ради любимого дела. Когда завершается обучение в школе, Санька за неимением лучшего соглашается стать в ней истопником, вызвав на себя сначала огонь злобных насмешек со стороны семьи, а затем и вовсе порвав с нею. Героя не пугает перспектива, открывающаяся его глазам: труд — «великая горячка, натуга повседневная», война с учениками и за них самих каждый день.

Поворотом в судьбе Свирепова становится работа в ликбезе. Не беда, что приходится делить с учителем один пиджак на двоих, обмирать на уроках от робости, жить впроголодь, совмещать труд сеятеля знаний с обязанностями истопника и сторожа. Завоёвано главное: признание взрослых. Сломлено презрительное отношение семьи. И хотя в финале героя ждёт поражение: его избили ученики, к которым он готовился идти, подменяя учителя, исход событий всё-таки светел. Покидая село ради другой жизни, Санька оглянулся. И в этом повороте головы в сторону вскормившей его малой родины было заключено всё,

¹ Зверев А. На Ангаре: Рассказы. — Иркутск, 1972.

чему он научился. Повествователь сказал об этом одной фразой: «Я не знал тогда, что боли забываются».

Рассказ «Пантелей» убедительно свидетельствует о росте мастерства писателя. А. Зверев осознал мир художественно, типизируя в характере существенные тенденции эпохи. Его малый жанр стал эпичным по самой своей главной сути — движению образа в перспективе жизни, а не по авторской воле. <...>

Рассказы А. Зверева «На Ангаре» как бы «проигрывают» заново мотивы его первых романов, но звучат они по-новому, словно автор набрал ровное дыхание. В них сполна обнаружило себя мастерство лепки характера, который становится центром рассказа и к которому тянутся все нити повествования. Иногда таким центром является чья-то история, например, в рассказе «Чалко» это история коня, появившегося на свет в преддверии образования коммуны, в дни преодоления нужды, сомнений, забот. Как нелегко давалась новая жизнь, А. Зверев убедительно показал именно изображением (а не описанием) судьбы игривого жеребенка, в финале представшего поседевшим, тяжело вздыхающим со слезящимися глазами стариком-конём.

Примечателен итог жизни Чалого — в отличие от других старых лошадей, которых давно сдали на мясо, он разгуливал среди колючих кочек и мирно пасся — так решили люди. Этот финал заключает в себе глубокое гуманистическое содержание. Автор утверждает поступательный ход истории, которая не выплеснула главного: нравственного здоровья людей, благодарно отметивших безотказность своего четвероногого помощника. Он был, этот Чалый, как и люди той эпохи, способен тащить на себе самую трудную ношу. И это потому, что «надо, что всё так и должно быть, а не иначе». Приведём для убедительности всего лишь один пример того, как достигает автор органического слияния характера с движением времени: в коммуне Чалого запрягли в чужую узду, и он всхрапывал, недовольно переступал ногами, принюхивался. «Не стегал я коня. «Ну, Чалик, ну, дорогой», — только и всего... а везёт он, бьётся в поту, а тащит...»

Скоро Чалку взяли на сенокос. Потом председатель для себя его взял, потом в город наладились ездить на нём, а под осень опять меринок был в плугу, только у другого пахаря, и тот «сварил ему плечи». Об этом повествует уже рассказчик, но это повествование не выпадает из изобразительной канвы рассказа, потому что история Егорки тесно сопряжена с судьбой Чалого. Шестилетним начал он объезжать гнедого и работать в коммуне. Но когда Егор повзрослевшим вернулся в родные края, Чалый был уже стариком, тяжело вздыхающим и усталым. Судьба коня навсегда осталась для паренька символом верности крестьянской доле. А не это ли главное в жизни? Не в этом ли — умении жить среди людей — высший смысл человеческого существования? Так приходит в рассказ эпическая тема, вроде бы несовместимая с малым жанром. Но именно она становится определяющей и в рассказах А. Зверева о войне — «Васька и Сёкол», «Весна». Время принято считать «врагом» рассказа — так трудно в нём охватить его динамику и сложность. И тем не менее всё чаще в творчестве В. Катаева, В. Шукшина, П. Нилина и других художников, работавших или работающих и ныне в жанре «малого эпоса», все отчетливее проступает эпоха. Она «вещественно, зримо, жестоко ходит»¹ по человеку, испытывая его на прочность.

В рассказе «Васька и Сёкол» деревня рассталась с последним трактористом, ушедшим на фронт, и приняла в своё лоно беженцев с фронтовой полосы. И вот в этой обычной для того времени ситуации всё необычно, если посмо-

¹ Огнев А. Русский советский рассказ. — М.: Просвещение, 1978. С. 58.

треть на жизнь с точки зрения моральных ценностей. Война надругалась надо всем: она сделала «героем» дня самого ничтожного на селе мужика, прозванного «Сёколом» не от сходства с могучей и смелой птицей, а от привычки заменять решительное «всё» на юродивое «сё». Она же, война, лишила радости детей, сделала их не по годам взрослыми и мудрыми. Васька гибнет под колесами трактора, спасая честь матери от посягательств «не но уму», по нужде определенного в председатели Пашки Панжина. Герои рассказа — Александра, севшая на трактор, Дуся, жена Пашкина, другие сельские жительницы, по очереди перебивавшие в руках Сёкола, исполняющего роль «колхозного порога», голодные дети военной поры — каждый из этих образов заключает в себе великую правду и муку войны. Сама история наложила отпечаток на их судьбы. В начале рассказа упомянуто о времени всеобщей мобилизации — надо полагать, это была весна 1942 года, начало пахоты. В финале изображен разгар страды — сенокос. Всего-то двумя месяцами исчисляется время в рассказе, а «ещё две бабы оплакали похоронные». Это как бы вскользь брошенное замечание-вздых помогает отчетливее представить характеры героев — Васьки и Сёкола — в их нравственной полноте.

В рассказе «Весна» автор нашел новое решение темы. Он поведал о пережитом в войне образом-антитезой: радость весны, её безостановочное движение (воздух, полный прелых запахов, «распирал грудь», «прострел», первый цветок сибирской весны выскочил из земли на солнцепеке, «светлое и ласковое солнце», «стреляющее в глаза и выдавливающее слёзы») и состояние кормилиц человека — коров, падающих на меже, озирающих мир безразлично мутными глазами. Из свищей течёт сукровица, ноги заплетаются, «болтаются кошель вымени», обсохшие в навозе хвосты. Герою — юному зоотехнику кажется, что молоко, которое он испил, «пахнет кровью и голодом». Движущей пружиной повествования стал рассказ о том, как спасали пастухи это стадо. Беспощадные краски войны, обескровившей мир, разлиты в рассказе. В нём поражает точность и драматичность деталей: трава, такая долгожданная, словно «выклюнулась» из земли, земля парит, «звёзды подмигивают: «ничего, парень, день будет погожий». Словом и задушевным порывом героев, их невысказанными тревогами автор подтверждает смысл земного круговращения: жизнь одолеет смерть, восторжествует так же, как верно то, что завтра солнце обогреет землю. Философия этих рассказов выразилась не в назидании, а как естественное, нравственное состояние героя и художника,веряющего время образом человека.

* * *

Новой страницей творческой биографии А. Зверева стала публикация в альманахе «Сибирь» его военных повестей «Выздоровление», «Раны», «Гарусный платок». Они были отмечены критикой и вскоре составили первую московскую книгу писателя «Гарусный платок»¹ и изданный в Иркутске сборник повестей «Последняя огневая»². С ними к писателю пришло широкое признание. Иркутская писательская организация ещё раз закрепила за собой авторитет творческого союза, много сделавшего в развитии современной прозы.

Повесть «Гарусный платок» тематически связана с рассказами, составившими книгу «На Ангаре». Писатель обратился в ней к судьбе детей военной поры,

¹ Зверев А. Гарусный платок: Повести, рассказы. — М.: Современник, 1976.

² Зверев А. Последняя огневая: Повести. — Иркутск, 1977.

к их горькому безотцовскому детству. Дети войны — нередкие гости в современной литературе и искусстве. Документальные кадры фильма «Великая Отечественная» засвидетельствовали миру глубокую правду жизни и искусства об этом самом трагическом и скорбном факте эпохи.

Повествование в «Гарусном платке» ведёт рассказчик, оценивающий события с высоты прожитых лет. Это оправдано логикой жизни и нравственным опытом писателя. В годы революции и гражданской войны он был ребенком, познавшим все последствия смертельной схватки нового мира и мира, уходящего в небытие. После войны, вернувшись в школу в качестве педагога, он не наблюдал, а ещё раз прошёл вместе со своими воспитанниками трудными дорогами горя и нужды. Чувства, испытанные художником, оказались не просто легко восстанавливаемыми, но и откорректированы событиями двух эпох. Этим объясняется чёткость пластического рисунка образа, свобода, естественность его звучания, которые дают право сказать: традиционный в известном смысле персонаж обрёл себя заново, стал образом типическим.

В деревеньке Осиповке Минька был не единственным среди своих сверстников, лишившихся отцов. Но вместе с тем его судьба была неповторима своей сложностью и трагизмом. После похоронки мать ушла от нужды и горя в другое село, а вскоре и умерла. Всё держалось на дедушке, но и он едва дотянул до конца войны. Осиротевшие брат и сестра Лида должны были быть определены: Минька — в детдом, Лида — в колхоз. И вот в этой ситуации и выяснилось окончательно, что Минька давно уже, несмотря на малолетний возраст, стал Михаилом Ивановичем, ребёнком с душою уставшего от жизни мужчины. Он по-взрослому, мучительно переживает надрыв сестрёнки, её горькие слезы и готовность затолкать себя куда угодно, чтобы одолеть сдавившее клещами горе нищеты. Мечта подарить ей гарусный платок, обрадовать, вывести из состояния, в котором девочке показалось обидным, что её «потеряла смерть», становится главной среди неистребимых, насущных забот о куске хлеба. Однако правдоподобие образа не влечёт за собою автоматически его художественную ценность. Внутренний мир героя, как бы он ни был богат и жизненно достоверен, тогда становится выражением идеи, когда он прочно сопряжен с жизнью в широком смысле, с тем, что мы называем общественной ситуацией. У А. Зверева она воспроизведена в своей подлинной реальности, а потому и завершена художественно. Активная интерпретация изображаемых писателем событий просматривается в характеристике тётки Миньки — Настасьи. Война и нужда сделали её предприимчивой и умеющей прибрать всё, что плохо лежит. Её не смущает, что осиротевшие дети и без того голодные и нищие. Матери, защищающей интересы внуков, она говорит: «Ты, мама, рассуждаешь как ярая единоличница... Ты пожила в войну-то неколхозно, язык-то тебе и разъело. Ты только и думаешь о деньгах да о домах». Откровенная демагогия, на какую пускается эта женщина в общении с единокровными своими, нужна для единственной цели: извлечь нечто существенное, материально ощутимое. Так «переходить на политику» можно было лишь в то памятное послевоенное время.

Не менее выразителен, сложен как человек муж Настасьи Спиридон. Вчерашний храбрый фронтовик стал рабом жены не только в силу податливости характера. В этом образе много общего с характерами ближайших литературных собратьев Спиридона — Ивана Африкановича из «Привычного дела», Павла Пинигина из «Прощания с Матёрой». Недавние солдаты, способные на беспримерный подвиг, они в послевоенную мирную пору потерялись как активная социальная, общественная сила. Всей душой сострадав Миньке, Спиридон не может

его защитить даже от собственной жены. Понимая, что мальчика нельзя определять в детский дом, он лишь один на один говорит ему об этом и скромно помалкивает в присутствии энергичной, нерассуждающей представительницы района. Спиридон — не трус по натуре или равнодушный человек. Напротив. Многие его поступки в военной и довоенной жизни как раз подчёркивают в нём человечность. В новой позиции героя запечатлена сложность послевоенного времени, сломавшего духовный стержень человека, изменившего его существо. Исповедь Спиридона перед Минькой о пережитом в войне («Она и посейчас в голове кружением каким-то. Вроде отошедшей болезни»), о чувстве братства, испытанном впервые в этом аду, — лучшие, прекрасные страницы повести, благодаря которым писателю и удаётся сопрячь мир человека с жизнью в широком смысле слова. Художественное богатство повести — в органичном сцеплении фактов частной жизни и воображения художника, в сложности и слаженности всех деталей, создающих образ эпохи.

«Не видел Минька всей глубины наступающей жизни, а чуял: она будет связана с конём. Весь мир, весь свет, все думы и волнения Миньки — были окрашены в гнедую масть, овеивались чёрной гнедковой гривой и сладким запахом гнедкового пота». Как молчаливый, но понимающий свидетель людских мук проходит в повести Гнедко, обогащая палитру красок и образный мир произведения.

Мастер пейзажных зарисовок, А. Зверев скупно, экономно воспроизводит в повести картину медленно наступающей весны. Она полностью слилась с ощущением трагической неустойчивости событий, которыми живут и Спиридон, и бабушка Миньки, и его дед, пытавшийся добротой врачевать людские души.

Весна в таёжной деревеньке Осинки «пролетает», «мельком поглядывая на чёрные колодины, на роднички, которые с каждым часом становятся беспокойнее». «Весна приказывает каждой насекомине: ты лезь на дерево, ты тащи соломинку, ты расправь крылья и до вершин поднимись». Так ощущал мир не по годам повзрослевший подросток, так всем строем мысли своей торопил писатель жизнь придти на помощь человеку. Гарусный платок — это вещественное воплощение мечты Миньки — становится символом полной самоотдачи, самоотречения во имя блага ближнего, на которое всегда способны любимые герои А. Зверева. <...>

Василий Трушкин

«Друзья мои...»

Из дневников 1937—1964 годов

1937

18 февраля. Полдень

Сажу за уроком, Степанов доказывает площадь ромба. Вспомнился А. С. Пушкин). За последнее время о нём всё время не перестают писать газеты. Даже мой отзыв и то был напечатан. Когда я открыл газету и прочёл: «Стихи школьников о Пушкине», мною овладело неизъяснимое волнение, мой инстинкт как бы почувствовал, что здесь вклеен и я. Буду дальше работать над собой (летом). Книги хочу на время бросить читать. Сильно устал. В самом деле, читаешь день и ночь (даже каникулы), и времени нет отдохнуть. Читаю немецкие, русские газеты и т. п. (недавно прочёл Груздева «Литература эпохи Возрождения западноевропейских стран»). Ведь подумать! Мне 15 лет, а сколько прочёл!

21 февраля

Школа стала рассадником туберкулёза (ведь не уберёжешься, пьёшь из общего стакана, в уборной ребята курят и дают докуривать за собой другому). Интересно, почему учителя не принимают никаких мер к устранению этого? Скорей бы вырваться из этого омута! Сегодня сказал о туберкулёзе матери, велела остерегаться, поменьше читать. Прав А. Безыменский, когда в своём «Партбилете» говорит о нежной заботе матери о сыне, и дальше: что она не понимает, почему он целые ночи сидит за книгами. Она прячет его партбилет, желает оставить сына при себе, но она не знает, что партбилет у него в душе. Так и моя мать. Она удивляется, почему у меня много книг, почему я мало проветриваюсь. Она говорит, что другие играют, а ты всё сидишь да сидишь...

Трушкин Василий Прокопьевич, литературовед, критик, историк литературы Сибири (1921, с. Подгоренка Екатериновского р-на Саратовской обл. — 1996, Иркутск). Автор книг: *Литературные портреты: Писатели-сибиряки* (Иркутск, 1961); *Сибирский партизан и писатель П. П. Петров: Повесть героич. жизни* (Иркутск, 1965); *Литературная Сибирь первых лет революции* (Иркутск, 1967); *Из пламени и света: [Гражд. война и лит. Сибири]* (Иркутск, 1976); *Восхождение: Литература и литераторы Сибири 20-х — нач. 1930-х гг.* (Иркутск, 1978); *Литературный Иркутск: очерки, лит. портреты, этюды* (Иркутск, 1981); *Пути и судьбы. Лит. жизнь Сибири 1900—1920 гг.* 2-е изд., испр. (Иркутск, 1985). Составитель (вместе с В. Г. Волковой), научн. редактор и автор отд. статей двухтомного крит.-биобиблиогр. словаря писателей Восточной Сибири «*Литературная Сибирь*» (Иркутск, 1986; 1988). Докт. филол. наук, профессор. Заслуженный деятель науки РСФСР. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

27 марта. Вечер

...Если я сейчас стал писать хоть немного грамотно, если я сейчас стал разбираться в литературе хотя бы немного, хотя бы немного научился читать, хоть немного я научился разбираться в общественной жизни, всем этим я обязан Н(иколаю) П(етровичу) Кузнецову, моему педагогу) ... буду просить его, не пришлёт ли он мне несколько экземпляров «Литучебы». Он такой добрый. Мне очень совестно спрашивать, и я даже страдаю, но ничего не поделаешь, если у самого нет ни гроша денег. У отца денег нет, да и когда есть, я боюсь спрашивать. Денег только лишь хватает на хлеб. Да и книги-то отец с матерью (когда я готов ходить бедно одетым, готов недоедать, но я никак не смогу примириться с тем, чтобы жить без хорошей художественной литературы, хотя это, может быть, с моей стороны глупо) не ценят ни в копейку, они считают их бесценнее пустой консервной банки и частенько предлагают мне продать их в избу-читальню, хоть и за пустяк...

22 апреля. Вечер

...Лидия Иогановна Палехова говорит, что Маяковского считают советским Пушкиным. Я с этим не совсем согласен. Как ни велика заслуга Маяковского перед пролетариатом, но всё-таки Пушкин остаётся непревзойдённым всесторонним гением в области литературы. О чем не писал Пушкин, какие жанры он не использовал! Нет, Пушкина не приравнять к Маяковскому. Свой взгляд о творениях П. и М. я как-нибудь изложу пояснее и поподробнее. Скорее всего во время летних каникул. В летние каникулы я буду тщательно изучать литературу со стороны композиции, эстетики, внутренней эмоции. Тогда же я попробую и сам кое-что написать. Но только напишу что-нибудь серьёзное, хорошо обдуманное и живое... Я и до этого писал, начиная с 4-го класса. Но к написанному относился легкомысленно, получалось схематично, писал о том, что вообще не знал, как молодой Некрасов писал о дубах, которых у них не было на 200 вёрст в окружности, или писал о том, что знал понаслышке. Получалось плохо, но этим я ничуть не смущался и опять писал, как сказал Чацкий, числом побольше, а ценою подешевле, не задумываясь над тем, что произведения искусства ценят не количеством, а качеством...

20 мая. 4 ч. вечера

...В советской литературе произошёл целый переворот: выгнали Киршона и очень много других из Союза писателей. У нас, в Сибири, тоже порядочно почистили, как то: Ис. Гольдберга ко всем чертям, П. Петрова и П. Листа также. Вообще, если признаться да сказать, я сейчас с очень и очень большим трудом разбираюсь в происходящем, а подчас и совсем не разбираюсь (вчера его восхваляли, а сегодня оплёвывают грязью и нередко ставят к стенке). Почему-то кажется, что всё сейчас происходящее похоже скорее на общественную и политическую реакцию, нежели на широкую демократию (за одно неосторожное слово можно распрощаться с миром).

3 июля. Вечер

Дождя нет. Светит солнце. Сидим без хлеба (нет денег). Мучает голод. Открыто говоря, нам частенько приходится «класть зубы на полку». Нужда, как её ни стараешься скрыть, всё-таки проскакивает наружу. Завидую тем, кто имеет каждый день хлеб. Наверно, уже и не придётся пожить по-людскому, то есть хоть немного в достатке. Приходится есть иногда, так как отец — конюх, лошадиный корм, в полном смысле этого слова.

6 августа. Пятница. Вечер

...Вчера узнал, что на днях в Иркутске расстреляли бывших служащих Вост.-Сиб. дороги, больше 70 человек, в том числе и простых рабочих. Не верится, чтобы все они были сознательными вредителями. Что будет с их семьями?!

24 августа. Вторник. Вечер

Завтра еду в Залари по учебники и постараюсь во что бы то ни стало купить томик Горького. К слову, о книгах. Книги я приобретаю для своей библиотечки чичиковским способом: новую книгу купить подчас бывает не под силу, а приобрести её хочется. И я тогда изошряюсь, как могу. Выклянчиваю у кого-нибудь или по знакомству, или за небольшие гроши и т.д. Таким образом у меня образовалась небольшая библиотечка.

17 ноября. Вечер

Я потрясён событиями сегодняшнего дня. Волнение ещё не улеглось. О причинах всего этого попытаюсь рассказать. Сегодня первый урок по рисованию у нас должен быть русский, но русского языка не было. Это меня обеспокоило, так как Сергей Евгеньевич всегда аккуратно посещал свои занятия... Под конец урока ко мне подсел Ваня Малюшкин и на ухо мне сказал, что Лапшина посадили. Меня эти слова ошпарили, как кипятком, своей неожиданностью... Андрей Хмелевский рассказал мне о его аресте следующее: в 11 ч. ночи с 16 на 17-е ворвались в его квартиру и, подняв два нагана, объявили, что он арестован. Андрей говорит, что у С. Евг. нашли запрещённую литературу. Мне и сейчас не верится, что С. Евг. — враг народа. Его мне сильно жаль. Он был превосходным учителем и неплохим товарищем. В ту же ночь арестовали Камышлова и многих других. В общей сложности целую дюжину. По всей стране идут многочисленные аресты. Они меня совершенно сбивают с пути. Вчера он прав — сегодня виноват. Я не знаю, кому верить. Все эти обстоятельства, связанные с многочисленными арестами, напоминают мне варварства и гитлеровскую действительность. Это же заставляет меня порой критически относиться к Советской власти и деятельности её вождя; ввиду всего этого идеология моя сейчас ещё не совсем определена. Я порой сердечно возношу благодарность Сталину, порой колеблюсь и сомневаюсь. Может быть, я не прав. Время покажет. Сегодня весь день провёл в волнении и почти ничем не занимался... Если даже Серг. Евг. и окажется виновным, я всё-таки буду благодарен ему за доброе отношение ко мне, за хорошее преподавание. В школе, как я заметил, многие ученики сочувствуют С. Е., но только боятся открыто высказывать свои мысли и чувства.

1938

6 января. Вечер. Четверг

Трещат пятидесятиградусные морозы. Читаю рассказы В. Бределя в подлиннике, то есть на немецком языке...

17 июня. Пятница

Опять Гейне. Нравится сильно. Буду читать и перечитывать всё лето. К слову, по-немецки давно уже читаю бойко, не прибегая почти к словарю.

31 июля. Воскресенье

Штудирую «Систему природы» Гольбаха. Читаю с увлечением, хотя с некоторыми его утверждениями не согласен.

26 августа. Пятница

В газетах появилось известие о приёме в учительский институт с девятиклассным образованием. Думаю туда катануть...

2 сентября

Итак, я в учительском институте...

1939

12 августа

Вторая человеческая бойня на носу. От газет уже пахнет кровью. Здания Иркутского фининститута, пединститута, 13-й школы и мн. др. превращены в госпитали, и они не пустуют. С монгольской границы каждый день поступают партии раненых. На улицах часто можно встретить марширующих красноармейцев.

14 сентября

При институте организован кружок английского языка. Французский отодвигаю покамест в сторону и берусь за изучение языка британцев.

27 октября. Пятница

Сегодня был на приёме у глазного врача. Подбирал очки. Не подходят. Врач мне откровенно заявил, что я должен прожить всю жизнь с плохим зрением: помочь ничем нельзя. Это известие чертовски испортило настроение. С самого детства я привык тешить себя надеждой, делеять мечту на счастливый исход дела, и вдруг последняя почва выбита из-под ног. Сколько мучений мне причинил мой недостаток!..

28 марта. Четверг

В этом году при Иркутском госуниверситете открываются исторический и филологический факультеты. Очень бы хотелось учиться в университете...

3, 7 сентября

Итак, я в университете... Сегодня ректор нарисовал заманчивую перспективу будущего. Наш выпуск будет первым выпуском историков и филологов; следовательно, многие из нас могут быть оставлены работниками при университете, часть — в других вузах, часть может стать журналистами и редакторами и т. д. Если бы мне здесь удержаться.

1941

22 августа. Пятница

Наши сдают города один за одним. Немцы, по утверждению газет, в занятых районах зверствуют, в их армии процветают разврат и мародёрство. Из-под Москвы сюда ежедневно прибывают эшелоны беженцев. Мои старики, очевидно,

опять останутся без хлеба, так как колхозы вынуждены будут и кормить прибывших москвичей, и сдавать государству.

5 декабря. Суббота

...Единственное, чего я, пожалуй, сейчас хочу — это быть сытым. Мой организм страшно истощён. Может быть, этим объясняется плохая интенсивность в работе. Был дома, откуда поспешил поскорее уехать, так как мои родители тоже голодают. Колхоз весь хлеб вывез государству, колхозники же остались без хлеба. Так что мне приходится теперь жить на 400 г хлеба и питаться, да и то не как следует один раз в сутки. Хватит ли сил выдержать этот ужас? Скоро наступит сессия, а я не в состоянии серьёзно работать...

1943

20 января. Среда

Итак, моё студенческое колесо снова завертелось. В субботу сдавал западноевропейскую литературу. Это был до некоторой степени необычный экзамен. О.И. Ильинская не столько была моим экзаменатором, сколько дружественным собеседником. Мы были вдвоём, курили, иногда даже спорили. Она мне дала три преогромнейших вопроса: Шекспир, Данте и Мольер. Поэтому естественно, говоря об этих трёх гигантах, мы пробежали по всей литературе от древних до Пушкина и Байрона включительно. Мы побеседовали с ней целых пять часов...

25 января. Понедельник

Стоят страшные холода. В общежитии — как в мертвецкой. Пишу эти строки в пальто и шапке, руки мёрзнут, голова раскалывается от боли. Насморк. Лишь бы окончательно не заболеть и не слечь... лежать в нашей комнате — значит обречь себя на верную гибель. Да притом и без столовой не обойдёшься, а домашние запасы уже все, и снова для меня начинается старая песенка с 400 граммами хлеба. Это в сессию-то!..

2 февраля. Вторник

За последнее время чего-либо знаменательного в моей жизни не случилось. Помаленьку пополняю свою библиотеку. Погоня за книгами страшно бьёт по карману.

14 февраля. Воскресенье

Голодаю. Из дому никто не едет и не пишет. Обносился. Ходить не в чем. Катанки разъехались. Вообще живу прескверно. Страшно голодаю. Подумываю бросить университет. Дальше так жить невозможно. Вчера, например, занял 50 руб. и купил 400 г хлеба.

18 марта. Четверг

Ходить не в чем. Ботинки развалились. Ноги всё время мокрые. Стыжусь своей бедности.

12 августа. Среда

...Сегодня опять получил письмо от Нины. Она мечтает увидеть меня со вре-

менем «учёным мужем» и даже читать мои книги... Вот и Андрей Хмелевский туда же. Этот пророчит с каким-то непонятным самозабвением меня в профессора... Вся эта апологетика огорчает меня. Не будь я уверен в их искренности, я счёл бы себя глубоко оскорблённым. Увидев в их «прогнозах» скрытую насмешку.

18 августа. Среда

...М. К Азадовский как-то мне говорил, что люди не прощают превосходства над собой и жестоко мстят тем, в ком чувствуют независимый ум и культуру. Тогда же он заметил, что никогда нельзя будет целиком отдаться любимому делу, если игнорировать общественную работу и все связанные с ней «мелочи». А посему — «будьте паинькой». Вот этот-то призыв к смирению мне и ненавистен. Я не умею, да и не хочу «уживаться». Давно бы я уже был сталинским стипендиатом, как заметил тот же Азадовский, первым студентом по университету, будь я немного «дисциплинирован». Увы, это выше моих сил. В сущности, я кабинетный человек. Мне хотелось бы провести жизнь в мире книг, единственном месте, где мне дышится легко и свободно, в узком кругу друзей, которые бы меня немного уважали и понимали, скрашивали бы мой досуг. Большого мне не надо...

1944

5 сентября

Четыре дня пробыл в Иркутске. Много размышлял о своём положении, о том, что Васёк Трушкин, интеллигент в первом поколении, беден, что «трудами он должен был себе доставить и независимость, и честь». Мне уже стыдно стало встречаться в своём одеянии со знакомыми. Читал толстовский том «Литературного наследства».

Приятель мой Николай Черемных носится как с писаной торбой с мыслью о широкой общественно-политической деятельности. Мечтает о лёгкой, головокружительной карьере. Мне лично такая деятельность всегда претила и, наверное, никогда не удастся. Так пускай Николай штурмует землю и в ожидании тёплого местечка кадит сильным мира сего. Мы за собой оставим небо... Короче говоря, занятия наукой, чистым мышлением куда благородней и чище, нежели возня на грязненькой общественно-политической кухне.

1945

7 января. Воскресенье

Завтра еду в деревню заниматься спекуляцией — проще говоря, менять мыло, женские туфли и пр. чушь на картошку. Немного противно заниматься подобными вещами, да ведь иначе нельзя: богу душу отдашь.

Почти ничего не читаю — немного Ив. Бунина, Шопенгауэра — вот, пожалуй, и всё...

12 июля. Четверг

Вчера защищал дипломную работу. Здесь я могу сказать без стеснения, что защита прошла блестяще... Итак, студенчество моё кончилось. Начинается другая жизнь, а мне ещё не ясна дорога, по которой я пойду.

15 июля

Вчера получил телеграмму от М. К. Азадовского. Предлагает спешно высылать документы и заявление в Ленинградский университет. Не знаю, что делать. Аспирантура по литературе для меня всё, тем более мою кандидатуру поддерживает такой авторитетный человек, как М. К. ...

Здесь дневник прерывается на десять лет.

1955

31 декабря. Суббота

...Последнее время я много работал. Написал две статьи — о Маркове и С. Есенине, сделал два доклада... Хотелось бы мне и очень, чтобы новый год увенчался успехом на моем научном поприще и меня приняли в докторантуру, о чем ещё в сентябре возбудил ходатайство университет.

1957

10 апреля. Среда

...Сегодня в моё отсутствие в университете меня выбрали каким-то начальником в Обществе по распространению политических и научных знаний... А я уже и так задыхаюсь от повседневной суеты, заседаний, поручений, бюрократической писанины и пр. чепухи... И так ни минуты не могу выкроить, чтобы сесть за письменный стол и от души и для души поработать, а без настоящей научной работы я жить не могу. Такой уж у меня характер. А работать совсем не дают. Так, к примеру, в апреле по нашей кафедре проходит защита 58 дипломных работ. Их надо заслушать, отрецензировать и пр. У меня у одного 11 человек дипломников. А ведь это не кот начхал. В июне начнутся госэкзамены — придётся протирать штаны в качестве одного из членов ГЭКа, и так до бесконечности. На эти, скажем, 58 человек декан требует индивидуальные характеристики на каждого. В апреле же идёт студенческая научная конференция. Её надо провести, подготовить по ней отчётность и т. д. В мае же, помимо всего прочего, надлежит составить поручения по кафедре плюс индивидуальные планы на каждого преподавателя на следующий учебный год, потом отчитаться за прошедший и т. д. и т. п., не считая академической загруженности и руководства методологическим семинаром преподавателей. Я ведь ко всему прочему ещё и агитатор на пятом курсе. В этой работе тоже требуют отчёта...

28 апреля. Воскресенье

На днях запоем дочитал «Братья Лаутензак» Л. Фейхтвангера. Последняя часть сбита особенно плотно. Когда же читал о расправе нацистов над Паулем Крамером, невольно вспомнил о 37-м годе, и стало как-то жутко, не по себе. 37-й год Сталину нельзя простить. Его методы были тогда ничуть не лучше фашистских. Действительно, это было подлое, страшное время, и в оценке его Н. С. Хрущев абсолютно прав. Остаётся только пожалеть, что от сталинского режима осталось в наследство много фальши, лицемерия, бездушия в отношении к людям, пустозвонства, которые часто дают себя знать.

8 мая. Среда

Сегодня купил с радостью только что появившуюся в Иркутске книжку стихов Ли Бо. Моя библиотечка классической китайской поэзии заметно пополняется... Из русских изданий у меня есть, кажется, всё, что появлялось за последнее время, а именно: томики Цюй Юаня, Бо Цзюйи, Ду Фу и, наконец, красиво изданная антология китайской классической поэзии. Я эти вещи страшно люблю и всякий раз от встречи с китайскими поэтами-классиками испытываю огромное удовольствие.

3 июня

Для «Вост.-Сиб. Правды» взялся написать рецензию на сборник стихов Преловского, нашего студента, выпустившего первую книжку...

7 июня. Пятница

Погода, кажется, установилась. Последние три дня стоит жара. Зато совершенно иная погода начинает господствовать в литературной и общественной жизни. Блаженные дни так называемой оттепели прошли. Снова подморозило, да и крепко. Рассказывают о беседе Хрущева с писателями, где Хрущев назвал Дудинцева цыплёнком, накричал на Шагинян и вообще с присущей ему грубоватой прямоотой дал недвусмысленно понять, что игра в либерализм и демократию кончилась — пора подвинчивать гайки, довольно болтовни. Он прямо заявил, что партии так называемые лакировщики в литературе и искусстве ближе, ибо они свои, преданные люди, чем все критиканы, которые объективно служат на руку врага. Далее он заметил, что он не позволит, чтобы наши писатели доказались до клуба Петефи, и не остановится ни перед чем, чтобы унять и успокоить инакомыслящих. Что же касается роли Сталина, то о нем в той же речи, обращённой к писателям, Хрущев высказался так: Сталин сделал больше нас всех, вместе взятых. Итак, вот вам худшая иллюстрация к философии Экклезиаста — всё возвращается на круги своя.

30 сентября. Понедельник

В субботу, к своему великому удовольствию, купил сборник «Итальянская новелла Возрождения» — на радостях приобрёл даже два экземпляра, хотя и в долг, так как был в это время без гроша в кармане. Слава богу ещё, что не вышел из доверия у книжных работников...

1958

28 января. Вторник

Сегодня пошёл к Седых. Константин Фёдорович много говорил о 37-ом годе — он хотел даже об этом писать, но, к сожалению, на эту трагедию наложено у нас табу. По всему видно, что 37-й год волнует К. Седых и как человека, и как художника.

13 декабря. Суббота

Был у А. А. Веселкова, директора Иркутского издательства, оставил у него заявку на книгу и проспект её. Ничего определённого не сказал, обещал посоветоваться с К. В. Чуйко, когда тот вернётся из Москвы с совещания. Сомнения у Веселкова вызывают имена репрессированных писателей И. Гольдберга,

П. Петрова и др., которыми фактически открывается мой проспект, так как первой работой в предполагаемой книге я поставил статью «М. Горький и писатели-сибиряки», построенную, по существу, на одних этих именах. Придётся ждать К. В. Чуйко; он, возможно, поддержит меня, но вся беда в том, что я опасюсь, кабы не повлияли на его суждение прения и доклад на московском совещании. Дело в том, что в порядке подготовки к этому совещанию из Москвы сюда недавно приезжал какой-то тип, забыл сейчас фамилию, одним словом, большое начальство над всеми областными издательствами. Так вот он ругал на чем свет стоит составленный мною сборник С. Есенина, ругал за то, что я туда включил много кабацких стихов. Определённо — в этом можно даже не сомневаться — на совещании в глаза Чуйко будут тыкать этим изданием. У нас ведь ханжества и лицемерия хоть отбавляй. Одним словом, я заранее переживаю за судьбу своей пока не родившейся книги. А впрочем, поживём — увидим. Что же касается погибших в 1937 году, то я считаю своим долгом человека и гражданина воскресить как-то их светлую память. Ведь это такая трагедия в жизни нашего народа, какой, пожалуй, никогда не было. Трудно представить себе что-нибудь более ужасное и страшное по своей невиданной, чудовищной жестокости и несправедливости. Дела инквизиции бледнеют перед этим массовым уничтожением честных, ни в чем не повинных людей. И самое удивительное то, что в этой истории ещё много загадочного и тёмного. Не случайно мы ещё и сейчас, спустя двадцать с лишним лет, боимся говорить об этом.

1959

3 сентября. Четверг

Много событий, больших и малых, пришлось пережить за это время. Всего теперь и не упомнишь, да и ни к чему. Отмечу только чисто литературные. На радио прошли мои передачи о Леониде Леонове и Ник. Асееве; в «Советской молодёжи» — рецензия на стихи Марка Сергеева; в «Восточно-Сибирской правде» — статья о Л. Сейфуллиной и о стихах Ан. Преловского; в «Ангаре» — о Л. Сейфуллиной, романе Чаусова «Далёкие рейсы», сейчас идёт о Преловском. Отправил в «Сиб. Огни» Н. Н. Яновскому очерк о П. Петрове.

1964

19 апреля. Воскресенье

Вчера получил зарплату... Мы должны кругом и с трудом сводим концы с концами. Но я всё же не удержался и истратил три рубля, купив два тома Якубовича «В мире отверженных» и «Русско-немецкий словарь» Никовой. В прошлую зарплату я истратил таким же манером около 20 рублей, тогда были куплены «400 лет русского книгопечатания» — солидное и монументальное издание, 2 части Либровича по истории русской книги, библиографический указатель Владиславлева по русской литературе XIX–XX веков и три тома Рубакина «Среди книг»... Сейчас в магазине лежит отложенная литература ещё рублей на десять. Книги разорят меня в лоск...

Составитель А. В. Трушкина

Третий лишний

Рассказ

На Релке она появилась в начале июня — тоненькая, в лёгком синем сарафанчике и сандалиях на босу ногу. Ничего особенного — как и остальные наши девчонки. Но с её появлением произошло неслыханное: центр улицы, вокруг которого из года в год мы вращались, как мураши, переместился к дому Речкиных, где у тётки гостила новенькая.

Первым за ней стал бегать Вадик Иванов, следом Олег Оводнов. Повторилась та же история, когда год назад к Рекутовым приехала из Ангарска Юлька. Она потрясла нас огромным, похожим на запрещающий знак светофора, красным бантом. Мы, уже чуть-чуть знакомые с правилами дорожного движения, на целый месяц затормозили около дома Рекутовых.

Вадик — хитрый, понял: не подмажешь — не поедешь, и стал таскать для неё конфеты из дома. Мы попробовали составить ему конкуренцию, Олег напластал для Юльки у своей бабушки морковки. Но она, сморщившись, сказала, что этого добра у них полно на огороде.

Я принёс из дома кедровых орехов. Юлька великодушно позволила ссыпать их в карман своей курточки и, поболтав немного, ушла на качели к Ивановым. Реакция наша была глупой, но скорой. За огородами мы срубили деревья и на пеньках с лицевой стороны рядом с Юлькиной фамилией написали Вадкину, увековечили их рядом. Юлке с Вадиком это не понравилось: целый вечер они корчевали собственные памятники. Вскоре Юлька уехала домой, и наша жизнь потекла прежним порядком, пока на Релке не появилась новенькая. Я опоздал и на этот раз. А потом и вовсе стал держаться в стороне. Причиной тому был случай, который произошёл вскоре после того, как новенькая появилась на Релке.

Возвращаясь с рыбалки, мы решили искупаться в Большанке. Поскольку время было раннее и девочек поблизости не ожидалось, сбросили одежонку и попрыгали в воду нагишом, чтоб потом не тащиться домой в мокрых трусах. Я переплыл на противоположный берег, оглянулся и обомлел — к речке спускались девчонки. Большой беды в том не было — подумаешь, прихватили голым, но среди них была незнакомая девчонка. Те, кто были поближе к берегу, успели

Хайрюзов Валерий Николаевич, прозаик (род. в 1944 г. в г. Иркутске). Автор книг: *Непредвиденная посадка*: повесть, рассказы (Иркутск, 1979); *Опекун*: повесть, рассказы (М., 1980: *Первая книга в столице*); *Почтовый круг*: повесть, рассказы (М., 1982); *Отцовский штурвал*: повести (М., 1984); *Приют для списанных пилотов*: повести, рассказ (Иркутск, 1984: *Современная сибирская повесть*); *Малая Грузинская*: повести и рассказы (М., 1986); *Истории таёжного аэродрома*: для мл. шк. возр. (Иркутск, 1986); *Плачь, милая, плачь*: повести и рассказы (Иркутск, 1994); То же (М., 1995); *Без меня там пусто!*: (М., 1998); *Иркут*: избр. произв. (Иркутск, 2009) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

выскочить и одеться, мне времени не осталось. Я махнул рукой брату, показав ему на лежащую одежду. Тот, вытаращив глазёнки, понятиливо кивнул головой, сунул трусы под майку и сдуру бросился вверх по реке. Я попытался побороть течение, да не тут-то было: Большанка была на прибыли.

— Стой! Куда ты? — задыхаясь, крикнул я. — Кинь, я поймаю.

Брат, вздрогнув, остановился и бросил трусы в реку. Описав плавную дугу, серый комочек, как парашют, спустился на воду в стороне от меня. Чуть ли не целиком выскочив на поверхность, я бросился наперерез. Когда усталый и расстроенный, я выполз на берег, девчонки встретили меня смехом. Громче всех хохотал Вадик, но, натолкнувшись на мой взгляд, умолк. Почувствовал: может пролететь. Он подошёл к новенькой и начал показывать улов: с десятков нанизанных на кушан тощих хариусов.

Покусывая травинку, новенькая с улыбкой поглядывала то на меня, то на Вадика. Я молча собрал свои вещички и перебрался от весёлой компании в сторону. Минуту спустя ко мне присоединился Олег. Вадик, поколебавшись немного, остался с девчонками. Я понял, для него настоящая рыбалка только началась.

Между тем, солнце забралось на самую середину неба и зависло прямо над Большанкой. Вода стала тёплой, парной. Накупавшись, мы вылазили на берег и зарывались в горячий песок. Хотелось есть. Мы знали, что у Иванова остался хлеб, но терпели. И тут Вадик словно прочитал наши мысли, раскрыл сумку, достал из неё бутерброды и давай угощать девчонок. И лишь после этого вспомнил о нас. Мы, переглянувшись, послали его подальше. Он психанул, сказал, что мы дураки и он больше с нами не будет иметь никаких дел.

Вечером мы увидели его около дома Речкиных. На Вадике была белая рубашка, через плечо на ремешке болтался фотоаппарат. Он усадил девчонок на лавочку и ну щелкать затвором. Вскоре туда на разведку подъехал на велосипеде Олег, попытался помешать Вадиду, начал строить рожицы, но его прогнали.

То, что Вадик имеет фотоаппарат, не вызвало у меня зависти. Ивановы — люди хозяйственные, обстоятельные. И нам казалось, что у них есть всё: патефон, радиола «Балтика», телевизор. Мы частенько собирались у него смотреть телевизор или слушать пластинки. Фотоаппарат — мелочь, но я ещё пуще обзавиделся на него, посчитав, что он применил запрещённый приём. Если говорить честно, меня всегда раздражала его предусмотрительность. Например, собираемся на рыбалку, Вадик обязательно возьмёт с собой запасную леску, крючки, бутерброд с маслом. Сознывая в таких делах Вадькино преимущество, мы целиком полагались на него. Вадик ругал нас, но мы посмеивались: поворчит да перестанет, куда от нас денешься. С Релки, как из тюрьмы, бежать некуда. Отец держал его в ежовых рукавицах, если отпускал на улицу, то после сделанной работы и на полчаса. Чуть забегается, тут же следовал грозный окрик: домой! У Ивановых всё было разложено по полочкам, каждый знал своё место, и даже собака Шарик строго выполняла свои сторожевые обязанности. Ей путь на улицу был заказан. Не то, что наш Барсик, он, как и хозяин, жил вольной, полуголодной жизнью. Носился по всему посёлку, облаивая прохожих. Верно замечено: собака во многом перенимает характер своих хозяев.

Мне тоже хотелось к Речкиным. Хорошо Вадиду, взял фотоаппарат (повод что надо!) — и пошёл. У Олега — велосипед, а тут ни того, ни другого. И тогда я применил тактический ход. Собрал вокруг себя вооружённую деревянными саблями и мечами шпану. Натянув на глаза поношенные солдатские пилотки и выставив вперёд гнутые из разобранных фанерных бочек щиты, распутивая кур, двинулись по улице. Не доходя до Речкиных, разделились на две половины и начали сражение.

Был тёплый вечер, под окнами цвела черёмуха, на проводах, тесно прижавшись, щебетали стрижи. Июньский воздух был пропитан тишиной и покоем.

Затея моя провалилась. Почти всё войско сбежало к девчонкам. Ушёл и Олег. У моего правого ботинка после сражения оторвалась подошва, он распахнул пасть во всю ширь и, как говорили на Релке, запросил есть. Спрятав ногу за бревно, я с тоской смотрел на друзей и размышлял, что мне делать дальше: идти домой или снять ботинки и присоединиться к остальным.

Кто-то предложил игру в третьего лишнего. Стали искать ремень. И тут Люська Лысова, зыркнув по сторонам, остановила взгляд на моем широком, с офицерской пряжкой ремне.

Люська была моим злейшим врагом. Прошлым августом я залез к Лысовым в огород. Люська засекала и настучала моей матери. Суд был скорым. Этим же ремнём мать отделала меня так, что неделю, прежде чем сесть, я долго примерялся к стулу.

Но Люська — хитрющая. Просить сама не стала, шепнула новенькой. Та, стрельнув в мою сторону тёмными глазами, согласно кивнула головой и, подпрыгивая то на одной, то на другой ноге, подскочила ко мне.

— А почему ты не идёшь играть? — спросила она. — На Вадика обиделся, да?

— Ещё чего, — шмыгнув носом, буркнул я. — Хочу и стою.

— А ты их сними, земля тёплая. Можно и босиком, — указав глазами на ботинки, быстро проговорила она.

Меня обдало жаром. Надо же, глазастая, заметила. Но долго упрямыться не стал. Поломавшись для приличия секунду-другую, развязал шнурки, засунул ботинки за бревно и давай вместе со всеми носиться по кругу. Поочерёдно то Олег, то Вадик, то я старались встать в ту пару, где была новенькая. Но кто-то из нас обязательно становился лишним и тут же получал ремнём от ведущего.

Когда стемнело, стали играть в прятки. Новенькая плохо знала Релку, её обычно находили первой. Тогда я пошёл на хитрость: нарочно поддался, и, застыв Вадика, заставил его голить. Когда разбегались прятаться, я на бегу шепнул новенькой, чтобы она бежала за мной, и дунул к Мутиным за брёвна.

Чтобы попасть туда, надо было пролезть сквозь узкую щель между заросшим черёмухой палисадником и забором. Там был крохотный закуток. Уняв дыхание, мы, прижавшись друг к другу, затаились. Время от времени новенькая поглядывала на меня своими глубокими, как омут, глазами. И меня охватывало неведомое досель обморочное чувство, будто я заглядывал в глубокий колодец. Пахло свежей корой, смолой — впервые в жизни мне было так хорошо с девчонкой.

— Завтра мы собираемся в кино, — неожиданно шепнула она. — Пойдёшь с нами?

— Ладно, — быстро согласился я. — На пять часов. — Вроде бы ничего особенного, сказали друг другу несколько слов. Я бы и так пошёл в кино: речка да клуб, больше идти некуда. Здесь важно было другое, я понял, она хотела, чтобы мы пошли вместе. На миг ощутив себя одним целым, мы тем не менее чутко ловили долетающие из-за брёвен звуки: нас уже искала вся ребятня. И я с каким-то восторгом думал: те, кто ищут нас, нисколько не догадываются, что происходит в этом закутке.

Всё же Вадик нас разыскал. Просунув голову в щель, он не стал кричать, что нашёл, а посмотрел и шмыгнул носом.

— Ты бы ещё на чердак забрался, — язвительно сказал он. — Я уже не хотел искать, отец домой гонит.

Заигравшись, мы не заметили, что Вадик перебрал отпущенное ему время. Мы проводили девчонок и разошлись по домам. В ту ночь я долго не мог уснуть, вспоминал весь вечер по минутам. Казалось, теперь так будет всегда, и меня ждут лишь одни радости. Проснулся я с ощущением радости. Вот сейчас выйду за ворота и вновь начнётся то, что с такой неохотой я оставил вчера. Вначале мы сходим на речку, потом в кино. И так будет завтра и послезавтра, впереди ещё много летних дней. Но к моему огорчению, на улице шёл дождь, делать там было нечего. Я подошёл к зеркалу, начал изучать своё лицо, причёску. Затем завёл радиолу и поставил ту песню, которая нравилась моей старшей сестре — про любовь.

«Воды арыка бегут, как живые, переливаясь, журча и звеня. Возле арыка, я помню, впервые глянули эти глаза на меня. В небе светят звёзды золотые, ярче звёзд очей твоих краса. Только у любимой могут быть такие необыкновенные глаза».

Арык — я не знал, что это такое. Мне казалось, что речка вроде нашей Большанки. Но всё остальное — точно про Релку и про меня.

Звали её кошачьим именем — Муська. И от этого она тихо и безнадежно страдала.

На другой день, когда мы всей релской компанией сидели в клубе мелькомбината и смотрели фильм «Без вести пропавший», она, в полутьме, вдруг наклонившись ко мне, быстро прошептала, что вообще-то её зовут Марусей, а в метриках записано Мария.

Мне она нравилась с любым именем, но я, повинаясь уличным законам, называл её, как и все, — Муськой. Она взяла за правило давать мне разные медицинские, как она говорила, советы. Вылазим из воды, Муська подаёт полотенце, чтоб я вытер лицо, не то пойдут прыщи. Скажи это сестра, я бы отмахнулся от неё, как от мухи: всю жизнь купались, и не пошли. Но Муську — послушался. Дальше — больше. Лежим на песке, Муська наберёт из речки воды и обрызгает — для закалки нервов. Попробуй сделать это кто-нибудь из наших девчонок, взбеленный бы, а здесь лежу и блаженная улыбка во всё лицо. Однажды она похвалила мой загар. Я рад стараться, целый день провалялся под солнцем. К вечеру запыхался, как сухая головёшка. Верно говорят — похвали дурака, он и лоб расшибёт.

Муська осмотрела меня, покачала головой, затем принесла от тётки банку со сметаной. Лечить людей было её страстью. Если бы ещё между мною и Муськой не клинился Вадик!

А между тем лето отмеряло свои дни. Если был хороший день, то после обеда мы шли на Большанку, на обратном пути собирали на поле жарки. И я старался нарвать самых красивых и крупных, потом отдавал их Муське. Вечером собирались и гурьбой направлялись в кино, а после кино опять играли в прятки или испорченный телефон.

Однажды Муська вместе с другими девчонками зашла к нам домой. Я поставил пластинку и вместе с Рашидом Бейбутовым спел для гостей Зулейку-ханум. Но этого мне показалось мало, я усадил Муську на диван, достал из шкафа затрёпанную без обложки книгу. Она была без картинок, в ней были чертежи самолётов. Я тогда бредил авиацией, и мне хотелось, чтобы Муська знала, что я хочу стать лётчиком.

Муська рассеянно поглядывала на мою старшую сестру Аллу. Та кружилась перед зеркалом, собираясь на танцы. В лёгком крепдешиновом платье, обдав духами, она порхнула мимо.

— У тебя красивая сестра, — сказала вдруг Муська. От неожиданности я захолопнул книгу. Я никогда не всматривался в сестру, для меня она была вроде

шкафа, натыкаешься на неё каждый день, откуда мне знать, красивая она или нет. За ней одно время бегал с Новостройки Толька Рубцов, потом его отшил плясун и гармонист Ленька Фонарёв. Ленька мне нравился. У него можно было выпросить рубль на кино. Он хоть и сердился, но давал. Попробовал бы не дать, тогда ему не видать моей сестры, как своих ушей. Я ещё не подозревал, что подошёл к той самой двери, которую сестра уже давно открыла. Но для этого нужно было, чтобы на Релке появилась Муська. С её появлением открылось многое, я уже по-другому взглянул на свою Релку — на эти два десятка задвинутых в болото домов. Стал слушать песни, которые раньше пролетали мимо — окружающий мир наполнился звуками, запахами, которых я не замечал и не слышал ранее. Муська время от времени уходила к себе в посёлок, эти дни я страдал, вся релская жизнь казалась мне пустой и ненужной. Впрочем, вскоре я понял, что страдания те скорее всего и были ожиданием счастья.

Вскоре о том, что я бегаю за Муськой, узнали все. Как-то возвращаясь с вечеринки, подвыпивший отец, увидев у нас в огороде девчонок, растопырив руки, пошёл на неё.

— Давай-ка я обниму тебя, невестушка! — улыбаясь, сказал он. Муська, смеясь, убежала в огород к нашим соседям Сутыриным.

— Мать, а мать, ты слышишь, — громко говорил он дома, — наш-то уже всю за девчонками ухлёстывает. Жених. А ты его всё маленьким считаешь.

Поскольку я признавался женихом, то уговорил родителей взять меня с собой по ягоды. Впервые я увидел Байкал, тайгу. Собрал целых одиннадцать поллитровых банок черники и впервые почувствовал себя полноправным членом семьи. Когда приехали домой, вспомнив Вадькины уроки, насыпал в кулёк ягод и, улучив момент, сунул их Муське. Она покраснела, начала отказываться, спрятала руки за спину. Но я сказал, что если она не возьмёт, то я выброшу ягоду на дорогу. Муська бросила взгляд на сидевших девчонок и взяла кулёк.

— Можно, я угощу их?

— Конечно, — облегчённо сказал я. — Ешьте на здоровье.

Вечером мы сидели с девчонками на завалинке с черными губами и болтали обо всем на свете. Муська рассказывала о себе, о своих братьях. А затем вновь играли в третьего лишнего. А когда Релку поглотила темень, и мы, набегавшись, стояли около дома Мутиных, ко мне вдруг подошла Лысова.

— Муська хочет тебе что-то сказать, — зашептала она.

— А че она сама не подойдёт? — недоуменно спросил я.

— Она стесняется, — быстро проговорила Лысова. — Ты ей нравишься. Она хотела бы с тобой дружить.

— Пусть она сама скажет, — выдохнул я. Мне показалось, что я остался наедине со своим сердцем. Оно вдруг ясно и отчётливо напомнило о себе, забухало, застучало, готовое вырваться наружу и, как птичка, улететь куда-нибудь вверх.

— Ты там подожди. — Лысова кивнула на те самые бревна, за которыми мы уже однажды прятались, и торопливо пошла к стоявшим у столба девчонкам. Я ушёл за палисадник, сел на бревно, стал ждать. Сейчас должно произойти самое-самое важное в моей жизни. Неужели это не сон?

Муська подошла, белея лицом, неслышно остановилась.

— Это правда? — сломал я тишину.

— Да, — через силу тихо проговорила она. — Правда.

Что-то огромное, горячее и лёгкое качнулось во мне, и я вместе с палисадником, брёвнами, точно в огромной лодке, поплыл по темноте. До меня не сразу дошло, что она ждёт, и я должен что-то ответить ей, я не мог сообразить что. За-

торможенно и обалдело смотрел на неё; казалось, и так всё ясно: я нравлюсь ей, она мне. Чего тут ещё говорить?

Она постояла секунду-другую и вдруг быстро повернулась. Мне бы догнать её, посадить рядом, после её признания всё приобретало особый смысл, и, если бы мы даже говорили о чем-то ином, всё равно говорили бы о себе. Но я не остановил её и потом не раз жалел об этом.

На другой день Муська ушла к себе в посёлок. Я расстроился, но Люська успокоила, сказала, что она просила написать ей. Но я так и не написал. Побоялся наделать ошибок? Или ещё не умел? Трудно сказать. Ну что можно сказать на бумаге? Да и можно ли вообще доверяться ей? Впрочем, попытка была.

Вначале я хотел подарить ей открытку, которую нашёл среди бумаг у себя в комодке. Во всю открытку было нарисовано сердце, из которого выглядывал красавец-брюнет. Он полуобнимал накрашенную девушку. «Давай пожмём друг другу руки и в дальний путь на долгие года» — было написано внизу. Надпись меня устраивала, а вот брюнет не нравился, показался слащавым. Я повертел открытку — нет, это не для неё. Я решил, что подарю ей свою фотографию. Попросил Вадика и он сфотал меня на поляне. Когда я пришёл к Вадiku за карточками, то на этажерке увидел фотографию Муськи, а рядом с ней открытку с актрисой, которая играла в фильме «Сорок первый», — Изольдой Извицкой. Фамилию и имя я узнал чуть позже.

Вадик, поймав мой взгляд, засунул фотографию за книгу. И я вдруг догадался, почему он так смутится: Муська очень походила на эту актрису. Я решил выпросить Муськину фотографию, предложил Вадiku за неё перочинный нож, затем книгу с самолётами. Вадик молчал. И тогда, отчаявшись, я предложил ему свой ремень. Он как-то странно улыбнулся, исподлобья поглядел на меня, вдруг достал фотографию и протянул мне. Я не мог поверить, что вот так запросто Вадик отдаёт мне Муську.

— Бери, бери, — грубовато сказал он, — я себе напечатаю.

Вадик догадался, зачем я выпрашиваю, но не пожадничал, дал. На другой день он уехал к родне в Балаганск. Перед тем, как расстаться, Вадик принёс трёх играющих на балалайке фарфоровых зайчиков, поставил их на скамейку, грустно улыбнулся, затем сгрёб в кучу, сунул одного мне, другого — Олегу и, повертев оставшуюся в руке фигурку, спрятал в карман куртки. Своим подарком он первым как бы попрощался с нашим детством, с этим летом. Муська стала для нас самым первым и серьёзным испытанием, и он выдержал его. Не знаю, смог бы я ответить ему тем же?

Сунув фотографию под рубашку, я пошёл к себе. Но заносить домой боялся, догадаются. И спрятал её под сени. Через некоторое время выудил её из-под сеней и чуть не заплакал от досады: фотография была в курином помете. Я попробовал отмыть её в бочке. Фотография скоробилась и пожелтела.

«Здесь, на далёкой Релке, голос мне слышится твой. Верю, моя дорогая, в скорую встречу с тобой», — усыпляя свою младшую сестрёнку Лариску, тихо напевал я.

Хлюпая носом, сестра смотрела куда-то в потолок, в глазах у неё стояли слезы. Наверное, жалко ей было меня. Раньше я больше пел военные песни и марши про красных кавалеристов или тачанку. Муська так и не пришла. Лето кончилось, и мы пошли в школу. Мне оставалось одно — ждать, когда Муська вновь придёт на Релку. Никогда я не думал, что это такое тяжёлое и мучительное занятие — ждать.

Тогда я сделал несколько попыток отыскать её. Возвращаясь из города, доез-

жал до «Военного городка» и, делая крюк, шёл через посёлок мимо Муськиного дома. Но почему-то её я не встречал.

На седьмое ноября, когда уже лежал снег, мы с Олегом попёрлись в посёлок на Муськину улицу раздетыми, в одних вельветках. Нам только что купили новые, и мы решили похвастать.

Муська с девчонками сидела на лавочке, тут же неподалёку гоняли по снегу мяч её братья. Мы, будто не замечая, прошли мимо. Если бы она знала, чего это мне стоило, идти и делать вид, что у тебя другое, более важное дело. Пока ходили туда-сюда, продрогли до костей. Гулянье не прошло даром, я заболел воспалением лёгких и месяц пролежал в постели. Мать сажала меня над горшком с горячей картошкой, мне ставили банки, уколы. И всё же где-то в глубине души я был доволен: пострадал из-за Муськи. Мне казалось, что тем самым я доказал, что люблю её по-настоящему. Мне говорили, что когда я болел, она приходила к Речкиным, но увы. После того признания точно кто-то невидимый делал всё, чтобы мы разошлись в разные стороны. Это как в школьном уравнении: случайно поменяешь знак с плюса на минус, дальше делаешь всё правильно, но ответ всё равно не сойдётся. Здесь бы могла пригодиться Люська Лысова, но у неё в то время появился свой интерес — Шурка Мути́н, и ей стало не до моих сопливых переживаний.

Во время зимних каникул несколько раз я встречал Муську на стадионе «Локомотив». По вечерам там проводились массовые катания на коньках. Она была со своей компанией, я со своей. Мы, как зверьки, переглядывались, но не подходили друг к другу. Сделай она шаг навстречу, оставшуюся часть я пробежал бы сам. Но она не делала, наверное, считала, что его уже сделала. Дело оставалось за мной, но я не мог преодолеть в себе робость, смотрел, молчал.

На другое лето она на один день появилась на Релке. Мы играли в футбол, и, когда стемнело, на поле прибежал Олег и сказал, что меня зовут. Кто, он не сказал, но мне и так стало ясно, кто. Было темно, я пошёл к Речкиным. Муська сидела на лавочке, ждала. Я поздоровался и, чувствуя за собой вину, замолчал, не зная, что говорить и как вести себя дальше. Но всё же слово за словом — разговорились. Она после восьмого класса собиралась поступать в медицинское училище. Говорили тихо, односложно, словно не доверяя друг другу. Казалось, между нами сидит кто-то третий лишний. Потом вдруг разом замолчали. Из громкоговорителя, что висел на мылзаводском клубе, доносилась песня:

Вдали погас последний луч заката,
И сразу тишина на землю пала.
Прости меня, но я не виновата,
Что я любить и ждать тебя устала.

Года через два я встретил её на автобусной остановке. Муська вошла в автобус вслед за поселковскими девчонками. Напудренные щеки, подведённые ресницы, узкая чёрная юбка, белая кофта, тёмный пиджак — она собралась на танцы.

Увидев меня, Муська вдруг сделала шаг назад и выскочила из автобуса. Автобус тронулся, покати́л нас к угольному складу, чтоб далее нырнуть под железнодорожный мост и, описав восьмёрку, зашелестеть колёсами по упругому деревянному мосту.

Она осталась одна на остановке, растерянная и смущённая.

Рядом с этим мостом жарким летом я увижу её ещё раз, но это будет позже. Поговорив немного, мы без грусти и печали разойдёмся. Я догадаюсь, что сам теперь третий лишний.

Николай Чаусов

Знакомство состоялось

Отрывок из повести «Чёрная борода»

Утром, едва проглотив чай, я отправился к Елизару Фёдоровичу с красками и альбомами под мышкой.

— Коля, иди сюда! Скорее!

Это кричал мне Федя. Что случилось? И почему толпятся люди, собрались во дворе мальчишки? Уж не приехал ли кто? Я поспешил к толпе.

И действительно, у самого дальнего, самого ветхого и полуразвалившегося домика стояла подвода, с которой снимали и втаскивали в пустовавшую до того избу последние вещи. Рослый бородатый мужик в полустоптанных сапогах и красной рубахе стоял между крыльцом и телегой. Он был заметно пьян и громогласно предупреждал всех, кто станет ему поперёк, что согнёт того в подкову. Никто из его домочадцев и даже возница не обращали на него ни малейшего внимания, продолжая вносить в хатенку всякую домашнюю рухлядь, и только мы во все глаза смотрели на странного новосёла.

— Вот это бородача! — шепнул мне на ухо Федя.

Я согласно кивнул головой. Борода у мужика была действительно на редкость чёрная и большая. Смуглый черноглазый мальчик легко и ловко подхватил с воза последний узел и понёс, невзначай зацепив разглагольствующего бородача. Тот пошатнулся, схватил одной рукой узел, другой за шиворот мальчугана, притянул к себе и... ласково потрепал за волосы.

— Сынок мой, Волькой звать. Один сынок, а все прочие — девки. Кузнецом будет. Будешь, Воль, кузнецом, а?

— Буду, — покорно и равнодушно ответил мальчик.

— Слыхали? — гордо заявил отец окружающим. — Будет он кузнецом! Почти себя мастера сделаю! Вот как! — Он повернулся к нам. — Ишь вы, тараканы! Волька, смотри, паря, этих не забижай, ясно? Потому как они твои товарищи, понял? А не то я те, сукин сын... Ну, ну, иди, ладно, — и, подтолкнув сына, сделал несколько шагов в нашу сторону. Мы шарахнулись. Кузнец порывлся в своих широченных штанах, выбрал несколько штук дешёвых конфет в бумажках и протянул нам: — А ну, хватай, тараканы!

Но «тараканы» не двинулись с места. Сухая, с уставшим обветренным лицом женщина подошла сзади, дёрнула за рукав бородача.

Чаусов Николай Константинович, прозаик (1913, Соликамск — 1982, Саратов). Автор книг: *Далёкие рейсы*: роман (Иркутск, 1959); *Чёрная борода*: повесть (Иркутск, 1961); *Сибиряки*: роман (Иркутск, 1962); *Белый грач*: повести (Иркутск, 1963); *Стёпкина правда*: повести (М., 1963); *Юность Дениса*: повесть (Саратов, 1973); *Сказка о глупом гусёнке Гоге и хитрой вороне Кар*: сказка в стихах (Саратов, 1982). Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1950-х — середине 1960-х гг.

— Будет те народ потешить! Пойдём в избу!

— Отстань!

— Идём, говорю! — И так тряхнула кузнеца за рукав, что тот едва удержался на ногах.

Ни простоволосые полубосые девчонки, видимо, младшие сёстры мальчика, ни его бородатый отец, ни мать не интересовали нас так, как этот смуглый крепконогий мальчик. Какой он? Драчун? Хороший товарищ? Кляузник? Попрошайка?

Все эти многочисленные вопросы мы обсуждали уже в разных углах двора, каждые в своей группе, но так ни к чему определённом и не пришли. Мальчики отправились в школу, а я — к Елизару Фёдоровичу.

Художника уже не было дома. На радостях я совсем упустил из виду договориться с Елизаром Фёдоровичем о нашей встрече и теперь сам остался в дураках со своими красками и тетрадью. Ребята ушли в школу, во дворе осталась одна мелюзга, и мне волей-неволей пришлось возвращаться домой и ждать воскресенья.

Вечерами я играл с Вовкой и Федей, а иногда с «большевиками». В садик к Ранковичам нас больше не приглашали, хотя страх как хотелось поиграть в крокет или другие игры. Иногда к Ранковичам приходил со своей неизменной свитой атаман, которого Валя встречал как самого желанного гостя. И лишь новичок не только не пытался войти ни в одну группу, но словно бы и не замечал нашего присутствия вовсе. Он часто появлялся во дворе то с помоями, то с рваными полосатыми половиками, которые усердно тряс за углом своей хатки, то с мокрым бельём, то с коромыслом и, всегда проходя мимо или стороной, даже не достаивал нас ни единым словом, ни взглядом. Мы для него не существовали. И это последнее нас особенно удивляло и заедало. Даже тогда, когда его бородатый отец являлся домой не в меру пьяный, шумел во дворе и дома, причём, видно, влетало и сыну, Волик уходил на Ангару, садился на краю обрыва и, обняв колени, подолгу молча смотрел на плывущие мимо парусники и лодки, ни разу не повернув в нашу сторону свою чёрную голову.

И вот однажды, когда во дворе были все три группы и даже атаман, Волик как всегда прошествовал через весь двор к реке с коромыслом. Я видел, как Яшка-Стриж что-то зашептал Вальке и атаману, показывая на Волика, как все трое они рассмеялись и, бросив молотки, гурьбой высыпали из садика, явно желая встретить на обратном пути Волика. Мы, то есть обе другие группы, тоже последовали за ними, но остановились поодаль. Любопытство разбирало каждого из нас: что задумали «меньшевики»? Уж не хотят ли они поглумиться да избить никому не мешавшего до сих пор новичка? А Яшка так и трётся возле Вальки и атамана, точит свой острый на пакости язык. Ко мне подошёл Саша Седых.

— Атаман новичка крестить хочет. Жалко.

— Как крестить?

— А ты не знаешь? Он всех новеньких крестит. Ка-ак щуку загнёт да три раза ногтем прочешет...

— Щуку?

— Ну, вот... — И Саша, нагнув голову, своим большим пальцем проскрёб по волосам от затылка до темени. — Понял? А потом крест на лоб — и крещёный.

— А почему Вальку не крестил?

Сашка рассмеялся:

— Ты что, слепой, что ли? Не видел? Да атаман сам у Вальки сейчас вроде как Панча-Санча...

Я вспомнил заносчивое обещание Вальки Ранковича в первый же день его

приезда сделать Мясника своим оруженосцем Санчо Панса, но тут же забыл об этом — в воротах появился с водой ничего не ожидавший Волик. Он и сейчас не смотрел в нашу сторону и легко, в такт покачиваясь под тяжестью больших вёдер, шёл прямо на «засаду». Первым оказался на его пути тот же Яшка, видно, подосланный Валькой. Волик впервые взглянул на стоявшего к нему бочком Яшку-Стрижа и хотел пройти мимо, но тот одним скачком снова оказался у него на дороге. Волик осторожно поставил на землю вёдра, спустил с плеча коромысло. Медленно, один за другим приблизились к Волику атаман, вся его компания и, наконец, Валька.

Саша снова зашептал мне чуть ли не в ухо:

— Бить будет. Ой, жалко. Бедный он. Заступимся, а?

— Мне драться запретили.

— А ты только...

И запнулся: атаман вплотную приблизился к Волику, опустив руки, и бычком уставился на новенького. Волик, будто отдыхая, равнодушно смотрел поверх него то ли на церковных голубей, то ли на купол. Яшка взвизгнул:

— Борода! Чёрная борода! Крестить Чёрную бороду!

Мы невольно подошли ещё ближе. Валька оглянулся на нас, дёрнул за рукав атамана. Но тот даже не шелохнулся. Атаманское самолюбие было задето. Яшка не унимался.

— Эй, Чёрная борода, чего задаёшься? Крестить Чёрную бороду!

— Крестить! Чёрная борода! Окрестим!

Атаман протянул руку, норовя притянуть к себе новенького, но Волик спокойно отвёл её коромыслом.

— Уйди! У меня рука жёсткая, как бы не покалечить.

Мы замерли. Стих и Яшка. Сказать Мяснику такое ещё никто не решался. Тот сплюнул на руки, потёр их и вдруг резко выбросил левую, схватил новичка за чёрную шевелюру. И в тот же миг, неестественно взмахнув в воздухе ручищами, опрокинулся навзничь. Пальцы правой руки Волика сжимались и разжимались. Атаман повернулся на живот, привстал и, дико взревев, кинулся на новичка, норовя смять его всем своим тучным телом. Но новый удар отбросил назад обезумевшего от ярости Мясника. Искажённое от злобы и боли лицо его залилось кровью. Только сейчас я заметил, что Яшка спрятался за Вальку Ранковича, остальные отошли дальше. На пути Волика остался лежать только глухо всхлипывающий атаман, вызывающий к себе больше отвращение, чем жалость.

— Вот это да-а! — протянул Саша.

Мы все восторженно смотрели на победителя, ожидая, что будет дальше. Атаман не поднимался. И тут случилось неожиданное. Валька Ранкович, которого все мы считали маменькиным сынком и трусом, вдруг смело подошёл к Волику и как ни в чём не бывало протянул ему свою белую холёную руку:

— Давай дружить. Я люблю таких сильных и смелых мальчиков, как ты. У меня много игрушек...

Волик разжал кулак, потряс кистью в воздухе, будто разминая, и, выбросив вперёд руку, поймал Вальку за нос.

— Любишь, говоришь? Сперва крестить, а потом любишь? А это нравится?

— А-а! — заорал Валька, силясь освободить свой несчастный нос и извиваясь. — Ма-ма-а! — гнусавя ревел он, царапаясь и топая ногами.

Но Волик крутил его вокруг себя и зло приговаривал:

— Что, купец, хороша наша дружба? Вот я тебя и сам в купца окрещу, хочешь? — и оттолкнул от себя.

Валька, продолжая визжать на весь двор, рассмешил своим видом всех, даже приятелей. На его крик уже бежала краснощёкая дивчина и перепуганная насмерть мамаша. Волик поднял вёдра и, обойдя всё ещё лежавшего в пыли атамана, направился к домику, слегка пританцовывая в такт вёдрам. Вальку подняла на руки и понесла домой служанка Ранковичей, а Валькина мама, трясясь всем телом и ругаясь, как клуша, налетала то на одного, то на другого и, разогнав всех, накинулась на лежащего в пыли атамана.

А вечером у нас была сама Ранкович. Я не слышал, о чём она говорила с мамой, но любопытство меня разбирало настолько, что я подкрался к двери и, приложив ухо, услышал примерно такой конец беседы:

— Простите меня, но я мать, я должна была выяснить, кто же, собственно, избил моего мальчика? Поймите, я не могу так оставить. Сегодня ему испортили нос, завтра сломают голову...

— Наш двор в самом деле ужасен, — поддакнула мама. — Моего сына довели до того, что я уже собиралась искать другую квартиру.

Это было для меня новостью. Я хотел дослушать разговор, но в двери повернулся ключ, и я скрылся. Конечно, стыдно подслушивать чужие беседы, но, во-первых, там говорилось о нас, а во-вторых, что это за дурацкая манера у взрослых вмешиваться во все наши дела да ещё шептаться за дверью!

Иннокентий Черемных

Проводник Иван Мамонтов

Отрывок из романа «Однополчане»

Перед строем разведроты командир дивизии генерал Макаров и начальник разведки капитан Баранов.
— Нужно пройти в тыл врага, — говорил Макаров. — Проводником вашим будет парень из Люботина, он перешёл линию фронта. Принёс нужные сведения...

С недоверием смотрим на незнакомца: миловидное лицо, слегка волнистые волосы. По внешности непохоже, что способен на решительное дело. Он заметил настороженные взгляды, подошёл к строю, представился:

— Иван Мамонтов.

— Бывший учитель. Знает немецкий язык. Желает служить разведчиком, — Макаров озадачивал строй, а Мамонтов то и дело поправлял за плечами холщовую сумку. По всему было видно, что нервничает...

— Выход сегодня вечером, желаю вам успеха! — Макаров ушёл...

Ночью отделение сержанта Петра Кузнецова с проводником двинулось в кукурузное поле, пересечённое дорогой. Потом они нам долго рассказывали об этой вылазке. Кюветы завалены деревьями. Отступая, противник заблаговременно готовил себе рубеж. Чтоб не было скрытого подхода к траншее, скопил хлеб, подсолнух...

— Трогаем, — сказал проводник Мамонтов, сполз в кювет, заваленный деревьями, и потерялся из вида. За ним остальные, сержант Кузнецов — замыкающий.

Продвигались медленно, сучья цеплялись за одежду. Миновали нейтральную полосу.

— Кювет пересечён траншеей, немец рядом. Может, взять «языка»? — спрашивал по цепи Кузнецова Мамонтов.

— Не надо. Осторожней вперёд, — ответил Кузнецов. Мамонтов лежит, ползти нельзя, немец топчется на месте. Кузнецову не по себе:

— В чём дело?

— Надо убрать его с пути. Может, все же взять и кого-то с ним в штаб?

— Взять! — приказал Мамонтову Кузнецов, но не успели передать. Немец пошёл вдоль траншеи и оторвался от цепи отделения.

Один за другим ползут в след проводника. Кювет обрывается в траншее.

Черемных Иннокентий Захарович, прозаик (1922, д. Паберга Братского р-на Иркутской обл. — 2004, Братск). Автор книг: *Разведчики*: повесть (Иркутск, 1970); *Однополчане*: роман (Иркутск, 1981); *После войны*: повесть (Иркутск, 1986); *Однополчане*: роман. 2-е изд., доп. (Иркутск, 1989); *Советский сибирский роман*; *Лихолетье*: роман (М., 1989); *Моя деревня Паберга* (Братск, 1998); *Солдаты войны*. В 2-х ч. (Братск, 1999). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Осторожно ступая на дно, опять ныряют в кювет и по нему углубляются в тыл обороны.

— Двигаем, скоро рассвет! — сказал сержант проводнику.

И неизвестно никому, что за человек Мамонтов, который ведёт за собой отделение по знакомым лишь только ему одному тропинкам. Куда ведёт? К чему приведёт? Пересекает просёлочную дорогу, а с пригорка катит автомашина.

— Ложись! — командует проводник. — Остановлю! Я в маскхалате, не узнают!

— Зачем? — спросил сержант.

— Влево надо, а то не успеем. Там взорвём! — скороговоркой объяснял Мамонтов.

Кузнецов, держа пистолет наготове, неохотно утонул в просе.

Бортовая машина приближалась. Мамонтов, как бы боясь её, пятился назад. Потом зашагал ей навстречу, поднял руку и резко опустил. Заскрипели тормоза. Машина, едва миновав разведчиков, остановилась.

— Взять! — только и успел сказать Кузнецов, как все вскочили, окружили машину, рывком распахнули настежь дверки кабины. Шофёр под автоматом, от кинжала мыкнул второй пассажир.

— В кузов его! — сказал Мамонтов и сел к шофёру, наставил пистолет на него. Машина зарычала, свернула с дороги, въехала в просо и, подпрыгивая на бородках, пошла строго на запад, оставляя позади взлетающие на передовой ракеты. Далеко впереди стеной чернели люботинские леса. Там будет безопасней. А может, нет? Может, сдаст в руки немцам Мамонтов? — судя по тому, как он вдруг остановил машину, не успеешь и понять, куда привёз, как он скамандует: «Руки вверх!»

Из кузова через заднее стекло кабины видно было и Мамонтова, и шофёра. Аксененко с Зерниным едва не держали их на мушке автоматов. А Кузнецов и Карпенко то и дело сверху заглядывали в боковые стекла кабины и не заметили, как Мамонтов на полном ходу оглоушил шофёра пистолетом, выдернул ключ зажигания, и они от резкого торможения машины едва не вынырнули из кузова...

В лесу, идя за Мамонтовым, уже никто не сомневался в том, что это наш человек.

Он привёл отделение к южному берегу шестого пруда. Сизая пелена предутреннего тумана медленно плыла над камышом. Рябились волны.

— Нужно на ту сторону, в камыши, — шептал Кузнецову Мамонтов. — Лодка есть, я прятал. Вёсел нет. Грести руками. Ширина пруда больше ста метров.

Плыли долго. Причалили в глухую заводь, накрытую сверху густой шапкой береговых зарослей.

— Теперь в безопасности, — облегчённо сказал проводник. — Никакая собака не найдёт.

По дороге, что идёт со стороны Люботина, минуя озеро и пересекая поле, проскочило два мотоцикла БМВ.

— Марку, марку! Знаки, знаки записывайте! — осторожно раздвигая камыши, говорил Мамонтов.

— Номера запылённые, не понять, — глядя, в бинокль, сказал Кузнецов.

Следом за мотоциклом две воронёные легковые машины.

— Вот... тут разборчиво видно... слева на картошке бабы. Надо поговорить.

— Не торопись, бабы тут разные, — предупредил проводник. — Дай бинокль, — с кормы лодки он перебрался на нос. Глядя поверх камыша, тихо говорил: — Одна вроде из Старого Люботина. Все с чужалами за картошкой пришли.

У меня сумка, я тоже вроде за картошкой пошёл, — повернулся лицом к сидящим в лодке. — Начнём действовать?

— Давай! — дал «добро» Кузнецов.

Мамонтов снял маскхалат, разулся, тихо погрузился в воду, шагнул, шелестя камышом. Сделал ещё шаг, обернулся:

— В случае попаду, не вздумайте выручать, дело погубите и себя, — и исчез в камышах...

Движение автомашин с минуты на минуту усиливалось... В синем небе появилась «рама». Она шла со стороны запада в сторону фронта. Шла не так, как обычно ходит она над передовой, покачиваясь с боку на бок, высматривая вся и всё, — шла прямо, не колеблясь.

— Торопится надзиратель! — сказал Аксененко (так назвал «фокке-вульф» Леготин, и теперь так называли его разведчики).

— Марку самолётов записывать? — спросил Кузнецова самый молодой из группы коротыш Володя Карпенко.

«Рама» приближалась к озеру, и Кузнецов сказал:

— Не надо. Пригнитесь ниже. Не дай бог — заметит.

— Заснять может, сука! — злее всех назвал её бывший чекист Лазарь Зернин.

«Рама» прошла. Бабы, согнувшись, копали картошку. Мамонтова среди них не было. И опять всякие мысли: «В гестапо ушёл. С собаками нагрянет».

— Как в воду канул, — не отрывая бинокля от глаз, сказал сержант.

— Вот он, змей!

Со стороны Люботина из сосняка вышел Иван Мамонтов. Потряхивая над головой тряпичной сумкой, он что-то кричал бабам, и они, выпрямившись, стали к нему лицом.

— Хитёр! Какой круг сделал, — сказал молчавший всё это время длинный Вася Корнев.

— Ушлый, чтоб не поняли, — с облегчением проговорил Зернин.

Но каково же было на душе, когда Мамонтов, забросив лопату и наполненную сумку на плечо, пошагал вслед за бабами, идущими в сторону Люботина.

— Куда это он?!

— На кудыкину гору.

— Не понять, что у него в голове, — злились ребята.

Минул день, наступила ночь. Мамонтова не было. Минуты ожидания даже в спокойной обстановке всегда тягостны, а когда они превращаются в часы — особенно. Нервы у всех напряжены до предела, все волновались, перешёптывались.

— Кто он все-таки такой? — гадал Кузнецов. — Как-то всё спехом получилось. Путём не раскусили человека, и веди в тыл. Может, он по заданию немцев перешёл линию. Костя, кто он в твоих глазах?

Костя Аксененко — человек выдержанный, не подумав, не скажет.

— Что, скажешь — чекист?

— Смелый. Пройдоха. В штабе всех вокруг пальца обвёл, — говорил Зернин. — Шофёра угрохал, машину сжёг, нас в болото сунул. Картошки накопал, бабе понёс.

— Всё по уму, — вставил Карпенко. — Всё сработано чётко за какие-то считанные часы. А на вид вялый, белоручка.

— А учитель — не белоручка, что ли? — сказал Зернин. — Из благородной породы, грамотный, немецкий язык знает. Не то, что мы. Лицом нежный, волосы кудрявые. В общем, одна загадка — не парень.

Время шло. Густо высыпали звёзды в небе. Всё звучнее и звучнее доносился

машинный гул, рокот мотоциклов, — и вдруг плеск воды. Разведчики взяли автоматы наизготовку. Снова плеск, шелест камыша. Кто-то шёл, а окликать нельзя. Ещё секунда, две, и в зарослях замаячил силуэт человека.

— Мамонтов! — еле слышно прошептал нетерпеливый Карпенко.

Да, это был Иван Мамонтов. Забравшись в лодку, он тут же попросил карту. Кузнецов подал.

— Фонарик. Накройте меня палаткой, — распоряжался он. — Надо занести на карту, пока всё в голове.

Под палатку к нему забрался Кузнецов.

— Вот тут тяжёлая артиллерия, а не было, — говорил Мамонтов. — Ниже парка в лесу по всему склону первого пруда большое скопление войск. Тут обозы, машины. А вот тут танки.

— Домой не заходил? — спросил Кузнецов.

— Что ты, когда!

...Кузнецов с Мамонтовым вынырнули из-под палатки. Ребята с кормы и носа лодки приблизились к ним.

— Немцев везде — тьма-тьмушая, — сказал Мамонтов. — Идём мы с картошкой, навстречу колонна пехоты, я хватаю за грудь одну бабёнку, она от неожиданности вскрикнула, хватаю другую. Они врассыпную, я за ними. — Иван, Иван! Гут фрау! — кричат немцы.

— Они что, знают тебя? — спросил Карпенко.

— Так и я подумал, оторопел, оглянулся, а один загребает руками, по-своему орёт. Русские для них все Иваны. Находился так, что ноги гудят.

— Ничего, будем живы-здоровы, отдохнём, — сказал Кузнецов. — Куда нас поведёшь, какой у тебя план?

— Пошире надо разведать, в сёлах посмотреть, их тут много. Леса прошарить... Сегодня вместе походим, поползаем, ознакомимся с местом, обстановкой, а завтра попарно — кто куда.

...Шли полуразвёрнутой во фронт цепочкой через высоту, поросшую сосняком. Шли тем осторожным шагом, который выработался в повседневных поисках. По обыкновению коротко перешёптывались.

Перевалив хребет высоты, спустились к тускло поблёскивающему пятому пруду. Забрались по плечи в береговую осоку, чтобы осмотреться. На востоке осветилось небо, донёсся грохот дальнобойных орудий, прошуршали снаряды, в районе кирзавода вздыбились искристые вулканы взрывов.

— Хорошо, там зенитная батарея! — сказал Мамонтов.

Небо на русской стороне ещё сильнее озарилось, мощнее гудели орудийные выстрелы, снаряды грохнули вдоль дороги, выходящей из Люботина на запад.

— Правее, правее надо. Ложись! — глядя на восток, говорил люботинец.

Невдалеке от пруда раздался оглашенный крик, разведчики насторожились, глядя на Мамонтова, ибо лишь ему понять, что за крик.

— Как я днём не заметил, — встревожился он. — Батарея выше нас, как не напоролись! Сейчас по нашим ударят, — прислушиваясь к членораздельному крику, переводил: «Фугасным!.. Батареей!.. Огонь!»

Ослепляющий огонь хватанул вкось к небу, и грохот потряс землю так, что вода замырила в пруду.

— Они заняты стрельбой! Подкрасться и забросать, — тараторил молодой Карпенко, снимая с ремня гранату Ф-1.

— Перестань! Не егози! — осадил его уравновешенный Аксененко. — Немцы! Садись!

По дороге, что огибает высоту, отделявшую все пять тянувшихся перевалами один за другим прудов от шестого, на котором отделение Кузнецова на лодке пробыло целый день, шла колонна немцев. Залпы орудий освещали головных. Чем ближе колонна, тем глубже погружались в осоку разведчики. Дальнбойная батарея вела методический огонь, и в длинные паузы от выстрела до выстрела слышались залпы наших дальнбойщиков и взрывы снарядов где-то за высотой и сосновым бором.

Немцы шли к северо-восточному краю Люботина. Они смотрели на зеркальные отблески огня при выстрелах орудий.

— Не вздумали бы купаться, — глядя на них через осоку, сказал Карпенко.

— Не дай бог привал сделают, — с тяжёлым вздохом прошептал Аксененко. — Побьют как лягушек и побросают в воду.

Колонна прошла. Послышался гул мотора, блеснул подфарник.

— Что за знаки на ней, что за часть передвигается? — неизвестно кого спрашивал Мамонтов. — Корнев, осторожно, по выстрелу ползком к дороге. Может, задний фонарик блеснёт.

Вася Корнев, полусогнувшись, вышел из осоки, и пополз к дороге. Машина, работая на малой скорости, медленно, словно крадучись, приближалась, поравнялась с застывшим Корневым, миновала его, и он выполз на дорогу, вскочил и бросился вслед за ней.

— Куда, дура? — кряхтящим, едва слышным голосом останавливал Корнева Кузнецов.

Но Корнев не глуп, он на ходу рукавом маскхалата смахнул пыль с заднего борта кузова, тут же присел на кукорки, лёг и сполз с дороги. Вернувшись, досадовал:

— Буквы не наши, какие-то заковыристы! — записывай...

И так еженощно и ежедневно группа Петра Кузнецова с проводником Иваном Мамонтовым ходили, ползали, вели наблюдение за движением транспорта, считали, прибрасывали, куда, в какую сторону больше прошло, проехало, что везли, куда перебазировались...

— Всё! — облегчённо сказал Кузнецов. — Задание выполнено. Давай, Иван, выводы, только без риска, без поспешности. Не так, как сюда шли...

И вдруг Володя Карпенко запнулся.

— Тише ты!

— Чего тише, кабель!

Ребята сгучились над толстым прорезиненным кабелем, припорошенным хвоей.

— Вот это находка! — сказал Мамонтов. — Это не полевая связь. Это крупная телефонная связь. Посмотрим, куда она идёт.

Кабель привёл к лесничеству. Среди лесной дубравы на плешинке в темноте ночи маячили четыре хаты. Стояла мёртвая тишина.

— Ты бывал тут? — спросил Мамонтова Кузнецов.

— Да. К лесникам приходил. Они в крайней хатёнке жили.

— Надо узнать, спросить, какое здесь гнездо. Это — последняя вылазка.

Мамонтов отвернул борт маскхалата, вынул записной блокнот, подал Кузнецову:

— Тут можно попасть в руки. Здесь все записи. Послышится оклик — отходите. Выстрел — мотайте! Идите на ответ передовой в небе, там сориентируетесь...

Держа перед собой пистолет, Мамонтов уполз.

Как много сделали они за эти несколько бессонных суток, и вдруг Кузнецов сказал: «Это последняя вылазка». Забухали сердца, так, что казалось — каждая притаившаяся хатёнка слышит. Вот Мамонтова схватят, а они, такие маленькие, беспомощные, не смогут ничего предпринять, чтобы завершить это большое дело, как муравьи уползут. Так велел им их проводник, которого они в первый день пытались раскусывать, потом убедились, что свой, верный человек. Не дай бог Иван не сработает так, как работал все эти дни, чётко, тонко: и ему амба, и им не уйти. Немцы спустят собак, и они изорвут всех в клочья.

От нервного напряжения стоял звон в ушах, слезились глаза, и они не слышали, а лишь увидели позади себя Ивана. Опять он захватил их врасплох!

— Тут, хлопцы, тут! Штаб тут! — возбуждённо шипел он. — С Федорой Ивановной разговаривал. Трясётся вся. Боялся, вдруг, думаю, закричит. Ничего, обошлось.

— Она промолчит, не скажет? — спросил Кузнецов.

— Не-ет! Деда её, Алексея Бондаренко, и бабушку Варвару фашисты повесили за связь с партизанами. Жалко, знавал я их. Она с маленькой дочкой тут. Тут их пять семей живёт. Ну, теперь — с богом. Трогаем!

— Кабель надо перерубить! — сказал Карпенко.

— За эти дни можно бы повзрослеть, — отозвался старший группы.

— Руки чешутся!..

— Сейчас почешешь, — он повернул голову к Мамонтову, — надо узнать, что за штаб, какой части. Отползти подальше, заземлить кабель и в засаду. Немцы с ходу пойдут искать повреждение. Приколоть без звука, забрать документы, тут же устранить заземление, чтобы связь опять нормально заработала, чтобы не было сомнений в исправности кабеля. Убитых в стороне зарыть. Пусть их ждут, ищут, а мы в это время, глядишь, к себе перейдём.

План Кузнецова всем пришёлся по душе. Отошли от лесничества, Костя Аксененко заземлил кабель, залёг рядом с Карпенко. Зернин с Корневым по дружную сторону укрылись за огромным стволом дуба. Кузнецов и Мамонтов — чуть выше их. Безмолвная тишина в лесу, темнота. Немцы спят. Только издали доносятся с передовой буханье пушек да глухие взрывы. Прошло двадцать минут, как залегли, и вдруг шорох, топот.

— Ти-ише-е! — предупреждающе прошипел Кузнецов и, поводя головой поверх коряжины, не мог понять, с какой стороны идут немецкие связисты. Уже чудилось, глаза и уши обманывали.

И тут треск, шелест травы, стоны.

— Готово! — сказал Кузнецову Мамонтов, и они выскочили. Разведчики толпились кучей, у их ног лежали два трупа.

— Аксёненко, убрать заземление! — приказал Кузнецов. Оттащив немцев в сторону, взяли у них документы, забросали старой опавшей листвой, двинули за Мамонтовым...

За выполнение боевого задания старшего группы сержанта Петра Кузнецова наградили орденом Красного Знамени, проводника Ивана Мамонтова — орденом Отечественной войны второй степени, остальных — орденами Красной Звезды.

Анатолий Шастин

Город в дожде

Рассказ

Он был влюблён и вёл себя покорно, как ребенок. Когда она сказала, что хочет видеть его друзей, он согласился. Ему не нужны были друзья, потому что он был счастлив с нею, но она хотела их видеть, и он согласился.

Он отошёл от окна, за которым стучал дождь, и снял телефонную трубку.

— Здравствуй, бродяга, — сказал он. — Узнаешь? Да, Сергей... Салют. Ты обещал быть вчера... А-а, плюнь. Дел всегда выше головы... Приходи, я хочу тебя видеть.

Сейчас ему действительно хотелось его видеть. Он ещё не сознавал, что это было тщеславие, но его выдал голос, когда он сказал:

— Я хочу познакомить тебя с Катей... Да, с Катей. Можешь ты, наконец, vykроить один вечер? Ну давай.

Сергей положил трубку. В стёклах его очков отражались серые окна.

— Он придет позже. Если сумеет.

Катя пожалала плечами.

— Он действительно так занят?

— Думаю — да. Мы ведь выросли вместе. Только я потом уехал, а он так и остался там. Настоящий таёжный бродяга. Такой сибирский медведь. Здоровый. Он приехал прямо из тайги с результатами разведки и послезавтра уезжает.

— Но ты тоже только что вернулся, и дел у тебя не меньше, — сказала она. Сергей обошёл стол. Она сидела в кресле, и Сергей обнял её сзади за плечи. За окнами шёл дождь, и в комнату прокрадывались сумерки. Он поцеловал её в шею, а потом, оттянув воротник свитера, в плечо.

— Самым главным было увидеть тебя.

Он улавливал запах тех же духов, что и полтора года назад, когда перед самой командировкой Сергея они впервые встретились на конференции микробиологов. Запах напоминал умытый дождем весенний рассвет.

Шастин Анатолий Михайлович, прозаик (1930, Иркутск — 1995, Иркутск). Автор книг: *О чём шептали деревья*: [сказки] (Иркутск, 1957); *Камень-семицвет*: Пять историй (Новосибирск, 1959); *Жили-были мальчишки*: [повесть для детей] (Иркутск, 1961); *Таёжные звёздочки*: повесть (Иркутск, 1963); *Пять цветов августа*: повесть (М., 1967); *Шаг до истины*: [повесть] (М., 1969); *Город в дожде*: повесть и рассказы (М., 1971); *Трое с Нижней*: повесть (Иркутск, 1973); *Час выбора* (Иркутск, 1979); *Человек из поезда*: повести, рассказы (Иркутск, 1981); *Семь часов до отъезда*: повести (Иркутск, 1985); *О чём печаль?*: повести (Иркутск, 1991) и др. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза российских писателей Иркутское отделение).

— Ты знаешь, как я счастлив с тобой, — сказал Сергей. — Эти месяцы без тебя были мукой.

— Ты мог вернуться раньше.

— Если бы мог. Я хотел и всё-таки не мог.

Она молчала, и он снова поцеловал её.

— Я говорю тебе: давай поженимся.

Он заглянул ей в глаза и с шутливой галантностью сказал:

— Я предлагаю тебе руку и сердце.

Сергей спрятал лицо в Катиных волосах.

— Ты уже предлагал, — сказала она.

— Так в чем же дело?

Катя помолчала.

— Здесь есть над чем подумать. Сядь там.

Она показала на стул по другую сторону стола.

— Нет. Прежде открой окно.

Он вернулся и открыл окно. В комнате стало шумно от падающих капель. Внизу блестел асфальт, торопливо скользили над ним мокрые зонтики, и автомашины, блестящие и лишённые теней, казались в сумерках с высоты пятого этажа плоскими. Было слышно, как шуршат шины, стучат каблуки и хлупает в водосточных трубах. На мокрой стене в доме напротив кое-где жёлто вспыхивали окна.

Сергей отодвинул штору и обернулся. Ему было за тридцать. Он носил белые рубашки, модные галстуки, был сухощав, элегантен и выглядел молодо.

— Спасибо. Теперь сядь там.

Она следила, как он обходил стол. У него было счастливое и покорное лицо. Его покорность раздражала её. В конце концов, разве можно выполнять все её прихоти!

— Это не решается так просто, — грустно сказала Катя. — Тут есть над чем подумать. Пожениться просто, а как будет потом?

Сергей сидел напротив очень прямой, в тёмном костюме, из верхнего кармана которого торчал угол платка. Он поправил очки одновременно большим и безымянным пальцами и снова сидел неподвижно и глядел на неё послушно, как школьник.

«В конце концов, у него красивое лицо, — подумала Катя. — Если взять всё в отдельности: нос... глаза... губы — ничего особенного. А так, вместе... красивое лицо, тонкое и выразительное.

Когда-то это всё равно должно случиться. Так можно одной прожить всю жизнь. Она слишком коротка, чтобы её прожить так. А он все-таки славный», — подумала она и сказала:

— Ты всегда будешь таким же внимательным и послушным, да?

Он закричал «да» и, вскочив из-за стола, опрокинул стул. Она подняла руку.

— Подожди, пожалуйста, и сядь там...

2

Ковальчук не хотел ехать. Он смертельно устал за день и думал о том, что было бы неплохо чуть-чуть поспать, потом спуститься в буфет и поужинать. Но ехать придётся.

«Я хочу познакомить тебя с Катей», — он усмехнулся. — Видимо, втюрился всерьёз, старый холостяк».

Они дружили в школе. Потом, когда Ковальчук обзавёлся семьёй, а Сергей уехал в этот город, уже не дружили, а лишь изредка виделись. У каждого были свои привычки и свои интересы. Дружба ушла куда-то, оставив взамен память о себе, которую Сергей продолжал называть дружбой.

Ковальчук с тоской посмотрел на заплаканные стекла, потом скинул ботинки и прилёг на диван: «Пять минут и еду».

Его разбудил телефон.

— А-а... Да нет, я готов... Добро.

Он положил трубку, зевнул и пошёл в ванную. После холодной воды глаза всё равно остались заспанными и усталыми.

— Пусть, — подумал Ковальчук. Он пригладил волосы. Хотел надеть галстук, но раздумал и забросил его в шкаф. Сойдет и так.

Когда Ковальчук звонил в дверь квартиры, номер которой назвал ему Сергей, он думал, что пробудет здесь недолго. Час или полтора. Посидит немного и уедет. Ему жаль было этого вечера, за который можно было успеть столько сделать. В глубине души он сознавал, что всё равно не стал бы заниматься делами, и недописанный отчет так бы и остался недописанным, но в этот момент ему было жаль вечера, за который при желании можно было успеть столько сделать.

Дверь открыл Сергей, и Ковальчук попал в коридорчик, слабо освещённый лампой, горевшей в комнате на столе.

Они пожали руки, и Ковальчук негромко сказал:

— Хвастай.

Сергей приложил палец к губам, потом негромко проговорил:

— Ты совсем потерялся, — и помог ему снять плащ. — Проходи.

Ковальчук провёл пальцами по жёстким волосам и двинулся в комнату. Ему всё ещё казалось, что он не очнулся от сна и что у него сонные глаза.

Катя сидела в кресле боком к двери. Ковальчук увидел её лицо с огромными блестящими глазами и ярким ртом. Оно было повернуто к нему, и его он увидел прежде всего. Потом руки. Они лежали на подлокотниках в косом свете настольной лампы, маленькие и спокойные. Свитер, рубчатый и толстый. Круглые и красивые колени, не прикрытые узкой юбкой. И снова — руки, свитер, лицо. Очень милое. Вздёрнутый нос и подбородок с ямкой делали его совсем юным.

Ковальчук поклонился и почувствовал, что сонливость слетела с него. Сергей подходил сзади.

— Знакомься.

Ковальчук пожал протянутую ему руку. Она была маленькой, тёплой и совсем спряталась в его ладони.

— Говорят, у вас тьма работы? — Катя смотрела на Ковальчука, подняв насмешливое лицо. У неё был высокий светлый лоб и короткая с крутыми рыжими волнами причёска.

— Чего доброго... — сказал Ковальчук и улыбнулся. Он выпустил её пальцы, которые всё ещё держал в руке, и обернулся к Сергею. Тот стоял, облокотясь на спинку стула, и смотрел на него так, как смотрит человек, поразивший окружающих чем-то необыкновенным. Ковальчук хлопнул его по спине и сказал:

— Ты совсем не меняешься. По-моему, даже молодеешь.

— Думаешь? — Сергей был доволен.

— Я приготовлю чай, — сказала Катя и пошла через коридорчик на кухню. Ковальчук посмотрел ей вслед. Она была изящна, как ласточка, и Ковальчук обернулся к Сергею:

— Женишься?

Сергей пожал плечами.

— Я хоть сейчас.

— Поздравляю.

— Рано. Не клеится что-то, Иван.

Ковальчук погрозил пальцем:

— Скромничаешь.

Сергей счастливо засмеялся.

— Ты посиди, я сейчас, — сказал он. — Здесь рядом.

Ковальчук опустил в кресло. Он слышал как хлопнула дверь на лестницу, как на кухне звенели стаканы и с шумом лилась из крана вода. За окном были мокрые сумерки. Они пахли весной, дождём и бензином. А в комнате — мягкий полусвет. Два стола — письменный и круглый. Тахта и книжный шкаф с блестящими стеклами.

Ковальчук закурил и откинулся в кресле. Было удобно и спокойно. Когда пришла Катя, он помог ей расставить чашки. Потом они сидели друг против друга за столом и разговаривали. В памяти осталось лишь ощущение чего-то приподнятого и радостного, как бывало в детстве перед новогодними праздниками.

Сергей вернулся с двумя бутылками вина, и они пили его. Вначале за встречу. Потом за Сибирь. Потом за работу и успехи всех вместе и каждого в отдельности. И у Кати были горячие и счастливые глаза.

Косой свет дробился на столе в стеклянных гранях, и Ковальчук чувствовал себя приподнято. Он рассказывал о тайге и о последнем маршруте, когда ранней весной, угодив в зыбун, он чуть было не погиб.

Это была печальная история, но она весело рассказывалась, потому что здесь была Катя, потому что было приподнятое настроение, и то, что произошло весной, казалось далёким и уже не имеющим никакого значения. Ковальчук слушал, как смеялась Катя, и улавливал запах её духов, и ему было хорошо и от этого смеха, и от мягкого света лампы, и от разговора, неторопливого и спокойного, с длинными нетягостными паузами.

Они пили чай и вполголоса пели песни — старинные и те, которые родились в геологических маршрутах, и совсем новые, не успевшие ещё надоесть. У Кати был славный голос — мягкий и нежный. Ковальчук вслушивался в него, и ему не хотелось уходить сквозь дождь в пустой и неуютный номер старой гостиницы. Он досадовал, что не пришел сюда вчера. И думал, что всё это неожиданно, тревожно и совсем ненужно и что сегодня тоже, может быть, не стоило сюда приходить, потому что тогда всё осталось бы как прежде, твёрдо расставленным на свои места. И он подумал, что нужно встать, попрощаться, и тогда всё станет обычным и спокойным — спокойный дождь, спокойные улицы, опустевшие на ночь, спокойная гостиница с сонным швейцаром у дверей...

Он решил, что нужно уйти, но ещё некоторое время сидел, докуривая папиросу, которую ему почему-то было жаль бросить, и смотрел сквозь синеватый дым на Катины руки, маленькие и лёгкие, которыми она передвигала на столе чашки.

— Хотите ещё чаю? — спросила она и посмотрела Ковальчуку в лицо. Он взглянул на папироску, увидел, что она догорела до самого мундштука, и сказал:

— Нет, Катя, спасибо, мне пора.

— Может быть, все-таки посидите? На улице дождь. — У неё были тёмные и грустные глаза.

Ковальчук подумал, что если она ещё раз скажет «посидите, не торопитесь», он не уйдёт. Он посмотрел на окно и сказал, что дождь не переждать до утра. По-

том поднялся и поблагодарил её. Сергей встал тоже. Судя по всему, он собирался проводить Ковальчука до дверей, но Катя сказала:

— В таком случае тебе пора тоже.

Они натянули плащи и молча спустились по лестнице.

Вдоль улицы горели фонари, и дождевые капли, пролетая мимо, мерцали серебряной мошкаррой. Фонари отражались в мокром асфальте. Освещенные окна и неоновые рекламы тоже отражались в мокром асфальте. Улица казалась перевернутой в нём.

Ковальчук перехватил такси почти у самого подъезда и попрощался с Сергеем. Он ехал, откинувшись в угол и сунув нос в поднятый воротник плаща. И смотрел, как щётки сметают с ветрового стекла дождевые капли. И у него было такое ощущение, будто кончился праздник. Будто в последний раз вспыхнули и погасли огни новогодней ёлки, и её, голую и пожухлую, вынесли из дома и бросили в снег. И в комнате стало просторно и пусто, и буднично.

Ковальчук потянулся за папиросой и, когда прихватывал её губами, почувствовал запах Катиных духов. Он сохранился на пальцах после прощания, и Ковальчук почувствовал его, когда поднёс папиросу ко рту. Он не стал прикуривать, потому что ему не хотелось, чтобы этот запах исчез. Он снова вспомнил, как, войдя в комнату, вдруг увидел Катю — очень тоненькую с повернутым в ожидании навстречу ему большеглазым лицом и изящными руками, свободно лежащими на подлокотниках. И ему стало тревожно и беспокойно, как если бы где-то сбоку прошла его юность, не заметив его.

Он медленно поднялся в свой номер. Не снимая плаща и не зажигая света, распахнул окно и долго стоял около него, вслушиваясь в торопливый стук капель по дождевой трубе.

Город засыпал, и гасли окна, и мокрая листва клёнов внизу была блестящей и тяжёлой, будто вырезанной из пластмассы. Ковальчук смотрел, как по ней стекает вода и как слепнут дома и как красными искрами проносятся в конце улицы редкие автомашины.

Потом он прикурил и снова почувствовал запах Катиных духов и, уже не колеблясь больше, потянулся к телефону. Он поставил его на подоконник так, чтобы на него падал свет уличного фонаря, и набрал номер.

3

«Как это странно», — думала Катя. Она разделась и, не гася света, легла в постель. Окно оставалось открытым, и штора на нём слегка шевелилась.

Катя лежала на животе, опустив подбородок на скрещенные руки.

«Как это странно», — думала она.

Когда он звонил, чтобы извиниться и снова не прийти, она взяла трубку. И впервые услышала его голос. Он был глубокий и мягкий, как темнота за распахнутыми створками. И равнодушный. Это обидело её. И всё-таки мысленно она всё время возвращалась к этому разговору — короткому и незначительному. И старалась представить себе Ковальчука по рассказам Сергея и по голосу, который услышала. Но из этого ничего не получалось. Просто то, что говорил Сергей, никак не хотело совмещаться с тем, что ей представлялось по голосу.

А потом он пришёл, и ей стало тревожно, как перед дальней дорогой. И всё казалось, будто что-то должно произойти. И она никак не могла избавиться

от этого ощущения даже после того, как все разошлись и уже ничего произойти не могло. Она отлично понимала, что уже поздно, что пора спать и что тревожное ощущение ожидания чего-то просто обманывало её. И всё-таки она не гасила свет и лежала с открытыми глазами. И смотрела во влажную темноту за окнами. И вслушивалась в шорох дождя. И вспоминала. Вначале, как он вошёл и на мгновение задержался у двери, почти касаясь притолоки. А потом шагнул через комнату и поклонился. И тогда она увидела в его низко склонённой золотистой голове сверкающие дождевые капли. Они запутались в густых прядях и каждая в отдельности отражала свет настольной лампы.

У него была крупная голова и красивое лицо с крепким носом, большим ртом и резкими скулами. Лицо, обожжённое ветром. Он поднял его, и Катя увидела глаза, очень светлые и усталые. И в них тоже отражался свет и была она.

...А после они сидели за столом. И говорили. И ей было хорошо сидеть, и слушать, и говорить, не вдумываясь. И смотреть на его руки, загорелые на запястьях и выше, вплоть до подвёрнутых рукавов. Это были красивые крепкие руки. Не жилистые, но очень крепкие и ласковые. Она живо ощущала это, и весь вечер ей хотелось прикоснуться к ним щекой и на мгновение почувствовать себя маленькой и зависимой от этих рук, от их доброй и ласковой силы.

Это было и странно и неожиданно, но она ничего не могла с этим поделать. И, закрывая глаза, снова и снова видела их и теснее прижималась подбородком к подушке, безуспешно пытаясь отогнать тревожное ощущение напряженности и ожидания чего-то.

Когда звякнул телефон, она, не поднимаясь, схватила трубку и почувствовала, как застучало сердце.

— Да, — сказала она, — алло.

Трубка молчала, и она вслушивалась в неё долго и пристально, как вслушиваются в тишину. Трубка молчала, и тогда она робко сказала:

— Иван?

— Простите, Катя. Я понимаю, что очень поздно.

Она поспешно ответила:

— Нет-нет, я не сплю. Говорите.

— Я хотел сказать вам спасибо. И ещё... мне было очень хорошо с вами, Катя. — У него был потерянный голос.

— Мне тоже было хорошо. Мне всё казалось, что вы позвоните. Я не спала.

— Я позвонил. Мне хотелось вас слышать. Я не хотел ничего говорить, но мне нужно было вас слышать, Катя.

Она сказала:

— Да.

— Можете принять это как объяснение в любви, — сказал он с грустной насмешливостью. — Для меня это не страшно. Я уезжаю послезавтра.

— Да. Для вас это не страшно.

— И поэтому я вам скажу... — он помолчал. — Я до сих пор чувствую запах ваших духов. И вспоминаю ваше лицо и как вы сидели, когда я вошел. Мне очень хотелось вас слышать.

— Мне тоже. И я не хочу, чтобы вы уезжали послезавтра...

За окном грохотал и хлюпал дождь. Спокойный дождь, спокойные улицы, спокойный номер в старой гостинице — когда это было?

Ковальчук прижался лбом к холодному стеклу.

Весь город был перевернут в дожде, яростном и неуёмном, как бедствие.

— Я думала, так бывает только в книгах. В старых романах. Всё сумасшедше и вдруг. И не нужно уже никого и ничего.

Они стояли на мокрой платформе рядом с мокрым вагоном, а вокруг были мокрые разноцветно блестящие плащи и островерхие капюшоны. И зонтики — тоже разноцветные и блестящие от воды.

Они стояли очень близко друг к другу, и дождь стекал по их лицам.

— Я тоже думал. — Он поцеловал её пальцы и сжал их в ладонях. — Всё время вспоминаю, как не хотел идти и как потом пришёл сонный и скучный. Весь сон слетел, когда я вдруг увидел тебя. — Он замолчал. — Очень неловко перед Сергеем.

— О чём ты говоришь? Мне, чтобы разобраться и понять, нужно было, чтобы всё случилось, как случилось...

— Граждане пассажиры! До отправления скорого поезда с первого пути остаётся две минуты. Просим вас занять свои места, а провожающих выйти из вагонов.

Он сжал ей виски и, наклонившись, поцеловал в мокрые щёки.

Они были солёными, и он поцеловал её в губы. И почувствовал сам, как у него накапливаются слёзы, и увидел, какое у неё было отчаянное лицо, когда она сказала:

— Ну вот и всё. Сумасшедше и коротко. И больше ничего. Только память. Прощай.

Катя приподнялась на носки и долго поцеловала его, обхватив руками за шею.

— Спасибо.

Потом отвернулась и стала протискиваться среди блестящих плащей и зонтиков. Ковальчук бросился следом, но поезд тронулся, и он уже на ходу вскочил в тамбур...

Он сидел у окна в полупустом ресторане и смотрел, как торопливо скользят поперёк стекла змейки дождевой воды. И пил коньяк, который не пьянил и не приносил успокоения. И вспоминал Катино лицо с дрожащими губами, яркими и солёными от слёз. Прикрыв ладонями лицо, он вдыхал оставшийся на них запах её духов, её кожи, и у него было отчаянное настроение. И он не знал, как снять его. И думал о том, что где-то сбоку прошла его юность, которую он забыл, и любовь, короткая и сумасшедшая, как бешеный ливень, предугадать который никому не дано.

Один час с Далай-ламой

Из книги «Цеденбал и Филатова.

Любовь. Власть. Трагедия»

Монголы давно перестали чему-либо удивляться, но даже самых невозмутимых взволновало известие о приезде в июне 1979 года в Улан-Батор Далай-ламы XIV, высшего иерарха буддистской церкви. От Цеденбала, от него одного зависело, дать или не дать согласие провести здесь, в степях Центральной Азии, международную встречу буддистов с участием их «живого бога». Люди, близко знавшие даргу, догадывались, что решение давалось ему нелегко и было свидетельством душевных сомнений, вызванных знанием недавней истории и обстоятельств, когда на его памяти круто менялась советская, а с нею и монгольская официальная политика в отношении религии.

Можно представить, что переживал в эти дни Цеденбал, которому статус не позволял увидеться с Далай-ламой. Вынужденное воздержание от встречи с известным в мире изгнанником, учёным, одним из самых авторитетных общественных деятелей современности, символом независимости Тибета, нелегко давалось ему, выросшему в буддистской семье, который только по чистой случайности сам не стал монастырским священнослужителем. Столько прошло лет, а Цеденбал часто вспоминал обращённую к нему, шестилетнему пастуху, надежду Юмжи, его верующего отца: «Ты хорошо пасёшь овец, из тебя хороший лама выйдет!»

Кто знает, какой лама вышел бы из Цеденбала, но всем, кто его окружал, была очевидна изначальная предрасположенность Цеденбала к буддистскому мировосприятию. Реальность часто заставляла даргу поступать далеко не так, как требуют постулаты веры, но люди, близко его знавшие, не могут отрицать в нем черты, которые имеют или, по крайней мере, воспитывают в себе служители культа: характером мягок, умом доброжелателен, хорошо образован, в убеждениях твёрд, следует им с искренностью. Любящий отцовский взгляд на сына как на будущего ламу скорее всего не обманул Юмжу, и если его надежды не сбылись, то причиной тому резкая смена эпох, предвидеть которую старый дербет был не в состоянии. В новых условиях Юмжагийн Цеденбал стал служителем другой, комму-

Шинкарёв Леонид Иосифович, публицист, прозаик (род. в 1930 г.). Автор книг: Путешествие по острову АЕ (Ангара — Енисей) (Новосибирск, 1967); Сибирь, откуда она пошла и куда она идёт: Факты, размышления, прогнозы (Иркутск, 1974); То же. 2-е изд. (М., 1978); То же. 3-е изд. (Новосибирск, 1985); Второй Транссиб: Нов. этап освоения вост. р-нов СССР. 2-е изд. (М., 1979); Зона (Иркутск, 1989); Горький дым саванны: О Мозамбике (М., 1989); Цеденбал и его время: док. повествование. В 2-х тт. (2006); Я это всё почти забыл...: Опыт психологических очерков событий в Чехословакии в 1968 году (2008) и др. Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1980-е гг.

нистической, веры и достиг положения, какого старый Юмжа не мог для сына вообразить.

Цеденбал и его соратники не разрушали монастыри (в 1950-е годы их почти не осталось), а кочевники, уже объединившие свой скот, носители, казалось бы, новой идеологии, собираясь в путь, погружая на быков и верблюдов детей, утварь, юрту, с вызовом, может быть, неосознанным, прятали среди вещей фаянсовые и бронзовые статуэтки будд, журнальные картинки с их изображением, старинные книги; в свободную минуту они вращали в руке молитвенный барабан, посылая небесам свои тайные просьбы. Символы вероучения всегда были при них; стало быть, даже в самые мрачные годы преследования за веру на пространствах Великой степи не было и самой крошечной территории, на которой не стучалась бы духовная и умственная энергия людей, направленная на размышления о смысле жизни и смерти. У кочевников можно было отобрать скот, продукты их труда, забирать в армию сыновей, награждать орденами, даже привлекать их к участию в местной власти, но никому не удавалось лишить их веры.

Они были в этом смысле героями Сопrotивления.

Что творилось в день приезда Его Святейшества!

Из юрточных посёлков с утра текли людские ручейки, зелёно-сине-жёлтым морем волновались у монастырских стен; дряхлых стариков несли на плечах, они смотрели на мир слезящимися и благодарными глазами. Толпы людей поглядывали на дорогу, не явится ли в светящемся воздухе тот, в чьей физической оболочке живёт кроткая душа предыдущих Далай-лам, чьи перерождения восходят к бодхисаттве Авалокитешваре, великому проповеднику сострадания и милосердия. Со всех сторон слышалось бормотание людей, перебивавших чётки: «Видимые и невидимые существа, и те, кто близ меня, и те, кто далеко, да будут все счастливы, да будет радостно сущее, не вредите один другому, никогда никого не презирайте, не пожелайте зла, и как мать, жертвуя жизнью, охраняет своё дитя, так и ты возлюби все сущее...».

По случаю приезда Далай-ламы в Улан-Батор слетелась почти тысяча журналистов из разных стран, все хотели получить интервью. Автору этих записок, жившему в стране, повезло оказаться среди сопровождающих Далай-ламу, когда Его Святейшество знакомили с музеями города. В Музее изобразительных искусств Далай-ламу привлекла картина старой Лхасы работы Б. Шарава. С каким возбуждением гость узнавал знакомые улицы, местоположение дворца Потала и монастырей — Сэра («Живой изгороди из дикой розы»), Дрепунг, Джокан! А у одной из картин хохотал, задрав бритую голову и с трудом удерживая на носу круглые очки. В чем дело? Гость пробовал что-то сказать, но взглянув на полотно, снова в смехе запрокидывал голову. «Это замечательно, — вымолвил, наконец, Далай-лама, успокаиваясь. — Слоны в Монголии не водятся, потому взгляните на бивни: монгольский художник их вывернул в обратную сторону!»

Монастырские чиновники сообщили Далай-ламе о просьбах журналистов об интервью и сомнениях, представителям каких изданий отдать предпочтение. Не переставая улыбаться, Далай-лама сказал: «Пусть напишут вопросы, я сам выберу, с кем буду говорить». Весть быстро облетела корреспондентский корпус, все засели писать вопросы: «Как буддисты относятся к политике НАТО?», «Что вы думаете об ОСВ-2?», другие того же характера. Мне ничего не оставалось, как бросить в общий котёл и свою записку. Утром руководители монастыря объявили: Далай-лама примет корреспондента газеты «Известия». Коллеги заволновались, обступили меня, нервно допытываясь, что было в моей записке. И когда

я ответил, по лицам пошло изумление: разве это вопросы? Кто такое будет печатать? Кому интересно?!

А вопросов было два: «Что, по Вашему мнению, нужно человеку, чтобы чувствовать себя счастливым?» и «Что Вы думаете о любви?»

...Далай-лама принял меня в своей резиденции в Ихтенгере. Улыбка не сходила с его смуглого лица, предназначенная всем и никому в отдельности, но пронизательные глаза из-под очков быстро, цепко всматривались, глядя не на собеседника, а сквозь него, проникая в невидимый другим мир. Мы прошли в покои, вдоль стен — обитые красным плюшем кресла, диваны с мягкими подушками, а на низких восточных столиках горки сладостей. На беседе был секретарь Его Святейшества и моя переводчица, готовая на ходу поправить любую возможную оплошность, какую может допустить человек, не знающий всех тонкостей буддийского этикета. Какое-то время мы стоя улыбались, долго приветствуя друг друга. Наконец, Далай-лама указал мне место, жестом приглашая сесть, и присел рядом. Разговор зашёл о мирных инициативах буддийской конференции, которые в те дни обсуждались в прессе. Далай-лама заметил, что предложения конференции не исключают перспективы мирового пожара, но способны сдерживать его скорую материализацию. Война приносит одни страдания, это очевидно для всех. Даже если бы мы одержали победу, она была бы оплачена ценой жизни многих людей. Спасение — в мире, но разве можно прийти к нему через ненависть, соперничество, гнев? У человечества нет другого пути, кроме как вместе стремиться к миру через обретение единства, покоя, равновесия ума. Это конечная цель, а подходы к ней зависят от обстоятельств и могут быть разными. При этом нужно учитывать мотивацию другой стороны. Мир возможен только при всеобщем торжестве чувств любви и сострадания; именно в этом люди сегодня больше всего нуждаются.

— Все народы живут надеждой на воцарение спокойствия на земле. Терпеливая и настойчивая работа в этом направлении, добрая воля и искренность помогут и дальше продвигаться вперёд, — говорит Далай-лама, перебирая чётки.

— Наверное, признаки неуверенности, ещё существующие в мире, стимулируются неслыханными скоростями перемен в жизни народов, а также социальными экспериментами, последствия которых обнаружат себя только в будущем, — замечаю я.

Далай-лама угощает всех сладостями.

— По-моему, трудности создают такие свойства человеческой натуры, как недоверие, зависть, озлобленность. Что в силах людей этому противопоставить? Искренность, братство. Сломать дерево можно в одно мгновение, а чтобы его вырастить, нужны годы. Всем нам надо запастись терпением, не в смысле все терпеть, а в смысле терпеливо и настойчиво работать, не отступая перед трудностями, не отворачивая лицо ни от времени, ни от проблем.

У Далай-ламы живые, выразительные, тёмные губы, как будто обветренные. Губы ни минуты не пребывают в покое: то расплываются в улыбке, то смыкаются в задумчивости, то выпускают слова, чтобы сразу принять новое выражение.

— Мир на земле, — продолжает Далай-лама, — зависит от мирных чувств самого человечества. Пока среди людей живут жадность, корысть, злость, не может воцариться истинный мир. Психологическое состояние человека несомненно влияет на окружающую обстановку. Люди должны быть друг к другу терпимее, добрее, следует научиться прощать. Это относится и к человеческим сообществам.

Оставив в покое чётки, Далай-лама машинально, не опуская глаза, теперь

разбирает в руках авторучку. Я вспомнил рассказы близких к Далай-ламе людей о том, что это его любимое занятие — разбирать предметы, попавшие ему в руки, разбирать до последнего винтика и так же механически, не глядя, как слепой, на ощупь собирать их снова. Его Святейшество это проделывает с игрушками, часами, другими вещами. Может быть, подумалось мне, оттого это в нем, что в детстве, связанном с высоким саном, был искусственно ограничен круг присущих возрасту развлечений, и теперь, где только возможно, он бессознательно компенсирует нереализованные потребности детства.

— Наше поколение, освобождаясь от предвзятостей, — говорю я, — уже может определить реальные проблемы эпохи и взять на себя смелость принятия решений, не вваливая их на плечи детей и внуков.

Далай-лама продолжает свою мысль.

— Это очень важно, чтобы люди различных убеждений в проблемах, касающихся общности, членом которой является каждый человек, согласовывали свои мнения, хорошо понимали друг друга. Это относится ко всем буддистам мира. И не только к ним. Если хорошо подумать, любой человек, какой бы религии он ни придерживался, всегда остаётся солдатом, вынужденным постоянно сражаться. С кем? — спросите вы. С внутренним врагом. Это самые коварные враги каждого из нас — невежество, озлобленность, зависть, гордыня. Это возмутители нашего спокойствия. Они внутри нас, и бороться с ними нужно оружием мудрости и сосредоточенности. Любая религия может дать человеку добрый совет, важно ему следовать.

Окна резиденции выходят на склон Богдо-ула. С вершины спускаются дикие олени, здесь никого не боясь. Взглянув в окно, Далай-лама следит за их неторопливым приближением. Возможно, эта картина ему напоминает родной высокогорный Тибет, плодородную долину реки Цангпо, где возникла тибетская цивилизация; не хватает только раскинутых в долине городков с белёными каменными домами-крепостями в два и три этажа.

— За три дня моего пребывания в Монголии, — очнулся Далай-лама, — я действительно увидел, как прежде отсталая в материальном отношении страна добилась больших успехов. Мы летели на самолёте АН-24 в степное поселение на встречу с членами сельскохозяйственного объединения. Лётчики были монголы. Я спросил, где они родились. Говорят, в семьях кочевников. Кочевники стали лётчиками!

— Так стремительно растут объем и качество знаний человека об окружающем мире и о себе самом, — продолжаю я, — что от нынешнего поколения можно ожидать справедливого решения проблем, гармонизирующего с высшими идеалами человечества.

— Я думаю, надо изучать разные философские течения, анализировать их. В мире накопилось много хороших идей, но ведь сама по себе теория пока не может сделать человека счастливым, — говорит Далай-лама. — Нужно ещё реализовать учения во имя счастья людей.

— Люди по-разному понимают счастье, — подхожу я к вопросу. — Что нам нужно, чтобы чувствовать себя счастливыми?

— Хотите знать моё мнение... — Далай-лама на мгновение ушёл в себя, как будто и физически исчез из помещения, но тут же вернулся. — Для счастья человеку нужно иметь пищу, одежду, кров. Это элементарно: собака тоже имеет пищу и конуру, но человек тем и отличается, что одного этого ему недостаточно. Человек имеет глаза и уши, он способен переживать музыку, видеть красоту снега или цветущего сада. Ему нужны здоровье, образование, культура,

наука. Но и это не все. Хотя у нас с вами сложное физическое строение, духовный мир наш ещё сложнее. Как удовлетворить стремление к познанию? Наверное, для этого не нужно считать себя выше других, над другими, а надо иметь доброе и умеющее прощать сердце. Хорошее сердце, тёплое сердце — это очень важно для счастья... Пусть мы совершенно разные, и вера у каждого своя, но все мы обладаем одной и той же человеческой природой. Каждому хочется счастья, хочется избежать страданий. Именно поэтому мы должны сострадать несчастным и помогать друг другу. Но если мы не можем помогать, то в силах каждого, по крайней мере, никому не причинять вреда. Независимо от того, верим мы в Бога или нет, верим в загробную жизнь или нет; значение имеют чувства, которые мы питаем друг к другу.

Далай-лама говорит, не повышая голоса и продолжая улыбаться, но мягкая, ненавязчивая, неторопливая манера вести разговор придаёт его словам ещё больше убедительности. Ему дорога мысль, и он повторяет её, о существенной разнице между поисками счастья внешними средствами, сулящими удовлетворение плоти, и поисками духовного порядка.

— А любовь? — спрашиваю я. — Что Вы думаете о любви?

— Любовь сама по себе счастье. Она означает привязанность. И даёт дополнительные переживания. Это чувство рождает гармонию и создаёт мир. Но в том случае, когда нет места самолюбию. Когда любишь других больше, чем себя, это и есть настоящая, истинная любовь. В маленькой семье, допустим, один из членов этой семьи раздражительный, озлобленный человек. В такой семье всегда напряжённая атмосфера. А доброта, прощение, терпимость даже в большой семье, живущей в трудных, стеснённых условиях, создают хорошую атмосферу, несмотря на все житейские трудности. В такой семье атмосфера — мир.

Далай-лама уверен в способности человека обучить своё сердце любить все живое на земле с тою же бережливостью, с какой матери любят своих детей. Это совсем не трудно, если представить себе, что весь мир живых существ — это братья и сестры от одной матери; если мы относимся к другим с состраданием и любовью не из желания этим их одарить или получить в ответ их благодарную расположенность к нам, а просто потому, что таково наше сердце; любовь к другим для него естественна и не требует усилий.

У Далай-ламы день уплотнён, пора прощаться. Я протягиваю ему свой блокнот и прошу написать несколько слов. Он склоняется над столом, и я вижу, как на листок ложатся красивые тибетские буквы. Потом мне перевели: «Если у человека доброе сердце и справедливая натура, у него все дела будут успешны».

Далай-лама протягивает обнажённую правую руку, и я замечаю у загорелого плеча следы прививок от оспы. «Всё-таки он — земной человек», — думаю я с облегчением.

Вячеслав Шугаев

Ситцевые занавески

Рассказ

(в сокращении)

На белом подоконнике самовольно, невесомо перемещалась жёлтая цветочная пыльца. Обтекала горшочки с геранью, обёрнутые серебряной фольгой, прибывалась к баночкам-скляночкам с пудрами, кремами, притираниями.

Смуглая быстрая рука с зелёным колечком на безымянном распахнула окно — пыльца взвихрилась и просеялась на блестяще-охристые половицы. Ситцевые занавески затрепетали, защёлкали и, прильнув к гераням, запарусили под напором утренней прохлады. <...>

Девушка приостановилась у зеркала: «Может, не пудриться сегодня?» — пожалела зарозовевшую после холодной воды кожу, вздохнула: «Но и голощёй-то нехорошо», — потянулась к пудренице, густо припорошилась, разровняла пуховкой, обмахнулась — на помучневшем лице резко проступили тонкие черные брови, как-то недобро выделились глаза — их смородиновая, живая чернь вроде бы потускнела.

В дверях опять притормозила: «Что-то забыла! Ох ты, господи! Дороги же не будет. Ну, что, что?» — вспомнила, вернулась, наклонилась над кроватью подружки, потормозила: «Дусь, а Дусь!» — Та ещё глубже и глуше забилась под одеяло, только рыже-каштановый клочок выплеснулся на подушку. «Если и добужусь, не запомнит спросонья». Нашла лист бумаги, написала: «Дусь! Сходи, будь лапчочкой, за туфлями в мастерскую. Квитанция в сумке. Надя». Положила записку на пол и прижала Дусиным шлёпанцем.

В прихожей приоткрыла соседнюю дверь, напряжённым шёпотом позвала: — Коля! Ко-ля! Вставай. — Хозяйка будильников не любила и квартирантам не позволяла держать. — Коля! Утро на дворе.

В углу, за печкой Надя увидела лыжную палку, просунула её в дверь, дотянулась до кровати, потыкала в тёмный ком.

Шугаев Вячеслав Максимович, прозаик (1938, г. Мензелинск Татарской АССР — 1997, Москва). Автор многих книг, в т.ч.: *Избранное* (М., 1983); *Мы придём в город утром*: повесть / в соавт. с Ю. Скопом (Иркутск, 1963); *Принцы уходят из сказок*: сб. очерков / соавт. А. Вампилов и Ю. Скоп (Иркутск, 1964); *Бегу и возвращаюсь*: повесть (М., 1966); *Любовь в середине лета*: повесть в монологах (М., 1966); *Осень в Майске*: повесть (М., 1967); *Проводины*: повесть (М., 1969); *Забытый сон*: повести (М., 1973); *Дождь на Радуну*: повести и рассказы (М., 1978); *Арифметика любви*: повести и рассказы (М., 1979); *Пётр и Павел*: повести и рассказы (Иркутск, 1979; *Современная сибирская повесть*); *Бирюзовы, золоты колечки*: рассказы (М., 1980); *Паром через Киренгу*: рассказы: для старш. шк. возр. (Иркутск, 1984); *Подорожная на Ангару*: история одного знакомства (М., 1989) и др. Член Иркутской организации Союза писателей СССР в 1960–70-е гг.

Коля будто и не спал. Откинул одеяло, длинной худой рукой схватил палку:

— Я тебе кто?! Куль картошки?!

— Хуже. И так опаздываю. Вставай. — Вырвала палку и снова ткнула его в бок.

— Всё, Надежда, конец света. Насквозь ты меня. — Коля вдруг вскочил, бросился к двери, худой, долговязый, в небесной маечке, в красных плавках.

Надя выронила палку, тихо взвизгнула:

— Дурак бессовестный! Ненормальный! — и вылетела из дома. <...>

На причальных мостках ждали речного трамвая Надины товарки, работницы слюдяной фабрики, тоже квартировавшие в нагорном предместье. Пересекая галечный береговой пустырь, Надя ревниво присматривалась: кто что успел купить со вчерашней полочки? «Ага, на Верке новая блузка. Видела такую, только жёлтую. Ой, а Нинуля-то с Клавкой! Брюки как у двойняшек. Хороша бы я была. Тоже ведь почти клонула», — Надя подходила к мосткам. Вскинула руку с зажатой в кулаке белой косынкой:

— Привет, девы!

Ей замахали в ответ, закричали, но тяжёлый бас трамвайчика перекрыл крики. По-утреннему угрюмый, какой-то отсыревший матрос держал уже наперевес трап. Матрос всё же пересилил сонную свою хмурь, пошутил:

— Опять слюду щипать? Ух, завидно. Меня возьмёте? Щипать буду — от и до.

* * *

— О-хо-хо да о-ха-ха, далеко ли до греха, — приговаривал Коля давние бабушкины слова, потягивался, позёвывал, но вполголоса, без сладких стонов и хрустов — боялся разбудить хозяйку за стеной. — Возьму вот и снова завалюсь. Ещё минут на триста — пропадай эти экзамены и стипендия вместе с ними! Спать хочу, есть хочу, больше ничего не хочу, — так вроде бы безвольно расслабляясь, он тем не менее трезво уже посматривал на развалы учебников и тетрадей, ждавших его на столе, на подоконнике и табуретке, на гимнастическую резину, клубочком свернувшуюся у порога, на чёрные холодные лбы гантелей, высунувшихся из-за печки, — надо было начинать день... <...>

Эта Колина склонность оговаривать себя, переиначивать на словах каждый свой вдох и выдох проявлялась не только в дремотно-брезжущие утра, но, пожалуй, более всего в прочие, ничем не замутнённые минуты.

К примеру, какой-нибудь институтский приятель, напуганный накануне сессии собственной ленью и праздностью, приставал к Коле:

— Колька, вывернемся, нет? Нет, ты почему такой спокойный?! Весь в шпорах? С профессурой домами дружишь? О, о! Весело ему. Выгонят же, в стройбат забреют.

Коля похохатывал, приобнимал приятеля за плечи:

— Не дёргайся. И будешь долгожителем. У меня вон дед к сотне подкрадывается. А почему? За жизнь ни одной нервной клетки не потерял. Вот как-то пошли с ним за черникой. Ходили, ходили — пустая тайга. Я уж язык высунул. А дед меня учит: не думай, не думай, паря, что устал. На ходу и отдохнёшь...

— Колька! Пошлю ведь. И очень далеко.

— А ты: пропадём, пропадём. Будут экзамены, на ходу и сдадим. Я знаешь как делаю? Учебники под подушку, конспекты под зад и — сплю. Обучение во сне. С утра — умный-ый, аж голова трещит.

Приятель, ругаясь, отмахивался, убегал, а Коля весело кричал вслед:

— Не дёргайся, па-ря! Отметок на всех хватит! Не обойду-ут! — И круто поворачивал, торопился домой: конспектировал, чертил, читал, запоминал, а где туго подавалось, зазубривал — беспечность беспечностью, а прилежание прилежанием.

Когда другой приятель попробовал однажды занять у Коли после стипендии, тот виновато, но и с долей гусарской гордости вздохнул:

— Прокутил. До копеечки, до ниточки. Загулял вчера, парень, как с цепи сорвался. Ну, да и не жалко. Зато смеху, дури — покуролесили всласть. — На самом деле Коля не выпивал и по красным дням, табаком не баловался, а всегда на что-нибудь копил: на зимние сапоги, на свитер, на плащ — всегда одолевали его мелкие выгадывания и корысти, не вылезал из их вязкого болотца.

Вот и в нынешнее утро, размявшись, умывшись, Коля вспомнил: он собирает на летний костюм, всю стипендию относит в сберкасса, в тумбочке у него шаром покати. <...>

Зимой, однако ж, копить-откладывать куда легче: старушки, населявшие на горное предместье, прямо-таки охотились за Колей — одной дров поколоть, другой снег со двора вывезти, третьей уголь разгрузить. За Колей в очередь вставляли с понедельника, нарасхват был Коля, зато и кормился бесперебойно. <...> Летом же — зубы на полку. Пока огороды садили, была ещё в Коле нужда, в пахаре и сеятеле, а уж полоть старушки сами готовы, сами в охотку поползают меж грядок, да и польют сами при летних-то водопроводах.

Коля, натошак листавший учебник и, в сущности, не видевший его, вдруг затих, прижал ухо к стене: вроде бы завздыхала, закашляла хозяйка. «Нет, глухо. Показалось. И пусть, родимая, поспит на здоровье. Никаких завтраков квартиранту не надо. Всё он уже вылизал в доме, все гвозди заколотил, все щепки собрал — может и не евши теперь жить. На старости-то только и отоспаться. Пусть отдыхает. Пусть хлеб в буфете черствеет, пусть из яиц птенцы вылупляются — нам торопиться некуда».

Он вышел в прихожую, приложил ухо к соседней двери: «И Евдокия пусть спит. В молодости тоже поспать не вредно. Сил надо перед сменой набраться. А сыр её в чулане пусть заплесневеет. Пусть его мыши съедят. Завтракать всем охота. А мне этого костюма и даром не надо. Эка невидаль: бежевый, с шоколадной полосочкой. Пусть пижоны носят. А мне и так хорошо...» <...>

Осторожно, не постучал — поскрёбся в хозяйкину дверь:

— Милитина Фоминишна-а... Спите, нет? Милитина...

Хозяйка гулко, с надрывом закашляла, зазвякала стаканом, причмокивая, попила, забренчала спичками, закурила. Наконец пробасила:

— Здорово, Кольча. — Она родом была из Колиных мест и звала его по-тамошнему. — Спасибо, разбудил. Черт знает что за сны повадились!

— Ничего, Милитина Фоминишна. Всё равно — утро доброе. — Коля уже говорил погромче, понапористее... <...>

— Ну, доброе. Понятно. Ещё что за новости?

— Да вот на разнарядку на утреннюю пришёл. Может, сделать что, сбежать куда?

Хозяйка долго не откликнулась — только табак потрескивал от глубоких затяжек.

— Кольча. Такой пока план. Возьми тележку и двигай на лесозавод. Опилы нагребёшь, лёд в погребке посыпь. Что-то сильно таять начал. Ну уж, а магарыч — когда встану.

Привёз опилки, перетаскал деревянной бадейкой в погреб, просеял сквозь

пальцы, облепил жёлтой, влажно-тёплой крупой оплывшие бока ледяных валунов — смолистой свежестью сразу же забило погреб и вроде бы потеплело. От этого соснового летнего вея дрожью в лопатках проступил скопившийся в Коле холод. И нос каменно, как-то отдельно от лица затвердел, и руки опалило ломотой. Он выскочил из погреба — густое, голубое, прошитое воробьиным чириканьем тепло крепко обняло его. <...>

Сиял на веранде, слепил красными боками самовар.

Милитина Фоминишна, согнутая, сухонькая, остроликая, с тяжёлой кружевной шалью на плечах, не выпуская папироски изо рта, сновала вокруг самовара, выставляла «магарыч»: сметану, вчерашнюю холодную рыбу, яйца, светло-зелёный пучок батуна, масло, хлеб. Освободились наконец руки — вытянула папироску, с мокрым всхлипом затянувшись напоследок, отошла, оглядела завершающе стол:

— Н-да, дела на полтинник, а магарыча на целый рубль. Садись, Кольча. Налегай. — От её хриплого баса, видимо, с годами так высушившего Милитину Фоминишну, вытянувшего из неё все силы, легонько задребезжали ложки в стаканах.

Коля хотел промолчать, хотел лишь согласно головой кивнуть, но затянувшийся утренний голод да недавний погребной холод вновь живо столкнулись в нем. Он разозлился:

— Жалко, что ли? Тогда и не буду. А то подавлюсь ещё.

Хозяйка подумала, глядя на стол, вытащила откуда-то из-под свисающего конца шали папироску, закурила.

— Вообще-то, нет. Не жалко. Одной всё одно не съесть. Пропадёт. По привычке, Кольча, считаю. За жизнь насчиталась — остановиться не могу. Да садись ты, садись! На голодное брюхо все мы обидчивые.

Коля сел.

— Я тоже, Милитина Фоминишна, считать умею. Хоть и не люблю.

— А кто любит? Нужды не было бы, разве считали? А по правде-то так, замечаю, отвыкают считать. Не от богатства, от безалаберности... Давай, подвигай стакан-то.

Пока пили чай, встала Дуся — слышно было, как на кухне бренчит умывальником. Вскоре вышла, розовенькая, гладенькая, в тесном, коротком халатике. Ещё и ладони ухитрилась затолкать в маленькие, узкие кармашки — халатик сшит был без запаха и теперь расходился у пуговиц, приоткрывал белое, сытое тело.

— Лучше бы нагишом вышла! — плюнула Милитина Фоминишна. — Дуська! Марш отсюда! Добро бы одна была. Парень же в доме! — Коля прикрыл глаза, вроде бы сонно, вроде бы захмелев от чаепития.

— Ну, уж и парень. — Дуся прошла, села бочком к столу, не вынимая рук из карманов. — Какой это парень, Фоминишна! Хилый студент, а никакой не парень. Правда, Коленька? — Сладенький, весёлый голосок был у Дуси.

— Угу, — не открывая глаз, кивнул Коля.

— Вот, пожалуйста. А ты, Фоминишна, прямо напугала меня. Парень да парень. Где, думаю, дай посмотрю. — Дуся встала, прошлась перед столом. — А одета я очень прилично. Правда, Коленька?

— Ещё как, — опять не открывая глаз, кивнул Коля.

— Садись, чаю попей. — Милитина Фоминишна зябко куталась в шаль. — Ох, Дуська, скорей бы ты замуж вышла. От греха подальше.

— Ой, не смейся, Фоминишна. Тебе-то какой грех? Уж ничего и не помнишь.

— Вьёшься уж больно сильно. И присмотреть за тобой некому. А мне жалко будет, если что случится.

— Ничего не случится. Я — девушка смелая, и ничего не боюсь. Правда, Коленька?

Он, уже не отвечая, опять кивнул: «Заманивай, заманивай, я — юноша влюбчивый, мечтаю пелёнки стирать, на молочную кухню бегать. Очень хочу грузчиком стать и на заочном поучиться. Всегда готов, как пионер».

Коля ушёл к себе и почти до сумерек просидел над учебниками, а потом опять постучал в хозяйскую дверь:

— На вечернюю разрядку пришёл, Милитина Фоминишна.

По субботам и воскресеньям Коля отдыхал. Милитина Фоминишна поила чаем без отработки: «Грех, Кольча, всю неделю горб набивать», — днём его зазывали к самовару Дуся с Надей, чтоб не скучать, а к вечеру они дружно уговаривали Милитину Фоминишну. «Да давайте вместе посидим, почаёвничаем. По-людски, за одним столом» — и снова приглашали к столу Колю.

Сидели долго, до холодного самовара, до синей мглы в дверном проёме веранды. Света не зажигали. И тогда Милитина Фоминишна просила:

— Давайте мою, девки. И ты, Кольча, поддерживай.

Запевали:

Ах, да со вечера
Делать нечего,
Идти некуда,
Любить некого...

Милитина Фоминишна сморкалась, всхлипывала, уходила в комнату, говоря тихо булькающим басом:

— Приберусь малость...

После Коля всё хотел включить свет, по Дуся с Надей хватали за руки, усаживали, давась смехом, колотили его по гулкой, костлявой спине.

— Как это любить некого?! А! <...>

* * *

Ветреная синяя жара перетекла из воскресенья в понедельник, охотно, не сбавляя радости, зашумела и в его честь. Коля глаз ещё не открыл, а уже понял: проспал! Солнце горячо, нетерпеливо лизало ухо, влетев, наконец, в комнату, вырвавшись из тесной листвы черёмухи под окном.

Вскочил, дорожа временем, слегка только, для полноты режима помахал руками, ногами, натянул трико, решительно вышел в прихожую. На двери Милитины Фоминишны блестел маленький, с монетку, замочек — значит, ушла надолго. <...> С пятерней в затылке поплёлся к умывальнику, потом медленно, со вздохами, выпил ковш воды, вернулся в прихожую. Увидел: дверь в комнату Нади и Дуси стояла распахнутой. «Евдокия летела. Как же это Фоминишна шла, не заметила? А-а... Ещё и окно настезь. Ух ты, как тянет!»

С трепещущим присвистом реяли, летели в комнату ситцевые занавески, дрожала, перекатывалась упругая рябь по их розовым цветкам. <...>

Надя спала крепко и сладко. Сбилось розовое пикейное одеяло — смуглые плечи чуть пристыли, засветились матовым у ключиц; нежно, сонно отяжелевшие груди освободили какую-то таящую розоватость ложбины, — может быть, так отсвечивало скомканное на животе покрывало, а открытые ноги тоже чуть призябли, особенно сильная, белая кожа выше колен, ещё не хватившая солнца.

Всё это Коля вобрал в один миг, замер, покраснел, быстро захлопнул дверь и метнулся к себе. «Ну, Евдокия! Ну, мать честная! Расхлебанила — ходи тут за ней, закрывай. Прямо в стыд ввела. Вот ведь в самом деле. Надо же?» — Так, чуть не вслух бормоча, Коля тыкался из угла в угол, не замечая ни раскрытых учебников, ни конспектов. <...>

Он на цыпочках подошёл к Наде.

— Надежда-а, — позвал прогорклым шёпотом. — Надя. Окно-то закрыть? Ну и спишь ты. Слышишь? — Голос рвался, оседал в сухой колкий хрип. — Закрыть, нет, окно-то? — Коля присел на железный краешек кровати, выставившийся из-под матраца.

Надя, не просыпаясь, вздохнула с какими-то смутными словами, повернулась к нему, с сонной доверчивостью выпростала, протянула руку вроде бы как к Коле.

Он отвернулся, поглядел в окно.

— Надя! Хватит спать-то!

Очнувшись, с резким, ещё немым испугом отпрянула к стене, судорожно потянула, не расправляя, ком покрывала на себя.

— Ты что, Колька? Ты что? — на просящей, жалобной нотке прорезался голос, но тут же окреп, набрал возмущённую зычность. — Ну-ка, уматывай сейчас же! Подкрался! Кот ободранный! — Она толкнула его, но Коля удержался, пересел поглубже, перехватил Надины злые руки.

— Кого бьёшь? Кого гонишь? Пожалей некурящего, — попробовал поцеловать в плечо, в шею, в щеку — куда удастся. Надя вырвала руки, опять упёрла кулаки в Колину грудь.

— Уйди, паразит! Я кому сказала! Колька, выйди вон! Ну, паразит. Ну, паразит! — Надя, наконец, изловчилась и так двинула, что Коля слетел с кровати, почти сел на пол, но успел выставить назад руки.

— Надежда, ты не знаешь Колю Щепкина! Война, теперь война. Мир кончился. — Коля поднырнул под её молящие кулаки, обнял её. — Ты не знаешь, как он к тебе относится. Ты снишься ему по ночам. На лекциях снишься. — Удалось, поцеловал в щеку, сквозь пахнущую хвоей прядь.

— Колька! Кричать буду. Лучше отстань. Укушу ведь... Глаза выцарапаю. — Но не закричала и не укусила, а только яростно и неумолимо сопротивлялась, всё норовя поддеть его побольней и побезжалостней.

Взмывали над ними лёгкие облачка горячих, неровных дыханий, но ненадолго — свистящий, упругий ветерок, срывающийся с ситцевых занавесок, разбивал, развеивал эти облачка.

— Ох, и паразит же ты. Ох, и паразит...

Но и после Надя не подобрела. Молча полежав, она локтем опять так двинула Колю, что он, обидевшись, встал и перешёл на табуретку.

— Теперь-то зачем дерёшься?

— Затем...

Полежала, помолчала, опять сказала недовольно и зло:

— Ну, чего расселся? Обрадовался тут... Отвернись! Собираться буду...

Коля устался в угол, поникше, устало сгорбился.

— Надежда, можно вот что придумать... — Голос его был печален и тих. — Давай в субботу в парк пойдём. Сначала на пароходике покатаемся. — Он подумал, подумал, несколько дрогнувше добавил: — В ресторане посидим. Приглашаю. Потом, если захочешь, в кино можно или на танцы...

Она ходила мимо, уже причёсанная, в пёстром сарафане — и молчала. Взяла с подоконника зелёное колечко, пудреницу.

— Если на Дуську хоть раз ещё посмотришь, берегись. Уж тогда точно глаза выцарапаю. Учти!

— При чем тут глаза? Я приглашаю тебя в субботу...

— Слышала. Посмотрим.

Собрала сумку, остановилась за спиной.

— Как молния время-то. Вот уж и на смену пора. Ты, если хочешь, у нас тут занимайся. Просторнее будет, а может, и веселей. — На прощанье стукнула не- сильно по спине. Пожалуй, даже ласково. — Вечером выйди к причалу, прове- трись. Я с последним приплываю.

Посидел ещё один, придвинувшись к окну. Поймал в кулак занавески — они забились, запарусили. Неожиданно прикоснулся к ним щекой — чистым сол- нышком и черёмуховой горчинкой отдавал их мягкий холодок. <...>

Вспомнил всё, головой крутнул, засмеялся. «Ох, и прыткий ты, Коленька. Хоть плачь. Теперь давай в парк ходить, на качелях качаться, в комнату смеха хоть каждый день, само собой — к причалу, очень полезна тебе ночная прохла- да — вот тебе, Коленька, новая жизнь. Куда ты денешься? То-то и оно».<...>

Закрыв окно, расправил увядшие занавески — иначе бы всё думал, как они тут полощутся и летают, и уже больше бы ни о чем не думал.

А потом ушёл к себе.

У обрыва

Отрывок из романа «Ингода»

У садыбы безлошадников на зиму разгородились: заплоты ушли на дрова. Если нет в семье взрослого мужика, подростку или бабе даже в ближний лес не съездить. Сиро, холодно. Палага накинула шубейку, платок, вышла во двор, постояла на крыльце и вернулась. «Ах, дети-дети! Вы ещё не родились, а я вашу судьбу у бога вымаливала-выпрашивала! Пошто же вы так-то? Как забытая копёнка я на обкошенной деляне! Как та дура квочка, что высидела утят вместо цыплят. Пустились детки по воде вплавь, и забегала».

У бедного воробья всей лопотины — серый кафтанишко и тот по пёрышку раздёрган. Всё спасенье — в шустрых крыльях. Разогнался, а Палага открыла дверь. И, мелькнув над головой, влетел, забулдыга, в сени.

— Ой, к добру! Ей-богу, к хорошим вестям! Не иначе как будет слух о Дуне!

Подержала дверь распахнутой, выпустила бедолагу: ему вольная воля дорожке тёплых сеней.

Обидно, одиноко и в избе. Взяла в руки газету, отброшенную мужем, повертела так и саяк: бумага серая, строчки мелкие, буквы слеplенные — слепые.

— И каку заразу он тут видит?

Где что скрипнет или стукнет, Палага бежит к дверям, к окошку: никого, показалось. И когда слышался за воротами шорох полозьев, ушам не поверила: «Дедушко-суседушко озорует!» Но дверь отворилась, и, напустив полную избу холодного пару, громоздкий от навьюченной одежды, вошёл Митрий Дорошков.

— Вот-те и не верь приметам! — Палага кинулась к дорогому гостю, обняла, расцеловала. — Ах, воробей-воробышек, птаха вещая! Какую радость предсказала! — И заметалась по избе, сама словно большая бестолковая птица. — Вот уж радость! Вот уж радость! — Подобострастничая, прижимала руки к сердцу и смеялась, и плакала, и на колени перед Дорошковым хлопнуться готова.

Он сбросил у дверей доху, шапку, унты. В передний угол прошёл в одних носках, ступая мягко, вежливо. У зыбки остановился, потрепал Варку за щёчку:

— Жалко, жалко твою мамку! Славная была бабёночка! — Палаге сказал: — Жива-здорова Дуня, кланяться велела, зять — тоже...

— Но спасибо за добрую весть! Но спасибо! — слёзы брызнули пуще.

— Сколько мокроты вы, бабы, напускаете! Неладное что — взываете, всё ладом — тоже ревёте! — благодушествовал Дорошков. — А что шибко убиваться? Небось не у чужих Дуня.

Щегрова Любовь Ивановна, прозаик (1929, д. Засопка, Забайкалье — 2006, Анггарск). Автор книг: *Ингода*: роман (Иркутск, 1984); То же (Иркутск, 1990: *Советский сибирский роман*); *Бесконечность начала*: фантаст. роман (Иркутск, 1997); *Правила игры*: повесть, рассказы, публицистика (Иркутск, 2003) и др.

— Только на то и уповаем, кабы не на тебя надёжа, с ума бы я сошла от горя!
— Но, жена, неси зубровку, смородиновку! Есть ещё у нас чем дорогого гостя попотчевать! — суетился и Иван Матвеевич.

Разомлевшая от счастья Палага кинулась к погребу и в казёнку. За едой Митрий поведал о Степаниде. Иван Матвеевич опустил голову, Палага заохала:

— Ахти-мнеченьки! Бара, ты, бара, Степанидушка! Эт-то чо же тако с тобой содеялось!

— Хором я Дуне не отгрохал, но... — Митрий скромно развёл руками. Главный Дунин «подарочек», щадя родственников, пока приберёт.

— Спасибо, брательник! — прочувствованно отозвался Варацкий.

— Да разве бы я позволил обидеть племянницу? Да за кого вы меня принимаете? Ведь Кешка — мой батрак! Да у меня вся деревня вот где! — Митрий потряс моластым кулаком. Он чувствовал себя господом богом, милостиво снизошедшим к страждущим.

— Ты завсегда был настоящим хозяином, — пела-угодничала Палага.

Горе заставит, поневоле станешь из одной чашки хлебать хоть с кем. Палага, могла бы, на руках бы желанного человека тетешкала. Отяжелев от еды, от настояек, распарившись на тепле, Митрий поблагодарил хозяев за угощение и, отвалив от стола, опять подошёл к зыбке:

— Вот в чем я вам завидую: внуками вас бог не обижает. Пока езжу, может, и у Дуни уж кто-то будет.

— Да кой пору! — неподготовленно вскинулась Палага. — Давно ли, — и осеклась, зажала рот ладошкой.

Рука Ивана Матвеевича произвольно дёрнулась к левому боку.

— Никак хворает, шурин! — не ушло от внимания Митрия.

— Ничо, ничо, слава богу! — спохватился Варацкий. Петруха перед тем выпряг дядиных лошадей, а сейчас преувеличенно старательно снимал нагар с фитиля в лампе. Палага отвернулась, закопошилась, укладываясь с девчонкой на ночь. Сколько надо, Дорошков переждал и перевёл разговор:

— На красные тряпицы я в городе насмотрелся, а что на них написано, не раскумекаю!

— «Даёшь!» Машины, хлеб, пятилетку, социализм, — коротко ответил Иван Матвеевич.

— Ага, — хохотнул Митрий. — Дам! На блюдечке преподнесу!

Загораживая слабый свет, мужики склонились над столом. Из узкого горлышка лампы вылезли и потащились вверх длинные тени. Нависли над головами, густые и уродливые, корёжились на потолке, ломались по углам. Петрухина тень чуть ли не самая беспокойная. Теперь, когда решил жениться на Дорке, тем более не входило в расчёт делить добро с сестрой. Сникший отец, по мнению Варацкого-младшего, в хозяева больше не годился, главой семьи видел себя. И, как сам считал, от того, что окажется в засеках, в доме, во дворе, зависела Доркина благосклонность. Потому глаза Петрухи — глаза ночной птицы, слепые днём и перенапряжённые ночью, со всею внимательностью следили за дядей: не вздумал бы и тут повторить совет: переписать хозяйство на зятя! Но Митрию было не до того.

— Ничего не выйдет у комиссаров ни с пятилеткой, ни с социализмом! — хохотился. — Я — против! А таких, как я, ещё много. Нас ещё одолеть надо!

— Доберутся! — Глухо, как из погреба отзываясь, Иван Матвеевич пересказал почерпнутое из газет. — Доберутся, — подытожил. — Руки-те у них не барские! Дотянутся!

— Замах — ещё не удар!

— Постесняются ли ударить?

Суровая зимняя ночь притаилась за избой. Сколько хранила эта темень печалей, горестей, страстей, напигованная ими, как сдобная булка изюминами! Но идущий с тяжёлой поклажей на плечах может положить её, дать себе роздых, а то, что легло на душу, от того не отвертишься. Года не прошло, как был Митрий у Варацких, но тогда Ивану Матвеевичу и не мнилось, что так уронит себя. Подвела жизнь к обрыву, встал на краю: нет ни единого выступа, за который возможно зацепиться. Судьба сестры, превратившей себя в колоду, собственная судьба виделись мусором: никчёмной итожилась жизнь. Камень, которому лежать бы на вершине, под солнцем, вдруг сорвётся с утёса, со свистом рассекая воздух, полетит в чёрный провал пропасти и, куда упадёт, оттуда наверх не поднимется... Тот корень зла, та первопричина несчастий, которую с таким тщанием разыскивал, отыскалась в собственном доме.

Ах, Дуня, Дуня! Кровь и плоть, душа и счастье — и ты встала уликой против совести! Во всех грехах детей теперь винил Иван Матвеевич себя: такое злое, бестолковое зародил семя!

— Ликвидировать нас особого труда не составит, — говорил вслух. — Считаю, мы сами себя ликвидировали. Спета песенка...

— Но? — Блики слабого пламени от лампы запутались в рыжей шевелюре Дорошкова, как подпалили её. Огоньки проникли в глаза, отразились в них пятнами, будто подожгло Митрия изнутри.

— Раньше по-крупному жили ты да я, ещё Новиков Леонтий, ещё Кириллов Селифан — много ли таких было? — продолжал Иван Матвеевич. — Таких, кто с хлеба на квас перебивался, и таких, у кого ни хлеба, ни кваса, было куда больше. Большевики, вишь, ставят политику, чтоб пока всем сносно жить, а поправится хозяйство, чтоб жил народ весь хорошо. Кто, может, не согласен, а, к примеру, я — не против. Пусть будут все сыты и не голы — почему не так?

— Но, тятя, пошто же ради этого своё добро отдавать? — вмешался сын. Лицо его стало натужным, будто только что прошёл Петруха с литовкой добрый прокос. — Не к пользе видно, тятя, ты газеток начитался!

— Ужо, Петрован, — остановил племянника и Дорошков. — С кондачка к делу подходить нельзя. Если зараза жизнь завертела хвостом, как змея, то лучше схватить её за голову. Когда не до жиру, быть бы живу: и сам змеей закрутишься...

— Как ни крутись, но на хвост нам уже наступили. Голову расплющить теперь долго ли? А мы — последние.

— Но нет, шурин! — Дорошков привскочил. Узкая сухопарая тень его, отделившись от других, перекинулась через потолок, сломалась пополам в углу, засутилась, задёргалась. — Погоди, шурин! Не то говоришь. Не последние мы! Тебя, меня, Петрована, может, и ликвидируют. Как класс или ещё как. Но Дуня ваша! — Пятна в глазах Митрия алчно разгорелись. — Дуня останется! Она грамоте не обучена, она и разумом — не обессудь, Иван Матвеевич, за правду — не блещет, но что хошь с Дуней делай, а социализм этот Дуня строить не будет. Профсоюзные взносы платить её не заставишь! Она из любой оглобли вывернется, а запрячь себя не даст! — Митрий восхищённо покрутил красной головой. — Кабы у меня, у волка лютого, да выродился эдакий цепкий, живучий зверёнышек, оно бы не кидалось так во внимание. А то ить у тебя, Ваня! У тебя? Ты — и ещё раз за правду-матку извиняй, — но ты души непрочной, ломкой. А дочка твоя — не в тебя, нет. И не в Палагу — куда Палаге до Дуни! И выходит, что Дуня твоя в ту крепкую породу, которую недаром окрестили кулацкой. —

Митрий, сощурившись, остро нацелился на шурина своим непромашистым глазом. — Что-то из этой породы вырождалось, отсеивалось, и в чистом виде получилась Дуня! Она чёрту и богу одинаково молиться станет, она вас: тятю, маму не пощадит, надо будет, она душу запродаст, а выживет. Как жена батрака, она в социализм этот уже пробралась. Пить-есть будет, но за счёт кого? — отсветы лампы неистовствовали в Митриевых глазах. — И большевики её не перекуют, нет! Бесплезное дело! Дуня останется сама собой, ещё таких же наплодит, так что мы — не последние, нет!

Ивану Матвеевичу хотелось выбежать на улицу и стрекануть вдоль деревни, но будто вдавило в стул тяжёлым молотом. И, упиваясь незащищённым видом шурина, Дорошков продолжал безнаказанно вершить суд:

— Ты, Иван, сына разбойничать непустишь. Сам, я знаю, мухи зря не убьёшь. Но Дуню ты на свет произвёл, и тем «удружил» социализму почище меня или Сelifона!

Утром Митрий, нагруженный справой для Дуни и для её ребёнка, отбыл. Палага проводила его слезами, но это были последние слёзы. Жива-здоровая дочь, остальное — прочь. Всё, что может донимать, долго в себе Палага не держит. Так, просачиваясь сквозь рыхлый песок, уходит вода. Сверху остаётся лишь наносный мусор — то, что глубоким и плотным пластам не нужно.

— Чо шибко-то раскисать? — домовито уговаривала и мужа. — Если по умному-то разобраться, дак правильно Дуня сделала: какой-никакой, а муж, и все шито-крыто!

Как осенние листья на сухом ветру, шелестели, шуршали Палагины слова. Но не подчиниться теперь Ивану Матвеевичу этому спасительному голосу, не закрыть глаза на то, чего видеть невмочь. Если бы вздумалось кому спорить, мол, нет души, Варацкий бы пальцем показал: вот она, тут.

Безысходность будто под обвал кинула: лежи, не шевелись! Пока, слава богу, жив, а шелохнёшься, прижучит намертво! «На лоскут похожу: его в корыте жамкали, в проруби о воду хлестали, на верёвке сушили и только разглядить не догадались...»

Даже изба — та, да не та! Зачем она такая большая? Зачем в ней будто самодовольством лоснится, блестит мебель? Тонкая посуда не подходит к тяжёлой, громоздкой утвари... И жёлтое лицо жены — чужеродное пятно.

Будто всю жизнь он простоял глазами на солнце, будто ослеплённый, не видел, как ходила, нет, плыла царицей по деревне Палага-Варатчиха по праздникам — разносила гостинцы «сырым, обиженным, богом забытым», а на плечах — лазурная шаль, юбка в шёлковых оборках. Держалась середины улицы — для виду, корзина из крашенных прутьев — заметная. Плоское лицо плавилось от сознания благополучия, зажиточности. За одну корзину печенюшек — и щекочущая душу слава благодетельницы, и откуп грехов. Дуня за сухой пряник щипала, истязала подружку — не видел! Варвара надсажалась, мать рвала сердце — не видел! На кого же теперь вину взваливать?

Охнул неосторожно.

— Ты не захворал? — встрепенулась Палага. Не стал отвечать. «Не за меня боишься, за себя!» — подумал.

— Неужто так и оставим Дунюшку у Дорошкова? — канючила Палага. — Да с ребёнком! Да одна среди чужих! О детях ить не хочешь, да будешь думать. А в Дунюшке души не чаяли!

— Как ты её сейчас повезёшь! — взорвался Иван Матвеевич. — Не растрясёшь по дороге, так заморозишь. Ты своей головой хоть маленько думаешь? Вовремя

надо было следить за дочерью! Была бы путной матерью, не дошло бы до того! — Впервые кричал на Палагу. Дал волю жестокому и злему, выбухивал и радовался мстительному ощущению. — За бабами глядеть — не мужичья забота. За Варкой недоглядела — ты, и за Дуню виновата — ты! Всё — ты, ты!

— Вон как прытко ты всё на меня переложил! Ловок? А я — каво же! Я, бара, стерплю! На мне отыграться легче! Я уж до того изнемогла, что теперь и Дорке, чёрт с ней, радая. Работяшша девка-то, чо зря, дак пускай Петка женится, мне хоть маненько вздохнуть!

— Делай что хочешь! Только меня не шевель? Не шевель! — как пощады просил.

Может, прав злыдень: надо выбросить из избы шишкастую утварь, разбить блёсткую посуду, заодно и зеркало, чтоб в нём себя не видеть?

1990 – 2000-е годы

Татьяна Анfreyко

Умная голова

Рассказ

У кандидата филологических наук А. — умная голова. Так, во всяком случае, считают студенты и преподаватели пединститута, где она заведует кафедрой.

Сегодня А. с утра за письменным столом. А на столе — книги, книги, книги... Потому что завтра у неё лекция. По Возрождению в Западной Европе — Данте, Шекспир... Людовико Ариосто, Карло Гольдони...

Перед ней чистый лист бумаги. А в голове три мысли: что приготовить на обед? на ужин? где взять денег, чтобы были обед и ужин? Потому что зарплату в институте не платили уже полгода.

Раздаётся телефонный звонок. Это муж. Тоже умная голова. Да и руки к тому месту пришиты — хирург, как-никак! Обычно первым делом интересуется, всё ли дома в порядке, а тут — с места в карьер:

— В бухгалтерию звонила?

— Естественно!

— Не обещают?

— А вам?

Муж эмоционально выдыхает и вешает трубку.

Из школы возвращаются дети.

— Привет отличникам! — приветствует их А. и на всякий случай интересуется: — У вас каких-нибудь денег нет, а то мы опять без хлеба?

— Есть! Десять копеек! — честно рапортует второклассница. Хорошая девочка!

Анfreyко Татьяна Петровна, поэтесса, прозаик (род. в 1954 г. в г. Слюдянка Иркутской обл.). Автор книг стихов *Восхождение к Мельнице* (Иркутск, 1998); детской повести *Зелёная горошина* (Иркутск, 1998); очерковых книг о Сибири: *Все дороги ведут к людям* (Иркутск, 1998); *Усть-Илим...* (Иркутск, 1999); *Самое народное хозяйство* (Иркутск, 2000). Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

— На третьем этаже возле мусоропровода пять бутылок стоят — три из-под водки и две из-под пива, — сообщает сын. Очень наблюдательный и сообразительный шестиклассник, чемпион школы по шахматам.

Сбежал, принёс и вымыл бутылки; побежал сдавать и покупать полбутылки хлеба.

Кандидат наук, гордясь детьми, садится думать дальше: «У коллег по нулям... из подруг при деньгах только одна — недавно продала квартиру и через неделю отбывает в Израиль. Необыкновенно умная голова — «Учитель года» города и области. Говорит, ни за что бы не уехала, да две девчонки и больная мать на руках — кормить надо, а зарплату месяцами не платят... Можно, конечно, у неё десятку занять. Когда-нибудь всё равно деньги появятся, верну по почте...»

Звонит телефон. Это та самая подруга.

— А ты знаешь, — спрашивает она, — как соотносится распятие Христа со срачем в подъездах?

И так замечательно умно и элегантно выводит одно из другого, что заикаться о материальном после такого полёта мысли просто пошло.

Положив трубку, А. вновь углубляется в мыслительный процесс: «В седьмой квартире бесполезно, в восьмой тоже... у деда из шестой уже два раза на этой неделе занимала... что же делать?.. Ладно, попробую ещё раз...»

Дзинь!

— Иван Сидорович, откройте! Это соседка слева... Здравствуйте!

— Я тут прилёг, мля...

— Простите, пожалуйста!

— Да чего уж теперь, заходи... С вечера сон сбили, всю ночь промаялся, так и не заснул. Сперва начальник мой бывший приходил. Голова-а! Два института закончил. Зарплату-то на заводе не платят, а у него дочка в больнице. Лекарства нужны, как было не занять? Пенсию мне аккуратно утром вчера принесли...

— Иван Сидорович, мне три рубля, если можно... детям на молоко... я отдам...

— Потом Колька из восьмой. Полпервого припёрся, собака! На бутылку, грит, дай!

— Да, полпервого — это слишком... Вы извините, я пойду.

— погоди! Три рубля говоришь? Может больше? Твой-то не в командировке?

Три татуированных богатыря на впалой груди деда приосанились.

— Не в командировке. Трёх хватит... Спасибо большое!

А. выскочила из дома, купила пакет молока.

Хлеб и молоко дети поделили на четыре пайки. Добрые дети. С трудом удалось убедить, что у взрослых от молока изжога. Выпили молоко, съели хлеб. Сказали «спасибо», вымыли кружки. Вежливые и трудолюбивые дети. Без напоминания сели за уроки. Теперь можно подумать и над вторым вопросом: «Что же на ужин?.. а, думай, не думай, придётся идти продавать...»

А. взяла из коробочки обручальное колечко и начала одеваться. Дочь подняла голову от учебника:

— Мам, ты в библиотеку?

— А что?

— Возьми мне стихи про Родину, нам выучить задали!

— Бог ты мой, да у нас поэзии полный книжный шкаф! Подойди и возьми...

это зарубежная, наша повыше... да, на этих полках... сама выбери что-нибудь, я тороплюсь!

— Ой, мам, я не знаю, тут много книжек, а мне надо всего одно... одно оди-сенькое...

— Оди-нёшенькое, — автоматически поправила А.

— Оди-нёшенькое стихотворение, — старательно повторила дочь и с пафосом, явно копируя учительницу, продекламировала: «про нашу любимую родину, про Россию!»

— Так не мне же задали, — почувствовав прилив раздражения, буркнула А. Погружаться в заданную тему ей решительно не хотелось, но натренированная память самовольно, мало того, с язвительной готовностью тут же откликнулась на ключевое слово: «...Россия, куда мне бежать от голода, мора и пьянства... люблю тебя, моя Россия, моя прекрасная страна... на Россию шла Антанта, — грабить шла и покорять... и пусть у нас ни кола, ни двора — лишь бы Родина вечно жила... Россия — безумствуй, сжигая меня...», — А. попыталась мысленно заткнуть брешь, из которой хлестало, как из сорванного водопроводного крана: «...исчезни в пространство, исчезни, Россия, Россия моя!.. благодарю тебя, Россия, за то, что строю и пашу... и не видать в окне Россию, всю погруженную во мглу...», но через секунду тишины в голове радостно и освобождено рвануло: «По России, по Руси перестройка колбасит, а народу колбасы — накуси да выкуси!.. третий год не жнём, не пашем, но зато поём и пляшем... растащили, не собрать всю Россию, вашу ма...»

— Мама, может, ей Пушкина дать?

Рассудительный голос сына приостановил бешеный бег строчек, и А., ещё не совсем придя в себя, мелко закивала:

— Да, да, конечно... Пушкин... разумеется... «Мертвец в России очутился, он ищет новости какой, но свет ни в чем не переменится»... Нет, нет! — опомнившись, А. моментально взяла себя в руки. — Возьмите первый том. Стихотворение называется... «К Чаадаеву». Там есть прекрасные строчки: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!»... Ну, всё, я пошла, часика через два вернусь. Кстати, сколько раз нужно повторять: берете мои кроссовки, ставьте их сушить. Насквозь мокрые!

— Мама, а ты до пяти вернёшься? — с беспокойством спросил сын.

— А в чем проблема?

— У меня в шесть кросс, не в валенках же я побегу!

— Хорошо, постараюсь успеть.

На рынке оказалось полно знакомых: две учительницы, художница, методист из дома культуры и преподавательница дочери из музыкальной школы. Увидев А., пианисточка вспыхнула, приняла неприступный вид и начала поправлять плохо гнущимися пальчиками аккуратные стопочки мужских носков и плавков. Зато художница заметно обрадовалась встрече.

— П-п-привет, хорошо выглядишь! Как дела? Дети здоровы? Ну и прекрасно... Слушай, постой за меня пару часиков, а? З-замёрзла, как собака! Если что-нибудь продашь, двадцать процентов твои.

А. было призадумалась, но тут кто-то похлопал её по плечу. Это оказался её давний-давний ученик, ещё из тех времён, когда она по молодости работала в школе. Выглядел он — ну прямо роза с мороза: розовощёк, упитан, приятно запашист, в костюме с иголки. Явно не с отечественной.

— Здравсьте! А я Вас сразу узнал! — расплылся он в радостной улыбке.

— Здравствуй... те... А почему без куртки, на улице холод такой!

— Да я ж на машине, на минутку выскочил. Каким это Вы ветром к нам? Покупать что-то надумали?

— Да нет... просто со знакомой остановилась поболтать.

— Понятно... А то, если что надо прикупить, найдём для Вас по высшему разряду — «маде ин»... У меня тут три точки. Вот так! — не без удовольствия сказал ученик и сделал выразительную паузу, ожидая реакции с её стороны.

— Молодец! — похвалила А.

Тот расцвёл окончательно и, было видно, что от души, предложил:

— А давайте я Вас домой отвезу!

— А который час?

— Полпятого.

— Да, действительно пора домой. Сын ждёт.

Зажав в кулаке колечко, А. зашагала за учеником, подмигнув на прощание поскучневшей художнице.

— А вот и моя! — подошёл он к чёрной иномарке с бульдожьей мордой. — Третий раз уже поменял!

В машине было тепло. Из кармана брошенной на сиденье куртки почти вываливалась толстая пачка денег.

— А я Вас часто вспоминаю, — вырвав на главную улицу, с тёплой ноткой в голосе сказал ученик. — Помните, как Вы меня от колонии отмазали? По гроб жизни не забуду... А Вы всё в школе работаете? Ушли? Ну и правильно... Тогда... такое дело... в общем, мне секретарша нужна, чтоб грамотно бумаги составлять. Может, пойдёте? А, Вы в институте... Тогда конечно... Но если Вам чего надо — только скажите! Я всю левую половину рынка... Короче, на булку с маслом хватает. А помните...

Она помнила. И его грязные ручонки в цыпках... И беспутную мать... И вечно пьяного отчима... И как она рыдала в кабинете молоденького следователя: «Не надо в колонию! Он исправится! Я его на поруки возьму! А красть он больше не будет! Обещаю!»

Ей было тогда года двадцать четыре.

— Спасибо, дружочек, у меня всё нормально.

Ученик с сомнением покосился на её кургузую курточку и потрескавшиеся кроссовки.

— Тогда, может, пару лимонов... шас это две тысячи, да?... займёте? Хотите, под пятьдесят процентов возьму? Дня на три?

А. стало смешно от его неловкой заботливости.

— С лимонами сейчас сложно. Говорят, в Марокко неурожай.

— Ха, понял! Всё шутите. А насчёт бумажной работы всё же подумайте, ладно? Я добро не забываю...

— Подумаю.

Возле лифта стояла соседка с двумя полными вёдрами.

— Зарплату огурцами дали. Свежими. — Она вздохнула. — Третий день таскаю. Хотите огурчик?

— Да нет, спасибо.

— Берите, берите! Чего по двадцать-то тысяч... тьфу, опять запуталась с этими нулями!.. по двадцать рублей покупать! Нате ещё!

А. вышла из лифта с двумя огурцами и с хорошим настроением. Возле её двери о чем-то шушукались два пацанёнка с первого этажа.

— Чего вам, ребята?
— Вам Санька велел отдать, — протягивая ей бумажную денежку, пискнул тот, что помладше.

— Какой Санька? — не сразу сообразила А.

— Ну, которого из армии отпустили... ему голову разбили, и он стал, как дурак... из второй квартиры...

— Он у Вас на сигареты брал, а сёдня ему пенсию принесли, — пояснил второй. Бумажка была влажная и тёплая. Мальчишки старательно отводили глаза от огурцов в её руке.

— Спасибо большое! Возьмите огурец. Свежий!

— Спасибо!

Ч-чёрт, как умеют улыбаться дети!

— Братцы-кролики, ваша мама пришла, огурец принесла!

Господи, они улыбаются обалденно!

— Кто сделал уроки — марш в магазин за минтаем! А мне надо к лекции готовиться.

Уроки дети сделали и засобирались в магазин.

— Мама, ты не беспокойся, я её туда-обратно через дорогу переведу и побегу на кросс, а потом сразу на шахматы, — предупредил сын.

Проводив детей, А. села за письменный стол. Через пару минут квакнул дверной звонок. Муж. Раньше обычного и непривычно угрюмый. В каждой руке — по целлофановому пакету. Из одного капало красным.

— Ой, у тебя что-то растаяло!

— Мясо, наверное.

— Занял?

— Нет.

— Неужто аванс?!

Не ответив, муж принялся выгружать содержимое пакетов на кухонный стол. Кусок жирной свинины был густо присыпан творогом из распolzшегося бумажного пакета. Под арбузом — каша из помидоров и пирожных.

— Ты же все продукты перепортил!

— Ну и хрен с ними!

— Да что с тобой?!

— Ничего.

— Деньги-то откуда?

— А тебе не всё равно? От верблюда!

— А поконкретнее... и без хамства?

— Промедола... три ампулы... одному хлыщу толкнул. Что, легче тебе от конкретности стало!

Ужинали молча. Долго. Осоловевшие, притихшие дети запихивали в себя арбуз: ломоть за ломтём.

— Может, на завтра немного оставить?

Сын медленно поднял глаза от тарелки. Печальные и, похоже, всё понимающие.

— Хорошо, мама...

Сильнейшим усилием задержав в горле рвущийся наружу горячий комок, А. вышла из кухни. Включила свет в комнате. Села за письменный стол:

«Лекция... надо дописывать лекцию. Так... Возрождение в Западной Европе. Джотто, Дюрер... А студенты в группе славные... особенно эта девоч-

ка, которая всегда садится за первый стол... светлая головешка... видимо, недоедает — одни глаза остались... как появятся деньги, надо подсунуть чуток под благовидным предлогом... Эразм Роттердамский, Рабле... «И где бы я ни был, и что бы ни делал, пред Родиной в вечном долгу-у-у»... Что это? А, радио...»

Вывернув громкость до упора, кандидат филологических наук погрузилась в работу. Благодатная всё-таки тема — Возрождение. В Западной Европе.

1992

Андрей Антипин

Плакали чайки

Отрывок из повести

На территории двухэтажной, из белого кирпича школы, стоявшей на угоре и обнесённой штакетником, уже собрались люди. Из отпахнутых окошек глядели ребятишки, а над крылечным козырьком завернулся кругом древка выцветший флаг, который каждый год вывешивали в этот день ещё с утра. Красные и синие воздушные шары, напрягавшие с порывами ветра тонкие нитки, обрамляли тряпичный транспарант с бумажной надписью: «С Днём Победы!» На концах транспаранта, прикреплённые булавками, летели навстречу друг другу голуби из белого ватмана.

Раньше много лавок стояло у гранитного крыльца, да сбоку ладили стулья — а нынче обошлось двумя лавками. На них уже сидели Мухтарёва Альбина, Сопрыкова Тамара, Настасья Шибанова и другие старухи, все как одна обутые в галоши с оторочкой из искусственного меха.

Иван Матвеевич протиснулся, отвечая на приветствия. <...>

— Чё-то припозднился наш солдат? Никак, Таисия не отпускала? — утерев пальцами толстые живые губы, на которые от сочности речи выбилась слюна, громко заговорила Альбина.

— Ага, дёржит оборону.

— Где она сама-то, чё опять не пришла? — спросила моложавая Сопрыкова с укоризной: Таисия от роду на праздники ни ногой.

— Укатила в город!

— А чё она в нём забыла?

— К дочке... — Иван Матвеевич тускло поглядел на мельтешню кругом.

— О, будто не могла подождать! Много ли нас осталось, на году раз или два собираемся! В прошлом годе ишо ничё наскребалось, а нынче ни Христины Францевны, ни Паны, ни Катерины Петровны...

— Дак и Николая Глебыча считай! И Ачкасова сюда же...

— Старик Тамирский...

— Который?

— А стрелил-то в себя из малопульки!

Антипин Андрей Александрович, прозаик (род. в 1984 г. в с. Подымахино Усть-Кутского р-на Иркутской обл.). Автор произведений, опубл. в журналах и коллект. сб.: *Теплоход «Благовещенск»*: рассказ // Сибирь. 2006. № 6; // На перекрёстке. Иркутск, 2009; Наш современник. 2010. № 7; *Житейная история*: роман в повестях // Сибирь. 2009. № 1; 2010. № 2–3; *Солнечный Кавказ*: повесть // Сибирь. 2011. № 4; *Тоска*: рассказ // Радуга: литературный альманах. Выпуск 2. Италия, Верона: «Познаём Евразию», 2011 и др. Подготовлена к печати книга *Капли марта*: повести и рассказы. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

— Тоже, чё не жилось человеку?

— А чё хорошего? Дети пьют, внуки пьют, пенсию таскают, нигде не работают да ишо командуют! Вот он выждал, когда никого не было дома, пошёл в сарай да пульнул в себя... <...>

Из-за свежебеленой колонны вышла в алом шарфике из атласа, цокая каблуками, нафуфыренная краснокудрая председательша местного Совета ветеранов.

— Вспомним поимённо всех ветеранов, кто ушёл из жизни в мирные дни! — громко крикнула председательша и зашелестела в микрофон бумажками, словно осенний ветер палой листвой:

Антипин Георгий Николаевич: 1926–1978

Антипин Иван Михайлович: 1922–2008

Антипин Иннокентий Иванович: 1924–1989

Антипин Павел Фёдорович: 1900–1970

Антипин Савва Егорович: 1914–1962...

Во всём районе самая большая потеря выбила двор безвестного Антипа, который дюжих был кровей, коли засеял своей родовой окружные сёла и деревни. Как-то на досуге Иван Матвеевич с карандашиком высчитал по книге «Память», что только из их мест ушли на фронт сто шесть Антипиных, а полегли пятьдесят три! Он перепроверил себя, а потом и Катеринку заставил обсчитать списки — нет, всё верно, ровно половину выхлестало. Иван Матвеевич бывал в городе подле обелиска, не поленился и там сделать ревизию: сто два Антипина в граните, а всего призвано было, говорят, двести одиннадцать...

Антипин Алексей Яковлевич: 1902–1957

Антипин Борис Елизарович: 1924–1986

Антипин Василий Константинович: 1894–1974...

Председательша запурхалась перечислять, ей поднесли воды, она выпила, долго откашливала мокро курева, прежде чем соскочила в списке на одну букву ниже. Ивану Матвеевичу показалось, что как будто бы и упустила она многих. Дальше слышалось разбродно.

Аксёнов Гермоген Васильевич: 1921–1987

Деев Николай Дмитриевич: 1923–2001 <...>

Ещё долго, прежде чем упереться в Шестакова Антипа Адамовича — далее список обсекался — читала председательша, но Иван Матвеевич уже не слушал её, застигнутый думой, как ветром в поле. И было с чего загоревать: ещё лет десять-пятнадцать — и во всём мире не останется ни одного свидетеля ужасной гибели народов! Взять за расчёт, что последним призывом заломали мальчишек двадцать седьмого года, как Ачкасов, — так по их ржавым забытым обелискам через пятнадцать годков стукнет столытник. Живые до единого уйдут, всё без них изоврётся, как давно и при них творится кругом, всё погрязнет в грехе и бесстыдстве. И знать будут о войне, что солдаты вшивели в окопах, гадили на передовой да мародёрствовали по населённым пунктам. Как будто чужими руками загребался огонь тех сражений, точно не их сапогами ломалась шея гитлеровской Германии, словно не их черепа впало смотрят в небеса, тщетно вгрызаясь пустыми ртами в не принявшую их землю...

Набежала тень тёмного облака, зябко подул из-под угора ветер, и листки затрепались в руке председательши. Но и ту напасть пронесло, снова чистым и гладким сделалось небо.

Вперёд выступили две старшекласницы в светло-зелёных пилотках, под которыми упруго собрались в узлы тяжёлые косы. На белых тонких шеях, поверх воротничков голубых рубаш, забыто трепыхались пионерские галстуки. Улыбаясь, гибкими пальчиками отщипнув с боков и придерживая чёрные юбочки, которые прилеплял к ногам охальный ветер, старшекласницы какое-то время восторженно смотрели на заречный сосновый лес, на сморщенные тени проплывающих облаков, переглядывались, понуждая друг друга не страшиться. <...>

Сбоку от девчушек выкатилась низенькая круглая учителька из приезжих, которую Иван Матвеевич не знал по имени. Она поймала рукой микрофон и быстро притянула к бледно покрашенным губам, буркнув едва слышно:

— А сейчас участники поисково-краеведческого отряда «Память» расскажут о нашем знаменитом земляке, Герое Советского Союза — Антипине Иване Николаевиче... Начинай, Таня!

Высокая и черноволосая, с простым русским лицом, не оболганным помадами и тушью, Таня вдохновенно, как выученный стишок, затараторила, вздёрнув совестливый носик:

— Антипин Иван Николаевич родился в 1914 году в деревне Кукуй в семье крестьянина! После окончания Киренской семилетней школы и ФЗО в Иркутске работал инструктором областного стрелкового клуба, а с 1940 года — заведующим отделом Усть-Кутского райисполкома...

— В феврале 1942 года Иван Николаевич был призван в ряды Советской Армии, — за Таней понесла вторая, стало быть, Катюша, расставляя слова, как в февральском пуржливом поле вешки, на которые надо держать огляд. — Он — участник битвы под Орлом. Командир сапёрного батальона младший сержант Антипин в июле 1943 года со своими бойцами снял и обезвредил 400 мин! <...>

— Преследуя отступающего противника, 26 сентября 1943 года отделение Ивана Николаевича вышло на левый берег Днепра. Младший сержант немедленно приступил со своим отделением к поиску лодок, к изготовлению плотиков из досок, хвороста и мешков с сеном. Лично побывал на западном берегу... <...>

— По данным, разведанным Антипиным, командир полка принял решение форсировать реку именно на этом участке! В ночь на 27 сентября на лодках и плотиках на вражеский берег стал переправляться стрелковый батальон...

За бойко выносимыми словами девчушек зримо восстало в сердце: кипящий чёрный Днепр, мокрые, оступающие на камнях бойцы. Одной рукой они загребают ледяную стремительную воду, другой держатся за склизкие кромки плотиков, и по косе один за другим отходят от берега, смываемые течением. Жёлтые руки прожекторов противника, окопавшегося на том берегу, скользят по воде и, нащарив цель, замирают. Серебряными бусами вздымается кверху и осыпается клочьями вода, прошитая наведёнными пулемётами. Сзади, на берегу, опадает сентябрьская ржавь с кустов. От плотика, который плыл впереди, соскользнула рука ткнутого в спину солдата и, будто крыло обезглавленной курицы, быстро-быстро забила по воде, пока боец не осел на дно. Теперь уже все, кажется, прожектора наведены в одну точку. И снова ливень капель и свинца, ледяная ярость воды и ярость ослабших солдат, наплывающих грудью на плоты. Вот рвануло сильнее, чёрным кустом развернулся, отбрасывая плывущих и щепки разбитых плотов, и сомкнулся в воздухе стеклянный столб. За пер-

вой миной лопнула другая, от берега к берегу разрослась судорога, ловя солдат за ноги, словно стаскивая сапоги. Плотики переворачиваются, сбрасывают бойцов, дощатые ящики с установками, раскачиваясь, выбивают из-под себя тёмные гребни, и в этих гребнях мелькают красные перья крови, выползая из пробитых гимнастёрок. И резкий свет бьёт в глаза, вырывая впереди настигших чужой берег бойцов, пригнутые мокрые кусты и пустые плотики на смертно дрожащей воде...

— Здесь, на белорусской земле, в Комаринском районе Полесской области 6 октября 1943 года погиб отважный сибиряк!

— Звание Героя Советского Союза присвоено 15 января 1944 года, посмертно... Именем Героя назван стрелковый клуб ДОСААФ в Иркутске...

Как в сильном дожде, сидел Иван Матвеевич, ничего не видя и не слыша вокруг, полонённый музыкой воспоминаний, словно переметнувшись с берега этой, освобождённой жизни на тот, всё занятый врагом берег, в штурмуемый ночной Днепр, на один из плотиков. Очнулся, когда наддали локтём в бок:

— Ты дрыхнешь, чё ли?! — склонившись к его уху, засмеялась Мухтарёва. — Другой раз кличут к громкофону, а он даже ничего, сопит в обе шморгалки!

Как ни махал Иван Матвеевич руками, показывая, что ему нечего сказать, зря тянут из него слово, а всё ж таки пришлось подчиниться.

— ...свой первый орден Красной Звезды Иван Матвеевич получил за уничтожение дота под Выборгом, второй — за умелое отражение атаки немцев! — рапортовала сдобная бабёнка, видно, заправительница краеведов. — Есть у него и медали: «За взятие Кёнигсберга» и «За победу над Германией»... Просим напутственного слова!

Под речной накатывающий плеск ладоней он взошёл на крыльцо, валко и неспокойно чувствуя себя. Сбиваясь дыханием, долго гонял по горлу комок, словно высекая камнем огонь, который, едва поднимаясь в нём, тут же затухал в слезах. Они тоже были тут, летели встреч кадыку сырым облаком, заволакивали глаза.

— Ну, что вам сказать? Раньше-то каждый праздник... да и так на встречах с ребятишками, на посиделках в клубе... говорили мои старшие товарищи, ловавшие войну от начала до конца... Нынче они ушли, словно разбило главную дивизию на отдельные полки, полки разломало на роты, а уж роты рассыпались на бойцов, которые утерали между собой боевую связь, и уже за ратным полем недугами и старостью перешлёпало их...

Выходило, что он один жив, ему держать с самим собой совет, ему идти в бой за несмышлёнышей из последних рядов, как редкую вещицу снимавших его на телефоны. Да только какую реку форсировать? Какие пути-дороги крыть солдатскими сапогами? Откуда усталому народу набраться сил и наголо разгромить беспмятство и сытость нищих душ? <...>

В оконцовке по-заведённому вынесли метроном.

— Прощу почтить память погибших! — почти весело выкрикнула кнопка в жёлтых колготках и пальцем толкнула ходики, сделавшись вмиг серьёзной, опечаленной.

И вместе с ней едино затих дальний гул за спиной, все опустили долу глаза. Вздрыбились, громыхнув лавкой, старухи. Иван Матвеевич, едва пришедший в себя после стояния на крыльце, обсушивший в скомканном платке глаза, смахнул с головы кепку и растерянно застыл с мыслью, что так-то, горестно глядя в землю, и о нём скоро будут молчать. <...>

Он не задержался в холодной школьной столовке, выдул кружку жидкого чая с шоколадной конфетой да подался вон. <...>

Он задержался возле удочников, всплеснувших синими лесками над омутно-ржавой водой. Весёлые поплавки плясали у кустов, в самом улове. Желторотая братия широко разведёнными глазами глядела на поплавки, скрипела зубёнками и шикала друг на дружку в трепетном ожидании, когда снасть завалит на бок и, ущипнув червя, потащит леску ко дну подошедшая рыба. Мальчишки из посёлка всегда об эту пору гнали ко рву велосипеды, мотыляя сосновыми удилищами, кончики которых проскребаали дорогу и к месту лова бывали стёрты. За вечер, при низовом ветре, когда в гусиных мурашках шевелится вода, самый захудалый рыбак туго набивал целлофановый пакет мелким ельцом и красноглазой сорожкой. Но сейчас у каждого в руках красовалась не кривая батожина, а добротная выдвижная удочка, снабжённая пропускными кольцами и катушкой с откидной лапкой, собиравшей леску на противохоме.

— Ну, клюёт, мужики? — сзади присев на корточки, со знанием дела тихо спросил Иван Матвеевич, озирая бережок в поисках колышка, к которому был бы привязан садок.

— Так, гашики да пеструхи... — мельком взглянув на него, ответил рыжеватый пацанёнок, пряча в мокрый рукав ветровки дымившийся окурок. — Кошкина радость!

Другие ребяташки, чуть старше его, снабдили Ивана Матвеевича колючим взглядом да перебросили удочки, когда наплыла гнилая доска с ржавыми зубьями гвоздей.

— Чего кошкина? Сам свари в воде, с зелёным лучком, да ещё ичко туда разбей!

— Ну, манать! — воскликнул пацанёнок и обмахнул рукавом шероховатые обветренные нюхалки. — Ещё плеватьсь костьми!

— А где рукав-то намочил?

— Дак в воде, гашика ловил! Подцепился гашик хило, но я уж почти выпер его на берег, а он возьми да упали! Я брык за ним...

— Поймал?

— Куда он подеётся?! Теперь сидит в каталажке, вечером Кармелитка его захаваает... <...>

Стервец-перевозчик всё не объявлялся, лежал, наверное, кверху воронкой под кустом.

Зато, надвигаясь от посёлка, до самого ельника облепили едва зазеленевшие полянки машины одна богаче другой. Воскурились костры и громко, наполняя пришлым звуком луг и лес, заиграла музыка, которая никак не отставала в этот день.

«За-а-апа-ахла-а весно-ой-й!» — орал из отпахнутой дверцы джипа мерзкий голос хрипуна, одного из тех, что обьяряли кругом, подняли змеиные головы.

— Шерстью твоей палёной запахло, дьявольское отродье!

Но что было сделать? Люди уже были навеселе, много ли оставалось добрать, чтобы впасть в бесчинство...

И вот уже на извороте старицы, с высокого отложного берега понужнули из ружья по плававшим в воде бутылкам. Звук выстрела, как закатившая в желоб струя, длинно раскатился вдоль берегов, пригоршней зерна осыпалась на воду дробь, разлетелось стекло. Из-за поросшего осокой бугра сорвались тяжёлые крикаши и белогрудые гоголя, а чернети, гогоча, нырками ушли на фарватер. Только табунок зазевавшихся чирков низко кружил надо рвом. У машины засуетились, раз за разом садила воздух пятизарядка, и одна уточка-таки отшиблась от стаи, кувыркком упала на воду...

— У, ес! Молоток, Керя! Держи пять! — заорали возле машины, но за добычей не полезли, а наоборот, сразу утратили к ней интерес и уселись за выпивку.

Уточка ещё была жива, загребая ольшаного цвета лапками, пристала к этому берегу, окружённая красными пластмассовыми гильзами, медными наковаленками ушедшими в воду. Это была серая чирушка, которой выстрелом выбило глаз.

— Плыви, плыви отсюда! — хлопая в ладоши, привстал Иван Матвеевич, а чирушка выставила на него невредимое око и вопросительно потегала. — Ну-ка, давай спасайся! Кому говорю?

Не больно-то споро, но чирушка устремила за бугор, продвигаясь бочком, долго кружилась на течении, пока не залезла в непроглядный кочкарник.

— Надо было шею свернуть! — заметил очкарик, который уже набрал с берега камней.

— Ух ты, какой вояка! С булыжником против несчастной чирушки!

— Всё равно не жилец! Сдохнет где-нибудь и будет вонять, заражать окружающую среду!

Иван Матвеевич посмотрел на грамотея, потом на остальных ребяташек. Они оставили удочки и выжили на него в ожидании, чем он прищепит язык их умному дружку, который, по всему, ходил в их компании вроде энциклопедии, поучал да хмыкал, обижаясь нелюбви к себе, к своему книжному опыту.

— И с одним глазом живут... — сказал Иван Матвеевич неуверенно. — Я однажды — по весне было дело, на Борисовских озёрах — сослепу подбил серую, дак она у меня в ванне с водой жила на улице, пока не окрепло крыло...

Он осёкся; в самом деле, не говорить же было, что Таисия всю плешь изъела ему, а к дочкиным именинам заставила свернуть уточке шею.

— Видал ты! — разом заговорили ребяташки, и тут же сдали дружка: — А он ещё тот раз бурундука палкой огрел, жива-адёр!

— Сами вы живодёры! — оскабился грамотей и с ожесточением выбросил камни в воду. — Вот вам, а не рыбу, раз все такие добрые! Всё, Димка, больше леску не клянчи, мама и так ругала меня, что отмотал папину японскую!

— Подавись ты своей японской! — вылупив глаза, закричал рыжий пацанёнок, рукав которого обсох и, задравшись, явил бледные голодные жилки на руках. — Я ватсе своей «Клинской» ловлю в сто раз чаще тебя!

— Придётся ещё, побирушки! — Он собрал удочку и на велосипеде, блестящем спицами новых колёс, укатил в посёлок.

Ко рву поспедали другие машины. Высыпали на траву бабы и ребяташки, суетились, громко орокая с соседними гульбищами, весело-пьяные мужики, а от иных кострищ всё чаще сверкали бутылки, разбиваясь у воды с острым звуком лопнувшей пустоты.

— И вы, ребята, садитесь на лисопеды да крутите педали от греха! — распоряжался Иван Матвеевич, сердцем чуя беду. — Давайте, сматывайте удочки да гоните вослед этому умнику... Кто он хотя бы? Я что-то его никогда не видал.

— Да-а, новой русички сынок! Вечно всем недоволен... — ответил лопухий мальчишка, и первый оседлал драндулет с подвязанными проволокой крыльями. — Ну погнажи, поцики, у школы порыбалим! <...>

Ельником, дав большого круга от разгульной публики, глядеть на которую особо не хотелось, брёл Иван Матвеевич, оступаясь в глубоком мху, в каждую пору втянувшем сырость. <...>

И вдруг снова проклятая музыка! Или слышалось? <...>

«Ладно, пусть люди отдыхают! Сам — права Таисия — покуролесил на веку, —

согласился Иван Матвеевич, чувствуя и свою неправоту тоже и душевно желая, чтобы всё шло на паях с природой. — Лишь бы чего не сотворили по недогляду...»

И только он так подумал, как золотой шубой завернулась прошлогодняя трава, затрещала сухая будыла и косой белый парус затрепетал на ветру. Иван Матвеевич встал как вкопанный. Он ещё надеялся, что вот сейчас набегут, затопчут огонь сапогами и зальют из лужи... <...>

Кругом машины умостились на досках, поставленных на кирпичи, три крепких мужика и две молодухи с голыми коленками, явно не жёны. Эта публика сразу не глянулась Ивану Матвеевичу. Что-то, уже и за скотство шагнущее, было в них, недаром даже в своём бесстыдстве они бежали от других, пристроившись в скрытом месте у болота, где отродясь не водились гулянки, разве вороны по зиме раскопают палую корову и попируют вволю. На газетках, трепавшихся на ветру, было тесно от дорогой жратвы. От неё же сыто опухли неизработанные тела мужиков и острые груди мокрощелок, не знавшие детских губёнок.

— Ты меня любишь?! — пьяно орали в голос пигалицы и, косо глянув на хозяев, являя глазами самочью доступность и вседозволенность в обращении, сами же и отвечали: — Ага-а! А ты со мной будешь? Ага-а-а!

Верно, был ещё пацан лет тринадцати, сшибавший на одного из бритых воротил — такой же мускулистый, с хмурым подлобным взором и крепкими, натеревшими в драках кулаками. Это он настроил из сухой полыни домики и, запалив с головы найденную на помойке куклу, изображал налетевший на село истребитель, громко гудя и капая огненными брызгами пластмассы. Домики вставляли дыбком, от жара разворачивалась в смертельной истоме трава, а позади быстро разрасталось чёрное остывающее пятно, будто, надрезав с краю, с самой земли снимали кожу вместе с волосьями. Кукла, раз за разом воспаряя над безвестным селеньем, над русской землёй, чёрно и зловонно пылала в воздухе, застя своим мёртвым копчением отпрянувшее солнце, и руки её, раскинутые в стороны, и вправду походили на крылья.

— Эдюша, не обожгись! — время от времени окликал пацана один из мужиков, который, подогнув ногу под себя, сидел посередке, делая знак, чтоб наливали или пели.

— Я, батя, как мой дед, палю деревни! — держа куклу за ноги, мрачно отзывался Эдик. — Гляди, как они горят! Я сейчас ещё эту... как её? Кресты нарисую!

— Кресты, сынок, это фашистская символика! Ну, фишка у них такая была, рисовали везде свастику...

Он вдруг закричал огромной глоткой, надув щёки в красный сарафан:

— Зи хайль, Гитлер! — и первый захихикал всеми жирными мясами.

— Рот фронт! — взлетели вверх руки его корешей, а пигалицы, примолкшие было, невпопад вспомнили из школьной поры и завизжали с восторгом:

— Руси швайн! Руси швайн! Яволь?

— Яволь, яволь! Наливай, не бараголь... — хмыкнул чёрный жилистый парень.

До леса, до ярко-зелёной, будто обмытой хвои ёлок оставалось с гулькинос. От реки, как на пропасть, подул ветерок, понёс горячую пепелицу. Высокая трава вспыхивала снизу и, словно задираемый ветром бабий подол, шумящим куполом взлетала вверх, быстро охватываясь до самой маковки огнём, и, падая, на лету истлевала в серый столбик. Из пылавшей травы поднимались птицы, которые уже сделали выкладки и обихаживали будущих птенцов в безопасности некошеного луга. Они громко щебетали, посылая проклятья на пенно-золотую

гриву, тонко-тонко промелькивали в воздухе крыльями, держась на одном месте, но не улетали, лишь воспаряли, когда пламя с нахрапом вздымалось под ними. И вот уже на одной из берёзок, в белой косынке ступившей поперёк огню, завернулась снизу кора и опалились ветки, из которых недавно выклюнулись в коричневой чешуе копытца и едва-едва нагнулись клейкие листики, обвитые первой паутиной.

Огонь, как выученный солдат, бежал короткими перебежками, то затаиваясь, чтобы сориентироваться по местности и перевести дух, а то срываясь бешеным валом. Вспыхнули охотничьи скрадки из соломы, заалели тонкими позвонками и обвалились жердочки, а Иван Матвеевич живо вспомнил, что в Белоруссии так же горели скирды пожатой пшеницы. Только лишаи обывавших озёр, уже подёрнувшиеся нежной травой, оставались нетронутыми, и на молодой грязи сидели разноцветные бабочки. Их Иван Матвеевич увидел очень хорошо, и душепеплом обдуло его лицо, когда, как в прежние времена, он вылетел на переловую.

— Что же вы это утворяете, а?! — с ходу хрипло закричал Иван Матвеевич, а сердце бух-бух в груди. — Что, других игр не нашли?!

На лужайке замерли с пластиковыми стаканчиками в руках, примолкли пигалицы. Один пацан ничего не слышал, ибо заткнулся от мира наушниками, чёрные проводки от которых тянулись в карман светлых джинсов, где бугристо выпер под напором сильной ляжки мобильный телефон.

— Ты чё, батя, орёшь? Чем недоволен? — первым поднял голос дёрганный мужичок, голый до пояса, и обколотые синевой жилы рук с появлением чужака напрыглись. Он приставил к уху ладонь воронкой: — А-а, не слышу?!

— Вы же так лес сожжёте! Смотрите, сушь какая! Понесёт ветром огонь, дак уже ничем... Вон он, ельник-то, а в нём сухие мхи! <...>

— Кто — мы подождём?! Да упаси бог! Ну, балуется малый, с кем не бывает... — отец Эдика — Бугор — пожал плечами, ласково глядя на Ивана Матвеевича. — Присядь лучше, отец, выпей с нами за праздник, не откажи!

— Противно мне пить с вами, алкашами! — не удержался Иван Матвеевич.

— Э, дед, за базаром следи! Где алкашей видишь?! — напрягся чёрный от раннего загара парень, весь в кубиках жёстких мускул. Он всё это время молчал, сжевивая себе под ноги через забранную в рот соломинку жёлтую слюну, и очень был увлечён этим.

— Мальчики, только не ругайтесь! — закуривая тонким бледным ртом, вздохнула светловолосая девчонка лет семнадцати.

Другая, полненькая, у которой сбилась на голое плечо тесёмка лифчика, отогнув мизинец, заграбастала пивную бутылку и, запрокинув коротко стриженную чёрную головку, припала к блестящему горлышку податливым красным ртом.

— Дай, Верка, сигарету — я засохла без миньету! — отпив, попросила она свою спарщицу по стыдному занятию, а уловив на себе укорный взгляд Ивана Матвеевича, вся скорёжилась мордашкой, как береста на огне. — Ну чё, дёд, зенки пиялишь? Я за просмотр ваще-то баксы беру!

Покатилась со смеху, отхаркнув косточки помидоров.

— Не ополоилась? — с улыбкой спросил Иван Матвеевич.

— Чё?!

— Я, мол, не напрудила в штаны, от смеха-то?

— Ты — старый пень! В натуре, чё пургу несёшь? — она поглядела кругом и смыслёно шмыгнула носом. — Он чё, так и будет меня оскорблять? А-а, крокодил Гена? Я тогда щас соберусь и уйду!

— Да не, Надюха, зачем? — сказал чёрный парень, Гена. — Батя рамсы попутал, не на тех, короче, бочку покатыл... Слышь, старик, гребь отсюда!

Всё разом, что болело в нём весь этот долгий день, взнялось в Иване Матвеевиче от единого слова, будто в самую душу его, смётанную из сушья, сунули горящую спичку, и он, не сдерживаясь более, зажмурился и с яростью своей правоты пинком расшиб застолье. <...>

— Зря, старик! — рывком забрав грудки Ивана Матвеевича в кулаки, чернявый присвистнул: за посыпавшимися пуговицами из-под куртки блеснуло. — О, бля! Да ты воин-победитель! Чё ж ты молчал? Дай-ка хошь одну медалью погарцевать!

— Не трожь! — тихо попросил Иван Матвеевич.

— Вот эту возьми, — не слушая, сказал Гена и протянул руку к ордену Красной Звезды. — У тебя их всё одно две!

Но Иван Матвеевич был начеку и, дивясь, что не забыты навыки, выбросил вперёд левую руку, пересекнув встречное движение к наградам, а правой не так сильно, как хотел бы, шлёпнул в лицо. Он уже не владел собой и только знал, что нужно остановить огонь. Однако прежде требовалось как-то вразумить этих людей, которые отпрянули от него и выжидали друг от друга, кто же первый бросится ему на горло. И первым, обмахнув запястьем красный нос, пнул в живот крокодил Гена, а за ним прокажённый поддал локтем...

— Гена, ты что?! Ну, Бугор, что они делают?! Я бою-юсь! — закричала светловолосая Верка.

Её с силой запихали в машину, где уже сидела Надюха и, выученный в подобных вылазках, освоился за рулём Эдик, глядел в зеркальце и давил на лице прыщи.

— Не на-адо, ну не на-адо! Он же совсем старик, как вам не жа-алко-о!

— Сиди, дура, здесь и не рыпайся!

Обожжённая, курившаяся земля быстро повалилась на Ивана Матвеевича, а в затылок больно ударился кирпич: не то сам, падая, свернул сидище, не то в горячке перепало из чьей-то руки. Кто-то, смрадно дыша, надвинулся на него и заглянул в лицо, шаря по груди.

— Жив я, жив, ребята! — едва слышно вынес из себя Иван Матвеевич. — Ничего, я сам вино...

О, да не сердце его искали, чтобы проверить, бьётся оно или нет, а паршивые железки срывали с пиджака! И больше, чем от удара, сделалось, единой опухолью взялось тело. Наперев в рёбра, ища из потоптанного нутра выход, брызнула из носу кровь и потекла по шее, за уши, а он всё оттягивал белый воротничок, чтоб его не запахло.

— Нет у меня Героя, не ищите! — твёрдо сказал Иван Матвеевич, резко видя сжатый рот человека и жёлтые, с чёрными жгучими перцами посередке, глаза. — Не золотые они! Простые, как у всех...

— Тиши, отец, тише! Извиняй, нечаяно получилось...

— Ну долго ты? Чего ты? Давай сюда! — закричали словно с другого берега; зарычала и, стрельнув, упорхнула машина...

Забываясь, он слышал, как шаяла и трещала трава, будто сам он, каюсь во грехе, в том, что не дал высокого боя, рвал на голове седые волосы. То ударил сильный синий дождь, погребальными пятаками стуча в грудь Ивана Матвеевича, бережной рукой смахивая с пиджака пыль сапог.

«Тася, прости!» — высверкнуло в памяти, и Иван Матвеевич всей кожей почувствовал вековой холод земли.

Завалясь на бок, оскребая пуговицы на горловине хрястнувшей вдоль спины рубашки, Иван Матвеевич к вечеру, кажется, успокоился. Но краем остывающего сознания он всё ещё видел низкое мутное небо и осиротелых птиц, которые носились с рыданиями над выжженными гнёздами, над лопнувшими в огне яйцами, над осквернённой и потоптанной Родиной-муравой...

* * *

Наткнулись на Ивана Матвеевича после праздника, в кочкарнике возле воды. Там ещё лежал голубой лёд, на который прибегали из села собаки — кататься и очёсывать шерсть.

Его боевые выслуги, мёртво блестя в мокрой траве, валялись среди пивных пробок, а в воздухе над этим гиблым местом кружили чайки. Они вымелькивали в ненастной зге, плескали крыльями, будто клали белые кресты над павшим воином, сходились в небе и сверху, с укором взирая на стыдливо зазеленевшую после дождя землю, кричали и плакали навзрыд.

Приехавший из города молоденький, похожий на необдутый одуванчик следователь, щёлкнув серебристым замком портфеля, восторженно огляделся и сказал, что он только по телевизору видел таких больших чаек.

Галина Афанасьева-Медведева

О говорах русских старожилов
Байкальской Сибири

(в сокращении)

Работа над двадцатитомным «Словарём говоров русских старожилов Байкальской Сибири» была начата ещё в 1980 году, когда я отправилась в первую самостоятельную экспедиционную поездку в Верхнеленье — край необыкновенный по природе, наречиям, нравам, привычкам и другим особенностям, резко отличающим его от других уголков Сибири. Он завладел мною сразу и навсегда. Я ощутила эту землю как свою родину.

Именно в Верхнеленье, живущем какой-то особой первородной жизнью, мне посчастливилось познакомиться с уникальными рассказчиками и прикоснуться к чистейшим истокам русского народного языка, до бесконечности поражающего богатством и разнообразием местных проявлений, позволяющих почувствовать Руссию. С тех пор я не знаю никого более близкого мне, чем простые люди.

...В тот приезд нас покорила Мавра Ивановна Томшина, добродушная, смиренная старушка с дивным, родниковым языком, на котором, казалось, говорила Древняя Русь. Из дневника: «1980 год, 7 августа. Захожу во двор небольшого домика с тесовой на два ската крышей, что высоко стоит на берегу Лены. В ограде, как в лесу, запах грибной прели и мокрой хвои... Хозяйки нет дома, дверь подпёрта метлой. Дома здесь не знают замков. В ленских деревнях жизнь выстроена на доверии. Хозяева уходят и снаружи подпирают дверь метлой или палкой, да и то не от людей, а от бродячих собак... Со скрипом приоткрылись тяжёлые ворота, вошла старушка с добрыми, тихими глазами; о таких говорят: они видели Бога. Это Мавра Ивановна. Заговорили. На вопрос: «как живёте?» полился, как живой ручеек, бытийный рассказ о жизни — «тяжёлой ранешной» и «ненастной теперешной».

«...Вот поле боронишь, Господи, не оборони-ка хорошо межу, председатель придёт <...> мы же маленьки были, по шесть-семь лет, а боронили уже.

— Аббэй! Девчонки! Чё же вы межу-то не окаймили? Вот вы платочек окаймите — он же красивый! А если не окаймите, он некрасивый, да ешишо осыпется,

Афанасьева-Медведева Галина Витальевна, фольклорист (род. в 1960 г. в г. Братске). Автор книг: *Рождественская ночь: сказки, былички, заговоры* (Иркутск, 1994); *Знахарство и колдовство в Восточной Сибири* (Иркутск, 1999); *Русская охота на медведя в Восточной Сибири в фольклористике и этнолингвистическом освещении* (Иркутск, 2002); *Охота на медведя: По материалам народной прозы русских старожилов Восточной Сибири* (Иркутск, 2003); *Словарь говоров русских старожилов Байкальской Сибири*. ТТ. 1–8 (Иркутск, 2005–2011). Докт. филол. наук. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

вся красота опадёт! Середину вот, дескать, пусть хоть она вышита будет кака, но надо, чтоб кайма была!

Вот. Строго всё было, строго. Как пашня начинаться, и вот её и боронишь. Потом полосу заборонишь, снова опеть её объезжаешь, окаймляешь, подравниваешь. Потом опеть обораживаешь, борозду делаешь. Вот так строго было. Пашня-то — как платочек вышитый. И вот всё время говорил Василий Васильевич нам:

— Абóй! Девчонки, платочек плохо у вас окаймённый.

Порядок был, порядок. А когда полотьё, этот колюжник-то, осóт, пололи, он же колется. Мне было шесть лет, я полола. А сейчас?! Абóй! Не могу видеть, сердце-то всё изболело, Господи! Все поля запустили <...>. А лес-то! Абóй! По косачам ходили, тетерева-то эти. На этих годах их тьма была здесь, сидят, как вороны на берёзах, хоть за хвост их имай, оне сытые, аж лететь не могут. Кúчно сидели. Мы с краю жили, окно откроешь, и с окна стреляешь. До триста штук добывали в осенíну. Косачей, уток. Пóлом было. А теребить-то — теребíловки были. Вот сёдня у меня теребím, все бабы собьрутсá у меня, сидим теребím, налím, прибираешь. На жердину насдеёшь их, ну, расчередíшь сначала-то, соли горсточку в нутро положишь и на жердь. А жердь-то на подыбзицу, там осень-то подвялятся, а потом в дуло спускаешь, в бочки и в дуло...».

Подобные рассказы, которые, к счастью, пока удаётся записать, ценны не только как произведения устной народной словесности, но и как источник, позволяющий ощутить «дух народа», его обыденный менталитет, складывающиеся веками и передающиеся от поколения к поколению нравственные понятия, нормы поведения и эстетические представления.

Во время той же экспедиции нам удалось повстречать Михаила Андреевича Обедина. Из дневника: «1980 год, 29 августа. Дом Обединых стоит на окраине деревни, рядом извилистая, как змейка, река (за что и получила она свое название — Куленга, от эвенк. кулин — змея) ... Хозяин сидит на крыльце, заваленном кусками старой кожи, ржавыми гвоздями, коваными скобами, подшивает валенки, ловко играя шилом. Над оградой стоит запах рабочего пота, дёгтя, крепкой махорки... У этого глубокого старика — человека многотрудной судьбы — необыкновенно ясные, цвета мокрой спелой смородины, глаза... Михаил Андреевич не мог не поразить своей благородностью, кротостью, соединённой с твёрдостью взгляда». Это удивительный мастер короткого рассказа. Михаила Андреевича давно нет в живых, но рассказы его, которые я слушала двадцать пять лет назад, помнятся до мельчайших подробностей. Эти простые истории обжигающе достоверны, они — беспощадный портрет времени, «документ эпохи».

«...Раскулачивали. Обходили все дворы. Актíвисты. Комиссия человека чéтыре-пять. Зашли там к одному, Иван Васильевич Шеметов он.

— Хозяин кто будет?

— Нету его.

— Мать?

Мать вышла. А у его амбарíшко был, как у нас. У отца была куплена корóбушка самоковшина, из жалеза, он ковал на раскóв. Тележóнка была двух колёс. Таратайка. Кузница стояла во дворе. Свои ведь мужики-кожедёры ходили с сельского совета и с района. Пошли, конíшко посмотрели. Там коровёнка одна была. В кузнице молоток, клещи. Ну и вынесли решение. Имjá надо вынести, к какому отнести: мочный середняк, середняк маломóчный, середняк и бедняк. Чéтыре группы. Стоят и судят, что пришить ему.

— Куда его отнести? — спрашивают у сельского совета. — Кузнец. Чё?! Кúзло имеет, фазтóн (из прутьев из чарёмуховых), как корзинка.

Значит, когда-то здорово жиу́. Фаэто́н! Что ты! Здешний говорит, жалет:

— Да какой он кулак?! Кобылёнка едва жива.

— Да у него кузница, фаэто́н!

Ну, натянули до середняка. Записали середняком.

А тут жиу́ пьяница один. Коня не было. Он уехал менять. А дом хороший быу́. А ребятишки босяка́м. Голые. Он не запашенный быу́. Пашни не пахал, работать не любил, ко́ней менял. Эти нарочные-то говорят про него:

— Беднячи́шко.

Ну и чё. Дали ему коня и зачислили в актíвисты по раскулачиванию. Батраки, лентяи, оне же которы письма писали, что того-то и того надо раскулачить <...>. Старика тут одного раскулачили со старухой. Может, кто зубок на их имел. Отобрали всё, окна забили и выгнали. А оне немочные были. Чё?! Старики! Наймывали хлеб убирать. Сами что?

Хлеб жалко бросить, пашню. А тот-то, кто работал на его, возьмёт и напишет, что я работал на его, пахал, молотил. Из-за этих четырёх-пяти слов человека съедали! <...>. Это в тридцать втором году сортировать стали людей. А перед этим коммуна! В коммуну кто шёл? Эти же и шли лентяи. Потом пашню эту запустили, засорили все коври́ги сорняком. В тридцать третьем голод быу́. Репрессии <...>. Гнали босяка́м. Обутки у которых были, сгнили. Дожж идёт. <...>. Шеметова этого упекли. В Качуг пригнали, анбары были, их туда, мокрых, загнали всех <...>. Назахтре на пароходы и — на север, на Колыму».

Простые и безвестные старики с мозолистыми руками заставляли думать и чувствовать, жалеть, переживать и негодовать; их живая, тёплая речь позволяла ощутить мощь русского языка, независимость и свободу духа.

Из дневника: «1997 год, 27 июня. Магнитофон крутит выгоревшую от времени ленту. Знакомые голоса заполняют комнату... Будто наяву вижу седые крыши изб на высоком взгорке, зеленомшёлый верх деревянной церкви, похожей на взлетающую птицу, бесконечную изгородь, бегущую по краю поля извилистой змейкой; мягкий голос собеседника и чудесная история; она запала в душу и навсегда запечатлелась в памяти со всеми междометиями, неправильностью, огрехами и каким-то удивительно целостным взглядом на мир, где всё гармонично едино: и люди, и животные, и растения.

«— ...Раньше змеиный жир-то сами добывали. Он же кругом го́дный. Ноги натирали, руки. Аа́. Сами топили. Вот мама у нас вшо в горшок умнёт эту жмею́ и в вольну печку поставит. Она там вытопится до жира, один только стамавик останется <...>. Вот у тётки Арины была свекрошка, она отямнела, ей и месяца не было. <...> Раньше же жёнски не сидели, работали, прямо на поле рожали. Ну и мать, видно, ходила с ей на жнивье́, работала и сосила тама-ка под деревом. Зыбку, говорит, зазыбит за куст, чистым дёгтем смажет лицо — мошка же! Кишело! Рукой махнёшь — как по воде! Не дай Бог, какая была мошка! Ягнят, телят заедала в усмерть. Ну и смазала, говорит, и в глаза попало. Ну и всё! Она свет-то потеряла. Всю жизнь сляпá. А тут мама-то, говорит, взяла жмею́ истопить-то, поставила в печку. Но и она, говорит, приходит, сляпу́шка-то эта, свякрошка-то:

— Дочушка, я исти хочу, достань мне суну.

— Доставай. Там вон сун, в печке. Доставай горшок.

А там два горшка стояло. Она зачепила, говорит, горшечек со змеёй-то, поддostaла, она же не видит, чё там. Да открыла. Её, девка, паром охватило. И чё вы думаете?! Паром обдало, и глаза расцвели у неё. И она глаза́м своим увидела, что там змея. Аа́! Вот совсем не видела, а тут раз! — и увидела. Её па-

ром-то как окинуло, она открылася. И вот она стала видеть. С миром помирала. А так всю жизнь, бедна, запечатана проходила...»

...Мне везло. Петлистые дороги моих странствий часто приводили в райские уголки Русской Сибири и заканчивались открытием уникальных мастеров народного слова. Так было, помню, на реке Лене, на Ангаре, Енисее, Шилке, Амуре, на их многочисленных притоках; там, в отдалённых таёжных селениях, полнокровно звучала живая русская речь — простая и величавая, как мерное и естественное течение реки; именно там, в сердцевинной глубине Сибири, почему-то сильнее всего ощущается связь этих стихий: речи и реки, полноводной, свободно и величественно движущейся в нестеснённых высоких берегах (и уже не кажется случайной общая у слов «река» и «речь» древняя основа -рек-, следы которой сохранились в некоторых современных диалектах, где слово «речь» означает реку — «Нынше речь-то наша рыбиста»).

Из дневника: «1991 год, 27 августа. Слова уходят из жизни, как люди... Не дать умереть им, сохранить их — одна из важнейших задач исследователя вербальной народной культуры. Потому во время экспедиции я стараюсь приохотить к разговорам как можно большее число местных жителей. Иногда простое слово (даже и не рассказчика вовсе) может сильно задеть за живое, войти прямо в сердце... Но встречаются люди, пережившие много и умеющие рассказать о пережитом живым, ярким, образным языком. Боюсь не встретиться с такими людьми, людьми, владеющими искусством устного слова, рассказом. Поэтому захожу почти в каждую избу... Разговариваю, слушаю, записываю... По шестнадцать часов в сутки. Для собирателя старины это большая удача. Но сожаление о зря прожитом дне, если он не заполнен такими встречами, преследует меня непрерывно и точит душу».

Из многочисленных устных повествований, из этой, на первый взгляд, сюжетной пестроты, разноголосицы постепенно выстраивалась какая-то большая, скреплённая внутренним единством взгляда на мир, книга о Судьбе русского сибиряка, рассказанная им самим. Она, как ком пущенного с горы снега, уже помимо моей воли неостановимо нарастала, к ней присоединялись всё новые и новые голоса, которые усиливали прежнее звучание; народная жизнь виделась могучим неразделимым потоком, идущим откуда-то из неведомых потерянных глубин времени, замедлившим свой ход в таёжных малохоженных далях Сибири.

...Я дни и ночи расшифровываю бесконечные километры магнитофонных лент, эта работа требует времени, сосредоточенного труда, напряжения, если учесть принцип аутентичного — слово в слово — воспроизведения текста со всеми его фонетическими, морфологическими, синтаксическими, орфоэпическими нормами и отступлениями от норм, сотни раз прослушиваю тексты; и это не гасит и не притупляет чувства удивления народным словом, его образностью, а, наоборот, восхищает и, более того, усиливает моё убеждение в том, что истинная красота, глубина и смысловая ёмкость диалектного слова полноценно проявляется в устном рассказе. Именно рассказы, как рентгеновские лучи, насквозь просвечивают все потаённые уголки семантического поля слова.

...Часто бесценными они оказываются и с точки зрения информационной. Без них представление о народной жизни, культуре, природе, истории Сибири было бы неполным. Не думаю, что мы могли бы узнать, например, что-либо о словах «бой», «боёвка», «боёвщик», «боёвый», «боевать», развивающих «мирную» тему — рыболовство, если бы не встречи с ангарскими рыбаками. Бой, боёвки — так местные жители называют способ добычи красной рыбы на Ангаре в местах её зимней спячки — в зимовальных ямах.

Краснопёрка — рыба стайная; устроившись друг на друге, «плотом», в несколько уходящих ко дну рядов, она зимует в одних и тех же местах: у порогов, перекатов, в шиверах. Это хорошо знали на Ангаре. В конце сентября — начале октября, до Покрова, устраивали так называемые выставки: со всей Ангары съезжались рыбаки к Ковинской шивере, Рыбинской, Аладыной, к Шиманскому порогу, Мурскому, Агийскому. Каждая деревня в этих местах выставляла по несколько своих лодок (отсюда и слово выставка). Общее их число иной раз достигало 600–700. С них и боевали рыбу.

В каждой лодке сидели по два боёвщика, мужчина и женщина, чаще всего муж и жена, иногда брали третьего, из «недоростков», помощника. Старший, обычно это был самый опытный, пользующийся авторитетом боёвщик, выбирал близ берега на угоре высокую лиственницу, ставил на ней мету, вывешивал на вершину красное полотно — выше отмеченного таким образом места никто не имел права ставить самолёвы.

Утром ставили подмёт — самолёвы-продольники, а вечером выезжали на бой. Первым выезжал старший, за ним — все остальные. Сидящие в лодках начинали «выбуживать» рыбу: поднимали шум, бросали заранее приготовленные камни, гулко стучали веслами по воде. Разбуженная рыба всплывала из холодной глубины, растерянно бросалась вниз по всей ширине реки и попадала на крючки с остро отточенным жалом; встав на крючок, она не высвобождалась из плена, бездвижно замирала. Каждый хозяин знал свой самолёт, перед этим он «пятнал» наплав своего самолёта: окрашивал их или делал зарубки. Чтобы пойманная рыба «не уснула», ее садили на кулан (на лышную, из коры тальника, связку) или держали в деревянных садках. По мере необходимости доставали её оттуда и употребляли в пищу.

Во время боя рыбаки ночевали прямо на берегу: на стылую землю стелили сухой палый лист, лапник — мохнатые еловые ветки, сверху бросали привезённый с собой потник, накрывались стёженкой. Если шёл дождь или пробрасывал снег, лодку вытаскивали на берег, переворачивали вверх дном — крышей, под ней и спали. На берегу то там, то здесь беспрестанно мигали костры; тесно прижавшись друг к другу, чтобы «не растерять тепло», кучно сидели уставшие рыбаки; за чаем, за разговором коротали осеннюю холодную ночь...

В рассказах о боёвках отражены и некоторые необычные для нашего слуха слова: *чалбыш*, *костёр* (*костёрка*, *костёр*) и др. Они сформировались в глубокой древности и были занесены в Сибирь из Европейской России. Такого, например, ставшее теперь реликтовой формой слово *чалбыш*, употребляемое в значении «небольшой осётр»; на протяжении нескольких столетий оно активно использовалось в живой речи русских сибиряков, о чём свидетельствуют архивные материалы, в частности, «Описные книги рыбных ловель Енисейского уезда» за 1704–1705 гг.: «...а ловимъ мы рыбу в разных местехъ... а я Григорей Дутов на двух переметах удами с весны до полулета рыбу чалбыши стерляди»; «...в улове бывает... у меня Григоря Дутова с весны до полулета по три чалбыша по пятнатцети стерлядей»; «...в улов бывает в год... по пятисотъ нелем по тринацати чалбышей»; «...ловлю я... на себя... рыбу чалбышей... в улов бывает у меня в лето по десяти чалбышей и болши и менши».

По-видимому, это слово было занесено в Сибирь с Волги. Во всяком случае, в XVII столетии оно было известно в Астраханском крае; в звенигородском тексте за 1652 г. читаем: «отпущено... 50 осетров да 100 чалбышев»; в рязанском тексте XVII в. засвидетельствовано слово «чалбушок» (от чалбуш).

Постепенно с каждой новой экспедицией открывались нам и праздни-

ные традиции жителей Приангарья. Именно там в 1980-х годах нам довелось услышать о «съезжих гуляниях», приуроченных к общим церковным праздникам, — уникальном явлении сибирской старины. Из дневника: «1982 год, 24 июля. Мозговая Кежемского района Красноярского края — одно из самых красивых ангарских селений с возвышающейся на угоре деревянной, построенной без единого гвоздя, церковью (она и сейчас стоит, правда, в гибнущем виде), от неё тянутся добротные дома; один выделяется оконным верхом — необычным очельем в виде крыльев ангела. Здесь я впервые почувствовала тоску русской души в сибирской песне, которую по-вечернему тихо приплёскивал с другого берега реки летний, настоящий на свежескошенных луговых травах, ангарский ветер:

Эх, уж вы... вы да ночи, да ночи тём...
Э-ой, да ночи тёмная,
Ой, ночи да осенняя...

Её тут же подняли и разнесли на голоса мозговские старики; через некоторое время зазвучала новая песня:

Чернобровый парень бравый
На заваленке сидел.
Вил верёвочку шелковую,
Песню смурную он пел:
— Вейся, вейся, не развеяйся,
Ты, верёвочка моя.
Для кого ж тыгодишься,
Твоей судьбы не знаю я.

Может быть, тыгодишься
В позднюю осень бурлакам,
Или этою верёвкой
Парня свяжут по рукам...

Устинья Ивановна Кокорина — коренная жительница, полуслепая набожная старушка с чутким, отзывчивым сердцем. В её бездонно-голубых, как Ангара, глазах проглядывала личность с глубоким пониманием жизни. Органично погружённая в прошлое, она живо, бойко, талантливо вспоминала о своей жизни. Однажды вечером, сидя у камелька (электрического света нет в Мозговой), Устинья Ивановна «выдохнула» небольшое повествование о праздниках на Ангаре, когда в одну деревню съезжались многочисленные гости с округи, случалось, «выезжали целыми деревнями».

«Абро́сим праздни́ки отбро́сил <...>. Абро́симы-то, оне в декабре бывают. До Рождества Христова праздни́ков больше не быват. Он съезжо́й праздни́к, Абро́симы-то. Его в Селенги́ной праздни́вали; с Усо́льцевой приедут, с Ке́жмы. Ездили. Ангара встанет, дороги ле́довы прочистят, вот до Панóвой чистили, до Селенги́ной. Селенги́но-то тоже на острову́. Тороса́ рубили. Панóвски к нам встречу идут, рубят, а мы к имя́м идём, рубим, к имя́м встречу. Ездили друг ко дружке. Иконы носили. Это в декабре Абро́симы. Мы с икона́м ходили. Мороз. Ко́поть! <...> Это счас запу́шти́лося всё. А раньше-то вот старухи-то были, иконы подымали. Соберутся. Много икон. По двое несут эту икону. Да́леко уйдут. Дойдут до Ке́жмы и обратно. О́дновы́динкой ходили. Иконки поставят, помо́лятся, про-

сят Бога, чтоб здоровья дал. В поле-то часовёнка стояла. Там крест стоял. Его новіли. Сгниёт, его мужики поновят. Не запускали. И вот ходили, иконы подымали. Больши-то иконы вдвоём несут, поменьше — один человек несёт. Из церкви вынесут эти иконы, а мы малыньки, мама-та:

— Устья, садиша под Бога!

Я сяду под икону, мне ребят дадут грудных, и иконы проносят чрез меня. Вот тако заведёнье было. Я малынька была, под иконы садилаша. Вот там кругом часовёнки поставят... по-за часовёнки. И Богу молятся. Вот. Иконой пославлёнье делали, ограждёнье. А у нашей мамы ссыльный жил. Абросим звали. Он не попускался, ходил, молился в Абросимы. Праздник же его. С иконам пойдёт. Икону возьмёт, а у мамы больша икона была, возьмёт и идёт со всемя. Ссыльный он. Их же раньше много было. По всей Ангаре. Ссылны да бродяжны. Раньше народ ангарский жалистливый был, бууку хлеба, простокішу на столб ложили, кто кринку молока, глиняну, чтоб не пугали, не лезли. Их же боялиша, бродяг-то. А так ничё. Он идёт, поглядит: на столбу буука хлеба, молоко, позобал да дальшие пошёу. А у деда моего, это тятиного отца, дак у него в сёнцах окошечко рублёный был, бродяжка, дак он в него выставлял. Молоко поставит, хлеб. На ночь. Утром встану, говорит, ни молока, ни ковриги. Вот эта бродяжка. Да она у всех была. Боялиша же! Говорили: «Пойду на бродяжку-то поставлю». Значит, спать уже. Поздно. Вечером подойшь и поставишь. Людей жалели. У нас у мамы этот Абросим-то, он зимой жил, а так-то он посутошник, он по суткам жил по всей деревне, у одних сутки поживёт, потом ко другим, там сутки опеть, дак всё говорел:

— Ох, матка, матка! — он хохол, видно, быу. — Тебе охота на своей лавке помереть? <...> И мне тоже охота.

...Он потом так по зимнепутку и ушёл».

Многих рассказчиков, с которыми сводила меня судьба, к сожалению, уже нет в живых. Из дневника: «1997 год, 12 января. В девяностые годы из жизни ушло большинство тех, кого я знала четверть века... Последние десять лет двадцатого столетия едва ли не самые тяжёлые; люди, как в военное время, думают о куске хлеба... Нищета, чашка жидкого чая, нескончаемые блестящие рассказы и неотомимая тоска, от которой болит сердце... Я часто перебираю их имена... Думы о них светлы и трогательны, как молитвы».

...Нет в живых и целых деревень. За небольшой исторический промежуток времени исчезли с карты России: Белоборóдова, Березóво, Большая, Бубнова, Вóлогжина, Гóликова, Зарубина, Зырянова, Зятъя, Игнатьева, Илимск, Кáчина, Кóрсукóва, Кúклина, Литвинцева, Мыс, Нижнеилимск, Новая, Оглоблина, Панóва, Пискулина, Погадаева, Прокопьева, Пушмина, Ромáнова, Селезнёва, Сóтнিকова, Старая Игíрма, Стúпина, Черёмная, Чúkчина (она и Уфíмцева), Шестако́ва, Шумíлина и др. Все они ушли под воду Усть-Илимского моря. Ушли под воду и десять тысяч знаменитых илимских благодатных — «воткни в землю палку, и палка зацветёт» — пашен, которые когда-то кормили всю Сибирь и её окраины.

Ангарскую Матеру продолжают раскатывать на брёвна, готовят под затопление новые территории (в связи с Богучанской ГЭС, четвёртой, судя по всему, последней на Ангаре). Уже безжизненны Мозговáя, Недокúры, Селенино́, Усольцево, Фролово и др.; «санитарно зачищены», т.е. сожжены и сравнены с землей, Аксёнова, Дворец, Тушама... Это те селения, которые наиболее полно сохранили традиционный строй жизни, русскую самобытную культуру. Последствия от запуска Богучанской ГЭС местным жителям видятся столь же губительными, как и последствия от предыдущих ГЭС, о которых до сих пор живы рассказы.

«Богучанскую ГЭС запустят, тогда уже всё, ангарская сторона кончится.

Счас хоть от Богучан до Енисея мало-малишина есть ещё рыба, а потом всё кончится. Вот ГЭС же эта Усть-Илимская, или вот Братская хотя бы взять, оне же всю Ангарау здесь кончили. Раньше кака токо рыба ни была здесь! И осётр, и костёрка. А ГЭС кода, плотину-то перегородили, а ей деваться-то некуда, она же на икробой в боковы, ключевы речки плывёт, а их же затопило, речки-то, море же кругом стало, и она билась, бедна, о камни, рыба-то, осётр вот, и на берег выбрасывалась. Берега-то, девка, серебряные были. Вот сколь рыбы-то повыбрасывалось! Тонны её. Вот едешь, всё блестит. Всё усыпано было.

А на берегах этих чё было? Медведи табунам ходили, рыбу эту ели. Вот. Ад какой разворотнили! А лес-то топило когда, тайгу-то затопило, а потом деревья-то стали гнить под водой. Яд от их пошёл. Кончили Ангарау. Вот рыбу ловлю, сидю в лодке, осётр кверху брюхом. Достаяю. А он мёртвый. Ему же нечем дышать. Жабры-то у него все гнилью забиты, гниль от деревьев этих. Надо было дно-то имям подготовить. Когда море-то сделали. Надо было убрать лес. А он счас гнёт. И не пить нельзя воду. Рыбы не стало. Погибáловка!»

Людей против их воли переселяют в другие, не самые лучшие места. Выброшенные из родных гнездовий, они чувствуют себя выпавшими из жизни. Потому и рассказы о выселении незащищённых, потерянных стариков звучат как истории о конце света.

«Тушáму, девка, сожгли, а она несколько лет дышала, как живая... Она несколько лет горела. Мы могли бы там жизнь прожить, до смерти дожить» (Е.М. Карнаухова, 1910 г. р.; Кеуль). «Дома жгут, а бабы плачут, воют по-покойнишне <...>. Вот хозяев если нету в доме, они [поджигатели. — Г. А.-М.] приходят, замки срывают. Всё там, что там есть, всё вытаскивают на улицу и поджигают. Совсем не считались с людьми-то. А никто не подумал <...> родители здесь, у родителей родители здесь жили. И нам пришлось» (В. И. Поляков, 1923 г. р.; Ёдорма). «Меня в Кóдинск переселили, я день и ночь плачу. Приеду сюда, дак насмотреться на церковь не могу. С кладбишища не выхожу, прощаюся. Могилки-то ведь все потопят. Топили же братские земли, когда ГЭС-то эту Братскую пускали, так, знаете, вот эти кладбишища все поразмыло, дак гробы по Ангаре плыли. Ой, не дай Бог! Грех-то какой! Могилки по воде! Я после этого рыбу-то не могу исти. Вот наши ездят рыбу ловят, привезут, да жирну добудут, а я не ем. Там же мертвецы, рыба-то жирует на наших родителях» (М.И. Кокорина, 1924 г.р.; Кежма).

Из дневника: «1988 год, 14 августа. Тушáма расположена на прекрасном месте. Она стоит высоко и открыто. Слегка изогнутый, как лук, высокий берег, к которому, будто на крыльях, взмывается Ангара — река здесь шириной с километр. А от берега в глубь матеры — ослепительно жёлтые хлеба, догоняющие горизонт. В них ещё весело галдят воробы, а деревни уже нет — лишь два дома на высоком берегу: один без верха, с полыми окнами, над вторым вьётся дымок — должно быть, там рыбаки...

...Мы пошли по еле заметной тропке, что когда-то была широкой улицей; по обеим сторонам тянутся пепелища, стелется дым, хотя деревню жгли давно. «Тушáма дышит! — говорят местные старики. — Тушáма стонет!»

«Всё под пепелок сгорело, — рассказывает Анна Николаевна Карнаухова. — Токо печки глиняны стоят да трубы, как памятники... Смотришь, душа сыпется... Вот тут Василия Сибирякова изба стояла, он её сам спалил... Чтoб чужой не жёг. Изба горит, а он плачет!...А како место-то бра́во! Всё в зелени! Чарёмуха зацветёт — кругом белым-бело! А цветонад-то когда, дак будто снегом всё припорошит. А дух-то от ея!»

Мы продирались сквозь дурманно пахнувший бурьян. Над угрюмыми дыма-

ми плыли облака с серебряной каймой. На опалённой земле валялись железные искореженные кровати, пилы, топоры, литовки, корчаги, помятые ведра, в стороне — самодельная, из тряпиц с набитыми опилками, кукла с оторванной головой...

Я бродила по деревне, как по погосту, всё искала какую-нибудь значимую вещь, но ничего не находилось. Думалось, что для людей, которые жили здесь сотни лет, родились здесь, росли или, как говорят старожилы, подымались, пели, радовались, умирали, всё было значимым: и эта пила, и топор... Казалось, что люди не ушли, не уехали, а бежали, будто спасаясь от бомбежки, впопыхах побросав нажитое добро, уже никому не нужное в другой жизни, на новом месте: не станешь косить литовкой, если пришлось сдать коров, лишиться покоса, не будешь ловить рыбу, если река за много километров от дома...

Мы быстро уходили от едкого дыма, окутывающего чёрный выжженный, похожий на линию фронта, берег, от сырого холодного дыхания Ангары, от тяжёлых, переворачивающих душу рассказов людей, поднятых с обжитых мест, где сотни лет жили и умирали их отцы, деды, прадеды, те самые пашенные крестьяне, которые, по словам В. Н. Шерстобоева, когда-то быстро и навсегда решили вопрос — быть ли Сибири китайской, японской, английской или русской...

Скоро, к сожалению, под водой окажутся последние старожильческие селения Средней Ангары, православные храмы, часовни, дома, поля, сенокосные луга, охотничьи угодья; этот культурно-хозяйственный слой, который, как гумус, формировался здесь в течение трёх столетий, в ближайшее время станет илистым дном искусственного водохранилища.

Ангарский край, как, впрочем, многие другие уголки Сибири, которые могли бы стать заповедниками живой старины, постепенно превращается в мёртвую зону...

Потому исключительно важными представляются материалы, которые в течение многих лет собирались в местах, оказавшихся на краю гибели. Большинство из них вошло в данный Словарь. Они, как и другие тексты, включенные в него, воссоздают стремительно уходящую в прошлое жизнь русских крестьян Байкальской Сибири — материальную и духовную: традиции земледелия, охоты, рыболовства, домостроительства, язык, нравы, обычаи, обряды, ритуалы, верования.

Мы ждали тебя, а ты всё не шёл...

Рассказ

1

Старуха Марья в ужасе отшатнулась от окна. Показалось, над двускатной надворотницей висит искривлённое злобной усмешкой лицо Дортэ. Она выронила из рук стеклянную чашку, которая с глухим стуком ударилась об пол и раскололась надвое.

Марья ненавидела Дортэ и в то же время боялась его. Последнее было унижительно, стоило повстречаться с ним, как сердце её сжималось от страха.

Старуху охватила дрожь, и она не сумела сдержать себя и заплакала.

— Почему он преследует меня? — спрашивала в отчаянии и тут же задавалась другим вопросом: — Я плачу?.. Отчего же я плачу?

Но ей лишь казалось, что она плачет. На самом деле глаза её были горячи и сухи, просто кровь прилиwała к вискам, схватывала их резкой болью, а потом, отпуская, растекалась по лицу.

Марья мысленно видала глубокий, заросший чернобыльником овраг, на его краю лицом к обрыву стояли трое мужчин, а за ними — ещё трое, с винтовками наперевес, которыми командовал Дортэ.

Марья притаилась за кустами талицы. Она пробежала через весь город, и теперь усталость разливалась по телу.

Среди приговорённых к смерти был и её муж — Бортэ-чино. Он ни разу не оглянулся, но она чувствовала, что он догадывается об её присутствии. Рубашка у него прилипла к телу. На узкой, ссутулившейся от напряжения спине острые лопатки то сходились, то размыкались. Меж лопаток-то и вошла пуля...

Марья надела курмушку и вышла на улицу. Было ещё темно. Лишь отблески восходящего солнца струились в воздухе, пятная мёрзлую, комковатую землю. Лицо Дортэ, стоило ей выйти, исчезло, растворилось в сумраке. Марья обессиленно улыбнулась, опустила голову и медленно побрела по тихой и печальной в этот предутренний час улице. Печаль злилась повсюду: в ликах заброшенных, полустгнивших домов, в холодных, с обрезанными верхушками тополях и даже

Балков Юрий Кимович, прозаик (1961, Иркутск — 2005, Иркутск). Автор книг: *Огнём опалённая воля*: повести (Иркутск, 1997); *Когда на горе начнёт куковать кукушка*: повести (Иркутск, 1998); *От серпа и молота к золотому тельцу*: публицистика (Иркутск, 2000); *С родины на чужбину*: повести (Иркутск, 2005); *Проклятие Баальбека*: повесть // *Моё Забайкалье* (Улан-Удэ, 2008); *Улигеры одного года*: повесть (Иркутск, 2010). Член Союза писателей России (Иркутская областная организация).

там, где ещё трепетала жизнь — вялая, сонная, обречённая раз и навсегда течь по одному и тому же руслу. Слух был напряжён до предела, и Марья различала стоны людей, что метались, и во сне не находя покоя.

Развалины храма открылись внезапно. Дорога, петляя меж поваленных, с обрубленными сучьями деревьев, вывела на суглинистое взгорье, с которого увиделись обомшелые, но ещё не утратившие изящества белые колонны. Внизу было светло, как днём.

Она спустилась вниз и долго смотрела на потрескавшиеся фрески. И вдруг увидела на месте лика Спасителя серое известковое пятно.

2

Снег влажными хлопьями ложился на дорогу, оседал на полыни и дикой конопле. Аюр с трудом различал дорогу. Клонило ко сну. Он сбросил газ, а скоро и вовсе прижал машину к обочине, опустил голову на руль, сказал вяло:

— На боковую тянет...

Касьян с минуту пристально смотрел на парня жёсткими глазами, потом полез в карман пальто. Морща широкий, с багровой отметиной посредине лоб, вытащил тёмно-коричневый, с фиолетовыми подпалинами по краям шарик гашиша:

— Забей пятку...

Гашиш ударил в голову. Аюр почти не чувствовал руля. Тусклый свет от фар бежал впереди машины, вырывая из темноты ребристое, залитое талым снегом шоссе. Вдруг колёса угодили в мазутную лужу, машину круто развернуло и прижало к насыпи. Аюр сбросил газ, вывернул руль вправо и тут с ужасом понял, что совершил ошибку. Машину ещё раз развернуло и понесло под откос.

Аюр распахнул дверцу. Упругая струя воздуха ударила в лицо.

— Прыгай! — закричал Касьян, и Аюр резко оттолкнулся от мягкого сиденья. Он почти не почувствовал удара при падении на мелкие и острые камни, но, когда стал подниматься, левое колено обожгла боль.

Машина упала в пропасть и загорелась. Яркое, золотисто-малинового цвета с чёрными прожилками по краям пламя трепетало на ветру, становясь всё меньше и меньше, и скоро приобрело облик угловатого, одно плечо выше другого, с горящими волосами, горбоносого человека. В горле запершило от едкого дыма. Аюр в ужасе закрыл лицо руками и застонал.

— Чего ты?... — неожиданно услышал он рядом хриплый голос приятеля и почувствовал, как занемели пальцы. Аюр не верил глазам: с Касьяном ничего не случилось, он лишь разорвал штанину и ободрал в кровь руки.

3

Известь ещё не высохла. Марья прикоснулась к пятну и тотчас, словно обжёгшись, отдёрнула руку. С минуту смотрела на неё: бледную, трясущуюся, сквозь прозрачную кожу синели узловатые вены. Потом отошла в сторону и села на кучу щебня. Почувствовала какое-то опустошение. Мысли были вялые, путанные. Казалось, появляются лишь затем, чтобы тут же исчезнуть.

Вспомнилось, как в давнюю осень, не зная, что фронт подошёл к родной ста-

нице, надумала стряпать. Растопила печь и замесила тесто — и тут небо в окне озарилось алыми сполохами, вдали что-то заухало, засвистало.

Вскоре станица с четырёх сторон была охвачена пламенем. Частая дробь выстрелов смешивалась с криками, треском горящих строений. Люди точно обезумели. А старые казаки, нарядившись в парадные мундиры, встречали красноармейцев с саблями в руках... Марья металась по улицам, пока не столкнулась с группой поджигателей. Один из них схватил её и притянул к себе, но она впилась ногтями в ненавистное лицо. Парень закричал от боли, а потом ударил прикладом в живот. Марья охнула и упала на мёрзлую землю. Её ударили ещё раз, а потом ещё и ещё...

Когда она открыла глаза, то удивилась пронзительной синеве неба и какой-то глухой, обвальнющей тишине. Попыталась приподняться, но грудь сдавила жгучая боль. Над ней склонился высокий смуглолицый юноша с раскосыми, в тёмных обводах глазами, напоминающими потухшие угли, подложил под голову войлочную подушку.

— Кто ты? — испуганно спросила Марья.

— Бортэ-чино, — с тлеющей на потрескавшихся губах улыбкой произнёс юноша.

— Где я?..

— В степи.

А потом... Что было потом?.. Кажется, Бортэ-чино отнёс её в свою юрту... Нет, это случилось после того, как они побывали в станице, где вместо изб она увидела чёрные, обгоревшие печи.

— Я построю здесь храм, — сказал Бортэ-чино, и она поняла, что всё, чем жила сызмала, исчезло, сгорело в огне жизни, которую красноармейцы принесли на кончиках своих штыков...

Марья уже не могла больше находиться в прошлом и отстранённо посмотрела на себя. Удивилась, что сидит на земле и собирает на платок щебёнку, а потом высыпает её. Попыталась вспомнить, как оказалась в храме, но в голову ничего не шло, а скоро подумала, что это, в сущности, не имеет значения, как не имеет значения её жизнь.

Марья перевела взгляд на стену и смутилась. Известковое пятно исчезло, растворилось в ярко-золотистом свечении, которое исходило от светлого лика Спасителя. И тотчас на Марью повеяло чем-то лёгким, приятным, как речная прохлада. Она с наслаждением прислушивалась к себе и улыбалась. Сердце билось ровно, и на душе было такое, что, если б могла, слилась бы, не раздумывая, с этим свечением и стала бы его хотя и малой, но живой и трепетной частью.

— О!.. Это ты, Марья?! — услышала она ненавистный голос, и в храме тотчас сделалось неудобно и сумрачно.

Это было так неожиданно, что Марья растерялась и, глядя в глаза Дортэ, долго не могла справиться с волнением. Стало трудно дышать, и она снова обратила свой взгляд к Спасителю.

— Ведьма! — закричал вдруг Дортэ, поднял камень и метнулся к стене с ликом Иисуса. — Ненавижу! Я уничтожу Тебя!..

У Марьи закружилась голова, а внутри словно бы оборвалось что-то и зазвенело. Она с трудом поднялась с земли и вышла на улицу, не пытаясь остановить Дортэ.

Вокруг храма, как игральные карты, были разбросаны могильные плиты. И представились Марье тысячи людей, что полвека назад пришли сюда. Пришли разрушать храм, который построил Бортэ-чино. Безумие горело в их гла-

зах, и это создавало ощущение веселья тысячеголового дракона. Под нелепые и бессмысленные, как и то, что должно было случиться, звуки духового оркестра из толпы выступил Дортэ и, размахивая руками, произнёс короткую речь. Даже её обожгли слова о всеобщем братстве. Это теперь Дортэ жалок и ничтожен, а тогда его голос звучал на каждом перекрёстке.

— Небо послушно нашей воле, — сказал Дортэ. — Мы — хозяева жизни!

Толпа одобрительно загудела, и Дортэ поднёс спичку к фитилю. Малиновое пламя побежало к храму. А потом раздался оглушительный взрыв, разорвавший небо на грязные лоскутья. Пахнуло гарью. Когда дым рассеялся, все увидели, что храм даже не покачнулся. Только штукатурка осыпалась на резных колоннах и цветные стёкла вылетели из окон.

Бортэ-чино посмотрел на позолочённые купола и улыбнулся сквозь слёзы. Храм уцелел, несмотря на чудовищную силу взрыва. Это ли не лучшая похвала мастеру, который его построил? Он ушёл сразу же, как только подручные Дортэ стали кирками и ломами крушить резные колонны, снимать со стен иконы и предавать их огню. До самого ареста, до той роковой ночи, когда солдаты ворвались к ним, Бортэ-чино не выходил из дому...

Марья верила, что он вернётся, и ждала его. И Бортэ-чино вернулся. Это случилось через много лет после его гибели. Всю ночь Марье снились кошмары, а утром голова раскалывалась от боли; Марья обвязала её влажным полотенцем и подошла к окну. И тут увидела, как солнце поднимается из колодца и направляется к дому. Спустя немного услышала детский плач...

Марья ещё раз окинула взглядом скорбные руины храма и, вздохнув, побрела по улице.

4

...Касьян смотрел в зияющую бездну, где догорала машина. Истаивала в его душе надежда на окончательный расчёт с тем, кого ненавидел и боялся. Три мешка конопляной шалы, с большим риском добытых у Мёртвого озера, возместили бы его долг Фирсу, а значит, он мог бы жить спокойно, без страха, который в последние дни сделался невыносимым, — погибнуть от воровского ножа или заработать срок.

Поднявшись на шоссе, парни молча двинулись в путь. Они были одни в степи, ветер завывал протяжно и тонко. И тут Касьян увидел, как облако снежной пыли начало отделяться от вершины голой, заросшей прошлогодней травой сопки, похожей на загривок огромной собаки. Тревога пала на сердце. Ещё немного, и их занесёт снегом, так что потом и не отыскать...

Он махнул рукой и побежал по дороге. Аюр с трудом поспевал за ним. Скоро они поравнялись с лысой сопкой, и Касьян, подняв голову, не увидел над ней снежного облака, облегчённо вздохнул, улыбнулся сухими, обветренными губами и медленно пошёл дальше. Смерть отступила ещё раз.

Сколько они шли?.. Три часа, пять, а может, больше?.. Касьян устал, во всём теле чувствовалась непомерная тяжесть, мокрые ноги задубели от холода.

Вдруг Аюр остановился и опустил в сугроб. Касьян поднял его:

— Надо идти, а то замёрзнем!

— Я хочу спать.

Касьян не сильно, но хлётко ударил его по лицу, а потом схватил за руку и повёл. Однако скоро понял, что они не уйдут далеко, и отпустил парня, решил передохнуть в затишке у дороги. Спустились в овраг. Аюр присел на сучковатую

лесину. Касьян смотрел на его дрожащий от холода подбородок. То, что теперь испытывал к нему, было удивительно. Хотелось сделать парню что-нибудь приятное. Но что он мог предложить, кроме веселящего шарика гашиша? А впрочем, почему бы действительно не курнуть плана, а там, глядишь, Бог пошлёт попутку...

Они забылись в зыбкой полудрёме, прижавшись спинами, когда на дороге послышался гул автомобильного мотора. Касьян растолкал приятеля:

— Машина!

Он не успел и глазом моргнуть, как Аюр уже карабкался на скользкую дорожную насыпь.

«А вдруг в машине сидят такие же плановые, как и мы? Мало ли что взбредёт им в голову?» — едва Касьян подумал это, как раздался глухой удар, и пронзительный крик разорвал тишину.

5

Дзинь, дзинь-дзинь, дзинь — донеслось с улицы, и Марья поднялась с кровати. По Дортэ можно было сверять часы. Уже пятьдесят лет в одно и то же время он приходит на площадь: в центре её лежит ржавая рельса, неизвестно кем и когда принесённая в Каинский бас, где нет ни железной дороги, ни трамвая, — и бьёт по ней до тех пор, пока не рассеиваются последние сумерки.

Дзинь, дзинь-дзинь, дзинь — звучат в темноте гулкие удары, в окнах домов зажигается свет, распахиваются двери, и рабочие люди, матерясь и покашливая спросонья, выходят на улицу.

Марья смотрела в окно и думала, что наступил ещё один день в их жизни, полной тоски и ожидания, которые так переплелись, что невозможно понять, где начинается одно и заканчивается другое.

— Господи, — прошептала Марья, — за что нам такие муки?

Она впервые просила не только за Аюра, а и за одиноких и несчастных жителей Каинского баса. И делала это так истово, что скоро молитва превратилась в стон: — Слышишь ли Ты меня?..

Марья не рассказала Аюру, что нашла его на крыльце. Ей было бы горько, если бы тот, кто называл её мамой, вдруг узнал правду о себе.

Марья оделась и пошла за дровами. День был чист и свеж той особенной свежестью, которая снимает усталость.

Марья посмотрела на небо, глубокое и синее, прошитое на горизонте яркими солнечными лучами, и улыбка, ровная и спокойная, сглаживая морщины, растеклась по лицу. Но недолгой была её радость. Заметила во дворе стариков, которые обступили долговязого парня. Она узнала Касьяна, хотя видела его с Аюром лишь однажды, и внутри у неё похолодело, силы покинули её. К Марье подбежали и, подхватив под руки, повели в избу. Земля уходила из-под ног, всё плясало перед глазами...

6

Каждое утро Касьяна словно бы выворачивало наизнанку. От колотья в груди было трудно дышать. Но всё же он находил в себе силы подняться с постели. Шёл к Марье. Колот ей дрова и носил воду, а она словно бы не замечала его. Недвижно, сложив на коленях руки, сидела на табуретке. Однажды, желая повиноваться перед ней, он глухо обронил:

- А ведь я тогда был с Аюром.
- Я знаю, — слабым голосом отозвалась старуха.
- Простите меня.
- Бог простит.

Пролетела весна, наступило лето. Он заметил это, когда зацвела акация, и удивился тому, что идёт по улице в тёплой куртке и обшитых рыжим собачьим мехом ботинках. От весны остались в памяти хлёсткий ветер, слякоть, тяжёлый запах невымытых полов в комнате, где жил, и скорбные глаза старухи. Ворота её дома были распахнуты настежь, и он только сейчас обратил на это внимание и смутился. Прошло три месяца со дня смерти Аюра, а Марья всё хоронила его.

В холщовой рубаше, скрестив на коленях руки, старуха сидела на кровати и невидящим взором смотрела вокруг себя. Касьян опустился на табуретку и сказал, что на дворе лето. Но Марья даже бровью не повела, и он закричал в отчаянии:

- Нельзя так! Надо жить!.. Жить!..

Марья удивлённо посмотрела на него и как-то странно улыбнулась. Жить? Ради чего? Она потеряла всё, что только могла потерять, и теперь хотела, чтоб её оставили в покое. Мысленно она как бы погрузилась во мрак, в небытие. Это погружение было приятным. В теле чувствовалась необычайная лёгкость, и голова была ясная.

- Что с вами? — испуганно спросил Касьян и схватил её за руку.

Старуха недовольно поморщилась.

Касьян отпустил её руку и медленно, словно бы надеясь, что она вернёт его, направился к двери.

Он долго не приходил к ней, а однажды столкнулся у моста с шумной толпой, которая заполнила всю площадь, и остановился. Секундного замешательства хватило, чтобы толпа, подобно реке, увлекла его, не давая опомниться, несла по кривым, душным улицам. Люди что-то говорили, кричали, шумели, и солнце бежало впереди толпы, чем-то напоминая умную и верную собаку, которая указывает дорогу заплутавшему охотнику. Вдруг точно из-под земли выросли угловатые и скорбные, с обомшелой папертью, но ещё не потерявшие своего величия развалины храма. Толпа остановилась.

— Знамения не ждите! — раздался чей-то решительный голос, и Касьян, заинтересовавшись, приподнялся на носках и увидел Марью.

Она была в чёрном платье и чёрной косынке, и глаза её тоже были черны.

- Свершилось! — помедлив, снова сказала старуха.

И хотя люди не совсем поняли, что именно свершилось, они расценили слова Марьи как призыв к действию. Одни взялись за лопаты и начали расчищать малый, вросший в землю придел, от которого остались лишь стены, другие стали по цепочке передавать битый кирпич, а третьи принялись скоблить обомшелые, в дождевых потёках стены.

Касьян подошёл к Марье.

- Свершилось! Свершилось! — шептала она.

Отчего-то сразу Касьян забыл все тревоги, на душе сделалось легко и спокойно. Он подозвал к себе скуластого кривоногого парня, чтоб отнести нагруженные носилки, но Марья отослала парня обратно. И они пошли с носилками за ограду храма, где желтели отвалы земли, которые вырастали с каждой минутой. Люди с восхищением смотрели на Марью.

Три дня пролетели как один. Люди ночевали тут же, у храма. Ночью жгли ко-

стры и разговаривали о жизни, а утром снова принимались за работу. Это было похоже на сражение. Святое воинство накатывалось на завалы и до вечера осаждало их, а потом отступало, обессиленное.

7

В другой раз Касьян прошёл бы мимо, сделав вид, что не заметил Фирса, но сегодня ему сам чёрт был не страшен.

— Пацаны на тебя в обиде, — сказал Фирс вместо приветствия.

— Я им ничего не должен.

— Вот как? А ты забыл, фраер, как кормился с нашего стола, сколько плана и ханки перетаскал?.. — свёл глаза к переносью. — Отколоться решил?

— Да нет, — замялся Касьян, отходя назад.

— Не бойся, падаль. Я тебя резать не буду. На киче и без меня пацанов хватает. Ладно, дёргай отсюда, пролетарий! Вечером занесёшь должок!..

— Хорошо, — буркнул Касьян, хотя знал, что не отдаст. Нечего было отдавать. В карманах пусто, а на поля давно не ездил.

Ещё никогда ему не было так страшно, как этой ночью. За окном шумел ветер, а перед глазами мелькали какие-то уродливые тени. Он боялся заснуть. Казалось, сегодня должно случиться что-то, и рука сама лезла под кровать, где лежал топор. На улице раздались пьяные голоса. Касьян затаил дыхание, прислушался: прошли мимо. Закурил папиросу, несколько раз затянулся и принялся ходить по комнате. Половицы прогибались под ногами, скрипели.

Так он проходил всю ночь, а утром, едва алая полоска зари разорвала тёмный шёлк неба, пошёл к храму.

До позднего вечера люди расчищали завалы. И хотя работа была тяжёлой, не чувствовали усталости.

— Вы верите, что мы построим храм? — спросил Касьян у Марьи по дороге домой.

— Так угодно Спасителю, — сказала она, и Касьян улыбнулся. Удивительно легко было на душе, спокойно. По обе стороны дороги горели жёлтые фонари, оставляя на дощатом тротуаре зыбкие тени. Но когда свернули в переулок, стало темно, как в склепе.

Касьян прижался к забору, и вдруг кто-то схватил его за шею и повалил на землю, дыша в лицо винным перегаром:

— Ты что, сука, играть со мной вздумал!

По голосу Касьян узнал Фирса.

— Что вы делаете?! — закричала Марья.

Касьян, изловчась, ударил Фирса коленкой в пах, а потом сбросил с себя и вскочил на ноги, но сильный удар в челюсть снова опрокинул его на землю. Перед глазами мелькнуло что-то узкое, блестящее. Касьян откатился в сторону, но это узкое и блестящее снова зависло над ним. Всё, хана, отбегался!.. И вдруг какая-то тень метнулась навстречу холодной полоске света.

8

Утро ещё не наступило, а Дортэ был на ногах. Он шёл к площади, туда, где ждала его ржавая рельса. Ветер дул в спину, как бы подгоняя, и он кутался в по-

линялый, стёршийся на рукавах длинный кожаный плащ. Скоро Дортэ вышел на центральную улицу. Едва перевёл дух, как увидел толпу с рабочим инструментом. В разноцветных сумерках плотницкие топоры напоминали секиры, а заступы — казацкие пики. Они надвигались и были готовы проткнуть его, изрубить на куски.

— Опомнитесь! — закричал Дортэ, преграждая путь, и толпа остановилась. Но вдруг кто-то громко сказал:

— Да это ж Дортэ. Сумасшедший Дортэ!..

Сотни людей рассмеялись. Даже камень рассыпался бы теперь от стыда, но Дортэ был крепче камня, и в толпе замешкались.

— Уйди с дороги! — кричали ему мужчины.

— У, проклятый! — наседали на него женщины.

Ему было страшно, но он не хотел уходить. Память о товарищах, о тех, кто во имя новой жизни замерзал в степи, падал под ударами казацких сабель, умирал от тифа, удерживала Дортэ. Напиравшая толпа подхватила его и понесла. Куда? Зачем?! Он уже простился с жизнью, когда раздался твёрдый голос:

— Оставьте его!

Дортэ бросили на землю. Он быстро вскочил, глянул по сторонам.

Толпа молчала, обступив седоволосого, со шрамом на высоком лбу парня. Он узнал его. Он видел его с Марьей. Старая ведьма ушла в другой мир, но семена её речей проросли в душе этого парня.

— Оставьте его, — повторил Касьян и поднял руку. — Он родился мёртвым, а мёртворождённого не убивают.

Толпа успокоилась и пошла, обтекая Дортэ, дальше.

— Вы ещё пожалеете об этом! — крикнул старик, захлёбываясь от бессильной ярости. — Я проклинаяю вас!

Но никто не обернулся.

Подойдя к храму, Касьян долго смотрел на груды битого кирпича и щебня, обломанные ступени. Постепенно храм оживал в его глазах. В тёмных провалах появились слюдяные окна, на ржавых петлях — узорчатые двери; золочёные листы меди, словно бы повинувшись воле Творца, сами собой ложились на купола.

Касьян прошёл внутрь храма. У белой стены стоял гроб, в нём лежала Марья. Лицо её было спокойно. Яркие блики от свечей скрадывали матовую желтизну. Возникло ощущение, что Спаситель находится где-то рядом. А может, так оно и есть на самом деле...

Медвежий след

Рассказ

Снег шёл вторые сутки не переставая. Я встал, подошёл к окну и долго смотрел на заснеженные сосны, на безлистые кусты сирени, ставшие сугробами, из которых с разных сторон торчали ветви. Снег шёл так густо, что соседние дачи не просматривались.

В доме хорошо и уютно пахло печкой, берёзовыми дровами. Мой рыжий сеттер лежал рядом и дремал, изредка открывая глаза, проверяя, здесь ли хозяин. Всё было так, как я хотел. Как давно я мечтал о том, чтобы спрятаться на даче от всех своих обязательств и обязанностей. Спрятаться и писать. Написать историю о том, как в 1992 году, после развала Советского Союза, была проведена операция по спасению для России самолётов Дальней Авиации. Думаю, что эта история была типичной для нашей армии и авиации тех лет. Как всегда, в единый узел сплелись вера и безверие, честь и предательство, любовь и верность. Это был почти детектив. С погоней, стрельбой и прочими атрибутами боевика. Ценой этой истории были 18 самолётов ТУ-95мс, которые, по натовской терминологии, назывались «Медведями».

* * *

Полковника Артамохина знали как зануду и педанта. Всё у него было точно выверено и рассчитано. За глаза его называли Золотой Череп, и вовсе не за блестящую лысину, а за умение в любой ситуации быстро находить единственно верное решение. А может быть, ещё и потому, что он всегда отлично учился. Школу закончил с золотой медалью, училище — с медалью и даже академию — с медалью.

Он относился к той, чрезвычайно редко встречаемой категории лётчиков, которые не только обладают феноменальной интуицией, но и отменными инженерными знаниями. Лётчики частенько шутят, что в дипломах их специальность звучит как лётчик минус инженер. Артамохин был, несомненно, лётчик плюс инженер.

— Во всем должен быть штурманский расчёт, и знать в авиации нужно всё — до последней заклёпки, — любил говорить он, шурясь и не выпуская из зубов «беломорину», мундштук которой был несколько раз пережат.

Баранов Юрий Иванович, прозаик, поэт (род. в 1946 г. в г. Замостье, Польша). Автор книг: *Медвежий след*: рассказы (Иркутск, 2005); цикла детских сказочных историй об Иркутске; сб. стихов для детей *На улице Рябиновой* (Иркутск, 2011); Гимна Дальней авиации России (был принят официально в 2004 г.). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Курил Валерий Михайлович, казалось, двадцать пять часов в сутки. Как он выносил многочасовые полёты без курева, оставалось загадкой. Хотя разгадка была проста. Самой главной двигательной пружиной в жизни любого лётчика была любовь. Любовь к облакам и полётам. Ради возможности летать каждый из нас был готов на многое.

В феврале 1992 года полковника Артамохина вызвал командующий 30-й Воздушной армией. Состоялся разговор.

Командующий сказал:

— Ни для кого не секрет, что предательство командира Узинской дивизии генерала Башкирова, который присягнул на верность Украине, лишило Россию двадцати Ту-95мс и восемнадцати Ту-160. Не мне, Валерий Михайлович, объяснять тебе, что воспользоваться дальними ракетноносцами Украина не сумеет. Этим кораблям и развернуться в воздушном пространстве Украины негде. Либо по указке американцев самолёты будут уничтожены, либо станут предметом торга с Россией. Пока в Казахстане не расчухались, тебе предстоит сделать всё, чтобы спасти для России как можно больше Ту-95мс. Ты командовал полком в Семипалатинске, местные условия знаешь. Тебе и карты в руки.

Необходимо заметить, что на вооружении Дальней Авиации находились Ту-95к и Ту-95мс. Были эти самолёты внешне близнецами, но Ту-95мс имел совершенно новую начинку, позволяющую значительно увеличить его боевые возможности. Семипалатинский 23-й полк в конце восьмидесятых переучился и вполне освоил Ту-95мс.

Артамохин выкурил любимую «беломорину», попил чайку и предложил командующему план простой и ясный, как огурец в рассоле.

Поскольку боевую подготовку в полках Дальней Авиации, базирующейся на территории суверенного Казахстана, ещё никто не отменял, то каждый день необходимо поднимать в воздух пару Ту-95к с аэродрома Украинка Амурской области, а с аэродрома Чаган под Семипалатинском пару Ту-95мс и направлять их навстречу друг другу. В воздухе экипажи меняются позывными, далее семипалатинские корабли садятся в Украинке, а самолёты с Украинки садятся на аэродроме Чаган. Подмену могут заметить только посвящённые лица.

Что и говорить, план был хорош. Но он не учитывал наличие патриотически настроенных прапорщиков-казахов в составе 23-го полка. Правда, денежное содержание эти патриоты получали пока вполне исправно в рублях. Но это уже детали. А поэтому прапорщик Тайсенов, обнаруживший очень подозрительную замену одних самолётов другими, в свободное от службы время, отправился в город Семипалатинск и сообщил кому следует о странных перелётах.

Пока борец за национальную независимость Казахстана прапорщик Тайсенов думал, пока он собирался, удалось увести и посадить на аэродром Украинка пятнадцать Ту-95мс.

Когда казахские приватизаторы наконец проснулись, в гарнизон Чаган приехал какой-то чин из прокуратуры и привёз постановление о возбуждении уголовного дела против командира воинской части полковника Пыльнева. Был прокурорский чин широк лицом и фигурой, глядел из-под очков в тонкой золотой оправе важно и значительно. Но отобедать в лётной столовой не отказался. Угостили его на славу. С любопытством оглядываясь по сторонам и даже трогая отделанные полированным деревом панели командирского зала в столовой, про-

курор часть своей важности утратил и уехал вполне довольный приёмом и заверениями, что недоразумение будет улажено.

Через день пришёл запрет поднимать в воздух боевые корабли. В случае нарушения этого запрета предполагалось нарушителей уничтожать в воздухе силами ПВО независимого Казахстана (хотя перелёты транспортных летательных аппаратов не возбранялись).

* * *

Я отложил рукопись и решил сделать перерыв. Пока чайник на плите, закипая, уютно урчал, подошёл к книжной полке и наугад вытащил книгу. Это оказалась монография «Иконы России». Произвольно открыл и стал читать.

Об иконе Божьей Матери «Смоленская» («Одигитрия»)

Смоленская икона Богоматери — Одигитрия, как говорит предание, написана святым евангелистом Лукою и прославилась в Греции множеством чудес. Доска, на которой она написана, очень тяжела и так изменилась от времени, что трудно определить, из какого она дерева. На одной стороне изображена Богоматерь по пояс, правая Её рука лежит на груди, а левою поддерживает Богомладенца Иисуса, в левой руке держащего книжный свиток, а правую благословляющего.

В 1239 году татары, разоряя Россию, напали отдельным отрядом на Смоленскую землю. Жители, чувствуя себя не в силах отразить грозного врага, обратились с тёплой молитвою к Богоматери, и святая Заступница услышала их молитвы. Татары остановились в 24 верстах от Смоленска. В это время в дружине смоленского князя был очень благочестивый славянин по имени Меркурий, его Пресвятая Богородица избрала для спасения города.

С радостными слезами, помолясь пред образом Богоматери и призывая Её на помощь, Меркурий без страха пошёл на врагов в средину стана и убил их великана, на силу которого они больше надеялись, чем на свой отряд. Окружённый врагами, Меркурий с необыкновенною силою отразил все их нападения с помощью молниеносных воинов и Светлой Жены, лик которой наводил страх на врагов. Перебив множество татар, утомлённый Меркурий лёг отдохнуть.

Татарин, найдя его спящим, отрубил ему голову. Но Господь не хотел оставить тело мученика на поругание. Меркурий сам, как живой, внёс свою голову в город. Его тело с честью погребли в соборной церкви.

Церковь причла его к лику святых, и в память одержанной им победы с помощью Богоматери, в Смоленске 24 ноября совершается всенощное бдение и благодарственный молебен пред чудотворною иконою Богоматери. Железные шпашки и туфли, бывшие на Меркурии в день битвы, хранятся в Смоленском Богоявленском соборе.

В 1812 году во время нашествия Наполеона, когда наши войска 5 августа оставляли Смоленск, Смоленская икона, стоявшая в церкви над воротами, была взята артиллерийскою ротою при полках 3-й пехотной дивизии, которая сохранила её при себе до очищения России от неприятеля. Пред нею служили благодарственные молебны, пред нею главнокомандующий войском со слезами молил Богоматерь о помощи и спасении России от страшного врага; накануне знаменитой Бородинской битвы для укрепления воинов её носили по всему лагерю. Через три месяца, когда неприятель был изгнан, святую икону возвратили в Смоленск и поставили на прежнем месте.

Я настолько увлёкся, что забыл о чае и читал, пока мой пёс, разбуженный свистом чайника, не подошёл ко мне и не ткнулся холодным носом в ладонь.

— Привет, Дик, — сказал я, — значит, будем пить чай.

За окном быстро смеркалось. Светлая полоска неба на горизонте становилась всё тоньше, и очень скоро исчезла вовсе. После чая мы с Диком вышли на улицу. Он носился по сугробам, размахивая рыжими ушами, а я смотрел в морозное небо, усыпанное крупными звёздами. Эх! Красота! Кто-то сейчас держит тёплый штурвал, вглядываясь в эту звёздную бездну, а под крылом проплывает земля, похожая на громадное спящее животное, поросшее шерстью-тайгой с редкими островками огней городов. И нет конца и края этому небу и этой жизни, которая продолжается если не в телесном виде, то в памяти потомков наших. Пока помнят нас и дела наши, дотоле мы и живём.

История Одигитрии так заинтересовала меня, что когда я, устав описывать историю крылатых «Медведей», стал подрёмывать, мне стали сниться то артиллеристы полковника Глухова, то полковник Артамохин. Сны путались. Я видел то горящий Смоленск 1812 года, то аэродром Чаган 1992 года. Наконец оба сна странным образом слились в один: полковник Глухов с лицом Артамохина, откашливаясь от дорожной пыли, рассказывал командиру второй батареей роты полковнику Карпову:

— Ты, Василий Константинович, не торопи меня. Вели самовар поставить. Я ведь только-только с доклада. Святыню нашу, Смоленскую икону Божьей Матери сдал. Теперь и передохнуть могу. Я ведь более всего чего боялся? Боялся хотя бы одно орудие потерять. Ты ведь, душа моя, обстоятельства мои знаешь. От прежней должности я отстранён был Их Сиятельством графом Кутайсовым. И поделом мне. Недоглядел я. Беспорядки в бригаде моей были. Роту мне в командование дали. За то Бога и Их Сиятельство век благодарить буду.

Спрашиваешь, как всё было? Да так и было, как положено нам Государем и долгом воинским. Пятого августа, ты помнишь, дали мы сражение за Смоленск. Позиция наша была такова, что вся крепость Смоленска была от нас по правую руку. Поутру, около шести часов, показалась французская кавалерия. Орудия наши из-за кустарника были едва видны. Когда стали наступать французские колонны, мы открыли огонь и производили пальбу без торопливости. Тут я в первый раз увидел, как ядра наши убивают людей. Страшное это дело, братец ты мой. Потом французы подступили к нам на 200 сажений ближе, и мы стали стрелять картечью, и много урону нанесли неприятелю. Но и по нам палили. Поручику Пузыревскому оторвало ногу ядром в самом паху. Низших чинов было убито восемь. Одно орудие было разбито. Тут, братец ты мой, было приказано нам ретироваться. Перед новой позицией увидели мы много раненых. Услыхали, что французы атакуют роту полковника Кандыбы и отбили семь пушек. Насилу он от них ушёл, а после и его встретили. Он нёс на плече свой мундир, и у него была изрублена в нескольких местах голова.

В тот день французы показывали чудеса храбрости, но и от нас получали сильный отпор. Их артиллерия наносила городу ужасный вред гранатами и брандскугелями ¹. Конная артиллерия, подъезжая во всю скачь, делала несколько поспешных выстрелов, поджигая дома, и быстро отступала. В городе почти не осталось несгоревших домов. И тут я заметил, что горит Богоявленский собор, и в его ограде появились французские пехотинцы. Меня как ударило. Смоленская икона Богоматери сгореть может. Тут я, несмотря на сильный огонь,

¹ Брандскугель — зажигательный снаряд.

приказал первому и второму орудиям развернуться и дать залп картечью, отгоняя неприятеля, а фейерверкерам второго и третьего орудия следовать за мной. Обмотав лица тряпками, вбежали мы в приделы собора. Там всё уже горело. На силу успели мы с великими предосторожностями вынести икону Заступницы нашей, как крыша собора рухнула. Теперь была у нас забота не только соединиться с нашей дивизией, но и спасти Одигитрию.

Когда мы вышли из горящего города, оказалось, что ещё одно орудие разбито. Всего их осталось шестнадцать. Приказал я свернуть в лес, полагая, что, имея на сохранении икону святую, не следует нам ретироваться со всем войском. Вдруг французы дорогу перекроют? И пошли мы, брат, то просёлками, то звериными тропами. Дабы не вводить никого в искушение богатым убранством иконы, жемчугами и золотом, закутал я её, матушку, в свою рубаху и положил в зарядный ящик орудия, при котором неотступно находился.

...Поспел самовар? Наливай, наливай, брат. Страдал я не столько от голода, сколько от недостатка хорошего чаю. Травку-то мы заваривали. Корочку иногда в кипятки бросали, для вкуса. Только это не чай. Не чай, братец ты мой.

На второй день пути показал мне фейерверкер Васильев следы медвежьих. Это, говорит, хозяин впереди нас идёт. Неведомо только, оберегает или напасть хочет. А к вечеру Михайло Потапыч навстречу вышел. Лошади храпеть стали, не слушаются. Глядим, а он на тропе стоит, голову наклонил и на нас исподлобья смотрит. Я уж думал, стрелять придётся. А фейерверкер Васильев вперёд вышел и говорит: «Иди-ко ты, дедушко, своей дорожкой. У нас свои дела, а у тебя свои. Вот тебе похлёбка из кровохлёбки, а нам одолень-трава» — и бросил в медведя пучок травы какой-то. Медведь поглядел на нас, рыкнул коротко, да не зло, а вроде сказал: «Не бойсь, ребята» — и ушёл.

Вот так и шли мы без провианту. Хоронились в лесу как могли. Шли, пока не подошли поближе к Бородину. Тут уж понял я, что войск наших собирается много. Вышли мы из лесу, разыскали свою дивизию, и я доложил Их Высокоблагородию генерал-лейтенанту Коновницину.

Налей-ка, братец, ещё чайку. Хорош у тебя чай...

Тут я проснулся. Солнце уже было высоко. Снег сверкал. Дик прыгал и всё пытался схватить меня за руку и вытащить из постели.

После прогулки и завтрака я развернул рукопись и, прежде чем вернуться к своим крылатым «Медведям», подумал: «Эх, жаль, что, проснувшись, сразу не записал сон. Горящий Смоленск... Икона... А сейчас уже поздно». Зыбкие картины начинают стираться и уходить.

* * *

Когда парами, когда четвёрками «Медведи» — Ту-95мс уходили из Семипалатинска. К началу марта в полку осталось только три корабля последней модификации. Но полёты боевых самолётов были уже запрещены, и нужно было искать другое решение вопроса.

Дело осложнялось ещё и возбуждением уголовного дела против командира части полковника Пыльнева. Такие же дела могли быть заведены и против других лётчиков — участников перегонки самолётов. В это время в жилой зоне гарнизона стали появляться группы местных молодых людей, которые вели себя агрессивно, всячески задирали пилотов и техников, провоцируя драки.

Полковник Артамохин прилетел из Иркутска на аэродром Чаган второго марта. Вместе с ним на транспортном Ан-12 прибыли три экипажа с Украинки, которым и предстояло завершить историю. Сразу же после посадки подошла «кучевка», как говорят в авиации. Началась метель. Снег шёл всю ночь. Всю ночь работали аэродромные службы по очистке взлётно-посадочной полосы от снега. Это привычно: аэродром должен быть в боевой готовности.

На рассвете Артамохин поднял 23-й полк по тревоге. Он сидел на КДП (командно-диспетчерском пункте), в просторечье именуемом «вышкой», и принимал доклады от командиров эскадрилий о готовности авиатехники, когда дежурный, округлив в дурашливом испуге глаза, подал ему телефонную трубку:

— Из Министерства обороны Казахстана.

Голос в трубке строго проговорил:

— Что у вас там за балаган творится?

И хотя Валерий Михайлович узнал говорившего, он сказал:

— С кем имею честь?

— Полковник Байгитов, Министерство обороны Казахстана.

— Полковник Артамохин, начальник отдела боевой подготовки 30-й Воздушной армии. Провожу плановую проверку боевой готовности частей гарнизона. А что это ты, Исмаил Катыржанович, ещё не генерал?

Полковника Байгитова хорошо знали и помнили в гарнизоне на Белой, где он после окончания Военно-политической академии имени Ленина дослужился от замполита полка до начальника политотдела дивизии. Острое лицо, ниточки усов, хищный нос и лёгкая, сухощавая фигура делали его даже не похожим на казаха. Был он штурманом и, несмотря на то что ещё до академии сдал на первый класс, летал в составе экипажей Ту-22 только на месте второго штурмана, вернее штурмана-оператора. Широкую известность в гарнизоне он приобрёл благодаря необыкновенной способности выдавать словесные шедевры, которые вполне могли украсить книгу любого юмориста. Так, например, на вопрос одного из слушателей лекции на политзанятиях: «Что такое союзная республика?» Исмаил мгновенно ответил: «Это что-то вроде резервации». А на митинге, посвящённом началу учебного года в Вооружённых Силах, он произнёс фразу, которую до сих пор повторяют остряки на всех аэродромах Дальней Авиации: «Пусть Рейган знает — мы выполним любой приказ любого правительства!»

Оставалось только тихо радоваться, что такая одиозная фигура делает карьеру в армии Казахстана.

— Ты всё шутишь, Михалыч! — кричал Исмаил в телефонную трубку. — А я не шучу. Смотри там, не вздумай «Медведей» в воздух поднять. Если взлетят, мы вынуждены будем поднять силы ПВО и сбивать вас.

— А кого поднимать станешь, Исмаил? У вас сколько боеготовых самолётов? Один или два?

— Ты не шути так, Валерий Михалыч. Я ведь рассердиться могу.

На этом разговор закончился. Сердиться Исмаил умел. Глаза наливались кровью, ноздри хищно раздувались, он раздражался потоком весьма путаных философских сентенций, среди которых ясно и чисто звучала только одна фраза: «Ты что, думаешь, Аллаха за бороду схватил?!» Но на решительные действия Байгитов был вполне способен, это следовало учитывать.

Ветер стал стихать, но видимость по-прежнему была почти нулевая.

— Что делать? — думал Артамохин. — Нижний край облачности — пятьдесят метров. Видимость — пятьсот-шестьсот метров. Экипажи на этом типе са-

молётов почти не летали, а тут такая карусель. Но поскольку ситуация накаляется, нужно взлетать и уносить отсюда и лапы и хвост.

Решено! Летим! Далее всё пошло по заранее обговоренному сценарию.

Когда экипажи заняли свои места в самолётах, Артамохин послал в эфир условную фразу: «Я — двести восемьдесят пятый, проверка связи, четыре, три, два, один. Отсчёт». Это была команда на запуск. Все три корабля запустили двигатели и стали подруливать к полосе. После осмотра кораблей техник из стартового наряда показал направление движения, и самолёты вышли на исполнительный старт. Как обычно, была прочитана предполётная «молитва», так всегда называли карту проверки бортового оборудования. Артамохин шёл замыкающим, чтобы проконтролировать взлёт неопытных командиров.

— Экипаж, приготовиться к взлёту! Винты на упор! Бортинженеру вывести двигатели на взлётный режим!

Затем инженер доложил о проверке работ двигателя и топливной автоматики.

— Экипаж, взлетаю! Правак, убери ноги с тормозов, бортинженер — держи газ!

Это была обычная, рутинная работа, такая привычная, что не оставалось места раздумьям и сомнениям. И вот уже многотонная махина крылатого корабля тронулась с места и начала разбег, а штурман начал отсчёт скорости.

Я знаю, как было тяжело лётчикам выдержать направление взлёта в условиях плохой видимости. Снежные заряды шли один за другим с короткими промежутками. В эти паузы Артамохин успевал ориентироваться по двум-трём огням у полосы.

Валерий Михайлович услышал голос штурмана: «Скорость — сто пятьдесят километров в час... Сто семьдесят... Сто девяносто...»

Стук колёс о бетонные плиты взлётной полосы превратился в вибрацию. «Двести...»

«Нормальный отрыв от земли должен быть на скорости двести восемьдесят, а мы попробуем оторвать «Медведя» чуть раньше», — успел подумать Артамохин.

В это время командир огневых установок закричал:

— Командир, они сошли с ума! Стреляют!

Позже он рассказывал, что перед самым отрывом к полосе выскочили машины с людьми в форме и блеснули огоньки выстрелов. Оказалось, что это казахский ОМОН получил приказ предотвратить несанкционированный взлёт.

— Двести двадцать... Двести шестьдесят... Двести семьдесят... Подъём переднего колеса... Отрыв...

Самолёт нехотя вздыбился, и через мгновение вибрация прекратилась. «Медведи» уходили в небо. И уже ничто и никто не могли остановить их. На высоте сто метров они перестроились и след в след пошли домой — в Россию.

А на земле милиционеры разматывали колючку по взлётно-посадочной полосе для предотвращения взлёта оставшихся стареньких Ту-95к.

На этом можно поставить точку. Но всякая история имеет свой довесок, который может превратить трагедию в фарс и, наоборот, фарс — в трагедию.

Накануне на аэродром Чаган сел самолёт Ан-24, летающая лаборатория. Экипаж этого корабля должен был провести проверку радиосредств аэродрома и уйти домой в Иркутск. Командир, капитан Шерemet, приказал экипажу хорошенько отдохнуть и подготовить лабораторию к работе. Конечно же, они ничего не знали о баталиях, развернувшихся вокруг «Медведей».

Приехав на аэродром, они с удивлением увидели, что всё оцеплено милицией, а на взлётно-посадочной полосе лежат колючки.

— Ну и дела, ети его бабушку, — сказал Шеремет и сдвинул шапку на затылок. — А ну за мной, ребята, — и он повёл экипаж к одному ему известной дыре в ограждении аэродрома у дальней стоянки, где находился их самолёт. Потом они ползли по заснеженному аэродрому, проваливаясь в проталины и, когда подползли к самолёту, то были похожи на мокрых и злых чертей. Казахские милиционеры не сразу заметили запуск двигателей, а когда заметили, то попытались перегородить полосу машинами.

— Ха! — сказал Шеремет. — Они ещё не знают, как мы летать умеем. — И взлетел прямо с рулетки поперёк аэродрома.

История со стрельбой повторилась. А Шеремет, круто заложив вираж с набором высоты, слишком круто для транспортника, запел:

...Но было поздно, забор уплыл, качаясь на волнах...

Вот и вся история. А самолёты, доставшиеся суверенному Казахстану, были пущены под нож и стали просто металлоломом.

Полковник Глухов участвовал в Бородинском сражении, был тяжело ранен. Долго лечился, но выжил. За участие в битве под Бородино получил он от Государя Императора Александра I пять рублей ассигнациями, чем всю жизнь гордился. За спасение Смоленской иконы Божией Матери был удостоен рукопожатия генерал-лейтенанта Коновницина, командира третьей пехотной дивизии, в состав которой и входила его батарейная рота.

Полковник Артамохин Валерий Михайлович в 1998 году был уволен из армии по выслуге лет и по возрасту. А в 2004 году на торжествах по случаю 90-летия Дальней Авиации услышал он в праздничном докладе командующего благодарность тем, кто сберёг самолёты для России, кто вывел их из Семипалатинска. Имена при этом не назывались.

«Слава героям!»

Рассказ

Рядовой Клиос Арахамия выкарабкивался дважды, а то и больше, — смотря как считать. И всё сам, сам, без помощи: жилистый, выносливый, упорный, бесконечно терпеливый. Кто и чем мог помочь ему в этом герметически замкнутом, неподвижном терпении? Он словно бы останавливал в себе всё — жизнь и смерть, само время. Только не мешайте, ребята, только не мешайте...

Он и в этот раз отбросил всё, что ему предлагали, — снова сам, снова сам; не мешайте, говорю же вам, не мешайте! Ему и не мешали, по-моему — напрасно. В третий раз смерть не промахнулась. Словно поняв, что с налёту, с наскоку таких не взять, она обложила его и всё равно одолела — осадой, на измор, терпением и упорством, не уступающими его собственным. Что ж, ей ни того, ни другого не занимать, ей-то, стерве костлявой, веку отпущено — бесконечность. Клиос этого не понял, а если и понял, то не поверил, может, — и до самого конца.

В первый раз он попался на её пути летом сорок четвёртого, во время Белорусского наступления, точнее сказать, к концу его первой недели. Как и всегда в начале большого наступления, в передовых порядках была жуткая каша, наши и немцы пёрли на запад наперегонки, они — чтобы удрать, мы — чтобы не дать им этого сделать. Вот в этой-то каше полк Клиоса, шедший лесными просёлками северней железной дороги на Пинск и Брест, — где посуху, а больше через вонючие грязные топи, по хлипким тележным гатям, — нарвался на немецкую колонну. В общем, это был для них не первый бой.

Дивизию ввели в прорыв во втором эшелоне, в уже проломленную брешь: — Ну, брат, давай, гони... Твоё дело — темп. Темп и темп.

Он и гнал, его звали Никитин и был он полковником, а другому полковнику, Сковрцову, командиру третьего полка, выдвинутого на правый фланг, на параллельное направление, он сказал почти то же самое:

— Ты у меня резерв и прикрытие. При нужде поддержишь с фланга. Опоздаешь — трибунал. Так что гони и не отставай — темп и темп. Понял?

Сковрцов понял, чего ж тут было не понять? Рота танков, двухбатарейный дивизион пушек семидесяти шести на автотяге. Батареи были трёхорудийные, некомплектные, и это само по себе было бы ничего, шести пушек ему хватит, всё

Боровский Фёдор Моисеевич, прозаик (род. в 1933 г. в г. Ржеве). Автор книг: *Бунт в королевстве*: повесть. (Иркутск, 1973); *Рыжий*: повести и рассказы (Иркутск, 1984); *Здравствуйте, эй!*: повесть (Иркутск, 1987); *Рыжий*: рассказ (М.: Дет. лит., 1990); *И ныне, и присно*: повесть (Иркутск, 1999); *Учитель немецкого*: повесть (Иркутск, 2003) и др. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

равно развёрнутой танковой атаки не будет, негде. Но старенькие ГАЗ-АА в передках выглядели так хлипко и ненадёжно, что он не выдержал и попросил дивизионного артиллериста:

— Слушай, дай на «Доджах», а? Пускай батарею. А этот дивизион себе оставь. Или лошадок — утону же...

— Не дам!.. — окрылся артиллерист. — Самому надо, я тоже не о двух головах.

Скворцов не стал спорить, только матюгнулся в бессильной злости, махнул рукой и ушёл. Раньше надо было думать, с самим комдивом разговаривать, когда получал задание, когда они водили пальцами по карте, выискивая среди голубой болотной штриховки чёрные извилины просёлков. Тот бы дал. Он и сам всё прекрасно понимал и злобно чертыхался, отправляя хороший полк барахтаться в болотах, но оставить фланг совсем открытым не мог — за три командирских года немцы отучили его забывать правила и рассчитывать на авось. А теперь что ж... И артиллерист, и комполка знали своё начальство довольно, чтобы не соваться к нему за переменной уже принятого решения, и потому Скворцов примирился. В конце концов, немец у него будет не тот, что на магистрали.

Немец и был не тот. Но и «не того» немца голыми руками брать не просто, а что осталось? К концу второго дня ни танков, ни пушек уже не было, завязли. Глядя на грязных по самую макушку танкиста и артиллериста, измотавшихся за два дня так, что ноги не держали, Скворцов даже не матерился. Взять с них всё равно было нечего, вины на них никакой, и так сделали, что могли, и даже больше. Куда же денешься, если все дороги, похожие на дороги и пригодные для езды, шли поперёк, а то, что шло вдоль, петляло от болота к болоту, от одной топкой речки до другой, броды и гати лошадей-то с пустой телегой еле держали. А тут — танки... Людей смешить. Эх, комдив, комдив... Сказать, что дурак, так вроде бы и нет, за четыре месяца командования ничего такого заметно не было, тут вдруг отлил пулю — разменял хороший полк ради немца, которого и в расчёт-то брать не стоило. Рисковать надо было. Наступления без риска не бывает, да и нет тут на флангах серьёзного немца, два месяца готовились, не могли фронтовая разведка и армейские оперативники его проморгать.

Но что бы он себе ни думал, а выполнять приказ всё равно было нужно, потому что приказ есть приказ. Едва выбравшись из болот у озера Червонное, даже не обсохнув и не отчистившись от грязи, а только наскоро перекусив всухомятку и задержавшись ровно настолько, чтобы собрать отставших, скомпоновать заново батальонные колонны и перестроиться, Скворцов вдруг обнаружил у себя на хвосте немца. Вполне боеспособного немца, при четырёх танках, при артиллерии, — правда, сосчитать пушек не успели, — хоть и потрёпанного, но уже успешшего привести себя в порядок. Как потом оказалось, немцев было около двух батальонов полного состава, собранных энергичным офицером из остатков частей, которые Никитин сбросил с главной магистрали. Они пришли с юга по хорошей дороге, были довольно бодрые, а главное — злые. Им пришлось удирать; им было нужно на запад и быстро; под жёсткую команду: «...mein Befehl: ihr müssen...»¹ — уже сведённые в роты, взводы, отделения, при ефрейторах и лейтенантах, они уже успокоились, пришли в себя и пёрли вперёд настолько решительно и настолько стройно, насколько позволяла дорога. Танки они, надо полагать, со временем утопили бы, пушки тоже, но покамест против едва ли не десятка оружейных стволов Скворцов мог выставить только ручное оружие да миномёты. Когда

¹ ...мой приказ: вы должны... (нем.)

к нему прибежали двое отставших — он и не разобрал, кто, настолько они были заляпаны грязью, — взмыленные, шатаясь и едва ворочая языком от усталости, и путано, бессвязно выложили всё, что видели своими глазами, он только плюнул для отвода души, но решение принял сразу, мгновенно.

Скворцову нужно было оторваться и перегруппировать силы. От полка у него осталось не более двух третей, так что числом они с немцем были, пожалуй, вровень. Да только у того артиллерия, и лезть на него в лоб — дело дохлое: расплющит. Нужно воспользоваться лесом и болотом, повесить ему на фланги подвижные группы и заставить палить во все стороны сразу. У него наверняка туго с припасами — Скворцов воевал почти с начала войны и прекрасно знал, что такое драп, даже и организованный. Тут уж не до обоза. В общем, шансы были, и комполка присутствия духа не терял. Всё получится; но сначала нужен заслон. На час хотя бы. А ещё лучше — на два. Но на час — обязательно. Окопаться ты не успеешь, используй неровности, деревья. Вон бугор, вон другой, вон канава... Против артиллерии, конечно, тяжело, но ты сразу всех не показывай, держи заглазничник до последнего, тогда выдержишься, а там и мы... Но, конечно, действуй по обстановке. Всё понял? Выполняй!..

Такой приказ получил командир арьергардной роты, в которой рядовой Клиос Арахамия был левофланговым, то есть самым малорослым. Он состоял при ручном пулемёте без второго номера — того двумя днями ранее отправили в госпиталь. Задачу они выполнили. Шестидесять четыре человека при четырёх пулемётах. Как они это сделали, никто никогда не узнал, рассказать оказалось некому. Потому что выручить их Скворцову не удалось, и не по своей вине. Минут через пятнадцать по уходе, километра за полтора от заставы, ещё в прямой слышимости уже начавшегося арьергардного боя, он собрал комбатов наскоро обсудить ситуацию и отдать приказ о перестроении, чтобы вернуться и встретить немца как подобает — лицом. И именно в этот момент, словно специально подгадал, пришёл по рации приказ от Никитина, приказ, поставивший точку в судьбе Клиосовой роты. Под Житковичами, у перекрёстка и на станции, немец успел построить приличную оборону, упёрся всерьёз и отбил две атаки. Отбил жестоко, напомнив Никитину, с кем он имеет дело. Маршевый батальон и почти все штрафники легли в бесплодных попытках сбить его с позиции, полтора десятка танков угрюмо дымили перед немецкими траншеями. Нужно было либо разворачиваться, устанавливая и пристреливая артиллерию, искать у врага бреши и разрывы в казавшейся ещё сплошной обороне, либо обходить. Обходить было некуда. И к югу, к Припяти, и к северу, к Червонному, тянулись болота, дивизией и даже полком не пройти. Время, время... Сколько его потребуется? День-два уж точно, а если неделя? Ох, не сносить головы, командарм такой затычки ни за что не спустит. Да и не только в этом дело. Впереди были Лунинец и Пинск, впереди были переправы через Случь, Лань, Цну, Бобриск, Весельду, не считая мелочи; все они текут на юг, и на любой из них немец мог крепко зацепиться по высокому западному берегу, выковыривая его потом. Только время ему и было нужно, только время. Командующий не зря торопил: «...темп, темп, темп!..» Больше темпа — меньше риска. И для дивизии меньше и для собственной головы.

Оставался Скворцов, который где-то там, на севере, тонул в болотах, тех самых болотах, что так мешали Никитину обойти немца. Что ж, ему и карты в руки. Стоял он хорошо, как раз там, где нужно, и дорога у него была — от Буды на юг, в обход Червонного, точнёхонько в немецкие тылы. Он без танков и артиллерии, но миномёты сохранил, конный обоз тоже, так что припасов ему хватит.

— Ты всё понял? — шпарил Никитин открытым текстом, не боясь перехвата. — К утру чтоб был на месте. В пять ноль-ноль я начинаю артподготовку, в пять пятнадцать пойду. Специального сигнала тебе не будет, так что ориентируйся сам. Разведку организуй тоже сам, у меня данных — ноль. Арьергард брось, дай бог, чтобы тебе вообще времени хватило, опоздаешь — своими руками голову оторву. Понял? Коли так — действуй.

Зря, конечно, он оторванную голову поминал, для серьёзного командира приказ и без угроз приказ, но, в общем, обстановку и задачу он изложил чётко, и Скворцов тут же, с ходу, расстелив простыню пятикилометровки, принялся растолковывать их комбатам. Минут десять они совещались, прислушиваясь к бою за лесом. В рваную пулемётную и автоматную трескотню врезались гулкие, жёсткие удары пушечных выстрелов; это значило, что немец принялся за Клисову роту всерьёз. Может, не разобрались с налёту, с кем имеют дело, и переоценили врага, а может, очень уж торопились.

— Ладно, — сказал Скворцов начальнику штаба, когда комбаты разошлись. — График движения ты мне сделаешь на ходу. Час тебе времени. Дорога дальняя, ночь коротка... И выкрой мне пару часов на отдых и разведку. Где можно спрямить — спрямляй, где можно по воздуху — перелетай. А уж комбатов я сам наскипидарю...

И двинулась, пошла полуторакилометровая полковая колонна, втягиваясь в бешеный темп почти непосильного марша: в скрипе колёс, в тяжёлом топоте, в пыли и злобных матюках... Он всё-таки послал связного арьергарду: кто ещё жив, путь уходят и догоняют — они своё сделали.

Только связной не дошёл. Вернее, дошёл, но был убит и приказа не передал. Через сутки, когда Скворцов вернулся на своё направление, немца уже и след простыл. Комполка посадил на телеги похоронную команду. Прихватил десяток автоматчиков из комендантского взвода верхами и поехал посмотреть на своих. Они его не догнали, на обратном пути не попались — значит...

Они ехали навстречу мощному потоку немецкого следа, посуху, вдоль гребня пологого невысокого увала, и он только теперь по-настоящему оценил, каков был тот немец, которого должна была задержать арьергардная рота. Даже и посуху они истёрли в пыль и дорогу, и обочины куда сильнее, чем его собственный полк. Следы солдатских сапог путались с лошадиными копытами, с фигурной вязью пушечной резины и — раз, два... господи спаси! — два лафета шестиствольных миномётов, уж на этих-то голубчиков он насмотрелся, — да ещё рубчатые танковые колеи... Он спешился, присел над танковым следом. А ведь не только танки. Тут ещё, похоже, бронетранспортёры... Как же он, такой могучий, сбоку оказался, не там, где нужно? Догони он Скворцова под Житковичами — и смололи бы они полк в два жернова — в муку. Но не догнал. Не догнал, потому что времени, скорей всего, не хватило, не успел дотемна в обстановке разобраться, а связи, похоже, нету. И, значит, ушёл вперёд и где-то встал, и теперь его — такого! — придётся выковыривать считай что голыми руками. Так сколько же — ну-ка! — ребята его держали, если он — не успел? Против такой-то силищи! Молодец, лейтенант! А ведь мальчишка совсем, и года нет, как из училища. Быть тебе героем, сынок, когда разнарядка в дивизию придёт, пусть и посмертно — костыми лягу. Не стнет комдив спорить, потому что это ты ему дорогу в Житковичах открыл, ты, а не я...

Ничего не ждал Скворцов, ни на что не надеялся, он уже за километр разглядел и понял, что ему предстоит увидеть, на что придётся смотреть. Там кружилось вороньё, вверх-вниз, вверх-вниз, кругами, спиралями, восходящими и ни-

сходящими, иногда вдруг круги совпадали, и тогда птицы сливались в мрачный чёрный смерч; пронзительный хриплый крик растекался над дорогой, над болотом, над редким сосняком, над таволгой и жимолостью подлеска. Угрюмое было зрелище, но то, что он увидел, было ещё страшнее, ещё угрюмее, хотя он и успел уже за годы войны привыкнуть к таким картинкам — после любого боя, в сущности, поле выглядело не лучше. Обожравшиеся вороны тяжело и лениво взлетали с земли, пока всадники пересекали неширокую поляну между лесом и приболотным кустарником. Кустарник накануне был довольно густым, но сейчас почти нацело ссечён огнём, размётан взрывами, затоптан гусеницами и ногами. Только одинокие ветки, поломанные, размочаленные, уныло торчали над жестоким разором — над воронками, головёшками, комьями разбросанной земли. За кустарником, наполовину утонув в болоте, чернел обгорелый танк. Чёрт его знает, как он туда залетел. Скорее всего, подожжённый, потерял управление, а может и сам заехал, чтобы сбить пламя, — из притопленного танка выбираться легче, чем из горящего. По другую сторону дороги, уже на сухом, почти посреди поляны валялся, задрав к небу гусеницы и колёса, тоже обгорелый бронетранспортёр. Видать, немцы сами сбросили его с дороги. А между транспортёром и береговым кустарником аккуратными шеренгами лежала рота во главе с командиром. Лейтенант, потом три сержанта, потом остальные пятьдесят человек в четыре ряда. Лица и руки у них были расклёваны почти до костей, тела вздулись, тяжёлый смрад висел над поляной. Но пилотки были аккуратно заправлены под ремни, и оружие лежало поперёк груди под разорванными в лохмотья, облепленными мухами руками. Мухи вились тучей, их плотное, тугое гуденье заполняло пространство, ему не было предела, казалось, весь мир гудит и звенит — земля, воздух, болото, поломанные и покорёженные кусты, деревья, даже вороны словно бы перестали каркать и загудели по-мушиному.

— Ах, сволочь!.. — выдавил Скворцов. — Вот сволочь!..

В головах у комроты, на прочном, хорошо забитом, свежеструганном колу был прикреплен крашенный белой эмалью щит, а на нём прямым строгим шрифтом, без завитушек и украшений, было выведено чёрной краской в чёрной траурной рамке:

Ehre den Helden!
Friedrich-Ernst Lillje von Iren,
Oberst der Wehrmacht ¹

Несколько долгих мгновений Скворцов в растерянности смотрел на табличку и только шептал трясущимися губами, не сознавая даже, что шепчет:

— Сволочь!.. Сволочь!..

Обидно было до слёз, словно в лицо плюнули, словно прилюдную пощёчину дали. Ему чудилась во всём этом изощрённая издёвка, высокомерное презрение к нему, Матвеем Ильичу Скворцову, сыну сильно пившего и пьющего сельского учителя, своим горбом выбившемуся в люди: и в том, что был этот немец в том же звании; и в том, что носил французскую фамилию Лиллье, а между фамилией и «фон» должно было стоять «барон» — «Лиллье, барон фон Ирен», фон-барон чёртов! — должно, но не стояло; и в том, что имя у него было двойное — Фридрих-Эрнст, а? вот сука! одного ему мало! и в том, что представился он с церемонной торжественностью: «полковник вермахта» — конечно, вермахта, а чего

¹ Слава героям! Фридрих-Эрнст Лиллье фон Ирен, полковник вермахта (нем.)

ещё? Если бы, скажем, СС, то был бы не «оберст», а «штандартенфюрер», впрочем, у них, сволочей, авиация и флот от армии отделены, пропади ты пропадом! Но всего более в том, что он, командир этих оставленных на смерть ребят, думает о них теми же словами, которые немец написал на своём плакатике: «Слава героям!», словно повторяя заданный на дом и накрепко вызубренный урок, и далее будет действовать по немецкой подсказке, снова повторяя то, что немец уже сделал до него: сойдёт с коня, прикажет старшине, командующему отделением, выстроить солдат и отдать салют, а сам встанет в головах у лейтенанта рядом с плакатиком по стойке смирно, с фуражкой козырьком вперёд на согнутой левой руке. «Слава героям!», Фридрих-Эрнст, сволочь, а?.. Ну, попадётся ты мне!

История мраморного белька

Сказка

Давным-давно на берегу славного моря Байкала возвышалась гора из белого мрамора, очень похожая на вставшего на дыбы белого медведя. Правда, в те времена на земле и медведей-то не было. Но сейчас они есть, и поэтому мы будем называть эту мраморную гору Медведь-горой. Скале, что стояла напротив, прибавляла роста огромная снежная шапка, по краям её сверкал лёд. Точь-в-точь богатырь в ледяном панцире и шлеме! Так мы и будем её называть, хотя и богатырей на Земле тогда ещё не было.

Стоя друг против друга, эти горы иногда переговаривались:

— Я выше тебя, — грохотала Богатырь-гора.

— Зато я крепче, — отвечала Медведь-гора. — Я мраморная, а мрамор крепче твоего льда.

Волны, омывающие подножье Медведь-горы, угодливо подхватывали:

— Да, да! Белый мрамор крепче льда.

Снег и лёд растают, мрамор — никогда.

А неподалёку в тёмной пещере жил старик Время. Темнолицый, седой, закутанный в плащ, на котором сверкали тысяча зорких глаз, он, сидя у костра, читал каменную книгу. В ней рассказывалось о том, что было когда-то, и о том, что будет. Старик Время насмешливо улыбался, слушая разговоры гор. Он-то знал, что совсем недолго, века два-три оставалось им любоваться своим отражением в прозрачной воде Байкала. И однажды к нему ворвался с тревожной вестью ветер. Он так метался по пещере, что загасил костёр.

— Спасайся, старик, — кричал он, — с севера, стирая всё на своем пути, движутся льды!

И старик Время ушёл, взяв свою каменную книгу.

Ледяная лавина неумолимо надвигалась на горы и скалы, тесня их и утюжа. И оказалась она сильнее мрамора Медведь-горы и тех камней, из которых была сложена Богатырь-гора. И когда заглянули они в байкальскую воду, то не узнали себя. Медведь-гора перестала походить на медведя, а скалу, что высилась напротив, теперь мы бы уже не назвали богатырём. Старик Время, подыскавший для жилья новую пещеру, посмеивался:

— Где ваша высота и крепость, горы? Оказались вы не твёрже берегового песка. Время всех крепче, я — вечен.

Волкова Светлана Львовна, прозаик (род. в 1941 г. в г. Чите). Автор книг для детей: *Облачный пудель*: сказки (Иркутск, 1974); *А вот и Стрекозлик*: Маленькая повесть-сказка (Иркутск, 1979); *Василиса-кудесница и Василисина лестница*: сказки (Иркутск, 1984); *Вовкины командировки*: научн.-худож. повесть (Иркутск, 1987); *Трамвай «Сарафановка — Рынок»*: повесть (Иркутск, 1991); *Сказки мышонка Сухарика* (Иркутск, 2006). Член Союза писателей России (Иркутская областная организация).

Он подбросил сучьев в костёр. По закопчённым стенам пещеры заплясали тени. Были они похожи на тех гигантских, загадочных зверей, что когда-то здесь жили. Старик покрепче запахнул свой тысячеглазый плащ и самодовольно усмехнулся:

— Все они исчезли, словно мне приснились. Кроме меня, ничего нет вечного на этой земле.

Многое изменилось с тех пор под синим байкальским небом. Песни новых птиц огласили прибрежные леса. Следы новых зверей легли на снега и тропы.

— А что же те скалы, что были когда-то Медведь-горой и Богатырь-горой? — спросите вы.

Старик Время не оставлял их в покое. От мороза и ветра крошились и трескались и крепкие камни, и мрамор, и осыпались в воду. Волны, что когда-то лизали подножье Медведь-горы, и пели ей лстивые песни, не церемонились теперь с её обломками — швыряли их, перекачивали, стучали друг о друга лбами. Камни, обточенные волнами, становились плоскими и округлыми.

Таким же стал и белый мраморный камешек, что был когда-то частью высокой и гордой Медведь-горы. Однажды во время шторма волна вышвырнула его на берег. И так далеко, что, отхлынув, уже не смогла утащить обратно. Белый камешек лежал теперь на берегу среди разноцветной гальки. Выглянуло солнце, камешек обсох, но по-прежнему блестели вкраплённые в него две слюдяные искры. Ими и смотрел он на белый свет.

— Наконец-то я не в воде, — прошептал камешек, оглядевшись, — но плохо, что теперь я могу глядеть лишь снизу вверх, много ли так увидишь?

И только он так подумал, как оказался вдруг в полной темноте. Мальчик, приехавший издалека, зажал его в ладони. Камешек зашевелился:

— Пожалуйста, — зашептал он, — разожми пальцы. Мне не нравится сидеть здесь.

Мальчик раскрыл ладонь.

— Теперь подними меня высоко, как я привык, — попросил камешек.

Мальчик поднял руку. Глаза мраморного — две слюдяные искры сверкнули на солнце.

— Как хорошо, — прошептал он, — так было давно-давно, когда я ещё был горой. Тогда небо было совсем рядом, солнце, звёзды и облака прямо над головой. Подними меня ещё выше!

Мальчик встал на цыпочки. Глаза-искры сверкнули удивлённо:

— А что это там за острова? Их раньше не было.

— Это Ушканьи острова, — объяснил мальчик.

— А что там за звери в серебряных шубах? Смотри, как они ловко плавают!

— Это нерпы.

— А вон тех маленьких белых, что с ними рядом, как называют?

— Это нерпята, бельки. Видишь, нерпы их кормят.

— Какие счастливые, — вздохнул мраморный камешек, — вырастут и тоже станут плавать. Я бы тоже так хотел. Пусть даже не плавать, пусть только ползать, как эти бельки.

— Зачем тебе? — удивился мальчик.

Глаза-слюдинки у мраморного так и горели:

— Если б я только сумел! Я бы тогда не лежал! Пусть я сейчас всего лишь маленький камешек, но был я когда-то белоснежной и гордой горой. Облака и звёзды ходили над моей головой, и теперь я хотел бы оказаться так высоко, чтобы снова их видеть. Пусть бы я только ползать умел, я бы дополз.

Лицо мальчика стало очень серьёзным:

— Тебе не надо ползать. Мой теперешний дом стоит высоко на горе. В его окна смотрит синее небо. Днём с облаками и солнцем, ночью со звёздами. Я возьму тебя с собой.

Вы конечно уже догадались, что старик Время прекрасно слышал разговор мальчика с мраморным камешком. Он не упустил их из вида. И сделать ему это было вовсе не трудно. Помните, на плаще его сверкала целая тысяча глаз! И, конечно же, старик опять рассмеялся. А надо сказать, что смеяться и разговаривать он умел на разные голоса. То это был шум ветра, то скрип старой сосны, то шорох прибрежного песка. Но слова его всегда были понятны.

— Ишь, мелюзга, горой захотел стать! Ты не хитрее меня, времени не повернуть вспять!

Старик ещё долго ворчал. А мальчик давно уже спал, покачиваясь в походной койке на катере, который шёл в посёлок. Рядом на откидном столике белел округлый мраморный камешек. Глаза-слюдинки посверкивали — он не спал и тоже, покачиваясь, мурлыкал про себя песенку, знакомую с детства:

— Белый мрамор крепче льда. Снег и лёд растают. Мрамор — никогда.

Долго сопротивлялся камешек сну, но мерное качание катера убаюкало его, глаза-слюдинки закрылись. А открыл он их снова уже в посёлке, в доме, где отдыхал этим летом его новый друг.

Дом был в самом конце улицы, карабкавшейся от Байкала в гору. Когда мальчик смотрел прямо в окошко, взгляд его упирался в поросшую тайгой вершину соседней горы. А если он задирал голову вверх, то видел синее небо, днём с облаками и солнцем, а ночью со звёздами.

— Смотри и ты, — сказал мальчик и положил мраморный камешек на подоконник.

Камешек дома оробел и молчал, но мальчик почувствовал, что он чем-то недоволен.

— Я вижу только соседнюю гору, и больше ничего, ведь я не могу поднять голову.

Мальчик так и сяк повертел камешек в руках. Потом достал кисточку, обмакнул в синюю краску, обвёл слюдинки-искры двумя синими кружками и раскрасил кружки голубым. Потом нарисовал рот и торчащие над ним нерпячьи усы.

— Ну вот, — сказал мальчик, — теперь ты белёк, и зовут тебя Мраморный. Ты можешь поднять голову вверх и увидеть всё, что видел, когда был горой.

И он убежал играть, решив, что теперь всё в порядке. Но как только он убежал и Белёк остался в доме один, застучали старые часы:

— Тик-так, тик-так. Ты думаешь, глупыш, что перехитрил меня?

Это был он, старик Время. Вы ведь помните, конечно, что он умел разговаривать разными голосами?

Мраморный замер.

— Ах ты, голыш с нарисованными глазами, — не умолкали часы, — ты решил спорить со мной? Думаешь, что опять поднялся высоко? Пройдёт век, другой, и останется от тебя только щепотка песка. О том, что ты жил когда-то, никто не узнает. Все забудут тебя. Вон какой высокой была Медведь-гора, а что от неё осталось?

Синие глаза мраморного белька часто заморгали, и их них закапали синие слёзы.

— Когда-то я был горой, а стану щепоткой песка. Все забудут меня ... и мальчик.

Синие слёзы капали прямо на синюю тетрадку, которая лежала рядом на подоконнике. Эту тетрадку мальчик принёс домой, чтобы писать дневник, но так за всё лето её ни разу и не открыл. Когда он вернулся с улицы, то увидел на ней синие кляксы. Но откуда они взялись, мальчик не догадался, ведь белёк ему ничего не сказал.

Но стоило только взглянуть на тетрадку хозяину дома, как ему сразу всё стало ясно.

Хозяином дома был старый рыбак. Он и возил мальчика по Байкалу. Всю жизнь рыбак сражался с ветрами. Всю жизнь смотрел на воду и скалы. Он сразу поэтому понял, почему плакал белёк Мраморный. На прощание, когда мальчик уезжал в свой город, старый рыбак протянул ему синюю тетрадь.

— Не забудь.

Только дома мальчик увидел, что тетрадка исписана. Почерк был не очень хороший. Ведь рука, которая выводила эти неказистые буквы, больше привыкла работать веслом, держать штурвал, тянуть сети. Но мальчик буквы разобрал и прочитал эту сказку.

Конечно, он приехал в дом на горе и будущим летом. Ведь там его ждали. Ждал старый рыбак, ждал мраморный белёк с синими глазами. Он больше не плакал. Старик Время его уже не пугал. Ведь и он одним глазом заглянул в синюю тетрадку и понял, что теперь о Медведь-горе и бельке Мраморном мальчик уже не забудет.

Победа

Рассказ

Школа, где училась Люба, стояла на вершине высокой горы. Огромные сосны скрывали её от лабиринта улиц и переулков, которые теснились у подножья и ползли вверх деревянными домами, косями заборами, сараями и палисадниками. Добравшись до середины довольно крутого склона, они редели, теряли силы и уступали место вековым деревьям, вершины которых уходили в небо, а корни, словно канаты, переплетались, путались узлами, вились узорами. Казалось, что это деревья-великаны держат гору над всей остальной землёй своими цепкими, упрямыми пальцами.

Люба любила дорогу в школу. Ранним утром она выходила на крыльцо маленького дома у подножья горы и смело смотрела вверх, туда, где за зелёной шапкой леса, как сказочный замок в тридевятом царстве, пряталась школа. На гору вели сто путей. Можно было идти прямо, никуда не сворачивая, скучно карабкаться вверх, наблюдая, как башмаки медленно обрастают грязью. Можно было свернуть в ближайший переулок, пройти до магазина и нырнуть в проём, на зажатую с двух сторон высокими потемневшими заборами тропинку. Выйдя по ней к широкой, с редкими кусками асфальта автомобильной дороге, можно было пробираться дальше узкой аллеей из акаций. А можно было пойти направо и метров через сто, отодвинув доску в заборе слесарной мастерской, пересечь двор, усыпанный стружками и опилками. Оба эти маршрута были небезопасны. Осенью акации сыпали за шиворот капли холодной росы, а зимой отяжелевшие ветки вдруг швыряли в лицо колючие снежные комки. Тогда девочка, пронзительно визжа и прикрываясь портфелем, бежала сквозь кусты, замирая от восторга и страха. Под деревянным навесом слесарной мастерской жили две противные собачонки, которые тихо дожидались, пока Люба прокрадётся до середины двора, и с лихорадочным лаем вылетали из укрытия. И тогда снова приходилось спасаться бегством. Дальше дорог становилось ещё больше — переулки петляли, путались, грозили превратиться в тупики. Но Люба знала все лазейки — то пробиралась через палисадник, то по тоненькому бревну переходила огромную лужу, то прыгала по широким земляным ступенькам, минуя канаву. А на одной из улочек ей время от времени попадался чёрный кот. Он выбегал из подворотни и, боязливо озираясь, пересекал дорогу. Это был дурной знак, и Люба, стыдясь собственной трусости, ждала прохожего и пристраивалась вслед за ним или же пробиралась к лесу другой улицей.

А лес был чудесен. За деревьями жила какая-то тайна. Казалось, вот ещё шаг,

Воронина Нина Александровна, прозаик (род. в 1962 г. в г. Чите). Автор книг *Остров*: повести и рассказы (Иркутск, 2006), публикаций в московских и иркутских журналах. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

и она откроется. Но тайна ускользала, растворялась в прозрачном воздухе и снова манила, и вселяла радостную надежду на грядущий день. Весной из-под бурой хвои пробивались синие подснежники. Зимой чистый, блестящий снег сверкал на солнце. Осенью маленькие шишки, похожие на ежей, падали с небес, шуршали, катились по тропе и застревали в трещинах возле корней.

Люба бежала среди деревьев вприпрыжку. Тоненькие, быстрые ножки ловко перескакивали через корни. Порой девочке казалось, что она летит, парит в пространстве между прямыми, как стрелы, соснами. Пока эту способность к полёту заметил только учитель физкультуры.

— А ты, талант, однако! — сказал он, недоверчиво разглядывая секундомер. — Давай-ка, отдохни маленько и пробегги эту дистанцию ещё раз.

Худенькая первоклассница ещё не знала, что тропинка в лесу на языке физкультурников называется дистанцией, и просто побежала, как при игре в догонялки, улыбаясь и высоко вскидывая ножки.

— Хм?! — сказал учитель и почесал лысеющий затылок. — Молодец! Следующей осенью на первенстве школы побежишь, а пока давай я тебя в лыжную секцию запишу.

И Люба всю зиму каталась на лыжах. Неуклюже, неловко. Ей всё мешало — ноги, скованные деревяшками, руки, вдетые в петли на палках. Ей хотелось летать, отталкиваясь от земли, ей хотелось видеть небо, верхушки сосен, а вместо этого перед глазами болтались две скользкие ленты лыжни. Люба падала и подолгу барахталась в сугробах. Другие дети легко скользили мимо и скрывались за деревьями, а Люба нередко тащилась к финишу с остатками лыж. Глядя на очередную пару испорченного инвентаря и жалкую промокшую первоклашку, тренер закатывал к небу глаза и издавал стон, как человек, у которого болит зуб.

Но весной снег сошёл, и пигалица-первоклашка, поменяв лыжи на новенькие кеды, побежала дистанции с рекордной скоростью. Тренер, глядя на секундомер, закатывал к небу глаза и издавал крик уже как человек, лишившийся рассудка. Люба бегала без устали. На старте она срывалась с места и улетала далеко вперёд.

— Когда ты бежишь дистанцию, ты должна думать, — учил тренер, — выстраивать стратегию. Ты устанешь, выдохнешься к концу, и тебя обгонят все. И ты будешь последняя, потому что не учла рельеф, не рассчитала усилий, не сберегла энергию.

Люба хлопала ресницами, согласно кивала головой, но как только раздавалась команда: «На старт! Внимание! Марш!», срывалась с места и радостно бежала среди деревьев, не замечая соперников, не размышляя о рельефе и не рассчитывая усилий.

Прошла весна, и наступили каникулы. С утра до ночи Люба пропадала на улице. Она уходила в лес, где с компанией друзей строила штаб-шалаш. Здесь придумывали игры — в казаки-разбойники, в Тимура и его команду, в неуловимых мстителей, в партизан. Не чувствуя голода и усталости, «партизаны» ползали между корнями, устраивали засады, кидались снарядами-шишками, ходили в разведку. Любу часто отправляли в разведку, потому что когда приходилось уносить ноги из вражеского лагеря, догнать её не мог никто.

А ещё у Любы был секрет. Играв однажды в лесу, она нашла сосну с огромным дуплом. Располагалось дупло не очень высоко над землёй. Надо было только изловчиться и, подпрыгнув, зацепиться за крепкую, тугую ветку. Карабкаясь по шершавой коре, нащупать ногами сучок, опереться на него, и дело почти сделано. Дальше надо только встать на ветку, что повыше, и дупло окажется рядом, в него уже можно будет заглянуть. Когда Люба впервые проделала это упраж-

нение и заглянула в дупло, в надежде увидеть белку или сову, она дико удивилась и даже вскрикнула от неожиданности. Дупло было огромным, в нем вполне могла поместиться маленькая девочка, например, такая, как Люба. С того момента у неё и был секрет — место, куда дети обыкновенно прятали свои самые драгоценные приобретения. За лето здесь скопилось несколько настоящих сокровищ — осколки цветного бутылочного стекла, большая перламутровая бусина, серебристый поплавок и чудесный позолоченный кулон. Сидя в дупле, Люба рассматривала солнце сквозь кусок зелёного стекла, потом — синего, потом — красного. Зелень была густой, темной, загадочной, синева — прозрачной и зыбкой, как воздух, а краснота тревожной и манящей, как пожар. Зелёное стекло не было редкостью, битых бутылок из-под портвейна никто не считал. Синий кусок стекла происходил от бутылки одеколona, и его можно было променять на что-то стоящее, например, на кусок красного стекла, который попадался редко и потому ценился высоко.

Но самым дорогим сокровищем, укрытым в дупле, конечно же, был кулон. Когда Люба впервые увидела его, она забыла не только моргать, но и дышать. Он висел на красивой тёткиной шее, которая только что приехала из Чехословакии. Конечно, приехала не только шея, а вся тётя, пахнущая духами и помадой, в розовом, чрезвычайно модном кримпленовом платье, в туфлях на тонких каблуках, с лакированной, блестящей сумкой. Под восторженные крики родственников она поставила на пол эту сумку, разогнула розовую кримпленовую спину, и тут Люба увидела его — кулон на золочёной цепочке, обвитой вокруг шеи. И с того самого момента она продолжала видеть только шею и этот кулон. И до того самого момента, пока кулон не оказался у неё в руках, думать она могла только про этот золочёный овал, усыпанный разноцветными камнями, сияющими на солнце, как капли росы. В конце концов тётя вынуждена была подарить Любе этот кулон. Она плавно сняла его и со словами: «Возьми, если тебе так нравится», отдала украшение девочке. Люба сначала даже не поняла своего счастья. Она держала кулон на далеко вытянутых вперёд руках и молчала. Она знала, что в таких случаях надо благодарить и отказываться от подарка, потому что он слишком ценен самой хозяйке, но у неё не было сил отказаться от неопишуемой красоты кулона. Поэтому она стояла и молчала. А тётя вдруг засмеялась, поцеловала Любину макушку и очень просто решила такой невозможно сложный вопрос: «Это же пустяк — чешское стекло. Совсем недорогое».

Сначала Люба носила кулон в портфеле и, при первой же возможности, оставшись одна, доставала и любовалась им. Потом, решив, что портфель не слишком надёжное хранилище, спрятала украшение в коробку из-под чая и унесла в дупло. Здесь, по её мнению, вещь была в безопасности. Люба могла часами показывать кулон солнцу, которое, отражаясь в рубиновых, изумрудных и бирюзовых точках, пылало от зависти. И теперь Люба знала — на свете нет ничего красивее и дороже чешского стекла.

Летом девочка научилась кататься на велосипеде. Своего велика не было, и приходилось подолгу ждать, чтобы прокатиться на соседском. Педали Люба крутила быстро-быстро. Однажды на скорости не вписалась в поворот и полетела с крутой горы. Мимо мелькали дома и заборы. Неуправляемый велосипед выскочил на проезжую часть и опрокинулся в кювет. Люба перелетела через руль и прокатилась по камням на локтях и коленях. Широкие, грязные борозды на коже горели и кровоточили. Красивое сиреневое платье, подаренное мамой на день рождения, висело клочьями. Было больно и обидно, но девочка стиснула зубы и не заплакала, а наоборот засмеялась навстречу подбежавшим друзьям.

Она увидела в их глазах страх, и ей захотелось их развеселить и успокоить. Дети вместе поднимались в гору и хохотали, волоча велосипед с кривым передним колесом. И Люба хохотала громче всех, хромая сразу на обе ноги.

И вот пришла осень. В палисадниках распустились астры. На акациях висели стручки, из которых дети делали свистульки. Каждая пищала на свой лад — пронзительно, скрипуче, надоедливо — по-хулигански нарушая школьный порядок. В коридорах, блестящих свежей краской, уютно запахло какао и свежее испечёнными коржиками. Люба входила в класс, радостно замирая. Аккуратно раскладывала на парте учебники и слушала урок, изредка поглядывая в огромное окно, за которым стеной стоял лес, надёжный и величественный, как крепость.

Наконец наступил день соревнований. Ради школьной спартакиады даже отменили занятия. Учитель физкультуры с раннего утра бегал по этажам и громко раздавал команды. Старшеклассники вынесли на улицу разноцветные флаги и построили их двумя стройными рядами. Между деревьями натянули жёлтые ленты и повесили на них номера дистанций. Большими гвоздями к деревьям прибили транспаранты: «Бороться, искать, найти и не сдаваться!», «Пионер — всем ребятам пример!», «Ленин! Партия! Комсомол!», «Старт», «Финиш». Всюду на деревьях висели шары, флажки, указатели. К полудню на улицу вынесли лакированный стол и выставили на нем призы — блестящие кубки, коробку с медалями, грамоты. Неподдалёку от стола водрузили пьедестал с нарисованными цифрами 1, 2, 3.

Нарядные учителя и родители рассредоточились вдоль флагов и лент. Директор школы — строгая худая женщина в строгом костюме — сказала в репродуктор речь. Она поблагодарила партию за заботу и внимание к детям и от имени детей заверила партию в неизбежности выдающихся достижений в учёбе, труде и спорте. Пионеры, для наглядности, выступили со спортивным номером — одинаковые девочки и мальчики в белых футболках и черных трусиках строили пирамиды, из которых становилось ясно, как они полетят в космос и покорят Северный полюс.

Люба всегда думала, что спартакиада — это такой урок физкультуры, на который собирается вся школы. Она и дома сказала, что у них сегодня один большой урок физкультуры, поэтому учебники не нужны, а нужна только спортивная форма. Трико и майка у Любы были уже довольно потрёпанные, ведь она всё лето лазила в них по деревьям и ползала по «партизанским окопам». А тут ещё у Любы заболели уши, и бабушка заставила её натянуть на голову шапку какого-то непонятного серо-буро-малинового цвета.

Физрук, увидев Любу, разозлился ужасно и опять завыл, как человек, у которого болит зуб.

— Где твой номер? — закричал он. — Какой у тебя номер?

— Я не знаю! — испуганно ответила девочка.

Физрук долго рылся в каких-то списках и, наконец, объявил:

— Восемь. Запомни, ты — восемь! Кто-нибудь, нарисуйте ей восьмёрку!

Подбежала председатель совета дружины и белой гуашью нарисовала восьмёрку прямо на застиранной форме — спереди и сзади. От мокрой краски по телу пробежал холодок. Председатель вытащила Любу на солнечное место и велела стоять там. А соревнования тем временем уже начались. Из-за спин взрослых Люба ничего не видела. Только по нарастающему шуму голосов понимала, когда наступал старт, а когда финиш. Солнце припекало. Волосы под серо-буро-малиновой шапкой взмокли, и капельки пота выбрались на лоб. Но бабушка строго-настрого наказала не снимать шапку, особенно когда голова мокрая. От этого

может приключиться какая-то страшная, неизлечимая болезнь под названием «менингит». Люба стояла и терпеливо ждала, когда высохнут цифры. А они всё не сохли и не сохли. И вдруг она услышала, как в репродуктор закричали её фамилию. Сорвалась с места и побежала туда, где ровными рядами стояли флаги. Она так торопилась, что даже упала, запнувшись о корень сосны. Сердце колотилось громко-громко, и казалось, вот-вот выпрыгнет из груди и поскачет рядом по тропинке.

На старте уже собрались участники забега.

— А сейчас состоится соревнование между школьниками младшей возрастной группы — второй, третий и четвёртый классы, — прокричал физрук.

Рядом с Любой построились дети. Все они были на голову выше. Из толпы им кричали слова поддержки, весело размахивали флажками, шариками и платочками. Любе хотелось спрятаться, исчезнуть, стать незаметной, прозрачной рыбёшкой в этой стае младшей возрастной группы. Но тут физрук закричал: «На старт! Внимание! Марш!», девочка привычно рванула вперёд и побежала, полетела вдоль жёлтых лент, опоясавших деревья. И зрители слились в единый пёстрый поток. Их крики растворились в вершинах сосен, ставших в мгновение ближе. Люба бежала, не замечая никого и ничего. Она, наверное, убежала бы за горизонт. Но кто-то сильными руками схватил её за плечи, развернул и направил обратно, крикнув вслед: «Это же не твоя дистанция!». Впереди мелькали спины соперников. Оказывается, девочка не заметила метку, рядом с которой надо было повернуть обратно, и теперь отставала от группы метров на тридцать. «Оля! Оля! Оля!», «Сашка, гони, гони!», «Паровоз, поддай пару!». Отовсюду теперь слышались голоса. Любе стало страшно и стыдно, что она прибежит последней. «Лети, лети», — шептал ей ветер, и она летела. Вот уже осталась позади половина участников. Вот ещё один, и ещё. И вот впереди только девочка в яркой курточке с ровненько вычерченной посередине единицей. Огромный красный бант, как дикий цветок, колышется на голове. И хвостик светло-русых волос развевается на бегу, как у лошадки. «Та-ня! Та-ня!», — кричат вокруг все. И только кто-то весёлый, справа, нарушая общий строй, прорывается в паузу между словами: «Давай, мышонок! Вперёд!». И Люба, понимая, что она — мышонок, заливается где-то внутри себя удушающим смехом, рвётся вперёд, обгоняет красивую девочку и кривой белой восьмёркой, навек присохшей к трико, срывает атласную ленту под транспарантом «Финиш».

Победа. Это была победа. Вокруг мелькали какие-то незнакомые люди. Они трясли девочку за плечи, что-то кричали и растворялись в толпе. Запыхавшиеся от быстрого бега маленькие физкультурники стояли, прислонившись к стволам деревьев. Заботливые родители несли им воду, утирали платочком пот. Неподдалёку громко плакала красивая девочка с бантом. «Танечка, ну что ты так расстраиваешься?! — говорили ей наперебой мама и папа. — Ты же вторая! Это же хороший результат!»

Восторженный миг победы, от которого у Любы на несколько секунд перехватило дыхание, остался позади. Атласная ленточка, торжественно пронесённая на груди, валялась под ногами. Плакала навзрыд красивая девочка Таня с единицей на яркой куртке. И отчего-то на душе стало грустно и горько. Захотелось уйти в лес, забраться в дупло и не видеть никого. «Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч!» — вдруг вспомнила Люба и усмехнулась. «Конечно, это она, красивая Таня должна была победить», — говорил кто-то внутри самой Любы. А когда дети забрались на пьедестал — маленькая победительница с кривой восьмёркой, в серо-буро-малиновой шапке, с грязными коленками-

пузырями и высокая Таня с горделивым хвостиком, красным цветком-бантом, с единицей на куртке и блестящими от слёз глазами, то и все вокруг подумали: «Как было бы правильно, если бы победила красивая Таня, а не эта замарашка!» И директор школы — строгая женщина в строгом костюме тоже так подумала и разочарованно сунула в маленькие грязные Любины ладошки огромный золочёный бессмысленный кубок.

На пути к своему заветному дереву девочка то и дело натыкалась на жёлтые обрывки лент, лоскутки лопнувших шаров, флажки, указатели. Это был какой-то чужой лес. Любе казалось, будто кто-то прячется за его пригорками, крадётся, таится за кустами. Забравшись, наконец, в дупло и с трудом втащив туда обвязанный куском атласной ленты кубок, Люба облегчённо вздохнула, словно добралась до дома. Она решила сохранить свою награду в дупле, как самый большой секрет. Сидя здесь, в глубине дерева, растущего в глубине старого леса, девочка почувствовала, как сильно она устала за этот бесконечно длинный день. Она достала из коробки украшенный стекляшками драгоценный кулон и долго смотрела на него. А потом отчего-то заплакала. Слёзы потекли сами, легко, без усилий. Люба изредка подносила к щёкам кулачок с зажатым внутри кулоном и смахивала им прозрачные, как чешское стекло, слёзы.

Флюрины ложки

Рассказ

I

На Покров били скот. Накануне вечером разъяснило так, что звёзды стали сверкать пронзительнее, а к утру небо снова затянуло белым и выпал снег.

Солнце на этом белом поднималось алое и стылое.

Мужики посчитали, что с приходом холодов кормить скотину дальше уже не имеет смысла. С утра в посёлке загудели паяльные лампы, залаяли собаки, затарахтели грузовики, полетели в небо рваные космы дыма.

Старенький гремящий автобус подрулил к воротам поселкового подсобного хозяйства и остановился. Из него вышли два мужичка — один помоложе, другой постарше, а за ними спустилась сухонькая старушка в сером пуховом платке.

По хрупким корочкам луж, по мёрзлой, припорошенной снегом глине старуха поплелась за мужиками.

— Ой, погодите. Не поспеваю за вами, — сказала она.

— С тобой, баба Флюра, запросто на работу опоздать можно, — полуобернувшись на ходу, сказал тот, который был помоложе.

— Тебе, Флюра, всё простится, а с нас председатель за опоздание стружку снимет, — добавил тот, который был старше. — Да тут и дороги-то всего двести метров. Можно и в одиночку дойти. Или, может, забоялась кого?

— Чего мне бояться? — ответила баба Флюра. — Хоть и двести метров, а одной идти тоскливо. Михалыч, Петруша, погодите!

— Я думал, ты к одиночеству-то привычная, — буркнул Михалыч, чего-то вдруг усовестившись, но шагу всё равно не сбавил.

Мужики дошли до коровника, хлопнули дверью на лютой пружине, выпустив при этом из помещения облако влажного пара, и скрылись в коровнике.

Скоро и баба Флюра дошла до двери, схватилась за ручку, но заходить внутрь не стала, остановилась, переводя дыхание.

Из-под двери сенного сарая тут же вывалился выводок любопытных щенков, а вслед за ними вылезла и тощая собака.

— Огледы! — всплеснула руками баба Флюра. — Вы гляньте, что вы с матерью-то сделали. Ведь совсем же одна кожа да кости от неё остались.

Собака медленно подошла, ткнулась мордой в руки старухи и горестно завиляла хвостом.

Воронцов (Мурынкин) Николай Альбертович, прозаик (род. в 1972 г. в пос. Мама Иркутской обл.). Автор книг: *Командировка в ад*: повесть (М., 2004); *Господин адвокат*: повесть (М., 2005); *Всё куплено*: повесть (М., 2005); *Траурный вальс Мендельсона*: повесть (М., 2006) и др. Член Союза писателей России (Иркутская областная организация).

— Найда, потерпи. Сейчас я тебе что-нибудь вынесу. Тебе и оглоедам твоим. Баба Флюра выпустила из рук собачью морду и поспешно скрылась за дверью коровника.

Скотину для забоя уже определили.

Председатель выбрал здоровенного чёрного быка, прозванного доярками Цыганом за непредсказуемый нрав, и пока быка взвешивали на особых весах, Михалыч проверил наличие воды, после чего сунул за голенище сапога охотничий нож.

— Баба Флюра! Ты вчера в бойне прибиралась? — спросил Петруша. — Там на верстаке верёвка лежала...

— Прибрала. Ещё подумала, что она вам сегодня понадобится. Сейчас принесу.

Баба Флюра убежала и через пару минут вернулась со склизкой верёвкой в руках. Она подала верёвку Михалычу и, немного посомневавшись в чём-то, спросила:

— Михалыч, ты бы мне требухи оставил, а? Хотела на выходные пирогов напечь.

— Кого пирогами угощать собралась? — сердито спросил Михалыч. — Ни детей у тебя, ни внуков. Или может замуж на старости лет собралась?

— Гостей позвать хотела, — ответила баба Флюра.

— Дата, что ли, у тебя какая, гостей-то звать? — всё так же сердито спросил Михалыч. — Ладно, оставлю, — сказал и нахмурился.

Михалыч привязал веревку к рогам Цыгана и потянул быка в бойню.

Бык упирался, нехотя, но шёл, однако перед дверями бойни встал как вкопанный.

— Чувствует свою скорую смертушку, — догадался Михалыч и заорал на быка что-то матерщинное.

Бык дрогнул, шаркая по бетонному полу копытами, прошёл в бойню и покорно дал себя привязать к вбитому в пол возле решётки слива воды железному кольцу. Так и стоял, мотая башкой и фыркая.

Тем временем Михалыч открыл запасную дверь, что вела из бойни прямо на улицу, перекурил, взял здоровенную кувалду, поплевал на руки, примерился и припечатал быка кувалдой в лоб.

Хрустнули кости.

Бык упал на передние ноги и захрипел.

Михалыч примерился и ударил ещё раз.

Бык завалился на бок, и по мышцам его прошла волна мелкой дрожи.

Не особо-то поторапливаясь, Михалыч достал из-за голенища нож и резанул им по шее быка.

Полилась кровь.

Стало тихо, только капала вода из крана, да свистел на улице холодный ветер.

Бык некоторое время лежал, не двигаясь, но потом вдруг отчаянно забил ногами, вскочил, со всей силы дёрнул башкой, оборвал верёвку и ломанулся на уличный свет в раскрытые настежь двери бойни.

— Держи! Уйдёт! — заорал Михалыч и бросился следом.

Но бык и не собирался убежать.

Видимо, одурев от белого снега, он замедлил ход и встал посреди двора.

С его шеи в снег падали капли крови.

Всё замерло. Замерли Михалыч и Петька в дверях бойни, замерли рассыпан-

ные в недоумении возле сенного сарая щенки, замерла тощая собака Найда, замерла баба Флюра с миской собачьей еды, и даже высокие берёзы замерли за покосившимся чёрным забором двора подсобного хозяйства.

Первым нарушил тишину бык. Он сделал неуверенный шаг в сторону, потом ещё и ещё, и вскоре слепо и бешено понёсся по двору в сторону сарая.

— Оглоеды! — закричала баба Флюра. — Ведь передавит же всех!

Она кинулась к сараю, а Цыган, видимо, на её крик, резко переменял траекторию движения и понёсся теперь уже на бабу Флюру. В самый последний момент он, правда, попытался отвернуть, но силы изменили ему, и бык рухнул, придавив всей своей тушей бабу Флюру, после чего и затих.

Михалыч снова заматерился. Он и Петька подбежали к быку и принялись стаскивать его с придавленной женщины.

Баба Флюра с недоумением посмотрела на мужиков, потом на ничего не понимающих щенков возле сарая и остановилась взглядом на белом холодном небе за гудящими от налетевшего неизвестно откуда ветра верхушками берёз.

— Петька, беги за председателем, — прохрипел Михалыч, всеми силами пытаясь сдвинуть тушу быка с места.

Пока Петька бегал за председателем, пошёл снег.

От снега баба Флюра стала мёрзнуть, а потом светло и тихо померла.

II

Похороны решено было произвести за счёт средств поселковой администрации по причине отсутствия у усопшей родственников и каких-либо сбережений.

Все справки были оформлены вовремя, все принадлежности для похорон приготовлены как тому и полагается. Кроме гроба, обитого красной тканью и чёрной траурной лентой, кроме платья для покойницы и прочего, были приобретены также два искусственных венка с металлическими ленточками и соответствующими надписями на них — один от соседей по улице, другой от поселковой администрации.

— Отмучилась сердечная, — завздыхали помогавшие по похоронам соседки.

Женщины вымыли в доме бабы Флюры полы, накрыли старой белой скатертью мутное зеркало на стене и подмели крыльцо. Они поставили в красный угол комнаты две табуретки и открыли нараспашку калитку: заходи, мол, кто желает, здесь человек помер.

Когда привезли гроб с телом и установили его на табуретки, женщины собрались вокруг, предварительно покрыв головы чёрными косынками, и стали благообразно перешёптываться в дремотном сумраке.

Пришёл подвыпивший Михалыч.

Он бросил на пол связку веток пихты и сокрушённо покачал головой:

— Вот оно как! Из-за щенков смерть приняла!

— Отчаянная была, — тихо согласилась с ним одна из женщин.

— И не говори, Иринка! Она сейчас уже, поди, перед апостолом Петром у дверей рая стоит, — зашептала другая.

— Куда там, Семёновна, баба Флюра, уж поди, с Всевышним разговаривает, — возмутилась Иринка.

— Бабе Флюре бояться-то нечего. Она жизнь праведную прожила, — сказала третья женщина. — Её Господь и призвал-то даже в праздник Покрова. Не каждо-

му такая честь выпадает! Да вы посмотрите на неё: лежит спокойная, как будто и не померла вовсе, а просто уснула.

— Вот вроде и одинокая она старушка была, а всем давно уже стала как родная, — заметила Семёновна. — Не поверите, без неё и меня на свете не было бы.

Женщины тихо ахнули и стали слушать Семёновну.

— Это ещё в войну было. Отец на фронт ушёл, а мама мною беременная в посёлке одна осталась. И до самого последнего на ферму на работу бегала. Как-то раз схватила бидон с молоком, да тут же и поставила его. Воды у неё отошли. Рожать она прежде срока стала. Да как-то нехорошо всё пошло. Она мне потом рассказывала, что крови много было, да и сознание уж терять начала. А на ферме в тот день кроме неё только молодая тогда ещё баба Флюра была, да безрукий инвалид сторож Романов. Ну, что делать? Недолго думая решили, что инвалид Романов маму останется сторожить, да роды принимать, а баба Флюра побежит в посёлок за фельдшером. И смех и грех прямо! Баба Флюра-то потом хвасталась, что отродясь так быстро в жизни своей не бегала. И ведь успела! Фельдшер сказал, ещё бы пять минут и было бы поздно.

— В нашей родове тоже случай был, — сказала Иринка. — У тётки Нади лет пять назад сына Володьку посадили. Он кого-то там по пьянке за бутылку самогона ножом пырнул. А у тётки Нади с горя ноги отнялись. Ни воды не принести, ни дров наколоть. Лежала в лёжку. Мы ей тогда помогать пробовали, но на два дома-то не разорвёшься. Ну и стали тогда думать, что делать. К кому её на временное житьё из родственников определить. Ясное дело, никому такого счастья не захотелось. Родственников вроде много, а тётка Надя всем сразу как чужая сделалась. Тогда баба Флюра, хоть и не была никому родственницей, но всё же вызвалась в район сходить и с народной судьёй поговорить. Никто, конечно, не поверил, что это поможет, но решили — пусть идёт. Ушла. И ведь что вы думаете? Выпросила! Володьку прямо из зала суда выпустили, судья только пальцем ему погрозила и сказала, чтоб больше так не делал. А Володька после того случая изменился. Женился, тётю Надю к себе забрал и даже водку пить бросил. Бабе Флюре потом все нашенские ещё долго за него, да за тётю Надю, в спасибо кланялись.

— Да об чём говорить, — вздохнула третья женщина. — Баба Флюра всегда очень порядочная была. Она за свою жизнь мильён хороших дел сделала.

— Вот так! Человека уж нет, а добрые поступки его живут и здравствуют, — выслушав женщин, философски заметил Михалыч.

Вынос тела совершался на третий день.

С утра пораньше женщины сутились на кухне, стали готовиться к поминкам.

— Семёновна! Что с вещами-то делать будем? — спросила Иринка. — Законных наследников у бабы Флюры не имеется.

— Да уж какие там вещи! — махнула рукой Семёновна. — Прожила баба Флюра жизнь, а капиталов никаких не скопила.

Семёновна принесла с веранды эмалированное ведро с брусникой и принялась ножом колоть смёрзшиеся ягоды. Ягоды стеклянными бусинами стучались друг об дружку.

— Иринка, кастрюлю для киселя неси, — сказала Семёновна. — Народу проститься с бабой Флюрой много придёт.

Ирина раскрыла дверцы крашенного белой краской буфета и полезла на верхнюю полку, туда где стояла самая большая кастрюля. Неожиданно с одной из по-

лок грохнулась на пол жестяная банка. Она раскрылась, и на белый свет, словно стайка мелких рыбёшек, хлынула дюжина или две разноразных чайных ложек.

Иринка присела над ложками и провела по ним рукой:

— И зачем только бабе Флюре столько ложек? Марья Семёновна, вы гляньте. Все разные. Тут даже одна серебряная имеется.

— Мельхиоровая, — хмуро заметила Марья Семёновна.

— Что?

— Я говорю, мельхиоровая. Это моя ложка. Мне невестка на юбилей набор из шести штук подарила. Она их в городе купила. Я их гостям по праздникам на стол клала. А после майских хватилась — одной нет.

— А у меня ведь тоже одна чайная ложка пропала, — заметила Иринка. — Не серебряная, конечно, а обычная. Их тут, я смотрю, много таких. Вот так! — повела она бровью. А вы говорите, баба Флюра никаких капиталов не скопила.

— Кто бы мог подумать! — сказала Марья Семёновна. — Да если бы она сказала, что ей ложки нужны, что ж я ей, не купила бы что ли?!

— Да я для неё ничего бы не пожалела. Какие хочешь ложки принесла бы.

— Глянь на неё, — сказала Марья Семёновна. — Лежит, нахмурилась. Ещё, поди, нас же и ругает, что мы её тайник рассекретили.

Иринка собрала ложки в банку, поставила её обратно на полку и вздохнула:

— Всё равно она очень хорошая была, баба Флюра.

В назначенное время собрались люди.

Бабу Флюру вынесли на улицу, подержали некоторое время во дворе, чтобы покойница могла с домом проститься, потом гроб поставили на грузовик без бортов, и процессия тронулась.

Впереди шли Марья Семёновна с Иринкой. Они несли два искусственных венка, металлические ленточки которых на ветру едва слышно позвякивали. За ними следовала машина с гробом, по левую сторону которого сидел Михалыч и бросал на дорогу ветки пихты.

Процессия дошла до конца улицы, потом, по причине студёной погоды, все погрузились в автобус и вслед за грузовиком с гробом покатили на кладбище.

Потом снова пошёл снег и над дорогой закружила колючая позёмка, заметая следы и раскиданные на скорбном пути бабы Флюры сладко пахнущие ветки пихты.

Василий Гинкулов

Ленские плёсы

Отрывок из повести

<...>

И так, нашим любимым рыболовным местечком весенней порой был Чёрный Камень, названный так потому, что в первый год, как мы его узнали, здесь на берегу валялась обугленная коряга, ошибочно принятая нами вначале за камень. Позже её унесло водой, и наше заветное местечко всегда отличалось чистотой галечного бережка. Над ним господствовал, надвигаясь мысом, крутой, но невысокий бугор, увенчанный роскошным черёмуховым кустом, ветки щедро разметались, склонились над обрывчиком, осыпь обнажала длинные плети корней.

Днём развёртывалась ельцовая эпопея, но всё в ней было заранее известно, большого искусства выбрасывать на бережок ельцов не требовалось, а если и сорвётся какой, затрепыхавшись и оборвав губу, не больно-то жалко. Самое интересное должно было произойти ночью.

Вечером мы отбирали наиболее резвых ельцов из лодки, где они содержались не в садке, а просто на дне в воде, время от времени заменяемой свежей, насаживали на крючки перемёта, разбросанного по самой кромке берега. Затем Гоша забирал крайний камень в лодку и потихоньку отплывал в реку. Я травил перемёт, держа его в натянутом положении, чтобы серединные камни не ушли на дно и не зацепились. Ельцы плещутся, бороздят на течении, леса перемёта режет воду, порою прыгает вверх по течению над самой поверхностью воды.

— Готово! Бросай! — нервничая, кричу брату. — Бросай, чёрт возьми!

— Ну не психуй, брошу!

У брата нервы покрепче моих, и вообще он любит всё делать с нарочитой солидностью. «Не суетись, сто лет — не маленько, — постоянно поучает он меня с самодовольной улыбочкой, — кто спешит, тот людей смешит».

Самый увесистый крайний камень брошен, перемёт лёг на дно. Частыми взмахами весла Гоша разгоняет лодку, так что она летит со скоростью торпеды и, благодаря высоко задранному носу, заскакивает на берег до половины! Чтобы угрузнувшую корму не захлестнуло водой, он опрометью со смехом выпрыгивает на сушу, неторопливо подходит к перемёту, трогает лесу рукой, даёт оценку:

— Хорошо стоит.

Гинкулов Василий Владимирович (иногда публикуется под псевдонимом *В. Шелехов*), прозаик, публицист (род. в 1929 г. в с. Тунка, Бурятия). Автор книг: *Глухариные хитрости*: Таёжные очерки и рассказы (Иркутск, 1974); *Ленские плёсы*: повесть // Повести (Иркутск, 1977); *Утрата невосполнимая*: роман (Иркутск, 1999); *Живи, тайга!*: повести, очерки, рассказы (Иркутск, 2006); *Даль сибирская*: повести и рассказы (Иркутск, 2010). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Пора позаботиться о ночлеге. Таскаем хворост из прибрежных зарослей ивняка, заканчиваем заготовку топлива обычно уже в темноте, когда вдруг станет жутковато на почужевшем берегу.

Но лишь займутся пламенем палки, сразу всё становится на свои места. Сидим, упираясь спинами в темноту ночи, как в стены родного дома, и ведём разговоры, нескончаемые, бессмертные, охотничье-рыбачьи. На таловом пруте над костром котелок закоптелый висит. Тихо. Только тонко свистит в огне сырая хворостина да лесной кулик за рекой хоркает. Кто-то плеснул и завозился около лодки — не выдра ли наш улов ворует?! А вот в котелке застучало, занегодовало, можно подумать, стая ельцов об жёсть в бешеной пляске колотится: вскипела вода. Надо заварить чай и ужинать. Выкатываем из золы картофелины, подогревшие с одного боку, разламываем — в нос так и бьёт ароматом любимого пионерского кушанья. Какая вкуснятина!

Не готовили мы себе тёплых и мягких постелей на рыбалке, не строили шалашей, не боялись простуды и почему-то никогда не простужались. Бросишь телогрейку на ложе из хвороста, повернёшься спиной к пламени костра и так в рубашке да пиджаке и уснёшь. Засыпаешь сладко и хорошо, как младенец в горячих материнских руках, а проснёшься, чувствуешь: холод как тисками тебя сжал, дрожь колотит, зуб на зуб не попадает.

Навалишь хворосту побольше, раздуешь огонь из сохранившихся в пепле угольков, посидишь, погреешься. Брат в это время тоже, конечно, проснётся. Вдруг палёным запахнет. Глядь, а телогрейка под тобою дымится. Кинешься тушить, затушить не можешь, тлеет и тлеет злобная вата. В сердцах бросишься с кружкой к реке и зальёшь тлеющую полу водой, а потом напялишь попорченную одежду на себя и хохочешь, кривляясь и дурачась. Вновь ложишься и погружаешься в сладкий сон.

Особенно знобко просыпаться на восходе солнца. Так холодно, что нет сил заставить себя разжигать окончательно угасший костёр, так холодно, что не верится в возможность когда-нибудь согреться, а солнце, выглянувшее из-за горы, как назло, нисколько, ну нисколько не греет. И вот тут, в эти зябкие судорожные мгновения, возникают странные, чужие мысли, что лучше б поменьше рыбачить, почаще спать дома, в тепле.

— Пляши! Прыгай! Быстрее! Чаше! — командует Гоша.

Мы неистовствуем в дикарской пляске, и через каких-нибудь пять минут нам тепло, и не верится, что вот только что живьём замерзали. Костёр разводить нет смысла, мы спешим к перемётам.

Завлекательно проверять перемёт, настороженный на крупную рыбу. Будь это на реке, где не водилось бы крупной рыбы, не было б такого жгучего интереса. Незвестность волнует: а вдруг попадётся таймень с лодку величиной?! И хотя такого никому не попадало, но ведь возможность необыкновенного случая оставалась, и жила в душе неистребимая вера, что ты окажешься самым удачливым рыболовом, что твои таймени ещё впереди, что счастье близко, что чудо — рядом. Мы готовы были тогда на любые муки, мы согласились бы, пожалуй, на отсечение собственных пальцев с рук и ног, чтобы, скажем, за каждый палец попадало бы по тайменю на наши перемёты.

Гоша берёт хребтовину перемёта, делает первый размашистый потяг и замирает, слушает. Я впиваюсь глазами в нить: не разрежет ли она сонную утреннюю воду, прикрытую нежным туманцем, не качнётся ли в реку?.. Но нет, всё недвижно. Может, и слышно, да не видно? Я буравлю глазами лицо брата:

— Ну? Ну? Не слышно?

Брат выдерживает паузу, отрицательно качает головой, начинает выбирать перемот. Я не верю:

— Врёшь, разбойник!

Он не устаивает меня ответом. Показались первые крючки с дохлыми ельцами, иные пусты.

— Таймень сорвал, вот хитрец! — волнуясь я. — Не мог же попасть!

— Водой сорвало, — скептически цедит Гоша, хотя ему тоже очень хочется верить, что исчезнувший елец в брюхе тайменя.

Медленно ползёт по дну перемот, я до ряби в глазах пронзаю взором толщу воды, пытаюсь отыскать там приближающуюся громаду тайменя, но тщетно... Вдруг что-то белое мелькнуло вдали.

— Есть! — кричу. — Есть! Тащи скорее!

— Болтун! Тебе показалось.

Но нет, не показалось. Приближается уже застывший и как-то посветлевший ленок не менее килограмма весом. Неплохо. Получится отличная жарёха, да собственно, можно и пирог завернуть. Ночь провели не зря, мы довольны, но не удовлетворены вполне, нет, не такая добыча нам нужна, не об этом мы грезим во сне и наяву.

И вот однажды произошла долгожданная встреча с тайменем, хозяином сибирских рек. Дело было днём. Совсем недалеко от берега «сыграл» он, то есть всплыл на поверхность и бултыхнулся. Глянули мы: как раз напротив одной из наших закидушек. Сердце так и оборвалось: неужели? Неужели на нашу закидушку заскочил?! Метнулись к ней — так и есть, лесу круто снесло по течению, это он стянул её вместе с камнем вниз. Брат потрогал шнур закидушки.

— Сидит? Не сорвался?

— Тут. Подожди, я сейчас лодку подгоню.

Поставили лодку рядом с закидушкой и стали подтаскивать осторожно голубую мечту нашу. Что может быть более увлекательно, чем вываживание крупной рыбыны, когда все чувства обострены до крайности, когда каждый нерв натянут струной, бешеная волна радости распирает грудь и лихорадит мозг, а ноги и руки позорнейшим образом дрожат от страха и нетерпения?! «Только бы не сорвался, только бы не перекусил поводок», — так и трясётся всё внутри, как на ниточке. «Милый, хороший, драгоценный, не сорвись», — готов я молиться самому тайменю, как богу, хотя если бы он услышал мою молитву, она вряд ли ему понравилась бы...

Мы давно готовились к этой встрече и собственноручно смастерили приёмный крюк из шестимиллиметровой стальной проволоки и берёзового черешка, жало его — что игла. Но как пользоваться этим грозным орудием, мы не имели ни малейшего представления, а идти на поклон к местным рыбакам гордость не позволяла.

Искусством вываживания я овладел быстро. Секрет в том, чтобы не дать рыбине нанести удара по туго натянутой лесе, чтобы давать ей «слабину» и в то же время настойчиво подтаскивать. И вот наша мечта, наш чудо-бред подошёл к самой лодке, темноспинный, багрянохвостый. Пурпурные боковые плавнички потихоньку шевелятся, работают.

Неужели он будет наш?! Умереть можно от счастья!.. А таймень стоит, едва не касаясь борта лодки напротив нас, его можно было бы попросту забросить в лодку быстрым движением руки, подхватив под брюхо, ибо весил он по виду не более пяти килограммов, но мы, напрочь обалдевшие от волнения, бестолко-

во и судорожно пытались сообразить, как действовать приёмным крюком. Смотрим: таймень весь гладкий, ни сучка, как говорится, ни задоринки, за что же его цеплять-хватать?! Только щёки таймени то откроются, то закроются, будто клапаны.

— За жабры их поддевают! — вдруг осенила Гошу замечательная, как мне показалось, мысль.

— Правильно! Больше не за что! — восторгнулся я догадливостью брата.

Стал Гоша жало крюка заправлять тайменю в жабры, да на беду никак не попадёт в узкую щелочку, лишь подведёт — жабры закроются, крюк скользит по щеке тайменя. А тот слегка головой мотнёт: чего, мол, щекочете? Но не убегает, по-прежнему стоит на одном месте, нас рассматривает. Более смиренного и глупого тайменя, думаю, в целой Лене не сыскать, ну а мы с братом в ту пору показали себя ещё большими глупцами. Долго так мы щекотали тайменя и всё без толку.

Кончилось тем, что брат потащил тайменя за поводок, хотя заранее было ясно, что такая попытка безнадёжна. Да хотя бы рывком потянул, а он остороженько приподнимает тяжелую рыбину на поводке, ссученном из швейных ниток, будто на безмене взвешивает!.. Если б таймень в этот смертельно опасный для него момент рванулся, он порвал бы поводок в десять раз более крепкий. Станный же меланхолик, безропотно разрешавший манипулировать над собою, покорно позволил Гоше извлечь себя из родной стихии, не испугался, не воспротивился самомалейшим движением мускулов совершаемому насилию, но поводок не выдержал тяжести и лопнул! Таймень плюхнулся в воду, но не убежал, по-прежнему оставался недвижим. Редчайший случай, когда сильный хищник не боролся за свою жизнь, а напротив, отдавал себя в жертву. Даже в этот момент можно было попытаться схватить его и забросить в лодку, но мы не смогли воспользоваться благоприятными обстоятельствами, мы окончательно растерялись и оторопело наблюдали, как таймень, помедлив с полминуты, потихоньку развернулся и двинулся в реку. Помахивая на прощанье багряным хвостом. И вот, наконец, он исчез в глубине. Горечь неудачи была так велика, что, казалось, легче утопиться, чем её пережить... <...>

Нам доводилось вытаскивать окуней, ленков, налимов. Не умея пользоваться приёмным крюком, брат применял такой метод: завидев крупную рыбу на перемёте, кидался опрومتью прочь от воды по пологому берегу, волоча за собой перемёт вместе с добычей. Это, конечно, приём отчаяния: если рыба сорвётся с крючка на суше невдалеке от воды, она улизнёт обратно в реку раньше, чем незадачливый рыбак вернётся и схватит её. Но если перемёт поставлен с лодки, вдали от берега, волей-неволей приходится использовать иные ухватки, например, забрасывать добычу за поводок неожиданным рывком, если, разумеется, она не слишком велика и покладиста нравом, в противном случае... Так что в один прекрасный июньский день перед нами снова был поставлен с предельной остротой неизбежный вопрос: как пользоваться приёмным крюком, как наверняка забарабать попавшуюся на крючок крупную рыбу?..

Перемёт крючков в двадцать насторожили на стрелке острова чуть ниже зарослей плавающего рдеста, причём хребтовина перемёта протянулась в полводы, поддерживаемая наплавами. Через какой-нибудь час попалась большущая щука.

Она упорно держалась поодаль, порою у нас на глазах бросалась на хребтовину перемёта и, сознавая, что именно эта нить держит и подтаскивает к подозрительным существам из иного, воздушного мира, пыталась перекусить её своею жутко зубастой пастью, металась в неистовстве и выпрыгивала из воды

на добрых полметра от поверхности! В продолжение всей схватки, длившейся, быть может, с четверть часа, хищница смотрела на нас так пронзительно-зорко, с такой тревожной настороженностью, что казалось: она мыслит вполне здраво, почти по-человечески, наши хитрости разгадала, более того, грозит жестоко расправиться, если не оставим её в покое.

Всё ближе подвожу я строптивицу к лодке, до неё уже рукой подать, но один вид крюка бесит щуку, она как будто бы догадывается о его назначении. Такая разбойница небось не позволит смиренно поддеть себя за жабры. Как же в таком случае залучить её в лодку?.. А он, этот способ, несомненно, есть, должен быть, иначе крупная рыба, как правило, срывалась бы с крючков.

Но вот Гоша незаметно подвёл крюк под щуку, при этом воинственно сверкавшее жало целило в брюхо рыбине и как бы подсказывало, что надо делать. И брат, разозлённый безуспешностью борьбы и прошлыми неудачами, неожиданно для самого себя рванул, сколько было мочи, древко крюка на себя — щука, пронзённая остриём, выскочила из воды наполовину, легла башкой на борт лодки!.. У меня помутилось в глазах. Сейчас, сейчас она трепыхнётся и сорвётся с крюка! (Через неделю здесь же крупная щука, попавшаяся на перемёт и поддетая крюком, рванулась, сломала крюк и ушла!) Всё зависит от того, кто окажется проворнее, кто опередит: или щука трепыхнётся, или Гоша сделает второй рывок и перебросит её через борт. Этот критический момент длился, думаю, какие-то доли секунды, но в память врезался неизгладимо, на всю жизнь.

Щука в лодке! Ястребом я упал на неё, задавил своим телом, чтобы она не выбросилась обратно в реку, а Гоша размашисто погрёб к острову. <...>

Фарт

Рассказ

Окутанная блескучей изморозью, на горбовину гольца выкатилась луна и осветила крестьянское подворье. Охотник накормил собаку, затолкал в конуру охапку сена и, ещё раз глянув на луну, пошёл в дом. Ожидалась перемена погоды, нужно было хорошенько отдохнуть.

Неделю кряду он с собакой «ломал» кедровые гривы междуречья, но всё безрезультатно: свежего соболиного следа так и не встретил. Азарт иссякал. Очередная вчерашняя неудача вызвала приступ отчаянной злости: «Всё... ша! В гробу бы видеть такую охоту!». В сердцах сбросил понягу, хрипло выругался и дулетом разрядил ружьё. Гремучий заряд отшиб ветку, и звук, угасая, забился в распадах. На выстрел прибежала собака, охотник даже не сказал, рыкнул:

— Домой!

Закат виновато посмотрел на хозяина, дескать, прости, не нашёл, ткнулся холодным влажным носом в руку и покатился вниз к дому.

Но то было вчера, а сегодня охотник весь день промаялся, не находя себе места. Оставалось несколько дней отпуска, не попытать ли удачу ещё раз? Вот так всегда — оттаешь малость, отойдёшь и опять тянет бежать в тайгу, как будто она без тебя засохнет. Эх, порошу бы!

И пороша выпала, как по заказу. Тронулись затемно, и уже с рассветом были в знакомом распадке. Подошва горы, поросшая молодым березняком и осинником, была сплошь исписана набродами заячьих жировок. Одуревший от свежей пороши, Закат хватал нервными ноздрями горячие запахи следов, то и дело вырывал поводок — приходилось осаживать. На охоте зайцы — это беда, измотают собаку, потом никакими силами не заставишь её работать, будет плестись сзади. Нужно скорее подняться на хребет.

Галанская грива для соболиного промысла не очень подходяща: высокая, крутая, со множеством широких россыпей, с собакой там охотиться «не нога». Но что делать, если в более удобных и доступных местах соболей, с приходом на Байкал стройки, ощутимо подобрали. Охотник, за редким исключением, промышлял обыдёнком — одним днём, всякий раз разматывая круг в двадцать пять, тридцать километров. Своего участка он не имел и потому считался браконьером. Однако добытчик не соглашался с поставленным на него презрительным тавром, поскольку считал себя потомственным таёжником известной фамилии.

Забелло Василий Константинович, поэт, прозаик (род. в 1947 г. в пос. Утулик Иркутской обл.). Автор книг: *Ледостав*: стихи (Иркутск, 1984); *Семь Грехи*: стихи (М., 1988: Приложение к журн. *Молодая гвардия*); *Возвращение*: стихи (Иркутск, 1990: *Стихи по кругу. Вып. I*); *И пройдут высоким строем птичьи стаи надо мной*: стихи (Иркутск, 1993); *Осенний пал*: стихи, рассказы (Иркутск, 2001); *Избранное*: стихи, рассказы (Иркутск, 2007); *Где родился — там сгодился*: стихи, рассказы (Иркутск, 2011) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

После войны его отец освоил довольно большой отмер тайги и всегда выполнял план. В ту пору соболями расплачивались за американские паровозы, и отец был не последним человеком в этом деле, о чем не без гордости при случае любил вспомнить. Пока сын служил в армии, отец остарел, держать одному тайгу стало не по силам. Отмер передали другому, со стороны.

Со службы охотник вернулся, а вот участка вернуть не смог, к этому времени сменились и охотовед, и директор промхоза. Старые промысловики по дружбе разрешали соболевать на своих участках, но чтоб промышлял, не мешая им.

За отпуск он добывал четырёх, редко пять соболей и сбывал их втихаря. Как говорится, отрывали с руками да ещё наперёд заказывали, так что штаны было чем поддержать. А как иначе? На одну зарплату прожить тяжело, да ещё алименты... И с другой стороны посмотреть: сдай в промхоз, получишь шиш — за всегда промысловики обижаются, и всякий старается пять-шесть шкурок тайно пустить на сторону, да которые получше. Посчитай, сколько красавиц по городу в баргузинских соболях разгуливает. Да и то правда, чем наши бабы хуже зарубежных?

Одно только угнетало охотника: скудеет тайга, и не потому, что браконьеров развелось много, как раз немного, по сравнению с главным браконьером — комбинатом — слону дробина. Это его промышленная мга годами висит над тайгой, бьёт по ягодникам, по птицам, по кедровникам. Не раз и не два, задыхаясь, пробивался охотник через эту сизо-лимонную мгу, не раз и не два видел, как, погибая, вытягивались на камнях и колодинах мыши, как осыпал хвою побуревший кедровник.

Перед подъёмом березняк рос гуще, ружьё пришлось перебросить за спину и круче забрать на хребет. Галанская грива замыкала в себе несколько хребтов и возвышалась над Байкалом более чем на тысячу метров. До недавнего времени тайга в изобилии хранила разную живность: на ягодниках кормились выводки глухарей и рябчиков; в кедровниках, едва орех наливался молочком, шустрые бурундучки принимались стричь шишки; по осени на урожай набегали чернохвостые белки-кедровки, рыжехвостые белки-еловки, вечные кочевницы, — в благоприятные годы они успевали приносить по три помета; на старых гарях в малиннике паслись медведи, нагоняя страх на случайно набредших ягодников; в сырых болотистых распадках ягнились косули, а во время золотой опад в этих же распадках сильные и грозные быки изюбри — некоторых из них охотник знал по виду и по голосу — держали гаремы в пять, а то и в шесть маток. В мелколесье, кроме зайцев, обитали колонки, горностаи — охотились на рыжеватых полёвок и куцехвостых сеноставок-пищух, и ещё много другой живности в изобилии водилось в тайге до недавнего времени.

Славилась некогда Галанская грива и соболями: любили они обживать в густых тёмных кедрачах, в россыпях. Скрадывали рябчиков, зазевавшихся пищух, не пробегали и мимо рясной черёмухи, рябины — лакомились вдоволь.

За последние годы в тайге всего поубавилось. Вот и отец нынче сказал:

— На охоту теперь надеяться нечего, занялся бы каким другим делом.

Легко сказать, занялся бы, когда с малолетства сидит в тебе эта «зараза». Каждый раз от тоски изойдёшь, ожидаячи первого снега.

На хребте охотник спустил с поводка собаку и рукой показал направление. Обрадованный кобель стрелой полетел вперёд, но через десяток-другой прыжков остановился возле пня, обнюхался, задрав ногу, отметил своё грозное присутствие, разгребая снег, пробуксовал на месте, оглянулся на хозяина и, услышав знакомое «ищи!», челноком пошёл вверх.

Кобель был окрасом лисый, среднего роста, грудаст, кольцо хвоста держал на левом боку. Сухие жилистые лапы до половины белые. Умные с раскосинкой глаза смотрели живо и весело. Маленькие острые уши чутко стригут на покато́й лёгкой голове. Он принадлежал к доброй породе карело-финских лаек, и только рано поседевший и несколько удлинённый нос с широким сквозным разрезом между норок напоминал о редкой примеси восточносибирской крови.

Охотнику долгое время на собаку не везло. Были у них с отцом когда-то соболятницы, да породу упустили. Разных потом заводили: и с чужих рук брали, и в питомнике, но всё было не то: то чутье слабое, то медведя боится, то хитрая и пакостливая, то ленивая, то обидчивая, и только про Заката, когда тот первоосенком облаял три десятка белок и загнал четырёх соболей, отец сказал:

— Этот кобель сто сот стоит, такой даётся раз в жизни, береги!

И сын берёт любимца пуще глаза. А достался он ему случайно. У проезжего чалдона в вагоне ощенилась сука, принесла одного-единственного щенка. Сразу же начались неприятности, того и гляди кого-нибудь укусит. Волей-неволей пришлось избавляться от приплода. На счастье, рядом оказался охотник. Чалдон предложил:

— Возьми, паря, грех такого выбрасывать, выкормишь, добром поминать будешь.

Рос кобелёк резвым и понятливым; с его появлением двор сразу ожил. Правда, не обходилось и без проказ. Как-то охотник колол дрова, слышит, куры, что впервые были выпущены на весеннее солнышко, испуганно закричали и захлопали крыльями. Оказалось, Закатик гоняет по ограде, поймал одну за крыло и возит. Та, растрёпанная, кричит по-сумасшедшему, а вырваться не может. Охотник схватил прут и тут же отстегал безобразника, приговаривая:

— Нельзя, шельмец, нельзя!

После этого куры ходили возле вытянувшегося на солнышке щенка, но тот только глазами косил, наблюдая за ними, а со временем и вовсе перестал замечать их.

Холодное зимнее солнце нехотя наполняло таёжный день светом. Закат рыскал по кедрачу, забирая всё выше. На взлобке он взял беличий след и через несколько минут подал голос. Охотник сразу определил: лает на белку. Не так-то просто было высмотреть в густохвойном кудрявом кедре затаившегося зверька. Белка, изобразив хвостом хвойную кисть, выстелилась на ветке.

— Вон где ты, голубушка, — обрадовался охотник, — ишь как замаскировалась.

Он зарядил стволы испытанной «тулки» беличьим зарядом и, прицелившись, ударил по тёмному пятну головки. Белка, кувыркаясь по веткам, упала в снег. Закат, затаённо следивший со стороны, в два прыжка очутился подле и придавил ещё дрыгавшегося зверька лапой.

— Нельзя! — услышал он строгий голос хозяина и отошёл.

Охотник поднял затихшую белку, отрезал передние лапки и отдал собаке. Начало есть, спасибо Хозяину¹, пошлёт ранний след, до обеда распутаем! Потрепал кобеля за ухом, прижался щекой к морде:

— Соболюшку ищи, соболюшку!

¹ *Хозяин* — грозный и справедливый дух, неписанный закон тайги. Он невидимо следит — правильно ли ведёт себя человек в его угодах. В любых таежных делах охотники уповают на Хозяина: у него просят удачи, приглашают к чаю, спрашивают разрешения ночевать в зимовье и т. д. Обычай этот соблюдается и в наши дни.

Закат знал, что от него требуется, ответно лизнул в щеку и через мгновение скрылся из виду.

...Далеко внизу, откуда нередко доносился удушливый запах дыма, россыпью сверкали угольки, они появились несколько лет назад, и соболь, выходя на жировку, подолгу смотрел на них. Сегодня ночью он побежит навстречу этим тлеющим уголькам, вернётся к оставленному урочищу, в своё родное гайно, где впервые увидел свет и впервые услышал заботливое урчание матери-соболихи. О, какая душистая и сладкая черёмуха вызревает по ключам старого обиталища! И соболь протянет к ней цепочку следов и наладомится вдоволь. Он безошибочно, по известным только ему одному приметам отыщет родное гайно и заново обживёт его, а если оно окажется занятым, он прогонит поселенца. Там, в узловатых корнях старого кедра, в одну из тёплых майских ночей началась его соболия жизнь.

В помете их было трое: две маточки и он. Ещё слепышом, расталкивая сестёр, он первым отыскивал под мягким брюшком матери самые полные и сладкие соски. На два дня раньше, чем у сестёр, у него прорезались глаза, и он первым стал выходить наружу и знакомиться с тайгой. Однажды они заигрались с пойманной мышью, и одну из сестёр скараулила сова. Она с лету схватила её и унесла. Соболиха-мать долго разыскивала детёныша, но кроме капелек крови и клочков шёрстки ничего не нашла. С тех пор она оставляла их только спящими, ловила поблизости мышей и птичек. Иногда соболят донимали блохи, перешедшие от матери, и тогда на солнцепёчном косогоре они отыскивали духмяную богородскую травку и катались по ней, выгоняя паразитов. Но настоящее беспокойство и угнетение испытывали соболята от клещей. Насосавшись за несколько дней крови, клещи тугими горошинами осыпались в траву, оставляя после себя болющие язвы-присоски. К концу лета соболята повзрослели, они уже достаточно далеко уходили от гайна, питались черникой, скрадывали птичек, гонялись за белками.

К осени у каждого зверька определился свой круг обитания и своё гайно, где, насытившись и набегавшись, соболя отдыхали по два, а то и по три дня, выходили только по нужде в облюбованное место. Большой удачей считается у охотника найти такую уборную зверька, капкан ставится без маскировки, и соболь, спячаясь, попадает в него. Таким же образом в свою первую зиму оказался в ловушке и он, спасло лишь то, что дужки сомкнулись неплотно, между ними застряла веточка. Забился соболь в неволе, но лапу выдернул, изувечив подушечку. С тех пор на снегу оставалась характерная для его следа чёрточка. Ту зиму соболь пережил тяжело, в основном кормился рябиной, подбирая обронённую синицами недоклёванную ягоду. И всюду его преследовал запах железа.

Следующие три года он обитал в гольцах, жировал на стланиковой шишке, ловил кедровок и белых куропаток.

В четвёртый год его к родному гайну вернул неурожай в гольцах. Тогда он впервые неожиданно попал под собаку. Первоосенок был хоть и прыткий, но неопытный: в азарте проскакивал на зигзагах, возвращался, распутывал след заново, отставал, соболь даже осмелел: обернувшись, злобно урчал, чем немало дразнил преследователя, и всё не мог понять, почему тот не отвязывается. Наконец описал по склону круг, сбил врага со следа и ушёл в россыпь. Когда собака разнюхала его, соболь из-под камней свирепо заурчал и раскалённо сверкнул глазками. Потом послышалась ещё чья-то поступь, в проходе с треском зачатила береста, и по лабиринтам россыпи потянул дым. Соболь забился глубже и затаился. Дым

его не доставал. Но зверёк долго дрожал, охваченный смертельным страхом. Так в его жизнь вошла ещё одна привычка к осторожности.

Хребет становился круче. Охотник замедлил шаг. Собачий след оставался то с правой, то с левой стороны, — челночный поиск позволял кобелю больше охватывать и прослушивать тайги. Вот здесь он резко во всю силу ударил в южный косогор. Учужал рябчиков, — заключил охотник, но на всякий случай решил проверить. И действительно, минут через пять след как по шнуру привёл его к ночёвкам таёжных курочек. По отпечаткам читалось: рябчики, заслышав собаку, вовремя вылезли из-под снега и брызнули в разные стороны. Кобель заметался, не зная, которого из них преследовать. Вот дурень, силы попусту тратит, ведь знает, что бесполезно... Впрочем, было видно, Закат скоро успокоился и потянул прежним направлением. Продравшись следом через сплетения густого ельника, промысловик вышел на старый оползень — открытый небольшой участок, поросший редкими рябинами. В тело помаленьку начинала вселяться усталость. Охотник снял понягу, расправил подзатёкшие сутулые плечи и сел на валежину перевести дух.

Прошло более часа, как Закат, облаив белку, оставил хозяина. Колок за колом он прослушивал тайгу, надеясь уловить знакомый запах. Ему помнился первый соболь, которого он загнал скорее из любопытства и по чистой случайности и который впился в нос мёртвой хваткой, когда кобель полез за ним в корни. Визжа и плача, Закат с трудом стряхнул соболя, вмиг закусил и затряс до смерти. После этого случая соболей он разыскивал и гонял с особым упоением.

А вот и след — Закат уловил слабый прерывистый запах. Взвизгнув, лёгким налётом пошёл за добычей. След принадлежал крупному самцу и размером был не меньше собачьего, отличался лишь формой и тем, что слабее продавливал снег. Ровные спаренные лунки извилистой цепью пересекали хребет. Характерной для следа была чёрточка, видимо, соболь, поджимая в прыжке задние ноги, чертил коготком.

— Чертёжник! Неужто старый знакомый, — вырвалось у подошедшего охотника, — поди, года три не показывался и, на тебе, нарисовался!

Охотник внимательно рассматривал след — точно, тот самый — однако часов пять как проскочил. Вмятины, что оставляли соболиные подушечки, были присыпаны снежной крупкой.

Вскоре добытчик вышел к месту, откуда кобель начал раскрутку. Сначала след круто спустился вниз, потом поднялся вверх, косогором привёл к завалу, из которого пришлось долго выбирать, перелезая через полосу свежего валежника, из валежника потянул к замшелой россыпи. Здесь соболь надолго задержался, кружил, вынюхивал пищу. Нелегко было Закату распутать жировку, для среднего чутья такие переплетения пятичасовой давности не по силам. Слышать разницу между строчками-пробегами в три-пять минут способна только и тренированная, и талантливая собака. Было видно, что Закат метался из стороны в сторону между каменных глыб, выходя на более свежую строчку. После этой жировки он часа на три приблизился к соболю.

Охотник обогнул россыпь и срезал на выходные борозды собачьего рыска. Вторую жировку Закат распутал быстрее, он описал полукруг и потянул последним ответвлением соболиной цепочки. На этот раз соболь задержался в рябиннике, кормился горьковато-сладкими плодами и заодно подкараулил свиристеля. Развеянные по снегу серые пёрышки и бусинки крови красноречиво рассказали охотнику о соболином пире. После второй жировки Закат уже надёжно держал

след «на носу». Стойкий запах отпечатков дразнил и возбуждал лайку. Кобель заметно прибавил прыти, чуя след на расстоянии, срезал углы и зигзаги, с каждым прыжком уверенно приближался к соболю. Охотник торопился, он давно распахнул ворот, изредка на ходу омывал снегом лицо. След соболя уже настолько был горяч, что, казалось, парил. Несколько раз охотнику чудился лай, он останавливался, задерживал дыхание, вслушивался.

Соболь заметил, что к нему кто-то приближается. Он повернул голову на шум и несколько раз раздражённо и отрывисто фыркнул. Что-то донельзя знакомое и смертельно опасное вдруг почудилось в этом шуме. Зверёк сорвался с места и мячиком полетел вниз. На некоторое время шум отдалился, но после поворота опять приблизился. Более километра соболь отчаянно гнал во всю прыть, на какую был способен, проскользил ельником вверх и, замыкая кольцо, выскочил на свой прежний след. Теперь виделись борозды преследователя, от них резко и неприятно пахло. Некоторое время соболь повторял свои следы, но после пружины взлетел на ель и замелькал верхом, планируя с дерева на дерево с помощью растопыренных лапок.

На кольце Закат осёкся, закрутился. Парной соболиный запах сомкнулся и сбивал с толку. Кобель метнулся во внешнюю от кольца сторону и затаил дыхание. Чёрные кончики ушей напряглись и стали ещё острее. Из глуби кедрового колка донеслось дробное цоканье соболиных коготков о мёрзлую кору. Закат ринулся в кедровник, с этого момента он держал соболя слухом, то и дело взлетая свечой над снежным покровом.

Заслышав собаку близко, соболь спрыгнул и зачертил к северному склону, надеясь уйти по глубокому снегу.

Охотник остановился поправить понягу. Солнце показывало за полдень. Вот тебе и ранний след — до обеда. Куда же ты теперь направишь свои стопы? По привычке охотник мысленно разговаривал с соболем. Только бы не в россыпь. Он пригляделся к следу: ага, и чёрточка глубже, и мах короче, пристал... кобель-то полтора маха твоих кроет. Из-под вершины Галанской долетел слабый лай Заката. В груди будто сердце оборвалось. Много раз охотник слышал этот раскатистый угрюмый лай, а привыкнуть не мог, вроде и ожидал, а всё равно застигал врасплох. Вслушался: похоже, загнал на дерево. Далековато однако...

Кедр доживал шестую и, как оказалось, последнюю сотню лет, был огромен и дряхл. Таких одновозрастных стариков-великанов с треснутой у основания заболонью и трухлявой сердцевинкой, но всё-таки способных ещё питать крону и давать плоды, было немного. Они стояли усталыми исполинами, лет двести назад пережившие страшную быль ветровала, который сокрушил более слабое поколение кедров, обратив его в беспорядочно нагромождённые кучи-завалы. Если соболь пойдёт в завалы, невольно подумал охотник, собаке не взять.

Кедр, который облаивал Закат, отличался от своих братьев тем, что был без макушки, — след ветровала. Её на двадцатиметровой высоте продолжила боковая ветвь, она развилась в самостоятельный ствол и напоминала мощную, воздетую в небеса руку. Местами ствол был испещрён дуплами, дятлы потрудились на славу, извлекая из него разных насекомых. Да... такого могучего и втроем нехватишь.

Закат, круто задрав морду, заливался лаем, показывая, что соболь где-то в дупле под верхом. Увидев хозяина, он перестал лаять и только изредка стал повизгивать и поскуливать.

— Ай, Закат! Ай, молодец! Соболюшку загнал матёрого. — В ответ на похвалу кобель завилял хвостом и ещё сильнее заскулил.

Скинув понягу, охотник достал топор и со всего маху ударил обухом по стволу. Удар глухо погас, не дойдя и до середины. Не пробить... придётся выживать дымком. Он запалил в корнях смолевые завитушки, бросил на них сухого гнилья и, держа наготове двустолку, встал повыше. Скоро дым проник в дупло, тонкими струйками зачал из щелей и отверстий, но, как и звук, дым едва просачивался до половины ствола. Требовался огонь мощнее.

Охотник обошёл вокруг кедра, соболь не подавал никаких признаков. Под взмокшие лопатки стал пробираться холод. Не простыть бы с поту — охотник развёл огонь пожарче. Закат сидел на прежнем месте строго и напряжённо, редким поскуливанием выдавая беспокойство.

— Смотри, не прозевай, — охотник погрел спину, поставил на огонь полный котелок снега. — Да, брат, завёл нас соболюшко, но ничего, Хозяин даст, возьмём. На вот... поддержи силёнки, — кинул варёную, добытую в прошлой охоте белку. Поймав её на лету, Закат жадно стал есть, не забывая, однако, следить за кедром. Подкрепив и себя сохатинкой со снеговым чаем, охотник ещё раз со всех сторон осмотрел дерево: соболя не было.

Пришлось прорубить заболонь и запалить трухлявую сердцевину. Сухое гнилье зашипело, задымил и скоро пламя охватило всё надкорневище. Дым густыми клубами выкручивался из проруба, тянул из щелей, дупел. С шумом осыпалось подъеденное огнём гнилье, на время заглушало пламя, отчего дым становился плотнее. Соболя не показывался. Начинало закрадываться сомнение: здесь ли он? Не ушёл ли по залому верхом? Охотник посмотрел на Заката, но тот по-прежнему выслушивал таёжные звуки, сидел, не шевелясь, как изваяние.

— Закат! Где соболь?

Кобель повернул к хозяину седоватую морду и, косясь на дерево, отрывисто и угрюмо взлаял. Нет, собака врать не будет, здесь он. Дым заволакивал ствол и только под макушкой, подхваченный верховиком, рассеивался. Огонь набирал силу.

А тем временем подвечерье заполняло тайгу первой низкой тенью. На хребте, пронзительно всхлипывая, одиноко заплакала желна. Настроение было скверным, начинали коченеть ноги. Охотник, переминаясь, всё чаще останавливал взгляд на срезе макушки. Если соболь в дупле, дым рано или поздно выживет его. А если не появляется — одно из двух: или слишком упорный, или задохся.

Всё больше утверждаясь в последней версии, он попробовал было закидать снегом пламя, которое уже облизывало наружную стенку проруба. Но огонь с шипением расплавлял снег, исходил дымом и занимался с прежней силой. Окончательно отчаявшись, охотник стал сердито упаковывать понягу. Нервозность хозяина тут же передалась собаке. Закат подскочил, ткнулся в руку и опять, только настойчивее, взлаял. Неужто вылез... — добытчик как подстёгнутый отлетел с ружьём.

Среди веток, что свисали над срезом, померещилась голова соболя. Охотник вскинул ружьё и выстрелил наудачу. Соболя дёрнулся и повис на срезе. Добытчик откинул ружьё и, не осознавая, что делает, полез на кедр. Тонкие отмершие сучки предательски обламывались, охотник безнадёжно скатывался, но пытался снова и снова, пока не рвануло сознание: шест!

Моментально была срублена пихтушка и приставлена к дереву. Преодолевая боль в окоченевших пальцах, он подтянулся по шесту и, вконец запыхавшийся, зажал под мышкой основание первого крепкого сучка. Было слышно, как внутри кедра, выжигая дупло, шумит огонь, он опять набрал силу и с каждой новой осыпью стрелял из проруба метёлками искр.

Отдышавшись и отогрев пальцы, охотник полез выше. Дым всё плотнее окутывал кедр, разъедал глаза, забивал горечью рот, и только колебания воздуха, на время отклоняющие его, давали возможность осматриваться и взбираться выше. Под верхом стало легче. Толстые живые ветки держали надёжно. Ощущение зыбкой высоты, которое парализующим страхом сковывало движения, отдалилось.

Наконец добрался до изгиба макушки. Мёртвый соболь висел на подмышках — он чудом не свалился назад в дупло. Из простреленной обвислой головы, окрашивая на сучьях снег, капала кровь. Только и бросилось в глаза охотнику, что соболь невероятно большой и ворсистый.

Из дупла упругой струйкой потянул просочившийся дымок. Добытчик торопливо затолкал соболя под рубаху за спину и стал спускаться. Стараясь держаться противоположной от проруба стороны, он быстро достиг середины. Дальше пришлось сползать вслепую. Тысячу раз пожалел, что не подшил резиной ичиги, кожаные подошвы обмылились, стали скользкими.

Спасаясь от дыма, охотник прятал в распахнутый ворот лицо, попеременно грел коченеющие от снега пальцы и, перебарывая страх, который опять вселился в него, продолжал спускаться. Думал об одном: только бы не сорваться. И надо же! — уже нащупал спасительный шест, как под рукой обломился сучок. Ичиг скользнул, шест полетел в сторону. Тяжёлый сотрясающий удар в спину на мгновение выбил из памяти.

Охотник попробовал подняться, но отбитое тело и ноги плохо слушались. Надо было отлежаться.

— Ну, молодец, молодец! — протянул руку и ласково погладил скулившего кобеля. — Давай-ка посмотрим, кого нам Хозяин послал.

Кряхтя, вывернул из-под спины соболя и снова удивился. Это была редкая особь, настоящий баргузинский кряж — высокая головка. Шелковистый с проседью ворс отдавал чёрным сголуба отливом. Охотник дунул в мех, ворс распался воронкой. Подпушь тоже тёмная — сквозной! — повернул животом, — жёлтого галстука на шее нет, везде одинаков... да-да, такого полуметрового красавца добывать не приходилось, вот отец удивится.

— Удача, Закат! Удача! На, помни малость.

Кобель, злобно урча, потряс соболя, перекинул через голову и стал по нему кататься. Охотник знал: шкуру собака не испортит.

...Отойдя хребтом километра полтора, добытчик оглянулся. На вершине Галанской гривы, разрывая в клочья тяжёлые сумерки, полыхала гигантская свеча. И сразу же в сердце вонзилась какая-то знобящая и неотвратимая укоризна — рад бы глаза отвести, а не в силах.

— Прости меня, Хозяин, прости меня, тайга! — взмолился охотник...

В час ночи

Быль

С тех пор прошло, кажется, двенадцать, да, точно, двенадцать лет, но для того случая это не имеет какого-нибудь значения. Он мог произойти и полсотни лет назад и вчера.

До сих пор всё стоит в глазах, как на экране только что купленного телевизора, цветного, к тому же.

— Поедем по бруснику, — предложил сосед по гаражному кооперативу, невысокий, похожий на подростка, худощавый, но боевой духом и резвый в движениях. Звали его Зуваир, только на мой взгляд, взгляд аборигена-сибиряка, илимчанина, от татарских кровей в нем ничего не оставалось, кроме проскальзывающего порой восточного высокомерия, впрочем, никого ничуть не оскорбляющего и никому не мешающего, потому что оно не превышало пределов допустимого, проявлялось редко и почти незаметно.

Глаза Зуваира крупные, серо-голубые, волосы русые, неухоженные, овал лица правильный, скулы не выпирали по-азиатски, нос и рот небольшие. И был он какой-то серый лицом и одеждой, будто предпочитал серый цвет прочим.

Приехал он из-под Казани, но откуда точно — не знаю, рассказывал, что имел трудное военное детство, что голодал, собирал куски, бегая за поездами по железнодорожной станции, что пас овец и плохо помнит родителей... В наши сибирские места попал, завербовавшись на строительство Коршуновского горно-обогатительного комбината, будучи женатым, имея двух малолеток.

Сам и жена устроились операторами дробильных установок на фабрику, стали «фабрикантами», как я их называл в отличие от «карьеристов», то есть тех, кто работал в карьере.

Вскоре купил Зуваир мотоцикл «ИЖ-Юпитер» с коляской, вступил в гаражный кооператив и построил бокс неподалёку от моего, что и послужило поводом для нашего знакомства.

Я преподавал в школе черчение и рисование, предметы, как известно, далёкие от мистики, поэтому мог считать себя человеком в психическом отношении совершенно здоровым, да оно так и было на самом деле: не верил я никогда, даже

Замаратский Георгий Иннокентьевич, прозаик, поэт (1928, д. Погодаева Нижнеилимского р-на Иркутской обл. — 2010, Иркутск). Автор книг: *Твой ход, Явля!*: роман (Иркутск, 1998); *Пыхуны*: роман (Иркутск, 1999); *Пою Илим*: стихи (Иркутск, 2001); *Приглашение в память*: повесть (Иркутск, 2005); *Этот мечтатель и фантазёр Егорка*: повесть для детей (Иркутск, 2008) и др. Заслуженный работник культуры РСФСР. Почётный гражданин г. Железнодорожска-Илимского. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

в самом раннем детстве ни в чертей, ни в леших, ни в водяных, хотя полагал, что ведьмы, всё-таки, могут встречаться в жизни, в чем не раз пришлось убедиться, когда эмансипация женщин достигла своего апогея.

Но речь не о женщинах. Имел я горбатый колченогий «Запорожец» — машину, как-никак, что по тем безмашинным временам было редкостью. Она удивляла и восхищала своим норовом и проходимостью не только меня, но и многих других ягодников и охотников. Впрочем, речь не о машине...

— На чем поедem? — спросил я.

— На чем хошь. Хошь на «Юпитере»...

— Лучше на «Запорожце», — сказал я, по горькому опыту зная, что дальние поездки лучше совершать «под крышей». Дождь или ранний снег (что на Илеме случалось часто), или падера, как называют у нас «винегрет» из ледяного дождя, мокрого снега и холодного резкого ветра, в машине почти не ощущается, на мотоцикле же с его «открытым характером» такое «удовольствие» не пожелаешь и врагу своему.

— Ладно, — довольно произнёс Зуваир, — а когда?

— Прямо сейчас, — сказал я (хотя слово «прямо» можно было и не говорить, но что делать: илимские привычки!) — сбегам в магазин за продуктами — и в путь! Завтра у меня свободный день. А как у тебя?

— Здорово! — воскликнул Зуваир. — И у меня свободный.

...Запорожец бодро мотал под бескамерные колеса нелёгкие километры наших так называемых дорог. За три часа он подобно рекордсмену преодолел почти девяносто километров, добросовестно доставив нас в Старую Игирму, бывшую колхозную деревню, а теперь леспромхозовский посёлок, вынесенный из зоны затопления на земли, недостижимые для равнодушной ко всему воды Усть-Илимского водохранилища, правда, наполненному пока ещё только наполовину. Полное «море» ожидалось на следующий год.

Машину поставили за сваренные из металлических прутьев ажурные ворота химлесхозовского гаража под добровольный присмотр старенького, обросшего неряшливой бородой словоохотливого сторожа. Он, поглядывая на наши горбовики масляными глазками, узнал о цели нашего приезда и очень-очень старательно стал объяснять нам, где найти бруснику, вычерчивая на песке прутиком план поисков. За это мы тоже очень-очень горячо поблагодарили его словесно, так как не прихватили с собой ничего горячительного, такого, что могло бы скрасить нудное однообразие тоскливого одиночества «сторожинной» судьбинуски. Он заскучал, спросил с надеждой:

— Ты, паря, по опутине, кажись, наш, местный?

— Местный, конечно.

— Кто отец-то у тебя?

— А Иннокентий Михайлович Замаратский...

— Как же, как же! Знал твоего отца. Председателем был в колхозе «Трактор». Не скупой был человек!

— Я тоже, дед, не скупой: не захватили второпях...

— Поспешись — людей насмешись, — поучающе произнёс сторож, — такие турсучиши — и пустые! Нехорошая примета...

— Ладно, дед, не расстраивайся, в следующий раз маху не дадим, привезём тебе радости, только не наворожи беды.

— Леший с вами, — сплюнул старик, — зачем мне грех на душу брать... Вечереет, бегите, однако.

Мы спустились к бывшей речке Игирме, впадающей здесь в Илим, но теперь

на месте речки синел стометровый залив, и ребятишки на дюралках плавали по нему, неуклюже работая вёслами. Они перевезли нас на другую сторону, заросшую редким сосновым бором, но с частыми чашами подроста там и сям.

Мы сказали «спасибо» ребятам, накинули горбовики (по-илимскому — турсуки, хотя турсуки были из бересты, а горбовики из всякой дряни: алюминия, белой жести, пластмасс и т. п. и т. д.) и отправились, глядя на ночь в буквальном и переносном смысле слова, то есть на север, вверх по Игирме, остающейся у нас справа и то приближающейся к нам, то отдаляющейся, исчезающей за деревьями из поля зрения.

Зуваир шагал налегке, у меня болталась за спиной двустволка, ижевка двенадцатого калибра и, как у истого оптимиста, не меньше полусотни патронов различного назначения, хотя я по горькому опыту знал, что, как всегда, не придётся выстрелить ни разу. Но с ружьём в лесу чувствуешь себя гораздо увереннее! Ружье — надёжней и, главное, сильнее друга, если оно находится в руках настоящего любящего хозяина, ухаживающего за ним тщательнее, чем за собой. В минуту опасности оно должно сработать, как говорится, без осечки. А патроны? Что ж, я и сам был не рад закоренелой привычке носить на поясе полный патронаж, причём справа, под рукой, в нем не меньше шести пуль — три для правого ствола и три для левого, полного чока. Чуть правее находились патроны с картечью, а левее пулевых — с дробью разных размеров, и чем ближе к краю, тем мельче дробь. Коробки глухо постукивали о стенку горбовика, как бы напоминая мне о моем глупом желании таскать лишнюю тяжесть, и мне не оставалось ничего другого, как успокаивать себя тем, что «запас карман не тянет».

Дороги в том направлении, куда мы шагали, не было, топали напрямую, благо бор представлял собой редкий сосняк на слегка всхолмленной местности, покрытой белым похрустывающим под ногами мхом с редкими вкраплениями брусничника с нечастыми ягодками. Разумеется, собирать их не имело смысла: мы шли туда, где бруснику «можно грести лопатой» по вдохновляющему выражению химлесхозовского, столь несчастного сторожа.

Мы, казалось, уже обо всем переговорили, больше по пустякам, шли молча, мысленно сверяя путь с чертежом словоохотливого старичка, но всё ещё не могли добраться до старинной гари (молодая поросль трудно приживается на зыбучих песках), которую мы никак не могли миновать, если держаться возле речки, вернее, пруда. Солнце охотно уползало за верхушки деревьев, повеяло вечерней лёгкой прохладцей, по лесу стал расплзаться красноватый свет, навевая смутное, тревожно-занудное чувство, какое обычно испытывает всякий, находясь в незнакомых местах, да ещё перед ночёвкой.

Но наконец-то мы вышли в гать с редкими, чудом уцелелыми в пламени отдельными соснами, с лежащим в перехлёст горельником, догнивающим, податливым под сапогом.

Я взглянул на циферблат: шли больше часа, значит, отмотали с нашим ягодным усердием километров семь-восемь. Но ещё и по гари надо было шагать километра полтора-два, туда, где темнела стена нетронутого огнём леса — конечная цель нашего героического похода. Вон она, виднеется впереди...

Облюбовали место шагах в пятнадцати от речки. Вода была по-прежнему высокой и без течения. Сбросили с плеч горбовики, облегчённо вздохнули: дошли!

Вода в речке, вернее в пруду, нам не понравилась. Она напоминала суп военного и послевоенного времени: плавали в ней бледно-зелёные короткие нити, похожие на хвою лиственниц, только раз в десять длиннее, но при более тщатель-

ном рассмотрении очень похожие на неизвестных ещё учёному миру тончайших червей не червей, водоросли не водоросли, словом, мы единогласно решили отказаться от заманчивого чая и поужинать всухомятку.

Собирая хворост для костра, наткнулись на крохотный ключик, вытекающий из углубления на склоне и через полшага исчезающий в песке чуть повыше того места, где кончалась полоса сухостоя.

— Ура-а! — закричал обрадованно Зуваир. — Будет чай!

Сумерки ускорила плавно надвигающаяся плотная облачность. Она, двигаясь с запада, вскоре повисла над нами плотным темным одеялом, вместе с ней нас обволокло тёплым мягким дыханием воздуха, и всё вокруг сделалось нерезким, уютным, ласковым.

— Кажись, не повезло нам, — затосковал я, зная, что осеннее тепло — верный признак затяжного дождя.

— Ерунда-а! — Зуваир был настроен оптимистичнее. — Налетит ветер — разгонит, хоть ветром и не пахнет...

— Да-да, не пахнет, — подтвердил я, — надо побольше дров заготовить... А ещё лучше — нагреть костром песок, застелить его ветками, улечься и укрыться полиэтиленовой плёнкой... Пусть тогда дождь идёт!

В ожидании, пока вскипит чай, мы выломали в горелой полосе все сухостоины, которые поддались нашим совместным усилиям, вынесли их на облюбованное место, разложили большой костёр.

— Мало сухостоя, — засомневался я, — ночь-то длинная.

— А где взять? — пожал плечами Зуваир. — Не в лес лезть.

В лес идти не имело смысла: окончательно стемнело. Да и что можно найти в зелёном лесу? Поэтому решили обойтись тем, что запасли, а спать по очереди, экономно подбрасывая дрова в костёр. Авось, хватит до рассвета!

Два костра — один большой — потрескивали, раздвигая на несколько шагов густую тьму. Наломали ольховника, прутьев для метлы. Вскипел чай. Достали из горбовиков скромную снедь, не спеша поужинали, покурили и повели неторопливые разговоры в ожидании, когда прогорит большой костёр и можно будет головешки и угли отнести в сторону.

Зуваир рассказывал о своей жизни, я слушал и не слышал, занятый упорными думами о тёмной длинной ночи, о возможном несчастье, о том, что мне почти всегда не везёт с погодой. Лёгкое беспокойство овладевало мной.

Посмотрел на часы, перевалило за полночь. Наконец, костёр прогорел. Мы отбросили его в сторону, уложили головни в неплотную кучку, пламя неохотно лизало остатки сухостоин. Принялись за обустройство «постели».

Вот и готово всё. Зуваир никак не хотел прерывать свои воспоминания, повествуя их тихим, умиротворённым голосом довольного человека. Спину пригревало, стояла оглушительная тишина, и я тоже разнежился, даже хотел стянуть резиновые сапоги, но в это время с лёгким хрустом повалилась небольшая сосенка в полосе сухостоя из тех, что мы не могли повалить: не хватило сил.

— Стреляй! — яростно зашептал Зуваир, дёргая меня за рукав частыми нервными движениями.

— Куда? — спросил я тоже шёпотом, пытаюсь сообразить, какой силой было вызвано это странное падение: на ветер ни малейшего намёка, сама по себе сосенка упасть не могла: мы их все буквально перепробовали сваливать, и те, что удалось, унесли на костёр. Остались под силу разве медведю. Но откуда здесь медведь? До посёлка километров десять, да и не слышал я за всю свою жизнь, чтобы в этих местах кто-то когда-то видел медведя или хотя бы его следы. Вдобавок

ко всему, горит костёр, разве зверь не боится огня? И никаких шорохов! Ничего подозрительного... Тишина, тишина, тишина! Если это медведь, то что за нужда ему валить сухостоины? А если человек? И какой он должен быть сильный, чтобы один валить деревца, которые мы не могли повалить вдвоём? Если допустить мысль, что это беглый, то откуда и куда? Место здесь для беглых совершенно непригодное...

— Что же ты не стреляешь? — в голосе Зуваира слышалась сильная тревога. — Боишься, што ли? Давай я стрельну!

— Нельзя стрелять на шум, наугад: можно убить человека.

Мы подождали минут пять-десять. Было тихо, ничто не предвещало опасности. Стало досадно, что спать, наверное, не придётся. Однако усталость брала своё, и я незаметно задремал, но почувствовал лёгкий толчок в бок:

— Смотри, смотри, что это?

По гари, со стороны речки, то есть как раз из полосы сухостоя, от его окончания к нам двигалось странное круглое, тепло-жёлтое светящееся пятно, то исчезая, то появляясь, как будто ныряло в неровности рельефа. Первое впечатление — катится вдоль речки мотоцикл, но ни звука выхлопов, ни других звуков не было слышно. Да ещё возникало сразу же сомнение: не проехать по этому месту мотоциклисту. Но мотоцикл! Горит фара... А шума нет. Мотоцикл-привидение? И кому это нужно, и зачем?

Фокус! Я даже головой встряхнул, недоумевая и не находя никакого объяснения происходящему, тем более, что свет словно плыл по воздуху, но не рассекал «мечом» тьму, не бросал свет на деревья и кусты. Он был как бы приклеен к фаре.

Мне было за сорок лет, Зуваиру немного меньше, оба мы находились в том возрасте духовного и физического расцвета, когда не верится ни в какие-либо потусторонние силы, тем более, что мы с детства воспитывались в материалистическом понимании мира.

— Кто это? — соображал я и не находил ответа, не замечал, что рассуждаю вслух. — Лиса? — Но я хорошо знаю, что глаза лисы светят холодным, словно отражённым от консервной банки из белой жести светом. Волк? Но помнится из книг, что из волчьих глаз исходит зеленоватый свет, даже изумрудный, скорее. К тому же волки в наших краях, бедных дичью и прочей живностью, не водятся... Остаётся одно — медведь. Но почему у него один глаз и к тому же такой большой, с мотоциклетную фару?

— Стреляй, стреляй! — яростно теребил меня Зуваир, когда «фара» замерла на бугре справа шагах в пятнадцати-двадцати от нас. — Стреляй, что ты медлишь?

Я поднял двустволку, но не с целью стрелять, а скорее для отпугивания, инстинктивно, и «фара» мгновенно исчезла.

— Стреляй же ты! — и Зуваир «покрыл» меня матом.

Я подумал и выстрелил вверх.

Некоторое время мы выжидали, внимательно вслушиваясь в тишину, глухую и плотную, но ни одна хворостинка, ни один сучок не хрупнул, не треснул. «Медведь? — продолжал гадать я, предполагая, что молодые медвежата могут отличаться чрезвычайным любопытством. — Но почему глаз один?» Он что, калёка одноглазый? Или глаза у медведя светят в темноте как одно целое? Как фара? И зачем деревья ломать? Нас пугать? Ожидать, что мы в панике бросимся бежать от костра в темноту, в его лапы?

Я вспомнил, как ещё до затопления мы впятером ездили на мотоциклах из Нижнеилимска к Дунькиному мосту или Цыганскому табору за черникой.

Разумеется, все пятеро с ружьями, потому что вероятность встречи с медведями в тех глухих темно-таёжных местах казалась нам неизбежной. И расстояние-то было небольшим, от силы тридцать километров, но дорога, дороженька! По глине, по гребню меж глубоких канав, оставленных колёсами грузовиков, завозящих грузы на Гандюху (так тогда называли Рудногорское месторождение железа). Дорога была заброшена, так как разведка запасов руды была завершена. Мы остановились у Дунькиного моста на ночлег. Место, прямо сказать, не располагало к лирике: узкой полосой дорога раздвигала тайгу, мрачную, непроглядную; у Моста (настил из поперечных брёвен через болотинку, когда едешь по настилу — трясутся и плечи, и грудь, поэтому и название «Цыганский табор») решили заночевать. Разложили костёр, вскипятили из ручейка чай, пока ужинали да «грелись» на ночь, стемнело — хоть глаз коли. Мы, весёлые от чудесного ужина, от свежего воздуха, от таёжной романтики, сыпали анекдотами и прочей словесной трескотней, как вдруг в паузе в кустах, куда уползал дым от костра, раздалось чихание, да такое мощное, что мы невольно схватились за ружья и притихли, а Венька, ражий и рыжий матрос (разумеется, бывший) с атомной, как он говорил подлодки, вскинул двустволку и шарахнул дуплетом по кустам.

— Что ты делаешь? — возмутился Юра Певчий, инженер с «Ромашки». — Там же может ягодник быть! Палишь не глядя, а ещё подводник!

— Во-первых, — возразил Венька, — ягодники так не чихают, а во-вторых, что он, твой ягодник, в кусты-то забился? Медведь это, понял! Ягодник бы крикнул, а не стал чихать...

Кусты были от нас шагах в десяти, но никакой «фары» я тогда не заметил. А утром мы тщательно обшарили всё в кустах, но не обнаружили ни единого следа, ни единой шерстинки...

Да, тогда нас было пятеро, а сейчас двое, одно ружье и два ножа на поясе, ну, костёр ещё.

Тишина, между тем, ничем не нарушалась, костёр мы поджили, он горел ровно и ярко, усталость брала своё, и мы оба преступно заснули, забыв о посменном дежурстве. Мне решительно ничего не снилось: сон в сосновом бору после сна в панельных стенах, кажется, всецело поглощает человека.

Проснулся я от гортанного крика гусей, пролетающих высоко над головой. Костер давно погас, тьма не поредела, но что-то рассветное в ней ощущалось. Воздух был удивительно тёплым, полиэтиленовая плёнка призрачно светилась белым пятном в ногах, так и не использованная нами. Всё остальное находилось на своих местах, в том числе и продукты, колбаса, например, или сало, которое так любил Зуваир. Всё так и лежало на газете, как оставили после ужина. Двустволка под боком, сладко похрапывал Зуваир. Я выключил фонарик и решил подремать до полного рассвета.

Над головой прошелестели невидимые утки, совершая утренний перелёт на кормёжку или с кормёжки. Я решил не спать, надеясь пострелять уток влёт, как только чуть развиднеет, но с наступлением рассвета прекратился и перелёт.

Зуваир всё ещё спал, держась правой рукой за рукоятку ножа в ножнах. Я улыбнулся и пошёл на берег, держа двустволку наготове, если на воде окажутся утки. Их не было. Тогда я вдруг заделался Шерлоком Холмсом и стал выискивать следы и признаки присутствия ночного гостя. Однако возле поваленной сосенки на довольно густой и колючей чаще не осталось ни шерстинки, на песке по скло-ну, где ночью «вытворяла фокусы» «фара», тоже не удалось обнаружить ни малейших признаков присутствия зверя.

Вернулся, разбудил Зуваира и стал разводить костёрчик, чтобы вскипятить чай.

Плотная облачность незаметно не то уплыла на восток, не то растворилась в бесконечности небес, уступая место дневному светилу, ало поднимающемуся над заречным темнохвойным хребтом, не тронутым ни пожарами, ни безжалостным топором.

Поднялся к родничку, набрал воды, попутно проверил, нет ли у него медвежьих следов на песке (вдруг пить приходил?), но ничего не обнаружил и окончательно махнул на всё рукой: надо было думать о ягодах...

Либо сторож нас обманул, либо дал старые сведения, но ягод в таком количестве, в каком ожидали, мы не нашли, с трудом набрали по ведру (илимская мера, на глазок, конечно!) и отправились часов в пять обратно, так и этак гадая о «фаре».

Ребята перевезли нас через водное пространство. Мы прошли в гараж. Там дежурил другой сторож. «Запорожец» преданно поджидал хозяина.

— Нашли кого слушать, — сплюнул сторож. — Это же трикалка, он вам наговорит! Надо было идти к триангуляционной вышке, это ближе в два раза, и там брусника всегда имелась... Угнал он вас к черту на кулички...

— Кстати, — спросил я, — вы не видели, как светятся глаза медведя ночью?

— Нет, — ответил сторож, — ночью я стараюсь спать.

— Ну, может, слышали от кого?

— И не слышал. А зачем это тебе?

Я поведал ему о нашем ночном видении. Он выслушал и заявил, что это, возможно, шаровая молния.

— А кто повалил деревцо?

— Да, — почесал в затылке сторож, — задача с двумя иксами.

Мы уехали в Железногорск. Я спрашивал встречных поперечных о странном явлении, но никто ничего вразумительного мне ответить не мог.

Николай Зарубин

Крестный ход

Отрывок из рассказа

В дальний посёлок лесорубов настоятеля храма отца Иоанна привело объяснимое в его сане рвение. Сам он был молод, рукоположен сравнительно недавно, а путь его к Церкви лежал подлинно через тернии, если взять во внимание род занятий до того, как произошёл в душе излом в сторону вызревшей потребности в молитве. Священник видел, что нравственность падает катастрофически, тем более ещё лет пять тому как падал сам, наигрывая на гитаре в молодёжном оркестре.

Что ж делать, если так случилось, так был воспитан в семье, ничьей рукой не направлен и никем не остановлен, пока в душе не прозвучал глас Господа. И — бросил оркестр, пошёл в Церковь, попросил прощения и был прощён за то, что сумел перевернуть самого себя и не побояться насмешек недавнего своего окружения.

И поехал в Сибирь в один из негромких дальних приходов, где и стал служить ревностно, со всем присущим возрасту максимализмом. И лишь со временем понял, что всё не так, как думалось, как виделось, как мечталось, ибо чисто житейского опыта имел не много, и начинало казаться неподъёмным то великое дело, которому решил посвятить свою жизнь. Правильнее будет сказать иначе: великое дело служения Богу не может быть неподъёмным, а вот достанет ли его собственных сил, чтобы достучаться до каждого погрязшего в грехах человека?

Хотя, наверное, ближе и понятнее всякому мирянину тот, кто сам прошёл через грех...

Ну, ладно, не судите и не будете судимы — примерно с такой главной мыслью в глазах сошёл Иоанн с автобуса и медленно брёл вдоль домов по обе стороны дороги. Из окон маячили лица любопытных поселян, соображающих, видно, чего это могло понадобиться здесь священнику.

Определённого места, куда бы мог стремиться, он не имел и шёл, надеясь на одно: ведь должен был кто-то отозваться на его появление в дальнем посёлке...

И привели ноги таким манером к поселковому совету, что было в его положении даже необходимо, ведь вторгался он на чужую территорию, где порядки какие-то всё же существовали и не мог он с ними не считаться.

— Вы... — не зная как назвать, — с какой целью? — повернул к священнику лицо мужчины, как видно, представляющий здесь власть.

Зарубин Николай Капитонович, прозаик, публицист, поэт (род. в 1950 г. в г. Тулуне Иркутской обл.). Автор книг *Сторона родная*: стихи (Иркутск, 1997), *Послужи земле*: повесть, рассказы, очерки (Иркутск, 2000), *Осенние песни*: стихи (Красноярск, 2007); *Пока жива память*: публицистика (Красноярск, 2007); *Тулун — центр Отчизны*: публицистика (Красноярск, 2007); *Без села России не бывать*: публицистика (Красноярск, 2011). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

— Я с Божьим словом, — просто отозвался отец Иоанн и сел на указанный стул.

— Против Бога и его заповедей я ничего не имею, но вот очень хотел бы поглядеть, что выйдет из вашего к нам приезда, — категорически заявил мужчина и добавил: — Походите по посёлку, поговорите с людьми, они, знаете, вчера получили зарплату...

Сидевшая здесь же девушка при последних словах говорившего хмыкнула, затем покраснела и быстренько выскочила из помещения.

— Она вот, — кивнул мужчина вслед девице, — правильно среагировала, народ у нас тяжёлый, лесной, могут и матом, и кулаком, и ещё чем. Гулять будут дня три-четыре, а работа стой! — вдруг добавил зло, даже грубо, чем привёл в смущение теперь уже отца Иоанна.

— Вчерась, — продолжал в том же тоне, — наряд пришлось вызывать, а кого урезонивать? Бабы пьют! Ребятишкам наливают! Весь посёлок надо сажать суток на пятнадцать, кроме разве двух-трёх старух, которые трезвые не потому, что не хотели бы выпить, а потому, что на ладан дышат. Устроили драку: один сел на трактор и, если бы машина сама по себе не заглохла, — наделал бы делов. Чёрт бы побрал такую мою должность!..

Надо было что-то сказать, остановить поток брани, но и положению мужчины нельзя было не посочувствовать. Молодой священник испытывал чувство растерянности, неловкости, не мог найти нужные слова, а потому встал, молча поклонился одной головой и направился к выходу.

— Вы можете переночевать в заежке, — услышал вдогонку. — Я сторожу на-кажу — всё одно автобус будет только завтра... Да и будет ли? Пожары!.. Леса горят!..

Эти последние слова заставили вспомнить разговоры пассажиров в автобусе и неоглядную муть неба, сквозь которую летнее солнце маячило едва различимым пятнышком. Вспомнить и осознать, потому что местные газеты он не читал, а там, откуда приехал, леса не горят — их попросту нет, ибо не те масштабы.

Попытался вспомнить где-либо читанное о лесных пожарах, но все известные ему писатели были склонны описывать половодье в пору весеннюю, стихию грозы или, на худой конец, метель, снежную бурю. Видно, и к этому надо привыкать в чужой для него сибирской стороне.

Машинально вокруг себя осмотрелся, но было всё то же, что из окна автобуса, только за кромкой леса чётче обозначились столбы серой завесы, словно посёлок обложили многочисленными кострами.

— Не бойсь, батюшка, — услышал вдруг и узрел ехидно оскалившегося мужичонку, приостановившегося сбоку на разбитой дороге, что пролежала посреди улицы. — Не сгоришь. А сгоришь, так не сгниёшь — все там будем в свой час... У нас такие пожары каждый год — привыкли мы. Дощ пойдёт и потушит... А вот ты зачем здесь? — неожиданно выкрикнул, и в том почудился вызов на шутливую диспут. — Може, скажешь, как огонь души моей погасить?! А?!

И как-то боком пошёл на отца Иоанна, выпятив тощую грудь.

— Може, скажешь, попик? А?!

Отец Иоанн быстро перекрестил мужичонку, повернулся, чтобы идти прочь, но словно наткнулся на холодные, недобрые глаза стоявших невдалеке двух женщин. На некоторое мгновение замер, затем поклонился им и, ни на кого не глядя, двинулся вдоль улицы.

Надо было успокоиться, собраться с мыслями, и сама собой зазвучала в душе молитва.

Он понял, что столкнулся с неизвестным ему устройством жизни людей, где всё было нацелено на погубление созданной Господом благодати. Посёлок тем и кормился, что выходил с топором, бензопилой, выезжал на трелёвочниках и рвал, кромсал, истязал живое тело природы, разбрасывая и стаптывая на огромных пространствах деревья, кустарники, траву. Как после невероятной жестокости побоища, кусками мяса оставались догнивать останки красавцев кедров, красавиц сосен и лиственниц, возникших из земли, чтобы быть её украшением и душевным оберегом человека и сгубленных не за понюх табаку. Бессмысленно и бесщётно.

Чем больше убийств, тем больше бумажек, которые потом обменивались на водку, и всё проходило прахом. Потому и не могло быть в тех посёлках радости: ни от производимой работы, ни от соприкосновения друг с другом.

И он здесь лишний, попавший в мёртвое человеческое пространство к людям, способным чувствовать только собственную физическую боль...

Отец Иоанн сам страдал и, значит, мог сострадать. Страдая, пришёл к вере. Значит, страдание — непереносимое условие любви и к ближнему, и к Господу. Сострадая, он мог понять этих людей. Следовательно, нет, он здесь не лишний, попавший в пространство человеческого страдания, где физическая боль давно срослась с душевной.

Идти так, без цели, было бессмысленно, и священник направился к одному из домов, возле которого на лавочке сидел старик.

— Бог в помощь, отче, — почти машинально выговорил своё обычное приветствие и ни слова не услышал в ответ.

— Здравствуйте, говоря, уважаемый! — повысил голос.

— А-а-а... — словно только увидел стоящего перед собой человека. — Сядь, посиди, любезный, — отодвинулся старик, высвобождая край лавочки. — А я вот устал быть в дому, выбрался на воздух — воздуха-то и нет, — как своему, поселковому, просто сказал о занимающей его мысли. И продолжил: — Я ж говорил начальнику, Евдокимычу: «Опаши ты посёлок-то, сгорим, вить». Так не послушал старика. И — сгорим. Вот рази ты за нас за грешных помолишься?.. Мы-то Бога забыли... Забыли...

— Господа никогда не поздно вспомнить, а он о нас думает денно и нощно... — начал отец Иоанн, ещё не зная, что скажет дальше.

— У меня-то, считай, у одного иконка-то в дому, прочие давно на чердаки повыбрасывали. Молиться не молюсь, а поглядываю: может, скажет чего Господь-то? А он не говорит — только глядит, сжав уста. Да-а-а...

— Вам сколько лет?

— Ась?

— В каких годах вы, спрашиваю?

— А без года — семьдесят. Нестарый ещё по годам-то. А по телу — старый, работа здесь не приведи Господи. Я вот думать стал, как на пенсию вышел, до этого-то не думал. Ишь, — показал рукой впереди себя, — пьют вместе, а синяки носит одна Клавдия...

По другой стороне улицы бежала женщина, за ней полураздетый мужчина. Бежали молча, запалённо дыша.

«Неужели бить будет принародно?» — с ужасом подумал отец Иоанн и хотел встать, попытаться воспрепятствовать.

— Сиди, — остановил старик, — а то и тебе перепадёт, здесь закон — тайга...

Мужчина догнал, ударил в спину. Женщина скovyрнулась, но скоро вскочила и снова упала от очередного тычка.

— Так её, Витька, так... Детишки голодные, а она за рюмку...

«И впрямь тайга», — ошеломлённо думал отец Иоанн, теперь уже совершенно растерявшийся и не знающий, как поступить, а когда всё же вскочил, чтобы бежать до этих людей, то почти с изумлением разглядел, что женщина никуда не торопится, а мужчина идёт в противоположную сторону.

— Такой моцион, почитай, каждый день, — прокомментировал ситуацию старик. — Витька бьёт за дело, а Клавдя привыкла. Не привыкла бы, так не пила... Пойдём в дом, батюшка. Устал, чай, душой-то на наше безобразие глядеть...

Отец Иоанн действительно устал как никогда, потому пошёл с охотой, надеясь к тому же завязать более прочное знакомство и через дом этот установить связь с жителями посёлка. Икона, на которой был изображён Николай Угодник, поразила его своей древностью и была хорошего письма, а вот какой школы — понять не мог. То ли мастер скопировал известное и привнёс своё, то ли это была местная сибирская школа, работа какого-нибудь талантливое самородка.

— Ты первый, кто так-то разглядывает, — сказал назвавшийся Фёдором Николаевичем старик. — Из области наезжали, просили продать, да не моя она...

— Чья же?

— Не могу сказать точно... Отцу моему передал её дед, деду — прадед, а кто прадеду — Бог весть. Отец же наказывал беречь и говорил, что иконка — Богом данная нашему роду. Вот и выходит, что не моя.

«Интересный подход, — подумал священник, — и... правильный. Все бы так понимали назначение образа Божия в доме...»

Вслух же спросил:

— А вы кому передадите?

— Держу, пока жив, а помирать стану — кто-нибудь из детей и возьмёт. Сама то есть найдёт хозяина. Только я заранее сказал детям, чтобы из семьи нашей никуда не уходила.

— А вы сами... веруете в Бога?

— Держу в душе. Только... сомнение есть... Как Он допустил такое остервенение в народе? Взять посёлок наш. Я приехал сюда, когда лесопункт организовывался. Народ собрался всякий, но, в общем, ничего. С песнями работали, план давали, в меру гуляли, хамства особого не замечалось. Потом что-то начало ломаться в человеке. Нормальные мужики вдруг стали пить, гонять своих бабёнок, а что в лесу-то понаделали?.. Вы в наших тайгах бывали?.. Или посёлок наш. Всё — временное, наспех. Заплот повалится, и никому нет дела. Сво-ой заплот! Я вот жил раньше, всё будто видел и будто не видел. А вышел на пенсию и задумался-запечалился. Вить всё чужое, ничего своего. И дома, и заплоты, потому, видно, и такое отношение. На Божье замахнулись — в этом, видать, всё дело. На то, чем детишкам жить, детишкам детишек и прочим, кто придёт после всех. Гребём безмозгло, без совести. Безмозгло, без совести и живём. И на каждом — грех неотмолимый и не подлежащий отмолению. Вот тот мужичонка, что на тебя наскочил, — видел я со своего места. Ведь был первый работяга, на Доске почёта висел. Или Витька тот — с золотыми руками человек, а ка-ак живёт! Прокляты мы, видать...

Весь этот разговор происходил уже за чаем, отец Иоанн слушал с вниманием, и никак не складывалось в его сознании цельной картины. К сумятице в голове добавилась всё усиливающаяся душевная тяжесть, которую он поначалу отнёс на дальность и ухабистость дороги. Но это было нечто другое, словно кружился вокруг него сонм бесов, и всё теснее сжимался тот круг.

— Я пробовал пожить у дочери в городе — как раз после сороковин по супру-

ге. Не смог. Скверно живут в городе-то, у нас в посёлке — ещё скверней, а воздух мне этот ближе, потому что я к нему привык. Тимка — мужичонка тот — к тебе прицепился, а мне будто радость: «Ну-кося, — думаю, — как там попишка заезжий выкрутится?..» Или лупсует свою Клавдю Витьку по хребтине, и мне занятие — глядеть, как картину какую-нибудь в клубе. Перестанет лупсовать, и мне нечего станет делать. Вот-то как оно у нас... Или ты вот, зачем пожаловал в посёлок? А?!

Поворот такой предвидеть было трудно, хотя несколько часов пребывания в посёлке чему-то успели и научить. А поразило отца Иоанна нечто общее между теми людьми, которых здесь увидел. Спаянность какая-то, гораздо большая спаянность, чем, к примеру, в деревне, где тоже живут люди вместе много лет, но друг с другом разнятся. Так что же их здесь объединяет?

«Проклятость, наверное, общая проклятость», — подумалось вдруг и захотелось сказать об этом деду Фёдору. Сказал другое:

— Душу надо лечить — в том всё дело...

— Хе-хе-хе-хе, — отозвался старик. — Я-то, когда в городе жил, пробовал ходить в церковь... Приду, постою, и начинает казаться, будто какая-то сила хочет меня отгуль вытолкнуть. Будто чужой я в церкви-то. И чем больше бормочет своё священник, чем больше напевают своё тоненькими голосочками женщины, тем сильнее припирает меня к выходу, и тогда уж шапку в горсть и — бежать. Явлюсь домой, хожу туча тучей. Дочь спрашивает, а я молчу. Устал...

— Наверное, как мне сейчас тяжело... — тихо обронил отец Иоанн.

— Проклятые мы, — уже с уверенностью в голосе заключил старик.

— Никакой грешник не потерян для Господа...

— На пенсии я вить живу созерцанием, — о своём продолжил дед Федор. — Сiju день-деньской на лавочке, а то подамся по улице. Или в магазин зайду, к ребятам на нижний склад. Бывает, и в лесосеку съезжу. Балабоню с народом, а сам поглядываю... Понять хочу: чем же это мы перед Богом провинились?.. За что он нас такой нищетой наградил?.. Почему повальное пьянство и непотребство в семьях?.. Вить, мы ж здесь рабы: на золоте сидим, а с ладоней собственных мозолистых едим. Сколько поубивало-то нас на лесу, калекami сделало... Мужики-то падают молодыми, едва за сорок минет... Ну, ладно, мы леса губим, дак другие землю взрывают, нефть качают, газ сосут, уголь добывают, руду всякую. Или вот бомбу делают, атомные станции... Поля травят ядами... Земля в грехе!.. Но посмотришь по телеку — чистенькие, в очках, на машинах, в ресторанах, симпозиумах разных — и всё учат, учат, учат... Обман здесь какой-то общий или мы все вместе проклятые.

При последних словах деда Фёдора отец Иоанн вздрогнул, словно тот прочитал его сокровенные мысли. Об этой всеобщей «проклятости» и он думает постоянно, испытывая даже чувство какой-то собственной вины перед теми, кто не может обрести путь к спасению. Ведь он-то обрёл этот единственный путь, когда уже, казалось, ничто и никто не в состоянии был вытянуть его из засасывающей трясины богемной жизни, где и вино, и девочки, и «травка», но главное — прозаическая страсть к элементарной наживе в шоу-бизнесе — вытрясывали из души остатние крохи человеческого, не говоря уж о Божественном. И всякий день в его бытии, когда он звался Ванюшей, а не Иоанном, не оставлял места для иного, что мало-помалу начало открываться ему и с первым, и с десятым, и с сотым приходом в храм, где были иное пение, иные слова, иные изображённые на иконах лики, чем то повседневное поклонение бесам, которое он и считал своей настоящей судьбой. Постепенно, шагком за шагком отметалось наносное,

подменное, подмётное, и он всё более становился самим собой, глаза открывались добру, а уши обретали способность слышать Слово. Его Слово. И начался процесс возрождения самого себя с едва слышимого где-то далеко внутри души собственной — собственного же ещё слабого, но уже твёрдого голоса: «Аз есмь...» И вместе с тем — общеобъёмное и всевременное, с чем должен приступаться ко всякому мирскому делу всякий человек чуть ли не с младенчества: «Отче наш, иже еси на небесех...»

— Так и телевизор — измышление дьявольское... — заметил отец Иоанн.

— Истинно так, истинно так! — подскочил на табурете старик. — Всё враньё! Всё кривда! Всё навыворот! Вот и скажи, отче, хоть ты сопляк годами, правду... Скажи, а то всё молчишь, скрытничаешь. Просвети мя!..

Была ли со стороны деда Фёдора искренность полная — не определить, но что душа жива, то чувствовалось.

«У всех у них жива душа, — подумалось неожиданно, словно прозрелось, сообщилось свыше. — Может, более чем у кого-либо жива, потому что страдают...»

Отцу Иоанну стало неловко от мысли, что не имел потребности посетить посёлок раньше. Давно бы надо было, а не проповеди читать во храме, дожидаясь, пока число прихожан увеличится само собой. Не изжил он ещё своей наивности — гордыни, требуя от мирян больше, чем они могут.

<...>

Виталий Зоркин

Пушкин, Калашников
и философ-разбойник
Кириллов

Исторический рассказ

Нападение

Просёлочные сибирские дороги, тянущиеся сотнями вёрст среди густого, порой непроходимого леса, среди пышных берёз, высочайших лиственниц, кроны которых теряются где-то в поднебесье! Просёлочные дороги — узкие, изрезанные корнями деревьев, порой пролегающие среди кочкарника и ерника! Просёлочные дороги, на которых то и дело встречаются выбоины и колдобины, а то и просто ямы!

Может быть, кто-то и любит просёлочные дороги, едва плетущуюся лошадёнку, заунывную песню или неторопливый разговор ямщика, который вечно жалуется, что сейчас «всё не так», что раньше баре были добрее и на чай давали больше, а сейчас вот — не то! Кому-то не по сердцу эти дороги, ибо ехать по ним — пытка, особенно для непривычного человека...

Иван Тимофеевич Калашников не замечал этих неудобств, то был коренной сибиряк, и по роду службы ему часто приходилось мерить сибирские вёрсты, ночевать в лесу, согреваясь зимой у костра. Государственный служащий, будущий писатель, высокую оценку творчеству которого позже дадут И. Крылов, А. Пушкин, В. Гюго... Но пока он служит в Иркутске и должен выполнять скучные обязанности чиновника.

И вдруг... к его шарабану кинулся кто-то лохматый и страшный, уцепился грязными руками за край повозки. Калашников непроизвольно натянул поводья,

Зоркин Виталий Иннокентьевич, публицист, исследователь в области истории и литературы, краевед (род. 1937 г. в с. Маяки Карымского р-на Читинской обл.). Автор книг: *Из поколения несгибаемых*: Ист. репортаж (Улан-Удэ, 1965); *По Бурятии: Турист. маршруты Республики*: Путеводитель (М., 1971); *Из истории сибирской фольклористики*: учеб. пособие (Иркутск, 1995); *Смутное время; Царь Михаил Федорович*: История династии Романовых в романах, повестях, мемуарах и исследованиях / сост. и предисл. В. И. Зоркина (М., 1997); *Не уйти от памяти: к 70-летию Александра Вампилова*: очерки о писателях (Иркутск, 2007); *Роковая любовь великих людей*: новеллы (Иркутск, 2008); *Бывают странные сближенья: Пушкин и Сибирь* (Иркутск, 2010); *Иркутские градоначальники: Воеводы и вице-губернаторы (1661–1764)* (Иркутск, 2011); многочисл. публикаций в периодике. Канд. филол. наук, профессор ИГУ. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писателей России (Иркутская областная организация).

в голове мелькнуло слово «разбойник», и, отстранившись от нападавшего, он толкнул его ногой в грудь. Лошадь остановилась. Зашатавшись, разбойник повернулся спиной, и тогда Калашников прыгнул на него сзади, обхватил руками за шею, свалил на землю, ещё не соображая, что делать дальше. Всякое случалось с ним во время поездок, бывало, и медведя видел, но такое...

Вдруг Иван Тимофеевич почувствовал, что человек под ним весь мокрый и не шевелится. Вроде даже не дышит. Осторожно высвободил руки, отодвинулся и, стоя на коленях, перевернул, оглядел потерявшего сознание разбойника. Глаза закрыты, лицо бледное, на теле лохмотья, ноги... в кандалах! Боже, беглый каторжник! Ступни истёрты, из-под оков сочится кровь... Иван Тимофеевич поднялся с земли, подошёл к шарабану, достал фляжку со спиртом, отвинтил крышку, плеснул в неё немного и, приподняв голову страдальца, влил в рот спирт. Лежащий пошевелился, задрожали ресницы.

«Откуда же он бежал?» — Калашников оглянулся по сторонам, и взгляд его задержался на противоположном берегу Ангары. Вдалеке, еле различимые, маячили какие-то фигурки. «Наверное, солдаты, ищут его. Только вряд ли догадываются, что он на другом берегу. Ясно, он бежал из иркутского острога! Что же делать? Посадить его в шарабан, повезти к исправнику? Его убьют сразу же, не доведя до тюрьмы. Такие случаи бывали. Пусть придёт в себя, а там видно будет!» — решил он.

Каторжник открыл глаза.

— Ты что, угорелый, в кандалах Ангару переплыл? — участливо спросил он беглеца.

— Да! — ответил тот, напрягшись, и Иван Тимофеевич решил, что с ним уху надо держать остро!

— Да ведь Ангара здесь широка и имеет быстроту течения 10 вёрст в час!

— Широка, да не шире Волги. Я Волгу под Ярославлем переплывал.

— Да неужто? — искренне удивился Калашников, забыв, что разговаривает с человеком, совершившим нападение на должностное лицо, при исполнении обязанностей находящееся, на него, стало быть!

— А что? — арестант приподнялся. Видно, надеясь сбежать, он сейчас оценивал обстановку. На худом красивом лице появилась улыбка. — Бегал я много, но вижу — влип. Попрошу об одном — дайте поесть, прежде чем в руки вон тому Иуде, — он мотнул головой в сторону другого берега Ангары. — Как убежал, маковой росинки во рту не было, хоронился по лесам да берлогам. Одна мысль была — подальше от острога этого. Подальше — и сгорел! Спустился к реке водички испить — тут меня и заметили, я в воду...

— Да как же в кандалах-то решился? — участливо спросил Калашников. — И утонуть недолго!

— Хорошо, что ручные сняли, а с этими-то — утонуть?! Когда-то матушка родная, напутствуя меня в жизнь, сказала: «Помни, сынок, только любовью светится человек. Любовь делает человека чище, лучше, она силу даёт. Помни об этом всегда». Вот я и помню; одно у меня на этом свете осталось — любовь. Любовь к жизни! За неё можно и утонуть в Ангаре. По крайней мере, это лучше, чем заживо гнить в остроге...

Калашников тем временем достал из шарабана еду, разложил на траве холодное мясо, лук, полкаравая хлеба:

— Ешьте! — незаметно для себя перешёл он на «вы».

Беглый жадно принялся за еду, а Калашников глядел на него и не верил: неужели это его он свалил на землю полуживого, мокрого, дрожащего? Сейчас перед

ним сидел крепкий человек; из-под длинных ресниц глядели яростно и неукротимо тёмно-карие глаза. Руки, пять минут назад казавшиеся худыми и безжизненными, пришли в движение, и Иван Тимофеевич заметил, что длинные узловатые пальцы, вероятно, очень сильные.

И словно угадывая его мысли, каторжник заговорил:

— Стоит этими руками сделать один-два удара, и прощай ваша жизнь! Но я не сделаю этого. Вы могли меня убить, когда я напал на вас, но не убили, а сейчас вот привели в чувство и дали поесть.

— Убить человека — не хитрость. Но что бы вы стали делать затем? Попались бы на первой почтовой станции, — ответил Калашников, раздумывая, справится ли он с этим решительным сильным человеком, чтобы отвезти его в острог. Что-то в каторжнике привлекало его, вызывало любопытство. — Но позвольте спросить: кто вы, чем занимались, пока рок не привёл вас на эту ужасную стезю?

Калашников хотел сказать «на преступный путь», но почему-то не сказал, а выразился вот так витиевато.

Исповедь разбойника

— Извольте, отвечу. Я был офицером Семёновского полка. Служил в корпусе Воронцова, который оккупировал Францию после Ста дней. У нас телесное наказание не применялось. Мы, офицеры, учили солдат по ланкастерской методе. И вдруг вместо генерала Потёмкина в наш Семёновский полк был назначен полковник Шварц. Что у нас началось! Шварц был человек жестокий, крайне жестокий. Это разве командир, который обращал одну шеренгу лицом к другой и заставлял солдат плевать в лицо друг другу.

— Вы шутите? Разве можно?..

— Шучу?! Он истязал старых гренадёров, помнивших ещё Суворова-Рымниковского, своими руками бил их и дёргал за усы. В октябре 1820 года, как сейчас помню этот день, наша первая гренадерская рота составила жалобу на Шварца, отправила по инстанциям. В результате все подписавшиеся оказались в Петропавловской крепости. Меня среди них не было, я отсутствовал в казарме, когда подписывались... Ну, а дальше — известное дело: вслед за нашей первой поднялись другие роты, последовали новые аресты. А потом 600 семёновцев наказали шпицрутенами и плетью. Восемь рядовых прогнали сквозь батальон по шести раз, потом отослали в рудники. 172 человека — в Оренбургский корпус, 164 человека первой фузелерной роты и 52 второй послали в полки и батальоны сибирского корпуса. Я мог легко оправдаться, отвести все обвинения. Но кто-то нашептал на меня Шварцу. У меня сделали обыск и нашли стихи, содержащие политические обвинения властям. Нет, писал их не я, эти строки были написаны лет сто назад Вольтером, во время правления Людовика Пятнадцатого. Мне льстит, что Вольтер попал за эти стихи в Бастилию, а я — сначала даже не в Сибирь, а в Кишинёвский острог... Это уже после кишинёвского побега, побывав на свободе совсем немного, я оказался здесь...

— Что же это за стихи?

— Извольте, я расскажу. Правда, в прозе... Царствует мальчик (это Вольтер про Людовика XV). Правит отравитель и кровосмеситель (это он про герцога Филиппа Орлеанского). Советники — трусы и профаны. Казна пуста. Общественное мнение подавлено. Царит ужас беззакония. Родина на краю гибели (у Вольтера было: Франция — это мы заменили слово).

— Но, заменив слово, вы перенесли всё это на Россию?

— Вот и начальство решило, что слова эти вредны для нашего трона. Началось следствие. Спросили, что ещё знаю о Вольтере. Я ответил, что смотритель Бастилии показывал нам, русским офицерам, письмо-донос, в котором королю докладывалось, что Вольтер «внушает монсеньёрам, что Ветхий Завет — собрание сказок и небылиц, апостолы — идиоты и простаки, отцы церкви — особенно Святой Бернард — шарлатаны и обманщики». И ещё я добавил, что во Франции ходят анекдоты про Вольтера. Такой, к примеру: некто спрашивает Вольтера: «Вы помирились с богом?» Вольтер: «Мы с ним кланяемся, но не разговариваем...»

Я понимал, что рою себе яму. Но боль и обида за арестованных друзей, вина, что я не был с ними в решительный час, терзали мою душу, и потому я так смело всё это высказал.

— Всё это ужасно, — проговорил Калашников, — ужасно, крамола всегда идёт к нам из Франции.

— Для кого крамола, а для кого — мечта о более хорошей жизни, — ответил беглец. — Впрочем, я не жалею о случившемся. В кишинёвском остроге была у меня славная встреча... Пожалуй, я не буду о ней рассказывать, всё равно не поверите. Хотя, впрочем... В ту ночь я бежал... и лишь по глупости попался, слава богу, вдали от Кишинёва. Здесь, в Сибири, я по-настоящему задумался о человеческом долге и о человеческой глупости. Что же я понял? Человечеству в течение веков удалось сделать много заслуживающего удивления. Но каждый человек в отдельности чрезвычайно мелок и ничтожен. Он бывает даже очень смешон, когда гордится своими знаниями, своими доблестями, забывая, что всем этим он обязан или случайностям природы и судьбы, или наследству, полученному им от совокупных усилий всего человечества. Взять меня: я стал офицером, потому что так хотел мой богатый отец. А смог бы им стать мой денщик Ивушкин, умный деревенский парень, которого забили шпицрутенами насмерть за то, что он сказал в глаза Шварцу, что тот издевается над людьми? Он не смог бы стать офицером, потому что был беден, хотя природа одарила его светлым умом. И я понял тогда, что весь мир полит ложью, и даже в боге нет правды. Я стал разбойником. Меня ловили. Но я не мог жить в темнице. Я слышал однажды, как один итальянец говорил: «Дайте мне Везувий, дайте мне этот залив, эту роскошную природу, которая создала из Неаполя земной рай — дайте всё это мне без свободы, и вы дадите пустыню, ночь, ад! И дайте мне пустыню, голую скалу, дайте мне клочок земли, самый дикий, бесплодный, заброшенный, дайте мне его со свободой, и я из него сумею сделать рай!»

Народ, не имеющий свободы, ходит во тьме, имея свободу, он ходит во свете. Благословен же свет и благословен тот, кто принесёт его нам! Мне никто не нёс света, я сам добивался света, то есть свободы.

— Позвольте же, — перебил Калашников, — а не было у вас мысли покончить с прошлым, заняться каким-то трудом?

Собеседник, помедлив, заговорил:

— Я отвечу на ваш вопрос лучше рассказом... Давно я не разговаривал по-людски, просто, как мы с вами. Давно это было, полк стоял в Царском Селе. Мы ожидали приезда своего командира и решили подшутить над ним. Спрятались в кустах. Вдруг видим — едет карета, мы вмиг окружили её, распрягли лошадей, впряглись сами. И тут слышим плач! Батюшки светы! Остановились, открыли дверки. О боже, вместо шефа, который простил бы нам эту маленькую шалость, мы увидели великих княжон. И эта маленькая шалость

превратилась в большую дерзость, суровая кара грозила нам. Мы лепетали что-то жалкое в своё оправдание, а сами уже видели себя чуть ли не с верёвкой на шее. И тут подходит невысокий, плотный, кучерявый господин, улыбается и что-то по-французски начинает говорить барышням. Они смеются, хлопают в ладоши и убегают. Карета неторопливо едет за ними. Кучерявый господин подходит к нам, улыбается и говорит: «Вы, вероятно, новички, здесь даже гусары так не шутят! Но будьте покойны, я всё уладил, убедил княжон, что это моя затея». Подошли двое его приятелей, и мы тут же, на лужайке, устроили весёлое пиршество.

— И кто же вас спас тогда? Вы хоть спросили имя своего избавителя? — поинтересовался Калашников.

— Конечно. Он ответил: Александр Пушкин!

— Вы сказали: Пушкин? Вы видели самого Пушкина?

— Не только видел, как вас сейчас, но беседовал с ним, пил вино, обнялся с ним на прощанье. Тогда я не знал, что у нас с ним будет ещё одна встреча...

Как жалел позже Иван Тимофеевич, что не обратил внимания на последние слова беглого. В ту минуту он думал о том, что жизнь — странная штука. Его чуть не лишил жизни беглый каторжник, а он сидит и слушает его рассказ. И о ком? О Пушкине! Непостижимо!

А беглец продолжал:

— Пушкин на прощанье сказал: «Мудрый философ древности верно заметил, что первый удар судьбы, как бы тяжёл он ни был, не всегда наносит смертельное поражение всему нашему будущему, и что между Бедою и Отчаянием остаётся ещё место для Утешения и Надежды». Заметьте, как мудро он выразился! Да, и у меня были Утешение и Надежда. Но в тюремной камере они исчезают значительно быстрее, чем на вольном воздухе. Вы знаете, что такое «скрипка»? Берутся две аршинные доски, на каждой делаются вырезы для шеи и для рук, затем доски сбиваются вместе. И вы эти доски носите! Вот что такое «скрипка»!

— Неужели в наше время...

— Да, да, именно в наше просвещённое время я носил такую «скрипку» неделю. Говорят, что через 10 дней китаец, носящий такую «скрипку», умирает. А я всё думаю, когда же люди станут иными?

— Помилуйте, — возразил Калашников, — с какой же стати им меняться? Если я по натуре своей жесток или, напротив, добрый барин, неужто вот так, сам по себе, стану иным?

— Вы скептик, — улыбнулся беглец, — и, наверное, это хорошо!

— Помилуйте, какой я скептик? А если и так, то что же в том хорошего?

— Дело в том, — торжественно заговорил разбойник, — что человеческий ум обладает большею способностью отрицать и разрушать, чем убеждать и созидать. И если скептицизм действительно ничего не стоит, то он хорош тем, что доводит до крайности противоречия существующего мирозерцания, он обнаруживает его слабые стороны и позволяет новому исследователю отнестись с большей свободой к связывающей его старческой рутине...

— Ну, если я и скептик, то никак не исследователь, и не мечтаю о каком-то ином времени. Что может измениться в человеке? Под влиянием чего? Каких сил? Наверное, это и вам не ясно.

— Может, и не ясно. Но однажды мне рассказали о книге под названием «Город солнца». О, как там людям хорошо жилось! Какие у них были мысли и дела! И вот я думаю, если бы человек вместо того, чтобы совершать скверный поступок, стал творить добро...

— Но почему же именно добро? А может, хорошему захочется творить скверну, грабить, убивать и так далее. Разве доброе начало в человеке сильнее?

— По-моему, сильнее. Люди бросаются в горящий дом или реку, чтобы спасти другого человека, — разве думают они в этот миг о себе, о возможной смерти, которая подстерегает их в огне или воде?

— А когда люди нападают на дороге на путников, почему же эти добрые начала не говорят в них?

— Защитные реакции в человеке всего сильнее, и они опережают рассудок...

— А коли так, — заключил Калашников, — вот вы и попались: человека трудно переделать... Вот вас, например, отпусти я на свободу, что вы станете делать? Вновь займётесь своими делами — то есть в вас победят тёмные инстинкты, эти никому не известные правящие в нас силы.

— Вы правы, займусь, потому что я — доходная статья для исправника. И он это хорошо знает. Ему выгоднее, чтобы я был в бегах. Хотите знать, отчего это происходит? Когда меня ловят, я показываю на богатого мужика, говорю, что ночевал у него ночь, другую. Исправник с казаками наезжает к мужику, и тот после угроз и побоев даёт им деньги. Некоторые артачатся — тогда исправник пугает их кутузкой, и всегда конец один — денежки на стол. И я не один работаю на Московском тракте, а с товарищами...

Калашников поёжился от слова «работаю», но продолжал слушать.

— Деньги же, которые отбирают у богатых мои молодцы, раздаём бедным и просим, чтоб об этом они молчали. Себе оставляем самую малость — на пропитание.

— По-моему, времена Робина Гуда прошли, — насмешливо заметил Калашников.

— Может, и прошли, но времена Трескина и Лоскутова нет. И народ стонет. Восстание в Сибири не поднимешь. Мужик спит, его надо разбудить. Но разве разбудишь Сибирь с её мёртвою жизнью?.. Раньше я о многом мечтал, теперь у меня путь один — туда! — разбойник ткнул пальцем в небо. — В Кишинёвском остроге со мной сидели молдавские разбойники — гайдуки. Я услышал так много и песен и рассказов о них, с их похождениями связывалось множество мест: «Дупло разбойника», «Пещера разбойника». При мне говорили о знаменитом бессарабском разбойнике Урсуле. Нам казалось, что вот-вот что-то изменится. И однажды в моей камере появился человек, с которым я долго проговорил на разные темы. Прощаясь, он рассказал мне римскую легенду. Признаться, я долго не мог её понять, но, кажется, сейчас понял. Хотите, расскажу? Согласно этой легенде, на римском форуме разверзлась пропасть. Авгуры предсказали, что она закроется лишь тогда, когда в жертву будет принесено самое большое сокровище Рима. Патриций Курций, полагая, что наибольшим достоянием Рима является военная доблесть, бросился в пропасть с конём при полных доспехах, пожертвовав жизнью для общества. «Всем нам, — сказал мой гость, — нужен Курций, только никто им не хочет быть. Почему? Помните, как написал поэт Рылеев»:

Известно мне: погибель ждёт
Того, кто первым восстаёт
На притеснителей народа.
Но где, скажите мне, была
Без жертв искуплена свобода?..

«Жертвовать собою не хотят», — заключил тогда мой кишинёвский собеседник... Каторжник недолго помолчал и продолжил с жаром:

— Если б теперь у меня было время, я б употребил его не так — я написал бы книгу, где подверг критике монархию. И предложил бы России Конституцию — как во Франции!

— Но ведь её надо иметь! — сказал Калашников. — Кто же её напишет?

— Я и мои единомышленники, двое их тех, кто был сослан по делу Семёновского полка. Да есть ещё и другие умные люди...

— И что же вы хотите? — Калашникова всё более и более занимал этот человек, с которым он познакомился таким странным образом.

— Главная идея нашей Конституции — идея справедливости, то есть требование уважения к человеческому достоинству, взаимно испытываемого и взаимно гарантируемого членами общества в своих отношениях. Мы считаем: справедливость абсолютна, незыблема, неизменна. Из определения её сущности вытекают определённые права и обязанности членов общества...

— Послушайте, — вдруг горячо заговорил Калашников, — не говорите мне больше ничего, ничего, умоляю вас. Ведь это крамола, это... покушение на монархические устои. А я — государственный чиновник... Да, государственный! И если я скажу хоть одно слово исправнику или заседателю, вам грозит смертная казнь. Вас казнят не в Иркутске, вас вытребуют в Петербург. Может быть, сам государь пожелает выслушать вас, но всё равно конец один — смерть.

— Что же вы предлагаете? — весело спросил разбойник. — В одном случае меня ожидает каторга за нападение на государственного чиновника, в другом — виселица за покушение на государственные устои. Эх, если б можно было выбрать! Я бы выбрал второе — всё-таки увидеть ещё раз государя. И вообще, умереть за политику — это могут позволить себе только во Франции!

Калашников уловил в последних словах иронию и поспешно заговорил:

— Я скоро уезжаю отсюда в Тобольск, мы с вами никогда больше не увидимся. Но я не хочу, чтобы вы чахли в остроге. Вот лошадь, берите её. С берега не видели, как вы напали на меня. Прошу вас, скорее уезжайте. Иначе я передумаю. Ну, чего вы стоите?! — закричал Калашников, ещё за минуту до этого не знавший, на что он решится.

Беглый схватился за поводья, потом бросил их, подбежал к Ивану Тимофеевичу и трижды поцеловал:

— Да храни вас бог! — только и сказал он тихо.

Калашникову показалось, что в глазах у разбойника — слёзы. Он обнял его и почувствовал, что к горлу подступает комок.

— Значит, вы поверили в мою Конституцию, — сказал разбойник. — Так знайте, придёт время, когда весь свет солнца и вся теплота его прольётся на Россию — и тогда конец нашим страданиям. Прощайте! А о лошади не беспокойтесь — её вам доставят мои люди.

Он уже подходил к шарабану, когда вдогонку Калашников спросил:

— Простите, ответьте на последние вопросы: как вас зовут и кто был у вас в гостях в кишинёвском остроге?

— Звать меня Тарас Кириллов. А в остроге был моим гостем поэт Александр Пушкин. Я даже дату помню — 26 мая 1821 года, запомните — 26 мая...

Звякнули кандалы, лошадь рванулась, и шарабан легко покатил по просёлочной дороге...

Размышления героя

Иван Тимофеевич остался один посреди дороги, почти в 30 верстах от города. Солнце садилось, и он боялся, что не успеет добраться домой до ночи. К тому же надо было что-то придумать и насчёт лошади. В голове всё перемешалось: офицер, разбойник, Пушкин, Конституция, Вольтер... «Ах, какой чудной человек! Впрочем, почему чудной? Чудный! Замечательный! А какой философ! И говорить с ним — одно удовольствие».

Наверное, в первый раз государственный чиновник Калашников возвращался из командировки пешком в город Иркутск. Сейчас он не думал о плохой просёлочной дороге, о том, что придётся несколько часов тащиться до своего дома, если никто не подхватит его по пути, о том, что будет много вопросов. И на один — главный — перед самим собой не будет ответа: почему он отпустил разбойника, человека, покушавшегося на него?

...Опустился тихий летний вечер, мягкий сумрак скрыл очертания дороги — она скорее угадывалась по колеям под ногами. Только тёмные сосны по сторонам возвышались, как гигантские исполины, шумели настороженно, тревожно, обещая скорую перемену погоды. Иван Тимофеевич решил подумать о ночлеге. Он свернул в сторону от дороги, выбрал дерево покряжистее, чтоб укрыться на случай дождя под его кроной, расстелил под ним свою дорожную шинель, накрылся ею и попытался уснуть. Но не тут-то было! Рой вопросов вертелся в голове: что скажет отцу, товарищам, наконец, своему начальнику? Может, это своего рода прозрение, и идёт оно откуда-то свыше — от бога? Может быть, именно сейчас он понял, что есть, пить — это ещё не всё? Не всё — и работа, почёт, награды, хотя и это необходимо в жизни. Но, может, главное в человеке Честь, Доброта, Самопожертвование, Гражданские идеалы? Мужество, наконец? Если человек идёт в огонь для спасения других — это мужество! А если на тебя нападают, ты ловишь преступника, а затем отпускаешь его?... Да, но быть таким его заставили обстоятельства... И потом он не грабит бедных, напротив — всё бедным отдаёт. Значит, рискуя жизнью, он ведёт себя мужественно? Но ведь и я рисковал...

Странные мысли приходили в голову Ивану Тимофеевичу... И последними возникли вопросы: «Да как же я не расспросил хорошенько о его встречах с Пушкиным? И в Царском Селе, и затем в Кишинёвском остроге? Что там делал Пушкин? И правда ли это?» Может, слухавил философ-разбойник Тарас Кириллов, и никакого Пушкина он и в глаза не видел?

Эпилог

Кто-то из современных исследователей творчества Пушкина сказал, что жизнь Пушкина — сама по себе захватывающий сюжет, со своими даже детективными загадками и с тем судьбоносным смыслом, про что Достоевский в знаменитой речи сказал: «И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». Мне хотелось узнать: правда ли был Пушкин в Кишинёвском остроге. И я засел за изучение документов и... самого Пушкина. Оказалось, да: в своём кишинёвском дневнике Пушкин пишет о посещении им острога и встрече там с русским «разбойником» Тарасом Кирилловым. В записи от 26 мая 1821 года Пушкин отмечает: «Потом был я в здешнем остроге N. В. (N. В. — нота бене: хорошо заметить. — В. З.) Тарас Кирилов» (см.: Пушкин А. С., Сочинения. Т. XII. С. 303).

Пушкиноведа Б. Трубецкой в книге «Пушкин в Молдавии» пишет: «Сохра-

нился рассказ о том, что один из арестантов острога, «главный первостатейный каторжник» сказал Пушкину, что ночью намерен бежать. После удачного побега одного из арестантов Пушкин говорил, что вот «многих переловили, а мой друг убежал». Возможно, что этим арестантом, совершившим побег, и был Тарас Кириллов» (Б. Трубецкой. С. 125).

Знал ли об этом любопытном эпизоде из пушкинской биографии Иван Тимофеевич Калашников, к сожалению, мне установить не удалось.

Необходимость Вампилова

Эссе

Многим сегодня уже кажется, что Вампилов давно нами «пройден». Уверен: на самом деле он ещё толком и не разгадан, а его опыт познания человека нам более чем необходим.

«Вампиловские люди — это сугубо литературные явления, дитя «второй действительности. Театр для них не только родимый дом, они живут именно на сцене, ни один драматург не несёт с собой столько условности, как этот, на первый взгляд, «бытовой» писатель... Вампиловские люди не живут, а играют... Верить Вампилову на слово нельзя» — так написал один литератор в альманахе «Современная драматургия» (1984, № 4).

Здесь и проходит своеобразный водораздел. Я-то убеждён: Вампилов и может-то быть понят до конца лишь как посредник между нами и нашей же жизнью.

То, что пишет критик Виктор Демин, ближе к «нерву» вампиловской пьесы: «Драма Зилова — драма неверия. С детства он впитал в себя неверие в соборы, но на каком-то году кончилась у него и вера в планетарий. Подвернулась любовь, да к кому — девушке, чистой, как слеза... Но он-то неверующий, с самого начала знает, что и это пройдёт. Полный, законченный атеист, он больше всего тоскует по святыне, которую, однако, не в состоянии сам, собственными силами соорудить в душе».

«Горячо», здесь где-то разгадка, близко... но... А что, если всё наоборот? «Полный, законченный атеист», человек без святыни, без веры в душе отнюдь не пренебрегает внешними приличиями. Имеющий дело исключительно с материальной, поверхностной стороной жизни, он как раз предельно внимателен к социальным ритуалам, расхожей морали, правилам — в том числе «правилам поведения». Иначе — на что же опираться ему? На что, кроме и сверх этого?

Вампиловский Зилов — совсем другой. Его юность пришлась на время больших (и неопределённых) надежд, вызвавших к жизни соответствующее романтическое мироощущение. «Мечты, которые сбываются, — не мечты, а планы... Что такое, собственно, счастье? Для одних — душевное равновесие, для других — материальное благополучие.

Для молодого человека с фантазией и эмоциями — это жить в шумном городе, где есть такой дворик и дом — вечером нажал кнопку — выбегает любимая девушка...» (из записных книжек Вампилова).

Камышев Виталий Иннокентьевич, критик, публицист (род. в 1957 г. в г. Черновцы, Украина). Автор статей о литературе и кинематографе, опубликованных в различных изданиях, в том числе журналах *Новый мир*, *Искусство кино*, *Советская литература*, *Дальний Восток*, *Сибирь*, парижской газете *Русская мысль*. Член Иркутского отделения Союза российских писателей в 1990-е гг.

Можно назвать это инфантилизмом, но так было, такова была атмосфера времени. На самом деле — сегодня-то это очевидно! — то было чистое в нравственном отношении поколение, может быть, из-за неведения. Игра в «максимализм» и «суровый стиль» в искусстве и в жизни, презрение к «уюту» и «быту» (напускное и тем более лёгкое, что ни особого «быта», ни «уюта» в смысле комфорта не сильно-то много и было тогда), «а я еду за туманом и за запахом тайги» (а попробуй не поехать по распределению — враз «тунеядцем» окажешься!), Хемингуэй и Ремарк, геологи и Окуджава с Высоцким, и непременно — желание эпатировать «отцов».

Модной была всегдашняя (защитная) маска грубости и даже цинизма — с одновременным сознанием её несоответствия внутреннему, только «своим» приоткрываемому миру и настоящему лицу. Была, была «святость в душе», почти не совместимая с повседневностью, вступающая с нею в вопиющее противоречие. И было неприятие казённого, «готового» сознания, сознания, «спускаемого» сверху, и как жест защиты — ироническое отношение к казённым, ритуальным «святостям».

Зиловы жили как бы в двух мирах одновременно: мире их романтических представлений, своём внутреннем духовном мире, — и в мире реальном, к которому они относились не вполне всерьёз. А затем пришло мрачное похмелье «застоя», совпавшее с естественным «кризисом зрелого возраста», тем моментом в жизни каждого человека, когда приходит пора подводить предварительные итоги, когда «сыновья» сами становятся «отцами». Наступило осознание того, что «второй», обыденный мир все-таки реален и материален, как гвоздь в прохудившемся башмаке, и проигран зиловыми вчистую, оккупирован карьеристами и конформистами, «официантами», если вспомнить ещё одного персонажа «Утиной охоты».

Нет, не просто «неверие в соборы» сгубило Зилова; его трагедия — в неопределённости самого предмета веры, и ещё — в оторванности глубоко запрятанных в душе «святых» от его же повседневного бытия.

Природа зиловского «прожигания жизни» внутренне парадоксальна. Он ведь, в общем, не изменяет идеалам юности, верен им. Он просто ждёт чуда, ждёт момента, когда сможет, наконец, всецело стать самим собой, собой настоящим — а в какой-то момент начинает действовать логика «противоположного жеста» (помните, в «Идиоте» Достоевского, князь Мышкин о себе говорит: «Жест имею противоположный»?) — логика странная, но и без Достоевского знакомая каждому ребёнку («назло кондуктору»). И раз уж зазор между романтическим представлением о себе и своим же повседневным обликом так велик, то почему же ему не быть ещё больше? Ведь «всё это» неважно. И «полюса» всё больше «разъезжаются»: всё больше иронии и самоиронии, всё реже приоткрывается перед чужими своё «подлинное» лицо. А потом...

«Маска приклеивается к лицу человека настолько прочно, что он уже не в силах содрать её. И тогда маска начинает заменять ему собственную личность, а прежняя... превращается в призрак воспоминания, в самообман. Эта ситуация может показаться даже комической, но по сути она всегда трагически невыносима для человека. И если жизнь все-таки с человека эту маску сорвёт, то образ возникает ещё более кошмарный: под нею и за нею собственного лица уже вообще нет... Человек без лица, как часы без стрелок... Это боль заживо похороненного».

Покончивший с собой философ Эвальд Ильенков написал эти строки об одном из фильмов Бергмана — но разве не ясно, что о себе? И о Зилове тоже...

И тут самое время спросить: а могло ли вообще быть иначе, был ли у Зилова иной выход?

Могло ли вообще поколение Зилова-Вампилова преодолеть ситуацию «раздвоения», корнями уходящую в российскую-советскую историю XX века, в которой «слово» и «дело» не совпадали почти никогда?

Выход-то был. Но надо понимать, что любой вариант выхода мог быть только драматическим. Выход был в открытом духовном сопротивлении, в неприязни этой жизни и её законов — суливший физическую гибель или изгнание. Был выход самого Вампилова — в литературное творчество, в попытку высказать, выразить то, что происходит с поколением и попытаться достучаться до читателя-современника... Был выход Сарафанова, героя пьесы «Старший сын» — путь повседневного нравственного творчества, активного добра. Путь, надо сказать, открытый для всех людей, талантливых и не слишком, но при этом требующий ещё больше силы и бесстрашия, чем занятие творчеством «в законе». Ведь правы ли будем мы, если подведём под понятие «творчество» исключительно занятия «чистые и благородные» — писательство, художество, — только привычные для нас формы его?.. И разве нет в межчеловеческом общении, душевном движении того духовного напряжения и того нечастного смысла, которые и делают творчество творчеством?..

Так что говорить о вине Зилова можно. Только вина его — в том, что он так и не смог преодолеть двойственность собственного существования, совместить глубоко спрятанную «святину в душе» и повседневное бытие.

Вампилова как драматурга очень интересовал момент столкновения «высоких истин» и «текучего хода времени», субстанции повседневности, в которой человек, по Вампилову, существует не «автоматически», а многомерно и драматически. Он видел существование своих героев в повседневности как нравственно ответственный процесс (в этом отношении Вампилова можно сравнить только с Чеховым). Вампилов остро чувствовал феномен, который я бы назвал «нравственной дискретностью» — когда к разным отрезкам человеческой жизни прилагаются разные нравственные мерки, а сама жизнь делится на «обыденную» и «настоящую». Но как, не греша против нравственности, отделить в нашем, недолгом в сущности, бытии «важные» часы и минуты от «несущественных», а «значительных» людей — от «неважных»?.. Такое деление всегда в нравственном отношении глубоко сомнительно, хотя в нашем российском случае объяснимо: оно корнями своими уходит в предшествующую эпоху, когда «грандиозность свершений» и огромность целей задвигали на второй и третий план «частную» духовную жизнь отдельного человека и его индивидуальный внутренний мир (впрочем, эти вещи никогда до конца никому истребить не удавалось).

Подобный (глубокий и философский) взгляд на повседневность, выношенный Вампиловым, требовал для своего выражения соответствующей образной «техники». В чем же её особенность? Все пишущие о Вампилове отмечают, что жанровая природа его пьес остаётся до сих пор до конца не разгаданной, не поддаётся однозначным определениям.

Мне же думается, что проблема жанра вампиловских вещей вообще неразрешима, если понимать жанр как формальный приём или сумму приёмов. Лишь толкуя жанр как найденный автором угол зрения на материал, мы можем постигнуть и его внутренние закономерности. Вампилов в своих произведениях ставил перед собой сложнейшую задачу: сделать видимым нечто нами невиди-

мое — но вместе с тем определяющее нашу судьбу и всю нашу жизнь. Мы ведь не видим гравитационные волны, но они реально существуют.

Что же представляет собой «притчевое» начало в мире Вампилова? Некую особую условность изображаемого? Наличие «второго», «символического» плана? «Притчевость» Вампилова — такое особенное видение «обыденной» жизненной ситуации, когда мы вдруг видим: на наших глазах завязываются будущие человеческие драмы, вспыхивают и гаснут человеческие чувства, ломаются судьбы... мы начинаем видеть «невидимое» — настоящий, глубинный, нравственный смысл событий. Это свойство вампиловской образности точно ощутил Глеб Панфилов: «Мне иногда кажется, что история Анны, история рождения Пашки — всё это каким-то образом связано с тем, что случилось с Валентиной в финале пьесы. То есть у меня как читателя возникло ощущение: может быть, при схожих обстоятельствах у Анны появился Пашка, а это потом роковым образом привело к тому, что произошло у того с Валентиной. Есть какая-то трагическая связь между его безотцовщиной и тем, как он любит... Вампилов — философ, его пьесы — притчи...»

Так умел видеть Вампилов.

...«Детский» вопрос: что сегодня может нам «дать» Вампилов? Чем помочь?

Я бы ответил так: он даёт нам ключ к тому, над чем все мы ещё властны — к нашему будущему. Завтра к нам приблизятся новые люди, мы увидим их лица — и, быть может, на этот-то раз разглядим за скучным, смешным или обыденным высокое и подлинно человеческое.

В этом смысле всего актуальнее для нас сегодня вампиловский «Старший сын». Пьеса-размышление о том, выживет ли Россия.

Что представляет собою сюжет «Старшего сына»? Перед нами — «случайное семейство», распадающаяся маленькая человеческая общность. Отец, Сарафанов, кажется, полный «неудачник по жизни» («Я играю на свадьбах и похоронах» — так называлась одна из авангардных постановок вампиловской пьесы в режиссуре Ю. Погребничко; играя на свадьбах и похоронах, мог бы зарабатывать себе на жизнь состарившийся «певчий дрозд» из фильма Отара Иоселиани Гия), бунтует и рвётся куда-то его сын Васенька, стремится устроить свою жизнь и побыстрее да подальше «свалить отсюда» дочь Ниночка... Каждый сам по себе, наособицу. Все меньше и меньше нуждаются они, казалось бы, друг в друге.

И вот сюда-то совершенно случайно (как сказали бы в старину, «по воле жребия») залетает забулдыга Бусыгин — чуждый «блуждающий атом» человеческий. И происходит странная вещь, — да нет, происходит чудо: эти люди, столь ненужные друг другу (если исходить из «обыденной», прагматической логики), становятся друг другу необходимыми, родными... Возникает Семья, новая человеческая общность — в ситуации, когда это нелогично, нелепо, глупо, невозможно.

Но никто ведь не скажет, читая пьесу Вампилова или смотря экранизацию В. Мельникова с пронзительными Е. Леоновым и Н. Караченцовым, что эта история неубедительна и/или решительно неправдоподобна. Потому что все повороты этого сюжета виртуозно выписаны Вампиловым, а характеры даны с изумительной точностью... И ещё — потому, что всё происходит в России в XX веке.

Сюжет «Старшего сына» пробивает нам душу, потому что это пьеса-метафора российской духовной ситуации XX века, это — о нашем общем Доме, о нашем внутреннем состоянии. Более того, лишь в начале 90-х в полной мере «проявился» его глубинный философский смысл, именно в рентгеновских лучах последних двух десятилетий, уничтоживших многие иллюзии (и породивших новые) ... В самом деле, на Дальний ли Восток собирается улететь навсегда Ниночка

или на Дальний Запад? И способна ли идея державности и мечта о «кузькиной матери» укрепить в нас человеческое начало? А любовное культивирование ненависти к «не-нашему» поможет ли нам снова стать «как одна семья»?

Тема заброшенности, безотцовщины пронизывает всю русскую художественную культуру прошлого века. Когда-то В. Шкловский увидел сходство между Гамлетом и Треплевым из «Вишнёвого сада» и обозначил его именно этим словом — «безотцовщина». (Вспомним, что и Вампилов отца не знал — тот погиб в сталинских застенках вскоре после рождения сына, в 1938 году...). Помню, как поразили меня прочитанные в начале 90-х в «Сибирской газете» слова психолога Петра Патрушева, уроженца Колпашева, что в Томской области, а позже — гражданина страны Австралии: «Мне кажется, что страна сейчас напоминает приют для беспризорных. Какая-то неустроенность везде, жестокость в обращении, озлобленность, отсутствие ощущения, что страна принадлежит тебе... Ведь приют — это где нет отца, да?». Это Пётр Патрушев говорит о постсоветской России и продолжает: «Мне кажется, что в русской психологии, в русской душе произошёл перелом, когда были зверски убиты царь, его семья и наследник престола... А если мы уничтожаем отца, то неизбежна тяжелейшая ломка сознания. И кто-то должен занять его место... И тогда на место отца приходят, как мне кажется, псевдоотцы. Сначала Ленин, потом — Сталин».

Мне сдаётся, что на самом деле в российской истории XX века всё ещё сложнее, драматичнее, запутаннее. Если царь, какой-никакой, всё же «Отец», но почему его забыли так быстро и так прочно? Ленинский же культ в массовое народное сознание вошёл органично и надолго. Станный это был во многом культ — затрёпанная «тройка», потёртые ботинки, картавость, лысина и малый рост... А может, именно поэтому? Эта внешность так не вязалась с бушевавшим вокруг Апокалипсисом, — им же, Лениным, развязанным, что поневоле вызывала сакральный трепет...

Сталин уже подключил идею новой державности: с одной стороны, плановость и всеохватность террора и согледатства, с другой — гордость и трепет «тех, кто был никем», перед высотными домами, ЗИСами, ракетами... После его смерти всё продолжалось — внешне, по инерции, новые вожди уже «не тянули», но любить их надо было — за попытку профанации сакрального можно было и сесть.

Какое ж сознание выдержит такое — когда в течение жизни одного поколения провозглашают одного Отцом, а затем, едва ты успел привыкнуть к нему, низвергают и заставляют «любить» другого, третьего? И всё это — с громадными эмоциональными затратами, всерьёз...

Эта ситуация и привела к тяжкой болезни русской души, которую я назвал бы «сверхгамлетизмом». Все помнят коллизию шекспировской драмы: герой теряет отца, да не просто теряет — насильственно лишается, при тёмных и загадочных обстоятельствах; его лишают человеческой, личной истории, лишают духовной опоры. Вместо отца — тёмная тайна, умолчание, «чёрная дыра», из которой веет запредельным жутким холодом...

Теперь представьте: эта драма повторяется в жизни одного человека несколько раз. К примеру: Гамлет, с трудом пережив утрату отца, привязывается к Клавдию (вычеркнем сцены явления Призрака и сцену «мышеловки»), а того в свой черёд укокошивают и убеждают Гамлета присягнуть как отцу Фортинбрасу, Полонию или какому-нибудь Навуходоносору... Или того круче — вдруг достоверно обнаруживается, что тот (настоящий, любимый, оплаканный) отец был вовсе Гамлету не родным по крови. Тёмная тайна всё усложняется, «чёрная дыра»

растёт в геометрической прогрессии, и разум справиться с этим не в состоянии. Такой вот «Гамлете в квадрате», «в кубе»...

Но это ведь и есть модель духовной ситуации русского человека в XX веке, в которой уникально вот это сочетание тоски по Отцу, обилия претендентов «заменить» Отца и хронического самоощущения абсолютной безотцовщины... Так в чем же выход? Ведь вышеописанная духовная ситуация коренных изменений, увы, не претерпела — это доказывает явление фигуры Путина, с его внешней невзрачностью и безграничным всевластием? Может быть, в том, чтобы восстановить в России монархию и ВВП короновать на царство?

В «Старшем сыне» Вампилов с огромной художественной силой утверждает сугубо человеческое измерение отцовства; в том-то и новаторство его (напомню, написана пьеса в 1966 году), и актуальность, что он переводит в духовно-человеческий, уникально-личностный план то, что прежде всецело преподносилось исключительно в политически-сакральном измерении (само понятие «Отец» ассоциировалось с Вождём и Классом: «Отец всех народов», «сын трудового народа»). А человеку нужен живой, близкий и свой отец — а не один истукан на всех.

У Вампилова чудо сотворения родства происходит благодаря душевному усилию Бусыгина, выдавливающего из себя собственный инфантилизм и принимающего на себя ответственность за этих прежде незнакомых ему людей и душевному усилию Сарафанова, обладающего талантом человеческим. «Каждый человек рождается творцом... и каждый по мере своих сил и возможностей должен творить, чтобы самое лучшее, что было в нем, осталось после него» — говорит Сарафанов в пьесе. О каком творчестве речь? Кантате «Все люди — братья», которую Сарафанов (этот «русский Гия») никак не может дописать? Маршах, которые он играет на свадьбах и похоронах?

Да нет. Сарафанов не спорит с жизнью, она ведь «сплошная» (А. Платонов), он просто творит её — и получает в награду сына.

Ведомые во тьму. Ведомые во свет

Глава из романа «Исход великого шамана»

XV

В дальние-предальние времена из мягкого пуха мироткущая Матерь-зверь соткала и сотворила земную твердь. А после принялась сотворять людей, найдя для того потайное местечко на снежной вершине хребта Кёмес-Джирбит-Гора. Где сотворила людей мироткущая Матерь-зверь, там она их и оставила, на снежной вершине хребта Кёмес-Джирбит-Гора. Сотворив людей, других забот она знать не желала: и воду, и пищу они должны были добывать себе сами в первозданной природе. И, кроме того, должны они были вывести у других сотворённых на земле тварей тайну зачатия жизни, дабы не извести человеческий род в бесплодии.

В первый же день от сотворения догадались люди, как добыть себе скудную пищу: разгребли глубокий снег и обнаружили под ним мёрзлые корни, которые кое-как утоляли голод. Добыли себе и воду, растапливая в тёплых ладонях холодный снег. Талая вода кое-как утолила жажду. Невест сколько долго пробивались первосотворённые люди скудным пропитанием и питьём из ладоней, но больше их томило не чувство голода или жажды, а какая-то телесная печаль или болезнь, ибо не знали они ничего иного, кроме страданий, мучений и смерти. И начали люди убывать числом, сократившись вначале на четверть, затем потеряв каждого третьего, в конце концов не досчитались и каждого второго. Недолго оставалось до того дня, когда сотворённые люди извелись бы до последнего человека, пребывая бесконечно на снежной вершине хребта Кёмес-Джирбит-Гора.

Но, на их беду и на их счастье, в вымирающем племени вызвалось двое, взявших на себя труд увести людей со снежной вершины хребта к подножию, где откроются глазу равнинные земли. Сами себя они нарекли шаманами. Один назвался шаманом тёмных духов и велел величать его Таапыном. Другой назвался шаманом светлых духов и велел величать себя Тётте. Каждый из них пообещал избавить людей от мучений, страданий и вымирания. И тому, и другому охотно поверил народ и разбился на две разных стороны: по правой стороне стояли те, кто хотел последовать за шаманом тёмных духов Таапыном, по левой — те,

Карнаухов Владимир Степанович, прозаик, публицист (род. в 1947 г. в г. Черемхово Иркутской обл.). Автор книг: *Взлёт*: очерки (Саратов, 1981); *Время прощаний*: роман (М., 1986); *Солнце не всходит дважды*: очерки (Иркутск, 1991); *Кто-то должен ждать*: роман, повесть (Иркутск, 1994); *Приглашение на Голгофу*: повесть, рассказы и очерки (Иркутск, 2008) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

кто согласился пойти за шаманом светлых духов Тётте. Семь дней и ночей безостановочно спускались с вершины хребта Кёмес-Джирбит-Гора люди, возжелавшие узнать скрытые от них радости жизни. И ещё семь дней пришлось им ступать по обледенелому, каменистому предгорью. Наконец, в день пятнадцатый, им открылась земля, подобной они прежде не видели: она не была только чёрной или только белой, много красок играло на новой земле, ярких, сочных, мерцающих. На благодатной вершине навсегда разошлись пути людей, спустившихся со снежной вершины. К южным далям повёл людей шаман тёмных духов Таапын, к северным — шаман светлых духов Тётте.

Идущие в южные дали узрели перед собой цветущие луга и пасущихся чёрных оленей с белыми пятнами на шкурах. При виде оленей поняли измождённые, оголодавшие путники, что сытые, благородные животные станут их пищей. Их понимание стояло на простой причине: явившиеся из поднебесья всегда выше низких земных тварей. Что безоговорочно подтвердил шаман тёмных духов, изрёкший единственную истину: «Олени, которых вы видите, отныне станут вашей пищей, и с сего часа мучения голода оставят вас навсегда». Изречённое Таапыном долетело и до оленей — в ту пору люди и звери знали один язык и разговаривали на одном языке. И тогда от мирно пасущегося стада отделился вожак, троекратно ростом превосходящий собратьев и десятикратно — мудростью. Его ясные, золотистые глаза были направлены на Таапына, которого вожак оделил достойным почтением, молвя каждое слово с подобающим уважением: «Ты, всесильный и премудрый человек, привёл людей на равнину из самого поднебесья, считая то законным основанием, чтоб забрать жизни моих собратьев. И я не вправе оспаривать это высокочтимое мнение, но позволяю себе поделиться и своим мнением.

Сначала вы убьёте моего первого брата, затем второго, третьего... Рано или поздно настанет черёд и последнего брата, который станет и вашей последней пищей. И очень скоро вы увидите и собственный смертный час. Так стоит ли всех нас, оленей, изводить с земли, чтобы вслед за нами навсегда покинуть прекрасную долину? Полагаюсь на мудрость твою, Таапын. Думаю, ты иначе распорядишься и судьбой народа, который привёл со снежной вершины, и судьбой моих беззащитных собратьев.

Пусть лучше олени укажут путь туда, где на равнинных землях произрастают травы и злаки, пригодные для пищи, и где водятся другие звери, а также птицы, мясо которых также пригодно для пищи. Этих зверей и птиц вы никогда не истребите — их на земле такое неисчислимое множество, что нельзя истребить до последнего. Пока вы будете убивать и поедать одних — на свет народятся другие. Кроме того, мои братья откроют вам воды морей и рек и научат ходить вас по солёным водам морей и пить воду из пресных рек. Если моё мнение тебе небезынтересно и ты примешь его, то братья мои откроют твоим людям потаённые уголки земли, те, на которых играют звериные свадьбы, — там вы увидите начало начал земной жизни, проистекающее от любви. Переняв от зверей любовные утехы, твой народ приумножится числом многократно.

Я высказал своё мнение, но ты сам, всесильный и премудрый человек, должен решить, какой совершить поступок: немедленно забрать жизни моих братьев и утолить терзающий голод или превозмочь себя, отказаться от близко лежащей пищи и пойти по следу моих братьев?».

Мудрый олений вожак вознадеялся и на мудрость человека, приведшего людей на равнину со снежной вершины хребта Кёмес-Джирбит-Гора. Но мудр ли тот человек, над чьим телом и разумом властвуют голод и жажда? Едва ли. Челов-

век в подвластии не отмечен целомудрием! Что и выявилось в шамане тёмных духов — Таапыне, чей разум был столь же холоден, как снега вершины, с которой он привёл людей. Голод и жажда повелели ему дать немудрый ответ оленьему вожаку: «У моих людей кончились силы, чтоб куда-то идти по оленьим следам, им нужно утолить голод немедленно, вдоволь насытиться оленьим мясом и вдоволь напиться вкусной оленьей крови. И тогда здоровье и силы возвратятся к людям. Сильные и здоровые, они и без указания пути, сами найдут потаённые уголки земли, на которых играют звериные свадьбы, и увидят своими глазами начало начал земной жизни. Сами найдут равнинные земли, где произрастают травы и злаки, пригодные для пищи. Сами откроют воды солёных морей, по которым можно ходить, и воды пресных рек, которые можно пить. Сами добудут мясо зверей и птиц, пригодное для пищи.

И потому твоё мнение, несчастный вожак, я пропускаю мимо ушей. Я велю людям убить всех твоих братьев, но первым убить тебя, и всего лишь по единственной причине: чтоб не взбунтовалось стадо. Сначала нужно убивать самых мудрых. Твари же, не отмеченные мудростью, не способны к настоящему бунту. Пойми простейшую истину, несчастный вожак, — все твои несчастья проистекают от твоей же мудрости. Сейчас же участь твоя будет решена, как и участь твоих братьев».

После всего сказанного шаманом тёмных духов Таапыном, люди, ведомые им, взялись за камни и колья, до смерти забив мудрого вожака оленей. Но простые люди из всех сил били кольями и камнями вожака не потому, что он был мудр и величаво красив, а по причине самой простой из иных причин: вожак втроекратно ростом превосходил своих братьев, значит, в три раза было более в нём и мяса, и крови. В совершивших с неоправданной яростью убийство вожака людях пробудилась новая, ничем не оправданная ярость: всё теми же кольями и камнями они перебили стадо до последнего оленёнка, не пощадив и того, который родился на белый свет на их глазах.

Пресытившись оленьей кровью и мясом, люди, ведомые шаманом тёмных духов Таапыном, ощутили неведомое им томление, неясное искушение плоти и духа. Но они знать не знали, что означает томление плоти и духа, и какое тому исцеление. Люди предались раздумьям об исцелительной силе, но ни одна справедливая догадка не осенила их неразвитый разум, если не считать той, о которой говорил мудрый олений вожак, — о неведомом начале начал земной жизни, проистекающем от любви. Будучи не только сытыми, но и пресыщенными пищей, они, как и всякие твари, пресыщенные плотскими радостями жизни, приступили уже не с просьбой, но с требованием к шаману тёмных духов Таапыну: вести их по равнине дальше, чтобы отыскать потаённые уголки земли, на которых играют звериные свадьбы, дабы своими глазами увидеть начало начал земной жизни, проистекающее от любви.

Но разве знали они, что всё потаённое на земле сокрыто от постороннего взгляда? И что мог знать Таапын о скрытых тропах и тропинках, ведущих к заветным игрищам зверей и птиц? Ничего не мог знать! Но, будучи человеком самоуверенным и строптивым, на что имел основания полные и веские, дабы уже был отмечен заслугой вождения людей со скудной вершины холма Кёмес-Джирбит-Гора к обильной и сытой равнине, Таапын с легкомысленным воодушевлением отозвался на требования пресыщенных мясом и кровью людей: «Если я сделал одно великое дело, то разве не по плечу мне другое? Я приведу вас в заветные уголки земли, которые вы стремитесь увидеть. А потому слепо и без раздумий следуйте за мной!».

Люди сделали так, как повелел шаман тёмных духов, слепо и доверчиво последовав за ним. Могли ли они помыслить, что сильный и самоуверенный Таапын столь же слеп и бессилен в равнинных землях, как и они сами? Лучше других он знал лишь снежную вершину, но как он мог знать то, что не встречалось в жизни? Со слепыми, ведомыми слепым, неизменно случается то, что случилось: блуждание по замкнутому кругу. После пяти дней и ночей скитания по прекрасной равнине Таапын привёл людей ровно на то же место, где они повстречались с оленьим стадом. Но та же земля уже не издавала приятных благоуханий, а пугала зловонием и неопрятъем: беспорядочно валявшиеся кругом плохо обглоданные олени кости червоточили и разлагались, а зелёная трава, обожжённая горячей оленьей кровью, пожухла и поникла. Вместо чувства трепетного благоговения людям явилось другое чувство — невыносимого отвращения, и уже с этим чувством они вновь потребовали от шамана тёмных духов Таапына вести их к заветным уголкам земли.

Того покинуло легкомысленное воодушевление, но спесивая гордыня осталась при нём, и он повёл людей за собой на второй круг, в точности повторивший первый земной круг. Круг третий повторил круг второй, а четвёртый — третий. Конечно, можно было бы пойти и на круг пятый, но люди поняли, что замкнутая бесконечность неизменно повторяет саму себя, и им никогда не вырваться из круга. К тому же они совершенно выбились из сил, а случайно подобранные неизвестные корни и плоды мало утоляли голод и жажду. Более они ничего не желали требовать от шамана тёмных духов Таапына, но возжелали разорвать его тело на мелкие кусочки и хоть как-то его мясом утолить голод, и хоть как-то его кровью оросить спёкшиеся от тяжких, пустых хождений по равнине и душно-го воздуха губы и горло. Изничтожив Таапына, люди разбросали его тщательно обглоданные кости меж оленьих костей, решив между собой более не предпринимать ничего, а ждать неизбежной смертной участи в зловонии и в неопрятъе. И эта участь скоро настигла их! Бесследно и навечно исчезли с земного лика люди, последовавшие за шаманом тёмных духов Таапыном на равнину с вершины снежного хребта Кёмес-Джирбит-Гора, так и не познав начало начал земной жизни, проистекающее от любви.

В то же самое время других людей, спустившихся со снежной вершины хребта Кёмес-Джирбит-Гора, к северным далям вёл шаман светлых духов Тётте. И на их пути встретился благоуханный луг, на котором паслись белые олени с чёрными пятнами на шкурах. Измождённые, мучимые жаждой и голодом, путники испустили радостные крики и вопли, так как к ним пришло понимание произошедшего: эти олени и станут их пищей. Их понимание стояло на простой истине: явившиеся из поднебесья всегда выше низких земных тварей. И это, казалось бы, безоговорочно подтвердил шаман светлых духов — Тётте, изрёкший единственную истину: «Олени, которых вы видите, отныне станут вашей пищей, и с сего часа мучения голода оставят вас навсегда». Изречённое долетело и до оленей — в ту пору люди и звери знали один язык и разговаривали на одном языке.

И тогда от мирно пасущегося стада отделился вожак, втроекратно ростом превосходящий собратьев и десятикратно — мудростью. Его ясные, золотистые глаза были направлены на Тётте, которого вожак удостоил достойным почтением, молвя каждое слово с подобающим уважением: «Ты, всесильный и премудрый человек, привёл людей на равнину из самого поднебесья, считая то законным основанием, чтоб забрать жизни моих братьев. Я не вправе оспаривать это высокочтимое мнение, но позволю себе поделиться и своим мнением. Сначала вы убьёте моего первого брата, затем второго и третьего... Рано или поздно наста-

нет и черёд последнего брата, который станет и вашей последней пищей, и очень скоро вы увидите и свой смертный час. Так стоит ли всех нас, оленей, изводить с земли, чтобы вслед за нами навсегда покинуть прекрасную равнину?

Полагаюсь на твою мудрость, Тётте, и думаю, ты иначе распорядишься и судьбой народа, который привёл со снежной вершины, и судьбой моих беззащитных братьев. Пусть лучше олени укажут путь туда, где на равнинных землях произрастают травы и злаки, пригодные для пищи, и где водятся другие звери, а также птицы, мясо которых также пригодно для пищи. Этих зверей и птиц вы никогда не истребите: их на земле такое неисчислимое множество, что нельзя истребить до последнего. Пока вы будете убивать и поедать одних, на свет нарождаются другие. Кроме того, мои братья откроют вам воды морей и рек и научат вас ходить по солёным водам морей и пить воду из пресных рек.

Если тебе моё мнение небезынтересно и ты примешь его, то братья мои откроют твоим людям потаённые уголки земли — те, на которых играют звериные свадьбы. Там вы увидите начало начал земной жизни, проистекающее от любви. Переняв от зверей любовные утехы, твой народ умножится числом многократно.

Я высказал своё мнение, но ты сам, всесильный и премудрый человек, должен решить, какой совершить поступок: немедленно забрать жизни моих братьев и утолить терзающий голод или превозмочь себя, отказаться от близко лежащей пищи и пойти по следу моих братьев».

Мудрый олений вожак понадеялся и на мудрость человека, приведшего людей на равнину со снежной вершины хребта Кёмес-Джирбит-Гора. Но мудр ли тот человек, над чьим телом и разумом властвуют голод и жажда? Какой неотторванный человеческий язык не сронил скептическое восклицание: «Едва ли!». Разве не известно всякой живородной человеческой твари, что человек в подвластии не отмечен целомудрием?! И вот тут-то вольно-невольно придётся сделать исключительное откровение и признать шамана светлых духов Тётте наипервейшим созданием природы, не подвластным жажде и голоду, но отмеченным целомудрием. Мало кого из людей природа одаряет такими неповторимыми чудесными качествами, которых и сам Тётте не знал в себе и прежде не мог о них даже догадываться. А познавши себя, неизвестного, на достойное почтение оленьего вожака ответил не менее достойным почтением, молвя каждое слово с не менее подобающим уважением: «Буду честен и открыт перед тобой, мудрый олений вожак, так как в большом сомнении пребываю в людях, которых привёл со снежной вершины хребта Кёмес-Джирбит-Гора. Не знаю, достанет ли им сил долго идти по следу твоих братьев, — и без того ноги сбиты в чёрную запёкшуюся кровь, желудки разрываются от голода, а горло стонет от жажды; вместо рук остались тонкие сухие плети, разум совсем загас в головах, а в душах поселились серый мрак и мутное беспросветье.

Им легче увидеть собственную гибель, нежели то, что ты обещаешь: равнинные земли, на которых произрастают травы и злаки, пригодные для пищи; зверей и птиц, мясо которых избавит от голода; воды морей, по которым можно ходить, и воды рек, которые можно пить. Глубоко сомневаюсь, что погибающие люди предпочтут мечтания о грядущей прекрасной доле немедленному утолению жажды и голода. Я охотно верю тебе, мудрый олений вожак, что не знакомые ни мне, ни моему народу таинственные любовные утехы намного превыше иных наслаждений жизни, и люди с большим восторгом переймут их у зверей, но где мне найти слова, чтоб призвать их к высоким мечтаниям? Что ты мне, мудрый олений вожак, ответишь на это?».

Видя мучительные сомнения человека, назвавшего себя шаманом светлых духов, мудрый олений вожак почтительно склонил голову и произнёс: «Усомнившись в людях, не усомнись в себе. Без спроса и совета, возьми решение на себя. Как ты решишь — так и будет, и тогда твоя вера станет и верой людей, твоя надежда — надеждой людей, а твои мечтания — мечтаниями народа».

В голосе оленьего вожака Тётте не расслышал корыстных побуждений, иначе бы он не принял совета, но расслышал доброжелательное наставление, которое принял с чистым сердцем: прислушался к самому себе, отвергая всяческие обсуждения с народом. Не ища совета и поддержки у людей, шаман светлых духов Тётте распорядился с решительными интонациями, не терпящими никаких возражений: «Люди, забудьте о голоде и жажде! Соберите последние силы и следуйте по оленьим следам. Что вам лишний, но краткий час жизни, коли видится дальний свет радостных дней?! Идите к нему, вместе со мной, идите и не ропщите!

Я знаю, что нас ждёт впереди: прекрасные земли, где произрастают травы и злаки, которые можно употреблять в пищу, где водятся звери и птицы, мясо которых можно употреблять в пищу; увидим мы воды морей, по которым можно ходить, и воды рек, которые можно пить. Но и эти большие радости померкнут в сравнении со счастьем увидеть начало начал земной жизни, проистекающей от любви!».

Безоговорочное решение шамана светлых духов Тётте мало утешило измощённых, изголодавших людей. Не у каждого достало сил собраться в новый путь и последовать за быстроногими оленями. Да и разве не могли утолить они голод и жажду, забив хотя бы одного оленя? Обессилевшие и сомневающиеся остались помирать среди благоухающих трав на лугу, а им был каждый третий из племен. Остальные пошли вслед за оленьим стадом. Не каждый перенёс тягости нового пути, и ещё на треть сократилось племя. Но самые сильные, самые стойкие, самые верующие узнали, как сбываются заветные мечтания.

Они увидели травы и злаки, которые можно употреблять в пищу, и с наслаждением отведали их, и уже веселей побежали по оленьим следам, встречая на пути озёра и реки, воды которых оказались обильны и вкусны и приятно отличались от талой воды в ладонях, добытой изо льда и снега. Оценив приятный вкус воды, люди поняли, что с этой минуты они её будут пить всегда. Утолив жажду, они увидели на озёрных и речных берегах зверей и птиц, ещё не знающих страха, а потому ставших лёгкой добычей. Сочное, свежее мясо зверей и птиц показалось чрезвычайно приятным и вкусным, и с этой минуты люди поняли, что они его будут есть всегда.

Немалые и необыкновенные радости обуюли людей — таких они прежде не знали, но при всём при том эти радости были неполными и незаконченными, ибо в каждом поднялось какое-то неизвестное томление, влечение, как телесное, так и душевное. Что за влечение их томит, люди не знали, и потому попросили шамана светлых духов Тётте разъяснить его природу. Хоть и намного мудрее соплеменников был Тётте, но никакого не дал разъяснения: его, как и прочих, будоражило то же томление, томило то же влечение, происхождения которых он не знал. И честно признался: «Не ведаю, чего жаждет тело, не ведаю, чего вожделеет дух, не ведаю, что в утолении жажды и голода скрыты не все радости жизни. Потому довольно наслаждаться вкусной водой и вкусным мясом, а следует пойти дальше по оленьим следам».

Тревожащий зов духа и плоти очень быстро вновь поднял на ноги людей, почувствовавших, что скоро сбудется самое заветное мечтание, и они познают

начало начал земной жизни, проистекающее от любви. Окрепнув телами, люди уже не влеклись по равнине, а стремительно бежали вслед за быстроногими оленями, которые и привели их к заветно-укромным уголкам земли. Такие уголки сама природа охраняет от постороннего взгляда: поляна с зелёными стелющимися травами огородилась со всех сторон зарослями колючего, труднопроходимого кустарника; единственная скрытная и односледная тропка кралась к потаённой звериной обители, где и творились брачные игрища.

Сколь великолепное, столь и ужасное зрелище открылось людям, сокрывшимся в зарослях кустарника. Всякий зверь искал зверя, похожего на себя обличем, но иной звериной сущности. Всякий зверь испускал крики и вопли — душераздирающие, неукротимые, точно рушились своды небесные, точно земля разрешалась огненным извержением. Плачущие так не плачут навзрыдно, стонущие так не стонут надрывно, как стонали и плакали звери. Какое б горе неслось в стоне том, в плаче том, то б и было наглядно, — да и малого горя не мнилось. Иное страдание хватало за оробелую душу: возвышенное-превозвышенное, изумлённое-преизумлённое, от которого надобно не отстраниться, а, напротив, близко-близко к нему прислониться в страстном сердцебиении.

Какая тварь на поляну являлась, та и соединялась с подобной себе тварью. Разъединившись же, после мучений и душераздирающих криков, каждый зверь становился печален. Печален, но просветлён ликом, ибо изведаль начало начал земной жизни, воссоздав для печалей и радостей новую тварь по своему образу и по своему подобию.

Многие радости испытали люди, пришедшие на равнину со снежных вершин хребта Кёмес-Джирбит-Гора, но не испытывали они ещё столь великих страданий, что открылись им на звериных игрищах. И возжелали они сами немедленно пережить и вынести эти страдания, что и сделали, разделясь попарно, человек с человеком, но разной человеческой сущности. Каждая пара уединилась в природном сокрытии, найдя для себя не видные другим поляночки, устелив их мягкой травой и мягкими листиками.

Постигшие брачное таинство, люди быстро свой род укрепили и преумножили. На долгие века утвердились на земле твари человеческие, следовавшие за шаманом светлых духов Тётте со снежной вершины холма Кёмес-Джирбит-Гора на равнину, ибо познали они начало начал земной жизни, проистекающей от любви.

Александр Карпачёв

Падежи нашей жизни

Рассказ

Что такое белка? Белка — это просто хорошо одетая крыса. Хотя в целом зверь весьма симпатичный и не лишённый обаяния. Белки жили на соснах в парке, мы жили недалеко. Короче говоря: мама мыла раму, рама мыла маму, или вот так: шёл дождь и два студента...

Мы вышли погулять. А что ещё делать в воскресенье, когда кругом такая тоска. Телевизор и осень — вот и все развлечения, впрочем, последнее в качестве развлечения весьма сомнительно.

«Пошли в парк», — предложила она. Я согласился: в парк так в парк. Мы давно жили врозь, и теперь можно было кое с чем соглашаться без особых последствий. Ничего плохого нам друг другу не сделать. Правда, хорошего тоже ничего не получится.

Я обхожусь без тебя, ты обходишься без меня. Это не так сложно, это даже очень просто.

Поздняя осень. Скоро откроются двери зимы и хлынет холод и снег. Как там твой новый смотритель, следитель, сторожитель. Глядите в оба, а лучше всего в четьре, а то не уследишь и замёрзнешь. И станешь снегурочкой-дурочкой. Дурочка-дудочка-дырочка. Зиме же надо дуть куда-то, во что-то, в кого-то. На тебе исполняются все мелодии, все предсказания, на тебе исполнялся даже я... не исполнялись лишь мои желания. Ну да будет, что вспоминать... Буду я. Будешь ты. Есть такая надежда. Авось не помрём. Но а если помрём, то нас об этом, надеюсь, известят.

— Где ты брюки покупал?

— Какие?

— Ну, хорошие.

— А разве я покупал хорошие, у меня что, с тобой когда-то деньги были на хорошие!? — завёлся я с пол-оборота.

— Ой, не надо, а, кажется, эту тему мы с тобой сто раз обсуждали... Не стоит возобновлять, зачем нам ссориться. Ты же собирався тогда какие-то покупать, мерил.

— Мерил, приличные брюки, цена запредельная, но покрой: сидели на мне отвратительно, не могу переваривать прямые, узкие в бёдрах брюки. Отнёс назад, не помнишь что ли?

Карпачёв Александр Владимирович, прозаик (род. в 1969 г. в г. Иркутске). Автор книги *Продлённое время* (Иркутск, 2000), публикаций в коллект. сб. Иркутска и Омска, местной и столичной периодике. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

— А эти вот, на тебе.

— Так себе брюки, но терпеть можно... А что это ты брюками заинтересовалась?

— Мой собрался что-нибудь из вещей купить, обновить гардероб.

— Да, конечно, мероприятие ответственнейшее, твой... когда-то твоим был я, о чем весьма сожалею... Так что, как видишь, ничем помочь не могу.

Кем? Чем? Творительный падеж, из которого уже ничего не сотворить. Предпоследний, пятый падеж, дальше только предложный. О ком? О чем? Только и остались разговоры, о ком и о чем. Слова. Люди превращаются в слова. Слова приобретают очертания предметов и людей. Предметы исчезают, действия превращаются в речь, речь течёт, течёт река, тяжёлые облака, готовые в любой момент обрушиться на землю снегом, скользят по небесному океану, разлитому над нашими головами.

Мы уже можем рассказывать друг о друге с приставкой бывший, прошедшее время навсегда поселилось в нас. Мы лишились совместного настоящего, наше время распалось на до и после. Люди, с которыми общались, тоже разделились на твоих и моих. С твоими я не встречаюсь, да и со своими тоже не очень. А зачем, всё это напоминает о тебе, а я хочу вытравить память... только нет такой кислоты.

Наша жизнь просклонялась по всем падежам и застыла в вечном предложном.

А начиналось всё с именительного. Имена были названы, между ними поставлен знак сложения, и даже знак равенства протянул два параллельных обрубка, пытаюсь подцепить практически неуловимое... Не тут-то было. Знак равенства не рыболовный крючок. Любовь — оставим это слово для другого, для других. Пусть плавают в воде чистых, незамутненных отношений, пусть откармливается. Глядишь, превратится в кита, огромного такого, с надписью во весь бок «любовь», чтобы никто не перепутал, чтобы его не загарпунил сумасшедший одноногий капитан. Охота за «Красным Октябрем» — не путайте, пожалуйста, подводную лодку с китом. Моби Дик — слово-призрак, слово-кит, слово-мечта. Он белый, он неуловимый. Участь спинки минтая, которая населяет наши моря, не для него. Большому чувству, пардон, рыбе — большое плавание, большие воды... годятся даже околоплодные, а почему бы и нет.

Иван Родил Девчонку Велел Тащить Пелёнку — воистину, аминь. Помнишь же, как в школе заучивали падежи. Какой следующий? Родительный. Кого? Чего? Пустой падеж, холостой выстрел, в шестизарядном, в шестипадежном барабане револьвера на этом месте не оказалось патрона. Ни девчонки, ни мальчонки — никого. Только мы, с именами, со знанием. Чего? Какими предметами могли одарить этот мир, если одушевлённых существ у нас не получилось? Я люблю предметы и вещи, но ещё больше слова, обозначающие предметы. Увеличить количество предметов в мире нам не удалось, потому что мы не старались. Я не вырастил дерева, не построил дома, даже не сеял хлеба, правда, картошку сажил на даче, и ягоду клубнику тоже. Но это такие мелкие дела, что они вряд ли зачтутся.

Дательный. Кому? Чему? Что мы могли дать друг другу? Уже не имеет смысла выписывать счета, предъявлять векселя к оплате, винить друг друга. Векселя просрочены, вино превратилось в уксус.

На винительном падеже мы и расстались. Кому? Что? Каждому своё. Теперь каждый творит жизнь самостоятельно. Кем? Чем? С собой, конечно. В уксусе мож-

но мариновать грибы, огурцы, да и много другого полезного, всё это будет храниться долго, за зиму уж точно не испортится. Можно попробовать сохранить друг друга... если это кому-нибудь нужно...

Предложный падеж. Падеж для предложения... Хотя бы для предложения руки и сердца. Где рука, где сердце? Сердце, видимо, на руке. Ведь его же надо вынуть и протянуть, ах да, ещё и протереть. Оно должно блестеть и гореть. Вспомни сердце Данко. Да-да, оно горит, оно просто сияет. Сияй, мой сумасшедший бриллиант. У-у-у, я знаю такие бриллианты, в детстве у меня было целых два изумруда размером с кулак. В нашем городе только у меня были такие изумруды. Каким великим богатством обладал я... это были два кристалла медного купороса, которые я вырастил, после того, как прочитал книжку с интригующим названием «Юный химик». В нашем городе были «химики», но далеко не юного возраста. В старом уголовном кодексе имела такая мера наказания, как исправительные работы, их и называли — химией. Это была и отдельная мера наказания, для мелких преступников, а также химия использовалась как более мягкое наказание для хорошо себя ведущих.

Раньше, видать, осуждённые к исправительным работам участвовали в строительстве химических производств, это был своеобразный пережиток ГУЛАГа — вот отсюда и — химик. К тому же само слово — «химик» имеет оттенок «хитрый», «жучара». Не знаю, какими они там были жучарами, но у нас они трудились грузчиками в речном порту. Режим у них был бесконвойный, но после работы они возвращались в спецкомендатуру и проводили ночь в общежитиях за колючей проволокой.

Два кристалла медного купороса на ладони — вот мои изумруды, вот мои бриллианты. Не вороти нос, я их растил полгода. Это всё, что имею, но если тебе нужно было больше, то извини...

Сидим мы на скамейке и строим предложения из слов в предложном падеже. Но какой-то падеж среди слов, будто моровая язва их одолела. Мало, безумно мало их у нас осталось, ещё удивительно, как они уцелели. О чем ещё? О брюках, о снах, о книгах, о чувствах и предчувствиях, но всё это старо, всё это было. Слова как тряпки, как белые флаги над сдавшимся городом, слова как белые повязки на головах раненых, сквозь которые сочится кровь.

Белые киты плывут по небу, скоро начнут ронять своих белых детёнышей-китёнышей на землю. Последние дни октября, его уже не поймать, он прожит, он выпит, как чай индийский без слона. Зачем нам слон, на него чая-то не напасёшься, воды не накипятишься: наши чайники малы, они французские, а самовары русские... стоят в лавках антикварных. Лучше на кухне, вдвоём, можно и водки, мы всё теперь поймём, а если и не поймём, то пытаться друг друга не станем, а встанем и уйдём, потому что есть куда. Мы — есть сосуды. Есть ли у кого вода?

— Ну что, пойдём, мне надо по делам, да и холодно что-то сидеть.

— Ладно, только глянем напоследок на белок.

Летние белки в конце октября. Да-да, они были. Мы увидели трёх. Они скакали по соснам, бегали по земле, устланной жёлтыми листьями.

— Жалко, ничего не взяли: ни семечек, ни орех, — сказала она.

— Пойдём купим, ведь недалеко, — предложил я.

В магазине купили сто грамм кедровых орехов и вернулись. Теперь не со-вестно было протягивать белкам руки, ладони были полны еды. А белки оказа-

лись сытыми. Не одни мы такие кормители. Белки орехи не щелкали, они делали запасы на зиму. Подбегали к нам, брали с ладони, помогая передними лапами, набивали орехами полный рот, отбегали и рассовывали орехи под листья, под ветки, под кору сосен. Они делали запасы на зиму, потому что зимой им тоже нужно было что-то есть. Хорошо белкам, нет у них склероза, чистая ясная голова, они запомнят, где прятали свои орешки, и найдут их даже под снегом. Сто грамм орехов на трёх белок — не так уж и много. Они быстро кончились. Ну что ж, всё когда-нибудь кончается.

Пора и нам делать запасы на зиму. Быть может что-нибудь и сохранится. Всё есть. Всё было. Не зря же это было с нами. Не зря же это есть. Нельзя же это есть. Да почему же нельзя? Гастриты с язвами уже заработаны, хуже не будет. Теперь можно всё... есть.

Когда мы выходили из парка, прилетел дятел, сел на сосну и начал стучать. В осенней прозрачной тишине его стук был слышен отчётливо и ясно. Он стучал очень ритмично, он бы мог работать метрономом в музыкальном классе. Это был ритм вальса — раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, осеннего вальса.

Ночью мне приснился сон: зимний лес, огненно-рыжие белки на снегу и голос откуда-то с неба, произнёсший: белки запасов на зиму не делают, это бесполезно, они никогда не находят своих орехов. И глаза мои наполнились слезами.

Владимир Киреев

Утка

Рассказ

В конце августа засобирались на открытие утиной охоты. Подъехал друг Михаил:

— Что будем делать? Куда поедем? Далеко ехать — только бензин понапрасну спалим. А близко — народу тьма, не протолкнуться будет. А вообще-то, что я говорю. Патроны дорогие стали, жуть. Сегодня в охотсоюз заезжал за путёвкой, так тридцать пять рублей пачка. Это почти пятнадцать булок хлеба.

— Давай поближе рванём, — удалось, наконец, вклиниться мне.

— Конечно! Зачем далеко ехать? В глухих местах людей вроде нет, но и дичи тоже. Летом в такие дебри забирался, глухомань, ни людей, ни рыбы. Всё кончили. Ужас.

— Ха! — расплылся в улыбке подошедший сын Саша. — А кто кончил, дядя Миша? Вы и постарались. Зимой в лесу, летом на речке.

— Шурик, если бы ты знал, сколько я добыл дичи за последний год! Двух уток да рябчика. Ты кур у бабушки своей больше зарубил!

— Это точно, — поглядывая на сарай, криво усмехнулся Саша.

— Поедем на Шерагульский пруд, там рядом и утка должна быть. Стрелять начнут, всё равно летать будет.

— Поехали, — заключил я.

— И я с вами, — не растерялся Саша.

— Да... — задумчиво произнёс Михаил, почёсывая волосатой рукой затылок и глядя куда-то вверх. — Где же водки-то взять?

— А без водки, конечно, никак нельзя? — поддел я.

— Конечно, нет. Открытие всё-таки. Как ты не понимаешь?

Выехали вечером в пятницу.

Не доезжая Шерагула, свернули вправо и по полям добрались до пруда. Все-го-то тридцать километров, пустяк.

«Ниву» поставили на берегу, прямо у воды. Берег пологий, грязный, истоптанный пасущимся невдалеке стадом колхозных коров и обрамлённый основательными зарослями камыша да торчащими из воды корягами. Вокруг коряг кое-где образовались целые плавни, на которых можно запросто соорудить скрадок.

— Неуютное место, — сердито пробормотал я.

— А что нам место? Сейчас костёр разведём, чайку попьем и на плавни по-

Киреев Владимир Васильевич, прозаик, публицист (род. в 1956 г. в пос. Кардон Чебулинского р-на Кемеровской обл.). Автор книг: *Вот и управились к празднику*: повесть, рассказы, очерки (Иркутск, 2006); *Журавли над полем*: повесть, рассказы, очерки (Иркутск, 2011). Докт. технич. наук. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

дадимся. Отсюда до них ближе всего добираться, — выкладывая привезённые из дома дрова, рассуждал Михаил.

— Дядь Миша! Лодку качать? — суетился рядом Саша.

— Качай, Шурик!

— И мою не забудь, — добавил я, разбирая рюкзаки.

— О! Утка! — воскликнул Саша, — смотрите! Вон ещё, а вон там табунчик плавает.

— Непуганая, — деловито рассудил Михаил. — Щас мы её напугаем, полетит.

Саша с остервенением стал накачивать лодку, часто бросая взгляды на водную гладь пруда, где безмятежно плавали утки.

— Сынок, ты сильно не старайся. Охота только завтра с утреницы начнётся, — попытался успокоить я его.

— Да зачем до утра ждать? Дядь Миш, поплыли сейчас, вот они.

— Охотник всегда остаётся охотником. Все ждут утряночку, как положено. А сегодня открытие, не торопись, Шурик.

Разгорелся костёр, стало уютнее.

Подъехал грязный синий «Москвич». Из него вылез бородатый мужик в чёрной застиранной майке, с рыжими патлами вместо волос.

Подойдя, поздоровался, и, внимательно оглядывая нас, наивно спросил:

— А что, сегодня стрелять можно?

— Вообще-то с завтрашней зорьки, — закуривая, сказал Михаил. — Но если совесть позволяет, то потихоньку можно и по вечерёночке. Смотри сам.

— Ладно, — долго не думая, пробормотал патлатый, стрельнул у Михаила сигарету, прыгнул в свой «Москвич» и укатил, поднимая за собой столб пыли.

— Похоже, что местный, — рассудил я.

— Наверное. У них тут круглый год охота, — пошевеливая костёр, отозвался Михаил.

— А зачем тогда спрашивал, можно или нет стрелять? — любопытствовал Саша.

— Боятся, вдруг охотинспекция. На всём берегу только мы да вон, вдалеке, ещё один табор. Посторонних, их сразу видно.

Посидели в честь открытия. Солнце пошло на закат, ярко освещая тёмно-зелёные кроны деревьев.

И вдруг — бах! Выстрел! Потом ещё несколько.

— Что такое? — вскочил Михаил. Глядя на дальний табор, мы увидели подъезжавший к нам «Москвич».

— Во народ! — возмутился Саша. — Разреши им охоту с пятницы, стрелять начнут в четверг.

— Это у нас в генах, никакому режиму не переделать, — попытался объяснить я.

— Да Бог с ними, пусть лупят. Всё равно никого не убьют. К ночи нальются, а утром спать завалятся. С одной стороны, хорошо, не помешают, а с другой, и плохо — гонять утку некому будет, — рассудил изрядно захмелевший Михаил.

— Дядь Миш, это от жадности или от скудоумия?!

— Да нет, Шурик. Это обычная охота на вечернем перелёте, только немного раньше начали.

— Тогда и мы поплыли, — глядя на переливающуюся в лучах заходящего солнца тёмно-синюю гладь пруда, рвался в бой Саша.

— Давай, поплыли. Однако я сейчас не только в утку — в слона не попаду.

— Дядь Миш, и не надо, ты ружье не бери, а то утопишь, не дай Бог.

— Не утоплю, не бойся, пацан!

Раскатав болотные сапоги, они протащили лодку через стену камыша и, энергично работая вёслами, стали удаляться от берега.

И что сидеть одному на берегу? Не долго думая, собрал ружье и, оттолкнув лодку, двинулся в путь.

Днище лодки поползло по жидкому илистому дну. Вёсла, загребая двадцатисантиметровый слой воды, наполовину уходили в ил, цепляясь за невидимые коряги. «Так и без лодки можно остаться», — подумал я, вдобавок ко всем неудобствам ощущая специфический запах ила.

Побарахтавшись немного на мели, вышел на глубину и поплыл к противоположному берегу, возле которого было множество плавней.

Причалив к зарослям, осмотрелся.

Справа, ближе к деревне, пруд затопил некогда зелёный лес, и теперь он так же, как и раньше, стоял стеной, только высохший, издолбленный вездесущими дятлами. Сгнившие сучья упали в воду, тем самым преградив дорогу лодочникам.

По другую сторону расстилась необозримая водная гладь со множеством плавней, да на противоположной стороне работала колхозная дойка, недалеко от которой и расположился лагерь наших соседей.

На воде плавало с десяток уток.

Наблюдая за ними, можно было подумать, что они не видят охотников и беззаботно ныряют в поисках пищи. Но это только кажется. Утка ведёт себя спокойно на приличном расстоянии от охотника. Но стоит немного приблизиться к ней, как она сразу же поднимается на крыло...

Где-то вдали, за камышами, слышались громкие голоса Саши и Михаила. До меня долетали обрывки фраз.

— Сидят в одной лодке и так громко разговаривают, — недовольно пробормотал я.

На воде всегда далеко разносится шум, выстрел или голос.

Над головой просвистели крыльями три чирка. Эти носятся как реактивные, не то что попасть, а и посмотреть на них не успеешь, как уже пролетели. В тишине подступающего вечера от соседнего табора донеслось ещё несколько выстрелов.

Вместе с темнотой опускалась прохлада. Проводив раскалённое солнце за горизонт, потихоньку двинулся в обратный путь. Вышел на берег, подбросил дров в костёр, снял сапоги и забрался в мягкие, лёгкие кроссовки.

Громко о чем-то беседуя, подгребли охотнички. Немного посидев у костра, я лёг в машине на расстеленный спальник, подложив под голову болотные сапоги.

Начинал накрапывать дождик. Вокруг тихие ночные звуки: вскрикнет птица в лесу, зашуршит ондатра в камышах, всплеснёт карась.

Отблески костра слабым светом гуляли по салону автомобиля.

Саша с Михаилом спать не торопились. Изредка пошевеливая костёр, о чем-то разговаривали. О чём могут говорить мужики возле костра? Правильно! Так или иначе, разговор будет об охоте.

Михаил — настоящий охотник, потому что охота в его списке жизненных ценностей занимает одно из первых мест. С детства он проводил всё свободное время на рыбалке, а когда подрос, увлёкся охотой. Мужик он сухощавый, жилистый, небольшого роста, с добрыми, мечтательными карими глазами. В отношениях к людям его отличали скромность и порядочность. Мы познакомились много лет назад и иногда, если есть время и желание, выезжаем вместе в лес.

Уже сквозь сон я чувствовал, как меня теснили, укладываясь спать, наболтавшиеся вволю охотники.

Рассвет встретил прохладой и туманом. В белой дымке, изредка посвистывая крыльями, носились чирки.

Приближаясь к плавням, я увидел совсем недалеко от себя двух уток. Подождал немного. Туман начал подниматься. Заголубело небо, в ярких лучах восходящего солнца засверкала вода.

— А, была не была, — решил я и стал потихоньку подгрести к уткам. — Заодно и согреюсь.

Те не торопились отплывать, и я поднажал на весла.

Как мне показалось, они подпустили меня на расстояние выстрела. Вскинул ружье. Выстрелил два раза.

Но, увы, на воде расстояние обманчиво. Началась погоня. Я грёб изо всех сил. Ты глянь, что делается! Почему они гребут от меня, а не взлетают? Может, молодые? Не похоже...

Азарт захватывал. Выстрелил ещё несколько раз. Впустую.

Стало жарко. Где-то в стороне слышу разговор Саши и Михаила. Не до них.

Уткам, видимо, надоело убегать от меня, и они резко пошли в сторону, освобождая проход. Это мне и надо было. Повернул на них, резко сократил расстояние. Бац! — одна сразу завалилась. Вторая нырнула. Жду, когда всплывёт.

Мгновенно ловлю её на мушку — бац! Но, кажется, в тот момент, когда палец нажал на спусковой крючок, а дробь ещё не вылетела из ствола, утка ныряет, и весь заряд хлещет по воде рядом с ней, в лучшем случае расчёсывая её. И так несколько раз подряд. Карманы мои опустели, и я махнул на неё рукой. Подплывая к добытой утке, я увидел, как от неё удаляются две тонкие маленькие шейки. Утят? Боже мой, да как же так? Точно. Утят.

Теперь мне стало ясно, почему утки не улетали. Они не могли бросить своих детей.

Мне стало не по себе.

Бросил дичь в лодку. Это была самка крохали. Утят, разбежавшиеся в разные стороны, соединились и испуганно глядели в мою сторону. Услышав крик второй утки, за которой ещё недавно я так азартно гонялся, они запищали и поплыли к ней.

Зло плюнув в воду и обругав себя последними словами, направил лодку к табору. Было слышно, как кто-то на становище у соседей ругался матерной бранью на своих товарищей за то, что проспали утреннюю зорьку. Другой требовал похмелиться. Третий просил не мешать спать.

— Да, прав был Михаил, — заметил я.

По нашему табору всю гуляли коровы. К сожалению, я подъехал слишком поздно. Они сожрали всё, что было на столе, даже газет не оставили. Увидев меня, выпучили удивлённые глаза. Потом соизволили отойти в сторону, оставив после себя несколько дымящихся лепёшек.

Сбросил сапоги, разжёл костёр.

Утка лежала в траве недалеко от лодки, выделяясь на фоне общей зелени белым брюхом. Вдруг из-за камышей выплыла утка-крохаль с двумя утятами. Крякая, они настороженно смотрели на меня.

Я встал. Было понятно: они спрашивали, где их мать. Крик утки стал резче, требовательнее. У меня сжалось сердце. Я смотрел то на это белое брюхо, то на утят. Схватил ружье, заорал и выстрелил в воздух. Утки скрылись за ка-

мышами. Так-то лучше будет. Мне захотелось закурить. Вскоре приплыли Саша с Михаилом.

— Ну, дядя Миша — матёрый охотник, ни в одну утку не попал, — весело заявил Саша.

— А ты? — спросил я.

— Я тоже.

Саше исполнилось четырнадцать, и я дал ему свою старенькую двустволку-курковку шестнадцатого калибра. Пусть привыкает, может, понравится, — решил я тогда.

О случае с утками рассказывать не стал. Только спросил Михаила:

— Нынешняя утка не летает ещё?

— Я тоже заметил это. Весна холодная была. Яйца поздно вывели. Да и охоту рано открыли, надо было ещё недельку обождать. Не летает утка. Первый раз такие обстоятельства. — Увидев, что коровы всё смели, Михаил вскинулся:

— Ну, паразиты, ну, добрались! Да чтоб их!.. — шумно вздохнув, добавил: — Домой надо ехать, кушать хочется.

Собрались быстро.

Я бросил Михаилу утку в рюкзак. Он удивился:

— Это же не моя добыча. Ты добыл — ты и ешь. Закон такой: не будешь есть — не стреляй. Вот и всё.

— Понятно, — коротко отрубил я и захлопнул дверцу багажника.

Внимательно взглянув на меня и, очевидно, заметив мою излишнюю суетливость и неловкость, Михаил спросил:

— Ты че, заболел?

В ответ я пробурчал что-то невнятное, стараясь не показывать лицо, красное от нервного напряжения. Воцарившаяся после этого тишина прервалась шумом заработавшего мотора...

Весь день прошёл в каком-то полусне — сказались бессонная ночь и ранняя охота. Расположившись в гараже, я долго и тщательно, в одиночестве, с каким-то остервенением чистил ружье. Подошла жена.

— Куда её? Что с ней делать? — спросила она, показывая синюю общипанную дичь.

— Да убери ты её куда-нибудь! — отпрянув, крикнул я.

— Шляетесь по охотам да рыбалкам, только время проводите. Да потом ещё и орёте. Лучше бы дома работой занялся. Вон забор скоро завалится, а тебе и дела нет. Притащил синюю дохлятину, теперь думай, что с ней делать.

— Собаке отдай, если не знаешь...

Издали я наблюдал, как мощный сенбернар брезгливо обнюхал дичь и, отвернувшись, побрёл в будку.

— Вот те раз, и собака не жрёт, — послышался раздражённый голос.

Я заглянул в ярко блестящие, с масляным отливом стволы и с ужасающей неотвратимостью вдруг ощутил, как слёзы подступили к глазам. В этот момент я не испытывал ни радости, ни счастья от охоты, а только отвращение от случившегося.

Город сурка

Фрагменты из пьесы

1. ЕЛЕНА ИВАНОВНА, АНДРЕЙ, потом НАСТЯ.

АНДРЕЙ. Да дома она.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Нету. Тютю. Сам виноват, что её дома нет.

АНДРЕЙ. Да, я во всём виноват, виноватым был, и умру, и мне даже этого не простят. Настя, покажись!

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Кобели! Что ты там на ваших танцульках устроил? Подрался?

АНДРЕЙ. Никакой драки! Всё было в рамках идеологии.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Ой, не заливай.

АНДРЕЙ. Во! Зуб ставлю, Елена Ивановна. Никакой физики, одна пустая болтовня.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Смех и горе с вами. Настюха пришла, начала звонить Роману, жаловаться. Тот, видимо, за тебя. Настя упала на диван и ревёт. Тут на тебе: ты как петух гоголем явился. Что вас мир не берет? Ты же мужик, в конце концов!

АНДРЕЙ. Я мужик, а ей нужен джентльмен. Влияние Запада.

НАСТЯ (*выходит*). Какой Запад? погоди, тётя! Ты сам хиппуешь, зэк несчастный!

АНДРЕЙ. О, объявилась. Так, выясним для ясности. Кто я — зэк или хиппи? Хиппую я или блатую?

НАСТЯ. Да один черт, понял?!

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Не-а, Настюха, вот тут ты промазала.

НАСТЯ. Тётя, ты за кого?!

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. За белых или за красных?

НАСТЯ. Родная тётка! Народная артистка, а выгораживаешь шпану.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Стоп, милая. Твои мама и папа приехали сюда по комсомольской путёвке? Нет, девочка, их просто красиво сослали сюда, они даже при этом пели. Мы все шпана.

НАСТЯ. А чё он, дурак? Ко мне в гости приехал из Иркутска талантливый, воспитанный мальчик, будущий Смоктуновский. Талант! А этот вот взял и шуганул его, да так, что тот уехал, даже не попрощавшись. Ты гад! Ты его напугал!

Князев Юрий Владимирович, драматург (род. в 1954 г. в г. Слюдянке). Автор книги *Пьесы* (Иркутск, 2001); пьесы опубликованы также в альманахах *Современная драматургия* (Москва), *Зелёная лампа* (Иркутск); некоторые поставлены в Ангарске, Иркутске, Омске, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Значит, не быть ему Смоктуновским. Смоктуновский нашёл бы с Андреем общий язык.

НАСТЯ. Всё равно! Всё равно ты дурак! Анархист!

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Господи, как ты его только не обозвала!

АНДРЕЙ. Я такого слова-то не слышал. Зато я твоего Толстого прочитал. Ну, дед! Ну такой нудный, сил нет.

НАСТЯ. Толстого он, надо же, прочитал. В школе нужно было учиться, а не срываться с уроков. Расширять кругозор: кроме твоего самбо, есть ещё много всякого интересного.

АНДРЕЙ. Начала. Прочитал я твоего Распутина, о Настёне, но закавыка вышла. У моей матери старший брат во время войны, когда их полк везли с Дальнего Востока на запад, решил к матери сбежать в Слюдянке. Там паровозы меняют. А дом матери рядом с вокзалом. Пока пирожки ел, эшелон свалил. И пришлось ему потом в кедровнике, на Комаре, полгода сидеть, пока бабка его не прогнала на войну. Мамка эту историю рассказала своими словами, и история получилась совсем другая.

НАСТЯ. Да что б ты понимал!

АНДРЕЙ. Вот тут, Настя, я как раз и начал понимать.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Андрюша, ради Бога, не порть моё представление о тебе.

АНДРЕЙ. Елена Ивановна, мне по большому счету наплевать, что думают обо мне. Нужно, чтобы я сам себя уважал.

НАСТЯ. Ну скажи, скажи, что ты начал понимать? Ну? Слабо?!

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Настя, не заводись.

НАСТЯ. А пусть он не заводит меня!

АНДРЕЙ. Андрей Александрович так понимает: я дурак. А умные люди говорят: живи как все, живи для народа. А шиш этот народ не хочет? Я люблю тебя, и хочу тебя только для себя, и никакому народу я тебя не отдам! Пускай народ забирает заводы, фабрики, но тебя я не отдам. Поэтому есть два варианта. Первый: ты выходишь за меня замуж. Второй: я пишу заявление, чтобы меня сняли с брони, и уйду в армию. Если ты не выйдешь за меня, а я буду на гражданке, я всех твоих кавалеров изуродую. Выбирай.

НАСТЯ. Ты так, значит?! Так? Тогда нет!

АНДРЕЙ. Да — да, нет — нет, остальное от лукавого. До свиданья. (*Уходит.*)

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Вот дура-то!

НАСТЯ. Кто? Я?

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Что, завоеешь сейчас? Завоеешь. Я бы тоже, Настюха, не знаю, как бы поступила.

НАСТЯ. А он уйдёт, я знаю! Он же дурак на всю голову! Уйдёт!

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Ну и правильно, туда ему и дорога. Ты же замуж за него не пойдёшь? Не пойдёшь. Тогда ему дорога или в армию или в тюрьму. Как ты думаешь?

НАСТЯ. Не знаю я, тётя Лена. Замуж за него точно не пойду! Не нравится он мне.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Ты всё ещё как девочка — «нравится — не нравится». Мороженое он, что ли? Видала я тех, кто тебе нравится. С ними хорошо в гости ходить, в театр, а по жизни — нет. Эти так — ни украсть, ни покарать. Маргарин. Знаю я этих интеллигентов из обжорки, при людях кой-куда без мыла залезут, а дома на досуге могут и в КГБ написать. Ой, блин, что-то сердце защемило. Ладно, Настя, всё путём. А на этого босяка плюнь. Есть мужики воины, а есть

так себе, фуфло. Вот этот твой, он с характером, ты с ним не совладаешь, забудь. Была бы я помоложе, но с нынешним умом, я бы его никому не отдала. Но судьба у бабы такая — вначале передком думает, а после головой.

НАСТЯ. Господи, тётя Лена?

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. А что я такого сказала? Тебе мать такого никогда не скажет. Хорошая у тебя тётка, Настя, ей уже всё до фени, она уже народная. Театр кастрировали давно, так хоть в жизни не дать себя изуродовать. Это раньше я строила из себя хрен знает кого. Надоело притворяться. Ради чего? Ради того, чтобы имя понравиться? Да пошли они все! Закрой уши. Господи, как мне играть хочется. Играть живую, всё понимающую, нежную. Надоели мне эти «задачи», «сверхзадачи», «идеи», ну их! Ересь одна. Эти режиссёры пьесу разобрать не могут, она им нужна, чтобы свою доморощенную «идею» воплотить. Одному одно нужно, другому второе. Одному душу дай, другому форму преподнеси. А что я вам должна, разорваться? Если ты гений — возьми холст, бумагу, напиши, в конце концов, а что ты мной-то пользуешься? То у тебя сёстры чеховские — лесбиянки, то дядя Ваня — алкаш. Чего изволите? — лишь бы хлопали. Антон Павлович был умный мужик: жизнь не нами придумана, сами напридумаем, запутаемся, и дай нам Бог силы выпутаться из того, чем сами себя морочим.

2. НАСТЯ, МАКСИМ.

МАКСИМ. Я так долго настраивался. Бродил вокруг да около, по-моему, всех бичей местных перепугал. Ну не могу я, Настя, взять и так запросто зайти в Союз писателей. Кто я такой? Ну, короче, взял волю, смешал её с силой и пошёл.

НАСТЯ. Когда я раньше ездила в театральное училище на трамвае, то едешь по Степана Разина, а справа купеческий особняк, на стене вывеска: «Союз писателей». Я к окну прилипну и смотрю, может, кто из известных войдёт или выйдет.

МАКСИМ. Погоди. Короче, я вхожу. Широкая мраморная лестница, а на втором этаже огромное зеркало во всю стену. И в этом зеркале я, маленький, испуганный. Я вздохнул, лицо сделал серьёзным, открываю дверь, и прямо передо мной стол, на столе пишущая машинка, женщина сидит и любезно спрашивает: к кому я пришёл? У меня вся робость прошла. Всё по-человечески, просто. Я так хорошо себя почувствовал, что даже стал замечать мелочи. Запахи начал различать. Пахнет, как в избе.

НАСТЯ. Щами и портянками, что ли?

МАКСИМ. Что ты придираешься... Ещё заметил на столе большую чайную кружку, по верху золотой ободок и следы губной помады. Такие учреждения я представлял, когда читал Зощенко и Булгакова.

НАСТЯ. Ты мыслишь, представляешь, запахи чуешь? Удивительно! И что дальше? Появляется Бегемот, облизывающий ложку с икрой?

МАКСИМ. Какой ещё к чёрту бегемот. Вышел, как будто нечаянно, Ростик. Сам. Огромный.

НАСТЯ. Вальжный, подвыпивший, весь в думах о русской поэзии. Этот образ мне знаком. Дальше.

МАКСИМ. Повёл меня в соседнюю комнату. Большой зал, с огромным круглым столом, как в ООН. Он сидит, я стою... Да, при чём тут бегемот?

НАСТЯ. Бегемот? Господи, да это компания: Азazelло, Коровьев, Бегемот, Воланд.

МАКСИМ. Тьфу, достала меня. Ну, Ростик начал мне говорить, что я талант,

что тонко подмечаю детали. Поняла, с кем живёшь?! А потом он вдруг говорит: «Но самое главное, Максим, — я не вижу твоей позиции». Я чуть не упал... на стул.

НАСТЯ. Понятно, захотелось окопаться.

МАКСИМ. Окопался. Сел — и не знаю, что сказать. Одно только в голове: «позиция». Если бы я знал, что к чему, а то сижу как идиот.

НАСТЯ. Он тебя спросил — за красных ты или за белых?

МАКСИМ. Поймал меня, как пацана. Хотя, кажется, я произвёл на него впечатление.

НАСТЯ. А он рассказы твои хотя бы читал?

МАКС. Я думаю, читал. Он говорил о молодой прозе... о внимании к слову... ещё о недостаточном внимании молодых авторов к сюжету.

НАСТЯ. Ясно. Обо всём этом я бы тебе рассказала и сама.

МАКСИМ. Что ты доскреблась?

НАСТЯ. Ты заметил — когда не знаешь, о чём говорить, — говоришь, что жизнь дрянь, а люди хорошие. Что губят природу, спаивают нацию...

МАКСИМ. Ну и что?

НАСТЯ. Вот об этом вы и поговорили. Сплошной Булгаков.

МАКСИМ. Тебе одна чертовщина мерещится. Один театр.

НАСТЯ. И плохой театр.

МАКСИМ. Я же сказал: напишу я тебе пьесу.

НАСТЯ. Пиши.

МАКСИМ. Она у меня выходит какая-то легковесная... нужно определиться... с позицией.

НАСТЯ. Напихаешь в неё всякую ересь. Пока ты определяешь позицию, я её уже отослала тётке.

МАКСИМ. Чего?! Как? Что ты за меня всё решаешь?!

НАСТЯ. Не нужно думать, нужно писать. Максик, улыбнись. Во! Огонёк мелькнул, кажется, мне нужно делать ноги.

3. В театре. На сцене ЕЛЕНА ИВАНОВНА. В зале МОИСЕЙ и МАКСИМ.

МОИСЕЙ (из зала.) Елена Ивановна, это не нужно играть. Это нужно сказать людям так, как вы умеете. Не нужны нам иллюзии, мы сыты ими по горло! Надо правду. Просто сказать то, что есть, и всё. Ну, поехали. Тишина!

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Только, ты должен моего Валерку знать. Часть стояла на стройке, помнишь? Мы со своим домик засыпной снимали, рядом с полком. Да помнишь ты его! Худой такой, ехидный. Какой у него язык был, прямо язва. Не дай Бог ему на язычок попасть... Из армии, да и тебя Хрущ же демобилизовал... Валерка тогда на бульдозериста выучился. А был такой страшный коммуняка. Позвала его партия на стройку — уехал. Один. И я одна осталась. Родня моя затыкала тем, что Валерка, мол, бросил меня. Разругались с имя в пух и в прах! А кушать хочца, а денег этот коммунист долбаный не шлёт. Хорошо хозяева, у которых я на квартире жила, людьми оказались. Кормили меня как родную, беременная же я была. Ну, время пришло, родила Игорька. А ни распашонок, ни пелёнок, ну ничего нет. Вот я Валеркины байковые портянки состирну и в их пацана пеленала. А он как наложит! А байка ворсистая, и какашки как прилипнут, не отдерёшь! А в холодной воде постирай-ка их! Хоть плачь. А папашка ни писем, ни денег не шлёт, как в воду канул. Тут Абдурахман откуда-то нарисовался. А я уже слюду на фабрике щипала. Там и познакомились. С пацаном хозяйка

сидела, а у ей у самой забот невпроворот. Дом, скотина, да ещё я ей своего скинула, царство ей небесное, никогда тётю Таньку не забуду. Вы наливайте, мужики, меня же не переслушаешь. О, кажись, закипело. А, да, Абдурахман появился. Мужик красивый — джигит! А как ухаживал! Если я от Валерки доброго слова не слышала, то с Абдурахманом почувствовала себя первой девкой на деревне. Костя, картошку начисти. Всё при делах будешь. Абдурахман шоферил, ага. Он на своём самосвале гонял, как на скакуне.

Короче, плюнула я на всех и попёрлась с этим джигитом к нему в Дагестан. Ага, приехали мы, как говорится, нас не ждали, а мы припирайся. Жить негде, у его матери мы жить не стали. Нет, это Абдурахман сам решил. Что-что, а мужиком он был всегда. Отец у него умер, и всем их кланом командовала мать. Старуха, я вам скажу, гордая, надменная. Вся уже скрюченная была, как саксаул, на одном характере держалась. Вот наша тётя Танька, царство ей небесное, неприметная, но она везде: и скотину в стадо выгонит рано утром, и подоит и накормит всех, и завтрак приготовит. Она везде. А эта наоборот, сидит, а все вокруг летают.

Сняли мы с Абдурахманом хибару и решили его родственников пригласить к себе. Ну, я тут расстаралась. Пирогов напекла, перцы нафаршировала, стол прямо-таки ломится. Родственники поели, попили, тут солнце начало садиться, и они должны ихний молебен, намаз у них называется, совершить. Помню всё, как вчера это было, куда это всё умещается? Его сестра, перед тем как уходить, меня спросила, как я готовлю такие вкусные перцы. И я, дура, по доброте своей давай ей рассказывать. Да я, если честно, и не знала: думала, что Бог для всех один. Ну и говорю ей: немного говядины прокрутила, а чтоб фарш помягче был, свининки туда добавила. Она ушла. Ей, наверно, столько же лет было, как и мне; ну, может, чуть постарше. Но, видать, такая же дура была, как и я. Она своей матери возьми и расскажи о моем рецепте. Сейчас я бы, конечно, не рассказала про свинину. Да хрен их поймёшь! Абдурахман, пока у нас в Сибири жили, не одну свинью, басурман, съел. А тут, видите ли, ему этого нельзя. Прокляли они меня. Абдурахман приходит домой и, не говоря ни слова, как поддаст! Дрались мы с ним и раньше, но мирились потом зато сладко. А тут, собака, молчком, без слов, без мата, как скотину провинившуюся. Во — шрам. Это его, нехрестя, метка. Отметелил молчком, молчком спать завалился и так молчком утром на работу ушёл. Он на работу, а я пацана под мышку и на поезд. Но поехала не домой: стыдно было. Всю ночь думала: куда податься? Вспомнила, что рядом в Краснодарском крае жила моя подруга. Она наша была, деповская. И солдатика подцепила, тоже, кстати, из вашей части. Как обычно: потаскалась, потаскалась и на тебе: забеременела. Но, правда, всё у ней получилось удачно. Солдатик этот мужиком оказался, женился и увёз к себе в станицу. Ну, Галька, та ох! — В станице её все звали сибирской казачкой. Ой, шороху она там давала! Вот к ней я и поехала. Сейчас мы заправочку с мучкой сделаем. Мы сюды пришли не есть, заработать-приодеться. Борщ, кстати, на Кубани научилась варить: дома щи да щи. Галька мне сосватала одного казака. Мамченко фамилия. Каким он казаком оказался, это дело десятое, но вот дом, а главное сад! Какой, мужики, у него сад был! Слива, персики, абрикосы... Но запущенный донельзя. Жалко! А во дворе возле дома росла яблоня, огромная, красивая. Яблоки поспевали в ноябре. Под этой яблоней мы ели, пили, свиней разделявали. Да! Дом, правда, говённый был. Ну, они там все такие. Саман. Немного глины, немного навоза, немного соломы — и строй. Нет, главное сад! Сад был настоящий. Чего жалко мне сейчас даже, это сад. Дура была. По первости даже плакала, скучала. Как я в том саду ухайдакивалась в первое время, пока не привела всё в божеский вид! А прожила я там года

три. И только из-за сада. Игорёк там в школу пошёл. Ему раздолье было. Сад здоровый! Нашёл Игорёк как-то в сарае маленький топорик и решил, как у нас в Сибири: везде лес, а лес рубить надо. И начал рубить. А дерево оказалось персиком. Хорошо только подрубил маленько. Я рану варом замазала, прижилось потом. Всё нормально, только мозоль появилась вот такая. Ой, сколько фруктов собирали. Урюк мешками лежал в сарае. А яблоки! Я всю родню посылками засыпала тогда. Вино делали. Не жизнь, а малина. А Мамченко, он и раньше поддавал, а тут начал ну каждый божий день. Потом, гляжу, и урюк начал мешками пропадать, а он, оказывается, в потребсоюз таскал и сдавал на деньги. Всё что попадётся: урюк, яйца, сало. Нажирался до свинячьего визга. Но, правда, в одном он был хорош. Да не лыбься ты, сарлык! Безобиден был. Где упал, там и спит. А раз гляжу, идёт, мягко сказать, короче, пьяный вдрызг. Ни тяти ни мамы. Я за ним потихонечку. Остановился он у калитки, уставился на неё, как баран на новые ворота, а открыть сил нет, заложку повернуть ума нет. Пропил. Стоит еле-еле. А я сзади подошла, гляжу, а у его из гачи течёт. Представляете?! Ой, Господи, думаю, с кем я в одну койку ложусь, и что, мне с ним всю жизнь жить?! Жить и презирать? Да я что, свою жизнь на помойке нашла, что ли? Нет, думаю! На хрен баня, на хрен дом! Мамченко, когда я сказала, что уезжаю, на коленях ползал, умолял остаться. Если бы я была хитровкой, я бы из его веники вязала! Но не захотела я себя такой делать. Я по уму жить хотела, по-человечески. Ты прёшь, то и он должен впрягаться. А он впрягся, то и ты помогай. А как ещё-то? Ну не получилось ещё раз! Прощай сад, прощай Кубань! Зачем тебе, Хрущёв, вишнёвый сад, в нём кукуруза не растёт, езжай-ка лучше на Кубань, там хлеб гниёт. О что вспомнила!

МОИСЕЙ. Замечательно, Елена Ивановна. Но... мало мне крови, мало. Про что писать, ясно. Про что ставить спектакль, ясно. Но дело не в том, «что», а — «как»? Как написать и как поставить. Пьеса, старик, дрянь.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Не слушай его, Максим. Пиши.

МОИСЕЙ. Ты пиши, пиши, а потом поймёшь.

МАКСИМ. Что писать, если я не понимаю, что писать. Ничего не понимаю!

МОИСЕЙ. Ну, ты пишешь, как в жизни, а в жизни не бывает как в жизни.

Понимаешь?

МАКСИМ. Нет.

МОИСЕЙ. То, что ты написал, это макулатура, но что-то есть. А это уже что-то значит.

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Не морочь парню голову.

МОИСЕЙ. Елена Ивановна, ну что в этой бабе интересного? Ничего. Лирика. А мне крови нужно!

ЕЛЕНА ИВАНОВНА. Какой тебе ещё крови?! Баба всю жизнь путёвого мужика искала, а где они? Кровь их возбуждает, что ли? Повоевать, погарцевать, понтонуться, извини за выражение. Ты-то сам тоже героем хочешь быть! А ты не геройствуй, и убери с лица выражение непризнанного гения.

МОИСЕЙ. Дано: А, В, С. И всё, и больше никакой информации. А остальное где? Устал...

4. Театральное кафе. За столиком МАКСИМ.

НАСТЯ (*Подходит к столику*). Здравствуй, Максим.

МАКСИМ. Ой. Извини. Я что-то задумался...

НАСТЯ. Не надо, Максим. Я за тобой наблюдала. Изменился.

МАКСИМ. И в какую же сторону?

НАСТЯ. Не в лучшую. Всё ещё играешь в гоп-стоп? Поймать меня хочешь?

МАКСИМ. Нет. Я просто не знаю, как себя вести. Это всё старое. Что-нибудь заказать?

НАСТЯ. Не надо. У меня через час спектакль. Что ты хотел?

МАКСИМ. Черт-те что, я ожидал всё что угодно, но не этого вопроса. У меня всё есть.

НАСТЯ. Кроме развода? Я отправила с Андреем своё согласие на развод.

МАКСИМ. Я на твоё согласие чихал! Но непонятки какие-то.

НАСТЯ. Это мелодрама?

МАКСИМ. Нет, это не сантименты, это реальность. Я реальный мужик. Если бы мне надо было твоё согласие, я бы не полетел через всю Сибирь за этим. Я хотел, понимаешь... Мы развелись. Это факт! По факту и де-юре, но мне непонятно. Какое-то недоразумение это всё.

НАСТЯ. Говори открытым текстом. То, что я поняла, это «де-юре» и «де факто», и то, что это термины милицейские.

МАКСИМ. Я хотел сказать то, что сказал.

НАСТЯ. Ну, тогда то, что я поняла, я поняла. Но в принципе мне всё равно. У меня к тебе, как к бывшему мужу, нет претензий. А сейчас, через столько лет, я даже не представляю, кто ты есть, поэтому и отношения к тебе нет. Ты мне... безразличен. Остались только воспоминания о тех двух годах. И в них ты был... не Проспер Мериме. Твой приезд — это что? Ты хочешь, чтобы я о тебе ещё думала?

МАКСИМ. Ну что ты. Много чести.

НАСТЯ. Передумала, было время.

МАКСИМ. Но ведь мы вместе жили

НАСТЯ. Прошло.

МАКСИМ. Что же — поимели друг друга, и разбежались?

НАСТЯ. Точно. Ты правильно угадал: глагол для неодушевлённых предметов. Между людьми пользуются другими словами.

МАКСИМ. Что ты зацепилась за слово?

НАСТЯ. Извини, забыла, что ты у нас мастер слова. Только ты слова, как гвозди молотком, забиваешь. Ладно, забудь. Не напрягайся. Хотя... Ты что-то придумал и хочешь сделать. Когда получается, ловишь кайф. А если нет, начинаешь психовать.

МАКСИМ. А как по-другому?

НАСТЯ. Но то, что ты делаешь, ты делаешь не один, согласишься. По крайней мере, вдвоём. И с помощью людей. А они для тебя, как и слова, кстати, — просто инструмент. Они для тебя ценности не имеют.

МАКСИМ. Да пошла бы ты!

НАСТЯ. А я потому и ушла. Потому что кроме половых и деловых связей никаких других ты не терпишь. А без любви, как ты сам говорил, — это понт. Извини, сам напросился. Не думай, что я на тебя злюсь, ты не так плох. Всё равно я знаю — впустую. Но... материал жалко. Такой, наверное, сперматозоид был! Активный, умненький, к жизни стремился. Жалко...

Пауза.

МАКСИМ. Интересно: когда приезжаю в другой город, я чувствую себя лучше. Свободнее.

НАСТЯ. Когда ты уезжаешь из своего города.

МАКСИМ. Разве это не одно и то же? Я по-другому себя ощущаю. Здесь, если не считать, что я владелец ресторана, двух супермаркетов, автосервиса, — вспоминаю, что я ещё и драматург.

НАСТЯ. Я пошла. Мне пора готовиться. Кстати, тётка любила роль Валентины из твоей пьесы. Живая, говорит. И ещё сказала, что пьесы иногда бывают умнее автора. До свиданья.

МАКСИМ. Поймай! Я хотел сказать...

НАСТЯ. Не нужно. Ты просто сам говорил — не в том городе. Не в том состоянии. Не то место, не то время. Приедешь домой — там все свои и всё встанет на свои места. (*Уходит.*)

5. Квартира. АНДРЕЙ, потом входит НАСТЯ.

АНДРЕЙ. Ну, что Анастасия, давай, что ли, поцелуемся?

НАСТЯ. Да от тебя прёт, как из бочки!

АНДРЕЙ. Вот так вот! Нельзя меня оставлять без присмотра. Во! Момент какой хороший. Давай! Я так мечтал тебя увидеть, а ты, как всегда, взяла и плюнула в душу. Только с чувством. Может, я покраснею и повешусь.

НАСТЯ. Я сейчас разревусь от этого зрелища. Ради этого стоило посетить твою келью.

АНДРЕЙ. Да, я никто, надо мной каждый может посмеяться. Да, мы все вышли из шинели.

НАСТЯ. Кончай придуриваться. Ты вышел из шинели, но не из той. Давай ставь чайник, я как приличный человек пришла к тебе с тортом.

АНДРЕЙ. С песочным?

НАСТЯ. С бисквитом.

АНДРЕЙ. Тогда базара нет. Сейчас устроим чаепитие. Ты с ночёвкой? Я, кстати, видел ваши афиши. Сейчас. (*Уходит, приносит афишу*). Распишись.

НАСТЯ. Ну, ты точно охотник. Я тебе привезла пять штук! Чистые, новые.

АНДРЕЙ. Что б ты понимала, заслуженная артистка. Не понять тебе сердце, страдающее от безответной любви. Может, выпьем?

НАСТЯ. Тебе мало?

АНДРЕЙ. Нормально. У меня есть для такого случая бутылочка. Угадай, какое вино?

НАСТЯ. Токай.

АНДРЕЙ. Точно.

НАСТЯ. Андрюша, по-моему, медведей ты лучше понимаешь, чем женщин. Для нас важны символы, особенно когда они рождаются сами по себе.

АНДРЕЙ. Я помню, ты кормила меня салатом, в котором были грецкие, по-моему, орехи, мы так мирно пили вино, а потом... потом, помню, ты прошептала мне в ухо, что порвёшь любую другую, которая коснётся меня.

НАСТЯ. Я и сейчас могу порвать, да статус заслуженной артистки не позволяет.

Звонок в дверь.

НАСТЯ. Чёрт с ним, со статусом! Если что, придётся рвать.

АНДРЕЙ. Это будет интересно. (*Открыл дверь, входит СВЕТА*). Оп-ля!

СВЕТА. Не ожидали? Здравствуйте, дядя Андрей.

АНДРЕЙ. Я же тебе говорил — какой я тебе дядя, если ты жена, то есть была женой моего одноклассника.

СВЕТА. Я была не женой, я была тендером.

АНДРЕЙ. Тендером так тендером. Светочка, я всё равно не пойму. Я не в теме.

СВЕТА. Да нет, вы, дядя Андрей, как раз в теме. Тендер в переводе с английского есть обслуживание. Я была тендером Максима.

АНДРЕЙ. Настя, поговори с девушкой. Я не могу с молодёжью говорить. Вы были мужем и женой, вы любили друг друга.

СВЕТА. Любовь называется любовью, а если её нет, тогда это тендер.

АНДРЕЙ. Где ты нахваталась всего этого?

СВЕТА. Кроссворды, дядя Андрей. Смешно?

АНДРЕЙ. Кроссворды, говоришь? Начинаю соображать. Вопросы — это хорошо.

СВЕТА. Вопросы смешные, но когда ищешь ответ, не до смеха. Вот такая фенечка получается.

АНДРЕЙ. Значит, функционируешь. Это хорошо.

СВЕТА. Чего хорошего? Попался мне вопрос про любовь. Ищу ответ. В словаре нахожу определение: «Любовь — интимное и глубокое чувство, устремлённое на другую личность, человеческую общность или идею. В мифологии и поэзии — космическая сила, подобная силе тяготения». А это для меня всё равно, что «любовь к Родине»: вроде понимаю, но толку от этого никакого!

НАСТЯ. Родина — это что-то общее, большое. Разложить нужно это большое на части. Ну, например, ты любишь свою маму?

СВЕТА. Кого?! Выдра! За что её любить? Когда мы с ней жили вдвоём, мы каждый вечер лаялись. Убить готова была!

АНДРЕЙ. Да...

СВЕТА. А теперь стало ещё хуже. Обматерить её не могу, видеть не могу и полюбить не могу. Хотя понимаю, кто она такая. Я сейчас заплачу, дядя Андрей.

НАСТЯ. Андрюша, принеси вино, а сам спрячься.

АНДРЕЙ. Что мне, в лес убежать?

НАСТЯ. Иди, телевизор посмотри. *(Андрей выходит)*.

СВЕТА. Нет, Анастасия Львовна, я не мучаюсь. Когда я с Максом жила, я боялась и мучилась: а вдруг ему что-то не понравится, вдруг я что-то не то сделаю, вдруг он меня выгонит. А когда он умер, я как с цепи сорвалась. Я выпендриваюсь, тусуюсь, а иногда думаю, что это всё какой-то маскарад. Зачем? Это всё не моё, это наследство Макса. А я надеялась на него. Я думала, что мне больше ничего и не потребуется. Семья. Принц. Принц-Арматура.

НАСТЯ. Как погиб Максим? Извини.

СВЕТА. Я была беременна. Здесь, в консультации, сделали УЗИ и сказали, что плод недоразвитый. Максим нахамил им и решил взять меня в областную больницу. В областной сказали то же самое. Взяли у меня анализы, отправили в Москву. Я ничего не чувствовала, Макс ругал всех по-всякому и твердил, что они все сами дебилы. Я ему верила. Когда пришли анализы, мы приехали с Максом в больницу. Нам зачитали московские рекомендации. И тут с Максом случилась истерика. Короче, в животе у меня оказался урод. Меня в палату на вынужденные роды, Макса за дверь. И пока я лежала неделю, он пил и пьяный сел за руль, пропустил поворот, пролетел шесть метров и врезался в сосну. Вот такая история. Я боялась рожать этого ребёнка, потому что мне казалось, что я ему рожу, а он его потом у меня отберёт, а меня выставит. Может быть, потому маленький и превратился в уродца.

НАСТЯ. Брось нагонять на себя, Светлана.

СВЕТА. Да нет, я уже успокоилась. И потом, эта скотина хотел сделать из меня ваше подобие. И почти сделал. А я была до него такой... реальной девчонкой. Зачем я его слушалась? Между нами ничего не было, кроме тендера. Макс все эти годы, пока мы с ним жили, завидовал дяде Андрею и вам. Он вас любил. Но никогда бы не признался. Но злоба его давила. Потому я к вам и пришла. То, что злило Арматуру, достойно внимания. Вы любите Андрея?

НАСТЯ. Света, так нельзя.

СВЕТА. Нет! Только так! Дядя Андрей!

АНДРЕЙ (*Входит*). Да.

СВЕТА. Вы любите Анастасию Львовну?

АНДРЕЙ. Это важно?

СВЕТА. Да. Я устала от пустого телевизора, от глянцевого журналов, от людей, которые вымучивают слова, чтобы убедить меня и себя в том, чего у них на самом деле нет.

АНДРЕЙ. Люблю.

СВЕТА. Анастасия Львовна, а вы?

НАСТЯ. Света, Андрей, ну, я не знаю.

АНДРЕЙ. Настя, простой вопрос. Облегчи сердце.

НАСТЯ. Да, Андрюша, ты меня достал за 20 лет. Люблю. И с этим я ничего не могу поделать.

СВЕТА. Не провожайте. Я пошла. Пока. (*Уходит*).

Занавес.

Два рассказа

Лепёшка

Когда началась война, мне было два года. Война досталась нам с матерью не то чтобы легко, но легче, чем другим: нас было двое, у других семьи были больше, мы всю войну жили надеждой, и надежда эта сбылась: мы — вслед за победой — дождались моего отца, живым и здоровым. Насколько здоровым может быть человек, прошедший всю войну с Германией и закончивший её на территории Маньчжурии. Многие, очень многие мои сверстники лишились надежды увидеть отцов своих ещё в самом начале войны... На нашу улицу, как говорили женщины, вернулись с войны полтора мужика.

Нас было двое. У нас была корова и был огород. Это много. Это — жизнь. Правда, на долгую сибирскую зиму корове требовалось сено; мне сейчас трудно представить, как умудрялась мать накопить его и свезти домой. Тогда я над этим не задумывался. Молоко мать каждый день сдавала на приёмный пункт, но немного оставалось и нам.

Единственно, чего я тогда желал, — это хлеба.

Нет, мы, можно сказать, не голодали: у нас была картошка и капуста, огурцы, с весны — молоко. Может, было всего не так уж много, как мне тогда казалось, но хлеба было мало.

Хлеб был для меня лакомством, мать всегда его отдавала мне.

Паёк, который она приносила с работы, я съедал, запивая его молоком, случалось за раз — оставались только крошки, если хлеб был сухим, с овсом. Чаше хлеб был вязкий, как глина, из которой малышня лепила «всамделишные» бул-ки, — от него крошек не оставалось.

Мать никогда виду не подавала, что ей тоже хочется хлеба. Наоборот, она жалела меня, что мне приходилось есть его; она горестно вздыхала:

— Господи, разве это хлеб? Глина и вода! Тяжёлый какой...

Я другого хлеба не помнил, представить вкуснее — не мог: не с чем было сравнить; матери, конечно же, верил, как верил во всё, что она говорила мне, но доволен был тем хлебом, что есть, — он мне нравился.

Но однажды я понял...

Комлев Иван (Иванов Виктор Павлович), прозаик, публицист (род. в 1940 г. в г. Омске). Автор книг: *Ковыль*: повести и рассказы (Иркутск, 1990); *Лепёшка*: рассказ (книжка-миниатюра) (Иркутск, 1992); *У порога*: повести и рассказы (Иркутск, 1994); *Когда падает вертолёт*: повести и рассказы (Иркутск, 2001); *На рубеже*: публ. статьи (Иркутск, 2008), публикаций в коллект. сб. и журналах. Заслуженный геодезист РФ. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Работала мать истопником и уборщицей одновременно. Уходила, когда я ещё спал, возвращалась — заставляла меня в постели. Обычно я сидел, укутавшись в одеяло по шею, чутко прислушивался к малейшему шуму за окном — ждал. Иногда, когда она задерживалась дольше обычного, я вылезал из своего гнезда, одевался и расписывал стены нашей избушки углем — на доступной мне высоте.

Палочки, закорючки, кружочки, петельки — всё это я видел в письмах отца, подолгу рассматривал, запоминая, видел, как появлялись они на листе бумаги, когда писала письмо мать; я доставал уголёк из печи и пытался воспроизвести их на стене. Строка за строкой... Но, я чувствовал, не получалось: руке не хватало умения, а в последовательности значков была тайна, разгадать которую мне было тогда не по силам.

Мать не ругала меня за то, что я пачкал стены. Может, она понимала, что в моей душе жило страстное желание написать отцу — хоть одну строчку! — собственной рукой и получить от него ответ. Глядя на мать, я догадывался, что большего счастья не бывает.

Мать подбеливала стены, и я долгое время не знал даже, что вообще-то на стенах писать не учатся. Потом, накормив меня и управившись по дому, она снова шла на работу. Иногда опять оставляла меня одного, чаще — брала с собой, и лишь изредка отводила к тётке. Мне у тётки нравилось: там были два брата и сестра. Все старше меня. Но мать оставляла меня там очень неохотно: вечером я не соглашался идти домой, кроме того, она не хотела обременять их «ещё одним ртом».

Как-то весной в тёплый день мы пошли с матерью на вокзал. Там у деревянных столов всегда можно было купить что-нибудь поесть. Чаще это были варёная картошка и солёные огурцы, ещё капуста. Продавали лепёшки и жадно ловили любую новость у военных, хотя те сами мало что могли сказать: эшелоны — в большинстве своём — шли на запад. В поездах, идущих на восток, если и были военные, то обычно тяжелораненые. Они на остановках не выходили.

Женщинам при виде бодрых и здоровых солдат становилось легче, они уносили с перрона не столько потёртые рубли, сколько возродившиеся надежды.

Мы с матерью принесли молоко в трёхлитровом бидончике.

Пока она наливала его в кружки, банки или котелки — молоко выпивали тут же, у столов, я прошёл вдоль ряда. Раз и другой, и ещё... Не выдержал, подошёл к матери, зашептал:

— Ой, сколько сегодня много лепёшек продают!

Бидончик её уже опустел. Деньги, наверное, нужны были для чего-то другого, но она сказала:

— Купи себе. Тут как раз на лепёшку, — и протянула мне целый ворох измятых бумажек.

Очередной эшелон ушёл. Перрон обезлюдел, остались только женщины у столов. Я впервые пошёл покупать. Все взгляды устремились на меня. Деньги, крепко зажатые в ладонях, вспотели. Мне трудно было идти, а ещё труднее — остановить свой взгляд на той лепёшке, что сейчас будет моей... Длинный ряд...

Видеть мой голодный взгляд женщинам оказалось нелегко. Первая же, что продавала лепёшки, не выдержала, сказала дрогнувшим голосом:

— Возьми, сынок.

Я положил скомканные бумажки на тёмные потрескавшиеся доски и — взял.

Лепёшка была тёплая, большая и тяжёлая. И ещё она пахла. Запах её удивительным образом враз объяснял всё то, чего я не мог знать о настоящем хлебе.

Я шёл назад медленно-медленно, откусывая от лепёшки по кругу, так, казалось, она почти не уменьшалась. Но когда я подошёл к матери, в руках у меня — я это хорошо понимал — оставалось меньше половины. Лепёшка была до того вкусной, что я с трудом преодолел желание съесть её всю, но я уже знал, что лепёшка эта и была тот самый хлеб, о котором вздыхала мать.

— На, — остаток я протянул ей.

Но она не взяла, сказала только, мельком взглянув на кусок:

— Совсем ржаная. Там есть белее.

— Нет, мама, очень вкусная — возьми, — и откусил напоследок ещё чуть-чуть. Тут я вдруг увидел, как она судорожно напрягла горло, чтобы не сглотнуть слюну. Справилась с собой, сказала, как всегда:

— Ешь сам. Я не хочу.

Я не знал, что делать. Отступил в сторону и стал. Щёки мои горели. Лепёшка жгла руку. Я как-то враз осознал то, что смутно чувствовал и раньше: когда я съедал хлеб, предназначенный нам двоим, мать отказывалась от своей доли не потому, что была сыта или хлеб ей не нравился...

Слёзы, против моего желания, накатились на глаза, комок застрял в горле. Я с трудом сдерживал рыдания. Поднёс руку к горлу, лепёшка коснулась моих губ и... я не заметил, как снова начал есть её, откусывая понемногу, по краю, как делал только что.

— Пойдём, сынок, домой. Ну-ну, не надо. Ты что — обиделся, что я сказала будто лепёшка плохая? Ешь. Нравится тебе — и ешь.

Загрубелая ладонь её ласково гладила меня по голове, и от этого приятного прикосновения и слов её мне стало лучше, ком в горле растаял и побежал из глаз слезами — по щекам, на губы...

С тех пор так и осталось навсегда в моей памяти: ничего вкуснее солёного хлеба в мире нет.

Одной рукой я ухватился за два пальца материнной руки, а другой — крепко держал остаток лепёшки, которая становилась всё меньше и меньше.

На следующий день мать принесла домой хлеб и — как обычно — положила его на стол передо мной. Хлеб был сухой. Я такой любил меньше, чем сырой, хоть мать и говорила, что он — лучше. В нём была шелуха от овсяных зёрен, перемолотая, но достаточно крупная. Но тогда я даже был рад этому: мне легче было не съесть «колючий» кусок, чем сырой.

— Отрежь мне, — попросил я мать.

Она посмотрела на меня и сказала:

— Ешь весь.

— Не хочу. Я такой не люблю.

Может быть, после того, как я попробовал лепёшку, она поверила мне. Она взяла нож и отрезала от куска тоненький, почти прозрачный ломтик, остальную часть подала мне. Крошки со стола она бережно собрала в ладонь, ладонь поднесла ко рту. Я быстро расправился со своей долей, запил её молоком.

Мать о чём-то задумалась, сидела за столом, подперев голову ладонью, смотрела на меня.

— А ты? — спросил я, вылезая из-за стола.

— Да-да, — встрепелась она, — надо поесть и сходить проверить печь. Прогорела, наверное, уже; не догадаются закрыть трубу. Ночью холодно будет.

Я не слушал, я был в дверях, и мыслями моими уже владела улица. Вечером, когда уставшая мать вернулась домой и я, утомлённый, вошёл вслед за ней, она сказала:

— Иди поешь, — и положила на стол знакомый ломтик хлеба, а рядом поставила стакан с молоком. Искушение было слишком велико, чтобы я выдержал его и мог выпить молоко, не съев хлеба.

— А! Не хочу, — отмахнулся и отправился в постель.

Мать встревожилась:

— Ты не заболел?

— Нет, мама.

И чтобы скорей избавиться от расспросов, сам спросил:

— Когда нам опять принесут письмо?

Писем не было давно. Она не ответила, притаила невольный вздох, положила руку поверх одеяла:

— Спи.

И я уснул.

На следующий день мать, как всегда, весь кусок принесённого хлеба подала мне. Вчерашнего ломтика не было!

— Отрежь мне, мама, — сказал я и засмеялся.

Листья

Скоро мне исполнится пятьдесят лет, а кажется, это было вчера...

— Смотри не упади! — мать выпускает меня на улицу, в лицо мне брызжет яркое, как волосы моей мамы, оранжевое солнце. Солнце ослепляет с двух сторон — сверху, где оно гуляет в синеве, и снизу, из лужи, в которую мне не велено падать.

Весна. Вода во всю ширину улицы. Я пробираюсь вдоль плетня и сворачиваю за угол, туда, где прошлогодние лопухи и маленькие, просто крошечные берёзки, отрастающие на месте вырубленной рощи. Ржаво-грязные прошлогодние лопухи с колючками меня не интересуют, а вот гибкие прутки берёзкинских деток манят с непреодолимой силой: на сочно-коричневых тонких, гнущихся от собственной тяжести веточках накануне вечером я заметил множество зелёных жучков. А когда рассмотрел, понял, что это не жучки вовсе, а листики расклюнулись.

Неделей раньше у нас вывелись цыплята. Я видел, как они появляются на свет: пробьют скорлупку и, чуть высунув носик, отдыхают и прислушиваются: всё ли благополучно в новом для них мире? Затем долбят её дальше и крыльшками изнутри распирают — и вдруг чудо: яичный домик развалился, а перед тобой на тоненьких ножках покачивается мокрый жёлтый комочек, который через одну-две минуты, высохнув, превращается в пушистый шарик.

Так и зелёные клювики листочков: вылезли немного из лопнувших почек и притаились — нет ли какой-нибудь опасности? Я иду проверить: за ночь они, должно быть, осмелели и выбрались на волю совсем.

Я наклоняюсь к пеньку, рядом с которым крохотное, чуть выше моего колена, деревце, вижу: на самой макушке его — листок! Настоящий! В форме сердечка с зубчиками по краям, с прожилками и с блестящим зелёным покровом — крохотный, с ногтей моего мизинца. Трогаю легонько листик пальцами, он липнет. Он мокренький, как цыплёнок, который только что вылупился из яйца. Он источает запах смолки, и я не удерживаюсь и касаюсь его губами, и даже чуть-чуть, чтобы ему не было больно, пробую на зуб. Зелень горчит.

Потом я долго рассматриваю этого посланца весны, внимательно, уже не трогая его, чтобы не повредить: он мне своим беззащитным видом щеко-

чет сердце. Я хочу спросить его о чём-то мне неведомом, о мире, из которого он явился, о тайне, которая ему, крохотному, известна, а мне недоступна, но не знаю как. Ведь у них, у деревьев, у листиков, тоже должен быть свой язык и, может быть, они попискивают друг дружке, как цыплята, только совсем тихо, и я не слышу?

Почти касаюсь листка ухом, вслушиваюсь. Но слышу лишь дальний стук колёс поезда, из мира тоже мне неведомого и страшно интересного. Слышу шорох жухлой травы у плетня — таммышь, наверное, прокладывает новую тропинку. Слышу, как поскуливает во дворе наша собака Шарик и бренчит кольцом — с того дня, как вывелись цыплята, собаку посадили на цепь. А о чём шепчутся листочки, не слышу.

Выпрямляюсь. Ничего, я ещё научусь узнавать язык листьев и трав и пойму, зачем они живут, что чувствуют и что думают, когда я подхожу к ним.

Солнце в знак согласия оглаживает меня, ветерок чуть слышно касается волос — тоже подбадривает, куда-то ввысь зовёт меня распахнутая синь неба. Впереди у меня день — огромный, бесконечный, как это небо, и ясный, как эта лазурь.

* * *

На следующий день веду в открытый мною мир девочку Нину.

— Вчера, — объясняю ей, — во-от такусенькие листики были, а теперь — смотри!

Того прутика у пенька я не могу узнать среди других таких же нарядных его братьев, и значит, не могу посмотреть, насколько вырос мой знакомый листок — они все выросли, — не могу, наклонившись, послушать его — вдруг он сегодня осмелится и что-то откроет мне из своей тайны? Листья выросли уже больше огромных Нинкиных глаз.

— Смотри, какой большой лист! — она своими синими блюдцами углядела под старым плём листья, которые росли не на ветках, а прямо на коре, почти у самой земли.

Неужто выросли за одну ночь? Или они были вчера, а я их не заметил? Нина подходит к пеньку, наклоняется и срывает самый большой, просто гигантский лист — таких листьев на берёзах не бывает — прикладывает к нему свою ладошку. Что она делает? Мне кажется, что листок должен был вскрикнуть от боли, но он льнёт к ладошке девочки, и мне становится чуточку завидно, что я не на его месте: это, наверное, приятно, когда тебя гладит девочка.

Я начинаю рыскать вокруг, чтобы найти ещё больший лист, и наконец, кажется, нахожу. Срываю и бегу к ней:

— Вот этот ещё здоровее!

— Нет, — возражает она, — мой длиннее.

— А этот ширше.

Мы прикладываем листья друг к другу, пытаемся совместить края, но листья разные по форме и непонятно, какой больше. Наши руки соприкасаются, и новая щекочущая тайна волнует мне сердце и смиряет мой запал соперничества. Я готов согласиться, что её лист больше и даже красивее, если она этого пожелает, но она великодушно предлагает:

— Пусть будут одинаковые.

— Точно! — в восторге соглашаюсь я. — Они оба-два чемпионы!

И чтобы прикоснуться к её руке ещё раз, кладу свой лист на её ладошку.

Этот день пролетел значительно быстрее вчерашнего.

* * *

Мы ещё ходим за наш плетень, отыскиваем неправдоподобно большие листья, срываем их и дома у Нины сравниваем с другими, сорванными ранее. Через несколько дней обнаруживаем, что листья больше не растут, игра нам надоедает, и мы лишь осенью, спохватившись, узнаём, что бабушка Нины замела в печь засохшие и рассыпавшиеся остатки нашей весенней радости.

* * *

Осенью я впервые иду в школу.

Осенью берёзовый кустарник и ближний лесок, по здешнему — колок, встречают нас желтеющей листвой. Словно весёлый художник ходил по лесу и разукрашивал деревья в радостные яркие цвета. Берёзки в золото одел — от празднично-жёлтого до червонного, осинки в багрянец нарядил. Опять мы, очарованные, носим домой листья, теперь уже самые-самые красивые.

Проходит ещё месяц, и листья начинают опадать с деревьев. Я стою под тополем, что растёт за воротами нашего двора, и, подняв голову, жду. Мне хочется подсмотреть тот самый момент, когда листок отделяется от ветки. Как это происходит? И что он, этот самовольник, делает, чтобы оторваться от родительского дерева, и что думает, и как летит и выбирает место где ему приземлиться? Знает ли он, что летит навстречу своей гибели? Может быть, лист, который отделяется от ветви, уже ничего не чувствует, может быть, он прежде умирает? И что это такое — смерть? И зачем рождаться весной, чтобы так скоро, через одно лишь лето, упасть на сырую стынущую землю?

Моя жизнь будет долгой-долгой, мне, стоящему под тополем, она кажется вечной.

Уже летит! И опять. И ещё, и ещё... Миг отделения листа от ветки я так и не могу проследить, вижу только, что в воздухе уже плавно кружит жёлтый парус, вижу как неторопливо, словно нехотя, ложится он рядом с другими такими же листьями, образующими на земле неповторимый, яркий, будто сотканный из маленьких солнышков ковёр; ложится и ждёт окончательного решения своей участи.

А мне на сердце ложится третья тайна — тайна смерти.

* * *

И снова весна. Снова лето, а за ним осень и зима. Земля кружится всё быстрее, и у меня не находится больше времени, чтобы постоять под деревом, дожидаясь, когда сорвётся с ветви очередной жёлтый лист. И я думаю уже, что детство кануло в прошлое, и ничто и никогда не повторится.

* * *

Но отчасти повторяется. Однажды весной выходим мы с маленьким сыном на улицу, он изумлённо застывает перед зелёным листком, крохотным листком-однодневкой, трогает наконец его пальцем, смотрит на меня:

— Его можно есть?

У сына другой жизненный путь и свой, пока небогатый, опыт. Он родился в городе и потому сравнивает листик не с живыми цыплятами — цыплят ему ещё предстоит когда-нибудь увидеть, если предстоит, а сравнивает с листиками, которые он сколупывал с именинного торта.

— Нет, — говорю я, — эти листочки не едят.

Сын недоверчиво смотрит на меня — сочный листочек кажется очень вкусным.

— Если очень хочется — попробуй, — говорю я.
Он пробует, прямо с ветки. Морщится. Да, конечно, горчит.

* * *

У отрывного календаря белые листы. Я забываю их отрывать, спохватываюсь лишь в конце недели и тогда убираю ненужные, целую стопку минувших дней.

Однажды догадываюсь: чтобы не утруждать себя этой бесцельной заботой, надо повесить на стенку календарь перекидной, где листы бумаги, изукрашенные фотохудожником, отмеряют жизнь месяцами.

Но и этот календарь быстро закрывает последнюю страницу, и тогда я заменяю его новым, где мера времени — год.

* * *

Распускаются и зеленеют, желтеют и опадают листья с деревьев, а я уже не успеваю разглядеть отдельного листка, берёзовый ли он или осиновый, изумрудный или золотой.

Уже давно золото волос моей матери потемнело, обратилось в медь, а затем и в серебро... Да, кстати, в лужу, как и предупреждала меня мама в тот далёкий и близкий день, я не упал. Я просто залез в неё и начерпал полные сапоги ледяной воды. Заболел? Нет. От таких пустяков мы тогда не болели.

Вот и внучка уже есть у меня, тоже златовласая, как моя мама, и близкой весной предстоит мне выйти на улицу с ней, чтобы увидела она распутившийся клейкий листик.

* * *

А мои листья больше не распускаются, не зеленеют и не желтеют. Они подхвачены вихрем и мчатся, и кружат в непрерывном метельном танце уже не дней, не месяцев и даже не лет — мелькают десятилетия. Скоро, скоро ураган сорвёт меня, как увядший лист, и унесёт в прошлое, а триединой тайны — рождения, любви и смерти — я так и не узнал.

Единственное, чего боюсь и чего не хотел бы допустить — чтобы ветры времени унесли вместе с нами и наше будущее. Должны зеленеть деревья на Земле и рождаться и расти дети, которые будут каждой весной открывать для себя первый зелёный листок, удивляясь тайне рождения, первое чувство — таинство любви, и пусть они услышат шуршание вечности в тайне смерти.

Да будет так во веки веков.

Олег Корнильцев

Живёт моя отрада

Рассказ

От комбината до города трамвай долго шёл по лесу. Народу с ночной было немного, сидели, а в проходе, затоптанном снегом, шла кондукторша в унтах и неторопливо отрывала билеты.

На «Молодёжной» поднялись на выход ребята из общежития.

— Давай, — кивнул им Николай.

Потом засобирился Мишка Бадмаев, оператор с седьмой установки.

— Давай... — сказал Николай, зябко запахнувшись и с удовольствием поднял воротник.

— Спишь, дружок? — над ним стояла кондукторша и трогала за плечо. Последний народ выходил из вагона.

Ещё была ночь. Ясно светили фонари на бетонных столбах, а над соснами, где взойти солнцу, колыхалось зарево. Горели факелы над цехами. И первое, что ощутил он после комбината, это первобытную чистоту и морозное, медленное движение воздуха.

Резко отзывались под шагами тропинки, ведущие в сосны, к жилому кварталу. Николай промёрз и пошёл с подбегом, целиной, по мелкому снегу, обгоняя идущих.

Это был самый старый квартал в городе. Тополя успели подняться до окон четвертых этажей, разрослась акация. И через смерзающиеся ресницы, через снежную сеть веток Николай видел, как высоко и низко, рядом и в отдалении горели окна.

И в их окне был свет.

Значит, Нинка дома. Юрку свела в садик, а на работу не пошла — сегодня в больницу ложится. Юрку ему забирать. Спросить надо, где садик. Пять месяцев живёт, а толком не знает...

Низ их дома занимал гастроном. Штабель пустых ящиков возвышался на дворе, у служебных дверей. Николай привычно свернул к нему. В квартал проводили газ, рыли траншеи, а пока жильцы из ближних домов топились ящиками. Он выбрал пару небольших, из-под дрожжей. Их края не были окованы проволокой, и дощечки целиком входили в топку, не нужно было их переламывать...

Она, верно, ждала его и слышала, как ударила дверь вниз; как взбегал он по лестницам. Он только ящики поставил, чтобы отомкнуть, а изнутри повернулся ключ, и она отворила,

Корнильцев Олег Борисович, прозаик (род. в 1934 г. в г. Уфе). Автор книг: *События*: рассказы (Иркутск, 1982); *Райские кущи*: повесть, рассказы и лит. запись воспоминаний иркутянина П. Е. Лунёнка; публикаций в коллект. сб. и журналах. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

— Здравствуй, — сказала она без улыбки. Николай раздевался, вешал полушубок, шапку, снимал тёплые ботинки и, сам не замечая, прислушивался. Соседи были на работе, их ребята в школе — одна Нинка. Как приняла ящики, так ушла и затихла на кухне. И то, что она молчит, угнетало...

Прошлой весной он жил далеко отсюда, в Барнауле. На май поехали с товарищами в деревню, а она там гостила у матери.

Одиннадцать дней отгулов и праздников было у Николая!..

Под осень с тем же Витькой Максимовым, Нинкиным земляком, увольнялись на Сахалин, с обходными бегали и — письмо: «Коля, у тебя отпуск в декабре, зима, что делать, приезжай. Юрик всё рассказывает, как с дядей Колей водичку из берёзы пили»...

Он и заехал по пути. Хотел на недельку, ещё в кассе билет отмечал...

В ванной он открыл горячую, как руки терпят, воду, на лицо сделал похолодней, а под конец сполоснулся ледяной.

И мылся, и раздевался он давеча с улицы чересчур обстоятельно — всё так делал последнее время, в любую малость вникал, только бы от главного уйти.

Он тщательно утирался, а она что-то коротко молвила в кухне.

— Не слышу, Нина, — отозвался он.

— Коля... Я в больницу не пойду, — негромко сказала она у двери.

— Ну, не ходи... — согласился он.

Он это знал, что может не пойти. Он только не думал об этом. Стыдно было думать, рассчитывать... Молчала она, и он помалкивал. И хоть не было в эти дни промеж ними хитрости, но и правды не было.

А теперь была! Он ей сразу поверил и сказал, не покривив, что само случилось:

— Ну, не ходи.

Но он знал, что это не всё, что она ещё ждёт от него слов. И он не боялся этого и не думал о том, что сказать. Знал — само придёт.

А пока можно было ну хотя бы чай пить — верно, уже согрелся на электрической плитке, — но там, в промежутке между столами, отчуждённо сидела Нинка. Он замешкался и увидел ящики возле плиты. Их надо было разломать. Ему нравилась эта простая, домовитая работа, и за ней можно было пережить с тем, что предстояло. Он присел, стал разбивать их ладонью, небрежными, резкими ударами, и ящики разлетались по дощечкам. Он ломал ящики, а плиту, видно, раным-рано кто-то из жильцов протопил, и от неё несло теплом. Шумел на столе возле Нинки чайник; окно замёрзло почти до верху, и не было видно, что между рамами поставлено кастрюлек и банок, навалены всякие свёртки с едой, — всё это скрывали заледенелые окна, и потому уютно было в кухне, и не разобрать, что там на улице: город или деревня, лес, а может поле... Нежным светом наливался лёд на стекле, и они с Нинкой были двое во всей квартире, точно в своём доме, и можно обо всем говорить в голос. Он доломал ящики, на железный лист у плиты уложил дощечки и замёл мусор.

Кипел, тарахтел крышкой чайник, и наконец, после смутных и тягостных этих дней, Николай сознавал себя в привычном мире, где хорошо ли, худо, но почти всё от себя самого. Он у отца-матери перенял это и так и понимал себя и других в жизни. И сейчас, как там ни будет, надо решать самому.

Он вымыл руки и вернулся в кухню, всё так же надёжно ощущая мир.

«Шашкам шая ашарга?» — хотел сказать он шутливо, взглянул ясно, весело почти, и как-то по-новому увидел её.

Сидела, нажавшись, чужая, неприбранная женщина, у которой пацану

четыре года, и где-то гуляет по свету его отец. И, говорит, любила она его, и было у них всё в первый раз. А у него никогда так не было... И ничего он ей не сулил, не врал... Не зря Витька говорил: подловит она тебя, смотри... Кому там подловить?! Дура душой, даром, что техникум кончила. Все Зимины такие. И сестра пацанёнка растит, и эта... И чувствуя, как наливаются тяжестью глаза и больно у висков, с негодованием, с обидой, сказал:

— Ты знала, что уеду? Весной. На Сахалин. Не говорил я?! Ты что станешь делать?

У неё скулы зажелтели.

— Да уезжай! Уваливай! — пристукнула она. — Собирай вещички, если хочешь.

И вдруг губы у неё поехали, как у Юрки, когда тот ревел, она заплакала, и он не мог больше.

— Ну, ладно, — сказал он, — кончай... — А она и так уже шмыгала, утиралась.

— Давай чай пить, — сказал он немного погодя и налил ей и себе.

Она часто прихлёбывала, вздыхала судорожно. И до чего стакан неловко держала... У него сердце сжалось.

Ещё когда с комбината ехал, что-то хотел сказать ей, что-то на работе было хорошее... И вспомнил:

— У нас синицы в цеху живут.

— Мороз... — вздохнула она.

— Ты на работу не пойдёшь?

— Нет уж... Перебьются. Позвонить бы надо. А черт с ним! Спать хочу, — и правда, зевнула.

— Я позвоню, — сказал он.

Он ещё сидел, курил, а она ушла, и, когда он заглянул в комнату, лежала в одежде на раскладушке.

В телефонной будке не было стёкол, и казалось холодней, чем на улице. Он позвонил и вышел неприкаянно.

Вдоль широкой, белой улицы далеко было видно. По обе стороны возле домов неровными цепочками шёл народ.

Этот город был лет на десять моложе Николая, а уже четверть миллиона жило в нем. В нем было удобно жить. В квартирах круглые сутки горячая вода, газ почти во всех кварталах, и в магазинах — хорошее снабжение. И жилья на каждого человека приходилось чуть не на два квадратных метра больше, чем в целом по стране, и застройка велась с учётом розы ветров, так что с комбината не так уж часто наносило, и сосны подсохли только в ближних к нему кварталах, а дальше, в остальном городе, они были свежие, как в тайге.

Хороший был город, только идти в нём Николаю некуда было.

Не к слесарям же в общежитие, не во Дворец же культуры нефтехимиков. И он свернул в сосны, прочь от этих прямых улиц.

Ни зла, ни досады не было на Нинку. Нинка Зимина — одно слово. Девка уму непостижимая... Интересно, бросит он её или нет? — словно о другом любопытствовалось ему.

Ему только сначала казалось, что брёл он в лес, куда глаза глядят. Теперь, сквозь всё, что думал, — он знал куда. За лесом — бараки, с которых начинался город, а рядом — толкучий рынок, барахолка. Толпа, костры на снегу, и хорошо греться возле них, среди народа.

Витька и сейчас пишет, на Сахалин зовёт. Когда представляет Николай Са-

халин, видятся ему высоченные ели в снегу, дорога, и он идёт по тракторному следу... Витька бы не долго думал! У него тоже дочка где-то растёт. Всегда Николай завидовал, как легко живёт Витька. Ну, почему одним всё можно, а другим нельзя! С мальчишек Николай знал, что у каждого своя должна быть, единственная, девчонка... Не было такой у Коли Шипицына. И не будет. Прежде жутко становилось ему, как подумает, а теперь ничего, только глазам тяжело и горячо.

Он вышел на рынок. Ряды столов, припорошенные снегом, дорожки от ворот к уборной, к проломам в заборе, и кострище с обгорелыми досками — тоже под снежком.

Не тот день...

Гляннул, повременил зачем-то и повернул.

Всё так же медленно, люто двигался воздух, и Николай давно не чувствовал лица. Возле шоссе остановился, стянул перчатку, стал растираться.

Проносились машины, вея разреженным ветром, таща позёмку. На той стороне был опять сосняк, а там, где шоссе плавно заворачивало, у асфальта, как у реки, дружной деревней дымили бараки, и дым загибалось и несло.

Он вырос в большом городе, в рабочем предместье, в своём доме жили, но чуть не вся улица была застроена бараками, и сколько товарищей у него там было!

Он стоял, смотрел как на родное. Он сквозь стены видел, знал там всё, до цинковых ванн, навешанных в коридоре.

Женщина снимала с верёвок белье. Хлобыстнула дверь, и по крыльцу, затрещавшему от мороза, сбежали двое. Подходили, переговариваясь. Пожилые, в годах мужики. Один совсем старик, нахрамывал приметно. И где они набрались так рано? Споры, весело шли, только скрип стоял. И до того светлы, радостны были, что Николай так и подался к ним, думал, может, попросят закурить. Но они миновали, громко говоря своё, конечно, о какой-то несправедливости. И уже всё: рассудили и согласились оба.

— А была бы только ночка, да ночка потемней!.. — запел один.

И точно под сердце ударило Николая. Ах, как давно, как много была эта песня пета! В то время забытое, после войны, когда рос он на своей Первой Барачной. С пацанов знал, что дорога его: ФЗО, армия, завод. И хотел того, но была песня о высоком тереме, о резвой тройке... И отец, и мать пели, когда гуляли... И вдруг стало видно ему от того заветного дома, где вырос он, и до того дня, когда пойдёт он, как эти... Стало видно ему в оба конца жизни, и не было страха, обиды и зла. Только мучительно и сладко подкатило, стало душить его, и он заплакал. Стоял и плакал, а те всё кричали о том же, простом, удачном и небывалом...

Чувствуя, как стынут слезы на щеках, он повернул домой, к городу. Прошёл немного, вспомнил, что на машине можно, и воротился. Нёсся, жужжа по крышам, самосвал. Полна кабина, трое. А вон «Волга». Он пропустил её. Ещё самосвал. Жал на газ, крутил баранку шофера. И Николай поднял руку.

Марк Крутер

Я защищаю Япончика

Отрывок из романа

Оздании, занявшем своё место в самом центре Иркутска ещё в прошлом веке, ходят самые ужасные слухи. Говорят, стены его подвалов, пропитанные стонами «японских шпионов», периодически начинают говорить, а на каменных плитах его камер время от времени проявляются кровавые пятна.

Я не очень верю подобным байкам, однако, торопясь в один из кабинетов этого каменного монстра, невольно поёживался. По роду своей деятельности за долгие годы работы в адвокатуре я успел побывать в десятках, если не в сотнях тюремных камер, и с некоторых пор их удушливый запах меня не пугает, а металлические стоны тяжёлых запоров не вынуждают вздрагивать. <...>

...Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетённого, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.

Пророк Исая

Глава шестая

За неделю до Пасхи некогда захламлённые хозяйственные комнаты преобразились: на свежeweбеленных стенах засветились лики Спасителя и Богородицы, затеплились лампадки и вспыхнули свечи.

— Чем не церковь, — сказал Серёга, вложивший в двухнедельную работу все свои кипящие энергией силы.

— Лепо, — сказал батюшка, прибывший, как и обещал, в положенный день и час.

Виктор Михайлович и Кириллыч пошли с ним по камерам при подтянувшихся вертухаях и смущённых происходящим офицерах.

Зеки были заметно возбуждены: им льстило общение с таким авторитетом, как Япончик, вынуждало внутренне подтягиваться появление самого хозяина и непривычно смущало явление настоящего священника.

Крутер Марк Соломонович, прозаик (род. в 1945 г. в г. Иркутске). Автор книг: *Избранное*. В 2-х т. (М., 2000); *Слушается дело* (Иркутск, 1984); *Я защищаю Япончика*: роман-исповедь (М., 1998); *Губернаторский турнир* (М., 2005); *Территория Беззакония*: рассказы, повести из адвокатского досье (М., 2008) и др. Докт. юрид. наук, профессор. Заслуженный юрист РФ. Член Союза российских писателей.

Виктор Михайлович коротко объяснял, по какому случаю они явились, Кириллыч ронял ему в помощь несколько фраз о полной серьёзности предлагаемого им дела, а батюшка, смущённо раскланиваясь с бывшими насильниками и убийцами, говорил о возможном спасении заблудших душ.

Возвратившись в кабинет Виктора Михайловича, обсудили, когда сподручнее будет начать богоугодное дело — читать первую проповедь и вершить таинства Причастия и Крещения.

Отцу Якову было непросто выкроить время для того, чтобы начать службу, и не мудрено: он переживал последние дни Великого поста, готовя себя к долгим молитвенным часам предпасхальной седмицы.

Посему решили, что батюшка явится к ним в среду, когда самое время напомнить потянувшимся к свету о Христовых муках и склонить всех верующих и неверующих встретить праздник Великого Воскресенья если не с ликованием, то хотя бы с радостью умиления.

Виктор Михайлович отдал распоряжение о закупке солидной партии яиц и, наказав столовским работницам заняться сочинением куличей, потребовал, чтобы в день праздника на каждого заключённого пришлось по одному крашеному яйцу, а на каждую камеру — по куличу.

— Не боитесь? — поинтересовался Кириллыч, когда они остались одни.

— Побойваюсь, — признался Виктор Михайлович, — но не столько начальства, которому наша задумка вряд ли понравится, сколько самого себя: я ведь дремучий нехристь, а мы втянулись в такое дело, которое потребует не столько особых полномочий, — он намекнул на свои новенькие майорские погоны, — сколько деликатности.

— Как говорит отец Яков, дело наше истинно богоугодное, — улыбнулся Кириллыч, — и потому самое хорошее — делать его, не размышляя.

Виктор Михайлович нахмурился.

— Я думаю, Вячеслав, — сказал он, — что каждый из нас пойдёт своей дорогой, не знаю, как вам, а лично мне тот путь, по которому я должен идти, видится очень смутно.

— Наверно, так и должно быть, — не стал спорить с ним Кириллыч, — долгий путь конца не имеет, поэтому и невидим.

— А вы, Вячеслав? — пододвинулся к Кириллычу Виктор Михайлович. — Видите ли вы хотя бы начало этого пути?

— Начало — вижу, потому что оно в моем прошлом. А будущее моё может быть похоже только на прошлое.

— Почему?

— А потому, что тут легче не понять, чем понять, — загадочно улыбнулся Кириллыч, — не вам рассказывать, как жил и как собираюсь жить дальше.

— Значит, Вячеслав, я принимаю вас не за того.

— Ах, Виктор Михайлович, Виктор Михайлович, — заволновался Кириллыч, — неужели вы думаете, что Япончик готов признать свою жизнь за сплошную ошибку? Ведь не в том дело, что мы повесим на себя кресты и произнесём вечные слова главной молитвы.

— Это какая же главная? — встрепенулся Виктор Михайлович.

— Да вы знаете её, — успокоил его Кириллыч и, вдруг переменяя тон, начал: — «Отче наш, иже еси на небесех...»

На душе Виктора Михайловича потеплело: он знал эти слова, конечно, не мог ручаться, что прочтёт их от слова до слова, но, слава Богу, почти знал.

— И давайте помолчим, — предложил Кириллыч.

— Давайте, — согласился Виктор Михайлович, — хотя я должен сказать вам, что главную молитву все-таки знаю.

— А я и не сомневаюсь в этом, — успокоил его Кириллыч.

С каждым из них происходило нечто такое, что трудно объяснялось словом, а если слово и находилось, то, поставленное рядом с другими, оно терялось, подобно хорошему человеку, оказавшемуся среди добрых, но покуда чужих для него людей.

Когда Кириллыч думал о своей прожитой жизни, о тех её сторонах, за которые ему должно быть досадно, он все больше понимал, что без плохого не было бы и хорошего, — именно противоречия и обуславливали логику избранного им пути: из пацана, более всего ценившего силу, получился лихой и в то же время осторожный профессионал, из азартного игрока с опасностями вышел уверенный в своих действиях авторитет, а из человека, угодившего за решётку, вот-вот должен был появиться отчаянно раскаявшийся грешник.

Последнего Кириллычу как бы и не очень хотелось: он согласен был оставаться самим собой до последних дней полагающейся ему земной жизни — лучше всего среди своих, пусть кому-то неугодных, для кого-то — подонков, но для него своих в доску.

Конечно, он мечтал бы стать истинным христианином, но для этого надо было родиться заново и на иной планете.

Виктор Михайлович оценивал самого себя не менее трудно, но чуть проще: никому не желая зла, вынужденный общаться с ним постоянно и нос к носу, он полагал, что должен постоянно что-то делать, дабы чувствовать — и пусть при этом даже обманываться, — что зло приуменьшается.

Однажды догадавшись, что он несёт ответственность за чужой ему мир оступившихся и вконец заблудших людей, он, как и Кириллыч, посчитал себя вынужденным жить по тем правилам, что установил для себя сам.

Что касается отца Якова, то его новые знакомые — и Виктор Михайлович, и Кириллыч — примнились ему теми блудными сыновьями христианской веры, что оставили её по случайности и только затем, чтобы к ней возвратиться.

Конечно, все трое пережили особое чувство при виде худющих зеков, едва уместившихся в новенькой молельне и обративших свои гладко выбритые физиономии к лику Спасителя.

Их глаза засветились, их губы, привыкшие к ругательствам и матерщине, зашевелились по-новому, согласно вечным словам главной молитвы: «Отче наш, иже еси...»

Среди них были и такие, что пришли на первую проповедь отца Якова как на развлечение, но все-таки в большинстве своём это были люди, желающие успокоения души, — такие, что по-настоящему терзались, и не столько тем, что теперь отгорожены от других людей колючей проволокой, сколько тем, что из-за них оказались поломаны жизни женщин, однажды их родивших, и тех, кто когда-то поверил в них, как в себя.

Обращаясь к своей пастве, батюшка говорил о Христовом подвиге, о тех муках, что пришлось Ему претерпеть из-за каждого потянувшегося к Нему. Он предлагал каждому посмотреть на себя как на человека, рождённого для света, а если однажды и умершего, то для подлинного воскресения.

В ту минуту, когда отец Яков сказал, что верует в спасение каждого, Кириллыч покосился на Серёгу: его глаза, полные слез, светились отчаянной решимостью.

— Господи, — прошептал про себя Кириллыч и, удивляясь самому себе, попросил: — Спаси его, Господи, и помилуй.

Как раз в это время на Кириллыча оглянулся стоявший впереди Виктор Михайлович: никогда он не видел, чтобы лицо Вячеслава было столь расслабленным.

— Господи, — промолвил про себя Виктор Михайлович, — спаси его, Господи, и помилуй...

Александр Лаптев

Чудесная планета

Фантастический рассказ

Э то была тихая планета, она неспешно вращалась вокруг Оранжевой звезды в дальнем рукаве галактики M1652; на планете всегда стояла ровная тёплая погода, её не сотрясали природные катаклизмы, на ней без помех развивалась жизнь, эволюция её протекала мирно и без проблем.

Когда космический корабль, по недоразумению занесённый в эту глухомань, вышел на спутниковую орбиту, и экипаж корабля, состоявший всего из двух человек, увидел в иллюминаторе синие океаны и зелёные континенты, а вокруг планеты переливающийся радужный ореол (несомненный признак атмосферы), решили немедленно садиться. Двигатели нуждались в профилактике, необходимо было отладить аппаратуру навигации, да и пилотам после двенадцати месяцев блужданий в дальнем космосе требовалась передышка.

Корабль решительно пошёл на снижение и благополучно совершил посадку в районе экватора. Разведчики, убедившись, что атмосфера пригодна для дыхания, открыли страшно тяжёлый и неповоротливый внешний люк и выпрыгнули на мягкую зелёную поверхность планеты.

Первое впечатление их оказалось до крайности благоприятным. Вокруг простилалась бескрайняя равнина, утопающая в жгучей зелени и объятая воздушным океаном. Горизонт замыкался волнистой линией, на фоне синевы чётко прописывались причудливые деревья с раскидистыми кронами.

— Почти как наша Земля! — произнёс с чувством командир, расстёгивая на груди молнию и подставляя ласковому ветерку бледную шею.

— Действительно! — сказал бортинженер, жмурясь на оранжевое солнце.

Командир нагнулся и сорвал былинку, поднёс к лицу, сосредоточенно рассматривая, понюхал.

Бортинженер сел на травяной ковёр, потом лёг на спину, с наслаждением расслабляя усталые мышцы.

— Ты бы хоть разделся! — произнёс командир с укоризной, покосившись на него. Бортинженер приоткрыл один глаз, но ничего не ответил. Тогда командир тоже сел в траву и начал расшнуровывать ботинки...

Лаптев Александр Константинович, прозаик (род. в 1960 г. в г. Иркутске). Автор книг: *Звёздная пыль*: [фантаст. повести и рассказы] (Иркутск, 1999); *Как я работал охранником*: повесть (Иркутск, 2004); *Благая весть*: [фантаст. рассказы, повесть] (СПб, 2007); *Как я был...*: автобиогр. дилогия (США, Балтимор, 2010); *Сибирская вендетта*: криминал. роман (США, Балтимор, 2010); публикаций в коллект. сб. и журналах. Канд. технич. наук. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

В первый же выход экипаж нарушил все существующие инструкции и правила поведения на неисследованной планете, но это, к счастью, не закончилось ничем плохим. Скорее наоборот. Местное население оказалось удивительно миролюбивым и добродушным. За всю историю оно не знало ни одной войны и вообще не имело понятия о том, что два разумных существа могут питать друг друга что-нибудь кроме симпатии и любви.

Когда жители ближайшего селения набрали на мирно спящих возле ракеты людей, они не стали шуметь и горячиться, а уселись неподалёку, дожидаясь, когда пришельцы проснутся. То, что перед ними пришельцы, было им ясно сразу. Время от времени к ним спускались с неба в похожих аппаратах разные существа, и жителям теперь не составляло труда сделать правильные выводы, несмотря даже на то, что нынешние гости оказались поразительно похожи на них самих — у них так же было по паре рук и ног, а также голова, заключающая полкилограмма драгоценного серого вещества.

Когда бортинженер, проснувшись и открыв глаза, увидел безмолвно сидящих аборигенов, завёрнутых в широкие разноцветные полосы и чем-то похожих на мумии, он в первую секунду испугался. Но стоило ему получше рассмотреть их смуглые удлинённые лица, встретиться с глазами — кроткими и добрыми, как бояться он перестал. Незнакомое почему, но он сразу понял, что перед ним исключительно добрый и миролюбивый народ. Он растолкал командира, и пока тот продирали глаза, сгонял на корабль за ретрансляторами, которые, кстати сказать, они должны были захватить с собой при выходе на планету.

Последовавший вслед за этим диалог подтвердил верность первого впечатления. После первых же фраз командир признал, что никогда не встречал более приятных и тактичных существ. Наверное, поэтому он согласился оставить корабль и отправиться в гости к местным жителям. Правда, сначала он задрал наглухо входной люк, но он мог бы этого и не делать. Тактичные жители планеты, включая детей и любопытных женщин, никогда бы не полезли в чужой корабль — это просто не пришло бы им в голову.

До поселения было несколько километров, и земляне здорово намучались, пока добрались до места — полёты в невесомости ещё никому не шли на пользу. Аборигены то и дело порывались посадить гостей к себе на плечи, но земляне решительно отказывались от такого необычайного способа передвижения. К вечеру они пришли-таки в местную деревню, расположившуюся на большой круглой поляне возле изумрудного озера; деревня состояла из нескольких десятков хижин, которые правильнее было бы назвать шалашами, образовавшими несколько концентрических окружностей вокруг общего центра — гигантского костра. Земляне пригласили войти в благоухающий цветами и травами шалаш и предложили хорошенько отдохнуть, с тем, чтобы на другой день отправиться в город.

Не успели они толком осмотреться, как принесли на широких глиняных блюдах пищу, с виду напоминающую рис, густо перемешанный с крупным черносливом. Земляне сердечно поблагодарили местных жителей и без ложного стеснения принялись за ужин. Остатки настороженности растворились вместе с остатками чрезвычайно вкусного и питательного блюда.

Утром им сообщили, что они могут следовать в город, до которого ходу полдня, и сразу же принесли нечто, напоминающее носилки — как раз две штуки. Но земляне и от носилок отказались — ещё решительнее, чем от передвижения на плечах, чем заметно расстроили впечатлительных хозяев удивительной планеты.

До города в самом деле оказалось полдня пути. Чего стоил этот путь земля-

нам, можно много не говорить. Если бы не доброжелательные улыбки и не бережливая внимательность спутников, они, наверное, повернули бы обратно.

Но их мучения были вознаграждены. Навстречу им выступила солидная процессия. Когда стороны сошлись и обменялись приветствиями, земляне узнали, что к ним вышел сам правитель города. Причём и правитель и его окружение были таковы, что их никак нельзя было выделить среди остальных жителей; разве что были они радужнее и приветливее остальных, проще одевались и старались никак не выделяться. «Патриархальный уклад!» — не сговариваясь, решили земляне.

В тот же вечер, после короткого отдыха, землян пригласили на праздничный ужин, а также концерт певцов и танцовщиц. После концерта им показали лучшее из того, что имелось в городе, а именно: удивительной красоты цветочные оранжереи с тысячами невиданных цветов, и не менее красивые фонтаны многометровой высоты; густолиственные деревья с роскошными красными и жёлтыми плодами, хрустальные озера и плавающую в них рыбу, которая совершенно ничего не боялась и едва ли не прыгала в протянутые руки аборигенов; среди прочего земляне увидели вытянутый как по линейке строй фигурных домов из полупрозрачного белого камня, которые, видно, были особенно дороги жителям. Но узнать, что находится в этих домах, гости не смогли, поскольку вход в каждый дом был загромождён огромными валунами.

Ночью, приятно утомлённые, земляне лежали в комнате на душистых травяных матрасах, брошенных прямо на пол, и разговаривали в темноте. Сквозь проем в стене, который на Земле обязательно загородили бы дверью, вливался тёплый благоуханный ветерок, с неба светили незнакомые, но чем-то очень симпатичные созвездия. Всё увиденное на этой планете восхитило и озадачило землян. Восхитило их, понятно, добродушие и наивность жителей планеты. А озадачило...

— Ты заметил, — произнёс задумчиво командир, — у них совершенно не развита техника, никакого намёка на технику. Они даже не знают колеса!

— Интересно, — после некоторого раздумья отозвался бортинженер, — а чем они обрабатывают камни для жилищ? Я не заметил ни одного металлического предмета.

— Странно это, — продолжил командир, также после непродолжительного размышления, — они утверждают, что их цивилизация насчитывает тридцать тысяч лет! Неужели за это время нельзя было додуматься до такой ерунды?

— Слушай, командир, у меня есть предложение. Давай расскажем им кое-что. Про колесо, например... — Бортинженер поднялся и сел на матрасе. — Научим их металл плавить. У них ведь тут есть все необходимое.

— Я тоже об этом подумал. Мы за пару дней могли бы им дать мощный импульс! Через тысячу лет это будет совсем другая планета! Ты вспомни, с чего все на Земле начиналось?

— С чего?

— Ну с колеса же! А потом как пошло оно всё...

— Главное сделать первый шаг, а потом уже не остановишь!

Остаток ночи земляне посвятили обсуждению сведений и наук, которые обеспечили бы планете неудержимый технический прогресс. Помимо колеса и способа плавки металла, туда вошли такие полезные и мирные изобретения, как рычаг и зеркало, Лейденская банка и солнечные часы, принципы письменности и земледелия. Кроме этого, было решено прочитать лекцию о законах общественного развития и о строении метagalактики...

Когда план был в общих чертах согласован и роли распределены, на улице уже занимался рассвет.

Предложение провести обучение умнейших и способнейших жителей города основам научного мировоззрения было встречено аборигенами с неописуемым восторгом. В местный театр (лужайку с удобно поднимающимися вверх краями) пришло столько народу, что на другой планете непременно случилась бы давка. Земляне стояли в центре этого подобия амфитеатра, приятно взволнованные, и произносили каждый про себя первую фразу. Первая фраза, по их мнению, должна была если не поразить, то непременно увлечь слушающих. Известно ведь: успешное начало — половина успеха.

И так оно и вышло. Слушатели оказались такими внимательными и покладистыми, что командиром, выступавшим первым, а затем и бортинженером мало помалу овладело исступлённое желание говорить без остановки. Оба почти захлёбывались словами, чувствуя прилив вдохновения от сознания своей исторической миссии. И это вдохновение обеспечило им полный успех! Если бы они записали себя на кристалл памяти, то сами изумились бы запасу и глубине своих познаний, красноречию, искренности и артистизму. И это было бы справедливо. Никакой проповедник не смог бы лучше рассказать о благах и достижениях науки и прогресса, никакой учёный не вскрыл бы так глубоко и верно пользу Знания.

Наградой им была горячая благодарность жителей, воплотившаяся в веницу красивейших букетов и изъявления восторга и признательности.

На следующее утро с сознанием выполненного долга земляне отправились в обратный путь к своей ракете, сопровождаемые многочисленными жителями планеты, многие из которых несли с собой корзины, наполненные местными дарами природы, а также цветы, бусы, развевающиеся ленты и флажки. Шествие проходило очень весело, с непрерывным пением, и длинная дорога показалась всем необыкновенно короткой.

Вечером земляне стартовали. Хотя и не хотелось им покидать гостеприимную планету, но долг звал их в дорогу, предстояло ещё рассчитать обратный курс и задать управляющую программу двигателям.

А жители планеты, простившись с ними и вытерев слёзы с носа и щёк, вернулись обратно в город. Там уже построили новый просторный дом из полупрозрачного белого камня. Дом был более чем просторен! Но так жители выразили своё почтение и уважение к землянам, оказавшимся самыми умными, самыми красноречивыми и самыми искренними из всех существ, посетивших планету. Действительно, дом был слишком велик для тех даров, что оставили земляне: колесо, согнутое из гибкой ветви дерева и связанное тесёмкой, оторванной от комбинезона командира; кусочек металла, выплавленный на глазах у всех находчивым бортинженером; Лейденская банка, от которой в первую минуту сыпались красивые голубые искры; деревянные палочки для добывания огня; лист синтетической бумаги с буквами алфавита и несколькими словами, и ещё один, показывающий строение галактики M1652; карманное зеркальце и увеличительное стекло...

Всё это богатство жители аккуратно сложили на травяном полу нового дома и, выйдя наружу, завалили вход огромными камнями.

Камни служили преградой для какой-нибудь непредвиденной силы, могущей уничтожить дорогие их сердцу предметы. А жители не хотели быть неблагодарными. То, что им подарено, должно быть сохранено, должно быть передано последующим поколениям как бесценная реликвия и священный дар! Каждое

поколение жителей планеты строило свой дом, куда складывало дары небожителей. К их чести, за всю историю ни один из них не пропал и не был повреждён. И никто теперь не знал, что хранится во множестве домов, сложенных из красивого белого камня; лишь устные рассказы, благоговейно передаваемые из поколения в поколение, свидетельствовали о полной событий и невероятных чудес истории планеты — планеты, которую они так любили, история которой была историей их жизни.

И жителям оставалось только слагать стихи и петь песни о добрых богах, приходящих с неба и дарящих им свои чудеса!

Фонарь на солнечных батареях

Рассказ

Глубокая осень...

Я один на даче. И порою мне даже кажется, что и во всём мире я остался один. Так тоскливы, длинны вечера, так настороженна тишина, что хочется только одного — поскорей провалиться в спасительный сон. Однако сон, как правило, долго не приходит...

Утром, когда в дом пробирается уже не ранний бледный свет, я после завтрака сажусь за стол у окна, из которого и сочится этот вяловатый свет, и смотрю то на ровно запорошенную ранним снегом плавную округлость горы, стекающую вниз к Байкалу, то на голые печальные деревья, на чёрный — от свирепых, с белой пеной, волн — Байкал, окруженный мрачными, молчаливыми горами, и пытаюсь перенести своё душевное состояние на бумагу...

Я как раз намеревался написать рассказ об одиночестве... Однако не сумел. Может быть, оттого, что мысленно всё время возвращался в мелькнувшее пером Жар-птицы нынешнее лето. А может, оттого, что обнаружил, что я на своей горшке, среди этого предзимья, всё же не один...

* * *

Моя жена Наталья принадлежала к тому весьма редкому ныне, в наш прагматичный, меркантильный век, типу людей, которые с раннего детства верят сказкам. А те, как известно, весьма неохотно приживаются к древу обыденной жизни...

Однажды в августе, уже на исходе лета, приехав в пятницу с последним паромом на дачу, где я имел счастливую возможность жить с июня, она привезла новую, восхитившую её «игрушку» — фонарь на солнечных батареях.

— Ты представляешь, он заряжается непосредственно от солнца! — восторженно объяснила она, вынимая сию диковинную вещицу из небольшой цветной коробки. — А потом может всю ночь светить. Здорово, правда?! Это какие-то бывшие военники-самолётостроители придумали!

Максимов Владимир Павлович, прозаик, поэт (род. в 1948 г. в пос. Кутулик Аларского р-на Иркутской обл.). Автор книг прозы: *Морозный поцелуй* (1998); *Формула красоты* (Иркутск, 1998); *В то лето* (Иркутск, 2004); *Не оглядываясь назад*: роман (Иркутск, 2005); *Предчувствие чудес*: повесть, рассказы: (Иркутск, 2008); *Куда всё это исчезает*: повесть, рассказы (Иркутск, 2010); поэтич. сб.: *Парижская тетрадь* (Иркутск, 1996); *Сестра моя осень* (Иркутск, 1999); *Памяти солнечный зайчик* (Иркутск, 2007) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Я не стал задавать Наталье вопросов ни о цене фонаря, ни о его практической целесообразности, потому что считал и считаю — надо стараться не огорчать людей вообще, а в минуты их восторга — тем более.

— Завтра всё посмотрим, — ответил я. — Умывайся — будем ужинать. Я картохи нажарил, и рыбка у меня копчёная к твоему приезду заначена.

Надо сказать, что летом, особенно в выходные дни, нам редко выпадает желанная возможность побыть вдвоём. К полудню, в субботу, когда я по обыкновению топлю баню, обязательно объявится кто-нибудь из наших городских друзей, да ещё, как правило, не один... Может быть, именно поэтому я так ценю эти тихие, спокойные, неспешные пятничные вечера...

Народ же к нам стекается по разным надобностям: кто отдохнуть от городского шума и суеты; кто от души попариться в баньке — понежиться на горячем полке, похлестать себя берёзовым веничком; кто ради общения, когда ввечеру все соберутся на веранде, за круглым столом, разомлевшие от приятного банного жара, в лучах предзакатного солнца, за рюмочкой водки или домашней настойки на травах или бутылочкой-другой пивка — весёлым разговорам тогда нет конца! Да и сметаётся всё — какая-нибудь немудрящая еда: тушёнка с фасолью и луком, яичница с ветчинной колбасой и обязательным к любому блюду салатом — в большой керамической, ярко-жёлтой миске, больше похожей на маленький тазик, — тоже весело, с шутками, спором...

Кроме друзей из близлежащих городов — Ангарска, Иркутска, Байкальска, — приезжавших обычно лишь на выходные, кто-нибудь непременно гостил у нас, в двух комнатах на втором этаже, над домом и верандой, и из дальних мест — Минска, Питера, Москвы, Омска, Новосибирска. Друзья, приятели, знакомые знакомых... Коллеги — по совместным научным проектам жены, в основном, иностранцы. Из Японии, Франции, Канады, Польши...

— Что-то тихо у нас? — спросила Наталья, накладывая в свою быстро опустевшую тарелку ещё несколько картофелин и два аппетитных куса жирного копчёного омуля. — Ужели никто не живёт?

— Живут, — отвечал я, понимая, что ей очень хочется ещё хоть перед кем-то похвастать своей чудесной «игрушкой». — Лиза, — продолжил я, — очень славная симпатичная девушка, осьмнадцати годов, внучка нашего известного краеведа Ивана Ивановича Козлова, и её жених Владимир. Лизанька ему постоянно что-то готовит, поскольку молодой человек отличается завидным аппетитом. Они сегодня поздно отобедали и уже часа три назад отправились прогуляться к Маяку. Наверное, решили с горы полюбоваться закатом. Хотя, по-моему, им просто хочется побыть вдвоём, без посторонних глаз. Они даже ходят всё время держась за руки.

— Любопытно взглянуть на этих счастливицев.

— Кстати, я уже приглашён на свадьбу, которая должна состояться в декабре нынешнего года в городе Омске, — продолжил я информацию о гостях.

— Поедешь? — рассеянно спросила Наталья, и я понял, что её голова занята уже иными мыслями. Скорее всего, кандидатской диссертацией очередного аспиранта, которому «надо срочно помочь» и с бумагами которого она прибыла на дачу.

Такова уж моя супруга, как только она утоляет голод, — а ест она всегда неважно что с завидным аппетитом, — тут же начинает думать о делах. Вот и сегодня, когда я встречал жену на причале, взяв её рюкзак — поинтересовался, почему он такой тяжёлый?

— Да так, захватила из института кое-какие папки, чтоб поработать в выход-

ные. Надо помочь моему непутёвому аспиранту Саньке диссертацию поправить (в реальной жизни это, почти наверняка, означало дописать), я же всё-таки его руководитель...

На следующий день Лиза с Володей, коих Наталья так и не узрела, потому что накануне они вернулись поздно, а утром поднялись очень рано, чтобы успеть на первый паром, уехали в Иркутск «встретиться с дедом», а заодно и город посмотреть. К нам же, к полудню, нагрянули друзья: Нина Матвеевко — тренер по стрельбе из лука, с которой я когда-то вместе тренировался, и Витя Егоров — физик, наш друг ещё с весёлых студенческих лет.

Наталья, с неохотой оторвавшись от своих бумаг (всё-таки отдыхать по-настоящему она никогда не умела), спустилась со второго этажа и стала показывать Виктору как специалисту, изучающему «солнечный ветер», фонарь.

Вместе они и установили его на естественной круглой полянке перед домом.

Он представлял собой следующую конструкцию: прозрачная полусфера с чёрным пластмассовым ободком по верхней части и такая же черная прочная пластмассовая складная ножка примерно полуметровой высоты, — с четырёхгранным заострением наподобие копыя — для втыкания в землю.

Честно говоря, я отнёсся к Натальиной затее вообще и к данному сооружению в частности весьма скептически. Особенно после того, как они с Виктором прочли в инструкции, что «изделие не рекомендуется размещать во влажных местах».

— Что же, в дождь всякий раз его надо будет из земли выдергивать, что ли? — поинтересовался я, невольно слушая их хоровое чтение.

— погоди, мы ещё не дочитали до конца, — отмахнулась от моего вопроса Наташа и, в свою очередь, поинтересовалась у Нины, что-то готовящей у газовой плиты в углу веранды, нужно ли ей чем-нибудь помочь?

Нина готовила на ужин курицу в чесночном соусе с кабачками и традиционно ответила, что ей лучше не мешать.

— Фонарь автоматически включается в тёмное время суток, — продолжал вопиюще Виктор, — и при выполнении всех предписаний зарядки его батарей должно хватить на десять-двенадцать часов непрерывной работы, при условии... — Снова следовал целый ряд указаний о том, что в идеале фонарю для полноценной подзарядки желательны безоблачные солнечные дни, а «заряжающие элементы, находящиеся в верхней части под прозрачным куполом полусферы, надо стараться направлять в сторону солнца», — с чувством выполненного долга закончил он чтение брошюры.

«В общем, полный бред, — мысленно отметил я про себя. — Возни с этим фонарём, похоже, гораздо больше, чем проку». Вслух же я произнёс совсем иное:

— Витюша, пошли-ка лучше в баню, думаю, что жара там уже достаточно. А после нас — барышни пусть топают. Надеюсь, что и им пара хватит. А там и ужин с «горилкой» подоспеет. Красота!

Часа через три чистые, раскрасневшиеся после парилки, мы четвером сидели на веранде за нашим старинным удобным круглым столом и с аппетитом ели ароматное куриное мясо с овощами, не забывая при этом наполнять рюмки себе — тем, что покрепче, и — стаканчики дамам, тем, что послабже. Тосты при этом произносились затейливые, иногда полушутливые по отношению к кому-нибудь из сидящих за столом, но обязательно весёлые! Женщины на сей раз пили настойку «Рябина на коньяке», а мы — «Охотничью» — сорокапятиградусную, запивая её ещё и прохладным пивом.

Незаметно к окнам веранды с обратной стороны подкрались сумерки.

И вдруг (это случилось так неожиданно) мы увидели, как на поляне, точно большой светлячок, каким-то нереальным, синевато-звёздным светом зажётся фонарь.

— За это стоит выпить! — воскликнул Виктор, наполняя Натальин и Нинин стаканчики «рябиновкой».

— Да уж! — поддержал его я, наполнив и наши рюмки.

— Ну, за науку! — произнесла тост Наталья, приподняв свой стаканчик.

— Да будет свет! — вставила Нина.

— За «солнечный ветер»! — добавил Виктор.

Мы чокнулись и дружно выпили, неизвестно отчего — от дружеского ли застолья, от баньки ли или от нечаянного света на полянке за окном, — ещё больше развеселившись.

— Ну, что я говорила! — победоносно произнесла Наталья.

Среди ночи я потихоньку, чтоб не разбудить её, встал с постели — попить воды. Приоткрыв шторку окна, увидел, что фонарь не светит. Зато по всему небу блистают мириады звёзд! А на другом берегу Байкала жёлтыми россыпями сверкают огни двух городов: Слюдянки и Байкальска.

«Что и требовалось доказать», — без злорадства, и даже с неким сожалением, подумал я о фонаре, снова забираясь под одеяло. «Да, если бы Наталья занималась не наукой, а, скажем, коммерцией — она бы наверняка из ста начатых ею мероприятий в двухстах как минимум (то есть, в одном деле по несколько раз) потерпела б неудачу».

* * *

А потом как-то незаметно кончилось лето... Минул сентябрь — в своём чудесном лоскутном наряде, с тёплой солнечной погодой, которая обычно и бывает на Байкале в это время.

Гостей приезжало уже не так много, как летом, когда порою мы не знали, где всех разместить. И потому кому-то из вновь прибывших приходилось ночевать в большой шатровой голубого цвета восьмиместной палатке, поставленной на всякий случай всё на той же полянке. Невдалеке от выложенного по кругу плоскими природными камнями очага, в углях которого мы частенько пекли вечерами картошку, сидя рядом с огнём на раскладных стульчиках, или готовили мясо. В нескольких шагах от очага стоял теперь на своей единственной ноге, как оловянный солдатик из сказки Андерсена, ещё и фонарь, к существованию которого все быстро привыкли и который почти уже не замечали...

И когда я как-то пасмурным и серым днём убирал из очага в ведро весь пепел нынешнего лета, вспомнив, как весело и многолюдно бывало здесь ещё совсем недавно — сколько смеха звучало у костра и вокруг него — мне стало вдруг так нестерпимо грустно. И оттого, что всё уже прошло, и оттого, что я теперь здесь был совсем один. Наверное, именно тогда и пришла мне в голову мысль написать рассказ об одиночестве... Продолжая складывать пепел уже во второе ведро, я вспоминал людей, сидевших здесь, у живого огня, и вечерами и днём...

Припомнился приезд из Японии, на несколько дней, профессора Вада-сана с сыном... А из другого края земли — журналиста из Варшавы, с переводчицей; он появился уже в конце сентября... Тогда на даче я остался один, подчищая какие-то свои «летние хвосты». Янек взял у меня интервью и для польского радио, и для какой-то газеты, прямо у костра, записывая на диктофон заодно и неспешное приятное потрескивание горящих поленьев, и своеобразный шум пламени —

то погуживающего от низового прохладного осеннего ветра, то умолкающего на какие-то мгновенья.

Жаль, что он не мог зафиксировать на свой миниатюрный диктофон ещё и какую-то мягкую темноту, сгустившуюся вокруг костра, и шатёр звёздного неба с таинственно мерцающими огромными звёздами, усеявшими всё вокруг, и словно обнимающий и нас, и наш одинокий костерок...

Высыпав в компостную яму в дальнем углу не маленького нашего участка золу, я подумал: не убрать ли мне заодно и фонарь? Но потом отчего-то раздумал. А может, просто забыл, занявшись дровами, которые перетаскивал из подсобного помещения под домом, в ларь на веранде, будто предчувствуя, что вот-вот нагрянет непогода и на улицу без особой надобности выходить не захочется.

Предчувствие меня не обмануло. Уже на следующий день зарядил нудный дождь, смыв оставшиеся в низинках лоскутки снега. К тому же дождь сопровождался ещё и холодным ветром, который иногда пробрасывал пригоршнями нового снега.

Стало холодно, хмуро, тоскливо. И порой начинало казаться, что солнце вообще позабыло о нас. И людскому племени не суждено уж больше ни видеть его, ни ощущать тепла его лучей, таких приятных, ласковых, как руки матери...

Я с горькой усмешкой припомнил, как в конце сентября — начале октября наслаждался тёплыми деньками и одиночеством... Теперь же оно начинало меня тяготить.

Обычно с утра я затапливал печь и, сидя в окутывающем тебя приятном, разливающимся по дому тепле, за столом с разложенными на нём после завтрака бумагами, смотрел на белопенные, плавно загибающиеся книзу высокие гребни волн Байкала, вода в котором, ещё совсем недавно отливавшая небесной синью, стала почти чёрной, словно старик очень гневался на что-то иль кого-то.

Писалось вяло. А точнее сказать — не писалось почти вообще. И если тепло мне худо-бедно давала печь, то отсутствие естественного света тяготило. И отчего-то всё чаще стали грезиться светлые, чистые, промытые летними быстрыми ливнями города со счастливыми людьми. И яркий свет фонарей этих несуществующих в реальной жизни городов манил к себе.

На следующий день я быстро собрался и уехал в город со знакомым шофёром Славой, который возил на нашу горюшку гравий, мешки с цементом, кирпич, песок — для строящегося неподалёку православного храма Преображения Господня.

Как мы и договорились накануне, он посигналил (хотя и без того был слышен за стеною рёв мотора), когда проезжал мимо. И я, по-быстрому сделав что-то неотложное и заперев дом, вышел на дорогу, проходящую в двух шагах от нашей изгороди. На обратном пути, после разгрузки, занимающей обычно минут тридцать, он захватил меня.

Когда его здоровенный японский пятитонник вместе с нами, удобно расположившимися в просторной кабине, спустившись с горы, въезжал на паром, тот заметно осел, будто собираясь полностью погрузиться в воду. С высоты кабины это ощущалось особенно явно, и становилось как-то тревожно.

Я вылез из машины, сказав Славе, что хочу подышать свежим воздухом.

На палубе мне встретился знакомый художник, у которого в этой деревеньке тоже был небольшой домишко. Пряча лицо от холодного ветра и прикрывая пол куртки сигарету, он курил, стоя у невысокого борта.

— На зимние квартиры? — поинтересовался он, приветливо улыбаясь.

— Не знаю. Может, ещё и вернусь, — почти не веря своим словам, ответил я, повернувшись, как и он, спиной к ветру.

— А я съезжаю, с последним своим добром, — кивнул он на объёмную самодельную тряпичную сумку, стоящую у борта, в которой угадывались квадратные предметы разных размеров. — Света стало мало, да и цвета ушли, — после нескольких затяжек добавил он. — Лист весь почти сбило...

Паром мерно покачивало, но иногда он начинал опасно крениться то на правый, то на левый борт, и порою казалось, что грузовик от такого крена может вот-вот сползти с палубы, пробив хлипкое ограждение, в воду. «А следом за ним и паром перевернётся, как скорлупка», — возникала пугающая мысль. И от подобных размышлений сразу становилось ещё холоднее, и хотелось скорее сойти на берег. Однако это оказалось не таким простым делом даже тогда, когда наша посудина вплотную подошла к причальной стенке. Волны то поднимали, то опускали плоскодонный паром, и тяжёлая машина никак не могла съехать на бетонные плиты, уложенные на берегу.

— Всё! Спячивай назад! — наполовину высунувшись из двери рубки, расположенной наверху, прокричал капитан. — Штормовое передают! Надо скорее возвращаться...

Грузовик, натужно урча, будто из последних сил, всё-таки сумел съехать с парома. Причём в какой-то момент, когда его передние колёса уже находились на причале, а задние ещё оставались на спускаемой с носа посудины металлической «лопате», показалось, что его сейчас просто переломит пополам...

* * *

При въезде в город мы попали в огромную пробку и больше стояли, чем двигались, вдыхая отвратительную смесь, состоящую почти на сто процентов из выхлопных газов автомобилей, нескончаемым потоком выстроившихся впереди и позади нашей машины.

Шофёр высадил меня на конечной остановке автобуса: «Аэропорт». Вскоре я сел в подошедший автобус, следующий как раз мимо моего дома. Уже на ближайших остановках салон автобуса заполнился людьми до отказа...

И всё это время, и когда я ехал через город, и ещё дня два потом (всё-таки я четыре месяца прожил безвыездно на Байкале), меня не покидало чувство, что я попал в дурдом... Всё, что мельтешило, мелькало вокруг, особенно на улице, а вечером дома, на экране телевизора, казалось лишенным какого бы то ни было здравого смысла и логики жизни. Все невероятно спешили, и всем при этом не хватало времени.

«Да, и там, на даче, я один не могу, и здесь, в Иркутске, вряд ли поработаю», — размышлял я, сидя по утрам за письменным столом.

Прожив в городе несколько дней, вновь засобирился в деревню...

— Я поеду с тобой, — заявила за ужином Наталья. — У меня ещё осталось несколько дней отпуска. Нечего тебе там одному сидеть. Буду хоть супчик варить. Да и сама заодно кое-что обдумаю в тиши.

Договорились, что на следующий день она придёт с работы пораньше, чтобы нам успеть на четырёхчасовой паром. Но Наталья, впрочем, как обычно, задержалась, и мы едва успели на последний, шестичасовой.

Над Ангарой, как в трубе, зло выл ветер. Лицо кололи застывающие на лету капли редкого дождя...

Хотелось поскорее в дом, в тепло, к печке.

На свою горушку мы поднялись уже в плотных сиреневых сумерках и, подходя к даче, ещё издали увидели кружочек синеватого света.

Не подчиняясь закону всеобщего мрака — коротких дней и длинных, тоскливых ночей — светил, казалось, вопреки здравому смыслу, забытый мною на полянке перед домом фонарь на солнечных батареях! Было совершенно непонятно, от каких крох невидимого света сумел он зарядиться в сей хмурый и ненастный день. Однако он светил! И его преданности свету оставалось только подивиться.

— Ну, что я говорила! — весело произнесла Наталья, шмыгнув покрасневшим носом и кивнув в сторону уже видимого фонаря.

И глядя на этот волшебный свет, я вдруг припомнил, как пытался отгородиться от внешней темноты, плотно задёргивая с вечера занавески в доме, когда жил один. И как однажды, в особенно тоскливую, бессонную ночь, подошёл к окну, решив взглянуть — не вызвездело ли там, наконец, после столь затяжного ненастья? Слегка сдвинув шторку, я увидел такой же вот синеватый нереальный свет.

Помню, что не стал до конца задёргивать шторку, ибо мрак был посрамлён. Не удалось ему сомкнуть своё зловещее кольцо полной черноты. Именно тогда я почувствовал, что на горе не один.

Отойдя от окна, я снова улёгся в постель, укрылся лёгким тёплым одеялом и тут же уснул.

И мне приснилась золотая осень...

А утром я увидел яркий солнечный свет, проникающий в просвет, где не до конца была задёрнута шторка. Он играл весёлыми бликами на крашеном полу и белой стене печи. И мне почему-то подумалось, что это нашему фонарю удалось всё же пронзить своей «иглой» многокилометровую толщу мрака. И именно поэтому оттуда брызнул свет.

На даче с женой мы прожили почти неделю. И это была такая славная неделя!

Дни стояли морозные, но солнечные. Иногда сыпал редкий снежок, выбеливая почему-то лишь извилистые тропинки нашего участка. Окна по утрам украшались причудливыми морозными узорами. Вода в бочках, под желобами дома и бани, покрывалась толстой коркой льда, внутри которого, казалось, застыл туман.

Я вставал первым. Шлёпая босиком по холодному полу, подходил к печи и, чиркнув спичкой, поджигал уложенные в ней с вечера растопку и дрова. Кипятил в эмалированном чайнике воду, заваривал чай. Резал батон и сыр...

Наташа, уже проснувшись, ждала, лёжа в постели и перебрасываясь со мной отдельными фразами, когда дом прогреется. А поскольку дом у нас совсем маленький: четыре на четыре метра — ждать ей приходилось недолго.

Спустившись по лесенке с нашей двухъярусной кровати, она умывалась за печкой, у звонко капающего в таз умывальника, и мы принимались завтракать. Пили кофе. Или — свежесваренный чай с деревенским молоком, больше похожим на сливки. Беседовали о всяких разностях. Наблюдали, между прочим, как за окном стая неугомонных пичуг лакомится съёжившейся ягодой черёмухи, обильно усыпавшей голые ветви.

После неторопливого завтрака, прибрав посуду, под приятное гудение сгоравших в печи поленьев, каждый в своём углу, работали...

После обеда шли за водой на Серебряный ключик, на обратном пути заходя в магазин.

До ключа было километра три. И заросшая травой, теперь уже совсем пожухшей, дорожка к нему по-прежнему слегка пружинила, что было приятно, и вилась вдоль Байкала, что было ещё приятнее, плавно плещущего (словно вздыхающего) волнами.

С раскрасневшимися лицами, бодрые, возвращались в тёплый дом и до ужина каждый занимался теперь какими-нибудь хозяйскими делами, которых всегда немало наберётся в любом деревенском доме. То надо что-то починить, то наколоть дров, то подбелить печку, то... Да мало ли чего ещё надо сделать по дому, если вы хотите, чтобы он всегда или хотя бы как можно дольше находился в хорошем, комфортном для проживания в нём состоянии.

Часов в семь, в ранних сумерках, мы ужинали за круглым столом, перенесённым в дом с веранды, где было уже холодно, особенно по утрам. Беседуя, время от времени бросали взгляды на фонарь, по-прежнему стоящий на полянке «оловянным солдатиком», который штыком своего ружья грозит всему злему, недоброму, тёмному... После ужина — часа два читали перед сном. Иногда обсуждали прочитанное. И, может быть, от этого нам снились одинаковые сны...

Порою к нам на огонёк заглядывал «сосед по имению» — путешественник, несколько дней назад вернувшийся с Аляски. И тогда наши разговоры продолжались далеко за полночь, и утром мы просыпались позже обычного...

А в конце недели, в «банный день», приехал сын поздравить нас с очередной, 27-й годовщиной свадьбы, о которой мы не то чтобы забыли, но как-то особо не вспоминали, может быть, боясь спугнуть нашу такую долгую совместную удачу, когда кажется, что всё началось лишь недавно. Нешумная свадьба, рождение сына, увы, единственного, хотя мечталось иметь не меньше трёх детей...

Тот вечер, сначала от души напарившись в бане, мы провели втроём, поскольку наш ближайший сосед ещё днём, закрыв все ставни, уехал в город. Но нам и без его интересных рассказов о разных диковинных местах и странах было так чудесно!

На следующий день и нам предстояло уезжать.

С утра мы с сыном, разбив кувалдой толстую корку льда, слили из бочек воду, прибрались в бане и на участке, устроив большой костёр, в котором сгорело всё ненужное, отжившее свой срок.

Когда я принёс в дом фонарь, Наталья как раз заканчивала «предзимнюю» уборку. Разобрав фонарь, мы положили его в небольшую картонную коробку из-под обуви, бережно обернув перед тем мягкой фланелевой тряпицей. Очень уж нам хотелось, чтобы ему было тепло и уютно ожидать нас до следующего лета, когда мы вновь все соберёмся здесь.

Выборы

Рассказ

Не проспять бы. Завожу будильник, которым никто в нашей семье не пользуется. Звонит ли он? Помнится, то ли он звонит в положении лёжа, то ли идёт в этом положении... Я — член. Член участковой избирательной комиссии. А завтра выборы.

Всё-таки проспал. На избирательном участке все, кроме председателя, то бишь директора школы. И есть уже одна избирательница — древняя старушка из соседнего дома.

— Всю ночь не спала, — доверчиво рассказывает она комиссии. — По телевизору сказали, что в час ночи надо часы переводить. Ждала. Потом не могла уснуть — хотела первой прийти на участок. Всё-таки я первая! — радостно закончила она свою историю.

— Нет! — по-спортивному бодро доложил Виталий Викторович. — Первым здесь был я.

В комиссии нас трое мужчин. Виталий Викторович — наш физрук, я — учитель технологии, Иван Григорьевич, по прозвищу Баянист, — учитель музыки. Для любой комиссии трёх мужчин предостаточно, но, правду надо сказать, в нашей школе их больше и нет: всех извели перестройка, гласность и новое мышление. У каждого члена комиссии есть неписанные обязанности. Я отвечаю за установку кабин, за исправность переносных урн, за вывешивание плакатов и флага — за всё, что нужно прибить или перенести. Даже если нужно подвинуть стол, то сразу же раздаётся чей-нибудь капризный голос: «Николай Петрович...» Виталий Викторович — за музыку, вернее, за школьный магнитофон. Дело, конечно, не в музыке — магнитофон мог бы включить и Баянист, Виталий Викторович — непревзойдённый мастер по организации застолья. Если у каждого кандидата есть цель — пролезть куда-то, то у нас апофеоз выборов, главная цель и смысл этой кампании — хороший банкет. А без Виталия Викторовича банкет не банкет, а жалкая студенческая пирушка или праздничная трапеза для братьев и сестёр в православном храме во время поста. Он один знает качество любой водки, где и какая продаётся. «Стоп, мужики, — говорит он, — эту водку не пить. На заводе сменился поставщик спирта». Мы и не пьём.

Баянист нас возит, вернее, ездит с переносной урной по квартирам, обитатели которых уже не могут передвигаться, но обязательно хотят исполнить долг — отдать свой голос за какого-нибудь прохиндея. Надо сказать, Иван Григорьевич

Московских Николай Васильевич, прозаик (род. в 1947 г. в с. Московское Братского р-на Иркутской обл.) Автор книги *Местные рассказы*: рассказы (Братск, 2007), публикаций в коллект. сб. и журналах. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

получает в этот день приличные деньги. У нас же всех получается чисто спортивный интерес.

Председатель Галина Иннокентьевна, она же директор, ни за что не отвечает. Она нами руководит. Всю же техническую работу ведёт Света, секретарь комиссии, она же и секретарь директора школы. Она одна знает все тонкости закона о выборах, консультирует нас, разрешает все спорные вопросы, держит связь с окружной комиссией, отчитывается перед ней и выводит нас из ступора, это когда Галине Иннокентьевне надоест восседать за председательским столом и она возьмётся за своё привычное дело — дезорганизацию хорошо отлаженной работы.

Галина Петровна — учитель биологии, очень ответственный человек. У неё работа всегда на первом месте, если даже работа эта никчёмная или вовсе ненужная. Она уже на пенсии и очень боится, как бы её не выперли при очередном сокращении штатов. Отвечает за картошку.

Людмила Ивановна — учитель начальных классов, самое непрочное положение в современной школе. Но никому и в голову не придёт, что её могут уволить. Все, начиная с начальника департамента образования и заканчивая уборщицами, в школе знают, что она лучший учитель. Она сделала уже столько выпусков, что чуть ли не полгорода — её выпускники, то бишь третьеклассники.

У Людмилы Ивановны есть сын Денис, пудель Мартын, кот Базилио. По пятнадцать часов мы старательно слушаем истории о них. Базилио вовремя то ли сдох, то ли сбежал. О Денисе теперь она помалкивает: наверное, выперли из очередного СПТУ, тьфу... лица. Ну, одного Мартына мы как-нибудь вытерпим. Людмила Ивановна отвечает за салаты. У неё самые вкусные салаты. Правда, я их никогда не пробовал: инстинктивно держусь подальше от всего самого-самого.

Зоя Юрьевна — заместитель председателя комиссии, она же заместитель директора школы, она же учитель русского языка и литературы. Ей уже за сорок, а по уму и чувствам она — Наташа Ростова из романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Она всегда куда-то уезжает, откуда-то приезжает, кого-то встречает, кого-то провожает, кем-то восхищается, кем-то возмущается. Ездит с переносной урной. Эмоции бьют её, как лихорадка.

Елена Владимировна — со стороны, она член ЛДПР, но что странно, насколько не похожа на Жириновского. Спокойна и рассудительна, и, похоже, выборы — её главная работа в партии. Виталий Викторович поставил её в затруднительное положение, спросив: ЛДПР — это левая или правая партия? Интересно, а как бы решил эту дилемму сам Владимир Вольфович?

Все наши дамы незамужние. Так уж получилось. Поэтому их хлебом не корми, дай послужить какому-нибудь общественному делу.

Света нас рассказывает, выдаёт списки, бюллетени, ручки, карандаши. Мне повезло: сижу между Галиной Петровной и Баянистом. Ивану Григорьевичу повезло меньше. По другую сторону от него — Людмила Ивановна, которая, когда устанет от повествований, уплывает в неведомую даль, мило разрешив своим соседям работать за себя.

Не прошло и часа, как потянулся народ, вернее, старики и старушки. Они одни как-то ориентируются в хитросплетениях демократических выборов. Никто из них не читает жизнеописаний кандидатов: видимо, чтобы глаза не портить. Голосуют то за молодых, то за наших, то есть родившихся в нашем городе, то за женщину, если таковая обнаруживается в списке, то за тех, кто им помогать будет. Как они это чувствуют — кто им будет помогать, а кто нет — уму

непостижимо. И все поголовно ждут нового Сталина. Откуда он может взяться — тоже загадка.

— Здравствуй, сынок!

— Здравствуйте, — лихорадочно открываю паспорт, — Иван Силантьевич.

Иван Силантьевич в синем костюме в полосочку, в комнатных тапочках, брюки заправлены в носки.

— Где молодые-то? Спят. Я вот ни одни выборы не пропустил.

«Ну, сейчас начнётся. Вспомнит, в каком году в город приехал, что построил, что пустил».

Но Иван Силантьевич не думал слезать со своего конька.

— Какие выборы были раньше! Флаги. Музыка играет. А сколько продуктов завезут! Нет, теперь не выборы, а похороны: зашёл в буфет — одни огурцы из «Пурсея», дороже колбасы.

«Ну, это Вы зря, Иван Силантьевич. Наш мэр бросил клич: каждому жителю по торговой точке, и все бросились торговать. Все продают. Скоро продавцов станет больше, чем покупателей. И если их нет на избирательном участке, значит, не наступило ещё время для покупок, а что покупать и когда — они знают лучше нас с вами».

Иван Силантьевич взял бюллетень и напрямик направился к одной из наблюдательниц.

С приходом демократии появились новые профессии: сборщики подписей, расклейщики плакатов, наблюдатели, пиарщики, разносчики агитационного материала — все с выпученными глазами, как у дилеров пищевых добавок, и все бьются за лучшую жизнь. Обыватель голосует, голосует и никак не может взять в толк, стал он жить лучше или хуже.

— Нет-нет! Ко мне нельзя! — закричала женщина.

— Ну и люди пошли, — удивился дед. — И поговорить-то не с кем.

К Людмиле Ивановне, когда она мистически рассматривала свои ногти, то ли обнаружив в них изъян, то ли привлекая таким образом внимание к своей персоне, подошли сразу трое.

— Ой, какие умочки, — запела она. — Сразу все пришли.

Она готова была их погладить по головкам. (А может, это её выпускники?)

Галина Петровна серьёзно объясняет молодой паре, как ставить крестик или галочку. У учителей с годами вырабатывается бзик: ко всем людям относиться как к ученикам, которые, если за ними не проследить, непременно что-нибудь забудут, испортят, сломают.

Молодые отошли к окну и стали гадать, как в «Поле чудес». Это когда Якубович спрашивает, какая буква в этом слове, и назови любую, как бес закричит: «Нет такой буквы в этом слове!»

Молодые отгадали и пошли в кабину. «Господи, есть же счастливые люди!»

Вдруг наступила мёртвая тишина. На участок зашла неприметная на первый взгляд женщина. Галина Иннокентьевна и Света сразу соскочили со своих мест и бросились её встречать и что-то зашебетали на своём женском языке. Это была небезызвестная Иванова, учительница из 12-й школы, которая постоянно куда-то баллотировалась и, что интересно, всегда избиралась. В нашей школе её не любили. Говорили, что если не хочешь учить, так иди, как все, продавцом в ларёк или кондуктором в троллейбусный парк. А то, смотри-ка, тоже во власть лезет, наши интересы защищать — защитница нашлась. Иванова мельком окинула нас взглядом, за доли секунд просветив каждого насквозь. Стало как-то неуютно и тоскливо. А что, если это и есть новый Сталин?

После Ивановой как отрезало... Никого нет.

Зоя Юрьевна захотела музыку. Виталий Викторович забыл дома кассеты.

— Иван Григорьевич! — вдруг неожиданно распорядилась она. — Несите баян.

Баянист дёрнулся, как будто его пнули в причинное место. Музыка надоела ему хуже горькой редьки. И он всё мечтает перейти на труды. Но мой напарник, вернее, напарница Галина Ивановна, цепко держится за технологию для мальчиков и, чтобы никто не усомнился в её способностях, дошагала уже до высшей категории.

Иван Григорьевич с надеждой посмотрел на Галину Иннокентьевну. Галина Иннокентьевна, следуя своей директорской привычке: кто бы что ни попросил — сразу отказать, вежливо приказала:

— Несите!

Репертуар у Баяниста был исторический, за что он постоянно подвергался упрёкам со стороны администрации и унижительной травле со стороны учеников. Он заиграл «На сопках Маньчжурии». Зоя Юрьевна пригласила Людмилу Ивановну, и они самозабвенно закружились в вальсе. Хорошо, что нас не выхватили из-за стола. Мы ненормальные. Нормальный мужик, считает Людмила Ивановна, в школе работать не будет. Они быстро задохнулись и сели на место. «Нет, — подумал я, — таким толстым замуж не выйти. Надо ждать, когда мода изменится. Но в этом веке навряд ли».

Танцы не получились. Зоя Юрьевна попросила сыграть что-нибудь наше. Иван Григорьевич заиграл. «Чуть охрипший гудок парохода...» — запели Зоя Юрьевна с Людмилой Ивановной. Чуть помедлив, подхватила и Галина Петровна. Но когда баянист заиграл «Парня полюбила на свою беду», вступили и директор со Светой. С 212-го участка пришла председатель и влилась в наш песенный коллектив: «Не могу открыться, слов я не найду...» Редкие зрители, то бишь избиратели, застревали в дверях: туда ли они попали. Не пели только наблюдатели: тяжело набычившись, они следили за развитием событий (что это провокация, они, видимо, не сомневались). Потихоньку слиняли милиционеры с пожарным. Мы с Виталием Викторовичем с удовольствием смотрели спектакль. Нам, слава богу, петь не обязательно: у нас, хоть в этом повезло, слуха нет.

У Зои Юрьевны родилась новая идея — пригласить к нам телевидение. «Ну даёт! Там, наверное, со смеху умрут».

Но там никто не умер, и скоро съёмочная группа телекомпании «Мы» «работала» на нашем участке. Вся незамужняя женская часть 212-го, побросав свои рабочие места, голосила вместе с нашими. Песенный фестиваль иссяк перед обедом. Зоя Юрьевна, наэкзальтировавшаяся до слез, отказалась от поездок по квартирам. Отправили меня с Баянистом.

Зрелище печальное. Знаменитые когда-то строители, металлурги, лесохимики, брошенные государством и родственниками, влачили жалкое существование: квартиры не ремонтировались со времён Брежнева, в подъездах свалки из отходов, стены отражают новый стиль жизни, который может поставить в тупик обитателей мест не столь отдалённых, полуразбомблённые почтовые ящики набиты избирательной макулатурой.

Объехав квартиры на своём участке, мы направляемся в противоположную часть города — к коммунистке Безызвестных. Отношение к ней в нашей комиссии неоднозначное. Женщинам не нравится, что живёт она не на нашем участке, а только у нас прописана, а может, не любят её из-за её убеждений: никакой обыватель, не имея своих убеждений, чужие переносить не может.

Клавдия Петровна давно нас поджидает. Она рассказывает нам свою биографию. Жила на Урале, было у неё четверо детей, когда началась война. Мужа забрали на фронт, и в 41-м под Москвой он погиб. Подняла всех детей — спасибо Советской власти. Все получили высшее образование, квартиры, работу. Попробуйте сейчас воспитать четверых.

«Лучше и не пробовать. У нас один. У Ивана Григорьевича двое, так он, бедный, кроме нашей школы халтурит ещё в двух и в свободное время занимается извозом».

По распределению одной из дочерей она оказалась в нашем городе. Никогда не состояла в партии, но голосует только за коммунистов.

Клавдия Петровна угощает нас пирожками и чаем.

— Спасибо вам за блок коммунистов, — говорит она, расчувствовавшись.

Нам неловко: как будто это мы с Баянистом организовали этот блок.

А на участке царит уныние. Тот мелкий избирательский ручеёк, который питал наши надежды на 25 процентов, иссяк полностью. Позвонили из окружной комиссии, просят поехать по квартирам, пособирать голоса.

— А у нас есть заявления? — удивился Иван Григорьевич.

— Допустим, — поддержал его Виталий Викторович, — мы добрали недостающие голоса. Выборы состоялись. Победитель рад, а проигравшие подают на нас в суд за нарушение закона.

Галина Иннокентьевна смотрит на нас с подозрением: действительно ли мы нарушаем закон или саботируем работу?

— Ой, — всполошилась Зоя Юрьевна, — можно сходить в общежитие и там проагитировать. Ведь оттуда не было ни одного человека.

Но даже Галина Иннокентьевна понимает, что общежитские не большие, чтобы голосовать за эту власть. Она идёт на 212-й узнать, как у них идут дела. Что интересно: на участках всегда одинаковое количество проголосовавших, плюс-минус несколько человек. Точно такая же картина по количеству голосов, поданных за того или иного кандидата. Практически всё совпадает и по всем участкам в городе, словно выборы — какая-то эпидемия, которая не щадит ни умных и здоровых, ни глупых и больных.

Ура! Выборы всё-таки состоялись! Пересчитывали-пересчитывали и как-то наскребли эти несчастные 25 процентов. Галина Иннокентьевна со Светой и Баянистом отбывают в администрацию. Зоя Юрьевна опять сияет, протирая стаканы, ложки и вилки. Виталий Викторович чистит селёдку. Повезло нам с ним. Он не только знаток напитков, но и непревзойдённый гурман: приучил нас к тонику, оливкам, маринованным грибам, на столе у нас теперь вместо торта и чая всегда апельсины и лимоны. Женщины при нем уже не такие героини и скоро отпрыгаются со своими салатами. Трудолюбивая Галина Петровна начистила ведро картошки. «Нет, дудки! Картошку завтра доедать я уже не пойду. Выпить всё равно не останется».

Пришла председатель с 212-го, предлагает объединиться. Они уже знают, что победил БНМ, представитель власти, независимый кандидат. Мы собрались гулять в кабинете биологии, они — в спортзале. Можно, конечно, переехать и в спортзал. А что это нам даст? В 212-м — работники «Строймонтажа», у них больше мужчин, и пьют они — дай бог каждому. Но и водки у них — не наши слёзы...

Болели мы, конечно, не за БНМ.

А в принципе, какая разница... Можно и объединиться.

Валерий Нефедьев

Два духа

Из повести в миниатюрах «Жаворонки»

Тишина

В избушке моей часто бывает до того тихо, что можно услышать звуки самые странные, слабые, загадочные, настораживающие, например, какое-то потрескивание на столе, где нечему вроде бы трещать. Сегодня я ополоснул банку из-под сметаны горячей водой, закрыл крышкой и, поболтав, поставил на пол под лавку отмокать. Взял книгу, а через какое-то время откуда-то с улицы послышалось какое-то посапывание, попискивание, потом и сорочий стрёкот. Я так и думал — сороки принесли мне весть, хотя на дворе уже темно. Затем я решил, что это мышь, с которой я всегда воюю, но никак не могу победить, а оказалось — моя банка. То вдруг раздастся конский бег вокруг избушки, вздрогнешь даже, соскочишь с лежанки, и только потом дойдёт, что это крысы под полом.

Вот из-за двери доносится далёкий колокольчик или бубенчик, но то проделки чайника на горячей печи. Даже собственный нос недавно подвёл меня: мне почудилось, будто кто тоненько, жалобно подвывает за стеной. То вдруг какие-то молоточки начнут тенькать по звонкой невидимой наковальне, то подкатит под окна машина с гостями, выглянешь в окно — никого нет. Может обмануть и лампа: фитиль её неожиданно засклубустит, защёлкает, не поймёшь сразу, что это и где. Один раз за печкой завохотала курица, я слушал-слушал, гадал-гадал, откуда она могла взяться, а это в животе моем квохчет... Совсем смутился. Иной ночью слышно, как на улице в конуре щенки ушами хлопают, когда вычёсывают блох.

Разная бывает тишина: в полях — одна, в лугах — другая, в деревне — третья, в избушке моей вот такая. Жаль мне, что нигде я не обращал особого внимания на неё, я как бы недослышал её, не до конца проникался ею, оттого много потерял. Вообще тишина — великое благо, это дар Божий, как и природа. Её надо беречь, не засорять шумом, ведь даже самая мелодичная музыка без тишины, без тактов и пауз делается сплошным гулом и скоро утомит. Тишина для слуха — это как меховые рукавицы для озябших натруженных рук, как прикосновение к нашей щеке волосиков детской головки, как для зрения вид мельчайших искринок в природе, разных божьих козявок и отражений в воде звёзд. Она — важнейшее

Нефедьев Валерий Ефимович, прозаик (род. в 1942 г. в с. Новая Ида Боханского р-на Иркутской обл.). Автор книг: *Посольская сторона*: повесть, рассказы (Иркутск, 1987); *Мурлыка Котовна и её приключения в опустевшем доме*: сказка (Иркутск, 1987); *Ледогон*: повести, рассказы, зарисовки (Иркутск, 2004); публикаций в коллект. сб. и журналах. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

условие для открытия и передачи другим сокровенного. Наконец, тишина может предупреждать и спасать — гнетущая тишина. Всю тишину словами не передать, хотя написаны о ней целые гимны. Я лишь добавлю: тишина — это такая же субстанция, как пространство и время, — в великой тишине космоса зародилась у Создателя идея сотворения Земли и жизни на ней.

Первый снег

Одиннадцатого октября выпал первый снег. С первым снегом, вестником зимы, когда не на шутку насупись небо и северо-запад дохнет ледяной стужей, вымораживая из всего живого последнее летнее тепло, останавливая совсем движение соков в деревьях, что-то останавливается и во мне, замедляется и даже начинает двигаться вспять. Но то несколько не похоже на увядание природы, её неотвратимый и потому грустный отход к долгому зимнему сну. Напротив, во мне наступает некое равновесие сил, гармония со всем окружающим, душевный покой. Сначала я живу одним настоящим, которое делается для меня таким же прозрачным и ясным, как осенний лес: смотрю на всё просто, и ни от кого ничего не хочу, но в то же время от кого-то всё ж завишу. Вроде бы и не должен тому, от кого чувствую зависимость, а власть его ощущаю. Тогда мало-помалу начинается во мне работа памяти, не обычной, головной, а какой-то особой, и не одной душевной даже, но всего тела, всех его клеток, всех мышц, всего того, что есть Я. Как снег, покрывая землю, обновляет всё вокруг, так и я как бы обновляюсь и начинаю жить заново: всё любить, всему радоваться, как в детстве, ожидать несуетно чего-то большого, значительного, верить в него. Наверное, это происходит со мной оттого, что первый поцелуй девушки случился для меня во время обильного снегопада, и первое признание в любви я сделал зимой, среди девственно чистых белых снегов. Сколько было огненных, жгучих, явившихся откуда-то из космоса, совсем новых чувств, испепеляющих тебя всего и вновь рождающих в каком-то новом качестве, вечном. Без этого вечного ничто бы не обновлялось, не было бы так многогранно, разнообразно и чудесно. Не было бы моих лодок, моих походов по Байкалу, моих рисунков и акварелей, тем более — дома, построенного в Большой Речке совместно с моей женой, ни жены, ни сына, ничего бы не было. Вечность — вот что приходит ко мне с первым снегом.

Дрова

Семнадцатого ноября было тепло, с крыш капало, по берёзам скакал поползень. Солнце село рудое, вокруг него — рдяная пелена. Луна скрылась в полночь, Юпитер с Марсом — тоже. Туманец, ветра нет, вода лоснится, берётся шугой — это в море, а в заливе уже под крепким льдом. Первый раз прошёлся по нему до первой якорной бочки. За нею ледяное поле тихо колыхнется, донося слабый утробный рокот. У мыса льдины жалобно попискивают, им вторит мелодичный скрип пера руля Артуровой «Полундры», приподнятой на кильблоки. Артур Иванович — бывший москвич, сменил московскую прописку на Иркутск из-за Байкала — он истовый моряк, из старой спортивной яхточки сделал мореходный крейсер с двумя мачтами и множеством парусов, ходит нарочно без мотора, чтобы не нарушать экологию. Я немного завидую его неторопливости, основательности во всем. Иду мимо его яхты по льду, лежащему под тонким куржавым

снежком, который пересыпается под ногами, шуршит, успокаивает. Так бы шёл и шёл... «Вот и настало время, — думаю, — когда больше всего на свете хочется успокоения, какой-то внутренней гармонии, лада. Давно ли вообще не думал об этом. Возраст? А может, успел наломать в жизни таких дров, что не сложишь ни в какую поленницу». Ах, какие чудные поленницы кладут хозяйственные мужики у нас на Руси, загляденье: полешко к полешку, чурочка к чурочке бочок о бочок, рез к резу, торец к торцу, гладенько, ровненько, пряменько, как по линейке, по уровню — чистая мозаика. И хозяин-то, посмотришь, автор-то сам — опрятный, степенный, на лицо румяный, хоть и за шестьдесят, рукавицы заштопаны, валенки подшиты, пояском опоясан — вот бы так-то!

Истинное благо

Лежу на подвесной койке в своей избушке, перечитываю Толстого, «Воскресение». Только что протопил печку, закрыл с большой кучей крупных красных углей от лиственничных дров, рискуя угореть из-за экономии. Избушка холодная, плохо проконопаченная, на санях, хотя и завалена с улицы снежными завалинками. В углах её проступают ушканы, холод стоит по пояс, бутылка молока у стены замёрзла так, что молоко столбиком вылезло из горлышка, приподняв на себе крышечку, — натуральный ушкан, вылезший из угла.

И вот лежу, читаю о мытарствах Масловой и всех заключённых, о критике общества Нехлюдовым-Толстым. Нехлюдов узнает о смерти пятерых заключённых и удивляется, что собратья по несчастью ничего не говорят об этом, а только о пассажирских местах. Остановился там, где Нехлюдов, дойдя до женских вагонов, слышит стенания: «О, о-о! батюшки, ооо! батюшки!»

Что-то заставило меня оторваться от книги, оглядеться, как бы освобождаясь от кошмарного сна, — передо мной белое зеркало печки, от которой пышет теплом, на нем под низким потолком — золотистые поленья дров. Дрова пахнут смолой, немного сырой гнилью, они из топляков. Слева от меня два небольших окна, между ними висячая полка с треснутым кувшином, в котором я складываю недокурки на чёрный день и прикрываю их деревяшкой, выловленной в прибое осенью, игрушечной лодочкой. Здесь же разные баночки, миски, чай в красивой белой коробке. Дальше на стене махровое полотенце, на полу у дверей две ржавые бочки с известью, чтобы не перемерзли, раскладушка для гостя. На печке сушатся мои новые меховые рукавицы. Тикают ходики. В окна, затянутые тонким слоем изморози, пробивается полуденное зимнее солнце, оставляя на филигранном морозном узоре свой, более грубый — тени от мелких берёзовых ветвей. С улицы доносится сорочье кудахтанье, лай собак, видимо, защищающих от воровки только что вынесенное им месиво... И неожиданно возникает в моей душе чувство полного удовлетворения жизнью, всем, что у меня есть и что окружает: «Истинное благо», — говорю утвердительно не то шёпотом, не то про себя, и желаю родным и близким здоровья, а всему белому свету нестяжательства.

Свирель

Перед Рождеством и в сам праздник, как и полагается, стояли морозы. Потом оттепело, подул с юга, от Байкала ветер — казалось бы, полюса переменялись, но он дул с такой силой, так свистел в снастях неразоружённых яхт, осо-

бенно в вантах Артуровой «Полундры», что начал раздевать догола лёд, снося с него густую позёмку, наматывая длинные тугие сувои, запечатывая мою прорубь и разбиваясь о береговые сооружения. Но никакие препятствия, ни ряды яхт на кильблоках, ни эллинги, ни деревья, ни сваи, ни сцепленные между собой бочки для ограждения территории по воде не могли остановить или хотя бы ослабить напора этого южного варвара. Снег вымерз, сделался сыпучим, и он коварно пользовался этим в своём набеге. Я не мог высунуть из сторожки носа. Мне надо было что-то взять со своего корабля, а выйти не решался, хотя солнце так и вливалось в окна, буквально выпроваживая меня на улицу. Наконец выводило.

Я шёл набычившись, головой вниз, но всё одно ветер задувал в рукава телогрейки, под полы, за пазуху, нахально задирали клапаны ушанки, поэтому приходилось поворачиваться то одним боком, то другим и передвигаться, как в бурятском танце «ёхоре». Неожиданно я услышал музыку, словно кто-то заметил мой невольный припляс и решил подыграть мне. Играла какая-то свирель. Звуки её то затухали, то усиливались мелодично переливаясь, то вдруг обрывались, выдерживая паузу, и вновь забирали вверх. Я отчётливо слышал эту свирель, когда шёл боком или опустив голову, но стоило развернуться, выпрямиться, как мелодия исчезала. Тогда ветер вбивал в моё лицо тысячи колючих снежинок, шумел в ушах, с яростью трепал шапку, заглушая не только свирель, но и само дыхание жизни во мне. Мне было интересно, кто же играет, и я решил во что бы то ни стало найти музыканта, пошёл не глядя, ориентируясь по звуку. На моем пути стояло несколько яхт:

«На которой же из них завёлся музыкант?» — спрашивал я себя. Поравнявшись с ними, следов, однако, ни у одной не заметил, трапы лежали под килем, свирель же стала чуть слышнее и вела меня дальше. Теперь мне казалось, её лёгкие заунывные звуки несёт со льда; играет лёд, обрадовался я, и думал: сейчас сделаю удивительное открытие. Открытия, к сожалению, не состоялось. Когда я проходил мимо своего «Бабра», свирель засмеялась над самой моей головой. Посмотрел — и на тебе: на высоте вытянутой руки торчала с носа моего корабля уложенная мной ещё с осени алюминиевая труба, которая нынче должна была стать бушпритом. Как примерял, так и оставил её; она выстреливалась над форштевнем метра на два и имела толщину чуть больше спичечного коробка. На конце её были просверлены два сквозных отверстия, одно диаметром двенадцать миллиметров, другое овальное чуть поменьше. Я дотянулся до этих отверстий, зажал их пальцами — музыка стихла. Отпустил — вновь заиграла. Зажал одно — тон повысился, зажал другое — понизился. Так я перебирал пальцами, стараясь обогатить музыку, пока они не окоченели, и я не убедился, что ветер намного талантливей меня. Тогда я встал под борт «Бабра», в заветрии и вслушался. Ветер наигрывал какую-то восточную мелодию, не зря он дул с юга, откуда-то с Хамар-Дабана, а может, с самой Монголии. Такую мелодию я слышал, путешествуя по Средней Азии: заунывная, протяжная, волнами накатывающая и откатывающая, то с воем, то с плачем, то с каким-то безысходным стоном, не превышая, однако, меры, лишь изредка, видимо снять страдальческое напряжение, переливисто брала ноты из более высокого ряда и вновь возвращалась на круги своя. В ней чувствовалась и всем известная восточная нега, но тоже какая-то безысходная, несбыточная, недоступная человеку, человеческому сердцу. Конечно, она и предназначалась не человеку, не одному человеку, а всему окружению: бесконечно синему небу, безмолвно слушающим на берегу деревьям в инее, белым снегам, расстеленным от горизонта и до горизонта, искрящимся вблизи и розовеющим

вдали, унылым зимним полям на той стороне залива, потерявшим во время затопления лучшие свои припойменные земли, чахлому, угнетённому городом безрезнику, единственному стогу сена на его опушке под белой скособоченной шапкой, наконец для дальних безлюдных хребтов, тающих в нежной голубой дымке, как всегда манящих, что-то обещающих неисполнимое здесь, но вполне реальное там — возможно счастье.

Не знаю, что заставляло меня стоять под ледяным ветром, оцепенев под звуками моей трубы? Может, одна четвертая часть восточной крови, пульсирующей в моих жилах, может, музыка эта скрашивала моё одиночество здесь, на Разводном мысу, но я стоял до тех пор, пока не уловил в небольшом наборе стихийных звуков одну незатухающую ноту — она явственно выделилась и была как бы стержнем всей мелодии — эта нота перелома времени. Я понял: с сегодняшнего дня оно покатится под гору, всё ускоряя и ускоряя свой бег, и я уже не смогу думать ни о чем кроме навигации.

Я забыл, что хотел взять на своём корабле.

Два духа

Мне ближе, дороже и радостней наш зимний пейзаж, пейзаж родины с заснеженными лесами, полями, храмами и кремлями, с людьми в шубах и шапках с опущенными ушами, машущими как крыльями. Дороги пушкинские «мороз и солнце», есенинские «сани, стынь и звень», кустодиевские «масленицы», розовощёкие купчихи, народные песни про «Волгу-матушку зимой», про замерзающего ямщика, про метелицу, хотя предки мои по отцовской линии с юга, и характер у меня более южный, нежели северный. Должно быть, во мне живёт два духа: по отцу южный, по матери северный. Южный дух, дух плоти и крови, древнее — первобытный дух. Северный моложе, дух чувства и сердца, он преобладает во мне, потому что отношение моё ко всему русскому, как к материнскому, за него я отдал бы жизнь, погиб в бою, замёрз в степи или утопил себя в вине. В последнее время лишь плачу о русском.

Невозвращенец

Не спится. Писал о своей деревне, и мне захотелось побывать в ней, давно не был. Но как-то стыдно появиться. Казалось бы, что мешает: пять дней в неделю свободен, садись на автобус — и через три часа ты на родине, а нет, тормозит что-то, будто я в чем-то виноват перед сельчанами и, чтобы уйти от этой непонятной вины, начинаю думать о другом, таком же как я, человеке.

Человек покинул свою родину, свои сызмала близкие места: деревню, речку, родных, пошёл за своей мечтой, за судьбой своей, за тем, что по молодости лет в силах был вообразить. Ему казалось — за лучшим, за ярким, богатым. Ему легко было уходить, потому что молод, потому что там его ждало новое, там его будущее, а здесь всё старое, прошлое, потому что здесь легко, как-то само собой рослось и зрелось, и многое он не сознавал здесь...

Но оказалось, нашёл он в другом краю тусклое, бедное, трудное счастье, и потянуло на родину. Но вернуться уже нелегко, нелегко бросить то, что с таким трудом нажито. И стыдно, стыдно оставшейся в памяти чистой и светлой родины, самого себя, каким он был в детстве, юности, а теперь потускнел, зачер-

воточил, накопил грехов, людей стыдно, вроде как он предал их или не оправдал их надежд...

И человек не возвращается.

Ужели

Ночь была тёплая и тёмная. Звёзд совсем мало, в основном в зените и по склону неба к Байкалу, и то реденькие, блеклые. Утром осиянно светло, бодро, ветерок со льда, местный. Солнце встало кроткое, но восток весь залило половодьем мерцающего непобедимого света. И вновь проглянули за Байкалом горы, зазвучали той же чистой вещей синью.

Вокруг избушки опять расхаживали осмелевшие вороны, скрадывая собачий корм, и звонко пела на ближней берёзе какая-то маленькая птичка: «пили-пили, пили-пили». Воробьи притихли.

После обеда пошёл к своей лодке. Вожусь около неё, и вдруг что-то стало отвлекать меня, будто кто звал меня или разговаривал со мной радостной скороговоркой, делясь чем-то хорошим, родным. Я застыл, ещё не сознавая, кто это. Прислушался, голова сама собой вскинулась кверху. Небо в высокой слепящей мгле, глаза, блуждая в ней, слезятся — никого, но слышно, радость льётся оттуда. «Жаворонок?! Ужели?! А я совсем не готов, не знаю, чем и встречать». И так захотелось чем-то отметить этот день, чем-то выделить его из всего ряда обычных дней, застолбить его как своё открытие и как всяким открытием поделиться с кем-нибудь!

— Мотька! — позвал я, чуть не плача, свою любимую собаку. — Слышишь, какой гость-то к нам прилетел? Чуешь ли? Эх ты. Ничего не чуешь, дурочка. Ничего не понимаешь, — наговаривал я, трепля собаку за шиворот, щекоча ей пузо, тряся лапы и показывая рукой на небо.

Мотька лишь повизгивала и водила глазами за моей рукой, понимая лишь то, что мне весело, что я к ней с добром.

— И на том спасибо, — сказал я и пошёл в избушку заварить свеженького чайку.

А песня жаворонка была ещё сыровата, не во всю силу и с перерывами, как этот застенчивый день.

Александр Попов

МОЛИТВЫ Валентина Распутина

Заметки к 70-летию писателя

В начале 80-х я, молодой рабочий-строитель и одновременно студент-заочник литературного факультета, впервые целиком прочитал «Тихий Дон», и меня неожиданно потрясло, что я современник Михаила Шолохова.

Я — современник Михаила Шолохова? Я, именно я современник его? Да что за казусы или, напротив, презенты судьбы?

Меня дивило и пьянило, что я живу всего в четырёх тысячах километров от него, от благословенной Вёшенской, что, в сущности, я могу поездом или самолётом приехать к нему и — поговорить с ним, если повезёт, или же посмотреть на него издали, в конце концов, подышать тем же воздухом, которым дышит и он, пройти по той же земле, по которой и он ходит, пожить вблизи от него в тех секундах, минутах и часах, в которых и он сейчас живёт.

Валентин Распутин — ближе, я встречаю его на улицах Иркутска, в Доме литераторов на Степана Разина 40, ещё где-то и как-то. Он, слава Богу, жив и деятелен. Присматриваюсь к нему — мнится обычным, если хотите, неприметным человеком, таким внешне стиснутым, несмелым крестьянином, незнамо за чем очутившимся в городе. Порой увидишь Валентина Григорьевича на улице, а у него в руках пакеты с продуктами или портфель, или так, налегке идёт, и невольно подумаешь зачем-то: вот, смотрите, люди, обычный человек перед вами. Он в чём-то непостижимо, необъяснимо привычен, обыден, если хотите. Но сердце своё не обманешь, не запутаешь, оно словно бы захолонёт и тут же ворохнётся: а ведь перед тобой, дружище, великий русский писатель.

Я доподлинно, я наверняка знаю, что Валентин Распутин — великий писатель. Да я и не хочу никому доказывать, что он вровень или в одном культурологическом пласту с Михаилом Шолоховым или Львом Толстым. Меня смущает и заботит только лишь вот что: я встречаю его на улицах Иркутска, а ведь он великий — великий писатель. Как мне это постичь, осмыслить, как свыкнуться?

Как?

А может, не надо свыкаться?

Попов Александр Сергеевич (в послед. время публикуется под псевдонимом *Александр Аз*), прозаик (род. в 1959 г. в с. Малая Хета Красноярского края). Автор книг: *Человек с горы*: повести и рассказы (Иркутск, 1999); *Родовая земля*: роман (Иркутск, 2009); *Крепка, как смерть, любовь*: роман (Красноярск, 2011); *В дороге*: повести и рассказы (М., 2012). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

С Валентином Распутиным мы всегда жили рядом, нас отделяло друг от друга небольшое расстояние. Мы долго не были знакомы, но я знал и помнил, что он где-то поблизости, так, как всегда неподалёку от очередного моего дома Ангара и Байкал. Он по значимости и масштабу лично для меня, для моего сердца — Байкал, а его проза — Ангара. Согласитесь, уникальнейшая на планете увязка: Байкал — Ангара — Енисей — Мировой океан. И никак не рассоединяется во мне такая вот череда: вспомнишь о Валентине Распутине — пахнёт и Байкалом с Ангарой, вспомнишь о Байкале и Ангаре — вслед вспомнится как-то и Валентин Распутин, его проза, его мысли, его обличье.

Написал, и — смутился, засомневался, ну что я зачастил: «великий», «великий», да ещё Мировой океан примешал? Скажут, подхалимничает, низкопоклонничает землячок. Но я-то знаю, что не подхалимничаю, не ищу у него особой защиты, хотя однажды обратился к нему с просьбой. Я говорю то, что должен сказать, о чём не могу не сказать именно сейчас, когда у Валентина Распутина юбилей. Так надо.

Так надо прежде всего лично для меня и, кажется, пора мне сказать о Валентине Распутине так, как давно хотелось. Судите, кому охота и надо. Говорите о чём-то другом, кому охота и своя пора приспела.

Да, минули годы, десятилетия, но я по-прежнему восторженно и упоённо — не боюсь высокого слога — влюблён в литературу, в писательство, в добротную строку.

И вновь возвращаюсь к теме «великий»: никак не хочется называть Валентина Распутина великим, потому что он прост, ясен, открыт — и в творчестве, и в жизни. Но если как-нибудь по-другому называть да величать — понимаю, что мало, совсем-то маловато, недобор выходит самоочевидный и *беспокоящий*. А может, никак и не надо называть? Может быть, это как раз тот случай, когда говорят, что произнесённое слово — уже ложь? Возможно, всемирно известная форма-словосочетание «Валентин Распутин» — уже и есть высочайшая оценка, уже и есть ориентир, вектор для нас.

Нет, называть всё-таки надо, потому что если не называть, то можем окончательно сбиться, заплутать, очароваться по самую маковку ложными, раздутыми литературными, во всю ивановскую писательствующими авторитетами, разного колера пророками, борцами за придуманную ими самими демократию. Они сейчас, сдаётся, из-за каждого куста, как маньяки, наскакивают на тебя и требуют любви к себе, поклонения, жертв и чёрт знает чего ещё и зачем. Но они не знают, похоже, не догадываются даже, что писательство — настоящее мужское, буду точнее, мужичье дело, а писательство в России по силам дюжему мужику, мужику силачу, лобастому мужику, твердолобцу, которому чихать на всякую дешёвку со стороны публики и властей. А они кто? Хиляки, разомлевшие от дешёвого, всемещанского успеха, торопливо испечённая аристократия, не принявшая и не принявшая главного по жизни — Бог прежде всего труды любит. Валентин же Распутин — трудяга, мужик истый, мужик умом, обликом, норовом, каждой строкой своей.

Распутин у нас один, хотя и мужиков от литературы настоящих пока что ещё немало, и трудятся они, как надо и должно, и к боям готовы. А современная русская литература — это поле битвы. И обе стороны ещё сильны и могут наступать. Кто ж кого?

Боязно, потому что лжелитература, лжеписательство лавой, селом прут и пучатся. И хотя хиляки, белоручки они, а ведь тьма тем их. Вдруг — задавят, сметут наёмными будбодозерами, раскатают под асфальт то истинное, что ско-

пилося и сбереглось в русской культуре за века и нахально скажут, что так-де и было?

Жутковато порой.

Но перечитываешь добрую, подлинную литературу и радостно-зло думаешь: «Ну, нет, ребята: ещё неизвестно, кто кого!»

Перечитал я недавно «Деньги для Марии». Боже, что же это! Прозаическое, поэтическое, драматургическое по своей сути? Нет, тривиальные, узкие, тесные определения. Нечто внежанровое, наджанровое? Нет, не надо выдумывать, изгаляясь над словами. Вероятно, молодой автор и сам не понимал хорошенько, что и зачем пишет. «Стараясь попадать в чьи-то следы, чтобы не мять снег, Кузьма через рельсы идёт к вокзалу...» Хочется всю повесть переписать куда-нибудь в дневник. Хочется «попадать в следы» Валентина Распутина, чтобы сохранить «снег» — любовь, добро, преданность, всё то небольшое и хрупкое, на чём и отчего произрастает сущее человеческое счастье.

Знаете, а ведь вся повесть — молитва.

Вся!

Он не писал её, он молился, не помня о жанрах, о рецензентах, о критиках и тому подобном. Молился за себя, за свою семью, за всех нас. Он сам-то знает ли, как текст «Денег для Марии» оказался на бумаге? Сохранились ли черновики? Много ли в них правок, именно его правок? А может, — есть и редакторские? Нет, хочется думать, что повесть как-то, что ли, благодатно сошла на него.

Погоди-ка, дружище! Ты же на своей шкуре изведаль сполна: потому и неплохо, неподдельно может получиться иногда, что тяжело было в работе, что искал то самое неповторимое едино-единственное слово, находил его вечером, а утром выбрасывал и снова, снова искал и снова выбрасывал.

Узловой вопрос для современного писателя, вопрос, которого не любят, от которого прячутся, начинают умствовать и запутываются, отвечая, — зачем писать? Настоящие ответы угадываются в подтекстах — чтобы прославиться, чтобы выплеснуть из себя помои, а ещё, полагают, можно и нужно писать для денег, для красивой жизни. И первое, и второе, и какое-нибудь десятое в этой же этической тональности так же глупо, как жить, к примеру, для того, чтобы дышать или пить воду.

И тем не менее — зачем писать, зачем?

Да, сложно ответить так, чтобы тебя не заподозрили в неискренности, чтобы ты сам был хотя бы немножко доволен своим ответом. А может, сначала задумаемся, «что в слове и что за словом?» — о чём спрашивает Валентин Распутин и нас, и себя. Но чуткому читателю доподлинно известно, что в его слове, в его прозе и публицистике она — молитва. А что за его словом, за его молитвой? А за его словом-молитвой — душа читателя, разбуженная к покаянию, к очищению, к своей неповторимой молитве. Не сомневаюсь, он пишет в упование, что его слова услышит Бог.

«И опять наступила весна, своя в своём нескончаемом ряду, но последняя для Матёры...» Хочу переписывать и «Прощание с Матёрой», и «Дочь Ивана, мать Ивана», — многое, многое. Не спеша переписывать, разбирать, вглядываться, умиротворённо «попадая» в распутинский след. Но опять сомнение и смута: не мучился, не маялся он над «Матёрой» (можно назвать и другие произведения), а писал, как молитву читал.

Но знаю, знаю, что молитву читают не потому, что больше нечего делать. К молитве надо прийти, её надо ещё и заслужить. А потом органично, ласково влиться в неё, текущую из веков, от предков твоих.

«В конце концов, отчаявшись куда-нибудь выплыть, Галкин выключил мотор. Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и тумана». Можно потерять и ум, и душу, кричи, не кричи: «Ма-а-ать! Тётка Дарья-а-а! Эй, Матёра-а!..», а не знаешь пути, — на Бога надейся. Но говорят неспроста: на Бога надейся, а сам не плошай. Заблудились, потому что обеспамятовали, потому что хотели ускользнуть от правды. С правдой тяжело жить. За правду не приласкают, не поблагодарят.

Валентин Распутин — писатель всея Руси, писатель той святой Руси, которая была и остаётся высшим этическим идеалом для русского человека, потому что веками высшим законом и мерилем жизни была и будет правда.

Валентин Распутин *не* современный писатель, в значении модный, «продвинутый». Но где теперь весь тот легион модных, крикливых, егозливых, партийных и не очень партийных сочинителей целого XX века, из которого и он, Валентин Распутин, вышел? Кто ими интересуется, кроме профессуры или предприимчивого фабриканта-макулатурщика? Валентин Распутин, его проза и публицистика выстояли, нужны XXI веку, потому что в нём правда святой Руси, потому что в нём молитва.

А какой у прозы Валентина Распутина недостаток? Есть такой, если вымерять его творчество филистерской мерой «престижно — непрестижно». Валентин Распутин весь в традиции, он старомоден, а сейчас — и это вполне очевидно — устроен настоящий крестовый поход против традиции, всего корневого народного. Ложных кумиров СМИ возносят за ахиною, за чревоущительство, ёрничество, выполаскивание своего кишечника перед всем светом. А что же Распутин? А он *традиционно, по-русски* молится за нас, грешных, плутающих, молится каждой строчкой своего творчества.

И его молитвам звучать в веках, как звучать в сердцах и помыслах истинных русских людей колокольным звоном святой Руси, которую мы — нет, нет! — не потеряли, не изжили в себе, несмотря ни на что, но которую, похоже, как время от времени вообще случается с людьми, с изменчивой, неустойчивой человеческой породой, подзабыли, подзадвинули покудова в некое укромное местечко. Подзабыли и подзадвинули, конечно, с умыслом: чтобы нагрешиться вволю, досыта, оторваться, как говорится, по полной, коли уж дозволено всё и вся.

Но ходим-то по круглой земле, да и в природе всюду круговороты и круговерти.

Будем жить и помнить, мои дорогие соотечественники, что за душу нашу молятся, и что мы современники Валентина Распутина.

«Господи, поверь в нас: мы одиноки», — взмолился он ещё молодым в «Что передать вороне?».

Господи, поверь в нас.

Александр Просекин

Милочка

Рассказ

(в сокращении)

— Приходкин, ты мне мешаешь! — Людмила Ильинична резко обернулась. — Ты понял? Выбрось сейчас же, что у тебя там! — Она секунду постояла, исподлобья глядя на Приходкина, и снова повернулась к висящей на доске карте. — Вот здесь, в Передней Азии, между реками Тигр и Евфрат, находился Древний Вавилон... — продолжила она свой рассказ.

Сзади раздался резкий звук, похожий на треск лопнувшего шарика. Людмила Ильинична снова обернулась. И медленно пошла к третьей парте среднего ряда, к Толику Приходкину. Белобрысый Приходкин жевал резинку и нахально поглядывал на приближавшуюся учительницу. Ему было так не страшно, что он ещё раз растянул ниточкой губы, надул из своей резинки шарик — и шарик опять лопнул.

— Для начала я выгоню тебя из класса, — ещё стараясь быть спокойной, негромко сказала Людмила Ильинична. — Потом...

— А чё я в коридоре не видал? — покосился на товарищей нахальный Приходкин. — Буду только другим мешать! Чему мы в коридоре-то научимся?

Те, что посмелей, хихикнули.

— Дай сюда! — властно сказала Людмила Ильинична и протянула руку.

— Чё, резинку? Пожалста, добра-то! — Приходкин наклонился над протянутой к нему рукой и плюнул в ладонь.

Тишина. Людмила Ильинична непонятно как-то, почти равнодушно, посмотрела на свою испачканную мелом ладонь, на беловато-серую резинку в растекшемся по мелу плевке, и совершила педагогический грех. Осквернённая рука сделала короткий резкий замах — и несчастного Приходкина потрясла сильнейшая пощёчина.

...Сколько может быть сил у высокой, спортивно сложенной учительницы двадцати трёх лет? И как крепко сидит на плечах голова у щуплого вертялого пятиклассника?

Приходкин не заплакал и не убежал. Он приподнялся над партой и, широко раскрыв глаза, стал ловить ртом воздух. Не мог вдохнуть. Возможно, он ушёл позже, Людмила Ильинична этого уже не видела. Она молча подошла к своему столу, постояла возле него несколько секунд, глядя в окно, потом так же мол-

Просекин Александр Ильич, прозаик (1950, Западная Украина — 2004, Ангарск). Автор книг: *Воспитание по Станишевскому*: повесть, рассказы (Иркутск, 1988); *Добрый мир*: рассказы, повести (М., 1990); *Скорый поезд «Россия»*: роман, повесть, рассказы (Иркутск, 1993); *Зона нелюбви*: повести (Иркутск, 1997). Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

ча аккуратно собрала в сумку свои педагогические принадлежности и вышла из класса.

В учительской никого не было. Людмила Ильинична несколько раз бесцельно прошлась между столами, потом подошла к вешалке, надела своё пальто и пошла домой. <...>

...По утрам Людмила не топила печь, и в доме было холодно. Сняв сапоги и пальто, она облачилась в свой «полуденный» наряд — валенки и тёплую меховую безрукавку. Включила рефлектор. Не зная, что делать дальше, она села на кровать. Потом пересела за стол, вырвала из тетради двойной листок и стала писать письмо.

«Здравствуй, Серёжа!» — написала она и остановилась. Подумала и зачеркнула «здравствуй». Потом зачеркнула «Серёжа», оторвала испорченный листок и застрочила на втором:

«Сергей, когда ты вернёшься из армии, ты вряд ли найдёшь меня такой, какой знал раньше. Хотя бы потому, что до сегодняшнего дня я не знала за собой способности ударить человека по лицу. Я сегодня приобщилась. И выбрала для этого лицо одиннадцатилетнего мальчишки. Тебе там не икнулось от звона моего мощного бабьего удара?»

Людмила отложила ручку и опустила голову на руки. Посидела так. Потом, не поднимая головы, скомкала одной рукой своё письмо и бросила его на пол. <...>

Она придвинула к себе зеркало, взглянула в него. «Как там у нас, кровь с клыков ещё не капает?» — сказала она вслух. И тут ей в голову пришла одна мысль. Глядя в зеркало, она слегка полуобернулась — и ударила себя по правой щеке. «Больно или нет?» — попыталась она разобраться в собственных ощущениях. Решила, что удар не получился. Размахнулась — и ещё раз ударила. И ужаснулась вдруг нелепости собственных действий. Она встала и пошла от стола прочь. Подошла к кровати, легла на неё вниз лицом и заплакала.

Часа через полтора Людмила пошла в школу. Наверное, её заметили ещё на улице. Как только она вошла в коридор, её окликнули из директорского кабинета:

— Людмила Ильинична! Зайдите, пожалуйста, ко мне!

— Да. Я знаю. Сейчас, — ответила Людмила. Она быстро зашла в учительскую, разделась и направилась туда, куда её пригласили.

Объяснение началось с долгого молчания. Алла Петровна, директор, с минуту возилась в столе, что-то отыскивая, надела очки, потом сняла их; несколько раз очень неприятно хрустнула пальцами. Наконец она встала из-за стола и заговорила.

— Я пока не собираюсь спрашивать о том, что у вас произошло в пятом классе, до этого мы ещё дойдём. Объясните для начала: почему вы ушли с остальных уроков? Насколько я знаю, у вас их оставалось ещё два: в седьмом и в девятом, так?

— Да...

— Что «да»?

— У меня оставалось ещё два урока: в седьмом и девятом классах. — Людмила старалась, чтобы голос её звучал потвёрже. — Я не провела их, потому что до этого в пятом классе у меня произошло не... безобразное событие. Я ударила ученика, и...

— И ваше самочувствие резко ухудшилось? — перебила учительницу директор.

— Да, ухудшилось...

— За что же, позвольте спросить, вы ударили ученика? — Алла Петровна снова надела очки.

— Он... плюнул мне в руку... и у меня какой-то срыв...

— Вы неверно рассказываете, — опять перебила Людмилу Ильиничну директор. — Вы подставили ученику свою руку таким образом, чтобы в неё непременно плюнули. Вот как было дело... Да вы соображаете, милочка, что вы наделали?! — почти без перехода сорвалась на крик Алла Петровна. — Рукоприкладство в школе! Да за это в армии погонны срывают! Не то что в школе!.. И это в самом-то начале?! А что в таком случае остаётся нам, я вас спрашиваю? Что, я спрашиваю, остаётся нам, которые здесь уже полмиллиарда нервных клеток оставили, а? Может быть, кистенями обзавестись? Позорище!.. — Алла Петровна в очередной раз стащила с себя очки и бросила их на стол. Она подошла к Людмиле Ильиничне и близоруко сощурилась: — Ну, что скажете, милочка?

«Милочка» стояла возле стенда по «Гражданской обороне», и на неё жалко было смотреть. Щеки у неё покраснелись, лицо напряглось, и столько было в этом лице борьбы, чтобы удержать слезы, что директору стало неудобно за свой крик.

Алла Петровна вообще не умела долго злиться. А на эту молодую историю и не смогла бы, даже если б умела. Из той молодёжи, что прошла через её школу в последние несколько лет, именно эта, Людмила, нравилась ей больше всех. Во-первых, прекрасными уроками. За двадцать лет директорства Алла Петровна видела много самых разных уроков истории. Она и сама была историком. Но чтобы, например, учитель в тесные тридцать минут смог толково и просто подать ребятишкам царствование Петра Первого, да при этом ещё увлекательным рассказом о том, что кушали и как одевались русские люди в восемнадцатом веке, так рассказать, что весь класс, в том числе и она сама, превратились бы в одно большое слушающее ухо, это, по мнению Аллы Петровны, был уже божий дар... Потом, манера одеваться. Всегда на Людмиле строгий костюм, без всяких излишеств, безукоризненная обувь. И ещё: Алла Петровна привыкла как-то типизировать для себя своих молодых коллег. Она, например, могла сказать себе: «Эта симпатичная русачка выйдет за киномеханика, через пяток лет потолстеет и будет с увлечением разводить кур; эта бойкая географичка улизнёт отсюда, как только представится случай...» С Людмилой было сложнее. Она не поддавалась такой упрощённой типизации. В районе Алла Петровна узнала, что Людмилу к ней не распределяли, у неё был «красный» диплом, свободный. Что понесло её в деревню? И как, наконец, относиться к сельской учительнице, которая бежит по утрам? Наденет синий спортивный костюм и по-мужски, красиво и легко, бежит по холодку к реке... «Это что, новая молодёжь?» — спрашивала себя иногда Алла Петровна, глядя на эту русоволосую, с умными зелёными глазами учительницу.

Но сегодня она ударила ребёнка. Не хвалить же её было за это!

— Лукавый тебя, милочка, попутал, точно, — сказала Алла Петровна уже совсем спокойным голосом. — Хоть бы кого другого... Ты мамашу его знаешь? В леспромхозовском магазине торгует... Хорошо, что во всей деревне одна такая! Двух бы миряне не выдержали. Но ничего, не раскисай особо, я бы, может, тоже не выдержала, такой заноза... Не так бы лихо, конечно, да что теперь-то!

Вот тут Людмила и не выдержала. Слезы так потекли из её глаз, что директору показалось, будто она слышит звон капель по полу. <...>

Физрук Николай Семёнович, случайно заглянувший в дверь, увидел рас-

трёпанную директрису, бегавшую со стаканом воды вокруг молодой историни, услышал, как та рыдает, и осторожно прикрыл дверь. <...>

...Вечером, около семи, Людмила Ильинична чуть-чуть припудрила щеки, подкрасила глаза и пошла к Приходкиным.

Дверь ей открыл хозяин. Людмила немного знала его, видела в школе на собрании. Невысокий такой мужчина, лысоватый, приветливый, работал шофёром на лесовозе. Он поздоровался и отступил в сторону, приглашая войти.

— Раздевайтесь, пожалуйста, вот здесь... нет-нет, не разувайтесь, у нас не прибрано, проходите! — он повёл учительницу в комнату. — Вы насчёт Только, да? Опять какие нелады? — мужчина подвинул гостье стул.

— Да, я насчёт Толика, — ответила Людмила Ильинична и замолчала. Но как-то нужно было начинать.

— Понимаете, тут у нас... А Толик дома?

— Ну да. Он там, в другой комнате, позвать?

— Ага, позовите...

— Толя! — позвал отец. — Анатолий! Поди сюда, тут к тебе учительница пришла!

В дверях боковой комнаты появился Приходкин-младший.

— Чё? — он посмотрел на учительницу и опустил голову. — Чё вы пришли-то? — тихо покосившись на дверь, из которой вышел, спросил он. — Сказали бы папке, он бы сам в школу пришёл.

— Понимаешь, Толик... понимаешь, я сегодня, в общем-то, не хотела так. — Людмила Ильинична встала и подошла к мальчишке. Она положила ему руку на плечо. — Я как-то случайно, ты меня извини, честное слово! <...>

— А чё, вы же не виноваты, я же сам это... — мальчишка растерялся.

— Но нам нельзя так, понимаешь...

Людмила Ильинична обернулась к отцу и быстро заговорила:

— Видите ли, сегодня у нас на уроке... безобразный случай вышел. Я вашего сына ударила. По щеке. Даже не знаю, как это получилось.

— Ну что вы! Ну чего вы так волнуетесь! Не надо! — Приходкин-старший и сам растерялся. Он вскочил со стула и несколько раз быстро пригладил волосы. — Если получил, то, значит, заслужил! Вы не расстраивайтесь, ему на пользу пойдёт...

Людмила Ильинична не слышала, как в комнате появился кто-то ещё. Голос за спиной буквально заставил её вздрогнуть.

— Ну и ну. Докатились! — громко сказали за спиной.

Людмила обернулась. У дверей, откуда недавно вышел Толик, стояла среднего роста полноватая женщина. Ничего особенного в ней не было: обыкновенное лицо, о котором только и можно было сказать, что оно — «репкой вверх». Да ещё, пожалуй, выделялась причёска, непропорционально высокая и идеально уложенная. «Шиньон, что ли?» — не к месту удивилась про себя Людмила.

— Докатились, говорю. Грехи, никак, замаливать прибежала? Не стоило! Перетопчемся как-нибудь, не гордые...

— Да ты что это, Люба? Человек зашёл вот об Анатолии поговорить, а она... — Глава семьи, вконец смущённый, повернулся к учительнице: — Вы ничего, она у меня не особо приветливая, характер такой... Поставь-ка, Любонька, чайку, а?

— Чего? Чего ты там сказал про характер? Пентюх ты бесхребетный! Чайку им! Тут его сыну мозги вышибают, а он — чайку! — Приходкина двинулась к Людмиле. — Ну что, милочка, боязно стало, да? Щас, небось, думаешь, жалобы в районо писать будут, а там и по башке достанется? А? Ишь, принарядилась!

Людмила замерла. Она не испугалась, нет; у неё просто появилось такое чувство, будто её связали; и было непонятно — то ли биться в этих путах, то ли затаиться.

— Я не принарядилась, я всегда так хожу. И я не боюсь жалобы... И я не милочка вам! Я к Толику пришла. Извиниться. Почему вы так со мной разговариваете?

— Меня ещё не учили, как разговаривать! Самую-то хорошо научили? Хорошо, да? — она подходила всё ближе.

— Мам, да мне не больно было, чего ты! — сын схватил мать за руку, но она, даже не посмотрев в его сторону, отмахнулась.

— А вить напишу. Напишу! Я вам тут покажу, как с нами обращаться нужно! Гляди-ка на неё: вырядилась, нафуфырилась — а сама же и руки распускать!

— Любовь, прекрати! Прекрати говорю, слышишь! Ты что как с цепи сорвалась? К ней человек в гости, а она... — Хозяин тоже двинулся к Людмиле, с таким расчётом, чтобы оказаться между нею и женой. — Вы нас извините, — он попытался улыбнуться, — мы тут маленько повздорили, вот она и развоевалась.

— Что? Это я-то с тобой вздорил? Что ты врёшь! Что ты мне вечно рот затыкаешь, а?! Сам пентюх пентюхом, а мне ещё и рот затыкать! Оне тут — поди-ка ты — нтилигенты-макаренки! За дрова не плотют, за свет не плотют — у них, видишь ли, льготы! А меня же ещё хают: я воспитываю неправильно, я всех обскандаливаю... А этот — с цепи сорвался! Вон, погляди, сынулю родного по морде бьют — это они воспитывают, на это у их льготы!.. Пуст! Видала я таких гостей!..

Он схватил её за плечи и не пускал. И тоже почти кричал:

— Пр-рекрати, Любовь, слышишь! Добром прошу! Ты же посмотри, что вытворяешь! Надо мной уже вся деревня потешается из-за тебя, выдра несчастная!

Людмила тихо отступала к двери.

В сенях она сообразила, что уходит без пальто. Остановилась. Противно дрожали ноги и вспотели ладони. Она достала платок и стала вытирать руки. «Так, так, — пыталась сообразить она, что делать дальше, — без пальто будет холодно...»

Из этого оцепенения её вывел скрип двери. В сени выскочил Приходкин-младший.

— Вот, вы забыли, наденьтесь!

— Спасибо, Толик. Я сейчас... — Людмила взяла пальто и стала торопливо натягивать его на себя. — Опять не то сделала, — заговорила она, застёгивая пуговицы. — Надо было тебя к себе позвать... Тебе, правда, не больно было? Ты уже не сердись на меня? — она всё не уходила. Вдруг она быстро обняла мальчишку и прижала его к себе. — Прости, Толя, — горячо зашептала она ему, — я исправлюсь, честное учительское! Мир?

— Угу... пустите! — Толя хлопнул носом. — Вы идите, а то она жас... Я же сам всё! <...>

Людмила прислонилась к забору. Посмотрела на светящиеся окна дома, в котором только что побывала. И снова слышала голоса.

Она побежала. «Что творят, что творят!» — повторяла она на бегу. «Что творят, сумасшедшие...»

Этот её бег случайно видела шедшая из школы Алла Петровна. Она остановилась, и ей стало нехорошо. «Ведь кончила, стерва, девчонку», — панически подумала она.

— Людмила Ильинична! — закричала Алла Петровна. — Людмила Ильинична! — она секунду постояла. И, тяжело переваливаясь в своих сапогах-ботфортах, кинулась следом за ней.

Мысль о столкновении молодой учительницы со знаменитой деревенской скандалисткой просто напугала её. Людмила бежала с той стороны...

Тяжело переводя дыхание, Алла Петровна поднялась на крыльцо Людмилинго дома. Не дожидаясь разрешения, она вошла.

Света в квартире не было.

— Людмила Ильинична, вы дома? — после небольшой заминки спросила Алла Петровна.

— Да, — ответили ей, — сейчас включу свет... — Скрипнула кровать, по полу застучали каблуки. Щёлкнул выключатель. Людмила в пальто, шапке и сапогах стояла в двух шагах от Аллы Петровны.

— Проходите...

— Ну, милочка, у тебя здесь прямо вытрезвитель... Ты печку-то сегодня топила?

— Нет ещё, сейчас буду, — ответила Людмила.

— Давай вместе! — Алла Петровна сняла шубу, повесила её на гвоздь у двери и пошла к печке.

Людмила молча переодевалась.

— Дайте, я сама, — она присела у печки рядом с Аллой Петровной, отщипнула от берёзового полена бересты — дрова уже были уложены в печь, — чиркнула спичкой. — Сейчас тепло будет... Спасибо вам.

— Да ну, что ты! Это ничего, что я тыкаю? Так удобнее разговаривать... Суровый денёк у тебя сегодня! — Алла Петровна всё не могла найти нужный тон. — Ты перед ней извиняться ходила?

— Да нет... то есть, да. Только не перед ней, а перед Анатолием.

— Ну и как?

— Извинилась.

— Правильно. Я так о тебе и подумала.

— Что подумали? — Людмила, сидя на корточках, смотрела в огонь и чувствовала на себе взгляд директора. Вопрос повис.

— Что надо, то и подумала, — нашлась наконец та, что ответить. — У тебя заварка есть?

— Есть. Сейчас чайник поставлю. Вы садитесь пока где удобней.

Алла Петровна села за стол и внимательно осмотрела комнату.

Мебель в ней была самая непритязательная; она сама выдавала эту мебель несколько месяцев назад. Кровать, стол и три стула с кожаными сидениями. Кроме этого, над столом висела полка с тремя десятками книг; среди них выделялся огромный том «Былого и дум» Герцена. На полке же стоял небольшой переносной телевизор. На стенах висело несколько репродукций из журналов: «Девочка на шаре», «Княжна Тараканова»... Настоящая достопримечательность была над кроватью. Необычайных красок маленький детский ковёр. На нем были изображены Чиполлино и Синьор Помидор.

— Ковёр-то, наверное, заграничный? — спросила Алла Петровна.

— Ага. Я с ним всё детство спала, — ответила Людмила.

«Негусто — но чисто!» — подвела итог осмотру гостя.

— Слушай, Людмила Ильинична, давно хотела тебя спросить... — Алла Петровна чуть помедлила. — Ты зачем к нам приехала? Ну, то есть, я хотела сказать, тебя ведь сюда не распределяли, верно?

— А-а... Сейчас. Попробую объяснить. — Людмила расстегнула свою душегрейку, сунула руки под мышки и попробовала объяснить.

— Во-первых, мне всегда хотелось пожить в деревне, где есть лес и река. Потом... понимаете, можно всю жизнь прожить сначала с папой и с мамой, затем с мужем, когда такового бог даст... У меня парень есть, он теперь в армии... — Людмила замолчала.

— В общем, я хочу жить как мне хочется, а не как живётся... Это понятно? Потом, мне кажется, что сельский учитель — более учитель, что ли... Он ближе и к ребятишкам, и к родителям, чем в городе. Так? Я когда была на практике, в городе, директор обращался к нам: «Товарищи педагоги!» Здесь же принято: «Товарищи учителя». В «педагогах», конечно, ничего ругательного нет, но «учителя» — лучше. Вот я и хотела поработать учителем... — Людмила снова замолчала и сильно покраснела.

— Точно! — оживилась вдруг Алла Петровна. — Ты это ужасно верно подметила! Мне и самой это иногда в голову приходило. — Алла Петровна встала и по привычке потянулась к очкам, которых сейчас на лице не было. — Ты сильно-то не бери в голову, что сегодня было. Это срыв. Не вагоны грузим. Обыкновенный профессиональный срыв. Ты больше не будешь, я знаю. А Приходкина эта тебя если и отматерила, то бог в коллекции всяких держит. Переживёшь. На таких Приходкиных хороший человек волю закаляет... А я ведь про тебя так и думала!

— Что вы думали, Алла Петровна?

— Ничего, милочка. Хорошее думала... Скоро твой чай?

— Да вот, закипит...

Они пили чай с деревянными сельповскими пряниками и разговаривали о школе. Алла Петровна шумно прихлёбывала из чашки, вытирала платочком вспотевший лоб и даже не вспоминала о своём голодном муже, который за многие годы так привык к готовой горячей похлёбке...

Людмила тоже отошла. Утренний грех улёгся где-то в потаённом уголке души и не саднил уже так тяжело и безнадежно.

Сидели себе мирно коллеги, пили чай и беседовали.

На полустанке

Рассказ

Егор Филиппович Мерзляков был крайне несчастлив в семейной жизни. Несчастлив он был по собственной воле. В молодости у него были девушки, но о женитьбе он никогда не думал, просто не думал — и всё, без всяких на то причин. Может, это было у него наследственное — отец у Егора Филипповича был старым холостяком, и женился, когда ему было пятьдесят лет. Может быть, как и отец, Егор Филиппович не испытывал в том надобности.

В двадцать пять лет у него оказалось сразу две девушки — так вышло. Одна была в далёком южном городе, другая — в том, где он жил. Егор Филиппович не хотел терять ни ту, ни другую, в результате потерял обеих. Причём ещё вышло так, что он сподличал. У одной, той, что была рядом, должен был быть ребёнок. Егор Филиппович не отказывался от ребёнка, но сказал, что жениться не сможет, а ребёнка будет содержать, во всём поможет. И девушка сделала аборт и возненавидела Егора, которому доверилась. Правда, потом они помирились, когда девушка вышла замуж за другого и успокоилась.

С нынешней женой Егор Филиппович познакомился после этой истории. Она ему понравилась, он ей тоже, опять ожидался ребёнок. Тут Егор Филиппович не отказывался от женитьбы, но и не предлагал её. Вернее, он не предлагал регистрироваться в загсе, полагая, и, может быть, вполне справедливо, — что никакая печать не поможет, он не придавал этой формальности значения, не думал, что для девушки это очень важно. А для неё это было очень важно — совсем не потому, что она хотела связать Егора Филипповича официальным браком, просто она давно, с юности, мечтала о фате, о свадебном платье, всей этой красивой, романтической церемонии, которая венчает любовь. Холодность Егора Филипповича к обряду, вернее, то, что он пренебрёг её чувствами, не спросил, хотя бы не поинтересовался, что она желает, её оскорбила. Это была незаживающая рана, которая со временем не затягивалась. К этому присоединились всякие жизненные неурядицы — маленькая квартира, маленькая зарплата Егора Филипповича, его неумение что-то доставать, добиваться чего-то, что-то на-

Ротенфельд Борис Соломонович, публицист, прозаик (1938, Киев — 2007, Иркутск). Автор книг: *Польская кукла*: рассказы (Иркутск, 1971); *Трое в королевстве заводных человечков*: повесть-сказка (Иркутск, 1973); *Эта удивительная трасса*: Книга для детей о БАМе (Иркутск, 1976); *Земля доброй надежды*: очерки (Иркутск, 1983); *Я это видел, или Жизнь российского губернатора*: [О Юрии Ножикове] (Иркутск, 1998); *В один прекрасный день...*: Невероятные и вероятные истории (Иркутск, 1999); *«Эти встречи с оттенком печали...»*: очерки по истории культуры Сибири (Иркутск, 2006). Награждён Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре». Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

лаживать по дому, по хозяйству — в конце концов жена возненавидела Егора Филипповича и то и дело заявляла ему об этом. Он долго держался, не отвечал, как человек интеллигентный, но в конце концов и у него сдали нервы, и в иные моменты он грубил, а однажды, распалённый, назвал её «гадиной».

Никогда он не думал, что получит такую семейную жизнь; ранее, наблюдая грубые, грызущиеся пары, он думал, что у него такого не будет, не может быть. Но вот — было.

Надо сказать, что Егор Филиппович не раз порывался уйти. И уходил — в самом начале, когда только пошли скандалы. Но жена находила его, говорила, что дочь не спит, плачет, зовёт папу, ради неё надо... Егор Филиппович возвращался, на время наступало затишье, а потом всё начиналось снова. И с каждым разом — с большей грубостью, злостью, немилосердными, язвительными, раздирающими душу словами. Тут бы всё оборвать, уйти, но Егор Филиппович был слабый человек. К тому же не находилось жилья, а скитаться по товарищам в сорок лет было неудобно, не по себе, в юности, в двадцать лет, было удобно и даже весело, а теперь... Ну, месяц-другой он поживёт у кого-нибудь, а дальше? Он привык быть независимым, и, хотя дома никакой независимости уже не было, он терпел, мечтая каждый раз вырваться из этого ада — иногда он буквально готов был убить жену и даже стал бояться этого, — но не вырывался.

Дочь вышла замуж, появился внук. Прибавилось хлопот и забот, прибавилось и скандалов. Квартира стала теснее, денег надо было больше. Он и зарабатывал теперь больше, но жена не считала, что это так, всё швыряла ему в лицо обидные слова. Он мог бы зарабатывать ещё больше, но не было охоты, не было ради чего. Иногда, когда у него случались солидные заработки со стороны и он ожидал, что жена, наконец, обрадуется, похвалит его, она обливала его холодным презрением, и всякая охота опять заработать, принести побольше денег у него пропадала. Этому не радовались, зачем же зарабатывать?

Вот как жил Егор Филиппович Мерзляков. Впрочем, обычная история. Не о ней речь, речь о двух неделях его на полустанке.

2

Зима была тяжёлой, весна не лучше. Много работы, нелады дома — нигде спасения. Егор Филиппович всё порывался уйти в отпуск, договорился уже, но никак не мог завершить дела, а без этого не уйдёшь. Ко всему прочему жена затеяла ремонт. Не так уж, по мнению Егора Филипповича, был нужен этот ремонт, но она не спрашивала его мнения. И, конечно, опять завела о том, что всё сама и сама, мужчины нет в доме, и вообще он всегда так, когда надо что-то делать — в отпуск, дом и семья ему нипочём, и в прошлом году было так, и позапрошлом, а она — как ломовая лошадь, тянуть должна. Хоть бы денег дал, чтобы людей нанять — так ведь и этого нет. Читать он только может и говорить о высоких материях, все кругом ахают — ах, какой у тебя муж, ах, как тебе повезло, знали бы они, как ей повезло...

Егор Филиппович взял себе в привычку с некоторых пор не возражать, не спорить. Это было бесполезно, только ещё больше раздражало, распалило жену, подбрасывало дров в огонь. Он молча собрал рюкзак, покидал, что попало под руку, лишь бы быстрее, и поехал на вокзал. Он давно, ещё зимой решил, куда поедет. К приятелю, на Байкал. Ехать было далеко и неудобно, двумя поездами, ночью; но Егор Филиппович так и хотел — чтобы далеко, чтобы его никто

не достал. В дороге он успокоился и стал думать, что будет делать у приятеля. Егор Филиппович никогда не отдыхал даже в отпуске. В санаторий или дом отдыха не ездил, как-то не привык, а когда летом снимали дом в деревне — для дочери, в основном, для молока, чистого воздуха, леса — и то и здесь работал, занимался своими делами, которых было не переделать.

Но теперь всё! Хватит! Будет гулять, ходить на берег — собирать щепки для самовара, там полно коры и щепок, сухих, тонких — будет ходить в лес за грибами... И загорать. С утра до вечера. Егор Филиппович где-то прочитал, что на Байкале солнца больше, чем на знаменитом швейцарском курорте, хоть солнышка нахватается... И никого над ним не будет, свобода!

Приятель оказался не один, на полустанок нагрянула молодая компания — племянники с приятелями и приятельницами. Егору Филипповичу, впрочем, они не мешали, он был сам по себе, они — сами по себе. Он, как и хотел, гулял, собирал на берегу щепки, навещался в лес, по грибы, далеко, однако, не заходил; как городской житель, он, хотя и любил лес, не знал его совершенно, боялся заблудиться. Однажды, когда они с женой снимали дом в деревне, так и вышло: отойдя всего метров сто от дома, в черничник, тут же заблудились, не зная, в какую сторону направляться, набрали на тропу и решили идти по ней — куда-нибудь выведет. Вышли у соседней станции...

Хоть и ходил Егор Филиппович недалеко и по проторённым дорожкам, грибы всё же приносил, тут ему была удача. Все ахали — компания в лес не ходила, — и он радовался как мальчишка, да и жарёха грибная, особенно с картошкой, была вкуснейшей. А ещё чай из самовара со смородиновым листом, а если после бани — у приятеля за усадьбой, на краю лужка, рядом с колодцем, и банька стояла — то и по стаканчику холодной водки с омульком. Благодарить!

Томительно было лишь вечерами. Молодые, все студенты-романтики разводили во дворе костерок, усаживались вокруг, пели песни. Те же песни, которые в студенчестве пел и Егор Филиппович, но тут они ему казались преувеличенно-романтическими. Не сами, конечно, песни, а то, как их пели — что-то было тут искусственное, придуманное, манерное. Егору Филипповичу становилось не по себе, он потихоньку уходил — спать. На крыльце напоследок поднимал глаза к небу — мигали хрустально-голубые звёзды, здесь они были высоко-высоко.

Компания скоро уехала, уехал и приятель. Егор Филиппович остался один. Раздолье! С утра до вечера он ходил, как туземец, в одних плавках, при компании стеснялся — те, хоть и молодые, почему-то всегда были закованы в джинсы и модные, со всякими надписями, майки, чаще всего чёрные. Не склонен был щеголять в туземном виде и приятель, он ходил в старых рабочих штанах и клетчатой рубашке, тем более, что не сидел ни минуты — строгал, пилил, резал, полировал, шоркая крупным наждаком, косил, грёб сено. Егор Филиппович, конечно, помогал, чем мог и как умел, чаще всего пилил и колол дрова, притаскивал сухостины, если находил. Дров надо было много, хоть и лето, готовили на летней печке, иногда, вечерами, подтапливали и в самой избе.

Оставшись один, Егор Филиппович готовил мало; сварит какого-нибудь супу и ест его три дня, благо подполье было хорошее, там и ледник был. Ну, прибавит ещё чего-нибудь — яичницу, банку какую-нибудь откроет, чаю заварит покрепче — и хорошо. Было ещё и молоко — за хлебом и молоком на полустанок, за молоком — к местным жителям, за хлебом — в магазин. Один раз повезло — продавщица пожалела, дала кулёк конфет (их дачникам не продавали, мало было, только тем, кто жил на полустанке). Какую-то мелкую работу Егор Филиппович делал и в усадьбе: то гнилую доску в заборе заменит, то упавший, подгнивший

столб, то ещё что, а в остальное время сидел на чурке у летней кухни, в одних плавках, читал. Ещё глядел, как в течение дня меняется Байкал; утром он был зеленоватый, бутылочного цвета; днём — тёмно-синий; к вечеру — голубовато-зелёный, чёткие очертания гор на том берегу подёргивались голубовато-зелёной дымкой. Описания его, Егор Филиппович понимал, были, конечно, примитивны, неточны, в этих неуловимых оттенках мог разобраться только Бунин, куда бедному рядовому филологу...

Всё было хорошо, но вдруг пропал свет. Егор Филиппович сходил на полустанок, но там свет был, отчего пропал у него — не знали. Он купил свечей. Больших не было, пришлось брать маленькие, разноцветные, ёлочные — целый набор. Света от них было мало. Егор Филиппович как-то однажды вышел, заглянул в окно — огонёк теплился еле-еле, слабенький, тайный. Пить чай при нём ещё можно было, читать — никак. Тьма начиналась уже за краем стола, густела к углам, там скреблись мыши. Какие-то тревожные звуки доносились со двора. Егор Филиппович брал фонарь, выходил — никого. Однажды, правда, к окну, где теплилась свечка, прилипла физиономия. Увидевши Егора Филипповича, отпрянула, послышались быстрые, убегающие шаги, — видно, решили, что в доме никого нет, думали пожить.

От всего этого Егору Филипповичу вечерами было не по себе. День проходил прекрасно, удивительно, на вольном воздухе, при вольных, естественных занятиях, при ярких красках, но как только наступали сумерки... Он стал плохо спать, ворочался, пока не рассветало, не светлели окна. Тогда засыпал ненадолго, вставал, шёл по воду, растапливал летнюю печку, ставил самовар, уже вовсю сияло солнце... А потом опять неизбежно наступал вечер...

И тут, томясь, Егор Филиппович вспомнил про Зою Фёдоровну.

3

С Зоей Фёдоровной Егор Филиппович познакомился случайно, в командировке. Он приехал в университет, на кафедру, Зоя Фёдоровна была там лаборанткой. Когда он пришёл, на кафедре никого, кроме неё, не было, надо было ждать. Перекинулись несколькими словами, он присел на диван, Зоя Фёдоровна что-то печатала. Вдруг она побледнела, откинулась назад, прикрыла глаза. «Что?» — спросил, пугаясь, Егор Филиппович. Она покачала головой: ничего, мол. А сама не открывала глаз, всё больше бледнела, прижимала ладонь к сердцу. «Скорую?» — спросил Егор Филиппович. Она опять покачала головой: не надо. Но он не послушался, вызвал: вдруг что случится, а никого нет, не бежать же к преподавателям, которых он и не знает, да к тому же не мужик, женщина, самому помогать как-то неудобно. «Скорая», на удивление, тут же приехала. Уложили Зою Фёдоровну на диван, он отвернулся, вышел.

Оказалось, с ней так бывало не раз. Вдруг схватит сердце, ни охнуть ни вздохнуть, всегда вызывали «скорую», так что Егор Филиппович сделал совершенно верно. Вообще-то он удивился: молодая, по крайней мере, лет на десять младше его, и вдруг — сердце, так часто.

Зоя Фёдоровна благодарила его «за спасение». Она ему понравилась — симпатичная, славная, добрая. Видно, и он ей понравился, раза два обедали вместе в ближайшем кафе, потом был выходной, суббота — прокатились по реке на катере. Потом Егор Филиппович наезжал в этот университет ещё два раза, один раз попал на именины Зои Фёдоровны. После гуляли по берегу, было про-

хладно, он накинул ей на плечи пиджак. Присели на скамейку, целовались... Как в юности!

Егор Филиппович долго ещё вспоминал тот вечер, давно ему не было так хорошо. Потом Зоя Фёдоровна куда-то пропала, никаких вестей от неё не было, по крайней мере, сослуживцы Егора Филипповича, бывшие на той кафедре в командировке, ничего не сообщали. И вдруг недавно она объявилась — совсем недалеко, час лёту от города Егора Филипповича. Он бы и не узнал об этом, но Зоя Фёдоровна сама позвонила и даже приехала на выходные в его город — тут у неё были знакомые. Они встретились у этих знакомых. Опять был чудный вечер, благо жена Егора Филипповича уехала, и не надо было врать, отвечая, где он так долго был.

Теперь, сидя на этом полустанке, он был совсем близко от Зои Фёдоровны, несколько часов на электричке — и там, у неё, всё быстро и просто.

Первое время Егор Филиппович редко думал об этом, но потом, когда наступили томительные, смутные вечера, вспоминал о ней всё чаще и чаще, и даже начал думать о том, что она может к нему приехать. Электричка из её города приходила под вечер. Егор Филиппович стоял во дворе и смотрел туда, на спускающийся к насыпи лужок, откуда она могла появиться. Он представлял, как она вдруг появится, как он пойдёт к ней навстречу, возьмёт сумку — она обязательно придет с сумкой, что-то привезёт, — как они будут пить чай при свечах, — он зажжёт сразу все свои игрушечные свечи, как... дальше мысли путались, он ничего не мог представить.

Вечера проходили, она всё не приезжала, да и не могла приехать. С чего она вдруг придет? Ни о чём таком, по сути дела, они не договаривались, так, мельком, обмолвились, шутя, мимолётно, когда он сказал, что, наверное, в отпуск отправится на этот полустанок. Да и найди этот его полустанок, попробуй, он и сам-то его еле нашёл, к тому же дом не на самом полустанке, к нему ещё идти надо километра полтора, сначала прямо по шпалам, потом сворачивать влево, сойти в ложбинку, где ручей, подняться на взгорок, к лужку — и тут только откроется усадьба, дом... Попробуй найди, да и с чего это она станет искать? Кто он ей — ни сват, ни брат, даже не любовник, просто добрая женщина, хорошо к нему отнеслась, немного приласкала, он и размечтался...

Смеркается, никого нет. Егор Филиппович уходит в дом, зажигает тонкую, как карандаш, мерцающую свечу, нехотя пьёт чай, жуёт хлеб с чем-нибудь, что под рукой. В углах таятся тени, всё гуще, гуще. Он знает, что опять не заснёт. Тоскливо... И вдруг он думает: а почему бы ему не съездить к ней? Свободен, времени полно, делать особенно нечего... Нет, он не будет звать её сюда, скажет только, что вот он здесь, на полустанке, совсем недалеко, замечательное место, никого нет, он один...

Егор Филиппович ворочается на кровати, с одного бока на другой, на спину, опять на бок, сворачивается калачиком — так вроде теплей. Наконец, светлеют окна — он успокаивается, засыпает. Последняя, тающая мысль — может, и вправду съездить к ней?

* * *

Четверг, надо идти в магазин, по четвергам и вторникам после обеда привозят хлеб. Заодно Егор Филиппович заходит и за молоком к добрым, приветливым старикам со странной, мрачной фамилией — Мертвецовы.

Хлеба нет, ещё не привезли, Егор Филиппович идёт за молоком. Возвраща-

ется, у крыльца стоит машина-хлебовозка. Стекается местный народ, тётки в передниках и мужских пиджаках. Хлеба привозят немного, сначала дают местным, потом, если остаётся, приезжим дачникам.

Егор Филиппович садится в сторонке на чурбак, ждёт. В магазинном дворе, у сарая, бродят козы, подходят, уставляются неподвижными жёлтыми глазами. Как-то не по себе — чего они там думают, чего хотят — не поймёшь...

Кажется, свои набрались, можно идти. Егор Филиппович поднимается на высокое крыльцо, заходит в магазин. «Вам одну?» — спрашивает продавщица. «Если можно — две», — говорит Егор Филиппович; даст две буханки — не надо идти во вторник. «Можно», — говорит продавщица и выкладывает две большие, высокие булки. Хлеб тут вкусный, можно есть без ничего. Выйдя, Егор Филиппович тут же отламывает корочку...

Солнце высоко. Он смотрит на часы: ровно три. В три пятнадцать приходит электричка, которая идёт в город Зои Фёдоровны. Сел — и ту-ту, покатило...

Егор Филиппович стоит на насыпи, смотрит, как над нагретыми рельсами курится, трепещет воздух.

Ему очень хочется, чтобы Зоя Фёдоровна была здесь. Хоть день, хоть полдня. Но ехать к ней...

Может, завтра?

Солнце в конверте

Рассказ

Мы познакомились во время фотовыставки в одном из пассажей. В тот день, закончив съёмки и поставив камеру в сейф, я вышел из телестудии и отправился посмотреть выставку одного знакомого фотографа. Его работы пользовались успехом. Я с трудом пробрался сквозь толпу возбуждённой молодёжи, подмигнул сам себе в зеркало и с удовольствием показал контролёрше пригласительный билет.

Зал экспозиции был превращён в звездолёт. Иллюминаторы, переборки, лес проводов и, в довершение, — девушки в комбинезонах, стилизованных под скафандры. Эти «космические» дивы разносили бокалы на подносах.

Сдав пальто в гардероб и оказавшись в середине зала, я минут пять стоял и осматривался. Потом, не зная как быть дальше, я двинулся к первой фотографии и, прихватив с подноса шампанское, стал совмещать приятное с полезным. Вся выставка оказалась актов. Актом в фотографии называется обнажённая натура. Чаще женская.

На всех фотографиях я увидел одну и ту же милую леди с тёмными волосами. Она смотрела с фотографий одиноко и, может быть, гордо. Не знаю, каков её характер в жизни, но со стен смотрела одинокая амазонка, знающая цену себе и своему одиночеству. Напротив неё стояли люди в вечерних платьях и старых свитерах. Все они пили шампанское, тыкали пальцами в разные стороны, размахивали руками и были довольны.

Никто из знакомых не встретился, и мне оставалось пребывать в одиночестве. Казалось, галерея никогда не закончится. В моих глазах уже рябило от серебристого цвета декораций. Я вошёл в одну из ниш в дальнем углу выставки и уставился на очередной портрет. Фото было удачным. На фоне водопада дива стояла в полный рост, слегка повернувшись от меня и держа в левой руке хрустальный шар. Струи воды искривлялись его формой, наполняя хрусталь и словно желая взорваться радужным фонтаном. Из оцепенения меня вывел голос, прошестевший за спиной:

— Да, он прекрасно чувствует свет. Посмотрите, как у неё светится кожа. Такой кадр стоит многих лет труда. — Я оглянулся. Вгляделся в говорящего. Передо мной маячил линиялый клетчатый берет, надетый поверх огромных, если не сказать — гигантских очков. Казалось, что линзы вывернули из телескопа и вставили в оправу. Сквозь них на меня смотрели два блеклых глаза, бывших в молодости зелёными. Я оглядел его. Одет он был как многие здесь. Коктейль

*Рудаков Вагим Григорьевич, прозаик (род. в 1965 г. в г. Иркутске). Автор книги *Медовый звон лета*: повесть и рассказы (Томск, 2009); публикаций в коллект. сб. и журналах. Член Союза писателей России (Иркутская областная организация).*

из свитера, скорее похожего на балахон, бесформенных брюк и почти мёртвых туфель. Этаким творческий клошар, застрявший головой в искусстве.

— А вы что, увлекаетесь фотографированием? — спросил я, устав терпеть неподвижный взгляд.

— Если можно так сказать. Я не увлекаюсь, а уже много лет ничего, кроме фотографий, не делаю. И эта фотография, — указал он пальцем на хрустальный шар, — блестящая, такое получается раз в жизни. — Его резкий тон и беспардонность сразу привели меня в раздражение. Но я, желая повернуться и уйти, остался и спросил:

— Простите, а почему вы считаете, что такое бывает раз в жизни? Я ничего особенного здесь не вижу.

Его реакция меня удивила. Было видно, что он собрался, как для броска, и сказал:

— Либо вы слишком молоды, либо вы обычная бездарь.

Слово «бездарь» произнёс просто и обыденно, даже необидно. Он продолжал:

— Как вы считаете, что такое фотография? Ну не молчите, оформите в двух словах, я уверен, что у вас получится.

Я подумал, выдержал паузу, и ответил:

— Фотография — это вид искусства, позволяющий получать изображения благодаря способности химических веществ реагировать на свет.

Он помолчал, хмыкнул и сказал:

— Из всей белиберды я прощаю вам слово «свет». Остальное можете читать с кафедры захудалого института недоученным дамочкам. Они запишут и, может быть, выучат. Но я не буду вас сильно ругать, видно, что вы молоды и мало знаете. Заходите ко мне в студию. Там и разберёмся, что такое фотография и особенно свет.

Он записал в моем блокноте свой адрес с телефоном и сказал, что будет готов принять меня через неделю. Потом удалился, пересекая зал и шаркая туфлями.

Неделя протекла незаметно, и с ней ещё одна песчинка времени перестала быть моей. В назначенный час я шёл по городу, приближаясь, к огромному дому сталинской эпохи. Солнечный свет провожал меня на пятый этаж по широким пролётам квадратной лестничной спирали. Дверь оказалась не на замке. Она отворилась, и я увидел хозяина.

— Проходите и не чему не удивляйтесь. Я здесь живу и работаю, — впустил он меня, сверкая своими очками.

Казалось, что коридор, по которому я шёл, был бесконечным. Мне пришлось протискиваться между стеллажей с колбами, идти мимо незнакомых мне устройств и аппаратов, напоминавших сушилки. Поход завершился моим падением, когда я зацепил ногой коробку. Хозяин помог встать и провёл меня в залу.

Я сел на огромный кожаный диван с валиками и огляделся по сторонам. В дальнем углу на письменном столе стоял древний телевизор «Рекорд». Шпон на его боковых стенках полопался и во многих местах отслоился, поэтому телевизор напоминал спящего квадратного ежа. На левой от меня стене висела пожелтевшая карта мира с прочерченным маршрутом полёта Чкалова, Байдукова и Белякова. Я заметил ещё самовар на шкафу. Его покрывал плотный слой зелёной патины. Кроме одинокого венского стула, ничего из мебели я не обнаружил. Но стены были усыпаны фотографиями в рамках. Они были старые и новые, разных форматов. И каждая из них показалась мне интересной. Фотограф, стоявший молча, минут десять наблюдал за мной, а затем прервал:

— Жильё вы посмотрели, а теперь пошли в лабораторию.

Так потекли долгие дни нашего общения. Он открывал премудрости фотографии, а я помалкивал и слушал, вникая в незнакомый мне мир. Мне было интересно, сколько ему лет, а он отказывался отвечать на вопрос, говоря: «все там будем». Однако, вглядываясь в его блёклые стариковские глаза, я видел, что ему очень много лет. Может быть, даже сто.

Он был работоспособен и энергичен, но это не могло спрятать его возраст. Я бы сказал точнее: не могло «спрятать» его жизнь. Мои предположения окрепли, когда он, будучи в добром расположении духа, показал мне стеклянный фотонегатив. Посмотрев, я не поверил своим глазам. На фото был изображён вождь мирового пролетариата, стоящий с Дзержинским около авто. Я спросил, кто автор снимка, а он хмыкнул и ушёл в лабораторию печатать. С того дня я уже другими глазами смотрел на фотографии, висящие в большой комнате. Бури времени последнего века выплеснули на эту стену свои волны, и они застыли и превратились в галерею людских судеб и разных стран. Я нашёл солдат первой мировой, ослепших на Ипре. Там был учёный Попов, держащий в руках грозоотметчик. Я нашёл Циолковского, сфотографированного со школьниками. И даже Гагарина, одетого в скафандр и рапортующего перед стартом. Многое было там.

Если это были его работы, а я уже в этом не сомневался, то как он успел так много? Какими возможностями он обладал, живя в истории и даже творя её?

Однажды мне приснился сон о том, что мастер, колдующий у фотоувеличителя, не кто иной, как доктор Парацельс, победивший время и до конца дней притворившийся чудаковатым старым фотографом. Квартира его напоминала лабораторию древнего алхимика, в которой решаются задачи и разрешаются вопросы, недоступные профанам и непосвящённым.

Он не учил меня фотографии. Он раскрывал для меня двери реальности, о которой я мог только предполагать. Теперь, по прошествии времени, я понял, что ни от кого не услышу о фотографии то, что услышал здесь.

— Представьте себе, что в пустоте и холоде движется огромное живое существо, Солнце. Цель его жизни — свет. Этот свет летит во всех направлениях для того, чтобы отразиться. Понимаете? Отразиться. И когда с ним это случается, рождается новая форма жизни. Я не придумал ей названия, но она есть. Я открыл её, занимаясь своим делом. — Он закашлялся, потом набил трубку и долго молчал.

— Не знаю, поняли вы меня или нет. Мне кажется, что если свет затухает в пространстве и не находит возможности отражения, то бессмысленно умирает. Человеческие глаза, наверное, созданы Богом для того, чтобы жило Солнце. А фотопластинка — для того, чтобы сохранился окружающий мир, отразившийся в ней.

Я сидел часами в его мире красного света и, прихлёбывая кофе, смотрел, как его полусогнутый силуэт исполняет танец среди ванночек с растворами. Танцуя, он превращал банальности, снятые им на моих глазах, в искусство. В поэзию.

— Работоспособность — основа успеха. Если вы родились работоспособным, то ваша жизнь принадлежит вам. Здоровье и трудолюбие — вот две замечательные вещи, которые мы можем унаследовать от своих родителей, — говаривал он мне, обрезаая на станке фотографии.

С того момента, как я встретил его в галерее, я многому научился. Он уже доверял мне печатать некоторые его снимки и даже осторожно похваливал, и говорил мне «ты». Я был принуждён учить наизусть рецепты реактивов и приучался не выходить из лаборатории на яркий свет. И хотя я уже долгое время работал телеоператором и многое понимал в этой профессии, мироощущение моё стало другим. Свет и тень заговорили со мной. Да, когда я смотрел по сторонам, я слы-

шал непрерывный диалог двух начал. Я много читал об этом, спорил с друзьями в компаниях, но никогда не знал, что есть любовь и борьба света и тени.

Другого сравнения я так и не смог найти. Я видел это в аллее тополей, в городской толпе. Мне виделось это в облаках, облитых закатной кровью. И я стал искренне верить, что солнце рождает свет для того, чтобы он отражался. По утрам идя на работу, я ощущал его радость, когда оно слепило мои глаза. Вечерами, откопав отцовский фотоувеличитель, я выгонял домашних из ванной комнаты. Я тоже захотел научиться превращать обыденное в прекрасное. Вынимая листок фотобумаги из увеличителя и опуская её в проявитель, я физически ощущал, как на моих глазах соли серебра меняют окраску. Я сам стал одной из этих частиц, откликающихся всей своей природой на свет. Это было великое волшебство, когда на белой, словно снег, поверхности фотобумаги, в сиянии красного светила, проступали первые черные линии и точки, сливаясь в портрет или пейзаж.

Со мной такого не случалось давно. Когда твой возраст уже ушёл от тридцати лет, когда «сорок» уже звучит как «срок», обретаешь определённую косность и не так шустро увлекаешься новыми вещами, кроме тех, что близки тебе. Я страстно хотел показать своему наставнику собственную серию работ.

Я рассказал ему о своём намерении. Он молчал, курил, снова и снова набивая табаком трубку.

— Я боюсь, что у тебя ничего не выйдет. А если получится, то спустя достаточно долгое время. Не надо отдавать себя тому, что случайно встретил. Случайно встретил, случайно и распрощаешься, — улыбнулся он.

— Но я просто хочу попробовать, — я начал горячиться. — Я же не говорю, что у меня есть желание уйти в это навсегда, мне надо попробовать!

Что человеку легче всего, так это, наверное, орать. Ума не надо. Набираешь в лёгкие побольше воздуха, отключаешь сознание и стартуешь. Похмелье гарантировано через десять минут после скандала. Так и я. Когда ехал на свою окраину, сидя в трамвае, вспоминал, что обозвал его «снобом» и «старым пердуном», которому на всё наплевать. А он спокойно меня слушал, не выпуская из рта трубку. Когда я закончил, он выколотил пепел, налил себе холодного чая и, размешивая сахар, сказал:

— Ты, парень, просто устал. Красный свет в лаборатории плох для человека. Плюнь на всё и пару недель не появляйся. Отдохни и заходи. Хочешь с фотографиями, а хочешь, нет, — и ушёл сушить снимки.

Придя домой и глядя на развешанные в ванной негативы, я думал, что человеческая жизнь в основе своей несурозна. Пока находишься в иллюзиях, ощущаешь уверенность и подъем. Но стоит только коснуться реальности, как наступает печаль от простоты бытия и узости коридоров собственной жизни. Оглядываясь вокруг, легко понять, что мир полон несчастья. И мы изо всех сил придумываем себе розовые стекла, за которыми можно было бы ощущать себя немного сильнее. Что мне сделал плохого этот человек? Ничего. Абсолютно. Делился тем единственным, что у него есть. Вот так. Он прав, пора отдохнуть...

Я плюнул на всё и занялся повседневной жизнью. Хватало проблем на работе. Не убавилось их и дома. Я решил забыть о фотографии до лучших времён. Я согласился с ним. Нечего мутить воду собственной реки. Пора уметь проходить мимо вещей не близких и вынимающих время из твоей жизни. Не всем дано быть фотографами.

Мои друзья позвали меня в горы. Я взял отпуск за свой счёт и занялся подготовкой. Перспектива удрать из города и попить воду из горных ручьев захватила меня. Старт планировался через три дня.

В день отъезда, в пять часов утра меня вернул в реальность телефон, стоящий рядом с кроватью.

— Спишь? Прости, что разбудил, — узнал я шелестящий голос своего знакомого. — Я уезжаю. Если не трудно, зайти ко мне, сможешь собрать вещи. Заодно покажу тебе кое-что напоследок.

Я принял решение. Друзья впали в недоумение, но простили и ушли в поход без меня. В час дня я стоял на пороге его квартиры. Аппаратуры ни в лаборатории, ни в коридоре не было. Он всё продал, а часть отдал в кружок. Фотографии лежали упакованные в ящик, и без них стены сиротливо стеснялись своей наготы.

— Мне пора уезжать, — грустно промолвил он. — Всегда наступает время уйти. И лучше это сделать самому. Я многое успел. А теперь успеваю уехать. Самолёт сегодня. Проводи меня, я буду этому очень рад.

Я попросил извинения за прошлую выходку.

А он повёл меня в лабораторию показать, как он сказал, один интересный эффект. Там было пусто. На полу валялись бумаги, горел красный фонарь. Когда глаза освоились, я увидел чёрный пакет из-под фотобумаги.

— Сейчас ты увидишь то, над чем я работал всю жизнь, держись за стену, может быть неожиданный эффект.

Я ухмыльнулся, но всё-таки оперся.

— Комментарии потом, а сейчас смотри, — сказал старый фотограф и развернул пакет. Он достал оттуда листок фотобумаги. Листок мерцал. Жёлтым пульсирующим свечением. Во мне появилось беспокойство, переходящее в страх. Свечение перешло в сияние, и комната озарилась вспышкой. Мне показалось, что я посмотрел на сто солнц. Такой сильной была вспышка. Почувствовав толчок в грудь, я упал. Запах нашатыря вернул меня к жизни. Я сидел на полу, опираясь спиной о стену.

— Что это было? — спросил я, ощущая черноту в глазах, которая быстро проходила.

— Та самая форма жизни, которая рождается светом. И ты с ней только что познакомился. Я сам пока плохо всё это понимаю, может, никогда и не пойму. Ничего больше не спрашивай, пошли пить чай, скоро придёт такси.

Так, уезжая навсегда, он привёл меня в полное замешательство.

Впоследствии я поделился этой историей с одним серьёзным физиком. Он долго прикидывал, что могло произойти со мной, когда открылся пакет. Но признался, что бессилен. Правда, после бутылки коньяка, принесённой мной, он сказал мне шёпотом, что есть некоторые «не подтверждённые эффекты квантования частиц».

После этого мне было отказано в дальнейших расспросах.

И вот, наконец, аэропорт. Мы сдали багаж и зарегистрировали билет. Когда прощались, я оторвал от своего пальто пуговицу и протянул ему. А он растрогался и минут пять плакал как ребёнок. Потом достал грязный платок, утёр слезы и пошёл на посадку. Я думал, что он уже не обернётся, и ошибся. Он повернул голову, последний раз блеснул мне своими очками и исчез из моей жизни навсегда. Поднявшись в бар и выпив кружку пива, я тоже всплакнул, поняв, что мне его будет не хватать...

По прошествии двух лет, на хребте тысячелетия, ко мне постучала женщина-почтальон и вручила телеграмму. Мой учитель фотографии писал, что живёт у родственников Йозефа Судека, которые его пригласили к себе. Он желал мне удачи и счастья. Больше вестей я не получал. Единственное: не поленился и узнал, что Йозеф Судек — великий чешский фотограф.

Виталий Рудых

Парасковья

Отрывок из повести «Сытая осень»

Русская сибирская баба! В лютые морозы, в голод, без валенок, в дра-ных чирках из свиной кожи, со стелькой соломенной, по снегу всю работу колхозную проворачивала. Далеко за деревню, в лютую стужу, на дровнях едет баба по сугробу, порой едва конь вытягивает воз. Не двужильная, а многожильная, будто вся из струн скована; тронь — запоёт и заплачет, запричитает и закричит всей душой, без фальши, а где так и кулаком пристукнет. Отмороженные коленки ототрёт спасителем-снегом и опять в путь, за работушку. Всё в ней, в керонской бабе: и крепка, как лиственница, и нежна, что берёза, и пуглива, вроде осины... <...>

Ночью отгремел гром, отчиркали прощальные молнии, и весь день хлещет холодный дождь.

Осень.

Капризна земля, расквашенная и липкая, не пускает колхозников на поля: куда ни сунься — вязко и топко.

Печальные колоски неубранного хлеба полегли, поклонились от ухватистого ветра, от дождевой воды и вместо зачарованных волн солнечного ячменя теперь всюду причёсанная, словно волосы, солома.

Прасковья режет подаренный Демидом материалом овечьими ножницами, вымеряет всё до ниточки, кроит ребятишкам штаны и пиджачки.

Анна топорщится возле Прасковьи, суматошно вертит в руках раскроенные куски и любитесь отрезом японского шелка.

— Гли-ко, Пашка, евон чо?! — показала Анна на полотно, где в добрую ладонь зияло пятно. — Кажись, мыши прогрызли? И надо же, на самой серёдке!

Прасковья отдала соседке за долги кусок Демидом подаренного шелка на платье и три метра двойного крепдешину.

Анна списала с Прасковьи кредит, подсчитала всё сполна и, довольная, ждала, когда соседка раскроит и ей. (Сама-то любит носить готовое.)

— И тут тоже, — Прасковья взглянула на пепельное место в полотне. Она повела ножницы, будто лодку по плёсу, и ткнула их в островок, в эту истлевшую кляксу.

— Это чо жа такое? — недоуменно дёрнулась Анна, — омман, Пашка!.. Ну и братец у тебя! Товар-то погнил, а он его — в подарок. Обидно, Пашка!

Рудых Виталий Георгиевич, прозаик (1935, д. Келора Жигаловского р-на Иркутской обл. — 2008, Иркутск). Автор книг: *Сытая осень*: повесть (Иркутск, 1991); *Сытая осень*: повести (Иркутск, 1999); *Возвращение*: повесть // Сибирь. 2008. №5 и др. произведений, опубл. в журналах. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

— Где он дорогой-то товар возьмёт, не на приисках, на войне был, — защищает Прасковья брата, — поди, и этот-то достался не без копейки.

Но Анну не проведёшь. Она-то знает, что товар непокупной, успела уж и с Ириной потолковать и незаметно для той выудить кое-что.

— Вот тут, — рвёт полотно повдоль Прасковья и пытается показать, что оно крепкое, — мы его вот так. — Она прикладывает кусок ткани к пухлой груди Анны и показывает, как можно обойти дыру.

— Неважное оно, полотно-то, так, для модели, — усмехается Анна.

Они долго и кропотливо вымеряют, затем Прасковья улыбается и оживает, как бы сбросив с себя нелёгкую ношу — капризы Анны.

— Ещё и на подвязки к чулкам останется, — смеётся Прасковья, — а ты переживала. — Смотрит Анна, и соскальзывает с её лица выражение усталости и скуки.

В окно постучали.

— Завтра на гумно, Матвеевна.

— Ладно, ладно, — выглянув, ответила за Прасковью Анна, — придём, чо раскричалась! — Она сердито посмотрела вслед посыльной.

Застрадала, уморилась от буйств летних осень. Едва в Кероне дождались её. Пришла сытая, хлебом уродившаяся, спелая и отрадная. Осень, когда поля в первый раз после войны были засеены почти всюду, и вот теперь шла уборка второпях и с опаской, как бы не закутал снежок, не помешал убрать урожай.

Не ко времени прошёл дождь, и суслоны да сжатый и скиданный в гребни хлеб были намокшие и не пригодны к обмолоту.

Уваровский с раннего утра поднял людей на гумно: молотить сухие, ранее привезённые снопы.

Коногонит Миха, стоя на кругу с длинной палкой, на конце которой бич.

Прасковья крутит ручку веялки, а Анна лопатой гребёт из-под барабана хлеб, а там бабы ведрами сыпают его в веялки.

Они, сменяя друг друга, без отдыха, очистили от мякины хлеба на добрых воза три, а солнце ещё только-только продрало свой сонный, подслеповатый глаз.

У барабана стоит Трифон с Анфиской. Анфиска кромсает ножом по вязкам снопы и двигает их Трифону. Он же, раструсивая, посылает их в жерло. Анфиска смущается, захватывая на себе взгляд Трифона. Он в гимнастёрке и подпоясан широким кожаным ремнём, с портупеей через плечо. Ей хорошо стоять рядом с ним. Девчата завидуют и даже с какой-то ревностью глядят на неё, но Анфиска будто наддаёт жару в огонь — улыбается Трифону, наивно и с нескрываемой радостью. <...>

Все годы, как началась война, стояла у барабана Прасковья. И лишь последние осени пошла в вязальщицы или просто веяльщицей — силушка поубавилась. Поставил Уваровский к барабану Леху Хойбу, да сколько раз потом каялся: зря. Растяпистый и неуклюжий, вред один от его работы.

— Шей, Леха, уздечки, чини шлеи и хомуты с седёлками, по тебе эта работа, — сказал тогда Уваровский и отстранил его.

Но и Прасковье отдохнуть пора, не бабья эта работа, хоть и наловчилась она — успевай подавать снопы, так и стоит хрумканье да мелькают растрёпанные в горле барабана колосья. <...>

...Анфиска засмотрелась на Трифона, он ждал подачи снопов. Она, будто спохватившись, брала снопы, резала вязки и двигала их ему по узкому столику, но мысль постоянно скребла об одном и том же — о предстоящем вечере. То она видит, как Трифон с солдатской лёгкостью и сноровкой беззастенчиво крутит её

по скрипящим половицам, то вдруг как затмение находит: приглашает он девчат, а она стоит в стороне отчуждённо и от обиды кусает губы.

— Всё! — торжественно произнёс Трифон, бросая последний сноп в барабан. — Теперь и покурить можно, — он отходит к мужикам, сбрасывает верхонки на кучу провеянного ячменя и сворачивает козью ножку.

— Выбрал себе в помощницы девку кровь с молоком, — бросил кто-то из мужиков и хохотнул.

— А што, Анфиска без передыху целый час с ножом простояла, — слыша разговор, сказала Прасковья. — Вам бы только зубы скалить. Да она вас за пояс заткнёт. Раскудахтались, петухи.

— Где уж нам, — тот же голос ответил и притих. Откуда-то ещё подвезли на кладовой телеге сухие снопы и скидали их тут же, возле барабана. Девки зовут Трифона, но он сидит за скирдой соломы с мужиками, рассказывает байки.

— Тётя Паша! — просят девки. — Давайте уж последние снопы обмолотим, пока кони не остановились.

Прасковья по привычке, а может, захотелось ей вновь припомнить ту нелёгкую, но спорую работу машиниста, подошла к барабану и, не дожидаясь Анфиски, взяла нож, разрешила вязки и начала швырять снопы в барабан быстро, раструстисто, ровно. А кони легко, без рывков кружат, заученно ступая копытами в одни и те же протоптанные ямки, понуриив голову, все в пене.

Прасковья в правой руке держит нож, хватая им по снопам, но вот он вдруг выскользнул, и ручкой вперёд покатился к горловине.

Она и раньше сколько раз ловила его, попадёт такой кусок железа в механизм, несдобровать ни барабану, ни ей. Её будут песочить на правлении колхоза, высчитают трудодни, а барабан не так-то просто отремонтировать.

Прасковья ухватила за конец ножа, он блестел и отражал на себе злые, отточенные зубы барабана. И вдруг ощутила короткую боль, даже не боль, а хруст, отёрнула руку и закачалась.

— Девки! А девки! Где рука-то моя, рученька? — вгорячах закричала Прасковья и побежала по гумну, разбрызгивая кровь по отвеенному, золотом светящемуся хлебу.

Миха увидел, как соскочила мать с подмосток и понеслась прочь.

— Мама, мама! — он понял, случилось что-то страшное. Бросил коней и побежал, теперь уже в гущу людей, где причитали бабы, мужики их разгоняли с руганью, лишь Прасковья, вся будто одревеневшая, лежала на соломе, а возле неё — Анна.

Анна умело и быстро замотала Прасковье культю, оторвав от натальной рубашки лоскут, но подоспевший Трифон сорвал с себя португеею и перетянул ей руку выше локтя, остановил кровь. Он командирским окриком приказал наложить в телегу соломы и, ударив вожжами коня, повёз Прасковью к фельдшерице.

— Сестричка, чо ты натворила, — сидя на телеге рядом с лежащей Прасковьей, причитала Анфиска.

— Успокойся, — сказал Трифон Анфиске, — ей совсем худо.

Прасковья лежала на телеге вся белая. Её высокий лоб покрылся бисеринками пота, нос сразу вытянулся, а ноздри стали ещё шире. Она временами билась головой, но подстилка из соломы была ей подушкой. Анфиска держала её за изувеченную руку, просила:

— Сестричка, ты крепись, мы скоро до больницы доедем, будет хорошо. Ты ни о чем не думай.

Прасковья то закрывала глаза, то открывала их, сжимала зубы до скрежета-

ния, сучила ногами и только мычала. Боль и мысль о том, что она теперь урод, не покидала её.

На гумне, как в войну, после очередного известия, что немцы взяли такой-то город, повисла мёртвая тишина.

Небо осветилось, и прозрачная голубизна пролегла по нему.

Сопровождать Прасковью в больницу в район поручили Анфиске и Лехе Хойбе да фельдшерице Галине Александровне. Леха — чтобы правил конём, а Анфиска с Галиной Александровной — чтобы ухаживали за больной. Дорога от Кероны по подгорью, да лесом все сто километров будет. Но на третий день управились они, положили Прасковью в больницу и вернулись.

Юлька нагрузила игрушечную кладовую телегу, и повезли они снопы к барабану — к колесу от плуга, что Васька принёс из кузницы (отдал Харитоша на игрушки). Юлька могла часами играть одна, разговаривая вслух. Кукол она очеловечивала, называя их то Уваровским, то дедушкой Харитошей, то дядькой Хойбой. Мать же свою она вылепила из глины и поставила к барабану, а остальных кукол — из бабок.

— Я тебе задам, Хойба, а ну, на работу марш, лодырь, опять вчера нализался! — тоном Уваровского ругает одну из кукол Юлька. — А ты, Васька, снова Дарьялу спину надавил? Не будешь больше гусевиком ездить! — подражает она Кольке. — Ой, оеньки, где же ты, моя ручка! — обмотала Юлька правую ручонку тряпицей и причитает, изображая мать. Она видела, когда мать отправляли в районную больницу. От братьев узнала, что руку ей оторвал барабан. И Юлька так вошла в роль, вспомнив о матери, что и сама заплакала, теперь уж по-настоящему, то-сую. Она утирает слезы маленькой рукой, обвязанной тряпицей, размазывает грязь по лицу. Вот она встала у изгороди и ревёт, забыв про игру, про Аксютку, да левым кулачком крестится. Это Фёкла, как только проводили в больницу Прасковью, пришла к ним в избу, собрала младших ребят (Кольки не было дома) и, поставив на колени, приказала кланяться иконкам, просить у Бога спасти мать. Миха с Васькой сначала покорились старухе, но потом шмыгнули из избы. Юльке Фёкла взяла за ручонку, приткнула к полу, как гвоздь: молись, молись! Юлька же и тогда левой ручонкой рисовала на своей груди крест, и Фёкла ударила её по локтю: не надсмехайся над боженькой, собачья ты отрав! А Юлька отроду левша, и Фёкле невдомёк, что она правой рукой не умеет креститься, раз хлеб и ложку привыкла держать левой. Юлька крутит пальцами, будто круги чертит.

Аксютка прибралась возле поленницы, подмела метёлкой из травы вокруг себя и, соскучившись по Юльке, пошла к ней.

Юлька забралась на заплот и, усевшись поудобнее, глядела на дорогу, будто ждала кого-то.

— Юль, — дёрнула её за ногу Аксютка, — давай играть, а? <...>

— Юльянка! — окрикнул Юльку почтальон-мальчишка. — Вам письмо от матери, вот...

Юлька прижала к груди треугольный конверт, точно такой же, какие она видела, что хранились у Прасковьи в сундуке, только на этом вместо штемпеля красовалась марка.

— Какая красивая марочка! — воскликнула Аксютка. — А нам никто не пишет. Давай откроем, поглядим, может, там карточка есть?

Они развернули письмо, но ничего там не обнаружили, кроме букв, которых ещё не знали. Покрутили, покрутили конверт, а обратно сложить не могут.

Аксютка пробовала попросить у Юльки отклеить марку и подарить ей, но та отказалась, ведь письмо от матери, да и Коля станет ругать потом. И тут вспомнила Юлька про дядю Василия, побежала к нему, боясь взбучки от братьев за то, что без спросу распечатала письмо. Василий умеет письма угольным складывать, целая стопа их у Фёклы от него хранится.

Василий встретил её в ограде. Он незлой улыбкой, словно тёплым ветром, одарил Юльку, а затем ради шутки как занозу в пятку всадил:

— Невеста без места, жених без ума...

Юлька надулась, потом дрожащей ручонкой протянула Василию письмо и попросила:

— Дядя Вася, я не могу его обратно сложить. Миха заругается, оно же от мамы... нечитанное...

— Дай-ка, — будто спохватившись и отбросив к заплоту лопату, что держал в руках, Василий взял письмо. Умолившись поудобнее на предамбарнике, пробежал строчки, написанные чужой рукой. Он читал, и на его лице проявлялась суровость и обидная тоска.

«Здравствуйте, мои родненькие: Кольча, Михайло, Васютка и Юльча! Пишу я вам, а сама готова улететь к вам, были бы крылышки. Здоровьишко моё ладное. Напиши, Кольча, адрес поглядишь на конверте. Как вы без меня управляетесь там? Выдал ли муки Уваровский, как обещал, пока нету Власова? Если получили мучку, пускай баушка Фёкла испечёт хлебушек, и чтобы он не зачерствел, положите его в турсучок да прикройте полотенцем, смоченным в холодной колодезной воде. Глядите у меня, слушайтесь баушку, не стырьте с ней, живите смирно. А ты, Кольча, приглядывай за Михой, он табак прячет на повети, я оно-гдась ему уши надрала за табак-то, как бы повесть да избу не спалил. Накажи, с огнём пускай все будут поаккуратней, а за курево, как Миху поймашь, по губам отхлещи, только не смей колошматить по башке, а то дураком его сделаешь, ты же знаешь, он и так по ночам в потник прудит. Картошку варите как следовало, да мойте её дочиста. Тут, в больнице, много людей брюхом мучаются, врачи сказывают, от грязи всё идёт. А вдруг да понос приключится, отварите черёмуховой коры негустенько и попейте на голодный желудок али золы одну ложку на большую кружку и тоже перед едой глотка два-три этой водички проглотите. А если уж сильно будет понос, там крахмал лежит, в казёнке, на полочке: его на кружку две ложки и тоже попейте. Кочерика без меня агенту не сдавайте, хоть он и будет стращать да нахально приставать, мол, сдайте, так вы с ём не ругайтесь, а то хуже может быть дело. Я сама вот поправлюсь, приеду и тогда решу как надо. Завалинку к избе ещё рано присыпать, маленько погодите. Михайло с Васюткой, слушайтесь бригадира, погонит колоски для колхоза собирать, идите, не ерепеньтесь, домой не носите ни единого зёрнышка, это не весна, теперя все колоски сдают. Ну вот, кажись, и всё. Сказывайте привет всем, всем. Анне, тётке-то, большущий привет, да и баушке, дедушке, дяде Васе, дяде Демиду, тётке Ирине, Анфиске. Ваша родная мама».

Руки Василия держат письмо, прыгают пальцы, шелестит и трепыхается помятый тетрадный листок, кажется, не бумага, а само сердце Прасковьи тут со всеми её горестями и бедами, с непокорностью перед горем и нуждой и счастливыми минутами, что есть дети — надежда и вечная жизнь...

Василий не знает, что и сказать племяннице. Он думает, затем говорит невнятно, сбиваясь, о том, что матери её хорошо и что скоро она приедет. <...>

К маме

Отрывок из повести

Домой ехал Ваня. Долгими муками преодолевая вновь обретенные им печальные пространства. Из края в край проезжая всю свою обескровленную страну. А вернее сказать, возвращался с того света. К этому сызнова привыкая, как всякий переступавший незримо кем отведенную межу, за которой ни боли, ни холода, ни страха. И не то диво, что побывал за чертой, а то, что обратно выбрался.

В медсанбате дежурный хирург, наложив последний шов на истерзанное тело, ненадолго задержался у операционного стола. Наклонился над Ваней, пристально всмотрелся в заострившееся, ещё залитое смертной бледностью лицо. Ошеломлённо покачав головой, пошёл было из палаты, но с полпути вернулся и ещё раз глянул, глазам своим не веря. Нет, не показалось: таяли на восковом лице чернильные тени — отметины небытия. А ведь три часа назад уповать можно было лишь на чудо — с такими ранениями не выживают.

Военврач осознавал это с той самой минуты, как взял в руки скальпель — и время в операционной остановилось. Ещё звучал торопливый доклад: «...комбинированное, множественное, огнестрельное осколочное ранение... слепое проникающее живота...», а он уже начал привычную работу. Резал, зажимал, сшивал. Теряя всякую надежду, хриплым голосом кричал: «Нет пульса, разряд, ещё разряд!» И вовсе отчаявшись, одними глазами умолял и приказывал: живи, ну, живи же, воин! Но и когда задрожала, проявилась на экране ниточка неровного пульса, не вдруг поверил, что смог вытащить парня из запределья.

Никогда прежде не вглядывался он в лица раненых — запоминал лишь их медицинские истории. Но этот боец, вернувшийся ниоткуда, опрокинул его прежние представления о силе жизни, да и смерти тоже. Опустошённый тяжёлой операцией, хирург шагнул за порог палаты, потянул дрожащими пальцами из мятой пачки сигарету. Подкурил от заботливо поднесённого кем-то из санитаров трепещущего огонька, короткими жадными затяжками сжёг табак и только после этого тихо высказался: «Теперь выкарабкается десантник, мама его в рубашке родила...» Врач сделал всё, что мог, и теперь только от самого раненого зависело — жить ему или нет.

Между небом и землёй подвешенный, Ваня тогда слова хирурга о своём спасении слышать не мог. Да и когда пришёл в сознание, вряд ли с его таким странным

Семёнов Александр Михайлович, прозаик (род. в 1954 г. в с. Булум Читинской обл.). Автор книг: *Вольные кони*: повесть, рассказы (Иркутск, 1991); *Поминай как звали*: повесть, рассказы (Иркутск, 1999); *Кара небесная*: повести (Иркутск, 2004); *2-томник*. Т. 1: Повести; Т. 2: рассказы (Иркутск, 2009), публикаций в коллект. сб. и журналах. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

пояснением согласился. Он войну даже не прошёл, а прожил, и теперь мыслил и действовал по-иному — проще, чётче, грубее, приземлённое, а значит, правильное. Позже, в палате, весь ещё болью спелёнутый, выломившись из наркоза, как птенец из скорлупы, он по-своему попытался объяснить своё редкостное везение. Невероятный шанс выпал ему — Ваня поискал и нашёл подходящее сравнение — ну, как если бы зацепил ногой растяжку на тропе, да прежде споткнулся, пал ниц, а уж потом изъятые взрывом осколки измеси́ли над ним воздух. Затвердил в себе это и после не пытался поколебать свою уверенность даже малейшим сомнением, потому как слова хирурга ещё дальше от его разума лежали.

На самом же деле его чудесное воскрешение никак нельзя было объяснить одним слепым везением. Но о том лучше помалкивать. В горах непосвящённым в войну многое могло странным показаться, что рассудок не объяснит, а лишь одно сердечное чувство выразит. Ваня на госпитальной койке об этом немало размышлял, соотнося жизнь и смерть отдельных людей и свою тоже, пытаясь сложить разрозненное в одно целое, да это всё равно что собирать разбросанное взрывом. Никак не укладывалось в контуженной голове, что самое страшное, что только можно себе вообразить, случилось именно с ним и его товарищами.

Там, на войне, даже в часы отдыха для подобных раздумий Ваня времени не оставлял. Немного повоевав, он быстро усвоил, что отвлечённые мысли делают бойцов слабыми и уязвимыми, — задумчивых поперёд других выбивала пуля снайпера или взрыв фугаса. Не давал себе слабину, даже имея на то полное право.

Когда же очистилось помутнённое сознание для истинного понимания и сам он чуток окреп, приказал себе Ваня и в мыслях не прикасаться к тайне своего возвращения на белый свет. Как его вытащили с поля боя, кто — на лопастях вертолёт, ангельских ли крыльях — стало вдруг неважным. Главное — жив. И тем всё сказано. В этот пронзительный миг нащупал Ваня ватными пальцами на груди серебряный крестик, мысленно перекрестился — рука от слабости едва приподнималась, — и тут же пришла ясная мысль, будто извне ему кем-то подсказанная: значит, был в том промысел Божий, а спасён он ещё для какой-то неведомо важной работы, важнее самой войны. С тем и оживать начал.

В военном госпитале, куда его доставил санитарный борт, Ваня очнулся ночью. Слабо мерцала лампочка. Несмолкаемый шелестящий шум наплывал со всех сторон. Преодолевая тошноту, он прошептал пересохшими губами: «Пить...». И не услышал себя. Палата тяжело дышала, стонала и бредила. Он вновь стал проваливаться в забытье, но тут же открыл глаза от лёгкого и прохладного прикосновения ко лбу. Над ним склонился тощий паренёк и осторожными движениями стирал ватным тампоном пот с лица. Затем просунул руку под шею, приподнял свинцовую голову и дал глотнуть из кружки воды. Ваня жадно хлебнул, потянулся губами ещё, но услышал: «Нельзя больше». Паренёк неслышно отступил, растворился в полутьме палаты. Был ли, не был.

Но через несколько суток Ваня стал узнавать его тонкое исхудалое лицо в конопушках. Солдатик в застиранном халате возникал у кровати всякий раз, как острый приступ боли выдавливал из него глухой стон. Поил, кормил с ложки, поправлял постель, убирал «утку».

— Санитар, повязку бы сменить, промокла вся насквозь, — позвал как-то его Ваня, увидев, что паренёк стоит без дела и смотрит в окно.

— Сейчас скажу медсестре, — в ту же минуту оказался он рядом и с неуверенной улыбкой добавил: — не санитар я, тоже тут в раненых числюсь.

— Не понял, почему же ты тогда ухаживаешь за мною? — слабо удивился Ваня.

— Так мне же не трудно, а санитарку всякий раз не дозваться, — смущённо ответил паренёк и пошёл к выходу.

— Назад, боец, — приказал Ваня, — докладывай, кто тебя определил ко мне в службу.

— Я и говорю — никто. Сам вызвался. Да и ранение у меня не тяжёлое, так, зацепило маленько. Скоро уже выпишут.

Ваня молча смотрел на робкого и затурканного службой солдата, безропотно откликавшегося на просьбу каждого страдальца из палаты тяжелораненых. И не находил в его глазах ни затравленности, ни покорности, столь обычных у малодушных, потерявших на войне людей, всегда готовых услужить более сильному. И непонятно отчего начинал сердиться, но не на него, а на себя. Позже он отыщет причину своего недовольства: разучился принимать сострадание.

— Ну, не могу я видеть, как другие мучаются, свою боль куда легче переносить, — первым не выдержал молчания паренёк.

— Откуда же ты такой взялся? — выдохнул Ваня.

— Вятский я, Николаем зовут, — ломким баском ответил тот, — ну, так я пойду в перевязочную...

У Вани сердце занялось. Сначала он подумал, оттого, что давно так о нем никто не заботился. Но потом понял, что этот простой вятский паренёк неприметно делает такую работу, на которую не способен никто из этих гогочущих, готовящихся на выписку бойцов. Выздоровев, они быстро забывали, что ещё совсем недавно беспомощно корчились от болей. Волчьи нравы распространялись и на дом милосердия: я настрадался — испытай теперь страдание ты. Сквозь пелену от лекарственных препаратов мыслям пробиваться было тяжело. Но Ваня всё же додумал, что, наверное, во всякую войну находились такие вот сердобольные люди, забывающие о своих мучениях, когда рядом кому-то хуже и страшнее.

Позднее, когда вовсе пришёл в себя, от сослуживцев Николая узнал, что тот отличился в первом же бою, награждён медалью «За отвагу», но скрывает от всех свою награду. Каждый вечер теперь Ваня звал его к себе в дальний угол палаты уж без всякого дела. Тот охотно откликался, подвигал табурет к койке и часами мог говорить о своей деревне. И каждый раз увлекал Ваню рассказами, казалось бы, непримечательной деревенской жизни. Обычно Николай начинал разговор смущённо и медленно, но, увлечшись, быстро распалялся. Бывало, уже вся палата выздоравливающих покатывалась от изображённой им в словах и жестах очередной истории. А он будто одного Ваню видел, для одного его старался.

Ваня и запомнил бы Николая лёгкой памятью, как многих других встреченных им на войне, если бы не удивление — этот парень не знал своей крепости. В бою, где мотострелковая рота попала в огненный мешок, Николай не только умудрился выжить сам, отражая атаку боевиков, но и вытащил из-под обстрела двух раненых бойцов.

В один из вечеров Ваня с трудом подвинул его на этот разговор. Несколько раз подступался к нему с расспросами, но каждый раз тот уходил от них.

— Не бросать же было ребят, там под пулями дорога прямо кипела, — за минуту обсказав весь бой, закончил Коля. — Рядовое дело.

— Смерть тоже дело рядовое, — задумчиво проговорил Ваня, представив скоротечность и гибельность схватки. И, прикинув, как бы он сам действовал в этой ситуации, твёрдо сказал: — Ты, Коля, — боец.

— Какой же я боец, я там сробел, — взволнованным шёпотом сообщил он ему на самое ухо.

— Робеть, Коля, не бояться. Ты вот сразу «За отвагу» и наробел, — улыбнулся Ваня.

— За что дали, не знаю даже, по ошибке, наверное, — шёпотом признался Николай. — Нет, не боец я, видать, не уродился им. Умереть вот боюсь...

— Страшно не умереть, а умирать, — каким-то чужим и старческим голосом сказал Ваня, каким мог сказать спустя много-много лет, но никак не сейчас, и уж никак не своему ровеснику. Но ещё более странным было то, что он как бы имел на это право. — А страх, Коля, на войне при себе держи. Он тебе выжить поможет. И запомни, что тряпкой человека не страх, а трусость делает. Впустишь её в себя, считай, пропал. Она в тебе всё сотрёт, станешь от каждого бородастого шараться. На войне, как и в жизни, страхов много, смерть одна.

— Вот вы, товарищ сержант, настоящий воин, через пекло прошли и выжили, — перебил Николай. — Я бы не сумел...

— Ошибаешься, — отчётливо сказал Ваня, — ты, Коля, покрепче многих из нас будешь. Только сам своей силы пока не знаешь. Храбрых у нас много, милосердных не хватает.

Палата притихла, но никто из раненых не смог возразить Ване, такая правда прозвучала в его голосе. А ведь кто только из них не помыкал безотказным пареньком.

— Я тебе скажу, а ты мне поверь на слово. Если бы среди нас было больше таких, как ты, мы бы и воевали и жили иначе, — договорил Ваня ослабевшим голосом. Не много сказал, а все силы израсходовал.

Вскоре Николая выписали, и он уехал доводить свою войну. Госпиталь за полгода ещё не раз наполнялся под завязку, приходили и уходили ребята, но такого, как Коля, он больше не встретил. Поставил в выстроенный в своей памяти небольшой строй, где без ранжира, плечом к плечу стояли живые и мёртвые.

Только за Уралом, миновав последний чёртов туннель, почувствовал Ваня — ослабла волчья хватка гор. А до того зябко одёргивало затылок: всё казалось, будто тянется вслед за ним когтистая лапа, зацепить норовит. Тёмная тень её время от времени накрывала землю. Только подумал так, что всё, не достанет теперь, как прошипело вслед пассажирскому составу: «Уш-шёл так-ки». И почти физически ощутил, как втянулась, убралась лапа обратно в сырой и чёрный зев хребта. Отлегло в груди, и дальше спокойнее Ване ехалось. Скрежетали колеса, визжали тормозными колодками на крутом спуске, а Ваня увереннее становился, знал, что теперь уж точно его горы не заполучат. «Упустили», — напоследок судорожно лязгнуло под днищем вагона, а дальше состав как по маслу покатился.

Стылый воздух замороженных насквозь туннелей в мгновение ока выхолаживал поезд. Оттого Ваня постоянно мёрз, кутался в потёртое одеяло и забывал радоваться своему счастью. Боли возвращали к невесёлой действительности. Там, в горах, он поначалу больше смерти страшился одного лишь плена. Но и с этим страхом справился. Не по летам рано познав, что всему когда-то приходит конец. По-мужски скупко рассудил: не обменяют, так убьют. А раз так, пустое бояться — и то и другое освобождает от мучений.

Знобило Ваню, как бы жарко ни топили проводницы вагон. Кровь не грела — будто всю её, по капельке, там из него выпили. Ему даже представить было жутко, сколько его крови жадная земля впитала и сколько, сначала в медсанбате, а после в госпитале, выкачали, заменив разной чужой. Поневоле станешь сам не свой.

Всякий раз, как забывал Ваня побережься, колючая боль насквозь прохва-

тивала левый бок, поднималась к горлу. Грыз тогда Ваня уголок подушки, скурчившись под тонким одеялом. Военные врачи, целых полгода латавшие искромсанное осколками тело, сделали всё как надо, но в нем всё ещё что-то срасталось, налаживалось, мучилось. И ныли, нестерпимо ныли раны. Так что приходилось самому себя успокаивать: а у кого они не болят, у одних мёртвых разве что.

Ваня только в начале пути искренне полагал, что все его телесные и душевные страдания людям видны как на ладони. Скрывай не скрывай, всё равно заметят. Но вскоре понял, что им невдомёк даже то, как тяжело он был ранен. А уж то, что устал насмерть, всего себя без остатка отдав проклятой работе, и вовсе не понять. Замкнулся, спрятался в своей скорлупе. И перестал себя пытаться: почему именно ему эта война досталась, почему он вошёл в неё так плотно, точно патрон в ствол. Не сказать, что по злой воле, но и не по доброй, конечно.

Под конец ратной службы Ваня уверовал, что ничего более бедового ему уже не выпадет. С лихвой навоевался. Перед собой и перед боевыми товарищам остался до доньшка честным. Всё отдал, чуток даже сверху прибавил. Но оказалось, не всё, если потребовалось заплатить самым дорогим.

У Вани, войной надорванного, ни на радость, ни на печаль сил уже не осталось. Разве что на медленное осторожное выживание. Он теперь как немощный старик, греющийся на солнышке, копил, собирал в себе жизненную силу. Сберегал и накапливал весь этот долгий мытарный путь. Боясь самому себе признать, что может не дотянуть до дома, угаснуть где-нибудь на полдороге. Укреплял себя верой в то, что существует на белом свете высшая справедливость, однажды им испытанная, и не покинет его до окончания пути. Должна же на его долю быть ещё одна крохотная капля выделена. Большого и просить зазорно — раз всем жизнь такая скудная выпала.

Но прежде Ваня ещё одну укрепу познал. В госпитале, вынырнув из мрачного забытья, малодушно воззвал он: «Господи, помоги, избавь от невыносимых мук...» Не получив ответа, провалился в беспамятную пустоту. И ещё много раз приходил и уходил. Ни жив ни мёртв. И только через много дней, когда на поправку пошёл, вдруг осознал, что был ему отклик — иначе ни за что бы не выкарабкался. В тошнотворной кромешной тьме всё это время к нему тянулся тонкий светлый лучик. И, как представлялось Ване, по нему струилась нескончаемая живительная сила. Он впитывал её каждой обескровленной исстрадавшейся клеточкой тела, вместе со страстной материнской мольбой и трепетной любовью. Тем и спасался.

Всё теперь в его жизни подчинялось одному — доехать до мамы. Но с надорванным болью сердцем, ей одной принадлежавшим, что-то неладное творилось. Казалось, прикипело оно к покинутым окаянными краям, от которых Ваня и рад бы откреститься, да не мог пока. Но в том не вина его была, а беда...

Ваня видел теперь этот почужевший внезапно мир будто сквозь закопчённое стекло. Пытался вообразить явь плодом изуродованного войной сознания. Не связывались, рвались нити. Ему ещё предстояло познать, что вся его прежняя жизнь была светлым лёгким исчезающим сном, из которого его рано вырвали. И всю дорогу, до самой Москвы, не мог отделаться от мучительного ощущения, что расплывается одолеваемое им пространство. И вместе с тем что-то растворяется, исчезает в самом Ване. Больно сдавливало грудь и представлялось: раскачивается, рассыпается незыблемое кровное и родное, дотоле втугую связанное, как сноп колосьев, из которого зерна не выпадет без Божьей воли.

А на самом деле это таяла Россия.

Валентина Семенова

«Жития народные», посланцы повестей древнерусских

Из опыта одной серии

Кто-то из писателей однажды шутливо заметил: у нас, если человека обидели, он не идёт в суд, потому что это бесполезно, а садится и пишет повесть. Такие повести обычно не принимаются издательствами по причине их недотягивания до литературного уровня.

В 1986 году мне, редактору художественной литературы Восточно-Сибирского книжного издательства, впервые не захотелось возвращать рукопись автору-непрофессионалу. Это был Александр Литвинцев с его повествованием «Мертворождённая».

Поражал эпизод-символ, вынесенный в самое начало истории о неудачной попытке организации коммуны в 20-е годы. В таёжную глушь, в зимний мороз, на крестьянских санях под конвоем следует семья раскулаченных. Ко всем тяготам прибавляется ещё одна: женщина в пути рождает. Семье разрешают остановиться в ближайшей избе только на одну ночь. Рождается недоношенная девочка и умирает. И неясно — своей ли смертью, или родители взяли грех на душу и лишили младенца жизни, дабы избавить от грядущих нечеловеческих страданий. Ребёнок объявляется мертворождённым, обоз движется дальше в неизвестность.

Помимо истории рукопись содержала документы о работе «мертворождённой» коммуны, сравнения с результатами единоличного труда до её создания. Стиль не отличался гладкостью, возник вопрос, что делать с уникальным по содержанию произведением.

Судьба рукописи сложилась так. После обсуждения в местном отделении Союза писателей она была литературно обработана опытной иркутской журналисткой В. Юдиной и выпущена в 1988 году в альманахе «Сибирь» под названием «Хроника одной коммуны». При всём понимании В. Юдиной ценности материала, правка его в сторону современной публицистики привела к утратам: текст был сокращён до объёма усреднённой журнальной публикации, стиль приглажен, отчего исчезли индивидуальные особенности языка и интонации рассказчика. Автор остался неудовлетворён и снова предложил свою рукопись издательству, настаивая на сохранении названия «Мертворождённая» и на полноте текста.

Семенова Валентина Андреевна, критик, публицист (род. в 1949 г. в с. Харик Куйтунского р-на Иркутской обл.). Автор книг: *Благодаря — а не вопреки*: сб. полемических статей и очерков (Иркутск, 2002); *Вместе с бурями века*: Краткий обзор книг и имён иркутских писателей (Иркутск, 2007); автор-составитель справочника *Писатели Приангарья* (Иркутск, 1996), публикаций в периодич. печати. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Тогда-то и родилась идея издания серии книг самодеятельных авторов «Жития народные».

Название вытекло из «Жития протопопа Аввакума», открывшего в 1979 году в Восточно-Сибирском издательстве серию «Литературные памятники Сибири». Мне показалось, что интонация огнепального протопопа некоторым образом повторяется в наивных сочинениях авторов, прошедших мимо понятия «изысканная словесность». И отрадно было найти такое же мнение в журнале «Новый мир», в предисловии Г. В. Маркелова к публикации рукописи И. С. Карпова «Волны житейского моря» (1992, № 1), где текст крестьянской рукописи сопоставлялся с аввакумовским текстом.

Постепенно в редакции собралось несколько работ примерно одного жанра — жизнеописания. В 1993 году серия была начата книгой Тараса Швецова «Карнауховский смутьян», но продолжения не последовало — издательство закрылось в годы перестройки. Только журнал «Сибирь» с тех самых и до сих пор публикует под рубрикой «Жития народные» отобранные из стихийного рукописного потока живые документы истории и литературы.

В чём видится связь иных (далеко не всех!) самодеятельных сочинений с древнерусской традицией?

Правдивость в описании событий и характеров.

Непосредственность, выразительность языка, предпочтение точности слова его литературной гладкости.

В разной степени присутствует исповедальное начало, восхождение в поиске истины к духовному идеалу.

Обратимся для примера к страницам романа-были Т. Швецова «Карнауховский смутьян».

Повествование охватывает примерно столетие: с момента появления в XIX веке первого зимовья на таёжной Киренге, что в Восточной Сибири, до 30-х годов XX века. История деревни вбирает в себя историю семьи, сюжетная линия совпадает с линией судьбы главного героя, Василия Тимофеевича Швецова, родственника автора.

Крестьянин из сибирской глубинки попадает в шквал мировых потрясений: война 1914 года, плен, подневольный труд на ферме богатой немки, возвращение домой почти семь лет спустя (родные считают его погибшим), борьба за переделку деревни на новый лад.

Информация многослойна: даётся обстоятельная картина освоения берегов Киренги, история первых поселений, подробно описан быт крестьян, очень своеобразный — с одной стороны, связанный с таёжным промыслом, с другой — с золотодобычей, которая ведётся в верховьях Лены. Язык — сибирский ленский диалект в речи персонажей, в авторской — близкий к литературному, с элементами устного рассказа.

Если иметь в виду, что в древнерусской литературе оформилось два основных способа изображения жизни, как на то указывает, например, И. П. Ерёмин — «первый ставил своей задачей с наибольшей достоверностью воспроизвести единичные факты действительности», «второй — отражал... порождённые ею идеалы»¹, то повествование Швецова соединяет в себе оба. С одной стороны, черты исторической хроники, с другой — художественность, образность письма,

¹ Ерёмин И. П. О художественной специфике древнерусской литературы // Древнерусская литература в исследованиях. М., 1986. С.75.

создание характеров в системе авторского представления об идеале, народность мировоззрения.

Кажется, нет ничего особенного в таком зачине: «Семеро детей для старой сибирской деревни — явление рядовое. Если не лениться, то прокормить и одеть можно и больше...». Как и в попутных замечаниях: «Тимофей же обратил их (сыновей) в свою веру — любовь к земле и работе...»; «...с Божиим благословением начинали весной пахоту, летом сенокос, осенью жатву и выход в лес на охоту...» Но постепенно из описания обычной жизни выстраивается самая настоящая крестьянская философия. Одухотворённое, религиозное отношение к земле становится ключом к раскрытию смысла всего происходящего. Идёт ли речь о воспитании детей — и старый Тимофей сравнивает их с подсолнухами, произрастающими в разных условиях, — один в тени и среди сорняков, другой на солнце и при добром уходе; рассказывается ли о семейной драме — самым страшным в ней признаётся не обида, а разлад в делах, нарушение заведённого порядка в хозяйстве.

Вот эпизоды из семейной линии романа-были. Василий никак не может простить жене её, можно сказать, непреднамеренной измены. После очередного раздора, как раз во время весенней страды, Дарья с маленьким сыном скрывается из дома. Василий от расстройства попускается хозяйством — ночью ему не спится, утром не встаётся, днём не работается. Его навещают обеспокоенные братья. И вовсе не затем, чтобы посочувствовать. «Вздуть порешили тебя, Васяка, — начал Мелентий. — Ты сам вразуми, что делаешь-то. Земля поспела, а ты спишь до полудня, пахать да сеять не готовый... Почему картошка до сего дня не прорастивается? Без хлеба детей на ту зиму оставить собрался?.. Не допущу, чтобы швецовские дети с сумой по миру пошли, объедки просить да родовой позорить...». Братья быстро распределяют работу между собой, расписывают Василию по дням, что он должен делать. Заканчивает свой наказ Мелентий словами: «День попашешь, нанюхаешься духу землицы, враз поумнеешь».

Высвечиваются глубинные пласты крестьянского уклада, что остаются ещё не раскрытыми при многих и плодотворных усилиях наших талантливых писателей. Причём убедительность достигается простыми средствами.

Подробное перечисление сезонных работ на первый взгляд может показаться необязательным. Но складывается достоверная картина, и она приводит к выводу: если народу по силам раскорчевать поле среди тайги, чтобы выращивать на нём хлеб, построить дом, в котором не страшен сорокаградусный мороз, кормить себя охотой и рыбалкой — значит, этот народ и вынослив, и терпелив. Таков сибиряк, не зря удивляются его спокойной, надёжной натуре. Начинаешь по-новому понимать, почему крестьянин так далёк — во все времена — от политики и одновременно беззащитен перед нею. Не по темноте своей, как иные считают, — некогда ему! Земля не прощает отступничества, малейшего невнимания к себе.

Чтобы из года в год возделывать поле, нужен крепкий дух. Значит, необходимо религиозное воспитание. Уважение к заведённому исстари порядку тесно связывалось с почитанием предков, подчинением старшим, способностью к самоограничению. Да и вовсе не однообразен труд на земле! Каждый новый сезон несёт новые краски.

Характер человека тоже оценивается по его отношению к земле. Автор подмечает, что с детства Василий уступал братьям в трудолюбии, зато был «дерзкий как соболев», острый на язык, скорый на расправу с обидчиками. То есть была некая ущербность в его душе, трещинка. В обычной, здоровой жизни она бы за-

тягивалась усилиями большой и работающей семьи, и, если бы не война и революция, не пришлось бы Василию стать разрушителем крестьянского лада.

Василий отвлёкся от дома, от хозяйства, легко поддался соблазну революционной идеи, которая причудливо соединила в нём тягу к справедливости с властолюбием, удалство с нетерпимостью, организаторские способности с малограмотностью. Автором создан образ руководителя, внезапно выдвинувшегося из низов. И этот образ невольно наводит на раздумья: что толкало Василия наверх? Желание сделать благо для людей или желание подняться над людьми и переменить трудную крестьянскую долю на другую, с виду полегче — долю начальника?

Главы, в которых описывается устройство коммуны Василием, читать и горько, и смешно, хотя смеяться грех. Запуганные люди не перечат ему, после того как две семьи раскулаченных под приглядом вооружённых людей из района погружены на плоты и отправлены вниз по Киренге. Сгоняется на общий двор скот; теснота, неразбериха, люди не знают, как им дальше работать — вроде бы делать стало нечего; женщины дерутся при дележе общественного мяса. На покосе выясняется, что все косят по-разному, происходит сбой. Крестьяне вспоминают, как велось у прежнего, раскулаченного хозяина. Как умело подбирал и расставлял он работников, и вроде сам не работал, только косы отбивал, а дело шло ходко.

Опыт с коммуной не удался. Причины понятны и самим её создателям. По словам Сергея, брата и помощника Василия в коммунарских делах, действовали грубой силой и безо всякой подготовки: «Это навряд ли как берёзу не распилили, а полоз из неё гнуть начали. Вот она и затрещала...»

Перелом не обошёлся без трагедии. В 1922 году при попытке ареста белогвардейца был убит Сергей; Василий отомстил: организовал погоню и застрелил белогвардейца и двух скрывавших его людей. За самосуд был исключён из партии и осуждён, но добился пересмотра дела, был оправдан. В партии восстанавливаться не стал, но при организации колхоза вошёл в него одним из первых. Работал рядовым колхозником до конца своих дней.

Необычайно привлекателен в этом повествовании образ Дарьи, жены Василия. В нём что-то от древнерусских благочестивых жён, преданных семье, от сказочной Василисы Премудрой и Марьи-искусницы. Опять же через труд раскрывается богатая натура сибирячки — её красота и житейская мудрость. Вот как её рисует автор: «За кудельку сядет — веретёшко поёт, топор возьмёт — щепки как метляки летят, под корову сядет — одной лаской ведро выпросит, коня возьмёт — понукать да стегать не надо...».

Она никогда не позволяет себе бранить не очень удачливого в хозяйстве мужа и даже ничем не выражает недовольства. Она поступает иначе.

Раз в год, весной, Дарья устраивает что-то вроде праздника в их тесном зимовье (оно даже не их, а Мелентия): прибирается, наряжается сама, наряжает детей, с каким-то особенным выражением посматривает на мужа. Семья усаживается обедать, и Дарья заводит обстоятельный разговор о хозяйстве. Подводит итог сделанному за год, строит планы на будущее. «Вот и опять пришла весна, — говорит Дарья. — Всё ожило и запело. Птички выют гнёзда, целуются и ждут деточек, потом всё летечко будут хлопотать на них... У нас с тобой тоже птенчики растут, а гнёздышко всё то же, маленькое, да не своё, чужое. Надо бы ишшо яичко снести, да боюсь, подрастут и эти выпадать из гнезда станут...»

Так Дарья настраивала мужа рубить дом. И он чувствовал и благодарность к ней, и свою вину. Чем не пример для современных жён! И она сама возьмётся

за дом, когда Василий уйдёт на войну. Сумеет прикопить денег, помогут братья Василия, приложит и свои руки — дом будет построен.

Любовь к Фёдору, нанятому плотнику, возникнет нечаянно, в совместной работе. Братья Василия, потерявшие надежду на его возвращение, не осудят невестку, увидев в Фёдоре опору семьи. Но получив письмо о том, что Василий едет домой, Дарья сама осудит себя. Она оставит за Василием право решать судьбу её и трёх дочерей: «Чем он виноватый, что в плен попал... Как скажет, так тому и быть...». Фёдору, несмотря на родившегося от него сына, будет отказано.

Разбитая семья склеивается трудно. Психологически тонко, в свете народной нравственности выписаны мотивы поведения Василия и Дарьи.

...Подплывая в лодке к своей деревне, увидев родные поля и покосы, Василий испытал огромное счастье. Слезы радости очистили его душу. Он уже знал о Дарье с Фёдором, и «он готов был простить всё и всем разом». Ведь и сам грешил на чужбине. И если бы Дарья пришла встречать его на берег, куда собралась вся деревня, он бы простил её сразу и навсегда. Но она не пришла, не покалась, ожидая дома Васильева суда. И Василий дал волю ревности и злобе, не останавливаясь перед жестокими побоями. Вот из такого-то, казалось бы, совершенно безнадежного положения Дарья выходит победительницей: она перебарывает себя, усмиряет Василия и восстанавливает семью.

В беседе с Тарасом Ильичом я спросила:

— Вы пишете о Василии как будто с сочувствием, хотя его поступки нередко наводят на мысль: а не больше ли в нём дурного?

И вот какой получила ответ:

— Я писал о нём со слов его матери. Если бы я писал со слов сестёр, то он бы у меня получился злодеем — сёстры не простили ему ни коммуны, ни личных обид. Но я писал со слов матери...

В этом признании — особая высота авторского подхода, можно сказать, христианская высота. И снова возникает ощущение, что всё происходящее на страницах рукописи подчинено каким-то высшим силам. Что все страсти, семейные, социальные — не первое, а есть нечто более важное — это вечный закон взаимодействия человека с землёй, над которой — один только Бог.

Несколько слов о других сюжетах «Житий народных».

...Большая крестьянская семья в повествовании Ильи Павлова пережила все беды времени. Благодаря трудолюбию и взаимовыручке, к 70-м годам достигла достатка: у всех благоустроенные квартиры, дачи, кое у кого и машины. И вдруг почти шекспировские страсти разгораются вокруг участка земли в три (!) сотки.

Старшая сестра получает землю для сада-огорода. Она уже немолода, чувствует, что ей не справиться, и приглашает одного из братьев заниматься садом вместе, деля поровну труды и плоды. Через недолгое время она отказывает брату, обвинив его в нерадивости, и зовёт второго брата (это как раз автор рукописи). Доводы её звучат убедительно, и он соглашается. Проходит год, и сестра снова начинает нервничать. Вспыхивает ссора, в которую втянуты все родственники. В чём дело? — недоумевает автор рукописи, который пострадал больше всех. Именно ему приходится оправдываться, что не ущемлял он интересов сестры и что в мыслях у него не было «прибрать к своим рукам», как она утверждает, садовый участок.

Автор мучается над ответом, который лежит в самой рукописи. Причина разлада в том, что старшая сестра оказалась собственницей по своей натуре. И не братья-компаньоны ей были нужны, а сезонные работники. Ведь оба разрыва случались тогда, когда сестра замечала в братьях проявление хозяйских

чувств. Она так и говорила каждому в свой черёд: «Что-то ты больно расхозяйничался в моём саду!». Второму брату было особенно трудно это понять, поскольку в нём и в силу характера, и в силу воспитания частнособственнический интерес отсутствовал (младший вырос при общественной собственности, в отличие от сестры, помнившей единоличное хозяйство). Сестра хотела быть единственной хозяйкой, она ревновала своё владение к братьям.

Так в советское время могло заявить о себе загнанное внутрь чувство собственности. Но и теперь возьмём на заметку: если нас обижают, как нам кажется, незаслуженно, посмотримся — не заступили ли мы нечаянно на чужую долю?

Рукопись «Отец Арсений» р.Б. (раба Божия) Александра восходит к жанру агиографической литературы. В ней рассказывается о судьбе священника, прошедшего лагеря 1920–30-х годов и после них претерпевшего гонения за веру, о чудесах, с ним происходивших. Так, попав в морозный карцер, где до утра узники не доживали, он спасается сам и спасает сокамерника, читая всю ночь молитву. Что поражает в этой рукописи? Действие постулата «Бог есть любовь» среди ужаса бытия. О. Арсений постепенно располагает к себе всех: и уголовников, и бывших партработников, и охрану. Воздух вокруг него словно пронизан лучами добра. Священник старается помочь всем, лечит и душу, и тело, и так преодолевает мирское зло.

Одна из последних публикаций «Сибири» (2007, № 3–5) «Шторм на Байкале учит поневоле» Маркела Живетьева — настоящий источник истории быта Прибайкалья XIX — начала XX века. Описаны не только судьбы людей, но и способы добычи зверя в тайге, омуля и нерпы на Байкале, жизнь в зимовьях, служивших постоянными дворами для купцов и промышленников. В языке встречаются слова, которые можно найти только в словаре Даля.

Таким образом, в некоторых современных самодеятельных повествованиях мы находим древнерусскую истоность авторского посыла к письму, когда писательское дело свершается не ради красного словца, а ради свидетельства о пережитом, поиска ответов на вопросы времени.

Не здесь ли резервы русской литературы? Похоже, здесь, как на то указывал в своё время академик Д. С. Лихачёв: «Нравственные поиски настолько захватывают литературу, что содержание в русской литературе явственно доминирует над формой. Всякая устоявшаяся форма, стилистика, то или иное литературное произведение (направление?) как бы стесняют русских авторов. Они постоянно сбрасывают с себя одежды формы, предпочитая им наготу правды. Движение литературы вперёд сопровождается постоянным возвращением к жизни, к простоте действительности — либо путём обращения к просторечию, разговорной речи, либо к народному творчеству, либо к деловым и бытовым жанрам — переписке, деловым документам, дневникам, записям...»¹.

Надо только уметь отличать эти самобытные творения от всего, что сочиняется неискушёнными авторами во имя свое.

¹ Лихачёв Д. С. Русская культура в современном мире / Новый мир. 1991. № 1. С. 8.

Виталий Сигорченко

Актёрские байки

Большую часть своей жизни актёры проводят в театре. Каждый день утром — репетиция, вечером — спектакль. И так годами...

Одни и те же гримуборные. Одни и те же лица. Все знают всё про всех.

А сколько здесь переговорено. Какие темы только ни обсуждались, какие истории ни рассказывались!..

И где в них правда, а где вымысел?

Ну, а если и вымысел, то уж такой правдивый, с такими подробностями, с такими нюансами и тонкостями, что кажется: или сам рассказчик участвовал в том событии, или, по крайней мере, был свидетелем того, о чём проникновенно сейчас заливает.

Буду. Встречайте

В один северный город назначили главным режиссёром в местный театр человека по фамилии Келепелли.

Дело было зимой, и заметьте, на севере. А там дороги от аэропорта до города обычно далеки, и с автобусами бывают сложности.

Но наш главный режиссёр имел большой опыт переездов и перелётов ещё в те времена, когда он не был главным, а был просто режиссёром. И чтобы обезопасить себя от дорожных неприятностей, отправил он в адрес местного отдела культуры телеграмму: «Буду самолётом из Москвы. Встречайте. Келепелли».

Там, видимо, посчитали это розыгрышем и ответили телеграммой:

«Встретить не можем. Добирайтесь сами. Траливали».

«ХВ»

В провинциальном театре молодой столичный режиссёр-новатор ставил спектакль по собственной инсценировке модного романа.

Но при этом ещё и исповедовал некую новую теорию актёрской игры, основанной на синтезе идей великих реформаторов сцены и новых веяний закордонных школ.

Сигорченко Виталий Петрович, историк театра, прозаик (род. в 1938 г. в с. Порог Нижнеудинского р-на Иркутской обл.). Автор книги *Иркутская антреприза*: Страницы истории городского театра 1790–1920 годов (Иркутск, 2003), многочисл. публикаций в коллект. сб. и журналах. Заслуженный артист РФ. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Вдохновлённый собственным замыслом, он был необычайно активен на репетиции и то и дело обращался к пожилому народному артисту:

— Вы здесь, Аристарх Кузьмич, должны смело влиять на своего партнёра через концентрированное выражение энергии и правильного внутреннего самочувствия. Поняли?

— Понял, Глеб Львович, — кивнул актёр и сделал отметку карандашом в тексте роли.

— А вот в этом куске вы должны помнить об установке на конфликт, сохраняя внутреннее состояние дискомфорта.

— Хорошо, Глеб Львович, — и опять что-то записал.

Режиссёр разволновался ещё больше.

— Здесь вы, Аристарх Кузьмич, сконцентрируйтесь на посылку и снимите фразу с гребешка.

— Понял, Глеб Львович, — и актёрский карандаш вновь коснулся ролевой странички.

Польщённый тем, что пожилой артист не только всё понимает, но ещё и что-то записывает, режиссёр спрашивает:

— Что вы там, Аристарх Кузьмич, всё пишете и пишете? Можно взглянуть?

— Да, пожалуйста, Глеб Львович, — и показывает свои записи, где против указанных режиссёром фраз и монологов стоят отметки из двух букв «ХВ».

— Слушайте, что означают эти буквы «ХВ»?

— Да это же просто, Глеб Львович. У нас так обозначается «Хвортель».

Неудачный визит

Рассказывают, что в Приморском крае правил первый секретарь по фамилии Аракчеев.

Однажды в этот город приехал на гастроли московский театр, где главным режиссёром... Надо же!!.. Был некто Бенкендорф.

Сразу же, по приезде, он был приглашён вместе с директором к Первому для знакомства и обсуждения репертуара.

В высоком кабинете секретарь выходит из-за партийного стола и протягивает главному руку:

— Аракчеев.

Тот с чувством режиссёрского достоинства:

— Бенкендорф!

— ??? Хреновая шутка!

Резко повернувшись, Начальник края идёт за стол, и уже оттуда, глядя куда-то в угол, властно командует помощнику:

— Чтобы в двадцать четыре часа этого театра в городе не было!

Сквозь стену

В театре давали пьесу Шиллера «Коварство и любовь».

Актёр, играющий центральную роль Фердинанда, опоздал к своему выходу, задержавшись в буфете. Прибежав на полутёмную сцену, он судорожно стал искать выход к рампе, запутавшись в кулисах. Наконец, в отчаянии, выхватил шпагу, ударом сверху рассёк матерчатую декорацию и вышел на яркий свет.

Изумлённый зритель вдруг увидел, как каменная стена треснула пополам, и из трещины вышел в роскошном костюме Фердинанд.

В зале воцарилась мёртвая тишина.

Вдруг с галёрки раздался спокойный, чуть хриловатый голос:
— Силён, бродяга!

«С графьями надо здороваться»

В одном губернском городе, в местном театре с большим успехом шла пьеса, где главными героями были князья, графы и другие титулованные особы.

Спектакль посмотрели чуть ли не все жители города, а некоторые приходили полюбоваться на роскошные костюмы и поучиться хорошим манерам даже и повторно.

И надо же было случиться — заболел один из центральных исполнителей этого спектакля, играющий сына богатого князя.

Пришлось срочно ввести на эту роль молодого, но подающего надежды актёра.

Юный талант очень волновался.

Его как могли успокаивали, говорили, что это очень просто — выйдешь, сыграешь свою сцену, получишь аплодисменты — и ты уже знаменит...

И вот наступил час спектакля.

Открылся занавес, и зрители увидели, как в гостиную, где сидел граф Кранбург, вошёл молодой франт, поклонился, глубоко вздохнул и замер в позе человека, желающего что-то сказать.

Первым опомнился суфлёр и тут же пришёл на помощь:

— Здравствуйте, граф, — тихой скороговоркой подсказал он.

Актёр не реагировал.

Тогда суфлёр прибавил громкости, да так, что его слышали в третьем ряду.

— Здравствуйте, граф!

Кто-то старательно подсказывал из-за кулис:

— Здравствуйте, гра-а-ф...

Наконец не выдержала пожилая носатая дама в первом ряду и, сложив ладошки рупором, придушенно прошипела:

— Здравствуйте, граф-ф-ф...

Но и её старания были впустую.

Публика заёрзала, зашушукалась. Пауза явно затянулась.

И вдруг князь сделал ещё один шаг к графу.

Зал затих: «Ну, наконец-то... Ну, говори...»

Но, увы! Ожидания были напрасны.

И в этой напряжённой тишине с галёрки кто-то хриловато, но зычно произнёс:

— Ну поздоровкайся с графом, чудило!

Гонорар подвёл

В один провинциальный город с гастролями прибыл известный трагик.

Вечером в местном театре давали «Горе от ума», где он должен был играть Чацкого.

Город был небольшим, и труппа в театре была малочисленна, так что к вечернему спектаклю пришлось искать дополнительные актёрские силы.

На дневную репетицию явился один из отставных актёров-разовиков и, надо сказать, большой любитель горячительных напитков. Но и его встретили весьма приветливо и даже выдали авансом половину гонорара.

Естественно, на спектакль он явился под хорошим градусом.

— Вот, оденьтесь на первый акт. Выйдите лакеем доложить о прибытии Чацкого, — объяснил ему задачу помощник режиссёра, подавая театральный костюм.

Облачившись во фрак и загримировавшись, актёр с меланхоличным видом стоял в кулисах, держась за какой-то фонарь.

— Выходите и докладывайте: «К вам Александр Андреевич Чацкий», — подтолкнул его легонько помощник режиссёра и для верности ещё раз повторил эту единственную фразу из его роли.

Неуверенным шагом актёр дошёл до двери, шагнул в залу и громко возгласил:

— Александр Андреевич!..

— К вам Чацкий, — с ужасом стал шептать суфлёр, чувствуя, что публика уже заметила, как грибоедовский стих стал плавно переходить в прозу.

Исполнитель как-то мрачно-задумчиво посмотрел на суфлёрскую будку, повернулся к залу и громко выпалил:

— Камчатский!

Трагик добрых пять минут метался за сценой со сжатыми кулаками, кляня «коллегу» последними словами, но на реплику всё же вышел.

Жил старик

Один старый опытный актёр захотел поставить спектакль в родном театре.

Так сказать, побаловаться режиссурой.

Руководители театра посоветовались и в знак уважения к долголетней службе дали своё согласие, но с условием, что это будет детский спектакль к новогодним каникулам.

Для своего режиссёрского дебюта актёр выбрал сказку «О рыбаке и рыбке» великого Пушкина.

Написал инсценировку, придумал декорации, долго репетировал с актёрами. Сам же несколько раз тщательно гримировался под Александра Сергеевича. Да так, что весь театр приходил посмотреть и восхититься:

— До чего же похож!.. Прямо вылитый Пушкин!..

Наступил день премьеры.

Зал до последнего кресла заполнила ребятня, и гомон стоял как на птичьем базаре. И вот зазвучала музыка.

Открылся занавес.

И, о чудо!.. Сам Александр Сергеевич Пушкин выходит на сцену с бумажным свитком и гусиным пером, садится в угол за маленький столик, обмакивает перо в чернильницу, задумывается.

Благоговейная тишина наступила в зале.

И вдруг из пятого ряда зазвучал восторженный мальчишеский голос:

— Мишка!.. Смотри!.. Гоголь!

— ???

Целую минуту актёр обескураженно молчал, не зная, что делать: огорчаться или смеяться.

Но, пересилив себя, начал:

— Жил старик со старухой у самого синего моря...

Мастерство не пропьёшь

Молодой артист Едрёнкин готовился к дебюту.

После долгого ожидания он наконец получил роль со словами в первом акте известной комедии.

Озабоченный разнообразием эмоционального состояния своего героя, Едрёнкин решил обратиться за советом к старому опытному артисту и постучал в его гримборную:

— Разрешите, Евлампий Самсонович?

— Входите, голубчик. Чем обязан?

— Да вот, хотел просить у вас совета. Получил роль, но есть сомнения в её трактовке, — робко начал дебютант. — Дело в том, что мой герой появляется в первой картине слегка под хмельком.

— Голубчик, так это же очень просто. Берите 150 граммов водочки, закусывайте и выходите.

— Но, Евлампий Самсонович, во второй картине я должен быть пьяным.

— Дорогой мой, да это же совсем просто. Берите ещё 250 граммов водочки, закусывайте и выходите.

— Но есть ещё небольшая особенность в поведении моего персонажа, — не унимался Едрёнкин, — к концу первого акта я должен быть совершенно трезв.

— А вот это, коллега, надо сыграть!!.

Трамвай настучал

В недалекие времена в театрах и других учреждениях культуры существовали художественные советы. Служили они во благо искусства, хотя, как говорится, и не без «организационных издержек». Обычно в эти худсоветы, наряду с заслуженными работниками культуры и искусства, включались представители партийных и других органов.

Однажды один такой художественный совет принимал концертную программу оркестра местной филармонии.

В назначенный час солидные люди пришли в зал, уселись в первом ряду, достали блокноты и ручки и приготовились внимать оркестровым музам.

Оркестр уже сидел на сцене и ждал взмаха дирижёрской палочки.

Наконец, трепетная рука человека во фраке взлетела вверх. Ударили в смычки, загудели тромбоны. Заухал контрабас. Чарующие звуки кантаты полетели куда-то вверх, а потом и за окна и смешались с музыкой трамвайных колёс.

После концерта, как положено, члены худсовета обсуждали увиденное и услышанное.

Хвалили первую скрипку, гобой и особенно флейту.

Взял слово и партийный представитель Степан Ефимович:

— Ну, что сказать?.. Оркестр играл хорошо. Громко. Особенно трубы... Знае-

те... даже куда-то звали... И дирижёр, видно, что старался. Но вот молодой человек, который на барабанах играл...

Все повернулись к рыжеволосому музыканту, сидящему в окружении бронзовых тарелок.

— В то время, когда сам дирижёр так сильно махал руками и даже, извините, потел... Вы, молодой человек... Кстати, как вас зовут?

— Миша Дуйгапин, — застенчиво промямлил барабанщик.

— Так вот, Миша Дуй...

— ...гапин, — тихо подсказал Миша.

— Так вот, Миша Гапин, вы позволяли себе еле-еле ударять по барабану, цокали этими жестяными тарелками, мешая, извините, скрипачам. А то и вообще сидели ничего не делали.

— Так у меня такая партия, — попытлся возразить покрасневший Миша.

— Стоп! Стоп! — поднял строгий перст Степан Ефимович. — Партия у нас одна! А стучать нужно чаще!

Когда доярки опаздывают

В недалёком прошлом периферийные театры, особенно городские, часто практиковали выездные спектакли в самые отдалённые уголки родных мест.

И вот один такой театр повёз свой лучший спектакль «Голый король» в дальний, но богатый колхоз.

В назначенный час артисты на фирменном автобусе «Таджикистан» прибыли к подъезду колхозного клуба.

Сноровисто поставили декорации из трёх цветных ширм, королевский трон, загримировались и стали ждать зрителя.

В селе вечерами идёт дойка коров, и основной зритель — женщины — были заняты.

Старики и старушки почивали дома.

Мужики в театр не ходят.

В клубе сидела только сельская ребятня.

Прошёл час, другой, а доярок всё не было. Послали к председателю с просьбой поторопиться.

Председатель — высокий грузноватый мужик с заметным украинским акцентом — пришёл сам и сообщил, что больше желающих не будет. Он же решил посмотреть «постановку», да и ребятишкам интересно.

После довольно позднего окончания спектакля председатель подчёркнуто вежливо попросил книгу, куда «упечатления» записывают. (Такие «Журналы отзывов зрителей» раньше в театрах велись.) Не спеша вытащил из внутреннего кармана толстенную авторучку и размашисто написал:

«Дывывся на спектакль.

Дуже погано.

Грошей платити не буду!

Председатель Нечитайло».

Олег Слободчиков

Государевы послушники

Отрывок из романа «Похабовы»

На другой день в полдень Федька Говорин, стоя в карауле, пронзительно засвистел, призывая Похабова. Казачий голова накинул кафтан, влез на проездную башню, взглянул, куда указывал казак. Вдоль берега по льду тянулась цепочка каравана из полутора десятков нарт.

— Кто бы мог быть? Для промышленных не время! — озадаченно пробормотал Похабов. — Митька, что ли, рожь послал?! — в сомнении шевельнул бровями. — Где столько людей набрал, однако?

— Весь енисейский гарнизон! — ругнулся Федька, всё ещё злой на Ивана за понуждение к молитвам. — Разве, смена Бекетову?

— За Байкал, не к нам! — поддержал караульного казачий голова. Он стал пристальней вглядываться в идущих. С недоумением затоптался на месте, узнав Сувора с Горбуном, потом Первуху со Вторкой, других пашенных и служилых Братского острога. — Ничего не пойму! — тихо выругался.

Неторопливо и рассеянно он спустился с башни, вошёл в избу, обмотался кушаком, опоясался саблей. Подумав, сунул за кушак заряженный пистоль.

Караван приближался. Налегке и сбоку от тянувших нарту людей шагал Арефа Фирсов. Балаганские казаки кинулись навстречу прибывшим. Те оживлённо заговорили с ними. Арефа, не останавливаясь, побежал к Ивану Похабову, ждавшему гостей у ворот острожка. Лицо молодого казака было перекошено. Он непочтительно подтолкнул старого приказчика в ворота и стал запирает их, закладывая брусом.

— Чего там? — спросил Федька, свесившись со смотрового помоста башни.

— Братские пашенные и казаки! — запыхавшись, крикнул Арефа караульному и недоумевающему Голове. — Взбунтовались, захватили оружие, бегут в Дауры!

— Вот так молодцы-удальцы! — весело хохотнул Федька Говорин и призывно замахал руками.

Тут только старый Похабов пришёл в себя, закричал, зарычал, взобрался на башню, бросил к ногам Арефы мушкет караульного казака, сам скатился вниз. Из зеленого погребка выволок две крепостных пищали: одну в два пуда весом, другую в полтора, вынес кожаный мешок с порохом, бросил его Арефе. Вдвоём они затащили ружья и порох в приказную избу.

Федька поглядывал сверху то на Похабова, то на подходивших казаков и па-

Слободчиков Олег Васильевич, прозаик (род. в 1950 г. в г. Первоуральске Свердловской обл.). Автор книг: *Перекрёсток*: повести (Алма-Ата, 1987); *Штольни, тоннели и свет*: повести (Алма-Ата, 1989); *Чикинда*: повести (Алма-Ата, 1991); *Заморская Русь*: роман (Иркутск, 2000); *По прозвищу Пенда*: ист.-приключ. роман (Иркутск, 2009); *Похабовы*: Сиб. ист. роман (Иркутск, 2011). Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

шенных. Из другой избы вышел хмурый и заспанный старый стрелец. Удивлённо уставился на Ивана и Арефу.

— Чего это вы? — спросил, позёывая.

— В Дауры все бегут! — запальчиво вскрикнул Арефа.

Старик просиял посечённым лицом и весело вскрикнул:

— Вот так молодцы!

— И ты побежишь за ними, дурак старый? — Иван метнул на товарища злобный взгляд.

Стрелец ничего не ответил, громко окликнул Федьку, спрашивая: что там за тыном?

— Идут! — Весело отвечал тот. — Баню топить надо!

Клацнул отброшенный в сторону брус. Заскрипели ворота. Иван бессильно охнул, пропустил Арефу в приказную избу и заперся изнутри.

— Что шумят? — спросила Савина, глядя на мужчин большими умными глазами.

Иван не ответил. Арефа торопливо заговорил:

— Брат, Митька, послал меня уговаривать их в пути! Куда там! Слушать не хотят. И здешние уйдут! — безнадежно махнул рукой. — Распуту пограбили. Мы так же вот запирались, — окинул тоскливым взглядом избу. — Десятинный хлеб, казну они не тронули, и за то спасибо. А ружья почти все забрали...

Молодой казак опустил на лавку, посидел молча, свесив голову. Устало поднялся.

— Пойду! Братан велел среди них быть. У тебя всё равно грабить нечего. Разве вино, что поставил к Рождеству?

Потолкавшись среди бунтовщиков, послушав их прелестные речи, Арефа вскоре вернулся, снова сел в угол, мстительно посмеиваясь:

— Воли хотя! Будет им воля с колодками на шее! Твои все уйдут! Федька подстрекает отобрать у тебя бочонок с пивом. Говорит, за печкой стоит! Из съезжей избы уже вынесли иконы и хоругвь. Круг завели. Баню топят.

Вечером, в сумерках, к приказной избе подошёл старый стрелец, окликнул Ивана. Голова вышел в сени, но дверей не отпер.

— Казаки приговорили, чтобы тебя не трогать, не бесчестить! Надумаешь с нами идти, дадим две доли из добытого на погромах, атаманом поставим. А порохов и пивом поделись!

Вскипел было Иван, заскрипел зубами, но понял, что плетью обуха не перешибёшь, сдержал себя.

— Порох не дам, он — казённый. А пиво всё берите!

Старый стрелец потоптался возле крыльца, сходил к товарищам, посоветовался и вернулся.

— Давай весь бочонок! Согласны. Избу твою, и животы, и казённое добро не тронем.

Поверил им Иван, спрятал пистоль за печкой, наказал Арефе караулить Савину, вышел к бунтовщикам при сабле, опоясанный поверх кушака шебалташем с золотой пряжкой. Казаки глядели на него, кто смущённо, кто хмуро. Горбун — с вызовом. Лицо его напряглось и обострилось, глубже пролегли морщины от носа в уголки губ.

— Хоть бы поклонился! — взглянув на него, Похабов брезгливо скривил губы.

— Сполна отработали! — вскрикнул Горбун. — Доплаты требуем за батоги.

— Заткнись, урод! — сквозь зубы процедил Сувор, осадив бывшего дворового. — Язык вырву! — Он обернулся к Голове, сказал, глядя мимо: — Ты на нас,

Иваныч, не сердчай. Мы государю нашему измен не чинили. Идём служить ему на дальней, лихой окраине! А то, что воеводам наша воля не по нраву — кто они такие, чтобы нами повелевать? Шёл бы с нами? Будем жить по правде, а не по прихотям боярским.

— Развелось по Сибири московской дворни! — громко поддержал пашенного Федька Говорин, показывая, что он заодно с ними.

— Где они прежде были? — шепеляво вскрикнул с другого бока старый стрелец. — Это мы Сибирь на саблю взяли!

Слабели в душе сына боярского злость и обида. Он понимал этих людей, со многими ходил в бой и делил последние сухари. Зная их, не верил, что и в благополучной земле они смогут жить праведно, как прельщались по своим грехам. Бросив неприязненный взгляд на Горбуна, Иван пошёл искать племянников.

Первуха со Вторкой топили баню, настороженно глядели на дядьку раскосыми глазами. Иван подошёл, сел рядом с ними, не показывая зла и обид, спросил с печалью в голосе:

— Вы-то куда?

Первуха метнул на него быстрый взгляд. Не увидев в лице дядьки ничего кроме сострадания, виновато пробубнил:

— Сам знаешь, какими уродились: ни родины, ни рода, ни племени! Хотели на земле осесть, корни пустить. Распутал всех под себя подмял.

— Абрамово потомство не раз теряло родину и мешалось с другими народами! — подсказал брату Вторка, блеснув длинными, узкими зелёными глазами. — Найдём или возьмём на саблю! А всю жизнь, ради брюха, извиваться змеем, как их племя в Египте — этого нам не надо!

— Оставляйтесь со мной. Пашите. Вон земли сколько! В обиду не дам! — неуверенно предложил Иван.

— Ага! — усмехнулся Вторка. — Опять воевода тебя куда отправит или померёшь, и зайвётся какой-нибудь выкрест... на наши корма!

Хотелось казачьему голове плюнуть себе под ноги от бессилия доказать им, молодым, то, чему его долго учила жизнь. Но он безнадежно вздохнул, по-стариковски тяжело поднялся:

— Спаси вас Бог! — прошептал одними губами и поплёлся к приказной избе.

Утром острог опустел. Стало так тихо, что даже чудно было лежать на печи без всяких человеческих звуков. Похабов поднялся, приволакивая ноги, вышел и стал запирает ворота. Послышались одинокие шаги. Он выглянул, придерживая закладной брус. Возвращался Арефа со вспухшим лиловым синяком под глазом, увидел Похабова, просипел, обдавая паром горячего дыхания:

— Нельзя острожек оставлять! Сожгут!

— Сожгут! — равнодушно согласился Иван и тоскливо усмехнулся: — Плохо было с краснярами, без них того хуже. Ржи у меня осталось с полпуда.

Надо было идти в Братский к Митьке Фирсову. Как он там? Надо было караулить Балаганский, надо было идти по следу беглецов, к Иркуту, уговаривать и убеждать их вернуться. Подходила пора отправлять людей в улусы и в угодыя за ясаком. Но один не пойдёшь, и Савину одну не бросишь.

Томила безысходность. Знал казачий голова, что беда не ходит одна! Смирено ждал других несчастий и дождался. Как раз перед Крещением с другого берега, по льду на острог двинулись бесчисленные стада братского скота. Сотни всадников с луками и колчанами за спиной, с дубинами и пиками поперёк седел гнали табуны, стада и отары к левому берегу Ангары. Иван с Арефой молча глядели на надвигавшуюся лавину. Противиться такой силе казалось делом бессмысленным.

Но вот Похабов разглядел среди всадников знакомый тучный торс Бояркана, и озорная, отчаянная мысль пришла ему в голову. Он усмехнулся и, не оборачиваясь к Арефе, пробормотал:

— Поди-иди, принеси все ружья. Савине скажи, чтобы заперлась в избе.

Сын боярский обернулся. Арефа тупо глядел на него мутными, растерянными глазами.

— Иди-иди! — поторопил. — Повоюем ещё, даст Бог!

Кони первого табуна, с заиндевелыми мордами, выбрались на берег и стали хватать сухую траву с обдубой ветрами земли. За ними выходили годовалые бычки. Они останавливались, уставившись на острог. Их подпирали другие стада и табуны. Скот окружал прясла.

На берег выбирались первые всадники. Не обращая внимания на казаков, понеслись галопом, заворачивая скот к верховьям реки. Один за другим выезжали балаганцы и мунгалы с двумя, с тремя лошадьми в поводу, гружёнными разобранными юртами и домашним скарбом. Те и другие носились по берегу, отгоняя от реки всё новые и новые стада, чтобы дать проход другим, толкущимся среди льдов.

Не ошибся Иван, вблизи узнал Бояркана явно. И князец узнал его. Арефа принёс карабин, две ручных пищали и два крепостных ружья, составил их на поленицу. От разгоравшегося на ветру трута Похабов запалил фитиль крепостной пищали, положил её ствол промеж заострённых острожин, прочно зацепил крюк и поднялся в рост.

Глядя на него, братские и мунгальские мужики луков с плеч не снимали, но закружили возле прясел. Раздвигая их коней, Бояркан, в тяжёлой шубе до пят, вывел своего жеребца в первый ряд. Как ни был стар князец, но не сел на кобылу или на мерица.

— Что же ты, брат, не упредил о приезде? — крикнул ему Похабов. Молодецки выпятил грудь, с удалством оперся рукой в бок, поставил ногу в ичиге между заострённых острожин.

Пристально глядя на старого казака, Бояркан остановил жеребца у самых прясел. На оклик Ивана не отозвался. За его широкой спиной плясали на ветру кони молодых дайшей¹. Все пристально и неприязненно глядели на двух казаков.

— Куда путь держишь? — по-бурятски спросил казачий голова.

— Встреч солнца! — по-русски ответил князец. И добавил по-бурятски: — В Хангайские горы, где родился великий Мунгал, где рос и набирался сил Буханойон баабай!²

— Зачем меня бросаешь? — заносчиво укорил его Похабов. — Сам говорил, нам судьба жить рядом!

— Так говорил старый боо!³ — Бояркан растянул в усмешке выстывшие губы. — А он помер. Пошли со мной! Дам коней, сколько выберешь!

— Я служу казачьему царю, — напомнил Иван. — И ты шертовал ему! Грех рушить клятвы!

— Я не давал клятвы, что мой род станет «казак», как Васка Ларионов Куржумов, — князец разъярённо сплюнул на землю: — Собачья кровь!

Иван Похабов знал, что Куржумов сын служил в Верхоленском остроге десятским, слышал и о том, что нынче он на Амуре в Хабаровском войске. Если были распри между хубуном и его племянником, то не в этом году.

¹ Воинов (бур.).

² Бык, мифический предок бурят.

³ Шаман (бур.).

— Васьки Куржумова нет на Зулхэ, он в Даурах! Что тебе до него? — спросил князца, допытываясь до причин откочёвки. — Если казаки обижают, так я напишу царю, и он их накажет!

— Не было клятвы портить степь острогами! — яростней закричал князец.

— Ты сам просил поставить его, я и поставил! — принуждённо рассмеялся Иван.

— Сам просил, сам ломаю! — ударил плетью по пряслам Бояркан.

В стороне, в двадцати шагах от его воинских людей из земли торчал камень, гладкий и круглый, как огромный человеческий череп. Иван присел на колено, прицелился и приложил тлевший фитиль к запалу. Ухнула тяжёлая крепостная пищаль. Кабы не крюк, сбросила бы его со стены. Чугунное ядро ударило в камень, выбив осколки, завывало где-то в небе. Кони балаганцев и мунгал шарахнулись в стороны. Закусив удила, выгибая шею дугой, отпрянул от прясел жеребец князца.

Бояркан ударил его пятками в бока, выругался и поставил на прежнее место. Похабов выхватил саблю. Холодное январское солнце замерцало на булате отблеском свежей крови.

— Может быть, и ломаешь! — крикнул. — Только много твоих дайшей погибнет, баатар. Не помериться ли нам силой рук, молодым в пример, а нам, старикам, в почесть? Твои люди пусть будут живы, а мой острог цел. Моя голова — твоя петля. Твоя голова — моя петля! Так задумано Богом и Вечно Синим Небом! — Похабов похлопал ладонью по золотой пряжке шебалташа, надетого поверх кушака.

Разъярённый Бояркан тяжело соскользнул с жеребца, не дожидаясь помощи своих молодцов, скинул шубу, крытую китайским шёлком. Поверх халата на его широкой груди висела толстая серебряная пластина с бляхами. На боку — кривая сабля.

Похабов резво соскочил с тына на землю по волосяной верёвке. С обнажённой саблей в руке двинулся к пряслам. На миг почувствовал будто отсек всю прежнюю жизнь сибирских служб и вернулся в глупую, бесшабашную юность. Подобравшись, как медведь перед прыжком, хотел перемахнуть через изгородь, чтобы не кланяться вражьему войску. Но напомнили о себе годы: ноги стали тяжёлыми, тело неповоротливым. Перескочить через прясла он не смог, пришлось неуклюже перелазить через них. Сын боярский встал перед князцом. У Бояркана глаза слились в две щёлки, он выхватил саблю. И сошлись старики. Громко зазвенел булат.

Примериваясь к противнику, раз и другой ударил Похабов. Почувствовал, как быстро выдыхается и тяжело машет саблей Бояркан. Рыча, он нанёс ещё несколько ударов, увидел, как по широкому лицу князца потёк пот. Почувствовал, что сам выдыхается и уже не тот, каким был даже совсем недавно, на Селенге. Изловчившись, изо всех сил ударил князца по нагрудной пластине. Бояркан качнул тяжёлой головой на короткой шее, толстые ноги, противясь удару, неуклюже отступили на шаг и князец сел, упёршись руками в стильную землю.

В тот же миг Похабов ощутил удары черенками пик под колени. Балаганцы сбили его с ног, повисли на плечах, вывернули саблю из рук. Другие бросились к Бояркану и поставили его на ноги. Князец заревел разъярённым быком, стал охаживать плетью тех и других, что держали Похабова.

Они бросили скрученного сына боярского, разбежавшись по сторонам. Бояркан со звоном бросил саблю в ножны, повернулся к Ивану широкой спиной и двинулся к жеребцу. Двое косатых молодцов опасливо накиннули шубу на его плечи, посадили в седло. Князец потянул узду, разворачивая заплывавшего под ним жеребца.

— Куда? Яяр ахай! ¹ — в бешенстве закричал сын боярский. — Галди шамай! Яба гэмээ эдлэг! ² С меня царь снимет голову за твою откочёвку, но и твоя дурная башка слетит с плеч! Ты это знаешь!

Иван сорвал с себя шебалташ, яростно швырнул его вслед удалявшемуся Бояркани на взбитую копытами землю. Князец неприязненно обернулся, отвязал от седла большой кожаный мешок, швырнул за круп жеребца:

— Сарю почесть! — прорычал и пришпорил коня.

Табуны, стада, отары шли и шли в полуденную сторону мимо острожка. Покатилось на закат низкое январское солнце. Похабов тяжело поднялся, подобрал саблю и сбитую с головы, втопанную в землю шапку, поплёлся к воротам. Из них высунулся весёлый Арефа Фирсов.

— Отбил-таки острог, дядька, милостью Божьей! — часто и мелко закрестился озябшей, подрагивавшей рукой. — А я уж думал, придётся кончину принять!

— Поживи, молодой ещё! — буркнул сын боярский.

Он вошёл в избу, бросил саблю на лавку. Савина стояла на коленях под образами. Обернулась на стук двери. Глаза её были полны слез. Увидев Ивана, поднялась, повисла на его шее, завывала.

— Ну, будет! — он устало погладил её по плечу и начал выцарапывать из бороды колкую сухую траву.

Вошёл Арефа, положил на лавку мешок, брошенный Бояркани.

— Кажись, рухлядь! — развязал бечеву.

В мешке были соболя, по-промышленному увязанные в сорока. На прощание балаганец дал щедрый ясак, вдвое больше последнего.

С неделю трое острожников тем и занимались, что спали да ели. Мужчины между собой почти не разговаривали, будто стыдились всего пережитого. Савина выглядела вполне довольной жизнью, хлопотала, как прежде, подолгу молилась утрями и вечерами.

— Ну, и зачем я последнюю рожь доедаю! — не выдержал Арефа. — Отпусти меня в Братский, я мешок ржи привезу. На рыбу уже глядеть тошно.

— Сходи! — равнодушно разрешил казачий голова.

Арефа быстро собрался, укрепил нарты, выбрал и подогнал под себя лыжи. Вернулся он через месяц, в конце марта. Сытая лошадка, запряжённая в сани, привезла два мешка ржи. Через день Арефа хотел отправиться обратно, к брату, но после полудня ворвался в избу с перекошенным лицом.

— Дядька! Балаганцы возвращаются!

Похабов схватился за шапку, вскарабкался на поленницу, сложенную возле острожной стены. С полуденной стороны к острогу приближались стада, мотали гривами кони в табунах, виднелись явно братские всадники. Среди них мельтешили погонщики непонятого вида.

Арефа прикладывал руку ко лбу, волнуясь, вглядывался вдаль.

— Иные мужики одеты как-то чудно!? — бормотал, щурясь. — Будто казаки. Едут без седел... Смотри! — вскрикнул. — Это же наши, беглые!

Вот уже и Похабов разглядел в одном из верховых старого стрельца с расчёпанной седой бородой. Больше всех ему хотелось увидеть Бояркани и племянников. Уж их-то Иван узнал бы в любой одежде. Но он высмотрел только бывших своих дворовых и выругался:

¹ Скверный брат (бур.).

² Ну и пусть пеняет на себя! (бур.).

— Даурцы хреновы! Вон, Сувор с Горбуном! — указал рукой на всадников. — Однако ты не один вернёшься в Братский, — обернулся к Арефе.

Скот запрудил округу острога. Всадники боязливо подъехали к воротам. Русские спешили, крестились, клали на часовенку низкие, покаянные поклоны. Похабов, опоясанный саблей, с пистолем за кушаком, высунулся из её оконца над проездными воротами, насмешливо оглядел прибывших.

Старый стрелец смущённо прятался за спинами молодых казаков. Сувор воротил набок шрамленное лицо, метал на казачьего голову резкие, хмурые и непокорные взгляды, готовый всякий миг перейти от покаяния к скандалу.

Беглецы вытолкали вперёд Горбуна с ласковым заискивающим лицом. Тот осклабился, показывая щербины. Он потерял в бегстве передние зубы.

— Здоров будь, Иван Иванович! — заговорил вкрадчиво и шепеляво. — Твоими молитвами, да своими великими трудами, мы уговорили-таки многих балаганцев вернуться в свою степь. Вдруг ещё кто одумается и придёт. А дольше звать их обратно — сил нет. Настрадались! Оголодали!

— Так вы и ушли, чтобы братьев вернуть? — громко насмехаясь над беглецами, казачий голова свесил бороду над воротами.

— Для того и ушли! — задирая голову, бесстыдно осклабил щербины Горбун. — Хотели государю послужить.

Вместо узды на его коне был надет недоуздок, наспех связанный из бечевы, ноги Горбуна обёрнуты шкурами, содранными с падали. Казачий голова окинул бывшего своего кабального человека внимательным взглядом и язвительно захохотал, потрясённый наглостью и бедностью.

— Скажи уж, смуту учуял! Поживиться хотел! А кое-кто оказался проворней — сапоги, и те снял с горбатого.

Казаки и пашенные робко, подобострастно засмеялись, поддерживая насмешку Головы. Их обветренные лица смягчались.

— Не сердчай, Ивашка! — сиплым голосом окликнул его старый стрелец. — С повинной пришли. Свой грех отслужим.

— Драть тебя, курвина сына, некому! И не батогами, а кнутом, — со вздохом укорил его Похабов. — Но, имея христианское сострадание, прощу! — обернулся и окликнул Арефу: — Открой ворота! Пусть заходят, Христа ради!

Казаки и пашенные стали отгонять в табун балаганских лошадок. Братские мужики закружили по чёрному ноздреватому льду, пробуя его на прочность. Не задерживаясь, погнали через реку скот и коней.

— Вдвое против прежнего обещают ясак дать! — пообещал за них стрелец с таким видом, будто сделал добро.

— Топите баню, избу, грейтесь! — позволил казачий голова. — Нынче накормлю всех кашей, как отец блудного сына. Зарезал бы тельца, да не имею. Выставил бы пиво, да вы его на строгой неделе поста выхлебали! — с укором напомнил про Рождественский бочонок.

— Нам бы погреться, попариться, да переночевать, — закивал повеселевший Сувор. — Завтра в Братский уйдём. — Помявшись, смущённо спросил Похабова: — Не слыхал, как наши бабы? Бедствуют или уже живут за кем?

— Собирался отдать их за верных казаков! — съязвил Похабов.

— Они же венчанные? — вскрикнул Горбун. — В крепостном столе не записаны.

— Что с того? — ухмыльнулся Голова. — Я им крестный отец, за кого хочу, за того отдам. А вы их бросили! — Взглянув на Сувора, он пожалел простодушного беглеца и признался. — Не знаю, что с вашими бабами, — Арефу спрашивайте! — указал на молодого казака. — Скажите лучше, где сыновья Огрызковы?

— Болдыри обратно не пойдут! — безнадёжно отмахнулся Горбун. — Ещё и других удержат.

Вернувшиеся, служилые Братского и Балаганского острогов да пашенные люди, набились в выставшую избу, затопили печь. Похабов сел в красном углу, как в прежние времена, никого ни о чем не расспрашивал. Беглецы сбивчиво, спорно, перебивая друг друга, говорили сами, будто жаловались на выпавшие несчастья:

— На пути к Иркуту встретили мы две промысловых ватаги без грамот. Ограбили их.

— Братов на Куде пограбили! Это плохо.

— Своего пашенного в воду посадили. Заслужил.

— Меня два раза в воду бросали! — пожаловался Сувор. — Бог спас. Меж собой драки завели. Тьфу!

— Не мы! — горячо оправдывались другие. — Федька Говорин и Огрызковы болдыри.

У Похабова от их выкриков и споров голова пошла кругом.

— Говори! — приказал старому стрельцу.

Тот придвинулся к нему на лавке под правую руку, со вздохами стал рассказывать:

— Пришли мы на Иркут. За два дня съели весь припас ржи у тамошних казаков. Прискакали Яндохины тубинцы, твои верные ясачники. Стали просить у нас помощи, чтобы отбиться от мунгал и балаганцев. Пошли мы на них войной, а тех, одних только воинских мужиков, было сотен пять и больше. Надрали они нам спины. Трех убили до смерти, — тоскливо замолчал стрелец, гоня желваки по обтянутым кожей скулам.

И увидел вдруг Иван, как устал от жизни его старый товарищ. Вдохнул и сам свесил голову.

— Знать бы для кого укреплял зимовье на Дьячем острове?

Прибывшие оживились, загалдели.

— Сколько раз тебя добрым словом вспомнили за труды твои! Кабы не зимовье с тыном, нам бы не уйти живыми. Иркутные Яндохины мужики с нами укрывались и отбивались... Потом балаганцы между собой передрались, чуть не половина со своим скотом повернули в обратную сторону. Пришли к нам мириться. С ними мы и вернулись Божьим промыслом...

— Про Бояркана что слышали? — вкрадчиво спросил Похабов.

— С мунгалами ушёл! Балаганцы жаловались, будто он силой понуждал их идти в Ёргу.

Казачий голова с задеженевшими глазами положил на стол тяжёлые ладони с растопыренными пальцами:

— Бог вам судья! Беритесь за прежние службы. Сам я на вас жалоб писать не буду и Митьке Фирсову накажу, чтобы простил. А вы уж грех свой отслужите!

— Арефа говорит, Митька наших жён Распуте отдал захребетницами! — тоскливо пожаловался Сувор, будто просил помощи. — Оно конечно, прокорм... И мы их бросили. Грех на душе. Но если живут уже с кем, ты уж нам их верни своей властью!

— Сами возвращайте! — отмахнулся Иван.

— А я свою брюхатой оставил! — беззубо затрясся от смеха Горбун, поглядывая на Сувора. — Не прельстились, поди, Митькины кобели.

Николай Соин

На белом острове любви

Отрывок из рассказа

* * *

<...>

Набухли, потекли тени, подмачивая траву. Последний звук сорвался с земли и улетел в небо. И только лес, слабенько отщёлкивая завлажневшими листвянками, продолжал негромко звучать.

В коротких, обрезанных наподобие бот, валенках, в телогрейке, накинутой на плечи, сидела бабка Елена возле печи, то задрёмывая, то снова просыпаясь.

Уже давным-давно кипела вода в чайнике. Хлопала закоптившаяся до черноты крышка, но бабка Елена ничего не слышала.

— Еленька, поехали со мной?

— А дом?

— А че дом, дом уже своё отжил. А как придёт Иван с фронта, так вы тут, в Олёкминске, ещё такие хоромы отгрохаете. И я пособлю, и отец поможет.

— А че, и тятя с тобой?

— Все со мной тут, в Олёкминске, и Васька твой, и Иван, и тятя...

— Дак Иван под Прагой...

Смеётся мать, совсем как девчонка, и вдруг страшно оскаливает зубы...

Вздрогнула бабка Елена, открыла глаза. И порадовалась за себя, что устояла, не поддавшись ласковому зову, не пошла вслед за матерью в беспределы небесные. Не пошла. Значит, не срок тому, и это хороший знак.

Свежесть окатила ноги, достала из-под низу поясницу, и бабка Елена принялась растапливать печку.

— Вот ведь напасть какая, — разрывая бересту и кидая её на жар, подивилась бабка Елена и, словно призывая кого в свидетели, смотрела по сторонам, — сплю сиднем, а в постели никак. И вертишься, как ёрш на сковородке, и ночи долгие, как небо, всё успеть можно, а всё одно не идёт сон, не берет дрёма. И пошто это так? Может, чё в организме разладилось али уж старость совсем задавляет... Чё уж, конечно, старость, вон уж второй месяц пошёл, как собраться не могу... Ох грех-то какой... А они чё ж лежат в Олёкминске одни, и прийти-то к ним, поди, некому и добро слово сказать... И зачем возили их в эту больницу. Мучить токо да от родного дома оторвать... Съезжу, конечно, как закончу дела, так сразу. Чё ж тут говорить... Обязательно съезжу...

Соин Николай Андриянович, прозаик, поэт (род. в 1949 г. в г. Ленске, Якутия). Автор книг: *На белом острове любви*: рассказы (Якутск, 1982); *Спроси у реки*: рассказы (Рязань, 1993); *Злой дух Наманы*: рассказы (Иркутск, 1998); *Что-то снилось...*: стихи (Иркутск, 1999); *Смертельная близость*: проза (М., 2004); *Чтобы услышать небеса*: роман (Новосибирск, 2007); *Поплачься ветру*: рассказы (Новосибирск, 2009) и др. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

Рассуждала, как всегда, вслух и отогревалась помаленьку и мыслями, и огнём.

А тот возился в тесной одежке, пёр с гудом и подвыванием через поддрагивающую трубу в опустившееся небо. И щедро дарил тепло, и блики золотые насыпал в протянутые ладони с горкой. И не заметила бабка Елена, как провалилась в темь.

Спала бабка Елена, неудобно подвернув левую ногу, но некому было её разбудить и отвести в дом.

* * *

Сразу возле Ипполита, только чуточку ближе к Лене, лежала Глафира Ипатьева.

У неё не было оградки. И, может быть, из-за этого могила выглядела совсем бедной и какой-то заброшенной. И холмик рассыпался, и крест, готовый упасть, наклонился в сторону гор...

Горько, не по себе стало бабке Елене, что вот только теперь дошли её руки до могилы подруги, а не в первую очередь и даже не во вторую... Но ведь с краю шла, никого не выделяя и никого не проходя. Чтоб всё по чести, чтоб всё по справедливости...

— Ну вот, Гланя, я и пришла. Теперь у нас много времени для разговоров-то. И у тебя, и у меня. И коровку мне теперь не надо торопиться доить, потому что давно уже нет моей Майки... Всё теперь наше, только вот разговор-то что-то у нас не вяжется. Не складывается разговор...

Осеклась бабка Елена, будто опять что неладное сморозила. Будто опять словом каким обидела единственную подругу. И поспешно, словно вина за сказанное, принялась за работу.

Сначала бабка Елена крест попыталась вытащить, но ничего не получилось. Шевельнулся только, но из земли не пошёл. Решила откопать закопанный конец.

Долго гребла. Ногти позавернула. Платок откинула в сторону, чтоб не мешал, не тёр горло узлом. Но и тут дело почти не двигалось. Не поддавалась утрамбованная земля, только сверху сняла чуточку, а вглубь пальцы не шли.

Хотела было сходить к Надюшке за лопатой, но вовремя одумалась — нехорошо железом-то туда, внутрь, больно, поди. Неладно.

А может, выправить так, как есть, и стянуть место излома-то.

Не вставая с колен, потянулась всем телом вверх, по кресту, подвела левое плечо под крепенький брусок и тихо, едва-едва, поползла на коленях вперёд.

Заскрипело дерево, подалось, и бабка Елена, не отпуская крест, чтобы не сыграл, не отошёл на старое место, изогнулась, посапывая и кряхтя, туго, на несколько рядков перетянула место излома выдернутым из халата пояском.

Не вставая с колен, отползла в сторону, потом в другую и удовлетворённо вздохнула.

Стоит. Хоть и малость с косинкой, а всё одно лучше. И, утирая со щёк пот, откинулась на оградку.

А там проволочку какую найду, да и перетяну как следует.

И мысленно поклонилась Василию Плуту. Поклонилась за его честную работу. За то, что не пустил в ход для лёгкости дела слабую для таких вещей сосну, а из самого что ни на есть ловкого листвяка сотворил крест для Глаи.

А иначе было бы плохо.

А вот самому Плуту, в домовинах которого лежала половина сельчан, как ни билась бабка Елена, а настоящий крест вместо погнившего поставить так и не смогла.

Две реечки сколотила промеж собой короткими гвоздями, да так и установила. И то радость была, что сделала-таки отметину, что не дала времени напрочь замести следы одинокого столяра. Не дала. И пусть знает каждый, где лежит красный партизан Василий Иванович Плут. Здесь, в этой земле, а ни в какой другой.

Маленько передохнув, тут же, возле могилки, бабка Елена взяла ведро и принялась носить чернозём. Двадцать раз сходила вниз, в логатину, покуда насыпала холм. И не присела ни разу, пока не довела работу до конца, не выправила принесённую землю, не утрамбовала бока.

Опять сидела бабка Елена на голубой лавке. Сидела тихо, не шевелясь, чтобы не потревожить лишний раз тело, и без того уставшее до предела.

Однако сидеть без действия было не вмоготу. И, может, неладно было вести счёт в таком деле, но что тут поделаешь, если так в голове отложилось: всего три могилки оставалось привести в порядок бабке Елене: братьев Угановых, положенных почему-то по отделице, да холмик десятилетнего Рупасова Сани.

И чем меньше оставалось теперь времени до конца работы, тем большее беспокойство начинала испытывать бабка Елена. Успеет ли довести всё до конца? Не свалится ли раньше срока на последние травы?

А если неостанет сил и перевернётся небо в глазах раньше назначенного часа? Почувствует время брешь на земле, взмахнёт коршуном и обрушится на останки рук человеческих и поразорит всё и развеет по ветру.

И ничего не останется от Половинки на земле: ни памяти, ни следа. И это неверно. Не должно так, чтобы прервалась последняя ниточка. Долго тогда придётся блуждать тем, кто идёт вослед, чтобы отыскать пуповину свою и истоки.

И не иссохнут ли душой и сердцем они, пока будут искать?

Нет, нельзя не успеть.

Легонько вздохнув, бабка Елена повернулась в сторону деревни и медленно, словно прицеляясь к городьбе, оглядела все тринадцать домов.

«Жаль, что на это сил не выпало. Вот если б годков двадцать назад...»

И снова уверилась в том, что, будь у неё сила, по пояс бы ушла в чернозём, а не допустила бы деревню до такого состояния.

А как хорошо, верно, и безбоязно было бы умирать, глядя на ожившие избы? И осознавать памятью последней, что исполнено главное, а может, и всё, что только может вытребовать и вместить в себе одна-единственная жизнь...

Но сил для этого не достало.

И, словно только теперь почувствовав всю немощь свою и бессилие, бабка Елена сжалась в комок и заелозила по лавке.

— Всё так, как есть. На две части распалась жизнь, как есть на две. В Мухтуе одна часть ростки свои выкинула, другая здесь, на холме, травами обернулась.

И слава Богу, что этих вторых оказалось больше, чем тех, кто покидал узлы свои на совхозную баржу. Но пусть так.

Пусть ладно поделила смерть сельчан. За что мне-то выпала такая участь: посреди двух холмов метаться, в пустоте и одиночестве пропадать?

Пошто это так, Господи? Нет, я ниче. Я не жалею, не обижаюсь. Пусть так выпало, пусть так. Но пошто так-то?

Пошто крепкие парни, забыв деревню свою родную, гонятся по городам за тёплой уборной?

Пошто, Господи, спился Гланин младшой, а старший погиб на самолёте? А может, старший-то летел именно сюда? Дак разве это верно, Господи, разве это по-людски? Дёргающимся взглядом обвела всю видимую даль: раздольную, сытую, круто дичающую от переизбытка соков и сил, — и горестно повела головой: и как же при эдаком деле со всем этим-то быть. А это-то всё куда? Ведь не вырешь для всего этого могилу, не захоронишь всё. Нет, не захоронишь!

Но кто ж придёт тогда, чтобы оживить это поле, задушенное насмерть сорняками, но на котором не так давно росла и рожь, и пшеница? Кто спустит лодку на воду, чтобы наготовить на зиму дров и поймать на стремнине разжиревшего тайменя под свой день рождения? Кто войдёт в тайгу, чтобы сбить с кедра отяжелевший орех?..

Потревоженными осами вились в голове мысли, но не отыскивались ответы, не складывались слова.

И бабка Елена потянулась вперёд, подалась всем телом, пытаясь уловить запах черёмухи, но запаха не ощутила. Видно, весь, без остатка, уносило его на себе разболтанное течение и хмелило и дурачило пустые от человека берега.

— Ох, мать ты моя, Пресвятая Богородица, хорошо хоть, остров стоит на месте. Не увели, не уцепили за баржу, как корягу какую! И на том спасибо!

И резко встала на ноги и, вытянув руки, несколько раз быстро и зло, словно проверяя силу свою, сжала и разжала густо перемазанные краской и землёй пальцы.

— Ничё, ничё, проживём... сами проживём. Никого нам не надо. Ничё.

А когда подошла к Гланиной могиле, злоба прошла, и снова опустилась на бабу Елену сладостная благодать: будто не кисть взяла в руки, а поднесла к груди жаждавшей своего первенца...

Но всё труднее двигалось тело. И бок покалывало всё упрямей и злей.

Пришлось отложить работу, но и короткий отдых ничего не дал. И тогда бабка Елена засобиралась домой. Впервые за многие годы решила она оставить работу недоделанной.

— Пойду я, Гланя, ты уж извини, что-то прихватило малость. А завтра приду, обязательно приду и цветочков твоих любимых, астров, посажу. Посажу, как не посажу. Вот токо отдохну малость, силёнок подберу. Мне ведь теперь, как в войну, не на кого понадеяться. Совсем одна осталась, даже похлеще, чем тогда. Тогда-то хоть дети были. А теперь че ж?

Петька вот уже три года в Одессе живёт. На большом карбасе плавает — кораблём называется. А Томка всё пьёт. Всё пьёт, голубушка ты моя, всё пьёт, да никак залиться не может. Хорошо хоть, детей Бог не дал, на мытарства да на погибель...

Тоже вроде в Одессе у Петьки была, а теперь и след пропал. И где она, несчастная, обитает сейчас, на что живёт?.. На что надеется? А может, и нет её уже на свете-то этом?..

— О-хо-хо, кабы знать...

* * *

<...> ...В первые годы, когда опустела Половинка, бабка Елена пробовала ловить бревна на реке, как это испокон веков делали все сельчане. И бревна шли косяками — хоть целый город строй! Однако поймать лесину и к берегу приткнуть — это ещё полдела. А как пилить? А как таскать на угор тяжёлые чурки?

Ну, воду — это ладно. А чурки как?

Две зимы топились валежником. А когда посажгла всё, что было поблизости от деревни, принялась за корни. Они остались от раскорчёвок и лежали на межах плоскими горками. Правда, с ними было много мороки, однако горели корни хорошо и жару давали много. И теперь бабка Елена, чтобы хоть как-то сэкономить ценные дрова, топила печь горбылём, что лежал, словно варёная вермишель, сразу за кузней, где года два или три, уже перед самым укрупнением совхоза, стояла колхозная пилорама.

Зимой такие дрова могли пойти только на растопку, а вот летом для железки лучше дров и придумать было нельзя.

* * *

От времени и воды дерево истлело и легко лопалось в пальцах. Набрав небольшую охапку и уже разгибаясь, бабка Елена увидела на земле небольшой клочок побелевшей ткани.

— Господи, да неужто не размягчится, не отстанет от меня эта боль липучая? Но неужто все века-годины так и будет лежать подле сердца, как змея подкодная?

Господи!

Не заметила бабка Елена, как оказалась возле хотона, просыпая из рук шуршащие куски досок. Как села на низкий чурбачок, с которого не один десяток лет доила коров. Как выковыряла из паза пожелтевшую пачку «Прибоя»...

— Розовая тряпочка... Она же была красной... А может, её вода так заласкала. А может, вовсе не её, не Глани?.. Не её, может быть... не её...

Но никакие слова и мысли уже не могли остановить боль, что угольком розовым заплясала на самом кончике сердца.

— О-хо-хо, мать ты моя, Пресвятая Богородица...

И снова, помимо воли, связала бабка Елена в одно целое и смерть своего годовалого Васьки, и смерть лучшей подруги. А разве было не так? А разве не были смерти её сельчан, как зёрнышки одной цепи? Были. Все как есть воедино. Все цельно. Все как одно.

Но в чем тут моя боль? В чем вина моя перед жизнью и в чем заслуга моя перед смертью? В чем она? В чем!

* * *

Шумными были Васькины крестины. Считай, вся деревня пришла. А Глафира в центре. Белоплечая, насмешливая, в крепдешинном платье, просвечивающемся на ходу... Сидела, как всегда, возле окна, под вишнею... Мужики вьюнами вьются туда-сюда, медальки звенят...

А потом всё смешалось. Шум, гам, песни, пляски. Кучками уходили, кучками приходили... И бражка лилась, и дом покачивался от переизбытка радости и здорового духа.

А потом как-то сразу стало темно и тихо. И Елька, кое-как растолкав по полкам посуду, прилегла на постель.

Проснулась от сильного стука. Под утро уже. Не поняла ничего: встала пнём у двери, глаз разлепить не может.

— Всё, Еленька, отыгралась...

— Гланя, да что ты, Бог с тобой...

Ничего не ответила, а спустя пять дней, уже перед самой смертью, отшептала слипающимися губами. И, уже не видя подругу, всё пристальнее и серьезней вглядываясь в иные, только ей раскрывшиеся пределы, дёргаясь, дотянула:

— Ка-а-к... об... крес-с-ти-н?..

Но только ли в одном этом лежала боль. Только ли в этом, если спустя два дня пришла похоронка на Фёдора. Пришла из госпиталя. А ведь давно ли отписывал, что дело идёт на поправку.

И всё сильней стала уверяться бабка Елена, что смерти за так не бывает. И смерть Васьки, и смерть Фёдора, и гибель братьев Угоновых, что заманили тогда пьяненькую Глафиру в кузню, не просто смерть. А если и смерть, то особая, даденная природой сразу на несколько человек, а может, и на всю деревню?

Но почему так? Почему деревня не заслужила иного оборота, другого конца?

Неужели раньше сроков отпущенных истончилась в ней жизнь? И не сумела деревня, как до времени опустошившаяся баба, удержаться на земле потому, что потеряла свой центр?

А че же я? Я-то зачем, Господи прости, попридержалась здесь, среди этих холмов? Для какого такого умысла не легла на своё место, а продолжаю болтаться здесь?

И где мой край, где моё зёрнышко? К чему прицеплено оно краешком своим, к чьей правде?

Не выпадали ответы. И путались мысли, и налетала и окатывала всё тело горячая и удушливая тоска...

И бабке Елене вдруг захотелось очутиться в неведомом, но прекрасном крае. И чуден тот край беспредельно. И не умирает в нем никто, и нет в нем ни горя, ни печали, а есть только радость и великая красота дел.

И так явно, всем сердцем и душой ощутила бабка Елена эти сказочные пределы, что тоненько завывала, не в силах пережить всем существом это непосильное для неё, это нечеловеческое счастье...

* * *

Огонь разгорался всё сильней и сильней. Оплёскивал колени, тянулся к лицу. И надо бы отвернуться, отползти, но нет сил этого сделать.

Бабке Елене вдруг захотелось, чтобы огонь не спадал, а так же нежно и ласково продолжал касаться её лица и рук своими шершавыми и не колючими языками...

И хорошо было от этих прикосновений и настораживало только одно — это странный звук, который шёл откуда-то издалека. И острыми холодными иглами прокалывал само сердце и выплёскивал в голову нескончаемую тоску... И стонала и распадалась душа от этого звука. И билась, как птица, пойманная в силоч, то поднимаясь на отпущенную высоту, то вновь западая в черноте донышка...

Звук? Зачем он здесь, возле костра? Зачем он здесь, где тепло и сладко от страха, такой знакомый, но такой ненужный для настоящего успокоения звук?..

И вдруг что-то прояснилось, и так ярко, будто молнией падучей ослепило голову. Вздрогнула бабка Елена и приоткрыла глаза.

— Бель-чи-к, ты здесь... Здесь, мой друг разлюбезный... здесь. Ну, не плачь, не плачь, дурашечка. — Бабка Елена с трудом выпрямилась на чурбачке и повела слабой ладонью по вздрагивающему боку собаки, по редкой, свалившейся от старости шерсти. — Здеся я... Не умерла ещё, не умерла. Пойдём-ка лучше на воздух, друг мой единственный, пойдём...

Покачиваясь, бабка Елена вышла из хотона и, положив левую руку на голову замолчавшей собаки, повернулась в сторону реки.

Горел остров в лучах закатного солнца. Как в детстве, как всегда, и, видимо, не было силы такой, что могла затронуть его и обратить во прах.

Жил остров, да так ярко и радостно буйствовал красками посреди синей Лены, что виден был, наверное, издалека, со всех уголков небесных...

И бабка Елена опять уверилась в том, во что верила с самого детства, что придёт день — и появятся из-за острова расписные карбаса с развесёлым народом на палубе. И много будет у тех людей и леденцов, и игрушек, и других разных разностей. И ещё будет много белоголовых и голубоглазых, как Васька, детей.

Верила бабка Елена: появятся, придут. И пристанут к берегу, а место для этого здесь удобное. И заселят дома, и выпустят рыжих коней на зелёные заждавшиеся луга, и смастерят лодки...

Потому что деревня не умерла. Не ушла на соседний холм. Не исчезла с лица земли. Просто люди ушли. Светлой ночью, по росам ушли они, дорогие сердцу сельчане, в свою более радостную для этого времени даль.

А её оставили нарочно, конечно нарочно, чтобы потом, в день возвращения своего, не потерять след к родным избам, и выйти на блеклый огонь её дома, и учуять родной дым бабкиного костра, и вновь и вновь обрести потерянное счастье.

Так. Именно так.

Придут. Обязательно придут. Пусть в сыновьях своих и дочерях, но придут.

Верила в это бабка Елена и решила пока не умирать и изо всех сил остатних потянуть ниточку жизни, чтобы дожидаться их, посмотреть им в глаза и поверить им и, быть может, простить.

Но бабка Елена не дождалась, потому что никто не знал, что она ещё жива.

«И не она от нас зависит...»

О некоторых авторских
антологиях и хрестоматиях
(в сокращении)

<...>

Двадцатый век ещё не закончился, а уже две поэтические антологии увидели свет — «Строфы века» Е. Евтушенко (Москва — Минск, «Полифакт», 1995) и «Русская поэзия. XX век» под общей редакцией Г. Красникова и В. Кострова (Москва, «ОЛМА-ПРЕСС», 1999). Обе антологии примерно одинаковы по объёму. В первой — 1056 страниц, 875 авторов, во второй — 926 страниц, 750 авторов. Первая — роскошное дорогое издание (финская мелованная бумага, суперобложка, эпатирующий плакат-вкладыш с изображением скачущего скелета Пегаса, 44 иллюстрации, 195 фотографий и живописных портретов поэтов, 18 дизайнерских работ А. Вознесенского); вторая — скромнее, но тоже недешёвое издание, включающее помимо поэтических текстов 205 фотографий.

Но если антология Красникова — Кострова традиционна (5 разделов, открывающихся обзорными статьями; каждому автору предпослана краткая библиографическая статья), объективна (русская зарубежная поэзия представлена без какого-либо ущемления), хотя с принципиальными оговорками, о которых скажу ниже, то книга «Строфы века» ломает все традиции и «не притворяется объективной». В какой ещё антологии вы найдёте столько непоэтов, семей, друзей и т.д. Эрнст Неизвестный и его мама Белла Дижур, папа составителя — А. Гангнус, американский друг Олег Целков, написавший единственное в своей жизни стихотворение — в альбом; а дочерей и сыновей именитых людей, братьев и сестёр — не перечить, что позволило сразу же после выхода в свет «Строф века» назвать их самой семейной антологией. Конечно, чтобы разместить в антологии «семью», пришлось потеснить прочих.

Теперь к вопросу об объективности антологии Красникова — Кострова. Неполнота, а в случае с П. Комаровым, С. Маршаком — просто зияющие дыры. Бесстрастность библиографических справок, отсутствие каких-либо оценок, прогиб перед «самогениями» привели к тому, что фактически на одной ступени оказались и настоящие творцы, художники, и «конструкторы стиха», шоумены от поэзии. Удивляет «масштабность» некоторых удачливых версификаторов, набивших руку на переводах. Первое же стихотворение Я. Козловского заставило вспомнить Франсуа де Ларошфуко: «Старики потому так любят давать хорошие советы, что уже не способны подавать дурные примеры». У Козловского: «Ста-

Столяревский Анатолий Георгиевич, поэт, критик (род. в 1949 г. в г. Донбассе, Украина). Автор книг стихов: *Горячий свет* (Иркутск, 1996); *Песочное время* (Иркутск, 1999); критических статей в периодич. изданиях. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

рики потому /Подают лишь благие советы, /Что дурные примеры /Не могут уже подавать». Что это? Перевод, плагиат?

Но вернёмся к Евтушенко.

«Строфы века» (ещё в «огоньковском» варианте) породили своеобразную моду на пересмотр итогов русской поэзии XX века, зачастую тенденциозный, в угоду переходной эпохе, в которую мы с вами живём. <...>

Ещё как-то можно смириться с тем, что А. Блок в «Строфах века» без знаменитого цикла «На поле Куликовом», без «Руси» («Ты и во сне необычайна...»), «России» («Опять, как в годы золотые...»), «Соловьёного сада», без известных верлибров «Она пришла с мороза...», «Когда вы стоите на моем пути...» (заключительные строки которого: «только влюблённый имеет право на звание человека» цитируются вот уже 92 года). Блок велик, его знают. <...>

У О. Мандельштама нет «Чернозёма». И с этим смиряешься, оставив при себе общепринятое мнение, что это стихотворение в шестнадцать строк — наиболее полное выражение поэтики зрелого Мандельштама (но понимаешь после знакомства со всей антологией — это единственное стихотворение Осипа Эмильевича, в котором пусть и косвенно, но почти физически осязаемо выражена любовь поэта к мачехе-России, выпадает из общего замысла составителя «Строфы»); смиряешься с тем, что в «Строфах века» не нашлось места «Коногону» П. Беспощадного и многим другим талантливым рабочим и крестьянским поэтам-самородкам.

С этим ещё как-то можно заставить себя смириться. Но невозможно представить Николая Рубцова, первооткрывателем которого называет себя Евгений Евтушенко, без «Осенней песни» (её Николай Михайлович ставил выше «Осенней песни» П. Верлена), «Вечерних стихов» (так любимых В. Астафьевым), «Журавлей», «Подорожников», «Старой дороги» («...здесь русский дух в веках произошёл»), «Русского огонька», «Поезда», «Видений на холме» (строки из этого самого знаменитого стихотворения Н. Рубцова «Россия, Русь! Храни себя, храни!» выбиты на памятнике на могиле поэта в Вологде). А ещё у Рубцова есть маленькие шедевры «Улетели листья», «Ночь на родине», «Острова свои обогреваем», «Ферапонтово», «Зелёные цветы»... Нет этого в антологии Е. Евтушенко. Из девяти представленных стихотворений только четыре («Добрый Филия», «В горнице», «Звезда полей», «Тихая моя родина») — действительно вершинные в поэзии Н. Рубцова. <...>

«Строфы века» — авторская антология, которая «не притворяется объективной».

А что нам предлагают? Издание с «откровенно личностным характером», главная тема которого — «история через поэзию». Но какая история? «Строфы века» как бы пронизывают несколько сквозных тем: тема Бабьего Яра и шире — еврейская тема, которую Е. Евтушенко ставит, по сути, на первое место, объединив с темой коммунистического террора; тема диссидентства и, наконец, тема России, в подаче Е. Евтушенко, страны варварской. Странная панорама русской поэзии <...> второй половины XX века. Почему именно второй половины? Потому, что отбор имён и текстов первой половины века в основном уже произвело время. <...>

Не удивляет отсутствие в «Строфах века», но удивляет отсутствие в антологии Красникова — Кострова знаменитого «Коммунисты, вперёд!» А. Межирова — высочайшего образца гражданской лирики всей советской поэзии.

Не вспомнил составитель «Строф века» бунинского «Поэту». Это стихотворение, напоминающее о взыскательности и ответственности поэта, сегодня, пожалуй, актуальней, чем в пору его написания:

В глубоких колодцах вода холодна,
И чем холоднее, тем чище она.
Пастух нерадивый напьётся из лужи
И в луже напоит отару свою.
Но добрый опустит в колодец бадью,
Верёвку к верёвке привяжет потуже.

Золотые слова. <...> Когда-то Е. Евтушенко написал стихотворение «Бабий Яр», вызвавшее бурю негодования в СССР, в том числе и среди некоторых друзей автора, и бурю восторга на Западе, где его сразу же поспешили объявить лучшим стихотворением XX века. Поэтому в антологии представлены почти все стихотворения о Бабьем Яре, так написано в предисловии. Действительно, почти все. Но нет в ней стихотворения Геннадия Алексеева «Бабий Яр». Написанное после <...> евтушенковского, оно многими воспринималось как скрытая, умелая и тонкая полемика с Евтушенко. Точно воссоздавая трагедию Бабьего Яра, Г. Алексеев подымается до философского обобщения. Белобрысые пулемётчики расстреливают людей, в перерывах пьют молоко, а один из них играет на губной гармошке. За их спинами два старика, радостно хлопающие в ладоши, один похож на Вергилия, а второй смахивает на Данте. Потом и их расстреляли, чтобы не было свидетелей. <...>

Но может быть, Е. Евтушенко не знает Г. Алексеева? Знает. Хорошо. Это угадывается из врезки к единственному стихотворению Г. Алексеева, вошедшему в антологию: «Ленинградский художник. В поэзии увлекался Т. Ружеви-чем и Ж. Превером. Это чувствуется в его слегка европеизированной русской ирониаде». <...>

Геннадия Алексееву все же повезло (если, конечно, можно назвать везением публикацию в «Строфах века»): Е. Евтушенко включил его в свою антологию.

Маргарите Агашиной, Юрию Андрианову, Геннадия Айги, Олегу Алексееву, Эдуарду Балашову, Александру Бардодыму, Юрию Беличенко, Анатолию Брагину, Виктору Верстакову, Сергею Викулову, Сергею Давыдову, Ольге Ермолаевой, Станиславу Золотцеву, Николаю Зиновьеву, Тимуру Зульфикарову, Вадиму Кузнецову, Петру Кошело, Виктору Лапшину, Сергею Михалкову, Вильяму Озолину, Михаилу Орлову, Владимиру Павлинову, Борису Примерову, Александру Плитченко, Владимиру Савельеву, Нине Красновой, Борису Сиротину, Валентину Сорокину, Геннадия Ступину, Валентину Устинову, как и многим другим самобытным поэтам, не нашлось места в «Строфах века». Нет и Самуила Маршака, поэта с европейской известностью, который в своё время высказал сомнение в таланте Е. Евтушенко, мало того — публично критиковал. <...>

Казалось, нет ни одного поэта трагической судьбы, которого не заметил Е. Евтушенко. «Убит бандитами», «трагически погиб при невыясненных обстоятельствах», «покончил (а) жизнь самоубийством»... Но нет в его антологии стихов Александра Бардодыма, талантливого поэта, для которого слово «русичи» звучало как призыв и старинный завет. Александр и погиб как истинный русич, вступив в бой, который был одним из эпизодов грузино-абхазской войны. В Абхазии Александра Бардодыма почитают как национального героя. Его именем назван парк, а в музее им. Д. Гулиа ему посвящён целый стенд.

Те же, кого Евгений Александрович не мог не упомянуть, <...> представлены всего одним, иногда даже не главным для их творчества, стихотворением: Николай Анциферов, Алексей Прасолов, Анатолий Жигулин, Владимир Цыбин, Виктор Каратаев, Анатолий Передреев, Николай Старшинов, Станислав Куняев,

Василий Казанцев, Алексей Решетов, Михаил Дудин, Николай Рыленков, Сергей Орлов, Пётр Комаров, Владимир Костров, Павел Шубин... Фёдор Сухов вообще представлен фрагментом в несколько строк.

Какие имена! Гордость и, главное, совесть русской поэзии! И этой гордости и совести нашей поэзии в антологии Евтушенко выделено столько места, столько одному А. Вознесенскому — 9 страниц. <...>

Николай Анциферов — совершенно уникальное явление в русской поэзии пятидесятих годов в том отношении, что у него не было литературных предшественников. Его знаменитого «Вельможу» деятели от литературы не знали, к какому жанру причислить, поначалу его даже печатали в сборниках для художественной самодеятельности в разделе «Пародии». Духовная крепость, жизнелюбие, изначальная цельность мировосприятия — вот что передавал Н. Анциферов читателям и слушателям своих стихов. Да, да, слушателям, ибо на литературные вечера с Анциферовым в Москве пятидесятих народ валом валил, как когда-то на Есенина, по воспоминаниям современников. <...>

То, что успел сделать за свою короткую жизнь Н. Анциферов, — не должно быть забыто. Всей своей поэзией он бросил вызов парадности и официозу в литературе. После Анциферова нельзя было лгать в поэзии. Это почувствовали многие поэты, входившие вместе с ним и вслед за ним в литературу, — Н. Рубцов, А. Прасолов, А. Передреев, В. Коротаев, Б. Примеров, В. Костров, В. Павлинов и др. <...>

«Русская поэзия — ключ к русской душе», — написал в предисловии к своей антологии составитель. Правильные слова! Но сам орудует грубой отмычкой. Даже в выборе одного стихотворения не скрывает своей тенденциозности. Стыдные, позорные стороны русской истории (перегибы коллективизации, сталинский террор и т. д.) — вот главный критерий отбора. Но разве Анатолий Жигулин — это только «Кострожоги»? Даже ставшим классикой лирическим стихам о родине, любви А. Жигулина не нашлось места в «Строфах века». По такому же принципу отобраны стихи С. Куняева, В. Казанцева, В. Кострова, Валентина Кузнецова, Н. Панченко, С. Поделкова, А. Прасолова. Иногда доходит до курьёзов. Е. Евтушенко хочет навязать своё прочтение того или иного стихотворения, заставить увидеть в нем то, чего в нем нет. Так, во врезке к стихотворению П. Комарова «Санчагоу» он пишет, что П. Комаров неоднозначно воспринимал освобождение Красной Армией Маньчжурии в 1945 году, что видно из его стихотворения. Приведём полностью это стихотворение:

Здесь тишину годами берегли,
В маньчжурском городишке Санчагоу.
Днём — патрули. И ночью — патрули,
И тишина. И ничего другого.
Над улицей качается слегка
Цветной фонарь из рисовой бумаги.
Шаги конвоя. Тусклый блеск штыка.
И солнце самурайское на флаге.
В харчевне гости сипнут до зари,
И женщины толпятся у оконца,
Где вместо стёкол — бычьи пузыри,
Квасцами просветлённые немножко.
Кругом — покой. Шаги одни и те же.
И на колах висят не для того ли

Две головы казнённых за мятеж,
 Как черные горшки на частоколе?
 Бездомный пёс пролаял на луну.
 И снова — ночь. И ничего другого.
 ...Мы расстреляли эту тишину,
 Когда входили в город Санчагоу.

Все очень даже однозначно — Красная Армия расстреляла жуткую могильную тишину, державшуюся на устрашающих казнях и самурайских штыках, — что не умаляет художественных достоинств стихотворения П. Комарова. В стихотворении С. Куняева «Очень давнее воспоминание» Евтушенко видит не столько осуждение сталинского террора, сколько «упоеание силой власти». Неоднозначность — вообще-то сильная сторона поэзии, но видеть её там, где её нет, — это какая-то болезненная изошрённость ума. <...>

Во врезке к единственному стихотворению Василия Фёдорова Евтушенко пишет: «...человек он был безусловно талантливый, и я с удовольствием представляю место в этой антологии ещё одному моему многолетнему литературному противнику». Полноте, какое уж тут удовольствие — одно стихотворение «Рабская кровь». А где прекрасные стихи Василия Фёдорова о любви? Ведь он был певцом высокой любви. В том-то и дело, что высокую любовь в антологии «Строфы века» весьма напористо оттеснила любовь совсем другого сорта, если так можно выразиться, барачная, с натуралистическими подробностями, любовь-анекдот. Как тут не согласиться с одним из авторов антологии К. Левиным, написавшим: «он женщиной вертит и крутит, уж ты его не обессуди». (Поэтому не ищи, читатель, в «Строфах века» образцы любовной лирики Василия Фёдорова, П. Васильева, Н. Асеева, М. Петровых, В. Тушновой, А. Жигулина и др.). Ну не может Евгений Александрович отказать себе в удовольствии посчитаться со своими литературными противниками!

Больше всего его раздражает Юрий Кузнецов — выдающийся современный русский поэт. Здесь в оценках Евгений Евтушенко не стесняется, не приводя доказательств: «...в поэзии и в общественном поведении его есть малоприятные, негуманистические черты», «кладбищенское мрачное ёрничество вообще свойственно Кузнецову», «есть признаки мужского уязвлённого шовинизма по отношению к женщине». Евтушенко не оригинален в своих нападках. Ещё в семидесятые годы против подобных обвинений выступил критик Юрий Селезнев: «...никакие отрицательные определения не в состоянии определить ни природу творчества в целом, ни творчество Ю. Кузнецова в частности». Говоря о творчестве Ю. Кузнецова как о фантастическом взлёте в нашей современной поэзии, Ю. Селезнев называет его поэзию «бескомпромиссной и мужественной». В антологии Евтушенко не представлено ни одного стихотворения позднего Ю. Кузнецова, где основные темы его поэзии — Родина и Вселенная, человек и время, любовь и смерть, печаль и радость — нашли яркое художественное воплощение. Ю. Кузнецов — многообразный поэт, есть у него и элегии, и анекдоты, и исторические хроники, и баллады, и философские миниатюры, и прекрасные стихи о любви (да, да — о любви! — достаточно назвать «Хозяина разошедшегося дома», «Серебряную свадьбу в январе»). Ничего этого нет в антологии Евгения Евтушенко, надо полагать, дабы не разрушать тот желаемый им образ монстра русской поэзии. Комментарий к стихам Ю. Кузнецова — это ведь плохо скрываемое презрение составителя не только к поэту, но и к его читателям, многие из которых считают творчество Ю. Кузнецова литературным подвигом. <...>

Но ведь и поэтов другого круга, талант которых общепризнан, зачастую не жалуется Евгений Евтушенко. Иначе как объяснить, что Леонид Аронзон представлен всего одним стихотворением. Леонид Аронзон умер в 1970 году, прожив всего 31 год. За границей пишут диссертации по его творчеству, издают книги его стихов. Евтушенко ничего не сделал, чтобы Л. Аронзон достойно был представлен русскому читателю.

Явно ущемлён Александр Аронов, долго числившийся в «подпольных классиках». Одно стихотворение — мало, но достаточно для того, чтобы отмахнуться ещё от одного претендента на литературный Олимп. <...> Виктор Кривулин — «самостоятельное, редкое дарование», по словам самого составителя, лауреат премии имени Андрея Белого, представлен всего двумя стихотворениями. <...> И так мы разминувшись в антологии «Строфы века» со многими дарованиями, хотя они и представлены в ней. Всего два <...> стихотворения и у И. Шкляревского. Одно из лучших, «Жалоба счастья», не удостоено внимания составителя.

Руки болят! Ноги болят!
Клевер скосили. Жито поспело.
Жито собрали. Сад убирать.
Глянeshь, а греча уже покраснела.
Гречу убрали. Лён колотить.
Лён посушили. Сено возить.
Сено сметали. Бульбу копать.
Бульбу вскопали. Хряка смалить.
Клюкву мочить. Дрова пилить.
Улы снимать. Сад утеплять.
Руки болят! Ноги болят!

Здесь такие сочные мазки, что будь в антологии больше таких стихов (а они есть в русской поэзии) — то легко на её страницах была бы воссоздана картина нравственной жизни русского народа в XX веке.

Но картина получилась совсем иная. <...>

И ещё один штрих. В антологии представлены три современных поэта из Иркутска — А.Кобенков, М. Сергеев, С. Иоффе. Ничего не имею против них, даже наоборот, по-моему, А. Кобенков мог быть представлен и шире, а не только одним стихотворением, написанным ещё в юности. Но неужели наш земляк Евгений Евтушенко не слышал ни о Михаиле Трофимове, ни о Ростиславе Филиппове, ни об Анатолии Горбунове, поэтах не менее талантливых, чем взятые им в антологию?.. Знал, но здесь уже надо говорить о критерии отбора. <...>

Вслед за авторской анлогией появились авторские учебники, авторские программы по литературе, где современная русская поэзия представлена односторонне, в таком искажённом виде, что становится страшно за наших школьников. Иначе как насильем над их неокрепшими душами эти пособия не назовёшь. Вот хрестоматия для учащихся 8–11 классов «Читаем русскую лирику» Н. Русовой и В. Шевцовой (Н. Новгород, изд-во «Деком», 1996), раздел «Кануны», в котором представлена современная поэзия. Те же имена и под тем же соусом, что и в «Строфах века». Евгений Рейн, которому «поболтать и выпить не с кем» («В старом зале»), рок-поэт Александр Башлачёв с призывом: «наливай посошок! На строку — по глотку, а на слова — и все два» («Посошок»), Владимир Высоцкий с признанием, что «безвременье вливалось водку в нас» («Я никогда не верил в ми-

ражи»), Александр Галич — «под пламенные тирады мы пили вино, как воду» («Петербургский романс»), Булат Окуджава, вкушающий «из чашки запотевшей счастливое питье» («Арбатский романс»), <...> манерная Белла Ахмадулина, мода на которую вот уже четверть века искусственно поддерживается нашими издательствами и масс-медиа в ущерб современной русской женской поэзии... Надо сказать, женская поэзия за это же время очень сильно выросла (достаточно назвать М. Кудимову, М. Авакумову, О. Николаеву, Н. Краснову, О. Седакову, С. Кекову, Т. Реброву) ... Борис Слуцкий со стихотворением о Сталине «Бог», Олег Чухонцев со стихотворением о сталинском палаче Лаврентии Берия «Кат в сапогах», Наум Коржавин с непонятным для современных школьников осуждением «нового рабства» («Последний язычник»), Андрей Вознесенский со стихами из того же ряда «Ностальгия по настоящему», Нобелевский лауреат Иосиф Бродский со стихами о перпендикулярной любви на старом диване (пока она не стала треугольной) — сознательно утрирую — и стихотворением «На смерть Жукова», в котором даётся неоднозначная трактовка исторической миссии маршала — в такой компании Николай Рубцов со своей «Звездой полей» вроде как лишний.

О какой возвышающей силе поэтического слова здесь можно говорить? О каком воспитании? Недопустимо сводить содержание произведений только к отображению в них исторических фактов и явлений. Об этом говорилось не раз.

И ещё. Складывается впечатление, что авторы хрестоматии не имеют ни малейшего понятия о возрастной психологии, никогда не работали в школе, иначе бы представляли себе, как легко старшеклассники могут превратить трагедию (а ведь историческая трагедия присутствует в половине отобранных ими текстов) в фарс. Дай только повод. Прямое истолкование слов В. Высоцкого «учителей сожрало море лжи» может ограничиться незаметным театральным жестом в сторону учителя, а может и вылиться в целую сценку за его спиной — тут всё зависит от актёрских способностей подростка-озорника, я уже не говорю о «море разливанном»...

Кто же заказывает таких авторов?

А может, и заказывать не приходится, ибо, как заметил известный прозаик Ю. Поляков, «самое дорогое, что есть у значительной части нашей творческой интеллигенции... — благодарное презрение к «этой стране», позволяющее отделяться от её боли, от её проблем насмешливым недоумением, иногда переходящим в гадливость. Именно это считается хорошим тоном и непременным условием создания большого искусства и, соответственно, получения премий»¹.

«Я надеюсь, что хотя бы часть моих грехов мне простится за эту антологию, по которой во многом будут судить о прошедшем XX веке в наступающем XXI», — заявляет Е. Евтушенко в предисловии к подборке своих стихов в антологии. <...>

Было бы горько, не имей и я надежды. Правда, совсем другой — поэзия возмёт своё! Как сказал Н. Рубцов, «не она от нас зависит, а мы зависим от неё...»

¹ Поляков Ю. Про это / Труд. 2000. 20 июля. С. 3.

Семён Устинов

Байкал и Лена в одном имени

Очерк

Часто случается среди людей, когда великий творец, яркий представитель какой-либо сферы искусства или науки, с высоким к нему нашим интересом, сам того не ведая заслоняет собою другие фигуры, подчас также далеко не ординарные. Она, фигура эта, обычно и сама изнутри подсвечивает гегемона.

С удивлением заметил я однажды, что такой феномен обнаруживается и в нашем отношении к жизни природных объектов. Великий, священный, неповторимый, единственный на планете Байкал... Кто не знает, кто не восхищается! А между тем за спиною, в тени его, таятся не всеми замечаемые удивительные образы природы: дельта Селенги, Чивыркуйский залив, байкальские острова. Ну хорошо, всё это и составляет сам Байкал, но кто скажет, что река Лена — рядовое природное явление? Протяженность 4270 километров, обширность дельты сравнима со знаменитой амазонской, в низовья заходят океанские суда, входит в десятку величайших рек мира. Многие ли помнят, что своими истоками Лена родилась рядом с Байкалом? Затем эта юная дама, очарованная его величием, направилась было к перевалу на свидание с прославленным своим соседом. Но, не добежав каких-то семь километров, передумала и, игриво вильнув правым берегом у самого его носа, устремилась вдаль — строить собственную свою судьбу. Влейся она в Байкал — и была бы заунывным его притоком длиной всего в 30 километров. Как просто потерять себя в этом мире...

Байкал и Лена, два великих природных начала, расположились рядом. А в 1986 году они дали название одному благородному делу ума человеческого — Байкало-Ленскому государственному природному заповеднику. Все знают, да не все пока прониклись тем, что на земле стремительно идёт процесс оскудения среды жизни: человек разрушает ландшафты, загрязняет, отравляет воду и воздух, беднеет при этом биологическое разнообразие Земли. И, как одно из логических следствий этого, идёт грозный процесс накопления в энергетике

Устинов Семён Климович, прозаик, природовед (род. в 1933 г. в с. Унэгэтей Заиграевского р-на, Бурятия). Автор книг: *Заповедник на Байкале* (Иркутск, 1979); *Год и вся жизнь медведя* (Иркутск, 1987); *Загадочные тропы кабарги* (Иркутск, 1989); *В лесах у Байкала*: зарисовки эколога (Иркутск, 1998); *Волчья песня* (Иркутск, 2003); *Вести от синих гор*: рассказы (Иркутск, 2006); *Визит к Берендею*: записки эколога (Иркутск, 2008); *Эколог Леший и его соседи*: рассказы о животных [для детей], (Иркутск, 2011). Канд. биол. наук. Заслуженный эколог РФ. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

человеческого населения — душах людей, карме наций, как скажут экстрасенсы, — зла и агрессии, порывов разрушения.

Как остановить или для начала хотя бы приостановить этот губительный процесс, ведущий к скорым потрясениям Земли и земель? Один из путей — организация особо охраняемых (увы, от нас самих!) природных территорий, чем занято население большинства стран мира. Первыми по значимости, по весу в решении затронутого вопроса в России стоят заповедники. Слово это не всем понятно, поскольку им обозначают многое. Но зато всем ясно, что это что-то ограниченно-пользования, а потому нежелательное, увы, для большинства. Внесём полную ясность: заповедники природные законом «Об особо охраняемых природных территориях» подтверждены как территории полного запрета хозяйственной деятельности и постороннего присутствия, эталоны нетронутой, неразрушаемой природы. Решением Правительства России они создаются навечно. Их задача — дыханием лесов очищать над своей территорией воздух и посылать его веянием ветров туда, где грязно. В родниках, реках, озёрах своих рождать чистую воду и отдавать её людям в поселениях, лежащих за его пределами. Сохранять ландшафты и сберегать всё, что на них живёт, уберегать души людей от разной скверны разрушения. Святая миссия! Печально, что простая эта истина, важнейшая для выживания человечества, пока не понята и не принята в необходимой полноте.

Мы мечтаем о том времени, а оно обязательно придёт, когда, по крайней мере, люди, живущие в близлежащих к особо охраняемым территориям поселениях, будут гордиться таким соседством — уже сейчас заметны признаки зарождающегося в этом престижа. Люди будут радоваться тому, что в их краях располагается нетронутое пространство, где красивы, дики, первозданны ландшафты, закрытые лесами, полными различных зверей, птиц и цветов, под голубым небом, на берегах хрустально-чистых вод.

Таков ныне Байкало-Ленский заповедник, в котором соединились два недюжинных образа Земли: Байкал и Лена. Он занимает 659919 гектаров гор и лесов на северо-западном побережье Байкала в пределах Иркутской области. В него входит вся система истоков Лены, которую коренное население уже в верховьях называло по-своему: эвенки величали её Елюене (Большая река), по-бурятски же это звучало как Зулхэ.

Об истоках одной из великих рек мира, нашей Лены, мало что было написано. Первые геологи и картографы середины XIX века даже не обратили внимания на то, что она начинается двумя почти равной длины рукавами (между ними ещё один, коротенький), истоки которых лежат километрах в 15-ти друг от друга в разных отрогах Байкальского хребта. Логично, что первые экспедиции изучали эту территорию от Байкала, поскольку за горами находились бескрайние, необитаемые пространства. И потому за единственное начало Лены приняли Лену Шартлинскую (правый рукав), исток которой лежит всего в семи километрах от Байкала. Однако никто из них не дал описания самого истока. Это сделал лишь во время своей орнитологической экспедиции 1958–1959 годов известный учёный, путешественник, писатель и фотохудожник О.К. Гусев. Исток Лены Шартлинской — за перевалом, из вершины речки Шартла — короткого притока Байкала. Начало составляют сливающиеся немного дальше семь коротеньких ручейков шириной по 10–20 сантиметров и глубиной «воробью по колено» — три — пять сантиметров. Они выходят из сфагнового болотца в чашеобразной впадине среди кустиков ивы и берёзки.

То обстоятельство, что исток Большой Лены (левый рукав), коренной исток,

не описан до сих пор, не давало мне покоя с первого дня работы в Байкало-Ленском заповеднике. В тени Байкала по-прежнему таилось другое, неведомое, но яркое начало.

В августе 1994 года я двинулся к поставленной цели, но, идя от Байкала, не дошёл всего около шести километров. Однако вскоре появилась возможность исток Большой Лены «достать» снизу, поднимаясь вверх по реке. Необходимо было это сделать именно в 1996 году как подарок к 10-летию Байкало-Ленского заповедника.

Старший государственный инспектор заповедника В. П. Трапезников со своим сотрудником В. Г. Юшиным и другими не только прошёл туда, поставил знак «Исток Лены» и выстроил зимовье, но и провёл группы добровольных помощников. Мы много говорили с Трапезниковым обо всём этом. Владимир Петрович ничего нового без своего глубокого интереса к нему, участия в нём выдержать не может. Азартный первопроходец и открыватель, неутомимый ходок с качествами серьёзного исследователя, прекрасный товарищ в тайге и умный руководитель всякого затеянного им предприятия, он с первой моей фразы о необходимости пройти к коренному истоку Большой Лены загорелся-заискрился идеей организовать наш поход.

— И нечего откладывать, — сказал он, — идём нынче в августе!

Экспедиция состояла из четырёх человек: сам Трапезников — наш проводник, Пётр Трапезников, Сергей Рыбинский, оба парня — отличные таёжники, и я. Пять часов в моторной лодке — и мы на пороге заповедника, ночёвка в Чанчуре, посёлочке, превосходно описанном побывавшим там В. Г. Распутиным. На завтра ещё пять часов вверх по заповедной Лене — и наша лодка мягко вошла в илистое мелководье, чтобы оставаться тут без нас дней шесть. Впереди лежал пеший переход километров в 60, значительная часть которого без тропы, по звериным разбродам и интуиции нашего проводника.

К концу третьего дня, после двенадцати часов почти непрерывного хода, всё более усложняющийся путь поставил нам последнее испытание — особо крутой каменистый подъём среди кустов кедрового стланика. Лесной пояс остался далеко внизу. Под ногами — толстый слой ягеля, мокрого от длительного дождя. Кто ходил, знает: мокрый ягель — это толстый слой масла на плитняке, никакая рифлёнка на подошве не держит. Облегчение — в мало-мальски натопанной оленями тропинке, по которой мы вышли на перевал.

Солнце садилось. Панораму, которая открылась, оно освещало нам из-за спины. Всё виделось необычайно чётко: какой-то праздник неправдоподобного сияния в горах, уходящая вдаль череда всё более понижающихся, с зелёными пятнами кедрового стланика серых гор. Их сглаженные вершины на горизонте подрезаны вставшими щёткой гольцами осевой линии Байкальского хребта, уже белыми от нового снега. Серые, скучающие над однообразием тайги все эти дни дожди оживились там и украсили вершины белым нарядным цветом. Влево вниз уходила неглубокая, широкая, загромождённая ломаными плитняком долина, на дне которой угадывался узенький поток, прошивающий несколько озёринок.

Это и была Большая Лена неподалёку от своего истока, который на карте показан горным, ледниковым озером 600 на 400 метров. Справа, из-за близкого мыса, сплошь занятого кедровым стлаником, выглядывал темно-синий угол этого озера.

Но самое замечательное, как это частенько бывает в жизни, оказалось у нас под ногами. Прямо по спуску с перевала от речки Каменистой, по долине кото-

рой мы и пришли сюда, в низких, травянистых ивовых берегах лежало ещё одно озеро. Со дна долины, куда нам идти, его, потаённое, не увидишь.

Никогда не привыкну спокойно любоваться горными озерами, особенно с перевалов. Сколько их видано в хребтах, окружающих Байкал, и всегда с острым чувством восхищения! Уже сам по себе перевал, вершина его, открывая горные дали, открывает и чувствительные родники души, она ликует неуёмной радостью — не победы конечно, не покорения — какая может быть победа над святыми образами Матери-Природы? Допокоряли... И сколько «покорителей» осталось там. А с благодарностью Создателю за возможность видеть всё это. И особенно — то синие, всех мыслимых оттенков синего, то белые от близкого сумрачного неба, то зелёные от крутой ряби дыхания гор чудные озера в серых каменных или зелёных травяных берегах. Уж если что и продляет бесплатно жизнь человека — так это, конечно, созерцание с высоких перевалов горных изумрудных озёр!

— Это и есть Око Земли? — спрашиваю у Трапезникова-старшего.

— Конечно, разве не видно? Вон, посмотрите, даже ресницы — кустики ивы — есть! — Впервые он увидел это озеро года два назад, и название родилось сразу. Теперь оно будет жить на карте Байкало-Ленского заповедника.

День назавтра, 20 августа 1996 года, яркий, солнечный, тёплом и тишиной вознаграждал нас за все прошлые холодные и шумные дождливые дни. Вооружившись блокнотом, фотоаппаратом, биноклем, ухожу на весь день. Товарищи мои после прогулки в окрестностях займутся доработками в зимовье.

В самом верховье Большой Лены на равном, около двух километров, расстоянии друг от друга в своих каменных чашах лежат четыре озера, одно из которых и есть Око Земли. Мне необходимо побывать на каждом, поскольку все они дают самые верхние притоки Большой Лены.

Первое встретило ярко белеющим на берегу, издалека видным черепом северного оленя. Неожиданно небрежная волчья работа: череп, рога и позвоночник оставлены вместе. Вдоль берега, нисколько не боясь меня, в прозрачной воде плавают некрупные, разной величины харюзки, ловят какую-то малость с поверхности. Их очень много — всё озеро во всплесках! Оно замечательно тем, что, давая приток Большой Лене, в большую воду допускает, кажется, прорыв потока и в противоположную сторону — через короткий перевал к речке Трудной.

С удивлением замечаю в воде беленькие ракушки какого-то моллюска: теплолюбивая животинка в лютом холоде гольцового озера? Заповедник должен знать всех своих обитателей, потому, раздевшись, лезу в воду и за странной, необычно бледной, нитевидной водорослью. Дно испускает пузырьки газа.

Око Земли отсюда всего лишь за невысоким перевалом. Рыбы в нем не видно, но резкими толчками плавают веслоногие рачки, а по поверхности шустро носятся блестящие овальные существа, похожие на водомерок. Заинтересовало, почему рыбы нет и дно какое-то необычное, много синеватого ила. Бледная муть стоит в следах недавно заходивших в озеро изюбря и северного оленя. Только сунулся в воду, сразу всё понял: со дна ударил в нос резкий запах сероводорода — так вот почему рыбы нет! Вспомнилось, как в верховьях другой заповедной реки, Лево́й Киренги, недавно я обнаружил точно такое же душистое озерко, мне его показал лось, также заходивший пить остренькое.

Ленская покать — огромное пространство западного склона Байкальского хребта, доказанная наукой площадь распространения азотных и метановых вод, подогретых так, что подобные озера в заповеднике не редкость, должно быть.

Оставив Око Земли, местами по сплошному ковру из кашкары поднимаюсь на следующий перевал. Теперь рассчитываю спуститься прямо к озеру, из которого, судя по карте, коренным истоком выходит Большая Лена. Два предыдущих дают Лене лишь притоки, хотя и самые верхние, каждое по одному. Но каждое же получает себе и крохотные, тихо журчащие притоки из-под близких скалистых склонов.

Вот здесь, в этой материнской, благословенно звучащей тишине гор затаилось рождение Зулхэ, Елюене — Большой реки Лены! С нарастающим волнением я продираюсь сквозь невозможно плотные, высокие, мощные заросли кедрового стланика. Мне надо круто влево, а они, не позволяя спускаться напрямик, ведут всё вперёд и вперёд. Чувствуя, что озеро остаётся позади, я полез напролом. Подозреваю, что это происки лукавого, который охраняет от посторонних одно из великих начал Земли. И вдруг заросли враз широко расступились.

Прямо передо мной метрах в двухстах круто внизу, как на белом листе бумаги, открылось видение: слева из-за дикого нагромождения целой горы крупно ломанного камня-плитняка выступает голубая оконечность озера, того самого, его я уже прошёл. Но если бы лукавый провёл меня дальше, чем я хотел, этого я бы не увидел: озеро заканчивалось, но каменная долина, в которой оно лежало, простиралась метров на 200 дальше и поднималась на пологий склон ещё метров на 15–20.

И вот там-то, в самом верхнем углу приподнятого пространства, потаённо лежало маленькое озерко, 20 на 30 метров. Снизу от большого озера его не увидишь ни за что! Даже и подозрения не возникнет, что там есть какое-то озерко.

От озера прямо по середине долины к большому озеру, деловито повиливая между крутыми, высоконькими бережками, струился ручей. Даже и почувствовав острую вспышку исследовательского азарта, я не сразу сообразил, что это такое. Но ведь это же тот самый — коренной исток Большой Лены! Как изощрённо упрятан, а! Если бы озера этого не было, да ещё расположенного в естественном продолжении долины, можно было бы считать ручей простым притоком озера — истока реки. Так я и посчитал бы, не заведи меня лукавый повыше на гонец.

Охваченный романтически приподнятым настроением, я развернул «исследования». Озерко прозрачное, мелководное, в нем довольно много харьужовой молоди, даже покрупнее рыбки есть. У дна странновато, толчками, передвигаются ещё какие-то рыбки. Наблюдаю за одной: быстро плывёт у дна, поднимая «пылью» ил с камней и вдруг, как будто на что-то наткнувшись, мгновенно падает на дно и замирает. Пригляделся — у неё шесть усиков вниз торчат. Это вам не один, как у налима, и не два, как у сома! Так это же те сибирские гольцы, доставленные в прошлом году из другого озера для определения!

Расположилось озерко на травянистой поляне в тупичке долины, полукругом замыкаемой в 120 на 70 метров обрывом горы. Обрыв зарос кедровым стлаником и, что неожиданно, можжевельником, жителем лесного полога. Из-под обрыва почти на равном расстоянии, метрах в пяти-шести друг от друга, рождаются пять ручейков сантиметров по 20–30 шириной. Пройдя 30–50 метров, каждый вливается в озерко с запада. Видно, что ручейки — не случайные поверхностные стоки: у них высокие бережки, голое каменистое дно, глубина пять-семь сантиметров. Забавно, что среди наполовину оголённых каменных плиточек дна шныряют харьужки вполне взрослой высокогорной формы.

Осознавая свою значимость как коренного истока великой реки, с подобающим случаю негромким, сдержанным журчанием, ручей из озера в огромный

мир пускается солидно — в целый метр шириною! На берегах среди увядающих трав стоят мощные, строгого вида, больше метра высотой, неожиданные в этом суровом краю, побеги щавеля. Сама же чаша, где зародились первые капли воды, представилась мне сложенными ладонями Матери-Земли, с которых, приняв её благословение, они устремляются в немысленную даль, в вечный круговорот жизни природы.

Примечательно, что исток и устье Лены направлены точно на север, а уж на протяжении своём она как только не петляет.

Первый с правого края ручеёк, один из тех пяти, журчит особенно задушевно. Переполненный радостью своего открытия, сижу на камне, слушаю, и это журчание превращается в тихий колокольный звон. Почему-то подумалось: в тихие, тёплые лунные ночи сюда должны слетаться духи всех бесчисленных притоков великой реки — праздновать её рождение. И не таиться людей, их здесь нет.

Я набрал в котелок самых первых капель, которые скатывались с ладоней Земли, на сучочках стланика приготовил чай и присоединился к празднеству. Точку, где расположено озерко Исток, возвратившись, мы нанесли на карту заповедника. Геннадий Серов, начальник отдела охраны, определил её географические координаты: 53° 55' северной широты и 107° 53' восточной долготы.

Иван Фетисов

Прокурорская рыбалка

Глава из романа «Не вините беркута»

3

Тот ласковый июльский день начался обычно. Утром Терентий Павлович ушёл на службу в добром настроении. Жена, когда он сказал, что вернётся поздним вечером (намечается командировка в отдалённый колхоз), пожелала счастливого пути и даже мило улыбнулась — такую улыбку он мог видеть на её лице лишь по свободным от суеты праздничным дням.

Собрался в дорогу тоже спокойно, и это внешнее спокойствие выражало его внутреннее чувство достоинства и власти. Поехал Терентий Павлович один, сам за водителя, на изрядно поношенном «газике» — другого транспорта, если не считать Серка с ходком на рессорах, не было.

Ехал в колхоз к Макару Ухову. Давненько там не был, к тому же знал: Макар Петрович и не жаждет никакой встречи с прокурором, живёт в своей Кутанке и управляется без всяких помощников. Говорят, даже заявил участковому, чтоб без председателя приглашения тот не появлялся. Толкуют ещё и о том, что «екатерининский наместник» будто придумал какой-то свой закон, и будто спокойная обстановка в хозяйстве этим и объясняется. И как ни странно, ехал Терентий Павлович расследовать в адресованном ему письме «факты преступного отношения к сохранности общественного животноводства». Под письмом три фамилии кутанских жителей, но никто из них не подтвердил потом свою причастность к нему.

Прокурор в сопровождении председателя и секретаря партиячейки Дениса Злобина обошли все три животноводческие фермы — следов падежа не обнаружили.

— Извините, Макар Петрович, за беспокойство, — сказал прокурор. — Служба такая... Знаю: в других хозяйствах молодняк гибнет сотнями, а вы живёте как у Христа за пазухой. Верится и не верится... — прищурился и без того узкие глаза, Терентий Павлович спросил: — А где у вас скотомогильник?

— Недалеко. В солонцовой пади, — ответил Макар Петрович. — Побывать хотите?

Фетисов Иван Васильевич, прозаик (род. в 1926 г. в с. Евсеево Боханского р-на Иркутской обл.). Автор книг: *На своей земле*: повесть (Иркутск, 1986); *Колос жизни и тревоги*: повествование, рассказы (Иркутск, 1997); *Не вините беркута*: роман (Иркутск, 2001); *Навеки с малой родиной*: очерки / в соавт. с Быковым О. (Иркутск, 2003); *Крест на чёрной грани*: повесть (Иркутск, 2008). Заслуженный работник культуры РСФСР. Член Союза писателей России (Иркутское региональное отделение).

— Не мешает.

И там свежей падали на глаза не попало.

Вернулись в Кутанку. Колхозная столовая была открыта, и Макар Петрович пригласил гостя отобедать. Повариха, молодая, румянощёкая, указала на умывальник в уголке за ширмой, потом на чистый стол возле окна, выходящего на улицу.

По-крестьянски приготовленная из свежих продуктов еда была вкусна. Прокурор ел, нахваливая, и, поднимая голову, загадочно подмигивал. Макар Петрович не мог понять: гость обед хвалит или повариху? Чудной человек Терентий Павлович! Сразу не разберёшь, что скажет, забросит слово в такую даль.

Повариха покорила окончательно, когда он выпил из дикой смородины кисель.

— Королевский напиток! — и, склонив, голову, благодарно добавил: — Спасибо, хозяйшка! Гостеприимство ваше не забуду. Сколько стоит обед?

— Об оплате не беспокойтесь, — сказал Макар Петрович. — Елена Васильевна знает, что делать: расходы занесёт на мой счёт. У нас порядок такой — всех, кто занят на посевной, на сенокосе, на уборке урожая, — кормим бесплатно.

Благотворительность кутанцев Терентию Павловичу показалась уместной. Однако счёл необходимым за обед рассчитаться. Кормить бесплатно не за что — не пахал, не сеял. Вынул из кармана помятый рубль и положил на стол.

— Спокойней на душе, когда не должен, — он поправил китель и откинулся на спинку стула. — А вообще я такое дело одобряю. Вижу живые ростки коммунизма, хотя о нём и стали говорить поменьше, чем раньше... Тянутся на свет божий, крепнут.

— Как сказать, Терентий Павлович: крестьянин на еду себе никогда не жалел.

Довольный хорошим обедом, Терентий Павлович вышел из столовой бодрой походкой и хотел было уже попрощаться, но вспомнил об одной непрояснённой мысли и попросил Макара Петровича пройти в контору и поговорить наедине.

Контора от столовой наискосок через дорогу, и они скоро поднялись на чистое, украшенное деревянной резьбой крылечко. На верхней ступеньке Терентий Павлович приостановился, оглядывая украшение. Не удержался, чтоб не потрогать руками, и уже на ходу, шагая по веранде, спросил:

— Свои творили?

— Да. Ещё мастера не перевелись.

— Дороговато стоит небось такая работа.

— У нас так: ежли речь о красоте, то рубли не считаем.

В доме артельного правления Макар Петрович отвёл себе небольшую солнечную комнату — весёлую, с двумя окнами на главную улицу. Они сели друг против друга за узкий приставной столик, вплотную придвинутый к письменному столу довольно внушительных размеров. Терентий Павлович оглядел комнату: лишнего, по его понятию, в обстановке не нашёл — на стене портрет Ленина, в одном углу — книжный шкаф, в другом — осанистый, тёмно-коричневого цвета сейф, стулья от двери до сейфа. Однако рабочая комната «екатерининского наместника» отличалась от тех, какие доводилось видеть, приличной отделкой. Отшлифованная и покрытая олифой сосновая вагонка выявила узор, который способен сотворить только искусный мастер. На приставном столике лежала бумажка с написанными корявыми буквами несколькими словами: «ход и законцовка сеноуборки... стога на волокушах... семена многолетних трав и т.д.» Других бумаг не было. Что значат эти слова, знал лишь их автор Макар Петрович.

Можно было предположить, что он не тратил времени на пространные записи того, что нужно делать, — всё это хранил в голове.

На крыльце слышались шаги, редкие, тяжёлые. Вошёл директор местной десятилетки Алексей Васильевич Федотов, мужчина среднего роста, плотный, в сером просторном костюме; его округлое и, несмотря на немолодые годы, свежее лицо выражало тревогу.

Он подал руку сначала прокурору, потом Макару Петровичу (с председателем уже здоровался утром). Одно время фронтовик-связист, длилось так года три, совсем было отвык здороваться за руку. Рана — осколок насквозь прошёл кисть правой руки — долго не заживала; но и после того, как затянуло, жгучая боль, стоило коснуться какой-либо твёрдости, хватала хоть кричи, до самого плеча. Приходилось остерегаться. Мнительные люди эту осторожность принимали за душевную чёрствость. С годами рана утихла, а привычка осталась.

— Присаживайтесь, Алексей Васильевич, — Макар Петрович подвинул стул поближе к столу.

— Благодарю, — перевёл взгляд с председателя на прокурора. — Извините... Я не помешал вашему разговору?

— Нет-нет... Вы ко мне или к Терентию Павловичу?

— Разговор касается больше Терентия Павловича.

Прокурор, хмыкнув, улыбнулся.

— На ловца и зверь бежит. Признаться, я тоже встретиться с вами хотел. Я вас слушаю.

— У меня дело такое, — начал Алексей Васильевич, — до наших школьников докатилась плохая весть — исчезла бесследно девушка, выпускница соседней школы. Что это, правда?

— Да, к сожалению, так. Меры к розыску принимаются, — прокурор легко, почти неслышно постукал по столу кончиками пухлых пальцев и взглянул искоса на Алексея Васильевича. — Ну, а вас, извините, почему этот случай волнует? Девушка что, ваша родственница?

— Да нет. Но я знал её, наши ученики — тоже, — Алексей Васильевич, вздохнув, низко опустил голову. — Помнят Дашу кутанцы не только потому, что она племянница Макара Петровича. Она приезжала к нам с ребятами прошлой зимой, в каникулы. Порадовали нас хорошим концертом. Даша пела. Красиво, обворожительно. Я слушал и пророчил ей завидную судьбу.

— Да, — отозвался Макар Петрович. — Я тоже помню: в клубе мест не хватало, на ногах стояли и слушали, — и, словно отгоняя худую мысль, махнул перед хмурым лицом тяжёлой рукой. Задумался. Был момент, когда он сомневался: о Дашутке ли плохая весть? Слухам не всегда можно верить. Теперь сомнение рассеялось. О ней, о Дашутке, спросил Алексей Васильевич — нету для него чужого горя.

Прокурор, нервно сверкнув острыми глазами, насторожился. Осотова? Даша Осотова? Племянница Макара Петровича? Героя Труда? Погоди... Кто-то же говорил. Кто? Где? Помнит, Лупайкин и Козульский говорили другое — председатель Макар Ухов знает Дашутку по знакомству с её отцом. А оно вон как!.. Тогда надо было начинать всё иначе. Теперь назад хода, похоже, нету...

— Когда же беда случилась? — спросил Алексей Васильевич.

— Прошло с неделю, — неохотно ответил Терентий Павлович.

— И никаких следов?

— Пока нет.

Прокурор посмурнел. Нет пока ясности, одни будто видели девчонку на дороге за селом, караулящей попутную машину, чтобы попасть в Вершину, другие говорят, что Осотова была на Озёрной. Река бушевала в половодье, у крутого берега возле мыса стояла — оступилась между сплотками — и подхватило быстрым течением. Слухи... намёки. В следственном деле нет ни одного существенного доказательства. Начальник милиции ни шьёт ни порет, поручил дело растяпе, через три дня тот принёс докладную — фитюльку: Осотова бросилась в Озёрную сама — от несчастливой любви... Ищи утопленницу у Братских порогов...

Подумав, Терентий Павлович добавил:

— Пока идёт следствие... Найдём потерпевшую, разыщем виновников и докажем их вину, ну, тогда понятно, всё пойдёт своим чередом. Суд... там — казнь или помилование.

Алексей Васильевич в сомнении покачал головой. Вот как выходит: беда ревет диким голосом, а кто слышит? — Бедная мать да Макар Петрович.

— Шило, Терентий Павлович, в мешке не утаишь: имена убийц называют. И вы, полагаю, их знаете, — взглянув на прокурора, сказал Алексей Васильевич. — А почему они на свободе?

Терентий Павлович усмехнулся:

— Я пошлю к вам юриста, пусть прочтёт лекцию, ну, скажем, о правах человека. О них, вижу, и вы знаете мало.

— Я, Терентий Павлович, хорошо знаю цену человеческой жизни. И всё должно служить тому, чтобы её сохранить.

— Подозреваемый ещё не преступник... до той поры, пока не скажет об этом суд.

Алексей Васильевич глубоко и печально вздохнул.

— Я вот о чём подумал, Терентий Павлович, вам, может, нужна помощь?

— В чём?

— В розыске Даши Осотовой. В нашей школе действует группа бригадмильцев из старшекласников. Я прекрасно понимаю, ребята преступника не найдут, но подсказать могут. Пройдут по окрестным лесам, по Кахинке, может, и на Озёрной побывают. Что мне сказать ребятам? Они спросят.

От согласия с мнением директора школы Терентий Павлович был далёк — не хотел он признать, что следствие идёт плохо, опасался и того, что посторонняя помощь может ещё и навредить.

— Принять ваш совет? — сверкнул глазами Терентий Павлович. — Вы не подумали, что это значит. Что скажет народ? Ведь разнесут по всему белу свету: правоохранительная братия, а заодно с ними и прокурор расписались в своём бессилии.

— А если преступление останется нераскрытым? — обернулся к прокурору Макар Петрович. — Или вам всё равно?

— Ну, если...

Макар Петрович тяжело ворохнулся на стуле и сурово взглянул на прокурора:

— Разве раскрытое преступление, пусть и с посторонней помощью, чести вам не прибавит?

Терентий Павлович непоколебимо стоял на своём и, чтобы утихомирить собеседников, стал говорить о том, что у председателя с директором школы по горло своих забот и совать нос в чужие дела незачем. Вспомнил про запас державшуюся мысль: председатели стонут, прямо караул кричат — молодёжь бежит, коров

доить некому, тракторы без хозяев ржавеют, а председатель кутанского колхоза Макар Ухов — молчок, ни разу не слышал из его уст жалобу.

Макар Петрович сидит, обхватив ладонью левой руки свежий от утреннего бритья подбородок, и с недоумением глядит на прокурора. Ведь знает же, каналья, всё видит и слышит, а прикидывается простачком!

— Ну, во-первых, — сказал Макар Петрович, — жаловаться не люблю. На себя стыдно и на других совестно. Жалуются те, кто привык валять дурака. А что касается рабочих рук, тут действительно всё в порядке. Люди живут, хорошо работают.

Всё так просто? Нет, полагает прокурор, председатель что-то утаивает. Какая сила держит в его колхозе народ? Терентий Павлович, будто на пианино, перебирает пальцами по столу: настроился сказать то, ради чего и зашёл с председателем в контору. Нет, он не хочет обидеть ни Макара Петровича, ни Алексея Васильевича, ему просто интересно их мнение. Дошла и до него молва: в Кутанке всем миром отмечают религиозные праздники. Ученики вместе со взрослыми целыми классами в родительский день посещают кладбище. Это правда?

— Да, — ответил Алексей Васильевич.

— Забиваете детские головы религиозным дурманом?

— Мы иначе думаем: уважение к памяти предков — путь к нравственному здоровью человека. Границы этой памяти надо расширять, тогда люди станут добрее, меньше станет искалеченных душ и меньше понадобится тюрем.

— Вон как!? Вам остаётся одно: заманить в школу попа, и пусть ребятишки слушают его проповеди.

— Да уж это, наверное, лучше, чем слышать дикий визг и смотреть на кривляние «мастеров» культуры.

— Ха! Директор школы с высшим образованием и — на тебе, такие фокусы!

Алексей Васильевич подумал.

— Вы, Терентий Павлович, понудили меня сказать то, о чём говорить не хотел.

— Почему?

— Боюсь, что рассердитесь...

— Говорите.

— Вы живёте по надуманным и вредным законам. Их каждый властитель приспособливает под свою персону. И чаще всего эта прихоть выходит во вред людям... Но есть, хотите или не хотите знать, всемогущий закон здравого смысла. Один и на все времена. И страшно, когда о нём забывают.

— Новая теория? Не слышал...

— Да нет.

— Интересно, какой же философ умудрился изречь такое?

— Философ? Наш пастух — Никодим Поздеев!

В комнате наступила тишина, только на улице поблизости от окна гвоздила клювом в стену проворная птаха. Пауза длилась несколько минут. Терентий Павлович хотел сказать ещё о том, что в Кутанской школе неблагополучно и со всеобучем (несколько ребят оставили учёбу и ушли работать на ферму), но воздержался — найдёт директор и тут оправдательный довод.

Так и расстались они, не найдя согласия ни по одному вопросу. Тронуло лёгкое чувство досады, когда Терентий Павлович уже разместился в салоне своего «Конька-Горбунка». «Стариков огорчил! А за что? Жили они своими понятиями и пусть живут... Стоило ли возражать, когда говорили о бригадмилыцах? Можно было согласиться и с кладбищенскими затеями. Не прокурорское это дело...

Скажут: «Какой-то юристишка, в сыновья им годится, тычет носом умудрённых житейским опытом» да ещё пожалуются, чего доброго, Берникову...»

Но как только выехал за околицу Кутанки и последние дома, потеряв чёткие очертания, слились в серое пятно, неприятное чувство пропало, а он стал думать о том, с какой стороны завернуть к Марьиному озеру. Не возьми капроновку, оставленную участковым в его рабочем кабинете, он бы и не стал думать об озере, но раз добрая сеть с собой и погода славная, время только за полдень, то грешно не побыть наедине с природой. Проехать километров пять по Николаевскому тракту, свернуть налево, к мосту через ручей, вытекающий из озера, и двинуться по надбережью, как бы снова возвращаясь в Кутанку, — и ты на заветном месте! Так и сделал. И был весьма доволен, что дорога оказалась проезжей, хотя совсем недавно, дня три-четыре назад, тут был ливень.

Марьино озеро показалось из-за пологого поворота. Слева, в прогалах между кустов, тёмной синевой засверкала вода. Вот уж колёса чавкают по топкому берегу, и, опасаясь завязнуть в трясине, остановился возле царственно раскинувшей ветви берёзы. Заглушил мотор, вылез из машины, осмотрелся. Приехал куда надо. Берёза стелет плотную тень, земля — в невысоком густом разнотравье. Над головой — бездонно-глубокое небо. С вышины бесконечным потоком льётся синева, ласковая, тёплая. Света будто бы и нету — одна синева, свет вроде бы живёт где-то в стороне. Тишина. Но если прислушаться, полной тишины не было: недалеко бурлит, то затихая, то усиливаясь, водяная струя — воркует водопад. А это что за песня? Прислушался. С противоположной стороны через озеро раздался уныло-переливчатый клёкот. И затих. Какой лесной житель подал свой голос? Приветствует незнакомого гостя? Или негодует, что потревожили?

Вытаскивая из багажника рыболовные снасти и, на всякий случай, тульскую двустолку, он засомневался — стоит ли затевать рыбалку. Столько возни! Готовь лодку, ставь сеть, ожидай... Не лучше ли просто посидеть да полюбоваться Марьиным озером? Красота, какой видеть сроду не приходилось. Родился и вырос в большом городе, там же и учился в милицейской школе. Работал до назначения прокурором тоже в городе. Он уже было отказался от затеи с рыбалкой, достал бутылку венгерского и еду — выпьет, закусит, и — о, чудо! — недалеко от берега поверхность воды взбурлилась, рыбина, изогнувшись, зычно шлёпнула широким плавником и ушла в глубь. Следом гладь озёрную пробороzdила вторая, третья! Дразнит, чертовка!

Поставить сеть времени много не понадобилось — распустилась легко, закруток не оказалось, и рыбак, причалив к берегу, снова присел к бутылке с закуской и стал ожидать удачи. Прошло часа полтора. Пора посмотреть. Капроновая сеть упруго натянулась, он обрадовался: таймешек?! Или порядочный ленок?! Говорили же — водится в озере крупная рыба, а он всё не верил. Но вот и ему подфартило! И посидел-то на берегу всего ничего, подбодрился бутылкой сухого вина да выкурил сигарету, и — рыбина! Вся заслуга в удаче принадлежит, конечно, новой капроновке, служившей ещё недавно браконьеру из Подкаменского Фильке Ястребову.

Фильку заграбастал ночью с большим уловом в устье Кахинки местный участковый Григорий Нецветов, составил, как положено, протокол с приказом внести штраф. Штраф наложил пустяшный, так, для острастки. Филька даже удивился деликатному с ним обращению и предложил обмыть мировую. Нецветов поначалу отказался, но, увидев, как откровенно-весело распорядился Филька поллитровкой, удержаться от соблазна не смог. Разожгли костёр, сварили уху.

Одной бутылкой не обошлось — в запасе была вторая, так что зелья хватило. Рыбак всё подбивал настроиться на весёлую песню, но участковый не терял предосторожности: нельзя, кто поёт, народ узнает по голосу...

Разойтись собрались на заре. Филька хотел по привычке забросить сеть в рюкзак — Нецветов погрозил пальцем: рыбу возьми, всё-таки трудился, а про сеть лучше забыть. Филька укорил собутыльника: «Выпить, значит, за чужой счёт и показать себя порядочным человеком?..» Тогда участковый пообещал Фильке присовокупить браконьерство к прежним неблагоприятным его делам. Полгода назад Филька вернулся из лагеря — отбыл почти три года за ночные вылазки на колхозные фермы за комбикормом, но, видно, забыл, что досмотр не прекратился. Проснулась дурацкая удаля, и зло застарелое закипело. Силушкой бог не обидел — схватил Филька Нецветова за грудки, потряс и оттолкнул от себя. В кулаке остался оторванный галстук, кинул его участковому: «Возьми, а то явишься к начальству без ошейника, спросят, где оставил. А что ты скажешь? Не вздумай тронуть меня — сам заплатишься».

Нецветова охватила досада: Филька, браконьер и воришка, вышел как гусь из воды сухой. Так просто теперь его не возьмёшь, понадобится хитрость.

Через несколько дней о Филькиной встрече с участковым узнала вся округа. Фильку спрашивали, и он хвастливо отвечал, подмигивая: «Наша братия не лыком шита».

Участковый, опасаясь, что молва докатится до прокурора и тот истолкует историю на свой лад, явился к Терентию Павловичу.

Выслушав исповедь, прокурор усмехнулся:

— Прихлопнул тебя крылом этот Ястребов! Хитрей оказался: отвечать, так обоим...

Нецветов, сидевший как пришибленный, вдруг озарился находкой:

— Филька, Терентий Павлович, наказан.

— Каким образом?

— У него изъята добрая сеть и штраф выписан.

— Ну и хватит пока...

Сеть осталась у прокурора.

...Тетива оголилась метра на два, и застопорило. Держит не таймешек, тот бы, попадись, не стоял на месте, вода бурлила бы как в котле. Ну, это не беда, подплыть на лодке и, если лежит глубоко, придётся нырнуть, иначе сеть не отцепишь. Угадывая в замутнённой воде направление следа, рыбак приблизился к месту и, подождав, когда успокоится рябь, поглядел через борт на дно. Там, среди травянистой заросли, маячило продолговатое, смутно очерченное пятно. На корягу не похоже и тем более на тайменя. Что же это? Толком разглядеть мешала ещё и надвинувшаяся тень — белое облако заслонило склонившееся к горизонту солнце. Ожидать, когда оно выглянет? Прошло несколько минут. Тень не исчезала, она, казалось, стала ещё плотнее.

Его внимание привлёк шум в лесу на противоположном берегу. На фоне неба увидел силуэт набирающей высоту птицы. И вот она очутилась над лодкой. С вышины упал тяжёлый гортанный клёкот. Так кричит птица, когда чувствует близкую опасность. Этой ничто не угрожало. И, словно остерегаясь лишней раз попасть на глаза человеку, большая птица удалилась, скрывшись в кронах сосен. Терентий Павлович проследил её полёт. Птица, скорее всего беркут, почему-то нашедший пристанище в лесу...

Беркут отвлёк рыбака ненадолго и даже как будто прибавил задора и смелости. Прокурор быстро снял верхнюю одежду, присел в лодке на корточки и дель-

фином нырнул в воду. Дна коснулся скоро, вытянутые руки по запястья погрузили в иле и по лицу защекотала трава. Открыл сжатые веки, увидел наполовину скрытое травой женское тело. Оно держалось в воде, не касаясь дна, под тяжестью привязанной за косы железяки. Со всей силой оперся ногами о дно и выскользнул на поверхность воды. С лодкой возиться было некогда — толкнул, доплывёт до берега. Сам пошёл махать на саженках.

«Порыбачил! — мелькнула мысль, когда вышел на берег. Оглянулся, вокруг никого. — Как приехал, так и уеду».

Вынимать сеть и не пытался, видел: бесполезно, потянет за собою утопленницу. Лодку забросить в багажник не забыл, прибрал мусор, можно в дорогу. Теперь без остановки до самого дома.

Арнольд Харитонов

Активированный день

Рассказ

Когда утром бригаду Федорченко вывели в рабочую зону, мороз уже был приличный, градусов сорок. Но ничего не поделаешь, надо идти работать: день активируется только при пятидесяти градусах. Начальник отряда лейтенант Шестаков, здоровый румяный парень, имеющий у зеков погоняло Дурко, пижонские длинные волосы торчат из-под шапки с кокардой, прибежал на развод бодрый:

— Ну, что, капитан, — обратился он к Олегу, — порядок в танковых частях?

— Так точно, гражданин лейтенант, — в тон ему ответил Федорченко, — только вот холодновато!

— Ничего, мужики, не замёрзнете, работа у вас жаркая, — бросил на ходу Дурко и побежал в спецчасть греться.

Его правда — бригада Федорченко рыла траншею под фундамент для склада ГСМ, да не столько рыли, сколько оттаивали землю: по периметру прокладывали чурки и разные обрезки досок и брёвен, подливали соляры и поджигали. Потом оттаявшую землю бросали лопатами, откапывая траншею. Жечь и копать надо было много, склад собирались строить большой, так что этой земляной работой должно было хватить месяца на два.

Вообще-то бригада Федорченко постоянно работала на квалифицированных работах, есть в ней и плотники-бетонщики, и сварные, и каменщики хорошие, да и вообще почти все старательные работяги — кто условно-досрочное освобождение зарабатывает, кто мечтает к концу срока деньжат на карточке подкопить, а кто просто привык вкалывать и плохо работать не умеет. Бригадир таких мужиков по одному подбирал. Вот недавно двух пацанов-подельников взял, Васю Жеребцова да Серёжу Петрухина. Они хоть и мало что на стройке умеют, но зато из деревни, к работе привычные, пока в подсобных рабочих походят, они в любой бригаде нужны, а потом и специальность получают, в работе профессии обучатся. К тому же ребята крепкие, силенкой не обижены. И сидят односельчане за пустяк — выпили на копейку, угнали у кого-то грузовик, гуся задавили и даже съесть побоялись, закопали в огороде — какие они преступники? Бугор их жалел — не хотел, чтобы отпетые уголовники мальчишек в свою веру обратили.

На траншее бригадир пошёл с расчётом — зимой на мёрзлой земле расценки

Харитонов Арнольд Иннокентьевич, публицист, прозаик (род. в 1937 г. в пос. Жигалово Иркутской обл.). Автор книг: *Усть-Илимск. Город между прошлым и будущим*: публицистика (Иркутск, 1987); *Эх, путь-дорожка...*: Записки провинц. журналиста (Иркутск, 2002); *Исчезли юные забавы*: повести (Иркутск, 2007); *Ректор. Выбор. Судьба*: док. повесть (Иркутск, 2009); *Земляки*: очерки (Иркутск, 2011); *Вальс с дождём*: повести и рассказы (Иркутск, 2011). Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

высокие, можно неплохо заработать, да у костёрчика всю дорогу, не замёрзнешь особенно. Хоть некоторые и ворчали, к примеру, Кутузов, по кличке Кривой, мрачный мужик, большесрочник, мол, я каменщик, а здесь что — бери больше, бросай дальше?! Бригадир спокойно объяснял — ничего, месяца два ради бригады пошуруешь лопатой, зато все подзаработают, к тому же никто мёрзнуть не будет. Олег Васильевич мастак объяснять, когда-то это было его работой — служил в танковых частях замполитом роты, до капитана дослужился, да неожиданно-негаданно стал он ЖОРА — жертва одностороннего разоружения армии. Из армии «ушли», и он, мужик предприимчивый, подался в торговлю. Поставили его завагом в промтоварный магазин, а торговля, известно, дело рисковое, особенно при всеобщей нехватке... Подвели его эта самая предприимчивость да неопытность — что-то толкнул налево, пересортицей грешил, а заместительница, тётка пожилая и сто раз битая, его и подставила. Пошёл на зону.

Но и там не потерялся. Новое начальство в погонах оценило его умение разговаривать с людьми, организовать их, его выдержку, спокойствие. И вскоре бывший офицер стал одним из лучших бригадиров на зоне, если не лучшим. Хозяин, подполковник Таранов, старый гулаговский волк, начинавший свою карьеру ещё в лагерях для военнопленных немцев, подолгу с ним беседовал о том, как лучше организовать дела на стройке, что ему кажется неправильным в планово-производственной части.

Подружился Олег Васильевич и с нарядчиком Костей, крупным большеголовым мужиком, имеющим громадный срок по бандитской статье.

Олегу Костя был очень нужен — всегда мог приметить во вновь прибывшем этапе полезного человечка и передать его с рук на руки бригадиру. Олег же Косте, человеку, не лишённому любознательности, давно оторванному от воли, был по-просту интересен — как много повидавший, образованный, начитанный.

Так, по человечку, подбиралась бригада. Бригадир, бугор по-лагерному, брал людей с расчётом, чтобы были классные специалисты разных профессий, чтобы бригада любую работу могла сделать. Но зона есть зона — ты предполагаешь, хозяин располагает. Вот так появились у Федорченко два зека, которых он на воле даже за солидную взятку не взял бы.

Ну, старик ещё ладно... Куда его денешь, если он даже в хозобслуге работать не может? Дворником — метлу не поднимет, прачкой — там руки нужны молодые, сильные, кочегаром — тем более.

Когда этого старика, Зотова Михаила Петровича, привезли на воронке на зону, все сбежались на него смотреть — такого чуда здесь не видавали: лет ему за восемьдесят, к тому же согнут в три погибели. Но когда узнали, что срок он тянет по убойной статье — старуху зарезал из ревности, труп в скотомогильник бросил — ещё больше удивились.

Долго думали, куда его девать, хозяин с нарядчиком голову ломали, наконец, призвали Федорченко, не приказали даже, попросили — ну, что вам стоит одного инвалида прокормить? Ничего не оставалось делать, только согласиться.

Но бугор придумал, как и его к делу приспособить, хотя бы на зиму. Решил — будет выходить на объект с бригадой и за печкой следить. Федорченко не объяснял, что к чему.

А вот второй-то уж совсем в бригаде был не нужен. Это был кореец по имени Эмба Пак, вор в законе. Воров тогда поприжали (недолго это время длилось), на зоне «честные воры» даже старались не раскрывать масть, некоторые свои законы нарушали, например, на работу выходили, правда, как правило, ничего там не делали — в пень колотили да день проводили. Так и Эмба — чаще всего

стоял, опершись на лопату, или сидел где-нибудь в сторонке, а больше в тепляке, варил чифир, покуривал да глядел по сторонам узкими, по-волчьи злыми глазами. Был он небольшого роста, но крепкий и даже на вид стремительный как пуля. Вот за него бугра не просили — приказали взять в бригаду и всё, гоп стоп не вертхайся. Взять-то взял, но беспокоило его, что он подолгу с мальчишками беседует, с теми же Васей и Серёжей, да и из других бригад и отрядов пацаны к нему подтягиваются.

Был ещё в бригаде один очень неприятный человек, здоровенный чёрный мужик по имени Борис Кузьменко, довольно мрачный тип. На его громадную стриженую голову кое-как ушанка нашлась. При этом у него были надбровные дуги, похожие на две опухоли, маленькие неопределённого цвета глазки, глубоко упрятанные в глазницы, тонкие губы, которые, кажется, не умели складываться в улыбку. Друганов среди товарищей по несчастью не имел, всё его общение ограничивалось короткими производственными разговорами с бугром, да одной-двумя репликами с соседями по шконке. Срок у него был большущий, сидел за убийство нескольких человек. Зеки, понятно, в его приговор не заглядывали, но откуда-то все знали, что он вырезал всю семью, среди них двоих детей. «Мокрушников», да ещё таких, на зоне не любят, но и портить отношения с Кузьменко никто не хотел — силы он был необыкновенной. «Вышку» тогда отменили, до пожизненного срока ещё не додумались... На спецрежим, где полосатую робу носят, тоже не годился — первая ходка... Так и тянул он свой срок сам по себе. А в бригаду его бригадир взял — сварщик он был классный, таких среди зека днём с огнём не сыщешь.

Остальные, всего человек пятнадцать, были обычными работягами, мужиками, в основном получившими свои сроки по «хулиганской» статье — такая тогда кампания была, с хулиганством боролись. Среди них выделялись разве что два человека, два плотника-бетонщика. Один — пожилой еврей по имени Лев Иванович Хорьков, человек самого смиренного нрава, сидел за тещу — довела его злобная баба до того, что он в неё кухонным ножом кинул. Не убил и даже не покалечил, поцарапал только, но срок получил солидный — шесть лет. Знаменит он был тем, что, кроме нынешнего лагеря, в войну попал в Освенцим, и выжил, это при его-то национальности! Может, фамилия спасла... Хоть было ему под шестьдесят лет, но был он ещё крепок, дело своё знал хорошо, и топор или молоток держал умело.

Второй, Володя Гуцал, был лет на тридцать с лишним моложе Хорькова. Это был высокий статный парубок родом с Западной Украины, красивый, чернобровый, с большими карими глазами. К тому же сильный физически, спортсмен, да не абы какой — боксёр-первостепенник. За это умение драться и сел. Приехал он в Сибирь на комсомольскую стройку денег подзаработать, жил в общежитии вдвоём с парнем из Прибалтики. И надо же было этому латышу отправиться одному на танцплощадку! Там повздорил с каким-то пацаном из местных, а их оказалось одиннадцать человек, измолотили они бедного блондина так, что едва в общагу притащился. Гуцал, увидев соседа в таком виде, сказал только два слова: «Кто?» и «Пошли...» Налетел на обидчиков приятеля как карательный отряд. Вообще-то он никуда не налетал, ходил по толпе и спрашивал плетущегося за ним латыша: «Этот?», и если тот кивал, бил всего один раз, но сильно и точно — глубокий нокаут! Да, как оказалось, не всегда силу удара рассчитывал — одному челюсть сломал, другому ещё что-то повредил. Вот и загремел на три года. Гуцал имел на родине хорошую специальность — слесарь по ремонту химического оборудования, но на стройке стал добрым плотником-бетонщиком, на зоне — ещё лучше: надеялся выйти на волю с деньгами, во Львове его дивчина ждала, все очи выплакала.

Эти два таких разных человека — Хорьков и Гуцал — тем не менее, приветствовали: шконки рядом, опалубку вместе ставят, как не задружить? Беседовали подолгу, старый про немецкий лагерь рассказывал, сравнивал с нашим...

Остальные бригадники — так, ничем не выделяющиеся работяги, вкалывают, о свободе мечтают, ждут не дождутся если не условно-досрочного, то хотя бы «звонка» — больших сроков ни у кого, кроме Федорченко, Пака, Кутузова да Кузьменко, не было. Может, стоит назвать ещё Кольку Вельяминова, очень кликуха у него запоминающаяся — Голимая Кость, да ещё потому, что уж больно прожорлив тощий парень. Но арматурщик был хороший.

Вот такая бригада заключённых исправительно-трудовой колонии №..., расположенной в самой серёдке Восточной Сибири, ввалилась в свой тепляк со страстным желанием хоть какое-то время побыть в ровном, блаженном тепле. Сидели, клевали носами в ожидании обеденной баланды. А её всё не везли и не везли... Уж и время перерыва кончалось...

Но вместо баландёра в тепляк с морозными клубами пара ввалился долговязый лейтенант Дурко, шинель изморозью покрыта, патлы из-под шапки торчат, щёки как яблоки красные, нос, наоборот, белый. С порога закричал:

— Ну, счастлив ваш бог, урки! Мороз за полста градусов зашкалил! Активированный день! Сидите, ждите, когда в рельсу на съём простучат. Баланду будете в жилой зоне, в родном доме хлебать!

Взрыва радости, как можно было ожидать, не последовало — все продолжали пребывать в полудрёме. Только бугор проговорил тихо:

— Чему радоваться? Полдня пропадает... Скорее бы закончить эту траншею грёбанную. Может, мы останемся до вечернего съёма, гражданин лейтенант?

На него посмотрели, кто удивлённо, кто испуганно, а кто и с ненавистью. Но лейтенант сказал с подначкой:

— Ага, вы будете у костров греться, а солдаты на вышках — в ледышки превращаться? Из-за вас одних охрану держать? — Уходя, бросил:

— Ладно, мужики, на жилой зоне встретимся. Олег Васильевич, зайдёшь ко мне в кабинет!

Хотя на стройплощадке кое-где ещё шумели механизмы — недалеко от их тепляка ревел как зверь бульдозер, где-то стучал по мёрзлой земле отбойный молоток, но было ясно, что стройка замирает, звуков её становится всё меньше. Зеки блаженствовали в тепле, попивая чифир и подрёмывая. Некоторые и уснули, иные даже похрапывали, и даже рычащий мотор им не мешал. Только бригадир что-то писал в замызанной тетради, наверное, учитывал сделанное за день.

Наконец затих и бульдозер. Стало так тихо, что аж в ушах зазвенело. От этой тишины все проснулись, скинули дрёму.

— Что-то долго в рельсу не бьют, — сказал, позёывая, Голимая Кость, — пора бы уж... А до сигнала выходить — мёрзнуть только зря...

И тут ударили в рельс. В морозной тишине удары слышались звонко и отчётливо. Дзинь...дзинь... ДЗИНЬ... Зеки замерли. Первым опомнился Голимая Кость: «Это же... три удара... это что значит — конвой уходит, вертухаи с вышек снялись? Это им сигнал? А два удара на съём... мы проспали?» И он в одной рубахе выскочил на улицу. Но тут же вбежал обратно — глаза ошарашенно раскрыты, нижняя челюсть отвалилась:

— Мужики, на вышках солдат нет... зона пустая, все ушли... Про нас... забыли! СВОБОДА! Пока не хватились, можно подорвать хоть куда!

С минуту в тепляке стояла тишина, какой тут отродясь не было. Первыми, как ни странно, опомнились пацаны, Васёк с Серёгой. Они переглянулись,

перешепнулись и враз деловито зашаркали растоптанными валенками к выходу. Но у двери уже стоял бугор, крепко взявшись большими красными руками за окосячку. Лицо его было спокойно, только скулы отвердели.

— Куда направились? — спросил вполголоса.

— Мы... это... деревня наша тут, километров сорок... автобус ходит... мы — туда и обратно.... — проговорил Жеребцов.

— Ага, мальчики к мамкам собрались, домашних щей похлебать, — криво усмехнулся Олег Васильевич, — а мальчики знают, чем эти щи могут кончиться?

— Так мы же не сбегает, — поддержал земляка Петрухин. — Мы вернёмся...

— Ну да, не сбегаете, — желваки на скулах у бугра заходили, как будто он что-то энергично жевал, не открывая рта, — а вы в уголовный кодекс заглядывали, по которому сидите? Надо, надо его знать, раз уж сюда попали. А там сказано: «Побег из мест лишения свободы ИЛИ ИЗ-ПОД СТРАЖИ, совершённый лицом, отбывающим наказание или находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет». Как будто для нас написано — «ИЛИ из-под стражи».

Но тут уже все зеки повскакали со своих мест и окружили бригадира. Один только Пак как сидел на корточках в своём углу, так и остался сидеть, только щёлками глаз поблёскивал. Однако и среди тех, кто окружил Федорченко, не чувствовалось единого порыва — поскорее бежать, раз уж это стало возможно. Большинство мужиков растерялись, как дети, потерявшие воспитательницу, особенно после того, как узнали, что эта «свобода» может добавить к этим срокам ещё по пятерiku. Определились и лидеры — большесрочники Кузьменко и Кутузов. Стояли, набычившись, смотрели на бугра.

— Ну, что встал? — нарушил молчание Кузьменко, и его прокуренный, промороженный голос наполнил весь тепляк. — Время-то не резиновое. Уйди с дороги, Васильич...

— Ага, — так же ровно ответил Олег, глядя прямо в глаза мрачному, чёрному детине, — ему казалось, отведи он глаза, и случится что-то страшное, — время точно не резиновое, немного его у нас с тобой. Давай по-быстрому посчитаем. Колонна идёт до жилухи минут двадцать, от силы полчаса. Хотя мороз сегодня, быстро подорвут, минут за пятнадцать добегут. Да по пятёркам в зону будут пускать... ну, пусть ещё полчаса. Итого минут пятьдесят. Но скорее всего Дурко сразу заметит, что его бригады нет. Тогда — полчаса, не больше. И далеко ты за это время уйдёшь по снегу? Собак за тобой пустят — и всё, спёкся, получай в добавку пятерик. А то пристрелят за попытку к бегству.

— А ты, бугор, меня пятериком не пугай, пуганый! И псов этих ментовских не шибко боюсь, я для них вот топорик прихватил, — и Кузьменко, хищно оскалившись, выдернул откуда-то из-за спины топор, которым рубили поленья для печки и для кострищ.

— И что, топориком от автоматов думаешь отбиться? — Федорченко, не отрываясь, продолжал смотреть в глаза Борису.

— Да что мне их автоматы? — прохрипел Кузьменко. — Что автоматы? Я от четвертака только едва вторую десятку разменял, а за двадцать лет я всё равно загнусь! Порешат — значит, судьба такая, повяжут — пятериком больше, пятериком меньше, какая разница? А может, повезёт, на свободе погуляю, хоть день, да мой! Уйди с дороги, не доводи до греха!

Рядом с ним встал квадратный Кутузов:

— Отойди, бригадир, время уходит, — почти прошептал он сиплым дискантом, и поморщился — застуженное горло отозвалось болью.

Справа к Олегу спокойно, неторопливо подошёл Гуцал и встал рядом с бугром, крепко утвердившись на ногах.

— А ты куда, — уже почти визжал Кузьменко, — думаешь, боксёр, так я тебе грабки не поотрубаяю?

Гуцал ничего не ответил, он просто стоял плечом к плечу с Олегом и чуть заметно улыбался. Было в его улыбке, в спокойствии этом что-то жуткое, и это выводило из себя готовых подорвать зеков сильнее, чем любые слова.

Но тут с другой стороны к бригадиру встал Хорьков. Стоял и также спокойно смотрел на смутянов.

— А ты куда, старик, — изумился Кузьменко, — думаешь, если у немцев уцелел, так и тут проскочит? Не надейся, я тебе не фашист — махну топором, и поминай как звали...

— А я что, — удивлённо ответил ему Лев Иванович, — встал себе и стою где хочю. Можешь и ты рядом встать...

— Вы-то что, мужики, — Кутузов обвёл глазами остальных бригадников, — на воле погулять не хотите?

Мужики отворачивались, пряча глаза. Пять лет сверх срока, похоже, напугали многих. Только Голимая Кость колебался, и это было заметно — глаза бегали... При этом что-то прикидывал, какую-то задачку решал в уме...

— А ты-то что, Кореец, — нашёл Кузьменко глазами сидящего в углу Пака, — идёшь с нами или остаёшься? Ты же честный вор, тебе зону топтать западло...

— Не тебе, мокрушник, меня законам учить, — раздалось из угла. — Я тебе не собака, чтобы подрывать, когда хозяин с поводка отпустил.

Все понимали — как-то всё это должно разрешиться. «Если сейчас отойти или хотя бы глаза опустить, — лихорадочно соображал бригадир, — эти двое точно рванут, а может, и ещё кто-нибудь. Но если даже я отойду, Гуцал не отступится, он боксёр, не привык отступать... Да и Хорьков неизвестно как себя поведёт. Тогда — топор против голых рук, а это уже не пятериком пахнет, и неизвестно, чем кончится. Без кровянки едва ли обойдётся. Кузьменко — мокрушник, он уже убивал, а это, наверное, только в первый раз страшно...» Мысли метались лихорадочно, как в бреду — о том, что его ждёт, если уйдёт кто-то, затаскают опера, да ещё и виноватым сделают. Но эту трусливую мыслишку Олег отогнал, как писклявого комара — дескать, я никого охранять не нанимался...

Бригадиру вдруг стало так пронзительно жаль этих мужиков, загнанных за колючую проволоку, охраняемых безотказными автоматами, свирепыми псами, людьми в военной форме, так же, как псы, натасканными для охоты на зеков. Жаль не кого-то конкретного, не себя даже и тем более не убийцу Кузьменко, которого на волю и выпускать нельзя — всех их, всю эту кучку людей в казённых бушлатах, в чёрной робе, оторванных от родных и друзей. И даже солдат ему стало жаль, в большинстве своём полуграмотных ребят из глухих деревень, кишлаков и аулов, которых увезли в чужой, промёрзший до глубин земли край, дали в руки оружие и приказали охранять таких же двуногих, внушая им, тёмным, что охраняют они не людей, а зверьё. Он не раз вглядывался в лица конвоиров, желая прочесть на них пусть не сочувствие, но хотя бы живую человеческую мысль, но неизменно натывался на ненавидящий взгляд.

Вновь на какую-то минуту в тепляке воцарилась тишина. Слышно было, как от соска рукомойника отрываются капли и звонко шлёпаются в таз.

Напряжённое молчание разорвал Кузьменко.

— Ну что, бугор, сам же сказал — время, сука, бежит... — большое лицо Кузьменко налилось кровью и стало совсем чёрным. — Нам с Кривым пора подаваться. Ну, ещё кто с нами?

Из угла раздался старческий голос:

— Сынки, да если вы все уйдёте, я-то как? До зоны мне одному не дойти... Замёрзну по дороге... Зотов смотрел на всех умоляющими слезящимися глазами.

Кузьменко засмеялся страшно, продолжая смотреть в глаза бригадиру:

— Да ты, старина, не бзди, тут вон сколько зайцев, одного тебя не оставят, будет кому до клетки дотащить. Ну, хватит базарить, и так времени сколь упустили... Прощай, бугор... отходи, или... — он занёс топор над головой.

Тут среди бригадников произошло какое-то движение. Пак из своего угла не сразу понял, что случилось. Но только зеки расступились, и на пол грохнулся во весь рост громадный Кузьменко. Перед ним стоял в боксёрской стойке Гуцал, сзади, ещё не опустив лопату, безумно вытаращив глаза, верещал Голимая Кость:

— Это я его, бугор, лопатой! Не бойся, не замочил, плашмя бил! Замолви словечко перед отрядным, мне скоро на УДО идти!

Гуцал смотрел на лежащего зека с застывшей улыбкой и молчал...

...Когда лейтенант Дурко в расстёгнутой шинели, с развевающимся на шее шарфом впереди пятёрки надзирателей вбежал в зону, он увидел странную, непонятную, но порадовавшую его картину — бригада, проступая из морозного дыма, как толпа призраков, медленно и как-то торжественно шагала к проходной. Впереди, опустив крупную голову в чёрной зековской шапке, шёл бригадир. За ним Гуцал с Кутузовым волокли Кузьменко, положив его руки к себе на плечи. Длинные ноги чертили по снегу две неровных борозды. Сзади всех, вроде вместе со всеми, но всё же на особицу, пружинистой походкой шёл Пак.

Лейтенант подбежал к Олегу, слегка обнял его за плечи и зачистил:

— Ну как, Васильич, никто не подорвал? Вот конвой, вот растяпы, надо же так зевнуть! Все на месте? Я знал, я в тебя верил! Подполковник мне — разбегутся, держи-лови потом! Я ему: там Васильич, всё будет путём! А этого что, — кинул он опасливый взгляд на Кузьменко, — не замочили?

— Да не опасайтесь, гражданин лейтенант, — устало проговорил Федорченко, — упал он, башкой ударился о печку. Дня два полежит и встанет...

...Перед отбоем чуть ли не весь отряд, сто с лишним человек, собрался около шконки Олега. Толковище было азартное — ещё бы, такого никогда, ни на одной командировке не слышали, чтобы конвой целую бригаду в рабочей зоне забыл. Бригада ходила в именинниках, Голимая Кость болтал без умолку, всё о своём подвиге. Гуцал молчал, только раз сказал Вельяминову:

— А ты не боишься, что он очухается и посчитается с тобой?

— Не-а, не боюсь, — лихо ответил Голимая Кость, — отрядный сказал, будет его в БУР или на крытку оформлять. Так что...

— Ну-ну... — непонятно ответил Володя.

Олег в общих разговорах участия не принимал, лежал поверх одеяла, заложив руки за голову, поглядывал на крайнюю в ряду шконку, где, отвернувшись к стене, лежал с перевязанной головой Кузьменко. Вокруг кипели страсти, разгорались споры. Одни говорили: «Ну и дураки же вы!», другие: «Правильно сделали, всё равно бы никуда не ушли!» Подошёл Костя-нарядчик, наклонился, потрепал по плечу, коротко сказал: «Молоток...» — и ушёл к себе.

«А печку-то в тепляке забыли потушить», — засыпая, подумал Олег.

Пьяный лучник

Рассказ

Памяти живописца
Сергея Коренева

Кто-то опустился на мой диван. «С лёгкостью необычайной». Чёрт, когда я слышал эту идиотскую фразу, и почему она всплыла в сознании теперь?

Я открыл глаза. Диван стоял в маленькой кухоньке, лампочка в которой перегорела, но из комнаты, где свет никогда не гасили, он частично попадал и сюда. Худой такой полумрак, неполный.

Я нащупал в щели меж диваном и стеной очки, надел их и стал рассматривать незваного гостя. Но увидел я всего только силуэт мужчины в тёмной водолазке или в чём-то на неё похожем. Лица я не разглядел, но это точно был не Витя. Его аритмичное похрапывание я отчётливо слышал из комнаты, смежной с той, где горел свет. Мужик, видимо, пришёл уже после того, как я, под корень скошенный, рухнул на диван. «С лёгкостью необычайной».

Что ж, если это гость какой-то запоздалый, то скорей всего он мне знаком, как почти все друзья и собутыльники хозяина, чаще, как и он, художники, но не обязательно. Я, к примеру, к мазилкам отношения не имею, хотя ночую в их мастерских довольно регулярно. Даже слишком. Так считает моя жена, а она всегда права. А я всегда не прав. И ведь даже когда я точно знаю, что прав, нет-нет да и посомневаюсь: а прав ли я? Так что я уверен лишь в своих обязанностях, не часто, правда, их исполняя, а вот в правах не уверен. Нет, не уверен. Мне думается, права, как игрушечный медведь панда, занесены в Красную Книгу и сурово охраняются правительством Народного Китая. Так-то и лучше. Целее будут...

Вот что я думал, пока лежал в очках на диване в мастерской моего друга и пытался разглядеть, что за мужик устроился у меня в ногах, как у себя дома? А тот сидел и совершенно по-хамски не разговаривал. Я отвечал ему тем же, но делал это интеллигентно. Сперва я решил поиграть в молчанку — пусть-ка первым подаст голос, но потом в моём сознании откуда-то из самой его таинственной глубины всплыла одна интересная мысль. Я сейчас её оглашу, и всякий поймёт, что всплывает в моём сознании не одно только невесомое барахло (с лёгкостью необычайной), но и кое-что потяжелее. Ах, есть куда чему всплывать! И это радует.

Шаманов (Шманов) Алексей Николаевич, прозаик, поэт, драматург (род. в 1959 г. в д. Александровка Краснинского р-на Липецкой обл.). Автор книг: *Автопортрет в пейзаже*: сб. стихотворений (Иркутск, 1999); *Классная тапочка*: [сб. детских рассказов] (Иркутск, 2001); *Коллекция отражений*: роман (СПб, 2005); *Ассистент*: роман (СПб, 2008); *Заарин*: роман (СПб, 2011); пост-ки спектакля по одноактным пьесам *Лабиринты сновидений* (Иркутский ТЮЗ им. А. Вампилова, 2001). Член Союза российских писателей (Иркутское отделение).

«А не осталось ли там, на столе в комнате, где всегда светло и уютно, немного спиртного?»

Обратите внимание, я ведь мог подумать: «много спиртного», но скромность моя вошла в поговорку, да так из неё и не вышла. Я готов был довольствоваться малым — половиной бутылки или даже третью, но тогда уж ноль семь. Да-да, я не жаден и неприхотлив. Мне хватило бы и этой малости. Для начала.

Для начала я сел, опершись спиной о стену, и обезопасил ноги, согнув в коленях и обняв руками. Это было уже действие, но мужик и на него не отреагировал. Он по-прежнему молчал и, не шелохнувшись, смотрел на меня.

— Эй, — сказал я шёпотом, — ты кто?

Тем, кто меня хорошо знает, может показаться странным это такое фамильярное обращение к малознакомому потенциальному собеседнику. Но вежливое выканье в полумраке легко принять за трусливую слабость и, посчитав это сигналом, начать хамить и драться. А я не люблю, когда хамят и дерутся, особенно мне и со мной. Да и не было у меня настроения хамить и драться. У меня было настроение выпить, потому что я уже чувствовал, как на тонких дрожащих цыпочках крадётся подлое похмелье...

Все эти мысли, которые на бумаге выглядят такими длинными, промелькнули за доли секунды, так что ответ мужика прозвучал без всякой паузы.

— А ты кто? — спросил он у меня низким голосом. Возникло ощущение, что он говорит в трубу. Но никакой трубы у него не было. Я бы её заметил. Просто бас у него был трубный, трубопрокатный даже.

Я так и знал, что он станет хамить, но решил всё-таки ответить.

— Я Андрей, а ты кто?

«Я — волчок, серый бочок», — это мне вдруг захотелось, чтобы он так сказал. А я бы ему: «Я — заяц-попрыгаец!» А потом он бы трубным басом, а я гнусавым тенорком, хором весело пропели: «Кто-кто в теремочке живёт? Кто-кто в невысоком...»

— Я знаю, что ты Андрей. Я всё о тебе знаю. Мне интересно, что ты сам о себе думаешь. Кто ты, Андрей?

Ни хрена себе, заявочки... У меня для подобных вопросов жена есть. А у неё подруга-завистница. Она у каждой жены есть. Это же закон природы. И даже у подруги-завистницы, если она чья-то жена, есть своя подруга-завистница и у той тоже.

«Везёт тебе, — говорит она моей жене, — Андрей у тебя такой остроумный, жить тебе с ним так весело».

«Да, весело», — соглашается моя везучая жена. На момент разговора остроумный супруг моей жены отсутствовал дома недели, пожалуй, две...

— Ты не ответил на мой вопрос, — сказал я. — Как тебя зовут?

— Меня зовут Михаил Афанасьевич.

— Мы что здесь, в «роковые яйца» играем? — рассмеялся я и добавил с сарказмом, — Михаил Афанасьевич.

У меня, кстати, этого сарказма... Я его просто пригоршнями разбрасываю, как «Сеятель» кисти Остапа Бендера, а он всё не убывает. Много у меня сарказма этого.

— Мы играем с тобой, Андрей, совсем в другие игры.

Он заговорил со мной тоном школьного учителя, а это меня бесило с детского сада, с ясельной группы.

— Ты как сюда попал? Кто тебе открыл дверь? Витя?

— Виктор Ильич мне дверь не открывал. Я вошёл сквозь закрытую дверь.

Он говорил спокойно и убедительно. Любая чушь в его устах выглядела аксиомой.

— Ты можешь не отвечать на мой вопрос. Я вижу, он тебе неприятен. Я хочу поговорить о Викторе Ильиче.

Мне вдруг показалось, что из комнаты, где всегда светло, я слышу приглушенный гул голосов. Выпить захотелось ещё сильнее.

— Пойду, посмотрю.

— Посмотри.

Я встал с дивана и принялся искать ботинки, а когда обнаружил, что даже и не снимал их, прошёл в комнату.

Чёрт побери, они бродили, как на светском рауте, парами и по одному. Они собирались в группы и что-то оживлённо обсуждали. Хорошо одетые мужчины и женщины. Их был легион.

Я вскрикнул. Витя проснулся и приподнялся с дивана. Он должен был их видеть. Не всех, но некоторых.

— Ты чего орёшь?

— Ничего, — как мог, я старался говорить спокойно. — Кто это?

— Кто?

— Ну, эти.

Витя посмотрел на меня как на душевнобольного, впрочем, я им и являлся. До меня наконец дошло, что он никого не видит. Значит... Чёрт, но я-то видел!

— Андрей, здесь никого нет. Иди спать.

Я решил с ним не спорить. Не видит и ладно. Не обращая внимания на негаданных гостей, я прошёл к столу и обнаружил на нём среди окурков и объедков вождёльнную половину бутылки, причём ноль семь — предел мечтаний. Это меня даже несколько примирило... не знаю, как их назвать, с «теми». Не выпили и то спасибо.

Когда я начал булькать, Витя снова подал голос.

— У нас осталось?

— Полно, — ответил я жизнерадостно, — подползай!

— Может, подождём утра?

— А сколько времени?

— Четвёртый.

— Так уже почти утро.

Я плеснул во второй стакан. Виктор с трудом сполз с дивана, нетвёрдым шагом добрёл до стола и плюхнулся на шаткий стул.

«Те» продолжали своё хождение и разговоры. Среди женщин немало было хорошеньких: с оголёнными плечами, в коротких юбках, в подчёркивающих фигуру платьях. Очень даже ничего попадались тёлки.

Мы выпили.

— Может, всё-таки оставим немного? — не унимался Витя. — Сам знаешь, как утром-то.

Я знал. Я выгреб из карманов остатки аванса, пересчитал.

— Хватает.

— Тогда наливай, — повеселел Витя.

Когда мы допили, он вернулся досыпать. Услыхав знакомый храп, я встал и,

выбрав одиноко стоящую стильную девицу в декольтированном платье чёрного бархата, решительно направился к ней. Чего уж врать, девица была как с обложки, но мной прежде всего руководила страсть естествоиспытателя (испытателя естества). Мне необходимо было знать: кто это — люди из мяса и костей или воздушные фантомы, мёртвые копии, не имеющие с естеством ничего общего.

Я зашёл сзади и прижался к обложке всем телом. Одной рукой я обнял её грудь, другой — животик... Славный, маленький, округлый животик и в меру мягкую, живую, тёплую грудь (если быть точным, обе).

Один вопрос отпал сам собой, а так как в мире ничего не пропадает бесследно, мгновенно встал другой, да так, что мне за него сделалось неловко. Дабы эту неловкость скрыть, я был вынужден поцеловать девушку в шейку возле самого уха... такого маленького, такого сексуального... А руки стали слегка массировать те части тела, на которые легли. Лёгкий массаж, между прочим, не повредил ещё никому.

— Ты чудо, — прошептал я в ухо, рядом с которым целовал шейку. Девушка, до того стоящая неподвижно, чуть повернула свою изящную головку и произнесла приятным голосом с лёгкой хрипотцой:

— Не время, сударь. Вас ждёт Михаил Афанасьевич, — после чего решительно зашагала к балкону.

Чёрт возьми, нелепое зрелище представлял я собой, так и не разжавший рук, мотающийся сзади широко шагающей девицы, как какой-нибудь жалкий прицеп за изящным спортивным «феррари»... Ох, не ту роль выбирал я для себя в этой бездарно сыгранной сцене. Роли, впрочем, не выбирают.

Я ретировался в свою кухню, где застал Михаила Афанасьевича на прежнем месте. Я уже успел о нём забыть.

— Как Виктор Ильич? — участливо спросил он.

— Витька-то? Нормально. Спит как сурок.

В подтверждение моих слов сурок всхрапнул особенно громко.

— Почему он их не видит?

— Их должны видеть только вы.

— А вас, Михаил Афанасьевич, — заметив, что он перешёл на «вы», я ответил тем же, — вас тоже вижу только я?

— Конечно.

— Скажите, все вы... ну, те, что в комнате, и вы лично... вы настоящие, живые или вы — мой бред?

— Хотя я пришёл не для того чтобы удовлетворять ваше праздное любопытство, я отвечу на ваш вопрос, — он усмехнулся. — На ваш последний вопрос.

— Почему последний? — забеспокоился я. Было в его словах нечто от приговора — последний вопрос, последнее желание... Михаил Афанасьевич, видимо, прочтя мои мысли, засмеялся. Но смех этот не предвещал ничего хорошего. Глухой и звонкий одновременно, он отозвался гулким эхом. И когда он перестал смеяться, эхо продолжало издеваться надо мной, напоминая то колокольный звон, то вороний грей, то переливы орущей толпы, штурмующей Зимний дворец в фильме Эйзенштейна.

— С вами лично сегодня ничего плохого не случится. Но вернёмся к вашему вопросу. Я постараюсь ответить в доступной вашему пониманию форме, хотя для этого придётся всё до крайности упростить. Упростить настолько, что ответ мой покажется попыткой уйти от ответа. Так стоит ли?

— Стоит, — сказал я твёрдо, — попытка не пытка, как говаривал незабвенный Лаврентий Палыч.

Ну, не удержался. Ну, блеснул эрудицией. Ну, ничего с собой поделывать не могу.

— Вы спросили, сударь: живые мы или мы — ваша белая горячка?

— Почему горячка? — возмутился я. — Почему белая?

— Андрей Алексеевич, вы пьёте вторую неделю без перерыва и закуски. Разве ваша горячка может быть какого-то иного цвета?

— Может, — заупрямился я, — ещё как может!

— Хорошо. Какого цвета горячку вы предпочитаете в это время суток?

Я промолчал. Белая так белая. Не хватало мне ещё цветных горячек. Упаси меня... чёрт побери.

— Так вот, в какой-то мере мы, как вы изволили заметить, живые, а уж настоящие точно, без всяких натяжек. Повторю: мы настоящие и по-своему живые.

Заметив моё желание прервать его, Михаил Афанасьевич протянул мне руку.

— Потрогайте меня, вы убедитесь сами.

— Увольте меня, сударь, — ответил я с достоинством, которого в таком количестве в себе и не предполагал обнаружить. — Увольте!

— Нет, я прошу вас, сударь, потрогайте меня и убедитесь!

Рука его была сухой и горячеей, градусов под сорок.

— Итак, мы живые и настоящие. Но это только с одной стороны, потому что с другой, мы — продукт вашей белой горячки и попросту не существуем.

— Как, Михаил Афанасьевич, — воскликнул я, — вы не существуете?!

Витя перестал храпеть. Я, кажется, разбудил его криком.

— Конечно, существую, как и прелестная Марго, которую недавно вы тоже трогали из одного только любопытства, по всей видимости.

Вот, значит, как её зовут, девицу эту. Я смутился, но вида не подал. Выдержка у меня вообще как у пятизвёздочного самогона.

— Я удовлетворил ваше праздное любопытство, Андрей Алексеевич?

Я кивнул, хотя ни фи́га не понял.

— Если так, то теперь я хотел бы задать несколько вопросов. Вы не возражаете?

Я не возражал. Я запутался, устал и хотел спать. И ещё я хотел оказаться дома. Я твёрдо решил утром вернуться домой. После того, конечно, как похмелюсь. Иначе же я не дойду, умру где-нибудь по дороге. Подумать страшно — восемь остановок на трамвае. Их же надо проехать живым... Решено, сначала похмелюсь, а уже потом...

— Как вы считаете, Виктор Ильич талантливый живописец?

Я вздрогнул. Уже похмелённый, я дребезжал вместе с трамваем по мосту над Ангарой.

— Кто живописец?

— Виктор Ильич талантливый живописец?

— Витя — живописец от Бога. Я не могу утверждать, что ему нет равных, но в этом городе равных ему я не знаю.

— Замечательно, Андрей Алексеевич, как вы замечательно сказали! А много ли живописных полотен написал Виктор Ильич за последние, скажем, пять лет?

— Много, — ответил я, почти не солгав, — может, и меньше, чем за предыдущую пятилетку, но много.

И тут я заметил, что Виктор, должно быть, уже давно наблюдает из-за угла, как я несу свою ахинею.

— С кем это ты?

— Ни с кем.

— То-то и скверно.

— Не волнуйтесь, Андрей Алексеевич, — успокоил меня Михаил Афанасьевич, — он меня не видит.

— Знаю, — ответил я обоим.

Виктор прошёл и, чиркнув спичкой, осветил кухню. Как и следовало ожидать, он никого не увидел.

— Ты вроде и непьющий, — Витя сел рядом, как раз между мной и Михаилом Афанасьевичем. — Давно это с тобой?

— Что «это»?

— Сам знаешь что.

— Ты действительно никого не видишь?

— Да нет здесь никого! — взорвался Витя. — Ты понял? Ни-ко-го!

— Что я говорил? — вступил Михаил Афанасьевич. — Он и не должен меня видеть. Пока не должен.

— Успокойся. Я понял, здесь никого нет.

— А с кем ты говорил?

— Сам с собой.

— Нет, правда. Олег Мокшанов, к примеру, однажды всю ночь разговаривал с другом, умершим лет десять назад.

— Было такое, — кивнул Михаил Афанасьевич.

— Я тогда все ножи и вилки попрятал.

— Ты наверно и сейчас попрятал?

Витя усмехнулся.

— Я знаю, что тебе надо. Тебе водки надо, чтобы заснуть. Днём легче... хотя, и днём... но днём всё равно легче.

Намёк я понял. Я выгреб из карманов всё что у меня осталось.

— Хочешь, иди. Я не пойду.

— Один схожу. Тут рядом, ты знаешь.

— Я знаю, тут рядом, — повторил я зачем-то. — Долго не ходи.

— Я быстро, — он направился к двери, — закрой за мной.

Я подошёл. Он уже открыл дверь, но сделав шаг за порог, вернулся.

— Ты извини... Я лучше на замок закрою. Ты только на задвижку не запирай. Ладно?

Я усмехнулся.

— Извини, Андрей, я быстро.

Я вернулся к Михаилу Афанасьевичу.

— Ночной магазин в пяти минутах ходьбы. Надо закончить разговор до того, как он вернётся. Задавайте ваши вопросы и уходите. Я вас прошу.

— Вы мне солгали, отвечая на второй вопрос. Как это нехорошо, Андрей Алексеевич, как некрасиво! Не было у Виктора Ильича за последние пять лет никаких живописных полотен. Попросту не было. Лишь отблеск слабый былого таланта изредка освещал изнутри его халтурную мазню.

— Даже эта мазня, как вы извоили выразиться, в тысячу раз талантливее большинства работ здешних художников!

— Так им и не дано было и тысячной доли таланта Виктора Ильича, поэтому и спрос с них никакой!

— Но может же быть у художника кризис, — возмутился я, — вдруг через неделю он снова станет писать, как раньше, даже лучше?!

— Не станет, и вы это знаете.

Не было в его словах ни злорадства, ни желания уколоть, а была правда, одна лишь печальная правда. И знал я это. И не желал знать.

— Вы задали все свои вопросы?

— Да, Андрей Алексеевич, благодарю вас.

— Так идите же. Скоро придёт Виктор. Я не хочу, чтобы вы здесь оставались.

— Извините, Андрей Алексеевич, но уйду я не один. Уйду я с Виктором Ильичом. Ему, к сожалению, пора.

— Что?

— Не волнуйтесь вы так, Андрей Алексеевич, вам лично ничего не угрожает. А Виктор Ильич... Что ж, все там будут.

— Что?! — я придвинулся к нему вплотную. Он, конечно, не испугался, да я этого и не ждал. — Что ты несёшь, ублюдок?! — орал я, вульгарно брызжа слюной. — Убирайся отсюда, козёл!!!

— Не ожидал от вас, Андрей Алексеевич. Нет, не ожидал. Оскорбления... как это на вас не похоже.

Но я не стал его слушать. Я схватил его за шиворот, хорошенько встряхнул и потащил к выходу, отметив про себя, что лёгок он необычайно.

— Насилие... — грустно сказал Михаил Афанасьевич, покорно провиснув в моих руках. — Ах, как это похоже на людей... как похоже.

Но я уже приволок его к двери и вдруг понял, что открыть её не могу — Витя же закрыл её на ключ. И тогда я швырнул Михаила Афанасьевича мордой в дверь, и он исчез за ней, будто двери и не было. И его тоже.

Я вошёл в комнату. Там по-прежнему находилось штук тридцать «этих». Я хватал их по двое за шкуру и бросал в закрытую дверь. И они проходили сквозь неё. И они исчезали. Они не сопротивлялись. Они вяло висели в моих руках лёгкие и молчаливые, как кролики. А я швырял их и швырял — всех подряд: и приторно-холёных мужчин, и ярких экстравагантных женщин. Я торопился. Мне надо было управиться до возвращения. И я управился. Я сел на диван в кухне и тупо уставился на входную дверь. Дышал я тяжело, руки дрожали. Я не чувствовал себя победителем. Да я им и не являлся. Я ждал какого-то подвоха. И дождался-таки. В закрытую дверь вошёл Михаил Афанасьевич. Он стоял на пороге и улыбался. Нет, я не чувствовал себя победителем.

— Вы победили, Андрей Алексеевич! Вы действительно победили!

Я ему не верил. Я шарил рукой по полу в поисках чего-нибудь тяжёлого.

— Виктору Ильичу дан ещё один год. Вы были совершенно правы, а вдруг это действительно спад? Вдруг завтра он станет работать как раньше? Тогда пусть живёт! Пусть живёт и радуется своими гениальными творениями! Вы согласны со мной, Андрей Алексеевич?

Наконец я нащупал полуметровый обрезок бруска. Я поднял его, размахнулся и бросил. К собственному удивлению, я не промахнулся. Я попал. Брусок отскочил к вешалке, Михаил Афанасьевич провалился в дверной проём. Больше я его не видел... пока не видел.

Надо было что-то предпринять, как-то обезопасить себя, но как? На глаза попался набор цветных мелков. Вспомнив опыт Хомя Брута, я выбрал белый. Я изрисовал кругами все полы в мастерской, особенно густо у входной двери, которую я, кстати, тоже не забыл украсить: в центре изобразил большой православный крест с косой переключиной, а по углам шестиконечные звёзды. Кресты и звёзды, впрочем, я начертил не только на двери, но и на полу, стенах, шкафах, чистых холстах и готовых работах, словом, везде, где возможно. Белый мелок быстро закончился, и я перешёл на цветные...

Витя вернулся, когда, исписав весь набор, я мирно ждал его за столом. Мы выпили. Я рассказал ему всё, что происходило в эту ночь и уговорил не стирать мел хотя бы до рассвета. Он согласился. Он вообще слушал внимательно и по лицу

его было не понять — верит он мне или нет. Впрочем, он мне верил. Бред вполне реален хотя бы для одного человека, для того, кто бредит. Но я-то знал, что это не бред. Не совсем бред... Совсем не бред?

Проснувшись около полудня, мы обнаружили, что нас обокрали. Так, ничего серьёзного, штук тридцать разрозненных зачитанных томов в основном классики. Кому они могли понадобиться? Не продать, да и вид нетоварный. Ещё пропала старая Витина работа студенческих лет. И в самые трудные времена он не сдавал её, впрочем, вряд ли бы за неё много дали. Зато возле вешалки на полу мы обнаружили изящную дамскую туфельку 35 размера и портсигар червонного золота с прозрачными и голубыми бриллиантами в форме треугольника на крышке. Туфельку Витя выбросил с балкона, а портсигар сдал в «Антиквар» Снарскому. Камни оказались фальшивыми...

Остаётся добавить лишь то, что примерно через год я зашёл к Вите с бутылкой. Постучал, затем толкнул дверь. Она оказалась незапертой. Витя лежал на спине поперёк дивана. На левой щеке — засохшая струйка пены. Остекленевый взгляд. Он ещё дышал. Точнее хрипел. Я вызвал «скорую» и вышел встретить её во двор. Машина пришла быстро. Я не успел докурить сигарету. С двумя уставшими женщинами мы поднялись на пятый этаж. У врача была одышка. Вити уже не было. Полотенцем я стер пену с лица и поднял с пола раскрытую книгу. Перед смертью Витя перечитывал Булгакова.

P. S.

Подливай ещё...

мы с тобой не допили минимум две цистерны кедровой палёнки...

пить бы да пить, жить бы да жить...

Конечно, никакой косы, согласен —

это большое воображение

непохмеленных средневековых крестьян

юга Франции или севера Италии,

что из тех мест, откуда мы смотрим,

неизбежно сливается в крохотную мушку под левым

голубым глазом

молодящейся натужно Европы...

И ещё предрассудок — костлявая.

Из тех, кого она обнимала,

кто-нибудь разве расскажет?..

И не надо, ты прав, не надо...

Что за пошлость, говорить о ней до смерти? —

Это то же,

что говорить о жизни до рождения или о СУ-29

в 29 году до Рождества Христова...

или после... ты прав, после.

Мы вернёмся к этому вопросу

через 40 дней после моей смерти...

Почему не сразу?
Имей совесть,
дай же и мне осмотреться в этом
субтропическом пансионате
с экзотической рогатой прислугой.
А пока подливай.
За упокой и здоровье.
Чтобы то и другое — вовремя и в меру,
метко, как в молоко
целится пьяный лучник.

Писатели — лауреаты премий, учреждённых в Иркутске

- Литературной премии Иркутского обкома ВЛКСМ им. Иосифа Уткина

Альберт Гурулёв — 1968
Валентин Распутин — 1968
Марк Сергеев — 1971
Вячеслав Шугаев — 1971
Александр Вампилов (посмертно) — 1972
Анатолий Кобенков — 1980
Иван Комлев — 1988
Татьяна Суровцева — 1988

- Литературной премии Фонда развития культуры и искусства при Комитете по культуре Иркутской области (1994—1997), с 1998 г. — премии губернатора Иркутской области

Валентин Распутин. «Россия: дни и времена»: публицистика — 1994
Михаил Трофимов. «Лесная азбука»: стихи для детей — 1994
Ким Балков. Цикл исторических романов: «Час смертный»; «Идущие во тьму»; «Будда» — 1995
Дмитрий Сергеев. «Запасной полк»: роман — 1995
Андрей Румянцев. «Русская звезда»: поэзия, проза — 1996
Татьяна Андрейко. «Восхождение к мельнице»: стихи; «Зелёная горошина»: детская повесть — 1998
Анатолий Кобенков. «Круг»: стихи — 1998
Валентина Марина. «Чернотроп»: роман — 1999
Александр Семёнов. «Поминай как звали»: повесть, рассказы — 2000
Татьяна Суровцева. «Снежные птицы»: стихи, переводы — 2000
Олег Слободчиков. «Заморская Русь»: роман, 2001
Анатолий Байбородин. «Диво»: народные байки, побаски, сказы — 2002
Татьяна Миронова. И увижу сон я золотой: стихи — 2002
Валерий Нефедьев. «Ледогон»: повести, рассказы, зарисовки — 2004
Андрей Румянцев. «Лицом к свету»: поэзия, проза — 2004
Анатолий Горбунов. «Ключики-замочки»: стихи для детей; «Сторона речная»: стихи и поэмы — 2005
Ростислав Филиппов. «Красная сотня»: 100 стихотворений — 2005
Светлана Волкова. «Сказки мышонка Сухарика»: сказки для детей — 2006
Глеб Пакулов. «Гарь»: роман — 2006
Редакция журнала «Сибирячок» (С. Асламова — гл. редактор, А. Муравьёв — гл. художник, С. Сергиенко, А. Расторгуева) — 2002
Редакция журнала «Сибирь» (В. Козлов — гл. редактор, В. Семенова, О. Слободчиков) — 2006
Василий Забелло. «Избранное»: стихи, рассказы — 2007
Валентина Сидоренко. «Первосвяtitель Иркутский Иннокентий I (Кульчицкий)», составление — 2007

Михаил Трофимов. «Свиристели»: стихи для детей — 2007
Михаил Трофимов. «Снегирёвка»: избранное — 2010
Альберт Гурулёв. «Русское Устье»: роман, повести, рассказы — 2011
Олег Слободчиков. «Похабовы»: сибирский исторический роман — 2011

- Премии им. святителя Иннокентия Иркутского

Валентин Распутин — 1995
Анатолий Байбородин — 1996
Валентина Сидоренко — 2000
Василий Забелло — 2005

Приложение 2

Руководители иркутских писательских организаций (1931–2011)

- Российская ассоциация пролетарских писателей Восточной Сибири (РАПП ВС)¹

В 1931-1932 гг. РАПП ВС выросла до 18 филиалов и объединяла 5 местных ассоциаций (Бурятскую, Иркутскую, Красноярскую, Усольскую и Игарскую), 3 литературных группы РАПП (Читинскую, Слюдянскую и Черемховскую) и 10 кружков (Усть-Кут, Жигалово, Братское, Мысовая, Шамоново, Ю.-Енисейск, Иннокентьевская, Дарасун, Канск, Зима). АПП Восточной Сибири насчитывала в своих рядах 51 члена ассоциации и 500 литкружковцев.

1931–1932, июнь

Ответственный секретарь РАПП ВС И. А. Искра

- Иркутская АПП

1931, апр. – 1932

Ответственный секретарь Г. Безымянный

- Оргкомитет Союза советских писателей Восточной Сибири (создан после роспуска РАПП для подготовки I Всесоюзного съезда советских писателей в 1934 г.)

1932, июнь – 1933

Председатель оргкомитета М. М. Басов
Заместитель председателя И. И. Молчанов-Сибирский
Ответственный секретарь И. А. Искра

¹ Официальное название Иркутской писательской организации, ведущей свою историю с 1931 г., в советское время менялось несколько раз — в зависимости от административного деления (Восточно-Сибирский край, Иркутская область), в связи с появлением Союза писателей РСФСР в составе Союза писателей СССР (по образцу республиканских) и др. рода переоформлениями. С 1934 по 1996 гг. единым оставался билет члена Союза писателей СССР (до 1954 — Союза советских писателей СССР). — *Сост.*

1933, с июля по 1934

Ответственный секретарь И. И. Молчанов-Сибирский

- Восточно-Сибирское краевое (с 1937 г. — Иркутское областное) отделение Союза советских писателей Восточной Сибири

1935, февр. – 1937, март

Председатель правления М. М. Басов

Ответственный секретарь И. Г. Гольдберг

Ответственный секретарь И. И. Молчанов-Сибирский

1937, апр. – 1938, июнь

Председатель правления А. Н. Губанов

Ответственный секретарь, затем уполномоченный ССП

И. И. Молчанов-Сибирский

1938, июнь – 1938, нояб. (?)

Ответственный секретарь К. Ф. Седых

1938, дек. – 1939, май

Ответственный секретарь И. И. Молчанов-Сибирский

1939, май – 1939, дек.

Ответственный секретарь А. И. Калинин

1940, янв. – 1940, июль

Ответственный секретарь И. И. Молчанов-Сибирский

Заместитель ответсекретаря Г. Ф. Кунгуров

1940, июль – 1940, нояб.

В связи с упразднением штатной должности ответственного секретаря и введением коллективного правления отделением ССП на общественных началах (решение Президиума ССП СССР от 27.04.39), обязанности руководителя были распределены между членами и кандидатами в члены бюро: И. И. Молчановым-Сибирским, Г. Ф. Кунгуровым, А. С. Ольхоном, Г. М. Марковым, К. Ф. Седых. Решением бюро Иркутского отд-я (от 11.11.40) должность ответственного секретаря была восстановлена.

1940, нояб. – 1941, март

Ответственный секретарь И. И. Молчанов-Сибирский

1941, март – 1941, май; июль

Ответственный секретарь Г. М. Марков

1941, июль – 1942, июнь

И. о., затем ответственный секретарь А. С. Ольхон

1942, июль – 1942, дек. (с перерывом)

Ответственный секретарь К. Ф. Седых

1942, дек. (?) – 1943, апр.

Ответственный секретарь С. Д. Мстиславский

1943, апр. – 1943, окт.

Ответственный секретарь К. Ф. Седых

1943, окт. – 1946, янв.

Ответственный секретарь А. А. Кузнецова

1946, февр. – 1947, июнь

Ответственный секретарь Г. М. Марков

С 1971 Г. М. Марков — 1-й секретарь, с 1977 по 1989 — председатель правления Союза писателей СССР

1947, июнь – 1958, март

Ответственный секретарь И. И. Молчанов-Сибирский

- Иркутское отделение Союза писателей РСФСР (1958 – 1967)

1959–1962 Ответственный секретарь Г. Ф. Кунгуров

1962–1965 Ответственный секретарь Ф. Н. Таурин

1965–1969 Ответственный секретарь М. Д. Сергеев

- Иркутская писательская организация Союза писателей РСФСР (1967 – 1996)

1969–1972 Ответственный секретарь Л. А. Кукуев

1972–1979 Ответственный секретарь М. Д. Сергеев

1979–1984 Ответственный секретарь А. М. Шастин

1984–1993 Ответственный секретарь Р. В. Филиппов

- Иркутская областная писательская организация Союза писателей России (1996 – 2001)

1993–2001 Ответственный секретарь А. Г. Румянцев

- Иркутское региональное отделение Союза писателей России (с 2001 г.)

2001–2006 Председатель правления А. К. Лаптев

2006–2009 Председатель правления В. В. Козлов

2009–2011 Председатель правления В. В. Скиф

с марта 2011 Председатель правления В. К. Забелло

*По документам ОГКУ «Государственный архив
новейшей истории Иркутской области»*

На 1 января 2012 г. в организации состоит 65 человек

- Иркутское отделение Союза российских писателей

1989 — заявление девяти писателей о несогласии с идейной позицией руководства Союза писателей РСФСР и Иркутской писательской организации и образовании нового Содружества иркутских писателей (Вост.-Сиб. правда. 1.07.89). В самом начале движение возглавил А. М. Шастин, председателем Содружества избран Д. Г. Сергеев.

1990 — участие нескольких делегатов от Содружества в съезде ассоциации писателей «Апрель» в Москве.

1991 — образование Союза российских писателей в Москве (в составе Союза писателей СССР).

1992 — официальное оформление Иркутского отделения (вначале регионального) Союза российских писателей. Первыми в него вошли: А. М. Шастин, Ю. С. Самсонов, С. А. Иоффе, В. Г. Захарова, А. И. Кобенков, Д. Г. Сергеев, М. Д. Сергеев, Е. И. Жилкина, В. И. Марина, Б. И. Левантовская, В. П. Трушкин.

1992–1998	Председатель правления Д. Г. Сергеев Ответственный секретарь (до 1996) В. И. Камышев
1998–2004	Председатель правления А. И. Кобенков
2005–2007	Председатель правления Б. С. Ротенфельд
2007–2008	Председатель правления А. В. Богданов
2008–2009	Председатель правления Т. П. Андрейко
2009–2011	Председатель правления С. И. Гольдфарб
с дек. 2011	Председатель правления С. А. Михеева

*Сведения представлены Иркутским отделением
Союза российских писателей*

На 1 января 2012 г. в организации состоит 25 человек

- Иркутская областная организация Союза писателей России

Официально зарегистрирована в 2004 г. Первоначальный состав: А. Г. Румянцев, К. Н. Балков, Ю. К. Балков, Б. Ф. Лапин, В. П. Соколов (в 2011 г. вернулся в Иркутское региональное отделение).

2004–2011, февр.	Председатель правления А. Г. Румянцев Ответственный секретарь (с окт. 2008) Л. В. Соболевская
с марта 2011	Председатель правления В. В. Бронштейн

*Сведения представлены Иркутской областной
организацией Союза писателей России*

На 1 января 2012 г. в организации состоит 16 человек

Алфавитный указатель

- Абрамович А.Ф. 7
Андрейко Т.П. 442
Антипин А.А. 448
Афанасьева-Медведева Г.В. 458
Байбородин А.Г. 170
Балков К.Н. 177
Балков Ю.К. 467
Баранов Ю.И. 475
Богач Г.Ф. 184
Боровский Ф.М. 483
Вампилов А.В. 188
Волкова С.Л. 489
Воронина Н.А. 493
Воронцов Н.А. 499
Гинкулов В.В. 504
Гольдберг И.Г. 14
Горбунов А.К. 195
Гурулёв А.С. 200
Гусенков В.П. 208
Дворецкий И.М. 21
Жемчужников В.Б. 214
Забелин П.В. 219
Забелло В.К. 509
Замаратский Г.И. 517
Зарубин Н.К. 524
Захарова В.Г. 225
Зверев А.В. 231
Зоркин В.И. 530
Камышев В.И. 539
Карнаухов В.С. 545
Карпачёв А.В. 552
Киреев В.В. 556
Киселёв В.В. 237
Китайский С.Б. 244
Князев Ю.В. 561
Кобенков А.И. 251
Козловский В.Н. 257
Комлев И. 571
Корнильцев О.Б. 578
Костюковский Б.А. 27
Красовский Л.С. 267
Крутер М.С. 582
Кузнецова А.А. 32
Кукуев Л.А. 274
Кунгуров Г.Ф. 38
Лапин Б.Ф. 278
Лаптев А.К. 586
Латкин А.Г. 288
Левантовская Б.И. 45
Максимов В.П. 591
Маляревский П.Г. 53
Марина В.И. 61
Марков Г.М. 67
Матханова Н.А. 295
Машкин Г.Н. 303
Михасенко Г.П. 309
Московских Н.В. 599
Мстиславский С.Д. 75
Нефедьев В.Е. 604
Николаев Г.Ф. 315
Огневский Л.Л. 82
Пакулов Г.И. 322
Петров П.П. 88
Печерский Н.П. 96

Попов А.С. 610
Попов М. 102
Просекин А.И. 614
Просекин М.М. 328
Распутин В.Г. 336
Ротенфельд Б.С. 621
Рудаков В.Г. 627
Рудых В.Г. 632
Румянцев А.Г. 341
Самсония А.А. 111
Самсонов Ю.С. 349
Седых К.Ф. 122
Семёнов А.М. 637
Семенова В.А. 642
Сергеев Д.Г. 355
Сидоренко В.В. 362
Сидорченко В.П. 648
Скоп Ю.С. 368
Слободчиков О.В. 654
Соин Н.А. 662
Соколов В.П. 375

Стародумов В.П. 130
Столяревский А.Г. 669
Суворов Е.А. 381
Таурин Ф.Н. 136
Тендитник Н.С. 386
Тороев А.А. 143
Трушкин В.П. 392
Тычинин В.В. 148
Устинов С.К. 676
Фетисов И.В. 682
Хайрюзов В.Н. 401
Харитонов А.И. 690
Чаусов Н.К. 408
Черемных И.З. 412
Чернев И. 156
Шаманов А.Н. 697
Шастин А.М. 418
Шинкарёв Л.И. 425
Шмаков А.А. 162
Шугаев В.М. 430
Щедрова Л.И. 437

Содержание

От составителей	5
---------------------------	---

1930–1950-е годы

Алексей Абрамович

В литературу приходят новые силы

Глава из очерка «В широком потоке советской литературы»	7
---	---

Исаак Гольдберг

Закон тайги. Из цикла «Тунгусские рассказы»	14
---	----

Игнатий Дворецкий

Общее собрание. Рассказ.	21
----------------------------------	----

Борис Костюковский

Андрейкино слово. Отрывок из повести «Куда прячется Солнце»	27
---	----

Агния Кузнецова

С детьми в Михайловском

Из повести о Наталье Николаевне Пушкиной «А душу твою люблю...».	32
--	----

Гавриил Кунгуров

Путь в Китай. Отрывок из повести «Албазинская крепость»	38
---	----

Белла Левантовская

Валерий Нечаев. Отрывок из романа	45
---	----

Павел Маляревский

Канун грозы. Отрывок из пьесы	53
---	----

Валентина Марина

Депутат Ксена. Глава из романа «Чернотроп»	61
--	----

Георгий Марков

Выстрел в тайге. Отрывок из романа «Соль земли».	67
--	----

Сергей Мстиславский

«Да здравствует восстание!..»

Главы из повести «Грач — птица весенняя»	75
--	----

Леонид Огневский

«Он сейчас встанет!..» Отрывок из романа «Грозный час»	82
--	----

Пётр Петров

- План Василия Медведева и план лорда Стимменса
Главы из романа «Борель» 88

Николай Печерский

- Так строят плотину. Главы из повести «Генка Пыжов —
первый житель Братска» 96

Михаил Попов

- Две встречи. Рассказ 102

Алексей Самсония

- Тихий вечер (Ветер над Байкалом)
Пьеса в одном действии (в сокращении). 111

Константин Седых

- Масленая в Мунгаловском. Глава из романа «Даурия». 122

Василий Стародумов

- Выговор. Рассказ. 130

Франц Таурин

- Подпоручик Дубравин
Отрывок из романа «Далеко в стране Иркутской». 136

Аполлон Тороев

- Бедняк. Сказка. 143

Вячеслав Тычинин

- Едем в таёжный край!.. Отрывок из романа «Большая Сибирь» 148

Илья Чернев

- Финогеныч. Отрывок из романа «Семейщина» 156

Александр Шмаков

- Карабаны. Рассказ 162

1960–1980-е годы

Анатолий Байбородин

- Синим-синё. Рассказ из повествования. 170

Ким Балков

- Дима чокнутый. Рассказ 177

Георгий Богач

- «Бессарабия, известная в самой глубокой древности...»
Из книги «Далече северной столицы» 184

Александр Вампилов

- Диплом. Отрывок из 2-го действия пьесы
«Прощание в июне» 188

<i>Анатолий Горбунов</i>	
Серебряные трубы. Рассказ	195
<i>Альберт Гурулёв</i>	
А снег идёт... Рассказ	200
<i>Владимир Гусенков</i>	
Чары твои, Ботогол. Очерк (в сокращении).	208
<i>Владимир Жемчужников</i>	
Опасное плавание. Рассказ	214
<i>Павел Забелин</i>	
Глухой неведомой тайгою. Василий Непомнящих (1907–1954)	
Глава из книги «Приходит час определённый...»	219
<i>Вера Захарова</i>	
Семейные неприятности. Отрывок из романа	225
<i>Алексей Зверев</i>	
Манины частушки. Рассказ	231
<i>Виктор Киселёв</i>	
Возрождение легенды	
Главы из приключенческой повести «Золотой водопад»	237
<i>Станислав Китайский</i>	
Ягодка. Рассказ	244
<i>Анатолий Кобенков</i>	
«Я живу ожиданием чуда...»	
О творчестве поэтессы Елены Жилкиной	251
<i>Владимир Козловский</i>	
Верность. Глава из романа	257
<i>Леонид Красовский</i>	
Из эвакуации. Главы из повести «Ещё не кончилась война».	267
<i>Лев Кукуев</i>	
Иркутские однокашники	
Из книги «Полевая сумка»	274
<i>Борис Лапин</i>	
Негативы хранятся вечно. Рассказ	278
<i>Александр Латкин</i>	
Избавление. Отрывок из повести «Амикан».	288
<i>Нелли Матханова</i>	
Нилка уезжает	
Отрывок из повести «Чтобы в юрте горел огонь»	295

<i>Геннадий Машкин</i>	
Ведьма. Рассказ	303
<i>Геннадий Михасенко</i>	
Шишкобой. Отрывок из повести «Кандаурские мальчишки».	309
<i>Геннадий Николаев</i>	
Точка пересечения. Рассказ	315
<i>Глеб Пакулов</i>	
Бегство из Юрьевца. Отрывок из романа «Гарь»	322
<i>Михаил Просекин</i>	
Старый друг. Рассказ (в сокращении)	328
<i>Валентин Распутин</i>	
Видение. Рассказ.	336
<i>Андрей Румянцев</i>	
«Нет, жизнь меня не обделила...»	
Уроки Александра Твардовского (в сокращении)	341
<i>Юрий Самсонов</i>	
На шестой день. Перевод с арамейского. Сказка	349
<i>Дмитрий Сергеев</i>	
Через войну. Из воспоминаний	355
<i>Валентина Сидоренко</i>	
Разговор с дочерью. Отрывок из повести «Поле небороненным».	362
<i>Юрий Скоп</i>	
Доброта к доброте. Отрывок из повести «Со стороны»	368
<i>Виктор Соколов</i>	
Три рассказа (Зимние жаворонки; Телефон; Одиночество)	375
<i>Евгений Суворов</i>	
Волчьи ягоды. Рассказ	381
<i>Надежда Тендитник</i>	
В стихии народного характера	
О прозе Алексея Зверева (в сокращении).	386
<i>Василий Трушкин</i>	
«Друзья мои...» Из дневников 1937–1964 годов	392
<i>Валерий Хайрюзов</i>	
Третий лишний. Рассказ	401
<i>Николай Чаусов</i>	
Знакомство состоялось. Отрывок из повести «Чёрная борода»	408

<i>Иннокентий Черемных</i>	
Проводник Иван Мамонтов	
Отрывок из романа «Однополчане»	412
<i>Анатолий Шастин</i>	
Город в дожде. Рассказ	418
<i>Леонид Шинкарёв</i>	
Один час с Далай-ламой	
Из книги «Цеденбал и Филатова. Любовь. Власть. Трагедия»	425
<i>Вячеслав Шугаев</i>	
Ситцевые занавески. Рассказ (в сокращении)	430
<i>Любовь Щедрова</i>	
У обрыва. Отрывок из романа «Ингода»	437
1990–2000-е годы	
<i>Татьяна Андрейко</i>	
Умная голова. Рассказ	442
<i>Андрей Антипин</i>	
Плакали чайки. Отрывок из повести	448
<i>Галина Афанасьева-Медведева</i>	
О словах русских старожилов Байкальской Сибири (в сокращении)	458
<i>Юрий Балков</i>	
Мы ждали тебя, а ты всё не шёл... Рассказ	467
<i>Юрий Баранов</i>	
Медвежий след. Рассказ	475
<i>Федор Боровский</i>	
«Слава героям!» Рассказ	483
<i>Светлана Волкова</i>	
История мраморного белька. Сказка	489
<i>Нина Воронина</i>	
Победа. Рассказ	493
<i>Николай Воронцов</i>	
Флюрины ложки. Рассказ	499
<i>Василий Гинкулов</i>	
Ленские плёсы. Отрывок из повести	504
<i>Василий Забелло</i>	
Фарт. Рассказ	509

<i>Георгий Замаратский</i>	
В час ночи. Быль	517
<i>Николай Зарубин</i>	
Крестный ход. Отрывок из рассказа.	524
<i>Виталий Зоркин</i>	
Пушкин, Калашников и философ-разбойник Кириллов	
Исторический рассказ	530
<i>Виталий Камышев</i>	
Необходимость Вампилова. Эссе	539
<i>Владимир Карнаухов</i>	
Ведомые во тьму. Ведомые во свет	
Глава из романа «Исход великого шамана»	545
<i>Александр Карпачёв</i>	
Падежи нашей жизни. Рассказ	552
<i>Владимир Киреев</i>	
Утка. Рассказ	556
<i>Юрий Князев</i>	
Город сурка. Фрагменты из пьесы	561
<i>Иван Комлев</i>	
Два рассказа (Лепёшка; Листья).	571
<i>Олег Корнильцев</i>	
Живёт моя отрада. Рассказ	578
<i>Марк Крутер</i>	
Я защищаю Япончика. Отрывок из романа	582
<i>Александр Лаптев</i>	
Чудесная планета. Фантастический рассказ	586
<i>Владимир Максимов</i>	
Фонарь на солнечных батареях. Рассказ	591
<i>Николай Московских</i>	
Выборы. Рассказ	599
<i>Валерий Нефёдов</i>	
Два духа. Из повести в миниатюрах «Жаворонки».	604
<i>Александр Попов</i>	
Молитвы Валентина Распутина. Заметки к 70-летию писателя	610
<i>Александр Просекин</i>	
Милочка. Рассказ (в сокращении).	614

<i>Борис Ротенфельд</i>	
На полустанке. Рассказ	621
<i>Вадим Рудаков</i>	
Солнце в конверте. Рассказ	627
<i>Виталий Рудых</i>	
Парасковья. Отрывок из повести «Сытая осень».	632
<i>Александр Семёнов</i>	
К маме. Отрывок из повести	637
<i>Валентина Семенова</i>	
«Жития народные», посланцы повестей древнерусских	
Из опыта одной серии	642
<i>Виталий Сидорченко</i>	
Актёрские байки	648
<i>Олег Слободчиков</i>	
Государевы послушники. Отрывок из романа «Похабовы».	654
<i>Николай Соин</i>	
На белом острове любви. Отрывок из рассказа	662
<i>Анатолий Столяревский</i>	
«И не она от нас зависит...»	
О некоторых авторских антологиях и хрестоматиях (в сокращении).	669
<i>Семён Устинов</i>	
Байкал и Лена в одном имени. Очерк	676
<i>Иван Фетисов</i>	
Прокурорская рыбалка. Глава из романа «Не вините беркута»	682
<i>Арнольд Харитонов</i>	
Активированный день. Рассказ	690
<i>Алексей Шаманов</i>	
Пьяный лучник. Рассказ.	697
<i>Приложение 1</i>	
Писатели — лауреаты премий, учреждённых в Иркутске.	706
<i>Приложение 2</i>	
Руководители иркутских писательских организаций (1931–2011)	707
<i>Алфавитный указатель.</i>	<i>711</i>

Информационно-справочное издание

ИРКУТСК. БЕГ ВРЕМЕНИ

в 2 томах

Том 2. Автографы писателей

Книга вторая: Проза

Составители

Лаптев Александр Константинович

Семенова Валентина Андреевна

Редакторы А.С. Гурулёв, В.А. Семенова

Художник В.В. Дейкун

Верстка Н.А. Мазутовой

Корректор Н.О. Шильникова

Подписано в печать 28.05.2012. Формат 70х100/16.

Усл. печ. л. 58,2. Тираж 1000 экз. Заказ № 12705.

Издательство «Сибирская книга»

664047, Иркутск-47, а/я 174. Тел.: 8-914-88-73-880

E-mail: laptev99@mail.ru

Отпечатано в ООО «Репроцентр А1»

664047, Иркутск-47, ул. Ал. Невского, 99/2

Тел.: (3952) 540-940

ISBN: 978-5-91871-021-0



9 785918 710210